# Вячеслав Иванов

# Переписка

# Лидия Зиновьева-Аннибал

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Москва. Ильинские ворота. 1890-е гг.

Вяч. Иванов. 1888

Вячеслав Иванов

# Переписка

Лидия Зиновьева-Аннибал

# 1894–1903

Том 1

МОСКВА / НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ / 2009

Вячеслав Иванов

# Переписка

Лидия Зиновьева-Аннибал

УДК 821.161.01(092)Иванов Вяч.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Иванов Вяч.
И20

Издано при финансовой поддержке
Федерального Агенства по печати и масовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России»

Подготовка текста
*Д.О. Солодкой* и *Н.А. Богомолова* при участии *М. Вахтеля*

Вступительные статьи
*М. Вахтеля* и *Н.А. Богомолова*

Комментарии
*Н.А. Богомолова* и *М. Вахтеля* при участии *Д.О. Солодкой*

**Иванов Вячеслав, Зиновьева-Аннибал Лидия**
И 20 **Переписка: 1894—1903. Т. 1.** — М.: Новое литературное обозрение, 2009. — 752 с.: ил.

Переписка крупнейшего русского поэта XX века Вячеслава Иванова (1866—1949) с его второй женой Лидией Зиновьевой-Аннибал (1866—1907) — один из важнейших памятников истории русской культуры рубежа XIX и XX веков. В настоящее издание включена переписка 1894—1904 годов (в 1905 и 1907 супруги не переписывались, письма 1906 года составляют особый комплекс, который будет издаваться отдельно). В ней широко документированы ученые занятия Иванова, его становление как поэта, работа над первой книгой стихов «Кормчие звезды», лекции в Парижской вольной школе общественных наук, сделавшие его знаменитым. Письма рисуют широкую картину европейской жизни 1890-х и начала 1900-х годов (супруги жили не только в России, но и в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Греции), а также историю любви, разворачивающуюся на глазах читателя. Книга — плод работы интернационального коллектива (Майкл Вахтель — профессор Принстонского университета, США; Д.О. Солодкая — аспирант этого университета, Н.А. Богомолов — профессор МГУ им. Ломоносова; существенную помощь в работе оказывали ученые из США, Италии, Франции, Швейцарии), она сводит воедино материалы, хранящиеся в Москве (основной корпус переписки), Петербурге и Риме.

УДК 821.161.01(092)Иванов Вяч.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Иванов Вяч.

**ISBN 978-5-86793-733-1**
**ISBN 978-5-86793-735-5**

© Д.О. Солодкая, Н.А. Богомолов, М. Вахтель. Подготовка текста, 2009
© М. Вахтель, Н.А. Богомолов. Вступ. статьи, 2009
© Н.А. Богомолов, М. Вахтель, Д.О. Солодкая. Комментарии, 2009
© Художественное оформление. Новое литературное обозрение, 2009

# ДИОНИС ИЛИ ПРОТЕЙ?

## *О ранней переписке Вяч. Иванова с Л.Д. Зиновьевой-Аннибал*

### Переписка как памятник культуры

Предлагаемая читателю переписка является одним из ключевых документов русского символизма. Тот факт, что она ждала своих публикаторов больше столетия, свидетельствует лишний раз о грехах официального советского литературоведения, пытавшегося представить неприятных ему людей маргиналами. Переписка охватывает целое десятилетие, а действие происходит во многих странах — в Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Англии, Греции и — реже всего — в России. Как памятник культуры она заслуживает внимания со многих точек зрения — как человеческий документ, как биография двух ярких личностей, как глава в истории русского восприятия Запада, — но самая важная ее заслуга, пожалуй, заключается в том, что в ней выступает «доисторический» Вяч. Иванов, т.е. не симпозиальный мэтр, своим блестящим образованием направляющий ход современной ему русской культуры, а неуверенный, неопытный, порою ощупью идущий ученик. В долгих странствиях по Европе В.И. приобретает жизненный опыт, жадно впитывает достижения искусства и науки, прилежно изучает языки. Через его посредство все эти разрозненные навыки и знания станут со временем органической частью русской культуры.

О значении европейских странствий Иванова писал в своей рецензии на «Кормчие звезды» Валерий Брюсов, один из первых знакомых В.И. в среде русского символизма (об их первых встречах в Париже читатель узнает из писем 1903 года). «Во всем этом чувствуется долгая рабо-

та, <...> завершение многолетних исканий. За "Кормчими звездами" должны скрываться подготовительные этюды, ученические упражнения <...> такие книги пишутся только после того, как уже прошла пора первых, беспорядочных метаний...» [1] Эрудиция, авторитет, лидерство, знание мира — все это характеризовало облик Вячеслава Великолепного. Для современников этого было достаточно — Брюсов, например, не хотел знать о «поре первых, беспорядочных метаний». Потомство, наоборот, очень интересует формирование поэта. Не случайно ученые в последнее время все чаще обращают внимание на ранние годы В.И. Благодаря архивным разысканиям отдельные эпизоды теперь хорошо известны. Переписка с А.В. Гольштейн, опубликованная уже дважды, дает важные сведения об ознакомлении В.И. с французской культурной средой. История студенчества в Берлине многократно изучена. Блестяще подготовленная переписка Иванова с И.М. Гревсом освещает и другие стороны «академической жизни» молодого В.И. Но настоящая переписка — и по тематике и по объему— самый главный массив в эпистолярном наследии поэта. По ней читатель может проследить — иногда день за днем — развитие поэта на протяжении десяти лет. Он узнает об «эстетическом воспитании» В.И., о круге его чтения, о его отношениях к Вл. Соловьеву, о его ранних суждениях о литературе, музыке и искусстве, о его стихах, в некоторых случаях до сих пор не опубликованных.

## Житие Вячеслава Великолепного

По отношению к биографии В.И. настоящая переписка позволяет нам не только восполнить пробелы, но и отчистить ее от слоя легенд, созданных его «официальным» биографом О.А. Шор (Дешарт). Во «Введении» к собранию сочинений поэта многолетняя его спутница и душеприказчица пишет обстоятельно — но в то же время выборочно и тенденциозно — о важных событиях его жизни. Бывают у нее меткие наблюдения и яркие детали. Однако все ее утверждения нуждаются в тщательной проверке, ибо обнаруживаются сплошь и рядом неточности и даже ошибки, как относящиеся к тем годам жизни, которым она сама была свидетелем, так и к событиям ранних лет, о которых — надо полагать — она услышала от поэта самого. Не раз уже обращалось внимание на то, что она перепутала такую немаловажную деталь, как год

[1] *Брюсов Валерий.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 295. Цитируем вторую, более обдуманную рецензию, скорее даже итоговую статью. Первый вариант ее, в котором данных слов нет, — Новый путь. 1903. № 3 (перепеч.: *Брюсов Валерий.* Среди стихов: Манифесты, статьи, рецензии 1894—1924. М., 1990).

знакомства В.И. с Лидией Дмитриевной, тем самым запутав и лучших знатоков его творчества [2]. Здесь нет места распространяться о недостатках биографии Дешарт. Укажем только, что в переписке ученые найдут достоверные сведения и во многих случаях важные коррективы.

Есть еще один источник сведений о ранней жизни поэта — «Автобиографическое письмо» самого В.И. В отличие от биографии Дешарт, оно является очень точным документом, но тем не менее полностью положиться нельзя и на него. Путает в нем не неточность, а недосказанность. Автор, не вдаваясь в подробности столь давних дней, выбирает самые запоминающиеся события (т.е., как правило, что хотелось вспоминать) и колоритные моменты. Сложности не то чтобы полностью избегаются, но сглаживаются. В результате некогда острые перипетии жизни воспринимаются как неизбежные этапы в предопределенной истории. О личных переживаниях в интересующий нас период, например, поэт пишет следующее:

«Это ницшеанство помогло мне — жестоко и ответственно, но, по совести, правильно — решить представший мне в 1895 г. выбор между глубокою и нежною привязанностью, в которую обратилось мое влюбленное чувство к жене, и новою, всецело захватившею меня любовью, которой суждено было с тех пор, в течение всей моей жизни, только расти и духовно углубляться, но которая в те первые дни казалась как мне самому, так и той, которую я полюбил, лишь преступною, темною, демоническою страстью. Я прямо сказал о всем жене, и между нами был решен развод. Прежде чем были устранены многие препятствия, стоявшие на пути к нашему браку, я и Л. Д. Зиновьева-Аннибал должны были несколько лет скрывать свою связь и скитаться по Италии, Швейцарии и Франции. Друг через друга нашли мы — каждый себя и более, чем только себя: я бы сказал, мы обрели Бога. Встреча с нею была подобна могучей весенней дионисийской грозе, после которой все во мне обновилось, расцвело и зазеленело. И не только во мне впервые раскрылся и осознал себя, вольно и уверенно, поэт, но и в ней: всю нашу совместную жизнь, полную глубоких внутренних событий, можно без преувеличений назвать для обоих порою почти непрерывного вдохновения и напряженного духовного горения» (II, 19—20) [3].

Все здесь более или менее верно, но акценты расставлены своеобразно. Упрекать автора нельзя: ведь через десятилетие после трагической смерти Зиновьевой-Аннибал он вспоминает именно ту сторону совмест-

[2] См., напр.: *Аверинцев С.С.* «Скворешниц вольных гражданин...» Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами. СПб., 2001. С. 41—48.

[3] Отсылки к текстам Иванова здесь и далее даются по Собранию сочинений (Брюссель, 1971—1987; вышло 4 тома) с указанием тома римской цифрой, а страницы — арабской.

ной жизни, которая имела для него самое глубокое значение. Однако воспетая поэтом «дионисийская гроза» была не такой однозначной, как она здесь излагается. На самом деле период первого знакомства отличался постоянной напряженностью, частыми спорами, обоюдными обвинениями и непониманиями. В «Автобиографическом письме» все это почти не отражено. Вовсе не упомянуты колебания автора, который то порывал беспощадно с первой женой, то возвращался к ней, приводя Зиновьеву-Аннибал в бешенство далеко не дионисийское. Читая переписку 1895 года, трудно согласиться, что она свидетельствует о «непрерывном вдохновении». Иногда кажется, что перед нами скорее антагонисты, чем единомышленники. Что касается «многих препятствий, стоявших на пути к браку», то здесь мы имеем дело с недосказанностью. Ведь главная проблема заключалась не столько в требованиях первого мужа Зиновьевой-Аннибал (К.С. Шварсалон, как кажется, вел себя весьма прилично), сколько в положении самого В.И. В отличие от Зиновьевой-Аннибал, В.И. получил развод достаточно быстро, но лишь при том условии, что никогда не женится опять. Чтобы венчаться вновь, ему пришлось намеренно и планомерно нарушать русские законы. В «конспиративных» петербуржских письмах 1899 г., написанных очень осторожно и даже по-итальянски ради безопасности, В.И. сообщает о том, как ему пришлось дать огромную взятку, чтобы заменить «чистым» паспортом старый, в котором был зафиксирован запрет на будущий брак. Но даже и с новым документом было не просто найти священника, готового венчать такого «опального» человека. Не случайно, что свадьба состоялась за границей, в итальянском захолустье, причем не в русской, а в греческой церкви [4].

## Почему Иванов стал «символистом»

С точки зрения истории литературы примечательно, что слово «символизм» почти не встречается на протяжении всей десятилетней переписки В.И. с Л.Д. Чем это объясняется? Ответить на этот вопрос нетрудно: дело в том, что автор «Кормчих звезд» не считал себя «символистом». Забегая вперед, можно сказать, что В.И. становится русским символистом только тогда, когда он сам может определить значение этого понятия. А это происходит только после того, как «Кормчие звезды» уже напечатаны. Даже в его первых статьях в «Весах», органе русского симво-

[4] В этом контексте легче понять любопытные детали в написанной Дешарт биографии: «Свадьбу справили в маленькой греческой церкви Ливорно, куда В.И. и Л.Д. поехали одни, вдвоем...» (I, 35).

лизма, слово «символизм» далеко не центральное. В переписке с Лидией, за редким — но значительным — исключением, его нет и в помине.

Как ни странно, первым человеком, указавшим на близость стихов В.И. к символизму, был не кто иной, как «непримиримый враг» символизма Владимир Соловьев. Из разных источников известно, какое огромное влияние он оказал на формирование и даже на мировоззрение Иванова[5]. А в переписке есть важные дополнительные материалы о личных встречах маститого философа с начинающим поэтом. В письме от 21 октября / 2 ноября 1895 г. В.И. рассказывает о мнении Соловьева касательно его поэзии:

«По его словам, миросозерцание мое еще не окончательно выработалось, находится "im Werden", что́ отражается и в моих произведениях; но хотя в них и не вылилось еще законченное миросозерцание, они должны быть напечатаны все вследствие их внутреннего интереса и формальных достоинств <...> Я стою часто "на границе символизма", но это не недостаток; к символизму приближаются лучшие поэты, и где он отсутствует вполне, отсутствует, по мнению С<оловьева>, и поэзия».

Через четыре года Соловьев говорит еще определеннее о принадлежности Иванова к символизму. В письме от 16 июня 1899 молодой поэт передает слова Соловьева о том, почему редактор «Вестника Европы» отказался печатать его стихи: «Стасюлевич не напечатал бы это, даже если бы я сам был автором; он символизма терпеть не может»[6]. Судя по этому отрывку, стихи В.И. — по-прежнему высоко ценимые Соловьевым — уже воспринимаются не как поэзия «на границе символизма», а как чисто символистская.

Однако символизм символизму рознь. Тот символизм, который Соловьев хвалит, скорее напоминает Случевского, чем Брюсова[7]. (Ведь при первой встрече, как В.И. сообщает в письме от 9/21 октября 1895 г., Соловьев издевался над «Русскими символистами», читая (наизусть!) одну из своих пародий на Брюсова. Отметим, что это чтение произошло всего за две недели до того, как Соловьев объявил, что В.И. стоит «на границе символизма» и что это «не недостаток».

---

[5] «Как только я очутился за рубежом, забродили во мне искания мистические, и пробудилась потребность сознать Россию в ее идее. Я принялся изучать Вл. Соловьева и Хомякова» (Автобиографическое письмо: II, 17). Кроме многочисленных упоминаний в печатных трудах В.И. стоит указать на первопроходческую работу Н.В. Котрелева (Русская мысль. 1989. 15 сентября. № 3793), впервые опубликовавшего некоторые отрывки из настоящей переписки.

[6] В оригинале по-итальянски: «St<asulevich> non farebbe stampare questo, neppure se fosse scritto da me; lui non ammette il simbolismo».

[7] См.: *Wachtel Michael.* Vladimir Solov'ev on Symbolism and Decadence // Russian Review, 67 (July 2008). P. 387—394. Отношение Соловьева к символизму было сложнее, чем обычно трактуется.

Показательно, что В.И. тянуло к Соловьеву, не только к философу, но и к поэту. В переписке впервые становится ясно, до какой степени книга «Кормчие звезды» отражает устные отзывы Соловьева. Например, в письме о встрече с Соловьевым от 21 октября/2 ноября 1895 г. Иванов замечает: «В частности <Соловьев> отозвался с похвалой о “Сафо”». Если обратимся к тексту «Кормчих звезд», мы заметим, что стихотворение «Сафо» имеет посвящение «В.С.С.». Еще важнее: на одной из встреч в 1899 г. Соловьев восхищается стихотворением «Красота», говоря, что это «очень, очень хорошо» (правда, В.И. пишет письмо по-итальянски, поэтому «molto, molto bene»). И это отражается в сборнике. В этот раз посвящение подписано не просто инициалами, а полным именем: «Владимиру Сергеевичу Соловьеву». Всегда было ясно, что сборник начинается со стихотворения в духе Соловьева (т.е. тематика «Трех свиданий»). Но о главном можно было только догадываться: Соловьев сам, в гроб сходя, именно это стихотворение как будто благословил.

К идеалам экспериментатора Брюсова, с самого начала самоопределившегося как символист и новатор, В.И. — при несомненном уважении — относился скептически. Слово «декадентство» встречается в переписке редко, зато всегда как обозначение явления отрицательного. Правда, в переписке 1903 г. Брюсов в большом почете, но стоит подчеркнуть, что в нем уважают не столько поэта и мыслителя, сколько влиятельного, предприимчивого деятеля культуры, желающего (по своим же соображениям) и, главное, умеющего напечатать труды Иванова и Зиновьевой-Аннибал[8]. Заметим мимоходом, что несовпадение в их взглядах на искусство вообще и символизм в частности было фактом немаловажным для дальнейшего развития русского символизма.

В течение всей переписки оценка «нового» искусства неоднозначна. Иванов и Зиновьева-Аннибал принципиально не против; однако нет и особого интереса к новому как таковому. Например, когда Л.Д. в 1902 г. списывает стихи Верлена и посылает их В.И., она «оправдывает» это вовсе не тем, что он символист, а тем, что это — прекрасные стихи. Сам Иванов читает (и хвалит) Минского — и позже Бальмонта — но, скорее всего, потому, что они ему нравятся, а не потому, что они «новые»[9].

---

[8] Характерно, что Брюсов согласился напечатать роман Зиновьевой-Аннибал «Пламенники», не читая его. А после того, как прочел, всячески стал тормозить дело публикации (см.: *Богомолов Н.А.* Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: Документальные хроники. М., 2009. С. 47—56). Роман уцелел, но до сих пор ждет своего публикатора. Читатель найдет много любопытных сведений о нем в переписке.

[9] О том, что ранние стихи ВИ имеют много общего со стихами малоизвестных авторов 1890-х годов, см.: *Обатнин Г.В.* К теме «Вячеслав Иванов и литературные вкусы 1890-х годов» // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. С. 133—148.

## Образцовый поэт

Для молодого, как и для зрелого В.И. (вспомним определение «реалистического символизма»), творчество — выражение не своеобразных личных впечатлений, а всеобщей истины. В письме к Лидии от 4/16 ноября 1895 г. Иванов пишет:

«И не лучше ли, в конце концов, прийти поздно — или даже вовсе не прийти — к намеченной частной цели, но сознавать себя всесторонне и гармонически развитою личностью, неустанно и многообразно стремившеюся к высокому и общему идеалу, — нежели быть одной из тех пожинающих ранние лавры capacités, которые обязаны своим успехом — ограниченности своих стремлений, узости своих интересов, фрагментарности своей натуры? Но не в таких capacités нуждается эпоха, а в старинных гуманистах, в гармонически развившихся крупных индивидуальностях...»

Читатель переписки 1895 г. легко поймет, кто в первую очередь представляет такой вид гуманизма. Это — многократно цитируемый в письмах В.И. Гете. Уже в словах «неустанно и многообразно стремившеюся к высокому и общему идеалу» слышится отзвук любимого — и столь часто повторяемого Ивановым — изречения Фауста «zum höchsten Dasein immerfort zu streben» («безостановочно к бытию высочайшему стремиться»).

Трудно переоценить важность веймарского мудреца в формировании Иванова. В «Автобиографическом письме» В.И. пишет, что в Германии он «упивался многотомным Гете» (II, 18). Дополнительным подтверждением этого служит переписка 1895 г. с ее изобилием ссылок как на гетевские шедевры (например, «Фауст»), так и на произведения далеко не хрестоматийные.

Перечислять все относящиеся к теме цитаты здесь излишне (читатель сам найдет их по указателю); ограничимся одним ярким примером. В переписке несколько раз упоминается роман «Избирательное сродство» (1809), который в XIX веке принадлежал к ряду не слишком известных произведений Гете. В названии романа заключается главная его метафора — человеческие отношения изображаются языком химии. В статье о Гете 1912 г. В.И. пишет, что этот роман — «завершительное откровение о тайне любви, об ее космических корнях. Истинная любовь есть химическое сродство человеческих монад; они влекутся одна к другой стихийно, с непреодолимою необходимостью закона природы. В душевном и физическом составе предопределенных природою к соединению встречается ряд прирожденных соответствий. Они находят и узнают друг друга сомнамбулически, общаются без слов, соприкасаются без прикосновений» (IV, 147).

В 1895 г. Гете учит молодого русского не только писать, но и жить: не случайно Иванов воспринимает свою любовь к Лидии через призму гетевского романа. В письме от 29—30 января / 10—11 февраля 1895 г. он обращается к Зиновьевой-Аннибал, явно развивая тематику прежних бесед, называя ее по имени гетевской героини: «Да, не правда ли, Оттилия? что́ бы ни должны были мы испытать, мы не можем не стремиться друг к другу?» Другими словами, природная сила привлечения как будто заставляет их соединиться. К этому роману он возвращается и в письме от 13/25 февраля, снова отождествляя Зиновьеву-Аннибал с Оттилией, а себя на этот раз впрямую с Эдуардом: «Тебе не жаль меня? Ты видишь, я ни о чем не мечтаю, я хочу только твоей близости... Вспомни Эдуарда и Оттилию в последнюю эпоху, в эпоху после катастрофы, разрушившей все надежды: они также довольствовались уже одною близостью...»

Правда, такое отожествление с литературными героями имеет и свою опасную сторону. Когда отношения осложняются, Л.Д. упрекает В.И. в том, что он ведет себя не в соответствии с образцом. 18 июня 1895 г. В.И. приходится защищаться: «Вспомни, с какою осторожностью характеризовал я всегда свою любовь. Проникнутый ощущением ее стихийности, я сравнивал ее с Wahlverwandtschaft, но не иначе, как оговариваясь, что неуверен в [справедливости] полном соответствии этого сравнения и что вероятнее предположить только некоторые стороны наших существ как бы исключительно предрасположенными ко взаимному соединению и дополнению». Внимательное чтение рукописи показывает, до какой степени В.И. сам колеблется — сначала он сомневался в «справедливости» сравнения, потом зачеркнул это слово и заменил его более мягким вариантом («в полном соответствии»).

Однако такие сомнения были недолговечны. Несмотря на временное размежевание, В.И. еще долго ценит «Избирательное сродство» как зеркало собственного личного опыта. Забавное подтверждение этому мы находим в письме к нему от Элизы Лёвенгейм, немки, у которой Иванов жил во время своих берлинских пребываний в 1895 г. В.И. нередко иронизирует по поводу Лёвенгейм в письмах к Л.Д., но они были в дружеских отношениях, обсуждали музыку, литературу и театр. Как явствует из ее писем (его письма не уцелели), она была очень образованной и начитанной женщиной. В письме от 1.I.1896 она сообщает:

«По толчку, данному мне Вами при Вашем пребывании, я перечитала "Избирательное сродство". Признаюсь, что оно и после нового чтения не оставило того значительного впечатления, которое Вы от него получили. Я не могу назвать идеальной эту любовь Эдуарда и Оттилии, потому, что Эдуард — не идеальный человек. Я разделяю мнение самого Гете, сказавшего о нем: "Я сам терпеть его не могу, но я должен был

сделать его таким, чтобы создать все" (разговор с Эккерманом от 21. Января 1827). Эдуард для меня — крайне неприятный и неровный характер, который не знает, чего он хочет. Сперва бредит он Шарлоттой со всей своей морально неустойчивой страстью; когда он годами тщетно боролся за эту страсть и в конце концов, после того, как опьянение юности прошло, достиг своей цели, страсть и колебания вновь гонят его в борьбу. Психолог же говорит себе, что такой человек никогда не будет счастлив в обладании новой любовью. Скорее всего, он при первой возможности поддастся очередной страсти» [10].

Даже при отсутствии ответных писем нетрудно понять, что В.И. — скорее всего, не вдаваясь в подробности — хвалил роман, указывая на изображение в нем «идеальной любви». Но восприятия двух людей не совпадают. Лёвенгейм смотрит на роман с чисто эстетической точки зрения; В.И., напротив, читает его «автобиографически», т.е. как роман о самом себе. Обвиняя главного героя в непостоянстве, Лёвенгейм — сама того не зная — упрекает Иванова. Мы не знаем, как на это письмо отреагировал Иванов, но вряд ли он стал посвящать свою берлинскую знакомую в то заветное значение, какое роман имел для него.

## Музыка прежде всего

Для европейских символистов вообще и русских в частности музыка — одна из центральных тем. Иванов — не исключение. Он ценит музыку как «единственное искусство нового мира, о котором можно условно сказать, что пафос художества всенародного еще жив среди нас» (I, 730). В небольшом отрывке о студенчестве в Берлине в «Автобиографическом письме» он утверждает, что он «ничего не знал на свете усладительнее и духовно-содержательнее немецкой классической музыки»

[10] В немецком оригинале: «Auf Ihre mir bei Ihrem Hiersein gegebenene Anregung habe ich jetzt noch einmal die Wahlverwandtschaften gelesen. Indessen muss ich gestehen, dass dieselben mir auch bei der erneuten Lektüre nicht den bedeutenden Eindruck gemacht haben, den Sie von diesem Werke empfangen haben werden. Ich kann diese Liebe zwischen Eduard u. Ottilie keine ideale Liebe nennen, weil E. kein idealer Mensch ist. Ich bin hierein völlig Goethes Meinung, der von ihm sagte: "Ich mag ihn selber nicht leiden, aber ich musste ihn so machen, um das hervorzubringen" (21. Jan. 1827 gegen Eckerman<n>). Eduard ist ein mir höchst unsympatischer hin— u. herschwankender Charakter, der nicht weiss, was er will. Zuerst schwärmt er mit seiner ganzen haltlosen Leidenschaft für Charlotte u. nachdem er Jahre hindurch vergeblich für diese Leidenschaft gekämpft, endlich, nachdem der Rausch der Jugend verflogen, sein Ziel erreicht hat, stürzt ihn seine Leidenschaft, seine Unbeständigkeit, aufs Neue in Kämpfe. Der Psychologe aber sagt sich, dass ein solcher nun u. nimmer glücklich werden wird im Besitz der neuen Liebe. Vielmehr wird er bei nächster bester Gelegenheit einer dritten Leidenschaft erliegen» (РГБ. Ф. 109. Карт. 29. Ед. хр. 14).

(II, 17). Если учесть, что Л.Д. в ранние годы их знакомства училась пению и хотела стать оперной певицей, неудивительно, что в переписке речь часто идет о музыке. Живя в больших городах, они ходят на концерты лучших музыкантов и делятся друг с другом мнениями о прослушанном. В Берлине В.И. ходит на исполнение Пятой симфонии Бетховена три дня подряд, чтобы проверить (и впоследствии отвергнуть) трактовку ее известным французским музыковедом Шюре. (Трактовка самого В.И. своеобразно отражена в стихотворении «Рокоборец» в «Кормчих звездах»: I, 543.) Трудно переоценить значение Девятой симфонии Бетховена для В.И. и Л.Д.: «Вот наш дифирамб», — пишет последняя в письме от 13/26 мая 1903 из Лондона после того, как слушает исполнение Девятой симфонии под управлением знаменитого дирижера Вейнгартнера. (Сравнение этой симфонии с дифирамбом встречается и в печатных трудах ВИ[11].)

Заслуживает особого внимания отчет Иванова о концерте в Берлине из письма от 20 ноября 1895: «Слышал много интересного, между прочим первую симфонию Шумана, Charfreitagszauber из вагнерова "Парсифаля" и "Франческу да Римини" Чайковского, которая потрясла и пленила меня. Что же касается "Bühnenweihfestspiel" 'я Вагнера, то его неискренняя Frömmelei, и искусственный мистицизм, и аффектированное глубокомыслие произвели на меня отталкивающее впечатление чего-то ложного». Любопытно, что в это время Иванов — уже хорошо знающий музыку Бетховена и Шуберта — только открывает произведения поздних романтиков. Он восторженно отзывается о Шумане и Чайковском, но вовсе не принимает Вагнера. Правда, можно «оправдать» такой выпад указанием на Ницше, чьи нападки на позднего Вагнера безусловно были известны Иванову. (Очень положительное отношение В.И. к Ницше — еще одна значительная тема переписки.) Тем не менее удивляет в этом суждении полное отсутствие пиетета перед корифеем нового искусства[12]. Ничего подобного не найдем в позднейших его высказываниях. Например, в письме к Брюсову от декабря 1904 г. он пишет, что «вопрос же о Вагнере должен был бы разрабатываться в "Весах" постоянно, ибо он все еще вопрос открытый и имеет центральное значение во всем искусстве, не только в музыке»[13]. И в начале 1905 года на страницах «Весов» появляется его статья «Вагнер и Дионисово действо» с аподиктическим заявлением: «Вагнер — второй, после Бетховена, за-

[11] Например, IV, 169.

[12] Впрочем, Зиновьева-Аннибал также отзывается о Вагнере пренебрежительно. В споре о Бетховене и Вагнере она всецело на стороне первого. См. письмо ее от 11/24 марта 1902.

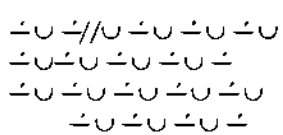
[13] Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 468.

чинатель нового дионисийского творчества, и первый предтеча вселенского мифотворчества» (II, 83).

## В лаборатории поэтического слова

О творческой истории «Кормчих звезд» известно мало. Стихи писались долго, первые были написаны до встречи с Лидией («Несколько стихотворений из поры моего берлинского студенчества вошли переработанными в мой первый сборник»: II, 18), другие — как свидетельствует настоящая переписка — писались больше пятнадцати лет спустя, в 1902 г. Редакторы переписки Иванова с Гревсом установили, что В.И. сильно изменил ранние стихи («простые и ясные слова <...> были заменены мудреными словами», как выражалась первая его жена[14]). Однако их попытки найти ранние редакции стихов не венчались успехом. В отсутствие такого материала данная переписка служит самым достоверным источником о поэтическом методе молодого поэта. И хотя стихи обсуждаются не так часто, как хотелось бы, все эти моменты являются исключительно ценными для понимания творчества Иванова. Например, в письме от 17/29 ноября 1895 он пишет из Берлина:

«Твои размышления о Греции и о нас и твой заказ стихотворения оплодотворили и забеременили мою поэтическую восприимчивость, и вчера меня неустанно преследовала (как со мной обыкновен<но> бывает) мелодия будущего стихотворения, пластического извне, а внутри — глубокого и пророческого; отдельные стихи являлись [в уме], на уста, но все оно, еще без слов, звучало в ушах и пленяло меня невыразимо. Вот его метрическая схема:



Это проникновение идеи, воплощающейся в ряде образов и оракулов, — проникновение, совпадающее с восторгом чисто музыкального характера, — есть, в [области] жизни моей Музы, восприятие, conceptio будущего творения. Дальше наступает у меня обыкновенно более или

[14] См.: История и поэзия. С. 279. Есть и в публикуемой переписке любопытный момент, когда Иванов обсуждает с Зиновьевой-Аннибал, можно ли употребить в стихотворении мало кому понятное слово (см. письма от 4 или 5/17 или 18 и 6/19 августа 1900 г.).

менее продолжительный и пассивный период беременности, разрешающийся более или менее трудными [трудным рождением] родами. Платон говорит, что душа зачинает и проходит период беременности, как женщина».

О восприимчивости художника Иванов не раз пишет в своих печатных трудах, но вряд ли можно найти у него более детальное описание поэтического вдохновения[15]. Все начинается с музыкального (не словесного) зерна, принимающего очень четкую стихотворную форму. В.И. набрасывает хореический размер с перекрестной рифмовкой, но с двумя особенностями. Во-первых, за тремя строками пятистопного хорея следует усеченный, четырехстопный. Во-вторых, после третьего слога в первой строке четверостишия есть цезура. С одной стороны, присутствие цезуры можно понять как признак поэта-античника. Пока не рождающееся стихотворение на самом деле отличится именно античной тематикой. С другой стороны, такую цезуру можно найти в каждой строке самого известного образца русского пятистопного хорея — стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».

В переписке Иванов сам не пишет о результате этих внушений, но благодаря необычному размеру читатель в «Кормчих звездах» легко находит стихотворение (I, 570—571):

ГОЛОСА

Муз моих вещунья и подруга,
Вдохновенных спутница менад!
Отчего неведомого Юга
Снится нам священный сад?

И о чем под кущей огнетканой
Чутколистный ропщет Дионис,
И, колебля мрак благоуханный,
Шепчут лавр и кипарис?

И куда лазурной Нереиды
Нас зовет певучая печаль?

[15] Примечательно, что данный отрывок предвосхищает известное определение творческого идеала в статье «Две стихии в современном символизме»: «Мы думаем, что теургический принцип в художестве есть принцип наименьшей насильственности и наибольшей восприимчивости. Не налагать свою волю на поверхность вещей — есть высший завет художника, но прозревать и благовествовать сокровенную волю сущностей. Как повивальная бабка облегчает процесс родов, так должен он облегчать вещам выявление красоты; чуткими пальцами призван он снимать пелены, затрудняющие рождение слова» (II, 537—538). Образ повивальной бабки, восходящий к «Пиру» Платона, наглядно показывает связь между манифестом 1908 г. и письмом 1895 г.

Где она, волшебной Гесперицы
Золотящаяся даль?

Тихо спят кумиров наших храмы
Древних грез в пурпуровых морях;
Мы вотще сжигаем фимиамы
На забытых алтарях.

Отчего же в дымных нимбах тени
Зыблются, подобные богам,
Будят лир зефиростру́нных пени —
И зовут к родным брегам?

И зовут к родному новоселью
Неотступных ликов голоса,
И полны таинственной свирелью
Молчаливые леса?..

Вдаль влекомы волей сокровенной,
Пришлецы неведомой земли,
Мы тоскуем по дали забвенной,
По несбывшейся дали.

Душу память смутная тревожит,
В смутном сне надеется она;
И забыть богов своих не может —
И воззвать их не сильна!

Не подлежит сомнению, что музыка «лермонтовского размера» приносит с собой ключевые слова (ср. «Ночь тиха» — «Тихо спят»; даже название стихотворения «Голоса» вызывает в памяти «сладкий голос» у Лермонтова) и сходное настроение. Однако следует отметить, как В.И. по-своему развивает лермонтовское стихотворение. Загадочная песня Лермонтова превращается в пение Гесперид. Вместо шума «темного дуба» у Лермонтова у Иванова «шепчут лавр и кипарис». Соответственно романтический «путь» одинокого героя у Лермонтова заменяется тоской по древнему миру героев «Голосов». Судя по тому, что В.И. в следующих письмах несколько раз обращается к Л.Д.: «Муз моих вещунья и подруга», — можно с уверенностью сказать, что стихотворение имеет сугубо личное значение, что состояние лирического «мы» отражает позицию молодой четы [16].

Что касается формы, стоит подчеркнуть, что Иванов соблюдает ее за одним исключением. В «Голосах» цезура строго соблюдается до пред-

[16] В своих комментариях Р.Е. Помирчий пишет, что стихотворение «обращено, по-видимому, к Л.Д. Зиновьевой-Аннибал». Письма В.И. позволяют нам вычеркнуть это «по-видимому».

последней строфы, когда вдруг исчезает. Именно в этот момент меняется настроение стихотворения. Как метко отмечает К.Ф. Тарановский, «сначала нам может показаться, что взор поэта обращен только в прошлое. Но предпоследняя строфа стихотворения переносит нас в современность и даже как будто бы указывает на будущее» [17]. Читая стихотворение на фоне его первоначального ритмического воплощения, мы можем понять, что цезура присутствует в первых строфах далеко не случайно и что она нарочно нарушается ради архитектоники целого.

## Уроки античности

В литературе на тему «Иванов и античность» всегда упоминается строгая немецкая школа, которую он прошел. Однако следует подчеркнуть, что в Берлине В.И. занимался почти исключительно римской историей и что многолетняя работа над диссертацией касалась узких вопросов той же области. Знакомство с Зиновьевой-Аннибал как будто совпадает с увлечением Элладой (напомним слова самого В.И., уподобляющего их встречу с дионисийской грозой). Но серьезное изучение Древней Греции происходит гораздо позже, в 1901—1902 гг. в Афинах.

Так же как и в течение своего визита в Рим в 1893—1895 годах, Иванов воспользовался услугами местного Германского археологического института, посещая его богатейшую библиотеку, слушая разного рода лекции и принимая участие в экскурсиях по памятным местам Афин. Научная жизнь в столице Греции тогда бурлила — постоянно производились раскопки, открывающие все новые и новые грани античности. «Все здесь еще im Werden», — отозвался Иванов на просьбу И.М. Гревса дать ему литературу о топографии Афин[18]. Следует отметить международный характер научных исследований в Афинах в ту пору; как и в Риме, многие европейские нации устроили там свои собственные институты. Во французской школе Théophile Homolle читал лекции о своих только что завершенных десятилетних раскопках в Дельфах, в английской Arthur Evans рассказывал о только что начатой работе на Кноссе — и Иванов не пропускал их публичных выступлений.

Но важнее всего для Иванова оказались немецкоязычные ученые. Среди них главные — Вильгельм Дерпфельд, первый секретарь (сегодня мы сказали бы «директор») немецкого института, и Август Вильгельм, первый секретарь австрийского института. Архитектор по образованию,

[17] *Тарановский К.Ф.* «Вдаль влекомые»: один случай поэтической полемики Блока и Белого с Вячесл. Ивановым // Slavica Hierosolymitana Jerusalem, 1981. Vol. V—VI. С. 290.

[18] История и поэзия. С. 243.

Дерпфельд был профессиональным археологом. Прославился он как главный ассистент Шлимана при раскопках в Трое; «самым замечательным открытием» Шлимана явился именно Дерпфельд[19]. Он обладал редкой энергией, руководил различными раскопками, публиковал многочисленные статьи и книги и вдобавок проводил разнообразные курсы и экскурсии для членов института. Он не имел себе равных в пропаганде археологической науки. Благодаря его усилиям Германский археологический институт получал огромные средства от германского правительства, а когда их недоставало (Бисмарк, к примеру, всегда считал расходы на археологию излишними) — то лично от кайзера, щедрого покровителя больших археологических проектов[20]. Одним словом, немецкие археологические исследования в Греции процветали.

Меткий портрет Дерпфельда дает Людвиг Курциус, впоследствии первый секретарь Германского археологического института в Риме, где с ним в 30-е годы познакомится Вяч. Иванов[21]. В своих мемуарах Курциус описывает свою первую встречу с Дерпфельдом в 1904 г. в Афинах, когда эта «вдохновляющая личность» находилась «на вершине своей славы». «Он был прирожденный педагог. Никто не мог объяснить сложные связи так просто и наглядно. Он начинал с самого незначительного черепка мрамора или кусочка стены, на которые указывал своей тростью, и предлагал свои выводы так логично и с такой силой, что каждого убеждал, потому что каждый мог его понять»[22].

---

[19] *Deuel Leo.* Memoirs of Heinrich Schliemann. New York, 1977. P. 287. Подробнее о значении Дерпфельда для Шлимана см.: Ibid. P. 310—325. См. также: *Meyer Ernst.* Briefe von Heinrich Schliemann. Berlin, 1936. P. 78—83.

[20] *Marchand Suzanne L.* Down from Olympus: Archaeology and Philhellenism in Germany, 1750—1970. Princeton, 1996. P. 82, 85—86.

[21] Не следует смешивать Людвига Курциуса с однофамильцем Э.Р. Курциусом, выдающимся литературоведом и поклонником творчества Иванова, также многократно встречавшимся с Ивановым в 30-е годы в Риме. В отличие от Э.Р. Курциуса, Людвиг относился сдержанно к статьям В.И. В письме от 1 июля 1935 г. к Герберту Штейнеру, редактору журнала «Corona», он пишет о статье «Terror Antiquus»: «Я не мог выдержать новейшей его работы в "Короне", которой Вы так усердно занимались. Для меня это слишком расплывчато, чтобы успокоить мою историческую совесть, и в то же время слишком научно, чтобы быть поэзией, имеющей рядом с историей свое право на существование». (В оригинале: «Ich habe mit seinem letzten Beitrag in der Corona, der Ihnen so viel Mühe gemacht hat, wenig anfangen können. Das bleibt für mich alles zu verschwommen, als dass mein historisches Gewissen sich dabei beruhigen könnte, ist hinwiederum zu wissenschaftlich begrifflich, als dass es Poesie würde, die ihr eigenes Existenzrecht neben der Geschichte behält».) Цитируется по неопубликованному тексту в архиве Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar, ед. хр. 74.2878.

[22] «Niemand konnte komplizierte Zusammenhänge schlichter, anschaulicher erklären als er. Er ging von der unscheinbarsten Einzelheit einer Marmorquader oder eines Mauerrestes, auf die er mit seinem Spazierstock deutete, aus und entwickelte daraus seine Folgerungen so logisch und zwingend, dass er jeden überzeugte; denn jeder konnte ihn verstehen» (*Curtius Ludwig.* Deutsche und antike Welt: Lebenserinnerungen. Stuttgart, 1952. S. 267).

Как явствует из переписки, Иванов восхищался лекциями Дерпфельда. В его теории он находит пищу не только для понимания древней религии, но и для осмысления «театра будущего». В письме от 24/11.11.1902 Иванов пишет: «Между прочим Д<ерпфельд> сказал, что пред[по]ложил (в "Космополисе") строить новые театры, по образцу античных, так, чтобы места зрителей окружали значительную часть сцены и последняя уподоблялась бы таким образом древней орхестре. Он думает, что эффект изображаемого на сцене этим значительно усилится. Теперь сцена, говорит он, подобна картине, а в древности действие совершалось пластически, телесно в самой среде зрителей. Кроме того, такое устройство увеличило бы число мест чуть не втрое (?) <вопросительный знак и скобки в оригинале> и позволило бы соответственно понизить цены входных билетов. Все это навело меня на мечты о том будущем, которое все мы, сознательно и бессознательно, (особенно бессознательно) предуготовляли или творили. Это будущее будет религиознее современности. Оно будет знать трагедию. Современный театр отойдет в область архаизмов. Опять раздадутся трагические хоры»[23].

Не менее выдающимся ученым был Август Вильгельм, хотя по характеру своему он представлял прямую противоположность к Дерпфельду. В отличие от семейного Дерпфельда он был холостяком. Если Дерпфельд был оратором, всегда ищущим большой публики, то Вильгельм скорее чуждался слушателей — с трудом его уговаривали вести занятия для студентов. Но как специалист он был бесподобен. Светило наук того времени У. Виламовиц не стеснялся назвать его наилучшим эпиграфистом в мире. По словам того же Курциуса, Вильгельм был «художником греческой эпиграфики» (Op. cit. S. 291). Поскольку греческие надписи редко сохранялись полностью, искусство эпиграфики заключалось в том, что надо было заполнять места потерянных букв, догадываясь о них по смыслу. Вильгельм обладал феноменальной памятью, незаурядной филологической одаренностью и готовностью днями или даже неделями заниматься одним и тем же загадочным текстом. Курциус рассказывает характерный случай, когда нашлась надпись, в которой одно слово было стерто, но по контексту можно было понять, что это какой-то домашний инструмент. Вильгельм определил, что первоначальное слово имело девять букв, из которых сохранились только две. Он просил своих коллег-античников предположить, какое это может быть слово. Все они гордились своими филологическими знаниями, но никому не удалось

[23] Значение этого отрывка для истории русского театра авангарда рассматривается в статье: *Вахтель М.* Рождение русского авангарда из духа немецкого антиковедения: Вильгельм Дерпфельд и Вячеслав Иванов // Античность и русская культура Серебряного века: Предварительные материалы. М., 2008. С. 48—56.

помочь ученому. Через несколько недель сам Вильгельм решил задачу. В поисках этого слова он читал всего Афинея, где в длинном списке утвари появилось искомое слово (Op. cit. S. 292). Упражнения, которые В.И. выполнял у Вильгельма, проходили примерно так же. Мастер давал ученикам неполную надпись и просил их угадать пропавшие буквы. Заслуживает особого внимания похвала Вильгельма, считавшего, что у В.И. «хороший глаз», и на возражения Иванова, что он только новичок, ответившего, что этого вовсе не чувствуется (об этом сообщает ВИ в письме от 21 марта / 3 апреля 1902).

Такой разговор лишний раз свидетельствует о том, что филологические навыки Иванова были выдающимися не только по стандартам русской культурной среды, но и по масштабам мирового антиковедения.

Письма Иванова из Греции необыкновенно детальны. Для исследователей его творческого пути они имеют огромное значение, ибо в них упоминается вся научная и не научная литература, которую он читал. Впечатляет всеядный интерес его ко всему: помимо огромного количества специальных работ (впоследствии отраженных в его исследованиях об античности, в его статьях об искусстве и даже в его стихах), он читает журналы о современном французском театре и разного рода газеты, в том числе местные (ибо учит новогреческий язык). В то же время чтение показывает порой удивительные пробелы в его образовании. На основе этих писем легко опровергнуть довольно распространенное мнение, согласно которому Иванов «всегда все знал». Например, вызывает удивление тот факт, что в Греции Иванов впервые читает Аристофана, причем не на языке оригинала, а в немецком переводе. Однако это чтение далеко не поверхностное; оно входит в глубинные пласты сознания. Имя Аристофана упоминается в ранних статьях о театре, в исследовании «Эллинская религия страдающего бога», вплоть до статьи 1925 года «Ревизор Гоголя и комедия Аристофана», написанной по просьбе Мейерхольда. В этой статье замыкается круг — изучение древнего театра помогает переосмыслить классическую русскую пьесу и сделать ее современной.

*Майкл Вахтель*

# ...И ДРУГИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Можно быть практически полностью уверенным, что в предлагаемой вниманию читателей переписке прежде всего будут искать сведения о жизни и творчестве Вячеслава Иванова. Но в то же время невозможно представить себе, что это будет взгляд человека, выбирающего лишь те строки, которые относятся к предмету его интересов. Всякое эпистолярное общение есть диалог, и реплики в нем чаще всего нельзя адекватно понять, если вырывать их из контекста. И если в статье М. Вахтеля внимание сосредоточено на том, что важного мы получаем из обнародования этой переписки для лучшего понимания жизни и творчества Иванова, то в этой нашей статье мы постараемся взглянуть на письма с другой стороны — со стороны второго ее участника, Лидии Дмитриевны, в первые годы общения с Ивановым носившей фамилию Шварсалон, потом самовольно вернувшей себе девичью фамилию Зиновьева, а потом обретшей писательское имя Зиновьева-Аннибал (так мы ее и будем называть в дальнейшем). При этом совершенно естественно, что при таком взгляде в нашем поле зрения будут попадаться фигуры, для Иванова второстепенные, а для Зиновьевой-Аннибал чрезвычайно важные, почему нам придется говорить и о них. И второе, столь же естественное обстоятельство: при разговоре об Иванове можно в первую очередь сосредоточиться на проблемах творческих, к которым жизненные переживания будут все-таки чем-то вроде бесплатного приложения. Зиновьева-Аннибал предстает в письмах прежде всего со стороны бытовой. Правда, мы получаем довольно много сведений о замысле и трансформациях ее романа «Пламенники», но поскольку он до сих пор не опубликован и предстает перед потенциальным читателем в виде множества неразобранных черновиков, набело переписанных фрагментов, даже набранных

частей, то и информация эта повисает в воздухе, отчего мы будем обходить ее вниманием. Лишь в 1903 г. появляются первые сведения о работе над драмой «Кольца», которая и станет первым явлением писательницы Зиновьевой-Аннибал. Но эти сведения фрагментарны, и мы мало что можем к ним добавить.

Об Иванове до начала его всероссийской известности мы уже знаем довольно много. О Зиновьевой-Аннибал — мало, и опираться на известное, как мы далее увидим, очень часто невозможно. Поэтому биографический пласт ее бытия нуждается в довольно тщательной проработке, ибо только таким образом мы можем рассеять широко распространившиеся мифы, а отчасти, видимо, и дать некоторые твердые ориентиры, от которых смогут отталкиваться другие исследователи, перед которыми будет стоять задача, нас в данный момент не слишком занимающая: сопоставить беллетристику Зиновьевой-Аннибал, пока что понимаемую как неподдельно автобиографическая, с тем, что ей пришлось пережить в детстве и молодости. Впрочем, некоторые сведения сможем дать уже и мы.

## 1

Основными печатными источниками о жизни семьи Ивановых до их переезда в Петербург являются два: биография Иванова, написанная для первого тома его Собрания сочинений Ольгой Дешарт (О.А. Шор), и воспоминания дочери Иванова и Зиновьевой-Аннибал Л.В. Ивановой[1]. Ценность первого источника определяется тем, что он основывается на рассказах самого Вячеслава Иванова, — но в этом же заключается и его ненадежность: Иванов, переживший многое и многих, создавал тот облик, который хотел бы видеть запечатленным в сочинениях своего биографа, и потому умалчивал о каких-то очень важных сторонах своей жизни, а кое-что, видимо, уже и помнил не очень твердо. Лидия Вячеславовна в эти годы была совсем ребенком: ей не исполнилось еще 11 лет, когда из Швейцарии она перебралась в Петербург, к родителям, потому в ее воспоминаниях о том времени столь много неточностей.

[1] *Дешарт О.* Введение // Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Брюссель, 1971. [Т.] I. С. 5—227; *Иванова Лидия.* Воспоминания: Книга об отце / Подг. текста и коммент. Джона Мальмстада. [Paris, 1990]. В дальнейшем на первый источник мы ссылаемся, как и на остальные материалы данного Собрания сочинений, сокращенно, непосредственно в тексте, с указанием тома римской цифрой и страницы арабской. Отсылки к воспоминаниям Л.В. Ивановой также даются в тексте с пометой: «Иванова» и указанием страницы.

Особенно часты они там, где речь идет о Зиновьевой-Аннибал. И можно понять, что в большинстве очерков жизни и творчества писательницы авторы разумно обходили конкретные биографические подробности[2].

Иногда виновницей недоразумений бывает она сама. Так, в письме 1894 года (которое мы цитируем ниже) она говорит, что ей 28 лет, — и тут же прямо утверждает: «Я родилась в 1867 году», чего, как нетрудно понять, быть никак не могло. А в дневнике 1907 года (Римский архив Вяч. Иванова) в день своего рождения она утверждает, что ей исполняется сорок два. Когда же она родилась? В 1865, 1866 или 1867 году? Обычно, когда речь идет о женщинах, рекомендуется принимать наиболее раннюю дату. Однако в случае с Зиновьевой-Аннибал, вполне возможно, так получилось просто потому, что с цифрами она (несмотря на временами возникавшее желание вернуться к математическим занятиям времен молодости) была не в ладах. Поэтому в дальнейшем мы принимаем среднюю из дат — 1866, что не влияет радикальным образом на расчеты.

Семья ее была большой и разветвленной. Дед, Василий Николаевич (1755—1827), был президентом медицинской коллегии, тайным советником, сенатором. От трех жен, по сведениям интернетовского Российского генеалогического древа, он имел 20 детей, доживших до зрелого возраста, среди которых были, скажем, Николай (1801—1882) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант, в 1845—1849 гг. директор Пажеского корпуса, затем состоявший при внуках императора Николая I, или Василий (1814—1891), генерал от инфантерии, генерал-адъютант, с 1868 г. гофмаршал двора наследника престола, с 1881-го заведовал собственным двором императора, а также делами и конторой его детей. Еще один сын, Павел, был действительным статским советником, что соответствовало тому же генеральскому чину.

На этом фоне отец Зиновьевой-Аннибал, Дмитрий Васильевич (1823—1904), выглядел более скромно — всего-навсего надворный советник, 7-й класс. Но эта сравнительная скромность компенсировалась солидным состоянием, которым, впрочем, он свободно распоряжаться не мог. «От природы он был очень добрый и щедрый. К старости эти черты приняли болезненный характер. Он начал раздавать свое имуще-

[2] См., напр.: *Баркер Екатерина.* Творчество Лидии Зиновьевой-Аннибал. СПб., 2003; *Михайлова М.* Страсти по Лидии. Портрет Л. Зиновьевой-Аннибал // Преображение: Русский феминистский журнал. 1994. № 2. С. 144—156; *Михайлова М.В.* Страсти по Лидии // Зиновьева-Аннибал Лидия. Тридцать три урода. М., 1999. Отметим также большой очерк, временами просто перепевающий работу Дешарт: *Евграфов Геннадий.* Даровитая женственность в раю отчаяния: Диотима, Сивилла и Психея Серебряного века Лидия Зиновьева-Аннибал // НГ-Exlibris. 2007. 15 января.

ство кому попало. Испуганная семья взяла его под опеку» (Иванова, 19; ср. I, 18). Кажется, картинка эта идеализирована. Но денег и на самом деле было немало. После смерти матери брат Зиновьевой-Аннибал отправил ей и отцу отчет о вскрытом завещании: в нем значилась 31 тысяча рублей на содержание больницы, 15 тысяч — на помощь нуждающимся крестьянам, 5 тысяч и тысяча годовой пенсии разным помощницам, и только после этого оставшееся имущество было завещано сыну, дочери и детям еще одной дочери, покойной. Вряд ли эти доли могли быть менее, чем то, что ушло на общественные нужды[3].

Мы застаем родителей Зиновьевой-Аннибал уже в те годы, когда они были слабы и очень больны. Мать жила почти все время в родовом Копорье под Петербургом, отец — под Женевой. Утверждение Л.В. Ивановой о том, что он был отправлен туда по инициативе Зиновьевой-Аннибал, когда они все вместе уже жили в Женеве, — неверно. Он поселился в Аире еще до того, как началась переписка. До 1901 года семейные свидания были весьма нерегулярными, и только после покупки виллы Жава на рубеже 1900 и 1901 гг. все изменилось. Но, в общем, нам приходилось бы гадать об отношениях Зиновьевой-Аннибал к отцу, если бы не сохранилось ее письмо, обращенное к детям, с которого мы и начнем повествование о ее истинной жизни.

> Я родилась в 1867 году. Родители были богаты и принадлежали к так наз<ываемому> высшему кругу. Отец мало интересовался семьею, много кутил, бросал мать и в 1881 году был взят под опеку и до сих пор живет в Швейцарии на своей даче. Мать моя, религиозная глубоко и искренно женщина, наивная в жизни, но с твердыми воззрениями, солидарными со взглядами ее круга и с обычною житейскою моралью. Между мною и старшими братьями и сестрою была большая разница в годах, и поэтому матери пришлось отдать меня почти всецело на попечение гувернантки: общественное положение ее требовало <вести> открытый образ жизни ради старших детей. Мое детство протекло в детской и учебной довольно одиноко. Товарищем игр моих был мой младший брат. Мать я видела редко, в жизни семьи участия почти не принимала. Характер у меня был вспыльчивый и самолюбие сильно развито, поэтому я много воевала с воспитательницами. Приемы воспитания моего становились все строже и строже, а самолюбие и упрямство мое развивалось не по дням, а по часам, поэтому я вечно вертелась в порочном круге наказаний и капризов, отравивших мне вконец всё детство. К 14-ти годам я была уже настолько невыносимо каприз-

[3] См.: РГБ. Ф. 109. Карт. 21. Ед. хр. 4. Л. 6 и об. Копия оригинала: РГБ. Ф. 109. Карт. 44. Ед. хр. 40.

на, а наказания усилились и участились до таких невероятных размеров, что родные решили позвать докторов и с их совета отправить меня на несколько лет за границу в немецкую школу. Мать разузнала о строгом, религиозном пансионе немецких «сестёр», куда меня и отправили после оскорбительного и унизительного совещания о моих капризах с докторами при всей семье. Этим закончился первый невеселый период моего детства и начался другой, более серьезный и более грустный. Два с половиной <года> я провела в двух школах немецких, т.к. из первой меня исключили за непокорность строгому уставу. Мать навещала меня на вакансиях <так!>, но тем не менее я чувствовала себя очень одинокою и неподходящею к среде чуждой мне школы. Впрочем, с подругами я ладила, пыталась ладить и с воспитательницами после первой неудачи, поразившей меня в глубину души. Много раз, тем не менее, мучимая тоскою по дому и родине и чувствами, мне самой непонятными, я рыдала целыми ночами и не раз пробиралась к окну и глядела с высоты с замирающим сердцем, мечтая о том, чтобы броситься вниз и умереть. Учение было из рук вон плохое, так что ум мой не находил себе пищи и воображение уходило на шалости и задор. Почти 17-ти лет только вернулась я домой, и здесь начался 3-й период моей жизни.

Я была очень наивною девушкою, ни о чем серьезно не думавшею, и отдалась всей душой деревенским удовольствиям летом и выходам зимою. Последние, впрочем, мало увлекали меня. На следующую зиму, т.е. когда мне только что минуло 18 лет, я влюбилась наивною детскою влюбчивостью в офицера, недурного, неглупого, но пустого человека, который очень ухаживал за мною. Но весною я захворала корью, и болезнь внезапно открыла уму и сердцу новые горизонты. Несколько недель я имела возможность думать, и когда болезнь прошла, я встала иным человеком. Повод мыслям моим подавали: бедность городская и деревенская, всегда поражавшая мое сердце, слова отрывочные и случайные, долетавшие до меня из иного <для> меня богатого и самодовольного мира, слова, почему-то, должно быть, по врожденной наклонности, находившие особенно сильный отклик в душе моей. Всё, что годами ложилось почти бессознательными впечатлениями, вдруг стало принимать более ясную форму, выплывали наружу вопросы и сомнения, залегла в глубине души какая-то тревога, с этого времени уже не дававшая мне покоя. Я стала думать о бедности и богатстве, о разнице положения, и, смутно чуя несправедливость в жизни, окружавшей меня, я принялась искать разгадку своим сомнениям. Где было искать? У младшего брата был гувернер-студент, в деревенской школе был

учитель, у них обоих были книги, которых я прежде никогда не видала. Рассказы этих людей о жизни интеллигентной молодежи, о их стремлениях помочь народу, об девушках, учащихся на курсах и готовящих себя на служение тому же народу, которому они считали себя обязанными всем, что имели. Более того: чтение книг по социологии, Писарева, Добролюбова, увлечение матерьялистами и математекой <так!>, всё это беспорядочно, клочками, перевернуло всё существо мое вверх дном. Весь свет казался мне иным, и душа наполнилась сознательным стыдом за свою барскую, сытую жизнь. Я стала рваться на работу, на курсы, но мать моя воспротивилась, и здесь пришлось столкнуться двум сильным и цельным натурам, убежденная каждая в своей нравственной правоте и в невозможности из принципа уступить в своих требованиях. Мать требовала слова моего в том, что я откажусь читать книги, не прошедшие через ее цензуру, я же требовала, чтобы меня или пустили на курсы, чтобы учиться и видеть людей иного круга, или позволили взять место учительницы и самой зарабатывать свой хлеб. Наши воззрения с матерью были так далеки друг от друга, натуры так сильны, убеждения тверды, а характеры вспыльчивы, что семейная жизнь для нас обеих сделалась адом. Отчаявшись получить свободу добровольно, я сговорилась с гувернером братом <так!> действовать насилием. Выдумав себе какую-то сухую, теоретичную любовь к нему, я решила выйти замуж фиктивно за его товарища и бежать с ним за границу. Впрочем, этот план был очень незакончен и необдуман. Я была слишком неопытна и теоретична, он слишком слабохарактерен, да, вероятно, и пошл, чтобы серьезно взглянуть на свою роль. Он был женат на очень пошлой и глупенькой женщине, которая, конечно, не содействовала его лучшим порывам, но которая по-своему горяче любила ее <так!>. Я сознавала, что доставляю сильные страдания этой глупенькой, но несчастной женщине, отнимая в будущем у нее мужа, и я утешала себя только тем, что делаю это не из личной страсти, не из эгоизма, а спокойно и логически, с математической прямолинейностью молодости обсудив положения. Известные избитые, общие и часто столь жестоко-несправедливые доказательства моей правоты и невозможности поступить иначе давали мне непоколебимую решительность исполнить до конца свой план. И я шла на то, чтобы разбить сердце этой жалкой мне и неповинной женщины, чтобы истязать свою благородную и горяче любимую мать, шла неуклонно, с мужеством отчаянной решимости, шла, заглушая и задавляя всеми силами ничем не заглушимые терзания своего сердца. О, это сердце, которое так страстно отзывается на всякое страдание самого чуждого мне существа челове-

ческого, которое болело за мучимое животное, за всякую неправда <так!>, чинимую над живым созданием! о, это сердце! разве под силу было холодному разуму с его узкою, молодою логикою справиться с ним? Оно болело, оно изнывало от ломки всего существа моего, проходившей во мне. Но убежденная, фанатичная и упорная, желая принести в жертву всё, всё своим убеждениям, — отдаче долга народу и исполнению слова, данного человека <так!>, впервые направившего на путь этого долга мою мысль, — я страдала безропотно и не отступала. Что мое «я», мои страдания, мое сердце, о Боже, в конце концев моя жизнь дома — перед великою, безмерною глубиною народного горя? И я, не находя прямых путей, обманывала мать и близких для того, чтобы хитростью победить силу, сокрушавшую меня и обращавшую сознательную и полезную женщину-работницу в светскую, праздную дармоедку.

Но помощник и сообщник мой не только не оказался способным пробудить во мне сильного чувства к себе, но и сам настолько мало дорожил и мною и нашим общим делом, что затянул развязку слишком долго. Все намерения мои были открыты и меня, покрывая незаслуженным позором, оскорбляя морем пошлости, столь чуждым моей гордой и девственной души, перехватили, окружили домашним конвоем и, в буквальном смысле пленницей, повезли в Крым. Моего сообщника пытались сослать административно, чем, конечно, повредили и мне в глазах полиции. Дети мои, надеюсь всею душею, что вы избежите тех унижений, того презрения...[4]

Кое-какие дополнения (не очень значительные) читатель найдет в двух других письмах, которые Зиновьева-Аннибал писала для троих своих детей. Но документ из Римского архива дает нам наиболее точные хронологические указания: германские школы длились с 1880 по 1883 год, потом последовал сравнительно краткий период увлечения светской жизнью, а в конце 1884 и начале 1885 г. происходила история с неизвестным нам молодым человеком. Датировать ее позволяет не только это письмо, но и чрезвычайно любопытный документ, сохранившийся в московском архиве Иванова, — письмо известного философа К.Д. Кавелина к Зиновьевой-Аннибал, написанное им за полтора месяца до смерти. Мы не знаем подробностей отношений Кавелина и семейства Зиновьевых, но невозможно себе представить, чтобы 18-летняя девушка исповедовалась бы перед чуждым человеком. К сожалению, письмо

[4] Римский архив Вячеслава Иванова. Текст обрывается на полуслове. Приносим сердечную благодарность А.Б. Шишкину за предоставление возможности ознакомиться с материалами архива.

Зиновьевой-Аннибал нам неизвестно, но по ответу довольно легко представить его содержание.

19 марта 1885

Благодарю Вас, Лидия Дмитриевна, за доверие, которое Вы мне оказали Вашим письмом. Оно полагает на меня нравственную обязанность, не отделываясь общими местами и уклончивыми фразами, высказать Вам прямо и откровенно то, что я думаю о Вашем положении и о том, что Вам делать, чтоб из него выйти. Мне это тем легче, что я сам в молодости находился точно в таком же положении, так же страстно, как Вы, отдавался идеалам общего блага, так же, как Вы, вырывался или, если хотите, выбивался из обстановки, которая не давала полету моих стремлений той свободы, о какой я мечтал. Теперь я старик; но обращаясь к прошлому, я нахожу, что и теперь остался таким же, каким был, с тою же непреклонною верою в идеалы общего блага и горячностью в их преследовании; вся разница только в приемах, в оценке своих сил, в отношении к той среде, во взгляде на свои и ее права на существование. Разбирая себя, свои взгляды и стремления теперь и сравнивая их с теми, какими я жил около полустолетия тому назад, я не чувствую ни нравственной усталости или надорванности, ничего похожего на презрительное или насмешливое отношение к тому, что мне было дорого и свято в молодости, чем я тогда жил и дышал полною грудью. Я теперь тот же, чем был тогда, и в то же время совсем другой. В чем же разница и откуда она, чем ее объяснить? <...>

Вы сбирались бежать с любимым, сочувственным Вам по мыслям и убеждениям человеком, — мужем и отцом семейства — в Швейцарию. Какое счастие, что это Вам не удалось, что Вам помешали! За чем бежать в Швейцарию? Разве там разрешены все социальные вопросы, правда, справедливость и счастие людей разве там осуществились уже на деле? Что Вам там делать? Изучать социальные вопросы? Но ведь это Вы можете так же хорошо и основательно делать и здесь, даже лучше, потому что применение великодушных задач, которые Вы носите в Вашем сердце, ближе Вам в среде, Вам знакомой и близкой, чем в той, которую Вам пришлось бы еще долго и пристально изучать. С Россиею Вы связаны неразрывно всем, а Швейцария Вам совсем чуждая страна, и Вы ей чужая.

Вы говорите, что любите человека, с которым хотели оставить родину. По горячему сочувствию к его стремлениям и задачам, которое Вас с ним связывает, Вы заключаете, что его любите. Допросите хорошенько свое сердце — не обманываете ли Вы себя? <...> Пощадите себя, если не других! Подумайте! Ведь Ваша ставка — пан

или пропал. Вы ставите на карту все, всю свою жизнь, и играете втемную, причем шансов выиграть один, а шансов проиграться в пух и прах — 99. Признаюсь Вам: я на месте человека, которого Вы любите или думаете, что любите, ни за что на свете не принял бы от Вас такой жертвы, и то, что он готов ее от Вас принять, дает мне невыгодное понятие не только о его нравственном характере, но и о роде чувств, которые он к Вам питает. Я бывал несколько раз в жизни, еще очень юным, в подобных положениях, и никогда, ни разу не принимал подобных жертв, не только от молодых, неопытных девушек, но и от замужних женщин, любимых мужьями и счастливых в своей домашней обстановке. Растоптать ногами чужой душевный мир, пользуясь увлечением, страстью, слабостью, — что же может быть позорнее и отвратительнее подобного преступления! Счастливая звезда меня от него избавила. Его я никогда не совершил.

Вы говорите, что любимый Вами человек несчастлив в своем браке, что его жена его недостойна. Но почем Вы это знаете? Ведь для определения счастливого и несчастливого супружества нет никаких внешних, оказательных признаков. Ни красота и грация, ни ум, ни талант, ни материальное благосостояние и бедность, ни характер, ни даже добродетельность и порочность — ничто в мире не дает возможность заключать, что брак счастлив или несчастлив. Стало быть, вы судите по тому, что Вам кажется по отзывам самого любимого человека. Что касается до личных впечатлений, то поверьте моей долголетней опытности — они относительно супружеских отношений чрезвычайно обманчивы. Сколько мне случалось видеть браков, с виду очень неладных; а на самом деле оказывалось, что супруги не могут жить друг без друга и срослись в один неразрывный союз. Не верьте и дурным отзывам супругов друг о друге: часто, слишком часто они не более как самообман под влиянием минутной ссоры, которая завтра же забывается. <...>

Соединяясь с женатым человеком, который из-за Вас — допустим, что это действительно так, — выбрасывает за окошко свою семью, — Вы совершите дважды бесчеловечный, негуманный поступок: во-1-х, Вы косвенно будете виною гибели семьи любимого человека, и, во-2-х, Вы внесете горе в Вашу собственную семью. Как там ни рассуждайте, но если свет, общество, люди смотрят на связь девушки с кем бы то ни было, а тем более с женатым и семейным человеком как на позор и клеймо для ее семьи, то Вы не можете претендовать на то, что Ваша мать, сестра, братья и родные с страхом и ужасом смотрят на Ваши намерения и делают все возможное, чтоб они не исполнились. Как бы каждый из нас ни смотрел на свои

поступки, чувства и решения, мы не имеем права созидать свое благополучие и достигать своих целей на счет спокойствия, счастия и благополучия других <...>

Вы жалуетесь горько на то, что Ваша матушка стесняет выбор Ваших чтений. Я знаю Ваше семейство очень давно и сужу о Софье Александровне не по личным впечатлениям, а по ее делам и по отзывам копорских и соседних крестьян. Она делает массу добра и заботится о крестьянах и крестьянских детях как мать, больше иной матери. Вам, до последнего времени, она никогда не отказывала в средствах образоваться, как того требует наше время и как Вы сами желали. Но Вы не вправе, не можете и не должны требовать от нее, чтобы она смотрела на все Вашими глазами. Ваше последнее решение привело ее в ужас, и этому нечего удивляться: я к Вам по образу мыслей стою ближе, чем Ваша матушка, но и я не нахожу возможным сочувствовать Вам в Ваших последних решениях. <...>

Вы спрашиваете, что́ Вам делать, что начать, как разобраться в хаосе? Вас глубоко оскорбляет, что честность и чистота Ваших помыслов и намерений заподозрены и не признаются Вашими близкими. Мне кажется, Вы тотчас же сами, без всякого совета, проложите себе путь ко всему лучшему, когда этого сами серьезно захотите. <...> У Вас сердце доброе, Вы горячо любите детей: займитесь школьным воспитанием и обучением. Какое широкое и плодотворное поле деятельности для общего блага и на пользу народных масс! Вы интересуетесь знанием, наукой <...> Займитесь наукой серьезно — и Вы скоро разберетесь в хаосе, который Вас тяготит. Она выучит Вас владеть собой, своими мыслями, чувствами и поступками — первой и благодатной целью для каждого человека в жизни. Вы молоды, начинаете жить, и наладиться в хорошую колею, при некотором усилии, Вам не будет трудно. Ваши порывания и стремления, внушенные благородным сердцем и чистыми помыслами, войдут в правильную колею и выиграют в глубине и энергии. Помните, что истинная сила всегда спокойна. Раз что Вы так наладите Вашу жизнь и деятельность — теперешние недоразумения, диссонансы и страдания скоро исчезнут и забудутся всеми, кому Вы близки и дороги. Сами Вы будете вспоминать об них как об ошибках мысли и благословлять судьбу, которая помешала Вам осуществить их в поступках, после которых уже нет возврата.

Вы требовали от меня откровенного и сердечного отзыва на Ваши страдания, сомнения и вопросы. Верьте, что я положил всю душу в этот длинный ответ, не кривя ею ни перед Вами и ни перед кем. Пишу только то, что думаю в самых затаенных уголках моего сознания, исполняя нравственную обязанность, долг совести перед

Вами. Будет мой ответ Вам по душе — последуйте моему совету, поборите себя. Не будет по душе — делайте как знаете, но не пеняйте ни на кого, если погибнете безвозвратно для себя и для других, жертвою самых горестных иллюзий. Перед Вами две дороги. Выбирайте любую, но знайте наперед и помните, куда каждая ведет.

Ваш К. Кавелин[5].

Сравним с этой картиной описание О. Дешарт: «Когда Лидии исполнилось лет 17[6], ей пригласили в учителя молодого <...> историка Константина Семеновича Шварсалона. <...> На ее вопрос об его отношении к миру он ей объяснил, что у него мировоззрение "альтруистическое". Слово альтруизм он употреблял эвфемистически вместо опасного слова "социализм", которое могло бы его скомпрометировать в аристократической среде <...> он не упускал случая помянуть каких-то своих именитых французских предков» (1, 20—21). Однако из приведенных цитат совершенно очевидно, что ни в 17, ни в 18 лет со своим будущим мужем она даже не была знакома. Первые достоверные свидетельства о занятиях с К.С. Шварсалоном относятся к весне 1886 года[7]. В сентябре 1886 г. Шварсалон просил руки Зиновьевой-Аннибал и получил согласие, о чем писал ее отцу, уже и тогда жившему в Женеве, в характерных выражениях: «Ваша дочь сделала мне честь, приняв мое предложение — быть другом ее, и согласившись выйти со мной в жизнь, на которую она смотрит строго и серьезно, как на поприще труда и любви на пользу родного народа»[8]. Свадьба состоялась в ноябре, о чем Шварсалон сообщал ему же 19 ноября: «Вероятно, Софья Александровна подробно писала Вам о свадьбе нашей, как прекрасно служил духовник ее и Лиды, отец Колоколов (церкви Георгиевской Общины; а венчали нас в домовой церкви Коммерч<еского> Училища). Все вынесли от его чудной службы впечатление поистине торжественного и вдохновенного настроения»[9].

---

[5] РГБ. Ф. 109. Карт. 27. Ед. хр. 2. Опущен постскриптум. Полностью письмо публикуется: *Богомолов Н.А.* К биографии Л.Д. Зиновьевой-Аннибал // Memento vivere: Сборник памяти Л.Н. Ивановой. СПб., 2009 (в печати).

[6] То есть в 1883 году.

[7] См. его письма к ней: РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 45. У нас нет решительно никаких сведений о том, что он был гувернером кого-то из братьев, как утверждал, со слов Ивановых, М. Кузмин (*Кузмин М.* Дневник 1934 года.2-е изд., доп. СПб., 2007. С. 66).

[8] РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 46. Л. 1об — 2.

[9] РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 47. Л. 9 и об. Софья Александровна — мать Л.Д. Отец Алексей Колоколов был в 1880—1890-х гг. весьма популярен среди петербургской интеллигентной публики. Отметим, что в словаре «Русские писатели 1800—1917» (Т. II. С. 342; статья О.Б. Кушлиной) замужество Лидии Зиновьевой отнесено (вероятно, на основании сведений Шор) к 1884 году; оттуда эта версия распространилась довольно широко, попав, к примеру, в комментарии к дневнику М.А. Кузмина 1934 года.

Константин Семенович Шварсалон («из Евреев», как отметит Иванов), сын унтер-офицера, был старше своей ученицы на 9 лет (родился в 1857 г.), окончил историко-филологический факультет Петербургского университета в 1880 г., в 1881-м стал кандидатом[10] и служил преподавателем истории в училище Св. Елены. Среди прочих мест его службы — Павловский институт, женские гимназии Гедда и Таганцевой, Псковская гимназия[11]. К 1917 г. он был статским советником. Дата его смерти нам неизвестна, хотя можно предположить, что он умер между 1918 и 1923 годами[12]. Следом его научных занятий является статья «Итальянские исторические документы о России»[13]. В конце 1880-х и начале 1890-х годов он был вполне заметной величиной в кругу молодых тогда историков.

О без малого семи годах семейной жизни Шварсалонов мы знаем немного. Однако, кажется, и этого довольно, чтобы опровергнуть еще одну семейную легенду. «Мама была ярой социалисткой <...> Мама наняла нарочито бедную, неотапливаемую квартиру (принципиальный вызов буржуазии!), присоединилась к партии эсеров (она жалела и любила крестьян) и стала в своем доме устраивать тайные политические сходки. <...> Встреча с моим отцом отвела маму от ее замыслов прямого участия в политической жизни» (Иванова, 16); «Сразу после свадьбы Лидия, во исполнение поучений мужа в прошлом и к его ужасу в настоящем, примкнула к социал-революционерам и завела у себя конспиративную квартиру. <...> В Петербурге Лидия Димитриевна сразу затосковала в своем сером, заваленном пыльной, нелегальной литературой жилище. <...> Сделает ли она кому-нибудь добро своей подпольной типографией — это еще большой вопрос <...> Лидия Димитриевна <...> повесила у себя в комнате рядом с портретами революционных вождей большую фотографию Венеры Милосской. Фанатические подпольщики, с нею работавшие, сочли такой поступок неприличным вызовом, революцией против революции» (I, 21—22).

Никаких положительных сведений о революционаризме молодой женщины семейная переписка не дает. Скорее наоборот. Вот, например, как описывает К.С. Шварсалон жизнь начала 1893 года: «Теперь у нас взята лишняя прислуга и Лидя имеет возможность отдохнуть. Хозяйство

---

[10] Добавим, что уже после свадьбы он недолгое время был вольнослушателем юридического факультета.

[11] Там у него учился В.А. Каверин. См.: *Каверин В.А.* Освещенные окна. М., 2002. С. 80.

[12] Сведения основаны на данных сайтов www.schwarsalon.narod.ru и http://ksschwarsalon.narod.ru. Сведения из университетского дела Шварсалона (ЦГИАСПб. Ф. 14. Оп. 13. Ед. хр. 204) сообщены нам Ю.Е. Галаниной, которой приносим искреннюю благодарность.

[13] Русская старина. 1894. Т. 81. № 1. С. 197—203; ср. также: ЖМНП. 1890. Сентябрь. С. 205—232.

наше так устроилось, что кроме удовольствия и спокойствия — иметь свое прекрасное молоко, теперь свои яйца, — и некоторой, пожалуй, выгоды при этом, ничего другого это хозяйство не причиняет. Держать одну корову, как Вы знаете, неудобно: останешься как раз без молока; а от двух его слишком много и поневоле приходится продавать. <...> Недавно присылал, по совету и рекомендации врача, просить давать ему молока — Ваш любимый писатель, Лесков. У него печень не в порядке и прописано молочное питание, а доставать в Петербурге добросовестного молока мудреное дело: если не подливают, то корм коров нездоровый. К сожалению, у нас не нашлось более для Лескова. <...> За коровами и курами ходит у нас Дуня, девушка с Устья, премилая, ласковая и скромная <...> У Лидюши будет летом кто-нибудь гостить; кроме того, невдалеке думает поселиться мой товарищ — Яковлев с семьей, очень серьезный и почтенный господин»[14].

Из этого письма, как из ряда других, можно себе представить, что усилия Зиновьевой-Аннибал были направлены в первую очередь на то, чтобы жить самой и приучать детей к естественной жизни и физическому труду, возможно даже, что к некоторому опрощению. Но от этого еще очень далеко до участия в революционном движении. К тому же следует отметить, что никакой партии эсеров во второй половине 1880-х и в начале 1890-х годов не существовало, она стала формироваться лишь в середине 1890-х, когда Зиновьева-Аннибал практически не бывала в России[15]. Это ставит под сомнение рассказы и про конспиративную квартиру, а тем более про подпольную типографию. К тому же при такой степени привязанности к полуподпольной деятельности странным выглядит постоянное отсутствие в городе и обращенные к самым различным людям приглашения погостить длительное время.

Мы обладаем и новыми данными о расставании супругов. Мотивы разрыва и разъезда выясняются из подробного рассказа Иванова своей первой жене (см. наст. изд., с. 68). Однако время этих событий, немаловажное для понимания дальнейшей судьбы и Зиновьевой-Аннибал и

[14] Письмо от 10/22 марта 1893 // РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 47. Л. 14—15. Домашний адрес Шварсалонов в это время: Петербург, Тверская, 4. И очень похоже на то, что именно там, совсем недалеко от центра города, они и держали свое немалое хозяйство.

[15] Слова о «поприще эсерского революционерства» (видимо, на основании тех же пассажей из сочинения Шор) были произнесены С.С. Аверинцевым («Скворешниц вольных гражданин...»: Вячеслав Иванов: Путь поэта между мирами. СПб., 2001. С. 42). О.Б. Кушлина на основании неизвестных нам данных пишет о том, что, «ненадолго вернувшись <в 1893> в Петербург, З<иновьева>-А<ннибал> порывает с социал-демократами...» (Цит. соч.).

Иванова, нуждается в уточнении. По рассказу О. Дешарт, это вряд ли могло произойти позднее 1892 года: «...она возмутилась, забрала детей и уехала за границу. Она надеялась, что путешествие по знакомым любимым местам Швейцарии и Италии придаст ей новые силы <...> Лето 1893 г. Лидия с детьми проводила во Флоренции» (I, 21). На самом деле лето 1893 г. Зиновьева-Аннибал проводила в Петербурге и на Карельском перешейке, а в Италии был ее муж[16]. 2 августа он писал Д.В. Зиновьеву: «Письма, полученные мною в Генуе от Лиди, были такого содержания, так неожиданны и вследствие моего переезда из города в город за последнюю неделю так залежались на почте в ожидании меня, что мне представилась решительная необходимость немедленно ехать прямо в Петербург. Вы знаете, как можно встревожиться из-за писем, когда вдали от семьи и зная Лидюшу, ее темперамент и непрактичность. Хуже всего то, что ничего определенного в письмах не было, а между тем ясно было, что Лидя ждет меня немедленно. Можно было подумать, что из-за каких-нибудь 50 или 70 р. предстоит продажа с аукциона всей усадьбы или опасность попасть в тюрьму. А на Тверской, в городском доме, из-за недостатка в устройстве коровника — именно не было второго пола и стока для воды, санитарная коммиссия <так!> грозила тоже чем-то ужасным. И все это к определенному сроку надо было исполнить, с записью в книгу и т.д. Кроме того, Лидя имела большие нравственные огорчения из-за своего доверия к людям и бесконечной любви к каждому. Противно говорить об этом. Прискакал я в Петербург в субботу утром и застал Лидю в городе. Устроится, Бог даст, все своим порядком. Все "материальные" тревоги нетрудно устранить, и никакой неприятности даже не предвидится ни с кем. <...> Что касается нравственного огорчения, то — одно время поможет, как всегда, забыть зло, которым люди платят за добро и любовь»[17]. А несколько позже, 16 сентября, ему же написала и дочь: «Дорогой Папочка, приходится сообщить тебе печальную весть о себе, которую до сих пор умалчивала из желания поберечь тебя. Дело в том, что я разошлась с мужем и теперь хлопочу о выдаче мне отдельного вида на жительство и права самостоятельно воспитывать своих детей. Не стану объяснять тебе подробностей дела, чтобы не волновать напрас-

[16] В автобиографической заметке И.М. Гревса говорится: «1893 — летом с Шварсалон и Ростовцевым (Вена — Венеция — Флоренция — Рим — Париж)...» (История и поэзия. С. 316). Несомненно, что речь здесь идет о К.С. Шварсалоне, а не о Л.Д. См. письма Шварсалона к Д.В. Зиновьеву с подробными отчетами о своем пребывании за границей, где нет никаких упоминаний о жене (РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 47). О том же свидетельствуют и письма Л.Д. к отцу (РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2).

[17] РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 47. Л. 21—22.

но тебя и себя. Суть в том, что в Июле я узнала о его измене и написала ему тотчас, что разойдусь с ним. Он моментально полетел домой, написав тебе лживое письмо. По приезде сюда ему удалось подействовать на мою мягкосердечность, и я одно время надеялась на возможность поправить дело, почему и решилась в письме к тебе из Финляндии сделать приписку и тем поддержать обман, ради твоего спокойствия. Но очень скоро последовали такие разоблачения, которые заставили меня употребить все меры для скорейшего и полнейшего разрыва с ним. Дело уже совершенно непоправимо»[18].

Конец 1893 и первая половина 1894 года проходят в хлопотах об устраивающих Зиновьеву-Аннибал условиях раздельного житья, а 28 апреля она пишет отцу: «Я давно не писала вам, так как была в путешествии и не могла сообщить ничего определенного и ничего приятного. Поехала я в Тверскую губернию и в Москву, чтобы повидать своих друзей, посмотреть вторую нашу столицу, которую, в сущности, никогда не видала. Но, к сожалению, и в этот раз мои намерения разбились в прах вследствие отвратительного настроения. В Осташкове я всё время скучала, потому что воздух там очень хороший, и я всё думала о детях в городе и представляла себе их в деревне на воле. В Москве же на меня напала такая вялость и апатия, что я или сидела со своею подругою, или плакала и мечтала о доме своем и о детях. Несмотря на лучшие намерения, не имела сил сходить в галерею Третьякова, не видела храма Спасителя, не была в Кремле. Самое интересное я пережила в опере в Большом Театре. Видела "Демона", которого пел Хохлов, любимец Москвы. Не говоря о прелестной музыке, роскошной постановке и недурных исполнителях, было интересно и приятно видеть непосредственный, сердечный взрыв симпатии и благодарности со стороны публики любимому и уважаемому артисту. Ничего подобного в Петерб<урге> не увидишь. Кроме того, я была на вечере у одного молодого профессора Московск<ого> универс<итета>, где видела много интересных людей. Пробыла вне дома всего 10 дней и третьего дня с радостью вернулась к своим. <...> Я почти решила ехать к тебе, папочка, в Июне. Дело в том, что осенью мне пришлось бы ехать совсем одной, а теперь в Июне предполагают ехать двое моих хороших друзей, с которыми я побродила бы по горам и проехала бы в Италию, а затем приехала бы в Женеву и пожила бы у тебя. <...> Поэтому я с радостью ухватилась за мысль поехать со своими друзьями, из которых один известный и всеми уважаемый профессор истории Гревс»[19]. Именно в этом путешествии, а не летом 1893 года

[18] РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 7 и об.

[19] Там же. Л. 33—35.

она знакомится с Ивановым, о чем повествуют письма, представленные нами в «Интродукции».

Меж тем дело о разъезде с мужем постепенно превращалось в дело о разводе. Нам трудно быть здесь на чьей-либо стороне, но поскольку публикуемая переписка представляет лишь одну точку зрения, нам следует сказать и о том, что, по всей видимости, К.С. Шварсалон вовсе не был таким чудовищем, каким его все время пытается представить Зиновьева-Аннибал. Он сразу взял вину на себя, отказался (во всяком случае, на первых порах) от каких бы то ни было материальных претензий и настаивал лишь на том, чтобы ему разрешалось видеться с детьми, — условие вполне естественное. Обо всех остальных его злодействах мы узнаем исключительно из писем Зиновьевой-Аннибал или ее родных. Достаточно вспомнить, например, историю про толстого блондина, появившегося в Париже летом 1896 года, который вверг в панику всех взрослых членов семьи, хотя его даже никто не видел. Наиболее серьезное обвинение в его адрес — требование, о котором узнаем из письма Зиновьевой-Аннибал к матери от 7/19 октября 1897 г.: «Согласиться же на план Сашин и предложение Шварсалона было бы также очень неразумно. Подумай, какое же право я имею уменьшать наследство моих детей на 50 тысяч! Ведь еще меньше права имею я не выплатить в *общий* капитал деньги эти из моего капитала, когда я его получу. Что же касается *необходимости* выдавать эти деньги Шварсалону ради успеха дела, я уже много писала и Саше, и адвокату, и Владимиру Эдуардовичу. Прибавлю еще тебе самой, дорогая мамочка, что если бы я и согласилась на эту взятку и получила бы развод, далее я по-прежнему была бы предметом для шантажа г-ну Ш<варсалону>...»[20] Однако и ему мы не находим никакого независимого подтверждения, равно как и сообщению Иванова о принесенном Шварсалоном ходатайстве «о расторжении брака в *его* пользу (с предоставлением, следовательно, детей *ему*) по причине душевной болезни жены, обусловленной "печальным (!) законом наследственности" и проявляющейся в idée fixe освобождения от него, Ш-а, и в болезненно-ожесточенном против него настроении...»[21].

Можно представить себе состояние молодой женщины, матери троих детей, практически моментально оказавшейся перед лицом разрушенной семейной жизни. Для обретения какой-то новой перспективы ей было необходимо найти новую опору, — и она нашлась (конечно, поми-

[20] ИРЛИ. Ф. 607. № 337. Л. 1 об — 2. Саша — брат Зиновьевой-Аннибал Александр Дмитриевич; Владимир Эдуардович Гаген-Торн — чиновник (вероятно, Министерства просвещения), помогавший Зиновьевой-Аннибал в ее борьбе со Шварсалоном. О требованиях денег со стороны Шварсалона Зиновьева-Аннибал писала также в письмах к адвокату В.Е. Головину (ИРЛИ. Ф. 607. № 336).

[21] Письмо к А.В. Гольштейн от 3/15 июля 1898 // Переписка с Гольштейн. С. 343.

мо воспитания детей) в искусстве. 26 ноября 1893 г. ее мать, с болью наблюдавшая процесс расхождения, писала мужу в Женеву: «...у Лидии слишком много потребностей и интересов всеобщих, чтобы быть *убитой* разочарованием в личной жизни. Она знает, где найти участие и любовь, но очень довольна своими друзьями, большею частью людей, которые интеллигентны, а это она ценит больше всего. Ничего невозможно сделать для нее. Она давно пробует писать, берет с больш<им> интересом уроки пения и уверяет, что сумеет устроить свою жизнь разумно, не нуждаясь в советах»[22]. И несколько позже, 29 января 1894 г.: «Лидия, у которой всегда был большой голос, не казавшаяся музыкальной, теперь всю зиму им исключительно занимается, и это составляет главную отраду — вполовину она ничего не способ<на> делать. Поэтому она не оставит Петербурга, пока ее учительница там. Многие годы она интересуется и держится совсем иной сферы, чем наша, но теперь, когда нет около нее недобросовестного Г-на Шварсалона, всегда старавшегося вредить семье в ее глазах, она в хороших и ласковых отношениях с братом и Лизой. В Копорье она ни за что не приедет, а отдалась музыке со страстью»[23].

О пении Зиновьевой-Аннибал также складывались легенды. Самую художественную запечатлел поздний дневник М. Кузмина: «Училась петь она у Виардо и, вероятно, благодаря деньгам добилась дебюта в миланском "La Scala", но в день спектакля паралич поразил ее голосовые связки. С <тех> пор у нее остались только единичные великолепные ноты замечательного по тембру и оригинальности голоса среди полного хрипа»[24]. А вот как ту же легенду передала Л.В. Иванова: «У мамы был прекрасный голос. По настоянию отца она стала его развивать, и когда была еще в Париже, брала уроки у знаменитой певицы Полины Виардо, которой тогда было за 80. <...> В Женеве мама дала несколько концертов. <...> На одном из этих концертов, который она дала через несколько дней после неудачных родов, она сорвала себе голос и больше уже не могла петь» (Иванова, 18). Читатель нашей книги сможет и сам собрать информацию о занятиях Зиновьевой-Аннибал пением, но на всякий случай приведем ее в сжатом виде. Она решила стать певицей лишь осенью 1893 года, после разъезда с мужем, некоторое время спустя взяла учительницу. Лето 1894 года прошло без каких бы то ни было занятий, осенью 1894 г. она начинает работать с различными итальянскими преподавательницами пения, и уже весной 1895 года, меньше чем через полтора года сравнительно систематических усилий, настойчиво пы-

[22] РГБ. Ф. 109. Карт. 21. Ед. хр. 29. Л. 53.

[23] Там же. Л. 56 об. Лиза — жена брата Л.Д.

[24] *Кузмин М.* Цит. соч. С. 68.

тается дебютировать — то ли в каком-либо итальянском оперном театре, то ли на русской императорской сцене. Ни тени сомнения в том, что она этого достойна, у нее не возникает. Только когда П. Виардо, несколько уроков у которой Зиновьева-Аннибал действительно взяла, сказала ей, что ничего нельзя сделать, время упущено, она согласилась продолжать петь лишь на домашних вечерах и в любительских концертах.

Отчасти такого же рода была и история с ее романом «Пламенники», который писался с налету, неоднократно переделывался, даже был частично набран. Всякий человек, причастный к литературе, который получал текст «Пламенников» (кроме мужа автора), испытывал едва ли не мистический ужас и при всем желании угодить Иванову отказывался уронить марку своего издания. Так было с Мережковским[25], так было и с Брюсовым. «У Брюсова волосы подымались дыбом, когда в редакцию вносили объемистую рукопись Зиновьевского романа»[26]. Роман этот до сих пор не издан (многочисленные и неразобранные рукописи хранятся в Римском архиве Вячеслава Иванова), потому свое собственное суждение мы отложим до публикации, но подчеркнем единодушие с ним знакомившихся.

Однако само стремление молодой и, сколько можно судить по сохранившимся фотографиям, привлекательной женщины вырваться за пределы семейной жизни, особенно ее трагической стороны, в творчество должно было вызывать интерес у мужчин, и это чувствуется уже по самым первым рассказам Иванова о знакомстве с нею. И в том, что его увлечение было истинно сильным, у нас нет никаких оснований сомневаться. Уже ретроспективно он рассказывал: «...первый раз я женился в Москве, когда мне было 20 лет и три месяца <...> Девять лет я жил с первой супругой и имел дочь. Потом начинается моя любовь к Лидии Димитриевне. Мы думали с ней, что это у нас темное, демоническое влечение, а оказалось, что это истинная была любовь. Уже потом, после мы это узнали. Я развелся с Дмитриевской <так!>, очень сурово и жестоко это было, но я тогда был ницшеанцем, и это мне помогло. Теперь я это воспринимаю как убийство, ибо жизнь Дмитриевской оказалась совершенно разбитой, а дочь наша сошла с ума»[27].

---

[25] Подробнее см.: *Богомолов Н.А.* Русские символисты глазами постороннего // Toronto Slavic Quarterly. 2007. № 22 (www.utoronto.ca/tsq/22/zamyatnina22.shtml). Вошло также (как и другие материалы, опубликованные в этом интернет-журнале) в книгу: *Богомолов Н.А.* Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: Документальные хроники. М., 2009.

[26] *Кузмин М.* Цит. соч. С. 70. Отметим также сравнение «Пламенников» с романом Е.А. Нагродской «Гнев Диониса». Правота Кузмина подтверждается многочисленными высказываниями самого Брюсова.

[27] *Альтман М.С.* Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., [1995]. С. 48

История первых девяти лет этого брака с достаточной степенью полноты рассказана в письмах. Потом они прерываются, так как супруги почти неразлучны, поэтому о последних четырех годах жизни Иванова и Зиновьевой-Аннибал следует рассказать здесь.

## 2

После триумфальных лекций в Париже весной—летом 1903 года они возвращаются в Женеву и снова ведут уединенный образ жизни, но уединенный только по внешним обстоятельствам, а не по внутренней насыщенности. Уже в сентябре этого года они отправляют в издательство «Скорпион» свои новые произведения: Иванов — сборник стихов «Прозрачность», Зиновьева-Аннибал — драму «Кольца». Вообще работа Иванова в это время отличается невиданной для него интенсивностью: после «Прозрачности» он готовит к печати в журнале «Новый путь» свои парижские лекции, что было не так легко, ибо предварительные черновики требовали существенной доработки, а параллельно с этим пишет трагедию «Тантал», законченную уже в 1904 г. При известном его кунктаторстве такая стремительность выглядит уникальной.

Зиновьева-Аннибал работала меньше: в январе 1904 г. она писала Ал. Н. Чеботаревской: «Потеряла ребенка в конце третьего месяца. Была операция, была долгая слабость, еще длится даже последняя, хотя силы прибывают теперь быстро»[28]. Тем не менее она успела написать цикл стихотворений в прозе «Тени сна», которые Брюсов, судя по всему, печатать не хотел настолько, что ссылался на потерю рукописи, которую автору в итоге пришлось восстанавливать[29].

В ноябре Иванов получил от Брюсова приглашение сотрудничать во вновь организуемом журнале «Весы» и уже с третьего номера начал там активно печататься. Но особенно действенным стало его сотрудничество после того, как они с Зиновьевой-Аннибал провели весной и летом 4 месяца в Москве, интенсивно общаясь с Брюсовым, Бальмонтом, С.А. Поляковым. Вернувшись в Женеву в июле 1904 г., они развернули целую

[28] В дальнейшем при изложении обстоятельств жизни Ивановых, если это не оговорено специально, мы опираемся на документы, опубликованные в трех наших публикациях: К истории вхождения Вяч. Иванова в литературный мир. Статья вторая: Четыре месяца в символистской Москве // Toronto Slavic Quarterly. 2008. № 23 (http://www.utoronto.ca/tsq/23/bogomolov2.shtml); Первый год «Башни» // Toronto Slavic Quarterly. 2008. № 24 (http://www.utoronto.ca/tsq/24/bogomolov24.shtml); Заморье // Toronto Slavic Quarterly. 2008. № 25 (http://www.utoronto.ca/tsq/25/bogomolov25.shtml) и вошедшие в упомянутую выше книгу.

[29] *Богомолов Н.А.* От Пушкина до Кибирова. М., 2004. С. 295—297.

кампанию по обсуждению проектов дальнейшей деятельности журнала (в ней принимали участие оказавшиеся тогда в Женеве Поляков, М.А. Волошин и М.Н. Семенов) и по привлечению новых сотрудников. С 8-го номера в «Весах» начала печататься Зиновьева-Аннибал, были опубликованы статьи М.М. Замятниной и Ф. Остроги, велись переговоры с С.А. Котляревским, планировалось участие С.Н. Булгакова. Впрочем, из этого получилось не так много, как ожидалось.

Тем временем в сентябре 1904 г. скончался Д.В. Зиновьев, отец Лидии Дмитриевны, и длить пребывание в Женеве уже не было смысла. Ивановых удерживали только бытовые заботы, прежде всего судьбы детей. Весной 1905 г. они переехали в Россию, и с августа начался знаменитый период «Башни», важнейшее содержание которого составили «среды», ставшие одним из наиболее характерных явлений русской культуры 1905—1907 годов[30]. Но параллельно с этим продолжалась и частная жизнь четы Ивановых, также наполненная массой переживаний. Лето 1906 года было ознаменовано влюбленностью Иванова в С.М. Городецкого и реакцией Зиновьевой-Аннибал на это[31], период с конца 1906 по лето 1907 г. — вмешательством в их общую жизнь М.В. Сабашниковой. «Башенный» период ознаменовал последний и, видимо, наиболее существенный период жизни Зиновьевой-Аннибал.

Недоброжелательный, но внимательный и зоркий М. Кузмин в позднем своем дневнике, вспоминая «Башню», подробно описал Зиновьеву-Аннибал в это время: «К тому времени, как я познакомился с Зиновьевой, ей было года сорок два[32]. Это была крупная, громоздкая женщина с широким (пятиугольным) лицом, скуластым и истасканным, с негритянским ртом, огромными порами на коже, выкрашенным, как доска, в нежно-розовую краску, с огромными водянисто-белыми глазами среди грубо наведенных свинцово-пепельных синяков. Волосы едва ли натурального льняного цвета, очень тонкие, вились кверху вокруг всей головы, делая ее похожей на голову медузы или, более точно, на голову св. Георгия Пизанелло. Лицо было трагическое и волшебное,

---

[30] Помимо нашей работы, указанной в прим. 28, назовем также: *Shishkin Andrej.* Le banquet platonicien et soufi à la «Tour» Pétersbourgeoise: Berdjaev et Vjačeslav Ivanov // Cahiers du Monde russe. 1994. Vol. XXXV. № 1/2. P. 15—80; *Шишкин Андрей.* История Башни Вячеслава Иванова. Roma, 1996; *Он же.* Симпосион на петербургской Башне в 1905—1906 гг. // Русские пиры. СПб., 1998. С. 273—252; Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006.

[31] К этому времени относится довольно значительный комплекс переписки Иванова с Зиновьевой-Аннибал, который предполагается к опубликованию в составе дневника Иванова, приготовленного нами к печати.

[32] Знакомство произошло в январе 1906 г., когда Зиновьевой-Аннибал было 39 лет.

Сивиллы и аэндорской пророчицы. Ходила она в каких-то несшитых хитонах разнообразных цветов (чаще всего оранжевых, розовых, желтых, но и мальвовых, и синих, и морской воды, и жемчужных). <...> Когда Бакст пригласил ее завтракать, бедная раскрашенная Диотима, в плохо сшитом городском платье, при дневном свете в элегантной холостой квартире Бакста производила жалкое и плачевное впечатление. Но у нее было от предводительской породы уменье следить за всеми гостями, всем найти любезное и ласковое слово...»[33] Заметим даже в этом описании слова «лицо... трагическое и волшебное». У других мемуаристов, независимо от их отношения к Зиновьевой-Аннибал, описания еще более заострены в направлении противоречивости внешнего облика и внутренней его сути. «В Лидии <...> поражала микеланджеловская тяжеловесность; громким был голос — когда-то она готовилась стать певицей. Говорила она — сначала как бы нащупывая, затем — неожиданно резко. <...> Теперь я держусь того мнения, что именно она вносила в этот союз его духовную субстанцию, а он лишь давал ей форму — художественную и мыслительную. Там, где она следовала за ним на извилистых путях спекуляции, нередко состоявших на службе его страстей, она впадала в заблуждения...»[34] И почти так же у другой мемуаристки, безответно влюбленной в Иванова: «Ничего от декадентского стиля в обоих: даже небрежно разрисованное лицо Лидии Дмитриевны, бровь, криво сбегающая над огневыми синими глазами, и скованный булавками красный хитон — скорее только знак дерзания, вызова общепринятой эстетике, только наивный манифест. <...> эти двое — Вяч. Иванов и Зиновьева-Аннибал — счастливы своей внутренней полнотой, как не бывают счастливы русские люди, как не бывали тогда, в придушенными декабрьскими днями позади. <...> Не тогда — *теперь* только слышу за ее безудержными излияниями тревогу, не знающую, куда себя бросить. Отсюда и декадентские писания, рискованность ее жизненных выходок. Но как различны источники: у русского декадента чаще от опустошенности, от скудости крови, у нее — от разрывающего ее жизненного избытка»[35]. Здесь уже вряд ли могут быть сомнения, что не только личность Зиновьевой-Аннибал определяла эти впечатления, но и ее писания. Выход сборника рассказов «Трагический зверинец» и повести «Тридцать три урода» (оба — 1907) принес ей подлинную известность, которая слилась не только с обликом многим известной хозяйки интеллектуального салона, но и с памятью о трагически погибшей женщине. Помимо этого

[33] *Кузмин М.* Цит. соч. С. 70—71.

[34] *Волошина Маргарита* (Сабашникова М.В.). Зеленая Змея: История одной жизни. М., 1993. С. 154.

[35] *Герцык Евгения.* Воспоминания. М., 1996. С. 115—117.

она писала и другую прозу (посмертно собранную лишь в 1918 г. в сборнике «Нет!»), написала комедию в стихах «Певучий осел» (при жизни опубликовано первое действие, полностью — только в 1993 г.), работала над драмой «Великий колокол». Внешняя составляющая жизни значительно уменьшилась.

После блестящего первого года «Башни» второй сезон был гораздо более скромным. С конца ноября 1906 до января 1907 г. Зиновьева-Аннибал серьезно болела, лежала в больнице или дома в постели, что препятствовало собраниям. Потом началась история с М.В. Волошиной-Сабашниковой, также не способствовавшая улучшению атмосферы. Если мы не ошибаемся, то осенью 1906 г. состоялась всего одна «среда», довольно выразительно описанная в воспоминаниях Сабашниковой и дневнике Кузмина, еще две — в конце января и феврале 1907 г. Характерно, что две из них были посвящены «Эросу» — тому, что волновало Ивановых в это время чрезвычайно сильно. Подробная история их переживаний весны 1907 года еще должна быть написана на основании документальных материалов, сохранившихся от того времени, причем материалов не только самих Ивановых, но и Волошиных, и сторонних наблюдателей.

19 апреля дом Ивановых покинула М.В. Сабашникова, но напряжение продолжало сохраняться, и длилось оно еще и после того, как на лето Ивановы отправились в имение тетки М.М. Замятниной Загорье, недалеко от известного местечка Любавичи. Только визит Сабашниковой на два или три дня в августе разрядил ситуацию, по крайней мере для Ивановых. Насколько можно судить по имеющимся письмам, август, сентябрь и первую половину октября они спокойно работали, надеясь как можно дольше использовать деревенскую жизнь, хотя Сабашникова с нетерпением ждала в Крыму их приезда туда. Сами Ивановы то собирались приехать, то откладывали, но все разрешилось трагически неожиданно. Вспоминая события этого времени, Кузмин записывал: «...както в одно лето Лид. Дм. умерла от скарлатины в деревне, где жил Вяч., Лид. Дм. и Вера. Ходила по богомольям и по больным, горела, хотела умереть»[36]. Этого желания смерти, однако, никакие известные нам документы не фиксируют, хотя среди них есть и подробные рассказы Иванова, и еще более подробные воспоминания В.К. Шварсалон, и письма. Как кажется, мы должны констатировать, что эта смерть была случайной и неожиданной для всех. Но она ознаменовала начало нового этапа жизни для Иванова, — того этапа, который находится уже за пределами целей нашей публикации.

[36] *Кузмин М.* Цит. соч. С. 107. Отметим, что «богомолья» здесь отнюдь не реальные: так Зиновьева-Аннибал называла свои прогулки по окрестностям Загорья.

3

Следующие по важности персонажи переписки — дети. От брака Зиновьевой-Аннибал со Шварсалоном их было трое. Мы имеем возможность уточнить даты их рождения. Старший, Сергей, родился в имении Зиновьевых Копорье Петербургской губ. 21 сентября 1887 г.[37] Правда, с этой датой были небольшие недоразумения, о которых он сам писал Иванову 2 октября 1915 г.: «...о рождении своем я даже забыл, настолько привык считать, что оно — 25-го (как у меня ошибочно значится в метрике и в паспорте, а не 21-го, как на самом деле»[38]. Традиционно считается, что второй ребенок, дочь Вера, ставшая третьей женой Иванова, родилась в 1890 году. Однако на самом деле это произошло годом ранее: 7 августа (нового стиля, т.е. 26 июля по старому) 1889 года, о чем Шварсалон известил Д.В. Зиновьева телеграммой. Жили они в то время в Италии, почтовый адрес был: Sta Margherita. Ligure. Casa Costa[39]. Семейная легенда о рождении гласила: «Веру она чуть не родила на скале Средиз<емного> моря»[40], хотя на самом деле все было не так романтично. 6/18 августа 1889 г. К.С. Шварсалон писал тестю: «Дорогой Дмитрий Васильевич!

Спешу несколько подробнее рассказать Вам о рождении нашей девочки (Веры).

Родилась она в 10 ч. 35 м. вечера, роды были в этот раз идеально хороши: еще в 10-м часу веч. Лидюша была в саду у моря — вечер был дивный, и мы даже катались все в лодке, — так что с небольшим час были страдания. Все шло и окончилось как нельзя лучше. Лидя в прекрасном состоянии, ребенок — большой, здоровый, крепкий и горластый»[41].

О рождении младшего — сына Константина Шварсалон-старший известил тестя телеграммой от 23 июня 1892 г. со ст. Перкиярви Финляндской железной дороги: «Родился сын сегодня ночью»[42]. Это подтверждается и письмом С.А. Зиновьевой к мужу от 4 июля: «Тебе писал Лидин муж, и ты знаешь, что 23 июня она родила благополучно второго сына»[43]. Значит, в тот момент, когда Зиновьева-Аннибал стала жить

---

[37] Дата устанавливается на основании телеграммы его отца тестю (уже в те годы постоянно жившему в Женеве) от этого числа (РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 46).

[38] РГБ. Ф. 109. Карт. 39. Ед. хр. 1. Л. 55.

[39] Он есть не только в письмах К.С. Шварсалона к Д.В. Зиновьеву, но и, скажем, в письме С.И. Алымовой к Л.Д. Шварсалон (РГБ. Ф. 109. Карт. 11. Ед. хр. 25).

[40] Письмо С.А. Зиновьевой к Д.В. Зиновьеву от 4 июля 1892 г. (РГБ. Ф. 109. Карт. 21. Ед. хр. 29. Л. 42 об).

[41] РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 46. Л. 28.

[42] Там же. Ед. хр. 47. Л. 13.

[43] Там же. Карт. 21. Ед. хр. 29. Л. 42.

недалеко от Ивановых во Флоренции, осенью 1894 года, старшему сыну было 7 лет, Вере — 5, Косте — всего два года.

Хотелось бы обратить внимание читателей на то, что в публикуемой переписке содержится много весьма интересных сведений о воспитании детей в конце XIX и начале XX века в высокоинтеллигентной семье. Особенно показательны они, если мы вспомним, с каким ужасом Зиновьева-Аннибал описывала свое собственное детство с непокорностью и тяжело переносимыми наказаниями. Как смотрятся на этом фоне безжалостные наказания девятилетнего Кости в Швейцарии, вплоть до серьезных раздумий о помещении его в школу-реформаторий! Или нередкие исступленные жалобы на несносность пятилетней Лидии! Видно, что детям нелегко давалась жизнь рядом с матерью. Да и в дальнейшем все сложилось не так, как можно было ожидать.

Читатели переписки расстанутся с Сергеем, когда ему вот-вот должно исполниться 16 лет и он продолжает учиться в хорошей английской школе, куда попал еще в 1899 году. Однако в 1903 г. покровительствовавший ему учитель Дж. Л. Пэтон перешел в другую школу, в Манчестере, и, как можно предполагать, отношения у Сергея внутри своего учебного заведения обострились, и школу он кончал уже в Женеве, где осенью 1905 г. поступил в университет[44]. Его поведение и вообще отношение к жизни весьма тревожило Зиновьеву-Аннибал, да и оставаться в Женеве ему не было смысла; однако перевод в русский университет из-за разницы в образовании был затруднен, и только знакомство Иванова с ректором Дерптского (Юрьевского) университета помогло решить проблему. Его портрет нарисовал М. Кузмин в позднем дневнике: «На редкость некрасивый мол<одой> человек с какой-то экземой на лице и с совершенно белыми, почти седыми, как и всех ивановских детей, волосами, чванный и неумный, он держался родни Л.Дм., ориентировался на Зиновьевых (но штатски, не по-военному), злился на то, что у него недостаточно денег; что у Вяч. не бывает общества, ухаживал за прислугами, <...> пререкался с Вяч., который на него шипел как змей, а Сергей, желая сказать "корифеи литер<атуры>", говорил "эпигоны" и т.п.»[45] С.К. учился на юридическом факультете, не отличаясь ни особым прилежанием, ни благонравностью. Так, 6 декабря 1908 он сообщал отчиму: «Я тебе не рассказал во время своего приезда о том, что со мною было с Мая месяца. Я тогда в Мае влюбился в одну женщину; летом немножко переписывался; с Сентября у меня с ней связь. Я ее очень люблю. Она

[44] Письма Иванова к нему с наставлениями о должном отношении к учению опубликованы: *Богомолов Н.А.* Вячеслав Иванов об университетском образовании // Филологические науки. 2007. № 3. С. 28—35.

[45] *Кузмин М.* Цит. соч. С. 106. Отметим, что М.Л. Гофман кратко определил его: «хмурый и скучный» (Новый журнал. 1955. Кн. XLIII. С. 124).

летом совсем не любила; теперь — немножко. Она мне иногда помогала работать, т.е. не она, а в смысле подъема; иногда, и чаще, наоборот, мое настроение целыми днями мешало мне что-либо делать. Семестр этот я провел сумасшедше и отвратительно; экзаменов обещанных я сдать не могу. Я истратил много денег, и теперь у меня долги, некоторые спешные. В Ноябре, кажется, 13-го, я заразился триппером (она — проститутка), к счастью, не в тяжелой форме; теперь лечусь; но все же с ней вижусь. Дорогой Вячеслав, мне необходимо тебя видеть; я хочу говорить о себе и о ней. Может быть, ее можно вытянуть из омута?»[46] И как ожидаемый итог этого романа — письмо от 29 мая следующего, 1909 года: «...только одно для меня выяснилось совершенно ясно: это моя большая вина перед тобой, растрата твоих денег, и я прошу тебя о прощении»[47]. Однако со временем университет он все же закончил и в силу родственных связей мог рассчитывать на серьезную карьеру. В 1911 г. он писал Иванову: «Сегодня я представлялся в Сенате Обер-Прокурору, которому передал от дяди Саши письмо; он очень любезно со мной беседовал минут 5—10, вернее, расспрашивал меня об Университете, о занятиях, о служебных намерениях; он принял меня на службу в Сенат и велел сделать представление в Министерство Юстиции»[48]. Он служил в Кассационном департаменте Сената, в Горном департаменте Министерства финансов, но карьера не задалась. Как можно понять, на этом сказалась и скандальная история, попавшая в газеты, с пощечиной М.А. Кузмину[49], и азарт игрока, проигрывавшего серьезные деньги. С объявлением войны он ушел в действующую армию, командовал ротой. Уже в сентябре 1914 г. был ранен, перенес операцию и из армии был уволен (см.: Иванова. С. 58, 63). Известно, что в 1915 г. он служил в цензуре на Главном телеграфе, после революции занимался случайной литературной работой. В биографической справке о нем Р.Д. Тименчик сообщил: «По-видимому, репрессировался: в 1930-е гг. печатается в изданиях Беломорстроя. Последние сведения о нем — был в Курске в 1940 г.»[50]

О дальнейшей судьбе второго сына, Кости, у нас сведений еще меньше. В 1903 году ему было 11 лет, и он учился в школе в Женеве. На

---

[46] РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 55. Л. 61—62 об.

[47] Там же. Ед. хр. 56. Л. 31 об. — 32.

[48] РГБ. Ф. 109. Карт. 39. Ед. хр. 1. Л. 17. *Дядя Саша* — А.Д. Зиновьев, напомним, губернатор Петербургской губернии.

[49] Подробнее см.: *Богомолов Н.А.* К одному темному эпизоду в биографии Кузмина // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. С. 166—169; *Азадовский К.М.* Эпизоды // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 123—129; *Кобринский Александр.* Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт литературной жизни. СПб., 2007. С. 327—364.

[50] *Пяст Вл.* Встречи. М., 1997. С. 328.

Пасху 1907 года он вместе с Лидией и М.М. Замятниной приехал в Петербург. Его портрет того времени также оставил Кузмин: «Еще добрее, добродушнее и привлекательнее <чем Вера> был Костя <...> Те же белые волосы, румяные щеки, крупные поры и толстые губы, но выше ростом и оживленнее остальных Шварсалонов»[51]. С осени 1907 г. он учился в реальном училище Гуревича[52], с 1908 года — в 1-м кадетском корпусе, после его окончания — в Михайловском артиллерийском училище. С 1914 г. — на фронте, откуда не вернулся. По предположению Н.В. Котрелева, в конце 1917 или начале 1918 г. стал жертвой солдатского самосуда[53].

О биографии дочери Лидии рассказывать вряд ли имеет смысл, поскольку читатель вполне имеет возможность узнать ее из ее собственных воспоминаний, на которые мы уже не раз ссылались, а также из других источников[54].

Самая трудная задача — рассказать о жизни Веры Константиновны Шварсалон, любимой дочери Зиновьевой-Аннибал. Трудность состоит в том, что имеющиеся материалы, как правило, написаны с пристрастием того или иного рода, чаще всего обусловленным тем, что сформулировала Ахматова: «Мне особенно была неприятна "игра" <Иванова> в "однолюба", как он любил себя именовать, потому что я жалела и любила бедную Веру. То, что рассказывал о его семейных "забавах" Х. — ужасно»[55], или даже еще резче: «В. Иванов вступил в связь со своей падчерицей — Верой Шварсалон, убедив ее, что этого хочет ее покойная мать, являющаяся ему во сне. В результате у В. Шварсалон должен был появиться ребенок»[56]. Мы постараемся быть предельно сдержанны.

Вера Константиновна училась в Швейцарии, что задержало ее воссоединение с семьей: если Сергей приехал в Петербург еще в 1906 году, Костя и Лидия — весной 1907 г., то Вера, кончавшая школу, жила в Женеве до лета 1907 г. и сразу прибыла в Загорье. Там она стала свиде-

---

[51] *Кузмин М.* Цит. соч. С. 107.

[52] См. упоминание об этом в письме В.К. Шварсалон к О.Ф. Остроге (РГБ. Ф. 109. Карт. 37. Ед. хр. 30. Л. 2).

[53] Писатели русского зарубежья 1918—1940. М., 1994. Ч. 1. С. 216.

[54] В первую очередь отметим среди них воспоминания Д.В. Иванова: D'Ivanov à Neuvecelle: Entretiens avec Jean Neuvecelle recueillis par Raphael Aubert et Urs Gfeller / Préface de Georges Nivat. [Montricher, 1996] (русский перевод — Обер Рафаэль, Гфеллер Урс. Беседы с Димитрием Вячеславовичем Ивановым / С предисл. Ж. Нива, пер. Елены Баевской и Михаила Яснова. СПб., 1999); *Иванов Д.В.* Из воспоминаний // Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 34—71.

[55] Записные книжки Анны Ахматовой (1958—1966). М.; Torino, 1966. С. 617.

[56] *Лукницкий П.* Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Paris, 1991. Т. 1. 1924—1925. С. 190.

тельницей смерти матери и там же почувствовала, что жизнь с отчимом будет ей нелегка[57]. Однако она училась на Высших женских курсах, вела литераторскую деятельность (переводила статьи для журнала «Аполлон», помогала в переводах Ал. Н. Чеботаревской), привлекала внимание многих мужчин, появлявшихся на Башне. Но все чаще и чаще свой взгляд останавливал на ней Иванов. В его дневнике 1909 года повторяются фразы, записанные измененным почерком, напоминающим почерк покойной жены: «Дар мой тебе дочь моя, в ней приду — Ora Sempre», «Мой верный дар тебе моя Дочь», «Дорофея Дар мой Ее живое тело тебе» (II, 775, 777). Когда летом того же 1909 г. устраивается его свидание с М.В. Сабашниковой, он настаивает на том, чтобы при нем присутствовала Вера. Ей было позволено даже вмешиваться в деятельность оккультистки А.Р. Минцловой, подолгу беседовавшей с Ивановым и пророчившей ему великое будущее.

Вряд ли было возможно войти в новую жизнь, не обдумав ее смысл и значение. Вот как рассказывало об этом семейное предание, переданное О. Дешарт: «Память обуславливает реальную связь родового преемства. Чувство живого единства различных поколений с младенчества было ведомо Вячеславу <...> Много позднее В.И. пришлось пережить тайну преемства между живыми и ушедшими как решающее событие своей личной жизни: Вера была в Загорье при смерти матери. Лидия столь же страстно любила свою дочь, как мать Вячеслава своего сына, и столь же горячо была ею любима. Их проникновенная дружба никогда не прерывалась биографическими или идеологическими затруднениями и разрывами. Внешне Вера не казалась похожей на мать: Лидия была высокой, полной женщиной с прекрасными и мощными плечами и руками. Русский склад лица, нежный, волнистый профиль, слегка выпуклый лоб; в смуглых орбитах светлые, с большими тенями под ними, глаза, мятежно темневшие в минуты волнений; маленькие, изящные уши, большой, умный рот и совсем особенные, золотистые с розово-пепельным оттенком, пушистые волосы, образующие вокруг головы не то львиную гриву, не то ореол <...>. Вера была тоненькой девушкой со строгими, большими, потерянно вдаль смотревшими глазами; гладкие, на пробор расчесанные волосы, тяжелая, золотая коса, положенная на голову точно диадема; античный наклон длинной шеи; правильный выточенный профиль — голова Мадонны на спортивно упругом, мальчишески прямом теле. <...>

Вера осталась одна с Вячеславом после смерти матери в ожидании, когда размытые дождями дороги покроются снегом и согласятся стать

[57] См. ее исповедальное письмо к М.М. Замятниной (*Кобринский Александр.* Цит. соч. С. 339—340).

проезжими. Вместе, вдвоем повезли они тело Лидии в Петербург. Общее горе их сблизило. Шли года. Отношения углублялись, осложнялись, душевная близость переходила в любовь. Чувство В.И. к "ее дочери" становилось противоречивым: возможно ли? Допустимо ли? Девочка, которую он знал с пятилетнего возраста, которую носил на руках, — ей ли стать его женою, занять место ее матери? Сперва он попытался отойти от нее, но внутренне уже знал, что сближение, соединение их вызывается не только страстным влечением, что оно духовно оправдано, предопределено, необходимо. Он помнил: однажды, незадолго до роковой болезни своей, Лидия задумчиво, тихо сказала, глядя, указывая на Веру: "Быть может, она..." Что это — намек, завет, завещание?

В.И. был спокоен: он твердо знал, что его решение соединить свою судьбу с Верою есть не измена Лидии, а верность.

Летом 1910 г. В.И. жил в Италии, собирал материалы для книги о Дионисе. Вера приехала к нему из Греции. Как и с ее матерью, все решилось в Риме. Вечный Город вернул В.И. его прошлому. <...>

В.И. был спокоен: он твердо знал, что его решение соединить свою судьбу с Верою есть не измена Лидии, а верность» (I, 133—135).

Нетрудно в этом повествовании уловить неточности. Веру отправили в Петербург еще до того, как тело ее матери Иванов перевозил туда. Он не жил в Италии, а приехал туда (сперва во Флоренцию, что еще более обостряло сходство) специально к Вере[58]. Но суть вряд ли может измениться от этого. Как вспоминал Модест Гофман: «В 1909 году я думал, что женюсь на Вере, хотя до меня и доходили слухи, которым я не верил, что Вячеслав Иванов стал мужем своей падчерицы; в 1910 году стало совершенно очевидным, что моей женитьбы никогда не будет»[59]. В начале 1912 г. стала очевидна беременность Веры, и Ивановы уехали за границу. По нескромности М. Кузмина, которому В.К. предложила фиктивный брак, вся история стала достоянием самых широких ококолитературных кругов и вылилась в упомянутую выше пощечину ему со стороны С.К. Шварсалона.

Родившийся во Франции сын был назван Димитрием (1912—2003), и ему мы обязаны сохранением Римского архива отца, организацией многих конгрессов, посвященных изучению жизни и творчества Вячеслава Иванова. Согласно его завещанию, был организован «Исследовательский центр Вячеслава Иванова» в Риме.

---

[58] Подробнее см.: *Богомолов Н.А.* Из итальянских впечатлений Вячеслава Иванова // Europa orientalis. 2002: 2. С. 105—114.

[59] *Гофман М.Л.* Из петербургских воспоминаний // Новый журнал. 1955. Кн. XLIII. С. 132.

Примерно через год после его рождения Иванов с Верой вернулись в Россию — на этот раз в Москву. Их московская жизнь была совсем иной, чем жизнь на Башне, и продолжалась дольше: семь лет вместо двух. В пореволюционную разруху, голод и холод В.К. заболела скоротечной чахоткой и скончалась почти в свой день рождения — 8 августа 1920 года.

## 4

Мы не знаем в точности, когда в жизнь Ивановых вошла Мария Михайловна Замятнина (1862—1919). Согласно тому же семейному преданию, дело обстояло так: «У Лидии была подруга юности — Мария Замятнина, женщина незаурядная. Самостоятельно мыслящая, энергичная, с высшим образованием (что тогда для девушки из аристократической среды было редкостью, считалось неблаговидным, даже неприличным), Марья Михайловна обладала врожденным организаторским талантом. <...> Незаметно, среди светской болтовни и разговоров на "умные" темы, она быстро и ловко устраивала не только студенческие издания профессорских диспенсов; она организовала "Общество помощи учащейся молодежи", находила и оплачивала квартиры, зорко следила за ею основанной бесплатной столовой — все это в тогдашней России, при ужасающей бедности студентов, было делом сложным и важным. Замятнина, о том не стараясь и не думая, всюду занимала руководящее положение <...> Она вся, до конца отдавалась делу, которое делала, и ей совершенно некогда было думать о себе.

Когда, еще в пору их скитальчества, Лидия и Вячеслав тайком в Петербурге свиделись с Замятниной, Марья М. была обрадована, увидев подругу свою до неузнаваемости духовно расцветшей, творчески вдохновенной, и она была потрясена, восхищена явлением блестящего, чарующего, многообещающего молодого ученого и поэта. Со свойственной ей страстностью и прямолинейностью она сразу решила, что совершенно недопустимо топить этих "олимпийцев" в мелочных семейных заботах, решила взять на себя всю прозу жизни, а их освободить.

Из России тогда В.И. и Л.Д. уехали вместе с Замятниной, и она сопровождала их всюду, куда они ездили со всей семьей, а в их отсутствие вела весь дом и воспитывала детей» (I, 41—42).

Однако странным образом ни малейших следов раннего знакомства Зиновьевой-Аннибал с Замятниной нам обнаружить не удалось. Нам известно, что Замятнина окончила Высшие женские курсы в

1893 г. и работала там же помощником библиотекаря[60]. Она дружила с С.И. Алымовой, приятельницей Зиновьевой-Аннибал, приятельницей до такой степени, что лето 1895 года она проводила в Бретани с ее детьми, пока сама Зиновьева-Аннибал находилась в Париже. Но впервые имя Замятниной появляется в переписке только летом 1899 года, однако в контексте, явно свидетельствующем, что это не мимолетное знакомство: в начале лета она едет в Неаполь наблюдать за жизнью детей Зиновьевой-Аннибал, потом, уже в конце лета, помогает всей семье переехать в Англию и только глубокой осенью (вероятно, в конце октября) возвращается домой. В связи с этим рискнем высказать предположение: не было ли знакомство с Замятниной плодом общения с И.М. Гревсом летом 1898 года в Петербурге? Впрочем, настаивать на этой гипотезе не возьмемся.

В любом случае, Замятнина именно с 1899 г. проводит все больше и больше времени с Ивановыми и их детьми. Летом 1900 г. она вывозит детей из Англии, потом поселяется с ними в Женеве, куда приезжают Ивановы и арендуют виллу Жава, а с марта 1901 г. оказывается практически решено ее постоянное пребывание с семьей. 23 августа (старого стиля) 1901 г. Зиновьева-Аннибал сообщала И.М. Гревсу: «Зимою прошлого года основали очаг и утвердили семейных пенатов на неопределенные года в Женеве возле моего старика. Наняли там за городом старый дом со старым садом, где есть и вишни, и сливы, и даже несколько кустов винограда. Там поселили младших 3-х и с ними на время нашего отсутствия осталась Мария Мих.<айловна> Замятнина, наш добрый гений хранительный. Кстати здесь скажу, что она решила всецело отказаться от своего библиотекарства и прирасти к нашей семье любимым ее членом»[61]. И действительно, с тех пор она находилась при семье (или той ее части, где в тот момент находились дети) практически безотлучно. В уже не раз цитированном нами позднем дневнике выразительный ее портрет оставил М. Кузмин: «Замятнина была старая девушка, вложившая все свое любовное и материнское чувство в семейство Ивановых <...> Она не только вела хозяйство, следила за детьми, правила корректуры, подготовляла рукописи, репетировала с Лидочкой, но чуть ли не готовилась к лекциям, которые должен был читать Вяч. Ив. И самопожертвование, и требовательность, и смирение, и обидчивость, и благодарность за малейшее внимание — все соединялось в образ для дру-

[60] Это делает почти невероятным рассказ Л.В. Ивановой: «Мария Михайловна (мы ее звали Марусей) познакомилась с мамой на Высших женских курсах...» (Иванова, 14).

[61] История и поэзия. С. 232.

гих смешной мироносицы»[62]. И не случайно в стихотворениях, где она так или иначе имеется в виду, Кузмин называл ее Марией Египетской и евангельской Марфой.

Вместе с тем было бы неверно утверждать, что все в отношениях семейства и Замятниной было совершенно безоблачно. Внимательный читатель писем без особого труда найдет описания разных недоразумений, непониманий и едва ли не скандалов. Но все-таки в подавляющем числе случаев Замятнина исходила из своей позиции, сформулированной вскоре по приезде в Петербург, 15 июня 1907 г.: «Счастливый день сегодня для меня. День, светящий на жизнь. Чувствовалась глубокая святая любовь между мною и Вячеславом. Тихим веянием, ласково любили мы. Молюсь горячо за него, моего дорогого мне — любимого всею душою моею, всем существом»[63].

Это чувство особенно укрепилось после смерти Зиновьевой-Аннибал, когда Замятнина окончательно оставила попытки какого бы то ни было своего самовыражения. До того мы знаем о ее занятиях искусствоведением в Женевском университете, о статье, посланной в «Весы», но оставшейся ненапечатанной, и еще об одной, уже опубликованной[64]. Ни о чем подобном более речи не было. Зато мы обязаны ее трудолюбивости сохранению многих важных документов. Именно она вела протоколы собраний «Академии стиха»[65], переписывала важные письма, отправляемые Ивановым, перебеляла сочинения Зиновьевой-Аннибал, по временам вела хронику жизни той части семейства, с которой в тот момент находилась. Ее вклад в сохранность памятных бумаг трудно переоценить.

Как и В.К., Замятнина умерла вскоре после революции. «Отопление в нашем доме совсем прекратилось. Маруся стала слабеть, тело ее опухло; от слабости предметы начали падать у нее из рук. По совету докторов, ее поместили в больницу <...> Маруся телефонировала, что ей в больнице голодно. К ранней весне 1919 года она заразилась там сыпным тифом (была сильнейшая эпидемия) и умерла. Мы похоронили ее на Новодевичьем кладбище, близко от Эрна. Гроб был из деревянных досок со щелями» (Иванова, 78). Могила ее, как и могила В.К., утрачена.

---

[62] *Кузмин М.* Цит. соч. С. 106.

[63] Дневниковые записи М.М. Замятниной // РГБ. Ф. 109. Карт. 43. Ед. хр. 6. Л. 53.

[64] Замятнина М. [Рец. на кн.:] J.K. Huismans. Trois Primitifs. P., 1905 // Весы. 1904. № 12. С. 64—66.

[65] См.: *Гаспаров М.Л.* Лекции Вяч. Иванова о стихе в Поэтической Академии 1909 г. // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 89—106.

## 5

Помимо Замятниной, постоянными насельницами мест семейного пребывания были так называемые «девушки» Зиновьевой-Аннибал. «Мама возила с собою нескольких девушек, которых держала как членов семьи. Она их находила в России, где спасала их от тяжелых, иногда трагических обстоятельств. Помню Дуню из рыбацкой деревни, Анюту, Олю — дочь пьяницы-художника, прикладных дел мастера <...> Вспоминаются еще имена Васюни и Кристины. За воспитанием детей родители очень внимательно следили, но они часто и надолго уезжали <...> и практическими подробностями не занимались. До женевского периода они предоставляли их девушкам...» (Иванова, 14).

Надо сказать, что в вопросе об этих «девушках», как и вообще в вопросе об отношении Зиновьевой-Аннибал к низшим по социальному положению людям, есть по крайней мере две стороны. Прежде всего нельзя представлять дело так, как изображала его М.В. Сабашникова: «Быт их для тогдашней России был очень необычен. Все женщины нашего круга держали, по меньшей мере, кухарку. Лидия же, помимо своих литературных работ и приема множества посетителей, делала все сама, так как не терпела в своем жилище человека, не разделяющего полностью их жизни»[66]. Не думая усомниться в правдивости мемуаристки, скажем, что внимательный читатель переписки обратит внимание на неоднократные упоминания кухарок, прислуг (по крайней мере, приходящих) и т.п. Вероятно, бывали периоды, когда у Ивановых прислуги не было, но эти периоды не были продолжительными. А в женевский и более ранние периоды их функции зачастую выполняли «девушки». Формальный статус их в доме, кажется, определен не был, но они занимали некоторое межеумочное положение, которое могло быть труднее, чем положение служанки. С одной стороны, они напоминали воспитанниц, однако, как прекрасно видно из переписки, прекрасно знали свое место, гораздо более низкое. С другой стороны, им не платили жалованья, предпочитая более или менее дорогие подарки к праздникам, причем стоимость их учитывалась довольно жестко. Зиновьева-Аннибал вовлекала их в события собственной жизни, но сама вела себя довольно диктаторски, когда речь заходила о жизни самих этих «девушек». Как ни второстепенна эта сторона в переписке, все же можно уловить и упоминания о нервных болезнях, выводивших Зиновьеву-Аннибал из себя, и нотки хорошего сельского хозяина, знающего, когда для подвластных ему существ приходит настоятельная пора

[66] *Сабашникова М.В.* Цит. соч. С. 151.

размножения. И в этом случае трудно не вспомнить письмо Ю.А. Беляевской, обращавшейся к Зиновьевой-Аннибал со вполне, как кажется, резонными вопросами: «Приходило ли Вам, дорогая Лидия Дмитриевна, в голову, что, будя в Ваших девушках такие нежные, высокие струны, кот<орые> отзываются на мировую скорбь, Вы можете принести им страшное несчастье, несчастье на всю жизнь? Ведь если бы при этом они могли получить систематическое образование и т<а>к<им> образ<ом> встать в ряды интеллигенции, они перешли бы из своего слоя в наш, а теперь они должны неизбежно очутиться ни у того берега, ни у другого, что сделает для них невозможным найти то счастье, о кот. я писала Вам. Стать женой только грамотного человека им очень трудно, ч<то>б<ы> не сказать невозможно, а образованный человек, кот<орый> мог бы удовлетворить их, не удовлетворится ими. Чувствуете? И первое, самое естественное, а след<овательно>, и самое важное призвание женщины — быть женой и матерью, для них закрыто. Тут уж не мировая скорбь (дающая большое наслаждение своего рода), а личная скорбь и тоска получается»[67]. И в каком-то отношении близки к этому слова В.А. Гольштейна, которого Зиновьева-Аннибал часто просила о медицинских советах разного рода. Он писал ей 26 января 1898 г. по поводу конкретной девушки, о которой его просили: «Здоровье Анюты хорошо. Никакой болезни у нее нет. Она просто человек нервный, и эта нервность скорей достоинство, чем недостаток. Поживает она у нас тихо и спокойно; спит весьма недурно. Вы желаете знать мое мнение о Ваших намерениях по части Анюты. Скажу Вам с полной искренностью и с полным убеждением (и таково также мнение А.В.), что я их не только нахожу неосновательными, но прямо осуждаю. Анюта редко хороший человек, Вы с ней много и долго прожили и пережили, причем она доказала и свою горячую преданность Вам, и свою способность быть полезной, необходимой, незаменимой. Расставаясь с ней, хотя бы на время, порывая интимную нить, связывающую Вас с ней, Вы не только поступили бы безнравно, но Вы лишили бы себя опоры, которая — кто знает? — может понадобиться. За такой поступок неосторожный и несправедливый, чтоб не сказать более, Вас может наказать судьба: il y a un justice immanente! С Анютой трудно ужиться! С каким же человеком, имеющим душевную физиономию и горячее сердце, не трудно порой ужиться?»[68]

Мы очень мало знаем о судьбе этих девушек после того, как они покидали семейство. Кажется, Зиновьева-Аннибал ставила своею целью их

[67] Письмо от 25 января не обозначенного года // РГБ. Ф. 109. Карт. 13. Ед. хр. 4. Л. 3 и об.

[68] РГБ. Ф. 109. Карт. 16. Ед. хр. 42. Л. 3 и об.

замужество с выделением небольшого приданого. Но по-настоящему счастливо сложилась, насколько мы знаем, судьба лишь одной из них, Ольги Никитиной (см. об этом далее). Анюта (Анна Николаевна Шустова), раньше других ушедшая в собственную жизнь, поселилась в Петербурге и была, как можно понять из записей В.К. Шварсалон, служащей в публичных банях. 4 января 1907 г. Зиновьева-Аннибал писала о ней Замятниной: «Анюта выходит замуж за человека совсем ей неподходящего, неразвитого и необразованного, но, кажется, очень мягкого и любящего»[69], но вполне возможно, что брак этот и не состоялся. О Дуне (Е.С. Строгановой) находим справку О. Дешарт в примечаниях к дневнику Иванова 1909 года: «Дуня — одна из девушек, сопровождавших Лидию Дмитриевну. Дуня вышла замуж за балтийского рыбака и поселилась с ним на берегу моря, недалеко от Петербурга. Сон В.И. оказался телепатическим: в ту пору Дуня тяжело болела (чего он не знал) и вскоре умерла» (II, 828). О Васюне, покинувшей семью в 1899 г., узнаем из письма С.И. Алымовой от 1 сентября 1900: «Васюня уехала уже в Курск или Калугу. Письмо твое к ней я перешлю, хотя оно уж очень строгое: ведь она не виновата в том, что после 8 лет учения сдала только за 3 кл<асса>. Здесь училась она усердно. Виноваты ее силы умственные и отчасти система. <...> Вчера из письма Васюни узнала, что Анюты она не видала и пытается поступить на службу на жел<езную> дорогу. Нехорошо только, если у ней на руках будут порядочные деньги»[70]. О Кристине или Христине у нас вообще нет никаких сведений, помимо тех, которые сообщает Зиновьева-Аннибал Иванову в письмах 1901—1902 гг. из Женевы.

Как мы уже сказали, больше всего сведений у нас о судьбе Оли — Ольги Федоровны Никитиной. Но чтобы их сообщить, надо сперва сделать отступление и рассказать еще об одном персонаже писем 1901—1902 годов — Феликсе Остроге.

1 ноября (н. ст.) Иванов представлял его Брюсову: «Мой приятель, Острога, профессор здешней консерватории и композитор, хочет нам писать еще о лейтмотивах Вагнера...»[71] Статья была написана и отослана, но напечатано было только послесловие Иванова к ней, ставшее самостоятельной работой «Вагнер и Дионисово действо». Как видно из переписки, этому композитору предназначалась важная роль в исканиях Иванова начала 1900-х годов. Однако удивительно, что столь важный человек практически неизвестен в музыкальной библиографии. Единственная справка о нем, которую нам удалось отыскать (с помощью Ж. Тасси, мно-

[69] РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 20. Л. 6 и об.
[70] РГБ. Ф. 109. Карт. 11. Ед. хр. 25. Л. 22 об, 25 и об.
[71] Литературное наследство. Т. 85. С. 464.

го способствовавшей нам в различных разысканиях, связанных с женевскими реалиями и персоналиями), гласит: «Острога Ф.М., род. 17 июня 1867 в Люцерне, сын отца-поляка, натурализовался и вырос во Франции. После окончания учебы в Центральной школе искусств и ремесел в Париже (как инженер), он обратился к музыке, учился в консерватории в Париже (Туду и Лэнепвё) и Женеве, в которой впоследствии стал преподавателем фортепиано. Из его сочинений на швейцарском Tonkünstlerfest в 1905 г. было исполнено скерцо из фортепианного квинтета»[72].

Послушаем теперь носительницу семейного предания. Комментируя упомянутую выше статью «Вагнер и Дионисово действо», О. Дешарт писала про него: «...проф. Женевской консерватории по классам рояля и гармонии, директор филармонического оркестра при "Большом" театре Женевы, был известен под фамилией — Ostroga (Острога). Но фамилия такая была не именем его рода, а революционным псевдонимом его отца. Видный политический деятель, один из организаторов польского восстания 1863 г., Валериан Мрочковский (Mroczkowski) назвал себя — *Острога* (б.м., в ознаменование своего пребывания в острогах). Наименование такое перешло к его потомству. Высланный за границу Валериан Мрочковский-Острога на всю жизнь стал эмигрантом. Женат он был на графине Зое Сумароковой. В Люцерне, в 1867 г., у них родился сын — Феликс. Отец Зои, адъютант Александра II-го, был композитором; от него, вероятно, внук и унаследовал музыкальное дарование. <...> В Шатлэне Феликс Валерианович Острога был у Ивановых частым гостем. Он давал уроки музыки Вере, Косте <...> и "маленькой" Лидии» (II, 683—684). Кажется, роль В. Мрочковского в восстании 1863 года преувеличена: доступные нам источники фиксируют лишь отдельные и не очень значительные эпизоды с его участием. Но зато его жена обладала бурной биографией. Зоя Сергеевна Сумарокова (1828—1897), дочь известного генерал-адъютанта (между прочим, участвовавшего в подавлении польского восстания 1831 года), была женой князя Алексея Васильевича Оболенского (1819—1884), генерала-от-артиллерии, сенатора, военного губернатора Ярославля, потом московского губернатора. «Оставив его в России, княгиня забрала детей и обосновалась близ Неаполя, на острове Иския. Вместе со всем своим многочисленным штатом занимала она половину большой гостиницы. Тут были разноплеменные гувернеры и гувернантки, горничные, лакеи и даже привезенный из России домашний доктор. Но "княжеская" эта жизнь продолжалась недолго. После того как Оболенская отказалась вернуться в Россию, швейцарская

[72] *Refardt E.* Historisch-biographisches Musikerlexikon der Schweiz. Lpz.; Zürich, 1928. S. 239.

полиция по требованию ее мужа отобрала у нее детей, а русские власти лишили ее довольно крупного состояния. Вскоре вышла она замуж за Валериана Мрочковского. Бывший киевский студент польского происхождения, он участвовал в польском восстании, затем жил в Париже, а в 1865 году приехал в Неаполь, где, познакомившись с Бакуниным, и вошел в его "Братство"»[73].

Из такой-то неординарной семьи происходил добрый знакомый Ивановых. Если к этому добавить, что он был женат на дочери знаменитого анархиста (и естествоиспытателя) Элизе Реклю, также входившего в круг почитателей Бакунина, то это завершит картину.

Но музыкальная его карьера, насколько мы знаем, была отнюдь не такой уж блестящей. В проведенных по нашей просьбе Ж. Тасси поисках в архиве Женевской консерватории не было обнаружено никаких документов, свидетельствующих о том, что он занимал там штатное место. Его именование «профессор», которое иногда встречается позже, явно означает всего лишь «professeur», «преподаватель», в том числе и внештатный. Газетные отклики, на которые ссылается Зиновьева-Аннибал, были достаточно скромны. По каталогам было обнаружено всего две книги, связанные с его именем: небольшой нотный сборник[74] и вышедшая под его редакцией книга Жака-Далькроза «Введение в изучение гармонии» (Женева, б.г.). Нашлись ноты одной его песенки[75] — и это все. Наверное, более тщательные розыски позволят обнаружить какие-либо еще его музыкальные произведения, однако вряд ли это всерьез изменит дело: Острога был, судя по всему, профессионалом такого рода, который не поднимался до высот искусства. Почему же он вызвал такую заинтересованность не только Зиновьевой-Аннибал, но и самого Иванова? Здесь, видимо, надо будет предположить, что желание видеть свои стихи в музыкальной аранжировке заставляло его со страстью искать композитора, способного адекватно передать гармонию стиха (поскольку вряд ли можно было предположить, что выросший во французской культуре композитор может понять все оттенки его смысла). И если реальное положение дел не соответствовало ожиданиям, то тем хуже для реальности: Острога представлялся фигурой несравненно более значительной, чем на самом деле.

Впрочем, судя по всему, обретя славу, Иванов более не вспоминал своего женевского приятеля. Однако для нашей статьи его фигура не-

---

[73] *Пирумова Н.М.* Бакунин. М., 1970. С. 252.

[74] *Ostroga F.M.* 6 feuilles d'album pour piano. Paris: Foetisch, [s.d.].

[75] Le Miroir (Ed. Harancourt) // Supplément musical de «La Musique en Suisse» (15 Novembre 1902).

безразлична еще и потому, что он сделался своеобразным свойственником всех членов семейства. «Но сближению Острога с семьею В.И. способствовала не только музыка <...> В 1904 г. на вилле Жава у Л.Д. жили три девушки. В одну из них, миловидную Ольгу Никитину, влюбился Острога. Она стала его женою. Брак оказался счастливым, и Феликс Валерианович сделался своим человеком в доме Ивановых. <...> О.Ф. продолжала жить с мужем в Швейцарии; потом переехала во Францию, где Ф. Острога умер в 1936 году. <...> А по окончании войны, уже в пятидесятых годах, приехал в Рим французский дипломат (служивший при министерстве иностранных дел) — Юрий Феликсович Острога, сын Олечки. Он рассказывал про мать и сообщил, что она умерла в 1947 году» (I, 683—684). Опять-таки, в который раз, в рассказе О. Дешарт есть очевидные неточности: с Ольгой Никитиной Острога познакомился заметно ранее; своим человеком в доме Ивановых он стал задолго до того, как женился. Но дата брака указана точно: в недатированном, но явно относящемся к январю—февралю 1904 г. письме Зиновьева-Аннибал рассказывала Ал. Н. Чеботаревской: «Олин брак на днях. Она блаженствует, и Феликс также»[76]. Но эта почти что семейная близость продолжалась недолго. Последнее, что мы о ней знаем, — это жизнь Веры вместе с семьей Острога весной и летом 1907 г., после отъезда младших детей с Замятниной в Петербург. Словно по инерции, она пишет им несколько писем из Загорья, но потом общение постепенно сходит на нет.

---

Итак, перед нами прошли основные персонажи переписки. Не следует полагать, что к ним следует относиться пренебрежительно. Зиновьева-Аннибал для определенного круга исследователей может представляться фигурой не менее интересной, чем Вячеслав Иванов. Судьбы детей хотя бы в малой степени отражают и дух времени, и русскую историю, — испытания Веры, мировая война, революция, ее губительные явные последствия, эмиграция, кровавые тридцатые. В широком семейном круге явственно чувствуются перемены, со временем представшие в ином качестве, теперь описываемом некоторыми мемуаристами советского времени, — решительные изменения статуса прежней семьи. Тем любопытнее, что мы видим это in statu nascendi, когда самим участникам истории еще невозможно было понять, куда приведут их более или менее осмысленные поступки.

Но Вячеслав Иванов если и не знал этого в достоверности, то каждым своим действием строил вокруг себя новую реальность, со вре-

[76] РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 22. Л. 6.

менем становившуюся более реальной, чем существующая. A realibus ad realiora — путь, указанный им для истинной поэзии, — на деле осуществлялся и в жизни. Но поэзия закрепляла его, делала непререкаемым. И кажется, что, публикуя разнообразные документы, мы деконструируем, демифилогизируем созданную немалыми усилиями художественную биографию Вячеслава Иванова. На деле, конечно, мы заняты вовсе не этим, а стараемся понять сами и дать возможность «вложить персты» недоверчивому читателю, как и почему вырастает перед нами облик одного из самых сложных поэтов, теоретиков, жизнетворцев двадцатого века.

*Н.А. Богомолов*

# О ТЕКСТЕ ДАННОГО ИЗДАНИЯ

Переписка Вяч. Иванова с женой охватывает период с 1894 по 1906 год. В настоящем издании публикуется, однако, переписка лишь 1894—1904 годов. В 1904—1905 гг. супруги постоянно жили вместе и письма писать не было надобности (два малозначительных письма 1904 года печатаются нами как приложение), письма же 1906 года представляют собой отдельное образование: они практически все относятся к тому времени, когда Зиновьева-Аннибал уехала к детям и М.М. Замятниной в Швейцарию, а Иванов писал ей дневниковые письма, заполняющие лакуну в его подлинном дневнике (с неточностями опубликован: II, 744—756). В настоящее время этот дневник в полном объеме, т.е. вместе с письмами, составляющими его бóльшую часть, готовится к печати Н.А. Богомоловым. Ответные письма Зиновьевой-Аннибал 1906 года будут напечатаны в этом же издании.

Переписка дополнена «Интродукцией», пятью «Интермедиями» и «Финалом», в которых опубликованы документальные материалы (письма и дневники), позволяющие хотя бы в некоторой степени заполнить лакуны в представлении о жизни супругов того времени, когда они находились вместе и писем друг другу не писали. Это письма Иванова к первой жене лета и начала осени 1894 г., рассказывающие о знакомстве с Л.Д. Шварсалон; дневник самой Шварсалон 1894 года, где идет речь о первом периоде увлечения; письма супругов к разным корреспондентам 1899—1900 годов из Англии, 1901 года из Афин и Палестины; письма к М.М. Замятниной в Женеву 1902—1903 годов и, наконец, письма к ней же и детям из Парижа в Женеву 1903 года. Мы отдаем себе отчет в том, что далеко не все хронологические пропуски этими документами оказываются заполнены. Так, ни самой перепиской, ни прочими материала-

ми совсем или практически совсем не освещаются события с середины лета до октября 1895 г., с конца 1895 г. до мая 1896 г., августа—сентября и ноября — первой половины декабря 1896 г., большей части 1897 и начала 1898 г. (к этому времени относится значительный по объему дневник Зиновьевой-Аннибал, находящийся в Римском архиве Вяч. Иванова и пока не введенный в научный оборот), с конца лета 1898 до начала лета 1899 г., конца весны и начала лета 1900 г., периода с осени 1900 по весну 1901 г. За пределами этой книги также оказываются жизнь Ивановых в Женеве с середины лета 1903 по весну 1904 г., их четырехмесячный визит в Москву весной—летом 1904 г., новый период жизни в Женеве с середины лета 1904 по весну 1905 г., пребывание в Петербурге и Москве весной—летом 1905 и, наконец, «башенный» период жизни, начавшийся в августе 1905 г. и закончившийся смертью Зиновьевой-Аннибал в Загорье Могилевской губ. 17 октября 1907 года. Отчасти этот последний период (кроме хронологического интервала с августа 1906 по конец весны 1907 г.) документально зафиксирован в упомянутом выше дневнике Иванова 1906 года, а также в книге: *Богомолов Н.А.* Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: Документальные хроники (М., 2009).

Подавляющее большинство публикуемых в настоящем издании писем хранится в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Письма Иванова — РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 36—44; Карт. 10. Ед. хр. 1—2, 4—5; письма Зиновьевой-Аннибал — РГБ. Ф. 109. Карт. 21. Ед. хр. 34—35; Карт. 22. Ед. хр. 1—12. Отдельные фрагменты писем были обнаружены в других единицах хранения (они обозначены в примечаниях). Письмо 1 хранится в Римском архиве Вяч. Иванова, письма 495 и 507 — ИРЛИ. Ф. 94. № 76—77. Ксерокопии значительной части писем Иванова, хранившиеся в Римском архиве, были переданы А.Б. Шишкиным М. Вахтелю, и первоначальная подготовка их к печати велась по данным ксерокопиям, а также по отсканированным в Отделе рукописей РГБ оригиналам. Эта первоначальная подготовка была проделана Д.О. Солодкой при участии М. Вахтеля, после чего тексты были сверены с оригиналами Н.А. Богомоловым. Письма Зиновьевой-Аннибал подготовлены к печати Н.А. Богомоловым при участии М. Вахтеля. Комментарии составлены Н.А. Богомоловым, М. Вахтелем и Д.О. Солодкой.

Составители книги считают своим приятным долгом принести сердечную благодарность за разнообразную помощь Е.В. Алексеевой (Принстон), Н. Henry (Париж), Ю.Е. Галаниной (Петербург), Luca Grillo (Амхерст), Н.В. Котрелеву (Москва), И.И. Кузнецовой (Москва), Г.В. Обатнину (Хельсинки—Петербург), М.М. Павловой (Петербург), Kathryn Stergiopoulos (Принстон), Jason Strudler (Принстон), Gervaise Tassis (Женева), Е.А. Тахо-Годи (Москва), А.Б. Шишкину (Рим), а также сотрудникам Рукописного отдела РГБ. Публикаторы считают своим

приятным долгом поблагодарить тех, кто материально поддерживал их работу: исследовательский грант был предоставлен Princeton Institute for International and Regional Studies (PIIRS); после обсуждения доклада М. Вахтеля финансирование издания было получено от фонда Уорнера Университетских семинаров Колумбийского Университета[1]; в финансировании издания также принимали участие факультет журналистики МГУ и Princeton University Committee for the Humanities and Social Sciences. Без помощи этих организаций ни подготовка текстов, ни само издание не смогли бы осуществиться.

Подготовка писем к печати представляла немалые сложности не только из-за далеко не простых почерков корреспондентов, но и из-за особенностей их эпистолярного обихода. Так, Иванов, а в особенности Зиновьева-Аннибал (чаще всего на открытках, страдая от недостатка места) заполняли пространство листа или карточки необычайно тесно. Сперва текст писался на обычный манер, потом лист переворачивался и дальнейший текст вписывался между строчек; если и этого оказывалось мало, то по очереди заполнялись все поля (скорее мнимые поля, поскольку текст, как правило, писался без каких бы то ни было отступов), а в довершение — последние слова добавлялись размашистым почерком поверх всего текста, перпендикулярно ему. В некоторых письмах Зиновьевой-Аннибал чернила оказываются размыты слезами, пролитыми автором над строками письма. Письма часто не датировались (особенно Зиновьевой-Аннибал), что представляло собой немаловажную проблему для составителей. Точные или предположительно установленные составителями даты (по старому и новому стилю), а также место написания письма указываются курсивом в атрибуционной шапке каждого письма. Даты, проставленные самими корреспондентами, сохраняются в неприкосновенном виде.

Письма Иванова почти совершенны по соблюдению орфографического и пунктуационного режима своего времени, причем не только для русского, но и для других им используемых языков (французского, немецкого, итальянского, английского). Лишь пользуясь греческим языком, он допускает смешение разных его вариантов — древнегреческого и новогреческого, а также различных изводов последнего, что оговаривается в примечаниях. Поэтому его случайные описки нами исправлены без оговорок, а неточности оговорены в примечаниях. Орфография же и пунктуация Зиновьевой-Аннибал были весьма прихотливы, включая как постоянные элементы, не соответствующие норме (напр., *лице*

[1] The editors express their appreciation to the Warner Fund at the University Seminars at Columbia University for help in publication. Material in this work was presented by Michael Wachtel to the University Seminar: Slavic History and Culture.

вместо *лицо*, *горяче* вместо *горячо*, *отцем* вместо *отцом* и пр.), так и разнообразные варианты. Еще более свободно она обращается с иноязычными пассажами, так что Иванову даже иногда приходится ее поправлять. Мы посчитали нужным, приведя пунктуацию к современным нормам без оговорок, сохранить часть стабильных ненормативных элементов ее орфографии и стилистики, в наиболее резких и потому вызывающих у читателей удивление случаях оговаривая их употребление редакторской вставкой <так!> или <sic!>.

Мы печатаем также сохранившиеся черновики писем Иванова. При их публикации знаком ~ обозначаются фрагменты текста, совпадающие с окончательным вариантом. Во всех текстах редакторские вставки даются в ломаных скобках, зачеркнутое — в квадратных. Предшествующие публикации писем или их фрагментов указываются в преамбуле к комментарию к данному письму.

Составители отдают себе отчет, что комментарий их на данном этапе изучения наследия Вяч. Иванова не может быть исчерпывающим. В поисках материалов для комментария нами были просмотрены более двухсот пятидесяти единиц хранения архива Иванова в РГБ (в основном — переписка разных лиц за 1890—1900-е годы) и Римском архиве поэта. Неоценимую помощь во многих случаях оказала образцово подготовленная к печати и откомментированная книга: История и поэзия: Переписка И.М. Гревса и Вяч. Иванова / Изд. текстов, исследование и коммент. Г.М. Бонгард-Левина, Н.В. Котрелева, Е.В. Ляпустиной. М., 2006. Тексты стихотворений и статей Иванова, за исключением особо оговоренных случаев, цитируются нами по четырехтомному Собранию сочинений (Брюссель, 1971—1987) с указанием тома римской цифрой, а страниц — арабскими.

Из соображений соблюдения внутреннего единства жена Иванова всюду называется ее позднейшим литературным именем — Зиновьева-Аннибал, хотя первоначально ее фамилия была Шварсалон (по мужу), потом она вернулась к девичьей фамилии Зиновьева. Иногда из стилистических соображений составители позволяли себе называть корреспондентов инициалами — В.И. (Иванов) и Л.Д. (Зиновьева-Аннибал).

## СОКРАЩЕНИЯ

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН.

История и поэзия — История и поэзия: Переписка И.М. Гревса и Вяч. Иванова / Изд. текстов, исследование и коммент. Г.М. Бонгард-Левина, Н.В. Котрелева, Е.В. Ляпустиной. М., 2006.

Кружков — Кружков Григорий. Ностальгия обелисков: Литературные мечтания. [М.:] Новое литературное обозрение, [2001].

Обнимаю вас... — «Обнимаю вас и матерински благословляю...»: Переписка В. Иванова и Л. Зиновьевой-Аннибал с А.В. Гольштейн / Публ., подг. текста, предисл. и примеч. А.Н. Тюрина и А.А. Городницкой // Новый мир. 1997. № 6. С. 159—189.

п. — письмо.

Переписка с Гольштейн — Переписка Вяч. Иванова с А.В. Гольштейн / Публ., вступ. ст. и коммент. М. Вахтеля и О.А. Кузнецовой // Studia Slavica Academiae scinciarum Hungaricae. Budapest, 1996. Vol. 41. P. 335—376.

РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки.

Сапов — Иванов Вячеслав Иванович. По звездам. Борозды и межи / Вступ. ст., сост. и примеч. В.В. Сапова. М., 2007. Комментарии В.В. Сапова — с. 699—1082.

# *ИНТРОДУКЦИЯ*
## *Анцио и Рим 1894*

## ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ — Д.М. ИВАНОВОЙ

*11 июля <1894>*
*Рим*

Возвращаясь из кофейни, встретил Гревса[1] с m-me Шварсалон.

Как и все остальные письма «Интродукции» — РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 8. Л. 10—17 об. Открытка, адресованная в Анцио, где Ивановы проводили лето, с пометой: «2-ая картолина». Опубл. (в большем объеме, чем у нас): Сапов. С. 727.

[1] Иван Михайлович Гревс (1860—1941) — историк-медиевист. Был хорошо знаком и отчасти даже служил доверенным лицом при расхождении супругов Шварсалон. Сопровождал Л.Д. в итальянское путешествие 1894 года. О его отношениях с Ивановым, его первой и второй семьей подробно см.: История и поэзия. Предшествовавшие события складывались таким образом: не позже 19 июня / 1 июля Иванов с семьей уехал в Анцио (небольшой городок приблизительно в 60 км от Рима); 26 июня / 8 июля в Рим прибыл И.М. Гревс и, не застав Иванова, но получив от него письмо, на следующий день поехал в Анцио; к вечеру 27 июня / 9 июля он устроился в квартире супругов Микели на углу улиц Castelfidardo и Montebello, а на следующий день там же расположился и Иванов (ранее Ивановы жили у тех же супругов Микели по соседству). План всей квартиры и комнаты Иванова см.: Сапов. С. 724—725. Л.Д. приехала в Рим (видимо, вместе с С.И. Алымовой) 11 июля и поселилась рядом с Ивановым и Гревсом (via Castelfidardo, 50). Отметим неточность утверждения В.В. Сапова: «...Л.Д. вместе с тремя детьми приехала ненадолго из Флоренции» (С. 724). У нас нет оснований положительно утверждать, откуда она приехала, но совершенно точно, что дети находились в это время в России.

*12 Июля <1894>*
*Рим*

Сегодня чувствую себя очень дурно и тоскливо. Буду утешаться воспоминаниями о m-me Шварсалон. <...> Упомянутая дама,

как я уже писал, интересна, хотя собственно и не красива. Ей, кажется, еще нет 30 лет. Она блондинка. У нее довольно высокий выпуклый лоб и вздернутый нос. Характеристична вертикальная морщина над переносицей между бровями, придающая ей решительный, энергический, иногда суровый вид. Минутами она кажется хорошенькой в своей светлой шляпке и белой <?> вуали. Все обличает в ней порывистую волю и пылкий темперамент. У нее большая свобода и непринужденность в обращении, но она очень воспитанна и держит себя безупречно. Все, что́ она говорит, умно, хотя Гревс и утверждает, что она только неглупа. Она весьма культурна; ей очень нравится все в Италии, где она и прежде жила года 2[1], так что свободно говорит по-итальянски; то, что́ она говорит про свои впечатления и мнения, убедительно в смысле искренности. Мне она нравится. Она готовится к сцене; через год думает приехать в Милан — поучиться и дебютировать. Зимой она будет заниматься пением у некой Ферни-Джиральдони в Петербурге[2]. Гревс о ней рассказывал мне вот что. Она из хорошей фамилии Зиновьевых[3]; ее состояние заключается в ежегодной ренте в 6000 рублей, хотя в настоящее время у нее и мало денег. С мужем она живет врозь; он принужден был выдать ей паспорт и уступить детей, которых трое. Муж ее из Евреев. Он вступил в связь с женою бедного Вульфиуса[4]. Этим объясняется то обстоятельство, что этот последний, не подозревая о неверности своей жены, пользовался с семьей денежною помощью Шварсалонов (т.е., собственно говоря, жены Шварсалона). По смерти Вульфиуса Шварсалон поселил вдову (свою любовницу) вместе со своей женой, а сам уехал за границу[5], куда затем пытался выписать вдову Вульфиуса. Дело обнаружилось, г-жа Ш. была в экстазе, хотела убить себя, мужа, детей и пр., потом очень энергично стала хлопотать через коммиссию <так!> прошений, подаваемых на высочайшее имя[6], о том, чтобы мужа заставили отпустить ее с детьми от себя, — и он должен был, несмотря на сопротивление, выдать ей навсегда отдельный паспорт[7]. Он ищет опять сближения с женой, но безуспешно. Дети в настоящее время находятся где-то в России[8].

Г-жа.... — все забываю ее фамилию — очень, по-видимому, пустенькая, маленькая, хотя — по уверению Гревса — уже будто бы 29-летняя барышня, немножко ломается и мне вовсе неинтересна. В суждении об обеих дамах мы — удивительное дело! — сошлись с Крашенинниковым[9]. <...>

В. Людмиле Николаевне[10] не говори *ничего* про m-me Шварсалон, кроме того, что она, дескать, из хорошей семьи, произве-

ла очень приятное впечатление, имеет детей — вот и все. Я надеюсь, что на тебя можно положиться и что ты воздержишься от передачи скандальной истории. <...>

Частично и с неточностями: Сапов. С. 725—726.

[1] Судя по дневнику Зиновьевой-Аннибал, она жила в Италии в 1889—1890 гг. Летом 1889 в Санта Маргерита (Лигурия) родилась ее дочь Вера.

[2] Ферни-Джиральдони Каролина Людвиговна (Carolina Ferni-Giraldoni; 1839—1926), итальянская скрипачка, певица, вокальный педагог. Начала музыкальную карьеру как скрипачка, в 1862 дебютировала как певица в Турине. Была профессором Петербургской консерватории в 1895—1921. Умерла на родине, в Милане.

[3] О семье Зиновьевой-Аннибал подробнее см. во вступительной статье.

[4] Вульфиус — практически наверняка Герман Германович (1865—1893), археолог. По окончании курса в русском филологическом институте при Лейпцигском университете занимался в Италии и Греции греческим искусством VI в. Большой труд остался неоконченным. Из опубликованных работ известны: «De quintae heroidis Ovidianae fontibus» (ЖМНП. 1891. Кн. 1); «Александрийские этюды I и II» (ЖМНП. 1892. Кн. 3) и обширная рецензия на книгу П.М. Благовещенского «Винкельман и поздние эпохи греческой скульптуры» (Записки Императорского Археологического Общества. 1892. Т. V). Некрологи см.: Филологическое обозрение. 1893. Т. IV; *Орешников А.В.* Герман Германович Вульфиус (некролог) // Археологические Известия и Заметки. М., 1893. Т. I. С. 236—237. Сведений о его жене у нас нет.

[5] Летом 1893 г. К.С. Шварсалон находился в Италии, преимущественно в Венеции.

[6] Иванов неточен в названии учреждения. Комиссия прошений, подаваемых на Высочайшее имя, была учреждена в 1810 как часть структуры Государственного совета (в 1835 превратилась в самостоятельное ведомство). В 1884 году она была упразднена, и вместо нее образована Канцелярия прошений, подаваемых на Высочайшее имя. Именно в нее и обращалась Л.Д. В 1895 г. Канцелярия прошений была преобразована в Канцелярию Его Императорского Величества по принятию прошений, на Высочайшее имя приносимых. Подробнее см.: Сборник кратких сведений о правительственных учреждениях / По поручению министра Императорского двора сост. В. Кривенко. Изд. 2-е. СПб., 1889. С. 25—26; *Ремнев А.В.* Канцелярия прошений в самодержавной системе правления конца XIX столетия // Исторический ежегодник на 1997 г. Омск, 1999. С. 17—35.

[7] См. подробнее во вступительной статье.

[8] Дети супругов Шварсалон находились у знакомых под Петербургом.

[9] Михаил Николаевич Крашенинников (1865—1932) — филолог-классик. О нем см.: *Анфертьева А.Н.* М.Н. Крашенинников: к портрету ученого и человека // Рукописное наследие русских византинистов в архивах Санкт-Петербурга. СПб., 1999. С. 375—419; *Попов С.А.* Материалы к биографии проф. М.Н. Крашенинникова // Филол. зап. 2001. Вып. 16.

[10] О ком идет речь, неизвестно.

*Рим, 19 июля.*

В среду, т.е. вчера, пообедав вместе, мы проводили в 3 ч. Лидию Дмитриевну, она отправилась к отцу в Женеву. Перед обедом

я за ней зашел (остальное общество ждало в ресторане на via <?>) и она водила меня к итальянцам-соседям, с которыми познакомилась, чтобы спеть с аккомпанементом на их рояли несколько вещей.

Открытка, отправленная в Porto d'Anzio (prov. di Roma). Опубл. (в большем объеме, чем у нас): Сапов. С. 727. 3/15 июля Л.Д. в сопровождении Иванова была в Анцио, где познакомилась с его женой и дочерью; на следующий день состоялась памятная для Иванова и Л.Д. прогулка ночью в Колизей (в не публикуемой нами части данного письма Иванов, явно скрывая, говорит лишь о том, что они были в Колизее вместе с Гревсом). 4/16 июля Зиновьева-Аннибал писала отцу: «Так как муж мой постоянно надоедает мне разными выходками и портит мое спокойствие духа в Петербурге, то я решила избавить на некоторое время себя и детей от его надоеданий. Кроме того, я теперь поставила себе после воспитания своих детей первою целью — пение, а успешно заниматься им при петербургских условиях климатических и нравственных и при всем суетливом складе жизни — очень затруднительно. Ввиду всего этого я решила теперь ехать в Россию лишь для того, чтобы распорядиться сдачею дома, взять детей и увезти их с собою обратно за границу года на 1 ½ или на два. Поселюсь или в Париже или в Милане, смотря по тому, что мне посоветуют знающие люди в области пения. Буду жить для детей и посвещать <так!> всё свое время пению. Вернусь в Россию, когда буду уже вполне артисткой» (Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 41—42 об.).

*23 июля. 8 ч. веч.*

Завтра или послезавтра Обольянинов[1] и Алымова[2] («дети») вернутся из Неаполя. Шварсалон живет у отца в Женеве.

[1] Лев Александрович Обольянинов (1861 — ?) — друг Гревса, член т.н. «приютинского братства» (подробнее об этом кружке см.: *Шаховской Д.И.* Письма о братстве / Публ. Ф.Ф. Перченка, А.Б. Рогинского, М.Ю. Сорокиной // Звенья: Исторический альманах. М., 1992. Вып. 2. С. 174—318).

[2] Софья Ильинична Алымова — подруга Зиновьевой-Аннибал, преподавательница в провинциальных гимназиях. См. о ней ниже, в переписке 1895 года.

# *ПЕРЕПИСКА*
# *1 8 9 4*

## 1. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*14/28 июля 1894. Женева*

*14/28 Июля 1894 г.*

Мы так мало знакомы друг с другом, Вячеслав Иванович, а между тем я чувствую, точно приобрела в Вас друга. Быть может, я ошибаюсь, но решаюсь поддаться своему чувству, потому что оно мне дорого. Когда я отъехала от Рима, мне показалось, точно оборвалось что-то, что должно было бы продолжаться. Я говорила Вам, что люблю человечество и люблю каждого человека и поэтому мне особенно дорого, когда я встречаю людей, с которыми имею много общего. Если бы мы с Вами виделись дольше и успели или захотели бы высказать друг другу свой credo <так!>, то, быть может, с виду мы не вполне сошлись бы в нем, но в сущности, в глубине мне чуется, что мы молимся одному Богу. Отчего же иначе тянуло меня так сильно к Вам и я хотела говорить и слушать без конца. Меня всегда мучительно сильно волнуют разговоры о вере. Я говорила Вам, что не могу «верить», но я знаю, что я так многого не знаю и никогда не узнаю и не постигну, хотя бы была ученее всех ученых мира. Вы пошли дальше. Вы обратили это отрицательное отношение к матерьялизму почти в положительную веру в нечто сверхчувственное. Но эта вера Ваша скорее поэтическая, неопределенная мечта, и пусть она остается таковою. Представьте себе, что 5 минут тому назад я не думала писать этого письма и бросилась к своему перу под влиянием разговора одного фонатического <так!> русск<ого> священника. Мне стало так больно, так мрачно на душе от его беспощадного осуждения всего, что не подходит под определенный ярлык цер-

кви, что я хотела оформить хоть несколько свои мысли. Я вспомнила о Вас, и мне вдруг стало страшно (простите мою дерзость), чтобы Вы когда-нибудь не перешли ту грань, которая тотчас же убивает всякую поэзию, красоту и величие веры, грань, за которою нет уже манящей и обещающей что-то необычайно чистое и прекрасное фантазии, нет скромного — «не знаю, но надеюсь, трепетно и как-то мучительно радостно надеюсь», — ту грань, за которою царит узкая доктрина, грубая матерьяльная концепция Божества и отвратительное учение и <так!> награждении добродетели и наказании порока. Моя душа просит веры, и все существо мое трепещет, когда я решаюсь открыто высказать другому и выслушать его верование, но никогда, никогда не подам я руку патентованным «христианам», никогда не помирюсь с пошлой и неблагородною церковью. Это все так ослепительно, так тонко, так неуловимо и прекрасно, что лучше даже в самом себе лишь чуять, а не сознавать. О да, несмотря на всё, несмотря на гадость, грязь, плесень жизни, несмотря на столь гнусные черты человеческого характера, тем не менее люди прекрасны, жизнь хороша. Я чувствую, я верю, что жизнь хороша, что идеал не узкий, не определенный, не приторно сладкий, а свободный, великий и ослепительный витает над землею и порою касается нас, и тогда всё существо наше потрясается великою радостью, и тогда мы понимаем Божество, т.к. Божество в нас самих. Всё, что есть красивого в мире, всё, отражаясь в нашей душе, пробуждает в нас Божество, и в этом смысле говорила я о том, что считаю своим долгом отдать свой голос и талант, если он окажется, на служение красоте. Для меня музыка составляет чуть ли не высшее олицетворение красоты и высшее счастие, какое дала мне жизнь. Отчего же не может она будить таинственно дремлющие струны в душах других людей?

Ах, простите, что я так врываюсь в Вашу душу и так высказываюсь перед Вами, но мне кажется, что я чего-то недосказала Вам. Вы отнеслись ко мне так человечно, так тепло. Могу ли я вперед рассчитывать на Вашу дружбу и на Вашу нравственную поддержку, если в ней окажется нужда? Мне иногда становится так невыносимо страшно жить, именно страшно до ужаса, и тогда мне страстно хочется броситься к другому человеку и молить его: скажи мне слово, такое слово, которое удержало бы меня от отчаяния, которое вернуло бы мне мою светлую веру в жизнь и людей. Скажи слово. Но так малые знают это слово <так!>. Кто

может спасти меня в такую минуту? Друзей у меня много, и всё-таки того слова никто не знает. Так было и в это путешествие, когда я неожиданно пережила ужасно тяжелый кризис. Во мне два человека, и один спокойно и с любопытством приглядывается к другому, а другой, этот несносный другой, всегда поступает со мною совершенно неожиданно. Разум говорил мне, что эта поездка за границу должна была расшевелить мою усталую душу, принести ей новые силы и веру, и вдруг красота природы, величавая, подавляющая, холодная и надменная, чуть окончательно не задавила меня. Самоубийство обратилось в idée fixe в продолжение нескольких недель и томило меня до головокружения. О, эти чудные, чарующие синие воды итальянских озер, как манила меня их глубина. Когда я встретила Вас, я достигла апогея своего отчаяния и утомления жизнью. Покоя молило всё существо мое. И вдруг эта прогулка в Колизей. Вы, быть может, забыли о ней, но для меня она останется навек лучшим воспоминанием моей жизни. Вас удивляет это, и Вы, пожалуй, смеетесь и слегка презираете меня, но я всё-таки скажу, что это так. Во мне столько внутренней, субъективной жизни, что иногда малейшего предлога достаточно, чтобы всколыхнуть целую бурю в моей душе. Сначала Вы говорили о моей вере, и я почуяла, что у Вас есть «слово», затем Вы говорили о сцене, и мне казалось, что Вы говорите моими словами, то, что давно хотела и мечтала сказать я. И вот что-то внезапно сломилось во мне, и кризис прошел. Теперь я перешла от жажды к покою и уничтожению к самому энергическому стремлению к жизни и сильному подъему чувств и сил. Бывают такие неожиданные, странные и сильные минуты в жизни человека, которые решают без труда задачи, неразрешимые долгим старательным мышлением. Совершенно помимо Вашей воли, только по импульсу доброго сердца, Вам удалось спасти меня и вдунуть ту бодрость и веру, которая творит чудеса. Теперь остается одна опасность для меня, и опасность роковая. Я буду работать упорно, терпеливо и положу на работу каждый атом своего существа, но... вдруг окажется, что не над чем было работать? Могу сказать себе в утешение: умереть никогда не поздно, а теперь буду верить и трудиться.

Простите, ради Бога, что отрываю Ваше дорогое время и заставляю Вас заниматься собою, но Вы были так добры в Риме, что я под влиянием сильного порыва решилась эксплуатировать Ваше терпение. Знаю, что Вы поймете и не осудите меня, правда?

Дружески жму Вашу руку и остаюсь с истинным уважением благодарная Вам

Лидия Шварсалон.

Этому письму Иванов придавал особое значение, т.к. увез его с собой из СССР в Италию и сохранил в своем архиве, тогда как все остальные письма остались в Москве. Фрагменты цитируются в ст.: *Дешарт О.* Введение (I, 21, 37) — с неверной датировкой (1893). В.В. Сапов справедливо передатировал его, но обладал только теми цитатами, которые привела Дешарт.

## 2. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *31 августа / 12 сентября 1894. Пезаро*

*Pesaro. Casa del Ingeniere*[1] *Beldraghi.*
*12 Сент. 94 г.*

Многоуважаемый Вячеслав Иванович!

Очень приятно мне было узнать, что Вы находитесь в таком близком соседстве со мною. Узнала я об этом совсем неожиданно, т.к. я почему-то воображала, что Вы уже перебрались в Германию. Мне надо было разменять русские деньги на итальянские, и я обратилась к Ив. Михайл.[2] с просьбою, не знает ли он кого-либо в одном из больших городов Италии, к кому бы я могла обратиться за этою услугою. Он прислал мне Ваш флорентийский адрес и уверил меня за Вас, что Вы охотно исполните мое поручение. Со своей стороны, помня, как Вы и Дарья Михайловна были ласковы и добры со мною, я решаюсь просить Вас об этой хлопотливой услуге и, дождавшись Вашего ответа, пошлю деньги. Я меняла очень выгодно в маленькой меняльной лавке на via Calzaiuoli, по левой руке, идя к Signoria, неподалеко <так!> от Corso. Но Вы, вероятно, знаете лучше моего, где менять.

С какой скучной материи я начала письмо! Простите. Я хочу опять написать длинное письмо, т.к. я в таком же «одиноком» настроении, как и в Женеве. Я бы писала своим друзьям без конца, да беда в том, что большинство моих друзей такие же занятые, как и Вы, и мне стыдно занимать их долго своею особой. Во всяком случае скажу Вам, как я попала сюда. Приехав в Петербург, я обратилась к своей учительнице с просьбою рекомендовать мне, куда направиться за границею. Она сказала, что в Париже никого не знает, но что выше всех известных ей преподавателей пения ставит signora Boccabadati[3], состоящую профессором пения в кон-

серватории, основанной на завещанные Россини средства на месте его родины в *Pesaro* у Ancona[4]. Моя учительница дала мне рекомендательное письмо к этой артистке. Я много думала о том, как мне поступить. Сердце мое сильно влекло меня в Париж, о котором я мечтала уже годами и который теперь меня особенно тянул благодаря присутствию Гревсов, которых я сильно люблю[5]. Кроме того, я плохо переношу одиночество. Но, не имея никаких верных указаний для Парижа и понимая, насколько важно не менять методы преподавания в пении, не желая в будущем терять расположение своей учительницы, я решила, что в музыкальном отношении Pesaro перетягивает. Затем шел вопрос о моем расшатанном здоровии, которое, конечно, выправится лучше в Pesaro, и, наконец, принципиальный вопрос о дороговизне жизни. В этом отношении, конечно, моя совесть может быть спокойною в Pesaro. Для детей Париж тоже не представлял никаких выгод сравнительно с Pesaro. Словом, обсудивши всё это, я победила свое влечение к Парижу и отправилась в свою Итальянскую ссылку. Местечко крошечное, у самого моря; конечно, нет никаких развлечений и, что плохо, нет порядочной оперы. Одиночество полное, так что самое чувство, что в 6, 7 часов езды <так!> существуют близкие люди, как вы оба позволили мне называть вас, уже доставляет большое облегчение[6].

В выборе своем я, кажется, не ошиблась. Boccabadati, оказывается, была звездою первой величины (спросите у кого-нибудь компетентного во Флоренции)[7]. Уроки ее мне очень нравятся. Она обрабатывает голос художественно, и я замечаю успехи неожиданно быстрые, т<ак> что надеюсь к концу зимы разучить оперы две и летом уже попытать счастие на сцене. Беру уроки ежедневно, и вообще вся жизнь приспосабливается к пению и наполняется им. Это, действительно, последняя энергичная попытка урвать у жизни несколько годов если не счастия, то хотя бы самоудовлетворения в сильном и цельном ощущении своего существования.

Что касается здоровья, климат здесь отличный, и Вы уже теперь нашли бы меня очень изменившейся.

Я очень радуюсь плану Марии Сергеевны приехать сюда месяца на два ради здоровия Кати[8]. Боюсь только, что он не осуществится. А не осуществится ли другая смелая моя мечта, возникшая при известии о столь близком Вашем пребывании. В сущности, 6, 7 часов езды так мало, что не один «дачный муж»

проделывает это путешествие по крайней мере раз в неделю! Если Вы всей семьей или кто-либо из Вас в отдельности решились бы прокатиться к морю и обрадовать изгнанницу? Недурно было бы Саше провести здесь несколько дней. На ночь здесь можно найти очень дешевый приют, а днем Вы были бы моими гостями, т.к. помещение у меня хорошее и весь вопрос составил бы кровати, которых невозможно добыть в Pesaro.

Но, конечно, я не верю, чтобы Вы доставили мне эту радость, разве если взглянули бы на это как на доброе дело.... Конечно, развлечений здесь никаких нет, и так весело провести время, как я провела его в Anzio, Вам не удастся. Этот день в Anzio остался для меня радужным, поэтическим воспоминанием, и сердечно благодарю Вас обоих за него.

Теперь кончаю свое бестолковое письмо, прерываемое постоянно вокализами, новою просьбою. Вы несказанно одолжили бы нас (со мною мои милые две молоденькие прислуги-друзья[9]), если бы купили лучшего английского чаю, т.к. нам грозит нешуточная беда остаться без этого необходимого напитка. Я думаю, если взять 2 kilo, магазин сам вышлет по адресу. Вы вычтете стоимость чаю из размененных денег.

Поцелуйте Сашу, если она меня помнит. Напишите хоть несколько слов о себе. Хорошо ли Вы себя чувствуете во Флоренции? Хорошо ли идет работа? Не скучает ли Дарья Михайловна и Саша? Когда и куда уедете? Каково Ваше настроение?

Позвольте мне подписаться преданным Вам другом

Л. Шварсалон.

Фрагмент — История и поэзия. С. 372. Получив это письмо, Иванов написал жене в открытке 13 сентября, помеченной № 16 (Д.М. Иванова с дочерью путешествовали по Швейцарии, и письмо было направлено в Женеву, потом много раз переадресовано): «Получил письмо от Лидии Дмитриевны Шварсалон! Чрезвычайно рад, что имею от нее хорошие вести и что могу наконец написать ей: этот письменный долг тяготил меня. Письмо начинается так: “Очень приятно мне было узнать, что вы находитесь в таком близком соседстве со мною (!!?). Узнала я об этом совсем неожиданно, так как я почему-то воображала, что вы уже перебрались в Германию. Мне надо было разменять русские деньги на итальянские, и я обратилась к Ив. Мих. с просьбой, не знает ли он кого-либо в одном из больших городов Италии, к кому бы я могла обратиться за этою услугою” и т.д. “Помня, как вы и Д. Мих. были ласковы и добры со мною, я решаюсь просить вас об этой хлопотливой услуге” (В конце письма еще просьба о покупке чаю!) Далее следует повествовательная часть. Итальянская учительница пения Лидии Дм. в Петербурге сказала ей, что в Париже не знает никакой преподавательницы и что выше всех известных ей преподавателей ставит синьору Boccabadati, состоящую проф<ессором> пения в консерватории,

основанной на завещанные Россини деньги в его родном городе Pesaro близ Анконы (на Адриат<ическом> море). Вот причина, почему Л.Д. попала в названный городок, где и живет, как она говорит, в ссылке, с детьми и двумя своими прислугами-подругами, усердно занимаясь вокализами. К ней, быть может, заедет жена Гревса ради здоровья Кати месяца на два, но Л.Д. боится, что этот план не осуществится. Далее — очень милое приглашение обращено к нам — проехаться к морю и навестить ее, a propos воспоминание об Anzio и благодарность за хорошо проведенный там день. Вот содержание письма, долженствующего, конечно, возбудить в тебе душевную тревогу!!!!..... Целую вас. Вяч.» (РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 8. Л. 38. Не полностью и с неточностями: Сапов. С. 727—728).

2 сентября Зиновьева-Аннибал сообщала отцу: «Привезла я сюда ребят и двух своих девушек уже неделю с лишком тому назад. Но устроились мы вполне только теперь. Я так устала с дороги, что только теперь начинаю приходить в себя понемногу. <...> Pesaro — маленький городишко на самом берегу моря Адриатического, так что для здоровья моего и детей очень полезный воздух. Купаемся ежедневно, и это составляет единственное развлечение. Иначе жизнь наша течет ужасно однообразно и день незаметно сменяется днем. Но я очень довольна этим однообразием, так как от него отдыхаю я и нравственно и физически. Своей учительницей я очень довольна, она была в молодости знаменитою певицею, а теперь уже очень стара. Но уроки дает отлично и с большим вниманием и с художественным вкусом. Моим голосом она очень довольна, и я поэтому тоже очень счастлива. Устроились мы очень хорошо. За городом, в хорошей семье нанимаем три комнаты и кухню. Из комнат вид на море, а вокруг дома хорошенький садик. Цвет Адриатического моря напоминает мне Рону, и мне иногда кажется, что я сижу с тобою в саду на скамейке у роз и смотрю на горы» (РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 45—46).

[1] Слово «инженер» Зиновьева-Аннибал по-итальянски пишет с ошибкой. Должно быть: ingegnère.

[2] Гревсу.

[3] Вирджиния Боккабадати (1828—1922) — итальянская певица (сопрано).

[4] Небольшой город Пезаро на берегу Адриатического моря действительно прославлен как родина Дж. Россини.

[5] Помимо И.М. Гревса имеются в виду его жена Мария Сергеевна (урожд. Зарудная; 1860—1941) и дочь Екатерина (1887—1942).

[6] Это рассуждение представляет собою своего рода полемику с утверждениями Гревса в письме к Зиновьевой-Аннибал от 27 августа / 8 сентября 1894 (История и поэзия. С. 76—77).

[7] Известно, что Дж. Верди предлагал ей партию Травиаты, от которой она первоначально отказалась, но впоследствии была одной из наиболее известных исполнительниц этой партии.

[8] 27 августа / 8 сентября 1894 Гревс писал Л.Д.: «Доктор советует для Кати провести месяца два у моря. Для северного моря они уже опоздали. <...> Франц.<узский> берег Сред.<иземного> моря дорог. У меня и явилась идея, нельзя ли им в случае необх.<одимости> приехать к вам, где тепло и дешево и где вы. Напишите же, пожалуйста, можно ли устроиться в Pesaro в одном доме с вами или в самом близком соседстве» (История и поэзия. С. 76). Поездка, однако, не состоялась, как и аналогичная летом 1895 г.

[9] Эти две девушки — Анюта (А.Н. Шустова) и Дуня (Е.С. Строганова). О второй из них у нас очень мало сведений. 10/22 марта 1893 К.С. Шварсалон сообщал Д.В. Зиновьеву: «За коровами и курами ходит у нас Дуня, девушка с Устья, премилая,

ласковая и скромная» (РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 47. Л. 14 об). В примечаниях к дневнику Иванова 1909 года О.А. Шор писала: «Дуня — одна из девушек, сопровождавших Лидию Дмитриевну. Дуня вышла замуж за балтийского рыбака и поселилась с ним на берегу моря, недалеко от Петербурга. Сон В.И. оказался телепатическим: в ту пору Дуня тяжело болела (чего он не знал) и вскоре умерла» (II, 828).

## 3. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*2/14 сентября 1894. Флоренция*

*Флоренция, via de' Pucci 13.*
*p I.*
*14/2 Сент. 1894.*

Многоуважаемая
Лидия Дмитриевна!

Прежде всего глубокая, сердечная Вам благодарность за двойную радость... нет, за две радости (их нельзя смешивать — они так различны!), — за две большие радости, доставленные мне Вашими двумя большими письмами. Но о первой радости и первом письме — потом, так как я боюсь, что, заговорив об этом, буду многословен и что Вы будете невнимательно слушать меня, с нетерпением ожидая перехода к более актуальным и жизненным вопросам, — к тем благословенным вопросам практической действительности, которым я обязан Вашим вторым письмом... Вы не поверите, как я рад Вашей «ссылке» уже по той одной причине, что в месте Вашего изгнания нет меняльных контор и чайных лавок, существование которых в Пезаро лишило бы меня не только Вашего письма, но и всякой возможности узнать, где Вы и что́ с Вами. Гревс, упорно отмалчивающийся на мои настоятельные просьбы «немедленно» сообщить Ваш петербургский или иной адрес, вероятно, и в будущем не согласился бы признать мое желание поддержать с Вами письменные сношения заслуживающим внимания, если бы Ваша нужда в размене денег и покупке чая не явилась, к счастию, в глазах нашего друга более серьезным и уважительным основанием к возобновлению этих сношений[1]. Из чего Вы видите, как я стремился ответить Вам и как тревожился невозможностью сделать это, после того, как пропустил те дни, когда Вы были еще в Женеве, — кажущаяся нерадивость, за невежливость которой я приношу Вам глубочайшее извинение... Впрочем, я уже намерен был вскоре писать Вам по женевскому адресу Вашего батюшки, в слабой надежде, что письмо мое ког-

да-нибудь и как-нибудь попадет в Ваши руки. Что же касается моей выше сознанной вины, то я мог бы, правда, сослаться в оправдание ее на анархию и хаотичность той неопределенной и хлопотливой поры, когда я получил Ваши дружеские, доверчивые, поэтические строки, — поры проводов и собственных сборов в путь, — но созна́юсь лучше, что главная причина моего промедления заключалась в особенном впечатлении, произведенном на меня этими чудесными строками, всколыхнувшими в моей душе такие хорошие, но и такие сильные волны, что я оказался бы плохим учеником проникнутых чувством меры Эллинов, если бы решился тотчас же отвечать Вам, не восстановив в душе трезвой ясности и спокойного равновесия... Однако я еще не дал Вам категорического ответа о практических делах: чтобы более не представлять себе Вас полною томительного ожидания, торжественно беру на себя разменять Ваши деньги, купить Вам чаю нескольких сортов (чтобы Вы могли сделать выбор), исполнить с величайшею готовностью ряд других хозяйственных поручений — и беспрепятственно возвращаюсь к Вашему первому письму, где нет речи ни о рублях, ни о чае...

Прочитав это письмо, я убедился, что одним разочарованием, одною разрушенной иллюзией в моем прошлом стало меньше. Не иллюзией оказывалось то впечатление духовной общности и близости, взаимного сочувствия и понимания, которое с первого мгновения оставило на меня мимолетное знакомство с Вами. Мне не нужно было более упрекать себя в том, что я, изменяя привычной сдержанности, был — быть может, до нескромности — экспансивен в разговорах с Вами о Вашем характере, о Ваших стремлениях, что я позволял себе непрошенные предостережения, навязчивые анализы, ненужные советы: оказывалось, что именно эта инстинктивная откровенность послужила одним из благоприятных условий, облегчивших Вам выход из некоторого тяжелого душевного кризиса. Мне не нужно было более обвинять себя и в фантазерстве, когда, при воспоминании о беседах с Вами, мне казалось, что наш диалог не должен был так внезапно прерваться и что его продолжение в той же мере естественно и желательно, в какой длинное вступление к нему было излишне: Вы, как оказывалось, также имели это чувство, также думали, что нам можно и должно поговорить еще о многом... О, Вы не знаете, как дорого было мне, что Вы, без внешнего повода, снова подали мне голос и что этот голос звучал таким теплым призывом

к дружбе! Должно ли говорить, что я был бы счастлив, если бы пользовался тою степенью Вашего доверия и сочувствия, какую предполагает дружба?.. Я не обманываюсь: есть что-то общее, если не в наших натурах, то по крайней мере в наших вкусах. Быть может, это — привычка смотреть на мир глазами художника; быть может, это — индивидуалистический пафос, если позволено так выразиться, — вера в человеческую *личность* и жажда ее вольного, всестороннего, колоссального развития; быть может, это — так сказать — идеалистический лунатизм, — болезненная страсть проходить через мир, как во сне, со взглядом, устремленным далеко вперед, на одну намеченную точку, на точку, выбранную где-то высоко над горизонтом повседневной жизни... Как бы то ни было, мне симпатичны Ваши великодушные, вольнолюбивые, славолюбивые порывы, Ваша женская жажда верного и преданного служения идеалу, Ваша двойственная способность носить в себе трагический мрак и отражать олимпийский свет, любить жизнь и не ценить ее, быть впечатлительной и задушевной и вместе энергичной и смелой, быть религиозной, как та евангельская женщина с «алавастровым сосудом драгоценного мира»[2], — и вместе отстаивать против тирании* положительного вероучения свою внутреннюю свободу.

Вы именно и затронули в Вашем письме прежде всего вопрос религиозный. Ваше предостережение я оценил и запомнил. Но в настоящее время мне не грозит опасность этого духовного окостенения. «Вера» моя ничего общего не имеет с верою официальной церкви. «Неопределенная» ли «поэтическая мечта» — эта моя вера или более определенная, но во всяком случае еще не достаточно развитая философская концепция или наконец что другое; я не знаю сам; знаю только, что моя внутренняя борьба за веру, или, точнее, за цельное миросозерцание далеко не окончилась, и еще вчерашнее Ваше письмо застало меня в состоянии давно начавшегося тяжелого душевного разлада, — хотя уже сегодня я мог сказать себе: «Vernunft fängt wieder an zu sprechen, und Hoffnung wieder an zu blühn»[3] ... Я рад делиться с Вами результатами своих внутренних переживаний, но кажется, что Вы ошиблись, надеясь услышать от меня «слово», если только Вы понимаете его как законченную формулу, в которую отлилось вполне выработавшееся убеждение, как трофей завершенной борьбы и

* В тексте: тираннии.

одержанной победы. Однако если не имею сказать Вам «слова», то могу поделиться с Вами своим «лозунгом» — ибо лозунг и пароль прилично иметь всякому, кто ведет борьбу. «Zum höchsten Dasein immerfort zu streben»[4] — люблю говорить я себе и своим друзьям вместе с Фаустом, произносящим эти слова в чудной вступительной сцене ко второй части трагедии. Этот девиз Фауста понравится, вероятно, и Вам: потому что и Вы хотите *«существовать»* и самоутверждаться в своем личном сознании; потому что и Вы не миритесь с другим существованием, кроме *«высшего»* — этого загадочного «высшего»; потому, наконец, что и Вы *деятельно* стремитесь к этому путеводному свету — который, должно прибавить, может оказаться или недостижимой звездой, или обманчивым блуждающим огоньком... Важно во всяком случае, что из этого настроения может быть почерпнута мораль, предписывающая работать над самим собой, быть «художником» собственной жизни и, прежде всего, своего внутреннего *я*. И какая это трудная, необозримая, иногда опасная задача и работа! Позвольте по этому поводу припомнить слова одного очень «опасного» и свободного мыслителя, которого я большой поклонник, не будучи однако его последователем (третья немецкая цитата: какая односторонность! какой педантизм!): «Im Menschen ist Geschöpf und Schöpfer vereint: im Menschen ist Stoff, Bruchstück, Überfluss, Lehm, Kot, Unsinn, Chaos; aber im Menschen ist auch Schöpfer, Bildner, Hammer-Härte, Zuschauer-Göttlichkeit und siebenter Tag: — versteht ihr diesen Gegensatz? Und dass euer Mitleid dem "Geschöpf im Menschen" gilt, dem, was geformt, gebrochen, geschmiedet, gerissen, gebrannt, geglüht, geläutert werden muss, — dem, was notwendig leiden muss und leiden soll...»[5]

Я очень рад, право, что Вы «в ссылке» (Вы не удивитесь, конечно, после столь суровой цитаты такой жестокой радости)... В самом деле и без шуток, я рад, что Вы за границей и, следовательно, свободны или освобождаетесь от некоторых отечественных удручающих впечатлений и нравственных цепей (я говорю это не в либеральном, а в *антилиберальном* смысле); что Вы за границей с детьми; что Вы увлечены делом и на будущее смотрите с надеждой, которая, если бы даже оказалась и обманчивой, все же ведет Вас в настоящее время по правильному пути: не должно только преувеличивать значение Вашего будущего успеха или неуспеха... Даже то, что Вы в Пезаро, а не в Париже (какой контраст, и каково было мое удивление!), имеет свои хорошие стороны..

Кроме всего этого, я эгоистически рад, что Вы находитесь в таком близком соседстве, потому что могу таким образом надеяться на свидание с Вами. Благодарю Вас как от себя, так и от лица жены, за так любезно выраженное Вами желание с нами увидеться. Каким образом можно было бы попытаться осуществить его, об этом нужно подумать вместе с женой, а теперь как раз жена и Саша не со мною: с конца Августа они путешествуют по Швейцарии, но уже в этом месяце думают вернуться сюда [6]. Горячо желаю Вам здоровья, энергии и успехов и прошу Вас верить в искреннюю дружбу

глубоко уважающего Вас
Вячеслава Иванова

Ответ на п. 1 и 2. Опубл.: Сапов. С. 7280—732. Фрагменты — История и поэзия. С. 372—373. На следующий день, 15 сентября, пересылая письмо от тещи, Иванов сообщал жене: «Утром сегодня я отправил письмо и чай Лидии Дмитриевне в Пезаро» (РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 8. Л. 41 об). В той же единице хранения, где и оригинал, сохранилась его автокопия. О впечатлениях Иванова от Флоренции, куда они переехали в августе, см. его письмо к Гревсу от 11/23 августа (История и поэзия. С. 73—74).

[1] Имеется в виду пассаж из письма Иванова к Гревсу от 11/23 августа 1894: «Большая просьба к Вам: сообщите мне *немедленно* адрес Лидии Дмитриевны Шварсалон. Если не знаете, где она, то напишите мне петербургский ее адрес. Мне нужно написать ей немедленно» (История и поэзия. С. 74).

[2] «И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, — пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного; и, разбив сосуд, возлила Ему на голову» (Мк. 14: 3).

[3] Цитата из «Фауста» Гете (I Teil, 1198). В переводе Б.Л. Пастернака: «Я слышу разума внушенья, / Я возрождаюсь и хочу / Припасть к источникам творенья...» Эту же строку Иванов цитирует в «Автобиографическом письме» (II, 15).

[4] Цитата из «Фауста» Гёте: «Безостановочно к бытию высочайшему стремиться» (сцена «Красивая местность»). В переводе Б.Л. Пастернака: «...желанье / Тянуться вдаль мечтою неустанной / В стремленье к высшему существованью». Иванов использует данную цитату в качестве эпиграфа к первой части сборника «Кормчие звезды», циклу «Прорыв и грани».

[5] Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла» (7. Глава [«Наши добродетели»], часть 225). В пер. Н. Полилова: «В человеке *тварь* и *творец* соединены воедино: в человеке есть материал, обломок, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть также и творец, ваятель, твердость молота, божественный зритель и седьмой день — понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что *ваше* сострадание относится к "твари в человеке", к тому, что должно быть сформовано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, — к тому, что *страдает* по необходимости и *должно* страдать?» (*Ницше Фридрих.* Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 346).

[6] 4/16 октября 1894 Д.М. Иванова писала Гревсу: «В пути я была 29 дней. Останавливалась в 14-ти различных местах. Ехала я так: Флоренция, Милан, Bellagio, Lugano, Luino (Isola Bella), Bellinzona (здесь составила и взяла круговой билет или

вернее 1 ½ билета), Flüelen, потом прошла пешком по Axenstrasse, Brunnen, Luzern, Zürich, Laufen (Rheinfall), Zürich, Arth-Goldau, Righi-Kulm, Witznau, Alpnoch, Meiringen (Aareschlucht), Interlaken (Klein Rügen), Lauterbrunnen, Mürren, Grindelwald, Interlaken, Bern, Freiburg (слушала концерт на органе), Lausanne, Genève, Montreux (Vevey, Clarens, Glion, Chillon), Brigue, (в почтовой карете) Domodossola, Милан и Флоренция» (История и поэзия. С. 105—106).

## 4. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*5/17 сентября 1894. Пезаро*

*Pesaro. Casa del Ingeniere*[1] *Beldraghi.*
*17/5 Сент. 94 г.*

Не стану говорить Вам банальное спасибо за Ваше письмо, многоуважаемый Вячеслав Иванович. Я была радостно поражена им, и у меня тоже стало одной разбитой иллюзией менее. Я не обладаю ни Вашею логикою, ни Вашей научной философией и поэтому лучше не буду пускаться в теоретические беседы. Мои «длинные» письма — всегда плоды сильного нравственного возбуждения, когда я сама почти не сознаю, как пишет перо. Теперь же я настроена иначе. Очень благодарю Вас за посылку, и раз Вы так добры, что позволяете беспокоить Вас, предупреждаю, что, кажется, злоупотреблю разрешением. Дело в том, что моя учительница уезжает 26 н<ового> с<тиля> Сент<ября> во Флоренцию на целый месяц, и я осталась бы без ее уроков, что было бы невыносимо тоскливо. Мы с ней придумали, хотя еще *не* окончательно, такую комбинацию: я следую за нею и провожу недели две, три во Флоренции. Конечно, меня этот проэкт очень соблазняет, но здесь еще есть много «но». Если же он всё-таки осуществится, то буду просить Вас подыскать мне комнату в 15 м<инутах> (максимум) ходьбы от *. По возможности очень дешевую; лестница[2] может быть плохою, лишь бы забраться повыше, где можно дышать. Приеду одна, конечно. Придется мне нанять пьянино на это время. Вероятно, это легко во Флор<енции>. Но об этом не хлопочите. И без того совестно.

Очень думаю, что при ближайшем знакомстве Вы сильно разочаруетесь во мне. Что касается Вашего письма, то, право, лучше вовсе отвечать на него не стану, пока еще есть надежда на личные беседы. Надо было бы говорить слишком много. Скажу

* Пропуск в рукописи.

только одно, чем полна моя душа. Да, несмотря на всё, жизнь хороша и человечество прекрасно. Надо только уметь жить. Это хотела бы огненными словами проповедывать <так!> на площадях и на улицах. Любите друг друга, и вы будете все, все счастливы. Ведь Вы знаете, что я не фразы говорю. Нет, нет, я полна счастия и любви, и я знаю, что жизнь хороша! Но молчу, молчу, а то чувствую, что не кончу. Вы знаете это чувство, когда сердце сжимается, рука дрожит, перо начинает летать по бумаге и в голове мысли кружатся и давят друг друга. Это хорошо, это дает счастие, но это волнует и утомляет, а я должна петь. Голос мой должен быть чист и силен.

Если я приеду во Флор<енцию>, Вы услышите, какие успехи я сделала с этой чудесной учительницей. Не стану извиняться, что беспокою Вас, лучше впредь поблагодарю за Ваши дружеские услуги.

Мысленно пожав Вашу руку, остаюсь преданным Вам другом
Лидией Шварсалон.

Ответ на п. 3. Получив это письмо, Иванов сообщил жене в открытке от 19 сентября: «Сегодня я получил для размена 300 рублей от Л.Д. Шв<арсалон> и тотчас же разменял и отослал деньги. Разменяли мне 296 лир. В другой конторе давали 292 лиры. Л.Д. сообщает, что ее учительница пения едет во Флоренцию на один месяц, почему и она, чтобы не терять уроков, думает приехать сюда и просит найти ей комнату, если она окончательно решится. — Так как же, думаешь ты, после такого потрясающего известия (!) — продолжить свое наслаждение красотами швейцарской природы или нет? — » (РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 8. Л. 45).

[1] См. п. 2, прим. 1.

[2] Имеется в виду подъезд (петербургское словоупотребление).

## 5. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*7/19 сентября 1894. Флоренция*

*Флоренция, via dei Pucci 13 p.I.*
*19/7 сент<ября> 1894.*

Многоуважаемая
Лидия Дмитриевна,

Снова письмо Ваше приносит мне радостную весть. Сильно желаю, чтобы не встретилось препятствий к осуществлению Вашего плана. Как только Вы дадите мне соответствующие инструкции, по возможности обстоятельные, и, главное, наполните пробел, оставленный Вами после слов: «в 15 минутах (максимум)

ходьбы от....», — я немедленно постараюсь приискать Вам комнату. Кстати, если при комнате будет salottino[1], как это часто бывает во Флоренции, — Вы ничего не имеете против этого? — И непременное ли условие — верхний этаж?... Деньги Ваши я разменял по 296 лир у Pestellini[2]; в указанной Вами конторе на via Calzaiuoli — если только я ту нашел, которую Вы имели в виду, — предлагали только 292 лиры. Спешу отправить Вам деньги. Оставайтесь в Вашем бодром и светлом настроении и свободно располагайте услугами

преданного Вам

В. Иванова

P.S. Из полученной в конторе суммы 888 л<ир> я, по Вашему распоряжению, вычел 5 л<ир> 50 с<ентесимов> за покупку чая. Итак, посылаю 882 ½ л<иры> [3].

Ответ на п. 4. Сохранилась также автокопия этого письма.

[1] Небольшая приемная (*ит.*).

[2] Сохранилась расписка, полученная Ивановым при обмене денег, в которой указан адрес обменной конторы: Francesco Pestellini. Firenze. Via de' Cerretani. Cambia Monete. Negoziante in Fondi Pubblici e Valori Industriali. Firenze, le 19/9 1894.

[3] Мы не можем должным образом откомментировать особенности валютного обращения того времени. Упомянутая в предыдущем примечании расписка фиксирует: «300 Rubl. / 296 Ł 888-». Цифры во всех случаях читаются вполне отчетливо.

## 6. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*7/19 сентября 1894. Пезаро*

*19 Сент. 94.*

Многоуважаемый Вячеслав Иванович,

простите мне мою рассеянность. Теперь узнала адрес и, кстати, могу сказать, что еду наверное 30 Сент<ября> н<ового> с<тиля>. Буду во Флор<енции> в 6 вечера. Была бы сердечно благодарна, если бы Вы подыскали комнату около via Nazionale 42 у p<iazza> Independenza. Не стесняйтесь решать за меня.

Преданная Вам

Л. Шварсалон.

Простите почерк: пишу в лавке.

Открытка. Адрес: Al Signore V. Ivanov. Via de' Pucci 13 p ф 1. Firenze.

Фактическое продолжение п. 4. Фрагмент — История и поэзия. С. 373. О получении этого письма Иванов известил жену в открытке от 20 сентября: «Сегодня

опять получил извещение от Лидии Дмитриевны — в виде открытого письма. Она пишет, что приедет 30 Сентября и определяет местность, где желала бы иметь комнату, — местность эта окрестности piazza Independenza. Я также откр<ытым> письмом спросил ее, на месяц ли нанимать комнату или с условием понедельной платы?» (РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 8. Л. 47).

## 7. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*8/20 сентября 1894. Флоренция*

*20 сент<ября> 94.*

Многоуважаемая

Лидия Дмитриевна!

Я знаю теперь, в какой местности должна быть комната, но не знаю другого важного условия: возьмете ли Вы ее на месяц или будете платить, напр<имер>, понедельно? не знаю также, давать ли задаток или дождаться Вас? До 30-го числа во всяком случае еще много времени. Очень рад, что Вы приедете наверно!

Преданный Вам

ВИ.

Печ. по автокопии с несохранившегося оригинала. В ней слева от даты помечено: «3) <порядковый номер письма> (откр<ытое> письмо»). Ответ на п. 6.

## 8. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*9/21 сентября 1894. Пезаро*

*21 Сент. 94 г.*

Многоуважаемый Вячеслав Иванович!

Все о комнате: платить, думаю, удобнее по неделям, ибо будущее в руках Неизвестного. Этаж верхний желателен, но не обязателен. Salotto[1] приятен, если не очень повышает цену. А цена имеет значение ввиду того, что эти два путешествия ввели меня в долги. 5 L., конечно, не имеют значения, но 10 за 3, 4 недели уже — да. Затем, если Вам комната понравится и Вы боитесь ее потерять — давайте задаток. За всё буду Вам глубоко благодарна. Я очень покладистый человек, а к тому еще на Ваш вкус вполне полагаюсь по Римскому опыту. Буду 30-го в 6.25 вечера. Спасибо за деньги большое.

Преданная Вам
Лидия Шварсалон.

Открытка. Ответ на п. 7.
[1] Салон (*ит.*).

## 9. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*14/26 сентября 1894. Пезаро*

*26 сент. 94 г.*

Простите, что надоедаю всё тем же скучным вопросом. Оказывается, что поезд мой приходит в 5 ч. 55 м. вечера. Если Вы, многоуважаемый Вячеслав Иванович, будете столь любезны встретить меня в Воскр<есенье>, я, конечно, была бы очень рада.

С совершенным уважением и впредь благодаря Вас, остаюсь
Лидия Шварсалон.

Открытка.

## 10. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*15/27 сентября 1894. Флоренция*

*Флоренция 27 Сент<ября>*

Многоуважаемая
Лидия Дмитриевна!

Вчера и сегодня я осмотрел ряд комнат, из которых некоторые мне кажутся подходящими. Есть, напр<имер>, одна светлая и спокойная комната близ piazza Indipendenza во II эт<аже> — ценою в 6 лир в неделю. Еще удобнее, как мне кажется, pensione Norchi — via Nazionale 36 III (совсем близко от № 42); там можно иметь большую комнату за 1 фр<анк> в день, маленькую за ½ фр<анка> в день, полный пансион (со включением платы за комнату, но без вина и свечи) за 4 фр<анка> в день. В № 110 на via Guelfa, также вблизи от указанного Вам места, есть во II эт<аже> [piano terreno] комната ценой в 20 л<ир> в месяц, — но она отдается только помесячно; на той же улице в № 120 p. II terz <?> одна чистая комната стоит 7 лир в неделю, 25 в месяц. Есть еще не особенно привлекательный пансион почти рядом с № 42 via

Naz<ionale>, где можно найти комнату за 1 фр<анк> в день. Итак, комнат много. Окончательный выбор Вы должны сделать сами. Я встречу Вас в воскр<есенье> на станции и покажу комнаты.

Моя семья вернулась. Жена очень обрадована предстоящим свиданием с Вами и просит передать Вам ее сердечный привет.

Преданный Вам

Вяч<еслав> Иван<ов>

*Открытка* (cartolina postale italiana). *Штемпели: 27.9.94. Firenze — 28.9.94. Pesaro*
Адрес: All'onoratissima Signora
S-ra Lidia Schwarsalon
Casa dell'Ingegn. Beldraghi *Pesaro*
Ответ на п. 8 и 9. Фрагменты — История и поэзия. С. 106, 373.

# *ИНТЕРМЕДИЯ (I)*
## *Флоренция 1894*

## ИЗ ДНЕВНИКА Л.Д. ШВАРСАЛОН

*Флоренция. Сентябрь 1894 г.*

<...> Мое здоровье было страшно подорвано. Я лежала неделями без сил. Весною я решила к зиме уехать за границу, чтобы без новых преследований и в лучшем климате продолжать свои занятия пением. И вот теперь вы в Pesaro, с Анютою и Дунею[1], а я на месяц во Флоренции, куда я поехала вслед за своей учительницей, чтобы и во время ее отдыха не терять даром времени. В Pesaro я провела вместе с Вами 4 недели и за это время отдохнула душою. Там было так тихо, так уютно. Занятия шли отлично, и я рассчитывала, что, проучившись хорошо зиму, весною я уже могу дебютировать в Италии. Мой голос развился, вечно сдерживаемое, подавленное пламя души моей теперь может красиво и побеждающе выливаться в чудных звуках. Впереди быстрое достижение блестящей цели. Цели, которая даст новые, сильные и красивые ощущения, которая удовлетворит самолюбие, даст развиться новым сторонам в моем существе, и мне казалось в Pesaro, что я еще могу быть счастливой, и я, не смея почти верить этой возможности, слабо и трепетно улыбалась вновь зарождающимся мыслям о счастии.

Дети мои, я во Флоренции, в той Флоренции, в которой провела 4 года тому назад зиму[2]. Всё здесь говорит о прошлом. Я живу в уютной маленькой комнатке. Рядом со мною неразлучный друг рояль, над ним другой друг: коллизей <так!> (о нем расскажу когда-нибудь)[3]. Красота, искусство, спокойствие души в настоящем; слава, быть может, жизнь и опять-таки красота и искусство в близком будущем. Чего мне надо еще? Я провела бессонную ночь.

Теперь 6 часов утра, я села писать, потому что мне стало больно почти по-прежнему. Чего мне надо? Чего мне надо? Любви, ласки. Мне надо человека сильного, прекрасного душою, умного, доброго; мне надо, чтобы он любил меня, чтобы я могла быть ему первою и единственною, и тогда я желала бы только хоть изредка в тяжелую минуту прийти к нему и положить голову на его плечо, прижаться к нему и спрятаться от жизни и... отдохнуть тихо, молча и с любовью. Безумная, ненасытная душа человеческая. Не надо мне славы, не надо свободы. Любви хочу я, любви. Что делать мне с собою? В течение дня я работаю, воля моя крепка и разум силен. Но вечером, но ночью... Пусто, холодно на душе, и душит, и давит меня непрожитая весна моей жизни, весна, которая только чуть, чуть, в ранней молодости погрезилась мне и уже в своих неясных грезах так сильно говорила о солнце, о лесе, о счастии, о надеждах, о слезах восторга, о любви, о лете пламенном и чудном. Затем началась жизнь вся в труде, в вечных гражданских скорбях, освещенная не пламенном <так!> солнцем любви, а лишь мягким отблеском его: дружбою и уважением. На сердце было лишь тепло, а я знала, что может быть упоительно жарко. Я знала, но знание это притаилось, т.к. дружба, вера, благодарность и уважение заменяло так многое. К тому же сознание, что я любима, доставляло радость... и я считала себя счастливою!

Но вот всё рухнуло. Рухнуло уважение и вера, сознание его любви превратилось в насмешливый мираж, и вдруг опять в душе заговорила весна. Заговорила весна... но... теперь уже осень. Кто думает осенью о весне. Еще до весны зима. А зима человеческой жизни означает смерть. Зачем, зачем не была я молода весною, зачем не была счастлива летом. Зачем захотела я солнца в сентябре, солнца жаркого, сильного, воскрешающего. В душе моей притаилась непережитая жизнь. Я знаю, что она, эта жизнь, давит и гнетет меня. Слишком сильно живет во мне сознание счастия, т.е. возможности счастия на земле, ослепительного, прекрасного счастия. Откуда это сознание? Откуда эта жажда, если счастие миф? О, к чему тогда эта напрасная мечта? К чему это страдание. О нет, о, нет, счастие есть. Я верю, я знаю. Я вижу это в блеске звезд, в сиянии луны ночью, в ослепительном свете солнца днем, в красоте природы, в упоительных звуках музыки, в великих творениях руки и ума человеческого. Есть красота, есть счастие, есть любовь. Иначе не пела бы мне вся природа и всё искусство одну и ту же назойливую, но прекрасную песнь. И в душе я сознаю

столько бурных, не прожитых сил для счастия, потому что для счастия нужны силы и счастливым умеет быть лишь сильный. А я сильна! Да, дайте мне счастие, и я покажу, что достойна его. <...>

*26 Сентября 1894 г. Флоренция*

Итак, я иду по via Cavour. Вечер, звездное небо, небо Италии. Длинная вереница фонарей, кончающихся загадочно где-то вдали. Впереди четыре черные фигуры по широким плитам мостовой в глубокой тишине мерно и быстро несут черный гроб на носилках. Шествие освещается фантастическим светом смоляного факела. Ароматический запах его разлит в воздухе, свет то вспыхивает ярко, то, дрожа, замирает и тухнет. Что-то странное, таинственное, и жуткое, и притягивающее направляет мои шаги, и я иду за гробом. Я ничего ясно не думаю, и смерть, и небо одинаково навевает на душу что-то великое и спокойное. Я иду, и желала бы идти без конца всё вперед и вперед под этими вечными звездами за этою вечною смертью. Что я думаю, я ясно не знаю, но грезится мне что-то громадное, неизмеримое и прекрасное. Страшна ли смерть? нет. Умереть, успокоиться, слиться с вечною тишиною и в вечном молчании найти ответ всей загадке жизни. Молчи, мысль, молчи, сердце. Вы просите того, чего жизнь не может дать. Всё существо мое просит любви. Весь мир для меня говорит о любви. Солнце горячее, ласкающее в прозрачном воздухе юга, и эта ночь, и эти звуки песни, которыми я со страстью прославляю красоту, счастие, любовь, и вся душа, и каждый фибр существа моего говорит, просит, молит о любви. Но для меня любви нет. О смерть, ты не страшна. О смерть, приди, приди. Дорогая, желанная, сжалься надо мною. Надломи во мне одним ударом последние слабые корешки надежды, которые еще связывают меня с жизнью. О смерть, приди. Дай покой. Убей эти мучения. О смерть, приди. Я не могу писать, я хочу рыдать, но слез нет. Я одна. Боже, я одна. Я хочу человека, которому я была бы дорога. Я хочу сказать ему. Оживи меня, дай силы, а я дам веры, веры в жизнь, в добро, в красоту, в идеал. В мой прекрасный, поэтический и неосуществимый идеал. Но я одна. О любовь, разве люди понимают тебя, разве ты та, которых <так!> люди называют твоим чудным именем. Разве для любви нужны рамки, разве любовь не выше, не сильнее, не прекраснее! Любовь, любовь, amore, как прекрасно это слово, произнесенное мягко <?>,

на этом дивном языке поэзии и красоты. Две души, понимающие друг друга и сливающиеся, несмотря на расстояния, на препятствия жизненных коллизий. Пусть жизнь притесняет и мучает, пусть холодно и серо вокруг, в душе горит яркий свет, свет любви, свет сознания, что ты не одинок, что есть еще такое же человеческое существо, которому ты дороже всех. И вот я иду за гробом не одна, я иду с ним, мы идем за руку, мы чувствуем, мы мыслим. Умом и сердцем мы охватываем весь мир, и власть наша безбрежна, как звездное небо над нами, и жизнь прекрасна, и смерть не страшна. Мы не зовем ее, но мы не противимся. Мы жили, мы были счастливы, дадим место другим. Но счастие возможно только вдвоем. Тот, кому я дороже всего, тот должен и мне быть первым. А затем всё остальное нам принадлежит.

Ничего не выходит из того, что я пишу. Я ничего не могу передать. Душа полна, тоска мучает. Я пришла домой в свою комнатку, я не знаю, что мне делать. Петь нельзя, спать я не могу. Я хожу взад и вперед, и всё в одном и том же узком пространстве. Я точно лев в железной клетке. Тоскую и бьюсь о стенку <?>, и припоминается что-то смутное, далекое, точно грезы, точно сон. Вырваться хочется. Воли, ласки, счастия хочется. Но нет, жизнь говорит: нет. <...>

*18/6 Окт<ября> <18>94 г.*

День моего рождения. Опять пишу. Хочу, чтобы стало яснее на душе, и ничего не понимаю. Флоренция принесла мне столько нового, и столько прекрасного, и столько странного. Я не знала, что в моей душе столько туго натянутых, тонких и чутких струн. Но эти струны отзываются страстью на всё, и в конце концов я не понимаю, кто я и что я?

То я бессердечная, эгоистическая, гениальная кокетка, наслаждающаяся властию своею над человеком, улыбающаяся от счастия при мысли, что она владеет человеком, перед которым преклоняются люди, подобные Гр<евсу>[4]. Да, я горжусь и упиваюсь своею властью. Когда я улыбаюсь, он весь проникается радостью, когда я грущу, он впадает в меланхолию. Он льстит мне тою самою высшею, самою сладкою лестью, лестью любви, которая сама в себя верит. Нет мысли, нет чувства во мне, которой он не мечтал бы постигнуть и разделить. Душа его — моя. И что же, любовь моя, не расцветше <так!>, завяла. Быть может, я не спо-

собна любить, быть может, я способна лишь властвовать. И ужас берет меня при более глубоком взгляде в свою душу. Какое странное сочетание холодного ума и горячего чувства. Я чувствую, что могу действовать как безнравственная эгоистка и как святая, отдающая с упоением всё из любви к ближнему. То я жажду себялюбивого счастия и для него согласна попрать ногами живые страдающие преграды, то я сознаю себя такой высокой, такой доброй, такой самоотверженной, что является жажда жертвы. В душе и ад и рай, и мрак и свет, и красота и грех, и святость и падение. Что это за загадка, человек. Прекрасная, никогда не разгаданная загадка? О жизнь, как ты прекрасна в своей сложности, в своих противоречиях, во всей необозримой широте своей. О жизнь, почему ты не вечна? Но нет, ты не должна быть вечною. Смерть — это венец жизни. Не будь ее, вся красота померкла бы. Ходить под вечно нависшим мечем уничтожения, распадения в прах и смело, дерзко вдыхать и впитывать свободную красоту жизни — какое божественное наслаждение для того, у кого душа смела. Я смела, не в этом ли разгадка? Я страдала. О как страдала. И что же, я вынесла лишь презрение к этим страданиям. Разве не презираешь то, что победил. Сколько раз была я на шаг от самоубийства, однако я победила, и я живу, и нет того положения, того человека, той коллизии жизненной, которая могла бы напугать меня. Я свободна и смела. Да, я Бог, потому что я не боюсь ни жизни, ни смерти. И о, как я люблю людей и как я желала всем вдохнуть смелости и презрения, и тогда жизнь засияла бы иначе.

Я люблю его, положим, что я люблю его. Мы пара. Он понимает меня, я его. Говорить с ним наслаждение. Идти с ним под руку, вдвоем в тиши ночи по освещенной задумчивой луною лунгарно <так!>[5], — что может быть поэтичнее, теплее, лучше этого. Мы чувствуем мысли друг друга, и когда мы молчим, мы так же счастливы вне времени и пространства, как когда говорим, и я думаю: отдадимся каждый своим горячим мечтам, мечтам о славе, высшей славы, славы в творениях наших <так!>. Будем работать врозь свободно, без всякой ревности в разных углах мира, куда увлечет нас судьба на наших столь разных с виду и столь близких в сущности путях. Сколько сил душевных будет нами потрачено на работу, сколько наслаждений высших, тонких даст нам успех. Но когда усталые и одинокие среди друзей и успеха сердца наши повлечет друг к другу, мы, свободные и смелые, со-

единимся и разделим свой отдых вдвоем. О, какое наслаждение. Вокруг нас должна быть красота и уединение. У нас есть так много о чем переговорить и передумать. Ведь по бесконечной близости, полной, жгучей, прекрасной близости мы одни во всем мире. И мы отдаемся этой близости, и мы счастливы, как Боги, и в этом упоительном счастии мы черпаем новые силы для жизни, которая скоро вновь понесет нас дальше и выше, всё прекраснее и лучезарнее.

Труд, свобода и любовь.

---

Спустись на землю, друг мой, спустись на ту землю, которая не земля твоего воображения, а земля действительности с ее узкими рамками, с ее мелким страхом перед страданиями, с ее плоскими стремлениями к покою.

Страдания, где Ваш ужас? я не боюсь Вас.

Покой, где твоя прелесть? Я ненавижу тебя.

*7 Окт<ября> <18>94 г. 7 час. утра.*

Какой странный день вчера. Я хочу его описать. Утром я бичевала себя и преклонялась перед собою. Днем я привела его к себе, и он читал предыдущие страницы. Потом я дала ему прочитать те страстные, красивые строки, которыми я весною описывала свою первую и последнюю любовь. Кто знает, впрочем, последняя ли, и кто знает, была ли это любовь? Но, во всяком случае, это было нечто такое цельное, полное, сильное, что я сама была поражена красотою этого чувства. Когда он прочел, я вырвала исписанный лист из альбома и просила его уничтожить его. Я не хотела более страдать от этой безответной страсти, и мне мистически казалось, что если он спас меня в Риме, он может заворожить и это чувство, кот<орое> так хорошо затихло в душе моей. Но он горд и он отказался. Тогда я при нем разорвала лист на мелкие клочки. Он ушел, а клочки бумаги остались стиснутыми в моих пальцах. Я взглянула на них. Ведь в этих клочках изорванной бумаге <так!> когда-то, и так еще недавно, билась и клокотала жизнь. Когда я писала те слова, писала не рука моя, а всё существо мое, вся душа, всё, что жило во мне так мучительно сильно, что жгло и истязало, и вместе с тем судорожно цепляло меня к жизни. И я разорвала это! Неужели сердце мое не обливается кровью, ведь я ранила его, больно ранила. Да, оно обливалось кровью!

Я разложила клочки по столу и часа два старательно складывала их. Сложив, я списала те слова, которые когда-то огнем горели в душе. Теперь я смотрела на них глазами художника, я перечитывала их и говорила себе: как цельно, как красиво! О эти глаза художника. Здесь я перейду к вечеру.

Мы читали роман. Сцены были хороши, я это чувствовала, и он тоже. Мы вышли под и руки <так!> и пошли по via Cavour. В воздухе было сыро, тучи бродили по небу. Недавно лил дождь. Вечер был тихий и теплый. Природа отдыхала после грозы. Мы шли, и что-то грустное легло на наши души. Мы долго молчали. Потом он стал говорить обо мне. Он говорил, точно читал мои собственные мысли, мысли, которых я так боюсь. Он говорил, что я не любила, не люблю и, вероятно, никогда не сумею полюбить. Художники не любят, а <у> меня художественная натура.

О как я ненавижу и люблю это слово. Сколько мучений принесло оно мне. Неужели я не умею любить? Но тогда лучше камень на шею и в воду. Он говорил, что я жажду, чтобы меня любили, но сама любить сумею только из благодарности. О это скучное, мелкое, слабое, презренное чувство. Неправда, я хочу любить сильно, могуче, но я не хочу любить одна, точно так же, как не хочу любить из жалости или благодарности. Он говорил еще, что я костер, а она луна, и что он видит свет обоих. Но я не хочу быть костром, я хочу быть солнцем, чтобы потушить луну и затмить луну, и еще чтобы самой сиять и гореть жарким, живительным светом. Неужели я до конца буду спрашивать у жизни: и это всё, и это всё? где же сон мой? где мечта? Неужели я горяча с виду, а в глубине я лишь психолог собственной души и «художник» портит и раздвояет «человека». Эта мысль отравляет мне жизнь, а он точно намагнетизировал меня ею. Итак, да: это проявилось с первого увлечения моего Ахметовым[6], да, я любила его до тех пор, пока не взглянула в его душу, казавшейся <так!> мне таинственной, до тех пор, пока он не отдал мне эту душу. С того момента, как я победила, я уже охладела к побежденному. И теперь повторилось бы то же, и я уже вновь жажду любви. Но я умею любить только пока надо бороться, лишь только борьба кончена и победа моя, мне уже не интересно. И так я прохожу жизнь, и всё ищу человека, над душой которого стоило бы задуматься, с кем стоило бы помериться силами, но к чему эти поиски, если результаты их известны вперед, они всегда сводятся к холоду и смерти. Но разве это качество моего существа касается только любви? Нет, оно идет дальше и распространяется на все жизненные отноше-

ния. Дружба точно так же отравляется, как и любовь. Чем больше дает мне друг, чем более я уверена в его преданности, тем менее я ценю его, или, вернее, тем менее ценит его мое сердце, хотя ум постоянно старательно развивает мне тысячу разумнов <так!> доводов против этого охлаждения. Благодарность, преданность. Но Боже, кажется, для меня это лишь звучные, красивые слова, но они лишь скользят по моей душе.

Мы шли грустные, обошли piazza Indipendenza и подошли к дверям моего дома. Ключ плохо слушался его руки, и он вынул его, не открыв дверь, и сказал: пройдемтесь еще. Нам не хотелось расставаться так, нам было слишком грустно, и мы пошли, и мы говорили о своей дружбы <так!>. Он сказал: «У Греков был обычай при закладке здания прекрасного зарывать под фундамент что-нибудь драгоценное, иногда даже человеческую жертву. Заложим и мы под фундамент нашей дружбы нечто драгоценность <так!>. Я чувствую к Вам больше дружбы, я определю это слово нежностью, т.к. это не любовь!» Я сказала, что тоже могу дать больше дружбы, и мы снова грустно улыбнулись, взглянув в глаза друг друга. Месяц светил так тускло, листья с деревьев на площади мялись беспомощно под ногами на сырых камнях. Во всем воздухе, казалось, была разлита меланхолия, тихая, немножко нежная, но какая-то беспомощная и безнадежная. Такая же меланхолия наполняла и нас. Мы вновь подошли к моей двери. Ключ вновь заупрямился, но мы не торопились, мы ничего не говорили, но оба знали, что обоим как-то невольно хотелось продлить еще одно и еще одно мгновение этой меланхолической ночной прогулки. Я пришла к себе и села. Я села на пол у своей кровати. Сердце во мне щемило, но не так, как бывало, со страстью и с болью почти невыносимой. Это тоже было тихое, меланхолическое страдание. Я не знаю, сколько времени я сидела так, и думала, и думала. Я думала о том, как грустно быть «художественной» натурой, как грустно встретиться с другой «художественной» натурой и засветиться для него костром, который не мешает ему видеть луну. Да полно, так ли всё это? Когда я легла спать, я не посмотрела на часы. Мы с ним бродили вне времени и пространства в этот вечер, и я хотела провести так же и это <так!> ночь. Я спала мало. Утром встала в 6 часов. Голова свежа. Утро без яркого солнца, но и без дождя. В саду под окном так тихо. Рядом соседка наигрывает на мандолине, и вчера, когда мы шли с ним, играла мандолина так грустно и поэтично!

Но сегодня мне весело, и я всё шепчу: полно, так ли это? Я села причесывать волосы и, встречая свой взгляд в моем маленьком зеркале, я вижу, что он веселый; я улыбаюсь, и мне такою странною кажется эта улыбка, что я громко смеюсь. Да, мне весело! и я надеюсь на жизнь!

---

*8 Окт<ября 1894>*

Утро было такое грустное. Что за перемены неожиданные, нелогичные. Я читала «Trionfo della Morte»[7]. Какая ужасная правда. Отчего такие ужасные вещи находят такой сильный отклик в моей душе. Разве моя душа больна? Нет, нет. Разве болезнь рветься <так!> к красоте и гармонии. Чем я виновата, что и во мне вселилась <так!> частица Божества и влечет меня ввысь? Зачем эта нелогичность в создании мира. Безобразие, жестокость, мелочность, плоскость вокруг, и ясное сознание и страстная жажда высокого, цельного, полного, прекрасного в душе? В этом самый мрачный трагизм жизни. Борьба духа и тела. Неестественная, изнурительная борьба. Дух видит всю уродливость, грязь, слабость, жалкую беспомощность тела, и страдает, и рвется, но куда ему уйти, когда он таинственно и неразрывно связан с этим телом, когда это тело — жизнь его и вместе с тем и смерть его. И в этом всё зло.

Есть организации особенно тонкие, у которых дух точно свободнее отделяется от тела, и такие организации страдают вдвойне. Дух человеческий стремиться <так!> к красоте и гармонии. Но ее нет. Дух мог бы помириться с телом, лишь если тело изменилось бы. Если бы не было в нем ничего уродливого, болезненного, страдающего, грязного. Если бы тело сияло красотою Олимпа, и если бы можно было людям не сходить никогда с высот Олимпа на плоскую грязную землю. [Мне было так больно от дисгармонии.]

Я читала. За моим роялем сидела соседка. Она разучивала аккомпанимент <так!> «Аиды»[8]. Какая насмешка! Чудные, страстные звуки, в которых выливалось цельное, могучее чувство прекрасной, величественной, разгневанной женщины, и эта жалкая фигура с желтым худым лицем, с сухою желтою шеей, темная, бессильная, согбенная под тяжестью физических некрасивых недомоганий. Меня резал по сердцу этот контраст.

Вчера она показывала мне снимки со статуй Римских и говорила: «Я хочу обвесить ими всю свою комнату, чтобы глаза мои всегда видели красоту». Какая насмешка: эта жалкая, слабая, оди-

нокая девушка и красота! Я бросила книгу. Слезы душили меня. Я думала о том, что я тоже одинока, потому что никакая дружба не заменит любовь. Я хочу быть первой, но я не умею даже сделать никого первым для себя. Я вышла на улицу и тихими шагами, разбитая, с мрачною душою и опущенной головой пошла вдоль Piazza на урок.

Я увидала что-то, что показалось мне издали птицею. Оно быстро двигалось по мостовой. За ним бежал человек и, догнав, принялся бить это что-то каблуками. Послышался писк. Когда я прошла мимо, то увидала громадную крысу, которая извивалась уродливо в предсмертных судорогах, а человек еще добивал ее ударами своих ног. Меня всю трясло. Отвращение, ужас, жалость, но главное — отвращение, наполняли меня.

Умирающее уродливое животное, и это — убивающее его со скотским наслаждением, грубо и брутально второе животное — человек, и эта группа людей, с интересом остановившая<ся> вокруг, чтобы смотреть на безобразное зрелище. Я загнула в подъезд, и мне стало легче, когда я на лестнице несколько раз громко простонала *.

К чему это всё, к чему? Неужели больше ничего в жизни нет, кроме брутальной действительности и мучительных порываний высвободиться от нее?

*9 Окт<ября 1894>*

Копия с письма

Дорогой мой друг, простите, что вновь тревожу Вас. Но я честно обращаюсь к Вам как к другу, т.к. прошлое похоронено навсегда, и тем не менее Вы и одни Вы мне ближе всех. О, мне так тяжело. Отчего? разве я знаю. Отчего создала меня судьба такою, а не иною? Отчего мне надо счастия такого, какого нет? но которое мне грезится до галлюцинаций? Отчего жизнь плоска, пошла, вульгарна, жестока? Отчего всё не красота и гармония? Простите, простите, но отчего я рыдаю безутешно, безумно, отчего я падаю на пол от этих рыданий и корчусь, как раненная? Отчего весь мир тёмен и солнце померкло? Отчего я вспоминаю свою

* Когда я вошла в комнату, молодая девушка кончала петь какой-то величественный мотив из итальянской оперы. Я сидела на диване и рыдания сжимали грудь.

дорогую, ненаглядную и святую сестру Ольгу*, вспоминаю с завистью и громко зову ее, мою Олю**, которая прожила 7 счастливых, упоительно счастливых годов, умерла молодою *** — безболезненною, красивою смертию, как бы пораженная стрелою завистливого Бога. Отчего же я живу? я несчастная, ищущая того, чего нет?

Я провела утро в галлереях <так!> и церквах. Я впитывала красоту и поэзию, и мое сердце сжималось от полноты и силы ощущений****. Это жизнь, изображенная гениальными художниками, это не та жизнь, которою живем мы, несчастные, больные, мелкие людишки, и идеал жизни цельной, полной, поэтической, такой, какою она грезится в неясных грезах в весну дней человеческих, встает в моей душе. Потом я за обедом говорила об Оле, потом я вернулась домой со своим другом*****. Я шла в тумане. Душа рвалась ввысь куда-то, где бесконечно хорошо, величественно, гармонично. Когда я осталась****** одна в своей красивой комнатке, рыдания вырвались наружу сами собою. Тысячу, тысячу раз умереть, чем жить в этом разладе между действительностью и фантазией. Но мои фантазии так ослепительно прекрасны. Вы скажете: она больна. Пусть, но разве здоровые так хороши и счастливы. Разве обыденная жизнь не пошла, не грязна, не вульгарна, не скучна?

Пусть! я люблю свои грезы. Я бросилась к роялю и принялась петь. Я пела, рыдая. Что за странное пение!*******

Голос дрожит, но в его звуках вырывается наружу тоска, и sehnsucht <так!>[9], и страсть!

В этих звуках я выливаю наружу все бурные порывы к лучшему, к высшему, гармоничному, совершенному:

«Connais-tu le pays où fleurit l'oranger... c'est la que je voudrais vivre, aimer et mourir, c'est là, oui c'est là»[10], и представляется мне

---

* На полях полустертым карандашом приписано: брата Андрея.

** В тексте карандашом: Андрюшу.

*** Исправлено на: умер молодым; на полях правка карандашом: Он был слишком глубок для жизни.

**** В этом месте следует вставка карандашом, однако она стерта так, что не читается.

***** В тексте с переходом на поля карандашная вставка: Потом я говорила с Александром об Андрее. Говорила потому, что не могла иначе, хотя знала, что он не может понять меня и его.

****** Исправлено карандашом на: оказалась.

******* Вставка на полях карандашом: За последнее время музыка все более и более врывается в жизнь и вытесняет жизнь, действительность.

край, где всё прекрасно, где любовь, цельная и гармоничная, царит надо всем, где поступки людей величественны, где чувства и мысли сильны и цельны. Где человеческая душа не изнывает и не страдает в тоске и одиночестве. О красота, красота, как ты хороша и как ты опасна для человека, который тебя понимает и к тебе рвется. Простите.. В общем всё отлично*. Разучиваю дуэт из «Аиды», чувствую, что талант развивается вместе с голосом. Кроме того, принялась писать свой роман.

Остаюсь сердечно пред<анным> Вам другом
Л.Ш.[11]

*14 Окт<ября> <18>94 г.*

Что произошло за эти дни во внешнем мире, касающемся меня? Ничего, ровно ничего. Что во мне? О, так много, что я окончательно потеряла способность спать. Это и прекрасно и мучительно. Я опишу один день. В общем, рамка этого дня подходит и ко всем остальным дням этого месяца во Флоренции. Мой день начинается с той минуты, как я рано утром около 6 часов открою глаза. Я тотчас поворачиваю их к полосе света, падающей из полуоткрытого окна. Уловив свою полосу, я начинаю думать. О чем я думаю, разве я могу сказать? Разве я сама знаю? Во мне проснулась тысяча жизней и я горю в каком-то вечном огне, переходя от восторженного блаженства к беспросветному отчаянию, и всё это без всякого внешнего давления. Боже, что сталось с моею душою? Я впервые встретила человека, который или так же божественно здоров, или так же болен, как и я, и мы пьяны без вина. Пьяны жизнею <так!>, ее внутреннею глубиною и полнотою. Я лежу и думаю. Действительность перепутывается с грезами, и это единственная разница между утром и ночью, так к<ак> и ночь моя вся полна мыслями и образами, но там фантазия, и какая прекрасная, жгучая фантазия. Итак, я не знаю, когда перехожу мыслью от себя или его к своему роману, вернее, к романам, потому что голова полна планов. Я сознаю в себе океаны сил, бездны талантов. Но всё это глубоко во мне. Выйдет ли что-либо наружу? Выльется ли когда-либо с пера моего то, что бурлит и клокочет в душе моей, все тысячи, тысячи жизней, которыми я живу, которыми я задыхаюсь. Я проснулась.

---

* Карандашом вписано в тексте и на полях: сносно. Завтра я опять <1 нрзб>, но лучше умолчу об этом. Я еще боюсь поднести фонарь мысли к своей работе <?>.

Я — Вера. Вера моего романа, о которой он читает мне по вечерам и которую он любит. Но та Вера была девочка, в ней еле заметно зачинались задатки той бесконечной разносторонней жизни, которою живет Вера теперь. Не было 8 лет жизни! Не было прошлого, прошлого, составленного из узкого прозябания и удушения в себе всякой более широкой, смелой мысли, выходящей из рамки прямолинейных, фанатичных социальных убеждений, нивилировки <так!>, задавленности свободной, сильной и полной в самой себе личности. Не было этой верной супружеской любви, тепленькой, пошлой, поддерживаемой моим разумом из сознания холодного и мертвого принципа. Были только минуты, часы, когда я просыпалась и, вся дрожа, прислушивалась к странному, но могучему голосу, кричавшему во мне: «и это всё, и это всё? Нет, нет, встань, проснись. Смотри, жизнь прекрасна! жизнь свободна! жизнь полна! жизнь не об одной грани! Твоя жизнь мелка, твои мечты прекрасны, но они должны разорвать тысячу оков, чтобы стать "идеалами". Твои чувства мелки, скучны, неполны. Часы, дни, года уходят, а ты не жила и не любила!» Испуганно глушила я в себе этот голос, и вот сама судьба разбудила меня. Сами Боги занялись мною. Я проснулась: прошлое — сон. Настоящее принадлежит мне, и я счастлива. А будущее? О будущее! Suave eb<b>rezza![12] Опьяняющие, широкие горизонты красоты, славы, жизни полной, жгучей: я задыхаюсь при мысли о нем, об этом лучезарном будущем.

О, пышный расцвет лета моей жизни... Я встаю и охлаждаю свои нервы холодною ванною. Затем черновая работа: разучиваю, повторяю. Приходит соседка и акомпанирует <так!>. В 10 ч. я на уроке. Пою массу: две роли маленькие, хотя характерные, кончила. Пою Кармен, демоническую Кармен, голос воли Шопенгайора <так!>, свободной, властной воли любви к жизни, к природному счастию, любви к жизни, простирающейся выше страха смерти. И поет во мне вся тысяча жизней моих. Коллосальная <так!> и очень трудная партия, тем лучше: sempre avanti![13] Пою романсы, пою классические pezzi Gluck'a[14]. Затем пою дуэт Амнерис и Аиды. Чудный дуэт, который бросает меня в озноб. Амнерис — гордая, страстная дочь короля-победителя, Аида — мягкая, кроткая, пугливая дочь фараона побежденного. Амнерис топчет в пыли соперницу и возносится со страстною ненавистью над нею. Аида валяется в ногах ее и молит о пощаде. И всё-таки, и всё-таки... Амнерис в пыли, а Аида на престоле, на престоле

любви, т.к. Аиду любит тот, кот<орый> изменил ее сопернице. И я пою и вся дрожу. Прекрасна и сильна моя роль: роль Амнерис, конечно.

Дальше: иду обедать с И<вановы>ми, после чего дома опять ложусь на постель и думаю, и нет силы во мне, которая в состоянии поднять меня. Я не могу писать: лишь только я двинусь, образы и фантазии исчезают. А я вся живу ими.

Около 3 ½ ч. опять принимаюсь за черновую работу. Горло точно из стали: не устает. Звуки стали полнее и свободнее. Пою и пою, и вдруг увлекусь и начну поглощать русские романсы, и слезы льются, и рыдания прерывают голос. «Средь шумного бала случайно»[15]. Он говорит, что этот романс написан для меня. Он говорит, что у меня глаза сфинкса.

К 7-ми часам почти ежедневно отправляюсь к И<ванов>ым, и мы читаем Пушкина. Он хочет, чтобы я полюбила Пушкина. Раньше я не понимала его, теперь душа моя широко распахнула двери для свободных впечатлений красоты, красоты не условной, не тенденциозной, а величественной и свободной. Разве имеет смысл спор об искусстве как о слуге жизни. Искусство ради искусства? Правда или красота? Какая бессмыслица! Красота прекрасна, а всё прекрасное переходит в жизнь через душу человека, в которое <так!> оно заронит для него самого незаметно, когда и как, смутную грезу о гармонии и величии жизни и страстное стремление к этому величию. В каждом человеке поэт. Каждый человек раздвоен. Когда действует человек простой, занимаясь мелким, пошлым ежедневным трудом, — замолкает поэт. Когда просыпается властно поэт, — умирает на время вся мелочность и вульгарность жизни и царствует красота. Человек становится Богом. И отблеск божества надолго в его душе, и часто среди скучного труда, во время низкого наслаждения, вульгарной ссоры, жесткого <так!>, некрасивого поступка, — человек остановится на мгновение, пронзенный острою стрелою Бога красоты и гармонии. Он вспомнит что-то далекое, но прекрасное, что-то бывшее когда-то дорогим и милым, что-то грезившееся весною. И слезы польются из глаз, и руки беспомощно поникнут, а в душу торжественно и властно ворвется солнце красоты и гармонии, и человек вновь сольется с Божеством.

Дальше: около 10 иду домой, и меня провожает он, и мы говорим, говорим без конца. Никогда не говорила я так много и так хорошо. Он говорит, что у меня дар слова и что я очень поэтична

и чутка ко всему красивому. Странно, я прежде этого не знала, но теперь со мною творится что-то небывалое. Я становлюсь артисткою во всем, и передо мною раскрываются новые горизонты, никогда не виданные: целое море новых, тонких ощущений, колебаний едва уловимых, и это новая жизнь, которая раскрывается передо мною, этот мир в мире до того полон, ослепителен, богат, что чувствую себя побежденною, опьяненною и счастливою, несмотря на всё, malgré tout[16].

Вчера после обеда мы шли домой. Он хотел проводить меня, и у нас внезапно родилась мысль идти в Cascine[17]. Мы взяли коляску и поехали прямо в центр сада. Там мы вышли и пошли. Небо слегка подернулось тучами, солнце сквозило, но как-то матово и ласково. Ничего яркого. Деревья большие, могучие, [как в лесу,] тишина вокруг. Впереди бесконечно длинная, широкая аллея, таинственно пропадающая в неизвестной дали. Под ногами сухие, опавшие листья заглушали шаги. Изредка светлый просвет, охваченный матовыми лучами солнца. Мы шли одни, под руку, и опять мы «слышали» мысли друг друга. Это так странно, так необычайно, что меня начинает охватывать чувство чего-то мистического. Что говорили мы? Всё, бесконечно много и... ничего. Он сказал: «Как подходит этот меланхоличный пэизаж и этот тихий, немного грустный и всё-таки [мягкий <?>] и прекрасный день к нашему настроению, когда мы вдвоем; и тем не менее каждый из нас порознь мечтает об ослепительном блеске солнца». Мы дошли до конца парка. Он кончается мысом: с одной стороны Арно и его долина. Вокруг синяя цепь гор, смягченная лиловатою дымкою, и опять ничего яркого, но что-то мягкое, нежное, ласкающее и глубоко и <1 нрзб> меланхолическое. Мы подошли к памятнику индейского принца[18]. Бедный принц, точно для того и приехал во Флоренцию, чтобы умереть вдали от своей родины и послужить своим пестрым памятником для украшения Cascine. Бедный принц! Мы сели на каменную скамейку с мозаичным сидением, запрятанную в густой зелени «Божьего» дерева. Мы взглянули вокруг, взглянули в глаза друг другу. Душа моя была счастлива, сердце полно, нет, переполнено даже до [физической] боли. Оно болело от счастия!

Я ничего не могла бы ясно сказать о том, чем полно было оно. Но в те минуты я впервые поняла, вернее, почувствовала всем существом, что я не одна. О это одиночество. Теперь только поняла я, отчего я страдала. Страдала всегда, всю жизнь. Душа стремилась

из одиночества, как из мрачного заточения, и во мне огнем горела жажда любви, т.к. в любви можно всего совершеннее слиться с другою душою. Теперь что <так!> я не могла покориться, не могла перестать жаждать и искать любви. Да, я не была безумна, когда, зажегши свой фонарь с вечно потухающей и вечно вновь возрождающейся надежды <так!> искала «человека»[19], человека, *созданного для меня*, человека, самою судьбою предназначенного для моего освобождения, и которого предназначено и мне освободить. О сколько раз я ошибалась и горько разочаровывалась. Но глубокие, кровавые раны затягивались вновь, и всё еще молодая, надеющаяся, верующая и жаждущая, бессознательно, но фатально жаждущая, принималась я вновь искать. И что же, нашла ли я? Не знаю. Кажется, да. Никогда еще не понимала себя с такою ясностью, как теперь, и никогда не входила так глубоко в чужую душу. Никогда еще чужая душа не становилась настолько «моею», я чувствую эту душу и ей я отдаю свою. Никогда еще вся жизнь моя не вставала предо мною, как в зеркале, и всё то, что удивляло и пугало меня самою, стало мне <?> ясным и понятным. Я не могла, не хотела покориться одиночеству. Я должна была стать другому первою и единственною, я должна была быть понятой. Чтобы каждая мысль, каждое чувство, которое заставляло других, хотя и близких людей восклицать: «Безумная женщина!», чтобы и *эти* мысли до конца честно и бесстрашно высказанные, чтобы они были поняты, и не только поняты, а в свое время пережиты другим. О тонкое высшее блаженство не быть одиноким, сознавать, что есть еще человек, человек высшей породы, аристократ ума и чувства, что этот человек принимает тебя такою, какою до сей минуты ты не решилась бы предстать ни перед кем. Не прикрашенною, без героизма, со всею путаницей противоречивой и непонятной, со всем нестройным гулом <?> сомнений и веры, эгоизма и отречения, инстинктами злобы и жестокости, порывами к добру и мягкости, со всею смесью «художника» и «христьянина», быть понятой такою, не только понятой — найти отклик, сожаление, похвалу, братский упрек. Я была счастлива, и я сказала: «Если бы я могла приказать времени остановиться!»[20] Мы сидели долго и говорили мало, но каждое слово, сказанное почти с болью, откликалось на натянутых струнах души, каждое слово содержало в себе в тысячу раз больше, чем выражалось звуком его.

Мы встали и пошли назад под руку, шаг в шаг, потому что мы не были одиноки. Женщина подошла к нам с цветами. Он дал мне букет любимых мною чайных роз. Эти розы не должны завять, эти

розы должны навек напоминать мне несколько часов полного счастия, счастия в рамке меланхолического, но мягкого, чарующего осеннего пэизажа, счастие, подернутое прозрачной дымкой этой сладкой меланхолии.

*12 Ноября*

Я не сумею записать этот сон так, чтобы почувствовалась в нем вся его поэзия и глубина. Но тем не менее пишу, потому что он так странен, так необычен, и мне кажется, что он был не сном, а действительностью.

Я видела залу, высокую, прекрасную. Архитектура строгая, готическая, стремящаяся ввысь, по стенам античные статуи.

На большом столе с чудными мозаичными инкрустациями лежат кипы пергаментов, свитков. Здесь, среди этой величественной обстановки владычествует строгий Труд. Я чувствую, что и я учавствую <так!> в этом труде, так же, как и он, сидящий, бледный и задумчивый, за прекрасным столом. Рядом высится античная урна, вся вылитая из золота. Я знаю, что эта урна полна до краев, она полна и величественна, и, несмотря на то, она вся кажется легкою, воздушною и также стремящаяся <так!> ввысь. Там результаты Труда — Творчество. Я не знаю, что это: поэзия, музыка, наука? но это то, что заключает в себе и красоту, и величие, и славу. Когда мы за руку проходим мимо урны, нам кажется, что величие творений наших отражается сиянием на творцах. Я вижу его светлым, лучезарным и величественным. Мы входим через высокую арку в круглую капеллу, прилегающую к зале. Куполообразный потолок посереди оставляет несомкнутым своею аркою округленною пространство <так!>, и на нас глядит г<о>лубое, лазуревое небо, а купол и стены храма нашего сияют и блещут в своей ослепительной белизне. В капелле нет богов, нет украшений, но когда мы входим, то мы чувствуем, что капелла построена для нас, и лучше нас ничто украсить ее не может. Это храм любви. Нас охватывает неизъяснимое блаженство. Мы отрываемся от одиночества, и души наши трепетно и блаженно сливаются в любви.

Я не понимала, сколько времени даровал мне сон мой для блаженства, мы жили вне времени. Но лучезарная картина внезапно померкла. Свет потускне<л>, сердца наши упали. Мы чувствовали, как зависть змеею в желтой чешуе вползла в наше

убежище, и вдруг нам стало ясно, что скоро, тотчас, эта змея разрастется, и зависть разрушит и овладеет святилищем нашим. Тогда мы, пронзенные одною мыслью, бросаемся в храм Труда и Творчества, и он зажигает свитки, и огонь с дикою стремительностью охватывает комнату. Но я хватаю его руку, и мы бросаемся к урне, она при прикосновении нашем срывается с места. Окно готическое из стеклянной мозаики с треском разлетается на мелкие дребезги, мы бросаем урну вниз, в мир, людям. Зависть сожгла наш храм, убила нас, но творения наши живы, и будут живы вовек, и слава наша вечна! И мы умираем, блаженные. Мы трудились, творили, любили! Жизнь исчерпана!

*14—15 Ноября 94.*
*3 часа ночи.*

Еще сон.

Передать его еще труднее, но я встала, гонимая непреодолимою жаждою записать его, запомнить навсегда, понять глубже. Все совершенно неопределенно, смутно. Я сплю лишь наполовину. Я чувствую, что лежу на спине, закинув назад голову, чувствую, что веки мои вздрагивают, и я чуть [чут] слегка ощущаю себя.

Надо мною стоит он. Я ничего не вижу, я только ощущаю. [Я ощущаю, что он] Мне хорошо, но вместе с тем мучительно, всё сплетено, связано. Я чувствую, что силюсь понять, добиться чего-то, опрокинуть, уничтожить что-то. Я чувствую, что я должна ему ответить на какой-то мучительный, жгучий вопрос, и вместе с тем я вся проникаюсь какою-то страшною радостью. Мой сон так легок, что мне кажется, что я ощущаю его, и стоит мне стряхнуть его, чтобы проснуться, но какая-то могущественная сила придавила меня, и всё лежу на спине с запрокинутой головой и с слегка прикрытыми ресницами.

Внезапно я чувствую, что мучительный вопрос разрешается, что немая просьба, ощущаемая мною в немом присутствии его, исполняется.

Точно легкая рука ложится на мой лоб, точно дуновение ветра мягко проносится над головой, и тотчас я вся охвачена едкою радостью, счастием неизъяснимым, никогда не испытанным, острым и едким, как стрела, но в то же мгновение что-то тёмное, сильное, роковое, неизбежное мрачным облаком набегает на меня, и счастие отравлено, порыв угас, и я опять лежу, вся вытянувшись <так!>, и опять ресницы бьются трепетно, и сердце

сжимается тоскою, а он всё стоит надо мною и просит безмолвно и бесформенно каким-то ощущением, просит ответа. Я мучительно напрягаю все силы, чтобы разрешить загадку, и снова чувствую приближение легкой струи над головой, и еще раз пронзает всё существо счастие, пронзает и тотчас замирает, застывает под рукою темной, холодной силы, и ответ так же замирает и застывает, и он все так же стоит грустным, молчаливым укором.

Внезапно что-то меняется, что-то свершается во мне, в нем, в мире грез, окружающем меня. Точно голос какой-то звучный и радостный спрашивает меня: «Хочешь, я отвечу за тебя. Хочешь, я покажу тебе, не отравляя, не пресекая твоего блаженства, покажу, в чем счастие твое. Не спрашивай о праве».

Я разрешила себе, я поборола, я победила Силу, и сердце замерло в блаженстве, и душе раскрылся мир, и время остановилось, и он уже не просил мучительно и безнадежно... Я широко раскрыла глаза: луна не светила в комнату, но свет ее царил над ночным небом, и свет из окна падал на постель, серебристый и ясный. Взгляд мой, полубессознательный взгляд лунатика, упал на мои обнаженные плечи; они в серебристых лучах казались высеченными из мрамора.

О мир поэзии, мир чистой красоты, мир ничем не отравленной жизнерадости <так!>, мир себялюбивого, прекрасного, лучезарного, дерзкого счастия! О мир умерший, погибший навсегда! О мир, постигаемый мною лишь во сне, в грезах.

Греция, с твоими светлыми мраморными Богами красоты и радости!

*16 Ноября <18>94*

Я оставила несколько страниц[21]. Быть может, я когда-нибудь запишу свое «счастие!», когда я переживала его, мне не хотелось писать. Я была счастлива около месяца, я любила и была любима! Была любима!...

Я не в силах здесь выяснять, что сорвало завесу, что еще раз уничтожило иллюзию. Довольно. Я проснулась!

Мы шли домой, и я всё сказала. Я отказалась от его чувства, я не хотела взять его, потому что оно недостаточно широко, сильно, величественно, лучезарно. О любовь, которую требую я, ту любовь мне не суждено испытать! довольно, довольно! Когда мы шли оба глубоко несчастные, убитые, и оба совершенно бессильные против своего несчастия, когда мы шли, я плакала. Слезы

выдавливались редкие и злые. Когда я пришла в свою комнату... я пошла к роялю и стала спокойно и долго разучивать партитуры из «Фаворитки»[22]. Потом я пошла к соседке и смеялась. Потом кончила роман «Triomfo della Morte». Какая гадость, декадент! Потом я хотела заснуть, но сердце билось слишком беспокойно. Ведь я похоронила счастие. Я оттолкнула его, или, вернее, оттолкнула мираж его, т.к. его, собственно, и не было. Итак, еще один раз: насмешка. Горькая насмешка! Я не была любима, я не могла принять такой любви. Я не удостаиваю его чувство названия любви, хотя бы он тысячу раз повторял: «Я люблю». Кончено, кончено. Надеяться еще, искать, ждать? нет, нет. Это сверх сил моих. Я прощаюсь с жизнью, я покоряюсь. Я сожгла храм любви, осталась зала труда и творчества. Ее я не сожгу. Но что со мною? почему я не рыдаю, почему я не мечусь и не стону, почему не вьюсь <так!> в судорогах по полу, или не пою, смешиваю звуки песни со стенаниями раненного еще раз сердца. Эта рана боле <так!> не заживет, я знаю. Но я спокойна и о как горда. Жизнь, я победила тебя, я не страшусь тебя. Жизнь строгая, холодная, одинокая, о да, одинокая, я принимаю тебя. Я не ищу, не зову счастие и любовь! Не было, нет и не будет. Не удовлетворится жажда великой любви, любви, освещающей жизнь, согревающей ее, удесятеряющей силы одинокового <так!> человека, выводящего его из вечной тюрьмы одиночества! Не исполнится мечта, сон моей души, не расцветет весна в пышное лето. Долг, труд, холод, одиночество, старость, смерть. Слава? я не верю в нее, да и она мне глубоко безразлична. Холодная, обманчивая красавица слава! разве я не знаю, что душа моя рвется не к тебе. Разве Любовь тебе сестра! Но что за сила во мне, что за дивная сила? *Что* может устрашить меня?

Страдания? каких не испытала я и каких не презираю. Смерть? я слишком горда, чтобы призывать ее.

Иди, жизнь, терзай мою душу, вырывай иллюзии, топчи мечты, иди, смерть, и докажи, что я жила *напрасно*, что жизнь мне была дана всего на один короткий миг, что я прожила ее холодно и одиноко, иди, смерть, и разбей последнюю мечту, скажи последнее слово: тление! Гордое сердце, молчи. Ты умело чуять в жизни божественное счастие, ты считало себя достойным испытать его, это счастие, ты рвалось и обливалось кровью. Молчи. Не было тебе счастия, не было любви. Умри гордое, одинокое, спокойное высшим покоем бесстрастия.

Я вскочила с постели с широко раскрытыми глазами и громко сказала. Иди, жизнь, иди, я не боюсь тебя, я не боюсь страданий, я не раба — я Бог <?>.

РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 4. Л. 67 об. — 110. Зиновьева-Аннибал вела этот дневник (нам известно еще несколько ее попыток вести дневники) по крайней мере с весны 1885 года, однако очень несистематически. Он начинается с переписанных стихов, затем записи 1885—1886 гг. чередуются с черновиками или копиями писем (в том числе к Л.Н. Толстому). Затем записи прекращаются до 1894 г. Первая публикуемая нами запись построена как обращение к детям, аналогично не воспроизводимой предыдущей, датированной весной 1894 г. За указание на этот текст благодарим Ю.Р. Клочкову.

[1] Письма Л.Д. к А.Н. Шустовой и Е.С. Строгановой 1894 года из Флоренции в Пезаро см.: РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 33. Л. 1—7.

[2] Нам известно о пребывании Л.Д. во Флоренции зимой 1889/90 г.

[3] В римском Колизее (Зиновьева-Аннибал стабильно пишет это слово со строчной буквы) Л.Д. и В.И. были во время краткого римского пребывания 16 июля 1894 г. (см. п. 215).

[4] Речь идет, несомненно, об Иванове.

[5] Набережная реки Арно во Флоренции.

[6] Об этом человеке нам ничего не известно.

[7] «Триумф смерти», роман Г. д'Аннунцио (1894).

[8] Опера Дж. Верди (1871).

[9] Тоска (*нем.*).

[10] «Знаешь ли ты край, где цветут апельсины... там я хотела бы жить, любить и умереть, там, да, там» (*фр.*). Цитируется (видимо, в варианте романса) «Песня Миньоны» Гете в переводе на французский язык.

[11] Эта запись, как и следующая, от 10 октября (которую мы здесь не воспроизводим), демонстрирует механизм трансформации реальных событий и текстов жизни Л.Д. в пишущийся роман, который известен под названием «Пламенники» (мы не знаем, назывался ли он так уже в 1894 году).

[12] Сладкое опьянение! (*фр.*, *ит.*).

[13] Всегда вперед! (*ит.*).

[14] Пьесы Глюка (*ит.*).

[15] Романс П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.

[16] Несмотря ни на что (*фр.*).

[17] Парк во Флоренции на берегу Арно.

[18] См.: «Nach 25 Minuten erreicht man das Ende des Parks, woselbst ein grosses Denkmal des Rajah von Holapore, eines indischen Prinzen, der auf der Durchreise am 30. Nov. 1870 in Florenz starb und hier verbrannt wurde» (K. Baedeker Italien: Handbuch für Reisende, Leipzig, 1894. Bd. 1. S. 469). Пер.: «За двадцать пять минут достигаешь конца парка, где находится большой памятник Раджи из Холапора, индийского принца, скончавшегося, проезжая Флоренцию, 30 ноября 1870 и кремированного здесь».

[19] Отсылка к известному эпизоду из жизни древнегреческого философа Диогена (IV в. до н.э.), описанному в книге Диогена Лаэртского «Жизнь, учение и мнения знаменитых философов»: он зажег днем фонарь и стал ходить с ним по городу, отвечая на недоуменные вопросы сограждан: «Ищу человека».

[20] Имеется в виду известный эпизод из гетевского «Фауста».

[21] В рукописи пропущено 13 страниц.

[22] Опера Г. Доницетти (1840).

# ИЗ ПИСЕМ Л.Д. ШВАРСАЛОН К Д.В. ЗИНОВЬЕВУ

*3 Ноября 94 г.*

Моя жизнь проходит, как заведенные часы, почти без всяких изменений. И всё-таки могу сказать, что никогда не была во всю жизнь так счастлива, как теперь. Всё ужасное, пережитое мною, отошло далеко в прошлое, и я живу, наслаждаясь настоящим и веря в будущее. Пение идет блистательно хорошо. Пою наизусть большую роль Кармен почти всю, учу роль «Фаворитки», пою дуэты из опер и простые романсы. Беру урок каждый день по полтора часа, и кроме того много пою дома. Здоровье мое очень поправилось.

РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 47 об — 48.

*24/6 Ноября 94 г.*

Дорогой Папочка!

Я уже все эти дни собиралась писать тебе, да не поспевала, так как все это время хлопотала с переездом моих ребят во Флоренцию, где я устроилась на всю зиму со всею семьей. Я переменила учительницу, так как та была очень занята и ей было трудно добросовестно заниматься со мною. Она сама посоветовала перейти к ее сестре во Флоренцию. Эта учительница нравится мне не меньше прежней. Нашла хорошую квартирку, всю на солнце, теплую. У меня есть отдельная комната, где стоит мой рояль, и я могу заниматься спокойно. <...>

На днях приехала сюда мама. Она очень устала с дороги, но теперь отдохнула. <...>

Прислуга у меня: мои Анюта и Дуня, которые служат много лет, и я могу быть очень спокойна... <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 49—50. О флорентийской жизни семейства Ивановых и Зиновьевой-Аннибал см. также письма Иванова, Д.М. Ивановой и Зиновьевой-Аннибал к И.М. Гревсу конца 1894 года: История и поэзия. С. 105—122.

# *ПЕРЕПИСКА*
# *1 8 9 5*

## 11. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*4/16 января 1895. Рим*

*Roma, via Veneto 33 (presso Micheli).*
*il 16 Gennaio 1895*[1].

Cher maître![2]

В то время, как я, утешенный дарами своего Олимпа, смиренно наслаждался ими, преисполненный чисто-эллинской благодарности, — поручив тем, кто достоин лицезреть бессмертных, сказать им, что я благословляю их за их дары в своей одинокой и печальной юдоли, — вдруг, среди ясного неба, надо мною пронеслась гроза, и раздался гром, и сверкнула молния... Опомнившись, я, по обычаю древних (здесь, в Риме, вследствие воспоминаний о древности, собственный дух, как говорит Ливий[3], делается более античным), спешу промолвить: «принимаю доброе знамение», и — снова благословляю своих богов за этот новый знак их благоволения: ибо внезапный удар грома и блеск молнии при ясном небе истолковывались древними именно в таком смысле. — Итак, cher maître rigoureux[4], приношу Вам выражение своей глубокой благодарности за присылку Ваших великолепных фотографий[5], которые заставили меня еще сильнее полюбить их оригиналы, и желаю Вам по случаю нового года, кроме музыкальных успехов, — простите! — остаться такою, какою Вы мне так нравитесь!

С глубоким уважением

Вячеслав Ива<нов>

P.S.

Я написал эти строки тотчас по получении Вашей негодующей записки[6], собираясь идти в Институт[7], и в то же время намеревался отправить Вам сегодня же другое, подробное письмо; но

в настоящую минуту на меня нашло раздумье, должно ли делать это теперь. Мы условились, что я напишу Вам, если совершится во мне или со мною что-нибудь важное и решительное; что в противном случае писать я не буду (и я понял это условие так буквально, что даже не поблагодарил Вас)... Правда, уже теперь я мог бы сообщить Вам некоторые результаты своих римских размышлений. Но должно остерегаться всего преждевременного. Итак, писать Вам много и серьозно — еще не время. Ваши же строки делают меня счастливым, — потому что и вне очарованного круга Вашей близости я остаюсь все тот же...

Вяч<еслав> Ив<анов>

Сохранился конверт с адресом: All'onorantissima Signora S-ra <sic!> Lidia Schwarsalon. Viale Margherita 36. Firenze. Штемпели: Roma Ferrovia <Рим. Вокзал>. 17.1.95. Firenze. 18.1.95. Все дальнейшие письма во Флоренцию отправлялись Ивановым на тот же адрес. Письма Л.Д. начала 1895 г. нам неизвестны. Первое из сохранившихся — письмо (второе), написанное 10/22 февраля, а также невербальное п. 12.

[1] 16 января 1895 (*ит.*). Иванов приехал в Рим 10 января и описал свои планы в письме к Гревсу следующим образом: «...намереваюсь пробыть здесь недель шесть, чтобы наедине поприлежнее приняться за свои дела, прежде же всего привести свою работу в окончательный вид <...> Семью я оставил во Флоренции, куда буду теперь стремиться душой и где рассчитываю, по возвращении из Рима, провести еще некоторое время <...> В апреле надеюсь я лично представить в Берлине свою диссертацию, после чего <...> съезжу, быть может, на короткое время в Москву, чтобы увидеть мать и еще более чтобы показать себя ей» (История и поэзия. С. 119).

[2] Дорогой учитель! (*фр.*)

[3] Тит Ливий, История Рима (43.13.12). Тит Ливий (Titus Livius) (59 до н.э. — 17 н.э.) — римский историк.

[4] Дорогой и строгий учитель (*фр.*).

[5] Фотографии неизвестны.

[6] Упоминаемая записка неизвестна.

[7] Имеется в виду Германский Археологический институт в Риме. Подробнее о нем см.: История и поэзия. С. 341—342; *Модестов В.И.* Ученая жизнь в Риме // ЖМНП. 1892. Март—апрель.

## 12. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *18 января 1895. Флоренция*

Письмо без текста: засушенный древесный листок и прядь волос, вложенные в сложенный лист голубой бумаги.

Конверт с адресом: Al Illustrissime Signore Sre V. Ivanov (presso Micheli). Via Veneto. Roma. На этот же адрес отправлялись и все другие письма к Иванову в Рим, вплоть до п. 26. Штемпели: Firenze 18.1.95; Roma 18.1.95. Рукой Иванова на конверте написано: 18 янв<аря> 1895. *Талисман.*

## 13. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*6/18 января 1895. Рим*

*Рим, 18/6 Янв.*

Cher disciple rebelle![1]

Если Вы сердитесь на меня, то не пишите: тогда я сам постараюсь рассердиться на Вас, и, быть может, мне легче будет переносить разлуку с Вами... Но если не сердитесь, то зачем отнимаете у меня счастие читать, перечитывать, а порой[2] — и целовать Ваши милые строки?

В.И.

[1] Дорогой мятежный ученик! (*фр.*)

[2] В сохранившемся черновике (с единственным исправлением) эта фраза была первоначально написана так: «...а порой [признаюсь] и целовать...»

## 14. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*16/28 января 1895. Рим*

*Рим 28/16 Янв. 95.*

Моя Лидия, бедная моя вакханка! Прости страдания, причиняемые мною невольно. Я также страдал. Будем благословлять страдания любви разделенной. Ты хочешь моего утешения, совета: чем могу я тебя утешить? Уверение в неизменности моего чувства к тебе облегчит ли тяжесть твоего душевного состояния? Если да, — вот оно, в прозе, не в рифмах, которым не верят: да, я люблю тебя — все так же нежно, все так же страстно... Увы, «ропот буйной страсти»[1] смолкает далеко не всегда: временами он звучит еще настойчивее, еще мятежнее! Я тоскую по тебе, я желаю тебя, я призываю твою тень... И потом — я благословляю разлуку, предохраняющую меня от безумств... О, я не выздоровел... Ты торжествуешь, моя безумная, моя Мэнада[2]?.. Но моя страсть может протестовать, как хочет: ее ропот напрасен. Нет ничего яснее, неопровержимее, непреложнее того, что я не могу принадлежать тебе. Вместе с тем, однако, давно сознано мною, что и отношения мои к жене, по моем возвращении, необходимо должны измениться и быть иными, чем прежде, доколе не изменится мое чувство к тебе[3]. Но наш союз бесконечно шире, нежели сфера собственно супружеской близости. Должно ясно представлять себе эту широту его содержания, чтобы понять, почему

жене моей до сих пор более или менее удавалось подавлять в себе ту страстную ревность, которая, на твой взгляд, должна была бы вырваться наружу с бурной и разрушительною силой. Но ты сама чувствуешь, что была несправедлива к моей жене в предпоследнем письме своем[4], хотя и напрасно думаешь, что я сержусь на твою «неуравновешенность»: о, эгоизм любви таков, что нам не нравится в объекте нашего чувства то равновесие, которое мы хотели бы сохранить в себе самих; и, кроме того, мне дорого всякое искреннее, прямое, горячее выражение твоих порывов... Да, прежде, когда ты удивлялась нравственной силе жены моей, ты правее о ней судила. Любить и страдать она умеет глубоко, как умеет жертвовать безмолвно и безгранично. Если жена и подруга ныне безусловно преобладает в ней над любовницей, — это естественно и своевременно, и личность ее только выигрывает от этого в глубине и цельности. Несмотря на всю силу ее любви, союз со мной для нее уже не любовная связь, не наслаждение, даже не просто счастие; он для нее — все содержание, вся цель, весь смысл, вся идея, весь идеализм, все высшее, бескорыстное служение ее жизни. Я бесконечно ей обязан, и в нашем союзе я преклоняюсь пред чем-то идеально-священным... Что же до моих отношений к тебе, моя Лидия, мне кажется, что они, и при условии сдерживаемой страсти, могли бы пребыть такими, какими создала их высшая демоническая сила, вложившая в мое сердце любовь к тебе, а в твое — ко мне, — они могли бы и в начертанных нами границах быть для нас источником внутреннего счастия, если бы ты захотела, верная мне, остаться со мной на этой идеальной высоте...[5] Но к чему говорить о нашем хотении? Пока захочет Демон, мы будем невольно любить друг друга; и страсть, скованная ли нашею разумною волею или освобожденная, будет одинаково присутствовать в нашей любви и проникать ее внутренним пламенем, — пока захочет Демон. А между тем, Лидия, мы оба будем стремиться неустанно «zum höchsten Dasein»[6]. Вот заря, вот восторги, которые я тебе пророчил. И если наше чувство достигнет достаточной высоты, достаточной просветленности, нас не будут уже смущать ни материальная неполнота нашей любви, ни временная разлука[7]. Теперь же не зови меня к себе: я стремлюсь сам, но не могу еще вернуться. Я знаю, что́ я теряю: должно покоряться необходимости.

Твой Вячеслав

Если можешь, пиши мне, не дожидаясь всякий раз моего ответа.

Сохранился конверт. Римский почтовый штемпель неразборчив (но наверняка: 28.1.1895), флорентийский — 29.1.<1895>. Помимо этого сохранился еще один конверт от неизвестного письма с римским штемпелем 31.1.95 и флорентийским, соответственно, 1.2.95.

[1] Источник цитаты не выявлен. Не исключено, что имеются в виду слова из монолога Лаэрта: «Любовный бред и дерзость буйной страсти» (У. Шекспир, «Гамлет», акт 1, сц. 3. Пер. Н.П. Россова), или же сводная цитата из лирики Тютчева: «Внятен мне и буйный ропот, Стоны вещие твои» («Ты волна моя морская...», 1852) и «Как в буйной слепости страстей» («О, как убийственно мы любим...», 1851). «Над пучиной буйной страсти» — строка из стихотворения Иванова «В челне по морю» (I, 593).

[2] Мэнады — спутницы Диониса. Ср. одно из наиболее популярных стихотворений Иванова «Мэнада» (II, 227—228), написанное позднее, но несомненно связанное с обликом Зиновьевой-Аннибал.

[3] Это и предыдущее предложение («Нет ничего яснее... чувство к тебе») подчеркнуты карандашом. Подчеркивание сделано Л.Д.

[4] Имеющееся в виду письмо неизвестно.

[5] Предложение подчеркнуто карандашом. Подчеркивание принадлежит Л.Д. Ниже следует приписка Л.Д. (также карандашом): «О Боже, какая насмешка!»

[6] См. п. 3, прим. Эта цитата неоднократно появляется в письмах Иванова к Л.Д. В данном письме подчеркнута Л.Д. карандашом.

[7] Слова «нас не будут... разлука» подчеркнуты Л.Д. карандашом и под текстом письма Иванова ею же сделана карандашная приписка: «К чему всё это? О бессознательный, роковой обман, сразивший мою жизнь».

Приводим также черновик этого письма.

Моя Лидия, бедная моя вакханка! Прости страдания, [которые я причиняю тебе] невольно. ~ Если да, — вот оно, в прозе, [в той простой прозе, которою о серьозных делах говорят между собою люди] не в рифмах, которым [они] не верят ~ Но моя страсть может [роптать] протестовать, как хочет ~ Но вместе с тем давно сознано мною, что [и жене принадлежать по-прежнему я уже не могу. Я возвращусь к ней как брат. В той любви, которою я продолжаю любить ее, я не нахожу элементов, которые нравственно оправдывают в моих глазах иные <?> отношения между нами. Мы разлучены, доколе не изменится мое чувство к тебе] отношения мои к жене, по моем возвращении, необходимо должны измениться и быть иными, чем прежде, доколе не изменится мое чувство к тебе Но наш союз бесконечно шире, нежели [материальная] сфера [супружеских отношений]. ~ и, кроме того, мне дорого всякое искреннее, [незамаскированное] прямое, горячее выражение твоих порывов. ~ личность ее только выигрывает от этого в [цельности] глубине и стильности. Несмотря на всю [глубину] силу ее любви, союз со мной для нее уже не любовная связь, не наслаждение, даже не просто счастие; [этот союз] он для нее — все содержание, вся цель, весь смысл, вся идея, весь идеализм, все высшее, бескорыстное [идеальное] служение ее жизни. ~ они могли бы и в начертанных нами границах быть для нас источником [не одних страданий, но и] внутреннего счастия, если бы ты захотела, верная мне, остаться со мной на этой идеальной высоте... ~А между тем, Лидия, мы оба [вместе] будем стремиться неустанно «zum höchsten Dasein» ~

## 15. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*22 января / 3 февраля 1895. Рим*

*Рим, 3 февр. Утром*

О Лидия, зачем ты так долго не отвечала? Я не хочу думать, что ты мстила мне, иначе ты бы меня не любила. Но если бы ты захотела мстить, то не могла бы сделать этого с бóльшим совершенством. Ты и не представляешь себе, как я страдал. Какие мучения, — и, вслед за тем, какие безумные надежды... В тот день, когда ты обручалась со мной первым письмом (1-го Февраля)[1], я был у вечерни в древней церкви С<ан> Клементе[2]: как безумный, бродил я по подземельям, которые были в этот день открыты и освещены, как безумный слушал потом в верхней церкви музыку — и искал в толпе тебя. Потом я бродил по Колизею[3], собирал на память камешки для себя и для тебя и молился Демону, который господствует над нашею любовью, который сблизил нас в этом месте, который в Колизее должен слышать меня, — молился, чтобы он... свел нас вместе!.. Когда я остаюсь один в своей комнате, я часами хожу взад и вперед в исступлении страсти и страдания. Сообщение жены, что ты, вероятно, уедешь на некоторое время в С<ан->Ремо[4], произвело на меня потрясающее действие... Но ты ничего не понимаешь, и не нужно. — И сегодня — твои чудные, твои высокие, твои неожиданно просветленные письма[5]... И, сколько блаженства и сколько муки, но больше муки! Какое грустное счастие! «Расцвет любви безумной, безнадежной — на мраморе святыни гробовой»[6]... Я готов рыдать, Лидия... чтобы не сказать, не признаться: я рыдаю.

Боже, впереди у нас только разлука, только ее «страшное томление»... Но как бы ни была она мучительна, Лидия, я должен быть с тобою до твоего отъезда из Флоренции, что́ бы там ни случилось, куда бы ни вел тебя неудержимо твой... карьеризм! Я в шутку, конечно, употребляю это слово, моя дорогая... Но если ты уедешь, не... простясь со мною, — ты меня не любишь... О, если бы ты знала, как я жажду твоей близости... В Риме я должен пробыть весь Февраль, по крайней мере, если не хочу повредить своей работе. Я приеду, по всей вероятности, к 28 Февраля. О Лидия, останься еще во Флоренции — ты и так работаешь с невообразимой быстротой. — Но я лучше отложу перо в сторону, я пишу

сегодня что-то бессвязное, неразумное, неуравновешенное. Все же я посылаю тебе эти строки такими, как они вылились.

Прощай! Твой В.

Еще раз подтверждаю с своей стороны решение, на котором мы остановились. — Зачем прислала ты мне свой талисман[7]? Ты меня разлюбишь!

Небольшой фрагмент — История и поэзия. С. 138.

[1] Письмо неизвестно.

[2] Церковь Св. Климента Римского расположена недалеко от Колизея. В ней, помимо мощей св. Климента, находится также могила св. Кирилла, славянского просветителя.

[3] Иванов с Зиновьевой-Аннибал были в Колизее во время краткого римского пребывания в июле 1894 г.

[4] Письма Д.М. Ивановой за первые месяцы 1895 г. в архиве не отложились. Судя по дальнейшим письмам, Л.Д. и на самом деле некоторое время была в Сан-Ремо.

[5] Письма неизвестны.

[6] Из стихотворения Иванова «Отречение» (I, 563).

[7] См. п. 12.

## 16. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*26 января / 7 февраля 1895. Рим*

Vous ne venez pas[1]

Телеграмма, посланная в Нерви.

[1] Вы не приезжайте (*фр.*).

## 17. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*29—30 января / 10—11 февраля 1895. Рим*

*10 Февр. 1895*

Что́ могу я сказать тебе после того, что́ случилось, моя чудная, моя страстно любимая, моя великодушная Лидия, возводящая на себя столько обвинений и мне не оставляющая ни одного, между тем как я, твой искуситель, и пред судом нравственности, которым ты себя судишь, несравненно виновнее тебя, и пред тобой бесконечно виновен — тем, что разрушаю мир твоей души и, взамен его, не счастие доставляю тебе, а одни страдания! О, моя возлюбленная, — являющаяся мне все более чистой

и внутренне девственной, чем более я узнаю тебя, — прости, что я, почти против воли, вовлекаю и тебя в нравственную борьбу, мною переживаемую! Никогда раньше мои обе воли не вступали между собою в такую неукротимую, пламенную распрю. Конечно, не затем жаждал я твоего приезда сюда, чтобы бродить вместе по Риму, — но чтобы обладать тобою так, как этого требует естественная и потому, быть может, единственно истинная человеческая любовь, — требует по законному своему праву, если только имеет право существовать она сама. Идеал рыцаря Тоггенбурга <так!>[1] никогда еще не был так чужд, даже ненавистен мне, как в эту пору, когда моя господствующая воля бесповоротно осудила меня на роль Тоггенбурга... Как я отчаивался, не получая ответа из Сан-Ремо, как презрительно сомневался в силе твоей любви, не сумевшей подсказать тебе смелого шага, — «чудного безумия», как говоришь ты, — не могущей даже объяснить тебе моих едва замаскированных указаний, или же отказывающей тебе в решимости им последовать. Получив наконец твое требование «совета», «дружеского (!) совета»[2], — я испытал странное душевное состояние. Я даже улыбнулся при виде твоих сомнений — так всякое сомнение было далеко в эту минуту от меня самого! — и тихо продолжал свои утренние сборы, спокойно помышляя о том, с каким упоением я тотчас же буду тебе телеграфировать: «vieni, vieni, vieni»[3]... И, чрез несколько минут, я, вдруг, как будто проснувшись, с такою же уверенностью, также без колебаний — и уже окончательно — сознал, что моя телеграмма будет такая, какую ты получила[4]... Только когда все было кончено, сильнее и сильнее стал разгораться во мне невыносимый пожар внутреннего мученичества. О, как больно было хоронить счастие, такое возможное, такое близкое, как больно было встречать эту заранее потерянную, незаменимую, единственную ночь! Робко затаив в глубине души томительно-живучую надежду, долго еще стоял я в ожидании на вокзале после того, как мимо меня прошли последние пассажиры ночного поезда, который должен был принести тебя в мои объятия, всецело отдать мне тебя... Какой тяжелой и горькой оказалась эта столько наслаждений обещавшая ночь! Какой бесконечной, безнадежной тоски был полон следующий день! — Теперь страсти опять заснули... «надолго ль? — они проснутся, погоди»[5], — пророчит Пушкин. Но возможно также, что в последнем кризисе я окончательно поработил себя самого. Ужели же вновь придется испытать муки борьбы и... горечь победы?

Пусть! В настоящее время я спокоен и бодр. Меня окрыляет одно желание — скорее увидеть тебя, и, быть может, я успею вернуться несколько раньше, чем думал, если ничто постороннее не станет на моем пути... Но желаешь ли ты теперь встречи со мной?.. О, да, не правда ли, Оттилия?[6] что́ бы ни должны были мы испытать, мы не можем не стремиться друг к другу? — Однако я ускорю свое возвращение, если удастся, — не даром: и ты должна обещать мне, что по крайней мере на столько же времени замедлишь свой отъезд.

---

Мне хотелось думать, что я не имею сказать тебе ничего важного, моя Лидия, — и между тем это важное есть, и я должен сказать его, и скажу просто и в двух словах. —

Я не могу дать тебе счастия. Не счастие, а муку приносит тебе, после всего, между нами происшедшего, и идеальный союз, только что нами заключенный. Итак, возьми от меня назад свою свободу, и будем чужими. Не будем более видеться (я могу остаться в Риме до твоего отъезда из Флоренции), — прекратим переписку. Забудь меня, — чем скорее, тем лучше... Мы можем сойтись потом, как старые знакомые, — когда будем один для другого безразличны, или, точнее, *если* будем... Это, быть может, мучительный, но верный способ лечения для обоих больных. Должно рассекать узлы, не могущие быть развязанными... Буду ждать теперь твоего решения; не мучь меня долго... Знаешь ли, твой внезапно на всем ходу остановившийся в туннеле поезд[7] хорошо символизирует последний эпизод нашего печального романа... Ответь же скорее, и ответь также, когда думаешь оставить Флоренцию[8].

---

*11 Февраля*

Я получил твое дорогое, чудное письмо, моя — пока все еще моя — Лидия! Ты вправе упрекать меня за долгое молчание (оно действительно эгоистично), — но ревновать не вправе. И все же благодарю тебя за эту ревность, которой я не заслужил, как благодарю за твою большую любовь, которой, увы, не заслужил также... Почему я не поделился с тобой своим горем? О Лидия, все остальные ощущения, кроме любви, для меня теперь мимолетны; как бы сильны они ни были, они скоро тонут в море одного чувства, наполняющего [теперь] мою жизнь, — и — мне стыдно сознаться в этом — мое искреннее и глубоко воспринятое горе было,

на другой же день (я разумею день телеграммы), вытеснено горем иным, — эгоистическим, невысоким, непросветленным. О Лидия, сомневаться в моей идеальной любви к тебе — безумие... И, еще раз, я благодарю тебя. Я тебя мучу, а ты даешь мне счастье, вдохновение, жизнь.

В.И.

Сохранился конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 11.2.95 — Firenze 12.2.95.

[1] Рыцарь Тогенбург (Иванов пишет имя в немецком варианте, с двумя «г») — герой баллады Ф. Шиллера, известной по переводу В.А. Жуковского (1818), где воспет идеал платонической любви.

[2] Письмо с такими требованиями нам неизвестно.

[3] «Приезжай, приезжай, приезжай» (*ит.*).

[4] См. п. 16.

[5] Цитата (с пропуском) из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» (1824). В оригинале: «Давно ль, надолго ль усмирели? / Они проснутся: погоди».

[6] Оттилия — героиня романа Гёте «Избирательное сродство» (1809). В письме к Зиновьевой-Аннибал от 25 февраля 1895 г. Иванов вновь обратится к героям романа, соотнося себя с Эдуардом, возлюбленным Оттилии, впоследствии сравнения себя самих с героями Гёте будут часто повторяться в письмах Зиновьевой-Аннибал. Об образах Оттилии и Эдуарда у Иванова см.: Wachtel Michael. Russian Symbolism and Literary Tradition: Goethe, Novalis, and the Poetics of Vyacheslav Ivanov. Wisconsin, 1994. P. 34, а также во вступительной статье М. Вахтеля. Ср. также позднейший (1921) рассказ Иванова: «...истинно любящие Оттилия и [Эдуард] (в романе Гёте «Сродство душ») не нуждались даже в том, чтобы видеть друг друга, чтоб знать, что у каждого из них в душе происходит: настолько они друг друга знают. Да и как им не знать, когда они друг другом так проникнуты, что, не отдаваясь друг другу, они все-таки рождают от двойственного зачатия» (*Альтман М.С.* Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., [1995]. С. 35).

[7] Письмо с описанием такого эпизода нам неизвестно.

[8] Ответ на это письмо неизвестен.

## 18. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *1—2 / 13—14 февраля 1895. Рим*

*AVEL*[1] *13/14 Февр. Ночью*

Сначала твое письмо, моя Лидия, показалось мне холодным и жестким[2]. Потом я увидел, что оно глубоко умно и глубоко трогательно... Тем хуже, что оно умно. Чем оно логичнее, тем неотразимее его вывод; а вывод этот — наш смертный приговор. Напрасно ты инстинктивно старалась от себя самой замаскировать его противоречиями. Ты права; твоя критика уничтожает мой проект «идеального союза». Нам не остается другого исхода, кроме того,

который ты называешь героическим. — Я резюмирую положение дела.

Разрыв мой с семьей или разрыв мой с тобою — вот два крайние и два единственно возможные для нас исхода. Я пытался найти третий: я предложил тебе платонический союз, при котором и отношения мои к жене были бы одинаково платоническими[3]. Ты метко охарактеризовала этот исход, назвав его исходом «торжествующей любви и полураздавленной, но вечно оживающей страсти», — и правильно рассудила, что он исключает возможность сохранения даже таких отношений к жене, которые я считал возможным спасти. Итак мой поэтический сон основывался на забвении моего внутреннего долга перед семьею. Ты — тоже во сне — так горячо обручалась со мной!.. И вот уже приходится проснуться....

Нет, среднего исхода быть не может. Итак, почему не решаюсь я бросить семью — как бы спрашивает твое письмо своими умолчаниями. С одной стороны, потому, что я не хочу покупать своего счастия, которое вовсе не главное в жизни, ценою жестокости и притом такой колоссальной. С другой стороны, потому что мой поступок совесть моя отнесла бы в пограничную область между честным и бесчестным, и я не знаю, на которой стороне рубежа оказался бы он при позднейшем рассмотрении. Если ты протестуешь против этого пункта, то только потому, что не знаешь всей сложности моих семейных отношений. А что честный человек не должен заходить в названную пограничную область, об этом упоминать излишне.

Вот мое холодное заключение твоего холодного анализа.

Если мы совершенно откажемся друг от друга, разлучимся вполне и навсегда, если мы прекратим друг с другом всякие сношения, — наша любовь не будет «торжествовать», она разделит участь нашей подавленной и «убитой» страсти, и совесть наша будет спокойна вполне.

Тебя ждет впереди многое светлое, многое блестящее, — и быть может слава, — и быть может любовь. Я желаю тебе от сердца насладиться всем, что только может дать тебе жизнь... что можешь взять ты от жизни, не понижая себя. —

Ты пишешь, что сознание трагизма нашей любви тебя вдохновляет к усиленной внутренней жизни, к усиленному творчеству. Я понимаю это (не всякий понял бы тебя), и люблю тебя за то, что ты личность трагическая, что трагическое — твоя стихия... О

Лидия, но для этого не нужно нам поддерживать нашего «идеального союза». Если ты любишь меня, в трагизме не будет недостатка...

Я написал все это... и вдруг моя рука начинает боязливо дрожать, она — которая не боялась написать все это, и в сердце вселяется ужас... Я не знаю, что будет тогда, когда мы скажем друг другу последнее «прощай». Возможно ли это?.. Да, возможно, потому что необходимо. Но зачем должны мы для этого видеть один другого? Чтобы больше мучиться? Чтобы оказаться слабыми? — Нет, Лидия, скорее, скорей кончим все, и позволь мне остаться в Риме до твоего отъезда, чтобы еще видеться нам было нельзя. В.

Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 14.2.95 — Firenze 15.2.95.

Лист, на котором написано письмо, отрезан снизу. После подписи была написана по крайней мере еще одна строка.

Сохранился черновик, написанный весьма небрежным почерком, но практически без правки и совпадающий с окончательным текстом.

На отдельном листке бумаги написан и вложен в данное письмо следующий текст. Не исключено, что первоначально он принадлежал другому письму.

*К вопросу о «жесткости» тона твоего письма.*

*«Ты отдаешь мне свободу, но ведь я не могу ее взять **от** тебя, ведь не ты меня поработил»* и т.д. Я хотел сказать: «возьми *у* меня свою свободу, которую ты мне отдала».

*«Положим, что страсть наша **a diverses reprises**[4] будет побеждаема всегда и во всем; мы будем временами остро страдать, но потом вновь **"просветляться"** и **парить в идеалах**. Столько об нас».*

*«Ты говоришь, что твои отношения к ней изменятся, пока ты любишь меня. О, если этого не будет, я, конечно, буду жестоко страдать; скажу больше, **без этого я никогда не произнесу тебе ни одного слова любви*** (угроза?), ***и ты должен понять меня*** (что эти слова после моего свободно данного обещания? или моего сло́ва тебе не достаточно?)».

[1] Смысл этого слова непонятен.

[2] Упомянутое письмо неизвестно.

[3] Речь идет о п. 14.

[4] При различных обстоятельствах (*фр.*).

## 19. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *4/16 февраля 1895. Рим*

*Рим, 16 Февр.*

Одно спешу сказать тебе тотчас[1] по прочтении твоего письма[2]: не ускоряй своего отъезда, я *не могу* лишить себя свидания с тобой, ich *тцβ* dich sehen[3]...

Благодарю за письмо, умоляю писать мне еще...

В своем мучительном душевном состоянии последних дней я был утешен следующими строками Гёте:

*Ja, in der Ferne fühlt sich die Macht,*
*Wenn zwei sich redlich lieben;*
Drum bin ich in des Kerkers Nacht
Auch noch lebendig geblieben.
Und wenn mir fast das Herze bricht,
So ruf ich nur: *Vergiß mein nicht!*
Da komme ich wieder ins Leben[4]...

Письмо твое как бы подтвердило утешение этих слов... И вот[5] отрадное совпадение: сегодня должны быть готовы два снимка с Ватиканской (Книдской) *Венеры*[6], заказанные *мною* для подарка *тебе*.

Твой В.

Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 16.2.95 — Firenze 17.2.95. Сохранился черновик, практически не отличающийся текстуально.

[1] В черновике первоначально стояло: «Немедленно».

[2] Письмо неизвестно.

[3] Я *должен* тебя видеть (*нем.*).

[4] Последняя строфа баллады Гёте «Das Blümlein Wunderschön. Lied des gefangenen Grafen» («Цветок чудесный. Песня пленного графа»), процитированная с небольшими разночтениями. Иванов цитирует эту балладу и ниже, в п. 21. В переводе Элины Войцеховской (http://spintongues.msk.ru/goethe.html):

О да, любви безмерна власть,
И даль преодолеет.
В ночи тюремной мертвым пасть
Могу, так грудь немеет.
Но, память нежную храня,
Шепну: «Не забывай меня!» —
И возвращаюсь к жизни.

[5] В черновике первоначально следовало: «характерная подробность».

[6] Венера (Афродита) Книдская — статуя богини работы Праксителя, известная по римской копии, хранящейся в музеях Ватикана.

## 20. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *5/17 февраля 1895. Рим*

*17/5 Февр.*

О Лидия! Как я благодарен тебе за то, что ты пишешь: в этом чувствуется участие любви. — Сегодняшнее письмо твое[1] безум-

но: одну половину его диктовала страсть любви, другую — страсть ревности. И тем дороже оно мне, чем безумнее... Но я хочу спасти «ореол» — не свой, потому что еще не завоевал его, но ореол своего решения. Оно безупречно, Лидия, и в нем единственно можем мы найти нравственное удовлетворение. Мы должны разлучиться. Но любви нашей никто не может взять у нас, кроме Демона, который нам ее дал. Долг не допускает только материального торжества ее. Так должна ты понимать мои слова, что совесть наша будет спокойна вполне, если наша любовь не будет торжествовать. К каким бы трагическим последствиям ни привело развитие существующих отношений, наше искупление будет заключаться в том, что мы принесли в жертву долгу торжество нашей любви. Но и «платонический» (пошлое слово!) союз, [если] поскольку он будет состоять все же в продолжении «любовных» сношений, должно признавать за ее материальное торжество. Одним словом, внешним образом мы должны быть отчуждены. Будешь ты мне [далее] после того верна или нет, это твое внутреннее дело; но честность обязывает тебя известить меня о неверности. Что касается меня, то мне должно лишь напомнить, что то изменение моих супружеских отношений, о котором я писал тебе[2], — должно быть в силе, как я сказал, до тех пор, пока не изменится мое чувство к тебе. А чувство не изменяется от одного факта внешнего разрыва... Вот все, что́ я хотел пояснить тебе по поводу твоей попытки открыть внутренние противоречия нравственного характера в намеченном мной исходе. Я надеюсь, ты согласишься, что твои ревнивые нападения неосновательны и что с нравственной точки зрения этот исход совершенно правилен.

В конце концов твоя логика только временно сбила с толку мою. Моя мысль «идеального союза», как она была мною выражена, остается неопровергнутой. Но важно то, что мы яснее и строже определили его внешние границы и степень его идеальности. То, что я назвал своим внутренним долгом перед семьей, запрещает давать нашей любви какое бы то ни было внешнее выражение. Но, кроме этой святыни нашего чувства, между нами существует, если не ошибаюсь, дружба, и я не вижу, почему бы мы не могли, например, переписываться впоследствии между собою, *как друзья*, и притом с теми ограничениями, которые налагала бы на нас деликатность по отношению к моей жене.

Нет, моя Лидия, то, что́ я разумел под идеальным союзом, вовсе не «средний исход», как в ослеплении писал я недавно, и

вовсе не нечто новое или произвольное и искусственное: это только обратная, внутренняя, необходимая сторона того исхода, который с внешней стороны является моим отказом от тебя ради семьи. Этот союз нерасторжим, пока мы любим, и весь вопрос только в том, каково может быть его внешнее выражение: мне кажется, что сегодня я высказался по этому вопросу правильнее и здоровее, чем прежде. —

Вчера Sehnsucht[3] и чувство своего бессилия лишить себя свидания с тобою заставили меня известить тебя, что мы должны увидеться. Рассудок вполне подтверждает правильность этого решения. Твои письма показывают, как много сомнений и кажущихся противоречий нам нужно еще выяснить и примирить, чтобы избавить себя от ненужных мучений, сомнений и раскаяний в будущем. Да, это свидание разумно, — как ни безразлично, разумно ли оно или нет.

Я бесконечно утешен, — тем, что увижу еще тебя, что ты любишь, будешь любить меня и после разлуки, — прежде же всего сознанием, что, как бы ни рассекали мы внешние узлы, нематериальный узел нашей любви не поддается внешней силе и не может быть рассечен нашей волей, — «пока не захочет Демон».

Скоро уже собираюсь во Флоренцию[4]; потому жду от тебя извещений о всех твоих — совершаемых и предполагаемых — передвижениях...

Если в тоне моего письма ты замечаешь самообладание, — знай все же, что я тебя безумно люблю... И, пока пишу это благоразумное (не правда ли?) послание, я успел уже испытать и лихорадку, и головокружение. Не подумай только, что я болен чем-нибудь иным, кроме страсти к тебе... Не презирай меня за то, что я сообщаю тебе смену своих ощущений и настроений: мы не вольны в них, я внутренне бесконечно подвижен и жив, но должно смотреть на целое и на факты. — Ты смеешься над тем, что я ходил встречать тебя на вокзал после своей телеграммы[5]. Этому есть оправдание: что ты поступишь непременно так, как я скажу, — ты не оговорила, и я *должен* был на всякий случай пойти на вокзал. Но что я *желал*, чтобы ты приехала, как бы это ни случилось и к чему бы ни повело, — этому нет оправдания, кроме того разве, что мы не вольны в собственном Wollen[6]. Твой В.

Твой удивительный сон я — по возможности точно — переложил в прилагаемый сонет[7]. —

*Жрица Киприды.*

Ἴω χρυσόθρον, ἀθάνατ' Αφροδίτα,
παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ' ἄσαισι μηδ' ὀνίαισι δάμνα,
πότνια, θύμον.*

Мне снился дивный сон... Киприде златотронной,
С мольбой о счастии, в толпе младых подруг,
Я дар на алтаре сжигала благовонный;
И жег свой фимиам молельщиц тесный круг...

И мраморный кумир, проникнут жизнью вдруг,
К нам обратил свой лик — призывный, благосклонный...
Всех отшатнул, всех охватил испуг;
Но я приблизилась с надеждой непреклонной...

И руку статуи простертую взяла,
И холод неземной пожатья ощутила, —
И, благодарная, с улыбкой умерла...

О, если б на яву меня ты так убила,
Владычица!.. Но жизнь тебе я обрекла,
Служить должна тебе, — что сердце мне разбила...

17 Февр<аля>

Конверт с неразборчивым римским штемпелем (но наверняка это 17.2.95). Флорентийский штемпель — 18.2.95.

[1] Письмо неизвестно.

[2] Речь идет о пп. 14 и 18.

[3] Тоска (*нем.*).

[4] Иванов вернулся во Флоренцию только в начале апреля 1895 г.

[5] Имеется в виду п. 16.

[6] Желании (*нем.*).

[7] Сонет записан на отдельном листе. Его публикация нам неизвестна. В классическом варианте эпиграф читается:

Ποικιλόθρον ἀθάνατ' Αφροδίτα,
παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ' ἄσαισι μηδ' ὀνίαισι δάμνα,
πότνια, θύμον.

Черновик:

~ Но любви нашей никто не может [исторгнуть из наших сердец] взять у нас, кроме Демона, который [вложил ее в наши сердца] нам ее дал. ~ [Далее, неизменно]

* «О, златотронная, бессмертная Афродита, дочь Зевса, плетущая хитрые сети, я молю тебя, не сокрушай моего сердца, Владычица, страданиями и скорбями».
Сафо, «Гимн Афродите»

Что касается меня, то мне должно лишь напомнить, ~ Вот все, что́ я хотел пояснить тебе по поводу твоей попытки [найти] открыть внутренние противоречия нравственного характера в намеченном мной исходе. Я надеюсь, ты согласишься, что твои ревнивые нападения [не имеют часто в себе] неосновательны и что с нравственной точки зрения этот исход совершенно [корректен] правилен.

~ Моя [идея] мысль «идеального союза», как она была [выражена мною] мною выражена, остается [в силе] неопровергнутой. Но важно то, что мы яснее и строже определили его [<1 нрзб>] внешние границы и степень его идеальности. То, что я назвал внутренним долгом перед семьей, запрещает давать [ему] нашей любви какое бы то ни было внешнее выражение. Но, кроме этой святыни нашего чувства, между нами существует, если не ошибаюсь, дружба, и я не вижу, почему бы мы не могли, например, переписываться впоследствии между собою, *как друзья*, и притом с теми ограничениями, которые налагала бы на нас деликатность по отношению к моей жене. Но, кроме этой святыни нашего чувства, между нами существует, если не ошибаюсь, дружба, и я не вижу, почему бы мы не могли, например, переписываться впоследствии между собою, *как друзья*, [поскольку это не нарушало бы внутреннего <?> и не доставляло бы нравств<енных> мучений нам с тобой >?>] и притом с теми ограничениями, которые налагала бы на нас деликатность по отношению к моей жене.

Нет, моя Лидия, то, что́ я разумел под идеальным союзом, вовсе не «средний исход», как в ослеплении писал я недавно, и вовсе не нечто новое или произвольное и искусственное: это только обратная, внутренняя, необходимая [при серьезности нашего чувства] сторона того исхода, который с внешней стороны является моим отказом от тебя [в пользу] ради семьи. Этот союз нерасторжим, пока мы любим, п.ч. он тождественен с нею; вопрос только в том, каково может быть его внешнее выражение: и мне кажется, что сегодня я высказался по этому вопросу правильнее и здоровее, чем прежде. ~

Я бесконечно утешен, — [потому] тем, что увижу еще тебя, [потому] что ты любишь, будешь любить меня и после разлуки, [потому что я сознал, что] и прежде всего сознанием, что, как бы [мы] ни рассекали и мы внешние узлы, [но] нематериальный узел нашей любви не поддается внешней силе и не может быть рассечен нашей волей, — «пока не захочет Демон».

Скоро уже [приеду] собираюсь во Флоренцию; потому жду от тебя извещений о всех твоих совершаемых и предполагаемых передвижениях...

Если в тоне моего письма ты замечаешь самообладание, то... знай все же, что я тебя безумно люблю. И, пока пишу [все] это благоразумное (не правда ли?) послание, я успел уже испытать и лихорадку, и головокружение. ~ Но что я *желал*, чтобы ты приехала, [несмотря на мою телеграмму] как бы это ни случилось и к чему бы ни повело, — этому нет оправдания, кроме того разве, что [в своих желаниях мы не вольны] мы не вольны в собственном Wollen. Твой В.

## 21. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *9/21 февраля 1895. Рим*

*21 Февр.*

Спешу ответить тебе, моя Лидия, моя дорогая подруга, и скажу прямо, что твой проект встречи в Пизе — этот бледный суррогат римского свидания — не привлекает меня и что я отклоняю

его[1]. — Когда отделаюсь от своих римских обязательств, еще не знаю определенно. —

Как люблю я ум в женщине, и как не люблю женской рассудочности! Ты склонна к узкому формулированию отношений. Ты выдумываешь формулы искусственные, ложные, лишенные нюансов, — вроде, например, следующей: «Дружба с залогом уже не одной нежности, но страсти и любви». Ты скажешь, что это — мои слова: быть может, да; но такое сопоставление их во всяком случае не мое. Да и не предлагал я тебе «перевести отношения любви на дружбу», как ты тоже выражаешься, — хотя сам я только что назвал тебя своей дорогой подругой... «Все это, вилите ль, слова, слова, слова»[2]... Я сказал, что мы можем впоследствии время от времени переписываться как друзья, другими словами — любовная корреспонденция невозможна, и сказал это потому, что неизвестность о том, где ты и что́ с тобой, отравила бы мою жизнь медленным ядом и лишила бы меня необходимого для моей деятельности внутреннего покоя (что́ как будто свидетельствует, что я больше люблю тебя, нежели ты меня: ты «сознательно шла на то, чтобы расстаться навсегда»; но это не любовь, а разве только страсть, в соединении с любовью к эффектным развязкам). Что же касается собственно наших отношений, я не думал об их положительном формулировании с их внешней стороны, а ограничился только указанием на их отрицательный признак: воздержание от выражения порывов страстного влечения... А ты все регулируешь, назначаешь один день для разговоров «нашим языком любви и страсти», следующие же беседы предполагаешь вести на каком-то новом языке дружбы, в изучении которого мы, насколько возможно предвидеть будущее, не сделаем быстрых и блестящих успехов. Вообще для тебя важно установить, как проведем мы вместе немногие последние дни, а я думаю только о том, как мы будем жить после разлуки... Как будто любовь наша в действительности так торжествует, что нам нужно еще надеть маски и играть чужую роль, чтобы лишить ее этого торжества!.. О, как не люблю я внешней дисциплины, внешних рамок, даже внешней последовательности! — Одним словом, довольно условливаться, заключать договоры и трактаты противополагать Sehnsucht[3] и Leidenschaft[4] (они не противоположны, и про себя я могу только сказать с Гёте: «ich trage nach dir Verlangen»[5]) — и засушить цветы, которые еще цветут. Твой Вячеслав.

PS.

Свежему стихотворению нужно всегда дать отстояться; и потому разорви посланный тебе вчера листок[6] и замени его прилагаемым новым[7].

Небольшой фрагмент — История и поэзия. С. 348. Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 21.2.95 — Firenze 22.2.95.

[1] Письмо, на которое откликается Иванов, неизвестно. План встречи в Пизе не осуществился.

[2] Цитата из стихотворения Пушкина «Из Пиндемонти» (1836). В свою очередь, Пушкин в данном случае цитирует Шекспира: «Слова, слова, слова» — реплика Гамлета (Шекспир, «Гамлет», акт II, сцена 2).

[3] Тоску (*нем.*).

[4] Страсть (*нем.*).

[5] «Я ношу <в себе> желание к тебе» (*нем.*). Из стихотворения «Das Blümlein Wunderschön». Это стихотворение Иванов цитировал также в п. 19.

[6] От этого «листка» сохранился только конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 20.2.95 — Firenze 21.2.95. Более о том, что имел в виду Иванов, у нас сведений нет.

[7] Никакого приложения не сохранилось.

Черновик:

~ Когда отделаюсь совсем от своих римских обязательств, еще не знаю определенно.—

~ Ты [очень] склонна к узкому формулированию отношений. ~ Я сказал, что мы можем впоследствии время от времени переписываться [между собою] как друзья, другими словами — любовная корреспонденция невозможна, и сказал это потому, что неизвестность о том, где ты и что́ с тобой, отравила бы мою жизнь медленным ядом и лишила бы меня необходимого для моей деятельности внутреннего покоя (что́ как будто [доказывает] свидетельствует, что я больше люблю тебя, нежели ты меня: ты «сознательно шла на то, чтобы расстаться навсегда»; но это не любовь, а разве только страсть, в соединении с любовью к эффектным развязкам). Что же касается собственно наших отношений, я не думал об их положительном формулировании и их внешней форме, а ограничился только указанием на их отрицательный признак: [крайнюю сдержанность] [крайнее] воздержание [в выражении всяких] от выражения порывов страстного влечения... Если я решил увидеться с тобой, то решил это потому, что моя любовь заставляет меня бескорыстно [и неудержимо] искать твоей близости. А ты все регулируешь, назначаешь один день для разговоров «нашим языком любви и страсти», следующие же беседы предполагаешь вести на каком-то новом языке дружбы, в изучении которого мы, [по всей вероятности] насколько возможно предвидеть будущее, не сделаем быстрых и блестящих успехов. Вообще для тебя важно [наперед] установить, как проведем мы вместе немногие последние дни, а я думаю только о том, как мы будем жить после разлуки. Как будто любовь наша в действительности так торжествует, что нам нужно еще надеть маски и разыгрывать [неподходящую] чужую роль, чтобы лишить ее этого торжества!.. ~Одним словом, довольно условливаться, заключать договоры и трактаты противополагать Sehnsucht и Leidenschaft (они вовсе не противоположны, и про себя я могу только сказать с Гёте: «ich trage nach dir Verlangen») — и засушить [на память] цветы, которые еще цветут. Твой Вячеслав

PS.

Свежему стихотворению нужно всегда дать отстояться; и потому разорви посланный мною вчера листок и [замени его тем, который прилагаю к этому письму] замени его прилагаемым новым.

## 22. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*10/22 февраля 1895. Флоренция*

*22 Февр. 94 г. <так!>*

Дорогой мой, горяче <так!> любимый! я уже опустила письмо тебе[1], пришла домой и снова взялась за перо. Припадок мой прошел, я уже совершенно спокойна, но, увы, безумие осталось и вряд ли когда-либо пройдет. Я много раз перечитываю твое письмо[2], и оно только больше и больше убеждает меня в том, что я права. Да, прошлое письмо мое было полно лжи, и именно потому, что в нем говорила рассудочность[3]. Но вывод отсюда может быть один: не видаться более здесь или не видаться вовсе. Неужели у тебя хватит духу сидеть возле меня у стола в твоей комнате, когда рядом с нами будет твоя жена. И потом идти со мною, страстно прижимаясь друг к другу, лишь только ее глаза уже не следят за нами, вести меня домой, где меня пугливо и испытующе встречают мои преданные и честные друзья. О каждое слово любви было бы ядом, каждый взгляд жег бы душу, а каждая попытка на дружбу — лживою насмешкою. И вот я опять со своим анализом подступаю к нашему плану и вижу, что для меня он невозможен! Ложь, бесчестие положения отравило бы последние дни, ты не можешь, не можешь сказать, что бесчестие это освящалось бы нашими страданиями — отречением. Друг мой, отречение прекрасно и героично лишь тогда, когда оно свободно. Если мы будем сидеть возле жены твоей и страстно рваться в объятия друг друга, неужели мы можем ставить себе в заслугу воздержание от механической уступки нашему влечению. Что-то гадкое, точно нечистое, оскорбительное для всех нас видится мне в этой страсти, сдерживаемой спасительным присутствием твоей жены. Ты придаешь громадное значение тому факту, совершено ли то, что по закону считается изменою, а по-моему не в этом измена, и не в измене вовсе оскорбление, а только в обмане. Да, в том обмане, которым теперь

полна моя жизнь. Эта странная женщина, которую я всё-таки не понимаю, веселит себя, как неразумное дитя, бегая на балаганы и на вечера к каким-то пошлым дуракам, она спокойна и ясна, она льнет ко мне, а я, глядя ей в глаза, лгу, лгу и лгу. Лгу своим молчанием, лгу разговором, лгу глазами, лгу рукопожатием. Но я не хочу лгать! Зачем, с какой стати мне лгать? Я не хочу видеть ее, а видеть тебя при ней для меня прямо невозможно. Итак, я *не хочу* жить здесь, в одном городе с тобою и будучи другом твоей жены. Это сказано и не преступится.

Я могла бы сделать это, лишь если бы нашла силы перейти внешним образом *на дружбу* с тобою. Ты достаточно пробирал меня за эту мысль, и я, как сказано, *увы*, согласна с тобою. Это было бы, во 1) неисполнимо, в 2) противно. Расстаться!? Тут скажу кстати: ты обвиняешь меня в отсутствии любви, потому что я могла согласиться не знать о тебе ничего. Разве я говорила тебе *это*? Я не думала ни минуты прекращать всякие сношения с тобою, т.е. жизненные. Я думала писать твоей жене, ведь тогда я была бы вправе делать это. Итак, повторяю: расстаться!

Прочитай еще раз мое утреннее письмо. Я ни от чего не отрекаюсь сказанного в нем. Я хочу тебя видеть. Я хочу сидеть с тобою много часов в неизвестном городе, где нас только двое и где мы свободны. Кто знает? я так глубоко, серьезно люблю тебя, душа моя так полна трагической твердости, кто знает, быть может, мне удастся победить свою страсть и при такой обстановки <так!>. Тогда только это будет истинная, прекрасная, высокая победа. А если нет, о Вячеслав, тогда возьми меня. Разве я уже не была твоею в тот миг, когда ты надел мне на волосы плющевый венок[4]. Я хотела бы молить: не отвергай меня. Но я не молю. Решай свободно. У тебя два выбора: расстаться теперь же, *тотчас* навсегда, или под риском уступить страсти иметь меня около себя день, ночь.... Да, сидеть рядом и говорить, и еще лучше понять друг друга, да, нежить и ласкать друг друга, и всё-таки, *быть может*, устоять. Видишь, я не софист и не филлистер <так!>. Умоляю тебя, во всяком случае, остаться в Риме еще недели две. Я к этому времени соберусь и могу выехать в Париж. Я оставляю этот срок на размышление нам обоим, а если ты согласишься со мною, то в начале черезбудущей недели я буду с тобою. Здесь не могу, не могу.

Твоя Лидия.

P.S. Я отложила поездку к матери. О, прости, что у меня вырвалась эта фраза о ней, но это и трагично, и смешно, и злит меня, и с ума сводит.

Сохранился конверт с тем же римским адресом Иванова, что и на п. 12. Штемпели: Firenze 22.2.95 — Roma 23.2.95.

[1] Письмо неизвестно.

[2] Видимо, только что полученное п. 21.

[3] Имеется в виду неизвестное нам письмо, на которое Иванов отвечал в п. 21.

[4] Судя по всему, этот эпизод произошел во время совместного визита в Колизей летом 1894 г.

## 23. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*11/23 февраля 1895. Рим*

*Рим, 23 Февр.*

Ты не желаешь, чтобы я приехал при тебе во Флоренцию[1]: этого достаточно, чтобы я оставил мысль о приезде. И, кроме того, я должен признать, что твоя répugnance[2] против возобновления нашего общения там (даже при условии [полной] крайней сдержанности в «выражении порывов страстного влечения») — имеет достаточные основания...

Прости мне мое последнее письмо[3]! Ты угадала, я потом сожалел об нем; но я подумал вместе, что ты поймешь меня и простишь... Лучше было бы вообще, если бы ты разрывала мои письма, вместо того, чтобы читать и перечитывать их: ни одно из них не выразило того, что́ нужно, и так, как нужно. С тобой, в настоящую пору наших отношений, я могу говорить только уста с устами...

Я должен был написать о своем намерении остаться в Риме, потому что ты ждешь, конечно, этого извещения; но не хочу ничего писать о дальнейшем, чтобы не опровергать потом самого себя...

О, если б я мог выразить всю мою нежность, все мое стремление к тебе!.. На душе у меня тоска и томление. Ты отнимаешь у меня столько дней, столько вечеров своей близости... Я бы хотел опять слышать твою речь, твой смех, твое пение, долгими часами наблюдать тебя, любоваться изменчивым выражением твоих глубоких глаз, твоей пепельной головкой, твоим тонким станом,

твоей оживленной грацией, — читать тебе, чувствовать тебя при чтении подле себя, с головой, наклоненной над моей книгой, обонять запах твоих волос, улавливать напряжение и жизнь твоих тонких нервов, разделять твои волнения и восторги, — вздрагивать и задыхаться при каждом звонке в ожидании тебя, ощущать состояние, близкое к обмороку, от одной твоей близости....

Безумец, полно, перестань!
Не растравляй тоски напрасной:
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань...[4]

И вместе я знаю, что наши вечера втроем были бы unheimlich...[5]

Итак, Лидия, я не смею приехать во Флоренцию до твоего отъезда — и замедлить его? Скажи еще раз: ты не хочешь этого?.. Даже если бы это значило, что мы не увидимся вовсе? —

В.

Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia. 23.2.95 — Firenze 24.2.95.

[1] Имеется в виду п. 22, на которое Иванов отвечает.

[2] Отвращение, нерасположение (*фр.*).

[3] Речь идет о п. 21.

[4] Не вполне точная цитата из поэмы А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1824). У Пушкина вторая строка читается: «Не оживляй тоски напрасной».

[5] Жутки (*нем.*).

Черновик:

Ты не желаешь, чтобы я [приезжал] приехал при тебе во Флоренцию: этого достаточно, чтобы [не приезжал] я оставил мысль о приезде. И, кроме того, я должен признать, что твоя répugnance[1] против возобновления нашего общения там (даже при условии полной сдержанности в «выражении порывов страстного влечения») — имеет [свои веские] достаточные основания...

Прости мне мое последнее письмо! [Я действительно] Ты угадала, я потом сожалел об нем; но я подумал вместе, что ты поймешь меня и простишь... Лучше было бы вообще, если бы ты разрывала мои письма, вместо того, чтобы читать и перечитывать их: ни одно из [моих писем к тебе] них не выразило того, что нужно, и так, как нужно. С тобой, в [настоящий период] настоящую пору наших отношений, я могу говорить только уста с устами...

Я должен был написать о своем намерении остаться в Риме, потому что ты [будешь ждать завтра ответа] ждешь, конечно, этого извещения; но не хочу ничего писать о [более] дальнейшем, чтобы не опровергать потом самого себя...

[Я не знаю, как] О, если бы я мог выразить [этим пером] всю мою нежность, все мое стремление к тебе!.. ~ Я хотел бы опять слышать твою речь, твой смех, твое пение, долгими часами наблюдать тебя, любоваться [сменяющимся] изменчивым вы-

ражением твоих глубоких [серых <?>] глаз, [твоими пепельными волосами] твоей пепельной головкой, твоим тонким станом, твоей оживленной грацией, — читать тебе, чувствовать тебя при чтении подле себя, с головой наклоненной над моей книгой, обонять запах твоих волос, улавливать напряжение и жизнь твоих тонких нервов, разделять твои волнения и восторги, — вздрагивать и задыхаться [от волнения] при каждом звонке в ожидании тебя, [потому чувствовать близость] ощущать состояние близкое к обмороку от одной твоей близости.... ~

Итак, Лидия, я не [должен] смею приехать во Флоренцию до твоего отъезда — и замедлить его? [Напиши мне] [Подумай] Скажи еще раз: ты не хочешь этого?.. Даже если бы это [означало разлуку] значило, что мы не увидимся вовсе? —

В.

## 24. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*13/25 февраля 1895. Рим*

*Рим, 25 Февр. (вечером).*

Дорогая моя, я не решаюсь оставить тебя без нескольких своих строк после твоего сегодняшнего письма, хотя эти строки тебе ничего не скажут...

Моя возлюбленная! Я благословляю судьбу, снова отдаляющую нашу окончательную разлуку! Я благословляю милую, добрую Алымову[1], посредницу, вестницу этой судьбы! Я благословляю твою Ферни[2], которой обязан своим прошлым счастием и которой, как кажется (я боюсь еще верить) буду обязан твоей близостью до Мая — не так ли, Лидия?..

Тебе не жаль меня? Ты видишь, я ни о чем не мечтаю, я хочу только твоей близости... Вспомни Эдуарда и Оттилию[3] в последнюю эпоху, в эпоху после катастрофы, разрушившей все надежды: они также довольствовались уже одною близостью...*

Как я тосковал по тебе, как жаждал тебя вчера! Ты вчера слушала музыку и думала о нашей любви. Я также слушал музыку, и томился, и летел к тебе, и мне также чувствовалось, что в жизни есть нечто прекрасное и цельное и что такова наша любовь...** Лидия, мне кажется, что любовь моя к тебе все растет. Ведь это знак, что я с самого начала полюбил тебя глубоко, глубже, чем знал, глубже, чем хотел бы, глубже, чем могу измерить даже в настоящую пору. Истинная любовь, думается мне, всегда долж-

* В чистовом варианте письма слова «Вспомни Эдуарда... одною близостью...» подчеркнуты карандашом рукою Зиновьевой-Аннибал.

** Слова «и что такова наша любовь» подчеркнуты карандашом рукой Зиновьевой-Аннибал.

на быть неизмеримой для нашего сознания. Ее кажущийся рост — только постепенное сознавание нами того, что́ мы носили в себе издавна, — с какого момента, о том знает один Демон... Миф о стрелах Эрота правдив, как все мифы...[4] Но, Лидия, поклоняясь нашему Демону, будем неустанны в борьбе с ним*, как и Иаков боролся с Богом, которому служил...[5]

Я знаю, ты не рада разрушению твоего плана парижской поездки. Тебе хотелось вырваться из томительной атмосферы нашей неудовлетворенной страсти на вольный, отрезвляющий воздух, в новый, привлекательный мир, в освежающее общество любимых друзей... А я — рад; я ничего не анализирую, не думаю ни о чем, — ни о каких тенях, ни о каких возможностях, ни о каких положениях, — я хочу иметь тебя в своей близи, видеть, слышать тебя — и я счастлив этой надеждой... С тобой — я буду казаться твоим другом, твоим братом...** Я хочу встретить с тобою весну. Я уже отзываюсь всем существом ее приближению. Она будет прибавлять[6] к моим мукам новые муки, к моему счастию новое счастие. Пусть будут муки! Только бы сердце, как ты говорила, не было пусто и мертво, только бы оно, как теперь, билось и замирало от любви — и чуяло ответное биение другого сердца. — Я повторяю тебя. — В.

PS. Я принялся за переписку диссертации. Так как это дело сложное, требующее многих справок и размышлений, то, с одной стороны, лучше для меня окончить его здесь, с другой — оно может затянуться — например, до половины Марта. —

Сохранился конверт со штемпелями: Roma. Ferrovia. 25 Feb. 95 — Firenze. 26.2.95. Постскриптум — История и поэзия. С. 138.

[1] См. «Интродукция», письмо от 19 июля 1894 и прим. 6 к следующему письму.

[2] См. «Интродукция», письмо от 12 июля 1894.

[3] См. п. 17, прим. 6.

[4] Имеется в виду то, что бог любви Эрот поражал своими стрелами людей, заставляя их влюбляться друг в друга (или отвращаться друг от друга), иногда вопреки собственному желанию.

[5] См.: Быт., гл. 32.

[6] На этом слове заканчивается страница письма. Внизу, под текстом, рукой Зиновьевой-Аннибал приписано: «сколько высокого, в этой неизмеримо глубокой любви!».

* Слова «будем неустанны в борьбе с ним» подчеркнуты карандашом, вероятно, рукой Зиновьевой-Аннибал.

** Слова «я буду казаться твоим другом, твоим братом...» подчеркнуты рукой Зиновьевой-Аннибал.

## 25. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*15/27 февраля 1895. Флоренция*

*27/15 Февр. 95 г.*

Вячеслав мой, чего пожелать тебе ко дню твоего рождения? Alles, was ich soll u<nd> nicht muss, alles was ich wünsche u<nd> nicht will[1]. Плохо исполнятся так недобросовестно выраженные пожелания! и слава Богу, потому что тогда ты останешься моим, а я твоею. Мой поцелуй посылаю я тебе такой и нежный и страстный, чтобы тебе стало и тепло на душе, и всё вокруг тебя осветилось бы лучами солнечного спектра. Чтобы ты на одно мгновение постиг бы лучезарное, безграничное, безвременное счастие, в котором тонет весь мир вокруг и всё собственное существо. Вячеслав, я скажу тебе, что я думаю о любви, а потом признаюсь тебе во всем неблагородстве и слабости моего нравственного существа. Любящих вечно почти не бывает на земле, но вечная любовь есть и должна быть, иначе она не называлась бы любовью и не казалась бы святою и величественною. Я хочу сказать, что редко встречаются между собою те, которые любят по Wahlverwand<t>-schaft[2], но если они встретятся, тогда они внезапно постигают вечную любовь и любят вечно, как Эдуард и Оттиллия[3]. Если подобная любовь обставлена «счастливо», то получается идеальная пара, достигающая под влиянием любви зенита во всех внутренних и внешних своих проявлениях. Если же эта любовь «несчастна», то из нее лишь два исхода. Смерть, т.е. обыкновенная, физическая смерть, или победа любви, победа, ломящая всё и вся, что препятствует ей. От<иллия> и Эд<уард> избрали первый исход, или, вернее, они были так созданы, что mussten[4] избрать его. Я же чувствую, что я не Оттиллия, и вот здесь я подхожу к главному.

Или ты меньше любишь меня, или ты сильнее, духовнее, лучше во сто раз меня, я знаю лишь одно: если не уничтожу в себе физическую жизнь самоубийством, я буду твоею во что бы то ни стало, если ты возьмешь меня, конечно. Среднего исхода нет. И самое ужасное это то, что моя совесть молчит, понимаешь, что значит это. Это значит, что я уже не различаю добра и зла, что я охвачена стихией любви, вот почему я не радуюсь разрушению парижских планов. Не свободы и друзей искала бы я там, а просто матерьяльной невозможности быть с тобою и твоею. Брат, друг! о какое наслаждение <?>. Я не Оттиллия, я простая женщи-

на. Я никогда не любила. Даже то сильное чувство к Г.[5] была не любовь. Да, я была счастлива, когда он был в комнате, но к нему меня не влекло. А твое присутствие для меня больше мука, чем счастие, потому что меня бросает к тебе, я мучаюсь вечною idée fixe — жаждою иметь тебя одного, вдали от всех, и хоть один короткий миг отдаться любви вполне, т.к. она требует. И когда я думаю об этом, ощущаю это, ничто в совести моей не шевелится, и всё умирает, кроме одной неудержимой жажды страсти, твоих объятий, твоих поцелуев. Долго, долго крепилась я и бодрилась, но вот с того момента, как я получила роковое письмо Алым<овой>[6], во мне точно сломилось что-то, и я стала такою слабою и больною, что не знаю, как только хватит сил работать. Эта любовь жжет и истощает меня. Не знаю, что будет. О Вячеслав, несколько часов, о только несколько часов блаженства, на всю жизнь. О, хоть один миг полной любви... молчу, прости. Ты скоро будешь презирать меня, ибо я стала низким существом. Эта любовь сломила меня. У меня нет более воли, чтобы бороться, и нет совести, чтобы направлять борьбу. Вячеслав, я устала, я слаба и физически больна. Эта борьба не по силам более. Послушай, я поеду в Милан в середине Апреля[7]. Я понимаю, что тебе важно остаться в Риме, что ты серьезно повредишь своей работе, если уедешь. Но помни, что наше время сочтено, и торопись. Вячеслав, и еще: в Пятницу 8 Марта в 4 ½ часа дня я буду в Пизе[8]. О, прости, прости. Это подло — искушать тебя, но моя совесть молчит. О господи, сколько хотела бы я сказать тебе. О мой милый, я так слаба, так устала, я только хочу сидеть рядом с тобою, нет, сидеть на твоих коленях, как дитя, и шептать тебе слова любви. О, приезжай в Пизу, о будь со мною. Не пиши теперь, не пиши вовсе, если можешь, я буду ждать тебя в Пизе, чтобы броситься тебе на шею и прильнуть к твоим устам.

Твоя гадкая Лидия.

Нет, наша любовь прекрасна и она имеет свой закон. От<иллия> и Эд<уард> могли довольствоваться одною близостью потому, что они решили умереть и были уже живыми мертвецами, но мы живы, живы, и мы должны и будем любить.

Конверт со штемпелями: Firenze 27.2.95 — Roma 28.2.95. Рукой Иванова на нем написано: 27/15 февр<аля> 1895.

[1] Всего, что я должна и не могу, всего, чего я желаю и не хочу (*нем.*).

[2] Избирательное сродство (*нем.*). Понятие восходит к названию романа Гёте «Wahlverwandtschaften» (1809).

[3] Герои романа Гёте, названного в предыдущем примечании. Подробнее см.: п. 17, прим. 6.

[4] Должны были (*нем.*).

[5] Видимо, имеется в виду тот неизвестный нам мужчина, с которым Л.Д. собиралась бежать из дому в 1884 или 1885 г. (подробнее см. во вступительной статье Н.А. Богомолова).

[6] Софья Ильинична Алымова — подруга Зиновьевой-Аннибал, учительница. Летом и осенью 1895 г. жила с детьми Зиновьевой-Аннибал на берегу моря во Франции. Имеется в виду, очевидно, письмо от 5 января 1895: «Милый мой друг Лидя, что сказать тебе в ответ на твое письмо. Оно не было неожиданностию для меня. Каждый раз, когда открывала твой конверт, я ожидала таких строк. Бедная моя! Ясно рисую, как начинаются опять в твоей душе терзания. Но, судя по письму, ты теперь перенесешь их тверже, чем прежние. Холодно и пусто внутри тебя, но наружная дрожь — бессилие не проявятся в такой степени, как ранее, а вследствие этого и силы останутся цельнее для борьбы с собою.

Сегодня была у Яковлевых. Ол<ьга> Алекс<андровна> совсем смущена твоим письмом и все не решается писать тебе. Ей я только сказала, что он уехал. <...>

Насколько блестящий был у тебя конец 94-го года (начавшийся так жалко; помнишь, где встретила его?), настолько же темно встретила ты 95. Хотя в твоей жизни все же прибавился большой +. Помнишь, как завидовала ты Саше, что у ней было прошлое?» (РГБ. Ф. 109. Карт. 11. Ед. хр. 25. Л. 11 — 11 об.). Следующее ее письмо датировано только 18 февраля, и в нем говорится: «Ни Оля, ни Филипп, ни я целый месяц не имеем писем. Что сие означает? Если б это был гнев, то не получала бы только я; теперь же молчание общее вызывает беспокойство» (Там же. Л. 12).

[7] Поездка не состоялась.

[8] Иванов отказался приезжать в Пизу для свидания с Л.Д. (см. п. 21). Была ли она там сама, нам неизвестно. Судя по тому, что 5 марта она уехала в Нерви, скорее всего — нет.

## 26. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*15—17 февраля / 27 февраля—1 марта 1895. Флоренция*

*27 Февр.*

Милый мой, мой Вячеслав, мой возлюбленный, я еще пишу тебе в день твоего рождения. Теперь вечер, и моя душа полна томительной и мягкой тоской по тебе. Но я не думаю о себе теперь. Я думаю лишь о тебе, о моем бедном и дорогом. Я желаю тебе покою. Прости мне мои страстные, безудержные призывы. Прости все терзания, которые я эгоистически доставляю тебе. Милый мой, я уже ничего не прошу. Я буду жить, убивая день за днем, и думая о тебе, и живя лишь тобою, и слушать твой голос, и петь тебе, и говорить с тобою, и я буду убивать в себе страсть свою, да, я попытаюсь быть Оттиллией[1]. Мой милый, мне так хотелось бы быть с тобою сегодня. Я жалею, что не послала тебе ничего, кроме письма своего, но ведь ты знаешь, что и днем и ночью твой

образ бессменно надо мною, а всё остальное как во сне. Иногда я останавливаюсь посреди улицы и странно смотрю на людей, и мне ясно, ясно представляется, что это всё во сне. Одно живо, одно наяву — это моя несчастная и блаженная любовь к тебе. О прости меня, Вячеслав, не совесть проснулась во мне, а я просто точно еще ослабела и стала мягче и тише, и нет у меня иной мысли, кроме тихой, глубокой любви к тебе: still wie die Nacht, tief wie das Meer![2] И не кажется, что я виновата в том, что ты теперь несчастен и одинок, и мне горько и больно от этого сознания. Чувствуешь ли ты теперь, как я жалею тебя и люблю нежно и без эгоизма, люблю до того, что готова была бы отказаться от тебя.

Когда тебе захочется поговорить со мной, мой возлюбленный, напиши мне еще. Твоя Венера у меня, но я не решилась послать ее в Рим до получения твоего дара мне. О Венера, я поклоняюсь тебе. Victor Hugo говорит, что блаженство того света будет заключаться в любви, ибо вне любви его нет[3]. Да, да, любовь одна дает счастия <так!>, т.к. она не притупляет, а усиливает восприимчивость людей ко всему остальному, что есть в жизни. Мой возлюбленный, спокойной ночи. Я опять иду к своим снам. О, милый, когда я увижу тебя и днем? Когда? когда?

28 Февр<аля>. Мой милый, посмотри, какая я стала сумасшедшая. Я вчера была так занята письмами к тебе, что вообразила, как ребенок, что сегодня — завтра, и заметила только утром сегодня свою нелепую ошибку. Сегодня с утра представляла себе всю грусть, которую ты, наверное, испытываешь, и у меня всё то же — слабость физическая и нравственное размягчение всего существа. Il mio core langue d'amor[4]. И это томление убивает всякую резкую страсть, смиряет и очищает душу.

29 Февр<аля>. Еще раз не успела докончить письма, и хорошо сделала. Я посылаю тебе обратно твое письмо, Вячеслав[5]. Я не хочу хранить этих холодных и гордых строк, чтобы они отравляли остальные. Ты имеешь полное право презирать меня и считать себя и выше и сильнее, я знаю, но зачем навсегда оставлять себе документ этого презрения. Вячеслав, ты еще не надломлен жизнью, ты не бил себя кулаком в грудь и не рвал волосы в безумном отчаянии. Кроме того, ты испытал уже и любовь и счастие, и было время, когда та любовь удовлетворяла тебя. Быть мож<ет>, оно настанет опять. Не забывай, что есть люди, которые ничего не имели, всю жизнь боролись и плакали, имея в душе, как мучение Тантала, яркий образ возможного счастия. Есть люди, которых любовь обманула, которые в ранней и наивной молодости за лю-

бовь принимали холодный разврат и, познав впервые чистую страсть, познали одновременно с нею горечь отречения. Если эта любовь — любовь, то отречение — вечное. Видишь ли, я сломилась — прости. Я посылаю тебе свое письмо целиком, и ты увидишь, что до получения твоей проповеди я уже говорила языком резигнации[6], как называешь ты.

Теперь прибавлю лишь. Я живу, считая дни и часы до твоего приезда. Будет ли он мне в муку или во счастие, я лишь молю тебя, смиренно молю: прости мне мою буйную, преступную страсть и приезжай, ради Бога, приезжай, и еще молю тебя, мой друг, мой возлюбленный, мой Вячеслав, молю, о забудь, забудь всё, что поразило тебя тяжело или неприятно в моих письмах, и не откладывай свидания. Я согласна быть сестрою тебе, лишь приезжай. Впрочем, если любовь твоя утихла, если разлука тебе не слишком тяжела... конечно, я не прошу у тебя милости для себя, я говорю лишь: знай, что и я согласна отречься от всего по одному слову твоему и мечтаю, как о высшем счастии в жизни, о твоей близости здесь.

Не могу писать, ничего не выходит, я как-то слаба и мысль путается. Ты называешь нашу любовь агонией и хочешь ее прекратить. Несмотря на агонию, во всю жизнь я не была так счастлива, как теперь, и что бы ни случилось, я благословляю тебя за каждую минуту нашего прошлого.

Лидия.

Не томи меня и скажи, когда вернешься и вернешься ли. О вернись, молю тебя, мой самый лучший и близкий друг.

Еще раз приписываю, мой милый дорогой друг, вспомни только, сколько общего есть в наших нравств<енных> существах.

Да, да, я хочу твоей дружбы. Ради Бога, только не мучь меня долго разлукой.

Твоя.

На конверте флорентийский штемпель неразборчив, римский — 2.3.95. Помета Иванова: 27 и 28 февр<аля> 1895.

[1] См. п. 17, прим. 6.

[2] Тиха как ночь, глубока как море (*нем.*). Название пьесы композитора Карла Гетзе (Carl Goetze, 1836—1887) на немецкие народные стихи.

[3] По утверждению специалистов по французской литературе из Женевского университета, с которыми по нашей просьбе консультировалась Ж. Тасси, передаваемая Л.Д. мысль Гюго столь часто встречается в различных его произведениях, что точный источник цитаты обнаружить невозможно.

[4] Мое сердце томится от любви (*ит.*).
[5] Имеется в виду п. 24. См. также пп. 27 и 28.
[6] От франц. résignation — смирение, покорность судьбе.

## 27. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*18 февраля / 2 марта 1895. Рим*

*Рим, 2 Марта*

Мне больно, Лидия, что ты вернула мое письмо, как «документ» моего «презрения»[1]. Мне ли презирать тебя, когда я себя, одного себя считаю виновником твоего внутреннего разлада, твоих душевных страданий, твоей нравственной агонии? И как мог бы я презирать тебя, когда ты права, безусловно права во всем, что́ подсказывает тебе твое чувство! Ибо речь идет не о том, где право и где неправда, но о том, которое из двух прав одержит верх, так что победа каждой из враждующих сторон, как в борьбе за существование, является торжеством права с одной стороны, неправдой и насилием — с другой... О Лидия, если бы я мог, я бы изгладил из твоей души эту любовь, которая делает тебя несчастной, как ты ни стараешься убедить меня в противоположном. Вот что хотел я сказать своим письмом, вот что повторяю тебе еще раз...

---

Благодарю тебя, моя Лидия, моя нежная, прекрасная подруга, за твою участливую ласку. Я буду искать скорее освободиться от всего, что́ меня еще удерживает вдали от тебя, и *если ты позовешь*, я буду у твоих ног... Да, Лидия, у твоих ног хочется мне быть, и целовать твои ноги, и глядеть в твои глаза снизу вверх, и, когда ты наклонишься ко мне, покрывать поцелуями твои руки, твои колени, концы твоих распущенных волос... Io t'adoro[2]... И мне хочется нести тебя в объятиях чрез мир, бережно, нежно, как дитя: я *жалею* тебя *... Но это не все, чего я хочу... О Лидия, какое мучение! Я люблю, безумно люблю тебя — знаешь ли, что я боюсь перечитывать твои письма, что я подолгу не решаюсь и редко осмеливаюсь вынуть и прижать к устам прядь твоих волос

* Слова «я жалею тебя» подчеркнуты простым карандашом. Подчеркивание принадлежит Зиновьевой-Аннибал. Над «тебя» карандашом поставлен крестик, видимо, обозначающий сноску, но сама сноска отсутствует. Вместо этого есть приписка на нижних полях страницы, принадлежащая Зиновьевой-Аннибал и выполненная черной тушью. Текст приписки см. в прим. 3.

или твой «талисман»[3], что часто я не нахожу в себе мужества даже бросить взгляд на твою Форнарину[4], — так как все это мгновенно поднимает во мне целую бурю мучительной страсти. Die Leidenschaft bringt Leiden[5], говорит Гёте, и потому страдание для меня — читать твои строки, страдание — писать тебе... Но страдания любви, по-видимому, только особая, острая форма наслаждения, потому что их жаждешь, их благословляешь... Я молчу, насколько возможно, о своих экстазах, или только бегло намекаю на них; но чрез это они не меньше потрясают все мое существо, сначала доводя мои душевные силы до безграничного напряжения, потом бросая меня в отчаяние и безнадежное уныние... За твои признания, Лидия, я могу презирать тебя не иначе, как презирая себя самого.... И сам я, имею ли право отвечать на них такими же признаниями? Зачем пишу это? Чтобы опять будить в тебе твой тлеющий пламень?... Что мы сделали, моя возлюбленная, что́ мы сделали?

Die Lebensfackel wollten wir entzünden:
Ein Feurmeer umgiebt uns,— welch ein Feuer[6].

В.

PS. Завтра я переезжаю с Micheli на другую квартиру. Мой адрес: via Palestro 87, interno 6.

Прости неразборчивую пачкотню: спешу, чтобы отнести письмо на станцию до отхода последнего поезда.

Небольшой фрагмент — История и поэзия. С. 135. Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 2.3.95 — Firenze 3.3.95.

[1] Речь идет о п. 26.

[2] Я тебя обожаю (*ит.*).

[3] См. п. 12. В оригинале здесь заканчивается вторая страница письма. Внизу ее — приписка рукой Зиновьевой-Аннибал, оканчивающаяся на нижних полях следующей страницы: «О, Вячеслав, как ужасна твоя жалость, эта столь хваленая мужская жалость, кот<орая> допустила тебя *упорными увещаниями* сломить сопротивление твоей жены. Злее насмешки не может быть». Очевидно, что приписка была сделана после того, как в письме от 13 июня Иванов сообщил ей, что в Москве снова сошелся с женой, «победив настойчивыми увещаниями ее сопротивление». После этого Зиновьева-Аннибал отсылает ему его письма (видимо, не все) и просит прочесть их в «хронологическом порядке», о чем свидетельствует ее приписка на одной из его страниц (см. прим. 3 к п. 83).

[4] Форнарина (Маргарита Лути) — возлюбленная Рафаэля, часто ему позировавшая. Сведения о ней, которыми могла обладать Зиновьева-Аннибал, можно найти в энциклопедическом словаре Брокгауза—Ефрона.

[5] Ведет к страданьям страсть (*нем.*; пер. В. Левика). Цитата из стихотворения Гёте «Умиротворение» из цикла «Трилогия страсти» («Aussöhnung», «Trilogie der Leidenschaft»).

[6] Неточная цитата из «Фауста» (строки 4709—4710) из знаменитого монолога в начале первого акта второй части трагедии:

Мы светоч жизни засветить хотели,
Внезапно море пламени пред нами! (пер. Б.Л. Пастернака).

## 28. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *16, 19 февраля /28 февраля, 3 марта 1895. Рим*

*Рим, 28/16 Февр 95.*

Лидия! Несколько времени тому назад я писал тебе: «Я не могу сделать тебя счастливой — забудь меня». И в том, как ты приняла это предложение, сказалась твоя глубокая потребность окончательного со мной разрыва: ибо той *полной* любви, какой ты от меня хочешь, я не могу тебе дать. Но ты, путем логических дедукций, переместила центр тяжести моего предложения в сферу нравственных отношений и с этой последней точки зрения пыталась доказать необходимость нашей разлуки, тогда как моей исходной точкой было сознание, что я не могу сделать тебя счастливой, более того — что я роковым образом должен делать тебя несчастной. Твои дедукции меня убедили не надолго, разлука мне показалась безумием, и инстинктивная потребность твоей близости заставила мечтать об одном — о моем возвращении к тебе во Флоренцию. Но мы любим по-разному*, и мысль, что наша любовь, оставаясь в положенных ей нами самими границах, служит для тебя источником одних страданий, одного томления, снова восстает пред моим сознанием во всей своей неотразимой силе как раз в то время, когда судьба удерживает тебя во Флоренции, как бы для того, чтобы исполнить мое смиренное, мое бескорыстное, мое резигнированное желание** твоей близости. Твое сегодняшнее письмо[1] снова доказывает[2], что для тебя может существовать только полная — нравственно и материально — любовь или полная — материально и... нравственно? — разлука. Тот или другой исход должен прекратить агонию, в которой ты находишься; ибо твоя любовь «жжет и истощает» тебя... И между тем полной любви я дать тебе не могу;

* Слова «Но мы любим по-разному» подчеркнуты и сверху почерком Зиновьевой-Аннибал сделана приписка «Да!».

** Слова «мое смиренное, мое бескорыстное, мое резигнированное желание» подчеркнуты Зиновьевой-Аннибал.

мои принципы запрещают мне дальнейшее с тобою сближение, и я останусь * им верен, почему не поеду и в Пизу для свидания с тобой... Что же следует из всего этого? — Необходимость полного разрыва; и я снова обращаюсь к тебе с вызовом, что готов на этот разрыв ради твоего спокойствия и блага.

О Лидия! я знаю, как я виноват перед тобой — своей любовью, своей страстью, своими ласками и письмами... И было мгновение, когда мне казалось, что я взял у тебя так много, что не могу более с своей стороны отказывать тебе ни в чем. Но *тогда* ты не хотела принять этой жертвы моих принципов, не желая жертвовать своими; это значило, как я сказал, что ты не возьмешь ее *никогда*.

Каждый протекающий день, каждый час призывает нас к отрезвлению. Довольно агонии!.. Поступай, как хочешь, моя возлюбленная, и предписывай мне, что́ хочешь: но считайся с одним условием — с необходимостью отречения. Моя любовь не может торжествовать.

В.

Пересылаю обратно возвращенное тобою письмо. В твоей власти уничтожить любое из моих писем; но взять его назад я соглашусь только под условием прекращения переписки. Притом, я надеюсь, что после того, что́ я написал тебе вчера[3], ты уже не найдешь более в этом письме ничего «презрительного» или напоминающего «проповедь». В. И. 3 Марта.

Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 3.3.95 — Firenze 4.3.95.

Сохранился черновик с незначительной правкой, окончательный текст совпадает с беловым автографом, за исключением единственного момента, отмеченного в прим. 2.

[1] Речь идет о п. 25.

[2] В черновике «доказывает мне».

[3] Имеется в виду п. 28.

## 29. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*18—19 февраля / 2—3 марта 1895. Флоренция*

*2 Марта вечером*

Ни слова, о друг мой, ни вздоха,
Ведь молча над камнем могильным

* Слова «И между тем... и я оста-» подчеркнуты Зиновьевой-Аннибал.

Склоняются грустные ивы
И только склонившись читают,
Как я в твоем сердце усталом,
Что были дни ясного счастия <так!>,
Что этого счастия <так!> не стало...

О, друг мой, если бы ты слышал, как я пела этот чудный романс Чайковского[1]. Я сама брала аккорды и рыдала голосом, так что вся душа выливалась в звуках. О милый, приезжай, я спою его тебе. Я пишу еще сегодня вечером, чтобы в беседе с тобою проводить этот томительный день. Ведь ты не сердишься на меня, ты любишь и приедешь? Ты приедешь скоро, и мы будем сидеть рядом и читать о любви и о красоте, затем я буду петь тебе, потом мы пойдем под руку, прижавшись друг к другу, и будем молчать, и будем счастливы. Что нам за дело до того, что будет потом... дальше, после этой весны, которую мы должны встретить вместе. О, если бы ты знал, как я томлюсь и страдаю, как силы мои уходят, как я часами лежу почти без мысли, совсем разбитая... но когда ты будешь здесь, я вновь оживу. О, Вячеслав, мое сердце болит день и ночь, и точно червь точит его неустанно. Бывают часы, минуты, когда я судорожн<о> думаю о самоубийстве, но теперь еще нельзя, еще ты приедешь, еще мы будем вместе...

О приезжай, скорее, скорее, скорее, и не презирай свою слабую, несчастную, усталую, да, такую усталую подругу.

3 Марта. Настало страстно ожидаемое утро, и я не получила твоего письма. Я повторяю твои слова: «Что это, месть?»[2] Но за что же? Это жестоко, и доказывает, что если ты и сильнее и прекраснее меня, то гораздо менее добр. Если ты сам страдал в ожидании писем, то как можешь ты мучать меня? Итак, еще сутки неведения. Увижу ли тебя или нет?

О друг мой, как ты жесток! разве это любовь!

4 часа пополудню <так!>. Вячеслав, я получила твое письмо[3]. Прости мне мои упреки. О мой возлюбленный, каким едким счастием наполнило меня чтение твоих строк. И вдруг я увидала солнце и синее небо и почуяла приближение весны, и всё существо исполнилось радостью, блаженством. Люблю, люблю. Мой милый, твое письмо точно влило новые силы в мою слабеющую душу. Мой друг, я чувствую, что могу еще ждать, ведь знаю же я, что ты приедешь. Мой Вячеслав, не вреди своему труду из-за меня, помни лишь, мой любимый, что каждый протекающий день есть: un giorno perduto per la felicità[4].

В Пятницу я вернусь во Флор<енцию> из Nervi[5], куда еду на два дня. О, сколько мучительных дней придется еще ждать после моего возвращения? Вячеслав, твоя Оттиллия ждет тебя, зовет тебя, жаждет тебя. Весь мир для меня пустыня, когда нет тебя.

Я устаю от всех этих волнений, и перо мое дрожит. Два дня смертельной тоски после твоего письма, сегодня утром жестокое разочарование, и теперь эта неожиданная, палящая радость твоего письма. Прощай, я устала. Я тебя люблю, я твоя. Жду, жду, считаю дни, часы, минуты.

Лидия.

Конверт со штемпелями: Firenze 3.3.95 — Roma 4.3.95 и с новым адресом: Al Gentilissimo Signore V. Ivanov.: via Palestro 87, interno 6. Roma (дальнейшие письма Зиновьевой-Аннибал в Рим будут отправляться по этому адресу).

[1] Романс на стихи А.Н. Плещеева (перевод из М. Гартмана). Стихи — 1861, музыка — 1870. Цитируя, Зиновьева-Аннибал пропустила вторую строку: «Мы будем с тобой молчаливы...»

[2] Точной цитаты в письмах нет. Очевидно, имеется в виду п. 15.

[3] Речь идет о п. 28.

[4] День, потерянный для счастья (*ит.*).

[5] Курортный городок недалеко от Генуи.

## 30. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*21 февраля / 5 марта 1895. Флоренция*

*5 Марта 95 г.*

На всякий случай извещаю Вас, друг мой, что сегодня вечером уезжаю в Nervi, где адрес мой будет: Grand Hôtel.

Прошу Вас, лишь только можете определить, написать, когда думаете покинуть Рим. Пока я нахожусь в полной неизвестности, и Вы понимаете, что это мне тяжело. Быть может, Ваша работа не пострадает от переезда, т.к. мое мнение (профана, конечно), что Вы слишком добросовестны и придирчивы к самому себе, а Рим только поощряет Вашу придирчивость. Простите. Буду ли я в Пятн<ицу>[1] как-то безумно надеяться, как Вы 4 недели тому назад[2]? Нет, нет, нет. До свидания. Когда?

Ваша Л. Менада[3].

Открытка со штемпелями: Firenze 5.3.95 — Roma 6.3.95.

[1] Пятница приходилась на 8 марта.

[2] Видимо, речь идет о п. 17.

[3] См. п. 14.

## 31. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*22 февраля / 6 марта 1895. Рим*

*Roma, via Palestro 87 int. 6*
*6 Марта*[1]

Моя Лидия! Я был в затруднении, получив твое открытое письмо: отвечать ли тебе или нет. Вопросительная его форма заставляла предполагать, что ты ждешь ответа; но твое запрещение писать тебе в Нерви[2] без особенной необходимости останавливало меня. Две причины побуждают меня, однако, ослушаться и потревожить тебя своим письмом. Во-первых, твоя приписка о безумной надежде... Я знаю, как они мучительны, эти безумные надежды, моя возлюбленная, и потому еще раз и окончательно заявляю, что для меня невозможно приехать в Пизу. Другая причина — полученное мною [сегодня] только что открытое письмо Гревса, на которое я не решаюсь ответить, не посоветовавшись с тобой: так близко касается оно нашего ближайшего будущего. Он пишет: «Напишите немедленно, долго ли останетесь в Риме. Я получил от Васильевского[3] такое письмо, что непременно надо бы с вами повидаться, чтобы посоветоваться. Я бы решился приехать, если вы еще в Риме, т.к. там могу и продолжать работу, и узнать ваше мнение о ряде важных вопросов. Если вы уже на выезде, то сообщите также сейчас же. Я м<ожет> б<ыть> тогда на Пасху приеду во Флоренцию. Ужасно надо вас видеть. Жду ответа с нетерпением»[4].

Работы мне остается еще много. В половине Марта я все же был бы во Флоренции. Для научных совещаний с Гревсом было бы почти необходимо остаться в Риме; тогда мы приехали бы вместе (к Апрелю?) во Флоренцию. Но ты меня ждешь... но сам я также не могу принести в жертву по крайней мере две недели нашей «дружбы» перед разлукой, или, говоря вернее, не могу противиться своей Sehnsucht[5]; своей жажде твоей близости. Остается написать, что я «на выезде»... Подумай, как нам быть? До некоторой степени могу сказать, что кладу нашу судьбу в твои руки[6].

Твой Вячеслав

Спешу — бегу на станцию.

Фрагмент — История и поэзия. С. 135. Конверт с адресом: All'onoratissima Signora Lidia Schwarsalon. Grand Hôtel. *Nervi*. Штемпели неразборчивы.

[1] В черновом варианте письма также указан день недели — «Среда».

[2] Письмо с таким запрещением нам неизвестно.

[3] Василий Григорьевич Васильевский (1838—1899) — учитель и наставник И. М. Гревса, профессор Петербургского университета. О нем см.: История и поэзия. С. 304. Письмо В. Г. Васильевского к Гревсу от 12/24 февраля 1895 г., отложившееся в архиве Иванова, частично опубликовано: Там же. С. 132—133.

[4] В черновом варианте письмо Гревса цитируется следующим образом: «Напишите *немедленно*, долго ли останетесь в Риме. Я... непременно хотел с Вами повидаться, чтобы посоветоваться, если вы еще в Риме... Если вы уже на выезде, то сообщите также сейчас же. Я, может быть, тогда на Пасху приеду во Флоренцию. Ужасно надо вас видеть. Жду ответа с нетерпением». Об этом письме и его последствиях подробнее см.: История и поэзия. С. 348—349.

[5] Тоске (*нем.*).

[6] Иванов отвечал Гревсу 24 февраля/8 марта 1895: «Извините столь замедленный ответ: я переехал с Микели на другую квартиру, и потому Ваше открытое письмо не было доставлено мне своевременно. <...> Я еще в Риме, как видите, но уже, как Вы правильно предполагаете, "на выезде". *Самый поздний срок* моего пребывания здесь — 15-ое марта (н. ст.) <...> Оставаться дольше здесь по многим причинам мне неудобно; да и семья уже давно заждалась меня во Флоренции» (История и поэзия. С. 134). Ср. также другие письма из этой переписки (С. 134—138).

## 32. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*25 февраля / 9 марта 1895. Рим*

Etes vous encore a Nervi
Ivanov[1]

Телеграмма. Флорентийский штемпель — 9/3 1895.

[1] Вы еще в Нерви? Иванов (*фр.*).

## 33. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*28 февраля / 11 марта 1895. Рим*

Resterai Rome si vous venez immediatement inventez pretexte retour Nervi telegraphiez decision[1].

Телеграмма. Флорентийский штемпель — 11/3 1895. В переводе — История и поэзия. С. 138.

[1] Останусь <в> Риме если Вы приедете немедленно придумайте предлог <для> возвращения <в> Нерви телеграфируйте решение (*фр.*). В тексте телеграммы вместо «pretexte» напечатано «preteyte».

## 34. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*28 февраля / 11 марта 1895. Флоренция*

J'arrive aujourd'hui minuit[1]

Телеграмма. Штемпель — 11 март 95. Перевод — История и поэзия. С. 138.
[1] Приезжаю сегодня в полночь (*фр.*).

## 35. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*3/15 марта 1895. Флоренция*

*15 Марта 95 г.*

Вячеслав мой, прошло всего 7 часов с тех пор, как мы говорили «уста в уста», и приходится вновь прибегать к этим односторонним жалким письмам. Перо плохо покоряется моим пальцам, и мысль неясна. Дорогой, я почти не чувствовала вчерашних терзаний, слишком ясна для меня фатальность происшедшего. Да, я могла избегнуть его смертию, и я знаю, что не из трусости не прибегаю к этому и теперь, хотя жадно мечтаю об этом. Понимаешь, положить жаровню, полную углей, закрыть дверь и лечь. О какое блаженство, сравнимое разве только с нашим трехдневным браком. Но мать моя потеряла 5-х детей и мужа, и я не могу подумать о ней над гробом второго самоубийцы из своей семьи. Когда я подъезжала к Флоренции — Тоскана была так обворожительно хороша, и еще раз воспрянул во мне художник, и мораль отступила перед широким и смелым взмахом гордого и прекрасного счастия вне узких границах <так!> узкой рамки «добра и зла». О постыдная двойственность, борьба художника и моралиста, пожирающая пламенем кровавым мое существо. Дома встретила убитых и похудевших девушек. У Кости был припадок крупа, от кот<орого> едва спасли горячие пары. Сначала всё было невыносимо напряженно, как воздух перед грозою. Все мои слова выслушали молча, с грустной резигнацией. Потом дикая вспышка горя, начатая Анютою и захватившая нас всех. Она схватила на руки Костю и, рыдая, стонала: «Никто, никто не может любить этих детей...»

Они думали, что я вовсе не вернусь, и перестрадали ужасно много. Они смотрят на мое измученное лице <так!> и убитые гла-

за и стонут от ужаса и жалости. Я сказала им всё положение дела, ясно и определенно, не отрицая даже Римскую истину, но твердо высказывая намерение прекратить дальнейшее развитие нашего счастия и ставя лишь это отречение оправданием перед твоею женою. В начале сцены на мой вопрос: «Анюта, ты веришь, что я честна?» — она ответила: «Не знаю».

Вячеслав, это сомнение во мне наполнило мою душу холодным ужасом, и я, рыдая, молила о смерти. Бедные девочки, они стали утешать и ласкать меня, и после общего страстного взрыва горя у всех точно полегчало на душе. О, как они мне дороги, мои верные сестрицы, простые и честные, со строгим *христианским* взглядом на жизнь. О расплывчатость, широта, красота, гордыня нас — *сложных* натур. Я желала бы умереть, и я поняла Песнь <?> детей Каина[1].

Затем мне сообщили девушки, что жена твоя подозрительно отнеслась к моей поездке, была несколько раз, и внимательно расспрашивала, и просила меня скорее прийти к ней, т.к. она очень беспокоится о моей матери! Видишь ли, какой я ей близкий и дорогой друг! Оттяну счастие свидания с нею. О душа моя бедная, она страдает жестоко. Прощай, Вячеслав. Любовь моя к тебе громадна, и в жизни все темно, кроме нее, но как жажду я унести ее с собою в могилу.

Твоя Лидия

Пиши на мой адрес, и если не очень стремишься к перу, пиши реже. Представь себе, что под всей этой тяжестью страданий таится ощущение глубокого, сияющего, лучезарного, безграничного счастия, и я страдаю больше всего оттого, что это счастие нельзя тотчас же безотлагательно унести с собою в могилу и не влачить длинную жизнь за собою, как цепи навек осужденного каторжного.

Мой Вячеслав, сердце чует, что и ты страдаешь. Друг мой, если любовь моя в силах помочь тебе, ты знаешь, что я твоя каждым атомом существа. Я буду работать и писать.

Адрес на конверте написан с ошибкой, с добавлением прежнего указания «presso Micheli». Штемпели: Firenze 15.3.95 — Roma 16.3.95.

[1] Ср. стихотворение Иванова «Песнь потомков Каиновых» (I, 522—523), вошедшее в «Кормчие звезды». Не исключено, однако, что может иметься в виду стихотворение Ш. Бодлера «Авель и Каин», где словосочетание «Дети Каина» («Race de Caïn») повторяется неоднократно.

## 36. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*4/16 марта 1895. Флоренция*

*Телеграмма 16 марта 95*

Ti bacio come t'amo stai beato come io — Lidia[1]

Телеграмма. Штемпель 16 Мар. 95.
[1] Целую тебя как тебя люблю, будь блажен, как я. — Лидия (*ит.*).

## 37. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*4/16 марта 1895. Рим*

*Рим, 16/4 Марта 95.*

Золотое счастие... вот мое единственное чувство, вот мое миросозерцание, вот форма моего поклонения тебе! Я не хочу и не знаю счастия розового, как женственная любовь, как лепестки нежных роз, или лазурного, как глаза детей, как невинная синева неба; или белого и незапятнанно-чистого, как святые лилии: мое счастие, горделивое, горячее, лучезарное, золотится, как солнце, как твой локон, Лидия, моя златокудрая Венера!..

А ты — страдаешь, сказало мне твое письмо...[1] И мне стало больно, и я подумал: неужели всегда привилегия мущин — уходить осчастливленными из объятий женщины, и роковой удел женщин — уносить из объятий мущины только зачатки физических и нравственных страданий?.. И мне показалось, что все тебя обманули — и судьба, и надежда, и твоя милостивая богиня, простершая тебе руку, и я, желавший не только взять у тебя счастие, но и дать счастие тебе... О, как пожелал я, чтобы ты была такой же безнравственной, как я, — потому что я, так много говоривший тебе о нравственности (из гордости, Лидия, чувствовать себя высоким), не ощутил до сих пор ни одного содрогания совести при мысли о совершенной вине, бесконечно бóльшей, нежели твоя, но проникнут полусознательной, полуинстинктивной и, быть может, лицемерной и лживой «гордыней» веры в «*я*», которая мне говорит: ты прав как личность, и в сравнении с этим правом все права, предъявляемые на тебя, на твою личность, — только полуправá... И как ревновал я, читая в твоем письме, что ты обнаружила при своих девушках те бурные порывы раскаяния и отчаяния, свидетелем которых был, должен был быть я один... но

я понял вместе, как тяжело тебе скрываться от них, как сильна твоя потребность открыть им душу, — и не обвинил тебя, хотя все же пожалел, что ты нравственно подчиняешься им, носительницам неподходящего для нас — дурны ли или хороши мы, — не понимающего нас и даже не «христианского» вовсе, а «только простого и нравственно здорового миросозерцания»...

И вдруг получаю сегодня твою телеграмму[2] — золотые письмена моего золотого счастия, и безумно лобзаю каждое слово, и мне кажется, что обмениваюсь с тобой самыми страстными, самыми блаженными из наших лобзаний. И потом колеблюсь: не участие ли это? не ложь ли это любви? не бессознательное ли притворство женщины, желающей осчастливить своего любовника? Beato come *io*... Нет, если ты любишь, ты должна быть beata, Лидия... Ti bacio come t'amo... Здесь сомневаться уже не в чем... Милая, кто научил тебя этой поэзии слов и звуков, какой гений, если не гений любви, помог тебе сделать одну строчку твоей телеграммы целой поэмой любви? и откуда у тебя это искусство заставлять вибрировать все струны моей души с особенным, никогда не испытанным мною дотоле блаженством?

Сегодня я заходил в два магазина для покупки тебе кольца; его нужно заказать, и здесь только я припомнил, что не снял мерки с твоего пальца. Пришли мне ее, моя возлюбленная, и обозначь также широту кольца, как ты хочешь его иметь, и напиши вот что: должно ли оно быть матовым или нет и хороша ли предполагаемая мною надпись: «Roma 12—15 Marzo 1895»[3], — и вообще что́ найдешь нужным определить точнее относительно кольца. Заказывать его — для меня блаженство. —

Думаю о тебе беспрерывно, и беспрерывно ты сладостно и страстно волнуешь меня. Я опять бесконечно желаю тебя, и, кажется, скоро начну мучиться этим желанием... Нет, призна́юсь, что мучусь уже и теперь... О, как хочу я снова держать тебя, стройную, гибкую, страстную, в своих объятиях... Ti bacio come t'amo... ты чувствуешь, Лидия?..

Твой «гадкий», «хороший» Вячеслав

M-lle Ефрон[4], к стыду и вместе удовольствию своему, я уже вчера не застал: она уехала, одновременно с тобой, в Неаполь.

Почему должен я писать «реже», после того как ты все разболтала своим «христианским» юным Эвменидам?[5] Пожалуйста, только не карай меня своим молчанием.

Коварная Кьяра[6] вздумала сегодня смутить меня просьбой рассказать поподробнее о своей «экскурсии»; но я тотчас сдержал ее сухою краткостью ответа. —

Сегодня, в день моих именин, как 28/16 Февр<аля>, в день моего рождения, Колизей иллюминуют: разве это не указывает на торжество нашей любви?

Не забывай сообщать мне, что будут петь твои Эвмениды...

Целую тебя... В.

[1] Имеется в виду п. 35.

[2] Речь идет о п. 36. Далее Иванов отсылает к ее тексту, варьируя род: beato — мужской, beata — женский.

[3] «Рим 12—15 марта 1895» (*ит.*). Об этом кольце см. также пп. 38, 41, 45 и др.

[4] О ком идет речь, нам неизвестно.

[5] Эвмениды, или Эринии, — богини мести в древнегреческой мифологии.

[6] Неизвестное нам лицо. Об «экскурсии» Иванова по Кампанье см. п. 40. Не исключено, однако, что здесь идет речь об эпизоде, рассказанном О. Дешарт: после уединения с Л.Д. Иванов возвращался домой, и хозяйка комнаты «по итальянскому обычаю, из простой вежливости <...> спросила, хорошо ли он провел эти дни. Но В.И., смущенный, нашел нужным что-то объяснять: "Да, было очень интересно; мы изучали древние памятники Витербо"» (I, 23).

## 38. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*4—5/16—17 марта 1895. Флоренция*

*16/4 М.*

Мой возлюбленный, я пишу тебе, потому что я ликую, а ликую — потому что люблю и любима. Я счастлива, как все серафимы и херувимы никогда не бывали. Счастие снопами света вырывается из души моей и освещает мир вокруг, и всё блещет и сияет. Когда я иду, ноги несут меня легким неземным шагом, точно еле касаясь камней, когда я пою, голос вырывается полными торжествующими звуками и несется, точно весь мир должен знать о моем счастии. Всё, все, что во мне, молчит, и говорит лишь блаженство и восторг. Beata, beata! вот единственное слово, выражающее мое состояние, и ради этого слова я не решилась послать телеграмму на ином языке[1]. Ты не сердит за посвящение двух <1 нрзб> телеграфистов в тайну твоей именинной депеши? Я не могла отказаться от счастия сообщить тебе сегодня же эти несколько слов, в которых сказано столько. Да, всё, всё молчит, и говорит, кричит в упоении и восторге лишь мое счастие, мое счастие. Принадлежать тебе, быть твоею, это должна я была, и теперь

я твоя, и я блаженна навсегда. О солнце, как оно светит ярко, как прекрасна Флоренция, как сияют горы, как искрится Арно, это не блестки, это лучи, снопы счастия. Я твоя, мой возлюбленный, mio amante, mon maître et mon amant[2], я твоя.

17 Марта. Получила твое письмо[3]. Ты видишь, как в унисон бьются наши сердца. Вячеслав, прежде всего хочется мне уверить тебя, что ты напрасно ревнуешь меня к девушкам. Никакого раскаянья я им не показывала, а плакали мы все вместе над судьбою, которая запутывает нашу судьбу в неразрывные узлы. Ни разу не сказала я, что жалею о своем поступке. Я сказала: «Мне оставалось или ехать, или убить себя», и Дуня воскликнула: «Слава Богу, что Вы поехали». Вообще с того часа, когда мы объяснялись более слезами, чем словами, у нас воцарился мир и доверчивая любовь, и вообще атмосфера стала гораздо более легкою, чем до поездки. Помни еще, что я много раз повторяла им: «Жизнь сложнее, чем кажется, и я не чувствую за собою вины!» Видишь, Вячеслав, что я не *раскаивалась* при них, как при тебе в последнюю ночь. Вячеслав, только что была твоя жена. Я убеждена, что она почти уверена в истине. Она сидела около получасу, ни разу не спросив о здоровии моей матери и не упоминая о моей поездке. Потом она спрашивала à diverses reprises[4] очень слегка и неожиданно о Nervi, я же отвечала односложно и сухо. Тем не менее она пробыла более часу и только что ушла. Она сообщила мне все ваши переписки с Гревсом, очень изумлялась перемене твоих планов в течение одного дня[5]. Я на всё абсолютно молчала. Если она будет упоминать об этой телеграмме при матери, то она будет иметь случай вполне подтвердить свои сомнения. Вячеслав, я видела во сне, что ты привез мне кольце, но оно было велико, и я жалел <так!>, что не дала тебе мерки, посылаю ее. Она же обозначает и ширину. Золото должно быть *не* матовым. Надпись мне очень по сердцу.

Вячеслав, прошу тебя не покупать ручки, т.к. я почти уверена, что мне привезет таковую мать. А купи мне еще лучший вид колизея <так!>. Ты говоришь, что есть хорошие. Я хочу иметь его от тебя и в честь нашего венчания в нем. А ручка для пера не нравится мне. Я в России повешу оба вида колизея над своею постелью. Вячеслав, глаза мои блестят опять, и я вновь пою, как птица, вырвавшаяся на волю, на широкий простор, и девушки радостно смотрят на меня, и я чувствую их симпатию. Даже письмо твое передала Анюта ласково, и когда я обняла ее, она, плача, спросила: «Вы не обижаетесь на меня?» Милый мой, твои поце-

луи еще горят на мне. Еще какая-то темная усталость радостно волнует кровь и зажигает взгляд, и сегодня, когда я мыла плечи, то увидала те знаки, которые еще надолго будут памятью твоей, и я вновь ощутила и боль и сладость. Да, Вячеслав, молчит и моя совесть. Не могу я иначе. Эта любовь сравнима лишь со стихией неудержимой и властной. Мой поэт, я хочу, чтобы ты, как розами, осыпал меня своими стихами, какой дар может быть драгоценнее этого для меня? О если бы мы могли любить друг друга, сколько нег и ласк имела бы я еще для тебя, как сумела бы зажигать в тебе и кровь, и мысль, и талант.

Твоя вся

Лидия.

Фрагмент — История и поэзия. С. 138. Конверт с флорентийским штемпелем 17.3.95, римский штемпель неразборчив. Рукой Иванова на конверте написано: 16/4 марта 1895.

[1] Речь идет о п. 36.

[2] Мой возлюбленный (*ит.*), мой господин и мой возлюбленный (*фр.*). Отметим, что французское maître может быть также переведено как «учитель».

[3] П. 37.

[4] Неоднократно (*фр.*).

[5] См. п. 31, прим. 6.

## 39. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*5/17 марта 1895. Рим*

*17 Марта.*

Как ни боюсь частыми письмами еще более восстановить против себя твоих Эриний (прошу это «боюсь» принимать иронически), твоих юных Эриний[1], говорю я, страх перед которыми заставляет тебя — о позор! — просить любимого человека писать тебе *реже* — и это после того, как ты только что вырвалась из его объятий, — тем не менее снова пишу тебе, потому что хочу упрекать, хочу обличать тебя в слабости, в измене, в непростительной двойственности. Ты меня обманула вчера, Лидия, ты не beata[1], — иначе ты не оставила бы меня сегодня без письма; ибо я понимаю, почему ты не нашла в себе сил написать мне: писать тебе было нечего, потому что твоя душа поделена между мною и тем, что́ в среде твоей семьи представляется тебе долгом, потому что писать мне ты могла бы только неискренно. Ты теперь играешь роль кающейся Магдалины под ферулой твоего тиранического <так!>

духовника. Какая возмутительная сцена: ты спрашиваешь ее, верит ли она в твою честность, она отвечает «не знаю», — и это «сомнение» наполняет твою душу «холодным ужасом», и ты, рыдая, молишь о смерти...[2] Какое унижение тебя, меня, нашей любви! Какая измена мне! Кающаяся Гретхен клялась только пред Богом и не профанировала своего чувства, осуждая его пред людьми[3]. Как не стыдно тебе предпочесть нравственному авторитету твоего возлюбленного, который один тебя знает и понимает, который не может и не хочет пользоваться твоей любовью, если он не пользуется твоим доверием, — авторитет девушки, созданной как бы из другого материала, чем ты, лишенной тех органов внутренней жизни, которыми одарена ты, твердой теми унаследованными понятиями и нравственными устоями, которые раз навсегда не существуют для тебя, прежде же всего умеющей господствовать своей простой и грубой, но [как бы] физически крепкой и властной непосредственностью над твоей тонкой, вибрирующей, разделенной между противоречивыми и равно [вы<сокими>] прекрасными идеалами душой. Лидия, я не хочу нравственно уступать тебя этим чуждым влияниям, я не хочу делиться тобой, я глубоко оскорблен твоей изменой нашей тайне, твоим бегством к моим врагам... Ты дошла даже до того, что почти обязалась *им* «прекратить дальнейшее развитие нашего счастия». Это недостойно, это измена. Тебе должно выбирать между мной и твоими друзьями...

Я надеюсь, что теперь, после двух предыдущих моих писем, твое «сердце» не «чует» более, что и я страдаю... Я хочу сказать — тем же страданием, каким страдаешь ты, восклицая совершенно непривычным для меня «народным» тоном кающейся грешницы: «о душа моя бедная!...» Страдаю я, Лидия, — ибо я более не счастлив, — от другой причины: от бессильной злобы горького сознания, что тайна наша положена тобою в чужие грубые и недостойные ее руки (да, недостойные, потому что любви нашей твои подруги никогда не поймут), что этим ты сдалась нравственно, осудила в собственных глазах и пред лицом чужих себя и меня, прокляла пред собой и пред ними нашу любовь, подставила навсегда голову под позорное иго их нравственной оценки — их прощения или презрения... Довольно; повторяю одно, что если любовь наша должна продолжаться, тебе придется выбирать между нею и твоей народолюбивой дружбой к твоим меньшим, но в сущности господствующим над тобой «сестрицам»...

Потом ты пишешь о «длинной жизни», которую должна «влачить как цепи навек осужденного каторжного»[4]... Клянусь тебе, Лидия, что, если бы я предвидел это слабодушие, я с ужасом отшатнулся бы от твоей любви...

О, зачем я верил тебе, что моя любовь может сделать тебя счастливой! —

Вячеслав

Содержание этого письма сохрани в тайне (теперь эта приписка стала уже не излишней), как потому что и я не хотел бы оскорблять твоих честных и добрых девушек, так, в особенности, потому, что они не должны знать о значении, которое можно придавать их нравственному влиянию.

В.

Конверт: Roma Ferrovia 17.3.95 — Firenze.18.3.95.

[1] Речь идет о «девушках» Зиновьевой-Аннибал. См. п. 37, прим. 5.

[2] См. п. 38.

[3] По-видимому, имеется в виду сцена «Zwinger», в которой Гретхен находится в церкви, где просит милости перед иконой Mater dolorosa (Гёте, «Фауст», строки 3587—3619).

[4] Имеется в виду п. 35.

## 40. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*5/17 марта 1895. Рим*

*17 Марта, 7 часов.*

Моя Лидия, mio amore[1], прости мне жестокие мои укоры. Я раскаиваюсь, что отослал тебе, несколько часов тому назад, то гневное, ревнивое письмо. Знай, что я люблю тебя безмерно, что я мучусь безумием любви страстной, неудержимой, пламенной — и счастлив этим безумием. Наш трехдневный брак не утишил, не успокоил мою страсть: она разгорается и пожирает меня. — Я только что вернулся из загородной прогулки; я видел Тибр и Кампанью, дивные переливы красок, весеннюю природу и золотой закат — Лидия, ни одного мгновения не прошло без того, чтобы твой образ не волновал меня то нежно, то грустно, то сладострастно. Все эти несколько часов были для меня непрерывным *богослужением* тебе, тебе одной[2]. Как я страдал[3] от нашей разлуки, как жаждал иметь тебя с собой, как призывал тебя, как тебе молился! Я не могу жить без тебя. Вот все, что я хотел тебе сказать.

Не мучься же моим письмом, прости мой гнев, но прими к сердцу мою основную мысль. Ti bacio[4].

Твой *гадкий* В.

Конверт с неразборчивым римским штемпелем. Флорентийский — 18.3.95.

[1] Моя любовь (*um.*).

[2] Слова «Все эти несколько часов были для меня непрерывным богослужением тебе, тебе одной» подчеркнуты карандашом Л.Д.

[3] Здесь в автографе заканчивается первая страница письма; внизу страницы приписка рукой Л.Д.: «Какое жалкое, посрамленное божество перечитывает эти лживые в своей искренности строки». Начало написано карандашом, а слова «в своей искренности строки» дописаны черными чернилами. Приписка относится к более позднему времени. См. п. 27, прим. 3.

[4] Целую тебя (*um.*).

## 41. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *7/19 марта 1895. Рим*

*19/7 Марта.*

Лидия, amor mio[1], как я жажду опять ласкать тебя — вакхически, безумно, ненасытно, — в муке нег и в пире стонов...[2] Твой образ преследует, раздражает, мучит меня своей негой. Пощади, довольно... Ты уже сделала меня другим человеком. Ты зажгла надо мной новые неведомые звезды; на моем пути ты вырастила новые невиданные цветы. Своими поцелуями ты расплавила во мне мою старую веру, и на месте ее я ощутил в сердце иную, более правдивую. Ты развенчала меня, чтобы сплести мне другие венки, свежие, душистые. Твоя любовь могущественно потрясла мое сердце, и я чувствую, что из него бьет неведомый мне самому источник лиризма. Песни звучат в моих ушах, не все улавливает мысль, еще меньшею частью овладевает перо, но все славят тебя, и моя внутренняя жизнь — непрерывное богослужение пред твоим идолом.

---

Ты заслуженно и побранила меня, и посмеялась надо мной; но, Лидия, я все же ревную... Теперь, кроме того, и к Rasi[3]... Пожалуйста, не смейся. Это более серьезно <так!>, чем ты думаешь. Это первые прелести кулис. Что же будет потом?.. Ради меня, Лидия, не позволяй ему эротических вольностей!

---

Мне очень неприятно, что одно письмо мое не дошло: именно, самое первое, написанное в день твоего отъезда и которое ты должна была получить в субботу, 16-го. Всего я послал тебе четыре письма; пишу пятое[4].

---

1-ое Апреля будет уже очень скоро, работы у меня еще масса, и это печально, потому что не позволяет мне писать задуманный цикл песен, Liederkranz[5], под общим заглавием «Новая весна» (neue Zeiten, neue Lieder[6]), — обращики <так!> которых ты во всяком случае получишь.

---

Колизей я тебе куплю, как ты хочешь, и, если не запрещаешь, пришлю тебе по почте. Сегодня напрасно ходил заказывать твое колечко, потому что магазины были заперты. Не слишком ли оно будет узко? Впрочем, буду строго следовать твоим указаниям.

---

Мысль, что ты была моя, всякий раз наполняет меня неизмеримым стихийным счастием. О, воля, воля!.. Древние говорили, что кто раз в жизни видел Фидиева Зевса[7], тот уже никогда не будет совершенно несчастен. Быть может, и мы, какова бы ни была дальнейшая судьба нашей любви, никогда [уже] более не решимся назвать ее несчастной... Но не смею утверждать этого: уже и теперь разлука говорит о себе слишком настойчиво, а будущее покрыто тучами... О нем, о будущем, я не думаю, как и ты: еще нельзя ничего предвидеть и придумать... Итак, ты не Магдалина, Лидия? и я не могу представлять тебя в мыслях «в виде окутанной распущенными власами Людмилы»?..[8] Ты разрушаешь один из прекраснейших образов, созданных моим воображением... О, если бы ты была со мной — «как бы я обнял тебя!»[9] —

В.

Голос у тебя опять явился, и даже стал лучше, «мягче»? Да будут благословенны Эрот и Венера.

«Новая Весна»[10]

*Золотое счастие.*

Я блуждал в саду блаженных
И, влюбленных дев увидя:
«С чем сравнимо ваше счастье?» —

Их спросил; они ж, потупясь:
«С лепестками нежной розы».

Я спросил детей счастливых:
«С чем сравнимо ваше счастье?»
И, невинны вскинув очи,
Дети молвили: «С небесной
Безмятежною лазурью».

Вопросил я светлых духов:
«С чем сравнимо ваше счастье,
Непорочные, святые?»
Возлетая, пели духи:
«С белизною горних лилий»...

И, склонясь с участьем, Муза:
«Друг, и ты в саду блаженных?
С чем твое сравнимо счастье:
С алой розой, иль лилеей,
Иль безоблачной лазурью?»

Я ж ответствовал: «Не схоже
Мое счастье с небом ясным,
С алой, женственною розой,
С непорочною лилеей:
Мое счастье — золотое.

Горячо и горделиво
В сердце блещет солнце счастья,
Мещет вкруг лучи златые,
Как власы златой Венеры,
Как моей подруги локон»...

Улыбнулась нежно Муза:
«Дважды ты блажен и трижды,
Как блажен лишь Феб единый,
Лучезарный и влюбленный,
Строя лиру золотую...»

«Новая Весна»

*Испытание.*

«Что блаженней: наслаждений
Преступать порог начальный,

Иль, смирив алканье страсти,
Утомленною стопою
Попирать порог прощальный?

Что блаженней: в милых взорах
Жарких нег читать призывы —
Или видеть очи милой,
Утомленные тобою,
Без огня и без желаний?..»

Так Эрот, мой искуситель,
Испытал меня коварно,
Осчастливленного милой;
Я ж, подругой умудренный,
Избежал сетей лукавых:

«Вожделенней, сын Киприды,
В утомленных взорах милой,
Без огня и без желаний,
Возжигать лобзаньем новым
Новой страсти томный пламень...

Преступив порог исходный,
Вожделенней возвращаться
К наслажденьям обновленным...»
И, смеясь, Эрот воскликнул:
«Друг, вернись: ты их достоин!»

Фрагмент — История и поэзия. С. 349. Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 19.3.95 — Firenze. 20.3.95.

[1] Моя любовь (*ит.*).

[2] «В муке нег и в пире стонов» — цитата из стихотворения Иванова «Тризна Диониса» (I, 572).

[3] Письмо, на которое отвечает Иванов, нам неизвестно, и сказать, о ком идет речь, не представляется возможным.

[4] Письмо, о котором говорит В.И., утеряно. Судя по штемпелям на конвертах, письма из Рима во Флоренцию доходили за один день, следовательно, утерянное письмо было написано 15 марта. Приезд Л.Д. случился, по-видимому, после 11 марта.

[5] Венок песен (*нем.*). Так называется известный цикл песен Р. Шумана.

[6] Новые времена, новые песни (*нем.*). Вероятно, цитата из эпилога поэмы Г. Гейне «Атта Тролль» (1843): «Andre Zeiten, andre Vögel! / Andre Vögel, andre Lieder» («Другие времена, другие птицы / Другие птицы, другие песни»).

[7] Имеется в виду статуя Зевса в храме Зевса в Олимпии работы греческого скульптора Фидия (V в. до н.э.), считавшаяся одним из семи чудес света. Уничтожена пожаром в V в. н.э.

[8] «Власы, небрежно распущенны» — строка из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», однако относится она не к Людмиле, а к любовнице Ратмира (песнь пятая).

[9] Перефразировка слов из стихотворения А.С. Пушкина «Художнику» (1836). В оригинале: «Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!»

[10] Стихотворения написаны на отдельных листах (первый из них порван) и, возможно, были присланы не в этом письме, а в каком-либо другом (обратим внимание, что Иванов только обещает в будущем прислать стихи этого цикла). Л.Д. откликается на их получение в п. 49. В значительно измененных редакциях вошли в книгу «Прозрачность» (I, 763—766). Первое — вне цикла, второе — как второе в цикле «Песни Дафниса». «Новая весна» («Neue Frühling») — название первой части «Новых стихотворений» (1844) Г. Гейне.

## 42. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*8/20 марта 1895. Флоренция*

*20 Марта 95 г.*

Amante geloso[1]! успокоить разве тебя. Только что рассердила Rasi своим пением любовного дуэта до того, что он воскликнул*: «Lei, non sa dove sta di casa l'amore. Non sa ne anche il suo indirizzo! Quando lo saprà, viene cantare»[2]. Зато и пела же и играла я la scena del guidizio в «Аиде»[3]. Я забыла и Rasi, и театр, и весь мир, и осталась в истом отчаянии, т<ак> что Rasi пришел в восторг. О да, я артистка, Вячеслав, каждый нерв вибрирует от этих мрачных, безысходно горьких аккордов отчаяния и проклятия. О, как я понимаю эти исступленные мольбы, ежеминутно переходящие в дикие проклятия. Эта могучая страсть любви на пороге смерти, любви, породившей преступление. Io so dove sta di casa la passione! Sí signore![4] Но я не голубка, и «Фаворитка»[5] — ce n'est pas mon <sic!> affaire![6]

Теперь, ревнивец, ревнуй меня к искусству! Ты видишь, как я начинаю любовное письмо? с артистических восторгов. Милый, о милый! Я была больна вчера и сегодня. Мое сердце так долго болело, что когда боль прекратилась, я вдруг оказалась au bout de mes forces[7]. Такая прострация сил, что мне даже страшно стало. Но сегодня, как видишь, я сильнее. Пролежала в постеле <так!> до часу дня. В постели, т.е. на моей кушетке, в моей прелестной, как храм красоты, комнате я получила твое письмо, мой возлюбленный. Перечитав его вволю, я прижала его к груди над сердцем, на то место, которое ты любил целовать, и я точно почувствовала

* В оригинале описка: воскликнил.

тебя во всем существе моем. Какие странные, новые, полные, гармоничные впечатления заставляешь ты меня испытывать. О милый, e pure[8], сегодня ночью я пережила тяжелое нравственное потрясение, выдвинувшее опять всю двойственность моего существа. Я видела сон, страшный кошмар, в котором я умоляю привидение ответить мне на вопрос о загробной жизни. Я проснулась вся холодная, и ночная тишина и темнота наполняли меня трепетом, и я дрожала, как преступница, т.к. я ясно, мучительно сознавала себя в грехе и о, мой возлюбленный, как я страдала от греха. Но утро пришло, и разум заговорил, и я опять вернулась к тебе, и я вновь стала твоею. О, Вячеслав, как хочу я говорить с тобою. Я твоя, я не могу, я не должна быть иною. Вячеслав, я верю в святость нашей любви, но Магдалина просыпается и... я страдаю.

Должна кончать скорее. Хотела писать много, но нельзя.

Твоя вся

Лидия.

Конверт со штемпелем: Firenze. 20.3.95. Римский штемпель неразборчив.

[1] Ревнивый возлюбленный (*ит.*).

[2] Вы не знаете, где живет любовь. Даже не знаете ее адреса. Когда узнаете, приходите петь (*ит.*).

[3] Сцену суда (*ит.*). «Аида» — опера Дж. Верди (1871).

[4] Я знаю, где живет страсть. Да, сударь! (*ит.*)

[5] «Фаворитка» — опера Г. Доницетти (1840).

[6] Это не мое дело (*фр.*). Поскольку слово affaire женского рода, у Зиновьевой-Аннибал неверное согласование.

[7] Силам моим приходит конец (*фр.*), буквально: при иссякании сил.

[8] И все же (*ит.*).

## 43. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*9/21 марта 1895. Флоренция*

*21 Марта 95 г.*

Вячеслав, ночь прошла. Я была с тобою беспрерывно, но от такого сна не отдыхаешь. Милый, сегодня пришла твоя картина[1]. Какая красота! Какое страдание для меня прятать ее в ящик, а не заказать для нее прекрасную рамку и не повесить, как святыню, над постелью своею, чтобы, засыпая и просыпаясь, смотреть на нее. Как грандиозен наш венчальный храм, как великолепно всё кругом него и как идеально хороша фотография. Какое счастие

горячее ты доставил мне этою картиною. О как желала бы я повесить ее! Мой возлюбленный, как выразить тебе всю ласку, которою полна душа моя к тебе? Ты помнишь наш поцелуй в Колизее <так!>? Как чуден был тот вечер, который мы встретили в нем вдвоем в нашей мрачной нише. Но наш мрачный храм не уменьшал восторга нашей любви. Ты помнишь ужин после вечера в коллизее <так!>? Ты помнишь, ты помнишь всё, всё, что было и чего не будет? Милый, милый. О, как хороша моя комната, когда увидишь ее ты? Милый, мы теперь оба должны работать изза всех сил <так!>, но как упоительна была бы эта работа, если бы мы знали, что в конце ее ожидает нас Fiesole[2], и затем новый труд и новый вдохновенный отдых. Ты понимаешь меня, мой возлюбленный? И еще, и еще я была бы твоею где-нибудь вдали от глаз людских, там, где, как в Риме, нет ни времени, ни пространства. И сколько времени была я в Риме? сколько времени длились наши лобзания? разве мы знаем? Разве это можно измерить? Могучего, необычайного, прекрасного, таинственного, жгучего хочу я. И да счастие лучезарное и ослепительное ко мне, я вынесу блеск твой, не потупив взора, я гордо снесу твое иго, подавляющее, безграничное, золотое счастие[3]. Да, Вячеслав, я видала Зевса Фидия[4] и я никогда не скажу, что не знала счастия, но еще хочу я, еще...

Обнимаю тебя, целую тебя, обжигаю тебя, и бессильного, побежденного к ногам моим бросаю тебя, чтобы затем принять тебя в свои объятия и, покоренная тобою, прошептать: раба твоя.

Лидия.

Еще вскрыла письмо, чтобы сказать тебе: мне страшно жизни. Я без тебя не могу жить. О, тверд ли ты? Тверд ли ты? Могу ли я опереться о тебя? Мне страшно. Я почти хочу смерти. Но жизнь так прекрасна. Я хочу, чтобы она искрилась и горела.

Конверт со штемпелями: Firenze 21.3.95 — Roma 22.3.95. Рукой Иванова на конверте написано: 20 и 21 марта 1895.

[1] Имеется в виду гравюра с изображением Колизея.

[2] Небольшой городок на холмах над Флоренцией. Вероятно, Иванов и Зиновьева-Аннибал были там во время совместного флорентийского пребывания.

[3] Видимо, отсылка к названию стихотворения, присланного Ивановым (см. п. 41).

[4] См. п. 41.

## 44. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*10/22 марта 1895. Рим*

*22 Марта, 5 час.*

Лидия, моя возлюбленная! Вчера приехал Гревс[1] и до сих пор так владел моим временем, что я едва имел возможность пробежать твои письма и едва нашел теперь удобную минуту написать тебе. Я его сильно люблю и глубоко уважаю, я говорю с ним по душе, избегая, конечно, сообщений фактического характера, говорил ему между прочим, что твоя личность мне очень нравится и что мы большие друзья с тобой, — но, Лидия, глядеть на него мне не стыдно, я не чувствую себя виноватым пред его нравственным трибуналом, как не чувствую себя виноватым вообще. Я не хочу сказать, что на мне нет вины, но говорю, что во мне нет чувства этой вины. Еще точнее: во мне нет вообще чувства добра и зла, а есть только одно фатальное сознание своего однажды навсегда данного *я*, которое, я знаю, приведет меня в жизни еще ко многому хорошему и ко многому дурному, но всегда так, что я буду в каждом своем решении и поступке, мысли и слове, так же как до сих пор, чувствовать его фатальную необходимость, его роковую обусловленность[2] законами моей личности. Эти два дня Гревс отвлекает меня от работы (я предупреждаю тебя, что, быть может, опоздаю на несколько дней, — ты не сердишься, моя дорогая?) и в особенности от того лирического настроения, о котором я тебе писал: прощай, Муза, прощайте, сладкие мечты о моей Лидии...

Вчерашнее письмо твое и отчасти нынешнее[3] произвели на меня впечатление жуткого беспокойства, страха и боли за тебя. Когда ты пишешь о своих нравственных мучениях, я испытываю чувство подобное чувству Фауста, входящего в тюрьму Гретхен. Тогда я с ужасом спрашиваю себя: «что́, что́ ты сделал *с ней*?»[4] Перед тобой боюсь я вины, Лидия, перед тобой не хочу быть виновным. За тебя я содрогаюсь и умоляю тебя позаботиться о себе, о своем здоровьи, ради меня, ради нашей любви. Лидия, с тобой связано мое счастье, будь жива, будь здорова, будь счастлива![5] Жена пишет мне также о твоем нездоровьи, слабости, предполагает в тебе анемию. Моя возлюбленная, лечись, покажись врачу для меня, и напиши мне, что он скажет, чтобы я не мучился, как

мучусь теперь мыслью о том, что ты гибнешь. И потом, Лидия, доверяй мне, верь мне[6], что ты не должна обращать к себе этих страшных укоров. Моя любовь, не бойся призраков своей больной фантазии, не бойся и действительной жизни. Еще ты будешь счастлива, еще будем счастливы мы оба. Если бы ты могла измерить мою любовь к тебе и если ты любишь меня сама, ты была бы уже сознанием этой неизмеримой любви моей утешена и защищена от ночи <?> и ее призраков так, как я утешил и защитил бы тебя, если бы был с тобою, своими ласками, своими объятиями. — Прощай, моя Лидия! Писать больше некогда, но знай, что мое сердце бьется с твоим. Я счастлив, что «Колизей» тебе понравился; если сама находишь удобным, повесь его на стену и расскажи всем, что прислал его я. Весь твой В.

Пиши мне, пиши больше; подробнее сообщай мне о своем душевном состоянии и здоровьи.

Рама для Колизея должна, по-моему, быть матовая черная без золота, не правда ли?

Лидия, меня не страшит ни жизнь, ни [совесть] смерть, ни людское мнение, ни собственная совесть. Я чувствую себя самим собою, Лидия, более чем когда бы то ни было, — и я силен и волен. Будь такой же, и ты будешь счастлива... И счастливы будем еще мы оба... Когда и как — не знаю; но верю, что будем... В.[7]

Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 22.3.95 — Firenze. 23.3.95.

[1] О пребывании И.М. Гревса в Риме см.: История и поэзия. С. 128—140, 324—325.

[2] Слова «однажды навсегда данного *я*... его роковую обусловлен-» подчеркнуты карандашом рукой Л.Д. Сверху над подчеркнутым текстом имеется ее приписка, выполненная черными чернилами: «С такою натурою, надо, очевидно, честному человеку избегать вплетать свою судьбу с судьбою другого челов<еческого> существа, чтобы не приводить его после нескольких мгновений счастья к грани отчаяния и неверия». Приписка сделана позже. См. п. 27, прим. 3.

[3] Речь идет о п. 42 и 43.

[4] «Что ты сделал?» («Was hast du getan?») — слова заключенной в тюрьме Гретхен, обращенные к Фаусту, в последней сцене первой части «Фауста» (строка 4515). Слова «с ней» В.И. добавляет.

[5] Слова «будь счастлива» подчеркнуты карандашом рукой Л.Д.

[6] Слова «И потом, Лидия, доверяй мне, верь мне» подчеркнуты карандашом рукой Зиновьевой-Аннибал.

[7] Последние три абзаца представляют собой приписки на последней (первые два) и первой страницах письма.

## 45. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*11—12/23—24 марта 1895. Рим*

*В ночь на 24 Марта.*

Моя Лидия, возлюбленная, сегодня я получил твое колечко. Оно сделано совершенно так, как ты велела. Извести меня, можно ли переслать его к тебе на дом или нет. Привезти его лично во Флоренцию мне было бы менее удобно. — Сегодня я не имел твоего письма; подождал бы завтрашней почты, но боюсь, что не найду завтра свободной минуты, чтобы написать тебе несколько строк. Мое время не принадлежит мне более в той мере, как прежде. — Если бы ты знала, как жажду я тебя увидеть, с каким нетерпением стремлюсь к тебе. — Гревс как будто избегает упоминать о тебе в разговорах со мной: кажется, он почувствовал, что ты значишь для меня что-то особенное. — Мысль о тебе наполняет меня уже не одною сладостью и негой счастия, но, увы, тотчас же и мучительной тревогой. Что́ с тобой, amor mio[1]? Что́ значит этот упадок физических и нравственных сил? Неужели моя любовь, мои поцелуи тебя отравили?.. Лидия, я люблю тебя бесконечно... С беспокойством жду твоего письма, — и кто знает, когда получу его?.. Прощай. О, если бы ты опять лежала в моих объятиях, если бы мне опять дано было пить твою страсть... Твой В.

Небольшие фрагменты — История и поэзия. С. 324, 374.

[1] Моя любовь (*ит.*).

## 46. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*12/24 марта 1895. Флоренция*

*24 Марта 95 г.*

Вячеслав, не писала вчера отчасти потому, что не было времени, хотя, конечно, время создалось бы, если бы было желание. Но его-то и не было. Я вчера сердилась на тебя и надеялась, что сегодня гнев пройдет, но сегодня я сержусь еще больше и потому боюсь дожидаться завтрашнего дня и пишу. Позволь мне, мой возлюбленный, сделать тебе сцену. Как жаль, что только письменно, я очень хотела бы помучать тебя устно.

Неужели ты ничего не предчувствуешь? Впрочем, я буду кратче, т.к. ведь моему милому другу нет времени читать моих писем,

он их только «пробегает». Больше: с тех пор, как приехал неотразимый Ив. Мих.[1], ему даже мечтать о своей подруге не стало можно, он полон иными мыслями. Впрочем, ездить в приятном обществе на целый день в Кампанию времени хватает, да отчего же и не хватить, когда впереди так много дней. Сиди в Риме хоть пол Апреля и наслаждайся дружбою, наукою, приятным обществом и сияющей весенними переливами Кампанией. Мои планы, впрочем, тоже изменяются: по письмам из России видно, что на будущую зиму мне не пристроиться к порядочному русскому театру[2] и поэтому придется мне после дебюта в Италии не ехать вовсе в Россию, а продолжать выступать и учиться за границею еще на целый год! Итак, впереди год разлуки и для меня год полного одиночества. Когда я подумаю об этом, мне почти немыслимо себе представить себя в подобном положении. Но иного исхода нет, и моя карьера этого требует. Конечно, перед годом разлуки вполне довольно провести вместе недели две, а из третьей и четвертой легко украсть для Гревса и Рима несколько дней. Правда?

Ну, сцена кончилась, мой гнев выдохся, и я любовно беру тебя за обе руки и гляжу тебе в глаза, мой возлюбленный. Конечно, поступай как знаешь. Но пойми, что чем больше любишь, тем более сомневаешься в любви, конечно, не своей.

Милый, я вполне разумна, я серьезно ни в чем тебя не обвиняю, но разве тебя уже не тянет неудержимо ко мне? О мой милый, прости мои сомнения. Я знаю, что ты любишь меня, но я не знаю, насколько перед всеми и всем тебе первая и вообще, насколько я тебе необходима. Недавно еще ты писал: «Я не могу жить без тебя», а теперь ты хочешь отнять несколько дней от нашей близости, а я только и мечтаю, что о тех вечерах, которые благодаря присутствию Гревса сделаются опять возможными. Я буду сидеть в своем уголке на диване, а ты рядом, и мы будем так близко друг к другу. О милый, помнишь ли ужин после колизея и глупого и милого лакея, кот<орый> нам покровительствовал? Или Иван Мих. остудил в тебе не только мечты, но и воспоминания. Помнишь, как кричали: «Tribuna!», и мы со страхом перед *временем* спешили домой в нашу прелестную комнату с розовым светом от занавесок. Какой странный свет, и как он врезался в мою память. Не беспокойся обо мне, мой милый, я была так несчастна со дня твоего отъезда в Рим до минуты нашей встречи на Римском вокзале, что счастие нашего брака было слишком сильно для меня. Но теперь это же счастие, лишившее меня последних сил, теперь оно же и отдает мне их, и отдает с избытком. Мои

кошмары исчезли. Ведь так или иначе мы будем честны, Вячеслав, а нечестность — единственное «гадкое», чего мы не можем перенести без терзаний совести. Я ложусь в постель чуть не с восьми часов, встаю около 10-ти, а днем хожу к детям в Кашине[3], чтобы дышать чистым воздухом, и теперь голова кружится меньше и я чувствую себя бодрее; зато сердце никогда больше не болит, разве только в ожидании твоего письма по утрам. Сегодня твоя жена пришла обедать к нам в Напол.[4] и сказала мне: «Знаете, Гревс приехал в Рим». Я не выдержала и сказала: «Знаю». — «Вы знали раньше?» — «Да!» — перемена разговора. Я не могла. Это вырвалось само собой, а она не спросила, через кого. Милый, приезжай скорее. Милый, я жду. Но я разумна. Если ты *не можешь*, оставайся. Пиши мне хоть два слова. И определи день возвращения, чтобы я могла считать часы.

Твоя Лидия.

Фрагменты — История и поэзия. С. 139, 324, 374. Конверт со штемпелями: Firenze 24.3.95 — Roma 25.3.95. Надпись Иванова: 24 марта 1895.

[1] Гревс.

[2] Нам известно более позднее письмо А.Д. Зиновьева, брата Л.Д., рассказывающее о его попытках разузнать наиболее подробно о перспективах дебюта в какомлибо из российских оперных театров: «Дорогая Лидюша,

Застав и переговорив сегодня с О.О. Палечек, спешу сообщить тебе результат; как *мне* кажется, его советы настолько определенны, что разрешают наиболее существенные вопросы, поставленные тобою. <...>

Твой вопрос 1-ый) возможно ли добиться осенью дебюта через Всеволожского и получить ангажемент на Имп<ераторскую> сцену? — Нет. Это было бы трудно и для знаменитости, т.к. дебюты подготовляются весною, а для начинающей невозможно. Вопрос 2-ой) можно ли добиться в *Июне* ангажемента в провинциальном театре? — Нет, все ангажементы заключены уже осенью. Вопрос 3-ий) Принимают ли здешние итальянцы русских? — Да, очень охотно, как только они могут себя зарекомендовать какими-нибудь предыдущими успехами, в особенности если они *сперва* на плате не настаивают. Вопрос 4) Гибельно ли ангажироваться на незначительной провинциальной или П<етер>б<ург>ской русской сцене? Во всяком случае — крайне нежелательно и невыгодно для будущей карьеры. Вопрос 5-ый) Можно ли изучить русские оперы за границею? Изучить конечно лучше здесь, но об этом не́чего беспокоиться, т.к. *русских* партий для m<ezzo> sopr<ano> весьма мало, почти нет, и за них можно взяться со временем. Вопр. 6) У кого учиться русским операм? Я ответа у Палеч<ека> не просил, т.к. он du métier <Знаток дела — *фр.*>. 7) От кого зависит Московский театр? Конечно, от Всеволожского.

Затем Палечек полагает, что высказанное Направником, в общем, слишком педантично и не во всем справедливо. Дебюты в Италии *далеко не лишены* значения, *наоборот*. Важна именно возможность *указать на дебюты и на успех*. Шарлатанизм итальянцев несомненно существует, но успешные дебюты в Италии тем не менее весьма многозначительны. Что, однако, *всего лучше и вернее* — это проверка себя в Париже, где есть прекрасные профессоры, и серьезные, наприм<ер> ***Bachs*** (за орфог-

рафию не ручаюсь). Как окончательный вывод Палечек говорит, что *на этот год безусловно поздно попадать в Россию и следует петь в Италии, составить себе репутацию, проверить себя в Париже* и т.п.

Общее невыгодное обстоятельство для Имп<ераторской> Русск<ой> Сцены — это mezzo-soprano, которого здесь *много*.

Я думаю, таким образом, что бить на дебюты в России в текущем году не следует; приезжай лучше так, подышать родным воздухом в Копорье, отдохнуть, отгуляться. Для твоей же цели лучше (помимо приезда сюда, т.е. не отказаться и от него) — выработать программу работы во Франции.

*Если желаешь*, я буду ловить еще и Фигнера, но Всеволожского положительно теперь незачем тревожить: он ровно ничего не скажет, ничего не объяснит, ничего не обещает!» (Письмо от 31 марта / 12 апреля 1895 // РГБ. Ф. 109. Карт. 21. Ед. хр. 3. Л. 8—9 об.).

[3] Кашине (Cascine) — парк во Флоренции на берегу Арно. О знаменательной прогулке Зиновьевой-Аннибал с Ивановым в нем см. фрагменты дневника Зиновьевой-Аннибал 1894 года в «Интермедии (I)».

[4] Что имеется в виду, нам неизвестно.

## 47. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *13/25 марта 1895. Флоренция*

*25 Марта 95 г.*

Гадкий возлюбленный, напиши мне скорее, когда вернешься, и не укрощай меня своими нежностями, когда факты доказывают, что никакой нежности у тебя ко мне нет. Шучу, шучу, мой Вячеслав, и доказываю шутку тем, что разрешаю прислать кольце на мой адрес. Видишь, как я компрометирую себя! Дорогой, если ты пришлешь кольце, то ведь я могу его тотчас одеть и этим не скомпрометирую тебя, может же у меня быть amante[1] в России, в Германии, в Америке, словом где-нибудь, только не в Риме. Можно одеть, Вячеслав? Если ты его пришлешь, я одену, если не хочешь, чтобы я одевала — не присылай.

О картине хочу тоже поговорить: милый, я со счастием повесила бы ее, но прошу твоего совета: не будет ли это *жестоко*. Эта радость моя может причинить еще излишние страдания другой. Конечно, Carmen[2] не стала бы так рассуждать и, пожалуй, была бы цельнее и красивее.

Я заказала бы черную рамку и повесила бы над своею атоманкой <так!>, и была бы ею счастлива, но я откажусь по одному твоему слову. Скажешь его, о милый?

Ты знаешь, у меня похорошели глаза, и твоя жена сначала думала, что я их подвожу, пока я не дала ей вблизи рассмотреть

их. Мне так скучно, что ты не можешь смотреть в них. Приезжай скорее, мой поэт, мой Грек, мой любимый! Я жду, люблю... твоя...

Понемногу я поправляюсь. Напиши два слова о всем том, что я прошу, и скажи еще, долго ли предполагает Гревс пробыть здесь. Я желала бы, чтобы долго, т.к. он спасет нас от невыносимого числа трех.

Милый, целую, прижимаясь к тебе, как я люблю, как котенок, ты знаешь. Милый, люблю...

Лидия

Боже, какое счастие испытать любовь, когда умеешь любить; я чувствую и нежность, и покорную мягкость, и тихую женственность, и бурную, клокочущую страсть.

О Вячеслав, как ужасен будет предстоящий мне год в одиночестве, по театрам Италии!

Можно ли, можно ли перенести разлуку, и что после нее?

Конверт со штемпелями: Firenze. 25.3.95 — Roma 26.3.95. Помета Иванова на конверте: 25 марта 1895.

[1] Возлюбленный, любовник (*ит.*).

[2] Героиня оперы Ж. Бизе «Кармен», которую в это время Зиновьева-Аннибал разучивала.

## 48. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*13/25 марта 1895. Рим*

*25 Марта.*

Лидия, возлюбленная, как жаль, что ты делаешь мне сцены письменно, а не устно: тогда бы я мог отвечать на них поцелуями, теперь же я осыпаю поцелуями твои строки, но ты не чувствуешь убедительности моего ответа. — Милая, я отчасти предвидел «сцену», предчувствовал твой гнев, и это помогло мне более стоически перенести твое вчерашнее молчание; но все же неизвестность о том, что́ с тобой, наполняла меня весь день (радуйся, мстительная, злая милая!) — непрестанной, мучительной тревогой... Сегодняшним письмом ты успокоиваешь меня отно-

сительно своего состояния, и жене ты показалась «цветущей»; но факт твоего продолжающегося утомления и склонности к отдыху и сну меня беспокоит. Вообще мое стремление к тебе сделалось каким-то тревожным, моя страсть смешивается со смутною боязнью за тебя. Лидия, если бы ты знала мою любовь, если бы знала силу и муку моей Sehnsucht[1], — то я, вероятно, лишен был бы наслаждения выслушивать твои пленительные упреки. Лидия, моя прекрасная подруга, ничего не желал бы я теперь с такою страстью, как быть подле тебя, глядеть в твои очи, держать твои руки в своих... но... неужели ты разорвешь сейчас же в негодовании этот листок? — я не знаю еще, в который из первых дней Апреля я приеду... Я работаю для тебя, мысль о тебе меня окрыляет, но труд влачится тяжело и медленно. Все же я не боюсь большой задержки. О Лидия, я пользуюсь всякой возможностью работать, но... дружба «неотразима», как и красоты весенней Кампаньи... Прости, что я шучу, и принимай шутку за шутку... Лидия, я люблю тебя, и ты сделала меня счастливым, и ты дала мне возможность найти самого себя. Я постоянно думаю о тебе и лелею в мечтах твой образ, и [всякое мгновение, когда] всякий раз, как мысль моя устремляется к тебе, меня охватывает какое-то вдохновение, я чувствую себя сильным, смелым, гордым, высоким, способным на все благородное, в полном обладании всеми способностями своей души. Я иду ночью рядом с Гревсом, и мы тихо беседуем, и я кажусь одинаково с ним настроенным, но как бы удивился он, если бы заглянул мне в душу. Она бесконечно напряжена, она вся трепещет, она расширяется, как широкое звездное небо, мерцающее над нами, и всецело отражает его в себе; я чувствую себя богом, несущим в себе весь мир с необъятной силой, с необъятным страданием, с необъятным счастием, — и в средоточии моего мира я несу и лелею один милый златокудрый образ... В.

По поводу твоего заявления жене, что ты знаешь о приезде Гревса, замечу, что ничего не имею против того, чтобы жена знала о факте нашей переписки, но что тем не менее ожидаю от тебя сдержанности.

Фрагменты — История и поэзия. С. 324, 349, 374. Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 25.3.95 — Firenze. 26.3.95.

[1] Тоски (*нем.*).

## 49. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*14/26 марта 1895. Флоренция*

*26 Марта 95 г.*

Мой возлюбленный, итак, ты не вернешься в понедельник! Я не понимаю только двух вещей: 1) зачем ты спрашивал меня на вокзале в Риме в то грустное прощальное утро: скажи, когда мне вернуться? 2) к чему ты в Риме говорил, что твоя работа окончена почти и что ты остаешься в Риме лишь для Гревса. Впрочем, не хочу вступать в письменные разъяснения. Конечно, я знаю и верю, что ты вернулся бы, если мог. А всё же поджидаю описание пикника с Mme Модестовой[1] и (забыла фамилию интересной второй дамы[2]). Много ли стихов преподнес ты им?

Кстати о стихах[3]: они, кажется, прелестны и ужасно античны. Но ведь стихи всегда лгут, и твой мудрый ответ Эроту также лишь поэтическая вольность. Я смотрю на будущее как на последнюю кровопролитную войну со своею любовью, и это будущее так мрачно, что стоит передо мной как гигантский гроб, от которого я подло и трусливо отворачиваю взор. Не знаю, друг мой, снесу ли я живою жизнь в гробу. Видишь ли, быть может, вид у меня и цветущий, ибо дух мой, когда бодрствует, то окрыляет тело: наводит на щеки обманный румянец и зажигает взор обманным огнем. Что же касается тела, не знаю, право, что со мною.

Меня берет страх за свою кариеру. Дебютировать с моими силами немыслимо. Я ложусь в 8 часов и засыпаю тотчас. Сплю до 8-го часа утра, затем лежу до 11-ти, т.к. Varesi[4] уехала на несколько дней. Когда я подымаюсь, у меня сильно кружится голова. После обеда тотчас я опять падаю и лежу часа полтора, после чего встаю, пишу тебе, читаю немножко (и то писать трудно: рука скользит по бумаге), а в 4 ½ иду на tram и еду в Cascine к детям, где сижу и дышу, точно чахоточная. Ничего у меня не болит, ем хорошо и лечить мне нечего. Даже сердце не болит, но там, во мне, глубоко, глубоко точно змея черная клубком свернулась, и я смутно чувствую ее, когда она точно слегка содрогается во мне, и от этого смутного сознания ее движений мне становится так страшно, что я хочу кричать и рыдать, но я сдерживаюсь, закрываю глаза и прячу голову под крыло, как страус. Но змея там, и вот пройдет 3, 4 недели, и она разовьет свои кольца и задушит меня черною безысходною тоскою. Ах, не всё ли равно? Ведь кто-нибудь ежеминутно задыхается на этом свете от горя и тоски. По-

чему же другая, а не я. Только бы скорее. Вчера в понедельн<ик> ровно через две недели после дня моего рокового отъезда из Флоренции я *случайно* с детьми оказалась на барьере полотна жел<езной> дор<оги>, и мимо меня в 6,40 вечера, сверкая кровавыми глазами, промчался Римский поезд — мой поезд. Я смотрела на него совсем дико и, и, Вячеслав, испытал ли ты эту envie vertigieuse[5] броситься под колеса несущего<ся> паровика. Но я не убьюсь, я просто угасну понемногу тихонько, тихонько. Дело уже идет отлично. И умирая, я скажу: «Да, я была счастлива», и я поцелую свое кольце, т.к. тебя ведь я уже более никогда не поцелую, слышишь, никогда. Ты помнишь романс: «Я из рода бедных Азров, полюбив, мы умираем»[6]. Но, умирая, буду благословлять и славить любовь, ибо только тот жил, кто любил, каждым фибром своего существа.

Вячеслав, сознание, что я не вражу, а помогаю твоей работе, дает мне большое удовлетворение, поэтому серьезно прошу принимать мои попреки в шутку и не торопить приезда. Тревожить более несдержанностью твою жену я не стану, я имею такую хорошую причину не ходить к ней, и мне это легче.

Милый, а знаешь, ведь ты, кажется, хочешь обмануть меня с 1-м Апреля. Не шути. Это жестоко.

Милый, прощай. Посылаю приписку матери моей, из которой ты увидишь, какое незлобивое сокровище незамеченное* прошло мимо тебя.

Милый, целую. Устала, а то писала бы без конца.

Прощай, прощай.

Твоя Лидия.

Небольшой фрагмент — История и поэзия. С. 349. Конверт со штемпелем: Firenze 26.3.95 — Roma 27.3.95.

[1] Жена историка и филолога-классика Василия Ивановича Модестова (1839—1907).

[2] О ком идет речь — неизвестно.

[3] См. стихи, приложенные к п. 41.

[4] Имеется в виду Cecilia Boccabadati-Gazzudo (1825—1906), жена знаменитого певца Felice Varesi (1813—1889), певшего в премьерных спектаклях многих опер Дж. Верди.

[5] Головокружительное желание (фр.).

[6] Романс А.Г. Рубинштейна на стихи Г. Гейне.

* Сверху написано и не зачеркнуто: «ым» (т.е. «незамеченным»).

## 50. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*15/27 марта 1895. Рим*

*27 Марта.*

Моя Лидия, наша Wahlverwandtschaft[1] обусловливает целый ряд аналогических явлений в нашей духовной и физической жизни, и эта мысль ободряет меня относительно твоего настоящего состояния, заставляя предполагать, что ты являешься жертвой той же — для нас, чувственных натур (прости, милая, я шучу), сладкой — иллюзии, во власти которой не раз бывал и я. В самом деле, я испытывал это внутреннее убеждение и физическое чувство постепенного угасания, и не мнительности, т.е. не боязни смерти или тяжелой болезни, приписываю его (потому что и о смерти, как о страсти, мы с тобой искренне можем сказать, что ее «глубины» нам «вожделенны»), но другим психологическим причинам, о которых распространяться не буду. Тем не менее, как ни обманчиво это чувство угасания, оно [обусловливается] возникает из реальных физических состояний, и отсюда ясный вывод тот, что тебе должно побывать у доктора по внутренним болезням и дать ему себя исследовать. Очень может быть, что у тебя просто анемия (это предположение несколько времени тому назад высказывала в письме жена). Хочется мне при этом употребить и «нравственное насилие», и заявить тебе, что я раньше не приеду, чем ты не напишешь мне отчета о посещении доктора; но думаю, что это излишне и что ты сама, хотя бы из любви ко мне и из желания меня успокоить, немедленно исполнишь эту мою просьбу.

Является и другое предположение о причинах твоего особенного состояния, также не имеющее ничего общего с мыслью о смерти (напротив, общее с мыслью о жизни!), — но я не считаю его очень вероятным[2].

Как бы то ни было, ты похорошела, по отзыву жены, и похорошели твои глаза, по твоему собственному признанию, — и я не вижу тебя и не гляжу в твои глаза... Это мучает меня и ажитирует[3], я работаю жадно, спешно, — и потом отчаиваюсь, видя, что работа не идет с той быстротой, как я бы желал... Но, Лидия, нужно быть благоразумным и мне, и тебе. Нужно иметь немного терпения. И притом дело идет всего о нескольких днях. Но в какой именно из первых дней Апреля я приеду, я, как мне ни печально

это, не могу определить, потому что наперед рассчитать ход той работы, которую должно сделать в Риме, невозможно... *

Кольцо я решил привезти сам.

Ивана Михайловича[4] я испугал разговором о том, что очень желал бы ликвидировать... Он принял было это в узком смысле, но я попросил его принимать это в смысле самом обширном... Не уменьшать хочу я определенную мне жизнь (потому не хочу уменьшать суммы определенных мне дел), но хотел бы иметь уже в текущее мгновение за собою всю свою прожитую жизнь и видеть, как велик ее положительный итог и ее дефицит, — ибо жизнь тяжела, и тяжело даже счастие, золотое счастие... И вместе с тем — никогда я не чувствовал в себе столько сил к жизни и Фаустовой жажды испытать, изведать всю, полную жизнь... Меня мучит только мысль об итоге моей жизни: это мой страшный суд, Лидия.

Моя возлюбленная, прощай. Я спешно набросал тебе эти строки, чтобы думать затем только о твоей сопернице — моей диссертации.

Лидия, я заочно осыпаю тебя всю пламенными поцелуями, — пламенными предвестниками тех целомудренных, но действительных поцелуев, в которых ты не откажешь мне при нашем свидании, что бы ни писала и ни проповедовала. —

Твой В

Фрагмент — История и поэзия. С. 349. Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 25.3.95 — Firenze. 26.3.95.

[1] Избирательное сродство (*нем.*). Отсылка к одноименному роману Гёте, главная героиня которого впервые упоминается Ивановым в письме от 10 февраля 1895 г. См. п. 17, прим. 6.

[2] Иванов подразумевает возможную беременность Зиновьевой-Аннибал.

[3] От французского agiter, волновать.

[4] Имеется в виду И.М. Гревс.

## 51. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*17/29 марта 1895. Флоренция*

*29 Марта 95 г.*

Мой Вячеслав, пишу тебе всего несколько слов, т.к. совсем не успею сегодня написать толковое письмо, а боюсь, что ты бес-

* Далее следуют 2 густо зачеркнутые строки. Нам удалось разобрать: «Милая, я <1 или 2 нрзб> тебя, и не обманывал, когда говорил».

покоишься. Хотела успокоить тебя вслед за тем мрачным письмом, но весь следующий день пролежала вследствие острой головной боли. Вчера были гости, а в промежутки я спала как сурок. Друг мой, к доктору я не пойду вот почему: здешним докторам я не доверяю. Моя слабость происходит от малокровия, но железа принимать я не могу, т.к. оно вредит сердцу. Меня в прошлом году лечили хорошие русские доктора и т.к. симптомы болезни совершенно одинаковы, я более доверяю их рецептам. На основании этого я возобновила мышьяк и надеюсь, что он окажет свое ядовитое действие. Твое предположение о второй причине моего нездоровия я уже давно опровергла. Я не ношу в себе твоего ребенка, мой возлюбленный, но я отравлена тобою, это правда, и я не жалуюсь на эту отраву, мне только досадно, что я не могу писать своего романа и что петь даже мне стало тяжело. В остальном же я счастлива, как никогда, и буду счастлива malgré tout[1], пока наша любовь будет жить. Но скоро, скоро ты мне изменишь...

Теперь жду со дня на день назначения тобою дня твоего приезда. Мой милый, я жду тебя. Но как грустно, что Гревс не останется долго во Флоренции. Как можем мы видеться иначе, как, мой милый. Я не могу ходить к Вам.

Итак, твое молчание означает совет не вешать картину. Итак, ты не хочешь, чтобы я носила твое кольцо?

Гадкий, гадкий.

Твоя Лидия.

Фрагмент — История и поэзия. С. 374. Конверт со штемпелями: Firenze. 29.3.95 — Roma 30.3.95. Рукой Иванова на конверте написано: 29 марта 1895.

[1] Несмотря ни на что (*фр.*).

## 52. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *17/29 марта 1895. Флоренция*

*29 Марта.*
*Вечер.*

Мой Вячеслав, если бы ты знал, как я страдаю. Мой милый, счастие мое в любви нашей так неизмеримо велико, что оно топит все остальные ощущения, но, увы, бывают минуты и часы, когда эти ощущения воскресают, и мне становится хуже, чем в тот вечер в Риме. Ведь тогда был ты, Вячеслав, около меня. Тогда ты целовал и гладил меня, и прижал меня к себе, и вновь зажег во

мне застывавшую в страхе и тоске кровь, и затопил страстью все тяжелое, поднявшееся со дна души. Мой возлюбленный, теперь я больна телом и душою. Мне кажется, что в моем теле нет более крови, я точно отдала тебе в те безумные три дня все силы своего тела. Голова, как непосильное бремя, клонится на плечах, а душа моя сильная, смелая, страстная вдруг меркнет и бессильно трепещет вместе с замирающим сердцем в груди. О Вячеслав, я страдаю. Эти жгучие пароксизмы страданий всегда связаны с приходом твоей жены. О Вячеслав, я обманщица. О, Вячеслав, я отдавалась ее мужу, я замирала от блаженства в его объятиях, я обжигала его своею ненасытною, палящею страстью, он был моим всецело, я была его. Он мой любовник, и я, его любовница, принимаю у себя его жену, я жму ей руку, гляжу ей в глаза, принимаю какие-то услуги, которые она наивно навязывает мне. Я играю подлую, гадкую, да, гадкую роль. О Боже, какое мне дело, ради чего. Ради жалости, человеколюбия, пощады. Какое дело! Роль ужасна, обман низок и гадок. Я им страдаю. О, Вячеслав, я дошла до того, что боюсь ночной мглы и скоро начну дрожать перед картинами страшного суда. Я была маленькою девочкой, и когда в церкви священник молил: «И даждь нам доброго ответа на страшном судилище Христ<овом>», я вся проникалась таинственным трепетом и, дрожа и благоговея, падала на колени и взывала всем своим детским существом: «Даждь доброго ответа, даждь доброго ответа!»

Вся жизнь моя была чиста. Я *ошибалась разумом*, но не *грешила чувством*. Теперь, теперь страсть погубила меня. Я согрешила.

О мой милый, прости мне это скучное письмо, разве я хочу надоедать тебе своею тоскою, ведь я так счастлива тобою, но я не могу вынести одна эти терзания. И тем не менее я так ясно сознаю, что мы правы, т.е. правы даже в том, что отдались друг другу, но только теперь дальше хода два: или ты скажешь всё жене, и тогда наши отношения могут сложиться по-разному, или же ты скроешь, но тогда и мы должны прекратить вполне всякое проявление любви. Когда я вспоминаю, что мы непременно поступим так или иначе, но честно, то мои кошмары отступают, но до тех пор так много времени. Потом еще меня мучает один вопрос, о котором я никогда не решалась заговорить с тобою, но на который я не знаю, как ты смотришь. Но не решусь и теперь....

А когда я смотрю на жену твою, я думаю. Сказала бы я ей: «На колени опускаюсь я перед тобою за то, что ты любила его 8 лет и любишь теперь, за то, что ты навек потеряла счастие его любви,

но гордо отрицаю свою вину перед тобою, т.е. вижу не в узком, а широком, принципиальном смысле, ибо вина моя вне меня, она в любви, а перед любовью преклоняется всё. Ей противостоит лишь смерть. И я должна была или любить, или умереть. Но я не могла умереть, т.к. у меня дети без отца и мать. Я жива, и я люблю, и он меня любит. И он счастлив этою любовью, и счастлив, и силен. Кто из нас двоих может дать ему больше, кто может насытить его жажду счастия, красоты, силы, кто может вдохновить его на творчество? Та, которая лучше может исполнить эту задачу, — той принадлежит он. Да и спрашивает ли любовь это? Он любит меня, я — его. Отказаться можно только ради мертвого принципа, ради жалости, но мы живем и любим...» — ах, молчу... не стоит, не стоит писать. Говорить надо. Ощущать один вблизи другого всю непобедимость любви и всё-таки... ночь <?>... перо выпадает из руки, т.к. силы мои надорваны и я боюсь ночи. Да, Вячеслав, я Магдалина, но я несчастнее Магдалины. У меня нет Христа и нет пути помимо грешного, т.к. я создана не для святости, а для греха, и лишь любя я живу и расцветаю. Венера, Венера, помоги мне.

Да, последнее слово на сегодня: гений наш предпочел остаться на своей звезде, и вся страсть наших лобзаний не прельстила его для земли. Бедный гений, он только увеличил бы смутные времена.

Конверт с флорентийским штемпелем — 29.3.95. Римский штемпель неразборчив.

## 53. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*18/30 марта 1895. Флоренция*

*30 Марта 95 г.*

Милый, как хотела бы я помимо страстных ласк и полной близости видеть тебя часто, говорить с тобою, смотреть на тебя, словом, жить в твоей близости, делить с тобою чувства и мысли. Но и столь сравнительно скромному желанию, очевидно, не суждено исполниться. Милый, узнала я, что мне ровно нечего делать во Флоренции, что надо торопиться в Милан. Там будет жить как раз теперь Литвинов и Pialuga, которые хорошие артисты и желают помочь мне. Их совет вообще — как можно скорее бросить Флоренцию и отправиться в Милан. Вообще, оказывается, на

пути к дебюту такая масса затруднений, что у меня голова кружится. В общем же пришла к решению выехать из Флоренции на первых днях пасхальной недели, т.к. иначе пропущу все сроки, и на всё лето окажусь без дела, и в Россию уже никак не попаду.

Милый, тоскливо у меня на душе. Итак, я сама тороплюсь в свой гроб. Милый, разве мы можем жить вдали — ты в России, я здесь, как советуют мне со всех сторон. Может ли всё окончиться? Больше, *должно* ли оно кончиться? О милый, о милый, помимо страсти мы так близки друг к другу, мы могли бы жить вместе и быть счастливыми и полезными, потому <что> вместе мы вполне находим себя. Не могу писать, очень устала и много волновалась, неможется. Но пойми главную мысль, чувство, состояние, крик, вопль души моей. Не день, не неделя свидания важна, важны *годы* разлуки. Могут ли, должны ли они быть.

Вся твоя

Лидия.

Очень тороплюсь, целую, нежно, страстно, и люблю глубоко, бесконечно.

Конверт со штемпелями: Firenze. 30.3.95 — Roma 31.3.95. Рукой Иванова на конверте написано: 30 марта 1895.

## 54. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*18/30 марта 1895. Рим*

*30 Марта.*

Моя Лидия, я на тебя ужасно сердит: позволь мне сказать тебе это прямо. Даже больше: позволь мне поставить тебе два *требования* и заявить, что я решительно настаиваю на их исполнении. Именно, я желаю, чтобы немедленно по получении этого письма ты написала мне, что даешь слово: 1) посоветоваться с доктором, 2) не допускать над собой экспериментов какого-то дантиста, вызывающегося спиливать и наставлять твои зубы*. — Я жду требуемого заявления, и если его не будет — то, прежде всего, не жди меня во Флоренцию. — Мог бы мотивировать свои требования многими вескими соображениями; но, все равно, тебя не убедишь и своего деспотизма ими не замаскируешь: мой деспо-

* Удивляюсь, как можешь ты решаться на такие вещи, даже не сказав о них ни слова тому, кого ты называешь самым близким тебе человеком. (*Прим. Иванова.*)

тизм и не хочет быть оправданным, — он хочет быть только признанным за то, что́ он есть, — за деспотизм любви.

Твое вчерашнее молчание я принял за выражение твоего недовольства или гнева: если это так, то ты была несправедлива... Впрочем, будь несправедливой, но будь искренней: а искренно ли говоришь ты о счастии, моя Лидия, когда, быть может, под влиянием болезни, взгляд твой на свою жизнь и на нашу любовь стал так страшно мрачен, что я содрогаюсь при чтении твоих писем... Что значит, что я скоро, скоро тебе изменю. О какой измене ты говоришь?..

Лидия, ты ждешь от меня обозначения дня моего приезда. Собственно говоря, я не могу еще дать его тебе; но лучше [скажу] отвечу условно, чем вовсе не ответить <так!>. В среду, 3-го Апреля, собираюсь я выехать, если однако, не встретятся препятствия или осложнения в делах и — nota bene — если ты не [сделаешь этот] разрушишь сама этого плана своим отказом обещать мне то, чего я требую. Впрочем, я не требую ничего очень трудного. Побывать у доктора не затруднительно, хотя бы ты ему не доверяла (это недоверие, однако, ни на чем не основано, и выслушать грудь и различить анемию от другой внутренней болезни [могут] умеют не одни петербургские доктора), а воздержаться от опасного (п<отому> ч<то> он прежде всего может обезобразить тебя и невыгодно повлиять на голос и произношение) и мучительного эксперимента без всякой гарантии за его успешный исход — даже, я полагаю, приятно.

Жена пишет, что ты начала румяниться: [тебе] как хочется тебе предвкушать сцену во всех отношениях!

Прости сухое и сердитое письмо. Прости и то, что пишу тебе на лоскутке бумаги. Я позволил себе это, потому что бумаги под рукой нет, а написать хотелось немедленно.

Да, Колизея лучше не вешать на стену, — хотя об этом подарке я вероятно расскажу дома.

Я очень спешу с своей работой и очень невнимательно отношусь к научным делам Гревса: мысли мои во Флоренции.

В.

Еще раз оговариваюсь относительно условности моего плана выехать в середу. Дел [своих], вопреки прежним ожиданиям, страшно много. Возможно, что и не поспею. [Я еще надеюсь] Когда буду знать точно время прибытия во Фл<оренцию>, тогда, конечно, извещу тебя.

Небольшие фрагменты — История и поэзия. С. 138, 325, 349. Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 30.3.95 — Firenze. 31.3.95.

## 55. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*18/30 марта 1895. Рим*

*30 Марта.*

Дорогая моя, не обижайся моим сегодняшним письмом — я не хотел оскорбить тебя — и прости грубость моего вмешательства. Я не сумел иначе попытаться остановить тебя от необдуманного шага. Посоветуйся сначала со мной, как тебе поступить; подожди решаться на что-нибудь до моего приезда. Я уверен, что ты страшно повредила бы и себе вообще, и своей наружной привлекательности в частности, если бы или дала вырвать передние зубы, или поступила по предложению дентиста <так!>: как бы последний хорошо ни выполнил изобретенную им операцию (которая, однако, ему самому нова и за успешность которой он не ручается), очевидно, что слепленные им декоративные зубы не могут быть прочными и дело вскоре окончится вставными зубами... Не ждал я, что наша любовная переписка сосредоточится в конце концов на специальных вопросах зубоврачебного искусства — но что́ делать? и не придавать этому значения невозможно, зная притом, насколько ты склонна к быстрым решениям и к столь же быстрому их осуществлению: в данном случае эта быстрота может оказаться губительной.

Не думал я также, что ты относительно своего лечения откажешь мне в такой простой просьбе и притом просьбе, выраженной во имя нашей любви... Как бы то ни было, моя Лидия, я повторяю свое условие: ты и не жди меня во Флоренции, если не хочешь успокоить меня посещением доктора и отказаться от мысли о выдергивании и ломки зубов без моего одобрения.

Раз переписка приняла такой специально-зубоврачебный характер, признаюсь тебе, что мне самому не раз приходила в голову мысль, что хорошо было бы подпилить твои передние зубы (написав это совершенно наивно, я в этом месте расхохотался... Неожиданное признание, не правда ли, в письме влюбленного, что он втайне мечтал подпилить зубы предмету своей страсти *). Серь-

* Ein Beitrag zur Psychologie der Leidenschaft <Вклад в психологию страсти (*нем.*)> — важно для Габриэля д'Аннунцио[1]. (*Прим. Иванова.*)

озно, они несколько длинны и некрасивы. Итак, ты видишь, что в принципе я не против реформы, но проект твоего врача — спилить зубы до половины (!), наставить их чем-то (?!) и сделать все это в качестве бесплатного эксперимента in anima vili[1] — приводит меня в ужас. — Надеюсь, что с достаточной обстоятельностью разъяснил свою точку зрения? —

И<ван> М<ихайлович>, несмотря на все мои убеждения, [им<еет>] лелеет крайне неприятный для нас план остаться в Риме один до 10, 12 числа, а потом посвятить во Флоренции дружбе три полных дня. —

Моя Лидия, моя возлюбленная, моя прекрасная, чудная подруга, не смотри на мир мрачно... как ты смотришь на него со времени римской поездки... будь, пожалуй, даже легкомысленнее... и также, Лидия, верь в мою любовь!

Прости мне глупые зубоврачебные рассуждения и разорви их — к чему их сохранять?

Твой гадкий Вячеслав

Фрагмент — История и поэзия. С. 374. Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 30.3.95 — Firenze. 31.3.95.

[1] Габриэль д'Аннунцио (1863—1938) — итальянский поэт, писатель, драматург.

[2] На малоценном существе (*лат.*).

## 56. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *19/31 марта 1895. Рим*

*31 Марта.*

О дорогая! Вся наша любовь — непрерывное умирание. Все наши ласки — непрерывное прощание. Все хотело убить нашу любовь — и долг, и люди, и обстоятельства, и мы сами; но она не сдавалась, она восставала из-под ударов, она наконец восторжествовала. Минутное торжество, насильственно вырванное у судьбы! И теперь она, так же насильственно разводит нас... Разлука, страшное слово! Разлука, это смерть, или нечто горшее. Она страшит меня, Лидия. Я слишком тебя люблю. Я не знаю, как мы будем жить друг без друга. Я не знаю, что́ будет. Я знаю только, и ты знаешь, что дороги наши расходятся и что мы должны идти по нашим дорогам. Сойдутся ли они опять? быть может, да... быть может... Лидия, Лидия, бесполезно писать все это, но мне слишком горько, и я хочу только жаловаться и скорбеть с тобою.

О дорогая! Ты пишешь: «не день, не неделя свидания важны: важны годы разлуки». Но, Лидия, «грядущие годы таятся во мгле»[1], а близкая разлука стоит перед нами во всей ужасающей своей ясности. Я не верю, Лидия, чтобы ты действительно думала, что не важно, день ли, или неделю, или две недели будем мы вместе. Но я не упрекаю тебя за то, что ты хочешь ускорить отъезд. Я знаю, что ты ускоряешь его не потому, что тебе «во Флоренции ровно нечего делать» (как ты пишешь), но потому, что тебе необходимо для подготовления дебюта приехать раньше в Милан. — Я знаю все это, и все же твое письмо наносит мне новый удар...

Если хочешь, чтобы Гревс приехал со мной (хотя, быть может, он и помешает нам?), то напиши ему, что [ускоря<ешь>] уезжаешь из Фл<оренции> раньше, чем думала: он, быть может, и сдастся на уговоры. Пробудет он во Фл<оренции>, пожалуй, и Пасху, как я предполагаю — несмотря на его слова, что на Пасху он хотел бы вернуться к своим.

Работы и всяких забот у меня масса, не знаю, как все одолею.

Как хотелось бы прижать тебя к своему сердцу, как хотелось бы ласкать тебя. Бесконечно грустно и горько на душе! — Вячеслав.

Небольшой фрагмент — История и поэзия. С. 349. Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 31.3.95 — Firenze. 1.4.95.

[1] Цитата из «Песни о вещем Олеге» (1822) А.С. Пушкина.

## 57. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*19/31 марта 1895. Флоренция*

*31 Марта 95 г.*

Мой милый друг, твои письма произвели на меня очень сложное впечатление. Откровенно говоря, несколько гневное и вместе с тем комичное. Сердилась и смеялась я не над странным сюжетом, так подробно и всесторонне развитым в твоем письме, а над тем способом, каким ты овладел этим сюжетом. Очень затронула меня фраза о румянах. Не сообщал ли тебе корреспондент флорентийского журнала, вероятно, какой-нибудь «Arte del avenire» или «Celebrita nascenta»[1] о том, что у будущей stella[2] прекрасная шея для ролей декольте, я выслушала это замечание, когда переодевала при корреспонденте платье. Или он нашел нужным

передать лишь о румянах и о предполагаемой зубной операции. Не забудь, что газеты всегда врут, и так же и в данном случае половина — выдумка. Зубной врач хочет *не* пилить зубы, а оставить их совершенно *интакными*[3], прикрепив *лишь сверху* тонкую эмалевую пластинку. Конец этой истории, вероятно, уже напечатан в твоей газете, поэтому молчу об нем, боясь вызвать у тебя зевоту. My lord and master[4], жду Вас для дальнейших действий по этому важному предприятию.

Румяны тоже еще не имели чести касаться моих прекрасных щечек, bellissime guance[5], как говорит другой корреспондент по поводу Lidia Торриги <?>[6]. Я действительно раза два помазала щеки ради шалости красной губной помадой*, которую употребляла зимою, чтобы не трескались губы от холода. Впрочем, я не оправдываюсь, и если бы находила нужным, то румянилась бы без стыда за это, ибо это тоже лишь ходячее понятие о том, где границы кокетства в туалете женщины. Но искусственность слишком большая мне антипатична. Ради тебя согласна сделать вещь, мне крайне неприятную и пойти к доктору, хотя делаю это совершенно против воли. Во всяком случае, твой деспотизм победил, и я преклонилась. Но очень буду рада, когда ты окончишь подписку на свою газету, несколько похожую на Бирюлевских барышень, которым «всё известно». Прости меня, мой друг, но я очень зла, это правда, и j'ai envie d'insulter[7], конечно, не тебя. Ах, человек же я и могу сердиться. Это положение имеет в себе что-то невыносимое, и во мне точно вулкан, который нет-нет и прорвется. Я не могу ненавидеть, улыбаясь. Я, впрочем, и не ненавижу агрессивно, но я лишь плачу равною монетою. О да, я не ангел, и во мне течет красная кровь, несмотря на тысячу анемий. Видишь ли, я очень избалована людьми в некоторых отношениях: между моими друзьями и знакомыми нет человека, *мало-мальски* близко знающего меня, который не признавал бы за мною трех качеств: 1) искренности, 2) глубины, 3) строгой принципиальности. Мне еще никто не говорил, что я увлекающийся флюгер и что я беру жизнь лишь с той стороны, с какой она *мне нравится*, и брошу принцип, когда он мне *надоест*. На подобные оскорбления я молчу, полная презрения, ибо никогда не скажу я ни одного искренного слова этой женщине, и не хочу я, не хочу всего этого терпеть. Вот и всё. Если ты любишь меня, то ты должен найти

* И тотчас сообщила всем об этой выходке. (*Прим. Зиновьевой-Аннибал.*)

способ защитить меня от невыносимого терзания. Если ты любишь меня, то не можешь любить ее, и когда я говорила об измене твоей мне, я разумела ее. О жизнь, трижды проклятая моя жизнь. Я хочу любви, но я не хочу терзаний ни себе, ни другим, а между <тем> исхода никакого нет, ибо прежде всего я именно хочу твоей любви, и без тебя я не могу и не хочу жить. Какая насмешка говорить о моем «мрачном» взгляде на мою жизнь и на нашу любовь. Откуда у тебя берется розовый цвет? Я хочу тебя всецело, душу и тело, и я должна отказаться, и при этом ты советуешь какое-то «легкомыслие».

Разорви с женою, и пусть наша связь будет тайною лишь для Барона Будберга[8]! Но che sappio или che so io[9] о твоих путях, связывающих тебя со своею семьею. Ты тысячу раз таинственно восклицал: «Если бы ты могла знать всю сложность моих семейн<ых> отн<ошений>». О я чую самую ужасную сложность! О мой возлюбленный, я умираю. Какая нелепость посылать меня к докторам. Ты, ты убиваешь меня, но я не смерть проклинаю, а жизнь, которая не хочет кончиться. Ты помнишь, я перефразировала надпись над могилою поэта-самоубийцы: ha voluto morire per non aver potuto rendere la vita conferme al suo sogno[10]. Я не писала: не могу умереть, т.к. жизнь моя не соответствует моей мечте. Во мне жила гордая ненависть к судьбе, могучая жажда добиться, вырвать у жизни счастие, о каком я мечтала. И теперь я имею его. Я была там, высоко, где блистающие вершины гор сливаются с золотыми лучезарными облаками, мой сон свершился наяву. Ныне отпущаеши раба твоего, Господи, с миром...[11] Больше ничто не удерживает меня. Молчу. Прощай. Смиряю свое нетерпение свидания с тобою. Что день, два, три перед вечностию? а для нас существует лишь вечность — вечность разлуки.

Прости мою грустную песнь, о нет, не физическое состояние нагоняет мрак на мою душу, я не такова, чтобы подчиняться своему слабому телу. Но как бы могильно-мрачно ни было будущее, — я благословляю прошлое и благословляю тебя, своего друга, брата и любовника.

Твоя Лидия.

Конверт со штемпелями: Firenze 31.3.95 — Roma 1.4.95. Рукой Иванова на конверте написано: 31 марта 1895.

[1] «Искусство будущего» и «Рождающаяся знаменитость» (*ит.*).

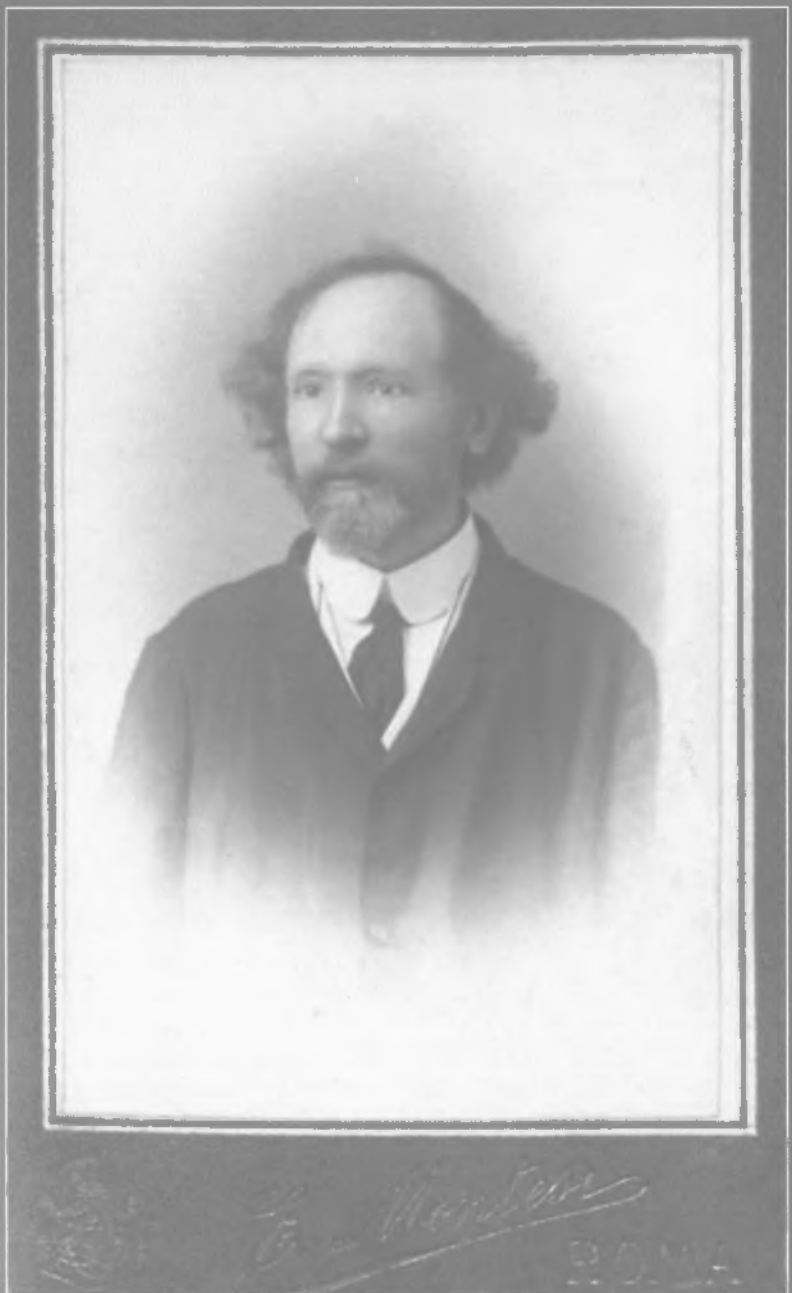
[2] Звезды (*ит.*).

[3] От англ. «intact», т.е. оставить их нетронутыми.

[4] Супруг и повелитель (*англ.*). Формула, встречающаяся в драмах Шекспира.

Вячеслав Иванов.
Берлин. На обороте надпись: «Твой Вячеслав. Март 1888. На реках Вавилонских, там седехом. Забвена буди десница моя, аще забуду тебе.»

Вячеслав Иванов.
Рим, начало 1890-х гг. (РГБ)



Вячеслав Иванов.
Рим, 1890-е (РГБ)

Л.Д. Зиновьева-Аннибал.
Конец 1870-х – начало 1880-х гг.

Л.Д. Зиновьева-Аннибал.
Женева, 1901 (РГБ)

Вячеслав Иванов.
Середина 1900-х гг. (РГБ)

Л.Д. Зиновьева-Аннибал.
Женева, начало 1900-х гг. (РГБ)

Елена Иванова.
Лондон, 1899 (РГБ)

Дети Ивановых (слева направо): Лидия, Сергей, Константин, Вера.
Женева, начало 1900-х гг. (РГБ)

Шале в Швейцарских горах.
Фото из архива Вяч. Иванова (РГБ)

Женева. Альпийская площадь и вид на Монблан.
Фото из архива Вяч. Иванова (РГБ)

Приют и фонтан Наполеона по дороге из Жекс в Фосиль.
Фото из архива Вяч. Иванова (РГБ)

И.М. Гревс

М.Н. Крашенинников

Анцио. Древняя башня

Анцио. Вид порта

Пезаро. Памятник Дж. Россини

Вид Пезаро

Пезаро. Площадь Виктора-Эммануила

Панорама Флоренции

Флоренция. Вид на набережные Арно и мосты

Панорама Фьезоле

Аренцано. Общий вид

Санта Маргерита. Общий вид

[5] Прекраснейшие щеки (*ит.*). Зиновьева-Аннибал соединяет множественное число прилагательного (bellissime) и единственное число существительного (guancia).

[6] Лидия Торриги-Хейрот (?—1907), певица, ученица П. Виардо и автор брошюры о ней (Mme. Pauline Viardot Garcia. Sa biographie, ses compositions, son enseignement. Conference par L. Torrigi-Heiroth à la Salle de l'Athénée; le 8. Février 1901. Genève, 1901), профессор Женевской консерватории в 1897—1899 гг. Какое-то время впоследствии была учительницей Зиновьевой-Аннибал (см. далее). Умерла в Петербурге. Некролог см.: Le Guide Musical: Revue Internationale de la Musique et de Théâtres Lyriques (1907). P. 750.

[7] Мне хочется оскорблять (*фр.*).

[8] Александр Андреевич Будберг (1853—1914; встречаются и другие даты рождения), барон, статс-секретарь, сенатор, Главноуправляющий Канцелярией прошений на высочайшее имя. См. в письме Л.Д. к отцу от 18 января 1894: «Я устроила переговоры с мужем в присутствии Будберга. Мы спорили более 2-х часов. Я в первый раз решилась вполне высказаться и в присутствии мужа в горячих словах охарактеризовала его личность его же поступками. Я закончила свою речь словами: "Я не жила, я не любила, у меня не было друга, не было счастия! и тот, кто обратил в отраву всякое воспоминание о моем прошлом, обязан исполнить все мои требования, и что бы я ни <в оригинале: не> сделала, как бы ни <в оригинале: не> распорядилась своею свободою, он должен молчать и покориться!" Будберг сказал: "Всё, что говорит жена ваша, — совершенная истина, и я скажу от себя: хуже мужем, чем были Вы, нельзя было быть. Вы разве только не били Вашу жену". Затем я с Будбергом уже заодно принялись уламывать его...» (РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 26 об — 27).

[9] Что бы я знала или что я знаю (*ит., искаж.*). Правильно должно быть написано «sappia».

[10] Хотел умереть, потому что не мог сделать жизнь соответствующей своей мечте (*ит.*).

[11] Неточная цитата (с сокращениями) из начала молитвы Симеона-Богоприимца на старославянском языке (Лк. 2: 29).

## 58. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *21 марта / 2 апреля 1895. Рим*

*2 Апр.*

Quelles colères, quelles haines![1] Какая несправедливость к журналам, которые так заботятся о твоей артистической славе! Конечно, газеты часто бывают неточны; но «l'Arte dell'Avvenire» и «la Stella nascente»[2] всегда полны таких сочувственных и лестных отзывов о тебе, что можно простить им маленькие ошибки, сделанные без дурного намерения и неизбежные при обилии минуциозного[3] материала, касающегося la futura celebrità[4]*.

* Эти сообщения настолько полны и добросовестны, что и о губной помаде было все известно читателям, как и о том, что своеобразное ее употребление — только гениальная шалость названной знаменитости. (*Прим. Иванова.*)

Итак, в журнальном мире врагов у тебя нет, и защищать тебя не от кого.

Почему ты не написала мне сегодня, моя дорогая, прекрасная подруга? Была ли у доктора? Что он сказал?

О важных вопросах, тобой затронутых, писать не буду. По приезде во Флоренцию регулирую семейные отношения. Намереваюсь сохранить неизменными их внешние формы. Разлука наша прежде всего обусловливается требованиями нашей деятельности. Впрочем, еще неизвестно, где будем мы оба...

Я бы посоветовал тебе отказаться от весеннего дебюта, если нельзя быть более или менее уверенным в его успехе. Боюсь, что первый неуспех может иметь невыгодные последствия при дальнейших попытках.

Я не считаю удобным покидать Рим, не прочтя здесь одной части работы Гревса; быть может, я пожертвую для этого еще несколькими днями, как ни мучительно рвусь к тебе, особенно слыша твои угрозы поспешного отъезда в Милан, и как ни рискую огорчить тебя или навести на сомнения в истинности моей любви. Вчера я думал выехать в четверг вечером, — не знаю, осуществится ли это. Крайним сроком полагаю окончательно субботу.

Ti bacio come t'amo[5].

Пиши еще — чтобы я получил письмо в четверг утром.

Твой В.

Фрагменты — История и поэзия. С. 325, 349—350, 374. Конверт со штемпелями: Roma Ferrovia 2.4.95 — Firenze. 3.4.95.

[1] Какой гнев, какая ненависть! (*фр.*)

[2] «Искусство будущего» и «Рождающаяся звезда» (*ит.*).

[3] Скорее всего, от французского «minutieux, minutieuse» или от немецкого «minuzius», что значит «доскональный».

[4] Будущей знаменитости (*ит.*).

[5] Целую тебя, как люблю (*ит.*).

## 59. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*22 марта / 3 апреля 1895. Флоренция*

*уже 3-е Апр. 95 г.*

Дорогой друг, пишу всего два слова, чтобы ты не беспокоился. Я не писала, потому что ждала твоего письма. Мне было очень неприятно, что я так дала волю чувству гнева. Я знаю, что я несправедлива, но нервы слишком натягиваются тяжелым поло-

жением нас троих. Точно всё время гроза собирается. По натуре мне крайне антипатичны всякие резкие проявления, всё жесткое и негуманное по форме. Эта форма раздражает истерическое стремление во мне и тем не менее я сама грешна в этой ненавистной мне резкости и жесткости. Это вечные противоречия моего существа. Мне также органически отвратительна грубость и гнев, как органически невозможно навсегда закрыть своей душе доступ <к> этим чувствам. Прости же меня ради любви твоей ко мне. Что касается твоего откладывания день за днем своего приезда, скажу только: для меня всё это время — пытка, ибо что может быть ужаснее полной неизвестности собственной *ближайшей* будущности, и при этом беспрерывное безнадежное ожидание, т.к. ведь я уже не верю, что ты приедешь ни в пятн<ицу>, ни в субботу. К доктору идти эти дни ***никак*** не могу: очень занята. Из своей газеты ты знаешь, как и чем, знаешь также, что я значительно поправилась на вид и что сегодня Rasi чуть не задушил меня в своих объятиях и непрестанно хвалил мой талант, к которому по ошибке причислил и руки: bellissima mano[1]. О Италия! лучше смеяться, чем сердиться. Затем прощай. Больше я не пишу, сколько бы ты ни оставался в Риме, а насчет поцелуя целомудренного?! при свидании; я, вероятно, успею зрело поразмыслить до твоего приезда!

Твоя Лидия.

Конверт со штемпелями: Firenze 3.4.95 — Roma 4.4.95. Рукой Иванова на конверте написано: 3 апреля 1895.

[1] Прекраснейшая рука (*ит.*).

## 60. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *24 апреля / 6 мая 1895. Флоренция*

*27 Apr.*[1] *7 p. II sinistra. Sra Asunto Pistorelli.*
*6 Мая 95 г.*

Мой дорогой, in vano[2] ждала я тебя сегодня на piazza[3]. Итак, ты уехал, а если бы ты знал, как я мечтала об обратном. Но с утра сердце подсказало, что тебя нет. Я проснулась в без четверти 6 и почувствовала, что ты уезжаешь. Милый, я ежесекундно думаю о тебе, и опять вся жизнь отдалилась и доходит до меня лишь сквозь накинувшуюся на нее сетку моего чувства. Finita la mia serenità[4]. Всё думаю о том, как imperative[5] мчит тебя дальше

и дальше от родины нашего счастия, как тоска ложится густо на твою душу и все существо твое рвется обратно в нашу чудную Италию. И обидно мне до боли, что идя домой вчера ночью, мы так мало говорили того, чем полна была душа. Это, верно, именно оттого, что она была слишком полна. Ну, давай работать, это одно утешение. Самое ужасное для меня — это мысль, что ты поедешь в Россию и неминуемо затянешь дело. Бедный, когда ты получишь это письмо, мои объятия уже будут стерты объятиями твоей белль мамаши[6], и вместо атмосферы безумных пьянящих лобзаний над тобою будут беспокойно носиться le bianche larve[7] всяких императивов, основ и благоразумий, а т.к. все эти почтенные понятия слегка потрясены, то и der ehrliche deutsche [Grund] Boden[8] под тобою будет изрядно трястись и лишать тебя всякой serenità[9].

Мои дела тоже плохи. Varesi[10] прямо отказалась учить меня «Ruy Blas»[11]. Я уже была у impresario[12], чтобы заявить об этом, и осталось весьма мало надежды на то, что они поставят «Trovatore»[13]. Впрочем, тогда тем скорее я освобожусь от Парижа. Ты же узнай в консерватории и в обществе, кто хорош как учитель опер Вагнера, и тогда сходи к двум, трем из рекомендованных учителей и узнай, остаются ли они Июль, и Авг<уст>, и Сентябрь в Берлине? а если нет, то куда едут и не согласятся ли на даче заняться со мною, т.к. я приезжая.

В Милане мне надо быть не раньше конца Сент<ября>.

Я кончаю, т.к. должна писать массу писем и зубрить партию к завтрашнему уроку.

Прощай, возлюбленный.

Сегодня получила письмо от Четверухиной, кот<орая> сочувственно относится к моей любви и говорит: «Конечно, она должна минутами отравляться сознанием несчастия другой, но», и т.д., и в конце концев <так!>: «Будьте хоть Вы счастливы»[14].

Поклонись немке[15].

Целую тебя и обнимаю, и хотела бы, чтобы ты ощутил еще раз всю силу, глубину и страсть моей любви.

Твоя Лидия.

Конверт, адресованный: A Monsieur V. Ivanov. Poste Restante. Berlin. Allemagne. Флорентийский штемпель — 6.5.95. На конверте помета (вероятно, рукой Зиновьевой-Аннибал): *1*.

[1] Здесь перед нами не дата, а название улицы. Адрес использовался Зиновьевой-Аннибал для конспирации.

[2] Напрасно (*ит.*).

[3] Площади (*ит.*).

[4] Кончился мой покой (*ит.*).

[5] Императив (*ит.*).

[6] Тещи (макароническое соединение французского belle-mère и русского).

[7] Белые призраки (*ит.*).

[8] Честная немецкая [пол] почва (*нем.*). Зиновьева-Аннибал вначале сделала ошибку, думая, что «Grund» значит «почва», потом поняла, что нужно другое слово.

[9] Покоя (*ит.*).

[10] См. п. 49, прим. 4.

[11] «Ruy Blas» — опера Ф. Маркетти (1869) по пьесе В. Гюго.

[12] Импресарио (*ит.*).

[13] «Трубадур» (*ит.*); имеется в виду опера Дж. Верди. О делах и планах Л.Д. этого времени см. также письмо к сестрам О.А. и Ю.А. Беляевским от 20 апреля / 2 мая 1895: «Мои дела страшно неопределенны. Дело с импрезой все не вполне клеится. Мне очень хочется выступить теперь же в очень для моего голоса и характера благодарной и эфектной <так!> роли цыганки в Трубадуре, и я жду со дня на день окончательного ответа моего impresario, который никак не может сговориться решительно с театром. Труппа наша очень симпатична и голоса хорошие. Если дело устроится, то выеду отсюда не ранее начала русск. Июня. Если же нет, то уже 8/20 Мая пущусь с семьею в путь в Париж. Сама останусь в Париже, а детей с Соней отправлю на океан, и именно в Бретань, т.к. там дешевле, чем в Нормандии. В Сентябре мы должны будем перекочевать в Милан, откуда я буду скитаться по окрестным театрам и «делать себе имя» до масленицы, когда надеюсь вернуться в Россию. Дети очень здоровы и в обшем не доставляют мучительных забот, хотя отношения между двумя старшими плохие, и это мне очень больно. Моя литер<атурная> работа не двинулась, т.к. я сумела расхвораться в сей благословенной стране и была так слаба, что лежала около трех недель в постели, теперь, весною, мне стало лучше, т.к. я усиленно принялась за мышьяк, железо и сон. О, было бы здоровья, — сколько смелых мечтаний к труду в моей душе. Мой роман разросся и оформился в моем мозгу, я говорю о нем одному очень талантливому поэту и Гревсу, и оба нашли его очень интересным и важным. Но хватит ли таланту на его практическое осуществление на бумаге, и если даже хватит, то не выдадут ли силы? Пение, впрочем, остается центром моей деятельности вне семьи, я смотрю на свою сценическую карьеру бесконечно серьезно, да и возможно ли иначе, если только я мало-мальски порядочный человек?» (РГБ. Ф. 109. Карт. 22. Ед. хр. 15. Л. 2 и об).

[14] Об этой корреспондентке Зиновьевой-Аннибал нам почти ничего не известно. В это время она жила в Ярославле и 18 апреля писала: «Дорогая Лидия, на днях вернулась я из Петербурга, там перед отъездом мы вместе с Соней <Алымовой> прочли Ваше последнее письмо и успокоились. Никто и ни в чем Вас упрекнуть не может, но я вполне понимаю, что, чувствуя свое счастье, Вы минутами мучаетесь положением жены И<ванова>... Что же делать?! Ведь если бы Вы даже и разошлись, она не была бы счастливее, сознавая, что все его мысли и чувства так далеки от нее... Конечно, мучительно, что счастье одного строится на несчастье другого. Будьте хоть Вы-то уж счастливы!» (РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 39. Л. 10 и об.).

[15] Имеется в виду Элиза Лёвенхайм (Elise Löwenheim, в девичестве Röhn; 1843—1924), врач и писательница.

## 61. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*25 апреля / 7 мая 1895. Флоренция*

*7 Мая 95*

Дорогой Вячеслав, сегодня пишу второпях два слова, лишь потому что не хочу оставлять тебя без вести из твоей дорогой Италии, кот<орую> тебе было так горько покидать. Думаю о тебе неизменно и постоянно. Боюсь, что все муки окажутся тяжелее, чем я предполагала. Дела мои все не определились. Жду ответа и учусь терпению. Начала новую партию в «Ballo in Mascheri»[1]. Много штудирую дома. Сегодня после урока пошла на рынок, и очень было грустно идти вниз по via Nazionale, и сердце болело, и всё купила плохо и глупо. Никакой охоты нет в Париж ехать, просто удивительно. Посылаю тебе поцелуй с via Valfonda[2] ни больше ни меньше, и остаюсь твоею Л. Лидина.

Открытка с адресом: A Monsieur Venceslav Ivanov. Poste restante. Berlin. Флорентийский штемпель — 7.5.95. Помета на письме: *2*.

[1] «Бал-маскарад», опера Дж. Верди (1859). Точное название по-итальянски «Un Ballo in Maschera».

[2] На этой флорентийской улице Иванов снимал квартиру после того, как ушел из семьи.

## 62. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*26 апреля / 8 мая 1895. Флоренция*

*Четверг. 8 Мая 95 г.*

Мой милый друг, как твои дела? Мои совсем не важны. Во-первых, еще писем от тебя не имела. Нахожу, что на 27 Aprile ходить крайне неприятно, притом не понимаю, как могла от меня ускользнуть след<ующая> комбинация: Дуня может ходить за письмами и передавать мне твои в отсутствии матери. Это и проще и вернее. Бог знает что наговорила идиотическая американка[1], т.к. хозяйка и все жилицы смотрят на меня чернее ночи. Ты помнишь, как я злилась на американку, о как я ее ненавижу! неужели мне не удастся отомстить ей. Написать разве Вилли, чтобы он не женился на злой идиотке. Что касается дебюта, то я до сих пор жду с минуты на минуту какого-нибудь решения. Я даже написала Scamuzzi[2], но он ничего не отвечает пока. Это

очень тоскливо. Varesi почему-то злится на меня, и мне это неприятно. Из России всё заботы приходят о разных моих воспитанницах. Словом, забот и мыслей столько, что устала от них и жажду нирванны <так!>. Чтобы покончить с делами, прошу тебя исполнить мое поручение: сходи в Schering's Grüne Apotheke Berlin N<ord>. Chauseestrasse, 19[3] и вели им выслать мне 100 грамм Ferratin'a Schmiedeberg'a[4]. Если тебе не трудно, то заплати за него на месте. Это, кажется, дешевле, чем Postnachnahme[5]. Но где ты? Быть может, уже по дороге в Россию? О как скучно быть столько дней без известий. Милый, о себе мне писать больше нечего. Все эти дни пишу массу писем и всё деловые. Силы мои всё прибывают. Кашель совершенно исчез, клянусь тебе. Неужели ты настаиваешь на докторе. Но я должна ему или лгать, или сказать: я была слаба, я кашляла и т.д. Напиши об этом, но будь справедлив. Без тебя жизнь моя течет так монотонно и добродетельно. Отдаюсь матери и детям и очень много пою. Уже кончила наизусть роль Cieca в «Gioconda»[6]. Если не буду дебютировать, то 18-го уезжаю.

Целую тебя горяче <так!>. Что ты? Где ты?

Твоя Лидия.

Прошу тебя, если ты когда рассердишься на меня, не писать мне сердитых писем, т.к. мне это было бы невыносимо. Письма оборачиваются так долго.

Дорогой друг, нежно, нежно целую тебя, так, как целовала на via Valfonda.

Твоя.

Конверт, посланный в Берлин до востребования. Флорентийский штемпель — 9.5.95. Помета: *3*.

[1] По всей видимости, это Miss B. Hunt, упоминаемая в п. 147.

[2] Неустановленное лицо.

[3] Зеленая аптека Шеринга, Берлин северный (*нем.*).

[4] Ферратина Шмидеберга (*нем.*). Речь идет о лекарстве, содержащем железо, названном по имени изобретателя, фармаколога Освальда Шмидеберга (Oswald Schmiedeberg (1838—1921).

[5] Наложенным платежом (*нем.*).

[6] Опера А. Пончелли (1876). Cieca — слепая (*ит.*). Имеется в виду слепая мать Джоконды.

## 63. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*27 апреля / 9 мая 1895. Флоренция*

envois lettres a viale margherita

Телеграмма из Флоренции в Берлин. Штемпель: 9.V.95. Перевод: «Посылай письма на Viale Margerita» (*фр.*). Первое слово Зиновьева-Аннибал (или телеграфист) ошибочно пишет в первом лице настоящего времени вместо повелительного наклонения, envoie.

## 64. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*27 апреля / 9 мая. Берлин*

*Берлин, 9 Мая 95.*

*Сохрани для меня это письмо*!

Милая, возлюбленная! Я ожидал, что, выставив эту прозаическую дату «Берлин» (как давно не выставлял я ее в заголовке своих писем! и на каком письме снова выставляю ее впервые! как непохоже оно на мои прежние ehrbare und sittsame Berliner Briefe!!), я ожидал, говорю я, что после этой прозаической даты перо мое будет вести себя сообразно ее достоинству, — солидно и прилично, и уже представлял себе план и характер письма — ein sachlicher und eingehender Bericht des Tatbestandes, ein paar Zärtlichkeiten am Schlusse[2]... Ибо, per Bacco[3], я не в Италии, ибо —

«Увы! здесь нет лучей, нет лоз для вакханалий»...[4*]

Но — совершенно неожиданно — на меня пахнул дух — твой ли или Италии, не знаю, — и несколько минут я сижу с пером в руке, охваченный настроением, которого не испытывал уже ряд дней, настроением пламенным, южным, вакхическим, настроением итальянского неба и твоих опьяняющих ласк, и мне кажется, что в окно мое смотрит иная лазурь, и что сижу я не в берлинской гостинице, а в нашем маленьком убежище на via Valfonda (откуда ты прислала мне сегодня такой сладостный поцелуй), и что я держу тебя на своих коленях, нагую, стройную, закрывающую себе лицо своими распущенными волосами... О, как я целую тебя — твои плечи, грудь, спину, ноги... как ты извиваешься, как ты возбуждена, насторожена, mein schönes blondes Raubtier[5], моя

* Мой стих. (*Прим. Иванова.*)

гибкая, ярая пантера, моя то дикая, то укрощенная, — но всегда хищная, всегда сладострастная носительница Диониса... Ein schöner Traum[6]... но, увы, только сон, и не рассказа о снах моих ты от меня ждешь, а повествования о действительности. Последняя же олицетворена для меня в настоящую пору в образе моей уважаемой belle-mère[7], и свинцовый океан берлинских кровель, расстилающийся перед моими глазами, служит только фоном для этой центральной фигуры. Эта дама, отличающаяся многими возвышенными качествами, но вместе и многими странностями ума и сердца, имеет между прочим, к сожалению, и способность меня временами экзасперировать (exaspérer[8]); в общем отношения наши превосходны. Прежде же всего имею довести до твоего сведения, что А.Т. Дмитревская внесла свое имя в список лиц, выразивших сочувствие нашей любви. Да, на все лады она твердит мне о своем «сочувствии», выражает желание, чтобы и Лидия Дмитриевна считала ее своим другом, предлагает свою помощь и т.д. Много говорит о том, что мы очень подходим друг к другу (о тебе как о женщине очень талантливой, умной, способной на эксцентричности и крайности, притом как о человеке хорошем, она составила представление по рассказам знакомых, приходящихся тебе родственниками), что я не создан для семьи, что жена мне не пара и пр. и пр. Я заставил ее признаться, что брат жены[9] сообщил ей все — именно, после второго письма жены в Ялту, написанного по моем возвращении во Флоренцию, — хотя, что́ неудивительно, она предвидела происшедшее и раньше. Тем не менее она твердо держится за свое утверждение относительно фантастической «Немки», а я твердо пребываю в неверии, что́ даю ясно понять, указывая между прочим на то, что и без Немки с ее анонимным письмом вся связь происшедшего ясна и понятна. На анонимное извещение она ссылается главным образом для того, чтобы мотивировать свой приезд — и все же не умеет удовлетворительно объяснить, почему приехала в Берлин, а не прямо к дочери. В записке Немки будто бы заключалось утверждение, заставившее ее трепетать за жизнь дочери, и притом такое, что я счел своим долгом не раз определить его как «гнусность», а автора его как «гнусного клеветника», не встречая возражения со стороны моей belle-mère[10]. В таинственную Немку можно не верить, как не верю в нее и ее анонимные клеветы я сам; зато полного доверия заслуживают, по-видимому, уверения belle-mère, что о тебе и о

твоем романе она слышала у знакомых в Москве, кажется, еще в начале зимы; говорилось между прочим, что ты теперь «не одна», и выражалось сожаление, что «*он* — человек женатый». Кто был *он*, belle-mère не знала («кто б он был?»[11] быть может, пела она в тревоге в лунные ночи); но потом на основании моих писем ей было уже легко увериться в *его* тождестве со мною. Она рассказывает все это так обстоятельно и правдоподобно, что я склонен считать это за истину, и вывожу отсюда заключение, 1) что твоя несомненная и доказанная болтливость (которой не одобряет, с точки зрения *твоих* интересов, и А. Т.) выдала с самого начала нашего сближения много лишнего посторонним лицам; 2) что некоторые из лиц, которым ты делаешь свои конфиденции в более или менее прозрачной или даже вовсе не прозрачной, как думаешь ты сама, форме, гораздо более проницательны, чем ты предполагаешь, но зато гораздо менее, чем ты предполагаешь, достойны твоего доверия; 3) что ты имеешь немалое число недоброжелателей, которые зорко следят за всем, что́ с тобой происходит, и рады распространять дурную молву. А. Т. дала мне, по моей просьбе, честное слово, что будет хранить в совершенной тайне все, касающееся моих отношений к тебе; я указал ей на то, что, будучи посвященной во всю нашу тайну, она имеет одинаковую возможность повредить нам открытием этой тайны и помочь — своим молчанием: она обещала полнейшее молчание и даже вызвалась сделать, в случае нужды, отрицательное заявление относительно истинности слухов о нашей связи. За ее приезд в Берлин, ненужный для дочери и могущий только компрометтировать <так!> меня, я ее упрекал; вмешательства в свои семейные дела я не допускаю ни для кого; жену, вследствие ее желания уехать в Россию, отпускал уже из Флоренции, где и взял для нее отдельный паспорт; если бы я знал тогда, что [она] [ее мать] А. Т. приедет в Берлин как бы для того, чтобы освобождать дочь, поступил бы иначе и никто не принудил бы меня к отделению паспорта. Это все потому, что вчера она выразилась, что «увезет» дочь с собой. Жене также хотелось ехать вместе. Я убедил однако жену остаться со мной, по уезде матери, хотя неделю в Берлине; потом мы поедем вместе в Москву, где покажем себя и Сашу моей матери; потом жена отправится в Ялту, где брат отыщет квартиру к 22 Мая стар<ого> стиля, а я, после короткого пребывания в Москве, вернусь в Берлин. Открыть ли все моей матери или все скры-

вать от нее, я не решил и не хочу решать до свидания с нею; там, на месте, будет только видно, как она отнесется к этой вести и как перенесет ее. А. Т. [начала] вздумала было с самого начала уговаривать меня к немедленному разводу. Я сказал, что обещал жене дать развод в любое время, когда *она* этого пожелает, и буду ждать *ее* заявления; совет же мой ей — не брать развода до нужды. По-видимому, политика А. Т. в том, чтобы как можно скорее опять сосватать дочь. Характерно для нее, как для человека решительного, что она старается убедить дочь, что я навек для нее потерян, что мы не пара и т.д. Довольно, однако. Напиши, что́ думаешь о всем сообщенном. Если бы ты знала, Лидия, как мне недостает Италии, и всего итальянского, и итальянской речи. Как странно везде говорить по-немецки. Как легко дышится там, у тебя, в твоей близи, — как тяжело здесь. Выезжая из Флоренции, я уже чувствовал себя в Немечине <так!>, [будучи] сидя под перекрестным огнем немецкой речи. Долго хранил я инкогнито как духовный родня почтенных соседей, но двое были моими спутниками до Трієнта[12], и мы кончили чуть не дружбой. Между прочим, вместе обедали в Вероне и обошли город.

После твоего прощального посещения в воскресенье вечером, после этой флорентийско-египетской ночи, которая оставила такую сладостную, опьяняющую память, я спал всего час или полтора и только в эту ночь — на четверг — снова оказался в постели, — зато какой мягкой, в каких пуховых перинах!

В Мюнхене я пробыл во вторник с утра до 5-го часа и ознакомился с городом, музеями и пивными погребками. В Берлин приехал вчера утром, но не нашел до сих пор часа для письма среди бесконечных разговоров и переговоров. Посылаю письмо, на основании телеграммы, недоумевая, на viale Margherita[13]. Addio[14], пантера! В.

Фрагмент — История и поэзия. С. 350. Конверт со штемпелями: Berlin 9.5.95 — Firenze 11.5.95.

[1] Честные и целомудренные письма Берлинские письма (*нем.*).

[2] Точное и подробное сообщение ситуации, несколько ласковых слов в конце (*нем.*).

[3] Черт побери! (*ит.*)

[4] Стихотворение Иванова, содержащее такой стих, нам неизвестно.

[5] Моя прекрасная светловолосая хищница (*нем.*).

[6] Красивый сон (*нем.*).

[7] Тещи (*фр.*).

[8] Сердить, раздражать (*фр.*).

[9] Алексей Михайлович Дмитревский, ближайший друг Иванова московских студенческих лет.

[10] 16/29 апреля А.Т. Дмитревская написала Иванову из Москвы до известной степени загадочное письмо, в котором среди прочего говорилось:

Многоуважаемый и дорогой

Вячеслав Иванович!

Не т<ак> давно какая-то немка подала мне записку, что лучше, если я приеду во Флоренцию; еще письмо, и еще я не разобрала, что-то написано, — слова 2 или 3. Такой случай в др<угой> раз в жизни у меня (др<угой> был лет 5 назад); я не особенно думала о последней, но все поджидала писем от вас; писем давно нет, ну, конечно, я и раздумалась и о том и о др. — не больны ли и т.п. <...> Если Вам нельзя в Берлин, то назначьте свидание мне хоть на ½ дороге, до Флор<енции> уж оч<ень> далеко. В среду, а м<ожет> б<ыть> и во вторн<ик> выезжаю, значит, в Берлин. Буду в суб<боту> или в воскр<есенье> — (22 или 23 Апр<еля>).

РГБ. Ф. 109. Карт. 17. Ед. хр. 68. Л. 44—45.

Однако в назначенный срок она не уехала и 24 апреля снова писала:

Многоуважаемый и дорогой

Вячеслав Иванович!

В телеграмме всего не написать, потому на случай, если Вы еще не уехали из Флоренции, пишу Вам все, что происходило за последнее время в Москве. Мне там сказали, что Дашу отравили, имя ее не назвали, но было и так понятно для меня. Знают или нет ее имя говорившие — не знаю. Раньше были разговоры — я не делала ни одного вопроса, так и последнее время. Во-первых, из мухи всегда слона делают, во-вторых, всегда прибавляют чего нет, а в-третьих, у меня взгляд на жизнь правильнее, чем у говоривших. <...> Все время я была спокойна, но слово «отравлена» меня как громом поразило и несколько времени я чувствовала себя так, точно меня обухом по голове ударили: ни памяти, ни соображения. <...>

Поверьте, что я Ваш друг, если это Вас не обидит, и что больше ценить Вас, как я ценю, — нельзя; и большей готовности ко всем услугам для Вас, как и всегда с удовольствием и от всей души готова служить Вам, — быть не может. Вы нужны миру, у Вас исключительная талантливость и потому должны быть исключительные условия для жизни. <...> Последние года сколько я передумала, перепробовала, чтобы моя (лично) встреча с Вами — не прошла бесследно. Я хотела Вас буквально золотом осыпать — при свидании расскажу свои планы за последние года. Чтобы это Вас не обидело, понимайте это так, что каждое мое слово относится к Вашему таланту, дарованному Вам Богом. Вы праведник и учитель. <...> Теперь опять не могу справиться с мыслью, т.е. не могу отстранить какое-то особое ощущение внутренее (сказать желание — бледно) — видеть Дашу, Сашу, Вас. Дашу живую или нет — только лишь видеть. <...> Вести, случайные, шли через Петерб. <...>

Там же. Л. 46—47 об.

Как кажется, эти письма отчасти поясняют темы разговоров между нею и Ивановым.

[11] «Кто б он был?» — припев арии Тамары «Ночь тепла / Ночь тиха» в начале второй сцены третьего действия оперы А.Г. Рубинштейна «Демон» (1875).

[12] Вероятно, имеется в виду город Тренто. Кажется, топография и железнодорожные пути делают такое чтение более вероятным, чем «Триесте» (История и поэзия. С. 350).

[13] См. п. 63.

[14] До свидания (*ит.*).

## 65. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*29 апреля / 11 мая 1895. Флоренция*

*11 Мая 95 г.*

Вячеслав, я наконец получила твое письмо. Оно произвело на меня сильное впечатление и преимущественно тяжелое. Скажу тотчас всё, чем переполнено мое существо.

Относительно твоей belle-mère: совершенно не желаю принимать ее дружбы, т.к. абсолютно не верю ей. И почему можно верить ей в одном, если рядом подозревать ложь? Родственников в Москве у меня есть только одна богатая и аристокр<атическая> семья Зиновьевых[1]. С ними *никаких* нитей не имеют какие бы то ни было мои теперешние знакомые. Из *не* родственников знакома я в Москве лишь с Вернадскими[2]. До них могло что-либо* дойти лишь через Гревсов, т.к. Мария Серг<еевна> ужасно дружит с Вернадской. Что же касается моих конфиденций, я их никому не делала, кроме Алымовой и Четвер<ухиной>[3], и обе они слишком сознательно дрожат за мое благополучие и за моих бедных детей, чтобы проговориться. Старушке Пабст[4] я писала о том, что я несчастна и «одна» и что счастие мне не дается. Твоего имени, кроме Ал<ымовой> и Четв<ерухиной>, я никому нарочно не упоминала. Словом, я отказываюсь верить, чтобы наша тайна была выдана иначе, как через самою А.Т., кот<орая>, раз она смотрит так безнадежно на твой возврат в семью, не имеет никаких причин щадить тебя и меня. Затем, и ты и жена много писали в Москву обо мне, значит, я здесь не причем. А что я не была болтлива, это я гордо заявляю и пренебрегаю даже повторять.

Между тем, факт тот, что наша связь стала общественной сплетней, и этот факт пробудил во мне ужас. Я боюсь, что она не только лишит меня детей (чего я не могу пережить, я говорила и повторять не хочу), но и лишит меня права требовать развода от мужа, если он заупрямится. Словом, дело плохо.

Еще одно больно поразило меня в твоем письме, ты, конечно, не догадаешься, т.к. писал это совершенно бессознательно и бессознательно выдал свою «мужскую» душу, кот<орая>, как и у всех Вас была, есть и будет нам врагом. Ты пишешь, что знай ты

---

* В тексте: чтоли-бы.

о намерении матери приехать «освобождать» дочь, «ничто в мире не заставило бы тебя отделить паспорт». Ты знаешь, я краснею, когда читаю и пишу эту фразу. О, как живо напомнило это мне моего мужа! О, как Вы все похожи! Вы способны для защиты своего мужского деспотизма и самолюбия пользоваться даже «паспортною системой» варварской России! Вячеслав, прочитав эти строки, да и всё письмо, я подумала: «О, какое счастие, что я не его жена, что я ничья жена и, видит небо Италии, я никогда ею не стану!» Ну вот мне и легче стало, я всё выразила, что бурлило в душе моей.

Но все-таки скверно мне, и вся страсть твоего письма не утешает меня. Я бы хотела видеть тебя, чтобы спросить тебя, глядя в глаза твои: любишь ли ты меня, *любишь ли*?

Я должна кончить, т.к. мы едем в Fiesole. Scamuzzi был вчера и и <так!> опять отложил ответ на неопределен<ное> время.

Напишу еще завтра.

Ради Бога, не пиши сердитых писем. Мое не сердито. Я люблю тебя nonostante[5] твоей мужской души, но je suis sur mes gardes[6]. Целую тебя так, как ты хочешь.

Твоя Лидия.

Очень тороплюсь
еще целую.

Конверт со штемпелем: Firenze. 11.5.95. Помета: *4*.

[1] Видимо, имеется в виду семья вдовы тайного советника Марии Петровны Зиновьевой, жившей в собственном доме в Борисоглебском переулке и бывшей попечительницей Зиновьевского богадельного дома.

[2] Речь идет о семье знаменитого впоследствии ученого Владимира Ивановича Вернадского (1863—1945), который с 1890 г. был приват-доцентом Московского университета (с 1898 — профессор). Его жена — Наталья Егоровна (урожд. Старицкая, 1860—1943), сын — известный впоследствии историк Георгий (1887—1973). С Вернадскими Зиновьева-Аннибал была знакома через Гревсов. Несколько подробнее о них в контексте т.н. «Приютинского братства» см.: *Шаховской Д.И.* Письма о Братстве / Публ. Ф.Ф. Перченка, А.Б. Рогинского, М.Ю. Сорокиной // Звенья: Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 2. С. 174—318.

[3] О С.И. Алымовой см. п. 25, прим. 6; о Четверухиной — п. 62, прим. 14.

[4] Имеется в виду Генриетта Егоровна Пабст, дополнительными сведениями о которой мы не обладаем.

[5] Вопреки (*ит.*).

[6] Я на страже (*фр.*).

## 66. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*30 апреля / 12 мая 1895. Флоренция*

*12 мая 95*

Мой дорогой друг, надеюсь, мой гадкий возлюбленный, что ты не сердишься за вчерашнее письмо? Прости меня, если я была несправедлива, но я не виновата в своей впечатлительности, которая каждый раз настраивает меня одинаково по прочтении твоего письма. В течение этих суток я прочитала его 4 раза и каждый раз с тем же чувством какой-то маленькой дисгармонии, кладущей тоску на мою душу. А в общем я так безгранично счастлива, даже блаженна, что не верю тому, что я не во сне. Единственное, что несколько затемняет картину, — это неразумное желание видеть тебя, иметь тебя в своей близи, прижаться к тебе, отдаться твоим поцелуям. Я так привыкла к твоим ласкам последнее время, что как-то неохотно посылаю тебе свои поцелуи, мне не хочется давать, мне хочется лишь принимать и умирать от твоей страсти. Но, милый, замуж я за тебя все-таки не хочу! это мой refrain[1]. О, как мне хорошо! не портит даже настроения мысль о будущем. Ведь будущим живут лишь глупые! Пусть московские и петербургские афиши разглашают мой роман. Я пока не в их руках, я свободна, как 4 ветра, и я смела и энергична, и готова бороться каждым атомом существа. Милый, не сердись на меня. Давай любить друг друга вдали, как любили вблизи. Итак, ты едешь в Россию! А меня еще звал в Берлин! Милый, возвращайся скорее. Моя мысль и чувство будут с тобою и с твоей матерью[2]. Быть может, тебе удастся убедить ее в том, что ты теперь лишь вполне счастлив (правда, гадкий, отвратительный?), и она как твоя мать поймет и не будет чрезмерно горевать о разрушенном законном семейном очаге!

Милый, вернись скорее, работай усердно, чтобы мы могли больше времени отдавать любви, когда мы будем вместе, опять и так вполне и безраздельно вместе!

А твоей теще я не верю ни в чем и не считаю ее искренной и доброжелательной ни тебе, ни мне. Ее многоречивость по этому пункту доказывают неискренность <так!>.

Милый, не могу более писать, голова кружится, т.к. я не совсем здорова, зато гений наш еще на звезде, где ему, конечно, несравненно лучше, чем на нашей планете.

Об импрезе[3] ни слуху ни духу. В Понед<ельник> или Втор<ик> 20 или 21-го выезжаю, если не будет до тех пор дебюта.

Целую, обнимаю, твоя, твоя

Лидия.

Конверт с флорентийским штемпелем 12.5.95. Переадресован на адрес: 14/5 Rathenowerstrasse 45 IV bei Loewenheim.

[1] Припев, рефрен (*фр.*).

[2] Александра Дмитриевна Иванова (1824—1896).

[3] От *ит.* impresa, ангажемент.

## 67. Зиновьева-Аннибал — Иванову.
*1/13 мая 1895. Флоренция*

*13 Мая 95 г.*

Дорогой возлюбленный! получила твое второе письмо! Когда мы будем вместе, я передам тебе твои письма, так как я боюсь держать у себя эти горящие страстью строки.

Когда передаешь свою страсть перу и изображаешь ее на бумаге, то точно вводишь какого-то свидетеля в свою тайну, ту тайну, которая так прекрасна вдвоем. Ты понимаешь мою мысль. Словом, когда я читаю твои письма, то чувствую, как краска заливает мои щеки, а между тем и я желаю взять твои ласки, быть может, не менее горяче <так!>, чем ты их давать. Но мое перо не настраивается под такт чувству, и я не могу выразить свою любовь и страсть на бумаге. Это странно! ведь писала же я пламенно, когда ты был в Риме. Но лишь до моего приезда туда. После того, как я стала твоею, мое красноречие всё испарилось, а твое расцвело! Я сама не понимаю, почему, но я теперь умею только целоваться, а описывать поцелуи разучилась, и придется тебе ждать той минуты, когда мы опять окажемся одни, скрытые от всего мира, чтобы ощутить огонь моей любви к тебе. Мне очень не по себе сегодня, потому что сегодня ты получишь письмо мое, в котором я делаю тебе выговоры. Как глупо! Но ведь ты просил искренности, и я не скрыла своего тогдашнего настроения, быть может, и несправедливо навеянное письмом <так!>. Милый, я решила исполнить слово, данное тебе[1], по духу, а не по букве, и потому не пойду к итальянскому лекарю, а в Париже обращусь к хорошему врачу по горловым и по внутренним болезням. Согласен? или из самолюбия будешь настаивать на букве? Т.к. до сих пор Scam<u-

zzi> не является, хотя и обещал при первом новом течении в делах impresa: «<нрзб> da me, si come il vento!»[2], то я и предполагаю, что надо lasciare ogni speranza[3] и выехать в Понед<ельник> или *максимум* во Вторник.

Вчера отослала длинное письмо Гревсу[4]. Мне было тяжело думать, что он уехал от меня с впечатлением о моей растерянности и двойственности, поэтому я горяче <так!> высказала ему, что эта двойственность, до ужаса пугавшая меня, оказалась переходным состоянием, навеянным, кстати, так сильно пережитым и тем, что те свойства моей натуры, которые я давила всю жизнь, внезапно страстно и непобедимо запросили жизни. Когда же я оглянулась вокруг себя и поняла, что с этою двойственностью жизнь для меня будет лишь сплошным ужасом, то я нашла в себе и прежнее мужество и покой души. Я нашла твердую опору в самой себе, в том глубоком сознании, что без всяких принципов, без сентенций и нравств<енных> теорий для меня в жизни есть твердыня долга, которая родилась и выросла во мне и со мною органически, этот долг для меня прежде всего олицетворяется моими детьми и затем трудом моей жизни в той области, в которой я могу дать больше всего. Сознав вполне это, я могу свободно давать волю жажде счастия, которое во мне так мятежно рвется наружу, т.к. никогда не доведет меня эта жажда до уничтожения во мне органической, непоколебимой основы жизни-долга. В том, что я взяла любовь, принадлежавшую мне роковым образом, и ровок<ым> образом потерянное для другой, в этом я права, и жертвовать этим счастием было бы бессмысленным самоубийством. На любовь свою я смотрю, как и всякая женщина, как на высшее счастие, тепло и свет, согревающий и освещающий жизнь, и пока длится любовь, она накладывает на меня свои серьезные обязанности, кот<орые> вытекают из нее органически. По поводу тебя я сказала: «Мне кажется, что есть два рода фразеров: Рудины[5] и Ивановы. Первые хуже своих фраз, вторые неизмеримо лучше!» Затем я просила Мар<ию> Серг<еевну> сказать свое искренное мнение: желает ли она моего соседства и моей дружбы на это лето, я написала так: «Хотя я не считаю себя виноватою ни перед совестью, ни перед людьми, но признаю и уважаю искренние убеждения друзей, поэтому сумею принять мнение Мар<ии> Сер<геевны> без обиды или злобы». Письмо вышло очень горячим, и искренним, и гордым. Затем имею сообщить, что наполовину уже

проштудировала роль Orsini в «Lucrezia Borgia»[6]! Смейся, гадкий, отвратительный. А я вовсе не пантера, а просто Lidia Lidina, и целую тебя, и думаю и мечтаю о тебе.

Твоя Лидия.

Очень тороплюсь.

Конверт с адресом фр. Лёвенхайм. Штемпели: Firenze. 13.5.95 — Berlin. 15.5.95

[1] Речь идет об обещании посетить доктора. См. п. 57.

[2] <Нрзб>, как ветер (*ит.*). «Da me» вне контекста перевести невозможно.

[3] Оставить всякую надежду (*ит.*). Отсылка к знаменитой формуле «Божественной комедии»: «Lasciate ogni speranza voi ch'entrate» («Оставь надежду навсегда, сюда входящий»).

[4] Данное письмо неизвестно, однако представление о его содержании и характере дает ответное письмо Гревса (История и поэзия. С. 143—145) и М.С. Гревс (частично процитировано: Там же. С. 145).

[5] Герой одноименного романа И.С. Тургенева.

[6] Опера Г. Доницетти (1834).

## 68. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*2—3/14—15 мая 1895. Берлин*

*Берлин, 14 Мая*
*(Rathenowerstr<asse> 45)*

Дорогая моя! Я считаю в настоящее время наиболее правдоподобным следующее объяснение таинственных московских слухов. Донос твоего мужа о твоей поездке за границу «в обществе двух профессоров»[1] сделался ведом твоим многочисленным родственникам, тебе отчасти даже неизвестным, но тем не менее существующим и в Москве (примеры: Алферьевы, князья Девлет-Гильдеевы[2]), и повторяется, как эхо, в московских кружках, привыкших «интересоваться» тобою как личностью «экстравагантною», — приняв, конечно, более или менее фантастические формы. О твоей связи со *мною* нет речи; говорят только, что ты «не одна», и прибавляют, что *он*, к сожалению, человек женатый: ясно, что этот *он* не кто иной, как... наш бедный друг, Иван Михайлович[3], — или я ничего не смыслю в исторической критике! Чутье историка — если смею в скромной степени претендовать на таковое — побуждает меня питать доверие к показаниям моего источника, моей belle-mère, касающимся московских толков; я верю, что эти последние действительно дошли до нее, тогда как отнесение их к *нашей* связи есть уже дело ее собственного гения.

Итак, я позволяю себе надеяться, что о наших отношениях никто, кроме заведомо посвященных лиц, ничего не знает и что московские сплетни тебе вовсе не опасны. Что же до Анны Тимофеевны, я имею основания думать, что она сдержит свое обещание хранить тайну.

В воскресенье вечером она уехала в Москву, после проигранного ожесточенного сражения, имевшего целию захват и увоз дочери. Жена осталась со мной, по моему желанию, чтобы вместе отправиться на этой неделе в четверг, т.е. послезавтра, в Москву. Ехать с Анной Тимофеевной вместе я также отказался. — Кстати, отвечу тебе на твое обвинение. Слова, так неприятно поразившие тебя в моем первом письме, более, я полагаю, характерны для мужской логики, нежели для «мужской души»; а мужская логика единственно правильная, как ни непонятна она подчас женщинам. В отношениях моих с женой я, как и подобает, не выходил из области нравственных категорий и в этой области вел себя, по-видимому, корректно. Если же этот мой образ действий игнорируется и делается, без протеста со стороны жены, попытка насильственного вмешательства, то я, следуя за своими противниками туда, куда они меня призывают, оставляю сферу нравственных отношений для сферы отношений внешне-принудительных, т.е. для сферы юридической, и в ней [защи<щаю>] утверждаю свои права и защищаю свои интересы. Требование нравственно справедливое, но юридически несостоятельное должно быть удовлетворено; и оно же не заслуживает удовлетворения, доколе проводится средствами внешнего принуждения, а не выставляется как требование нравственного долга. — За обвинением следует у тебя заявление о твоем нежелании быть моей законной женою, а потом вопрос (который ты желала бы сделать мне лично, чтобы глядеть при ответе в мои глаза): люблю ли я тебя... О Лидия, мне даже в глаза твои не нужно смотреть, чтобы прочесть в них отрицательный ответ на тот же вопрос, если бы *я* вздумал предложить его *тебе*. Ответ этот написан в твоих словах: «je suis sur mes gardes»[4]. Ты знаешь сама, что *так* не любят. Но не упрекать тебя хочу я, или писать тебе «сердитое письмо» (которого ты боишься, как боятся докучного визита), или вызывать тебя на любовные уверения, а отмечаю только, что твое настроение понято и оценено: когда ты читала и перечитывала мое письмо, сердце твое закрывалось от меня, *ты меня не любила*.

Сегодняшнее письмо теплее. Я еду в Россию: спасибо за то, что будешь мыслью и сердцем со мною и моей матерью. Эти слова

меня трогают. Я еду главным образом для матери. Но ехать и нет охоты; а прежде я так об этом мечтал...

Прощай, Лидия, возлюбленная! Итак, наш гений еще не покинул, счастливец, —

Для горьких снов земли обитель горних нег[5]...

Прощай, дорогая! Целую тебя

Твой Вячеслав

PS. В Москву пиши так:

Е<го> В<ысоко>б<лагородию> Николаю Николаевичу Голованову[6].

Ильинка, Купеческий банк, —

с передачей мне.

*15 Мая, утром.*

Вчерашнего письма еще не отправлял, предвидя возможность замедления отъезда. Только что получил твое письмо — ответ на мое второе. Рад, что вчерашнее мое письмо вышло таким, что не заставит тебя краснеть и не явится в твоих глазах неприятным «свидетелем твоей тайны, которая так прекрасна вдвоем»[7], следовательно — докучным третьим лицом и неудобным для хранения документом. Кстати, кто просит тебя хранить мои письма? Рад также, что ты чувствуешь себя удобно и безопасно на твердой скале («твердыне») своего долга. Очень полезно найти «твердую опору в самой себе», если тебе приходится быть настороже[8] даже против самого близкого (?) тебе в настоящую пору человека. Рад наконец, что письмо твое Гревсам вышло таким «горячим, и искренним, и гордым»[9] — и вместе таким моралистическим и тошным *; Гревсам оно очень понравится, можешь быть спокойна. Благодарю за моралистическую рекомендацию моей особы, «meine moralische Ehrenrettung»[10], как сказали бы немецкие филистеры, которые теперь очень моральны. А твой «фразер» все невольно является enfant terrible в глазах своих этических ближних: мягкосердой теще он доказывает преимущества и красоты бессердечия, а пред нашей гостеприимной Frau Dr. Löwenheim, деятель-

* Пушкин говорил: «и кюхельбекерно и тошно»[13]. Жаль, что имя «Гревс» не допускает образования аналогичного прилагательного, но ты понимаешь мою мысль.

ным членом этического общества, защищает антихристовы идеи Фридриха Nietzsche. Относительно врача, согласен подождать, если ты едешь в Париж безотлагательно. — Получен ли ферратин[11]? — Голубые письма твои[12] кажутся мне в Берлине голубой, тихо журчащей водицей. Они очень прохладны. Правда, после Италии мне здесь вовсе не жарко; но вскоре это будет по сезону. Впрочем, для остужения внутреннего, сердечного жара они уже очень полезны; и во всяком случае утоляют на время мою страстную жажду тебя, твоей близости, твоей речи, твоих ласк. Твой В.

В Москву пиши на голубой бумаге (я все же люблю твои голубые письма); но конверты пусть будут лучше белые.

Ответ на пп. 65, 66 и 67. Конверт со штемпелями: Berlin. 15.5.95 — Firenze. 17.5.95. Рукой Зиновьевой-Аннибал на конверте карандашом написано: «В случае внезапной смерти прошу сжечь, [без] не читая». Фрагменты — История и поэзия. С. 145, 350.

[1] См. в письме В.Э. Гаген-Торна, сочувствовавшего Л.Д. и помогавшего ей в деле разъезда с мужем и дальнейшем регулировании отношений, от 23 октября 1894 г.:

Многоуважаемая

Лидия Дмитриевна!

В Канцелярии Прошений все так были заняты и взволнованы болезнью Государя, что мне лишь сегодня удалось получить обстоятельный ответ на интересующий Вас вопрос. Как оказалось по справке, К.С. уже успел донести Канцелярии, что Вы летом «бросили детей, оставив их на попечении одной прислуги, а сами уехали за границу с двумя какими-то профессорами». В Канцелярии это произвело очень дурное впечатление, и мой знакомый говорит, что в случае повторения подобного факта очень легко может состояться постановление в пользу передачи детей отцу.

После этих слов моего знакомого я даже ему не решился сказать, что Вы опять оставили детей на попечении прислуги в Pesaro, и думаю, что Вам безусловно не следует делать этого, а возить детей всюду с собою, или же поручить их, в крайнем случае, Вашей матери, так как против этого Канцелярия вряд ли будет что-либо иметь. Такая осторожность как по отношению к детям, так и вообще во всех других отношениях безусловно необходима в течение первых 2—3 лет, если Вы не хотите восстановить против себя Канцелярию. Теперь постараюсь ответить на Ваш вопрос относительно смысла некоторых постановлений протокола. По мнению Канцелярии, Вы имели право уехать за границу с детьми, но так как, на основании того же протокола, отец имеет право посещать своих детей два раза в месяц, то, ввиду невозможности выполнения этого условия, он может требовать от Вас сообщения сведений о детях. Поэтому, во избежание неприятностей, Вам следует один или два раза в месяц сообщать ему хотя бы самые лаконические сведения о месте нахождения детей и их здоровии. Читать детям его письма, конечно, никто Вас заставить не может. Так как подписанный им и Вами протокол основан на добровольном соглашении, то в юридическое толкование истекающих из него прав и обязанностей входить, разумеется, не приходится. <...> (РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 41. Л. 23—24 об). Под «двумя профессорами» имеются в виду И.М. Гревс и Л.А. Обольянинов, в сопровождении которых Л.Д. была в Италии летом 1894 г. К этому же обвинению относится гневная реакция И.М. Гревса в письме к Л.Д. от 28 ноября / 10 декабря 1894: «Поступком К.С. я был положительно возмущен — только настоящий негодяй может ре-

шаться на ложные доносы. <...> В первую минуту я хотел написать ему, что он подлец, но потом решил воздержаться, опасаясь, что это может как-ниб.<удь> Вам повредить» (История и поэзия. С. 116).

[2] По справочнику «Вся Москва» (1901) мы обнаружили коллежского советника Ефима Ивановича и коллежского асессора Павла Ивановича Алферьевых, княгинь Евдокию Филипповну и вдову полковника Анну Андреевну Девлет-Кильдеевых <так!>. В справочнике 1895 года они не значатся.

[3] Гревс.

[4] Я на страже (*фр.*). См. п. 65.

[5] Из стихотворения Иванова «Сны» (I, 609—610).

[6] Н.Н. Голованов (1867—1938) известен как автор двух книг: Юлиан-отступник: Героическо-романтическая фантазия на историческую тему. М., 1904; Искариот: Драма. М., 1905. О его деятельности как переводчика см. сведения в «Живом журнале» В. Симанкова: http://simankov.livejournal.com/26367.html.

[7] Цитата из п. 67.

[8] Подразумевается п. 65, где Зиновьева-Аннибал говорила: «Je suis sur mes gardes».

[9] Цитата из п. 67.

[10] Спасение моей моральной чести (*нем.*).

[11] См. п. 62.

[12] Большинство писем Зиновьевой-Аннибал этого периода написано на голубой бумаге и вложено в голубые же конверты, однако время от времени из-за нехватки письменных принадлежностей она использовала белые бумагу и конверты.

[13] Из приписываемого Пушкину четверостишия «За ужином объелся я...».

## 69. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *4/16 мая 1895. Берлин*

*Берлин 16 Мая*

Итак, сегодня вечером я выезжаю в Россию... Как долго ждал я этого дня! Как мечтал о нем! А когда он настал, мне тяжело и тоскливо на душе, и я охотно остался бы по сю сторону «рубежа», если бы «в покорной тоске» не ждала меня *там* старуха-мать[1]. Как жутко ехать в Россию! Словно из светлого мира божьего <так!> уходишь в киммерийскую ночь...[2] Ты знаешь, что я не люблю либеральных фраз; но в течение девяти лет и особенно в течение последних четырех из них я чувствовал себя слишком свободным, чтобы не чувствовать живо всей унизительности возврата в отечественное *подданство*. Дай Бог, чтобы пришлось увидеть за рубежом побольше отрадных явлений, чтобы родина понравилась мне, а я родине. Быть может, дым отечества усладит меня[3]; но сегодня я тоскую, расставаясь с гостеприимною почвой старой культурной Европы. Сегодня я в грустно-лирическом настроении

и потому пишу тебе. Ты понимаешь меня; ты меня любишь. Тебе — последние строки того долгого и, несмотря на все блуждания, благодатного периода моей жизни, который научил меня, что своим и родным можно называть только свое и родное *по духу*. Прощай, родная Европа, и пусть будет мне определено судьбою скорое и радостное с тобою свидание.

И ты, Лидия, будешь далеко-далеко от меня. Вести от тебя будут доходить до меня поздно... И сегодня я не имел твоего письма: это значит, что буду лишен его еще ряд дней...

Скорее освобождайся, милая, от своих парижских дел; я также не засижусь в Москве. Скорее устроим наше свидание! Мне тяжело без тебя. Прощай. Посылаю тебе бесконечные страстные поцелуи. В.[4]

Адрес
Николаю Николаевичу Голованову
Москва, Ильинка, Купеческий банк — с передачей мне.

Не полностью — История и поэзия. С. 350. Конверт со штемпелями: Berlin. 16.5.95 — Firenze. 18.5.95.

[1] «Где нас в покорной тоске ждет престарелая мать» — из стихотворения Иванова «Laeta, II» (I, 638).

[2] Выражение, восходящее к «Одиссее»:

> Скоро пришли мы к глубокотекущим волнам Океана;
> Там киммериян печальная область, покрытая вечно
> Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет
> Оку людей там лица лучезарного Гелиос...
> .....
> Ночь безотрадная там искони окружает живущих (XI, 13—16, 19; пер. В.А. Жуковского). Ср. в русской поэзии:
> Вновь твои я вижу очи —
> И один твой южный взгляд
> Киммерийской грустной ночи
> Вдруг рассеял сонный хлад... (Ф.И. Тютчев, 1849).

[3] Известное в русской поэзии выражение обычно возводится к «Горю от ума» («И дым отечества нам сладок и приятен»; д. 1, явл. 7), а через него к «Арфе» Державина. Однако Иванов несомненно знал и его античные аналоги. См.: *Ерофеева Н.Н.* О культурной толще крылатого выражения «Дым отечества — сладок» // Диалог культур: Материалы научной конференции «Випперовские чтения — 1992». М., 1994. С. 77—87.

[4] Диагонально по отношению к последним двум строкам письма о «бесконечных страстных поцелуях» имеется четыре значка в виде больших и неровных точек. Видимо, таким образом изображаются поцелуи.

## 70. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*5/17 мая 1895. Флоренция*

*17 Мая 95 г.*

Гадкий! за что ты прислал мне после трех дней мучительного ожидания такое колкое насмешливое письмо! Гадкий, гадкий! О гадкий! И представь себе, что из всего запаса твоих едких нападений затронуло меня лишь одно. Быть может, потому что это лишь одно из всего письма имеет в себе одну иоту правды? Впрочем, вряд ли. А правда глаз колит <так!>. Это твое гордое, дерзкое, нахальное заявление, что лишь одна логика существует, т.е. мужская. Представь себе, как я глупа: ведь я воображаю, что и мне присуще думать и поступать логично, и что я даже люблю логику и с нею в очень коротких отношениях. Вот дура-то! А оказывается, что лишь мущины способны понимать логику, а я, увы, лишь глупая и самомнительная баба. Прости, мой дорогой и вечно логичный мущина, прости мне мою дерзость!

Итак, это задело меня. Что же касается остального, то я удостоила бы письмо твое смехом своим, если бы, о отчаяние, ты не был бы уже в Москве или неподалеку от нее. О да, если бы ты, возлюбленный, был в Риме, то я смеялась бы, весело смеялась. Ведь я же знаю, мой милый, что ты во всем не прав в своем суждении о моем настроении и чувствах к тебе. Я чувствую лишь одно, что я страстно желаю видеть тебя, целовать тебя, говорить с тобою, быть твоею душой и телом. Но так как это невозможно, то я посылаю тебе ежечасно, ежеминутно свою мысль, свое горячее чувство, и я желала бы, чтобы ты ощущал мою душу всегда с тобою во всякой радости и заботе твоей. Ты меня обвиняешь, мой гадкий, в том, что я написала, что je suis sur mes gardes, но, mon cher amant, tu sais bien que je ne l'ai jamais été envers toi[1]! Брось разговоры о словах. Мы оба дали друг другу так многое, так многое положили к ногам нашей богини Венеры, что можем только стремиться к еще большему и большему. И я теперь живу лишь будущим и прошлым, поэтому я должна бы быть глупой и бедной по собственному определению. Но я не считаю себя таковой, т.к. я счастлива прошлым и верою в будущее. Я верю в наш Берлинский медовый месяц! Да, он будет первым истинным медовым месяцем нашей любви, т.к., наконец, нам предстоит вполне и безраздельно принадлежать друг другу много, много дней подряд.

О, давай доживать скорее, скорее до той минуты, когда еще раз поезд примчит меня в твои объятия. Мой дорогой, любимый, что делаешь ты, каково тебе на душе, кто вокруг тебя, каковою оказалась твоя мать духовно и физически! Горько или радостно было ваше свидание? Дорогой, вся душа моя с тобою, но как далеко, как далеко! и еще так недавно мы могли шептать друг другу ласковые речи в «немой и страстной жадности?»[2] Милый, когда написал ты это стихотворение? Подал ли ты диссерт<ацию> в Берлине[3]? Напиши еще о своей жене всю правду, как ее настроение и здоровье. Милый, не забывай меня на родине, не изменяй мне, не возвращайся к старым страстям и не бросайся в новые. О, напиши мне еще, как писал первые письма. О пусть лучше я краснею, но жадно читаю и перечитываю твои строчки. Гадкий, неужели ты думаешь, что я могу уничтожить хотя одну строчку твоего письма? Милый, пиши чаще, без письма твоего на моем горизонте не встает ясное солнце и жизнь кажется бледной и пустой. Во Вторник 21-го назначен день отъезда в Париж, но еще до последнего дня, т.е. до самого Вторника я не буду знать, не останусь ли я дебютировать. Впрочем, надежды почти punta[4], поэтому пиши уже в Париж poste rest<ante>[5]. За железо спасибо[6]. Здоровье мое крепнет, кашель пока не возвращается, но в Париже обращусь к доктору, не сердись. Милый, прощай, пока еще надолго. Мое настроение, вне мыслей о тебе, очень деловое и рабочее, но надеюсь не слишком долго провозиться с Carmen[7] и затем, пробыв недели две со своими детками, помчаться в Берлин. Но я не хочу жить в разных комнатах и скрываться от хозяйки. О, как я хочу полной, беспрепятственной близости, как мне надоело притворство! Милый, прощай, пиши. Обвиваю твою шею, прижимаюсь к тебе и жадно целую твои губы. Прощай, отвратительный. Твоя, твоя.

Ответ на п. 68. Отправлено в Москву на адрес Н.Н. Голованова (см. п. 69), как и дальнейшие (пп. 72—76, 78—79). Штемпели: Firenze. 18.5.95 — Москва. 19.V.1895.

[1] Я на страже, но, мой дорогой возлюбленный, ты прекрасно знаешь, что никогда этого не было по отношению к тебе! (*фр.*)

[2] Источник цитаты не установлен.

[3] Диссертации Иванов не подал.

[4] Никакой (*ит.*).

[5] До востребования (*фр.*).

[6] См. пп. 62 и 68.

[7] Партия героини из одноименной оперы Ж. Бизе.

## 71. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*6/18 мая 1895. Варшава*

*Варшава 18/6 Мая.*

Дорогая, возлюбленная! Вот я и переступил рубеж и свои первые строки с родной почвы, так же, как последние строки, написанные мною по ту сторону рубежа, богомольно посвящаю изложению своего любовного *credo*: Лидия, люблю, люблю, люблю...

Милая, где ты? Как часто я тоскую по тебе! Застанет ли тебя это письмо еще во Флоренции? Когда дойдет до меня весть от тебя?..

Ach, um deine feuchten Schwingen,
West, wie sehr ich dich beneide!
Denn du kannst ihr Kunde bringen,
Wie ich in der Trennung leide...[1]

Границу переступил я не без радостного волнения. Первые впечатления были очень благоприятны. Родной язык звучал мягко и приветливо, в несколько странных с непривычки по своей фамильярности оборотах добродушной и простоватой русской беседы. Славянский тип и характер производили впечатление мягкости. Никто притом не теснил нас и к нам не придирался. Скудость и некоторая беспорядочность внешней обстановки в соединении с добродушною распущенностью людей напоминали, [после] при переходе от германской дисциплины и строгости, пограничные аванпосты дорогой Италии. Но я все же еще не в России, как ни стараются убедить меня в противоположном мундиры русских жандармов и русские надписи на железнодорожных станциях и на вывесках варшавских магазинов. Самая Варшава город чисто западный, и, говоря по-русски, [не имеешь чувства] сознаешь, что говоришь не на языке страны, а на языке чужом и искусственном: такое чувство испытывал я в Италии, говоря по-французски. Хочется овладеть польским языком и говорить с туземцами по-польски. Мы живем у моей тетки, милой и умной старушки, на которую мне больно смотреть, потому что я застал ее уже [почти] слепой, могушей различать только свет и мрак, и у ее пасынка, Вл<адимира> Ив<ановича> Беляева[2], профессора-ботаника, в Помологическом[3] Саду, которым он заведует. — Конечно, нам рады, показывают нам город, угощают и занимают нас, вспо-

минают мое детство и юность, радуются на Сашу и, как кажется, на наше семейное благополучие. Мы оба должны были, приехав сюда в пятницу, остаться до воскресенья; но завтра, в воскресенье, пустимся в дальнейший путь, в Москву, куда меня влечет нетерпение увидеть мать. Владимир Иванович — человек мягкий, сердечный и глубоко культурный; но — «недоступная черта меж нами есть»[4]... Наши мировоззрения совершенно различны.

Вот тебе короткая весть обо мне. Когда-то получу я твои дорогие строки? Лидия, пиши по крайней мере чаще, если судьба так далеко развела нас.

О, как бы я прижал тебя теперь к своей груди, моя пантера! Как бы я ласкал тебя!.. А ты — любишь ли меня еще, думаешь ли часто обо мне, тяготишься ли разлукой, замышляешь ли ускорить свидание... или....

Прощай, некогда писать больше

Твой Вячеслав

/ Москва Н.Н. Голованову
Ильинка Купеческий банк,
с передачей мне./

Фрагмент — История и поэзия. С. 350. Конверт со штемпелями: Варшава. 7.V.1895 — Firenze. 22.5.95. Из Флоренции письмо переадресовано в Париж, до востребования.

[1] Четверостишие из стихотворения возлюбленной Гёте Марианны фон Виллемер «К западному ветру», которое долгое время приписывалось самому Гёте. В прозаическом переводе: «Ах, твоим влажным крыльям, / Западный ветер, как я завидую тебе, / Потому что ты можешь принести ей весть о том, / Как я страдаю в разлуке».

[2] В.И. Беляев (1855—1911) — русский ботаник-морфолог, профессор Варшавского университета (1891—1899).

[3] То есть саду, занимающемся разведением и изучением яблок.

[4] Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Под небом голубым страны своей родной...» (1826).

## 72. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*6—7 / 18—19 мая 1895. Флоренция*

*Флоренция*
*18—19 Мая 95*

Дорогой Вячеслав! Неужели после твоего гадкого письма[1] мне придется ждать много, много дней ласкового слова. Представь

себе, что несмотря на возмутительное содержание твоего письма, несмотря и на то, что еще так недавно я слышала твою живую речь, итак, представь себе, что я читаю и перечитываю это письмо. Уже прочитала его 4 раза и сейчас собираюсь лечь спать и в постели прочитать его в пятый раз. Etes-vous flatté, monsieur[2]? Я надеюсь, т.к. вообще я ненавижу перечитывать письма, и не знаю, перечитала ли я во всю жизнь письмо от какого бы то ни было друга.

Что ты там делаешь? Мне как-то трудно представить тебя, мой возлюбленный, там, в далекой Москве, в среде твоих давно не виданных тобою родных и друзей. Я горько размышляю о том, что старое былое нахлынуло на тебя и все эти люди и впечатления юности стерли с души твоей мой образ. Дорогой возлюбленный, прошу тебя опровергнуть меня, если я не права.

. . . . . .

Вячеслав, вообрази, как я права, говоря, что довлеет дневи злоба его[3]. Располагала я лечь спокойно спать, окончивши письмо, и вместо того, на том последнем слове до отрывка внезапно со страшным подземным гулом весь дом точно с места сорвался, мебель сдвинулась с места, картины слетели со стены, а у меня было ужасное, ни с чем не сравнимое ощущение, что меня бросает беспомощно взад и вперед. Это продолжалось не более ½ минуты, но пережито было миллионы жгучих ощущений, из которых сильнейшее черный ужас! Это не страх, потому что во время ужаса ничего не боишься, а это какое-то одуряющее отчаяние, заставляющее понять, что сейчас все кончено и только бы скорее...

Я бросилась к матери и говорила какие-то нелепые слова, успокоила <1 или 2 нрзб> старуху, с трудом волочащую ноги, вбежала в детскую и с Козликом[4] в охапке и с матерью под руку принялась спускаться по лестнице или, вернее, сползать, т.к. бедная мама еле могла двигаться. Старшие два плачут от ужаса, так как и их и Анюту просто с ног сбил толчек <так!>. Выбравшись на улицу в очень легком костюме, принялись прикрывать детей. Здесь только мы вполне поняли, какой ужас пережили. К квартире наше<й> мы чувствовали такое отвращение, что потащились в сад fortezza[5] и там на скамейках провели ночь до рассвета. Первый удар был в 9 ч<асов> вечера, второй в 11. Третьего пока не было. Теперь только что добрались домой в самом жалком виде, и я пишу еле живая, т.к. и устала, и сердце силь-

но болит. Я ненавижу землетрясения. Укладываем сундуки и завтра же выезжаем.

Милый, кончаю письмо. Очень не хочется умирать, когда здесь меня грела твоя любовь. Я так счастлива, о возлюбленный, не хочу я смерти, кот<орой> столько раз жаждала.

Твоя всем существом

Лидия

Целую много раз, и страстно, возлюбленный. Прости, но конверта иного нет.

Милый, целую, целую.

Конверт с флорентийским штемпелем 19.5.95, московский неразборчив. В конце единицы хранения приложены вырезки из итальянских газет о землетрясении, происшедшем 18 мая в 20.53.

[1] Имеется в виду п. 68.

[2] Вам это льстит, сударь? (*фр.*)

[3] Мф. 6: 34.

[4] Домашнее прозвище младшего сына, К.К. Шварсалона.

[5] Крепость (*ит.*).

## 73. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*12/24 мая 1895. Люцерн*

*Lucerne*
*24/12 Мая 95*

Дорогой, возлюбленный, наконец дождалась я возможности сесть за стол и написать тебе, как тоскую я по тебе и как живу лишь мыслею <так!> о предстоящей нашей совместной жизни. Париж, Гревсы, Carmen, океан — всё это для меня почти равнодушные аксесуары <так!> этих недель, долгих и одиноких, которые приходится прожить так или иначе врозь с тобою. Из всего, что ожидает меня в ближайшем будущем, всего больше трогает меня встреча с Алымовой, и то потому, что я, наконец, могу вслух произнести твое имя и не должна скрывать нашу связь с тобою. Милый, вот уже неделя, что я не имею слова от тебя, и скоро ли еще увижу твой почерк? Да и когда увижу, что скажут мне эти мертвые черные знаки, начертанные много дней назад тобою? Что делаешь ты? Каково на душе?

Каково было твое первое впечатление России и каков получился осадок на душе всего целого новых и воскресших старых впечатлений? Какую роль играет в твоей теперешней душевной жизни образ твоей далекой подруги? Читал ли ты в русск<их> газетах о флорент<ийском> землетрясении[1] и как ты думал обо мне при этом? Я удивляюсь на себя. Я не боюсь и никогда не пугаюсь никаких опасностей, я бравирую их на лошади, на море и перед людьми всякого рода, но гроза и подземная работа земли производит на меня потрясающее впечатление, и я испытываю ощущения совершенно декадентские: безмерный ужас и безмерное наслаждение этим ужасом, и я опять жажду ощутить это жуткое содрогание земной коры, заледенившее мне сердце в ту ночь. Мы выехали стремительно из Флоренции в Воскрес<енье> 19-го и с тех пор скитаемся по итальянск<им> озерам. Теперь живем в Люцерне, а завтра мать едет в Россию, а я в Париж, где буду уже в Воскр<есенье> утром. Во время пути мне приходилось очень круто: 3 детей и старуха бестолковая и больная. Пришлось так много говорить и распоряжаться, что голос совсем спал, но кашель окончательно исчез и здоровье отличное. Я пишу тебе, а рядом только что проснулись (11 ½ час.) «молодые» и страшно влюбленные Итальянцы. Они начали с того, что потребовали себе какого-то вина и превесело хохочат <так!> в своей спальне. Ну, прощай, прощай, дел масса, забот уйма. О Берлин, Берлин, не чаяла я вздыхать по тебе! Италии сказала лишь a rivedere[2], но не addio[3], и всё-таки сердце ёкнуло! Милый, целую тебя со всею негою и страстью только что покинутой чудной страны.

Твоя Лидия.

Кстати, меня интересует твой Голованов. Кто он? У него ты живешь? Я точно слышала о нем[4].

Конверт со штемпелями: Ambulant. 24.V.95 — Москва. 19.V.1895.

[1] Известия о землетрясении в различных русских газетах — нами были просмотрены «Новое время», «Биржевые новости», «Новости и биржевая газета», «Московские ведомости» — были практически идентичными (со ссылкой на сообщение агентства «Стефани»). Приводим извлечения из них: «Рим, 6-го (18-го). Вчера во Флоренции было сильное землетрясение, которому предшествовал подземный гул, длившийся около пяти секунд. Встревоженное население покинуло дома. Пока ничего не известно о несчастиях с людьми <...> Флоренция, 7-го (19-го). Жители провели ночь на улицах. Около 11 часов вечера был чувствуем еще слабый подземный толчок, причинивший незначительные повреждения в городе и окрестностях. Несколько человек легко ранены; овладевшая населением паника возрастает» (Новое время. 1895. 8 (20) мая). «Из окрестностей города получаются неясные известия.

В Грассине обрушилось 40 домов, в Сан-Мартино рухнула церковь, в Лепаджи под развалинами обрушившихся домов погибло несколько человек, число же раненых не приведено еще в известность» (Там же. 9 (21) мая). «Успокоенное население возвратилось в свои жилища. Землетрясением причинены некоторые повреждения в Museo nationale, в Galleria degli Uffici и в прилегающих к городу виллах. В окрестностях города повреждения гораздо значительнее, чем в городе» (Там же. 10 (22) мая). После этого сообщения известия о последствиях землетрясения пропадают.

[2] До свидания (*ит., с неточн.*).

[3] Прощай (*ит.*).

[4] См. п. 68, прим. 6.

## 74. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*13/25 мая 1895. Париж*

*25 Мая.*

Дорогой друг! привет тебе из Парижа. Пишу на почте. Гревса еще не видала, но нашла от него письмо[1]. Мое письмо ему не понравилось, и он продолжает говорить неизменно то же. Иду сейчас к ним. Пошлю тебе его письмо. Он на тебя обижается за молчание. А нам он всё пророчит несчастие! Но это вполне зависит от нас, по-моему. Пока я очень счастлива и тебе того желаю. Париж, кажется, прекрасен. Остановилась в дешевой гостинице и скоро надеюсь устроить семью в деревне. Целую тебя жарко и остаюсь твоей

Лидией.

Закрытка с парижским штемпелем 26 мая 1895.

[1] Письмо от 6/18 мая 1895 (История и поэзия. С. 143—145).

## 75. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*16/28 мая 1895. Париж*

*Paris. Rue Desbordes Valmore*
*28 Мая 95*

Мой возлюбленный, вот уже третий день в Париже.

Настроение отвратительное, хотя разумно бодрюсь. Начну с деловой стороны. Покончив со всеми хлопотами installation [1], я сегодня лишь с большим трудом отыскала professeur Mme Padilla[2]. Она живет на rue Prony, довольно шикарная улица, в соб-

ственном доме в 3 этажа, весь занятом <так!> ею. Шик страшный. Приняла меня величественно и приказала <?> петь. Я пела Amor из Carmen и произвела на нее очень невыгодное впечатление. Это я тотчас заметила. Она сказала, что голос для grand opéra[3] слаб и что надо travailler beaucoup[4]. Я была совсем «не в голосе», и единственное мне утешение это собственное сознание, что я пела скверно. Мой голос переутомлен чрезмерною работою во Флоренции и теперь заржавел во время этого тревожного путешествия avec enfants et ailecule <?> (кажется, неграмотно написала)[5]. Плата за уроки громадная, но зато одно утешение, она едет на дачу вблизи Парижа и берет с собою учениц, желающих продолжать. В четверг будет первый урок. О Боже, неужели мой голос плох! О жалкое существо, положившее всё в одно и с минуты на минуту ожидающее полного падения. Я, кажется, не переживу этого удара. Я не выдержу этой неудавшейся жизни, падения всех моих упований. Я не соглашусь сойти на нуль, на жалкое существование ничтожного паразита, сознающего на себе неоплатный коллосальный <так!> долг перед собратьями. Мои убеждения ответственности каждого перед всеми слишком глубоко проникнули мою кровь. Ужас жизни слишком близко прикасался ко мне, и я могу сносить жизнь, любить ее, пользоваться ею и ее блаженством лишь если я чувствую, что я исполнила то, что моя природа предназначила мне исполнить, а не изломала и не исковеркала себя. После тщетных метаний и замыслов я, наконец, напала на то, для чего, казалось, была создана, больше: я возмечтала писать и творить, я вышла из колеи средних людей. Я поставила: пан или пропал. Да будет так. Да, пан или пропал. Назад хода нет, а если моя ставка рухнет, то ничто уже не спасет меня, и даже любовь. Неужели тогда подлый инстинкт самосохранения не даст не поднять руку на то, чтобы уничтожить это дутое, нелепое, неправое существование? Нет. А если да, о тогда брось меня, ненавидь, презирай. Мой друг, прости, всё это вышло неожиданно, всё вылилось помимо воли. Молчу, но клянусь, что не лгу и не преувеличиваю.

Дальше — Гревсы. В смысле корректности их отношения хороши. Они сделали всё: И.М. встречал меня в 6 часов утра и т.к. попал не на тот вокзал, то прождал часа 4 напрасно. Когда я, уже после того, как остановилась в гостинице, приехала с детьми к ним, то была встречена и дружески и любовно. И.М. со мною

ходил отыскивать пансион. М.С. была ласкова. Но, но между нами порвалось и порвалось навсегда. О Вячеслав, я чувствую, что И.М. чуть ли не ненавидит меня, ибо во мне видит врага тебя, а тебя он любит. И не это так горько, что я не могу и не хочу высказать. Я только теперь поняла, как я любила И.М. и как меня тянуло к М.С. Они оба мне так дороги, так близки, что когда я пишу эти строки, из глаз моих струятся слезы. Они думают, что я счастлива, но увы, я не гений и поэтому я не обязана быть бессердечной, и мое сердце болит. О прости, прости, но если бы было возможно вернуть тебя Д.М. и меня моему тоскливому одиночеству — я, быть может, оказалась бы «героем» и простилась бы с нашим золотым сном.

Прощай, я устала. Перо такое скверное, что пишу отчаянно. *Отчего ты не пишешь, отдал ли диссертацию и видел ли Г<иршфельда>[6] в Берлине*? Вернись скорее в Берлин. Целую тебя, возлюбленный.

Твоя Лидия.

Я на океан к детям не попаду, а прямо после уроков поеду до Милана в Берлин.

Ради Бога, не сердись и не ищи* доказательства малой любви в моих словах, иначе я никогда не буду искренна.

Целую еще. О хоть бы увидать тебя скорее.

Конверт со штемпелями: Paris. 28 Mai 95 — Москва. 20.V.1895.

[1] Устройства (*фр.*).

[2] Mme Padilla — Marguerite Josephine Montagney Désirée Artôt (1835—1907), бельгийская певица, ученица Полины Виардо, выступала по всей Европе. На гастролях в России в 1868 г. обручилась с П.И. Чайковским (свадьба не состоялась.) Вышла замуж за испанского певца Mariano Padilla y Ramos (1842—1906). После блестящих карьер на сцене оба стали педагогами, с 1889 г. преподавали в Париже.

[3] Большой оперы (*фр.*). Вероятно, имеется в виду Парижская Grand Opéra

[4] Много работать (*фр.*).

[5] С чадами и домочадцами <?> (*фр.*).

[6] Отто Гиршфельд (1843—1922), крупнейший историк античности, профессор древней истории в Берлинском университете, научный руководитель Иванова. Подробнее о его роли в жизни Иванова см.: *Wachtel M.* Вячеслав Иванов — студент Берлинского университета // Cahiers de monde russe. 1994. T. XXXV, fasc. 1—2; История и поэзия (по указателю).

* В тексте: ищу.

## 76. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*17/29 мая 1895. Москва*

Scusa silenzio come medesimo
Baci ardenti
Venceslas[1]

Телеграмма с парижскими штемпелями 29 и 30 мая.

[1] Прости молчание я тот же пылкие поцелуи Венцеслас (*ит.*). В тексте телеграммы ошибка: вместо «scusa» — «skusa».

## 77. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*19/31 мая 1895. Париж*

*31 Мая*

Дорогой Вячеслав, что означает твоя телеграмма: «Scusa silenzio come medisimo» и т.д.[1] Я не думала сердиться, но не понимаю, почему ты молчишь? Это дурной знак, быть может. Я не понимаю. Друг мой, неужели новые впечатления изгнали меня из твоей души? Только, ради Бога, не скрывай ничего. Это грех. Je suis lancée dans le monde[2]. Получила через Гольштейна[3] приглашение на soirée intime[4] в редакцию «Magasine Intern<ationale>»[5]. Там увижу всяких знаменитостей муз<ыкального> и журн<ального> <?> мира и при их помощи выберу хор<ошего> профессора. А Padilla пока побоку. Если мне удастся понравиться и создать себе протекцию, то, быть может, решусь остаться до Янв<аря> в Париже и надеяться <?> на дебют во Франции. Алым<ова> приехала. Милый, отчего ты не пишешь? Я не плачу тебе злом за зло, т.к. жалею тебя и боюсь, что у тебя причина серьезная молчать. Что твоя мать? Что Д.М.[6]? И что твоя работа? Когда в Берлин? Я здесь пекусь в котле и ничего не поспеваю. Я все* не верю, что я в Париже и уже влюблена в него по уши. М.С. Гревс со мной в наилучших отношениях близкой дружбы, а И.М., кажется, ненавидит меня, и я просто боюсь его, такой он злой. Целую самым нежным образом, мой возлюбленный. Твоя верная подруга

Лидия.

* Начиная с этого места, написано поперек основного текста.

Закрытка. Штемпели: Paris. 31 Mai — Москва. 23.V.1895.

[1] См. п. 76.

[2] Я введена в свет (*фр.*).

[3] Владимир Августович Гольштейн (1849—1917) — врач, живший в Париже. Муж А.В. Гольштейн (см. п. 79, прим. 4).

[4] Интимный вечер (*фр.*)

[5] Зиновьева-Аннибал пишет название с ошибкой, к тому же употребляя женский род вместо мужского (должно быть: Magazin).

[6] Д.М. Иванова.

## 78. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*21 мая / 2 июня 1895. Париж*

*2 Июня 95 г.*

Вячеслав, я просто в отчаянии от твоего молчания, хотя вполне надеюсь, что когда ты получишь это письмо я уже буду успокоена вестями от тебя. Что может означать твое молчание? Или твою серьезную болезнь, или какое-нибудь несчастие, которое ты хочешь скрыть от меня.

Ведь не могу я допустить и мысли, что ты из индеферентизма <так!> мучаешь меня. Телеграмма ничего не объясняет и только делает молчание твое еще значительнее и таинственнее. Ты знаешь, что я не склонна придумывать ужасы и долго не допускала себя до этого, но со вчерашнего дня мне сделалось непреодолимо жутко. Я третьего дня проводила Марию Серг<еевну> с детьми на дачу. Она льнет ко мне с самой искренной дружбой, и мне это чрезвычайно дорого. Возвращалась с проводов с сердитым И.М. Он продолжает производить на меня замораживающее впечатление. Он точно избегает смотреть на меня и говорит или насмешливо или колко. Ужасно неприятно с ним видеться, и он точно злится на меня и не может сдержаться. Впрочем, не поручусь, что во всем этом впечатление <так!> не учавствует <так!> мое подозрительное самолюбие.

Вчера вечером была на вечере у издателей «Mag<azin> Intern<ational>», как писала тебе. Кстати, я писала через 2, 3 дня неизменно. На вечере было скучно, тесно <?>, жарко. Концерт был плохой. Народа масса, но никто не произвел <так!>. Зато я, кажется, покорила «страшного» Гольштейна, кот<орого> и М<ария> Сер<геевна> боится. Он зазвал меня после soirée[1] к себе чай

пить и просил прийти сегодня, чтобы петь solo и дуэтом с Вульфом, доцентом Варш<авского> университ<ета> и мужем Mlle Якунчиковой, пьянистки, у которой сестра художница[2]. Итак, пришлось уже завести costume de soirée[3]. С профессором пения все еще не решено. Mme Holstein[4] мне ужасно полезна и ввела меня в круг артистов, кот<орые> могут рекомендовать меня самой Viardot[5].

Думаю, что не удастся последовать за своей маэстра на ее ваканцию и поэтому в Июле я буду свободна и, навестив детей, к началу Августа приеду в Берлин, если мы оба будем живы. Ради Бога, не запускай свои письма мне, мой дорогой и горяче <так!> любимый друг.

Спешу по звонку к завтраку и остаюсь твоею
Лидией.

Целую тебя со всею нежностью и любовью.

---

Позже
Письма все нет. Целую еще.

Конверт со штемпелями: Paris. 2 juin 95 — Москва. 26.V.1895.

[1] Вечера (*фр.*).

[2] Речь идет о кристаллографе Юрии Викторовиче Вульфе (1863—1925), профессоре Казанского, Варшавского, Московского университетов, впоследствии члене-корреспонденте АН СССР. Его жена — Вера Васильевна Вульф (урожд. Якунчикова, 1871—1923), художница и пианистка, сестра художницы Марии Васильевны Якунчиковой (1870—1902). Отметим, что через два года, в 1897 г., М.В. Якунчикова вышла замуж за сына А.В. Гольштейн от первого брака Л.Н. Вебера.

[3] Вечернее платье (*фр.*).

[4] Александра Васильевна Гольштейн (урожд. Баулер; 1850—1937) — литератор, писавшая и печатавшаяся на русском и французском языках. С 1876 г. жила за границей, была близка к артистическим кругам французской столицы. В ее салоне происходили многие важные для истории русско-французских связей контакты, в том числе и Иванова (в частности, близкое знакомство с живописью О. Редона). Дружила также и с И.М. Гревсом. Отношения ее с Ивановым и Зиновьевой-Аннибал были то весьма тесными, то доходили практически до разрывов. Подробнее см.: Переписка с Гольштейн; «Обнимаю вас и матерински благословляю...» Приведем также последнее ее письмо к Иванову, которое при публикациях переписки не было разыскано:

9 июля, 1937
14, rue de Montmorency, Boulogne S/Seine

Здравствуйте, Вячеслав Иванович! Сколько лет, сколько зим не было между нами никакого общения... Кажется мне, что в последний раз мы написали друг другу после кончины, всегда для меня незабвенного друга Лидии...

Юлий Федорович сообщил мне, что Вы меня помните и относитесь ко мне с симпатией. Я очень тронута этим Вашим чувством и явилась у меня

прямо потребность сказать Вам большое спасибо, и сказать тоже, что Вас никогда не забывала, часто вспоминала нашу с Вами дружбу, а особенно Ваш совсем исключительный ум, многие Ваши суждения. Не сходились мы во многом. Но ведь это такие пустяки эти так называемые «убеждения». Идут годы, идет жизнь, всегда новая или иная, и с ней меняются «убеждения», потому что с годами люди начинают *думать,* и становится ясно, что *мысль* самое драгоценное преимущество человека. Совсем она не связана с убеждениями, в молодости навеянными со стороны.

Про себя рассказывать не стану — Вам все главное рассказал Ю.Ф. Всегда я была очень русская, а теперь, в большей старости (87!) стала еще больше русской. В этом и заключается, или этим образовались все перемены моих взглядов на вещи.

Если Вы отзоветесь и напишете мне, то прежде всего прошу сообщить мне все что Вы знаете о детях Лидии. Особенно меня интересует судьба «Кота», т.е. Кости Шварсалона. Хороший был мальчик. Его помню больше всех остальных.

Простите сию неприличную бумагу! Нет у меня почтовой, а хотелось написать сейчас же после рассказов Ю.Ф.

Может быть судьба нас сведет... Было бы приятно. Может быть свидимся в России. Неужели останется на свет Совдепия и не воскреснет Россия?

Крепко жму Вашу руку, еще раз благодарю за добрую память.

Александра Гольштейн

(Римский архив Вяч. Иванова. Коробка 3. Ед. хр. 62)

[5] Мишель Полина Виардо-Гарсиа (1821—1910), французская певица (меццо-сопрано), педагог, менее известна как композитор. Зиновьева-Аннибал брала у нее уроки пения, хотела написать биографию (об этом см. в письмах далее). В архиве Иванова сохранилось несколько записок Виардо к Зиновьевой-Аннибал (РГБ. Ф. 109. Карт. 14. Ед. хр. 57). См. также «Эпилог» в п. 90.

## 79. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *23 мая / 4 июня 1895. Париж*

О Вячеслав, я более не хотела писать, и я теперь не знаю, отошлю ли это письмо. Но не писать теперь, когда душа изнывает, я не могу. О, я знаю, что я не имею права жаловаться, ведь не *я* достойна жалости, а другая женщина, которая страдает так незаслуженно, и я повторяю, что часть, и лучшая часть моего существа с радостью отказывается от тебя и твоей любви ради нее, но только ради нее. Но, друг мой, моя беда в том, что я не так просто соткана, как Гревс, например. Понимая, и в конце концев <так!> даже, вероятно, находя в себе силы для честной и высокой жизни отречения, я тем не менее и понимаю и жажду иной жизни, жизни, в которой богато может развиться моя натура, жизни любви, юга, блеска, счастия, о счастия, которым я так умею захлебываться.

И опять рядом с разумом, с долгом встает этот непобедимый мятеж против силы, давящей меня, и опять, как в 19 лет, когда я рвалась на подвиг, я рвусь и задыхаюсь от жажды жить, гореть, испытывать и наслаждаться. Да, я такова. Дай мне счастие, и я, кажется, мир сдвину, но когда я должна отречься, все тоны бледнеют, взгляд тухнет, и я вяло влачу эту жизнь долга и тоски. И, истая женщина, я не вижу счастия вне любви и, истый человек, я не ставлю любовь единственною и высшею целью моего человеческого существования. Но я, как бабочка, жажду купаться в лучах солнца — любви, и сквозь лучи эти воспринимать весь мир со всею его бесконечною красотою и полнотою. Жизнь и любовь для меня связаны в одно, и без Венеры мир для меня мертв.

Теперь, Вячеслав, я страдаю, бесконечно страдаю. Только привычка страдать помогает мне выносить разумно эти мучения. Я встречаю день, каждый новый день, приносящий мне лишь новое горькое разочарование, слезами, а ты знаешь, что я плачу не легко, и эти слезы не облегчают, как свинец, ложатся они на душу до вечера, когда я засыпаю, согретая робкой надеждой на утро, для того лишь, чтобы проснуться еще раз обманутою.

Я пережила острый период ужаса за твою жизнь, когда твое молчание казалось мне признаком смертельной болезни. А с тех пор я то не выхожу из мучительного, больного недоумения, то впадаю в припадки возмущения и злобы. Твое поведение и оскорбительно, и жестоко, и просто бесчеловечно и непростительно. Какая, какая в мире разгадка может быть твоему молчанию. Мы были всем друг для друга, чем может быть человек человеку. О, как мы любили, как ненасытно сливались наши существа во всей полноте этого слова. Вместе нам мир казался шире, прекраснее и жизнь сияла ослепительным блеском. Мы были так дружны. Или это сон, всё сон... Что бы ни произошло в тебе и с тобою, ты клялся в одном: всегда сказать мне правду. О, зачем же ты молчишь? Разве я не горда и не сильна?

Я не могу больше писать...Но я прибавлю к прошлому письму лишь одно. Правда выше всего, никогда не основывай своих отношений ко мне хотя бы на самой гуманной подкладке. Если ты хочешь и можешь вернуться к жене и тебе тяжело говорить об этом — молчи, и я пойму. Но если это не то, если я для тебя то, что была, и помимо меня нет образа иной женщины в твоей душе, в твоих мечтах, о, ради всего святого, напиши мне, напиши мне всю правду, и отчего ты молчишь. Я, кажется, всё поняла бы и всё простила.

Но, повторяю, если ты можешь вернуться к старому — вернись и прощай.

Ничего, ничего не могу выразить пером.

Прощай.

Лидия.

Конверт с парижским штемпелем 4 juin 95, отправленный в Берлин по адресу фр. Лёвенхайм (берлинский штемпель неразборчив).

## 80. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*24 мая / 5 июня 1895. Париж*

Inquiete telegraphiez verite immediatement[1]

Телеграмма из Парижа в Москву. Помета о получении: 24 <мая> 1895.

[1] Беспокоюсь телеграфируйте правду немедленно (*фр.*).

## 81. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*26 мая / 7 июня 1895. Москва*

sono medesimo amandoti ardentemente sto bene parto domani[1]

Телеграмма из Москвы в Париж. Парижский штемпель: 7 juin. Среди писем сохранилась также телеграмма от имени Н.Н. Голованова на адрес А.В. и В.А. Гольштейнов со штемпелем 7 июня: «Bienportant samedi partira berlin golowanoff <В добром здравии субботу выезжает берлин голованов (*фр.*)>.

[1] Я такой же любящий тебя горячо у меня все хорошо выезжаю завтра (*ит.*). По-видимому, опечатка в слове «ardentemente»: в тексте телеграммы оно написано как «ardelemente». Ср. также п. 83, где Иванов приводит отрывок из данной телеграммы с верным написанием слова.

## 82. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*31 мая / 12 июня 1895. Париж*

*Париж*
*12 Июня 95*

Вячеслав, совершенно не знаю, что и как писать тебе, и в душе своей чувствую, что молчаливый твой разрыв со мною требует и от меня такое же молчаливое согласие на него, принятия его как fait accompli[1] и больше ничего.

Мотивы этого разрыва навсегда нашего Римского палящего и столь краткого романа мне совершенно неизвестны. Тем не менее я надеюсь, что нашла бы в себе достаточно гордости и самоуважения, чтобы молчать в ответ на твое оскорбительное молчание.

Есть только одно предположение, которое не только разрешает мне это письмо, но делает его желательным, почти необходимым.

С первой минуты сознательной жизни и до того часу, когда я впервые рядом с тобою вошла в стены нашего колизея <так!>, до того часу вся жизнь моя могла резюмироваться <так!> в одном: борьба со своею жизнерадостною натурою ради строгого, неумолимого служения идее самопожертвования людям. Свое девичество я посвятила мучительному аскетизму или, вернее, страстному стремлению к нему, вся жизнь моя замужем так полна борьбою, и трудом, и жаждою служить всецело идее, что я ни разу *не успела* углубиться в себя и спросить себя: люблю ли я действительно? знаю ли я личное счастие? Счастие казалось мне преступлением, впрочем. Когда я после разрыва с мужем тосковала по счастию до жажды самоуничтожения, то я сама осуждала в себе эти порывы, эту тоску, боролась с нею и с завистью и благоговением смотрела на тех, которые мне казались свободными от нее. Готовя себя к карьере артистки, ни разу я не подумала о блеске и славе серьезно, и целью моих усилий мне представлялся лишь труд, приходившийся мне по душе и по способностям.

Но эти долгие годы отречения от всякой заботы о личной радости, всё пережитое, со дня свадьбы обращенное в насмешку, вся жизнь без просвета счастия, и всюду долг, и долг, и одиночество, и отречение, и этот Рим, и Колизей, и ты, такой непонятный и заманчивый, такой близкий и далекий мне, — всё это совершило во мне какой-то странный переворот. Первую искру зажгла внезапно ясно испытанная мечта о славе, но для женского сердца, истерзанного и затоптанного, слава еще мало говорит. Флоренция разожгла едва тлевшую искру любви, заброшенную тобою в нашу первую встречу, Рим зажег жаркое пламя. И что сталось со мною? Как выразить, как объяснить тебе? Я сама не вполне ясно сознаю. Знаю только, что я была чиста, хороша, права, а теперь я только счастлива (т.е. была счастлива недавно). Но я уже не та. Ты знаешь одно, что я не верю, не умею верить и молиться, но ты не знаешь, что я боюсь Бога. Да, я боюсь Бога. Я, бывало, стыдилась всякого несчастного человека, потому что

сама не была несчастлива, теперь же я сотворила несчастного человека и сама оделась в его счастие и и <так!> насладилась им. И я боюсь Бога. Пусть всё и все говорят мне, что я не виновата, что Эрот свободен, что суд совести может оправдать меня, и все-таки передо мною стоит образ женщины, которая несчастна через меня, и *не* жалость мучает меня, пойми, не жалость, а ужас перед Богом, перед тем сознанием, что я, чья жизнь была безупречна и чиста, как снег, согрешила, *пожертвовала долгом, чтобы захватить счастие*, что совершилось что-то роковое, бесповоротное, и я уже не та: я умерла, а воскресло другое существо, которое с благоговением вспоминает жизнь первого, умершего существа и с ужасом вдумывается в свою. Но отвратительнее всего, что, переступив цепь, ту цепь, о которой мы так много толковали и которая нам казалась непобедимым <1 нрзб>, я не освободилась. О, это точно ветхозаветные запретные плоды. Я не стала как Бог[2], я чувствую, как Ева, потребность скрыть свою наготу перед самой собою даже.

И вот я подошла к главному — предполагаемой причине твоего молчания. Я думаю, что ты в Москве так или иначе почувствовал возможность возврата к своей жене, полное восстановление твоей семьи. И мне хочется первой сказать свое слово по этому вопросу. Я чувствую в глубине души своей, что этим одним, т.е. отречением от тебя первого и единственного и последнего своего счастия, что лишь этим я могу убить в себе нового человека и воскресить первого. И я чувствую в себе силу сделать это и жить. Я буду петь, и растить детей, и любить людей, и искупать свой грех, как, помнишь, я однажды, давно, давно говорила тебе по дороге в San Miniato[3]. Я уже давно, уже с первой встречи в Риме потушила фонарь Диогена[4] и более никогда не зажгу его, о никогда, никогда. Я это чувствую так же ясно, как то, что мое сердце твое и твоим останется. Не бойся, — мой, мой свободно данный поцелуй был твоим в первый и в последний раз. Но я буду жить, и я не буду отчаяваться <так!>, и я даже не буду бездонно несчастной. Только во мне оборвется раз и навсегда моя жизнерадостность, il mio sogno della vita[5], останется лишь la vita, a la vie n'est pas drôle, mon ami[6]!

Странно, никогда в жизни не была я такою покорной, как во Флоренции, и никогда не буду. Всё это я не только знаю, но чувствую, предчувствую всем существом. Итак ничто не мешает тебе, мой друг, победить, если оно еще не побеждено, твое увлечение,

твою мечту. Забудь Fiesole и Колизей, перед нами не Италия, а Россия.

Ведь ты знаешь, Вячеслав, что я искренна, и мои слова перед тобою не нуждаются в клятвах.

Посылаю письмо это сегодня же, потому что довольно страдала за эти тяжелые недели молчания. Когда всё будет покончено, быть может, всё-таки будет легче, потому что я чувствую в себе силы бороться со всем, что ясно. Лишь неясное убивает мою энергию.

Окажи мне, ради всего святого, что есть для тебя, последний дар любви и дружбы, прими мои слова только за то, что они говорят, и ответь мне так, как я прошу, т<о> е<сть>: если я права и ты можешь вернуться к своей жене как муж и друг, то не пиши мне ничего это будет понятно, т.е. так пойму я твое молчание, и тогда в последний раз прощай, и спасибо за счастие, которое превзошло мои мечты и блеск которого я не могу убить даже самыми ригористическими усилиями на весь остаток моей жизни.

Тебя любящая

Лидия Зиновьева.

Конверт, адресованный в Берлин, но с непонятными переадресовками и со штемпелями: Paris. 12 juin 95; Berlin 14.6.95; Москва 4.VI.1895.

[1] Свершившийся факт (*фр.*).

[2] Отсылка к Библии (Быт. 3: 5—11).

[3] Город в Тоскане, недалеко от Флоренции.

[4] См. «Интермедия (I)», прим. 19

[5] Моя мечта о жизни (*ит.*).

[6] Жизнь, а жизнь не смешна, друг мой! (*ит.*, *рус.*, *фр.*)

## 83. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*1/13 июня 1895. Берлин*

*13/1 Июня 95.*

Возлюбленная! Я только что приехал в Берлин и бросаюсь за перо, чтобы писать тебе: наконец я могу писать тебе...

Нет, Лидия, и теперь не могу я тебе писать — ничего, кроме одного признания: прежде чем ты ответишь на него так или иначе — что могу я сказать еще?

«Sono medesimo... Sono medesimo amandoti ardentemente...»[1] Вот что телеграфировал я тебе — и — ты знаешь меня — не лгал.

Почему же не мог я писать тебе? Потому, что был тебе неверен. Я был тебе материально неверен, Лидия. С женой в Москве я жил как муж, победив настойчивыми увещаниями* ее сопротивление и не скрывая от нее, что тебя люблю больше**, нежели ее. В своей внешней неверности я был тебе все же верен; тебе — и себе, ибо на такую измену способен был в возможности (как и говорил тебе) в каждую эпоху нашей любви. Ты можешь оценивать меня, как хочешь; но прежде всего ты должна меня знать и, если любишь, любить таким ***, каков я в действительности... О возлюбленная, я жду твоего ответа. Не мучь меня ожиданием, телеграфируй мне, что происшедшее не изменяет твоего чувства ко мне. Лидия, дорогая, приезжай сказать на моей груди, что ты простила. Я безумно жажду тебя. Ревнуй меня, отталкивай, или даже лишай своей ревности; но знай, что я все твой, помимо своей воли— твой.

В.

Сообщенное мною пусть остается тайной для *всех*; кроме нас двоих, здесь замешано и третье лицо. Мой адрес (для писем):

Herrn Wenceslaus Ivanov
bei Frau Dr. Löwenheim
Rathenowerstrasse 45[IV]
Berlin NW.[2]

[1] «Я так же... я так же горячо люблю тебя» (*ит.*). См. п. 81.

[2] Письмо представляет собой 2 листа, полученные путем сложения первоначального листа вдвое; само письмо занимает чуть более полутора страниц; на последней странице рукой Зиновьевой-Аннибал сделана следующая приписка: «Прошу перечитать эти письма в хронол<огическом> порядке, и это последнее как гармон<ическое> заключение, и тотчас вернуть мне их обратно. Я желаю еще сохранить их, чтобы во всякую минуту убедить себя в том, *что* значат слова, когда человек имеет безумие верить им, произнося и слушая их. Требую как от честного человека, т.к. *формально* даже перед собою ты вполне честен, чтобы ты вернул мне эти письма.

Та, которая была так безгранично твоею». Приписка появилась при подготовке Зиновьевой-Аннибал «грустной посылки», состоящей из ряда писем Иванова, которые она отошлет ему не ранее 17 числа и которые будут получены Ивановым 18 июня.

Имеется черновик:

---

* «Победив настойчивыми увещаниями» подчеркнуто карандашом рукой Зиновьевой-Аннибал.

** «Больше» подчеркнуто карандашом рукой Зиновьевой-Аннибал.

*** «Таким» подчеркнуто карандашом рукой Зиновьевой-Аннибал и приписано: «увы, *таким я не могу* любить!».

~ Нет, Лидия, и теперь не могу я тебе писать — ничего, кроме [немногих строк, содержащих тяжелое] одного признани[е]я: прежде чем ты ответишь на [них] него так или иначе — что могу сказать еще?

~ ты знаешь меня — [я] не лгал. ~ [Ты догадываешься?] Потому, что я был тебе неверен [, Лидия]. ~ [Да, я был тебе верен в] В своей внешней неверности я был тебе все же верен; ~ О возлюбленная, [с замиранием сердца] я жду твоего [приговора] ответа. Не мучь меня ожиданием, [а ответь немедленно, если можно, — депешей, что ты прощаешь] телеграфируй мне, что происшедшее не изменяет твоего чувства ко мне. Лидия, дорогая, приезжай сказать [мне] на моей груди, что ты простила. ~

Вячеслав

[Содержание этого письма прошу тебя хранить в тайне *от всех.*] Сообщенное мною пусть остается тайной для *всех*; кроме нас двоих, здесь замешано и третье лицо. ~

## 84. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*2/14 июня 1895. Париж*

telegraphis reponse ma lettre. Incertitude me tue[1]

Телеграмма. Берлинский штемпель — 14.6.95.

[1] Телеграфируй ответ мое письмо. Неизвестность меня убивает (*фр.*). Второе слово должно писаться «réponse».

## 85. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*3/15 июня 1895. Париж*

voglioti bene scrissi lettera[1]

Телеграмма. Берлинский штемпель — 15.6.95.

[1] Желаю тебе добра написала письмо (*ит.*). Эта телеграмма своей двусмысленностью вызвала упрек Иванова (см. п. 94). Зиновьева-Аннибал имела в виду прямой смысл, в котором мы и перевели (ср. п. 86), тогда как в обычном итальянском словоупотреблении это значит «Я тебя люблю».

## 86. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*3/15 июня 1895. Париж*

*Paris. 36, rue Desbordes Valmore. Passy*
*15/3 Июня*

Нет, это не то, это не то, не то.

Это последняя моя разбитая иллюзия, и довольно, довольно. Это не ревность, мой бедный друг, и не злоба, клянусь тебе любовью моею, которая была так велика, так велика.

Но это не то, не то. Это не моя Венера. Я не требую вечности, но я хочу цельности. Спасибо тебе за твою искренность, мой дорогой друг, и будь мне таковым. Оставь меня. Мы не пара. Я ошиблась, я ошиблась еще один раз, последний раз. Жизнь, красота, вера, идеал цельной всепоглощающей страсти, идеал мой, где вы? Это последний стон, вырывающийся из груди женщины, которая верила и больше никогда не поверит. Кто может понять, что значит никогда не поверить?

О если у мущин такие чувственные натуры, есть же у них сердце и честность? Нет, нет, или вы засохшие и полуразвившиеся истуканы, как Гревс, или вы безжалостны и бесчестны.

Если ты был способен *любить* меня, то ты из *любви*, не из *страсти* пожалел не нанести этот удар, этот жалкий, гадкий удар. Если ты уважал человека в жене, ты раньше убил бы себя, чем просить ее. Это прямо бесчестно. Ты лучше тысячу раз сделал бы, если бы пошел за деньги удовлетворить страсть у купленной женщины.

Это одно.

А другое вот что: если ты мог быть мужем своей жены, тем лучше для Вас обоих. Если бы даже я *могла* забыть твою измену, я не имею права забыть ее.

Итак, мой друг, до свидания когда-нибудь и sans rancune[1].

Нет во мне злобы, я не способна даже после этого проклинать жизнь и злобиться. Я рыдаю, это правда, потому что я любила тебя, но, увы, любила в идеале. О, не в коректном <так!> идеале Гревса, но в идеале цельного человека, способного на цельную любовь, которая удержала бы его от подобного шага и при подобных обстоятельствах. Я любила честного человека не только настолько, чтобы сделать честное признание, сделанное тобою в сегодняшнем письме, а в высшем смысле, который не допустил бы упрашивать жену и пользоваться слишком большой любовью и слабостью этой несчастной и столь близкой мне женщины, которую я и жалею и уважаю, руку которой я хотела бы целовать, и ласкать, и утешать ее как ребенка. Мы обе так жестоко обмануты жизнью, но я чую, что она слабее меня. Во мне есть что-то несокрушимое, которое сквозь разбитое, растерзанное сердце мое, сквозь эти безумные, обессиливающие рыдания говорит мне: ты будешь жить другою жизнью, ты умерла для одной жизни, да, per il sogno della vita[2], но есть жизнь, о эта суровая, тоскливая, тяжкая, как бремя, жизнь, которую роковым образом я буду влачить

в учебной моих детей, в борьбе с моим мужем, по подмосткам театров. И буду петь, петь о том, что я хотела жить, о том, чем жизнь могла бы быть. Моя жизнь, обожаемая, прекрасная, цельная, свободная, высокая, моя Богиня, моя Венера. Моя, только моя, которую я замкну в своей душе, которую ревниво оберегу от людей, чтобы ее еще раз не затоптали в грязь. Ей я буду петь, а не людям, не людям. О теперь, только теперь я скажу: я презираю людей, я не хочу служить им. Искусство для искусства, красота для красоты. Тебя я призываю, мое искусство, дивные звуки, муза Пения! о Боги, одного молю я Вас <так!>, дайте мне таланту, сподобьте меня достойно служить моей Богине. Прощай, любовь моя, прощайте розовые, золотом облитые вершины Альпов, которые видела, когда поезд мчал меня из Рима, из Колизея в Женеву. Я найду вас, но в идеале, в искусстве! Прощай, мой бедный друг. Ты будешь тосковать по своей «бешеной подруге»[3], да, именно бешеной. Но тоска твоя уймется, и твоя лира утишит тоску, а жена твоя своею простою, бесхитростною, всепрощающею женскою любовью утрет твои слезы.

Не пытайся вернуть меня, не засыпай больше волшебным сном или, по крайней мере, не меня выбирай «гурией своего райского сновидения»[4].

Мы не пара, мы не пара.

Прощай, друг.

Лидия.

PS. Только что еще перечитала твое письмо и нашла центральный пункт, навеки разделяющий нас: «Я не скрыл от нее, что тебя люблю больше, нежели ее». Пусть Любовь не вечна, но для меня она безотносительна, абсолютна, цельна. Прощай.

Я буду рада знать о твоих делах и то, что ты пожелаешь впредь сообщать мне о твоей жизни, чтобы остаться вполне друзьями.

P.S. Какое верное предчувствие диктовало мне первое письмо в Берлин, и как ясно передо мною лежит мой путь теперь. Умоляю любовью, смертью, детьми моими бедными верить тому, что я не в злобе и не в ревности. Сердце разрывается, но душа спокойна.

В конце концев <так!> во мне чуть-чуть проснулся юмор, и я хотела написать тебе телеграмму: «Ich condolire»[5], но пожалела тебя и, главное, побоялась, что примешь это за выражение моего гнева и потому написала ничего не говорящее и ненавистное мне итал<ьянское> выражение voglioti bene[6]. Да, это именно мое чувство.

Еще раз спасибо за искренность, она навеки сохранит тебе мою дружбу, если ты ею дорожишь, т.е. будешь дорожить, вернее.

Нет, не могу кончить: ведь если бы сказать всё это И.М.[7], т.е. конец нашего «безумного» романа, он сначала удивленно воскликнул бы: «Как, так скоро! разве так скоро бывает, я читал, но в жизни не видел». А потом самодовольно, хотя грустно, добавил бы: «Я предсказывал, что не предвижу Вам добра, мои друзья! и недаром я не мог за Вас радоваться!»

Уже закрыла письмо и вновь открыла. Желала бы я знать, когда ты «настойчивыми» увещаниями побеждал сопротивление своей жены, где была твоя душа, твое сердце, и кем были мы обе для тебя? Признавал ли ты в нас людей или ты бредил в порывах страсти к своей жене. Да?

Опять скажу, тем лучше для Вас обоих и для Вашей девочки.

Гоняться за двумя страстями — это уже слишком роскошно понятая жизнь. Я не могу поверить, чтобы ты насиловал нравственно свою оскорбленную жену и одновременно вонзал острый нож в сердце твоей подруги иначе, как в пароксизмах страсти. И возможность этой страсти к ней делает нашу связь безнравственной и бессмысленной, так же, как и факт твоего трезвого состояния в минуты «настойчивых увещаний», *уничтожающих мою любовь к тебе.*

Конверт со штемпелями: Paris. 15 juin 95 — Berlin. 17.6.95. Ответ на п. 83.

[1] Без злобы (*фр.*).

[2] Ради мечты о жизни (*ит.*).

[3] Источник цитаты неизвестен.

[4] См. предыдущее примечание.

[5] Я сочувствую (*нем.*).

[6] Желаю тебе добра (*ит.*). См. п. 85.

[7] Гревсу.

## 87. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*<Ночь со 2 на 3 / с 14 на 15 июня 1895. Париж>*

Кто ты, тот, которого я любила, который в последний раз воскресил меня к жизни, показал весь ее лживый блеск, обманное счастие и безжалостно бросил в пропасть черного отчаяния, в котором я осуждена годами влачить, как невыносимо тяжелое

бремя, эту жалкую, раздавленную жизнь, чувствовать в груди это зашибленное навеки сердце без веры, без надежды, бьющееся только чтобы неизъяснимо мучать меня.

Кто ты? Зачем, зачем замешался ты в мою грустную судьбу? к чему ты вновь будил меня? к чему поднял на высоту, чтобы больнее и неисцелимее ударить оземь? Кто ты, загадка, блестящая, звенящая, пока она не разгадана и не оценена.

Да, ты прав: мы любим по-разному. Я понимаю любовь только полную — морально и духовно (как ты сверху вниз писал мне), это правда. Ты понимаешь лишь... гарем.

Но если европ<ейские> мущины — мусульмане, то европ<ейские> женщины или запирают<ся> или отворачиваются.

Прибавлю еще: не думай, чтобы твоя способность раздвоенной любви была чем-либо особенным. Ею обладают почти все мущины, напр<имер>, Франции. Одним ударом они часто придушивают и жену и любовницу, и обыкновенно и справедливо должна отступать вторая. И обыкновенно примиряется с судьбой жена ради семьи и грустно продолжает надорванную жизнь.

Не все мущины, впрочем, имеют достаточно искренности, пожалуй, правдивости, чтобы играть открытую игру, и не все имеют наивный цинизм, мой бедный друг, гордо заявить: я таков, иным быть не желаю, люби меня!

Ты помнишь, милый друг, как ты сердился за несколько дней до того, как вернулся к своей первой любви? сердился на меня за то, что я написала Гр<евсу>, что ищу опоры в самой себе. О, ты знаешь, какая истинно женская потребность есть во мне положить голову на плечо любимого мущины и сказать: «Убереги, защити меня!» — и ты так недавно говорил, что хотел бы нести меня бережно на руках через мир. Куда ты принес меня, мой бедный друг, в твоих твердых и любящих объятиях? Кто спасает меня для моих сирот от желанной смерти? Давно, давно в эпоху первого обмана первого мущины, которому я доверилась, я писала: «Верь только себе, все обманут, ты одна себе друг и защитник!» Какое ясное предвидение моей безотрадной жизни. И еще раз и в последний раз прошедшее счастие оказалось мыльным пузырем, оно разлетелось и не оставило даже теплого луча — своего отблеска.

---

Я плачу день и ночь, плачу неиссякаемыми жаркими слезами. Я плачу о своей любви, о своей мечте. Зачем говорил ты со

мною о Wahlverwand<t>schaft? Разве ты способен понять эту любовь? О да, поэт, понять ты способен, но ощутить — никогда. А я, увы, я Оттиллия вполне, вполне. Только русская Оттилия <так!>. Моя мать тоже всю жизнь положила в одно чувство. Моя мать умела любить, и ее сердце разбито, и мое тоже, тоже. Мы умели любить. О любовь, любовь! мой бог и мой палач. Зачем не умею я понимать жизнь иначе. О, какое мне дело до красоты, искусства, когда они не говорят не о моей любви, какое дело до славы, до рукоплесканий, когда они не делятся любимым человеком, какое дело до всего мира, до всей жизни, когда я одна, одна. Смерти ищу я, смерти жажду. Счастливая Оттилия: у нее не было трех сирот, которых надо растить на эту же горькую жизнь, полную обмана. О любовь моя, любовь моя! о мой Эдуард, где ты, или ты лишь вымысел поэта, созданный в минуту сентиментализма. Во всяком случае, всё кончено, и моих сил уже нет искать моего Эдуарда, Оттилия умрет, никогда не видав его, сожженная жгучею тоскою найти свою мечту. Да, моя жизнь — это погоня за мечтой. Глупая, невысокая жизнь, неудачная, обманутая жизнь. Я не упрекаю тебя, мой друг. Ты не лгал мне. Ты сам себя не знал. Я читала тебя, как книгу, переворачивая страницу за страницей с жадною любовью, и вдруг остановилась. Для меня открылась последняя страница. Книга выпала из рук, дальше читать уже нечего. Нет, это не то, не то, не то... Да, я плачу, и плачу, и плачу, и снова сон бежит меня, и снова изнеможенная и сломленная, и тоскую по морфию, по суррогату смерти, т.к. смерть мне недоступна. Ты, который говорил, что «жалел» и* любил меня, хотел быть моим защитником от жизни, хотел беречь и холить меня, заботился обо мне до мелочей, ты, что думал ты, когда склонял свою бедную жену отдаваться тебе. Как могу я когда-либо верить человеку, для которого эгоизм и бессердечие вошли в религию? Прости, это не упрек, я хочу, чтобы ты понял меня и не осуждал за ревность или озлобление. Я хочу разо*йтись* разумно и дружно.

---

Прощай, мой друг, забудь меня или, вернее, мои поцелуи, которые ты любил, и помни лишь одно. Если ты честен, то ты не подойдешь боль<ше> ни к одной женщине со словами любви. Ты разбил два сердца, берегись, грешно тебе подойти к третьему. Ты ведь теперь знаешь самого себя. Ведь я права, мой друг?

---

* В тексте «жалели».

О, Вячеслав, всю ночь понемного <так!> пишу я эти письма. О Боже, я не нахожу места, где я могла бы дышать. О ты не знаешь, что значит страдать, ты не знаешь. Я говорила, что не боюсь страданий. О неправда, неправда, куда мне деться. Видишь, я не горда, я пишу тебе как другу, о пожалей меня как друга. Несчастная твоя жена, если она страдает, так, но я виновата, меня нельзя жалеть, сама судьба указывает мой путь. Но я не знаю, куда деваться, где искать хотя минуты облегчения. Сердце разрывается. Пусть слезы мои льются на бумагу. Смотри, они льются по тебе, из-за тебя. Я сняла кольце твое <так!> и одела его на свой крестильный крест, который я стала снова носить. Я сняла свою ладонку, она принесла мне лишь новые муки. Зачем я надела на грудь змею. Она ужалила меня в сердце и отравила мою кровь. Пусть на кресте, на сердце моем, далеко от взглядов людей прячется любовь моя единственная, полная, страстная, верующая любовь. Она достойна креста. Она была честна. О смерть, смерть, приди. Я целую эту бумагу. О зачем, зачем ты не Эдуард. Но надежды нет, спасенья нет, ибо нет, нет забвения для меня. Я умираю, о если бы я могла умереть.

Минутами мне безумно кажется, что это неправда, что ты еще раз обманул меня, как во Флоренции, в тот блаженный миг, после минуты дикой боли, когда ты сказал, что твои слова неправда. Но теперь ведь они правда, Вячеслав, правда? правда? О, я умираю и никогда, никогда не поверю, не прошу, не забуду.

Зачем, зачем стонала я раньше, когда я узнала о подлости моего мужа. За что, за что? за что еще это? Я помирюсь, но как долго еще страдать и как невыносимо жить.

Вот, Вячеслав, тебе прядь волос женщины которая тебя любила, но которая для тебя умерла. Зачем я тогда послала тебе волосы свои, я говорила, что это нехорошо. О как больно больно больно.

Ты найдешь прядь волос в своем «обручальном» письме, кот<орое> я долго носила на груди.

---

Иду на почту. Спокойно и твердо говорю тебе: не пытайся вернуть прошлого. Когда иллюзия умерла — ее ничем не воскресишь.

Написано невнятно и залито слезами.

## 88. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*4/16 июня 1895. Париж*

*Париж. Воскр. 16 Июня.*

Мой милый друг, ты получишь это письмо или вместе, или на несколько часов позже ночного моего стона. Я тороплюсь написать его, чтобы ты мог вполне понять мое состояние и мои решения.

Я только что вернулась из Bois de Boulogne, где была в обществе французов на концерте.

Я слушала какую-то музык<альную> пьэсу, право, не знаю, какую, но что-то очень хорошее и, во всяком случае, подошедшую <так!> к моему настроению. В ней чудилась мне то грустная, мягкая, то раздирающая и мрачная песнь отчаяния, беззаветной, обманутой, непонятой любви, и эта песнь прерывалась гордым и властным мотивом, точно призывающим страдальца к жизни, к борьбе, к вере.

Но жалобы и стоны еще побеждали и вырывались пока голоса жизни. Но вот понемногу они утихают, все более и более заглушаемы, и, наконец, гордо и свободно раздается победоносный мотив жизни и силы.

Женщина, испытавшая и сорвавшая с себя цепи брака, женщина, свер<г>нувшая гордо иго безответной страсти, такая женщина не для того крепла в борьбе и муках, чтобы подпасть под власть твоей жалкой, половинчатой любви.

Вот тебе, мой милый друг, ясный и краткий ответ на твое вчерашнее письмо:

*Я не принимаю той любви, которую ты мне даешь.*

*Я не люблю тебя таким, каким ты мне представляешься теперь.*

Я не буду повторять, чего мне это стоит, но мое решение твердо. И среди мрачного отчаяния и горя выступает уже голос энергии, которая еще раз вывезет меня на ровную поверхность.

Я до Января или Февраля остаюсь в Париже, где учусь у Mme Viardot, которая взялась сделать из меня артистку, и знающие люди говорят, что одно то, что она согласилась, дает гарантию моему голосу.

Затем я еду в Россию и добиваюсь чер<ез> Всеволожск<ого>[1] ангажемента на следующий сезон. Я еще сознаю себя молодой и

сильной <?>, и, быть может, я еще найду ту любовь, цельную и единую, которую я искала и которой я незыблемо поклонялась. Быть может, встретится на моем пути человек, который не скажет мне: «Я люблю тебя больше другой», а скажет мне: «Я твой, и пока горит любовь к тебе, ты одна для меня, как я один для тебя». И я чувствую, сколько во мне силы любить, упиваться и опьянять другого свободною, полною, жгучею и единою страстию. Я еще чую, что мир прекрасен. Пусть слезы льются теперь, пусть стоны теснят грудь, пусть я взываю, в своей слабости и страхе, перед невыносимою болью всего существа, к смерти и покою. Я спасу себя от позорного ига подобной жалкой любви, мой бедный друг, и я счастливее тебя.

Прости меня за резкость, милый Вячеслав, дорогой Вячеслав. Ведь еще так недавно я мечтала о том, каким раем могла бы быть наша жизнь, какие новые неиссякаемые наслаждения могла нам дать еще наша молодая страсть. Наши души так гармонично дополняли друг друга, и мир существующий так заманчиво расширял свои горизонты перед нашими мистическими взглядами. Я мечтала с тобою брать всё смело и радостно, что дает жизнь, и создавать то, чего в ней недостает, искусством и поэзией. Но ты разрушил грезы, и не ты своею волею, а твоим существом, изменить которое ты не можешь. Я унесу свои грезы и, быть может, умру с ними, а быть может, осуществлю их. О, как я хочу жить! Что за живучая, страстная, кипучая душа во мне. Иду, иду. Итак, мой друг, еще раз прощай sans rancune. Addio Amore[2], обманчивой <?> Италии. Addio Italia![3] Я не люблю ее более. А ты, мой друг, ее любишь: il signore s'è divertito benissimo![4] Прости, Вячеслав, шутку. Я смотрю на свою постель, в которую сейчас лягу, и этот вид не радует меня. Я знаю, что морфия нет, и я хочу быть храброй. О, ты можешь спать спокойно, и твоя турецкая ревность может молчать. Султанша, которую ты любишь больше других, вероятно, останется тебе навеки верна. Минуты забвения и счастия оплачиваются слишком горькими слезами. Vaut mieux ne plus tenter[5].

Лидия.

Надеюсь, мой дорогой Вячеслав, мой друг, что ты будешь изредка писать, а еще лучше часто. Это будут очень милые новые отношения de camaraderie[6], и довольно пикантно, и можно отлично дивертироваться![7]

Конверт со штемпелями: Paris. 16 juin 95 — Berlin. 18.6.95.

[1] Иван Александрович Всеволожский (1835—1909), театральный деятель, сценарист, художник. С 1881 г. директор Императорских театров (до 1886 московских, в 1886—1899 петербургских).

[2] Без злобы. Прощай, любовь (*фр.*, *ит.*).

[3] Прощай, Италия! (*ит.*)

[4] Господин превосходно развлекается! (*ит.*)

[5] Лучше не стоит больше пытаться (*фр.*).

[6] Дружбы (*фр.*).

[7] От *фр.* se divertir (или *ит.* divertirsi), развлекаться.

## 89. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*<4—5/16—17 июня 1895. Париж>*

*Воскресенье*

Как неприятно тебе, Вячеслав, получать эти надоедливые ежедневные письма, но поверь, что и мне не весело писать их, но я хочу непременно договориться до конца, и это, кажется, мое право. В шумихе твоих влюбленных речей я, увы не рассмотрела одной мелочи — отсутствия сердца у моего возлюбленного. Но я давно говорила, что я не люблю бессердечных. Когда ты, идя со мною по Lungarno[1], еще и раньше, о, раньше, в Риме, так ласково, так вкрадчиво говорил о моей тяжелой судьбе, когда ты так жарко уверял меня, что жалеешь глубоко и дружески меня за мои страдания, когда ты участливо читал мои записки в красн<ом> альбоме[2] и вдумывался в мою жизнь, когда потом ты мечтал нести меня бережно и любовно через мир и предлагал мне верить в тебя, опереться о тебя, — ты бессознательно лгал. Всё это были слова. Однако ты отлично знаешь, что называется беречь людей. Ты берег свою жену, когда в Риме вырывался из моих объятий, чтобы писать ей, и потом заставлял меня играть во Флор<енции> до твоего возвращения мучительную комедию перед нею, чтобы лично и бережно сказать ей об измене. Но ведь я не законная жена, и со мною ты поступил проще. Из Москвы ты считал нужным молчать. Ты жил там, кажется, около 3-х недель, и я всё время мучилась неизвестностью, мучения дошли до того, что совершенно считала тебя умершим. Конечно, ты телеграфировал и (мимоходом замечу) в телеграмме нашел возможным послать мне baci ardenti[3]. Итак, в Москве за всё время пребывания твоего ты предпочел мучать меня, чем отказаться от страсти к твоей второй или первой, как хочешь, султанши. Приехав в Берлин ты бросился к перу и так просто, так наивно, и честно, и цинично вонзил мне острый нож в

сердце, ударил меня по щеке. Да и к чему церемониться, ведь я не законная жена! ведь со мною дела проще делаются. Я тебе изменил, я таков, но я тебя больше люблю, чем ее, лети скорей в мои объятия, я так жажду тебя... Как просто, sans façons. C'est très commode, monsieur, n'est ce pas?[4] Да, ты эгоист, без искры чувства, без здоровой человеческой совести и даже без способности любить, ***ибо любовь ведь включает в себя заботу и жалость к любимому существу и часто до самозабвения***. Ты прославлял бессердечие у гения, но подожди, я прощу тебе твое бессердечие, когда ты сотворишь свой chef d'oeuvre[5], и дам тебе... свою полную дружбу. Прости несколько резкий тон. Видишь ли, я легла спать, но вот уже глубокая ночь, а сна нет. Но, впрочем, ты этого не понимаешь, ты так же, как и муж мой, мало умеешь страдать, и так же, как и он, мало умеешь любить. Как вы схожи, и он клялся, что обожает меня и свою любовницу зараз, и теперь я начинаю ему верить. Какая милая моя судьбинушка, не правда ли? Из огня да в полымя! И еще дышу, живу, мечтаю, мечтаю, когда не изнываю от наконец непосильных мук. Ну, не сердись, поэт. Ведь не все женщины на один образец, твоя жена не мерило всем. Есть и гордые существа, которые с риском раздавить свое сердце сбрасывают иго недостойной любви. Заметь, я не о человеке говорю, а о его любви, которую считаю, да, недостойною себя. Ну, иду опять в постель. А испытал ли ты, поэт, когда вместо сердца в груди рана, которая болит так, что душишь стоны в своей подушке, как в родах. Опиши это лирическим стишком. Доктор, ты вылечил меня в Париже от малокровия, о кот<ором> печаловался во Флоренции. Но в Москве тебе было не до моего малокровия, вообще не до меня. Там тебе важно было ублажить свою персону.

*Понедельн<ик>.*

Еще ночь с двумя часами сна. Как думаешь ты, Вячеслав, когда смерть любви вернее и неизбежнее: когда весть об измене производит тотчас острое впечатление гнева, ревности, которое постепенно смягчается жалостью, отголосками прежнего чувства, или — когда эта жалость и отголоски говорят тотчас, и постепенно умолкают, обращаясь в сознательный гнев и презрение самого чувства? Я думаю, что второй случай безнадежен, и он мой. Ты знаешь, что в моем характере не распутывать, а рассекать узлы, раз разум ясно сознал, что они через меру запутаны. Зачем я все это говорю? а потому что я схожу с своей постели точно с какого-то одра средневековых пыток, которые терплю почти безмолв-

но ночь и которые утром разражаются слезами. Я иду к столу и берусь за перо точно по привычке обращаться к человеку, который почти только что был мне ближе всего в мире, и одно мгновение мне как-то слишком больно и нелепо сознать, что я обращаюсь к своему палачу. Милый Вячеслав, я негодую не против тебя, так сказать, а против существа твоего, и поэтому у меня нет собственно злобы, или ненависти, или презрения к тебе, напр<имер>, я почти чувствую дружбу и симпатию, но, с другой стороны, мне нечего говорить о прощении, т.к. ты ни в чем не виноват, lui è così[6], как говорит Anna про своего возлюбленного в «Addio Amore»[7], но я не Анна и не примеряю свою любовь к этой фаталистической фразе. Прости мне все мои резкости, но, вдумавшись внимательно в себя, я думаю, ты честно признаешь, что я права и что мы просто не пара: твоя «бель-мер»[8] ошиблась, бедняжка. Ты эстетик, а во мне есть и эстетика и этика, и вторая побивает первую, когда первою пренебрегают, и лишь когда обе стороны удовлетворены, я могу дать полный расцвет.

Не думаю, чтобы я еще когда-либо ожила для любви к другому. Слишком больно разочарование, а мущины, вероятно, все наши враги. Помнишь, когда мы возвращались из Tivoli[9] и я говорила эту фразу, а ты протестовал. А, господи <?>, когда я вспоминаю весь наш роман, которому с первой встречей <так!> 7 месяцев с неделей, а считая до твоей султанской измены и всего 6, когда я вспоминаю все метаморфозы, происшедшие в тебе, мой милый Дон Жуан, я только удивляюсь, как ты мог находить меня умной, о будь я умна, я не была бы так слепа. Меня, точно бабочку, прельщал феерический блеск твоего разноцветного наряда. Но ты очень интересен и оригинален, талантлив, а может быть, и гениален. Поэтому искренно прошу тебя не лишать меня твоей дружбы и доверия и не закрывать перед моими очами своей души. А теперь прости мне дерзость дружеского совета. Выкинь храбро из головы или <1 нрзб> из крови то, что ты называешь любовью ко мне, и предпочти еще раз мирные утехи семейной жизни. Твоя жена, конечно, никогда не забудет вполне этого романического эпизода, divertimento nella bella Italia[10], но тем не менее она примирится более или менее, как и обещала тебе, и примет вновь своего мужа в свои chastes[11] объятия, я же буду, вновь холодная и чистая, ложиться в свою девственную постель. Я ведь странное существо: меня страсть никогда не мучает неопределенно и разгорается до безумия лишь при любви.

Мой друг, я сниму кольце <так!> с креста, оно меня раздражает бренчанием, и к чему, ведь надо разрубать. Хочешь его? или я брошу его в Сену.

Или нет, я свезу его в Бретань, и там, на берегу моря вырою глубокую могилу и похороню в ней мою любовь, мою молодость, мою веру в людей. Туда поеду я к своим детям, несчастная мать несчастных детей, детей ошибки, детей обмана, живые воплощения человека, впервые открывшего мне грязь жизни. О идеал, о красота, о любовь, где Вы. В могилке на берегу океана, где я похороню три дня моей жизни: Roma, 12—15 Gunio 1895[12].

Думаю, что этими ежедневными письмами я исчерпала вопрос лучше, чем de vive voix?[12]

О, Вячеслав, неужели это не бред. Неужели, неужели?

Конверт со штемпелями: Paris. 17 juin 95 — Berlin. 19.6.95.

[1] Набережная руки Арно во Флоренции.

[2] По всей вероятности, имеется в виду альбом, в котором Л.Д. вела дневник, цитируемый в «Интермедии» к 1894 году.

[3] Пылкие поцелуи (*ит.*).

[4] Бесцеремонно. Это весьма удобно, сударь, не так ли? (*фр.*)

[5] Шедевр (*фр.*).

[6] Он такой (*ит.*).

[7] Прощай, Любовь (*ит.*). Речь идет о вышедшем впервые в 1890 г. романе итальянской писательницы Матильды Серао (Matilde Serao, 1856—1927). Цитата, которую Зиновьева-Аннибал приводит с незначительной неточностью — в оригинале: «Egli è così» (значение не меняется), — повторяется в пятой главе первой части романа. См., напр.: Serao Matilde. Addio Amore! S. Giovanni, Casa Editrice Madella, 1917. P. 84—85.

[8] От *фр.* belle-mère, теща.

[9] Небольшой городок в 30 километрах от Рима, знаменитый своими древностями.

[10] Развлечение в прекрасной Италии (*ит.*).

[11] Целомудренные (*фр.*).

[12] Л.Д. нарочито меняет дату; надпись читалась: «12—15 Marzo» (см. п. 37).

[13] На словах (*фр.*).

## 90. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *6/18 июня 1895. Париж*

*Эпилог**

И вот я опять хожу по комнате, как львица, запертая в железной клетке. Эта комната тесна, этот мир узок, эта жизнь мелка для

* В тексте — Эполог.

моего sogno! [1] Я видела во сне давно, когда еще душа моя, вольная и блаженная, витала где-то в надзвездном мире, я видела нечто сильное, полное, мутучее <так!>, прекрасное, что совершится в моей жизни, наполнит и осветит ее.

Мне было 17 лет, когда, прикрыв ресницами глаза, я с замирающим сердцем вглядывалась в туманную даль плоского русского ландшафта, сливающегося едва заметной линией с далеким небосклоном. И там, в этой смутной дали, чудились мне призрачные очертания этой жизни, которая ждала меня, которая манила меня. Грезы подвигов, грезы цельной любви, грезы поэзии, силы, красоты... Сердце то замирало, то билось, и что-то таинственное и важное ложилось на душу.

Я хожу, как львица вдоль решетки своей тюрьмы: свободы хочу я, творчества, любви, страсти, красоты. Я не могу брать жизнь, как другие. Я живу, и неумолкающий, мучительный голос шепчет мне: «И это всё, и это всё, и для этого ты родилась, страдала, изнывала сама и терзала других, и это исполнение твоих грез». Нет, нет, нет, я разобью свою тюрьму, на волю вырвусь я, гордая, свободная. Еще я молода, еще я чувствую в себе и красоту и силу. Я смотрю на себя в зеркало: мои глаза блестят, они горят жаждою жизни. Правда, я только что шла по улице, уныло понурив голову, с потухшим взором и ощущением раны в груди и давящей тяжести на плечах. Но я сброшу тяжесть, я залечу рану, и вот взгляд уже загорелся. Умирать из-за разрушенной мечты — никогда, ни за что. Я сотворю себе новую и буду жить, пока в глазах моих может светиться этот огонь, который делает лице почти прекрасным. Я мечтала быть подругою поэта, его вдохновительницей, его музою. Но для этого я просила у него беззаветной, единой, могучей страсти и любви. Я обманулась... но вне любви я не могу жить, и я отворачиваюсь от обмана, и я ищу истину...

Mme Viardot, вот имя, пленительное для моего слуха. Когда я стою перед этою женщиною 70 лет, с высоко поднятою головою, с гордым взглядом ее черных, горящих глаз, в которых отразилась и запечатлелась вся страсть ее полной, бурной жизни, — я чувствую, что есть, для чего жить и что подло поддаваться горю. Слава, любовь... она насытилась всем, и теперь воспоминания освещают ее прекрасную старость. Я думаю, она поняла бы меня, поняла бы это бурное, ненасытимое, непримиримое с нищетою жизни сердце, которое дерзко требует себе счастия, да, требует и добьется.

Конверт со штемпелями: Paris. 18 juin 95 — Berlin. 20.6.95. Практически ничем не отличающийся автограф этого текста сохранился среди бумаг Зиновьевой-Аннибал, обозначенных архивистами как «дневниковые записи» (РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 9. Л. 9—10).

[1] Мечты (*нем.*).

## 91. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*5/17 июня 1895. Берлин*

*Берлин, 17 Июня.*

Деланная презрительность тона (к сожалению, не настолько выдержанная, чтобы смягчить несколько запальчивых резкостей) естественна в письме раздраженной самолюбивой женщины. Ich sehe darüber hinweg[1] — и напоминаю только, что «нечестность» не есть синоним «неверности» и что нецелостность чувств не всегда может считаться признаком нецелостности характера: Дон-Жуан, натура без сомнения целостная, не испытал ни одного цельного чувства. Я же имею с Дон-Жуаном то общее, что и в моменты наибольшей влюбленности во мне жило тайное сознание, что любимая женщина не может удовлетворить вполне мою потребность любви.

Метко говоришь ты: «Еще перечитала твое письмо и нашла центральный пункт, навеки разделяющий нас: "Я не скрыл от нее, что тебя люблю больше нежели ее". Пусть любовь не вечна, но для меня она безотносительна, абсолютна, цельна. Прощай».

Вот квинтэссенция женской ревности!.. Но я предвидел, что выписанные тобою слова поразят тебя более всего остального. В самом деле, в них-то и заключается мое настоящее признание... И вместе с тем — вспомни, Лидия, — это признание уже не ново. Не говорил ли я тебе всегда, что люблю не одну тебя, но что тебя люблю больше всего?

В конце своего письма ты подчеркиваешь, что любовь твою ко мне уничтожает факт моего трезвого состояния в минуты «настойчивых увещаний». Тебе отрадно было бы убедиться, что мое состояние тогда было «нетрезво», что это было состояние исключительно чувственного аффекта, что я согрешил пред тобою в сущности лишь тем, что обратился не к покупной любви... И между тем я могу только наполовину утверждать, что действовал под влиянием чувственного аффекта: мой «грех» имеет более глубокую психологическую основу.

Свободу любви я понимаю прежде всего как допущение вольного всхода, цветения и увядания чувств, неведомо из каких семян поднявшихся в душе и в ней растущих. Этот внутренний мир чувства должен быть огражден от вмешательства и опеки разумной воли. Относительно его, я руковожусь единственным правилом: laisser aller[2]. Любовь к тебе не искоренила во мне любви к жене. По-видимому, последняя любовь стала увядать в опасном соседстве; однако она еще не увяла. Я с своей стороны не думаю ни ускорять, ни замедлять этих органических процессов. Я отдаюсь поднимающейся в душе волне — и это все, что́ я могу сделать, чтобы разгадать тайну собственного сердца.

По отношению к жене, я, по твоему же признанию, вел себя честно. Но чего стоила мне эта честность, ты едва ли знаешь. Я предоставил жене возможность свободной любви и замужества — и между тем одна мысль о том, что это может осуществиться, леденит меня, и я не знаю, не бросил ли бы я в решающую минуту все, чтобы только удержать ее.

Была пора, когда она не действовала или почти не действовала на меня более как женщина; иначе было в Москве... И все же это женское обаяние не может быть и сравниваемо с тем, какое оказываешь на меня ты, — ты, заставляющая меня, при одной мысли о твоих ласках, пьянеть и безуметь.

Любовь — тайна. Элементы, из которых она слагается, неисследимы. Тех из них, которые присутствуют в моем чувстве к жене, я не нахожу в чувстве моем к тебе; и наоборот. Эти оба чувства качественно различны и не идут в сравнение по количеству. Любовь к тебе (— и не думай, что любовь эта — только физическая страсть —) бесконечно интенсивнее. Она горит во мне постоянным пожаром и временами всю жизнь мою обращает в одно море огня... Но и теперь, когда я пылаю и стремлюсь к тебе, предо мною блестит вперенный на меня, увлажненный слезою взгляд жены, как глядела она в Москве в час прощания, и я не могу сказать, чтобы взгляд этот, доходя до моего сердца, затрогивал <так!> во мне только струны сострадания и жалости...

> К иной жене мой взор, смущен и жаден,
> Летел — и узнавал сей лик печальный:
> Вливал он в сердце скорбь — и был отраден[3]...

Ты хочешь обладать мною *всецело*. Я никогда не чувствовал себя принадлежащим *исключительно* ни одному чувству, ни одной

женщине, ни одному делу, ни одной идее. Всему отдаю я только часть себя и принадлежу всецело только себе. Так было по крайней мере до сей поры. Быть может, и мне предстоит отдаться когда-нибудь всецело. Но ложе твоей любви мне оказывается тесным. Ты для меня узка и ищешь сузить меня. Мы, кажется, действительно не пара.

Разрыв между нами возможен; но мы значим друг для друга уже слишком много, чтобы расходиться *так*. Я страстно желал бы увидеться с тобой. Если ты не хочешь приехать в Берлин, я — как это ни неудобно для меня — согласен отправиться в Париж. Если ты любишь меня, то отталкиваешь с необдуманной поспешностью. Помни, что только желание быть прямым и правдивым заставляет меня в этом письме — где мне естественно было бы говорить о своей любви к тебе — надавливать на противоположную чашку весов моего чувства. Речь за тобой. — Если ты настаиваешь, — прощай!

В.[4]

[1] Я не обращаю на это внимания (*нем.*).

[2] Здесь: Пусть идет как идет (*фр.*).

[3] Цитата из поэмы Иванова «Миры возможного» (1890; I, С. 674).

[4] Имеется черновик:

~ Ich sehe darüber hinweg — и напоминаю только, что [«неверность»] «нечестность» не есть синоним [«нечестности»] «неверности» и что нецелостность чувств не всегда может считаться признаком нецелостности характера: Дон-Жуан, натура без сомнения целостная, не испытал ни одного цельного чувства [в том смысле, какой мы придаем этому выражению]. Я же имею с Дон-Жуаном то общее, что и в моменты наибольшей влюбленности во мне всегда [было ясно] жило тайное сознание, что любимая женщина не может удовлетворить [меня] вполне мою потребность [женской <?>] любви.

Метко [и остро] говоришь ты: «Еще перечитала твое письмо ~

Но я предвидел, что выписанные тобою слова [мои] поразят тебя более всего остального [в моем письме]. ~

По-видимому, последняя любовь стала быстро увядать в опасном соседстве; однако она еще не увяла. ~Я отдаюсь поднимающейся в душе волне — и это все, что́ я могу сделать, чтобы [открыть] разгадать тайну собственного сердца. ~

И все же это женское обаяние не может быть и сравниваемо с тем, какое оказываешь на меня ты, — ты, заставляющая меня, при одной мысли о твоих ласках, пьянеть и [безумствовать] безуметь. ~

Она горит во мне постоянным пожаром и временами [обращает] всю жизнь мою обращает в [сплошной океан неудержного пламени] одно море огня... Но и теперь, когда я пылаю и стремлюсь к тебе, предо мною блестит вперенный на меня, увлаженный слезою взгляд жены, [когда она] как глядела она в Москве в час прощания ~

Быть может, и мне предстоит отдаться когда-нибудь [чему-нибудь] всецело. Но ложе твоей любви мне оказывается [иногда] тесным. ~

## 92. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*6/18 июня 1895. Берлин*

*Берлин, 18 Июня.*

Получил второе твое письмо и твою грустную посылку. [Перечитал] Перечел свои письма и в каждом нашел [себя] одного и того же себя. [Это] Сегодняшнее письмо твое уже иное. Это — иные звуки. Они проникают прямо в сердце и заставляют меня страдать... Да, конечно, мое чувство не то, какого ты хочешь. Я — не Эдуард. Я — не «иллюзия», тобою созданная. Но я и не хочу быть ничем иным, кроме себя самого. Это не цинизм (хотя всякое самоутверждение может с известной точки зрения казаться циничным). Я не хвалюсь и не горжусь собой; но я не могу и не хочу [измениться] стать другим и забочусь только о том, чтобы быть по возможности правдивым и [нелицемерным] не лицемерным. Вспомни, с какою искренностью указывал я [всегда] тебе на двойственность моего чувства всякий раз, когда ощущал ее. Вспомни, с какою осторожностью характеризовал я всегда свою любовь. Проникнутый ощущением ее стихийности, я сравнивал ее с Wahlverwandtschaft[1], но не иначе, как оговариваясь, что неуверен в [справедливости] полном соответствии этого сравнения и что вероятнее предположить только некоторые стороны наших существ как бы исключительно предрасположенными ко взаимному соединению и дополнению. Я многоличен, и одно из моих *я* — твое. Оно увлекает [всего меня] за собою меня всего, и потому я поставил тебя царицей и владычицей моей жизни. И я не лишаю тебя трона; *ты* отрекаешься от него... О Лидия! Если ты ***не можешь*** любить меня ***также***, пытаться вернуть тебя было бы напрасно. Но ***если ты любишь***, — к чему эта ревнивая гордость? — Повторяю свою просьбу: увидимся! Дай мне еще взглянуть на себя. Ты не знаешь, как я люблю тебя! [как может любить каждое из моих *я* [мое *я*]]

В.

---

Получил и третье письмо. Прощай! Но все же я настаиваю на свидании. Поэтому не трудись много писать: поэтому: *к чему*? а прямо вырази свое согласие или несогл<асие>. В.

PS. Ты уже [очень] в значительной мере утешена? Тем лучше. Мне кажется, что я насквозь вижу тебя. Твои стоны (с refrain'ом[2]:

«о как я хочу жить!» и с самодовольным apartе[3]: «что за живучая, страстно кипучая душа во мне!») идут от нервов и оскорбленного самолюбия больше, чем от сердца. Ты [нисколько] вовсе не больше любишь (если любишь) меня, чем я тебя [(и я, быть может, больше)]. Но ты форсируешь ощущен<ия>, умеешь [форсировать чувство] лицемерить перед собою самой. Ты любишь фразу и сильное выражение [ощущение] эмоций. Но часто твои бури волнуют лишь поверхность твоей души. Ты натура художественная и чувственная, как я; но я менее риторичен. «Цельностью» [Цельность] твоего чувства [проистекает только из женской твоей природы] ты обязана женской твоей природ<е>. [Мы стоим друг друга в этой взаимной любви] In diesem Sinne reiche ich dir meine Hand[4]... — и желаю найти человека, который etc. [Addio, amore] Думаю, что ты вскоре утешишься и окончательно, тем более что ты чувствуешь сколько в тебе «силы любить, упиваться и опьянять другого свободною, полною, жизнью и единой страстью». A la bonne heure[5].

PPS

Ты ужасная фразерка. Одна проба: «наши души так гармонично дополняли друг друга, и мир существующий(?) так заманчиво расширял свои горизонты перед нашими мистическими(!) взглядами». Невыносимо вычурно.

[Оскорбленный в своем чувстве к тебе Протест<?>]

[1] Избирательным сродством (*нем.*). См. прим. к п. 50.
[2] От *фр.* «refrain» — припев, повторение.
[3] Здесь: реплика в сторону (*фр.*).
[4] В этом смысле я протягиваю тебе руку (*нем.*).
[5] В добрый час (*фр.*).

## 93. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*8/20 июня 1895. Париж*

vieni[1]

Телеграмма. Берлинский штемпель — 20.6.95.
[1] Приезжай (*ит.*). См. комментарий Иванова к этому тексту в п. 94.

## 94. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *10/22 июня 1895. Берлин*

*Берлин, 22 Июня.*

Я получил, дорогая Лидия, твое письмо от 12 Июня, — первое, адресованное тобою после Москвы сюда и по ошибке пересланное в Москву. Оно произвело на меня глубокое впечатление. Красоту *такой* «этики» я понимаю.

Вчера я переслал тебе свои старые письма. Ждал напрасно комментария к твоему лаконическому «vieni»[1]. Он был бы не лишним, — и я все жду его. Твои депеши требуют иногда комментариев. «Ti voglio bene», означающее для Итальянца «я тебя люблю», было переведено тобою: «я не могу более тебя любить».

Хотел бы я также знать, другими ли глазами ты смотришь на меня после моих письменных разъяснений или сохраняешь точку зрения, так пространно развитую тобой в твоей недавней Иеремиаде. Жду, следовательно, и ответа на свое письмо.

Что касается свидания, то приехать в Париж мне в крайней степени неудобно. Тем не менее мы *должны* увидеться. Не легче ли было бы тебе приехать сюда? Я во всяком случае не имею возможности отправиться немедленно.

Тоска томит меня. Это оттого — думается мне, — что ты сняла мое кольцо. Разве мы сказали последнее слово? Если *да*, к чему и свидание? Но ты не можешь сказать это *да*...

Твой В.

Лидия, приезжай ко мне[2].

Конверт письма обнаружен в другой папке (письма октября—ноября 1895 г.). Адрес на конверте — 36 rue Desbordes Valmore (Passy) Paris. Обратный адрес — 45 Rathenowerstrasse, Berlin. Над адресом получателя написано: «Eingeschrieben».

[1] Приезжай (*ит.*).

[2] В сохранившемся черновике:

Я получил [наконец], дорогая Лидия, твое письмо от 12 Июня, ~ [Такую] Красоту *такой* «этики» я понимаю. [Но ответа от меня теперь не жди.] ~

«Ti voglio bene», означающее для Итальянца «я тебя люблю», [оказалось в комментарии] [получило] было переведено тобою: «я не могу более тебя любить». [Жду] [Прошу я также и ответа на] Хотел бы я также знать, [теми ли же] другими ли глазами ты смотришь на меня после моих письменных разъяснений ~ Я во всяком случае не имею возможности [думать о немедленном отъезде] отправиться немедленно. [Прошу тебя писать.]

[Твой В.]

Тоска томит меня. Это [верно] оттого — думается мне, — что ты сняла мое кольцо.

## 95. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*11/23 июня 1895. Париж*

*Париж*
*23 Июня 95*

Дорогой Вячеслав и всё еще любимый, можешь ли ты спокойно выслушать меня, отложив в сторону свое жесткою <?>*, бесчеловечное самолюбие? Друг мой, ты сказал одну и, быть может, только одну правду в своем письме: «Мы значили друг для друга слишком много, чтобы расставаться *так*!»[1] И как мы расстаемся! Ты озлоблен и несправедлив. Твой поступок с отсылкою писем в ответ на мою телеграмму[2] не только жесток, он груб, и этой грубости по отношению к женщине я от такого «деликатного» «рыцаря» не ожидала. Тебе удалось еще раз поразить меня глубоко и больно. Этот поступок твой привел меня в состояние какого-то безумного отчаяния именно своей грубостью и жестокостью.

Я уже давно и твердо решила расстаться с тобою, но расстаться так грубо я не ожидала.

И всё-таки я прощаю тебе. Я понимаю твое состояние гордого, эгоистического самолюбия, т.е. понимаю теоретично. И я тоже «sehe darüber hinweg!»[3] Милый, я хочу говорить с тобою, как говорила бы с Богом, если бы оказалась когда-нибудь на его суде. Выслушай меня. Стань шире, беспристрастнее, выслушай меня как друга, как брата. Милый, если я виновата, или, вернее, и я виновата в резкости перед тобою: прости меня за нее. Мое оправдание чисто психологическое. Я любила тебя страстно, и ты ударил меня своею изменою в самом начале нашей любви, в самом пылу ее. Я так тосковала в Париже по тебе, я мечтала провести с тобою два полных месяца в дружбе и страстной любви, и вдруг всё пало и земля пошатнулась передо мною <так!>. Я вспомнила синий огонек свечи, которая потухла в Риме в Unione[4] в той комнатке с розовым светом. Я вспомнила всю любовь свою и твою заботливую ласку. Ты помнишь, когда я там, в этой комнатке плакала на полу о своем грехе, ты помнишь, как нежно, как братски утешал ты меня. Ты припомнил мне всю мою жизнь, полную горьких разочарований и страданий, и ты жалел меня, и убеждал меня в моем праве любить и брать любовь. Когда я, утомленная,

---

* Первоначально было написано: свою жесткую <?>, потом первое слово Зиновьева-Аннибал исправила, забыв согласовать второе.

побледнела и умолкла на маленьком диване, ты плакал от страха за меня, и я поверила в твою любовь, глубокую, полную жалости и нежности к слабейшему существу. И вдруг ты так ужасно, так ужасно изменился. Для удовлетворения своего ты, не жалея меня, изменяешь мне, горькую жизнь которой <так!> тебя поразила еще в первую встречу в Риме, когда ты, сидя со мною в коляске, так участливо, так властно заглядывал в глубину моей души. Да, ты изменяешь мне, мучаешь молчанием, и потом, не потрудившись даже *лично* смягчить удар, посылаешь письмом гордое признание и властный призыв меня к себе. И затем ни одного сердечного слова, ни одного звука любви и жалости, ни одной просьбы о прощении *твоей жестокости*, если даже ты не считаешь *измену* виною. И, наконец, эта молчаливая отсылка писем, эта грубость разгневанного офицера в ответ на приглашение женщины приехать.

О, Вячеслав, ты ли это? Открой глаза, брось гордость? Признайся, права ли я. Ты скажешь, что я отреклась, отреклась от тебя, что я запальчиво говорила о желании новой любви, что я была порою резка. Милый, неужели ты так мало психолог, чтобы вдуматься в душу женщины, любившей тебя, отдавшей этой любви себя, свое имя, рискнувшей своею свободою и своими детьми. Женщины, страдавшей так долго, так много, что физические силы надорвались коренным образом, и любившей тебя так честно и глубоко. Ты оскорбил меня в самой любви моей, ты после жаркого, раздирающего прощания тогда ночью во Флоренции, после своих безумно страстных писем из Берлина, из Варшавы даже, в то время, как я в смертном ужасе землетрясения писала тебе и вся принадлежала тебе, ты отдавался другой лишь потому, что тебе этого захотелось. Милый, увы, я еще люблю тебя, еще неведомая сила связывает меня с тобою и сердце мое надрывается. Милый, я скажу тебе честно, как перед Богом, течение своего настроения. Я страдала, страдаю и долго буду страдать, быть может, всегда. Вот более недели, что я не сплю более 3, 4 часов в сутки, что я рыдаю часами, что сердце разрывается, что всё существо просит смерти. Были вначале часы, минуты, когда душа, возмущенная страданием и помня недавние мечты о счастии, вырывалась на муки, во мне вставала гордость и жажда жизни, кот<орая> так недавно блистала предо мною, и я думала, что еще могу любить, что найду еще счастие и любовь. И гордая и радостная этими припадками живучести, я хваталась за перо и писала

тебе, и мне казалось, что я несколько спасаюсь от удара и оскорбления, нанесенного тобою. Но прошлое письмо, названною <так!> мною эпилогом, было действительно таковым для целого периода моей жизни. Дни такого едкого, громадного страдания, как переживаю я, могут производить сильные и коренные перевороты в жизни и воззрениях человека, и со мною произошло это. Тот порыв, самонадеянный и слепой, к счастию, молодости и красоте был последний, завершивший период «искания счастия и цельности». Милый, я поняла так ясно свою жизнь. В 17 лет это бурное, страстное стремление на крест, та же замаски<ро>ванная жажда цельного, захватывающего, счастия мученичества. Потом замужняя жизнь с ее метанием всё к тому же недосягаемому полному счастию в отдаче себя. Потом та первая сильная страсть и последовавшая пустота и ужас холодного одиночества. Жажды смерти перед самою встречею с тобою. Ты и твои мистические разговоры о Боге, о Христе, и всё тот же вопрос во мне: где счастие, где ключ и смысл жизни, побудивший меня написать тебе письмо, прося у тебя волшебного «слова». Потом Флоренция. До той минуты я искала ключ жизни в подвигах, в самоотречении, я даже стыдилась личного счастия, желания любви. Там я вместе с тобою окунулась в какое-то возрождение античного мировоззрения, я сбросила аскетизм и мне казалось, что я нашла ключ — в искусстве и любви. И я опьянялась тем и другим и думала в них сжечь, задыхаясь и торопясь, короткую человеческую жизнь, в конце которой я видела лишь черную могилу и тление. Любовью и красотою думала я заглушить вопрос: «И это всё?» Не знаю, милый, дорогой друг, долго ли продолжалась бы моя вера, если продолжалась бы наша любовь? Но теперь, когда всё, что было манящего, ослепляющего в моей жизни, потеряно и умерло, меня еще раз и страшнее, чем когда-либо охватил ужас жизни, и я опять кинулась за «словом». О мой милый и все еще любимый Вячеслав, не ты, мой дорогой, не ты дашь мне его, не у тебя прошу я его. Милый, ты хотел нести меня на руках через мир, ты хотел лелеять и беречь мои шаги, ты хотел быть моею опорою, ты так заманчиво давно, давно, о так ужасно давно на piazza Indipendenza, окаймленной цепями, — рисовал мне всю нежность, всю бережливую заботливость любви своей к любимой женщине. «О Лидия, — говорил ты, — ты не знаешь, *как* я умею любить!» Да, Вячеслав, я не знала. Да, не у тебя, увы, не у тебя, всё еще самого близкого и дорогого мне существа, могу я искать слова. У себя

должна я искать его, у себя, усталой, разочарованной и такой бесконечно грустной женщины. Милый, я вхожу в новый фазис своей жизни, и если бы я умела молиться, я молила бы, чтобы он был последний. Я глубоко, мой милый, мой дорогой, любимый друг, разочарована, о так глубоко и в жизни, и в любви, во всякой возможности счастия здесь. И всё существо мое рвется прочь с этой земли, черной, пыльной, от этих невыносимо бóльных разочарований. Милый, не фразы говорю я. Я пишу, и рыдания мои аккомпанируют перу. О, Вячеслав, я ищу веры, веры, не церковной, узкой христианской, о просто веры, неопределенной, но твердой, в то, что эта несовершенная, полная мучения и боли — жизнь не последняя и единственная, что сон мой о счастии и полноте чувства осуществится не на земле. Милый, вот новый фазис моей душевной жизни: отречение от радостей жизни и надежда на продолжение этого едкого, страстного душевного стремления к идеалу и нахождение его вне этой *жизни*. Милый, я очищаюсь от земных желаний и надежд, я делаюсь спокойнее, индеферентнее <так!> к жизни. Милый, я не рвусь более к страсти и я думаю, что если бы когда-либо в ком-либо я увидела бы ее признаки, эти взгляды жгучие, эти мольбы, эта близость, страсть, — словом, я с ужасом бежала бы ее. Она отравляет любовь, она обращает ее в эгоизм наслаждения. Два несчастные, несвободные, несовершенные человеческие существа, мучительно стремящиеся слиться, поглотить друг друга, выбиться из одиночества, и соединяющиеся в трепете страсти, так схожем с злобною ненавистью, и потом расходящиеся разочарованные и вновь одинокие. Забывающие друг друга, причиняющие адские, нечеловеческие страдания, чтобы бросаться к другим и вновь бесплодно пытаться слиться и расширить свое существо в этом слиянии. Дорогой Вячеслав, возлюбленный мой, прости мне все резкости, всю гордость мою. Не говори мне слов страсти, которую я боюсь и в которую изверилась <так!>. Милый, скажи мне слово любви, нежности, жалости, человеческой жалости.

Зачем расставаться так! Два несчастные слабые человеческие существа, которые любили, которые убеждались в недостаточности, в неполноте своей любви, — зачем расходиться врагами.

Мой милый, ты писал, что хочешь видеть меня, и я тотчас без гордости телеграфировала: «Приезжай». Ведь и я хотела видеть тебя, говорить с тобою, плакать, глядя в твои глаза, которые когда-то горели для меня манящим и обещающим так многое огнем.

Милый, всё рухнуло. Бесполезно было бы вновь начинать. Я прямо говорю тебе: твоею я более не буду. Это слишком больно, слишком мучительно. Я страдаю всё это время, как будто каленое железо почти без перерыва разжигает мое сердце. Я более не хочу этого. Я с ужасом думаю о страсти. Милый, я ничьею никогда не буду. Я не даю ни себе, ни тебе ни малейшей надежды на это, но видеть тебя, моего друга, самое близкое, дорогое и милое мне существо я хотела, когда писала «vieni». Я хотела слышать твой голос, долгими часами сидеть в твоей близости, и стараться найти ключ к пониманию твоего сердца, и поверить, что ты не холоден, как смерть, не жесток. О если бы ты знал, как мне больно думать, что ты жесток, что ты не *любил* и не *любишь* меня. И всеми силами пытаюсь я изгнать образы прошлого, встающие передо мною. Прошлое умерло и не повторится. Нет, жизнь не может заключаться в этом бесконечном ряде терзаний. Ты говоришь, что я узка. Ты ошибаешься, мой друг. Я только требую одного — любви. Ты помнишь, я писала тебе из Pesaro, что хотела бы на площадях кричать: «Любите друг друга»[5], и нет для меня непростительного, непонятного в мире, кроме одного бессердечия. И как ты, поэт, ни украшай жестокости или, вернее, бессердечия, это всё-таки остается отвратительным. И человек без сердца для меня это склёп <так!> холодный с подземным трупным запахом.

Поэтому, мой милый, тот, которого я считаю дорогим мне возлюбленным, скажи мне правду, так как ты правдив. Если письмо это не дойдет до твоего сердца, если ты не почуешь в нем живого жара слез, мучительного биения сердца, всей правды и искренности обнажившейся перед тобою женской души, если в тебе не проснется сильного желания устно или письменно протянуть мне рук <так!> и тесно и дружески прижать мое трепещущее сердце к своему, — тогда молчи, и будем по крайней мере честны до конца. Если же ты веришь мне и если в твоем сердце есть любовь к людям, то, забыв или заглушив свою страсть, приди ко мне как любимой сестре и *простимся друзьями*, это единственное, чего я жажду.

Но правда прежде всего, и я верю в твою искренность.

Тебе преданная всею душою

Лидия.

Если бы я была узка, дорогой Вячеслав, я ревновала бы и сердилась с женскою мелочностью. Но меня оскорбляет и мучает

больше всего твое бессердечное самолюбие. К жене же твоей, с такою беззаветною любовию подбирающей чужие объедки, я чувствую лишь жалость более гордого и сильного существа.

Конверт со штемпелями: Paris. 23 juin 95 — Berlin. 25.6.95.

[1] Неточная цитата из п. 91.

[2] См. п. 94.

[3] См. п. 91, прим. 1.

[4] Видимо, речь идет о гостинице (или меблированных комнатах), где Иванов и Л.Д. провели дни своего свидания в Риме в марте 1895 г. В том же контексте упоминается в дневнике Л.Д. 1907 года (Римский архив Вяч. Иванова).

[5] См. п. 4.

## 96. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*12/24 июня 1895. Париж*

*24 Июня 95 г.*

Дорогой Вячеслав, твое сегодняшнее письмо[1] m'a fait du bien[2]. Наконец я услышала простые добрые слова без напыщенного чувства гордости. Спешу ответить на него. Я уже писала вчера[3], что желала бы свидания, но сегодня, мой дорогой друг, повторяю еще раз (и верь мне, т.к. я спокойна и ясна в своих суждениях), что твоею я более быть не могу. Ту любовь, которую ты мне давал, я приняла ее по *недоразумению* (не смейся!), я всегда думала, что ты можешь изменить ей, но сила ее убеждала меня в ее цельности и полноте в данное время. Я, оказывается, ошибалась, и ты всегда чувствовал, что я «не вполне удовлетворяю твою потребность любви»[4], поэтому, лишь только мы расстались, ты принялся удовлетворять остальные стороны своей способности любви. Ты находишь это естественным, ты считаешь себя правым. И я не обвиняю тебя, и не обвиняю ни в чем ином, кроме бессердечия. Я просто признаю, *что ты таков*.

Но принять такую любовь я не могу. Моя страсть, кажется, навсегда погасла, и не для тебя одного, а для всех. Но я ужасно верное и привязчивое существо, и я люблю тебя, Вячеслав, я глубоко люблю тебя. Поэтому я желаю видеть тебя, теперь ли или позже, когда тебе удобнее. Я лично в Берлин всё-таки по разным очень сложным и для меня важным причинам не поеду. Если тебя стесняет здесь присутствие Гр<евса>, то я его почти не вижу и он

живет у Гольшт<ейнов>. Если у тебя не хватает денег, я могу одолжить тебе. Если же ты не чувствуешь мучительного желания видеть меня или смотришь на это свидание лишь как на средство вновь овладеть мною, то будь честен и откажись от него.

Во всяком случае, благодарю тебя за твое письмо.

Тебе нежно преданная

Лидия.

P.S. Не могу постичь, почему ты ждал коммент<ария> <так!> телеграмме «vieni»! Не ты ли просил меня *не распространяться*, а просто выразить согласие или нет нашему свиданию.

Милый друг, надорвалась во мне какая-то коренная пружина моей жизни, и я стала совсем иною. Лишь подобные удары тяжелого молота могут так переворачивать и изменять человека. От Флоренции меня отделяют века, и ты, быть может, прошел бы мимо меня, если бы встретил теперь, а не раньше, быть может, и разлука со мною теперь будет тебе легка, т.к. я не та, которую ты любил, та умерла, мой милый, дорогой Вячеслав, и Бог с ней, с той вечной бурной душой, ищущей разгадки жизни на земле обмана и тления. Не на мою голову можешь ты одеть венок из плюща и роз, и для меня кольцо твое, память гордого, античного Рима уже не имеет живого значения. Умерло то, что было. Я не того искала... я ошиблась. Моя натура просит глубины и полноты, а не роз и вина.

Конверт со штемпелем: Paris. 24 juin 95. Берлинский штемпель не сохранился.

[1] Имеется в виду п. 94.

[2] Пошло мне на пользу (*фр.*).

[3] См. п. 95.

[4] Видимо, имеется в виду п. 92.

## 97. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*15/27 июня 1895. Берлин*

*27 Июня.*

Да, дорогая! До моего сердца дошли твои слова. Благодарю тебя. Ты не знаешь, как мне тяжело и как я жажду найти в тебе хоть каплю сердечности...

«Сложные» причины, препятствующие тебе приехать в Берлин, сводятся, вероятно, к одной: к твоему с-ложному самолюбию... Soit![1] Приложу старания, чтобы в непродолжительном времени увидеться с тобой в Париже...

Люблю тебя... И целую — ты не знаешь, как.....

В.[2]

[1] Ладно! (*фр.*)

[2] Имеется черновик, практически без разночтений, за исключением одного: в нем слово «с-ложный» написано слитно, но к нему сделана сноска и помета: «перенесено: с-ложному».

## 98. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*19 июня / 1 июля 1895. Париж*

*1 Июля 95*

Дорогой друг, предупреждаю, что между 3—5 Июля жду брата своего[1] в Париж. Боюсь, что тебе очень неудобно приехать: тогда отложим свидание до, хотя бы до России... Это, впрочем, очень огорчило бы меня, но приехать я теперь не могу, *не* из самолюбия, а из-за уроков и лечения, а после не приеду из самолюбия. Но возврата к прекрасному прошлому нет, мой дорогой. Видишь ли, я ужасно много думаю, и думаю, что если мущины в большинстве полигамичны, то женщины моногам<ны>. И от этого все трагедии этой проклятой жизни. Надо быть или гетерой, чтобы любить в вине и смехе, или продажной самкой, чтобы любить с «увлаж<ненным> слезами взглядом»[2]. Я не то и не иное. Я буду лишь свидетелем жизни, кот<орая> меня очень интересует в своих бескон<ечных> драмах. О, кабы был талант творить и писать. *Напиши*, приедешь или нет.

Отстала, очень много работаю... Тороплюсь.

Я тебя еще люблю.

Закрытка со штемпелями: Paris. 1 juillet 95 — Berlin. 6.7.95.

[1] Александр Дмитриевич Зиновьев (1854—1931), в 1884—1897 служил по выборам от дворянства в С.-Петербургской губернии, в 1897—1902 был губернским предводителем дворянства. В 1903—1911 петербургский гражданский губернатор. Подробнее о нем см.: *Дауголенский Я.Н.* Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга-Петрограда: Генерал-губернаторы, гражданские губернаторы, градоначальники. СПб., 2001. С. 237—239.

[2] Неточная цитата из п. 91.

## 99. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*21 июня / 3 июля 1895. Берлин*

*Берлин, 3 Июля*

Благодарю за предупреждение, пришедшее как раз вовремя. В самом деле, отложим свидание до — России!

Заключительный вопрос — приеду ли я — совершенно излишний вопрос. Пребывание твоего брата в Париже исключает возможность моего приезда туда.

Если твое желание увидеться со мною идет дальше предоставления мне права посетить тебя в твоей резиденции, — права, которым я не жажду более воспользоваться, — то условимся о времени, месте и возможной продолжительности свидания. О продолжительности упоминаю потому, что не раз или два хотел бы говорить с тобою, а жить некоторое время подле тебя.

Важно было бы мне как можно скорее установить распределение своего времени. Поэтому, если имеешь что-нибудь сказать мне по вопросу о нашем свидании, то извести меня скорее. —

Итак — до свидания — в неопределенном будущем...

В.

Тактичнее было бы тебе воздерживаться от заочных неделикатностей по адресу моей жены, которой ты вовсе не знаешь.

В.

Ответ на п. 98. Имеется черновик без разночтений.

## 100. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*21 июня / 3 июля 1895. Париж*

*3 Июля 95 г.*

Ты помнишь, дорогой мой, прошлую осень во Флоренции, мои бессонные ночи, полные экстаза новой жизни, новых мечтаний о никогда не испытанном счастии? Я говорила тебе: «Вы присутствуете при рождении человека!» Я рождалась тогда, освобождаясь от путов <так!> прошлого. Горизонт расширялся, и мне казалось, что «слово» нисходило на меня. Слово жизни, ее разгадка, и разгадка была в широком прекрасном труде и в могучей и свободной любви. Ты помнишь храм Труда и храм Любви[1]? Вполз-

ла ли зеленая зависть в наше жилище, позавидовав столь краткому, но интенсивному счастию? В душе твоей зеленая змея помутила образ твоей возлюбленной, и ты изменил ей душой и телом. А я? Да, я, как тогда в моем видении, зажгла безжалостною рукою наши чудные храмы и умерла вместе с ними, с нашею мечтой. Да, мой дорогой, я умерла! Я уже не живое существо или, вернее, я жива лишь тогда, когда порывами с мучительною болью не просыпается во мне столь недавнее и столь непереходимо далекое прошлое. Тогда я мечусь и страдаю, ах, так больно, так больно. Но к чему? Силы уходят, я с трудом пою, качаясь на ногах от слабости, а между тем возврата нет. Я железными клещами воли сковала в себе женские мечты, которые недавно священным огнем согревали жизнь. Я отстранила жизнь и я вырабатываю из себя «зрителя» и «наблюдателя». Но как тяжко, как тяжко!

Я думаю и наблюдаю. Любовь стоит слишком дорого, да и нет ее вовсе иначе как в фантазии Гёте, в этом роковом Wahlverwand<t>schaft[2]. Я слишком разумна, слишком мужественна, чтобы продолжать .....[3] Я вырываю его вместе с кровью сердца моего. Переживу ли я или нет его разрушение — я не знаю, но иначе я не могу. Я буду конкретнее. Ты говоришь, что любишь меня, любишь *больше*, нежели другую, потому что *пока* я удовлетворяю *большую* часть твоего существа. Я даю тебе *всю* свою любовь, ибо иначе не умею, увы! о кабы я умела быть легкомысленной! С любовью я неизбежно даю тебе 1) свою свободу, ибо ты знаешь, что любовь так или иначе связывает, 2) свое имя безупречной женщины в своих собственных глазах (ты знаешь, как тяжела мне была наша любовь нравственно), 3) свою репутацию в глазах большинства общества (щелчки я уже испытала во Флоренции), 4) поддержку, которую я имела в канцел<ярии> прош<ений>[4], 5) я рискую отдаться в руки своего мужа хотя бы тем, что от него будет зависеть судьба моих детей, 6) я лишаю себя ореола матери в глазах детей, 7) я ставлю на карту их судьбу и рискую навлечь на себя большое горе, если придется мне расстаться с ними, 8) я очень вероятно могу иметь ребенка, которого совесть и любовь к нему не допустит бросить, который принесет мне много забот и горя, 9) я рискую очень повредить своей карьере, за которую держусь судорожно, как утопающий, 10) я рискую убить свою больную мать и потерять поддержку брата.

Я ни разу не говорила тебе всего этого, т.к. я чувствовала, что любовь твоя пламенная и глубокая?* вознаграждала за всё, за всё, и я пошла бы на всё, на всё. Но вот эта любовь является мне в совершенно новом свете. Ты любил меня вчера большею частью своего существа, но на другой день ты удовлетворил меньшую часть, отдавшись своей жене, через еще день ты найдешь третью сторону, которую удовлетворит Clärchen или Гретхен[5], и т.д. Затем в один прекрасный день** жена, Clarchen <так!> или Гретхен перетянут весы, и я окажусь уже парией твоей любви и буду служить султану лишь изредка с увлажненным слезою взглядом. А потом настанет момент, что я и твой ребенок будем прямо выброшены за борт, но я не жена твоя, и за меня не будет ни доброе мнение, ни сочувствие людское, которое в горе дают <так!> большую поддержку. Всякий скажет: «Поделом», — и отвернется. А я, а я останусь одна, и у меня даже не будет сознания, что меня любили цельною, сильною любовью. Тогда останется лишь одно: убить себя и ребенка.

Да, мой дорогой возлюбленный, я ясно и смело взглянула в глаза будущего, и я твердо сказала себе фразу, слышанную где-то: «Il faut être brave et se dire que le plus beau moment de la vie est passer pour toujours!»[6] Да, но о, если бы, si ce moment avait été sans târe[7]! Ну что же делать? всё кончено, всё кончено. Я чувствую, что «начать» еще раз, чтобы еще раз испытать «конец», я не в силах.

Вячеслав, ведь ты человек и я человек, забудь на минуту во мне женщину, созданную для удовлетворения какой-нибудь «стороны» мужчины, ее владыки. Почувствуй во мне брата с болеющим сердцем, с испуганным жизнью взглядом: я слаба, я больна, но как ужасно умирать месяцами, годами, умирать от подкошенной веры, от загрязненных жизнью мечтаний. Я не могу подделаться под жизнь и я чувствую, как медленно и ядовито эта жизнь подтачивает силы. Мышьяк, ду... [8] и т.д. я глотаю и проделываю всё это, но силы уходят медленно и непоправимо.

Еще во мне живо желание петь и вырастить своих детей. Но кто знает, хватит ли сил, теперь они так плохи. Милый, я не жалуюсь, я не упрекаю, я не жалею даже, что в этот год еще раз по-

---

* Знак Зиновьевой-Аннибал.

** Забыла прибавить, что ты сам обещаешь бросить меня и «всё», лишь только твоей жене вздумается полюбить иного и забыть своего султана. Очень заманчивая перспектива для меня. *(Прим. Зиновьевой-Аннибал.)*

верила и похоронила веру. Скоро, скоро будет il nostro anniversario, l'anniversario del nostro amore! che tristo, tristo anniversario, caro amante[9]!

Но я говорю всё это, чтобы ты пожалел меня как человека, пойми, а не как женщину. Не поцелуев прошу, они для меня будут жгучим ядом, я глушу в себе всякую память о них в прошлом. Я прошу у тебя человеческой любви и понимания. Мягкости брата к брату. Я повторяю: я хочу сесть, прижавшись к тебе и взяв твою руку в свою, и я хочу говорить, говорить и чувствовать твою любовь, любовь к человеку, к жалкому, убитому, измученному человеку. Для этого прошу я у тебя свидания, но если ты находишь это неразумным и трудным или если ты надеешься вернуть мою страсть — брось эту мысль. Тогда, мой друг, напиши мне, не пожалей времени, напиши побольше.

Ответь на это письмо. Но, милый, дорогой, умоляю тебя именем всего лучшего, умоляю — не пиши мне о своей султанской страсти, пожалей меня, ты жег меня каленым железом в прошлом — длинном своем письме[10]. Я не хочу лобзаний и страсти. Милый, пожалей меня. Я не могу помириться на насущности. Я не могу понять вашей полигамии, т.е. не могу примириться с нею для себя. Но чего я прошу у тебя? быть может, я сама не знаю. Быть может, это свидание будет слишком тяжело. Ответь мне всё, что чувствуешь, исключая той страсти, которая ставит меня «царицей твоей жизни» или, вернее, султаншей твоего гарема.

О, кабы скорее избавиться от кошмара прошлого счастия, вот самое жаркое мое желание, т.к. от будущего я ничего не жду.

Пока еще твоя душою

Лидия.

Напиши скорее, или приезжай.

Какая фантазия пришла мне послать тебе это письмо[11], только что полученное от моих таких любящих и преданных друзей. Они только что переехали на дачу, построенную ими самими. Это вечные труженики, без дальних мыслей, и дружно делящие серенькую жизнь. Еще молодая и красивая пара. Он был верен всегда и не имел таких разнообразных сторон, для удовлетворения которых требовались бы человеческие жертвы. О, как я рыдаю, читая это письмо. Что пел ты мне о моей художественной и чувственной натуре. Я была бы счастлива верно и горяче <!> любить, иметь друга верного и любящего. О как близка моей душе идил-

лия. Ты смеешься надо мною, а я плачу, плачу безутешно и проклинаю эти слезы и эту жизнь, и проклинаю наш роман, проклинаю, слышишь, проклинаю твою страсть, слышишь, да будет она проклята, проклята, anatema su lei <?>[12]!

О, я с ума схожу, ты ошибся во мне, а я в тебе, но кровью и слезами искупаются женщинами подобные ошибки. О, проклятие, проклятие! Ведь я умела бы любить и я могла бы сделать друга счастливым и быть счастлива. Проклятие!

Прости, мой друг, я сама чувствую, что иногда схожу с ума. Слава Богу! а пока я проклинаю жизнь и обманула любовь три лета <?>.

*<Приложение>*

Я вижу полянку посреди стройного и гибкого соснового леса, дом бревенчатый с русской резьбой. Мирные и радостные лучи солнца играют в стеклах дома, в темных ветвях и красноватых стволах сосен. Воздух полон аромата смолы и какой-то свежей силы земли. На грядах огорода, засеянных заботливо и любовно, выходят <так!> свежие светло-зеленые стебельки, дети играют шишками в песке у крыльца. Моя лошадь щиплет траву около них. Я стою, защитив глаза рукою от солнца, всею грудью вдыхаю аромат сосен и силу весны, и около меня рисуется фигура человека-друга и любовника, человека, с которым так сладко делить труды и досуги. Отдых от страданий, от измен, от оскорблений. Всё тихо, тихо, ветер едва колышет воздух, вдали звенит гармоничный финляндский колокольчик. Мимо уха пролетел с гулом и ударился о землю жук, заржала лошадь, защебетали птицы и дети. Мне хочется петь русскую народную песнь с меланхолическим напевом о верной любви, о ее тоске и радости, и в аккомпанемент песне загудел протяжно лес, и в этом звуке, как в песне, говорилось о верной любви, о тоске и радости. Но всё тихо... Лес исчез, солнце погасло, дома нет, а дети... дети остались жить и мучительно вспоминать песнь, которую когда-то пела им давно, давно мать, песнь о верной любви, о тоске ее и радости. Их мать умерла.

Наконец, наконец она нашла покой. Да полно, нашла ли? Не воскресла ли она вновь где-нибудь в иной форме, чтобы вновь нести проклятие человечества — жизнь, с ее мукою, кровью и слезами?

Конверт со штемпелями: Paris. 3 juil. 95 — Berlin. 5.7.95.

[1] Речь идет о сне, записанном в дневнике Зиновьевой-Аннибал 12 ноября 1894 г. См. выше, раздел «Интермедия».

[2] См. п. 25, прим. 2.

[3] Несколько слов готическим почерком не разобраны.

[4] Канцелярия Его Императорского Величества по принятию прошений, на Высочайшее имя приносимых, куда Зиновьева-Аннибал подавала прошение о получении отдельного вида на жительство, а потом и прошение о разводе. Подробнее см. письмо Иванова к Д.М. Ивановой от 12 июня 1894 («Интродукция»).

[5] Clärchen (правильно — Klärchen) — героиня «Эгмонта», Гретхен — героиня «Фауста» Гёте.

[6] Нужно быть смелой и сказать себе, что прекраснейшая минута жизни прошла безвозвратно (*фр.*). Мы полагаем, что Зиновьева-Аннибал ошиблась, написав инфинитив (passer) вместо participe passé (passé).

[7] Если бы эта минута была без изъяна! (*фр.*) Отметим, что слово tate пишется без accent circonflexe.

[8] Речь идет о каком-то лекарстве. Отчетливо читаются две первые буквы: «ду», причем над «у» стоит знак ударения.

[9] Наша годовщина, годовщина нашей любви! какая печальная, печальная годовщина, дорогой возлюбленный! (*ит.*)

[10] Имеется в виду п. 92.

[11] См. *Приложение*. Судя по всему, оно написано самою Зиновьевой-Аннибал и не имеет никакого «оригинала».

[12] Анафема ей! (*ит.*)

## 101. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*21 июня / 3 июля 1895. Париж*

*6 ч. вечера 3 Июля*

Возлюбленный! какое странное существо человек! Я спешу сообщить тебе свои наблюдения над собою, тебе это несколько интересно и как философу и еще потому, что всё же я тебя несколько касаюсь. Несколько часов тому назад ты получил письмо, орошенное слезами[1]. О, как я рыдала! Я рыдала безостановочно почти два дня и две ночи, и проклинала жизнь, и была способна на смерть. Что случилось с тех пор в течение этого короткого дня. Ничего, ровно ничего. Разбери, психолог. Моя натура внезапно гордо выпрямилась и возмутилась насилием моего сердца. Я сама себе приготовила сюрприз. Когда я выплакала все слезы, мне стало легче. Потом я была на людях, много говорила, жизнь загорелась и я еще раз воскресла. Жить, жить, но не страдать. Осталось не много лет, чтобы наслаждаться, о Боже, неужели отравлять их трагедиями. Трагедии любят счастливые, мы же, тертые калачи, ищем спасения от слез и стонов, и вот во мне еще раз востор-

жествовала вторая часть моего двойств<енного> существа, и я почуяла в себе гетеру, но какая разница между прошлою зимою и этим летом. O, tu m'a bien corrompu, mon cher amant[2], и не даром добыла я мудрость. Долой финляндские идиллии[3]. Какая дикая мысль, что я создана для них. Я кокетка, я полна жизни и она будет у моих ног. Да, я выучусь смотреть на нее надменно и лишь эксплуатировать ее дары умно и весело. Я была только что на уроке теории у одного молодого русск<ого> эмигранта, он женат на француженке, и вдруг я почувствовала, что этот человек начинает вибрировать по моей воле, и во мне снова проснулось кокетство, бессердечное, безнравственное кокетство, которым овладела я тобою. Да, когда действуют такими средствами, то получают заслуженное наказание, но я не могу не быть кокеткою, не могу не вытягивать удочку, когда рыба клюет. Да и к чему? кому я врежу? законным женам? ба, не я, так другая, а я еще человечнее многих. Ты мне предлагаешь роль гетеры, soit[4] — я гетера. Ты поил меня вином и венчал плющом! soit! я буду вакханкою. Но умно, осторожно. Моя мораль такова: не вреди *слишком* другим, будь очень великодушна и добра, наслаждайся смело и свободно и — Бог простит. Только что в одном окне видела розоватые занавески, точно в Unione[5], и сердце не забилось болью, я только подумала: «Хорошо было!», а потом: «И еще будет, если не проморгаешь жизнь». Да, быть доброй, т.е. жалеть тех, кому можешь помочь — вот единственная область, в которую я допущу свое сердце, но мущины, о, теперь они для меня враги, так же, как и я им, т.е. враги, с которыми борот<ь>ся весело и с которых дань надо брать большую. Единственное, о чем я жалею, — что я не стала гетерою 10 лет тому назад. Но теперь кончено! Довольно слез, они так не идут мне! Если ты хочешь добыть меня теперь, быть может, тебе удастся (хотя не ручаюсь за новое впечатление, которое ты произведешь после разлуки), но тогда gare à toi[6]! я спою тебе: dei miei pianti la vendetta or dal ciel si compirà![7] Если ты не веришь искренности этого письма, брось сомнения, возлюбленный, ты знаешь, я не умею писать иначе как под сильным наплывом чувства. Я вся полна этим новым, еще никогда ясно не сознанным, хотя смутно испытанным гетеризмом. Ты, вероятно, удивляешься de ma perversité[8], но ты сам несколько в ней виноват. Впрочем, можешь хранить это письмо как документ против меня. Я подумываю устроить себе постоянный pied-à-terre[9] в Париже и зимою съездить в Россию без детей, чтобы попытаться получить ангажемент, а теперь я вся в музыке и мчусь вперед. Голос ужас-

но поправился, приобрела еще ноту *до* наверху. Viardot хвалит. Беда только в здоровии, но умные гетеры ведь не хворают и умеют долго хранить молодость! Итак, долой сердце раз и навсегда, т.е. только по отношению к «любви». Прощай, возлюбленный, ведь всё-таки хорошо было в Риме, ты помнишь forum, и collosseo, и Tribuna terza[10]! Пока еще твоя Лидия.

Главное в моем настроении — свобода, ведь гетеры не терпели стеснения, зато и не ревновали к зак<онным> женам.

Переведи письмо своей докторше[11], пусть она его прочитает дурам в этическом кружке[12], которые подставляют вашему брату щеки и просят: бей меня!

Конверт со штемпелями: Paris. 3 juil. 95 — Berlin. 5.7.95.

[1] П. 100.

[2] О, ты изрядно развратил меня, дорогой возлюбленный (*фр.*).

[3] См. *Приложение* к п. 100.

[4] Да будет так (*фр.*).

[5] См. п. 95, прим. 4.

[6] Берегись! (*фр.*)

[7] Теперь мои слезы могут быть отомщены только небесами (Из оперы Дж. Верди «Аида», акт 4, явление 1).

[8] Моей извращенности (*фр.*).

[9] Небольшая квартирка (*фр.*).

[10] Форум, и Колизей, и третья трибуна (*ит.*).

[11] Фрау Лёвенгейм.

[12] Имеется в виду «Общество этической культуры», членом которого была фрау Лёвенгейм.

## 102. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*22 (?) июня / 4 (?) июля 1895. Париж*

Дорогой Вячеслав! Невыносима становится наша переписка. Друг мой, я скажу тебе прямо и честно всё, что знаю. Я вполне могу и желаю не быть более твоею любовницею, но расставаться в злобе мне так тяжко, что каждое твое письмо в тоне сегодняшнего обливает меня кипятком, а в груди делается ощущение каленого железа. Я не могу выдержать этих ударов. Кроме того, я очень желала бы так о многом переговорить с тобою и именно пожить около тебя, ты это так хорошо выразил. Я не отрицаю ни одного своего прошлого письма, так же как и мнение мое о твоей супруге, которую жалела сначала и перед которою сначала

чувствовала некоторым образом вину, но теперь, слава Богу, мы квиты: я взяла тебя у нее, а она у меня! Кроме того, я не намерена выслушивать твои реприманды и могу судить об этой особе как мне угодно. Если женщине мущина говорит: «Отдайся мне, но я другую люблю *больше* тебя», и она отдается — то она самка *бесстрастная* <подчеркнуто дважды> и *преданная*. Или мущина солгал мне? но ты никогда не лжешь, и я оставляю за собою право выражаться о твоей султанше как мне угодно. Je ne l'estime pas trop, poverina! ça c'est bien vrai!! и эта свобода моя — условие всяких дальнейших наших отношений. Ты можешь *просить* меня, но не приказывать. А ты сам, мой милый, не знаешь ни ее, ни меня.

Ну не могла не написать всего этого под влиянием только что прочитанного письма твоего[2].

Не отрекаюсь от прошлых писем, потому что в них одна правда. Передо мною две дороги: преданная, глубокая и сильная любовь, вероятно, на годы и годы, если не навсегда, или — гетеризм, нравственный, быть может, а быть может — и физический. До твоей «измены» я шла по первой, и все помыслы мои были чисты, и на них лежал отпечаток моей столь страстной и все-таки чистой и верной любви*. Но ты закрыл передо мною этот путь. Прозябать я не умею. Лучше гетеризм, чем смерть, и я чувствую в себе все задатки гетеры, когда во мне убили «честную» женщину. Но, милый, ведь я еще люблю тебя, быть может, я и сквозь гетеризм последующих годов буду верно любить тебя, носить в душе свое первое, богато расцветшее чувство. Поэтому я *не могу* так расстаться с тобою, я чувствую, что если ты поступишь со мною так, то я способна броситься на всё чтобы забыться, а забвение в Париже возможно найти. Вино и морфий убьют остаток совести. Но жить, жить хочу я...

Если ты ищешь во мне гетеру, повторяю, ты найдешь ее, но ты будешь наряду с другими и без всяких прав на верность.

Если ты ищешь женщину-любовницу, какою я была тебе до сих пор, то ты ищешь невозможного, так как ты себя переделать не можешь, а как женщина я требую абсолютного чувства к себе.

Теперь, чтобы вернуться к свиданию. Здесь произошло недоразумение[3]: я жду брата на несколько часов проездом в Лондон, и день его проезда колеблется между 3—5 Июля. Он будет здесь завтра и послезавтра уедет.

---

* Над строкой вписано без точного отнесения: Бог и Баядера! Бог столкнул баяд<еру> с костра в дань <?> любви[5].

Если ты можешь приехать в Париж, то приезжай скорее. Я остаюсь здесь до 25 Июля, после чего еду к детям, т.к. меня торопят доктора к морю вследствие ужасно упавших сил.

Хорошо бы ты сделал, если бы сбросил немного свое самолюбие и допустил бы несколько человечности, это бы избавило меня от совсем излишних ударов... Перечитала письмо: ты обвиняешь меня в *заочных* обвинениях твоей жены: я много раз хотела писать ей и не делала ради тебя; я напишу ей, что возвращаю ей (поскольку от меня зависит) ее собственность, и не сомневаюсь, что она в качестве преданной самки примет ее. Я, мой милый, никого и ничего не боюсь и передо всем светом раскрыла бы душу и дела свои, если бы захотела.

Забыла во вчерашнем письме подписаться твоею пантерою, это к нему шло[4]. Молчу, потому что страшно взволнованна, но правдива, как всегда. Мы с тобой, мой возлюбленный, пара, мы оба не очень честны, но очень правдивы. Итак, приедешь или еще будешь ломаться, глупый Вячеслав? ах, брось самолюбие, ведь любишь же ты меня, ну и должен же мне хоть что-нибудь, кроме ударов, нет?

Твоя неисправим<ая> пантера.

Ну брось, не сердись: целую тебя — вот тебе.

Датируется на основании конверта со штемпелями: Paris. 4 juil. 95 — Berlin, 6.7.95.

[1] Я не слишком высоко ценю ее, бедняжку! Это чистая правда (*фр., ит.*).

[2] П. 99.

[3] См. пп. 98 и 99.

[4] Речь идет о п. 101.

[5] Имеется в виду баллада «Бог и танцовщица» Гёте («Der Gott und die Bajadere», 1797) и, возможно, песня Шуберта на эти слова.

## 103. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*23 июня / 5 июля 1895. Берлин*

*Берлин, 5 Июля.*

Милая Лидия! Получил я сегодня утром от тебя письмо с «финляндской идиллией» и проклятиями, а [чрез несколько часов] вскоре после того — другое [письмо], назначенное для прочтения в Этическом Обществе в поучение «дурам», — с прославлением «гетеризма». В последнем письме ты задаешь мне пси-

хологическую задачу: объяснить, как произошла столь быстрая и резкая перемена в твоем настроении, что через несколько часов всего после отправления письма, «орошенного слезами», ты, рыдавшая перед тем непрерывно два дня и две ночи, вдруг снова почувствовала себя «воскресшей» и снова вдохновенно взялась за перо, чтобы удивить меня неожиданным и вызывающим дифирамбом «жизни»... В ответ на это позволю себе прежде всего выразить полное свое одобрение твоему настроению d'après-midi[1] и даже цитировать, в защиту твоего нового взгляда и даже одобрения этого взгляда,— «das trunkene Lied»[2] Фридриха Нитче:

Ich schlief, ich schlief[3], —
говорит Полночь.
Aus tiefem Traum bin ich erwacht:
Die Welt ist tief,
Und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh, —
Lust — tiefer noch als Herzeleid:
Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit, —
Will tiefe, tiefe Ewigkeit![4]

Подкрепившись этими глубокими, как Микель-Анджело, строками (содержащими в себе целое опровержение пессимизма), — приступаю к твоей проблеме... Но ты сама подсказываешь мне ее решение. Ты пишешь: «Когда я выплакала все слезы, мне стало легче. *Потом я была на людях*, много говорила, жизнь загорелась, и я воскресла...» И в другом месте: «Я только что была на уроке — у одного молодого русского эмигранта — и вдруг почувствовала, что этот человек начинает *вибрировать* (восхитительно сказано!) по моей воле, и во мне снова проснулось кокетство, бессердечное, безнравственное кокетство, *которым я овладела тобою* (so übermütig in der Reue selbst, der Büsserin der Liebe?[5])». — Вот видишь ли, что́ тебя воскрешает к жизни, после двух дней и двух ночей «безостановочных рыданий»! Едва польщенное тщеславие кокетства. И после этого ты будешь оспаривать мое утверждение, что ты форсируешь свои душевные движения, как и их выражение, и что твои душевные бури часто волнуют только поверхность твоей души (оцени галантность моего предположения,

что душа твоя достаточно глубока для того, чтобы волнение [достигло] могло не достичь ее дна!). — Да, дорогая моя, ты «выпрямляешься» после своих бурь, как тростник после порыва ветра, и, выпрямившись и сладострастно колеблясь гибким станом, снова начинаешь нашептывать свою вкрадчивую, шелестящую песенку Пана: «Жить, жить! Жизнью пользуйся живущий...»[6]

А теперь — *тебе* загадка, моя глубокомысленная гетера Аспазия[7], моя златокудрая мужемстительница Лорелея[8], ты, так глубоко проникшая в тайники мужского сердца! — ибо моя проблема относится к мужской психологии. — Отчего я, ревнивец до болезненности, еще недавно писавший тебе, что брошу, быть может, все, чтобы только удержать жену от нового брака, — теперь, когда она определенно высказывает это намерение, чувствую, что внутренне примирился с ним и что видеть ее женой другого мне будет, правда, больно, — но... не невыносимо. И отчего я же, до безумия, до страдания ревновавший тебя в своих объятиях к твоему прошлому, — я, не выносивший и мысли о том, что ты можешь принадлежать другому, даже перестав принадлежать мне, — теперь, видя тебя готовою броситься в объятия первого приглянувшегося мущины (— ужели только чтобы мстить и вредить мущинам? — ), нахожу в себе способность (— при предположении, что между нами все кончено, —) хладнокровно и без всякого ужаса и даже — без боли, или почти без боли [представлять], воображать тебя чужою любовницей... Я очень удивлен этой непонятной мне самому переменой — которую предлагаю тебе психологически объяснить, — очень рад ей как освобождению и молю богов только о том, чтобы это освобождение от демона ревности не было преходящим и кратковременным и чтобы при нашем последнем прощании я мог с такою же искренностью, как теперь, пожелать тебе — eine Ewigkeit von Lust...[9] много розового света в опочивальнях, которые увидят тебя обнаженною... много счастия — sans tare[10] —

Жду твоего ответа на мой вопрос о том, когда, где и на какое время мы могли бы съехаться.

Твой Вячеслав.

Конверт со штемпелем: Paris 6 Juil 95 (берлинский штемпель не сохранился).

[1] Послеобеденному (*фр.*).

[2] «Хмельную песнь» (*нем.*). Это стихотворение завершает предпоследнюю главу книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».

[3] Я сплю, я сплю (*нем.*).

[4] Из сна теперь очнулась я:
Мир — так глубок,
Как день помыслить бы не смог.
Мир — это скорбь для всех глубин, —
Но радость глубже бьет ключом:
Скорбь шепчет: сгинь!
А радость рвется в отчий дом, —
В свой кровный, вековечный дом (*нем.*). Пер. Ю.М. Антоновского (*Ницше Фридрих.* Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 235).

[5] «Так самонадеяна даже в покаянии, кающейся грешницы любви» (*нем.*). Иванов цитирует п. 101.

[6] «Жизнью пользуйся, живущий» — последняя строка баллады Ф. Шиллера «Торжество победителей» в переводе В.А. Жуковского.

[7] Аспазия (V в. до н.э.) — куртизанка, женщина большого ума, организовавшая в Афинах философский кружок, который посещали многие известные люди; любовница и, возможно, жена Перикла.

[8] Лорелея (Лорелей) — прекрасная девушка, речная фея; согласно легенде, она пела на скале на берегу Рейна и своим сладкозвучным голосом очаровывала мужчин, чтобы потом погубить. Наиболее известно стихотворение Г. Гейне «Лорелея» (1823), где она обладает золотящимися от заходящего солнца волосами, что связывает для Иванова ее с обликом Л.Д.

[9] Вечного удовольствия (*нем.*). Перефразировка цитируемых выше строк Ницше.

[10] Без изъяна (*фр.*).

Имеется черновик письма:

*5 Июля, 1 ч. дня.*

Милая Лидия! Получил я сегодня утром [твое] от тебя письмо с «финляндской идиллией» |(кот. оставил мимолетным <?>] и проклятиями, а через несколько часов после того — [твое] другое письмо, назначенное для прочтения в |Психол] Этическом обществе в поучение «дурам» ~. В последнем ты задаешь мне психологическую задачу: объяснить, как произошла, без внешних событий, в течение нескольких часов [столь] [быстрая и] [такая] [резкая] перемена в твоем настроении, что, после «безостановочных рыданий» в течение двух дней и двух ночей, по отправлении письма, «орошенного слезами», ты в [самом скором времени] [столь короткое время] [через несколько часов] снова почувствовала себя «воскресшей» и снова вдохновенно взялась за перо, чтобы послать мне внезапный дифирамб «жизни». — ~ и даже [поддержать этот] цитировать, в защиту нового твоего взгляда на жизнь и своего одобрения — «das trunkene Lied» [<2 слова нрзб>] Фридриха Nietzsche:

[Oh Mensch! Gieb Acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht! ~

[Последние слова <?> этой чудесной цитаты] Подкрепившись ~

[А теперь] [После этого] Приступаю к [разрешению] твоей проблемы. Но ты, незаметно для самой себя, [помогла] подсказала мне решение... ~ воскресла». [Где же плакать на людях?] И в другом месте ~ ([восхитительное выражение!] восхитительно сказано!) ~ воскрешает к «жизни»: [вот что] <Далее зачеркнутое прочитать не удалось> И после этого ~ душевные движения и еще более их внешние

выражения, и что твои душевные бури [скользят] волнуют часто [на поверхности] только поверхность твоей души (я предполагаю <сверху вписано и не зачеркнуто:> заметь, как лестно я выражаюсь // [что дно ее лежит глубоко под поверхностью?] что [душа твоя глубоко] что дно твоей души лежит глубоко под ее поверхностью). ~

мужского сердца! (ибо моя проблема [взята из обычной] относится к мужской психологии). ~ больно, но... [вполне удобно] не невыносимо. И отчего же, до страдания, до безумия ревновавший тебя [даже] в своих объятиях, [мужчины] [ревновавший] к твоему прошлому, к твоему мужу, — и мучительно ревновавший и к будущему и не допускавший мысли о том, что ты можешь принадлежать другому, даже перестав принадлежать мне, — теперь [не нахожу ничего ужасного в том, что если бы ты, разлюбив меня, по] видя тебя готовой броситься в объятия первого приглянувшегося мущины (чтобы мстить мужскому полу?), могу хладнокровно и без всякого ужаса и даже — без боли представлять тебя — [в случае] при предположении <2 нрзб> если бы наша взаимная <?> страсть угасла <?> — чужою любовницей [других]. [Я пишу совершенно искре<нне>] Я очень удивлен этой [внутренней] непонятной для меня самого переменой, очень рад ей как освобождению и молю [только] богов только об одном, чтобы [<2 нрзб>] это освобожд<ение> от чувства ревн<ости> не было преходящим и кратковременным и чтобы я [всегда] при нашем последнем прощании с такой же искренностью, как теп<ерь> [мог пожелать] тебе <далее не читается>.

Вероятно, вариантом этого же письма является набросок (с черновиком), хранящийся в той же единице хранения:

Прибавлю еще, что переход от одного настроения к другому совершился в тебе очень логично. В утреннем письме ты восклицаешь: «О, проклятие, проклятие! Ведь я умела бы любить и я могла бы сделать другого счастливым и быть счастливой. Проклятие...» Другими словами и выражаясь проще и спокойнее: «[Как жаль] Я все равно полюбила бы того или другого, отдалась бы тому или другому. Как жаль, что встретился мне он, а не кто другой!»... В послеполуденном письме ты основательно находишь, что если так, то горю легко пособить: стоит только снова зажечь свой разыскательный «фонарь»... В самом деле, ты огорчена не тем, что *я* для тебя потерян, но тем, что тебе изменил твой любовник. Остается, следовательно, приобрести другого любовника. Ты ведь «была бы счастлива верно и горячо любить, иметь друга верного и любящего». Вот чего тебе нужно. Я нужен тебе как «верный и любящий друг» [только], — и любимый, охотно прибавлю я, — но только как таковой, а не как *я*... Очевидно, твое горе легко поправимо.

В.

Черновик:

Прибавлю еще ~ Проклятие...»* <в примечание вынесены слова с прямой речью. — *Коммент.*> ~ то [дело поправимо] горю легко пособить ~ фонарь — без кавычек. В самом деле, ты огорчена не тем, [что *я* тебя потерял] что *я* для тебя потерян ~

## 104. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*24 июня / 6 июля 1895. Берлин*

*6 Июля, 8 ½ утра*

Получил deine tollen Zeilen[1], моя злая пантера, и отвечаю немедленно, чтобы не задерживать переговоров.

Удивляюсь на твой бестолковый образ действий. Я просил тебя выработать удобоприемлемые (для нас обоих) условия свидания; а ты, вместо того, сообщаешь мне, что пробудешь в Париже до 25 Июля, а потом поедешь на море к детям. Ты воображаешь, что я удовольствуюсь какими-нибудь двумя неделями и для столь эфемерного свидания помчусь к тебе в Париж. Не в Бретань же, в самом деле, ехать мне потом за тобой — в общество твоих детей, Эринний и Алымовой! Toll, toll, toll bist du[2]... со всем твоим «гетеризмом», и ревностью, и любовью, и злостью, и дикими прыжками, и недобрыми кошачьими ласками, и гибким стройным телом, и желтыми колечками волос на висках, и невыразимым, непонятным, глубоким, притягательным, головокружительным взглядом — нет, *омутом* твоих светлых, не то бесстрастных, не то безумно сладострастных глаз... Ну, довольна ты моей влюбленной дигрессией? Я еще «вибрирую»... Нет, ты не о том думаешь [еще] в эту минуту: ты думаешь о себе самой, о своих глазах, тебе хочется взглянуть в зеркало, или ты уже глядишь в него... Но все же, моя пленительная гетера — если ты так настаиваешь на чести этого имени, — не полечу я к тебе сломя голову на две недели. И потому выдумай что-нибудь получше. Приезжай в Швейцарию, что ли? Охота летом в Париже сидеть! Еще лучше — в Германию. [Купальный сезон] Купальную повинность сбудь поскорей, раньше уезжай из Парижа. Или приезжай ко мне на Немецкое море... Одним словом, выдумай что-нибудь.

Теперь реприманды[3] и о репримандах.

Относительно моей жены (и меня) ты можешь заблуждаться и самообольщаться, как тебе угодно; но первая новая <не>деликатность по ее адресу с твоей стороны — вроде тех неделикатностей, которые ты намеренно снова позволяешь себе в сегодняшнем письме — заставит меня прекратить с тобой всякие разговоры.

Как смешны женские претензии на обладание мущиной! Я изменил жене — и она не раз [выражалась] говорила потом, что

уступает меня тебе. Я изменил тебе — и ты *«возвращаешь»* жене ее «собственность»... Отношения полов рисуются вам, женщинам, как отношения вещного права: вы заслуживаете, чтобы вас продавали, как невольниц.

В заключении, моя Лидия, mein schönes blondes Raubtier[4], скажу тебе еще, Schwarz auf Weiss[5], — если ты не видишь этого и без слов из каждой строчки моего письма — что люблю, страстно, страстно люблю тебя. _____ В.

Самое простое и удобное разрешение вопроса о свидании заключалось бы в твоем возвращении к первоначальному плану поездки в Берлин. Для моих занятий мне было бы лучше остаться здесь.

Имеется черновик письма, без разночтений.
[1] Твои сумасшедшие строки (*нем.*). Имеется в виду п. 102.
[2] Ты сумасшедшая, сумасшедшая, сумасшедшая (*нем.*).
[3] От *фр.* «réprimande» — укор, выговор, замечание.
[4] Моя прекрасная светловолосая хищница (*нем.*).
[5] Черным по белому (*нем.*).

## 105. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*24 или 25 июня / 6 или 7 июля 1895. Берлин*

arriverai autrement aviserai demain reponds lettre d'hier[1]

Телеграмма
[1] приезжаю <в> противном случае сообщу завтра ответь вчерашнее письмо (*фр.*).

## 106. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*25 июня / 7 июля 1895. Париж*

dois decider partir Paris ou rester sante faible telegraphie si arrives. Tamo[1]

Телеграмма с берлинским штемпелем — 7.7.95.
[1] Должна решить уезжать <из> Парижа или оставаться здоровье слабое телеграфируй если приезжаешь. Люблю тебя (*фр., ит.*).

## 107. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*25 июня / 7 июля 1895. Париж*

*7 Июля 95 г. Залито слезами*

Дорогой Вячеслав! я телеграфировала[1], чтобы, наконец, окончить эту неизвестность и эту переписку. Глубоки или поверхностны мои бури для души[2], но мое тело поддается им, и я решила уехать из Парижа к детям, т.к. не могу петь и надрываю голос. Не знаю, что пишешь ты в ответ на мое письмо, но твои письма мне опротивели, и еще больше — мои собственные. Вообще всё это проклятое время с его болью и минутными болезненными метаньями к освобождению. Не мни о себе много и в особенности о своей мужской неотразимости на меня, моя страсть потухла, но скажу тебе прямо: я люблю тебя глубоко и чисто, но je suis au bout de mes forces[3]. Я не могу спать и не могу есть, и я не могу ни жить, ни умереть. Это поддерживается бессмысленною нашею перепискою. Поэтому я говорю совсем серьезно: раз ты человек, ты обязан отнестись ко мне человечно и прекратить всё это. 1) Если твоя любовь потухает или потухла вместе с твоею ревностью, значит, ее вообще не было и я служила тебе лишь d'un marche pied[4] к эмансипации от твоей супруги. В таком случае честно *телеграфируй* мне: не еду.

2) Если же ты чувствуешь *глубокую* потребность видеть меня, ближе понять, высказаться вполне и выслушать меня, тогда тотчас же приезжай.

Кончаю, да мне и трудно писать почему-то. Прости каракули.

Как ты слеп ко мне и как неправильно отделяешь важное и верное от неверного.

Из мести отдаваться нелюбимому мущине — грязь, и я не грязна, и предоставляю мстить самкам, кот<орые> стоят всех самцов, одинаково. О, не прошу я эти терзания вам обоим и в особенности этой мелкой женщине, за которую я имела нелепость страдать.

О, какой водевиль, в кот<орый> вы меня впутали!

Л. Зиновьева.

Пиши письма на фам<илию> Зиновьевой.

Понимаешь, ты обязан прекратить это положение: или ты любишь и едешь и сознаешь себя виноватым хотя бы в бессердечии, т.е. в эгоизме, или нет, но тогда дай же мне покой.

О, Вячеслав, будь человечен. Ins Herz möchte ich dir reden, mein Freund[5]. О, забудь все бредни смертельно раненого жизней <так!> сердца, бредни жизни, любви, гетеризма и т.д. Дай я скажу тебе, как перед лицем смерти: За все эти недели у меня были лишь минуты, краткие часы просвета, и обрадованная, облегченная от вечной боли сердца, я бросалась писать тебе. О, как ты оскорблял меня, как хотелось мне отомстить тебе легкомыслием, но я не та, не та, я не гетера, увы, увы. И между тем я не твоя более, всё прошло, что было, и на развалены <так!> остается лишь рыдать и рыдать. А думала я всё-таки провести несколько времени в твоем обществе, т.е. меня прельщает идея жить близко друг около друга: ты бы работал, я бы пела и училась вместе, и мы могли бы прожить так несколько недель, что касается меня, п<о-тому> ч<то> в Париже есть ученица Mme Viardot, могущая ее заменить. Но из Парижа я *не* уеду, т.к. бросить пение *не* могу.

Неужели это близкое товарищество моя фикция моя <так!>. Я теперь стремлюсь лишь к товариществу, о чем-либо большем мне даже думать противно.

Скажи себе одно, мой дорогой, как чувствуешь ты теперь, когда ты потерял меня: была ли твоя любовь ко мне громадна, сильна, глубока, была ли она любовь, словом или алегорией <так!> ее был фейерверк в Anzio[6], блестящий и потухший. Если последнее верно, не приезжай, не стоит. Клянусь тебе, что я устала и больна.. О, как больно прощаться со счастием тому, кто хоть раз испытал его. Помнишь нашу прогулку между днем и вечером по Forum, помнишь нишу в Колизее, и твои стихи, и сумерки. Я помню, как в душе моей точно растворялся весь мир, и всё громадное прошлое человечество точно отражалось во мне, когда мы шли, прижавшись друг к другу, и ты говорил о своих античн<ых> трагедиях[7]. Развалины оживали, сердце расширялось бесконечно, и всё существо вырывалось из одиночества, сливаясь в любви другого существа и в ощущении всего мира настоящего и прошлого. Я плохо говорю, но так ясно ощущаю это умершее счастие! Неужели же ты не любил? Неужели всё это был твой самообман? Неужели ты *можешь* расстаться со мною?

Меня убивает не смерть твоей личной любви, меня убивает чувство, сознание, что если то была не глубокая, долгая, цельная любовь, любовь, понимаешь ты, то нет ее на земле, если нет во мне больше силы верить. Вот почему я говорила, что мне остает-

ся лишь гетеризм и забвение моего sogno[8] в вине и морфии или... вера в иную жизнь[9].

Милый Вячеслав, как мне тяжко, разве ты не брат мне? Пожалей меня. Отчего я так слаба и душой и телом, отчего голова тяжела для плечь <так!>? О, кабы эти страдания касались лишь поверхности души, но нет. Мой друг, тогда тело не подгибалось бы.

Не знаю куда деваться. Что было — прошло <?>, ведь нечем начинать. Как верить теперь, как еще раз отдаться тебе, еще раз перенести эти страдания. Нет, нет. Довольно. Ой, как ужасна жизнь. О, какой обман, какой обман. Милый друг, милый Вячеслав, милый возлюбленный, скажи, что это всё кошмар, что змея не ужалила, что Колизей не обманул, что твое кольце... о Боже, но ведь это правда, и всё кончено, всё, всё. Счастливый, ты забудешь и ты будешь жить, но я — я умерла.

За что, за что? за что.

Как глупо вспоминать прошлое любви, ведь она молчит тому, для кого любовь умерла, то, что переживалось, задыхаясь и горя, умирает, лишь только умирает любовь. О Боже, как лгали твои слова, твои взгляды, твои стихи, твои объятия. Ведь ты и тогда не любил меня, ведь и тогда ты ревновал свою жену, любил ее. Что же я за несчастная, что я попалась тебе на забаву, хотя бы и невольную.

Быть может, я и несправедлива к твоей жене, но я ненавижу ее. Я страдала из-за нее всю зиму, она отравляла мою любовь к тебе, потом она точно так же отняла тебя у меня, как я тебя у нее, но, конечно, она и во сне не видела страдать за меня или чувствовать себя виноватой, ведь она «законная» и ты ее «законная» собственность, а теперь она способна из твоих объятий прямо падать в объятия хотя бы какого-нибудь Крашен<инникова>, о, конечно, «законно»[10].

И после того, что 9 лет она была счастлива, была любима! Это гадость и грязь, да притом венчанная грязь, куда пошлее и грязнее гетеризма.

Да, Вячеслав, недавно ты писал мне по поводу нападков <так!> моих на Д.М.: «Я не могу на тебя сердиться, мне дорого проявление всякого твоего искренного порыва»[11]. Да, тогда ведь ты думал, что любил меня. *Думал*, что любил. Милый мой, не *думай* больше, что любишь, и если не дорожишь мною как жизнью

или, вернее, как *самым драгоценным* в жизни, для счастия своего, кроме науки и творчества, то не приезжай. Будь честен.

Конверт со штемпелями: Paris. 7 juil. 95 — Berlin. 9.7.95. Из Берлина переадресовано в Париж на адрес: Monsieur Jean Greaves, Paris, Avenue Wagram 28. Второй парижский штемпель неразборчив.

[1] См. п. 106.

[2] Реплика по поводу п. 104.

[3] Силы мои иссякают (*фр.*).

[4] Ступенькой (*фр.*).

[5] В сердце хотела бы я сказать тебе, мой друг (*нем.*).

[6] Итальянский город, где Иванов и Зиновьева-Аннибал познакомились летом 1894 г.

[7] К тому времени Иванов не написал ни одной трагедии. Первой был «Тантал» (1904).

[8] Мечта (*ит.*).

[9] Речь идет о п. 102.

[10] Реплика по поводу п. 104. В это время Д.М. Иванова всерьез рассматривала возможность в будущем стать женой М.Н. Крашенинникова. 11/23 июня она писала Иванову: «Прошу тебя и умоляю — дай мне поскорее развод. Я тебя больше не люблю, жить с тобою не могу, — не могу фактически — если б ты настоял на этом против моей воли, у меня сделался бы паралич ног, как было тогда во Флоренции, когда я не могла идти к St. Miniato и что повторилось в Москве, хотя я тебе не говорила об этом. <...> Я была у поверенного по семейным делам — развод делается быстро и стоит дешево. <...> Я не беременна, узнала это третьего дня наверное. Развод мне нужен для брака — думаю, не выйти ли за Крашен<инникова>. Жить одна я не могу — с ума сойду — мне нужно участие, дружба. Более преданного друга я не найду, да, я думаю, и невозможно найти. Его нельзя не уважать за качества его души. Он мне нравится — говоря обыкновенным языком. О влюбленности, конечно, нет и речи, да едва ли я на нее и способна. Слишком много любви отдала на тебя, а натура у меня небогатая. Он хороший человек, имеет хорошее положение, будет иметь еще лучшее — лучше выйти за него, чем за кого-нибудь, за кого будет сватать мама. Одобряешь ли ты мой выбор? Я знаю, как тебе теперь тяжело, но ты сам хотел этого — хотел мне быть другом при моем выборе. <...> Отношения Краш<ениникова> ко мне безукоризненны, он делается все сдержаннее и молчаливее, только курит отчаянно» (РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 30. Л. 18—21). Иванов отвечал на это письмо взволнованным посланием 22 июня / 4 июля, известным нам по черновику: «Дорогая Даша! Подумай сама, толково ли ты себя ведешь. Из Петербурга, от 11-го Июня, присылаешь ты мне ужасное письмо с извещением, что меня больше не любишь и жить со мною не можешь, а намерена выйти замуж за К<рашенинникова>, с требованием *телеграфического* ответа (в Москву, до востребования) на вопросы: одобряю ли я твой "выбор" и когда могу приехать в Петербург, чтобы начать хлопоты о разводе. <...> письмо это лишило меня всякого душевного спокойствия и равновесия, и причинило страшные нравственные страдания, усиливавшиеся еще неизвестностью о том, что, кажется <?> случилось и какая новая причина заставляет тебя изменять все, на чем мы остановились. Разве между нами не было условлено, что о разводе, в случае твоей настоятельной к тому воли, я буду хлопотать по исполн<ении> <?> своих берлинских

обязательств, а мы оба тем вр<еменем> обдумаем и испытаем на себе, насколько возвращение друг к другу для нас желательно и возможно. Я мучительно недоумеваю, чего ты от меня еще хочешь? ужели немедленного приезда снова в Россию? Во всяком случае — думал я — если она дошла до крайней степени нетерпения в безумном и роковом желании немедленной развязки, — то я необходимо, безусл<овно> должен прежде всего пытаться <?> еще раз увидеться с ней и в личной устной беседе сказать ей нечто, чего не говорил до сих пор. <...> в случае нужды, я решил немедленно по выдержании экзамена (в ноябре н.ст.) поехать в Россию для свидания с тобой и, если понадобится, для хлопот о разводе. <...> P.S. Повторяю еще раз, что только время может показать нам наши отношения в правильном свете и привести нашу драму к <I нрзб> развязке. Только воздержание от быстроты и нетерпеливости может предостеречь тебя от последствий поздних раскаяний <?>» (РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 8. Л. 49—50).

В тот же день, 22 июня / 4 июля Д.М. писала своему мужу: «Чего же ты не понимаешь? Ведь я писала все тебе ясно и искренно — не умею лучше. Дай мне развод — поскорее — собираюсь замуж — за Краш<енинникова> — п<отому> ч<то> это мне действительно при моем теперешнем положении самый лучший и самый желательный исход: после связи с Лидией ты мне стал физически противен — не оскорбляйся этим — ты ведь хочешь искренности. Жить с тобою я не могу — идти в учительницы или идти за Краш<енинникова> – разве можно колебаться? <...> Краш<енинников> был точь-в-точь как в Италии, "счел священною обязанностью" проводить меня на вокзал, и перед самым отходом поезда он сказал: "Еще раз говорю — мое сердце и рука всегда к вашим услугам". С этими словами я уехала. Краш<енинникову> я ровно ничего не говорила, будучи связана честным словом, но, по всей вероятности, он отлично все понял еще во Флоренции, да и нужно было быть просто дураком, чтобы не понять твоих отношений к Лидии: так вы себя оба тогда держали. — Во все время пребывания в Петербурге я смотрела на Краш<енинникова> втихомолку и взвешивала шансы за и против брака с ним. С ним возможна спокойная семейная жизнь — то, что мне теперь необходимо» (РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 30. Л. 30, 34). 8/20 августа Иванов в последний, насколько нам известно, раз обсуждал судьбу возможного ее брака с М.Н. Крашенинниковым (нам также известен только черновик): «Дорогая моя! Обдумала ли ты достаточно свое решение относительно брака с К<рашенинниковым>? Размысли об этом еще, пока не поздно; ибо еще не поздно, хотя ты и дала ему уже свое согласие. Можешь ли ты чувствовать себя счастливой, став его женой, матерью его детей? Любишь ли ты его настолько, чтобы не чувствовать себя в своем новом положении — прямо несчастной? О, ты не знаешь, что бы я отдал за то, чтобы ты была счастливой, — хотя бы с ним! Но подумай: разве не страшно идти под венец с подавленными рыданиями? Разве не лучше остаться свободной? Ведь необходимости нет идти немедленно замуж...Подумай, подумай, какой это страшный шаг... И он сам — любит ли он тебя настолько? Не из одной ли братской преданности, не из великодушия ли он хочет для тебя связать себя семьей? И можно ли рассчитывать на постоянство его чувства? Не ждет ли тебя горькое разочарование?. О, позволь мне увидеться с тобой, чтобы поговорить с тобой об этом, чтобы успокоить свои мучительные сомнения...» (РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 8. Л. 55 об).

О переписке Иванова с Крашенинниковым по этому поводу см.: История и поэзия. С. 149—151. Из его письма к Д.М., написанного в ноябре 1896 г., мы узнаем о том, что брак расстроился.

[11] См. п. 14.

## 108. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*25 июня / 7 июля 1895. Париж*

*7 Июля 95*

Дорогой Вячеслав, уступаю тебе твою жену *. Может быть, ты ее и отлично знаешь, а я просто ненавижу. Что же касается меня, дорогой друг, то я очень спокойно и разумно хочу поговорить с тобою.

Милый, ты впадаешь чуть ли не в ту же ошибку, что и мой муж. Ты принимаешь все нелогичные и экзотические прыжки моего настроения и нежность моего сердца за верные признаки невыдержанной, не руководимой разумом, горячей и чувственной женщины, у которой сердце безусловный хозяин и руководитель ее действий. Вокруг и около этой характеристики вертятся твои представления обо мне. Но я сама сужу о себе не по настроениям, не по вечно судорожно живущему каждым фибром сердцу, не по буйной крови, которая огнем сжигает мое тело, а по поступкам и по логическому течению всей моей жизни. Мой муж сделал роковую для себя ошибку, когда, вернувшись из-за границы, принялся действовать на мою нежность и сердце. Он, правда, доставил мне много лишних страданий, но ничего не добился этим.

Не хочу обижать тебя дальше этою параллелью, т.к. спешу сказать, что уважаю тебя и никому не позволила бы слово сказать против тебя. Но по-дружески обращаю твое внимание на то, что сегодняшнее письмо твое[1] произвело на меня тяжелое впечатление и сразу вывело меня из доверчивого настроения к тебе. Твои страстные ласки не новы мне, но то, что прежде <вписано сверху: когда я верила в нашу *любовь*> волновало и радовало меня, теперь болезненно поражает меня. Разве ты не слышал в моем прошлом письме[2], в моих «злых кошачьих ласках»[3] остатки гетерического настроения. Но если я для кого-либо и когда-либо буду гетерою, то для тебя — никогда и ни за что. Мое чувство к тебе слишком глубоко и прекрасно, чтобы я решилась загрязнить его, и твое письмо оскорбило меня, хотя и заслуженным оскорблением, tu m'as traité[4] как гетеру, *ты*, ты, которому душа моя должна бы быть открытою книгою. Неужели я не заслужила большего уважения? Не буду многословить. Я скажу тебе твердо и ясно: я люблю тебя,

* Т.е. обсуждение ее личности. *(Прим. Зиновьевой-Аннибал.)*

но твоею любовницею я *не буду*, т.к. ты не можешь дать мне *всю* свою душу, страсти я не чувствую, и твоя страсть действует на меня тяжело. Видеть тебя я желаю бесконечно сильно и страдаю от этой жажды свидания и от нетерпения перед ним. Но из Парижа для этой цели я *не поеду*. В жизни у меня три устоя: дети, искусство мое и моя любовь, и недаром назвала я их в этом порядке. Чтобы к Марту для русской пробы подготовиться хорошо, я не могу пропустить несколько недель, т.к. мой голос оказался в ужасном запущении. Детям менее 3, 4 недель (и купанью) я не могу дать. Затем вообще за тобою бегать по Германии я не стану, потому что я перед тобою чиста и ударов не наносила. Что бы я ни разглагольствовала о жажде жить, любить, наслаждаться или о мечте видеть тебя, жить с тобою день за днем в тесной дружбе и столь дорогом мне умственном и нравственном общении с твоей буйной и широкой натурой, как бы ни прельщала любовь, как бы ни изводила, хоть до смерти, тоска, есть какая-то сила во мне сильнее меня, и эта сила удержит или, вернее, толкнет меня на мой тернистый путь долга и карьеры.

Я к тебе не поеду и твоею не буду, мой возлюбленный, и я не боюсь испытать твою близость. Всё, что я могу сделать, если ты всё-таки желаешь нашей близкой товарищеской жизни, — это остаться в Париже до Сентября и в Сентябре лишь поехать на океан. Или же, как и раньше хотела, уехать теперь около 20-го и вернуться к 25-му Июлю. Если тебе возможна жизнь вне Берлина, то тебе отлично будет в Париже. Впрочем, это тебе, конечно, лучше знать. Я же поступаю так, потому что иначе не могу.

Что касается «репримандов»[5], упоминаю о них лишь для того, чтобы сказать, что если бы ты действительно любил меня, а не мое тело, и глаза, и волосы и т.д., то ты не говорил бы так грубо со мною. Не подымаю перчатки лишь потому, что по опыту ненавижу письменную войну с промежутком 3, 4 дней между каждым нападением.

Мое мнение о твоей жене остается при мне, но я признаю ниже своего достоинства более выражать его, да и выразила в порыве неразумной откровенности, которая могла существовать между нами лишь раньше — во время нашей любви, когда между мною и тобою не было никого и в моей душе не могло быть мысли, которую я не жаждала бы передать тебе, как бы она ни вылилась. *Вообще же* ни друзья, ни любовницы не должны оскорблять законную супругу. Я причисляю себя к первым, хотя ты низво-

дишь меня на степень второй. Неужели, Вячеслав, ты не понимаешь, как ты унижаешь меня своим последним письмом? Нет, я не поверю, чтобы и у тебя была грубая душа, несмотря на ее внешний лоск. О Боже, ведь уважал же ты меня раньше.

Вячеслав, мне хочется крикнуть тебе с ужасом, с ласкою и любовию: остановись, оглянись, что ты делаешь? Ведь я равный тебе человек, а между тем ты по отношению ко мне считаешь себя вправе поступать как с продажной содержанкой, которой на взбалмошные, женские капризы отвечают несколькими страстными вольностями. Да, прости мой упрек, я сама виновата, я довела тебя до твоей дерзкой решимости писать мне страстные вольности вместо ответа на мои человеческие запросы. Я сама виновата своими сума<с>шедшими двумя письмами. Но как мог ты не понять моего безумия?

Да, еще не понимаю, что значили твои слова в предпрошлом письме: «Твое предупреждение» (твоего приезда сюда) «пришло как *раз вовремя*...»[6]?

Теперь решение за тобою. Ведь ты не можешь отрицать моего полного права и разумия подобного моего решения вопроса.

Не пытайся колебать меня. Inutile[7]. Прошу, если возможно, ответа телеграммой, т.к. от него зависит распоряжение моим лечением водяным и уроками. Эта неизвестность мне очень неудобна.

Если ты приедешь, то я могу присмотреть тебе комнату, хотя это тебе лучше сделать самому.

Ну, прощай или до свидания, дорогой Вячеслав, не обижайся и не сердись: ведь ты помнишь, что сам признавал во мне фонд <?> холодного рассудка. Вспомни, что я рассудком и следуя принципу решила изгнать свою жизнерадостную особу на *два года* в Pesaro, не видев во сне тебя и Флоренции по соседству. Насколько же важнее мотивы, обосновывающие мое решение теперь.

Твоя Лидия

Конверт, переадресованный из Берлина в Париж на адрес Гревса (см. прим. к п. 107). Штемпели: Paris. 8 juil. 95 — Berlin. 10.7.95 — Paris. 11 juil. 95.

[1] П. 104.

[2] Речь идет о п. 102.

[3] Цитаты из п. 104.

[4] Ты относился ко мне (*фр.*).

[5] От *фр.* réprimande — выговор, внушение.

[6] См. п. 99.

[7] Бесполезно (*фр.*).

## 109. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*26 июня / 8 июля 1895. Париж*

*1) Утро. 8 Июля 95*

Твое письмо[1], Вячеслав, произвело на меня такое впечатление, что я сегодня утром долго боролась с собой, чтобы решиться еще раз перечитать его.

Вдумавшись в него глубже, я еще имею тебе сказать по пунктам. О первой части, т.е. о продолжительности свидания, я сама не знаю, будет ли нам оно в радость или в мучение. На вопрос, довольна ли я «влюбленной дигрессией», я уже ответила: она мне наносит боль. Дальше реприманды. Выписываю его <так!>, или лучше отсылаю письмо с просьбою перечитать это место в данную минуту. Конечно, я могу думать и самообольщаться как мне угодно о вас обоих, ведь кто же беспокоится о глубине души своей «любовницы»? пока продолжается опьяняющею <так!> на страсть действие голубых глаз с загадочным взглядом, золотых колечек и т.д. Тем менее придется заботиться об этом, когда эти бедные глаза потеряют свою силу пробуждать страсть, а это тело (в котором мучается душа, тебе не нужная) — доставлять твоей страсти удовлетворение.

Такова <так!> рода «любовь», конечно, очень легко выбросить из окошка при «первой новой недилекатности <так!>». Неделикатность <так!>, конечно, в «любовнице» неприятное свойство, и погрозить ей не мешает; тем более, что и угроза, и ее исполнение стоят дешево. Тон всего «реприманда» великолепен, я могу лишь пожалеть, что когда во Флоренции под влиянием мучений, доставленных мне «деликатностью» моею по отношению к твоей жене, я писала о ней впервые свои страстные «неделикатности», жалею, что ты *тогда* не прислал мне подобного реприманда, а просил и впредь быть откровенной[2]. Получи я из Рима письмо, подобное этому, конечно, тебе бы не пришлось протратить столько времени на чтение недавних моих «иеремиад». — Всё было бы давно окончено. Теперь дальше по поводу «смешных *женских* желаний обладать мущиною». Ты, мой умный Вячеслав, оказался довольно тупым на понимание. Ты не разобрал насмешки в моей фразе, неужели же я такая дура, чтобы серьезно писать такие *нелепости*. Я хотела этим выражением «собственность» выразить взгляд «законных жен», шаблонных и типичных зак<онных> жен на своего мужа, когда они «уступают» или, наобо-

рот, «требуют» его. Ведь твоя супруга не считает, что, обладая тобою в Москве, она сделала мне *столько же,* сколько я ей в Риме? Вот мущины присоединяются к зак<онным> женам по взгляду своему на полов<ые> отн<ошения> как на вещное право, только, конечно, применяя его к женщине, а не к себе. После этих всех прелестных твоих строчек, действительно, очень кстати было написать, что каждая из них говорит о любви, о страстной, страстной любви. Господь с нею, с этою страстною любовью. Позволь теперь и мне сказать тебе, что если ты не объяснишь своего письма или не признаешь мое понимание верным и в таком случае извинишься за него, т.е. если ты будешь продолжать свой взгляд на меня как на гетеру, то *я* прекращаю с тобой «всякие разговоры», что бы это мне ни стоило. Я, мой милый, еще «порядочная» женщина, и никто не смеет оскорблять меня. Есть у меня друзья, уважающие меня глубоко и готовые защитить мою честь от поползновений султанов.

Лидия Зиновьева.

Конверт, переадресованный из Берлина в Париж на адрес Гревса (см. прим. к п. 107). Штемпели: Paris. 8 juil. 95 — Berlin. 10.7.95 — Paris. 11 juil. 95.

[1] Речь идет о п. 104, оно часто цитируется далее.

[2] Л.Д. вспоминает п. 14.

## 110. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*26 июня / 8 июля 1895. Париж*

Io restero non partiro

Телеграмма. Берлинский штемпель — 8.7.95.
Перевод:
Я останусь, не уеду (*ит.*).

## 111. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*<Начало 10-х чисел июля н.ст. (?) 1895. Париж>*

Милый Вячеслав, только что сняла квартиру на зиму и, т.к. с места влюбилась в нее, то нахожусь в повышенном настроении, к тому же у меня почему-то 39,5 температуры. Представь себе гнездышко в 5-м этаже у Bois[1] на углу улицы с балконом вокруг

всей квартирки и с видом на весь Париж! По здешним условиям плата идет лишь с 1 Окт<ября>, а въехать можно хоть сейчас. Итак, предлагаю тебе даровое гостеприимство. Honit <так!> soit qui mal y pense[2]. Будем жить по Черныш<евскому>. Его комната, ее и нейтральная[3]. Видишь, сколько доверия к самой себе и уважения к тебе! Право, привози свою повинную головушку в Париж. Ça vaut[4] твое нем<ецкое> море или Швейцария. Театры, концерты, Париж, Bois de Boul<ogne> и хорошенькие изящные француженки. Seulement pas de femmes dans notre appartement! Autrement[5], полная свобода эмансипированному семьянину. Раз тебе возможно покинуть Берлин, то лучше для Парижа, чем для тошнящей Швейцарии. Впрочем, как хочешь, если горбатые швейцарки или сухие прямые немки тебя прельщают, «уступаю» тебя им. Я же отлично проживу в своем гнездышке наверху rue Singer. Если я буду нападать на твою супругу, а ты третировать меня en hetère[6], то предоставляю тебе как гостю нейтральную комнату для будирования и на этот случай свой рояль перетаскиваю к себе. С своей стороны обещаю не принимать мол<одых> эмигрантов у себя. Хочешь знать, как я пишу это письмо? После завтрака очень устала и легла на кровать, но солнце и деревья в саду мешают спать, я ежеминутно соскакиваю и пишу тебе, а потом опять в три приема взлезаю на постель. Pardon, monsieur[7], Ваша уважаемая супруга умеет вскакивать на постель? Алымова очень упрекала меня за эту несолидную привычку простой породы кошки. Секрет вот в чем: за завтраком я выпила лекарства Кока, кот<орое> индейцы пьют перед войной, доктор прописал мне для сил. После завтрака я боксировала с одним меланхолическим французом, моим vis à vis[8] за столом, кот<орый> смотрит в потолок темно-синими глазами и нередко говорит: «Madame, est-ce que on produit beaucoup de sucre dans votre pays....»[9], но надо видеть взгляд и слышать его голос! Oh! C'est plus doux que le sucre de Russie[10]! Но вот уже восьмой раз, что я собираюсь вскакивать на постель. Баста! A bientôt, monsieur mon amant de jadis[11]!

Хамелеон.

P.S. Забыла упомянуть, что в Париже есть известная статуя Венера Милосская. — Мой дорогой, готова об заклад биться, что ты знаешь меня так же мало, как китайск<ого> имп<ератора>! Как я люблю у себя это настроение, дающее возможность на весь

мир смотреть с юморист<ической> точки зрении. Чувствуешь себя такой беск<онечно> широкой, всё понимающей, всё прощающей, только... меня не тронь. Глубь <?> моей души и *моя жизнь* в юмор не входит...

Прочитав это письмо, перечитай первое, прими к сведению оба, но прими одно и ошибись еще раз. А тогда уже реши, стоит ли ехать в Париж.

[1] Т.е. Bois de Boulogne, Булонский лес. 19/31 июля Иванов сообщал первой жене: «До половины Сентября н.ст. мы устроились с Л<идией> в Boulogne (взяли даже квартиру на все это время) — так как нам долго не придется еще жить вместе» (РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 8. Л. 53).

[2] Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает! (*фр.*) Девиз английского ордена Подвязки.

[3] Имеется в виду реплика Веры Павловны из второй главы романа Н.Г. Чернышевского «Что делать», обращенная к Лопухову: «У нас будут две комнаты, твоя и моя, и третья, в которой мы будем пить чай, обедать, принимать гостей, которые бывают у нас обоих, а не у тебя одного, не у меня одной. Во-вторых, я в твою комнату не смею входить, чтоб не надоедать тебе; ведь Кирсанов не смеет, — потому-то вы и не ссоритесь. Ты в мою также. Это второе».

[4] Это сто́ит (*фр.*).

[5] Только никаких женщин в нашей квартире! В остальном (*фр.*).

[6] Как гетеру (*фр.*). Л.Д. ошибается в орфографии: правильно «hétaïre».

[7] Прошу прощения, сударь (*фр.*).

[8] Визави (*фр.*).

[9] Сударыня, много ли сахара производится в вашей стране? (*фр.*)

[10] Он намного слаще, чем сахар из России (*фр.*).

[11] До скорого свидания, мой господин возлюбленный былых времен (*фр.*).

## 112. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*<Июль—сентябрь 1895 (?). Париж>*

Mon petit chou! le tiran est parti. Ta chatte t'attend!
Oh, viens vite embrasser ton amour.
Ton adorable amante
L.

Mardi.

Закрытка без штемпелей. Адрес: Monsieur Ivanov 63 rue de Passy.
Перевод:
Мой милый! Поезд ушел. Твоя кошечка тебя ждет!
Приезжай скорее обнять твою любовь
Твоя прелестная возлюбленная
Л.
Вторник (*фр.*)

## 113. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*28 сентября / 10 октября 1895. Женева*

*10 Окт. 95 г.*

Дорогой мой, пишу всего несколько строк, превозмогая сильную усталость и пользуясь послеобеденным отдыхом отца. Где ты? и что ты? Эта мысль сквозь все другие неотступно стоит передо мною. Я еще верю и надеюсь, а быть может, уже всё решено и ты по дороге в Берлин. Оставь свой костюм у Дуни[1]. Я вчера ехала очень тоскливо, ходила по вокзалам, как потерянная, а в вагоне имела вид злой англичанки со своим «Адамом», которым спасалась[2]. Отца[3] встретила еще ранее детей. Дети приехали уже через 10 минут совершенно благополучно. Анюта[4] и Сережа пополам объяснялись всю дорогу с кондукторами и пассажирами. Отца нашла гораздо здоровее. Со мною он ласков, а детям сердечно рад и особенно ласкает двух младших, даже визг и титиканье <?> Козлика только радует его. Сегодня утром он снова поднял опять всю старую историю своего брака, измен, их причин и свойств, моего воспитания, отношения к нему семьи, словом, порядочно порезал мое сердце, и я очень взволновалась. Подарил он детям прелестные подарки. Я очень рада детям и Анюте, хотя Сережа из-за поноса не дал мне спать всю ночь. Я не могу себе представить, какое было бы счастие жить вместе в Париже. Деньги, какие могу, fr. 150—200 прислала бы, но не знаю, куда: напиши. После 20-го пошлю еще сколько скажешь. Здесь мне каждый день стоит 25 фр., т.к. и отец обедает здесь. Милый, целую тебя, как люблю. А ты, скучаешь по мне? простил мои капризы вчера <1 нрзб> утром. Или тебя тянет в Россию, и мой образ померк? А я тебе верна и во всяком случае желаю тебе быть другом вполне и советовать бодрость и энергию, останешься ли или уедешь, одинаково. Целую еще, и обнимаю, и прижимаюсь к тебе, мой формалист, и остаюсь вся твоя Лидия.

Еще целую. Не знаю, как сказать лучше свою любовь.

Адрес: Monsieur Venceslas Ivanov. Poste restante. Paris. Переадресовано в Берлин, потом в Петербург, всюду на «до востребования». Штемпели: Genève. 11.X.95 — Paris. 12 oct. 95. — Петербург 5.X.1895.

[1] См. п. 2, прим. 9.

[2] О чем идет речь, непонятно.

[3] Отец Л.Д. — Дмитрий Васильевич Зиновьев (1822—1904). О нем О. Дешарт писала: «Лидия была дочерью Димитрия Зиновьева, который вел свой род от Зиновичей, сербских князей. Избалованный, беззаботный барин — он неожиданно про-

явил деловую изобретательность (так он впервые индустриально использовал Нарвский водопад), что весьма способствовало благосостоянию семьи; но фантастический человек этот отличался безудержной, безумной щедростью, переходящей в расточительность...» (I, 18). В 1894 г. Зиновьева-Аннибал писала о нем: «Отец мало интересовался семьею, много купил, бросал мать и в 1881 году был взят под опеку и до сих пор живет в Швейцарии на своей даче» (РАИ).

[4] Анюта, Анна Николаевна Шустова, — одна из воспитанниц Зиновьевой-Аннибал, впоследствии вышла замуж в России, жила в Петербурге.

## 114. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*28 сентября / 10 октября 1895. Париж*

*Париж, 10 Окт.*

Дорогая! Случилось то, чего следовало ожидать. Я получил от Зарина[1] категорический отказ. Прежде всего, консульство вообще не выдает подобных свидетельств. Могло бы выдать разве только на основании полицейского исследования. Если бы я имел свою квартиру в Париже, то они могли бы это засвидетельствовать основываясь на заявлении домохозяина, подтвержденном комиссаром полиции. Все, что они могут сделать, — это удостоверить мое пребывание в Париже в данный момент или засвидетельствовать подпись Ланье[2], если бы этот захотел дать показания о моем постоянном пребывании в Париже. Кроме того, Зарин считает невозможным признать за постоянное пребывание факт неоднократных приездов на более или менее продолжит<ельное> время в Париж. Он был холоден и сух.

Обстоятельства дела таковы, что никакое вмешательство, очевидно, не поможет. В Берлине я получил бы тот же ответ. Засвидетельствовать факт новой имматрикуляции в Университете, быть может, прямо бесполезно, п<отому> ч<то> консистория хочет совсем другого; итак, не стоит Берлинцев и в соблазн вводить. Еду в Петербург. Из Парижа выезжаю завтра. Пиши в Берлин, где пробуду день. Был на rue Singer и никого не застал. Пойду еще вечером. Целую тебя бесконечно. Прощай. Бог знает когда увидимся. Твой В.

Закрытка, отправленная по адресу: Madame L. Zinovieff-Schwarsalon. Villa Paracelsia Genève. Штемпели: Paris. 10 oct. 95 — Genève. 11.X.95. Последний абзац написан поперек основного текста.

[1] Судя по контексту, работник российского консульства в Париже. Вероятно, вице-консул (см. п. 152).

[2] Видимо, владелец квартиры.

## 115. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*30 сентября / 12 октября 1895. Берлин*

*Берлин, 12 Окт. 95.*

Милая возлюбленная! Приехав сегодня утром в Берлин, немало был я разочарован и огорчен отсутствием [на почте] твоих писем, которые надеялся иметь уже в Париже, почему дважды с волнением справлялся о них на тамошней почте. Итак, со времени нашей разлуки не имею от тебя еще ни строчки; да и в Петербург приеду, вероятно, раньше, чем твои письма, если таковые окажутся, будут пересланы туда. Вот как нехорошо поступаешь ты со мной в ту пору, когда мое настоящее — тускло и томительно, вчерашнее прошлое исчезло, как золотое сновидение, а завтрашнее будущее глядит на меня так неприветно и угрюмо... Говорить о своем настроении при таких условиях — излишне... Из Парижа выехал я не на другой день после печального свидания с Зариным[1], а в тот же вечер, так как оказалось, что я располагаю только вечерним поездом, и я не хотел жертвовать сутками для спокойно проведенной ночи. Тем не менее я успел еще раз побывать в тот день на твоей квартире и увидеть и привести в напрасную тревогу ее милую обитательницу (утром путешествовавшую с Джетили <?> в Лувр) — поисками нескольких книг, которые сегодня утром, в Берлине, благополучно нашел среди своих вещей. Прибавлю кстати, что взял с собой манускрипт своей диссертации. Париж, дневной и вечерний, — кипящий и оживленный в настоящее время гораздо более, нежели летом, — мелькнул опять передо мной, как в калейдоскопе, ослепив и оглушив меня. Две ночи затем с промежуточным днем bummelte ich[2] со скучными дешевыми поездами по скучным дорогам, пока, с сегодняшнего утра до ночи, не приютила меня здесь под свой гостеприимный и уютный кров моя этическая Калипсо[3]. Вот начало моей Одиссеи в прозе; а в стихах будет она начинаться как у Гомера:

> Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который
> Многих людей города посетил и обычаи видел[4]; —

и различаться от него только с третьего стиха:

> И, утомленный чужбиной, на год десятый богами
> Был приведен благосклонно в бордель приютной отчизны.

Excusez le mot[5], как прибавил бы, покраснев, Морозов[6]. Далее, целую тебя френетически[7] и много имел бы сказать о делириуме своей любви, если бы ты не попрекала меня горько моими экстатическими берлинскими письмами d'autrefois[8]. Как Морозов, je n'ose vous braver, Madame...[9] Напиши мне в кратких словах все, что я должен передать Оле[10]; прибавь № дома. Будь ко мне добра и милостива. Высеки моего соперника — Козлика[11]... Только что поспал в мягких перинах моей Калипсо; потому на мир смотрю немного светлее. Прощай. Будь мысленно со мной. Твой В.

Небольшой фрагмент — История и поэзия. С. 351. Конверт, адресованный на villa Paracelsia. Берлинский штемпель — 12.10.95.

[1] См. п. 114, прим. 1.

[2] Я тащился (*нем.*).

[3] Имеется в виду фрау Левенгейм. *Калипсо* — нифма, приютившая Одиссея на своем острове и продержавшая его там 7 лет.

[4] Первые две строки «Одиссеи» Гомера в переводе В.А. Жуковского.

[5] Извините за выражение (*фр.*).

[6] Кто имеется в виду, неизвестно.

[7] От *фр.* «frénétiquement» — безумно, неистово.

[8] Былых времен (*фр.*).

[9] Я не смею бросать Вам вызов, Мадам (*фр. искаж.*).

[10] Ольга Федоровна Никитина (1876—1947), одна из «девушек» Зиновьевой-Аннибал, впоследствии вышедшая замуж за композитора Ф. Острогу. Подробнее о ней см. в письмах 1901—1902 гг.

[11] Домашнее прозвище Кости Шварсалона.

## 116. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*2/14 октября 1895. Женева*

*14 Окт. 95.*

Дорогой друг! получила грустное известие[1] и хотя ему не удивилась, но как-то тяжко, тяжко на душе стало. Итак, ты на родине и занят формальностями[2]. A la bonheur[3], мой формалист. Но есть пословица: деньги дай, деньги дай и успеха ожидай! Быть может, отсутствие их доставляет тебе случай слышать эту песеньку <так!>. Я от отца добыть не могла (объясню после), а написала Яковлеву[4], что задолжала некоему Ив<анову> 200 р. и прошу тотчас вернуть хоть 100. Не сердишься. Деньги будут poste restant<e>[5] в Петерб<урге>. Я вернусь в Париж в конце недели. О, как жду известий. Мое путешествие, точно чудный сон, и усталость, и

ссоры забыты. Впрочем, я не похудела, и здесь ***все*** говорят, что я очень красива. Малютки здоровы и кланяются. Соловьи не поют, но зато Сергей спать мешает <?> Mille baci a mon amante. Ti amo, t'adoro, sono la tua Lidia[6].

Не прийти ли к вам спеть Carmen. Сегодня пела до исступления[7].

Открытка с адресом: Его Высокоблагородию Вячеславу Ивановичу Иванову На Почтамт до востребования. S.Petersbourg. Russie. Женевский штемпель неразборчив, петербургский — 6.X.95. По тому же адресу отправлены пп. 118, 121—122, 124, 126—127, 133.

[1] Имеется в виду сообщение в п. 115 о том, что Иванов находится в Берлине и отправляется дальше, в Россию.

[2] Речь идет о формальностях, связанных с началом бракоразводного процесса.

[3] В добрый час (*фр.*).

[4] О ком идет речь, нам достоверно неизвестно. Но этот человек деятельно помогал Л.Д. в процессе развода, был готов даже лжесвидетельствовать в ее пользу. См. недатированное письмо (написанное в октябре—ноябре 1896 г.) Зиновьевой-Аннибал к ее адвокату В.Е. Головину: «Не знаю, передал ли Вам Гаген-Торн мою просьбу осуществить Ваше намерение переговорить с Яковлевым и просить его, в случае нужды, дать на суде показания; сообщаю Вам адрес Яковлева (Владимир Владимирович): Петерб<ургская> Стор<она> Большая Ружейная, 7; чтобы Вы могли известить его о Вашем желании с ним видеться» (ИРЛИ. Ф. 607. № 336. Л. 2 и об.). Ср. также письмо Ольги Яковлевой к Л.Д. от 12 марта 1896 (РГБ. Ф. 109. Карт. 40. Ед. хр. 19. Л. 2). Не исключено, что именно об этом Яковлеве первый муж Л.Д. писал ее отцу 10/22 марта 1893 г.: «У Лидюши будет летом кто-нибудь гостить; кроме того, невдалеке думает поселиться мой товарищ — Яковлев с семьей, очень серьезный и почтенный господин» (РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 47. Л. 15).

[5] До востребования (*фр.*).

[6] Тысяча поцелуев моему возлюбленному. Люблю тебя, обожаю тебя, твоя Лидия (*ит.*).

[7] Абзац написан поперек текста, еще одна фраза не читается.

## 117. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*2—3/14—15 октября 1895. Петербург*

*Петербург, 14/2 Окт. 95*
*11 час. вечера*

Дорогая возлюбленная! Спешу поздравить тебя со днем твоего рождения, не зная с точностью, когда ты получишь это письмо, и очень боясь, чтобы мое поздравление не запоздало (— хотя справедливее было бы, чтобы не я приносил его тебе, а ты мне), — боясь как потому, что ты не любишь, чтобы такие дни проходили неотмеченными знаком любви и внимания близ-

ких, так и потому, что твой день рождения мне дорог как твой день в году по преимуществу, как день твоей, родной мне судьбы и твоих звезд, сочетавшихся со моими. Впрочем, ты смеешься над моей астрологией; а между тем, в разлуке, что́ более приличествует любящим, как не астрально-платонические созерцания своих сплетшихся в небе судеб? О, если бы мы были вместе! Из воздушного океана, где плавают светила[1], как приятно было бы опускаться в укромный сад, где цветет роза и поет соловей! Гораздо приятнее, чем плавать в звездных туманах, сидя на пятом этаже мебелированных комнат на Почтамтской улице... И, однако, все мои желания теперь только в том, чтобы не спускаться из этих высоких сфер в зловонные клоаки нашей северной столицы.

*15/3 Окт. утр<о>*

Вчера я приехал сюда в 6 ч<асов> вечера и тотчас отправился к жене, у которой провел вечер с глаза на глаз с ней, — уединение, нарочито испрошенное мной при посредстве телеграммы[2]. Очень тяжелое и горькое впечатление вынес я из этой беседы; но характеризовать его в письме с достаточной полнотой, и точностью, и психологической тонкостью не сумею. Видеть существо, когда-то любимое тобою страстно и еще любимое, хотя иною любовью, как десять тысяч братьев не могут любить[3], — видеть его твоей жертвой, видеть его résigné[4], видеть это существо, которое ты когда-то делал богатым, и гордым, и счастливым и которому сулил еще бо́льшие богатства, еще высшие блага, — покинутым, и нравственно сраженным, и ищущим как высшего блага только обеспеченного куска хлеба и верного дружеского участия, [которое бы спасло] чтобы спастись от ужаса своего одиночества, — есть горчайшая из пыток. И я мало говорил вчера и много рыдал как ребенок, и не знаю, как перенести мне непомерное бремя моей жалости и раскаяния... да, Лидия, моя возлюбленная, мое счастие, — раскаяния в том, что я, связав свою судьбу с чужой, хотел все-таки жить сам и не отказался от своего золотого счастия ради сладкого счастия самоотречения и бескорыстной любви.

О, если бы я нашел от тебя письмо, хорошее письмо сегодня на почте! С минуты разлуки я не имею ни звука от тебя — вот уже 6 дней. Целую тебя, как люблю, — бесконечно. Жду с беспокойством вестей о твоем здоровьи.

Твой В.

PS. На почте. Опять ничего нет от тебя!...

[1] Парафраз строк из поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон»: «На воздушном океане / <...> Тихо плавают в тумане / Хоры стройные светил».

[2] Телеграмма неизвестна.

[3] Ср. слова Гамлета «Я любил / Офелию, и сорок тысяч братьев, / И вся любовь их — не чета моей» (Шекспир, «Гамлет», акт V, сцена 1. Пер. Б.Л. Пастернака).

[4] Покорным, смирившимся (*фр.*).

## 118. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*4/16 октября 1895. Женева*

*16 Окт.*

Дорогой возлюбленный, благодарю тебя за строки из Берлина[1]. Милый, разве я не с тобою всей душой? Разве ты можешь сомневаться. Но я физически до того захвачена отцом, что насилу нашла часок, чтобы отдаться тебе.

Если твое настроение тяжкое, то и мне не легко. Как и всегда, пребывание у отца, его разговоры о прошлом, его жалобы на настоящее и отчаянный взгляд в свое одинокое, бесправное будущее, все коллизии и путаница этого проклятого вопроса, заедающего нашу семью, свинцом ложатся мне на душу. Мне до того жалко старика, что я уговорила его ехать ко мне в Париж, а там, может, хотя вряд ли*, и устрою его месяца на два. Просто не знаю, что мне делать: не могу я видеть его в его берлоге с злой ключницей под вечной угрозой второго удара и слышать, как он говорит: «Когда-нибудь не выдержу и на себя руки наложу с тоски в эту длинную зиму». Дорогой Вячеслав, я с ума схожу от тоски, когда при мне убьют крысу или раздавят собаку (как на днях), а тут человек загубленный, да еще мой родной отец, которому я обязана тем многим <так!>, который и благороден и честен malgré tout[2]. Он меня много возил с визитами по своим знакомым, и меня всюду фетируют[3]. Сегодня утром целое общество собралось у меня, и привели аккомпаньяторшу, и я пела и произвела большое впечатление. Опять все захваливают, все на меня любуются, называют барышней. После обеда, усталая, я прилегла, но не могла спать, потому что чувствовала, что во мне живет каждый атом моего существа, и каждый нерв чутко настроился, чтобы отозваться на жизнь.

Я хочу петь, я чувствую в себе драматич<ескую> актрису, я хочу писать, хочу любить своих детей, хочу родить твоего ребен-

* Эти 3 слова вписаны сверху.

ка, чувствую всю силу, всю полноту жизни. Теперь я счастлива, но снесу, кажется, и несчастие. Ах, Боже, мне опять 19 лет, как во Флоренции год тому назад. Вячеслав, уже год! уже год с тех пор, как мы с тобою ходили в Боболи, в Кашине, ссорились по Lungarno, трусили кошек на Indipendenza, сидели на скамеечке у Бастионов[4]. Год нашей любви. А мне кажется, что это было вчера. Я так счастлива через эту любовь, которая вернула меня к жизни. Неужели ты так мало счастлив мною, что можешь впадать в уныние от временно тяжелого долга. Или прошлое не умерло для тебя? Или не в будущее, полное моею любовью, ты вложил всю свою душу? Или нет в тебе той энергии, которая с радостию бросается на тяжелые препятствия, чтобы свернуть их и прорваться гордо и свободно вперед. Sempre avanti[5]! — вот мой любимый мотто[6]. Никогда не оглядываться на непоправимое и вечно мчаться вперед, чтобы с блеском пролететь миг, называемый жизнью. Прощай, пока. Целую горяче <так!>, обвиваю тебя руками и хотела бы наполнить своею энергией и страстью к жизни, к любви. Всем существом твоя

Лидия.

На почте должно быть откр<ытое> письмо, объясняющее, что «до востреб<ования>» будут тебе 100 или 200 руб.

[1] См. п. 115.

[2] Несмотря ни на что (*фр.*).

[3] Чествуют (от *фр.* fête).

[4] Зиновьева-Аннибал перечисляет памятные места Флоренции. Cachine, Lungarno, piazza Indipendenza упоминались ранее. Боболи — парк (Giardino di Boboli); Бастионы — Bastione (средневековая крепость, от которой осталась стена).

[5] Всегда вперед! (*ит.*)

[6] Девиз (*англ.*).

## 119. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*5/17 октября 1895. Петербург*

*Петербург 17/5 Окт.*

Милая! Я получил наконец вчера твои дорогие строки[1] и был обрадован и ободрен ими; а теперь опять жду от тебя с нетерпением писем, и надоедаю почтовым чиновникам справками

о них, и недоумеваю, почему ничего до сих пор не переслано из Берлина. Не будь скупа на письма, моя радость, потому что без них мне тоскливо. Долго ли ты останешься еще в Женеве и как себя чувствуешь морально и физически, — особенно, как физически? Характер моих отношений к жене в настоящее время спокойно-дружеский. Она, по-видимому, не страдает более. Вечеров я не отнимаю у нее. Выбор адвоката еще не сделан окончательно. Сегодня твой Ивашинцов[2] рекомендовал двух новых. С Краш<енинниковым>[3] я встретился очень дружески, а вчера имел с ним долгую беседу «по душе», предоставив ему свободно и открыто высказать мне все, что́ ему хотелось. Содержание этой беседы сообщу как-нибудь потом; теперь я не в настроении излагать ее и скажу только, что она еще укрепила мое высокое мнение о его нравственной личности. У Гревса я был уже два раза и в первый раз, не застав его дома, обедал и беседовал с Марьей Сергеевной[4], которая произвела на меня очень приятное впечатление. Жду от тебя инструкции относительно Оли и, получив таковую, побываю на Тверской[5]. Стеснен недостатком денег, [возьму се<годня>] попрошу сегодня, быть может, у Гревса и за обещанную присылку[6] буду тебе очень благодарен. Ich sehne mich sehr nach dir[7]; мысль о том, что ты бывала на посещаемых мной теперь местах (напр<имер> близ Синего моста, близ Канцелярии Прошений) — меня сладко волнует. Я воображаю тебя всевозможным образом, мне бы хотелось много говорить о тебе, я жадно рассматриваю и подношу к губам твои каракули и т.д. — одним словом, принужден констатировать несомненные симптомы хронически продолжающейся влюбленности. А ты, гадкая, рада отдохнуть от меня?..

В.

Завтра буду праздновать сам с собой твое рождение.

Небольшой фрагмент — История и поэзия. С. 151.

[1] Имеется в виду п. 113.

[2] О ком идет речь, нам неизвестно.

[3] О роли М.Н. Крашенинникова в отношениях Иванова с его первой женой см. п. 107, прим. 10.

[4] Жена И. М. Гревса.

[5] На Тверской, 4, находился петербургский дом Л.Д., где она жила вместе с К.С. Шварсалоном. После разъезда он остался за ней.

[6] Имеется в виду присылка денег.

[7] Очень скучаю по тебе (*нем.*).

## 120. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*6/18 октября 1895. Петербург*

Bois seul ta sante[1]

Телеграмма.
[1] Пью один твое здоровье (*фр.*).

## 121. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*6/18 октября 1895. Женева*

*Le 18/6 Octobre 1895*

Дорогой друг, не могу сказать, чтобы письмо, наполненное раскаянием и клятвами в любви к твоей супруге было приятным «знаком внимания и любви» ко дню моего рождения[1]. Если ты так рыдаешь, глядя на свою ищущую в объятиях самца обеспеченного куска хлеба супругу, и мечтаешь о «бескорыстной любви и самоотречении», отчего не испытаешь ты еще этот вид сладострастия, столь необходимого твоей душе поэта. Поверь, что я проклинать судьбу более не буду. Большего того, что имела, я недостойна, ведь я не «этическая натура» и проживу без самцев <так!>, отдаваясь детям и музыке.

Клянусь, что любви мне более не нужно и, сойдясь еще раз с твоей «ненасытимой счастием жертвой», ты можешь не грозить ей, что «бросишь всё», чтобы ревниво вырвать меня из объятий нового возлюбленного. Я буду бесконечно целомудренна и к новым романам на подкладке «дружбы и куска хлеба» не склонна. Впрочем, быть может, я только потому не продаю себя, что у меня есть «кусок хлеба». Итак, без шуток, горяче <так!> умоляю тебя, исполни перед этическою женою своей свое обещание и дай ей «еще высшие блага и большие богатства». Ты, по крайней мере, вполне уверен, что обладаешь этими благами и богатствами *для нее*. *Я же* сама ужасно богата и в чужом богатстве не нуждаюсь. Я верю в свой талант, и кто знает, не буду ли я известной певицей и писательницей. А дети мои дают мне то чисто женское мягкое теплое семейное счастие, без которого я жить не могу и, клянусь честию, я не променяю детей своих на «друга» с мужскими атрибутами и с верным куском хлеба. Вы с женой отлично понимаете друг друга и соединяете красные слова с развратными (по-

моему) поступками (с ее стороны, а тобою оправдываемые), а я вам не товарищ, и я презираю женщину, которая, покинув ребенка своего и нося в душе образ мужа, для куска хлеба отдается «другу». Для меня это разврат, а ты рыдаешь на груди этой особы. Милый друг, люби ее, если только... она согласится отказаться от «куска хлеба» в штанах Крашенин<никова>. Как грубо! как цинично! не правда ли? Ну и слава Богу, мой цинизм поможет тебе с отвращением отвернуться от меня. А порыдав еще, ты, быть может, и добьешься нового сладострастного счастия. Ведь царапать и душить меня уже приелось тебе. Спасибо еще раз за письмо. Я запомню день своего рождения. Из 3-х страниц — 2 были посвящены твоей супруге. Фразеры вы оба отчаянные. «А ларчик просто открывался»[2].

Ты, вероятно, очень рассердишься за это письмо и ответишь грозным посланием или громким молчанием. Но я не боюсь тебя, ибо у меня свой путь и свои мнения, и парижско-московская эпоха нашей любви безвозвратно миновала.

А теперь скажу тебе, что собиралась писать тебе «хорошее» письмо, полное любви и ласки. Мое здоровье очень неважно. Я очень устаю от светской жизни, кот<орую> веду ради отца. Он пожелал познакомить меня со всеми своими друзьями. Он очень возгордился моим голосом и устроил несколько частных концертов. Все захваливают меня и в глаза и за глаза. Я сама чувствую, что после уроков Heiroth[3] голос выиграл несравненно, я опять верю и надеюсь на большее, чем когда-либо. Встречаюсь часто с одним двоюродн<ым> братом — художником, кот<орый> еще до моего замужества меня ужасно интересовал как человек, всегда исполненный большими и глубокими идеями. Он был женат, ужасно трагично, и теперь его жена в сумасш<едшем> доме. Он влюбился в Веру по уши и всё приходит к ней в гости. Отец мой нравственно поправился вполне и поэтому особенно интенсивно страдает от одиночества. Он приедет ко мне гостить в Париж и вообще всё прижимается ко мне и мечтает жить около меня. Я не могу не поддерживать старика и отказать ему: против этого восстает совесть и сердце. Он очень сочувственно относится к моей сцен<ической> карриере.

Вообще настроение мое и энергично и бесконечно серьезно, и поэтому всякие колебания и ненужные рыдания мне не по душе. Если ты чувствуешь раскаяние за свою измену и жалость к жене — сойдись с нею опять не в виде опыта, a for better and worse[4]! и позволь мне подписываться «преданным другом». Я не желаю тво-

ей любви сквозь слезы раскаяния. Меня ничто в жизни не пугает, даже одиночество. Да одинокой я никогда не буду. А что натуры, подобные Д.М., внушают мне презрение — я не виновата. Возьмите вашего бедного брошенного ребенка и живите вместе, и пусть прошлое *наше* будет сном. А я вполне, вполне счастлива и полна силы и энергии. Жить хочу для труда, для славы, для деток своих, кот<орых> обожаю, для любимых и нуждающихся во мне существ более слабых, чем я. О да, я счастлива и сильна, и всё снесу, и обожаю жизнь и людей. Работать и бороться, не останавливаться над прошлым, sempre avanti, sempre avanti[5]! Это, с Парижским, 4-ое письмо к тебе. Прости мои резкости. Целую тебя нежно и еще раз прости. Тебя любящая

Лидия.

Дорогой, приписываю два слова. Мне жалко тебя, мое сердце страдает вместе с твоим. Я бы жалела и Д.М., но такие практичные и разумные натуры находят утешение в теплом и уютном угле, а таковой она иметь будет, и будет скоро счастливее, чем с тобою.

Дорогой возлюбленный, я очень взволновалась твоим письмом, потому что я ожидала иного по его началу и потому что я очень слаба. Сегодня у меня ночью были сильные судороги в ногах, так что их к груди подводило, и я испугалась, а теперь весь день разбита вконец. А от твоего письма тоска легла на душу. Мне жаль, что ты страдаешь, и я всей душой с тобою. Серьезно и горяче-искренно советую тебе соединиться с женою навсегда, *если ты уверен, что можешь дать ей больше, чем Крашен<инников>*. Я же лично убеждена в противном. Завтра еду в Париж.

Что твоя мать пишет? Пиши, ради Бога, откровенно свои настроения, я ведь ничего не требую и ни в чем не обвиняю.

Твоя Лидия.

Как и всегда, вижу в тебе настоящую человечность только по отношению к своей избалованной судьбою жене, а ко мне кроме бессердечия и эгоистич<еской> страсти ничего. Ты раскаиваешься, что не отказался от *своего* счастия ради Д.М. Но ведь кроме твоей супруги и тебя существовала я, я, которая никогда ни искры счастия не видала (как ты в Риме говорил мне), но ты раскаиваешься, что дал мне счастие, огорчив ее, эту святую жену, ищущую утешения в... Крашенинникова <так!>. Ах, Господь с Вами обоими. Я больше не желаю мешаться в Ваши отношения и до-

ставлять вам сильные ощущения. Право, я человек, а не strumento di piacere. Fichez-moi la paix[6].

Благословляю Вас.

Получила телеграмму[7]. Спасибо. Быть может, уже началась эпоха телеграмм? Милый, если ты любишь, то поймешь меня. Поймешь, что я в душе жалею тебя и всем сердцем с тобою. Я, получив депешу, думала не посылать этого письма, но хочу, чтобы ты знал всё, что происходит в моей душе.

Если отбросить все резкости, выходит так: твоя жена macht mich nicht heiss[8], и страдать за нее, как прежде, я не в состоянии. Но отказаться от твоей любви, если ты находишь жестоким и несправедливым любить меня — я могу. Раз ты раскаиваешься в твоей любви ко мне, то честнее отказаться. Я от этого не пропаду. Твоя депеша глубоко тронула меня. Я тебя благодарю за нее. Целую тебя нежно. Скоро начну свою строгую жизнь в Париже, и наше чудное путешествие будет сном вполне. Я была очень счастлива. Тебя любящая Лидия. Милый Вячеслав, целую тебя еще и еще.

Почему нет адреса.

Письмо на почтовой бумаге: Villa Paracelsia, Châteleine-Genève. Конверт со штемпелями: Genève. 19.X.95 — С.Петербург. 10.X.1895.

[1] См. п. 117. Далее это письмо неоднократно цитируется.

[2] Из басни И.А. Крылова «Ларчик».

[3] О Л. Торриги-Гейрот см. п. 57, прим. 6.

[4] Для лучшего и худшего (*англ.*). Несколько искаженная брачная формула: «For better for worse» или «For better or for worse».

[5] Всегда вперед, всегда вперед! (*ит.*) См. п. 118.

[6] Инструмент наслаждения (*ит.*). Дайте (букв: швырните) мне мира! (*фр.*)

[7] См. п. 120.

[8] Меня не волнует (*нем.*).

## 122. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *8/20 октября 1895. Париж*

*20 Окт. 95 г.*

Дорогой Вячеслав, недавно приехала на парижскую квартиру после совершенно бессонной ночи. Села писать тебе, мой милый друг, мой возлюбленный. Как глупо писать злые письма за тысячу верст. Каждое резкое слово, вырвавшееся у меня, причиняет мне страдание. Я больше не буду резка, потому что резкость,

в сущности, противна моей природе, иначе я не мучилась бы всегда раскаянием за каждую вспышку. Когда-то ты покончишь с Петерб<ургом>. Какая тоска ждать известий из такой дали. Впрочем, постараюсь быть терпеливой. Еще раз благодарю тебя за телеграмму[1]. Отец пристал ко мне: кто пьет *совсем один* за мое здоровье? И я сказала, что Пл. <?> Т.[2], у которого мать и сестры уехали. Но вообще, если ты не изменился ко мне и хочешь продолжать наш союз, то трудно будет скрыть его от кого бы то ни было мне близких.

Здесь холод отчаянный, и я мечтаю перебраться во 2-й этаж, пожертвовав садом. У меня теперь всяких хлопот и всякого дела по горло. Надо устроить детей в школы, надо перебираться с квартиры и меблировать ее и одеться прилично, ибо серое платье никуда не годится. Хочу пойти к хорошей портнихе и заказать себе костюм по фигуре, кот<орая> уже начинает изменяться. Затем Mme Viardot. Биза[3] в Женеве надула мне небывалую в Италии хрипоту, которою окончились мои женевские триумфы. Отец предложил мне выступить в хорошем Женевском концерте, но для этого не надо размножать человечество.

Смешно мне было ужасно собирать свои пожитки по Женеве. Отец простудился и не попал на вокзал, зато нас проводил мой двоюр<о>д<ный> брат — Зиновьев, о кот<ором> я говорила. Он ходил со мной в лавку, где мы с тобою выбирали блузы, и в гостинницу <так!> за картонкой, где меня горничная ужасно скомпрометировала тем, что подала отдельно твою ночн<ую> рубашку. Могу себе представить, как удивились на меня в отеле: то с белым, то с черным. Трогательно видеть, как этот несчастный человек, которому безумная жена убила 2-х детей, привязался ко мне и к моим ребятам и не мог ни на миг отстать от нас за последние дни нашего пребывания к Женеве. Мы очень много говорили, и меня поразила революция, произошедшая в его коренных взглядах и вымученных жизнью.

Милый, если сходишь на Тверскую 4 и увидишь Олю[4], скажи ей, что ты недавно нас видел, что мы все много о ней говорили вообще тебе, часто вспоминаем и скучаем по ней. Скажи, что много работаю и хорошо пою и разное т.п.

[Я хочу просить тебя об услуге. Ты получишь письмо с адр<есом> Алымовой, и перед отъездом ты заезжай к ней и захвати мой чемодан с несколькими очень мне нужными вещами, кот<орые> в нем будут Ты привези его в Берлин, а отту<да>]

Ничего не надо. Жду не дождусь определенных вестей. О Боже, какое блаженство будет знать тебя в Берлине за делом. Милый, скоро ли ты опять войдешь в колею и окончишь свой «кризис». Как бы то ни было, твоя жизнь теперь вошла в слишком бесконечно важную эпоху, чтобы терять бесплодно время и силы души. Так или иначе, ты должен твердо решить свой путь и идти вперед без рыданий и сожалений. Мое сокровище, целую тебя, как люблю. Желала бы прижать и приласкать, сказать тебе уста в уста, как люблю тебя. Твоя Лидия.

Дорогой, *очень прошу* сходить в редакцию Вестн<ика> Евр<опы> и спросить Стасюл<евича>[5], примут ли они биографию арт<истки> пар<ижской> <?> Mme Viardot, составляемую по ее желанию и по заметкам, данным ею.

Конверт со штемпелями: Paris. 21 oct. 95 — С.Петербург 12 окт. 1895.

[1] См. п. 120.

[2] О ком идет речь, нам неизвестно.

[3] Холодный и сухой северный или северо-восточный ветер в горных районах Франции и Швейцарии.

[4] О.Ф. Никитину.

[5] Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826—1911), журналист и общественный деятель, издатель и редактор журнала «Вестник Европы» (1866—1908). Л.Д. могла предлагать как неизвестную нам свою собственную работу о П. Виардо, так и статью Л. Торриги-Гейрот. О судьбе этого предложения см. п. 132.

## 123. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*9/21 октября 1895. Петербург*

*Петербург, 21/9 Окт. 95.*

Спасибо, милая возлюбленная, за твое нежное и пылкое письмецо. Это бравурное письмецо очень обрадовало и воодушевило меня, моя бешеная и пленительная пантерка, и я надеюсь, что, даже за вычетом деланной бравуры, и форсированной энергии, и жалостливой нежности, долженствовавших меня ободрить, исполнить мужеством и утешить, все же в твоем настроении, в тот день, когда ты писала эти строки, присутствовал такой остаток энтузиазма, храбрости, жизнерадостности и, быть может, — любви, что в целом можно принять твои излияния за искренние и неподдельные. Вот этот-то остаток и вдыхает в меня мужество, и делает меня счастливым, и успокаивает меня за тебя, то есть — за мое счастие..... Счастлив, сказано у Шиллера, —

Кто хоть единую душу избра́нную
Может своею назвать[1].—

Могу ли я назвать твою душу своею, Лидия? Ответь мне, — не потому, чтобы я сомневался в твоей любви, а потому, что мне хочется слышать от тебя постоянные подтверждения того, что я не одинок, и постоянно чувствовать тебя с собою. Впрочем, я не могу сказать, что падаю духом; ибо, напротив, мой друг и благожелатель, Михаил Никитич[2], советует мне относиться к жизни с меньшею «аррогантностию»[3]. Не духом я падаю, а овладевает мной подчас — с одной стороны — чисто трагическое чувство жалости к altrui[4] и невольной вины своей пред этим altrui, с другой — не менее трагическое сознание того, что путь мой поведет меня теперь постепенно суживающейся и пропадающей тропинкой над краем бездонной пропасти. Недаром и названный доброжелатель мой, рассматривая различные исходы, для меня мыслимые (и, поистине, немного видит он для меня исходов!) — останавливается в числе их и на «мрачном» и «фатальном» исходе — самоубийства. Но именно теперь я особенно далек от подобной мысли, — вероятно, из духа противоречия и упрямства...

Вчера вечером, дорогая моя, я совершил главнейшую часть своей здешней миссии — свое фиктивное прелюбодеяние, — и совершил, благодаря малому педантизму «свидетелей», с наивозможным [, по-видимому,] minimum'ом гнусности, присущей этому позорному обряду: они привезли меня в публичный дом, видели меня, в одном из его cabinets[5], сидящим на постели рядом с женщиной и, удовольствовавшись этим, — уехали; я же, думая, что они войдут опять, лежал несколько минут в пассивном ожидании рядом с своей очень молоденькой и довольно хорошенькой complice[6] (упругое тело которой успел эстетически оценить, не ощущая, однако, никакого эротического влечения), — пока не услышал от своего «поверенного» освободительную весть об отъезде свидетелей, после чего объявил удивленной и как будто даже слегка обиженной сообщнице своей, что немедленно уезжаю и что все случившееся было просто комедией...

Завтра я должен буду дать нотариальные доверенности на ведение моего дела; потом, через несколько дней, — явиться, для [врачебного осмотра] признания меня больным, во врачебную управу, чтобы быть освобожденным от обязанности лично являться в суд. Этим и ограничивается мое личное участие в процессе,

так что мой адвокат считает возможным отпустить меня через неделю на все четыре стороны. —

Сегодня жена представила меня Вл. Соловьеву [7]. Он отнесся ко мне очень симпатично и [оставил] произвел на меня впечатление весьма приятное. Между прочим, посоветовал он мне представить будущий мой сборник в Академию, для соискания Пушкинской премии. Мы условились, что манускрипт, готовый к печати, я пришлю ему и он позаботится об издании. Он рассказывал о своей «Этике»[8], которая уже печатается, и о возникновении в Петербурге двух новых газет — обновленных «Петерб<ургских> Ведомостей» и «Слова»[9]. Читал [вслух] наизусть собственное стихотворение, пародирующее символистов[10]. Упоминал о моем «несомненном таланте» (ох уж этот мне «несомненный талант»!). Расспрашивал о моих карьерных делах. Надежду на академическую премию (выдают целую — в 1000 р<ублей> — и, чаще, половинную — в 500 р<ублей>) можно иметь потому, что, «помимо поэтического таланта», при рассмотрении моего сборника оценят то, что я человек «очень образованный»; за почетный отзыв он во всяком случае ручается, а если бы «per impossibile»[11] я остался и без отзыва — то все равно ничего бы не потерял, так как неудостоенные отзыва книги остаются неназванными публично[12]. Практического толка в знакомстве с С<оловьевым> для меня покамест нет; но мне важно заручиться в литературном мире таким известным и симпатичным союзником и благожелателем; он же может послужить мне и советчиком, и критиком, и «ходоком». Судя по его обращению, он относится ко мне с интересом и сочувствием; я имею его разрешение на [присылку] доставление ему своих новых пьес и т.д.

У Оли[13] еще не был, поджидая твоих инструкций. Яковлев[14] все колеблется послать деньги до востребования «некоему Иванову»... Гревс меня немного выручил.

Крашенинников вздумал (основываясь на одном мнимом прецеденте) сделать меня, без докторского диплома, прямо магистром и спрашивал проф. Помяловского[15], возможно ли непосредственное допущение меня к магистерскому экзамену; на что получил, конечно, ответ отрицательный, но сопровождаемый советом [оставить] заменить немецкую «промоцию»[16] (на дороговизну которой жаловался за меня мой радетель) — экзаменом в весенних филологических комиссиях, выдержание которого (а он для меня нетруден) даст мне с кандидатским дипломом право как магистрирования, так и учительствования в России. Крашенин-

ников очень ухватился за этот план, но я предпочитаю остаться при плане докторирования в Берлине, — довольный однако тем, что на случай неудачи в Германии нашелся новый ресурс: я думал, что не буду допущен к испытанию в комиссиях, потому что не пробыл установленного четырехлетия в русском университете, Помяловский же уверен, что меня министерство диспенсирует[17] от этого требования. —

Прости, дорогая, за такое длинное и скучное письмо... Хотел было посвятить последние строки ласке и влюбленной мечте о тебе — и вспомнил вдруг о новой заботе, которою должен с тобой поделиться. Об ожидаемом нами ребенке[18] я счел нужным сказать жене, и она говорила об этом с адвокатом (конечно, ты остаешься ему абсолютно неизвестной). Он сказал: усыновить ребенка будет стоить рублей 500, и он, усыновленный до момента развода, будет считаться ребенком меня и жены моей; будучи разведен, я не имею уже права его усыновить, [разве только] за исключением разве того случая, [когда] если мне удастся вступить в новый брак. Я отнюдь не согласен на то, чтобы усыновила ребенка ты, потому что не хочу его отцом делать Шварсалона. Незаконным ребенок также не должен оставаться. Жена согласна с своей стороны на номинальное участие в усыновлении; но ребенок должен быть обеспечен на случай смерти родителей, по совету адвоката, или путем страхования жизни, или путем назначения двух опекунов. Я надеюсь, что ты не будешь противоречить моему желанию усыновить ребенка и согласишься на неизбежное при этом наименование моей жены его матерью по усыновлению; что́ в глазах нас всех будет являться ничего не значащею формальною подробностью, лишенною какого бы то ни было практического значения. Ответь на эти соображения. —

Целую тебя с бесконечной страстью. Твоя головка с ее пепельными волосами всегда предо мною. Постарайся сохранить свое бодрое настроение. Будь здорова, моя радость.

В.И.

Фрагменты — История и поэзия. С. 151, 248, 351.

[1] Цитата взята из «Оды к радости» в переводе В.Г. Бенедиктова.

[2] Крашенинников.

[3] От *фр.* «arrogance» — самоуверенность, заносчивость.

[4] Другому (*ит.*). Подразумевается жена Иванова.

[5] Здесь: номеров (*фр.*).

[6] Сообщницей (*фр.*).

[7] В конце мая и начале июня 1895 г. Д.М. Иванова показала Соловьеву рукописный сборник стихов своего мужа и описала свои свидания с Соловьевым в пись-

мах к Иванову (РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 30; ср. также ее повествование в письме к И.М. Гревсу — История и поэзия. С. 279). В рассказах М.С. Альтману Иванов отметил это как особо примечательный эпизод: «Когда я развелся с Дмитриевской <так!> (моей первой женой), она, приехав из Италии в Петербург в 1895 году, отправилась с альбомом, в котором были записаны некоторые мои стихи (вошедшие потом в мой первый сборник), к Вл. Соловьеву. <...> Ознакомившись с моими стихами, он сказал, что они, безусловно, совершенно самобытны, оригинальны, и стал меня пропагандировать в своих кругах. Круги эти (Стасюлевич [...]) были весьма туги и неповоротливы. Я с великим восторгом узнал высокую для меня оценку Соловьева и в свой ближайший приезд в Петербург познакомился с ним. С тех пор, каждый год, наезжая из-за границы в Петербург, встречался я с ним» (*Альтман М.С.* Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., [1995]. С. 96—97). В «Автобиографическом письме» Иванов говорил: «С тех пор, в течение нескольких лет, я имел с ним важные для меня свидания всякий раз, как приезжал в Россию. Он был и покровителем моей музы, и исповедником моего сердца» (II, 20). О. Дешарт рассказывала: «В первую свою встречу с Владимиром Соловьевым В.И. из дерзкой честности заявил известному ученому, что ни с одной мыслию его он не согласен. Соловьев ласково улыбнулся, встал, молча обнял и поцеловал своего гостя. И, глядя на него своими сивиллинскими глазами, сказал: "На ницшеанстве Вы не остановитесь"» (I, 34). См. также: *Котрелев Н.В.* К истории «Кормчих звезд» // Русская мысль. 1989. 15 сентября. № 3793; История и поэзия. С. 385—386.

[8] Имеется в виду итоговое произведение Соловьева «Оправдание добра», которое начиная с 1894 г. печаталось отдельными главами в журналах, а книгой вышло лишь в 1897 г.

[9] Речь идет о переходе газеты «Санкт-Петербургские ведомости» с января 1896 г. от В.Г. Авсеенко, возглавлявшего ее с 1886 г., под редакторство кн. Э.Э. Ухтомского. При новом редакторе Соловьев печатался в газете. Несколько подробнее см.: *Шерих Д.* Наш подписчик Пушкин // Санкт-Петербургские ведомости. 2008. 11 января. О планах издания газеты «Слово» у нас информации нет. Не исключено, что здесь имеется в виду издание с начала 1896 г. газеты «Отголоски», которая впоследствии выходила под названием «Слово».

[10] Соловьев завершил свою третью рецензию на «Русских символистов» Брюсова тремя пародиями. Его статья («Еще о символистах») вышла в «Вестнике Европы» в октябре 1895 г. (Вестник Европы. 1895. № 10. С. 847—851). Отметим, что в 1921 г. по поводу оценки символистов Соловьевым произошла характерная полемика между М.С. Альтманом и Ивановым, переданная первым: «Согласитесь, В.И., — сказал я, — что в своем пророчестве (если Брюсову больше 14 лет, из него ничего не выйдет) Вл. Соловьев проявил непрозорливость полнейшую и тупость. <...> — Нет, — сказал В., — был ли прав Соловьев, мы еще посмотрим, [посмотрим], что останется от Брюсова через 10 лет. <...> он от отца лжи, он проституировал поэзию, отвлекши ее форму от живого содержания <...> И Вл. Соловьев все это почувствовал» (*Альтман М.С.* Цит. соч. С. 75—76).

[11] «По невозможности» (*ит.*).

[12] О Пушкинской премии, присуждавшейся Императорской Академией наук, см.: *Шаламов В.* Пушкинская премия // День поэзии. М., 1968. 14/27 октября 1902 г. Иванов писал И.М. Гревсу: «Вл.С. Соловьев убеждал меня представить сборник в Академию на соискание Пушкинской премии. Я бы решился на это, если бы присуждение премии предстояло этой зимой и если бы знал срок и формальности представления книги, как и общие условия соискания» (История и поэзия. С. 247). Как сообщают комментаторы Г.М. Бонгард-Левин, Н.В. Котрелев и Е.В. Ляпустина,

Иванов представил свою книгу на соискание премии в январе 1904 г., и она заслужила уничижительный отзыв П.И. Вейнберга.

[13] О.Ф. Никитиной.

[14] См. п. 116, прим. 4.

[15] Иван Васильевич Помяловский (1845—1906) — филолог-классик, палеограф и эпиграфист, проф. Петербургского университета и Историко-филологического института, чл.-корр. Академии наук, в 1887—1897 гг. — декан историко-филологического факультета Петербургского университета. Справка взята из «История и поэзия». С. 65.

[16] От *фр.* «promotion», что в данном случае означает «повышение (в научной степени)».

[17] От *фр.* «dispenser» — освободить.

[18] 28 апреля 1896 г. у Иванова и Зиновьевой-Аннибал родится дочь Лидия.

## 124. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*11/23 октября 1895. Париж*

*23 Ott. 95.*

Sei un vigliacco per non scrivere tanti giorni. Vai al diavolo[1]
Lidia.

Открытка со штемпелями: Paris. 23 oct. 95 — С.Петербург 14.X.95.

[1] Ты трус, потому что не пишешь столько дней. Иди к черту! Лидия (*ит.*) О содержании этой телеграммы Л.Д. упоминает в п. 126.

## 125. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*11/23 октября 1895. Петербург*

*Пб. 23/11 Окт. 95.*

Дорогая Лидия! Обстоятельства требуют от меня безотлагательных решений. Мне представляется, с одной стороны, возможность поездки за границу для завершения своих тамошних дел; с другой — возможность заработка и устройства своей научной и литературной карьеры в России[1]. Отсутствие средств заставляет меня избрать второй путь; мои симпатии принадлежат первому. Необходимые для него средства я могу иметь только от тво<е>й *дружбы*. Извести меня, может ли твоя *дружба* оказать мне эту услугу.

Не удивляйся, что я говорю о дружбе, а не о любви. Я хочу пользоваться денежным кредитом подруги, а не возлюбленной. Но и помимо этого принципиального соображения, есть причи-

ны, заставляющие меня выяснить вопрос о характере материальной помощи, которую ты взялась бы мне оказать. Разлад между нами, обнаружившийся в ряде острых конфликтов, давно уже поколебал мою веру в прочность нашего союза. Вчерашнее письмо твое, как мне кажется, окончательно разорвало эту столько раз уже готовую оборваться нить. Я принимаю вызов, который читаю между твоих строк: addio, amore!..[2] Не думай однако, что я ищу предлога, чтобы оправдать свой возврат к жене: вопрос об отношениях моих к ней решен окончательно, и даже разводный процесс во всем ходу. Причина нашего разрыва заключается просто в incompatibilité[3] наших характеров, которую раз навсегда должно признать. — Я жду твоего скорейшего ответа, и в частности категорического разъяснения вопроса о твоем денежном кредите при условии расторжения нашего любовного союза.

Твой друг В.

Адрес для депеш:
Почтамтская 13, меблир<ованные> комнаты.

Фрагмент — История и поэзия. С. 351. Конверт с адресом: Madame de Zinovieff-Schwarsalon. 23 rue Singer, Passy. Paris. Штемпели: С. Петербург. 11.X.95. — Paris. 26 oct. 95.

[1] Ни тот ни другой план не осуществился.

[2] Прощай, любовь!.. (*ит.*) Название романа М. Серао, о котором Л.Д. писала Иванову в п. 89 (см. прим. 7).

[3] Несовместимости (*фр.*).

## 126. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *14/26 октября 1895. Париж*

*26 Окт. 95 г.*

Дорогой друг! Представь себе, какой удивительный случай оставил меня 8 дней без письма от тебя. Признаться сказать, это обстоятельство после твоего прошлого «рыдания» у жены не оставило во мне почти сомнения в том, что с тобой еще раз, как в Москве, случилась «психология»[1]. Видишь, нельзя сердиться на меня, если жизнь раз и навсегда лишила меня прежней доверчивости. Я уже не ожидала более писем, а просто всеми силами взяла себя в руки, чтобы быть умнее, чем была весною в Париже. Недаром же перед глазами моими пример жизнемудрой Д.М. К счастию, мне это очень недурно начало удаваться, когда сегодня я получила письмо от отца, и к ужасу и радости в его конверте твое

послание, распечатанное. Почему идиотская Женевская почта не переслала его сюда — не понимаю. К счастию, отец ничего не понял в твоей мазне. У меня же с души спало ощущение некоторой неприятности.

Кстати, не смей писать мне Zinov<ieff>-Schwars<alon>. Фамилия мужа здесь совершенно неизвестна. Пиши Zin<ovieff>. Здесь кстати скажу и про усыновление. Ни в каком случае никогда, ни за что, пока во мне капля крови, не позволю другой женщине назваться матерью моего ребенка. Я стану носить и рожать, чтобы другая оказалась матерью по закону и перед взрослым ребенком! Ты с ума сошел, мой друг! Перекрестись-ка и тогда обдумай дело. Да нет, я вашим адвокатам не верю. Я сама узнаю через Герарда[2], могу ли я усыновить ребенка, когда по закону буду носить фамилию Зиновьевой. Я вообще желаю сделать так. Я хочу, чтобы ребенок по закону был моим, и я это устрою, ибо знаю, что это возможно, а ваши адвокаты врут.

Столько об этом, и это последнее мое решение. Ты уже потому недостоин усыновить ребенка, что можешь решиться предложить мне подобную комбинацию: отречься перед лицем людей и закона от своего дитяти! Безумец! Ты с супругой 8 лет хирургическими машинами от детей отвоевывался, а теперь хочешь, чтобы я для нее родила, а она не* ребенка имела права матери. Es ist lächerlich[3], мой глупенький дурачек, и если бы я не знала, что ты у меня глупенький, то я бы тебя, прощалыгу, нахала, еще бы не так обругала[4]!

Ну вот, всё вылила, а теперь прости меня, мой милый, дорогой, любимый Вячеслав, что я незаслуженно тебя к diavolo послала, я писала саркастически-весело, т.е. несколько злобно шутя[5]. Прости, мой возлюбленный, если я тебя оскорбила. Право, ты обидел меня тем, что «раскаялся» в нашей любви ради своей флегматической и мудрой Д., и не ревность, а обида и сомнение в глубине твоего чувства говорило во мне. Мне ревновать нечего, ибо я не чувствую себя слабее ни физически, ни нравственно «профессорши», и разве что завидую ее благоразумию и неврам <так!>. «Люби, пока выгодно и удобно, но из-за любви не порти крови и еще** где лучше, когда стало плохо». Правило завидное. Ты упрекнул меня в отсутствии дружбы, но это неправда: мне только было обидно, что ты проливал слезы над толстою Д.М., а ко мне

---

* Явная описка, следует читать: на.

** Вероятно, описка, и следует читать: ищи.

всегда был строг и нежалостлив. И горя твоего не разделяю, т.к. знаю, что она из полковника в генералы выскочила. Она не из тех, которые с восторженным трепетом идут по узкой дорожке, постоянно исчезающей над зияющей пропастью. Она не из тех, которые предпочитают сокола в небе синице в рукаве. Она будет двадцать раз счастливее, чем когда-либо была, и плакать над ней могла только такая слепая дура, какою была я во Флоренции. Я страшно счастлива твоим чудным длинным письмом. Надо работать и работать, il faut serrer[6]! За работой и голова над пропастью не закружится, и из полковников в Наполеоны метнешься <?>. Итак, ты скоро свободен. Милый, как я рада. Как противна была «формальность», мне было тяжело читать[7]. Милый, но ведь ты хороший, ведь ты не животное, ведь ты не станешь отдавать свое тело другой. Это сразу для меня уничтожит всю поэзию моей любви. Но если ты изменишь, скажи, о скажи. Твоя правдивость — твое лучшее украшение, а я всегда хочу правду. Но ты не изменишь, ты мой. Милый, я так счастлива. Моя жизнь полна до краев. Дети доставляют мне большую радость. Так весело их посылать в школу. Верочка играет, шьет, вышивает. Сережа учится два часа утром и два часа после обеда. А между проводит дома и в лесу. Он читает и пишет недурно, и его хвалят. А я чувствую, что начинаю жить в детей и что личная жизнь уже слабеет и счастие является лишь чудною <?> призмою <?>, но и без него жизнь не померкла бы, а светилась бы ровным, матовым светом. Это я испытала в эти дни, когда еще раз чуть не простилась со своим счастием. Относительно экзамена тоже согласна с твоим решением. Докторство в Берлине ценно и в России и в Германии на всякий случай.

Ну поздно. Скоро сообщу еще кое-что. Александра Вас<ильевна>[8] была сегодня у меня, обедали, потом мы с ней ездили к портнихе, у кот<орой> всё русское посольство заказывает. Заказала я себе темно-зеленое суконное платье, и.... шикарный лиф de soirée[9], палевый, с гипюр <так!> и с шелковыми fantaisie[10] рукавами. До Января буду выезжать с Ал<ександрой> Вас<ильевной> на громадные soirées[11] парижские. Целую тебя. Я еще хороша собою. Целую еще, как люблю, крепко, крепко в губы, про рубчик подумаю еще. Милый, не сердись.

Твоя вся Лидия.

На последнюю, чистую страницу письма наклеен конверт с парижским штемпелем 26 октября и русским штампом: «Доплатить 20 к.» Русского почтового штемпеля не видно.

[1] См. п. 103.

[2] Владимир Николаевич Герард (1839—1903), присяжный поверенный, известный своим участием в политических процессах. Помогал Л.Д. в делах разъезда с мужем. См. в ее письме к отцу от 18 января 1894: «Дело мое с мужем улажено окончательно. По совету Герарда я грозила ему одним для него крайне гибельным процессом в случае, если он не согласится передать мне исключительное право на детей и не согласится всеми способами содействовать разводу» (РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 26).

[3] Это смешно (*нем.*).

[4] Несколько искаженная цитата из баллады А.К. Толстого «Поток-богатырь» (1871). В оригинале: «Я тебя, прощелыгу, нахала, И не так бы еще обругала!»

[5] Речь идет о п. 124.

[6] Нужно крепиться (*фр.*).

[7] Речь идет об эпизоде фиксации «прелюбодеяния», описанной в п. 123.

[8] А.В. Гольштейн.

[9] Вечерний (*фр.*).

[10] Фантази (*фр.*). Имеется в виду стиль одежды.

[11] Вечера́ (*фр.*).

## 127. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*15/27 октября 1895. Париж*

*27 Окт. 95 г.*

Дорогой мой дурачек!

т.е. мой глубокоуважаемый друг, итак, мы вернулись к фундаменту, разрушив храм любви[1].

Мой милый Вячеслав, поспешим его вновь в 3 дня воздвигнуть. Ну подумай сам, разве я Д.М.? Разве ты не довольно кусал и душил меня, чтобы навек напугать дружбу и отогнать ее от порога нашего храма?

Это в ответ на письмо с addio amore, кот<орое> я получила только что. Да, мой миленький дурачек, ссориться мы будем, но что же из этого. Если ты желаешь иметь во мне вторую Д.М., то разойдемся не медля. Если ты хочешь, чтобы *с* тобою, а не *за* тобою шла та женщина, которая стояла около тебя на Vaulhorn'e[2], купаясь в туманном море, освещенном мистическим солнцем, если ты хочешь этого, тогда терпи мои вспышки и бешенства, c'est à prendre ou à laisser[3]! Что касается второго вопроса, я на него ответила еще раньше получения твоего письма, какою-то интуицией. Я послала на postes restantes[4] телеграмму вчера: sono tua amica, sempre teco[5]! Я писала это, потому что хотела нестерпимо тотчас же по прочтению твоего длинного письма дать тебе почувствовать всю глубину своей дружбы. Мне кажется теперь, что Женевская

вспышка была последним отблеском Московского эпизода. Amen. Ti credo[6].

Теперь практическая сторона дела. Милый, ты знаешь, как страстно желала бы я лично иметь тебя within reach[7]! (помнишь террасу в Mürren[8], чай и английская беседа). Но, по обыкновению, хочу быть разумной и обсудить вопрос с его деловой стороны. Я, конечно, в этом деле мало понимаю, но прежде всего безусловно отвергаю брать в соображение выгоду заработка *тотчас же*. Это соображение надо откинуть и свободно от него обсудить вопрос: 1) что выгоднее для широкого и более далекого будущего: берлинское докторство и русск<ое> магистерство после него или русское магистерство без него, и 2) что м<ожет> б<ыть> лучше для научной твоей деятельности помимо карриеры.

Как же, вдруг, обмануть Гиршф<ельда> и всю комп<анию> твоих ученых покровителей. Разве Германские связи не пригодятся?

А что касается поэзии, то если ты примешься за заработок, addio[9] сборник в академию[10]. Вообще в смысле споркости работы не может быть сравнения между Берлином и Россией, как мне кажется, если ты захочешь всей силой налечь на дело. Итак, если тебе выгоден в широком смысле Берлин, — выбирай его, если Россия — то оставайся там. Затем остаются соображения наших личных отношений. Ранее лета я ни в каком случае в Россию попасть не могу, да и то, быть может, в полный ущерб моему делу. Дело упростилось бы, если бы мы разрушили храм до фундамента, но, дурачек, в уме ли ты? Затем надеюсь, que vous ne boudez plus[11], а если да, tant pis pour vous[12]! Я не только могу мыслекно прижать к тебе мою «пепельную» голову и поцеловать тебя крепко, крепко, но не как друга, гадкий формалист.

Твоя пантера Лидия.

Не сердись по поводу усыновления: мы с тобою ужо поделимся лично. Te bacio amor mio[13].

Конверт со штемпелями: Paris. 27 oct. 95 — С. Петербург. 18 окт. 1895.

[1] Отсылка к сну Зиновьевой-Аннибал, пересказанному ею в дневнике (см.: Интермедия I).

[2] Фаульгорн (правильно пишется: Faulhorn) — горная цепь в Швейцарии (Berner Oberland).

[3] Это надо принять или все бросить (*фр.*).

[4] До востребования (*фр.*).

[5] Я твоя подруга, всегда с тобой (*ит.*).
[6] Аминь. Верю тебе (*ит.*).
[7] В пределах досягаемости (*англ.*).
[8] Курорт в Швейцарии (Berner Oberland).
[9] Прощай (*ит.*).
[10] См. п. 123, прим. 10.
[11] Что вы более не сердитесь (*фр.*).
[12] Тем хуже для вас (*фр.*).
[13] Целую тебя, любовь моя (*ит.*).

## 128. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*16—17 / 28—29 октября 1895. Париж*

*28—29 Окт. 95.*

Дорогой друг, за всё это время переживала много впечатлений, вызванных тобою. И теперь, кажется, они осели, и я вполне сознала их. Ты знаешь, что я никогда сразу не могу составить себе вполне или даже приблизительно верного взгляда, и все события отражаются на мне смутными душевными ощущениями, которые, впрочем, от смутности не менее сильны. Начало было в Женеве, когда я получила твое письмо в день рождения[1], на которое я ответила таким взрывом озлобленного негодования (Прости его резкость) и окончилось твоим предложением относительно ребенка и сообщением, что ты... счел нужным сообщить о ребенке жене. Милый друг, твоя душа для меня еще загадка: в ней есть много струн, чутко отзывающихся на тончайшие нюансы жизненных явлений с их эстетической стороны, и эта способность твоя пленила меня в Риме и потом во Флоренции. Но потом, когда я сошлась ближе с тобою, мне не раз приходилось встречаться с какою-то тупостью ощущений в вопросах тонких душевных движений. И так же случилось в Женеве. Ты написал мне, что рыдал от жалости к жене и раскаявался <так!> в нашей любви, но в след<ующем> письме ты пишешь: она более не страдает. Стоит ли жалости женщина, которая 9 лет жизни хоронит в 9 недель и затем хватается вновь за жизнь и карьеру. Можно ли писать об этой жалости той, которая страдала так много в жизни и страдала до болезни из-за этой самой практической размеренной женщины. Можно ли в день рождения любимой женщины писать ей, что раскаялся в любви к ней как в преступлении, точно эта любовь только эгоистическое наслаждение и только любовь к бывшей жене — святое чистое счастие. Потом ты не понял моего гнева и

объяснил его грубою ревностью. Но неужели я могла ревновать к ней. Неужели если бы ты изменил мне еще раз ради нее, я могла бы когда-либо пожелать твою люб<овь>. Я стыдилась бы прои<сшед>шего <?>, а к тебе или, вернее, к твоей способности любить питала бы лишь презрение. Не ревность, а гнев душили меня, смутное чувство несправедливости, кот<орое> я поняла только позже. Дальше — пришло письмо о ребенке, и я тотчас поняла *только* всю грубость твоего предложения мне отречься от ребенка своего и принять «благодеяние» от Д.М. Но затем рядом с этим я почувствовала, что ты сообщил самовольно женщине, нам чужой, мне недоброжелательной и лично мне противной и ничтожной, ты сообщил ей мою чисто женскую святую тайну и тайну мне теперь очень роковую. Она может сообщить своему супругу, а он своему другу и т.д. Ты отдал *мою* тайну и тайну *моих* детей. Кроме того, ты так мало и грубо чувствуешь по отношению к нашему ребенку, что не понял неприличия тонко нравственного — вмешивать в это дело *именно твою бывшую жену*. Вообще мне кажется, что наши дела взаимные должны бы быть тебе святы и тайною для всех. Но между мною и тобою — твоя бывшая жена. Это уничтожает всю поэзию и всю святость нашей любви. А мысль, что ты — отец моего ребенка — можешь допустить и даже просить свою бывшую жену назваться его матерью — эта мысль отравляет всю поэзию моего материнства. C'est ma manière de sentir[2]. А ты мне кажешься грубым и не любящим свято и высоко. Эта promesquitée[3] <так!> твоих любвей, прошлой и настоящей, для меня уничтожает всю прелесть и святость и тайну наших отношений. А твоя неосторожность и самоуправство по отношению моих тайн — важных для меня и для моих детей, за которых я отвечаю перед своим Богом — сердит и злобит меня против тебя. Всё вместе отталкивает и расхолаживает меня. Теперь относительно ребенка прошу тебя не тревожиться. Я желаю усыновить его *лишь только я добуду свою фамилию Зиновьевой*, но если это невозможно по закону (т.к. я дворянка), то я ***предпочитаю***, чтобы он носил фамилию моего мужа, чем принял материнство чужой и мне противной женщины, даже всякой женщины, не родившей его. Вообще усыновить своего ребенка хочу *я* и имею на это первое и неоспоримое право, от которого не откажусь ни за что, даже ради тебя. Обо всех подробностях я имею полную возможность узнать и когда узнаю — сообщу тебе.

Теп<ерь> скажу тебе, что люблю тебя и желаю тебе столько добра, сколько может желать и друг и жена. Прости всякую резкость моего письма. Если я была резка, то лишь по ошибке: Вера очень больна, и я боюсь тифа, поэтому я не могу хорошо выработать слога. Но я совершенно спокойна душою в отношении к тебе и пишу сознательно и без озлобления. Мне только очень больно, т.к. я сомневаюсь в святости и глубине твоего чувства ко мне, а если оно не глубоко и не свято, то, правда, лучше не говорить больше о любви.

---

Нарочно через ночь отложила письмо и дождалась твоей депеши. Милый друг, повторяю, прости, если что резко, но молчать не могу и высказываю то, что чувствую как бы de vive-voix[4]. Если я не права, не сердись, милый, а объясни мне. Ведь твои поступки налице <так!> и они меня огорожают* и огорчают. Твоя любовь греет меня, мой милый возлюбленный, но любишь ли ты меня так, как я хочу? Отчего ты так нехорошо поступил с моей тайной?

Целую тебя ласково и надеюсь на добрый, дружеский ответ.

Тебя любящая Лидия.

Ребенок будет моим, т.к. я никогда не соглашусь «взять на воспитание» рожденного мною ребенка. Я пишу 4-ое большое письмо Парижское.

[1] Речь идет о п. 117 и ответе на него Зиновьевой-Аннибал (п. 121).

[2] Такова моя манера чувствовать (*фр.*).

[3] Ужасающая близость (*фр.*). Правильно слово пишется: promisquité.

[4] Устно (*фр.*).

## 129. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*18/30 октября 1895. Париж*

Открытка. 30 Окт. 95

Caro amico ti ho pregato di chiedere al Вестник Европы se loro accetteranno la biografia di Mme Viard<ot>, scritta d<a>lla sua allieva sulle <sic!> documenti da lei данные.

---

* Вероятно, здесь описка и следует читать: огорошивают.

Anche ti do l'indirizzo di Mme Alimoff, ch<e> vuole molto vederti. Колокольная 15, кв. 13. Adesso ti dico che aspetto la tua lettera e non ne ho avute da parecchi giorni. Ti ringrazio per il tuo dispac<c>io. Ti voglio bene e penso spesso a te.

Io sto benissimo e sono grassa e bella, mi ho <sic!> fatto un vestito verde scuro, come piace al mio amante dalla quasi <quasi da> prima sarta di Parigi. Sono fina come una ragazza. Viardot era contentissima della mia voce. Domani cambiamo di appartamento. Ci saranno due belle camere per i bambini e dal<l>'altra parte del<l>'entrata la mia tutta separata. La mattina mi alzo presto e voglio scrivere le «Impotenti» per finirle al [nel] giro in <di> due mesi. Voglio lavorare come un negro. Sono tutta energia e vita e sono felicissima. La bambina sta bene oggi. Mi occupo molto di loro. Spero che le 20 fr. ti basteranno per il momento che ti saprò in Berlino, ti manderò 100 L. Poi tu mi dirai quando ne hai bisogno, perchè ora non ho nulla <io> stessa. Ti bacio molte volte. Sono molto interessante <sic!>. Lidia

Открытка.

Перевод:

Дорогой друг,

Я прошу тебя узнать в «Вестнике Европы», примут ли они биографию госпожи Виардо, написанную ее ученицей на основании документов, сю данных[1].

Я также дала тебе адрес госпожи Алымовой, которая очень хочет повидаться с тобой. Колокольная 15, кв. 13. Сейчас говорю тебе, что жду от тебя письма, которых уже много дней не получала. Благодарю тебя за телеграмму. Люблю тебя и часто думаю о тебе.

Чувствую себя отлично[2], я поправилась и красива, сшила себе темно зеленое платье почти как у лучшего портного Парижа, как нравится моему возлюбленному. Я тонка как девочка. Виардо была очень довольна моим голосом. Завтра переедем на другую квартиру. Будут две красивые комнаты для малышей и по другую сторону от входа моя совсем отдельная комната. Утром я встаю рано и хочу писать «Импотенты»[3], чтобы докончить их в течение двух месяцев. Хочу работать как негр. Я вся энергия и жизнь, и я очень счастлива. Девочка сегодня чувствует себя хорошо. Я очень занята ею. Надеюсь, что тебе хватит двадцати франков, сразу как только узнаю, что ты в Берлине, пошлю 100 лир. Тогда ты мне скажешь, когда нужны еще, ибо сейчас у меня самой нет. Целую тебя много раз. Я в очень интересном положении. Лидия

[1] См. п. 122, прим. 5. Ответ на это предложение Иванов передает в п. 132.

[2] Зиновьева-Аннибал была беременна.

[3] О таком произведении Зиновьевой-Аннибал мы не знаем.

## 130. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*20 октября / 1 ноября 1895. Петербург*

*Петербург, 20 Окт. / 1 Нояб.*

Дорогая, милая! Завтра, наконец, я уезжаю. Еду на Москву — как ни тяжело мне это, — чтобы мать не подумала, что я забыл ее и бросил, и не стала бы мучиться еще больше, — потом, чтобы напомнить Саше о себе. — Милая, прости, что так давно не писал; прости тревогу и депеши; объяснения потом, при случае, при свидании. Ты — моя подруга, ты — моя возлюбленная. Ты — все для меня в этом земном мире. Говорю о «земном» мире, противополагая его миру идейному, которому — стремясь и не достигая, падая и опять вставая — по мере сил служу... О Лидия, будем любить, пока любим, и не будем мучить один другого. «Oh, lieb', so lange du lieben kannst!»[1] Демоны, недоброжелательствующие нашей любви, вечно ищут возбудить в нас взаимный гнев, или недоверие, или, что еще хуже, холодное отчуждение; они пользуются для своего дела в особенности порою нашей разлуки, роковыми случайностями и недоразумениями переписки. Я не хочу помогать им, и забываю rancunes[2], и не хочу упрекать тебя за все, что́ заставляло меня, в твоих письмах (до самых последних из них) так жестоко и разнообразно и вместе так незаслуженно страдать. Одно только я нравственно обязан поставить тебе на вид: не упоминай о моей жене вовсе, если не можешь упоминать о ней с уважением. Ее личность для меня святыня, это установлено для меня, не без твоего ведома, раз навсегда: ужели же заботливый и нежный такт любви, ужели деликатный такт дружбы не запретят тебе ставить меня в мучительное положение выбора между верностью своему культу и твоей любовью, высшим для меня благом земного мира?.. Но эти многие слова излишни: я знаю, что ты хорошая и что ты умеешь уважать и понимать меня, Муза Фаульгорн[3], как бы ни свидетельствовала о противоположном грубость твоих раздосадованных выходок... Basta però[4].

Вчера я был в твоем доме, Лидия, и Оли, к сожалению, не застав, хотя ждал ее больше часа и хотя был в то время, когда она обыкновенно возвращается с работы домой. Время провел я в обществе Филиппа[5] и его жены: они — очень развитые и приятные люди. Их новорожденный спал; старшие весьма воспи-

танно играли. Заинтересовал меня Ф<илипп> и своими [механическими] занятиями механикой: он демонстрировал сделанный им с удивительным искусством велосипед, и я от души желал бы, чтобы судьба послала ему те инструменты, о которых платонически вздыхает, довольствуясь необходимейшими, этот ревностный автодидакт и самородный талант. Как приятно было мне говорить о тебе, и слышать их похвалы тебе, и опять видеть твои черты на портрете, где ты снята с детьми и девушками! О, если бы ты так меня любила, как я тебя. Ты, вероятно, не испытала бы такого волнения, как я, если бы говорила обо мне с людьми, меня знающими и любящими, и видела мой портрет, и находилась в моем доме. А я и на дом твой глядел с умилением и любовью, потому что действительно глубоко люблю тебя. Эта любовь, в противоположность твоему чувству ко мне, обливает для меня мир ясным [сиянием] блеском в те минуты, когда мне кажется, что я люблю и любим, и если бы любви этой не было, не было бы мне и света в этом земном мире, кроме того полярного сияния, которое он получал бы, холодное и мистическое, сверху, из мира моих идей. А для тебя любовь — ненужная призма при дневном свете, при котором и без того светло. Впрочем, писать больше некогда. Сегодня — день хлопот, и я боюсь, что не найду уже часочка, чтобы снова совершить отдаленное путешествие на Тверскую, для свидания с твоей Олей... Целую тебя горячо, моя Лидия, моя пантера; обо многом другом поговорю в другом письме. ВИ.

От Яковлева я получил 100 рублей, и едва доберусь теперь до Берлина с наличным содержанием своего кошелька. Пиши теперь в Берлин, poste restante[6]. Твой Вячеслав

Фрагмент — История и поэзия. С. 351.

[1] Люби так долго, как только возможно (*нем.*). Название песни Ф. Листа на слова Ф. Фрейлиграта.

[2] Злопамятности (*фр.*).

[3] Фаульгорн — горная цепь в Швейцарии. Ср. п. 127.

[4] Но хватит (*ит.*).

[5] Один из работников, живших в петербургском доме Зиновьевой-Аннибал и занимавшихся в ее отсутствие хозяйством. См. деловое письмо В. Яковлева к нему (РГБ. Ф. 109. Карт. 40. Ед. хр. 18).

[6] До востребования (*фр.*).

## 131. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*20 октября / 1 ноября 1895. Петербург*

*Петербург, 20 Окт. / 1 Ноября 95.*

Вторично пишу тебе сегодня, моя дорогая!.. По отправлении первого письма, я получил от тебя новый обвинительный акт, резюмирующий и дополняющий прежние[1]. Ты неистощима в полемике, моя неугомонная Ксантиппа![2] После «amen»[3] предыдущего письма[4] ты снова начинаешь свою обличительную проповедь сначала... E sempre bene![5] Скоро ты сделаешь из меня доброго христианина — постоянным упражнением в претерпении обид и несправедливостей. Предупреждаю тебя об этом: многие бесы имели неприятность путем постоянных искушений выработать из обыкновенных людей — праведников, слышишь ли ты это, мой обворожительный бес, мой божественный черт в юбке?.. Милая, милая, какая сварливость! И еще это после того, как твои первоначальные впечатления «озлобленного негодования», как ты выражаешься, «осели»!! Excusez du peu[6]... А в конце — неожиданное прибавление: «Если я не права, не сердись, милый, а объясни мне; ведь твои поступки — налицо, и они меня поражают и огорчают... Целую тебя ласково и надеюсь на добрый дружеский ответ». Это допущение возможности своей неправоты и предложение объяснить ее — благородно и мудро. Возлюбленная Ксантиппа, ты достойна быть женою философа! Выслушай же, что́ скажет в свое оправдание, отирая облитую помоями голову, твой Сократ.

Первый поступок мой, тебя «поражающий» и «огорчающий», — это — мое «раскаяние в любви» к тебе. Насколько правильно приписано мне это раскаяние, ты сама усмотришь из того факта, что несколько раз — и еще не далее как сегодня [утром] — на повторяемый женою вопрос, желал ли бы я, чтобы двух последних лет не существовало в моей жизни, я отвечал одинаковым «нет», прибавляя, что не могу желать, чтобы жизнь моя была лишена того блага, которое представляет для меня моя настоящая любовь. В тот первый вечер в Петербурге, проведенный наедине с женой, когда я рыдал над ней (— и прибавлю, в ответ на твои порицания и насмешки, что эти рыдания для меня священны и что они хороши и чисты, потому что облегчили меня, как молитва, — так же хороши, как те слезы, которые невольно и неожиданно брызнули у меня из глаз при мысли о жене в момент переез-

да через германскую границу, [в Россию] когда я, при виде русской церкви, вдруг припомнил и стал шептать молитву Лермонтова: «окружи счастием душу достойную, дай ей сопутников, полных внимания...»[7]), — в тот вечер, говорю я, я раскаивался не в любви к тебе, а в счастьи, которое я искал и нашел в тебе, — раскаивался в том, что отнял у бедного его овцу — у жены ее единственное счастие, чтобы увеличить свое [счастье] стадо — меру своих наслаждений, — полноту своей жизни. Я раскаивался, но не в том, что полюбил, а в том, что разлюбил. Я раскаивался отвлеченно, без мысли о тебе, без мысли о себе, т.е. о требованиях и законах своей душевной жизни, без мысли о том, что я поступил правильно и не мог оставаться, по глубоким и разнообразным причинам, мужем и отцом в своей прежней семье (что́ составляет для меня ясно сознанное убеждение). Я раскаивался не в [сделанном мною шаге] том, что сделал ложный шаг, а в том, что шаг этот сделан был мною через другого, — раскаивался в вине своей перед altrui[8], перед жертвой своей, перед любимой, обожаемой жертвой, перед жертвой, меня благодетельствовавшей, меня любившей. [И самое слово «раскаяние» едва ли может передать мое тогдашнее состояние, потому что предполагает сознание произвольности совершенного поступка, а во мне всегда живо убеждение в неизбежности того, что мой образ действий был необходим и единственным <1 нрзб> законом моей личности] Именно потому, что любовь твоя — величайшее благо моей личной жизни, я раскаивался в том, что не резигнировался[9], не отказался от этого блага, не размышляя [о том], возможна ли, желательна ли даже была бы такая резигнация. Одним словом, мое раскаяние было не колебанием воли, не шатанием мысли, а трепетом живого сердца, чувством непосредственным и таким, за которое мне не должно стыдиться ни перед судом совести, ни перед лицом моей любви к тебе... Ты подчеркиваешь мои слова в другом письме, — не том, где я пишу о «раскаянии»[10], — что жена моя «более, повидимому, не страдает»[11]. Что из этого, — если она прежде *страдала*? Но и одно отсутствие страдания разве может наполнить пустоту, осветить мрак испорченной, надломленной жизни? Мне жутко видеть, как и почему она так дорожит привязанностью своего верного друга, выйти замуж за которого то решается, то снова колеблется. Она, по ее собственным словам, боится *одиночества*. Измерь всю черную пропасть, которая зияет в этом ужасном слове... Но лучше не будем говорить о жене; я прошу тебя по крайней мере, [ради] во имя уважения, которого имею права от тебя

требовать по отношению к себе и тому, что́ я уважаю, — не говорить со мною об ней.

Далее, ты обвиняешь меня в том, что я выдал жене [твою] тайну твоей беременности. Сообщить ей об этом факте мне пришлось ради выяснения вопроса об усыновлении. Но, помимо этого, [мой взгляд] я вообще не разделяю твоего взгляда на характер упомянутой *тайны*. Ты повторяешь, что это «тайна женская», «святая», «роковая», что ее раскрытие уничтожает для тебя всю поэзию твоей любви, твоего материнства. Эта точка зрения мне кажется странной, и я не нахожу здесь твоей трезвой логичности. Я также, конечно, держу, насколько это возможно, твою беременность в абсолютной тайне, но делаю это, главным образом, из осторожности, затем — из боязни скомпрометировать тебя перед лицом светских предрассудков. Друзьям же и вообще заслуживающим доверия лицам, знающим о наших отношениях, мне бы хотелось, напротив, (хотя я, конечно, этого не делаю) рассказать о моей радости и гордости, как и ты говорила, что не будешь скрывать от друзей, что наш ребенок — твой. Если законная жена французского bourgeois[12] гордится своею беременностью, на которую «имеет право» по закону, — почему же не гордиться нам с тобой нашей радостью и тем, что́ мы признали нашим правом? И «тонко нравственного неприличия» не вижу я в том, что сообщил об этом «именно» своей «бывшей жене»: ибо именно моя бывшая жена отнеслась к этому священному и освящающему всякий половой союз факту с уважением, какое он вызывает в каждом неразвращенном человеке, и именно ей надлежало прежде всего узнать об этом нравственном упрочении и как бы просветлении нашей связи. Она приняла эту весть без всякой тени дурного чувства, наш союз сделался в ее глазах и значительнее и сочувственнее, и [она], говоря о наших отношениях, она уже не находит других слов, кроме советов — быть по отношению к тебе заботливым и дорожить твоею любовью... О, Лидия, ты не смеешь сказать мне, что я профанирую твое святое святых, потому что оно и мое святое святых и потому что я — его жрец и первосвященник.

Что касается третьего обвинения — в том, что я предложил тебе отречься от твоего ребенка в пользу жены, — то оно также не что иное как искажение истины. Никто, как ты знаешь, ревнивее меня не требует от своей жены или любовницы любви к своему дитяти. Мне как ревнивцу в этом отношении даже приятен твой гнев. Но я не думал, что ты придашь такую важность законной формальности. Что это должно больно ранить тебя, я могу впро-

чем представить себе вполне ясно потому, что одна мысль о наименовании будущего нашего ребенка Шварсалоном, не говоря уже о формальном признании твоего мужа его отцом, заставляет кипеть от бешенства всю кровь в моих жилах. И все же формальность — только формальность. От жены наш ребенок не унаследовал бы ненавистного имени; права на него она могла бы и юридически немедленно утратить через назначение опекунов. Между тем факт незаконного рождения, окрещения незаконным, наименование отчеством и, быть может, даже фамилией восприемника и т.д. — все это ляжет неизгладимым пятном на всю жизнь нашего дитяти, — пятном, которое не в состоянии будет смыть и позднейшее усыновление. Ты знаешь, как общество смотрит на детей, родившихся [незакон<но>] вне брака, и как смотрят они сами на себя. [Против непосредственного] Давая место непосредственному чувству матери, должно однако принять в соображение и все будущее ребенка. Вот почему я не побоялся и не боюсь опять [говорить] обсуждать с тобой возможность этой мучительной, хотя и чисто формальной, жертвы. Знай, однако, что я в полной мере уважаю твои чувства и твои права матери, так что, указав на фактические условия и последствия дела, отказываюсь от всякого намерения влиять на твое решение вопроса о том, родиться ли нашему ребенку незаконным — с тем, чтобы быть затем усыновленным кем-либо из нас — или быть записанным законным ребенком меня и жены моей, в каковом случае излишней становится и процедура усыновления, ибо ребенок фиктивно родится до расторжения нашего брака с женой в нашей семье (адвокат наш именно советовал поступить так, назначив при этом опекунов для ребенка, — и высказывал взгляд, что мать последнего могла бы согласиться на это ради его блага). — [Предоставляя] Отдавая себя затем в жертву твоему дальнейшему и, быть может, еще усилившемуся «озлобленному негодованию», остаюсь лучше тебя любящий, чем ты думаешь, и более, чем ты думаешь, нравственно порядочный (хотя и огорчающий тебя своею «нравственною тупостию» и «грубостию»), — твой Вячеслав.

Побывать еще на Тверской сегодня не удалось. Пиши в Берлин poste restante и будь подобрее, дорогая, милая!

[1] Речь идет о п. 128. Далее цитаты из этого письма специально не оговариваются.
[2] Жена Сократа; отличалась вздорностью и сварливостью.
[3] «Аминь» (*лат.*)

[4] См. п. 127.

[5] Ну хорошо! (*um.*). Возможно, отсылка к «Евгению Онегину» (гл. осьмая, XXXV): «...где такие мадригалы / Себе встречал я иногда: / E sempre bene, господа».

[6] Простите! (*фр.*)

[7] Цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Молитва» (1837).

[8] Другими (*um.*).

[9] От *фр.* «(se) résigner» — смириться. И далее «резигнация» — смирение.

[10] См. п. 117.

[11] См. п. 119.

[12] Буржуа (*фр.*).

## 132. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *21 октября / 2 ноября 1895. Петербург*

*Петербург, 21 Окт. / 2 Ноября*

La tua carina letterina italiana, dolce idol mio, mi fece molto felice. Scrivi che sei pure felicissima, e che mi vuoi bene, e che pensi a me (aggiungendo però disgraziatamente «spesso», invece dello sperato «sempre»). Oh, come vorrei vederti cogli occhi miei propri esser «bella», come lo sei sempre, e «grassa», come mai non sei, e pure «fina come una ragazza», ed inoltre vestita in quella famosa roba di colore verde scuro, «come piace al tuo amante» * fatta dalla «quasi prima» sarta di Parigi! Ma, invece dell'ammirar la viva bellezza tua, non posso che contemplar inamoratamente <sic!> il tuo dolcissimo ritratto, il quale, da molto tempo desiderato invano, quest'oggi trovai e pigliai subito dalla tua anima. Porterò dunque da quest'ora meco codesto adoratissimo santuario del mio amore, ovunque andrò; ed in ogni momento, il quale sarà il mio, essendomi solitario, mi guarderanno questi occhi misteriosi ed invitanti, che m'appassionano, mi sorrideranno queste deliziose labbra, che sono le mie e mi renderanno dei silenziosi baci...[1]

Я отложил свой отъезд до завтра, потому что и сегодняшний день оказался полон. Во-первых, я приглашен был сегодня Вл. Соловьевым завтракать с ним. Беседа шла о предметах разнообразных; сообщу вкратце только, что он сказал о моих стихах, которые опять брал к себе для чтения. По его словам, миросозерцание мое еще не окончательно выработалось, находится «im Werden»[2], что́ отражается и в моих произведениях; но хотя в них и не вылилось еще законченное миросозерцание, они должны быть напечатаны все вследствие их внутреннего интереса и формальных достоинств; так, напр<имер>, «Ночь в Пустыне»[3], не-

* Mi piace però come colore piuttosto il verde chiaro[20]. (*Прим. Иванова.*)

удобная для отдельного издания, но долженствующая занять место в сборнике. Я стою часто «на границе символизма», но это не недостаток; к символизму приближаются лучшие поэты, и где он отсутствует вполне, отсутствует, по мнению С<оловьева>, и поэзия. Прочесть хорошо все вещи он не успел. В частности отозвался с похвалой о «Сафо»[4] (собственно, он говорил об ее форме) и о моих новых исправлениях к пьесе «Дни Недели»[5], почему вознамерился последнюю в исправленном виде списать и занести потом тетрадку ко мне. В другой беседе он говорил, что некоторые мои вещи доставляют ему эстетическое наслаждение. Мои стихи — опять предупредил он меня сегодня — отчасти не будут поняты; но об их непонятности для моих будущих читателей он говорит как человек, сам их понимающий, и не делает мне из этого никакого упрека. Так же мало мешают ему мои так называемые «славянизмы», за которые я привык выслушивать брань своих зоилов[6].

По делу о биографии Виардо[7] я решил обратиться к Соловьеву же, предвидя, что к незнакомому посетителю в редакции не отнесутся серьезно. С этой целью я раз специально зашел к нему (это был мой второй ему визит) и услышал от него убежденное заявление, что Стасюлевич не возьмет биографии Виардо, питая к ней чувство как бы враждебное за то, что она недостаточно хорошо относилась к Тургеневу[8]. Я указал ему на то, что, помимо вопроса о симпатичности Виардо как личности, ее жизнеописание объективно интересно как жизнеописание знаменитой артистки, а для русской публики и как жизнеописание женщины, стоявшей близко к Тургеневу, и что данные биографии совершенно аутентичны, потому что основываются на записках и сообщениях самой Виардо. С<оловьев> обещал сказать обо всем этом Стасюлевичу и прийти ко мне для сообщения ответа. В назначенный день он пришел ко мне и сказал, что случилось, как он ожидал: Ст<асюлевич> и слышать ничего не хочет о биографии Виардо, на которую злобится за Тургенева, а на указание относительно объективного интереса биографии отвечал, что неизвестно еще, будет ли в ней достаточно выступать личность Тургенева. «Сев<ерный> Вестник» будет, по словам Вл. Сол<овьева>, рад поместить у себя биографию; но если автор ее ищет заработать деньги, то пусть обратится лучше в другой журнал (он указал как на особенно удобный на «Русское Обозрение» — предполагая, что направление журнала

для автора безразлично[9]), — п<отому> ч<то> на гонорар «Сев<ерного> Вест<ника>» нельзя рассчитывать[10]. —

Софья Ильинишна[11] очень радушно приняла меня, показала купленные ею за границей виды и пр., а также портрет Конст<антина> Семеновича[12], сидящего за письменным столом в шляпе, пальто и пледе (он имеет, на мой взгляд, на этом портрете выражение лица крайне отталкивающее), а также портрет Четверухиной, которая мне очень понравилась, и твой девический портрет, на котором я, рассматривая его со странным, смешанным чувством волнения, нежности, удивления, ревности, близости и далекости, — узнал и твои глаза, и твои губы, и печать твоего стремительного и рвущегося вперед характера, узнал тебя, мою любовь, и вместе не узнал тебя в этой далекой и чуждой мне Вере...[13] Но как бы желал я иметь этот твой девичий портрет, а Софья Ильинишна, неумолимая, не даст... Зато я конфисковал у нее тебя настоящую, тебя — мою всецело... правда, Лидия? всецело? —

Опять был на Тверской, в твоем милом доме, и видел твою милую Олю[14]. Кланяются тебе и она, и Филипп с женой[15]. Все ждут, когда ты приедешь, и не верят, что летом, как ты обещала. По лицу и голосу Оли я вижу, что она действительно скучает по тебе и что мысль о неопределенности [времени] срока твоего возврата ее сильно огорчает. —

Сегодня утром я нашел в «Сев<ерном> Вестн<ике>» прекрасное стихотворение Минского «Волна»[16] и [читая его] по мере того, как его читал, чувствовал, что волнение мое растет и растет, до того, что при последних строках я [чувствовал] ощутил себя совершенно потрясенным. Тайна действия этих стихов на меня — то, что в них вырисовывается передо мной твой возлюбленный образ — с той стороны его, которая так пленяет, и чарует, и мучит меня.

*Волна.*
Нежно-бесстрастная,
Нежно-холодная,
Вечно подвластная,
Вечно свободная.
К берегу льнущая,
Томно-ревнивая, —
В море бегущая,
Вольнолюбивая.
В бездне рожденная,

Смертью грозящая, —
В небо влюбленная,
Тайной манящая.
Лживая, ясная,
Звучно-печальная,
Чуждо-прекрасная,
Близкая, дальная...

---

Слава Богу, что Верушке лучше. Весть об ее серьезной болезни испугала меня, и я отметил себе этот даже немного удививший меня испуг. Поцелуй милую девочку.

Будь счастлива, пой и обо мне думай... più spesso[17]...

Когда же я тебя увижу, дорогая, милая?

Твой В.

*22 Окт. / 3 Нояб.*

Петербург нравится мне. Из всех русских городов я выбрал бы, для долгого пребывания, его. Из [евро<пейских>] заграничных городов с ним можно сравнить, по-моему, больше всего Лондон, представив себе последний в уменьшенной пропорции. Вид на Неву меня восхищает своим величием. Гревс показывал мне Эрмитаж. При всем этом половина очарования Петербурга для меня заключается в мысли о том, что это твой город. Тебя я представляю мысленно здесь всюду, и ты все освещаешь для меня... Baci[18]. Распредели их в воображении, как это сделал бы я, если бы был с тобою, когда будешь раздеваться. И —

wenn du eine Rose schaust
Sag', ich lass sie grüssen...[19]

Уезжаю сегодня в 3 часа в Москву, где, если можно будет, пробуду лишь один или два дня. Ряд дней буду лишен твоих писем, до самого Берлина. —

[17] Твоя милая итальянская открытка, мой дорогой идол, очень меня обрадовала. Ты пишешь, что ты все же очень счастлива, и что любишь меня, и что думаешь обо мне (добавляя, однако, к сожалению, «часто» вместо желаемого «всегда»). О, как бы мне хотелось своими собственными глазами увидеть тебя «красивую», какой ты бываешь всегда, и «толстую», какой никогда не бываешь, и также такую, «как девочка», и кроме того в твоем знаменитом платье темно-зеленого цвета, «как нравится твоему возлюбленному» и сшитом «почти лучшей» портнихой Парижа! Но вместо

любования твоей живой красотой я вынужден лишь влюбленно созерцать твой дражайший портрет, так долго и тщетно желаемый, тот, что я нашел сегодня и в котором тотчас поймал твою душу. С этой минуты я буду всюду носить с собой этот тайник моей любви, так обожаемый мною; и каждое мгновение, мое и только мое, будут смотреть на меня эти загадочные и манящие глаза, внушающие страсть, будут улыбаться мне эти прелестные губы, посылающие мне тихие поцелуи и мои... (*ит.*)

[2] В становлении (*нем.*).

[3] Стихотворение, впоследствии вошедшее в «Кормчие звезды» (I, 527—534).

[4] Стихотворение Иванова (I, 582—583). В «Кормчих звездах» стихотворение имеет посвящение «В.С.С.». Нетрудно догадаться, что интересовало Соловьева в форме данного стихотворения. «Сафо» написано сафической строфой — редкий пример применения этого античного размера в русской лирике.

[5] Стихотворение, включенное в «Кормчие звезды» (I, 577—579), которое особенно нравилось Вл. Соловьеву. В письме от 2 июня 1895 Д.М. Иванова писала о реакции старшего поэта: «Мне нравится очень, напр<имер>, — "Много в мире звуков" (и он продекламир<овал> все). Это можно бы поместить в журнале, или "Дни недели", или "Стою один в готич<еском> соборе"» (РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 30. Л. 10 об.); «Я вчера читал стихи двоим знакомым (кажется, вы этого мне при случае, если они понравятся, не запрещали делать) и одному они совсем не понравились — он вообще не терпит стихов, другому же ужасно понравились "Дни недели"» (Там же. Л. 11); «Если желаете, некот<орые> можно поместить в журналах, я их отметил крестами. (Придя домой, я нашла крест у след<ующих> вещей: "В готич<еском> соборе", "Дни недели", "Предчувствие счастия", "Minnesang", "В тишине среди веянья грез", дальше нет нигде никаких отметок)» (Там же. Л. 11 об.).

[6] Зоил — греческий оратор, философ и литературный критик IV — III вв. до н.э., известный своими насмешками и издевательствами над Гомером; имя его впоследствии приобрело нарицательный характер.

[7] См. пп. 125, 129.

[8] П. Виардо и И.С. Тургенев долгие годы были связаны близкими отношениями.

[9] Имеется в виду, что журналы «Северный вестник» и «Русское обозрение» во второй половине 1890-х годов были практически противоположны по своему идеологическому и эстетическому направлению.

[10] О денежных трудностях журнала «Северный вестник» см.: *Евгеньев-Максимов В., Максимов Д.* Из прошлого русской журналистики: Статьи и материалы. [Л., 1930]. С. 95, 108—110; *Гречишкин С.С.* Архив Л.Я. Гуревич // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 17—19. О сотрудничестве Соловьева с журналом см.: *Иванова Е.В.* «Северный вестник» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века 1890—1904: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982. С. 104—105.

[11] С.И. Алымова.

[12] Подразумевается К.С. Шварсалон, первый муж Зиновьевой-Аннибал.

[13] Имя Вера было символическим для Зиновьевой-Аннибал, его часто носят героини ее прозы, обладающие автобиографическими чертами. См. также в дневнике Л.Д. (1894, «Интермедия»): «Я — Вера. Вера моего романа, о которой он читает мне по вечерам и которую он любит. Но та Вера была девочка, в ней еле заметно зачинались задатки той бесконечной разносторонней жизни, которою живет Вера теперь».

[14] О.Ф. Никитину.

[15] См. п. 130, прим. 5.

[16] Северный вестник. 1895. № 10. С. 214 (в составе цикла «Сердечные мотивы»).
[17] Чаще (*ит.*).
[18] Целую (*ит.*).
[19] Цитата из стихотворения Г. Гейне «Весеннее послание» («Frühlingsbotschaft») из книги «Опять на родине». В пер. А.А. Блока: «Если розу встретишь ты — / Ей привет мой скромный». Было неоднократно положено на музыку, в том числе Ф. Мендельсоном и Э. Григом.
[20] Но мне скорее нравится светло-зеленый цвет (*ит.*).

## 133. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*22 октября / 3 ноября 1895. Париж*

*3 Ноября.*

Милый друг, пишу тебе по делу, но раньше скажу, что думаю о твоем поведении. Вот уже 8 дней, что я не имею письма. Если ты считаешь себя связанным со мною любовью, то это молчание — бессмысленная «сцена». Если ты перешел на дружбу — большая неучтивость. Что касается меня, то мое чувство и настроение тебе известны. Прибавлю только, что могу и желаю продолжать с тобою связь любви только с условием прекращения с твоей стороны всякой экспансивности и откровенности с твоей бывшей женою в тех вопросах, где малейшим образом замешано мое имя. Прошу тебя, если твой адвокат хорош, дать мне его адрес, приемные часы, условия вашего развода. Я хочу направить к нему Г.Т.[1], прошу не сообщать моего намерения Д.М. Надеюсь, что завтра получу письмо хоть из учтивости в ответ на мою депешу.

Л.З.

Закрытка в Петербург до востребования, оттуда переадресована в Берлин. Штемпели: Paris. 3 nov. 95 — С.Петербург. 26.X.95 — Berlin. 9. 11. 95.
[1] Очевидно, В.Э. Гаген-Торна (см. о нем п. 178, прим. 7).

## 134. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*23 октября / 4 ноября 1895. Париж*

*4 Ноября 95 г.*

Дорогой Вячеслав! наконец получила твое письмо[1] после 9-ти дней ожидания. Хорошо, что я стала такою спокойной, да и ты приучил меня ко всяким неожиданностям, поэтому в таких

случаях: je laisse faire[2]. Вчера я послала в Петербург письмецо[3], прося адрес, условия и приемные часы адвоката твоей бывшей жены (En parenthèses[4], когда ты перестанешь величать невесту г-на Крашенинникова свой женой? Мне надоело твое двоеженство и прошу мне ее называть по ее имени). При этом случае я просила тебя не сообщать Д.М. о целях моих пользоваться услугами ее адвоката и вообще говорила, что условие нашей любви для меня безусловно в том, чтобы ты своей «богине» не сообщал ничего, касающегося своей бедной возлюбленной, и когда на тебя вновь найдет по отношению к Mme Крашенинниковой порыв экспансивности, не впутывать мое имя в свои излияния. А вне этого условия можешь обожать и молиться кому угодно, хоть серой курице или красной отъевшейся коровке! В религиозные мнения твои я не врываюсь и признаю, что религиозные кумиры и идеалы бывают разные. Вольному воля! Пришлю тебе когда-нибудь как сладкий дар идола твоей богини, дородной Юноны и с нею ее супруга, недоросщего до Олимпа Юпитера. Столько о Юноне на нашесте.

Ей-Богу, в последний раз качаю чашки весов с культом «небесным» и любовью «земною». А ведь превесело качнуть их, ах, которая перетянет, ах, небесная, увы, я умираю. Курица и пантера повешены на весах! слишком ясно, кто перетянет, поэтому я сплю спокойно. (En parenthèses: fais la sourde oreil<le>, mon amant[5], на все мои глупости). Ей-Богу, не могу. Что же делать, когда мне смешно. Вся шекспирщина Крашенинниковская мне уморительна, и я тотчас забываю все горести жизни и всё трагическое вижу с комической его стороны, лишь только вспомню о Юноне, курице, Юпитере, Шекспире, мальчиках, рыданиях, фимиамах, коровушках и, в золотой короне надо всем — дебелая женская фигура, расплывшаяся во все стороны, и у ее плеча, т.е. под ее плечем плюгавенький мушина с толстой губой и слезящимися глазками; подписано: «трагедия». Ça me donne de la bonne humeur malgré moi[6]! Что делать: «о женщина, сказал Шекспир»[7]. Если ты рассердишься, то я сожгу все твои стихи, которые хранятся у меня и кот<орые> я перечитывала, а потом выдеру тебе твой отвратительный рыжий «клок»[8] и больше никогда не скажу, что ты похож на льва, что ты формалист и никогда более n'importe qui не пойдет n'importe où[9]. И соловей не споет трели розе. Зато я буду иметь счастие увидеть «мистическое северное сияние» и сравнить его с «призмой среди яркого дня»[10].

Когда-нибудь, так дней через 9, напишу еще и потолковее, а теперь скажу тебе que j'ai reçu благосклонно vos hommages[11] и нахожу, что твой немец отлично сказал: o lieb....* и т.д. Ich liebe dich[12], несмотря на все твои преступления, а о преимуществах ясного дня перед северным сиянием можно поспорить. Во всяком случае надеюсь, что es wird dir nicht so viel Zeit nehmen[13] еще раз придумать какую-нибудь призму или сияние, а то лучше не выдумывай их, будь менее красноречив, но пиши чаще своей бедненькой Венере.

Милый Вячеслав, мой дорогой друг! приветствую тебя любовно на почве милого тебе *и мне* Берлина. Умоляю твоего гения науки, которому теперь в своей душе построила алтарь (видишь, я не поклоняюсь петуху) и молю его ежедневно за тебя более чем за себя. Молю, чтобы он te fasse arriver. Arriver[14] в лучшем, высшем, благороднейшем смысле (далеко от идеалов мужа твоей богини). Дойти, дорваться до вершин, как гордому, смелому орлу, парящему над пропастями все выше и выше к сияющим высотам. Для этого, ради тебя, я дала бы свое счастие и свою жизнь. Теперь, мой возлюбленный, ты будешь работать и рваться ввысь! Какое счастие. Конечно, надо бросить мелочные ссоры, но позволь мне не бросать смеха своего, ты не раз смеялся вместе со мною, мой гадкий. Я также собираюсь совершать великие подвиги, когда рожу твоего мальчишку. Ах, несносный мальчишка! Я могла бы петь несколько раз на громадном сборище людей в сапогах, куда сведет меня Ал. Вас.[15], и она советует мне шить светлый лиф, но если вечера будут позже Ноября — мальчишка не даст. Ну что же делать — или быть гением или делать гениев. Моя судьба такова. Смотри, будь этичен, мой формалист! А то я повешусь на дверях моего врага! Милый, я за последнее время почему-то все вспоминала давнишние времена нашей любви. В нашей кухоньке очень интересная плита, и я часто сама хлопочу в ней и вспоминаю Булонь. Помнишь, как я сварила сосиски и спрятала их на «святой горе», куда разгневанные плебеи ушли от патрициев. Но при первой просьбе патрициев плебеи вернулись в Рим, а в Риме было так просторно и тепло и так сладко жилось под венком из плюща. Все собираюсь в Булонь за моею ванною, в которой мылся «Володя»[16] и из которой он варил кофе под пристальным <?>

---

* Отточие Зиновьевой-Аннибал.

присмотром своего друга. Помнишь Володину возлюбленную, сжегшую его штаны? Потом я вспоминала Флоренцию до Рима и во время Рима, когда на твоей квартире было так пусто. А теперь у меня тоже хорошо. Я перебралась во второй этаж. У нас три комнаты, залитые солнцем. От передней направо гостиная, в которой есть глубокий альков с дверями. В алькове стоит кровать, подаренная мне Анютой и Дуней, т.к. на диване было плохо. Комната вышла очень уютная. Я себе купила большой простой стол для письма и покрыла его и маленький двумя итальянскими оческовыми одеялами. Рояль, мои флорент<ийские> фотографии, на полу ковер — всё это делает мою комнату очень уютною. Налево от передней столовая, а дальше детская, в которой есть каморка для кукол, там на стене повешана <так!> фотография «Лаокоона»[17], который Сережа обожает, в этом уголке все очень мило и изящно устроено и старшие играют там так хорошо. Я детей устроила отлично. Вера ходит к монашкам с 9—12 и с 2—4. Она играет в саду, поет, рисует, шьет. Сергей ходит к одной барышне, у которой еще 2 мальчика. Он всего от 9—11 и от 2—4. Он пишет, читает, знакомится с картой и слушает анекдоты из свящ<енной> и древней истории. В 12 мы обедаем в нашей светлой, чистенькой столовой. В 4 дети идут гулять в Bois до 6. В 6 ужин, а затем до 8 ½ я посвящаю себя старшим. Я прохожу с ними начальные понятия теории музыки и пою solfège[18]. А раз в неделю они ходят на курсы музыки для маленьких. Кроме того играем в общественную игру. По воскресениям и четвергам нет школы, и тогда Сергей почти весь день в моей комнате. Он очень красиво рисует красками и нарисовал из головы вид моря совершенно поразительный по своей идее. Мы пишем по-русски, читаем чуть, чуть. Тверже чем когда-либо решила не брать никакой гувернантки, чтобы между мною и детьми не было чужого человека и вся душа их была бы мне открыта. Я встаю рано, раньше семи, и пишу пока еще письма, а завтра начну «impotenti»[19]. Утром или урок или долго пение. Потом или дело какое-нибудь, или лекции по истории музыки, или урок теории. Дружба с Ал. Вас. крепка. Я слышала через Дуню, что она говорила Гревсовской жене, что любит меня так, что всё бы сделала для меня, и если бы мне пона<до>билось, она, хоть и больная, побежала бы ко мне! Кстати, *скажи скорее* <подчеркнуто дважды>: что случилось с Ив. Мих. на границе и какова судьба «записки», кот<орую> он вез[20].

Милый Вячеслав, я очень счастлива в своей семейке. Если бы ты видел, как у нас уютно, и любовно, и тепло. Я обожаю свое гнездышко и вижу в нем целый мир поэзии. Анюта на днях, плача, сказала, что ни за что не позволит мне отдать на воспитание «мальчика», она хочет взять его и поселиться с ним отдельно и растить его или искусственно или с кормилицей до года, когда я могу его взять. В Апреле думаю на несколько недель поехать одна в Россию. Но будущее еще смутно, а пока целую тебя крепко и обнимаю, как люблю, моего дорогого, милого, близкого и родного мне Вячеславу <так!>.

Твоя вся Лидия.

Милый, целую еще и еще. Спасибо за твою любовь, мой возлюбленный-эскимос (сев<ерное> сияние)

9 утр<а>. Целую милого, дорогого моего Вячеславика.

Твоя вся.

Бегу на урок в новом зел<еном> платье.

Конверт, адресованный в Берлин до востребования. Штемпели: Paris. 5 nov. 95 — Berlin. 7.11.95.

[1] Имеется в виду п. 130.

[2] Позволяю себе махнуть рукой (*фр.*).

[3] П. 133.

[4] В скобках (*фр.*).

[5] В скобках: притворись глухим, мой возлюбленный (*фр.*).

[6] Это приводит меня в хорошее настроение, несмотря ни на что! (*фр.*)

[7] По всей видимости, немного неточная цитата из рассказа А.П. Чехова «Светлая личность (Рассказ "идеалиста")» (1886), где заключительная фраза: «"О, женщины, женщины!" — сказал Шекспир, и для меня теперь понятно состояние его души...» (*Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1976. Т. 5. С. 311).

[8] Речь идет о волосах Иванова.

[9] Неважно кто... неважно куда (*фр.*).

[10] Отсылка к тексту п. 130.

[11] Что я получила... ваши похвалы (*фр.*).

[12] Я тебя люблю (*нем.*).

[13] Это возьмет у тебя не так много времени.

[14] Заставил тебя дойти. Дойти (*фр.*).

[15] А.В. Гольштейн.

[16] Видимо, имя, под которым Л.Д. навещала Иванова во время парижского пребывания 1895 года (см. п. 152).

[17] Знаменитая древнегреческая скульптура (хранится в Ватиканском музее).

[18] Сольфеджио (*фр.*).

[19] «Импотенты» (*ит.*). Неизвестное нам (скорее всего, даже не начатое) произведение Зиновьевой-Аннибал (см. также п. 129).

[20] См. п. 137.

## 135. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*23 октября / 4 ноября 1895. Москва*

*Москва, 23 Окт. / 4 Ноября 95*

Милая возлюбленная! Вот я и в Москве; завтра вечером уезжаю за границу. От матери оказалось возможным скрыть еще положение дел: это было необходимо как для ее спокойствия, так и для тайны наших отношений. Она о многом догадывается, но не проникает всего вполне, и я мог ответить умолчаниями или уклончивостью на большую часть ее косвенно выраженных недоумений. Моя бедная старуха кажется теперь очень успокоенною и утешенною. Прежде я очень стоял (не стесняя, впрочем, ни в чем [конечно ее] свободы) за ее сожительство с Анной Тимофеевной[1]; теперь же, ссылаясь на ее недовольство многим в этой совместной жизни и на столкновения с Анной Тимофеевной, я предложил ей поступить, как она найдет лучшим, гарантируя ей, по ее отделении, как постоянную денежную помощь в размере приблизительно моей месячной платы за ее содержание в доме моей тещи, так и внимательное отношение к ней, посещения, уход в случае болезни и т.д. со стороны последней (на что́ я, конечно, был уполномочен самой Анной Тимофеевной). Я предложил ей далее [остаться] воспользоваться моим настоящим пребыванием в Москве, которое я мог бы в случае нужды продолжить, — чтобы устроиться с моею личною помощью по-новому и на новом месте. Последнее предложение мать моя решительно отклонила, относительно же отделения от своей сожительницы высказалась в том смысле, что если оно представится ей в известный момент более удобным, чем продолжение сожительства, она на него решится, а покамест предпочитает сохранить прежний режим, с которым теперь особенно охотно мирится благодаря присутствию Саши[2]. Конечно, я предоставил такой выбор матери только по совещании с тещей, — с которой имел сегодня романтическое rendez-vous в cabinet particulier[3] у Тестова[4]! (Ревнуй!). — Она сочла нужным благодарить меня за мое теперешнее отношение к «Дашеньке»[5], советовала держать все происшедшее в тайне от моей матери, предлагала — выражаясь дипломатически — сохранение status quo своих отношений к последней до лета, когда совершится развод и выяснится вопрос о помещении Саши в учебное заведение (ей обещали стипендию в гимназии Фишер[6]). К тому времени А. Т. думает, распродав лишнюю мебель, подыс-

кать три отдельные комнаты в подходящем семействе и, прекратив ведение собственного хозяйства, которое тяготит ее своей дороговизной, поселиться в них со старою нянькой жены и поселить мою мать, которая, таким образом, хотя бы на первое время по своем отделении, не будет лишена дружеской близости. Вопрос таким образом покамест более или менее регулирован; мое желание было, с одной стороны, создать по возможности постепенный переход к новому порядку вещей, с другой — сохранить для моей матери по возможности надолго, при замене сожительства соседством, дружественную близость и помощь Анны Тимофеевны. Во всяком случае, моя мать успокоена и ободрена моей заботливостью и нежностью, которые благотворно на нее действуют после тяжелых впечатлений, вынесенных ею от последних свиданий с женой, бывшею в то время и холодной, по-видимому, к старухе, и в особенности очень нервной.

Еду с таким малым количеством денег, которое едва хватит на дорогу (100 рублей Яковлева тотчас сильно растаяли благодаря уплате долга в 25 рублей Гревсу). В Берлине же сразу потребуются большие издержки: нужно будет послать денег в Москву за мать и внести половину промоционной суммы. Предупреждаю поэтому о предстоящем большом парижском займе на открываемую мною войну.

Извини пьяный почерк письма: пишу тебе в постели. Прими в расчет вчерашнюю бессонную ночь в вагоне и убедись в моем страстном желании с тобою беседовать, хотя письменно. Портрет твой путешествует со мною, и твои глаза —

...мне улыбаются —
и звуки слышу я[7] —

Ах, нет, Лидия! Я буду откровенен: глаза твои улыбаются, но *звуков я не слышу...*

Моя Саша на этот раз [мне] понравилась моему критическому взгляду, и я почувствовал при свидании с ней, — что́ чувствую уже давно, при размышлениях об ее участи, — что я ее очень люблю. Она теперь, правдиво говоря, мила, и не ломается, как во Флоренции, и кажется умненькой.

Как здоровье твое и Веры и всяких мальчиков?

Целую тебя, mia voluttà, mio amore![8] Целую мысленно в своей одинокой постели.

Твой В.[9]

Эти каракули, вероятно, труднее было бы дешифрировать твоему отцу, чем то злополучное и, кажется, увы, очень разборчиво написанное послание, без сомнения прочтенное старым дипломатом, столь интересующимся тем, кто 6-го Октября тихо запер [в Петербурге] двери своей комнаты и один, без гостей, пил за здравие Мери...Милой Мери своей... этой маленькой пери...[10]

Конверт со штемпелями: Москва. 25.X.1895 — Paris. 10 nov. 95.

[1] Мать Иванова последние месяцы жизни жила с матерью Д.М. Ивановой, А.Т. Дмитревской (ум. 1909). Ее письма к Иванову (в том числе о смерти и похоронах матери) — РГБ. Ф. 109. Карт. 17. Ед. хр. 66. Черновики ответных писем — РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 29.

[2] Имеется в виду дочь Иванова Александра Вячеславовна (1887—1920)

[3] Свидание в отдельном кабинете (*фр.*).

[4] Известный московский трактир в Охотном ряду.

[5] Первая жена Иванова, Дарья Михайловна Дмитревская.

[6] Основанная в 1872 г. в Москве московская женская классическая гимназия.

[7] Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Ночь» (1823).

[8] Мое наслаждение, моя любовь (*ит.*).

[9] Приписка Иванова справа и затем сверху и слева от текста письма.

[10] Конец приписки отсылает к стихотворению А.С. Пушкина «Из Barry Cornwall» (1830):

Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей.
Тихо запер я двери
И один без гостей
Пью за здравие Мери.

Можно краше быть Мери,
Милой Мери моей,
Этой маленькой пэри...

## 136. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*25 октября / 6 ноября 1895. Смоленск*

*Смоленск. 6 Ноября / 25 Окт.*

Avendo qualche mezz<'>oretta da aspettar il treno, non posso più degnamente approfit<t>armene che mandandoti qualche bacino per posta, mia dolce voluttà, mio amore, per esprimere il sentimento di gioia che mi riempisce pensando <di> allontanarmi sempre più dalla regione della mia barbarie nativa verso la vicinanza tua. Sento molta energia, la quale mi accresce colla speranza di rivederti fra qualche tempo e di esser felice di nuovo presso di te. V.

Закрытка. Штемпели: Смоленск. 25.X.1895 — Paris. 29 nov. 95.

Перевод:
Имея несколько получасиков в ожидании поезда, не могу более достойно воспользоваться ими, чем послать тебе несколько поцелуйчиков по почте, моя сладкая страсть, моя любовь, чтобы выразить чувство радости, которое меня наполняет, когда я думаю о том, как я удаляюсь все дальше от родного варварства к твоей близости. Чувствую много энергии, возрастающей с надеждой увидеть тебя опять через некоторое время и вновь быть счастливым рядом с тобой. В.

## 137. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*28—29 октября / 9—10 ноября 1895. Берлин*

*Берлин, 9 Ноября 95.*

Дорогая возлюбленная! Вчера, на рассвете, прибыл я наконец в Берлин и, по обычаю, тотчас же очутился под гостеприимным кровом этической Калипсó[1]. Вчера нашел я на почте и твое дорогое «sois bienvenu»[2] — ein tolles, übermütiges Epistelchen[3], — лирическое и дурачливое, нежное и колкое, ласковое и злобное, вдохновляющее и дразнящее... Но писать тебе не хотел, прежде чем не увижусь с Гиршфельдом[4] и не открою таким образом компании <так!>. И вот, сегодня я перешел Рубикон — порог знакомого кабинета... «Endlich»[5]!.... Гиршфельд получил, еще в Августе, письмо на мое имя и теперь долго отыскивал его; оно оказалось от Виноградова из Скандинавии[6]. Мой Meister[7] не изменился ни в обращении, ни наружностию; только седина гуще легла на черные волосы. Он нашел, что я «sehe wohl aus»[8]. Деловитость и сдержанность не допустили его до подробных расспросов о том, как я провел эти годы, — и я был этому рад; он ограничился вопросом, «ob es mir gut gegangen»[9]. Я объяснил ему, что приступаю теперь к давно отлагаемой «промоции». — «Jetzt wird's Ernst»[10], замечает Meister, и мы рассматриваем диссертацию. Он очень доволен моим планом сделать таковою только три или четыре главы всей работы, состоящей из двенадцати глав, но подать в факультет [всю] рукопись целиком для ознакомления со связью и результатами всего исследования... Затем он устрашает меня! Он непременно хочет, чтобы я заявил декану о своем желании иметь не его, Гиршфельда, а Моммзена главным рецензентом — своей работы, так, чтобы Гиршфельду было поручено составление только второй, дополнительной рецензии (Correferat). Его доводы: 1) черед за Моммзеном: предыдущая работа была рецензирована

Гиршфельдом; 2) полуфилологический, полуюридический характер моей работы и вообще ее предмет, более входящий в круг занятий Моммзена, нежели Гиршфельда; 3) мое прежнее участие в семинарии Моммзена. Я не прочь оказать всякое почтение dem alten Herrn[11], но не хочу для этого жертвовать своими интересами. Обращаю внимание Meister'а на то, что в Моммзене я наверное встречу большую оппозицию своим теориям, о чем заключаю из разговора с ним в Риме. Гиршфельд убеждает меня, что разница воззрений нисколько не вредит делу, что он с своей стороны будет также официально рецензировать работу, — и безусловно стоит на своем требовании. Я подчиняюсь, и мы решаем, что я немедленно же побываю у Моммзена. [В случае его] «Быть может, он сам отклонит предложение реферировать о вашей диссертации», — утешает Meister. И прибавляет: «обыкновенно главный референт является и экзаменатором». «Но я вам откровенно говорю, что боюсь экзаменоваться у Моммзена». — «О, это ничего не значит. Он будет спрашивать вас главным образом по древностям». — «Но он имеет обыкновение предполагать, что каждое примечание его 5-томного "Staatsrecht"'а[12] хорошо известно каждому, кто имеет с ним дело». — «Каждое примечание? О, нет. Но "Staatsrecht" вы и без того должны хорошо проштудировать...» И опять малосбыточное утешение: Моммзен уезжает из Берлина в Феврале, и тогда волей-неволей экзаменовать меня придется Гиршфельду. — Звонюсь в вилле Моммзена, стучусь у двери его кабинета, вижу среди шкапов с книгами den alten Herrn с седыми локонами и в сером халате. Излагаю ему, скрепя сердце, свое желание иметь его рецензентом своей работы: увы, он и не думает ссылаться на недостаток времени и слагать скучную повинность на плечи младшего коллеги; он говорит только, с иронической миной старой лисы, что не от него зависит принять на себя рецензию, а от решения декана, — как прикажет spectatissimus[13], так он и сделает. Смотрит работу, одобряет план ограничения диссертации несколькими главами, внушает, что это должно оговорить в латинском прошении, подаваемом декану, и ласково (без той сухости, как в Риме) со мной расстается... Вывод: мне предстоит сделать выбор глав, намеченных для отдельного отпечатания с официальной обложкой в виде диссертации, имматрикулироваться[14], просмотреть всю работу и официально вручить ее вместе с латинским прошением и жизнеописанием и суммой, кажется, в 170 — 180 марок, декану философского факультета.

Рассмотрение моей диссертации продолжится до Января или долее; я, с своей стороны, *не* хочу экзаменоваться *раньше* Февраля. Гиршфельд, на вопрос мой, необходимо ли по закону и если нет, то желательно ли для выяснения [каких-нибудь] возможных недоумений при чтении моей работы присутствие мое в Берлине, ответил дважды отрицательно и спросил, не в Россию ли я хочу тем временем съездить, на что я возразил: «нет, в Париж, где у меня есть друзья и где я могу спокойно готовиться к экзамену». — Итак, извести меня, рада ли ты будешь скорому моему приезду (так, недели через две) и удобно ли тебе, по разным соображениям, чтобы я приехал, а также ожидаешь ли ты прибытия отца и матери, и как нам вообще лучше устроиться на [эти] зимние месяцы, и не предпочитаешь ли ты приехать сюда сама, или же предпочитаешь, например, вовсе со мной в ближайшем времени не видеться. С тобой нужно быть готовым на всякие неожиданности (скажу я искренне о тебе то, что ты говоришь обо мне). Я же только и думаю что́ о свидании с тобой и желаю тебя со всею жаждою и мукою страсти, со всею Sehnsucht[15] нежной привязанности... Милая, милая, неужели я так скоро снова тебя увижу? Я боюсь этому верить, и жду всяких препятствий, я жду твоего запрета... И как мы будем жить? Лидия, ты будешь жить со мною, мы будем спать вместе, Лидия, не правда ли? Пусть не приезжают твои отец и мать, или скажи им, что ты моя жена, и будем жить вместе... Ведь ты любишь меня, Лидия?..

С Иваном Михайловичем вот что случилось на границе[16]. Жандармский офицер объявил ему, что имеет поручение его обыскать; его увели в комнату офицера и попросили раздеться. Во время раздевания он — находчиво и ловко — спрятал письмо, за которое боялся, под подушку стоявшей тут же постели, воспользовавшись тем, что жандарм от него отвернулся; а по окончании обыска так же незаметно взял из-под подушки письмо и унес с собой. В Петербурге он устно пожаловался на происшедшее попечителю учебного округа, Капустину[17]; последний посоветовал не начинать дела и не поднимать шума, и кажется, что И.М. решился последовать этому совету.

Поклон от меня Александре Васильевне[18]. Передай также привет девушкам.

Благодарю тебя за присылку ста франков; но без внесения выше означенной суммы не могу передать декану диссертации, и потому принужден опять хлопотать у тебя о кредите. Должно будет в скором времени послать денег в Москву. Кроме того, думаю

купить «Staatsrecht» — так меня напугал Гиршфельд, — как ни велика эта затрата (около 60 марок) — и несколько других книг.

Если приеду и не увижу у тебя нашего Колизея, мне будет очень горько.

А носишь ли ты мое кольцо?

Твой В.

Как изменяется все на свете! Прежде ты с негодованием отвергала мысль о первом воспитании нашего ребенка на стороне, а теперь Анюта тебя должна от этого отговаривать!

*10 Ноября*

Был сегодня вторично у Гиршфельда, чтобы сообщить о результате свидания с Моммзеном и переговорить о выборе глав. «Das heisst auf Deutsch dass er das Referat übernimmt»[19], — говорит, улыбаясь, Meister. «Er ist ja activ»[20] — мне это плохое утешение; — «es wäre kein richtiges Verhältniß, wenn ich es übernähme...»[21] Это делает честь пиетету Meister'a по отношению к Altmeister'y[22], — но за что я должен чрез это страдать?.. Потом следовала долгая дискуссия о моих теориях, и Meister старался меня опровергнуть, но, по-видимому, был в конце концов более или менее примирен с моими ересями силою моих аргументов. Я решил рискнуть и представить на суд моих критиков самые еретические главы как наиболее характеристичные для работы, а также и наиболее удобные по внешним причинам для отдельного издания. Далее Meister взял на себя труд убеждать меня не ездить в Париж. «Das ist sehr unpraktisch; Paris ist kein rechter Boden dafür, es ist abscheulich, auf den Pariser Bibliotheken zu arbeiten, Sie müßen sich hier niederlaßen und sich konzentrieren und hier Fühlung haben. Paris ist zerstreuend»[23] и т.д. и т.д. [В конце] Я ему сказал, что имею в Париже друзей, с которыми хочу жить и спокойно работать. Заключил Meister, что делать нечего, wenn ich anderwärtige Verpflichtungen habe...[24] Итак, спаси меня от рассеивающего Парижа и «ужасных» тамошних библиотек, и сохрани мне «Fühlung»[25] с Берлином и все три здешние библиотеки, и восстанови в глазах Meister'a честь моей солидности — своим приездом сюда, но только по *крайней мере* на месяц. Впрочем, мне и месяца мало, и я уже вижу, что не придется мне спасти репутацию своей солидности и «Fühlung» с Берлином и прочие блага. Говорили мы и об экзамене, он рекомендовал сказать декану, что я хочу [быть] подвергнуться экзамену не раньше конца Февраля, ставя на вид, что б<ыть> м<ожет> это не бу-

дет допущено и экзамен отложат до начала Мая (Март и Апрель — ферии[26]). Я же сказал, что экзамен в Феврале меня страшит, хотя бы в виду нового обязательства — прошгудировать 5 томов Моммзенова Staatsrecht. Meister ничего не возражает на это: видно, и сам признает необходимость хорошей подготовки для Моммзена, хотя и уверяет, что последний не бывает строг.

Адрес: Berlin NW., Rathenowerstrasse 45[IV] bei Fr. Dr. Löwenheim.

Не полностью — История и поэзия. С. 352—353. Текст письма от 10 ноября записан карандашом перпендикулярно и поверх текста предыдущего письма. Ср. также письмо Иванова к Гревсу от 29 ноября / 11 декабря 1895 (История и поэзия. С. 152—153).

[1] Речь идет о Э. Лёвенгейм.

[2] «Добро пожаловать» (*фр.*).

[3] Сумасшедшее, игривое письмецо (*нем.*).

[4] Имеется в виду научный руководитель Иванова в Берлинском университете профессор О. Гиршфельд. См. о нем п. 75, прим. 6.

[5] Наконец! (*нем.*)

[6] Павел Гаврилович Виноградов (1854—1925), историк-медиевист, профессор Московского (1884—1901) и Оксфордского университетов, учитель Иванова в Москве. В «Автобиографическом письме» Иванов писал о своем отъезде в Берлин: «П.Г. Виноградов выработал для меня программу последовательных занятий у Гизебрехта, Зома и Моммзена» (II, 16). Упомянутое письмо Виноградова к Иванову от 24 июля 1895 из Христиании опубликовано: История и поэзия. С. 153.

[7] Начальник, руководитель (*нем.*).

[8] Выгляжу хорошо (*нем.*).

[9] Хорошо ли мне жилось (*нем.*).

[10] Теперь перейдем к серьезному (*нем.*).

[11] Старому господину (*нем.*).

[12] «Государственного права» (*нем.*). Имеется в виду труд Т. Моммзена «Römiches Staatsrecht», вышедший к тому времени уже тремя изданиями. Последнее по времени — в Лейпциге, в 1887—1888 гг., состояло из трех томов, из которых второй и третий подразделялись еще на полутома. Пятый том вышел уже позже; четвертый не выходил вовсе.

[13] Достойнейший, высокочтимый (*лат.*).

[14] От *нем.* immatrikulieren — зачислять в учебное заведение.

[15] Тоской (*нем.*).

[16] Ответ на вопрос Л.Д., заданный в п. 135 о «записке», которую И.М. Гревс вез в Россию (видимо, из Парижа).

[17] Михаил Николаевич Капустин (1828—1899), юрист, профессор Московского университета, директор Демидовского лицея в Ярославле, попечитель Дерптского и Петербургского (с 1891) учебных округов.

[18] А.В. Гольштейн.

[19] По-немецки это значит, что он готов взяться за рецензию (*нем.*).

[20] Он же деятелен (*нем.*).

[21] Было бы неправильно, если бы я взялся за нее... (*нем.*)

[22] Старому мастеру (*нем.*). «Altmeister» в данном случае вызывает ассоциацию с цеховыми мастерскими средневековой Европы.

[23] Это очень непрактично. Париж — плохое место для этого, в парижских библиотеках заниматься ужасно. Вам надо остаться здесь и сосредоточиться и завязать здесь контакты. Париж рассеивает (*нем.*).

[24] Если у меня есть обязательства в другом месте (*нем.*).

[25] «Контакт» (*нем.*).

[26] От *нем.* «Ferien» — каникулы.

## 138. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*28 октября / 9 ноября 1895. Париж*

*9 Nov. 95*

Дорогой друг! надеюсь, что ты уже в Берлине и скоро войдешь вполне в колею своих занятий. Надеюсь, что тебе удалось уладить дело с матерью и что так или иначе старушка спокойна. Сообщи мне о ней подробно и о сумасшедшей Д<митревско>й[1]. Благодарю за последние два письма из П<етербур>га[2]. Они делают честь любви поэта и читать их весело. Из них ясно одно: что ты сильно влюблен и пьянишь самого себя. Es macht mir Spass[3] быть предметом твоей влюбленности, в особенности издали, когда она не выходит из пределов сладких звуков и молитв[4]. Tu sei molto gentile, caro amanto, ti ringrazio e te bacio come la meriti. Questa notte ti vede in sogno che mi baciava ed io era i<n>namorata di te. Ti bacio ancora Sei (будь) bravo e buono[5].

Милый друг, всё не могу достать бумаги по вкусу и поэтому пишу на простой. По поводу твоего делового письма скажу вот что. Буду вполне искренна и откровенна. Когда я знала тебя меньше, ты казался мне оригинальнее, чем ты есть по моему мнению теперь. Ты не дурен и хочешь быть честным и благородным по особому, по своему, а не по обычному шаблону, но ты более нем<ецкий> буржуй, чем думаешь, и все твои поклонения и уважения буржуйские. Имею более доказательств, *чем ты думаешь*, о нравственной и умственной «тонкости» твоего Божества и нахожу, что твое положение в виде молящего херувима довольно комично. О, как смешна, и глупа, и пошла, и груба женщина, спрашивающая у мужа: одобряет ли он *выбор* (одно слово восторг!) ее жениха, да еще по телеграфу просящего одобрения, и затем пишущая мужу, бросившему ее и живущему с другой женщиной: я пою и читаю со своим женихом и... берегу *честь* семьи[6], и ты, ты, вместо того, чтобы понять всю комичность, всю неизмеримую

пошлость этой фразы, всё нелепое, подлое рабство низшего существа, заключающееся в этой фразе, ты самодовольно заявил: я этого не требую, но мне это нравится. Милый Вячеслав, неужели ты не видишь сам, какой ты филистер, как ты сузил свой горизонт до размеров нравственного мира твоей бедной женки. Бедна она, впрочем, лишь в высшем смысле, ибо в низшем, житейском, она и хитра, и умна, и ловка, и женишка выгодного добыла, и бывшего муженька-филистера на коленки поставила. Всё, что ты пишешь о ней в своем письме, вплоть до ее *советов: беречь меня* и вопросов: «Не желал ли бы ты вычеркнуть последние два года?» — всё свидетельствует о ее пошлой житейской хитрости и, увы, о твоем преклонении перед буржуазным: «J'ai le droit»[7] (в широком смысле) и недостаточном уважении ко мне. Повторяю, поклоняйся курице или добродетели г-на Крашен<инникова>, твоего друга и благодетеля (твое положение прекомичное — между сими доброд<етельными> буржуа), но меня не тронь. Если ты решил говорить о *нашем* ребенке с чужой *нам обоим* женщиной, а мне лично не внушающей ни симпатии, ни уважения (***ты обязан*** считаться с моим мнением о ней), ты должен был делать это не *иначе как с моего* хотя телеграфного согласия. Иначе ты поступил нечестно и неуважительно по отношению ко мне, ибо disons le mot[8]: она для тебя буржуазная закон<ная> супруга, а я — любовница. Поэтому тебе даже в ум не пришла самая простая комбинация: узаконить ребенка посредством *нашего* брака. Теперь место, чтобы перед лицем чести и Бога сказать то, что чувствую и думаю. 1) относительно брака с тобою я могла когда-то говорить как о возможности, но теперь говорю прямо: никогда, ни за что. Ты не свободный, благородный и честно смотрящий на права женщины человек, и сделать тебя своим мужем, после того, что я испытала в браке и после тех наблюдений, которые делала над тобою как над мужем Д.М. и отцем ее ребенка — я никогда не решусь, также и сделать тебя отцем моего ребенка, не будучи сама законно его матерью. 2) Относительно ребенка скажу следующее. В жизни надо иметь «сердце», но надо иметь и ум. Есть случаи, где «жертвовать собою» является глупостью, а в данном случае даже непорядочнее того. Ни в какие сделки с г-жой Ивановой входить мне честь моя не дозволяет, и поэтому никакие «блага» ребенка моего не подви<г>нут меня на это. Здесь по поводу жертв и твоих восхвалений женщине в этом смысле. Д.М. много жертвовала тебе и больше всего... денег, ибо жить с любимым мужчиною его женою, когда нет своей собственной жизни, войти в его

интересы, когда нет своих, — это не жертва, а радость, и такой натуре любовь не помеха, а необходимое физическое и нравственное состояние, и любовь — собственно не любовь как понимают ее люди (а не женщины в низшем смысле), а просто ширма, за которую они прячут собственную нравств<енную> и умств<енную> пустоту, бессердечие и эгоизм. Ибо женщина, умеющая любить лишь мущину и лишь того, который ею обладает, даже не распространяя любовь свою на дитятю этого мущины, даже не умеющая устроить уютно жилище и «семью» этого мущины, — *эгоистка* для всех, кроме этого мущины, *пока он ей нужен как ширма*. Всё это доказано белым на черном поступками буд<ущей> г-жи Крашен<инниковой>, так благородно играющей дешевым словом «дружба» с тем, кого любила, так легко отдающая свою «жертвующую» особу другому, почти первому встречному, несимпатичному ей мущине, так свободно бросающая на руки других свою дочь. О нет, поступок этой женщины с дочкою огненными буквами свидетельствует перед *всеми, всеми* о ее дрянности. И вот, милый друг, жертвовать à la Д.М. я не умею и не желаю. Мои жертвы, если они будут, — драгоценнее ее жертв по той простой причине, что ей ровно нечем жертвовать (чем же она тебе жертвовала? она разорилась <так!> на тебя (и содержанки раззоряются), но Краш<енинников> поправит ее финансы и поэтому она льнет к нему). Я уже жертвовала больше ее, ибо один Бог ведает, до чего мне дорога моя каррьера, которой эта зима немало повредит; мои дети — которым я рискую повредить, наконец, моя свобода от всяких уз. Но не стану говорить о прошлом. В будущем будет иначе, я буду умна и жертвовать *одна* не желаю. Говорю об этом, ибо твое предложение относ<ительно> ребенка есть именно возмутит<ельный> вызов на одинокую жертву. Вдумайся в свой эгоизм. Что касается моей любви к тебе: она существует. Разрывать нашей связи я не желаю. Твоя любовь греет меня, и я думаю, что потухни она — *и* для меня скрылось бы солнце моей жизни. Но ни одной уступки *не умной* этой любви я не сделаю и буду всегда с мечем в руке сражаться за свои права равного тебе существа, а не «женщины», вызывающей слезы умиления своими кроткими жертвами и представляющей поэту предлог для поэтич<еских> диферамбов <так!>. Умиляйся над моим домом на Тверской, se ti piace[9], но лучше умились над моею человеческой личностью и признай, что поступил и опрометчиво, и неуважительно к ее правам. — Боюсь, что ты окончательно разгневаешься на меня, но не могу поступить иначе, хотя бы ставя на карту

«счастие» своей жизни. Ведь и у меня есть «мир идей с северн<ым> сиянием», и я отдамся ему, если наш союз расторгнется. Но, che fare[10], я не гневом, не пошлою обидою влекома, а желанием вполне выяснить и упорядочить наши взаимные отношения. Повторяю, как и прежде: если я не права, казни меня, прости или нет, но не откажись объяснить мои ошибки. Обнимаю тебя, люблю тебя и остаюсь твоей

Лидией.

[1] Имеется в виду А.Т. Дмитревская, теща Иванова.

[2] Пп. 131—132.

[3] Мне весело (*нем.*).

[4] Отсылка к стихотворению А.С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828): «Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв».

[5] «Ты очень мил, дорогой возлюбленный, благодарю тебя и целую тебя как ты заслуживаешь. Ночью видела во сне, что ты меня целовал и я была влюблена в тебя. Целую тебя еще. Будь умен и добр» (*ит.*). Зиновьева-Аннибал сомневалась в том, как будет «будь» по-итальянски, поэтому написала русское слово в скобках. На деле должно быть: Sii.

[6] Зиновьева-Аннибал ссылается на письмо Д.М. Ивановой к Иванову от 10 сентября 1895: «Ты о моих намерениях знаешь, и я живу так, что сохраняю честь нашей семьи. Мих. Ник. <Крашенинников> бывает часто — мы читаем вслух, я играю, пою, вечер приходит как при тебе в Риме» (РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 30. Л. 57 об.).

[7] Я имею право (*фр.*).

[8] Скажем прямо (*фр.*).

[9] Если тебе угодно (*ит.*).

[10] Что делать (*ит.*)

## 139. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*29 октября / 10 ноября 1895. Париж*

*10 Ноябр.*

Дорогой Вячеслав, ты подумаешь: вот связался со сварливой бабой[1]. Но, милый, что же мне делать, если нас разделяют такие пространства, а мне надо тебе высказать всё, что накопилось в душе. Я могу молчать, но тогда я буду неискренна. Что касается твоего приказа молчать о Д.М.[2], не понимаю, почему я не могу критиковать ее, как и всякого другого твоего друга. Или она всё еще тебе «жена», а я лишь любовница, не смеющая дотронуться до твоей святыни, не профанируя ее. Во всяком случае, сказала и, кажется, окончательно высказала свое совершенно спокойно прочувствованное и продуманное мнение об этой особе. Также

сказала всё, что мучает, и о наших с тобою отношениях. Хочу, по крайней мере, чтобы ты признал свою вину в выдаче нашей общей тайны без моего разрешения женщине, к которой *я* ни малейшего доверия не питаю. Конечно, ее позорное сожительство с тобою в Москве, позорное, увы, и для тебя, не будет для меня предлогом брезгливого молчания, если мои выгоды когда-либо потребуют открытия его. Видишь ли, есть вещи, которые никогда не прощаются вполне, и измены в их числе, тем более твой оскорбительный «опыт». Кстати, очень мечтала бы об объяснении обещанном по поводу твоего 10-дневного молчания в Петерб<урге>. Новый опыт с Юноной? Но я невыносимо ставлю на карту твое терпение. Что поделаешь, я встала с намерением сказать тебе много ласковых слов, а вышло, что на душе накопилось столько горького, что оно помимо воли вырывается. Право, я ценю себя настолько, что не желаю, чтобы меня ставили не только ниже, но даже наравне с какой-то женской фигурой, не имеющей ни одного высшего чел<овеческого> интереса, не умевшая <так!> вырастить и полюбить собственного ребенка и только думающая о теплом уголке и мущине, на которого можно повиснуть <так!>.

Неужели я в своей душе не чувствую и больше размаху, и больше широты, и больше благородства! Оставь меня, если ты равняешь меня с личностью, у которой и на лице, кроме душевного довольства, ничего не видно. Разве я не понимаю, как человек с душою, а не паром, страдал бы от разрыва с любимым мужем. Разве ты не понимаешь, что она никогда не *любила* тебя, ибо на любовь не способна. О Боже, неужели любовь — это та мескинная[3] привязанность, которая соединяла ее с тобою. Разве она не оскорбила, не уничтожила всю поэзию прошлого, отдавшись человеку, которого еще недавно терпеть не могла. А ты, ревнивец, спокойно смотришь, как она выбросила за борт твоего ребенка. Дураком хочется мне обругать тебя, слепым дураком, лелеющий <так!> мечту из самолюбия и не понимающий и не желающий понять, что любил самую обыденную, пошленькую натуру, думающую как о высшем благе о куске хлеба. Но не хлебом единым человек жив[4], а кроме самых обычных интересов ей ничего не свято. Цену ее интереса твоими трудами <так!> она сама поставила, доказав, что в течение 5—6 месяцев она могла уже расстаться и с ними и с тобою и «более не страдать». Как глупо, право, с моей стороны объясняться письменно, и я думаю, что удержусь. Право, Вячеслав, тебе не за что сердиться на меня за то, что я

высказываю свое мнение и больше ничего, и твой «такт <?> любви и дружбы» должен подсказать тебе, что я имею и право и обязанность высказывать тебе всё, что волнует меня.

Благодарю тебя за записку из Смоленска[5]. О, как я хотела бы, чтобы ты не только влюбленными дифирамбами выражал любовь, а фактами деликатного умолчания обо мне. Уже один факт, что Д.М. *решилась* ***повторно*** спрашивать, не желаешь ли ты вычеркнуть 2 года из жизни, показывает, *как* ты говорил с нею, и оскорбляет меня. Если бы она ясно видела то счастие, кот<орое> ты имеешь от меня, она не решилась бы соваться с подобными вопросами да еще с советами беречь меня и дорожить моею любовью! Где же твоя тонкость, если ты не видишь всей наглой грубости подобных бесед обо мне. Благодарю тебя и многоуваж<аемую> твою богиню за Вашу заботу обо мне. Жалею, что Вы больше не заботились друг об друге. Вы такая парочка, что совсем напрасно приплели меня к себе, разве, впрочем, ко благо <так!> умной курицы, выгодно переменившей петуха на несомненного павлина.

Ну вот, баста, вылила всё. Делай как знаешь, сердись и отворачивайся, и этим ты только докажешь, что мне следует вырвать из души даже всякое сожаление об утрате тебя, ибо мало стоит любовь, кот<орая> не почует всю глубокую правду в моих словах и чувствах, откинув то, что резко чересчур, если таковое найдется.

В следующий раз расскажу о своей жизни. Вчера твой ребенок начал заметно двигаться, но в новом платье, очень мне идущем, я могла еще вчера в большом обществе петь в салоне, а он отбивал такт. Мне есть уже надежда дебютировать весною во Франции!

Посылаю еще 500 fr., итого 100 <так!> f. Напиши, надо ли тотчас еще, я могу тотчас послать, т.к. только что получила от брата.

Позволь мне, мой дорогой, обнять тебя нежно в ответ на все твои ласки. Когда мы увидимся, я покажу тебе, что не разучилась любить и ласкать тебя так, как ты любишь. Не сердись на меня. Больше не буду ворчать, ибо хочу, чтобы ты спокойно работал. Я вылила всё. Давай будем друзьями и подадим руки. Целую нежно и мысленно даю себя тебе.

Твоя Лидия.

[1] Видимо, отсылка к частому пушкинскому выражению из «Сказки о рыбаке и рыбке» (1833).

[2] То есть о Д.М. Дмитревской. См. п. 104 и др.

[3] От *фр.* «mesquin» — мелкий, пошлый.

[4] Лк. 4:4.

[5] Имеется в виду п.136.

## 140. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*31 октября / 12 ноября 1895. Берлин*

*Берлин, 12 Ноября*

Дорогая Лидия! Письмо твое только что получил[1]. Благодарю за присылку денег. Страшно и подумать о величине долга: 100 + 500 + прежние 700 = 1300 фр<анков>; да еще 100 рублей Яковлева. Когда я буду иметь такие доходы, чтобы расплатиться? Но надеюсь, что буду! Так как в Москву думаю послать от 120 до 150 рублей, да в университет должен внести 170 марок, то может случиться, что попрошу у тебя еще немного франков; но тогда напишу, и во всяком случае постараюсь обойтись с этими деньгами. Еще раз спасибо, дорогой друг! —

Содержание твоего письма, как ты могла предвидеть, больно меня обидело — не столько обвинениями, которых я не могу признать справедливыми, и искажением моего нравственного облика, сколько оскорбительными речами о моей первой жене, имя которой — для меня святыня. Убедить меня в справедливости твоего мнения о ней — тебе, конечно, не удалось. Чистой и нравственно-прекрасной знал я ее всегда, и каким являлся мне ее образ в действительности до той поры, когда разошлись наши дороги, — таким, и в еще бóльшем просветлении, какое приобретает в наших глазах то дорогое, чтó для нас умирает, — перешел он из действительной жизни в идеальную сферу моих священных представлений и верований. Твоих же мнений изменять я не ищу; правильным считаю, что ты не скрываешь от меня своей души; но против грубости твоего отношения к тому, что составляет объект моей pietas[2], — опять и опять протестую.

Одну клевету должен опровергнуть. «Она для тебя законная супруга, а я — любовница. Поэтому тебе даже в ум не пришла самая простая комбинация: узаконить ребенка посредством *нашего* брака». Смею тебя уверить, что эта комбинация не только пришла мне на ум, но и является мне постоянно утешительным исходом при мысли о трудностях, которыми обставлено [регу-

лирование] устройство правового положения нашего ребенка. Однако дело идет не о том, как обеспечить за ним впоследствии законные права, а о том, что он может *родиться* только либо в моей семье, либо незаконным. Сочетаться браком до его рождения мы во всяком случае не можем; между тем, желательным представляется, чтобы он не был объявлен незаконным *при рождении*. Вот о чем вел я речь в своих письмах, и потому — касаться вопроса о вышеупомянутой комбинации не имел и повода. —

Мое продолжительное молчание в Петербурге странным образом тебе непонятно. Скажу в двух словах, что не мог писать тебе, не получив от тебя категорического ответа в том или другом смысле на свой запрос — ответа, от которого зависело для меня решение, ехать ли мне за границу или оставаться в Петербурге. —

Тяжкое и горькое письмо твое содержит, однако, строки, которые наполнили меня какой-то высокой и светлой радостью. Я разумею те строки, где ты говоришь, что чувствовала движение ребенка. Лидия, дорогая, как хотелось бы мне прижать тебя в ту минуту и в этот момент к своей груди! Как хотелось бы мне дать тебе почувствовать, как глубоко и хорошо я люблю тебя! *Будь моя*, Лидия, будь внутренно моя: от этого ты не перестанешь быть собою. Но я с ужасом вижу, что разрыв — немного раньше или немного позже — грозит сделаться неотвратимым. И между тем разрыв нашего союза теперь уже не только безумие, как прежде, но и святотатство.

Твой В.

Получила ли ты письмо из Москвы? И первое из Берлина?[3] Впрочем, присылка указывает на то, что получила. Твой В

[1] См. п. 139.
[2] Благочестия (*лат.*).
[3] Имеются в виду пп. 135 и 137.

## 141. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*1/13 ноября 1895. Париж*

*13/1 Ноября*

Дорогой Вячеслав, не могу тебе выразить, до чего обрадовало меня твое письмо из Берлина[1]. Мысль, что ты уже в деле и что ты отдался в руки своих страшных профессоров, наполняет меня жут-

кою радостью. Не могу самостоятельно оценить, насколько нежелательно и опасно тебе иметь опон<ентом — так!> и экзаменат<ором> Момзена <так!>, но верую в твои познания и твой талант и думаю, что non c'è pericolo[2]. Что сказать тебе о твоем приезде в Париж? Я, конечно, ему очень радуюсь и не имею силы тебя отговаривать, но, дорогой друг, он возможен только при условии, что мы твердо решим строго охранять твои рабочие часы. Воспоминания Булони повергают меня в страх, а теперь дело с экзаменом *роковой* важности, и я была бы твоим *палачем*, если бы встала тебе поперек дороги. Это одно. А затем касательно моего переселения из семьи — оно пока невозможно, и ты не должен настаивать, если любишь меня. Я скажу тебе, к каким выводам пришла после зрелого размышления и прошлого опыта относительно формы наших отношений в будущем. Прежде всего я должна добиться формального развода и до этого вести себя осторожно по отношению к окружающим и к детям своим. Но добившись развода, я открываю карты, ибо не вижу иной формы любви для нас, как, напр<имер>, союз Гольш<тейн>ов, открытый, ясный и гордо признанный[3]. Другие две формы для меня невозможны, т.е. брак или тайная связь. О первом я говорила и повторяю сказанное: никого, а тебя в особенности, не поставлю в ложное и опасное для него и себя положение моего хозяина. А против тайной связи возмущается всё мое существо настолько, что я способна лучше выбросить за борт любовь, раз она стоит мне такую унизительную пытку. Но пока, до той минуты, когда могу открыто признать себя твоею по праву любви, мы должны быть осторожны, этого требует мое будущее и судьба моих детей. Когда же мы не будем скрываться более, то мне ровно ни к чему станет бросать детей ради тебя и вообще ставить ваши интересы в разрыв одни с другими, иначе, опять-таки, я я <так!> отказалась бы от любви. Ты любишь меня, а я мать своих детей, и этим всё сказано.

Теперь, мой дорогой, обсудим вопрос наших ближайших отношений: я мечтала бы снять тебе комнату в квартире rez de chaussé[4], из кот<орой> мы переехали, а именно — детскую бывшую, где хороший камин. Я нашла бы на месяц самую необходимую мебель. Это непосредственное соседство очень облегчило бы наши свидания, и день мы могли бы делить между моим и твоим кабинетом. У меня на квартире тишина полнейшая весь день, т.к. старшие или в школе, или гуляют. Я была бы очень счастлива, если бы ты согласился обедать и ужинать у нас, т.к. я не могу есть вне семьи и вследствие дороговизны и вследствие того, что в это

время контролирую весь детский день. Затем мы можем гулять вместе и вечером я могу быть с тобою после 8 ½ час., хотя я совершенно не в состоянии поздно ложиться, и в 10 всегда в постели. Милый, боюсь, что ты злишься, читая это письмо, но что же я могу поделать. Даже помимо неосторожности подобного поступка, покинуть семью теперь я совершенно не могу, ибо я нужна детям постоянно как направляющая и контролирующая сила. Благодаря моим заботам о них они стали неузнаваемы: ни ссор, ни крика. У нас такой мир, такая благодать, такая всеобщая любовь, точно в раю.

Не сердись, мой возлюбленный, а напиши свое мнение и свои возражения. Жду твоих писем с громадным нетерпением. Целую тебя нежно... Только что прочитала второе письмо из Берлина[5]. Дорогой Вячеслав, оно наполнило меня радостью. Если бы ты знал, как мне хочется верить в твою *истинную* любовь ко мне.... но когда я перебираю факты, я их связываю в мучительные комбинации... Буду верить, мое сокровище, мой возлюбленный Вячеслав. Будь добр ко мне и не сердись. (Деньги я послала до получения твоих писем о них.) Приезжай скорее. Я боюсь, что найдешь меня подурневшей? Целую, целую. Твоя.

2-го ноября день моей свадьбы: буду пировать!!

Поганый адрес к докторше твоей!![6]

К письму приклеен конверт с парижским штемпелем 13 ноября 1895. Берлинский штемпель не сохранился.

[1] Речь идет о п. 137.

[2] Опасности нет (*ит.*).

[3] Судя по этой фразе, А.В. и В.А. Гольштейны не состояли в формальном браке.

[4] На первом этаже (*фр.*). Во Франции (как и во многих других странах) первый (русский) этаж называется особым словом, а обычная нумерация начинается со второго этажа (во Франции именно он называется первым).

[5] П.140.

[6] Имеется в виду традиционный адрес: «Herrn Wenceslas Ivanov bei Frau Dr Löwenheim. Rathenowerstrasse 45 Berlin NW». Что «поганого» нашла в нем Зиновьева-Аннибал, нам понять не удалось.

## 142. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*2/14 ноября 1895. Париж*

*14/2 ноября*

Дорогой мой, пишу всего два слова. Не могу не поделиться своим настроением. Viardot мне встряхнула всю душу. Она сказала,

что недовольна состоянием голоса, что я иду вперед слишком тихо, что я très peu musicienne[1], и, что всего ужаснее, она произнесла роковое адское слово, кот<орое> приводит меня в ледяной ужас и наполняет трепетом, ибо от него спасения нет: ***c'est tard***. Vous êtes une jeune femme, mais le gosier n'est plus si flexible[2]. О Боже, это слово, когда оно произносится в связи с пением, с карьерой, с моей надеждой, с моей целью... я могу сравнить его лишь с кошмаром землетрясения. Оно так же безжалостно, так же могущественно и убийственно. Но когда я стала говорить о моей страсти к игре, она заинтересовалась, оживилась и сказала: «Travaillons, nous verrons. En tout cas vous pouvez être un bon professeur»[3]. Отчаяние, разочарование действуют с раннего детства одинаково на мою душу: я закусываю удила и мчусь без удержу, я ломаю стену, я опрокидываю препятствие. Да, если есть еще один луч надежды: вперед, вперед. Но, милый, ведь и тебе не рано, ведь и ты должен мчаться. Милый, пойми вполне всю роковую важность этой зимы для нас обоих. О, для меня еще сквозь мрак ужаса, нашедшего на мою душу, блестит звезда труда неутомимого и удвоенной, удесятеренной энергии. Неужели же жизнь моя не доведет меня до намеченной цели. Милый, я плакала, но теперь я спокойна и упрямо тверда. Целую тебя. Приезжай, милый. Я вся твоя.

Лидия.

Сегодня день моей свадьбы. Нет, нет, не погубил мой брак мою жизнь. С такой энергией il n'est pas trop tard[4].

Конверт со штемпелем: Paris. 14 nov. 95. Берлинский штемпель отсутствует.

[1] Слишком мало музыкальна (*фр.*).

[2] ***Поздно***. Вы молодая женщина, но гортань уже не такая гибкая (*фр.*).

[3] Будем работать, увидим. Во всяком случае, вы сможете быть хорошим преподавателем (*фр.*).

[4] Не слишком поздно (*фр.*).

## 143. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*4/16 ноября 1895. Берлин*

*Берлин, 16 Ноября*

Милая, сегодня получил я твое коротенькое письмецо о Viardot. Оно глубоко меня взволновало. Я сочувствую твоим стремлениям столько же, сколько ты моим, и переживаю с тобой всю их агонию... Зачем, зачем решила ты учиться в Париже! Ты

пошла туда за настоящею школой, как я пошел к Немцам за настоящею наукой: мы не ошиблись в выборе учителей, но этот выбор роковым образом замедлил наш путь... Во всяком случае ты права в том, что должно работать и идти вперед без оглядки; потом увидим, куда придем. И не лучше ли, в конце концов, прийти поздно — или даже вовсе не прийти — к намеченной частной цели, но сознавать себя всесторонне и гармонически развитою личностью, неустанно и многообразно стремившеюся к высокому и общему идеалу, — нежели быть одной из тех пожинающих ранние лавры capacités[1], которые обязаны своим успехом — ограниченности своих стремлений, узости своих интересов, фрагментарности своей натуры? Но не в таких capacités нуждается эпоха, а в старинных гуманистах, в гармонически развившихся крупных индивидуальностях... Работай дальше, дорогая! Я боюсь относительно тебя (как ты знаешь) не того, что «c'est tard»[2], а того, что голос твой не выдерживает переутонченной парижской муштровки. Как бы то ни было, у тебя, как и у меня, двойная цель и двойное поле деятельности, и если одна энергия не может обеспечить тебе будущее певицы, то [та же энергия] она может одна упрочить за тобой будущее писательницы, достойной этого имени.

Что касается моих дел, то я, так сказать, окончательно законтрактовался в университете: проделал сегодня ряд формальностей, внес деньги, имматрикулирован и занесен в книгу «докторантов»*. Сегодня спрашивал меня декан и о выборе между Гиршфельдом и Моммзеном, — и я назвал Моммзена... Работу однако я могу вручить декану только по получении [выходного] выпускного свидетельства, которого я не выправил при оставлении университета в 1891 году и которое будет приготовлено через неделю. Остается еще много дела: приходится — mit großer Ängstlichkeit[3] — перечитывать свое латинское творение; потом придется отдать его [в магаз<ин>] переплетчику для брошюровки, составить латинские прошение и жизнеописание и т.д.

Времени своего приезда определить пока в точности не могу; декан, по-видимому, ничего не будет иметь против моего отсутствия. Экзамен мне крайне хотелось бы сбыть с плеч уже в Феврале; но перспектива испытания у Моммзена, с обязательством усвоить себе, [и во всяком случае прочитать] кроме прочего материала, тысячи четыре тяжких страниц Staatsrecht'a[4], — побуж-

* В оригинале описка: «докторандов».

дает меня сдержать свой пыл и воспользоваться пасхальными ферiями (Март и Апрель) для приготовления к экзамену. По отношению к проектам устройства моего в Париже, — мирюсь с необходимостью и, доверяя твоей любви и твоему желанию жить со мной в наиболее тесной внешней близости, предоставляю *тебе* определить формы нашего общения в ближайшем будущем. [Если] Вообще я принципиально решил, с одной стороны, ни в чем, касающемся нашей любви, не оказывать давления на твою волю, — с другой, [не конк<урировать>] отказаться от конкуренции с твоими детьми и предоставить тебе отдавать им столько самой себя, сколько ты пожелаешь. Признаю, что прежде был очень ревнив, эгоистичен и брутален. Учусь науке *доверия*, которая с таким трудом дается страсти. Изучение этой науки настойчиво рекомендую и тебе, находя, что ты в ней очень слаба. Лучшее знание ее показало бы тебе всю тщету «мучительных комбинаций», в которые слагаются в твоих мыслях «перебираемые» тобою «факты»... Одним словом, я имею твердую надежду, что наши отношения будут отныне более гармоническими, чем прежде. Как хотелось бы мне, чтобы ты спала со мной! Это дает такое блаженное чувство близости и единства. Во всяком случае непосредственное соседство было бы в высшей степени желательно, и для него я пожертвовал бы всеми внешними удобствами.

Я окончил на днях стихотворение «Прибой», первые строфы которого были написаны уже давно, но для продолжения не хватало Schwung'а[5]. Хочу немедленно поделиться им с тобой, потому что мне кажется, что это — нечто значительное. Правда ли это? — напиши о впечатлении.

*Прибой.*

Слежу прибой со скал прибрежных:
Взволнованный, смятенный вид!
Несутся хоры белоснежных,
Порывистых Океанид...

*

Угрозы, громы боевые...
Слепой, стремительный набег...
Удары бурно-роковые
Живой волны о мертвый брег...

*

О дщери старца-Океана!
Один вознес ваш дикий хор
У ног распятого Титана
К звездам рыдающий укор.

*

Не вы, подрути Прометея,
Неукротимые[6], не вы
Пред роком склоните, немея,
Бурно-кудрявые главы!

*

И пусть не вам, мятежным девам,
Решать раздоры вечных прав;
И пусть великодушным гневом
Не изменить судеб устав:

*

Непримиримы[7] и суровы,
Взываете вы вечно вновь,
Что царства Зевсова основы —
Неволя, мрак, и стон, и кровь...

*

Кто внемлет вам? В красе победной
Невозмутимый небосвод
Улыбкой вызывает бледной
Ответный блеск влюбленных вод.

*

Навек темничные оковы
Сковал вам раболепный брег;
Бежит, заслыша ваши зовы,
В укромный дол свой человек.

*

Один, на ропот ваш, быть может,
Придет поэт — рыдать и петь...
Он, как и вы, одно лишь может:
Любить, воззвать и умереть...

*

Жизнь — вопль единый!.. Вот родится,
Вот блещет персями волна;
Вот исступленная стремится,
Неудержима и гневна...

*

Летит — предсмертным кликом брани
Да огласит моря и твердь...
Какой разбег! Какие грани!
Какой отпор! Какая смерть!..

*

Хвала! Дерзайте, чада моря, —
Да в небе, пред лицом владык,
Неизглаголанного горя
Не молкнет мировой язык.

*

Дерзайте, пенные Мэнады!
Вам Прометеев свят завет:
Вам нет победы, нет отрады,
И нет надежд, — и мира нет...[8]

---

Почему однако пишешь ты, что взяла бы мебель для комнаты внизу — *на месяц*? Разве она будет свободна один только месяц? Сообщи также, приедут ли твои отец и мать, и как ты думаешь поступить в этом случае? Возможно ли мне жить в таком соседстве в случае его или ее приезда? Я боюсь, что последний окончательно разлучит нас; и эти опасения очень меня беспокоят. — В Париже думаю ежедневно работать в библиотеке. Установлю число рабочих часов и их распределение и свяжу себя ежедневным тебе отчетом. — С мучительным нетерпением стремлюсь к тебе, моя Лидия, и боюсь еще верить скорому свиданию и тем более совместному счастию. Мучительно желаю тебя... Твой нагой образ передо мною. Я вижу каждую складку твоего тела, каждую неровность твоей кожи... Ich bin heisshungrig nach dir...[9]

Когда я жил, в первое время после бегства из Флоренции, в Риме, на улице, против моего окна, раздавались, ночью и на рассвете, особенного рода свистки, короткие, быстрые мелодии в несколько тонов, и всегда те же; — и на мои в то время очень возбужденные нервы эти звуки действовали странно-раздражающим образом: мне становилось вместе и мистически-жутко, и [как-то] отважно на сердце, — словно какой-то демонический голос меня вызывал на что-то, [и вместе гипнотизировал] гипнотизируя мою волю, как [песенка] мелодия Муцио в «Песни Торжествующей Любви»[10]. Теперь я опять слышу такие же свистки по вечерам перед моими окнами. Быть может, они производятся особенны-

ми инструментами, такими же, которые были в руках у моих соседей-Итальянцев. Это [безразлично] мне неинтересно. Но ощущение, хотя и в слабейшей степени, эти звуки вызывают во мне то же, какое я испытывал в Риме, и мне приятно снова переживать в воображении ту мучительную, но поэтическую пору... И мне мечтается, что эти мистические звуки, словно голос мировой воли, снова пророчат мне близкое соединение с тобой... Ich schwärme, Liebe[11]. Твой В.

Фрагменты — История и поэзия. С. 121, 310, 353—354, 373.

[1] Способностей (*фр.*).

[2] Поздно (*фр.*).

[3] С большой тревогой (*нем.*).

[4] «Государственного права» (*нем.*). Имеется в виду книга Т. Моммзена.

[5] Подъема, воодушевления (*нем.*).

[6] «Неукротимые» написано карандашом над зачеркнутым «непримиримые».

[7] «Непримиримы» написано карандашом над зачеркнутым «Но, непреклонны».

[8] В значительно переработанном виде под загл. «Океаниды» вошло в книгу «Кормчие звезды» (I, 526—527).

[9] Я голоден по тебе (*нем.*).

[10] Имеется в виду повесть И.С. Тургенева «Песнь торжествующей любви» (1881).

[11] Я брежу, любовь <моя> (*нем.*).

## 144. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *6/18 ноября 1895. Париж*

*18 ноября 95 г.*

Дорогой друг, твое письмо с стихами[1] застало меня среди разложенных листов моих «вожделеющих»[2]. Прочитав его и стихи, я тотчас взялась за перо. Прежде всего о стихах. Мне кажется, что они вполне в твоем стиле: размах величественный и глубина большая. Слог мне кажется прекрасным. И сколько ни говорено было о волнах, все же это опять совсем новое. Разница между прелестным стихотв<орением> Минского, присланным тобою[3], именно в глубине, дерзости, размахе. Ох, ты мой размашистый! Куда примчит тебя твоя дорожка? Но ведь я такой плохой критик и умею только выразить свое впечатление. Скажу только одно замечание формальное: «Но, *непреклонны и суровы*» буквально (только с несокращенным окончанием) взято у Алексея Толстого. Кажется, из стих<отворения> «Пусть тот, чья честь не без укора»[4] или также из морского стихотв<орения>. Ах нет, вот откуда:

Господь, меня готовя к бою,
Любовь и гнев вложил мне в грудь
И мне ден<н>ицею святою
Он указал правдивый путь.
Одушевил могучим словом,
Вдохнул мне в сердце много сил,
Но *непреклонным и суровым*
Меня Господь не сотворил.
И я растратил гнев свой даром.....[5]

---

Очень счастлива слышать, что ты такой стал умник. Неужели ты не понимаешь, что я сама желаю жить как можно ближе к тебе. Но в том, что мы не вместе будем ночевать, в этом для нас невеселом факте лежит залог нашей более рабочей жизни, чем в Булони. Ты знаешь, во что обращалось наше утро? Il faut arriver, mon ami, à tout prix[6]. Какие мы с тобой парочка <так!> и какое наслаждение делиться друг с другом заботами и надеждами. Дорогой, ты веришь в мой литерат<урный> талант, как я счастлива твоею верою, но неужели и здесь меня ожидает последнее и самое горькое разочарование. О, какое я буду тогда ничтожное существо! Я еще утешаю себя в своей возможной неудаче тем, что всё-таки недаром пропадут средства и усилия последних лет: я прикладываю все старания, чтобы сделать из себя une bonne musicienne[7], и если не будет удачи на сцене, то сделаюсь хорошей учительницей. Это заработок в случае нужды, и могу давать даровые уроки тем, у которых нет средств. Но пока я надеюсь и верю. Конечно, ты прав, что наши пути — истинные. Я теперь только начинаю проникаться настоящим уважением к искусству, которому служу. Не думаю, чтобы мой голос спортился <так!> от муштрофки <так!>, хотя просто смешно становится мне вспоминать, как лихо я вопила во Флоренции с полным успехом и как мучительно борюсь я с силою голоса у Viardot, где все усилия устремлены на то, чтобы не дать коню мчаться, но конь ретив, и на благородной рыси нет-нет да и вырвется в карриер к великому негодованию великой maestra[8]. Счастлива читать о твоей университ<етской> кабале. Как ты добр, правда, что равняешь мои карриеры со своими! Твоими устами да мне бы мед пить. Была в S. Cloud <?> и Булони всей семьей за ванной, и так грустно по тебе стало. А твой «обжора» знай прыгает, как мячик, и срамит меня ненасытным аппетитом. Сегодня еду в Аиду[9]. Жду тебя с нетер-

пением. Будем жить хорошо, я верю. Мои родители такие ангелы — не приедут, и вся моя добродетель к ним награждена этим их решением. Целую тебя и мечтаю скоро сделать это реально. Твоя вся

Лидия.

Конверт со штемпелями: Paris. 18 nov 95 — Berlin. 20.22.95.

[1] П. 143.

[2] Вероятно, имеется в виду произведение, которое ранее (см. п. 129 и 134) было названо «Impotenti».

[3] Стихотворение «Волна» в п. 132.

[4] Текст см.: *Толстой А.К.* Полное собрание стихотворений: В 2 т. Л., 1984. Т. 1. С. 102.

[5] См.: Там же. С. 74.

[6] Нужно приехать, мой друг, любой ценой (*фр.*).

[7] Хорошую музыкантшу (*фр.*).

[8] Учительницы (*ит.*).

[9] То есть на представление оперы Дж. Верди «Аида».

## 145. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*7/19 ноября 1895. Париж*

*19 Ноября*

Дорогой друг, пишу по трем делам: скажи, на сколько времени более или менее гарантировать комнату внизу? Я еще боялась о ней говорить. 2) читала еще стихи[1], и чем больше читаю, тем более проникаюсь гармонией стиха и красотою и величием мыслей. 3) Viardot сказала, что la voix s'est adoucie[2], и была очень ласкова, и говорила о ролях Амнерис и Carmen[3]. 4) не пиши длинных писем, но лучше пиши чаще по несколько слов, даже открытые. Когда я долго не получаю писем, что-то ужасно неловко внутри, а получив, надолго хорошо становится. Учись, гадкий, т.е. кончай скорей дела. Я тебя жду, и я твоя.

ЛЗ.

Скажи, что я также очень этична[4] и буду членом.

Открытка. Парижский штемпель — 19 ноября 1895.

[1] Речь идет о стихах в п. 143, обсуждавшихся в предшествовавшем п. 145.

[2] Голос отшлифовался (*фр.*).

[3] То есть о партиях в операх Дж. Верди «Аида» и Ж. Бизе «Кармен».

[4] Очередная шутка над «этическим кружком» фрау Э. Лёвенгейм, у которой Иванов жил.

## 146. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*8/20 ноября 1895. Берлин*

*Берлин, 20 Ноября 95.*
*(«Busstag»[1]).*

Между двух мерцаний бледных
Тихо зыблется наш челн:
В небе трепет звезд победных,
В море блеск вечерних волн.
*
Над лиловой гладью, мимо,
Ночь плывет, свой лик тая;
И журчит, ладьей гонима,
Переливная струя.
*
Сон пустыни... мгла покоя...
А с незримых берегов
Долетают звуки боя,
Спор неведомых врагов...
*
Гром набега... гул погони...
Кинув синие луга,
Знаю, то морские кони
Потрясают берега...
*
Дальний ропот океана
Чутко внемлет тишина:
Нас несет Левиафана
Укрощенного спина.
*
Силе страшно-благосклонной
Ты доверилась со мной —
И стремишься над бездонной,
Беспощадной глубиной...[2]

Это стихотворение, как видишь, дорогая, есть воспоминание о нашей поездке в Forêt[3] и вместе[4] pendant[5] к римской пьесе, озаглавленной «В челне по морю»[6]. Счастлив твоим отзывом о «Прибое»[7]. Благодарю за указание случайно совершенного плагиата и

переменяю чужой стих (он же, кстати, мне не очень нравится) на следующий свой: *«непримиримы и суровы»*; причем слово *«непримиримые»* в 4-ой строфе заменяю словом *«неукротимые»* или т.п.[8] Письмо твое вообще очень меня порадовало. Чего стоит одна весть о вероятном не-приезде твоих родителей! И «обжора» твой macht mir einen großen Spaß[9]. Настроение твое и деятельность также меня утешают. А я два вечера подряд слушал музыку. В понедельник был с своей этической подругой на классическом духовном концерте в одной церкви, а вчера один был в Philharmonie[10], где слышал много интересного, между прочим первую симфонию Шумана, Charfreitagszauber[11] из вагнерова «Парсифаля» и «Франческу да Римини» Чайковского, которая потрясла и пленила меня. Что же касается «Bühnen-weih-fest-spiel»'я[12] Вагнера, то его неискренняя Frömmelei[13], и искусственный мистицизм, и аффектированное глубокомыслие произвели на меня отталкивающее впечатление чего-то ложного. Играли также «Geschöpfe des Prometheus»[14] Бетховена и «Nachklänge an Ossian» — Gade[15]; последняя увертюра очаровала меня своей поэзией и возбудила жажду познакомиться с известным мне только по немногим отрывкам Оссианом. *Столько о* поэзии моей жизни. Прозу же ее составляют знакомые, которых нельзя вовсе игнорировать. Так, визит к отцу Мальцеву[16] обошелся мне в труд прочтения [целой] большой полемической брошюры, направленной против его статей католиками и на которую он пишет ответ: я должен обогатить его аргументы своими соображениями, но склонен скорее оказать эту услугу его литературному противнику, что́ Мальцев хорошо знает; тем не менее, прочесть брошюру нужно и сказать свое мнение. Сегодня собираюсь сделать визит бывшему принципалу своему, старику Куманину[17] и философу Ительсону[18]. Был у встретившегося мне в нашем институте доктора Мюнцера[19]. Наконец принужден был восстановить сношения с консулом и вицеконсулом. Свидетельствовать о моем пребывании в Берлине все же потребовалось для того, чтобы дело о разводе не было передано на рассмотрение московской консистории (где господствует взятничество). Это свидетельство я добыл от консула и в понедельник отправил в Петербург, вместе с официальным письмом к жене, где я отвергаю, по указанию адвоката, всякие попытки примирения и заявляю, что не считал себя, после того, как мы с ней разъехались, связанным обетами супружеской верности. — Благодарю тебя за присылку новых 100 франков. Насколько они были необходимы,

можешь судить по тому, что я располагал теперь только 40 марками. 182 марки внес в университет, 264 марки (=120 руб<лей>) послал в Москву и 20 марок Крашенинникову в Петербург (старые счеты и размен его австрийских денег). За 600 же франков мне дали около 486 марок всего. — Извини, что надоедаю этими расчетами; но когда значительная сумма вдруг тает, то чувствуешь потребность дать в этом строгий отчет перед своей совестью, — а ведь моя олицетворенная совесть теперь ты. Как бы то ни было, письмо, начатое поэзией, окончилось прозой. Да и то сказать, писать мне тебе более неохота, жду свидания с мучительным нетерпением, так что гоню самую мысль о нем, чтобы не волноваться попусту и не падать духом при виде препятствий, нас еще отделяющих. Письма же мне теперь ненавистны. Они все нам всегда портили. И если невыносимо говорить с собеседником, не видя выражения его лица, то еще менее выносима такая беседа, когда ответы получаются через 4 дня... И все же, дорогая, я так ажитированно[20] жду каждое утро твоего милого голубого конвертика, что отнюдь не позволяю манкировать[21] перепиской.

Твой Вячеслав

Читаю между прочим Einleitung in die Philosophie Паульсена[22], у которого буду, вероятно, экзаменоваться по философии. Книга мне нравится и я бы с удовольствием дал ее в руки тебе, для твоего дальнейшего самообразования

Небольшой фрагмент — История и поэзия. С. 358.

[1] День искупления (немецкий церковный праздник).

[2] Вошло (с некоторыми разночтениями) в цикл «В челне по морю» как его вторая часть (I, 594).

[3] Лес (*фр.*).

[4] Слева от текста стихотворения Ивановым сделана приписка, относящаяся непонятно к какому месту: «Все “волны” и “волны”...»

[5] Соответствие (*фр.*).

[6] В окончательном варианте «В челне по морю» стало циклом из трех стихотворений (I, 593—595).

[7] См. письмо 144.

[8] См. прим. 6 и 7 к п. 143.

[9] Приносит мне большое удовольствие (*нем.*).

[10] Филармонии (*фр.*). На упоминаемом концерте Франц Маннштедт (Franz Mannstädt) дирижировал оркестром Берлинской филармонии (Berliner Börsen-Zeitung. 1895. 19 November).

[11] Чудо Страстной пятницы (*нем.*). Имеется в виду интерлюдия из оперы Р. Вагнера «Парсифаль».

[12] Произведение для освящения театра (*нем.*). Так называл Вагнер оперу «Парсифаль», написанную для нового театра в Байройте.

[13] Наигранная набожность (*нем.*).

[14] «Творения Прометея» (*нем.*).

[15] «Отзвуки Оссиана» (*нем.*). Имеется в виду увертюра (ор. 1) датского композитора Нильса Гаде (Niels Gade, 1817—1890).

[16] Алексей Петрович Мальцев (1854—1916) приехал в Берлин в 1886 г. в качестве настоятеля берлинской посольской церкви во имя св. князя Владимира, находящейся на центральной улице Unter den Linden. Можно предполагать, что в эту церковь ходили Вяч. Иванов с Д.М. Ивановой. Мальцев был неутомимым деятелем православной церкви на Западе, много писал и переводил до августа 1914 г., когда был вынужден покинуть Германию. Обстоятельства, упоминаемые Ивановым в письме, касаются недавно вышедшей книги протестантского священника Иоганна Баптиста Рёма (Johann Baptist Röhm, 1841—1910) «Sendschreiben eines katholischen an einen orthodoxen Theologen: (J.B. Röhm, Domcapit. in Passau an Propst Alexios Maltzew zu Berlin» (Augsburg, 1895). Пространный ответ Мальцева, который Иванову пришлось прослушать, был затем опубликован: «Antwort auf die Schrift des Herrn Röhm: «Sendschreiben eines Katholischen an einen orthodoxen Theologen» und auf die Abhandlung: «Zur Rückkehr vom Schisma»» (Berlin, 1896).

[17] Принципал — от *фр.* principal, начальник. О Куманине см. в «Автобиографическом письме» Иванова: «Рядом с научными занятиями шли у меня занятия для заработка, <...> частное секретарство у агента нашего министерства финансов, камергера Куманина, ныне покойного доброго друга моей юности» (II, 17—18). Речь идет о действительном статском советнике Александре Александровиче Куманине.

[18] Григорий Ительсон (Gregor Itelson, 1852—1926), родился в Житомире, учился в Петербурге, затем в Берлине, его «второй родине». Он писал мало, но активно принимал участие в конференциях и повлиял на развитие западной философии. Об одном из его выступлений писал Иванов: «Г.Б. Ительсон, возражавший Виндельбанду с точки зрения математика, с успехом представил на суд собравшихся самостоятельный опыт "реформы логики", которую он, завершая прежние попытки в этом направлении, определяет как "науку о предметах вообще", что позволяет ему, по его мнению, устранить ряд затруднений, встречаемых исследователями формальной логики. Им же сделаны были исторические сообщения о Галилее и о Спинозе, предшественника которого он видит в Томасе Уайте (ex Albis), излагавшего свои философемы mode geometrico ("Euclides metaphysicus", 1658)» (Ζαχλης. Второй международный философский конгресс: Письмо из Женевы // Весы. 1904. № 10. С. 60). Некролог Ительсона см.: Kant-Studien. 1926. Bd. 31. S. 428—430. Письмо Ительсона к Иванову — РГБ. Ф. 109. Карт. 26. Ед. хр. 62.

[19] Фридрих Мюнцер (1868—1942) защитился в Берлинском университете у О. Гиршфельда в 1891 г. Об отношениях Иванова с ним см.: *Wachtel M.* Вячеслав Иванов — студент Берлинского университета. С. 375; История и поэзия. С. 367—368.

[20] От *фр.* «s'agiter» — волноваться.

[21] От *фр.* «manquer», здесь — пренебрегать.

[22] Речь идет о книге «Введение в философию» («Einleitung in die Philosophie») Фридриха Паульсена (Friedrich Paulsen, 1846—1908), впервые опубликованной в 1892 г. и многократно переиздававшейся. В 1906 г. Иванов рекомендовал ее как пособие для начального представления о философии пасынку, С.К. Шварсалону. См.: *Богомолов Н.А.* Вячеслав Иванов об университетском образовании // Филологические науки. 2007. № 3. С. 34.

## 147. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*9/21 ноября 1895. Берлин*

*21 Ноября.*

Сегодня мне как-то не по себе: верно, оттого, что ты теперь злишься на меня, противная Лидия, за длинные промежутки молчания и не желаешь мне добра. Получил твою картолину, злая пантера, и [радуюсь] очень сожалею, что Виардо, твоя укротительница, тебя опять погладила по шерсти. Что касается комнаты, ссылаюсь на сказанное мною о моих намерениях в прежних письмах, а более определенно говорить — по свойственной мне осторожности — боюсь, до разговора с деканом, от которого теперь официально зависит моя участь во всех отношениях; разговор же этот произойдет, когда я буду передавать ему работу; работу же передать я не могу, не сделав трех вещей: 1) не получив университетского свидетельства, которое обещали приготовить к субботе, 2) не дочитав сам работы до конца (это займет также еще несколько дней), 3) не сброшюровав ее. Итак, [думаю] надеюсь покончить официальные дела с деканом в первой половине следующей недели, после чего, вероятно, получу свободу; но всякие случайности могут дело замедлить. Пробуду же в Париже, если разрешит декан и [всевед<ущие>] всемогущие Парки, до Мая. Когда я подумаю, что целых четыре месяца буду еще висеть в воздухе*, мне становится как-то стыдно; но сунуться на экзамен, да еще к Моммзену, уже в Феврале — препятствует внутренний де-

---

* Имею в виду состояние, следующим образом описанное Гёте:

Nirgends haften dann
Die unsicheren Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolken und Winde[2].

Вот как бывает с тем, кто «hebt sich aufwärts und berührt mit dem Scheitel die Sterne»[3], — к чему я всегда опрометчиво стремился. Теперь я остепенился и ищу feste Stellung[4]... Но, увы! —

Steht er mit festen
Markigen Knochen,
Auf der wohlgegründeten
Dauernden Erde:
Reicht er nicht auf,
Nur mit der Eiche
Oder der Rebe
Sich zu vergleichen[5]
(*Прим. Иванова.*)

мон. — Отъезд мой в Париж кажется не одному Гиршфельду, но и вообще всем знакомым очень... парадоксальным, и мне довольно трудно его сколько-нибудь удовлетворительно мотивировать. Я ссылаюсь на [Freunden, mit <1 нрзб>] каких-то «друзей» с лаконичностью, приглашающею собеседника перейти на другую тему; собеседник [дога<дывается>] соображает, что «дружба» имеет свои мистерии, — и заговаривает о другом. Думаю, не прибавлять ли мне, для уменьшения мистериозности моего поведения, — при упоминании о парижских друзьях, ждущих заключить меня в свои объятия, — в виде примера, имя Miss B. Hunt. Эта последняя, как я узнал в Петербурге — и б<ыть> м<ожет> уже писал тебе? — проводила летние месяцы в Бретани (!), кажется, в S. Briac, а в [настоящее время] настоящий сезон предается изучению художественных собраний Лувра. Вилли, кажется, не состоит более ее женихом. Жаль, что Срезневской нет в Париже: я бы мог щегольнуть и ее дружбой[1]. —

Целую твои ноги. В.

Я также испытываю, когда не получаю от тебя писем, описанное тобою ощущение: «что-то ужасно неловко внутри»; «а получив, — надолго хорошо становится». — Этическая Калипсо прозревает, но и только. Говорит о необходимости облегчить разводы, о том, что идеалы изменяются, что следует разойтись, если один из супругов не пара другому и т.д. Доступ же тебе в этическое общество, после письма о «гетеризме», очень затруднен. Не теряй однако надежды и старайся поправить дело дальнейшим этическим поведением.

Фрагмент — История и поэзия. С. 354.

[1] Лица, о которых здесь идет речь, известны нам очень мало. Miss B. Hunt — вероятно, та «идиотическая американка», которая упоминается в п. 62, а также американка Bessy, упоминаемая в переписке Ивановых с Гревсом (См.: История и поэзия. С. 120, 122, 141). Вилли — неизвестное лицо. О музыканте и литераторе Людмиле Николаевне Срезневской см.: История и поэзия. С. 213.

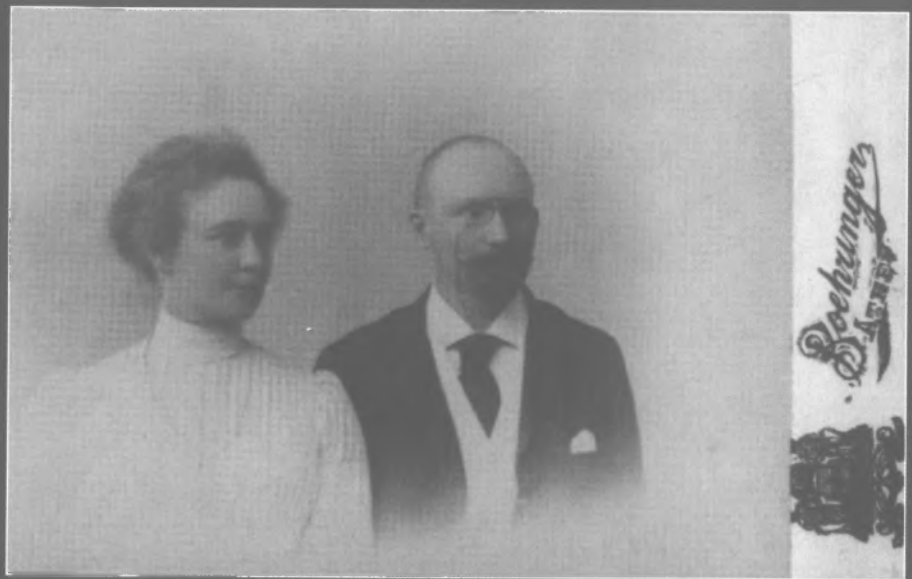
[2] Цитируется стихотворение Гёте «Grenzen der Menschheit» («Границы человечества», 1779):

Негде тогда опереться
Шатким подошвам,
И им играют
Тучи и ветры (пер. А.А. Фета).

[3] Слегка измененная цитата из того же стихотворения: «Подымется и коснется теменем звезд».

[4] Прочное место (*нем.*).

Вячеслав Иванов. 1890-е гг.




Вячеслав Иванов и Л.Д. Зиновьева-Аннибал.
Афины, 1901

Пельи. Вилла Палавичини. Общий вид

Пельи. Вилла Палавичини

Неаполь. Вокзальная площадь

Неаполь. Порт

Рим. Новая Аппиева дорога и акведук Клавдия

Рим. Форум Траяна

Рим. Колизей

Рим. Вид Форума с Капитолийского холма

Рим. Базилика Св. Климента Римского

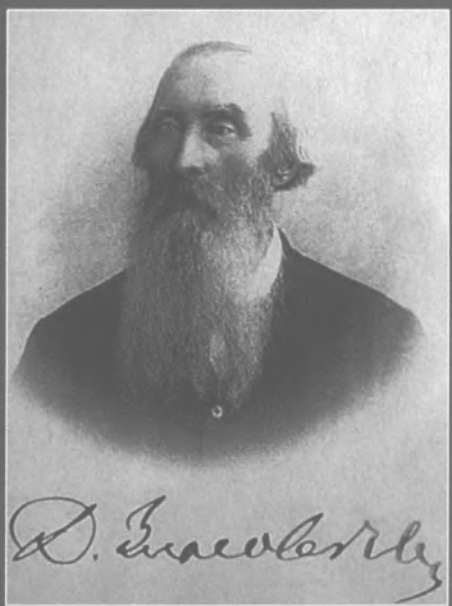
Москва. Сретенка у Сухаревой башни

Москва. Пашков дом (Румянцевский музей)

Москва. Университет

Москва. Лубянская площадь

Москва. Воскресенские ворота



Д.В. Зиновьев. Конец XIX в.

А.Д. Зиновьев. Начало XX в.

Киев. Андреевский собор

Киев. Вид города с Днепра

Киев. Владимирский собор

Киево-Печерская лавра. Общий вид

Рим, 18/6 [illegible].

Cher désir[illegible] rebelle!

Если Вы сердитесь на меня, то не пишите: тогда я сам буду разыскивать Вас, и, быть может, мне легче будет перенести разлуку со Вами... Но если не сердитесь, то тогда обязательно у меня сядете читать, перечитывать, а потом — и цитировать Ваши милые строки!

В. М.

Письмо 13

[5] Цитата из того же стихотворения Гёте:

Если ж стоит он
Костью дебелой
На крепкозданной,
Прочной земле,
То не сравняться
Даже и с дубом
Или с лозою
Ростом ему.

## 148. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*12—13 / 24—25 ноября 1895. Париж*

*25 Ноября 95 г.*

Дорогой друг, ты имеешь право сердиться на меня, ибо я была nachlässig[1] по отношению к тебе. Я так невыносимо засуетилась за последние дни, что буквально времени не имела писать тебе. Моя жизнь проходит в такой работе, в такой эксплуатации каждой минуты, что я прихожу в отчаяние при мысле <так!> о том малом количестве времени, которое нам удастся уделять друг другу. Благодарю за твои два письма[2]. О последних стихах, представь себе, всё еще не могу вполне <дать> себе отчет, но, кажется мне, чем* более я их читаю, что они очень красивы и ритм их напоминает скользящую быстро и неустанно вперед лодку по гладкой струе. Что касается второго письма, то твое предчувствие моего недовольства справедливо. Меня в первом письме обидели две вещи: одна важная, другая более мелочная. 1) значит, уж не очень хотелось избегнуть поездки в Россию, когда ты даже не справился о возможности получения требуемого свидетельства в Берлине *тогда*, а *теперь* это оказалось вполне возможным. Зачем же ты скрывал от меня свое стремление к своей святой «невесте». Кстати, о ней и вторая обида. Я просила не называть ее мне иначе, как по ее имени, ибо тебе она более не жена, и даже не понимаю, где твое самолюбие называть женою невесту другого. Впрочем, да, ведь она свято бережет «честь семьи». Вот перл идиотизма — эта честь семьи в устах буржуазной матроны.

Вот когда уж пошло на объяснения, то упомяну, что для меня в твоих оправданиях относительно нашего «возможного» брака есть места крайне темные. Но споров подымать я не хочу: бумажка слишком розовая[3], да и мне слишком хорошо на душе.

* В оригинале: тем.

Милый, знаешь ли, отчего я давно не писала: кроме суеты, я пережила великий ужас. Мой бедный Козлик чуть не помер. У него сделался жар, и вечером он стал откидываться судорожно: я послала за Гольштейном. Он боялся скарлатины. Ночью сделался сильнейший бред и температура поднялась до 41°. Мы все трое сидели и рыдали всю ночь над ним, я была вполне уверена, что потеряю его и испытаю еще это горе. Но утро утешило нас. К утру страшный, мучительный бред унялся и ребенок заснул. А к вечеру жар спал. Оказалось, гастрический припадок. Теперь еще он бледен и устал. Кроме того, была у меня горячая полемика с обоими родителями и братом. Я много волновалась, и передо мною всплывала вся мрачная панорама моей мрачной молодости в нашей мрачной семье. Вчера Viardot сказала сама без вызова моего: vous avez fait des progrès[4]. Хочешь абонироваться на концерты в Passy в двух шагах: программа хорошая, больше классическая: скрипка, виолончель, рояль и голоса. 10 конц. — 30 фр. 1 раз в 2 недели. 1-й раз в пятн. 29-го. Отдельно билет — 5 fr. Я абонировалась. Сегодня я плачу с раннего утра: получила 16 страниц от брата[5], тронувших меня до глубины души; только несколько успокоилась, как получила приглашение на похороны Mr de Pompery[6]. Это была светлая душа, веровавшая свято в прогресс, почитавшая женщин, полная доброты ко всем окружающим. Он отрекся от своих богатых и аристокр<атических> родичей во имя своих демократических убеждений и умер, брошенный родными, на руках Mme Nugue и лакея гаденького пансиона, где хозяйка тащила с него живого, а умирающему даже полотенца, кипитку <так!> и т.п. жалела. Старик был ясен и смотрел бодро и оптимистично на мир до последнего дня. Я вспомнила все добрые знаки внимания и ласки, которые он мне оказывал, как он ежедневно спрашивал о детях и о моем пении, снабжал меня книгами и постоянно был полон внимания ко мне как к одинокой иностранке. И вспоминаю также, что не собралась еще посетить его, как собиралась со дня на день, так тяжко мне стало, и я рыдала долго и горько. Его смерть так трагична своим одиночеством, а личность его так ясна и светла. Где же теперь этот светлый дух, сотканный из веры в добро и чистого и неустанного стремления к нему? Я пошла к нему и видела его тело с прекрасною старческою головою. Черты облагорожены печатию вечного покоя, морщины изглажены. Сон сомкнул его очи. Но это не сон, нет, — это смерть. Эта голова с бледным восковым лицем лежит так тяже-

ло, так страшно неподвижно, и в этом покое выразился весь мрак и ужас уничтожения. Но где же дух? Неужели и он в этой безжизненной, тяжеловесной, недвижной форме, ожидающей в страшном онемении отв<р>атительное тление? Где легкий, прекрасный, крылатый и неугомонно стремящийся дух Человека-Бога? О милый, не может быть, чтобы это было всё, эта страшная форма, cette chose déstinée aux vers[7].

Я купила ему красивый венок искусственных роз и сирени. Но этим не ограничились волнения дня и потоки моих слез. Дуня была мрачна всё это время, и сегодня я вызвала ее на объяснение. Как я и подозревала, она тяготилась своим делом, и душа ее, провидевшая какие-то блестки света, рвется на свободу и на солнце: хочется дела, интереса, хочется пользу приносить и шире жить самой. Я много говорила с ней о мастерской — моей горячей мечте, осуществить которую мечтаю, лишь устроясь в России. Говорила, как умею, чтобы успокоить ее и дать терпение и осветить теперешний период ее жизни. Решили этою зимою пользоваться для лучшей подготовки себя для будущей мастерской. Как и всегда, мне удалось затронуть все нити, какие следовало, для того, чтобы заставить ее, улыбаясь, взглянуть на свою жизнь настоящую и с надеждой отнестись к будущему. Мы втроем потом много рассуждали о целях жизни, о демократизме и аристократизме, о пользе развитых женщин в рабочем классе и необходимости жертв в лице первых из этих нового типа женщин, каковы они обе.

Вчера была у Гольшт<ейнов>, и, представь себе, в голубой кофточке, кот<орая> «спустилась с неба». Она вполне застегнулась после того, как я упросила «обжору» улечься поскромнее и пониже. Кстати два анекдота: Гольштейн — мой горячий друг и знаешь, почему? Ал. Вас. мне сказала, что он говорил, что не знает на свете более кроткой, незлобивой и бесконечно доброй женщины, чем я, ибо он-де со мной вел себя, как свинья, а я даже не сержусь!! Зато он два раза обедал у меня и подает мне две руки. Да еще он вкупе с Ив. Мих. распространили про меня сплетню, что я крашу на губе черное пятнышко. По поводу этого я к радости узнала, что подобное пятно здесь считается красотою! Еще: помнишь резиновую куколку крошечную, купленную в S. Cloud для Веры. У нее оборвана рука, проткнут бок и стерта вся краска с лица, так что она слепая, и Костя ее почему-то упорно зовет Татаф Иваныч и даже ею бредил в болезни. Целую тебя, мой ми-

лый. Завтра жду ответа с квартирой. Прощай, дорогой, уже не надолго прощай. Не сердись на меня (А я сержусь и гневлюсь).

Твоя Лидия

Довольно ста фр...?

Конверт со штемпелями: Paris. 25 nov 95 — Berlin. 27.11.95.

[1] Неаккуратна (*нем.*).

[2] Имеются в виду пп. 146 и 147.

[3] Письмо и действительно написано на розовой бумаге.

[4] Вы прогрессировали (*фр.*).

[5] Среди писем А.Д. Зиновьева, сохранившихся в РГБ (Ф. 109. Карт. 21. Ед. хр. 3), такого письма нет.

[6] О ком идет речь, неизвестно.

[7] Эта вещь, предназначенная для стихов (*фр.*).

## 149. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*13/25 ноября 1895. Париж*

Милый, ты, наверное, недоволен письмом, начатым вчера и оконченным сегодня утром. Совсем надоело писать. Читаю книгу, которая 1) приводит меня в восторг, 2) напоминает тебя. И что же это может быть, что напоминает тебя? История музыки, пляски и поэзии — трех сестер в Греции. Как легко и радостно проникаю я в дух уравновешанный <так!> Эллинов с их богом Красоты, Жизнерадости <так!> и гражданственности — Апполоном <так!>. Автор доходит до того, что говорит мою мысль, мою мечту, мой идеал: тогда на земле будет идеал, когда Христос — Бог Любви — подаст руку Апполону — Богу Красоты[1]. Я прихожу в восторг от Греции, отзываюсь каждым фибром на их идеалы, а рядом с этим я чувствую в себе какую-то бесконечную силу любви и красоты и соединяю их в идеальном служении искусству и своим этическим мечтам в лице детей, девушек и их «сестер» и «братьев» слабейших. Но при мысле <так!> о Греции неизбежно витает надо мною твой образ, о мой милый Эллин, мой поэт античной красоты и соразмерности! Но ты, мой возлюбленный, более поклонник Апполона, нежели Христа, и я хочу взять на себя миссию подчинить тебя и этому второму Богу. Какая наглая, дерзкая особа! Но ничего, мой милый, как бы то ни было, а мысли мои с тобою и вокруг тебя, и я чувствую ту тесную, таинственную и могущественную связь между нами, соединившую нас malgré tout[2]. Связь, очевидно, теряющаяся во мгле пролетевших веков,

атавизм каких-то эллинических предков, которые там, в прекрасной Греции, когда-то любили в лучах и красоте! Вот, гадкий, тебе тему <так!> для стихотворения. Изволь написать.

А пока целую тебя и желаю, чтобы Афродита навеяла тебе сладкие сны любви и ласки.

Твоя Лидия.

С комнатой устроится, кажется.

Конверт со штемпелем: Paris. 25.XI.95.

[1] Ср. последнюю запись в дневнике Зиновьевой-Аннибал, цитированном в разделе «Интермедия»: «Последнее слово 30-тилетней жизни:

Вакх
Апполон <так!>
Христос

---

Опьяненный Энтузиазм
Красота и мудрое Равновесие
Любовь и милосердие.

---

(РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 4. Л. 110 об).

[2] Несмотря ни на что.

## 150. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*14/26 ноября 1895. Париж*

*26 Ноября 95*

Дорогой милый,

Всё продолжаю с ума сходить по своей Греции. Впервые поняла идею великого Бога восторга и природы — Диониса и его борьбу с уравновешенным Олимпом и зарождение трагедии, и вспоминаю Колизей в вечер нашего первого сближения в Риме. Мой автор упоминает о книге Нитче: О возникновении Трагедии в Греции[1]. Если у тебя ее нет, то купи мне ее. Я углубляюсь в характер миросозерцания Греков не из пустого любопытства, это не в моем характере. Меня приводит в восторг то, что я нахожу освещение и подтверждение философское своим верованиям и идеалам и я вижу смысл жизни лишь в умении найти середину между Вакханизмом и самообузданием.

Если твой Паульсен[2] не просто образовательно-развивательная книжка — вези ее. Кроме того еще что знаешь по истории

музыки или по «музыке» вообще — вези и то. Посылаю на расходы une ample somme[3].

Жду тебя со дня на день и потому рука не двигается по бумаге. Пою, пою, пою...

Твоя Лидия.

К письму приклеен конверт с неразборчивым парижским штемпелем, берлинский штемпель отсутствует.

[1] Имеется в виду книга Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1872).

[2] См. п. 146, прим. 22.

[3] Значительную сумму (*фр.*).

## 151. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*14/26 ноября 1895. Берлин*

*Берлин, 26 Ноября*

Скажи, пожалуйста, дорогая, что значит твое молчание. Я взволнованно жду каждый день твоего письма и не могу дождаться. Ты должна мне ответ на два мои письма. Здорова ли ты? Я недоумеваю и беспокоюсь. Успокой меня поскорее.

Я выеду, если удастся, в конце этой недели. В воскресенье простился с Гиршфельдом. Он примирился с моим отъездом и желал мне «glückliche Reise»[1]. Я сообщал тебе о своем намерении купить «Staatsrecht»[2] Моммзена. Ввиду безденежья, я решился было потом отказаться от этой научной роскоши. Но Гиршфельд сам спросил меня при последнем свидании: «besitzen Sie das "Staatsrecht"?»[3] и, на мой отрицательный ответ, посоветовал мне приобрести книгу. Это убеждает меня в том, что я был прав в начале, когда покупка представлялась мне необходимой, и думаю купить главное творение Altmeister'a[4]. В деньгах на все это у меня большой недостаток. Если можешь, пришли мне еще; если тебе это затруднительно, не присылай — обойдусь и так. Работа еще у меня в руках; приходится исправлять и дополнять много микроскопических мелочей. Она уже сброшюрована, и подать ее думаю послезавтра; теперь же иду в университет для предварительных переговоров с деканом. Время у меня все занято. Бегаю по библиотекам и рвусь в Париж. Главное же содержание внутренней жизни за последние дни — беспокойство по поводу твоего молчания и мучительное ожидание твоих писем.

Твой Вячеслав.

Фрагмент — История и поэзия. С. 355.
[1] Счастливого пути (*нем.*).
[2] «Государственное право» (*нем.*). См. п. 137, прим. 12.
[3] «У Вас есть "Государственное право"?» (*нем.*)
[4] Старого мастера (*нем.*). См. п. 137, прим. 22.

## 152. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*15/27 ноября 1895. Берлин*

*Берлин, 27 Ноября*

Получил наконец два (одновременно написанные) твои письма, гадкий, злой Володька[1], и в твоем долгом молчании вижу злую волю — и в свою очередь злюсь. Кроме элементов аполлинических и христианских, в твоем эллинском характере присутствует еще элемент эллинской Мегеры. Злость делает тебя и судебной ищейкой, и буквоедом, не хуже нашего брата-филолога. Но о буквоедстве не стоит говорить; что же до твоего желания уличить меня в неискренности по поводу дела о консульском свидетельстве, то твои инсинуации требуют опровержения. Как тебе достаточно известно, мне предлагали представить удостоверение консульства о моем *постоянном* пребывании в каком-нибудь заграничном городе. Такого свидетельства парижский вице-консул выдать не мог, а засвидетельствовать мое пребывание в Париже в тот день — согласился, но мне получение такой бумаги казалось бесполезным. Берлинский консул отнесся бы к моей просьбе точно так же: ибо теперь, когда я просил его, для большей верности, упомянуть в удостоверении, что я *постоянно* проживаю в Берлине, он мне категорически отказал. Следовательно, той бумаги, которой *тогда* от меня требовали, я и в Берлине добыть не мог. По приезде моем в Петербург, был снова возбужден вопрос о консульском свидетельстве, для передачи дела в петербургскую консисторию, и по справкам жены — pardon[2], первой жены моей — (охотно поправляюсь, потому что назвать тебя своей женой мне так же приятно, как поцеловать тебя, противный Володя!) — по справкам моей первой жены, говорю я, в консистории, оказалось, что там удовольствовались бы и удостоверением о моем пребывании за границей в данное время. Адвокат, напротив, все опасается, что даже ныне представленная мною бумага, где сказано, что я *проживаю* в Берлине и имматрикулирован в здешнем университете, будет недостаточна. Дело стоит вообще довольно неопределенно; но если бы раньше были наведены точные справки, то

б<ыть> м<ожет> поездки в Петерб<ург> можно было бы избежать. Во всяком случае, тот план, по которому я должен был оставаться за границей, принадлежит не настоящему нашему адвокату, а Болотову, ведущему дела весьма рискованно. Теперь я вижу, что поездка моя в Россию была очень полезна, как для успокоения моей бедной матери, так и для моего сравнительного нравственного успокоения. Я предчувствовал это и тогда, но желание [жить] не разлучаться с тобой подви<г>нуло меня к парижской попытке. Повторять подобную же попытку в Берлине было бы по вышеизложенной причине бесполезно. Да и пытаться не хотелось: ибо поселение на жительство [в Берлине] здесь лишало бы меня вместе и твоей близости, и нравственного успокоения, которое я мог вынести только из личного свидания со всеми людьми, чья судьба соединена с моею; сверх того, мне казалось, что, поселяясь в Берлине, я должен буду раскрыть карты перед здешним официальным миром и в течение всего скандального процесса, который будет вестись при участии здешних властей, быть предметом сплетен здешней русской колонии. — Упрек же твой в лицемерии перед тобою показывает, что ты не знаешь меня: ибо тот не знает меня, кто не знает моей гордости. — Впрочем, довольно. Вывешиваю белое парламентерское знамя — хочу мира. Почтительно целую твои ручки. Составляю свою латинскую биографию: как упомянуть о тебе?...

Твой В.

Придется по приезде в Париже остановиться все же в отеле? не правда ли?

Бедный Козлик! И еще больше жаль тебя, п<отому> ч<то> ты так перепугалась.

Чаще смотри на Татафа Иваныча[3]: это — символическое изображение того состояния, в которое ты приводишь меня своею жестокостью — хотя бы в последние дни, — своим молчанием, своей злостью, своей малой любовью. Рука у меня оторвана — я не могу тогда хорошо работать; проткнут бок — пронзено сердце; краска сошла с лица — я поражаю всех своей бледностью; я слеп — я не вижу солнца в небе и радости в жизни. Вот глубокий смысл Татафа Иваныча.

В.

[1] См. п. 134, прим. 17.

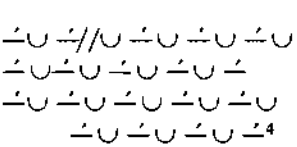
[2] Прошу прощения (*фр.*).

[3] См. п. 148.

## 153. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*17/29 ноября 1895. Берлин*

*Берл., Ноябрь 29*

Дорогая Лидия! Прежде чем выйти из дома, несколько строк тебе. Я очень обижен тобой. Ты пишешь: «впервые поняла идею великого бога восторга и природы — Диониса».... *Впервые*?! *Впервые* — при чтении твоего французского историка музыки?!! О, я несчастный! О моя несчастная Муза, которая поет перед глухой возлюбленной!... Для книги Nietzsche лучше будет тебе сходить со мной в Bibl<iothèque> Nationale. Впрочем, признаюсь. Твоей ample somme[1] я дам менее поэтическое употребление. Куплю первым делом «Staatsrecht». К сожалению, литературы по музыке не знаю: постараюсь навести справки. Работы все еще не подал. Все нахожу разные мелочи, нуждающиеся в исправлении, по десяти раз переписываю начисто свои прошение, биографию и пр. и вообще провожу жизнь, как ничтожнейший из ничтожных сынов мира[2]. Если не удастся подать диссертации завтра — завтра неприемный день, — намереваюсь сделать это в понедельник. Хлопотать очень мучительно, п<отому> ч<то> душа рвется прочь из всего этого — dahin, dahin[3]. Твои размышления о Греции и о нас и твой заказ стихотворения оплодотворили и забеременили мою поэтическую восприимчивость, и вчера меня неустанно преследовала (как со мной обыкновен<но> бывает) мелодия будущего стихотворения, пластического извне, а внутри — глубокого и пророческого; отдельные стихи являлись [в уме], на уста, но все оно, еще без слов, звучало в ушах и пленяло меня невыразимо. Вот его метрическая схема:



Это проникновение идеи, воплощающейся в ряде образов и *оракулов*, — проникновение, совпадающее с восторгом чисто музыкального характера, — есть, в [области] жизни моей Музы, восприятие, conceptio[5] будущего творения. Дальше наступает у меня обыкновенно более или менее продолжительный и пассивный период беременности, разрешающийся более или менее трудны-

ми [трудным рождением] родами. Платон говорит, что душа зачинает и проходит период беременности, как женщина[6]. Извини длинную болтовню о психологии своего жалкого творчества, которая притом задерживает меня, ничтожнейшего из ничтожных сынов мира.

Твой Вячеслав

Выеду *б<ыть> м<ожет>** в понедельник.

[1] Значительной сумме (*фр.*).

[2] Отсылка к стихотворению А.С. Пушкина «Поэт» (1827).

[3] Туда, туда! (нем.). — Из «Песни Миньоны» («Kennst du das Land» — «Ты знаешь край?») Гёте.

[4] Схема соответствует метру стихотворения «Голоса», вошедшего в «Кормчие звезды» (I, 570—571).

[5] Зачатие (*лат.*).

[6] См.: Платон, «Пир», 208e—209a-b.

* Подчеркнуто трижды.

# *ПЕРЕПИСКА*
# *1 8 9 6*

## 154. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*23 декабря 1895 / 4 января 1896. Женева*

*4 Янв. 96 г.*

Дорогой Вячеслав, только теперь нашла минуту, чтобы писать тебе. Уже 10 ½ вечера. Я стащила, как воровка, бумагу и чернила и села писать, когда отец улегся. Он читает письма, которые я пишу днем. Дорогой друг, ты не можешь сердиться за то, что я останусь до Вторника вечера, т.е. буду в Париже в 8 утра в Среду. Старик так тоскливо брошен, и так слаб, и так добр и деликатен. Он слова неприятного не говорит, и ухаживает за мною, как любовник, и всё вздыхает, что мне с ним скучно. Я счастлива тем, что приехала к нему. Что же касается тебя, я сегодня с серьезным страхом ощущала в душе признаки* того, как неразумно глубоко вкоренилась в мое свободное, т.е. порабощенное сердце любовь к тебе. Представь себе, что я тоскую, как влюбленная, тоскую до боли, до одурения! Но ведь это безумие! что же будет далее, когда мы расстанемся весною, и еще далее, когда вновь расстанемся, и так вплоть до златой поры Palermo и Англии... через 20 лет, когда, быть может, судьба сжалится и соединит нашу старость на долгий срок.

Словом, я глупа, ибо, очевидно, влюблена, как подобает лишь 18-тилетней девченке. Твой рыжий клок, безобразное лицо, маленькие глазки не дают мне спать, мой поэт, и, увы, даже стихов не могу писать в утешение, и не имею возможности развлекать часы разлуки визитами к... зубному врачу.

---

* Вписано сверху: the tokens[6].

Бедный, ты ворочил свой museion <?>[1] света? Хорошо ли учишься, хорошо ли спишь? Хорошо ли нашу семейку блюдешь? Твой обжора совершенно не стесняется в Женеве и выделывает неприличные salto mortale[2], а жилище свое расширяет и несколько уничтожает гармонию линий!

Прощай, гадкий! Я добродетельна и влюблена. O, heimliche Liebe, von der niemand weiss! Keine Kohle kein Feuer kann brennen so heiss[3]. Это я пела в нем<ецкой> школе, разумею любовь к Fr. Hedwig и к Вюртембергской королеве[4]!

Прощай, мой кит<айский> имп<ератор>, мой сол<овей> разб<ойник>, мой отвратительный р<ыжий?> гном. Veuillez, Monsieur, recevoir les assurances de ma parfaite considération[5].

Lydia Zinovieff.

Поклон Дуне, Ане, Сергуше, Вере, Козле и всей чепухе, которую я родила.

Idem.

[1] Мы не можем быть уверены в чтении, но, вероятно, это греческое слово museion — храм муз. В древности был известен Александрийский мусейон, один из центров культуры и науки античности. От этого же слова произошло и слово «музей».

[2] Сальто-мортале (*ит.*). Отметим, что Л.Д. употребляет это слово в единственном числе, хотя должно быть множественное.

[3] «О, таинственная любовь, о которой никто не знает! Ни уголь, ни огонь не могут так жарко гореть» (*нем.*). Начало (с перестановкой двух первых строк и некоторыми неточностями) известной немецкой народной песни.

[4] Судя по всему, речь идет о какой-то из немецких школ, где училась Л.Д. Объяснить имя Frau Hedwig и упоминание Вюртембергской королевы с полным основанием мы затрудняемся. Скорее всего, первая из них — начальница школы, находившейся в Вюртемберге.

[5] Благоволите, сударь, принять уверения в моем совершенном почтении (*фр.*).

[6] Памятные подарки (*англ.*).

## 155. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*Апрель 1896. Париж*

Eppure t'aspetto stasera; perché il momento che passa non sogno <?> mai più.

Vieni tu subito. Sono già stata da te, ma non t'ho trovato. Era stanca a morire, ma mi fa troppo male a viver senza te. Vieni. T'aspetta un buon pranzo: un brodo a potate e bistecca. Vieni.

Tua tutta Lidia

«Carte-telegramme» из Парижа в Париж с адресом: Madame Zinovieff 23 rue Singer. Passy. Штемпель весьма неразборчив, название месяца читается предположительно.

Перевод:

Еще жду тебя сегодня вечером; ибо больше не буду мечтать <?> о моменте, который проходит.

Приходи сразу же. Я уже была у тебя, но не застала. Устала до смерти, но слишком больно жить без тебя. Приходи. Тебя ждет хороший обед: картофельный суп и бифштекс.

## 156. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*12/24 мая 1896. Макон*

*24 Мая*

Дорогой Слава, пишу в Масоп. Весь день думала о тебе. Не знаю, что сказать бы тебе, чтобы передать ту нежность и любовь, которою полна душа. Всё мелко, ничтожно, всё исчезает перед моею любовью, даже слова, которыми хочу высказать ее. Я знаю, что и ты любишь меня также, я знаю, что счастливее нас нет в мире людей. Забудь же, Слава, всё, кроме долга и любви; мой дорогой, как хорошо было нам в эту ночь, я еще ощущаю тебя возле себя, как в Риме. Слава, не изменяй мне никогда! — Будь терпелив, дома поклонись всем от меня. Как я хотела бы, чтобы все любили друг друга. Твоя вся

Лидия.

Открытка с адресом: Monsieur Ivanov, 63, rue de Passy. Paris. На этот же адрес отправлены и все прочие письма вплоть до п. 222. На данном письме штемпели: Gare de Macon. 24 mai 96 — Paris. 25 mai 96. Макон — небольшой французский город недалеко от Лиона.

## 157. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*15/27 мая 1896. Женева*

*Женева 27 Мая 96*

Дорогой Вячеслав, расскажу в двух словах о концерте, прося тебя прочитать эту часть письма всей семье. Приехав в Женеву, застала Луизу[1], ждавшую меня с каретою. Я дорогою *чуть* озябла и поэтому немедленно простудилась. В понедельник на репетиции не могла взять la bemol в «Ночи»[2], а на другое утро едва го-

ворила и кашляла. Представьте себе мое отчаяние. Пролежала весь день в постели и лечилась у трех докторов: у себя, у Луизы, у отца — и всё зараз. В 5 ½ встала и начала одеваться, потом пришел куафер[1] и целый час причесывал. Отец весь день ухаживал за мною со всею нежностью и деликатностью и всем, бедняжка, мучительно волновался. В 7 часов одела при помощи Луизы платье и при отчаянной суете старика моего бросилась в карету. Не успели отъехать 100 шагов, как я вспомнила забытые серьги; чуть не плача и трагически причитывая, старик рысью засеменил к дому и принес серьги. Я не знала, как успокоить и благодарить его, и всё целовала его в лице и руки. Приехала к Спасó[4], где я спела еще раз «Ночь» и взяла la bemol. Оттуда в залу концерта[5]. За всё это время я не испытывала ни малейшего страха или волнения. Отец и собственные больно уж серьезные мысли, которые всегда сглушаются в Аїг'е, уменьшали значение концерта для меня. Только в минуту перед входом в залу больно сжалось сердце. Меня ввел на эстраду молодой женевец, очень милый; лишь только я ступила на эстраду и увидала громадную залу, довольно сильно полную, как всякий страх прошел, и я со спокойною уверенностью начала арию, с каждою нотою я больше и больше отдавалась музыке и жажде урвать <так!> за собою своих слушателей и победить их. Я допела первую часть и поднялись сильные аплодисменты и стук в пол, я поклонилась едва заметно и продолжала allegro. Кончив его, мне оставалось перейти к заключительной фразе: «Я как Божий посол.....», и вдруг мой аккомпаниатор спутывает страницы и знай играет то, что сговорились на репетиции пропустить. Я молчу, публика молчит, аккомпаниатор издает бессмысленные аккорды. Не видя спасения со стороны, я засмеялась, обратясь к публике, и спокойно подошла к роялю (довольно далеко позади), указала страницу и, смеясь, вернулась на место и докончила арию. Вызывали два раза. Романс пела *со всем* чувством, и мысли летели далеко. Была вызвана два раза. В сумме впечатления концерта оказались очень сильные и резюмировались в одном ясно прочувствованном и сознанном желании: театра. Упоение звуками в больших звучных залах, увлечение драматичностью идеи, передаваемой звуками, увлечение за собою сотен и тысяч людей, сцена или эстрада, блеск и рукоплескание..... словом, яд выпит и удержа более нет. Думала вчера даже о «Wille zur Macht»[6], звучавшей так мертво для меня в Париже. Впрочем, всё, всё, и даже это, даже высшая, наивысшая слава для

меня мертва и страшна, как гроб, если сердце холодно и одиноко, и здесь, как везде и всегда, я прежде всего самая простая, самая слабая из всех женщин мира.

Отец во всё время, когда я не пела, был около меня, и мы торжественно восседали на эстраде рядышком — он со своею длинною седою бородою, высокий и представительный, я в своем ослепительном туалете декольте и в брильянтах. Когда я пела, старик убегал в залу, чтобы лучше слушать. Все русские и швейцарцы — друзья его были там.

Вернулись домой в 12 час., и тут только вспомнили, что мой старик постничал весь день заодно со мною, точно и ему было петь. Вместе поужинали дома. А сегодня до часу дня он забыл просить обед, и Луиза пришла к нам и, дразня, сказала: on ne vit que d'amour et d'eau fraiche depuis le concert[7]? Забыла сказать, что принес мне мой кавалер, когда пришел за мной, чтобы увести с эстрады, великанский букет от устроителей. В пятницу меня пригласили на торжественный обед во фраках здешние друзья отца — женевские аристократы, и должна буду петь в их салоне. Поэтому 1) отложила до субботы вечера свой выезд и во 2) оттого, что до сих пор, кроме суеты и муки, старику ничего не доставила. Он ни ночью ни днем не мог спать и совсем с ног сбился. Буду на gare de Lion[8] в 6 с чем-то (потеряла guide[9]) и прошу не выезжать навстречу. Лучше ты, Вячеслав, приди в восьмом часу к нам и жди меня дома, иначе тебе придется встать раньше 5-ти утра.

Детей всех нежно целует дедушка. Сережа бы докончил ему картину или карту прислал бы, а Вячеславу он другую нарисует.

Целую Верушку и Костика, Аню, Дуню и Шарлотту. Тебе еще пишу отдельно два слова.

Твоя Лидия.

Отец сам телефонировал мои телеграммы.

[1] Экономка и, видимо, любовница Д.В. Зиновьева.

[2] Имеется в виду ария Вани из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» (ниже цитируется строка из этой же арии: «Я как Божий посол»).

[3] Парикмахер (от *фр.* coiffeur).

[4] Петр Иванович Спасовходский (Spassowhodsky; 1844—1899), организатор концерта. Жил в Женеве с 1875 г., был певчим в русской церкви и преподавателем пения.

[5] Приведем существенные сведения о концерте в соответствии с программой, сохранившейся в бумагах Зиновьевой-Аннибал (РГБ. Ф. 109. Карт. 50. Ед. хр. 10): он проходил в «Grande salle de la Réformation» 26 мая в 8.30 вечера, был благотворительным (как сообщала газета «Journal de Genève» в этот день: Festival russe au bénéfice de l'Hôpital des enfants malades et d'une œuvre de bienfaisance russe) и назывался «Боль-

шой русский праздник под руководством г. Пьера Спасовходского» с участием певиц Л. Зиновьевой и М. Саченко-Сакун, арфистки Ивонны Ардель, виолончелиста М.А. Авьерино, пианиста Вилли Реберга, скрипача Альберто Бахмана и флейтиста Ивана Белова. Зиновьева-Аннибал пела упомянутую в письме арию Вани и романс Чайковского.

[6] «Воле к власти» (*нем.*). Название книги Ф. Ницше.

[7] После концерта живут только любовью и холодной водой? (*фр.*)

[8] Лионский вокзал (*фр.*; название города Л.Д. пишет с ошибкой, следует: Lyon), один из парижских вокзалов; находится на противоположном конце Парижа от Пасси, где жили и Иванов, и Зиновьева-Аннибал.

[9] Путеводитель (*фр.*).

## 158. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*15/27 мая 1896. Женева*

*Женева 27 Мая 96*

Дорогой Слава, всего два слова. Не могу сказать больше, т.к. дум слишком много, чтобы выразить их письменно. Хочу говорить: «уста в уста».

Всё сердце мое — твое, и тоска по тебе так сильна, что каждая минута, каждый час здесь для меня ***страдание****. Пойми поэтому, что отложить отъезд — почти героизм для меня. Тревога и тоска гложут меня, и ты, только ты один можешь утишить боль моего слабого женского сердца. Я знаю только одно: твоя любовь — это воздух для меня, и когда окончится она, жить станет невозможно. О, Слава, я знаю, что ты любишь меня всею страстью и всем сердцем, но меня стращит пока неразумный и бессмысленный ужас, что ты *можешь* разлюбить, и что тогда? Видишь ли, Д.М.[1] здоровая женщина, *всю жизнь не знавшая горя*, я — разбитое существо, которое всё содрогается при одной мысле <так!> об одиночестве. Выдержать горя я более не могу и прошу тебя, как милости, об одном: если настанет час, когда ты должен будешь сказать мне те слова, какие говорил Д.М. во Флоренции, вернувшись из Рима, — убей меня раньше или скажи просто: я тебя любил, а теперь убейся.

Прости мне все мои страхи, я была сильна, но я слишком страдала. Ну, довольно. Будем любить, пока любится.

О, Боже, если бы была вечная любовь, о, безумная жажда моего сердца — вечной любви. Когда я говорила иначе, говорили

* Подчеркнуто трижды.

уста, а не душа моя. Цельного, вечного, и жгучего, и доброго — вот чего хочу от любви.

Милый, мы так любим, не правда ли? Не осталось ни одного слова в ушах моих из всех бешеных речей бешеной Ал. Вас.[2], но осталось общее мрачное впечатление, точно я дошла до креста какого-то и узнала свой, могильный. Точно ворон каркал над моим счастием. О, друзья! не надолго, а навсегда я отрекаюсь от тех. Жестокие, бездушные друзья!

Мой возлюбленный, я твоя, и нет и не было в душе моей сомнения. Ты мое счастие, моя жизнь, мой воздух, моя улыбка, моя молодость, моя краса, моя вера, мой друг и возлюбленный.

Твоя Лидия.

Боюсь <?> даже по-русски писать на адресе о передаче тебе. Отец может прочитать.

Завтра нашей крошке Пантерине минет месяц[3]. Поцелуй и от ее бесконечно любящей ее матери.

Бумага сложена и на оборотной стороне написано: Вячеславу Ивановичу. Вероятно, было вложено в тот же конверт, что и п. 158.

[1] Дарья Михайловна Иванова.

[2] А.В. Гольштейн.

[3] Подразумевается дочь Иванова и Зиновьевой-Аннибал Лидия; мать зовет ее «Пантериной», т.е. «маленькой Пантерой», используя правила словообразования итальянского языка.

## 159. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*18/30 июня 1896. Дижон*

*Dijon 30 Juin. Открытка в Париж*

Слава, что ты делаешь, как чувствуешь себя? Спал или работал. Я — твои часы, ты слушал, как они бьются. Доехала лучше, чем боялась, т.к. от чрезмерной усталости, сидя, почти спала всё утро. Потом читала Бедекер[1] и нашла место за 2 часа от Gryon[2]: деревня La Croix на Col de la Croix 1700 m. Попытаюсь. Быть может, завтра выеду в 5 час утра. Думала и об Оберланде[3] и читала, но решила раньше отдохнуть, теперь совсем не в силах идти на риск. Измучена <так!> и тело и мысль, жива только одна любовь к моей Славе. Учись, мое золото, будь умник и помни, что нет кровинки во мне, которая не отдавалась тебе. Не знаю, как ты скажешь девушкам об этом письме, если да, то поклон им горячий, поцелуй больших детей и Пантерину. Твоя Лидия.

Открытка. Штемпели: Gare de Dijon. 30 juin 96 — Paris. 1 juil. 96.

[1] Популярные путеводители, выпускавшиеся фирмой K. Baedeker.

[2] Небольшой городок (в то время скорее деревня) в швейцарских горах на высоте 1114 м над уровнем моря.

[3] Berner Oberland — горный район Швейцарии со знаменитыми вершинами, в том числе Юнгфрау.

## 160. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*19 июля/1 июля (?) 1896. Лозанна*

Дорогая Слава! вот уже я волнуюсь и тоскую, то глухо, то страстно. Воздух гор, кот<орый> я пила ночь и утро в Vallorbe[1], опьянил меня, а озеро у Lausanne[2] захватило сердце с жуткою властью. Дорогой, я так ужасно создана природою для любви! я не могу, не могу жить одною! И вот я строю мечты, которые слегка утишают боль в груди: я мечтаю вызвать семью, и тебя, и Пантерину со свитой и поселиться с тобою в отдельном chalet[3], чтобы ты был в полной тишине и... изменить Парижу еще на месяц и затянуть дебют до Октября. Оперы выучить или в Милане или в Париже в *4 недели* — в Сентябре? *Я хочу*, чтобы ты дышал этим воздухом. Безумие чахнуть в духоте. Мы на годы наберемся сил. Посылаю новые часы на поезде <?> через кондуктора: прямо из Pontarlier[4]. Полюбишь ли ты их? Они мне не понравились сначала, а потом я влюбилась в них: <1 нрзб> *единственных* часов. Черно-золот<ые>. <2 нрзб> ты мне подарил *крошечные* черные с теми же буквами и с тем же девизом.

Твоя Лидия.

Телеграф был закрыт и вчера. Целую как люблю.

Открытка с типографски отпечатанным адресом: Hôtel Terminus et Buffet de la gare, Lausanne. Парижский штемпель: 2 juil. 96.

[1] Небольшой городок в горном массиве Юра на пути из Дижона в Лозанну.

[2] Лозанна находится на берегу Женевского озера.

[3] Шале, небольшой домик (*фр.*).

[4] Французский город недалеко от швейцарской границы.

## 161. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*20 июня / 2 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*2 Июля 96*

Дорогой Слава, как живешь? что думаешь? любишь ли, как тебя любят? Часы получишь не сегодня-завтра. Очень боюсь, что

они тебе не понравятся. Чем дальше я от них, тем страшнее, что ты их найдешь и grottesques[1] и безвкусными. Но пойми, что здесь не дело обычного вкуса. Они имеют вид каких-то дедовских, старых, и на них точно отпечаток личности. Метал <так!> желтый не изменяет цвета. Часы этого вида стоят дороже обыкновенных серебряных, так как в них особенно хорош механизм, и за него магазин отвечает 3 года. Уж подъезжая к Pontarlier, я узнала в Бедекере, что Vallorbes известен часами, и я решила ехать ночевать туда. Утром купила часы тебе и от тебя мне. Нравится ли тебе девиз? Мои часы миньятюрные, черненькие, как носят на груди прикрепленными к брошке. За тобою еще брошка! Как ты обходишься без часов. Что ты ешь по утрам. Ешь два яйца всмятку или вели себе жарить *горячую* котлетку (ведь она стоит всего 6 су!), зато у тебя будет горячее мясо, и тогда ты обойдешься до 6 часов тартинкой. Но если это плохо, то, ради Бога, ешь хорошую порцию в buvette[2] или в ресторане. Помни, что если я покоряюсь твоим желаниям и лечусь, как того хочешь ты, то и ты должен слушать меня. Теперь я в Gryon. С порядочною усталостью добралась сюда вчера вечером и побегала за комнатой с 7 ½ до 9 часов. В пансионах меня не принимали. Частных комнат, по словам местных, совсем нет. И, наконец, через лавочницу «всего на свете» нашла крестьянский дом, в котором свободны 3 комнаты. Взяла одну, небольшую, раза в три больше той под Brevent[3]. Два окошка с видом из одного в огород, из другого на красивую панораму снежных гор. Сегодня с утра устраивала хозяйство и не тосковала в хлопотах. Теперь на стене в полотенце висит большой окорок. На столе под другим полотенцем крижица <?> с молоком, плитка шеколаду, ломоть простого хлеба, яйца и кофе. К 11 часам сготовила завтрак на спиртовой лампочке для завивки волос (хорошую забыла, также и кастрюлечку, которую получила взаймы от магазинщицы: здесь нельзя купить). Ела молочный суп с овсяной мукой с вбастанным яйцем <так!> и кусочик <так!> сала с хлебом. Ела, и тоска нашла. Села писать, чтобы облегчить ее, несмотря на то, что после еды тотчас почувствовала страшную слабость и утомление. Бурже[4] кончила и очень им недовольна. Но вчера думала дорогою о М.....* и поняла, почему он не любил первую жену и не может любить Елену[5]. Такой человек не может отдаться любви, т.к. ничто не готовит такие муки, как глубокая любовь. Я это

* Точки Зиновьевой-Аннибал.

испытываю теперь со страхом и болью. Разлука томит на неделю, на месяц, а, быть может, она предстоит навсегда. Нет. Любить может только смелый, а трусу лучше etwas <1 нрзб>. Ну, а я люблю, люблю, люблю. Целую страстно и нежно. Завтра получит письмо Сергуша. Поцелуй его. Потом получит Верушек, потом Козлик. Купите ему une boîte botanique[6], а перед отъездом надо всех трех им снабдить: зеленые ящики через плечо. Пантерку целую: ей рано ящик. Что скажешь о моих планах жить здесь дальше с тобою и всеми? Целую тебя, еще и еще.

Твоя Лидия.

Адр<ес> poste restante.

К письму приклеен конверт со штемпелями: Gryon. 2.VII.96 — Paris. 3 juil. 96.

[1] Гротескными (*фр.*).

[2] Буфете (*фр.*).

[3] Высокогорный район во французских Альпах рядом с Шамони.

[4] Поль Бурже (1852—1935) — французский писатель.

[5] Видимо, имеется в виду некий персонаж из романа «Пламенники», над которым Зиновьева-Аннибал в то время работала.

[6] Буквально: «Ботанический ящик» (*фр.*). Вероятно, какие-то коробки для собирания гербариев.

## 162. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*21 июня / 3 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

Дорогая Слава! пишу тебе, чтобы сказать, что люблю тебя, и вчера думала, что до того даже люблю, что если ты разлюбишь меня, я не скажу тебе, что для меня весь мир поблек и что вокруг меня мрачная темница, что горы провалились и солнце потухло!

Я люблю тебя больше себя, и хочу тебе счастия и радости, но ведь ты не можешь разлюбить меня. В нас одна душа, одна кровь течет. Славушка, тобою я жива, мое сокровище, мое солнце, мой воздух.

Вчера к вечеру ходила гулять, чувствовала себя бодрее и всё время думала или, вернее, жила в своей повести. Писала бы всю ночь, но отложила до сегодня и опять верю в талант и призвание. Мои герои ожили, и я живу по очереди в каждом из них. Вчера я думала, что не удивилась бы встретить их группу. Как твоя работа, Слава? как на твоей душе. Утешайся тем, что мне хорошо здесь физически. Сегодня спала 11 часов и свежа. Если начну писать,

то отойдет тоска, это я чувствовала вчера, глядя на потухающие вершины. Целую тебя, видела во сне (честное слово) рубчик.

По дороге из Бедекера узнала, что почта в Gryon идет из *Bex*, следующей станции за Aiglon. <Фраза нрзб.> Целую, целую, люблю, твоя.

Датируется по содержанию п. 163 (данное записано на розовой бумаге) и конверту со штемпелями: Gryon. 3.VIII.96 — Paris. 4 juil. 96.

## 163. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*21 июня / 3 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*Gryon sur Bex. 3 Июля 96.*

Дорогой Вячеслав, розовое письмо[1] было написано утром, а пообедав, я надумала сегодня же настрочить и это. Дорогой друг, здесь в тишине мои мысли стали особенно ясны и глубоки, как ясен горный воздух вокруг, как глубоко это небо. Милый Слава, наше положение по отношению друг к другу и по отношению к свету стало мне очень ясно, и главным образом благодаря вот чему: до сих пор у меня нет того, что мы ждали давно, и я очень, очень думаю, что я опять беременна. Дорогой друг, наша любовь для меня предмет такого высокого культа, что ни единой минуты ни перед собой даже в глубине души не поднялся во мне ропот на судьбу. Но мысль о новой беременности, о новом дорогом ребенке нашей неостывающей страсти — заставила меня как бы остановить на мгновение свой быстрый и энергичный путь вперед и — осмотреться. Как жаль, что я не могу лично сказать всё, что так ясно чувствую. С одной стороны, это семья, начиная с Сергея и кончая младшим, еще загадочным.

Семья никогда так не заботила меня, как теперь. Никогда не чувствовала я всем существом всей глубокой важности своей роли перед нею. Прежде всего я мать — опора, источник радости и счастия этим четырем, может, пятерым детям. Они все беззащитны, и я вольна сделать их счастливыми и глубоко несчастными. Ты, так же, как и я, опытом этой зимы пришел к тому же, мой Вячеслав, и это показывает твое твердое и неоднократное заявление, что ты остаешься в Париже *для семьи*. Но твой путь ведет тебя шире в жизнь, твой долг иной, дань, которую ты платишь, — твой труд ученого и поэта. Твоя роль в семье также иная. Я же, мой

Вячеслав, прежде всего женщина — жена и мать. Мечты карьеры вне семьи всегда были допускаемы мною лишь если эта карьера не шла во вред детям, а теперь и мужу. Здесь я приблизилась ко второму пункту: моему здоровью. Оно *очень* расшатано, и нигде так ясно не чувствуется это, как здесь, в одиночестве и тишине. Я слаба так, что страх берет. Обе эти причины, которые, в сущности, сливаются в одну, обязывают меня на первый план поставить свое здоровье для детей и для тебя. Если я беременна, то тем более лучше всего было бы перевезти всех сюда, и тогда, Вячеслав, наш союз не может более оставаться тайною. Я твердо заявлю о нем моей семье и попрошу самых энергичных мер для развода, вернее всего — отступное приличное г-ну Ш<варсалону>. Второй ребенок совсем меняет наш союз в глазах других: он уже не связь, которая хоть и зло, но лучше брака, он брак, но вне брака, и поэтому все усилия будут употреблены к его узаконению. Что касается визита Ш<варсалона> к детям, не лучше ли такой план: прервать с ним сношения, не допускать его к детям, грозить экспатриацией[2] семьи с одной стороны, и подкупать его с другой, если развод дастся им добровольно. Тогда даже обещать и свидания с детьми на честном слове. Таким образом я буду свободна соединить семью и жить честно и открыто. Вячеслав, ***иначе я не могу!**** C'en est trop[3]! Я не могу, не хочу и не буду! Я хочу сделать так: выписать всех, *и дорогую, маленькую, невинную, обожаемую Пантеринку* (непременно) сюда. Здесь они все проживут за гроши Август и Сентябрь до холодов. Затем на Октябрь соедут <так!> ниже в дер. Treriéres <?>, где есть у меня в виду теплый с печами дом у той же хозяйки, что и здесь. В обеих деревнях хорошие школы: *язык отличный* у крестьян. Хозяева всё устроят девушкам, а воздух даст всем силы на много лет. Здесь их можно без опаски оставлять одних, здесь чудно отлучить Пантеринку. Ведь нельзя же ребенка бросать на Дуню до Ноября или Декабря в Париже. Что касается меня, то я или еду в Сентябре в Париж на 4 недели и в Милан, где понемногу найду им помещение, или (если я бер<еменна>) остаюсь с ними, чтобы иметь силы носить, родить и ростить <так!> будущее дитя.

Дорогой Вуня, я опять легла и опять встала. О, Вуня, сегодняшний день показал мне, что я более никуда не гожусь. Я вся сгорела, и осталось от сильной, энергичной женщины беззащитный больной ребенок <так!>. Так и знай, Вуня. О, если б ты был

* Подчеркнуто трижды.

здесь, но я одна, я хотела плакать, и вдруг на меня нашел такой ужас, что я почувствовала точно приступ безумия и в страхе бросилась из постели к перу. Проклят тот час, когда я покинула тебя и семью в Париже. Как могу я родить и ростить нового ребенка? Слушай, я могу, но знай, как. Если я тихо и любовно, как больное дитя, буду жить в любви и нравственном покое и твердой защите. Тогда еще может светить моя душа и любовью согревать окружающих. Но жить самой, бороться, стоять смело одна — я не могу, и никогда смерть не казалась столь желанной, как теперь. Выпить бы яду и заснуть навсегда. О, мой милый, я так больна душою, о, я так слаба. Любви, тишины, защиты.. ни слова резкого, ни громкого звука.... Ха-ха... хороша тебе досталась жена. О, Вуня, я страдаю.

*Утро.*

Дорогой Вуня, я не спала более 2-х часов, и вчера ничего не ела, и сегодня не могу проглотить ничего. Милый Вуня, я мечтала о нашем Париже, глядя на эти проклятые горы. Если бы я была там, я пришла бы в твою комнатку, и скользнула бы утром рано в твою теплую постель, и прижалась бы к тебе, и тогда все страдания кончились бы. О, как мне худо! Если бы дети не были в дороге, клянусь, я приехала бы в Париж и явилась бы к тебе. Невыносимо мне, невыносимо, и мысль о приезде детей не радует. Ничто не может обрадовать вне твоего присутствия. Видишь, я писала тебе, что страшно любить так, я знаю, что эта любовь убьет меня. Прости, что я бранила тебя; конечно, ты хотел сделать, как думал лучше, но я сама не понимаю, почему меня так ударило твое решение. Я не знаю, что со мною, я совсем невменяема уже давно, давно, а со вчерашнего дня — это безумие какое-то. Я только живу, когда пишу. О, к чему так страдать. О, к чему разлука, пока ты любишь меня... Я плачу, я не могу терпеть.

Мне всегда худо, когда я долго сдерживаюсь и пытаюсь себя победить. Я сама не умею считать свои мучения. Должно быть, с рождения девочки я их невыносимо много перенесла, и надо было этот толчек вчера <так!>, чтобы про́пасть в душе раскрылась и поглотила всё спокойствие, весь corragio[4]. О Боже, Слава, я хочу тебя видеть. К чему меня мучать. Стоит же чего-нибудь моя жизнь или, напротив, если я могу жить только a danno degli altri[5], почему же не уничтожить себя. Не могу я стоять одна, смело в жизни, не могу даже тебе помощницей быть, но если я могу доставить

тебе радость, зачем бросать меня. Я ничего не вижу, потому что всё плачу. Я так устала лгать и скрываться. Я хочу тебя и девочку, или я умру, умру. И не стоит меня уговаривать, всё напрасно. Я живу лишь ощущениями, а не разумом, и каждый раз, когда я пыталась отдать себя во власть разума, каждый раз кончалось подобным фиаско. Зачем, зачем я уехала... Что мне делать, если бы только увидать тебя и потом умереть. Конечно, ты разумно делаешь, что остаешься... и, конечно, если бы ты приехал, то я устроила бы тебя в нашем же доме в светелке и только до его отъезда не стала бы спать вместе. Но, конечно, он мог бы расспрашивать, а я хочу, чтобы тебя признавали моим мужем, а если он будет говорить о «своих» детях, то все могут узнать, что я с ним разведена, уже по тому, что он является только к детям и ты со мною. Делай как знаешь, Вячеслав, помни только, что я тебя люблю и только тобою жива, и что я так слаба и измучена душою, что мне надо действительно, физически опираться о твое плечо.

Спешу отослать это письмо, прости меня, не сердись... о, кабы я не жила. Когда я думаю о своей ужасной, несчастной семье, то отчаяние берет. Все в разных местах: одни по дороге, одинокие, бегут от врага, другая брошена в Boulogne за сотни верст от матери, ты в своей мансарде холостяком, и все тебя считают холостым, я здесь с новым ребенком в себе. О Боже, неужели можно так жить. О ради Бога дай мне мою девочку, дай мне сознание и опору семьи, связной и твердой. Я умираю с тоски и отчаяния. Зачем мне ехать в Париж. Я петь более не буду. Разве я могу петь, когда в Феврале у меня родится ребенок. Если дотяну до тех пор, то здесь останусь, только рожать надо в Париже, чтоб записывать ребенка. О Боже, Боже...

Но, Слава, скрывать долее я не могу. Наш союз слишком важен и слишком свят. Mme Holstein могла советовать молчание, т.к. надеялась, что всё скоро кончится, но, друг мой, перед детьми нашими и перед собою мы связаны. Сама природа благословляет наш союз. Что касается сцены, мой Слава, пусть люди думают, что хотят, ты да я знаем, как я работала всеми силами, добросовестно, как мечтала, но чему не суждено, тому не бывать, надо быть смело и энергичной <?>, но не упрямой и жестокой. Впрочем, будущее еще неясно.

Вся полная любви и страсти, вся слитая с тобою, остаюсь я твоею подругою и женою

Лидией.

Передняя сторона конверта от данного письма наклеена на л. 163.
[1] П. 162, написанное на розовой бумаге.
[2] От *фр.* expatrier — высылать за пределы родины.
[3] Это слишком! (*фр.*)
[4] Мужество (*ит.*). Отметим, что по правилам данное слово пишется coraggio.
[5] Во вред другим (*ит.*).

## 164. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*21 июня / 3 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*3 Июля*

Представь себе, Славинька, что я пишу тебе третье письмо сегодня. Вот что значит тоска! А ты не пишешь. Я не сказала тебе, но ты сам бы догадался писать Gryon, poste restante! Я совсем брошена. Милый, долго я не выдержу. Здесь очень хорошо. Комната чудная, горы вдали синие со снежными вершинами, по склонам, точно видения, тихо несутся тучи, вблизи горы так удивительно мягко и ясно зелены, как мы не видали осенью, трава пышна и вся в цвету. На горе, куда я забралась в несколько приемов, козочка пришла и, встав на задние ножки, уперла передние в мои колени, и лизала мне руку, и тихо блеяла, и грустно и удивленно смотрела мне прямо в глаза. Милый Слава, в письме ничего ясно и до конца не скажешь. Читай между строками, дорогой, и скажи свое мнение. Если я не беременна, то могу с тобою вернуться в Париж в половине Сентября, даже до конца, пожалуй, могу остаться. Во всяком случае, ты ничего почти не потеряешь денежного, если приедешь, т.к. еда там очень дорога. Но если только здесь тебе хуже заниматься? Тогда, конечно, вернусь, как только ты позволишь, т.к. уже теперь мучительно рвусь к тебе. Но если я беременна? И что почти наверное, т.к. мои месячные обыкновенно никогда не запаздывают? Напиши всё, как думаешь. Здесь внизу 3 комнаты: в большой посередине спала бы Пантерина с Дуней, Сергей и Вера. В одной боковушке Анюта с Козленком, в другой Charlotte и мамка. Наверху, по крутой, крутой лесеньки <так!> есть светелка для нас.....

Я очень глупо пишу, т.к. горный воздух как-то пьянит меня. От него голова кружится. Говорят, что здесь много народу, но я никого не вижу. Когда приду с горы и войду в свою просторную комнату, так тоскливо станет, что беда моему сердцу.

Дорогой друг, кончаю; со вчерашнего утра написала 9 *длинных* писем и 4 коротких. 1) Яковл<еву?ым?> 2) Иващенко <?>[1],

3) маме, 4) папе, 5) брату (план грозить мужу отказом свидания и подкуп его) 6), 7). 8), 9) тебя <так!>, а уж откр<ыток> не помню 1) маме, т.к. забыла поздравить, 2) часовщика, 3) на почту и т.д.

Когда напишу Симе[2] — то сяду за роман. Да, письма меня убивают. А тебе писала бы да писала, хоть и рука не движется. Запрети мне, Вуня.

Целую, обнимаю, прижимаюсь, и еще целую, и еще.....

Твоя всецело

Лидия.

О, часы, часы, когда я узнаю о них.

[1] См. ниже, п. 183.

[2] Родственник Зиновьевых, служивший в Комиссии прошений.

## 165. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*21 июня / 3 июля 1896. Париж*

*3 Июля 96, вечером.*

Милая, возлюбленная девочка! Как я рад, что получил наконец твой адрес и могу писать тебе — что́ и делаю непосредственно по прочтении твоего письма[1]: стосковался я по возможности общения с тобою, хотя бы лишь письменного... Милая, милая девочка, отчего же ты так поспешила устроиться в Gruon и почему не попытала счастья в других местах, быть может, более привлекательных, например, в этой подоблачной деревне La Croix[2]? Неужели виной тому все этот твой фантастический план поголовного нашего переселения в твои höhere Regionen[3]?.. Милая, это страшно дорого и непрактично, сильно помешает моим занятиям, которым я предаюсь с упоением, помешает также занятиям детей и не принесет им пользы, потому что швейцарским воздухом надышаться они успеют и по твоем возвращении, а Пантерине и без того хорошо, и Анюта, которая сегодня была в Boulogne, находит ее и потолстевшей и зарумянившейся; наконец, и твое пение пострадает от осуществления твоего плана, выдуманного решительно во вкусе ассирийских или древнеперсидских царей, которые любили по своей фантазии переселять из страны в страну целые племена... Дорогая Мэнада, не сердись за мою критику твоих проектов, потерпи разлуку и одиночество, предайся жизни исключительно растительной и подари мне самое дорогое, что́ ты можешь дать мне после своей любви, — свое здоровье!

Дорогая возлюбленная, если бы ты знала, как я тебя люблю, как все мысли мои, свободные от моей работы, посвящены тебе, тебе было бы светло, и тепло, и уютно и в твоей одинокой светелке, окно которой смотрит в огород... Итак, моя девочка, не думай пока о семье и поищи для себя местечка получше. Поезди по окрестностям и пожертвуй, в случае [нужд<ы>], если найдешь что-нибудь по сердцу, маленькими издержками, как, напр<имер>, [оплаченной] отданной вперед квартирной платой. [Милая] Дорогая милая, благодарю тебя за депешу и ласковые строки, которые мне дали много счастия, и за таинственные часы с таинственным девизом, которых жду с нетерпением, и за то, что ты купила себе от меня часики и написала на них тот же девиз... Это ты сделала так *хорошо*, так *хорошо*!... Жаль только, что ты купила мне не черные часы, как себе, — [жаль, что] я тебе не сказал, [об этом] что люблю черное... [Я не видел еще твоего подарка, который уже люблю] Впрочем, не думай, что мне не нравится твой подарок, которого я не видел еще и который уже люблю заочно за то, что он твой, да еще «личный», да еще с твоим инициалом и девизом; притом я верю твоему вкусу. Как бы ни были, однако, красивы и дороги мне эти часы, они будут не *настоящие мои часы*, а только подобие и замена этих последних. Хорошо ли бьются, не отстают ли мои *настоящие часы*, которые я слушал и целовал в ночь перед нашей разлукой?.. О милая, если бы ты знала, как ты *дорога* мне, как ты составляешь *самую дорогую* для меня часть меня самого! Я живу теперь скрепя сердце, думая только о деле, наполняя пустоту душевную образами истории и бескорыстными, нежными, тихими мечтами о твоей одинокой жизни, о твоей крестьянской комнатке, о твоей девственной (*NB*) постели, о твоем здоровьи, о твоем благе. — *По*крепись, дорогая, не *за*тоскуй...

Твои две картолины из Лозанны испугали нас...[4] Будь терпелива, разумна, лижи свой окорок (!) и вегетируй...[5] Милая возлюбленная, какие непоэтичные письма мы пишем теперь друг другу! Ты также так заботливо и длинно распространяешься о моих жареных котлетках и яйцах всмятку! «Всему свой миг»[6]... А впрочем, этот реализм семейственного характера вовсе не идет против моего вкуса и, главное, не беспокоит меня за пылкость нашего [настоящего] чувства в настоящий момент. Я вижу это из того, что, как бы реалистично я ни писал тебе, [моя] для меня *потребность* писать о *тебе*, или *о моей любви к тебе*, и мне трудно начать говорить о чем-нибудь другом, хотя я и знаю, что ты живо интересу-

ешься всем, что́ я сообщил бы тебе о семье и Сереже, и своих встречах и занятиях, и распределении времени и т.д. Мне хочется писать тебе, но хочется писать лишь одно, что я *люблю, люблю, люблю* тебя и что эта любовь — самое важное для меня в моем внутреннем мире. А пока наши письма диктует это влюбленное биение наших сердец, тогда еще

«в них есть любовь, в них есть язык»[7].

Кажется, все, что я набросал тебе, написано очень нескладно; но я не хочу больше писать тебе складно. А теперь иду на почту, чтобы письмо ушло завтра рано утром и ты поскорей получила его.

О, как я счастлив твоей любовью!

Sono felice. Sto studiando. T'amo[8].

Весь твой

В.

Часы мне ссудила Анюта. Твои золотые поправляются за 4,50 fr<ancs>[9]. В семье все идет превосходно. Будь здорова. Есть ли в Gryon доктор? — Целую твои *колени*.

Помета карандашом (возможно, не рукой Иванова): «Gryon, poste rest<ante>» (Грион, до востреб<ования> — *фр.*).

[1] Имеется в виду п. 161.

[2] См. п. 159.

[3] Более высокие местности (*нем.*).

[4] Имеются в виду действительно написанное в Лозанне п. 160 и то ли письмо 159 из Дижона, или какое-то еще, до нас не дошедшее.

[5] От *фр.* végéter — вести растительное существование.

[6] Из стихотворения А.С. Пушкина «К Каверину» (1817).

[7] Измененная цитата из стихотворения Ф.И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа...» (1836); в оригинале речь идет о природе и потому строка звучит: «В ней есть любовь, в ней есть язык».

[8] Я счастлив. Учусь. Люблю тебя (*ит.*).

[9] Франков (*фр.*).

## 166. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*22 июня / 4 июля 1896. Париж*

*4 Июля, Суббота, вечером.*

Дорогая возлюбленная, сейчас получил два твои письмеца[1]. Дитя мое, не бойся, что ты беременна — или, вернее, не думай

этого: я уверен, что нет, и еще нет никаких оснований предполагать это. Я только что (до получения твоих писем) отправил тебе забытые тобой антисептические повязки. Есть ли только доктор в Gryon?.. Из письма твоего Сереже узнал, что ты хочешь переселиться выше — надолго ли? Не *простудись* только и остерегайся, умоляю тебя, *стада*. Я знаю, что ты уже смеешься надо мной, а между тем я настаиваю на своей просьбе избегать интимных встреч с твоими рогатыми любимцами. Вообще, я посоветовал бы тебе уехать лучше из Gryon в деревню, выше и привлекательнее расположенную, нежели сопровождать стада в горы и делить образ жизни пастухов, — как ни поэтична ты в роли горной пастушки. — Очень огорчает меня твоя слабость и хилость. О дорогая, как бы нам сделать, чтобы ты поправилась и укрепилась как следует?.. Хорошо, однако, что твоя Муза успешно борется с твоей nostalgie[2]; пиши мне, что́ она сказала тебе нового об излюбленных тобою героях...

Милая возлюбленная, как много счастия ты даришь мне своими нежными письмами! как я счастлив сознанием, что я *так* люблю и *так* любим! О, как я лечу к тебе в ответ на твои любовные думы!.. Милая, я все время деятелен, работа моя доставляет мне много радости. Время так наполнено, что до сих пор не был в Булони, зная, что там все хорошо и благополучно. Обычный визит к Щукину[3], который нельзя было пропустить, не позволил мне вчера, к сожалению, заняться с Сережей — дети упрекали меня за это, что́ мне льстит — и рисовать с ним для тебя Северную Америку, диктовать по-французски и читать Гатераса[4], который написан, правда, немного трудно для Сережи и слишком подробно, но интересует нас обоих[5] и подает повод ко многим объяснениям.

Сегодня же не удалось опять читать с нашим умным мальчиком потому, что Гревс очень надолго задержал меня при выходе из библиотеки — объяснениями по поводу Александры Васильевны[6]... Он начал с приглашения прийти к нему сегодня вечером пить чай и прибавил, что не знает хорошенько, в ссоре ли я с А.В. или нет, но что она также приглашает меня. Я объяснил ему, что, конечно, «ссора» не есть слово, могущее [точно обозначить] охарактеризовать мое отношение к А.В.; что большое уважение, которое я всегда к ней питал, я продолжаю питать к ней и теперь в той же мере; что я не имею никаких rancunes[7] ни за некоторые некорректности ее образа действий, ни, еще менее, за *форму*

сделанной ею оценки моего характера; что я считаю, однако, продолжение отношений между нами невозможным при том *мнении* о моей личности, какое она высказала и формулировку которого до сих пор не сочла нужным изменить[8]. Вот главная суть того, что́ я сказал Гревсу в ответ на его предложения восстановить прежние отношения, объясниться (о чем?), не относиться строго к ее запальчивым выходкам и пр. Я повторил еще раз, что считаю бесполезным поддержание чисто внешних отношений знакомства при столь невыгодной внутренней оценке [моей личности] моего характера, даже если бы мое чувство собственного достоинства позволило мне сохранять эти формальные отношения при таком внутреннем условии, что А.В. ничего не сделала до сих пор для того, чтобы показать, что тогдашняя ее характеристика моей личности не есть действительное выражение ее мнения обо мне, и что поэтому я не могу принять ее приглашения, за которое прошу его от моего лица ее поблагодарить. Гревс признавал, что я совершенно вправе так поступить, и несколько раз указывал на то, что А.В. собиралась побывать у Л.Д., но благодаря внезапному отъезду последней «это так и не вышло». Я выразил надежду, что по твоем возвращении ваши отношения уладятся, и вместе удивление, что А.В-е даже и в мысль не приходило в течение долгого времени, что [ты можешь огорчиться] ее слова мо́гли огорчить и обидеть тебя... Хорошо ли я сказал, Лидюша?..

Завтра, при хорошей погоде, следовало бы ехать за город, и между тем новое препятствие мешает мне отдаться детям, как бы я хотел: у Щукина (кстати сказать, он сообщил мне, что уходит из Ecole des langues orientales[9] и, даже вовсе, уезжает на зиму из Парижа) я получил от Boyer[10] приглашение к нему — в воскресенье утром он принимает, — и как потому, что он скоро уезжает из Парижа, так и по долгу вежливости, я должен быть у него завтра же. Он живет в quartier Latin[11], и потому я условился с Анютой, что она с детьми будет ждать меня около 1 часа пополуд<ни> в Люксембургском саду, откуда мы отправимся в Л<юксембургский> музей[12]. —

Милая возлюбленная, твои планы я не совсем понимаю... *Что ты хочешь*?.. Немедленного переселения всего клана?..

О. Беляевская тебе написала стихи... под заглавием «Драцена»!!..[13]

Часы все не приходят...

Felice notte[14], моя радость! Иду опустить письмо и, если ближняя лавочка будет закрыта, пойду, как вчера, на конец rue de Passy, туда, где трам поворачивает к Трокадеро, чтобы купить марку и опустить письмецо своей радости, своей милой Пантере.

Baci, baci, baci...[15]

В.

Поздравляю тебя с рожденьем Козлика[16] и целую еще. Его обстригли, он толстый. Я уже купил ему кнутик и вожжи. Boîtes botaniques[17] маленьких не было.

Как я люблю говорить про тебя с детьми! Твой В.

В начале письма карандашом Иванов пометил: «В Gryon». Фрагмент — История и поэзия. С. 379.

[1] Какие-то два письма из написанных 21 июня / 3 июля пп. 162—164.

[2] Ностальгией (*фр.*).

[3] Иван Иванович Щукин (1869—1908) — искусствовед, коллекционер. Постоянно жил в Париже, преподавал в упоминаемой ниже Школе восточных языков, Русской высшей школе общественных наук (куда пригласил в 1903 г. Иванова читать лекции «Религия Диониса»), Вольном университете в Брюсселе. Покончил с собой. Подробнее о нем см.: *Демская Александра, Семенова Наталия.* У Щукина, на Знаменке...[М., 1993]. С. 24—30, 63—66. Ср. также п. 502, прим. 4.

[4] Имеется в виду книга Жюля Верна «Приключения капитана Гатераса» (1866).

[5] Основная тема романа Жюля Верна — достижение Северного полюса — была для Иванова животрепещущей. В дневнике 1909 г. он неоднократно делает записи, свидетельствующие о пристальном интересе к этой проблеме. См.: II, 793—795.

[6] А.В. Гольштейн.

[7] Злобы (*фр.*).

[8] Судя по всему, объяснение было связано с обидой Иванова и Зиновьевой-Аннибал на Гольштейнов, отразившейся в большом недатированном письме Зиновьевой-Аннибал, известном нам по черновику («Обнимаю Вас и материнski благословляю...» С. 185—187; предложенная там датировка «Июнь 1903 г.» не соответствует действительности; частично — История и поэзия. С. 379—380, с верной датой).

[9] Школы восточных языков (*фр.*).

[10] Paul Boyer (1864—1949), французский славист, профессор Institut des langues orientales.

[11] Латинском квартале (*фр.*). Район Парижа на левом берегу Сены.

[12] Люксембургский сад расположен в Латинском квартале, популярное место прогулок в центре Парижа. Люксембургский музей находится на территории сада.

[13] Ольга Александровна Беляевская — поэтесса, много писала для детей. Она и ее сестра Юлия были приятельницами Зиновьевой-Аннибал (приглашавшей их даже приехать в Пезаро), а через нее — и Иванова. Упоминаемое стихотворение нам неизвестно.

[14] Доброй ночи (*ит.*).

[15] Поцелуи, поцелуи, поцелуи (*ит.*).

[16] Домашнее имя К. Шварсалона, младшего сына Зиновьевой-Аннибал.

[17] См. п. 161.

## 167. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*22 июня / 4 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*4 Июля*

I.

Принесла с собою чернильницу, перо и бумагу, чтобы писать роман. Я вышла из дому и из деревни и забралась по тропке на холмы. С утра сердце щемит. Не хотела писать, не хотела тебя расстраивать, но к чему молчать: боюсь, что мне ничто не поможет вдали от тебя. Пока я шла гористой дорожкой и, запыхавшись, легла на спину между двумя камнями, я тосковала о тебе. Я вспоминала наше путешествие, нашу любовь, счастие. Не знаю, что я вспоминала точно, но сердце тосковало. Потом я встала и пошла дальше, тропинка почти теряется на лугу: трава по пояс и вся усыпана цветами: аромат пьянящий, и всё полно жизни: пчелы, жучки, букашки, бабочки... кузнечики стрекочат <так!> под ногами, жаворонки заливаются в просветлевшем небе. Когда дети приедут, цветы будут скошены. Если бы они бегали тут, в восторге от цветов и бабочек, если бы их веселые личики розовели от ароматного ветерка и их голоса, звонкие, детские, проникали мое сердце, быть может, оно разжалось бы и дало вздохнуть свободно. Если бы к груди моей я могла прижать мою крошечную, беленькую девочку... нет, нет, я не могу жить одна. Это не жизнь, а тюрьма: смилуйся. Приезжайте все, возьми свои книги. Я устрою детей в один день: квартира им готова, а мы с тобой пойдем наверх, в Taveyanne, 3 часа выше Gryon. Там мы можем иметь комнату, которую уступает мне сторожиха коров. Там две-три семьи живут в разбросанных chalets со своими группами скота. Ты будешь работать с утра до ночи, т.е. с 6-ти до 9, а когда устанешь — полазаешь со мною. Вячеслав, если ты можешь без вреда обойтись без библиотеки, я предлагаю лучше две, три недели раньше уехать в Берлин, зато провести всё лето вместе здесь. Сколько счастия, сколько здоровия, сколько новых впечатлений. О, Вячеслав, мне тяжело одной, я беременна и мне страшно.... Но дети, брошенные в Париже, если бы ты приехал один, не дали бы нам покою. Вопрос в 100, 200 лишних франков, т.е. в 70 рублях, да и то неизвестно, что выгоднее, ввиду, быть может, долгих месяцев, кот<орые> дети проведут здесь. Они в учении ничего не потеряют почти, т.к. здесь хорошая школа. Пока мы будем наверху — они всё-таки в 2 часах от нас, а потом — все вместе, но тебе или в светелке или в другом доме — будет одиночество. О, как здесь хорошо: при одной мысли

о вашем приезде я полна счастия. Прошу только одной большой услуги: если согласен исполнить мою мольбу приехать всем, сведи Анюту до отъезда в Люксанбург <так!>, в Пантеон и Notre Dame, и в Versailles et St. Germain[1]. О, если бы ты знал, как здесь чудно, то не устоял бы. Я же с утра до ночи со стиснутым сердцем, и каждый глоток воздуха отравлен чувством: зачем мои близкие им не дышат. Боюсь хуже расхвораться от тоски. Относительно детей и Пантеринки я бы сделала так: я сказала бы Сереже и Вере: «отец ваш разлюбил маму, и они разошлись, мама была одна и несчастна и тоже не любила отца. Потом они познакомились с В<ячеславом> и они горяче полюбили друг друга, и мама за него замуж вышла, и т.к. вы стали больше и умнее, то мама вам говорит, что у нее родилась девочка, ваша сестричка, и теперь вы будете жить вместе». Про К.С. нечего пока говорить, *но если он приедет*, то его допустить к детям в нейтральном месте, предупредив детей, что кто любит маму, ни о ней, ни о сестре, ни о В<ячеславе> ни за что ни слова не скажет, т.к. папа не любит их и будет маме дурно делать. — Но это ведь только в случае приезда. Довольно мы из-за призрака этого подлого приезда этого гнусного шпиона, тирана и доносчика, — довольно мы лгали, несли оскорбления, гнули спину. Довольно я страдала, о, довольно. Вячеслав, я именем любви нашей требую прямой и честной жизни, не стану я носить твоего второго ребенка тайно, и скрывая дочь, и мучая себя разлукою. Вячеслав, вдумайся, подумай, не призраку ли мы поклоняемся и несем ему в жертву счастие и честь семьи. О, как ясно здесь наверху всё, что в Париже казалось путаным, фатальным. Мы оба были под магнетизмом влюбленной в чужие романы с ролью разрешителя для себя — Алекс. В-ны[2]. Весь свой вопрос в том <так!>, будет ли визит? и если будет: можно ли заставить молчать детей. На первое отвечаю: не знаю, почти не думаю, на второе: *можно*, и они сами поймут впоследствии, что следовало им сказать, и меньше осудят, чем если бы мы их обманывали. Впрочем, всё равно их разговор о тебе и без моих слов даст повод всё понять и всё *подтвердить* через concierge, полицию и т.п. Обдумай, если находишь нужным, поговори с Гревсом (но я очень не желаю); недурно поговорить с Анютой, у которой много здравого смысла и знания детей и их отца. Милый, если ты решишься исполнить мою мольбу, то телеграфируй, я слишком тоскую, слишком страдаю. Ради Бога, ради любви, ради меня, Славушка, мое счастье, позволь взять Пантерку в семью. Еще прибавлю, что вперед можно предсказать по тону писем брата и по собственному разуму неудачу развода per

sposa[3]. А если вступать с Ш<варсалоном> в сделку, то ему нет более расчета преследовать меня. Ведь если я ему объявлю, что остаюсь за границей, то я этим свободна как птица, а он не в *прибыли*. Если решишь ехать, то торопи детей скорее: пусть они еще застанут эту чудную траву. Я думаю, мамка будет очень довольна: здесь ей будет весело, но скажи ей, что вино иметь трудно, зато молока вволю, а вместо вина и пива лучше ей деньгами подарим. Вещей надо брать так, чтобы было около 60 kilo, т.е. 4 пуда. Белья постельн<ого> не надо, посуды не надо. Зато надо все платки и всю теплую одежду. Нарядов не надо: картоны со шляпами не брать: здесь *совсем просто*. Пантерке купить теплых платьецев вязаных. Постели будут всем: серсо не брать, мячи взять, и игры комнатные, и кегли. О, Вуня, не откажи мне, я слишком страдаю. Не могу, не могу совладать с тоской, даже сплю плохо и ночью отчаянные сны вижу. Не покидай меня, ради Бога, ради Бога не покидай. Дай мне себя и всех моих детей, хочу семью, открытую, цельную. Право, кажется, с ума сойду в таком подлом положении. Сейчас хочу иметь девочку, сейчас, слышишь! Не мучай, не покидай. Прощай, Вуня. Ради Бога, телеграфируй *да*; и чего это ты не пишешь. Ведь не имею ни строчки! Нет, я должна *видеть тебя*, говорить. Письма, Бог с ними, ненавижу их...

Твоя Лидия.

Очень прошу тебя сказать девушкам, чтобы они устроились между собою, чтобы обеим ездить с тобою, чтобы не покинуть Париж, не осмотрев его хоть немного. Пусть им они возьмут Тику с собою (позволь, Вуня) и помогут Charlotte и Пантерине или доверятся на день мамке, как бывало не раз. Вуня, зачем ты не пишешь? какая лень! мне стыдно на почту ходить всё нет <?>. Ем я насильно. Еще *ни разу* не испытала голода: пихаю свой окорок и вливая <так!>, давясь, молоко.

Белые цветы дивно пахнут ночью и желтые <?> мои любимые, но боюсь, что испортятся*.

Конверт со штемпелями: Gryon. 4.VII.96 — Paris. 5 juil. 96.

[1] Названы популярнейшие туристические места Парижа: Люксембургский сад и музей, Пантеон, собор Парижской Богоматери, Версаль и аббатство Сен-Жермен де Пре.

[2] А.В. Гольштейн.

[3] Для жены (*ит.*).

* Приписка без точного отнесения к месту.

## 168. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*23 июня / 5 июля 1896. Париж*

Hier Monsieur gros blond te demanda concierge famille partira aujourd<'>hui Lausanne telegraphie ton avis

Телеграмма на адрес: zinovieff gryon. Телеграфная помета: Consigné le 5/7 1896 a 10 heures 30 min. du m. <Послано 5/7 1896 в 10 часов 30 мин. у<тра>. — *Фр.*>. Русский перевод — История и поэзия. С. 380.

Перевод: Вчера полный светловолосый господин спрашивал тебя <у> консьержки семья уедет сегодня <в> Лозанну телеграфируй свое мнение (*фр.*).

## 169. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*23 июня / 5 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*Телеграмма 5 июля 1896*

Te supplie partir avec famille ce soir 7 heures pour Bex j'ai peur solitude. Ne recevez personne. Laissez adresse concierge viens telegrafis ferons venir Lydie apres[1]

Телеграмма с пометой: Paris de Gryon. 5/7. Парижский штемпель: 5 juil. 96.

Перевод:

Умоляю тебя выехать сегодня вечером <в> 7 часов с семьей в Бекс мне страшно <в> одиночестве. Никого не принимайте. Дайте адрес консьержке приезжай телеграфируй за Лидией вернемся потом (*фр.*, с неточностями).

[1] Рукой Иванова написано: Ответ:

Pazienza, coraggio, adoratissima! Impossibile abbandonare Lydia, studi<i>. Presenza mia sarebbe pericolosissima. Saranno i brevi a Lausanne domani alle sedici

Перевод см. при п. 171.

## 170. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*23 июня / 5 июля 1896. Париж*

Pazienza coraggio adoratissima impossibile abbandonare Lydia stud<i> Presenza mia sarebbe pericolosissima saranno tuoi Lausanne domani alle sedici

Телеграмма на адрес: zinovieff gryon. Телеграфная помета: Consigné le 5/7 1896 a 4 heures — min. du s. <Послано 5/7 1896 в 4 часа — мин. в<ечера>. — *Фр.*>

Перевод: Терпение мужество обожаемая невозможно оставить Лидию занятия. Мое пребывание было бы опаснейшим твои будут <в> Лозанне завтра в шестнадцать часов (*um.*).

## 171. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*24 июня / 6 июля. Грион-сюр-Бекс*

Ты не можешь бросить ребенка на преданную девушку, а ты бросаешь меня больную, бессильную, которая сегодня одна в обмороке свалилась. Я больна, я не могу, я лучше всего на себя руки наложу и тем кончу с жизнью, которая мне невыносима. Боже, когда же будет покой, хочу опоры, хочу защиты, и нет ее, и нет больше сил и энергии. О, я так больна, так больна. Не приезжай! к чему? ничто более не уверит меня, что ты меня любишь. У девочки останешься ты: ее ты больше любишь, чем меня. А у моих будет отец их, кот<орый> теперь имеет право ворваться ко мне, видеть меня, говорить со мною. О проклятая гора[1]. О Боже, куда я денусь. Я слишком страдаю. Разве ты можешь вообразить те страдания, через какие я прошла* сегодня. Не хочу я нового ребенка. Скорее смерти хочу. Не приезжай, ты ничем не исправишь своего отказа, твое сердце не рассказало тебе мои страдания. Я одна, одна, и, клянусь, моя ноша не по силам мне. Не такая я была прежде, но грозы и дуб обламывают и валят. О, как я страдаю, ты даже понять не можешь.

Открытка. Штемпели: Вех. 6.VII.1896 — Paris. 7 juil. 96.
[1] Возможно чтение: проклятое горе.

## 172. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*24 июня / 6 июля. Грион-сюр-Бекс*

Дорогой Вячеслав, под первым впечатлением горкого <так!> разочарования написала тебе картолину[1]. Теперь необходимость действовать, распоряжаться успокоила немного нервы. Дети едут таким неудачным поездом, который не имеет почтового сообщения с Gryon и который тянется 18 часов только до Lausanne, а в Gryon они будут около 11 час. ночи. Пришлось за дорогую цену искать извощиков. Верно, они не поспели к 7 ч. 40 м.! Милый друг, не знаю просто, что делается со мною. Я получила эту проклятую телеграмму[2], и она произвела на меня неожиданное потрясающее впечатление. Я и хохотала, и плакала, а потом даже в пер-

* Далее текст идет поперек уже написанного.

вый раз в жизни хлопнулась со всей силы на пол без памяти. Мне кажется, что я не могу принимать его. Мне придется говорить о разводе, отвечать, быть может, на его обвинения и т.д. Мне казалось, что всё должно отступить на задний план, когда решается важный вопрос всего нашего будущего. Мне в ум не пришло, чтобы девочка могла задержать тебя; а что касается studii[3], то, как хочешь, это довольно неожиданный ригоризм, когда я 1000 раз слышала, что библиотека тебе *абсолютно* не нужна. Значит, ты не можешь рассчитывать на свою силу воли и предпочитаешь покинуть свою беременную больную жену в такой ужасный момент. Признаться, я этого не ожидала. Для удовольствия всегда находилось время, а здесь его не стало.... Меня ударило <так!> en pleine face[4] твой *категорический* отказ и твоя насмешка: coraggio, pazienza, adoratissima[5] и т.п.

Много ты вдумался в мою душу. Отлично мне здесь поправляться, ожидая с часу на час нападения. Странно, бывало, я не могла письмеца написать без твоего контроля, а теперь я, не сговорившись, должна решать почти свою судьбу. Путь от Парижа сюда стоит 27 фр<анков>, а твоя комната в Париже 35 фр<анков> в месяц, да твое пропитание 4 в день. Да девочка 4 в день. Расчет ясен. Что касается опасности твоего соседства, то здесь русских много, и стоит нам до его визита держаться осторожнее, вот и всё. Но делай, как знаешь. Быть может, ты прав, быть может, твои занятия слишком пострадают и тебе лучше оставаться. Пожалуй, лучше, и я, быть может, безумная. О, Боже, ведь этот мерзавец приедет и объявит себя моим мужем, тогда как же нам быть с тобою перед всеми... о Господи, нет больше моих сил, нет, нет. Я долее не могу выдержать. Я скажу ему так: я допускаю Вас в последний раз, затем я ни писать, ни допускать не буду, ни в Россию не вернусь, пока не буду иметь развода в руках, тогда увидим относительно детей, а о цене <?> можете с братом потолковать. Я, впрочем, думаю, что он не будет распространяться о своем чине мужа, т.к. я его допущу к детям по часам раза два в день на часок и в комнате при закрытых дверях. Но мысль, что он будет здесь где-нибудь под боком жить! И кто знает сколько времени — сводит меня с ума. А тебя нет? Хорош, хорош! Я одна в горах! О, Вячеслав, я не зову тебя, но я думала, что тебя надо будет *удерживать*, а не звать. О, как я несчастна! и менее тем, что ты не приедешь, чем тем, что ты не захотел приехать. И ничем, ничем нельзя этого поправить.

Легла, уже ночь, и встала, не могу спать, не знаю, куда деваться. О, мой Слава, прости, что виню твою любовь! моя бедная голова кругом идет, я ничего не знаю, знаю только, что для того, чтобы жить, я должна положить тебе голову на плечо. Это позор перед Анютой, детьми, что тебя не будет. Дети будут молчать о тебе, но они должны знать, что ты со мною всегда, что ты не боишься их отца. О, значит ты не можешь защитить меня, но я несчастная, слабая женщина. К чему все комедии, когда он всё может узнать, и всё ему едино, если нет только выгоды.

Голову положить, закрыть глаза, слушаться, быть с тобою, о мой муж, мой защитник, мое солнце, моя жизнь. Я умираю без тебя.

Датируется по содержанию и по конверту со штемпелями: Cryon. 6.VII.1896 — Paris. 7 juil. 96.

[1] П. 171.

[2] П. 170.

[3] Занятий (*ит.*).

[4] Прямо в лицо (*фр.*).

[5] Мужество, терпение, обожаемая (*ит.*). См. первые слова п. 170.

## 173. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*24 июня / 6 июля. Амбюлан*

Слава, опять пишу тебе. Что со мною? Я страдаю, точно весною в прошлом году. Отчего, я не знаю, но все усилия воли не уменьшают тоску во всем теле и до судорог сжимающееся сердце. Что это? предчувствие? Сама ничего не понимаю, ты видишь, рука еле действует. Прострадала утро и не выдержала мысли ждать до 7 часов, когда бедные дети и Анюта дотащатся до Вех. Велела своему извощику вести <так!> меня к 2-м часам вниз, и поеду в Lausanne: дорога всё дорога, я же с ума сойду от этой безумной тоски. Никогда в жизни не испытывала подобного состояния: тоскую смертельно до ясного, яркого желания самоубийства и не знаю, почему именно. Разбросаны все, постоянно скрываемся, свидание с ненавистным человеком, кот. когда-то был так ужасно близок, одиночество мое, необходимость молчать, скрывать, тайно <?> лгать, разлука с дочкой, не знаю, — но умереть было бы лучшим исходом. Но ты не слушай, будь разумен.

Одна я побоялась бы остаться ночь, я их ругаю за себя, но с детьми легче. Я положу с собою Сережу. Милый, целую тебя нежно, нежно, жажду свидания, жажду. О, если не перед его визитом <?>, то после возьми девочку и приезжай. Я тебе полную тишину, полный покой устрою для работы. Я же не поеду в Париж, если, впрочем, ты не велишь.

Твоя Лидия*.

Открытка. Почтовые штемпели: Ambulant. 6.VII.1896 — Paris. 7 juil. 96.

## 174. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*25—26 июня / 7—8 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*7 Июля*

Дорогой, пишу, чтобы не оставлять тебя без известий, но едва сижу на стуле. Сначала отчаянная мука, которая нашла непрошено и нежданно, а потом радость, которая не дала мне заснуть во всю ночь более 3-х часов. Вчера была в Лозанне. Дети приехали туда измученные и голодные, я бегала им покупать вина и мяса и устроила их с багажем. Я была так счастлива их видеть, что совсем одурела, точно Робинзон, увидев корабль[1]. Я была так глубоко счастлива слышать о тебе из всех уст. Дети, постоянно ошибаясь, называли тебя вместо меня, Анюта говорила с таким внутренним теплом, а я вся расцветала. Мне стало спокойнее на душе. Милый, прости мне мои резкие слова: я была совсем безумная от какого-то мне самой непонятного отчаяния. Дорогой, не знаю, как ты смотришь на мои советы. Что касается Аïre[2], это совершенно невозможно, я сама давно думала и отвергла. 1) нельзя волновать отца, и то совсем нервного <так!>, как видишь, 2) нельзя даже поместиться у него, 3) путь туда и жизнь слишком дорого, ужас как дорого, 4) свидание с мужем при отце наведет на меня еще бóльший ужас. Если ты находишь лучше свое отсутствие, то делай, как знаешь, дорогой друг, только дадим друг другу слово, как только пройдет этот визит, то изменить положение семьи. Я думаю, ты чувствуешь полную невозможность мне дольше терпеть это положение. Что касается твоего отвратительного gros, blond[3],

* Абзац написан поперек основного текста.

я не вполне даже убеждена в его идентичности с г-ном Ш<варсалоном>.

Ты решил не давать адреса; тогда я напишу ему по обыкновению в Петерб<ург>, сообщая, что дети переехали. Tant pis[4] ему, если он приезжает al improvviso[5]!

Вопрос о моей беременности почти или даже совсем несомненен, и остается только надеяться, что у Пантеринки родится брат. Приезд детей мне дал на несколько времени (очень короткое) терпения, но мысль о жаре в Париже и о твоем мизерном холостом положении приводит меня в совершенное отчаяние. Я утешалась еще мыслью, что ты был прилеплен <?> к семье, что ты был призираем и пригреваем, но теперь ты совсем брошен. И до чего ужасна жизнь Дуни и Пантерины! Когда мы будем вместе? о когда? Милый Слава, я почти начинаю страстно желать, чтобы этот «gros, blond» был Ш<варсалон> и чтобы он приехал сюда и скрылся навек из моей жизни, так или иначе, но я не дождусь более минуты, чтобы сбросить это иго à tout prix[6].

Я писала это письмо и дома, и на лугу, куда водила детей, и опять дома. У нас было очень душно, и теперь начинается гроза. Я чувствую себя очень больной и слабой, но после кошмара тех двух безумных дней и тоски одиночества я точно немножко отдыхаю, но на душе так же жутко, и неуютно, и страшно, как в переполненном предчувствием грозы удушливом воздухе. Милый, прости меня, я люблю тебя. Я всё дала бы за твое счастие, но я такая гадкая, слабая, и когда я страдаю, то я так страдаю жестоко. Ложусь — устала.

Утро: очень целую тебя и обнимаю без конца, чтобы ты знал, как я тебя обожаю.

Твоя Лидия.

Конверт со штемпелями: Gryon. 8.VII.96 — Paris. 9 juil. 96.

[1] Отсылка к роману Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка» (1719).

[2] Аир — место на окраине Женевы, где жил Д.В. Зиновьев.

[3] Полного, блондина (*фр.*). См. п. 168.

[4] Тем хуже (*фр.*).

[5] Внезапно (*ит.*). Правильно пишется all'improvviso.

[6] Любой ценой (*фр.*).

## 175. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*25 июня / 7 июля 1896. Париж*

Indirizzo nascosto bisogna dare appuntamento aire se sapra dove siete meglio vi difendero assente rimproveri Sergius <?>tissimi faro tutto possibile per salute tua che vuoi come stai

Телеграмма на адрес: zinovieff gryon. Телеграфная помета: Consigné le 7/7 1896 a 10 heures 6 min. du m. <Принято 7/7 1896 в 10 часов 6 мин. у<тра>. — *Фр.*>

Перевод:

Адрес скрыт надо устроить свидание <в> Аире. Лучше, если он будет знать, где вы. Я вас лучше защищу в отсутствии. Рутай Сергея, наи<?>. Буду делать все возможное для твоего здоровья, как ты хочешь. Как поживаешь?

## 176. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*25 июня / 7 июля 1896. Париж*

*Вторник, 7-го Июля.*

Возлюбленная, обожаемая девочка! Как мне *жаль* тебя, бедное мое дитя! Я не думал, что ты так напугаешься, огорчишься, что ты такая слабенькая... Зато я еще больше люблю тебя, мое счастие, мое сердце! Ora e sempre... Милая, я несколько раз начинал писать тебе за этот промежуток времени, но писать было нельзя, нужно было телеграфировать[1], и письма прерывались. Только что получил твою ответную депешу[2]; за нее целую тебя безумно, mio orologio[3], и прижимаю тебя к своему сердцу, чтобы ты видела и убедилась, гадкая Лидия, что оно бьется с тобой одним биеньем. Я телеграфировал тебе сегодня утром[4] под впечатлением твоих отчаянных и так чудовищно клевещущих на меня, будто я бросил тебя одну и не хочу защитить в критическую минуту, писем. Дорогая, разве положение не было ясно тебе с первой минуты? Если я решился послать к тебе семью, несмотря на опасность этого шага для успешного хода твоего лечения, то сделал это для того, чтобы этой легче отвратимой — при твоем благоразумии и содействии — опасностью избежать другой, уже вовсе неотвратимой иначе опасности — опасности свидания Ш<варсалон>а с детьми при твоем отсутствии и моем присутствии, в обстановке, где все хранит на себе мои следы, в момент, когда дети

находятся под постоянным и непосредственным моим впечатлением. Сначала мне казалось, что обстоятельства особенно благоприятно сложились для свидания с Ш<варсалон>ом в пору, когда семья изолирована от меня, и в месте, где никто не знает меня и ничто не говорит обо мне; но тотчас же я был приведен в ужас мыслью о том, как ты должна будешь принять его одна, беззащитная, как ничто не сможет остановить его постоянных и властных вторжений в ваш дом, как ничто не помешает ему поселиться подле вас и как вы принуждены будете спасаться от него бегством... Где средство против этой возможности? Конечно, мое присутствие принесло бы тебе нравственную поддержку, и у тебя была бы непосредственная защита в случае резкого столкновения; но зато это открыло бы ему все наши карты, в которые ему теперь, быть может, не удастся вполне заглянуть, и разрушило бы все шансы на успех разводного дела, а вместе с тем все же не избавило бы нас от необходимости позорного бегства... Ясно, что, в пору пребывания Ш<варсалон>а за границей и его охоты на нас, начать жить вместе или еще вдобавок взять в семью Пантерку, — было бы безумием. Итак, оставалось прежде всего скрыть Грионский адрес; почему, вопреки твоей депеше, он и не был сообщен при отъезде консьержке, а сказано было ей только, что дети уезжают во французскую Швейцарию, где поджидает их Madame, чтобы устроить на лето где-нибудь в горах, причем место еще не выбрано. Далее, Дуня навещает квартиру, и мы условились с ней вчера, что она запрет в сундуки все, что́ имеет отношение ко мне, передаст ключ консьержке, спросит, не приходил ли к вам кто-нибудь и назначит день следующего своего прихода (— суббота), так что Ш<варсалон> будет иметь возможность встретиться и поговорить с Дуней. Если эта встреча состоится, Дуня скажет ему, что ты раньше выехала к дедушке, дети потом отправились также в Аïге и что место вашего пребывания в настоящую минуту ей неизвестно. Также, если будет вопрос со стороны Ш<варсалон>а, был ли у тебя брат, она сначала скажет ему «да, двоюродный», а потом тотчас прервет дальнейшие расспросы замечанием, что не имеет права давать ему какие бы то ни было сообщения о семье. Выдумка о двоюродном брате объясняется необходимостью примирить с сообщением консьержки, будто при детях «бонны и брат Madame», — тот факт, что этот soi-disant[5] брат живет все время в Париже, что могло обнаружиться с первых же слов дальнейшего разговора Ш<варсалон>а с консьержкой. Наконец, Дуня посоветует Ш<варсалон>у написать тебе по адресу дедушки, если он

желает знать твою настоящую резиденцию. Вот содержание предполагаемого разговора с *предполагаемым* Шварсалоном; напиши, одобряешь ли ты мои стратагемы, и если не находишь лучшей хитрости, извести дедушку, что муж приехал в Париж и отыскивает тебя, что ты не можешь допустить его в Gryon и потому скрываешь свой адрес, что велела Дуне сказать, что дети приехали сначала в Аïre, что просишь пересылать тебе адресованные на Аïre письма, а также пересылать некоторые твои письма в Париж, и, наконец, что ты желала бы, в случае необходимости, дать мужу возможность свидания с детьми, устроить это свидание в Аïre, — все равно, в вилле ли дедушки или, например, в Paracelsia Далее, ты можешь — *только не спеши еще* — написать консьержке свой аирский адрес, понятно — не прямо из Gryon, а через Аïre. Всем этим ты будешь, как я надеюсь, до некоторой степени защищена от опасности неожиданного вторжения «главы» твоей семьи, а с другой стороны, лишишь [последнего] этого «главу» удобного случая написать [эклатантный[6]] громкий донос на твое скрывательство и на недопущение его к детям. Одно меня беспокоит: не удастся ли Ш<варсалон>у узнать грионский адрес на почте? Считаешь ли ты удобным предупредить почту о полной discrétion[7] относительно твоего адреса? Вот почему нельзя быть совершенно спокойным за недоступность вашего горного убежища. Если бы он явился к вам — что, впрочем, маловероятно, — пришлось бы уехать. Я думаю, что мы по дальнейшим его действиям относительно консьержа и Дуни будем в состоянии судить, проведал ли он твой адрес. Если будет вероятно, что *да*, можно будет заблаговременно переселиться в другое место и почте сообщить аирский адрес. Как жаль вообще, что ты известила почту о своем местопребывании! Остерегайся далее посылать письма прямо из Gryon — например, в лицей или в школу Веры; пересылай через Аïre... Однако, прерываю письмо, еду в Boulogne, где пообедаю с моими дамами, как вчера, и узнаю, нет ли у Дуни новостей... Целую тебя, моя дорогая, моя возлюбленная, мое счастье, и жизнь, и любовь, и свет! Будь спокойна и слушайся того, что́ я наказывал сказать тебе: *что тебе нужно быть **вдали от семьи*** и *не участвовать активно в ее жизни*. ***Здоровье твое*** — вот что́ нам нужно всем, всем, прежде всего, больше всего, без чего мы все пропадем, — а не твоих домашних мелких забот и не твоего участия в детских занятиях нам теперь нужно. Милая Лидия, заклинаю тебя нашей любовью, *уйди от семьи*! Пусть она развлекает тебя в тоске, просветляет временами твое одиночество, но не

отнимает ни одной минуты ***необходимого*** для тебя покоя, молчания, уединения, растительного питания. Милая, не сокрушайся ни о чем и не бойся. Когда тебе будет ***нужно***, я *тотчас же буду с тобой* по первому зову; но будь *благоразумна* ради нас всех и ради нашей любви. Пантерку поцелую за тебя. Девиз твоих часов я давно угадал: «ога e sempre»... Не правда ли? Мне сердце подсказало это тотчас, как я увидел эти слова в твоем письме...[8] Но, дорогая, часов я *не получил* до сих пор и убежден, что они пропали!..... Будь радостна, улыбнись мне, дорогая любовь.

В.

Когда твои собирались к отъезду, мне попался в руки твой портрет и твои глаза тотчас «оставили острое в моем сердце», как говорили Греки, и я долго, долго и жадно глядел на твое милое лицо, на твои глаза... А Сережа наблюдал меня и с странной своей и доброй улыбкой спраш<ивал> меня: «Отчего ты так смотришь на маму, а на Анютин портрет не хочешь глядеть?..» Я стал наказывать ему, чтобы заставлял тебя хорошо лечиться и не позволял заниматься с собой и чтобы ухаживал за тобой и тебя не беспокоил...

Хорошо ли приехали дети? Поцелуй их и поклонись А.Н. — О, как я хотел бы обменяться теперь с тобой словом, взглядом, прижать тебя к груди... Милая, я не могу вспомнить без ужаса и горечи об отчаянии, которое ты испытала по получении депеши.

[1] См. пп. 168, 170, 175.
[2] Телеграмма не сохранилась.
[3] Мои часы (*ит.*).
[4] Имеется в виду п. 175.
[5] Так называемый (*фр.*).
[6] От *фр.* éclatant — громкий.
[7] Соблюдении тайны (*фр.*).
[8] Иванов был прав. См. описание этих часов в п. 245.

## 177. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*26 или 27 июня / 8 или 9 июля 1896 (?). Париж*

Только что успел пробежать твое новое письмецо, обожаемая девочка. Письмо Иваш<енко> и меня больно затронуло. Это одна из тех «неотразимых обид», которые «сердцу жаркому наносит

хладный свет»[1]. Пожалуйста, только не пиши резкий ответ. Брат твой будет осенью в Швейцарии. Это нужно тебе принять в соображение.

Дорогая моя, у меня сердце изнывает при мысли о том, как ты резигнированно[2] тоскуешь. А я тебя обожаю и люблю больше своей жизни. Реши относительно Парижа, и потом перестанем прозябать и мучить себя разлукой.

Твой каждым дыханием

В.

Написано карандашом на обрывке бумаги, очень небрежно. Датируется весьма приблизительно: 3 июля (п. 162) Зиновьева-Аннибал извещает Иванова о том, что писала М.А. Ивашенко, а 12 июля (п. 182) сообщает ему сведения об этой даме. Мы предполагаем, что в промежутке между этими письмами и было написано данное.

[1] Из продолжения стихотворения «Воспоминание» (1828) Пушкина, при жизни оставшегося в рукописи. В академическом Полном собрании сочинений (Т. 3, ч. 2. С. 651) читается: «Вновь сердцу <пропуск> наносит хладный свет / Неотразимые обиды». В издании, известном Иванову, по-видимому, было добавлено (или он сам домыслил) слово «жаркому», которое подходит метрически.

[2] От *фр.* «(se) résigner» — покоряться, смиряться.

## 178. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*28 июня / 10 июля 1896. Париж*

*Пятница, 10-го утром*

Милая Лидия! Как часто ты прежде писала и какие горькие разочарования заставляешь меня испытывать теперь в часы приходящей почты! Я ставлю это на счет семьи, которая, всегда и естественно, способствует некоторому понижению любовной температуры, но все же благодарен ей за то, что она просто спасла тебя своим приездом, потому что вижу теперь, что ты вовсе не можешь переносить одиночества. Но как ни делает тебя счастливой близость семьи, тем не менее я настаиваю на ограждении тобой своего уединения и покоя от шумного и во всяком случае требующего от тебя постоянного внимания и напряжения всех душевных сил соседства: с нетерпением жду вести о том, как вы устроились и в какой мере и какими способами ты обеспечила себе возможность правильного лечения, которое составляет твою *единственную* в настоящее время и бесконечно важную для нас всех без исключения задачу; жду также отчета о ходе лечения, о распределении дня, о количестве выпиваемого тобой молока, как

и о количестве произносимых тобою слов, и пр. К сожалению, до сих пор ты едва ли могла чего-нибудь достигнуть в смысле своего физического укрепления благодаря овладевшей тобой тоске одиночества и нравственному потрясению; поэтому, увы, не удивляюсь, что ты чувствуешь себя такой больной и слабой, — быть может, теперь начнешь поправляться. Как жаль, что ты не можешь освободиться от черных забот и дум о будущем! Что касается, впрочем, твоей первой заботы — о беременности, — я не думаю, что это твое предположение справедливо: [не прошло еще и четырех недель] прошло едва четыре недели со времени retour de couche[1], а при твоей слабости нужно скорее ожидать запоздания. Далее, ты мучишься за меня и девочку с Дуней; но последним очень хорошо, маленькая Лидия совершенно здорова и толстеет, Дуня также здорова и бодра и хорошо выглядит (я часто бываю у них по вечерам, и они дают мне тогда поесть), я же испытываю то энергическое настроение, которое обыкновенно пробуждают во мне очень жаркие и ясные летние дни. Так, вчера я чувствовал себя превосходно, и если сегодня более morne[2], то это находится лишь в связи с облачностью неба и состоянием утренней грионской почты. К заботе о свидании с Ш<варсалоном>, наконец, нужно относиться очень хладнокровно, с одной стороны, вследствие проблематичности его присутствия, с другой, — потому, что свидание состоится, даже в случае реальности его блуждающего фантома, еще Бог знает когда, — главным же образом потому, что не только ничего нет страшного в самом факте его посещения — раз нет при этом осложняющих условий, вроде присутствия меня или Пантерки, — но этот визит может быть даже выгоден для нас, как для лучшего зондирования его намерений, так и в виде некоторой гарантии его отсутствия затем в течение более или менее продолжительного времени. Во вторник, в назначенный ею час, Дуня опять была на rue Singer, но [консьержка] никто тебя за это время больше не спрашивал; посмотрим, не будет ли ждать Дуню К.С. в субботу... Политика выжидания, конечно, соответствует целям К.С.: узнав, что M-me est partie[3] без детей, он отметил этот факт в материалах своих доносов и посредством последовательных визитов через определенные промежутки времени [думает] надеется, быть может, констатировать более или менее продолжительное отсутствие легкомысленной матери [в течение]. Возможно, что он ищет пока [собрать] обвинительных пунктов малой сравнительно важности, вроде факта оставления детей без себя в жарком Париже и т.п., и не помышляет найти более серьезные;

возможно, что он боится еще подступить с допросом к concierge и пр. и пр. Все возможно. Но возможно, что «отвратительный gros, blond[4]» и не твой законный повелитель и владыка, а... например, Спасовходский... или Александр Степанович[5]... или, que sais-je[6]? Гаген Торн[7]... или... или... до Mr Lapin[8] включительно (не Ган[9] ли какой-нибудь?); тем более, что, по тому описанию, которое дала консьержка мне лично (— она также рассказала мне при отъезде о визите Mr[10], причем, так как я [вздумал] принял вид, что перебираю в уме знакомых и даже вслух назвал Mr Foerster[11], заметила, что во всяком случае этот Mr еще ни разу не приходил ранее, и когда я спросил о его наружности, стала описывать его), gros[12] оказывается assez bel homme[13], в возрасте лет 36, blond[14] превращается в châtain[15]; борода не только не импонирует ей, но прямо игнорируется в пользу усов цвета более foncé[16], чем волосы на голове; таинственный незнакомец имеет, далее, акцент, но говорит по-французски très bien[17], тогда как, по словам Шарлотты, он говорил très, très mal...[18] «Кто б он был?...»[19] можешь ты петь в лунные ночи. Оставим, однако, эту неприятную тему. Должно, впрочем, прибавить, что я не вижу другого способа устроить дело с адресом, как при помощи Aïre. Аргументация — в прошлом письме. Отец твой только перешлет два-три письма и не имеет нужды тревожиться, так как опасного в свидании ничего нет, а состояться оно должно отнюдь не в его вилле, а только поближе от него, напр<имер>, в Парацельзии. Все зависит от того, как ты известишь его. В противном же случае или будет дан доносчику в руки незаконный факт скрывательства, или же ваша жизнь в Gryon будет совершенно отравлена постоянным ожиданием непрошеного гостя, который не замедлит, вероятно, сделаться и докучным соседом. Сообщи мне, впрочем, все твои соображения и как ты думаешь написать К.С. в Россию (что́ во всяком случае необходимо). — Спокойный ход моих занятий потерпел на этой неделе некоторый перерыв. В воскресенье я устраивал бегство в Египет[20]. В понедельник утром был наконец у Онегина[21] и имел высшее наслаждение рассматривать бумаги Пушкина и слышать кое-что неизданное — удивительной красоты. Видел также его маску, пред которой висит у Онегина лампадка с цветами[22]. [Между прочим,] Кстати, О<негин> меня удивил, сообщив мне между прочим, — весьма лаконично и таинственно — будто про меня говорят, что я — *мистик*... Кто говорит про меня? И на чем основывается этот слух?... В понедельник же я получил в библиотеке от Гревса 3-ю часть Аттика (67 его страниц) для рассмотрения[23];

вчера в библиотеке я вернул ему рукопись с своими заметками, которые весьма импрессионировали[24] его, потому что я [весьма] очень сильно его поругал и вовсе не похвалил. Он говорил мне, что будет все по-новому переделывать, но я убеждал его послать статью как есть, так как она назначается лишь для журнала и должна, все равно, быть переработана и сокращена для диссертации. В библиотеке встретился с Ростовцевым и узнал, что он пишет диссертацию о том, что́ составляет одну из глав моей работы — о таможенных пошлинах у Римлян. Это было мне очень неприятно и даже несколько обеспокоило меня, так как он может предупредить мою книгу — особенно ту, вторую ее часть, где рассматривается этот предмет. Вдобавок, он говорит, что видит аналогии с греческими государствами, а это — одна из моих важных точек зрения...[25]

До свидания, дорогая! Целую тебя нежно.

Твой В.

Милая возлюбленная! Что же, часы так и пропали?... Милая, целую твое колечко.

На письмо наклеен вырезанный из конверта адрес Зиновьевой-Аннибал. Фрагменты — История и поэзия. С. 188, 356.

[1] Возобновления месячных после родов (*фр.*).

[2] Мрачен (*фр.*).

[3] Госпожа уехала (*фр.*).

[4] Полный блондин (*фр.*).

[5] О Спасовходском см. выше, п. 157, прим. 4. Александр Степанович — неизвестное нам лицо.

[6] Откуда мне знать(?) (*фр.*).

[7] Владимир Эдуардович Гаген-Торн — чиновник Министерства народного просвещения, сочувствовавший Зиновьевой-Аннибал и помогавший ей в разрешении отношений с мужем. Как раз летом 1896 г. Зиновьева-Аннибал просила его быть свидетелем в деле о разводе, в чем он ей отказал, ссылаясь на то, что знает обстоятельства лишь со слов других людей. Письма В.Э. Гаген-Торна к Зиновьевой-Аннибал — РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 41.

[8] Господин Кролик (*фр.*).

[9] Неизвестное нам лицо.

[10] Господин (*фр.*).

[11] Неизвестное нам лицо. Вряд ли оно может быть отождествлено с В. Ферстером (см. п. 232, прим. 11).

[12] Толстяк (*фр.*).

[13] Довольно красивым мужчиной (*фр.*).

[14] Блондин (*фр.*).

[15] Шатена (*фр.*).

[16] Темного (*фр.*).

[17] Очень хорошо (*фр.*).

[18] Очень, очень плохо (*фр.*).

[19] См. п. 64, прим. 10.

[20] Имеется в виду организация отъезда детей в Грион.

[21] Онегин (Отто) Александр Федорович (1845—1925) — создатель Пушкинского музея в Париже. Подробнее о нем и его предприятиях см.: Неизданный Пушкин: Собрание А.Ф. Онегина. М.; Пг., 1923; *Огиевич Е.В.* А.Ф. Онегин-Отто и его Пушкинский музей // Страницы истории пушкиноведения: Сборник научных трудов. СПб., 1994; «Тень Пушкина меня усыновила...»: Рукописи, книги, изобразительные материалы, памятные вещи из музея А.Ф. Онегина. СПб.; Болонья; Кембридж, 1997.

[22] См. стихотворение Иванова «Пушкин у Онегина», воспроизводящее некоторые детали посещения Ивановым Онегина, описанные в настоящем письме. Об автографе этого стихотворения, записанном в альбом Онегина, см. ниже, п. 509.

[23] См.: Речь идет о большой работе И.М. Гревса «Аттик» (ЖМНП. 1896. Февраль, июль, сентябрь), которую Иванов рецензировал. Об имеющейся здесь в виду третьей части очерка см.: История и поэзия. С. 188—204.

[24] От *фр.* impressioner — производить впечатление.

[25] Об отношениях Иванова с Михаилом Ивановичем Ростовцевым (1870—1952) подробнее см.: *Бонгард-Левин Г.М., Вахтель М., Зуев В.Ю.* М.И. Ростовцев и Вяч. И. Иванов // Скифский роман / Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1997. С. 248—258; История и поэзия (по указателю). О разрешении своих волнений Иванов писал в п. 184.

## 179. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*28 июня / 10 июля 1896. Париж*

*10 Июля, утром*

Дорогая Лидия!

В оправдание свое, против страстных обвинений твоего первого письма после моей телеграммы[1], скажу следующее.

Свидание с Г<ольштей>ном и твои письма уверили меня в двух фактах: 1) что ты — по всей вероятности — не беременна; 2) что теперь ты вдруг стала поправляться и чувствовать себя лучше физически и нравственно, под соединенным влиянием а) уже почти месячного пребывания в горах, б) мысли о том, что я с тобой по первому твоему зову и, главным образом, в) устранения мучительной заботы о беременности. Я не говорю, что все это было так; я говорю только, как я представлял себе твое состояние. —

Далее, — раз ты не беременна, состояние здоровия идет на улучшение — то мы должны считаться с *угрозой Милана*... Впрочем, здесь я предоставляю говорить тебе самой: «Мне кажется, — пишешь ты, — что в Милан очень запаздывать невыгодно, так как

сделки усиленные идут с Сентября. Значит... надо мне ехать в Женеву в середине Августа. На это пойдет неделя. Затем ехать в Париж» и т.д. Мои соображения были приблизительно те же. Я предвидел, что мы «ci separeremo più presto»[2], если я приеду в Швейцарию. Вот почему мне казалось выгоднее с 1-го Сентября жить вместе в Париже, где ты без сомнения должна будешь брать уроки ради дебюта и ввиду уплаченной за них вперед суммы (на что ты сама обращаешь мое внимание). Вот почему также я предложил тебе потерпеть до конца Августа разлуку и воспользоваться этим временем мне — для усиленных занятий здесь, а тебе — для твоего растительного прозябания, которое могло быть даже нарушено моим прощальным — перед поездкой в Берлин — визитом. Заметь, что ты сама пишешь, что начала *поправляться* и чувствовать себя совсем успокоенной при *беззаботном прозябании*, но что последние *заботы* о *нашем переселении* опять нарушили [твой] необходимый тебе покой. — Прибавлю еще, что робко сделанное мной на всякий случай предложение я подчинил очень подчеркнутому мной условию: «если ты [себя] чувствуешь действительное физическое улучшение, и если притом успокоена нравственно, и смотришь вперед бодро и весело...»[3]

Я вижу теперь, что моя прирожденная привычка делать каждый шаг не иначе, как хорошо ощупав кругом почву, подобно слепцу, — часто заставляет меня закрывать зрячие глаза при ясном дне, более полагаясь на свой испытательный посох, чем на доброе солнце. Дальнейшие рассуждения излишни. Я должен немедленно ехать к тебе, и, если ты сомневаешься, что это — мое счастие, tant pis pour toi[4]. Девочку везти с собой теперь немыслимо, как ты хорошо разъяснила. Я думаю, что ее нужно оставить на все время в Париже, где, при хорошем булонском молоке, не вижу, почему нельзя было бы отнять ее от груди в Сентябре; Дуня того же мнения, и охотно остается с Пантеркой. Окончательно решить этот вопрос можно, однако, лишь с помощью Г<ольштей>на, а я еще не говорил с ним. Сегодня узнаю от Гревса в библиотеке назначенное им для моего визита время: надеюсь увидеться с ним еще сегодня[5]. В случае раннего отъезда в Милан я считаю более рациональной затрату на поездку кормилицы туда же, чтобы кормление могло продолжаться еще некоторое время, — нежели затрату на ее короткое путешествие в Швейцарию, где ребенку должно будет вдобавок в критический период отлучения еще привыкать к новому климату и подвергаться случайностям долгого пути.

Сам я думаю выехать в субботу, в 10 часов вечера, в 3-м кл<ассе>; буду в Лозанне в воскр<есенье> в 4 ч<аса> дня и немедленно же отправлюсь в Вех, где остановлюсь в гостинице и откуда, если ты не выедешь навстречу в Вех раньше, извещу тебя о своем адресе: только остерегайся разъехаться или [не встретиться] разойтись и извести <так!> раньше — б<ыть> м<ожет> телеграммой — о том, где и когда ты думаешь со мной встретиться. План мой я во всяком случае сказал; в случае изменений (напр<имер>, более раннего выезда из Парижа) дам знать. — О мебели твоей не хлопочу, п<о-тому> ч<то> ею всегда займется M-me Nugues, а я, кроме потери времени, ничего не достигну. Да и рано теперь об этом хлопотать. Целую тебя, дорогая, как люблю и как хочу поцеловать уста в уста... До свидания.

В.

Полученную мной депешу прилагаю[6]. План твой — [поехать <?> с Пантеркой в Милан] устроить берложку для пантеры в Милане, а старшую семью под протекторатом дедушки и бабушки интернировать в Женеве, мне чрезвычайно нравится; он очень выгоден для процесса, удобен для детей, щадит нравственно их и бабушку.

[1] Имеется в виду п. 171 или 172.
[2] Раньше расстанемся (*ит.*).
[3] Таких слов нет ни в одном из дошедших до нас писем Иванова.
[4] Тем хуже для тебя (*фр.*).
[5] См. п. 178.
[6] Телеграмма не сохранилась.

## 180. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*28 июня / 10 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*10 Июля*

Дорогой, возлюбленный Слава! благодарю за твои письма[1], я их читала по несколько раз. Ты можешь себе представить, как мне тоскливо без тебя. На моей душе тяжело и мрачно. Я всё время имею ощущение удушия и мрака, наступающего перед грозою. Дорогой, ужасно терять месяцы нашей близости, разлученными. Ужасно мне пропускать прелестный возраст моей девочки. Отчего ты не отвечаешь на мое письмо на белой бумаге с цветами[2]? или

ты не получил его? *Напиши*. Я тебе подробно писала о моем взгляде на дело. Я лично убеждена, что это отвратительное явление gros и blond[3] было какое-нибудь невинное существо, кто-нибудь из многочисленных «друзей» моих Петербургских. Не может быть, чтобы *он* не писал и не приходил более. Слава, *зайди, ради Бога*, на почту и спроси там у *толкового человека*, почему мне не высылают сюда письма, несмотря на мое требование. Я пишу еще об этом. Если ты не веришь мне, то можешь спросить на почте, но я знаю *наверное*, что почта никому, кроме полиции именем закона, не выдает адресов. Что касается плана с Аиром[4]. Я разъясняла тебе его темные стороны. Мне кажется, что мне пока нечего предпринимать в этом роде, кроме извещения отца на всякий случай. Эта путаница с адресами слишком неудобна и опасна. Консиержку мне вообще ни к чему извещать о своем адресе* (и Ш<варсалона> я не могу обманывать à la longue[5]. Ввиду того, что совсем неизвестно, он ли или нет был в Париже, я должна дать ему в *Петерб<ург>* на старый адрес — свой *Грионский адрес*, иначе он скажет, что я скрываю переезд свой). Аир остается как спасение от его нахальства здесь и от слишком долгого пребывания здесь, но хитрости относительно того, что я теперь жила всё время в Аире, нельзя употреблять ввиду того, что детей никак нельзя заставлять лгать. Вообще мне невыносима мысль самая о новом вавилонском переселении, и я думаю, что единственный исход — это оставить пока всё в покое и даже в случае его приезда сюда выждать его намерения и убедиться в его поведении по отношению к нам. Если он решит поселиться здесь надолго или будет себя вести дерзко, я беру детей и уезжаю в Аир. Я, впрочем, теперь убеждена, что вас напугал не он и** я этим очень огорчена, потому что живу мечтою перевести сюда Пантерку и тебя. Теперь, должно быть, невыносимо в Париже, т.к. даже здесь очень жарко. Я всё пребываю в надежде на сына, и меня страшно огорчает предстоящее уродство. Это просто ужасно. Скоро я буду дурна и больна, а ты теперь не со мною, пока я еще стройна. О милый, неужели до Сентября жить врозь? Неужели мне придется в Августе тащиться в душный Париж, чтобы страдать там в тягость себе и тебе. Нет, нет, моих сил нет. Если хочешь, сходи к Гольштейну *как к врачу* и поговори с ним о том, что мне делать. Горло у меня очень плохо. Но удаляться от семьи я *не могу*, ибо в одиночестве

* Начиная с этого места текст зачеркнут.

** Конец зачеркивания.

наложу на себя руки в безумии. О Боже, я хочу иметь девочку и тебя. Раз Ш<варсалон> не держит условия, и я могу его нарушить, т.е. не принимать его. Tiens[6], я напишу ему так: дети находятся в горах Швейцарии, а письма получаем через дедушку. О его могущем состояться приезде я ничего не упомяну, но если он захочет приехать, то должен будет написать об этом через отца, а я ему в ответ назначу свидание в Аире. Факт того, что я скрываю адрес, я тотчас сообщу брату, чтобы он в случае нужды мог объяснить в канцелярии, что я не говорю адреса в горах, т.к. я там совершенно одинока и боюсь приглашать человека, кот<орый> уже оказывал мне насилия и грубости. Слава, но если скрыть от него адрес, то почему же не приехать Вам? Слава, пойди к Гольштейну и скажи, как мне худо и как я тоскую без девочки, и как со дня, когда в Женеве впервые показалась кровь, прошло 6 недель, и как ужасно мне возвращаться в Париж, и как душа болит безостановочно, и как он скажет мне поступать. Не скажет ли он так: или пусть она умирает тотчас, или пусть она всё сделает, чтобы жить здоровой, а ввиду беременности, родов и всего этого нового, непостижимого, ужасающе близкого ужаса, ввиду этого, она должна отдыхать душою и телом в наилучших условиях. Если я тебе, Слава, нужна в жизни, даже такою негодною и слабою, то подумай об этом глубоко, если нет, то пусть я умираю: устроив детей, я тотчас еду в Париж... Сегодня пошлю письмо Ш<варсалону> через отца. Дорогой, целую тебя нежно. Не думай, что я прошу тебя сентиментальничать, ты рассуди всё как следует. Я так хорошо разъясняла положение в прошлых письмах. Милый, я во всем покорюсь тебе, я не имею сил бороться и прежде всего хочу твоего блага, которое в данное время, конечно, инкарнируется в экзамене. Когда же кончится твой развод? Писал ли ты Д.М.? Дорогой, целую нежно. Стараюсь вести себя хорошо, но заботы лежат полубессознательным, давящим бременем. Целую еще и еще. О часах похлопочи.

Твоя Лидия.

Драгоценный мальчик, я очень довольна твоею беседою с Гревсом и очень одобряю все твои «хитрости». Если неприятно, не иди к Голш<тейн>у. Целую миллион раз. Обожаю больше жизни. Твоя.

[1] Имеется в виду п. 177 и какие-то из предшествовавших. Письма 178—179 Зиновьева-Аннибал еще не могла получить.

[2] П. 167.
[3] Полного и светловолосого (*фр., рус.*).
[4] См. п.174, прим. 2.
[5] В конце концов (*фр.*).
[6] Слушай (*фр.*).

## 181. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*29 июня / 11 июля 1896. Париж*

*Субб. 11 Июля, утром*

Дорогая, нехорошая Лидия!

Эгоизм твой беспримерен. Когда тебе было худо в своем одиночестве, ты писала мне два и три раза в день, уверяя, что не можешь жить вдали от меня. Но как только семья составила тебе общество, ты так утешилась этою радостью, от ожидания которой не спала ночей и не могла спокойно сидеть на месте, а выезжала в нетерпении в Лозанну навстречу твоим милым [которых] (на них я теперь очень сердит), — что тотчас же прекратила сантиментальности излишне частой переписки со мной и отравляешь мне день за днем обманом утреннего ожидания твоих писем, вовсе не думая о том, что я ведь так же, как и ты, могу испытывать тоску одиночества и чувствовать себя «Робинзоном»[1] и мучиться заботой и страхом за тебя.

Вчера я говорил с Гревсом о моем плане скрыть твой настоящий адрес. Он отнесся к моим соображениям, по обыкновению, не измеряя всей portée[2] наших опасений. По его мнению, Ш<варсалон> не вздумает поселиться близ вас, — и скрывать от него, что вы в Gryon, нельзя и не стоит. Но потом он изменил свой взгляд и нашел, что *пока* следует поступить по моему плану, т.е. написать Ш<варсалону> в Россию, что дети поехали в Швейцарию, именно в Aïre, откуда ты их устроишь где-нибудь в горах для пользования горным воздухом.

Отношение его к некоторым сторонам жизни удивительно. Я выразил опасение, что Ш<варсалон> при свидании будет вести себя нахально и наговорит тебе дерзостей. Г<ревс> замечает, что никому нельзя запретить законом говорить дерзости!.. И когда я смотрю на него в ответ с изумлением, прибавляет: «А как бы вы могли защитить ее?» Я отвечаю, что выбросил бы Ш<варсалона> вон, и сообщаю, что между нами условлено было мое присутствие при свидании в [отдельной] соседней комнате, чтобы, по твоему зову, я мог войти и говорить с Ш<варсалоном> вместо тебя; на что

Гревс немедленно возражает, что он поступил бы совершенно так же и что по его приезде в Париж это уже было его дело — помочь тебе при свидании с мужем.

Он не рассердился на мою критическую [душу] douche[3], которая его чрезвычайно взволновала. Вчера он сидел в библиотеке вблизи от меня и мы много говорили о моих возражениях. В это время к нам подошел Щукарев[4], сообщивший между прочим, что видел мою супругу, у которой был «после диспута Крашенинникова»[5], — и не спросивший, к счастию, моего адреса. В 5 часов [мы] Гревс отправился со мной на Щукинскую пятницу, после чего я проводил его до [Ваграмы] avenue Wagram[6], беседуя по дороге между прочим о том, что изложено ранее. Конечно, он спрашивал о тебе, как и о нашей девочке. Не целую тебя. В.

По мнению Гревса, зависит от усмотрения почтовых чиновников сообщить или нет твой адрес Ш<варсалону>.

Только что получил письмо от Саши и лаконическую записку от Д<арьи> М<ихайловны>, которая еще раз просит прислать бумагу и сообщает, что «дело наше перешло в Синод»[7]... Я думал, что оно давно там. — Кончаю тем, что целую твои колени. Видел тебя и Сашу сегодня во сне.

*Отселилась* ли ты наконец *от семьи*?

Как ты себя чувствуешь?

Сегодня поеду в Boulogne и скажу Пантерке, что мама ее не целует. В.

Фрагменты — История и поэзия. С. 188, 377, 381.

[1] См. письмо 174.

[2] Важности (*фр.*).

[3] Душ; нагоняй (*фр.*).

[4] Александр Николаевич Щукарев (1861—1900), эпиграфист, историк искусства, приват-доцент Петербургского университета. Подробнее см.: История и поэзия. С. 44—45.

[5] 7 ноября 1895 г. Д.М. Иванова сообщала бывшему мужу: «В воскрес<енье> <5 ноября> на диспут М.Н. <Крашенинникова> я не пошла. Мар. Влад-у обманом отправила туда — сказала, что я пойду, а она ни за что не хотела идти без меня — и она мне потом все рассказала. Диспут длился 3 ¼ часа, и с первых слов Зелинский и М.Н. были на ножах. Главный оппонент был Зелинский. Помяловск<ий> после него сказал лишь несколько слов, — между прочим — что, вероятно, со временем взгляды М.Н. войдут в учебники. <...> Сегодня в "Нов<ом> Вр<емени>" напечатано про диспут Кр<ашенинникова> — в заключение диспута диссертант торжественно был провозглашен доктором римск<ой> слов<есности>. — В 6 час. М.Н. дал обед у Кюба́. Приглашенных, кроме нас, было 15 человек. Весь факультет. Гревс тоже был на обеде.

Было много тостов. М.Н. весь день торжествовал, но вчера уже успокоился совершенно и говорил, что время, когда он писал вступительную речь, кажется ему, было чуть ли не год тому назад, и сегодня засел опять за Прокопия» (РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 30. Л. 65—64 об.). Ср. также: История и поэзия. С. 149—151.

[6] На avenue Wagram, 28, жили Гольштейны, а с ними вместе (или рядом) и И.М. Гревс.

[7] Приведем скопированную самим Ивановым часть письма к Д.М. Ивановой от 30 июня / 12 июля 1896:

«Дорогая Даша! Извини долгий перерыв переписки и не думай, что я стал иной, чем прежде. Я так же люблю тебя, и мне было бы бесконечно больно убедиться в том, что — скажу прямо — мне казалось подчас при чтении и перечитывании твоих писем, — именно, что мы перестаем понимать друг друга и делаемся внутренне чужими. Каждая твоя строчка свидетельствует, что ты пережила за этот год внутреннюю эволюцию, резко контрастирующую с моей, и кое-что в твоих словах было, для моей впечатлительности, жестко. Вопрос в том, насколько ты сохранила еще традиции тех идеалов, которые составляли прежде прочную основу дружбы для долгого праздника нашей юношеской любви. Милая Даша, если пережитое тогда внутренне было пережито глубоко, невозможно, чтобы мы перестали смотреть друг на друга как на людей, связанных между собой внутренней связью, нерасторжимою никакими <?> внешними событиями, и ты не откажешь мне в своей дружбе и своем нежном участии, каждое выражение которого так трогало и трогает меня после разрыва нашей семейственной связи.

..... *

Самое важное — о Саше — я приберег к концу письма. Дорогая Даша, не волнуйся моим желанием и помни, что если бы я даже имел юридические права на дочь, которых совершенно лишил себя ради тебя, то все же не поступил бы в этом вопросе против твоей воли, а теперь даже и нравственно не хочу стараться воздействовать на тебя или просто беспокоить тебя своей настойчивостью; но знай все же, что ничего не хотелось бы мне так, как иметь Сашу с собою, я *очень* скучаю по ней, и без нее нет мне душевного покоя. Я бы сделал для нее все, все, что ты даешь ей; и люблю я ее, поверь, так же горячо, как ты. Скажи, что ты думаешь сделать с ней осенью. И если она будет жить не с матерью, позволь, чтобы она жила с отцом. Я всегда был бы с нею. Если ты согласна была бы в принципе, я бы сообщил тебе, как бы я это устроил. Милая Даша, тебе жить одной с девочкой в Петербурге неудобно; если ты выйдешь замуж, она тебе лишняя; отказывать отцу дочери, чтобы дать ее бабушке, несправедливо по отношению ко мне, и я этого не заслужил. Я был бы счастлив девочкой, и ей было бы хорошо со мной. Дорогая Даша, позволь мне заехать за ней после своего экзамена в Ноябре. Я умоляю тебя: если выходишь замуж, дай мне девочку» (РГБ. Ф. 109. Карт. 10. 10. Ед. хр. 8. Л. 58 и об).

## 182. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*29 июня / 11 июля 1896. Париж*

*11 Июля, Суббота, 10 ½ ч. веч.*

Вторично пишу тебе сегодня, моя радость-Лидия: можешь судить по этой жажде переписки, как жестоко я по тебе тоскую.

---

* Строка точек принадлежит самому Иванову.

Только что вернулся из Булони. Там все благополучно. Дуня была сегодня на rue Singer, где ей сказали (правду ли только?), что никого не было, а по ее уходе следили, как ей показалось, из ворот, куда она пойдет... А пошла она к Гольштейну, с которым говорила о твоем плохом здоровьи. Он опять настаивал на том, чтобы ты пила молоко, как он велел. Он требовал для тебя душевного спокойствия и чтобы ты не тосковала. Был очень озабочен тобой. Спрашивал о девочке и объявил, что приедет в четверг в Булонь завтракать у нас; следовательно, я буду иметь случай его видеть. Все время говорил я с Дуней о тебе, забота о тебе меня мучит бесконечно, и я вернулся домой просто в отчаянии. «Разве она хочет приехать в Париж в Августе?» — спросил Гольштейн Дуню — так, что она поспешила воскликнуть: «О, нет, нет!..» Боюсь, что тебе придется отказаться от сцены, даже если ты и не беременна. Как это бесконечно горько! *Должно сделать все, все, что можем, чтобы ты чувствовала себя хорошо* — физически и нравственно — в эти месяцы, решительные для твоего будущего. Милая, я думаю, что я напрасно предложил тебе скрывать от Ш<варсалона> свое пребывание в Грионе. Письмо твое, которое сегодня получила Дуня, она получила из рук консьержки, и так как в руках последней были и раньше письма с почтовым клеймом Гриона (что́ я упустил из вида), то можно считать твой адрес известным на rue Singer и быть убежденным, что, раз Ш<варсалон> в Париже, он сумеет отыскать дорогу в ваше убежище. Письмо твое к мужу одобряю, [думаю, что] оно написано как раз по моему плану, но в самом плане я уже разочаровался. *Пока* будем, впрочем, *держаться его*. Двери в Gryon должно во всяком случае признать открытыми. А если так, то и идеал <?> твой — совместного устройства там семьи и нас с тобой и девочки — должно признать неосуществимым. Милая возлюбленная, я буду стараться сделать *все*, как тебе хочется; но *так* ожидать визита Ш<варсалона> — безумие! Во всяком случае, дорогая девочка, ты не должна больше скучать и тосковать, и если ты тоскуешь по нас, мы должны быть немедленно с тобою, и если ты будешь тосковать по жизни совместной с семьей, должно сделать *все*, *даже это безумие*, для тебя и для твоей радости. Понимаешь, пантерка? вот как нужно сделать! Но важно *прежде всего решить, вернешься ли ты вообще в Париж*, и если да, то к какому сроку. Сообразно с этим решением мы увидим с тобой, потерпеть ли нам еще разлуку или нет... И если не хочешь вернуться, то не хорошо ли будет тебе устроить-

ся со мной и девочкой где-нибудь в защите от доносчиков и вместе поближе от остальной семьи. О дорогая, я думаю так: твое положение таково, что самое благоразумие может быть неблагоразумно. Поэтому я буду стараться указывать тебе благоразумные комбинации, а ты распоряжайся, и притом так, как этого требует твое гадкое, капризное сердечко, которое не хочет подчиняться ни твоей воле, ни твоему разуму и от настроения которого зависит успех или неуспех всех наших усилий. Dixi[1].

Милая радость, сегодня покупал Саше книжки — две тоненькие итальянские и, по указанию Гревса, «Le petit Chose» А. Додэ[2] в иллюстрированном издании для детей, и послал тебе также книжку, моя хорошая девочка.

Входя вечером в свою комнату, по возвращении из Булони, я уже прямо собирался предаться черному отчаянию, если бы от тебя не было письма. К счастию, оно лежало на столе. Довольно вялое; очень нежное, впрочем... Видно, что ты очень слаба *. Я знаю тебя, дорогая, и люблю нежно. О, как я страдаю оттого, что мое сердце «горит и любит» и «не любить не может»[3]. И от тебя я не страсти хочу и не пламенных выражений любви; я хочу лишь уверенности для себя в действительной глубине твоей любви. Поцеловал бы тебя с упоением...

Твой Вячеслав.

Какие ты хорошие цветы прислала, моя девочка, и как они пахли! Пришли еще: они так приближают меня к тебе...

Конверт со штемпелями: Paris. 13 Juil. 96 — Gryon. 14.VII.96.

[1] Решено (букв.: я сказал) (*лат.*).

[2] Роман А. Доде «Малыш» (1868).

[3] Неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829).

## 183. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*30 июня / 12 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*12 Июля 96*

Дорогая Вуня, спасибо за длинное письмо[1]. Мало ты ласки пишешь мне: мне холодно. Дорогая Вуня, целую тебя крепко. Я

* Строка текста густо замарана.

так тебя люблю, что всё время мне кажется, что я не вправду живу, а «будто-ка». Всё время я крепко держу себя в руках, и час за часом проходит, проползают дни, а у меня под тонкой пеленой, навеянною волею спокойствия, точно Океан мрака, ужаса, отчаяния. Я его глухо сознаю, этот океан, он там где-то в глубинах бурлит, стонет, грохочет, и так вот и кажется, что прорвется тонкая плотина, и он затопит всё мое существо, и я пропаду, наконец. И, наконец, всё будет тихо и кончится жизнь с ее борьбою, с ее вечными угрозами, ударами, со всем ее бесконечным страданием и с разлукою во главе. «Прощай» — вот мотив, на все лады распеваемый жизнью, и как редко даже «до свидания». О ужас, громадный, как горы, бездонный, как море, всеподавляющий, всепоглощающий ужас. Я слаба, я живу здесь только силою привычки. Я прилепилась к этой бедной, одинокой, преследуемой и вытравленной <так!> семейке, и когда вокруг светит солнце, тихо, и когда дети радостны и кротки, когда Анюта улыбается мне и обнимает меня своею преданною любовью, тогда я тихо прозябаю и пелена спокойствия укрепляется в душе, но малейший резкий тон, детская ссора, нездоровье Анюты, дисгармоничный звук извне — и я страдаю, вся объятая бесконечным ужасом и болью, болью, которой нет конца и нет начала. Мне кажется, что я страдала всегда и буду страдать вечно. Что мне делать? Я ясно чувствую, что подошла к «концу», совершилось банкротство моих жизненных сил. Я все еще люблю и эту жизнь, ибо и мертвым даже сердце мое не может отказаться от любви, но смерть сама собою, естественно кажется мне желанным концом, так догоревшая свеча тихо и мирно потухает. Прости, Славушка, мои рыдания. Будь умником ты. Ты сильный, еще молодой, ты моя опора, мое спасение. Пока ты у меня, со мною, близко ли, далеко ли, я еще живу. Живу потому, что живет во мне любовь. Как может умереть любовь? Делай так, как считаешь полезным и нужным, я покоряюсь судьбе. Я имею свою комнатку отдельно от семьи (только Сережа спит в ней, т.к. я боюсь одна), но я почти не могу быть в ней одна. Полижу <так!> полчаса, и страшно и тоскливо станет, я переберусь в общую комнату, усядусь на диван, сижу, и смотрю, и слушаю, как дети играют, ссорятся, как Анюта двигается между ними или шьет, а Шарлотта стряпает, а я больше молчу и смотрю на всю эту жизнь вокруг меня, сама же не живу, а только тихо успокаиваюсь. Плохо сплю с вечера и потому остаюсь в постели до 9-ти и до 10-ти часов, в 12 — обед, а затем, дождавшись почты, идем все в поля. Несем в корзи-

не провизии, и к 6-ти часам варим в поле на костре ужин. Все едят с громадным апетитом <так!>. После ужина я с детьми бегаю в палочку-воровку. А до ужина они играют одни, Анюта читает или шьет, Шарлотта тоже. А я каждый день беру с собою сверток с романом, чернила и перо, но до сих пор не решалась еще уйти от других подальше и писать, всё жмусь к людям и лежу, ничего не делая. К 8-ми возвращаемся домой. Школа здесь с 7—10 утра. Поговорю с учителем, не согласится ли он на частные занятия от 10—12 дня, если не очень дорого, то устрою так. Милый, как я рада, что ты хорошо занимаешься! Надо скорее тебе сдать экзамен. Как ужасно взволновало меня известие о Ростовцеве[2]. Видишь, всякий мозгляк опередит тебя и понемногу разные улитки доползут до тебя, пока ты лежишь, как Илья Муромец. Мой брат будет в Швейцарии осенью: он пишет мне. Дело с разводом не двигается. Дорогой Слава, целую тебя нежно, поцелуй от меня девочку и Дуню.

— Эта Мария Алекс. Иващенко, урожд. Сперанская[3], — воспитанница старушки Пабст[4], она была не совсем дура, кончила курсы, была потом членом кружка Шварсалона, она прежде его недолюбливала, но со дня нашего разрыва постоянно защищала его и изводила меня глупыми вмешательствами в мою душу. Она и супруг однажды про меня целый роман сочинили. Теперь я разбесилась, как видишь. Это уже чересчур нахально, что генерал Иващенко советует мне примирение. Теперь идем гулять. Прощай, целую без конца. Яковлевы поздравляют нас с дочкой. Целую миллион раз.

Твоя Лидия.

Конверт со штемпелями: Gryon. 12.VII.96 — Paris. 13 juil. 96.

[1] Имеется в виду п. 178.

[2] См. п. 178.

[3] См. пп. 164, 177, 194.

[4] См. п. 65, прим. 4.

## 184. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*2/14 июля 1896. Париж*

*14 Июля 1896, полдень.*

Дорогая Лидия! Сегодня «le quatorze Juillet»[1]; я сижу в своей «мансарде», чистенько прибранной; солнечные лучи сквозят на

колеблющихся занавесках; с улицы доносятся звуки рожков и барабанов, проходящих в Bois[2] на обычный смотр войск, — и все это, приятно и слегка меланхолически, переносит мои воспоминания в ту же пору национального праздника в прошлом году, когда я только что прибыл в Париж, усердно посещал тебя на улице Desbordes-Valmore, так часто проходя по этой самой rue de Passy, видел с тобой вчера retraite aux flambeaux[3], а сегодня был один в Bois и видел много войск, а завтра, 15-го..... переселялся с тобою в Булонь, рвал плющ для твоего венка в лесу S. Cloud и потом... потом... Возлюбленная, [ты должна] это письмо будет в твоих руках в годовщину нашей парижской свадьбы, которая представляет собою такую же эру нашей любви, как и римская. Это наша вторая эра. Как жестоко случилось, что мы не можем достойно отпраздновать эту годовщину нашего настоящего и окончательного брака в объятиях друг у друга! Как я несчастен в этот момент нашей разлукой! Но в этот ли только момент? Все последнее время я чувствую <себя> подавленным, не живущим полною жизнию, не дышащим всеми легкими и совершающим только ряд последовательных специальных функций, как какая-то машина. И хорошо, когда функции эти совершаются правильно, потому что часы, когда я во<з>вращаюсь к полноте своего сознания, бывают для меня часами глубокой и безысходной меланхолии. Чувство любви снедает меня тогда, как яд. Ее образ представляется мне двуликим, и в чертах ее двойника я различаю черты Смерти. Мне — совершенно, как тебе, — кажется, что «*прощай* — вот мотив, на все лады распеваемый жизнию», и я так же «ясно чувствую, что подхожу к концу»[4]... В нашем настроении, как ты видишь, много общего — только у тебя оно более оправдывается физическими причинами. Если ты «жмешься к людям», то и для меня поездка в Булонь к Пантерке — праздник, и я стал даже словоохотлив при встречах с Гревсом, Аничковым, Казанским[5] и т.д. О возлюбленная моя девочка, мне все яснее, что мы оба идем против своей природы и делаем себе много боли и вреда, бравируя Разлуку... Как сильно действовали на мою душу все даже мелкие впечатления год тому назад — возвращаюсь я снова к своим воспоминаниям —! Какой новой предстала ты мне! Как вся любовь наша началась сызнова, с какой усилившейся после разлуки и полуразрыва, с какой безудержно распалившейся страстностью во всем, — в желаниях и взаимном влечении столько же,

сколько в необходимости для Hexentrank der ungeläuterten Liebe[6] элементах вражды и ненависти! Так уже потухающий пожар вдруг неудержимо распаляется от новой пищи, перебросившись на окружающую сушь!.. Беременность с ее бессилием, закончившая для тебя булонский период, отравила, кажется, твое воспоминание об нем; я же люблю его за все его эксцессы, за всю пену Hexentrank'a[7], которую мы жадно глотали тогда... О, дорогая! Я тебя опять мучительно желаю. О, если бы мы могли смешать наши жизни в один общий кубок любви и этой ужасной подавляющей меня страсти, — и выпить его вместе, зараз, соединенными устами, чтобы более не жаждать, и не пить, и не влечь бремя жизни!.. Возлюбленная, кажется, что совершается во мне некоторое великое освобождение. Ты знаешь мое всегдашнее отношение к мысли о смерти: в каждую минуту я хотел бы «ликвидировать». Но я был очень заинтересован итогом этой ликвидации, и мне хотелось, чтобы актив моих «славных подвигов» непременно на такую-то и такую-то сумму — и сумму очень нескромную — превысил пассив. Эта жажда славы заставляла меня бояться смерти, что я выражал словами, что хочу жизни, и долгой жизни, для своего дела... — так как нельзя стеснить всего содержания этого дела в кратчайший срок... Теперь же я понял настроение Цезаря, или, если точнее, фривольность Цезаря[8]. Должно презирать жизнь *вполне*, с великим делом жизни включительно, и тогда только будешь *вполне* свободен. Должно быть уверенным, как бог, и, как бог, беззаботным; должно делать свое великое дело, как своеобразную работу, или, еще лучше, игру и забаву, и никогда не позволять себе «служения». Должно знать цену вещам и помнить, что все земное «eitel Rauch»[9]. Вот условие истинного величия. Прибавь к этому основному [настроению] сознанию ничтожности и несерьезности всего человеческого осмотрительность, зоркость, ловкость в игре, наконец, уверенность [, даваемую] и смелость, спокойствие и великодушие, внушаемые мыслью о малоценности победы и выигрыша, — и ты поймешь [настроение] Цезаря. Я знаю, что ты будешь протестовать против этих размышлений, ибо не можешь отказаться, в той или другой форме, от «принципа» и «служения». Но верь, что как бы высок и горд ни был идеал стремлений человеческой личности, она, если делается слугой его, уже не автономная личность, не personnalité souveraine[10], и высочайшее может быть достигнуто только свободным и играющим с тучами взлетом

орла, а не безустанно-добросовестной работой подъемлющего с морского дна свой остров кораллового полипа.... К чему вся эта долгая речь?... Увы, ни к чему. Мне отказано в привилегии твоего ума и стиля поставить в конце долгих рассуждений точку, начав с новой строки: «А веду я всю эту речь к тому, дорогой друг, чтобы» и пр., или: «Здесь я приступаю к тому, для чего было сказано все предыдущее», и т.п. Мораль моего aperçu[11] и поэтически-проста и поэтически-платонична: «Лидия, я хотел бы умереть в твоих объятиях!..» Пусть же этот влюбленный вздох поздравит тебя с годовщиной нашей второй свадьбы. Твой В.

К письму приклеен конверт с парижским штемпелем — 15 июля 1896. Грионского штемпеля нет.

[1] «Четырнадцатое июля» (*фр.*). 14 июля — День взятия Бастилии, один из важнейших праздников во Франции.

[2] Лесу (*фр.*), т.е. в Булонском лесу.

[3] Факельное шествие (*фр.*).

[4] Цитаты из п. 183.

[5] 7 июля 1896 г. М.И. Ростовцев писал из Парижа С.А. Жебелеву: «Здесь Щукарев, Гревс, Аничков, Васильев, Панченко, Батюшков, не считая моих приятелей архитекторов» (цит. по.: История и поэзия. С. 330). Евгений Васильевич Аничков (1866—1937) — историк литературы и фольклорист, приват-доцент Петербургского университета, многолетний друг Иванова. О каком именно Казанском идет речь, установить не удалось.

[6] Ведьминого зелья неочищенной любви (*нем.*).

[7] Ведьминого зелья (*нем.*).

[8] См. эпиграф к стихотворению «Довольно» из «Кормчих звезд»: «Satis vixi vel vitae vel gloriae. C. Iulius Caesar» (I, 585). В переводе Иванова: «Довольно жил я — в меру ли жизни, в меру ли славы» (I, 862). Неточная цитата из речи Цицерона «Pro Marcello».

[9] Здесь: ничто, суета (*нем.*).

[10] Суверенная личность (*фр.*).

[11] Краткого очерка (*фр.*).

## 185. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *2/14 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*Вторник.*

Дорогой Славушка, посылаю тебе глупую «писульку» Сережкину, как он ее изготовил[1]. Он с первого дня порывался писать тебе, но я заставила его писать раньше бабушке. Сегодня я их свела в школу. Она мне живо напомнила Копорскую школу, и меня охватило ощущение моего девичества, лучшие часы которо-

го были проведены в подобном же большом классе с грубыми партами, за которыми сидели такие же простые, довольные ребятки, счастливые лаской и теплом школы. Сережа уже объявил, что ему больше нравится здесь, чем в лицее. Они ходят в класс с 8—10 утра, потом прибегают домой, выпивают еще молоко и бегут обратно, чтобы до 11 ½ взять частный урок у учителя: composition, calcul[2] и по моей просьбе рассказы по древней истории, начиная с Востока. Ты можешь для чтения Сереже прислать «Восток и Египет»[3], кот<орый> прислала мне Яковлева. Спасибо, мой дорогой, за книгу[4]. Какой ты добрый. Я просмотрела préface[5]. Как интересно, но я еще не читала, т.к. когда в лесу, то так устаю, что просто валяюсь. Расскажу день: утром я пишу и валяюсь по очереди и делаю scappate[6] в дом к семье, чтобы убедиться, что я не одна, там сидит влюбленный Тик, который страдает от нежной страсти ко мне. Я его отлично вышколила, он меня *очень* боится и послушен. Обедаем в 12 и собираемся в поля. В 2 проходим мимо почты, чтобы захватить письма. Затем тащимся вдоль обрыва в глубокую долину по склону горы по чудным лугам, прерываемым лесочком. Есть там местечко, где большие ели обросли со всех сторон котловинку, на дне которой течет ручей. Ручей в одном местечке углубляется, как крошечный бассейн, и там мы все булдыхаемся <так!> вволю вместо душа, вода студеная и после нее тело горит, как в огне. Побегав на солнце, мы садимся к костру: варим и едим картофель, яичницу, кашу и т.п. К 8-ми возвращаемся и *все* ложимся спать. Вот жизнь! Ожидаемого все нет. Просила Дуню прислать лекарство, кот<орое> ей давали при прекращении мес<ячных>. Если это простое запоздание, то вызовет, если же беременность..... то надо думать, как устроить мою жизнь отныне по-другому, так как сцена тогда ухнула. Это удар неожиданный и жестокий! Сегодня 6 ½ недель от первого появления в Женеве! Я, лично, не сомневаюсь, тем более, что у здешнего учителя 11 человек, а ему нет 40 лет*. Кстати, у меня есть поклонник: здешний пастор, очень недурен, лет 30 с небольшим, потомок каких-то ducs[7], франц<узов>-эмигрантов, роялист, воспитанный с duc d'Orléans[8]. От него зависело принятие детей в школу, и он, несмотря на мои отбояривания, нашел случай 3 раза приходить к нам: Mr François Morel. По воскресениям он звал детей в цер-

* Фраза отчеркнута по полям двойной карандашной чертой.

ковь, где он ведет курс св<ященной> Истории. Буду посылать. Слава, что ты зря ворчишь на меня. Я ни разу не пропустила более 1 дня между письмами. Писать каждый день очень дорого и отнимает всё время. Впрочем, я еще не нашла возможности приняться за роман: то маме, то папе, то брату, то Яковл<евой>, то Сперанской[9], то..... Сил нет и просто невыносимо. Слабость всё еще колоссальна. Любишь ли ты меня? Целую тебя, мое счастие, моя радость. Как можешь ты думать, что я теперь менее нуждаюсь в тебе. Я только живу тобою. Придумай, что нам делать. Что делать, если я беременна. Сомнения нет. Слава, я знаю свою природу. Пока еще, к счастию, нет тошноты. Я написала брату, как уведомить мужа об адресе через Женеву. Дорогая Слава, беру тебя на руки и прижимаюсь к тебе и целую тебя в губы. Дорогая Слава, не ленись мыть рубчик, я об нем думаю. Я целую его и тебя еще и еще. Любишь ли ты меня? Ты, кажется, отлично себя чувствуешь и весь предался работе? а я не живу, а только пребываю как-то. Жду, мечтаю.

Дорогая Вуня, прочитала твое длинное письмо[10], но оно меня ужасно утомило, т<ак> что ответить не могу: совсем голова кружится и хочется плакать. Знаю одно: хочу тебя, но хочу 1) чтобы твоя работа ***не страдала***, и 2) не могу выдумывать скрывательств, умру, умру. Хочу жить вместе. Умру просто. Повидай Гольшт<ейна>, спроси, беременна ли я. Кровотеч<ение> *кончилось* <во> Вторн<ик> 4 недели назад, продолжались 1 ½ недели. Целую, обожаю. Больно от слабости. Завтра напишу твоя вся вся Лидия.

Конверт со штемпелями: Gryon. 14.VII.96 — Paris. 15 juil. 96. Вторник приходился на 14 июля.

[1] Письма С.К. Шварсалона к Иванову этого времени хранятся: РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 53. Л. 1—2, однако идентифицировать то или иное послание вряд ли возможно.

[2] Сочинение, арифметика (*фр.*).

[3] Такой книги для детей нам отыскать не удалось.

[4] Возможно, за роман А. Доде «Малыш», о посылке которого Иванов сообщает в п. 182.

[5] Предисловие (*фр.*).

[6] Экскурсии, походы (*ит.*).

[7] Герцогов (*фр.*).

[8] Герцогом Орлеанским (*фр.*). Здесь имеется в виду Филипп, герцог Орлеанский (1869—1926), правнук короля Луи-Филиппа, официальный претендент на французский престол с 1894 г., времени смерти своего отца, под именем Филиппа VIII.

[9] См. п. 183.

[10] Видимо, п. 182.

## 186. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*2—3 / 14—15 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*14 и 15 Июля*

Дорогой мой Вячеслав, я получила всю кучку твоих писем в одном конверте. Я была такая усталая, что не могла даже сразу охватить их смысла, теперь я все поняла и, лежа в лесу *под елями*, которых здесь много, и в промежутки, играя в палочку-вор<овочку> или ужиная, я могла подумать о письме. Надо подождать еще неделю, максимум две, и затем непременно устраиваться вместе. Когда неоспоримо подтвердится моя беременность, то я, конечно, решу не ехать в Париж, если квартира этого не потребует. Говорить об устройстве не слишком тяжело пока, такое непреодолимое отвращение внушили мне нескончаемые планы бегств и скрывательств. Дорогой Слава, конечно, придется покориться и оставить детей одних *до осени*, т.е. до начала занятий в институтах <?>. Кстати, спроси Гревса, когда начало. Дети здесь будут хорошо устроены, потому что у них хороший учитель, кот<орый> дает им частные уроки. Девушки настроились, и всё пойдет ладно. Но меня берет нравственная тоска, эта необходимость разъединяться и жить тайно, как воровке. Всё от крупного до мелочи изводит меня. Но оставим эти «капризы». Я объясню тебе условия. *Деревни* в Швейцарии все не выше 1100, 1200 m. Выше уже летние пастбища скота и маленькие домики, где обыкновенно даже нет комнаты, а спят вповалку со скотом и сырами. Таковы и La Croix и Taveyanne <?>, куда я хотела переселиться. Можно, вероятно, *случайно* сговориться с каким-либо пастухом или пастушкой, если *случайно* у этих пастухов и пастушек есть спальная <?> и отдельная комната. Тогда можно их прогнать на сеновал. Но, конечно, так можно жить только взрослым. На всякий случай в Воскресение мы со старшими детьми и Анютой полезем с раннего утра в деревню La Croix, чтобы лично убедиться в том, что там есть. Есть еще исход: Villars и Les Bains. Схожу туда на днях. Эти деревни приблиз<ительно> на той же высоте. Но первая страшно шикарна и на 100 m. выше — там дорого. Вероятно, придется устроиться, как ты пишешь.

*Утро.* С каждым днем, с каждым часом уходит последняя надежда: да, я беременна, мой дорогой муж. Я люблю тебя, я рада была бы иметь сына-однолетку с Лидией, и только три заботы

тяжелым бременем давят душу: 1) слабость невыносимая 2) уродство, и страшно боюсь, что испортится фигура. Впрочем, у матери была фигура 18-тилетней девушки после семи детей. 3) сцена, эта прекрасная, манящая мечта, и этот Молох, которому уже были принесены в жертву годы, силы и деньги. И сколько желания, страсти было у меня. Это самое, самое, самое ужасное. Роды и беременность унесут еще силы. Но продолжаю утверждать, что я счастлива безгранично и горжусь нашею любовью, которая пренебрегла всеми низостями, спасающими супругов от детей. Пусть растут вокруг нас, пусть продолжают нас. О, только бы быть красивой, только бы любить друг друга. Милый, будешь ты меня любить? Милый Слава, эта беременность накладывает на меня священную обязанность беречь свои силы и восстановить здоровье. Для этого, конечно, немыслимо вернуться в Париж. Надо остаться в Швейцарии как можно долее, затем не знаю где устроиться: по возможности возле тебя, а если нельзя — то в Париже зимою, т.к. рожать надо там из-за записи. Поговори с Гольштейном, но скажи, что у меня очень аккуратная натура в смысле сроков. Пока я не чувствую ни тошноты, ни мучительного голода. Я очень хорошо себя чувствую, когда целыми часами валяюсь, даже *не читая* (до сих пор не могла начать нов<ый> роман читать). Но для того, чтобы чувствовать себя хорошо, должна спать *с 8 ½ веч. до 9 ½ утра*, как сегодня. Видишь, какая негодная руина. Если бы я была не беременна, такой режим должен бы поправить меня, но при беременности надо максимальные средства для поправления здоровия. Но довольно, потерпим еще немножко. Спроси Г<ольштейна>, какой максимальный срок запоздания. Дорогой, мы с утра с Костей и с двумя девушками уходим в лес, dans un creux[1] тенистый, с ручьем, в котором купаемся два раза в день. Уже обед варим в лесу, а потом ужин, и возвращаемся к 8 вечера, вымытые в ручье. Молока я пью сколько только могу. Свинины здесь нет. Да и мяса немного. Милый друг, прощай, пишу два слова маме. — Целую нежно. Часы присланы мне! Не сумели послать из Pontarlier. Теперь придется ждать свидания. Они мне нравятся, но, увы, дурак не выгравировал девиз *печатными* <подчеркнуто дважды> буквами.

Твоя Лидия.

[1] В ложбине (*фр.*).

## 187. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*4/16 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*16 Июля*

Дорогой Слава, вот опять пишу. Планы и размышления не дают мне покоя. Дорогой, невозможно в денежном отношении * перевозить девочку со свитою сюда, и вот почему: Если я еду в Милан осенью, то буду в Париже в Сентябре или Октябре и при себе отлучу девочку. Но этого не будет, т.к. я беременна, а будет вот что: Я проведу здесь Август и Сентябрь, а к Октябрю поспешу в Париж нанять квартирку побольше для всей семьи и с комнатой для тебя и выпишу детей. Ведь рожать можно только во Франции, следовательно, в Феврале или Марте надо быть в Париже, — это с одной стороны. С другой: детям всего лучше учиться в Париже или Женеве, а я не могу жить беременной в Женеве. Итак, или Милан или Париж. Я думаю, что для семьи Берлин невозможен. Я же могу приехать туда одна. Во всяком случае, я более не могу жить врозь с девочкой и с тобою и с осени соединю семьи. Придется, вероятно, открыться брату, и он наверное посоветует скрывать мой адрес от Ш<варсалона>, назначая переписку и свидания через Aïre. Детей старших, очевидно, надо сделать нашими сообщниками: другого исхода я не вижу. Столько о детях. Теперь ты: я полагаю, что всего счастливее для нас обоих было бы соединиться как можно скорее, т.е. как только окончательно определится моя беременность. Я думаю, что я не буду мешать твоим занятиям. Я ложусь в 8 ½ час. спать, и ты будешь иметь спокойные вечера. А днем я буду молча валяться под соснами, а ты рядом будешь учиться. Я буду на костерке готовить твой ужин. Дорогой, я согласна, впрочем, на всё, что лучше для тебя. Теперь я пойду после обеда в Les Plans, чтобы там посмотреть. Сегодня я очень плохо себя чувствую — тоска. Должно быть, от холодных купаний в ручье, я ослабла очень, <и> ноги болят: совсем как от дум. Я пишу, а рядом лежат наши часы, которые вдвоем дружно тикают: твои большие, огромные, и мои крохотные. Мне они оба <так!> очень нравятся. Но я так устала, что молчу. Прощай, дорогой, учись, будь, как можешь, покойнее и напиши твое* мнение.

Лидия.

---

* Сверху вписано без обозначения места вставки: и потому что это требует новую кучу лжи, об кот<орой> убивалась всю ночь.

**Или «свое»: в текст вклеен конверт, и первая буква не читается

***Пришли*** *Дунино лекарство.* Ах да, посылаю тебе мою доверенность. Дорогой, придется тебе похлопотать. Будь добр, сходи в консульство и спроси, могут ли они принять ее со вставками внизу, не переписывая доверенность и не платя за нее вновь.

Сделай это скорее, друг. Иначе не примут, пишет Яковлев.

Твоя всею душою

Ли<дия>

Страшно наслаждаюсь часами: они рядом обворожительны, и я их постоянно укладываю на руке: *ты купи* мне un noeud en acier, pour porter des toutes petites montres sur le corsage[1]. Хорошенький и *маленький.* Посматривай в витринах.

Только что получила письмо, не успела еще прочитать: милый, возлюбленный, ради любви нашей, ради годовщины ее приезжай ко мне скорее: иду искать *комнатку нам.*

Целую, обожаю, твоя.

Счастлива тобою.

К письму приклеена лицевая сторона конверта со штемпелями: Gryon. 16.VII.96 — Paris. 17 juil. 96.

[1] Стальной узелок, чтобы носить все часики над корсажем.

## 188. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*4/16 июля 1896. Париж*

*16 Июля, вечером*

Возлюбленная, божественная девочка! Сегодня разговаривал я с Гольштейном, и вот что он сказал:

«Поезжайте к ней, — были первые его слова. — Возьмите свои волюмы[1] и отправляйтесь к ней!»

Причина твоего недомогания главным образом *нравственная*: физически ты здорова; должно нравственно хорошо себя чувствовать и быть спокойной. —

После столь сильного retour des couches[2], как ты имела, должно ожидать *большого* запоздания регул, — до двух месяцев; очень возможно, что ты прождешь месячных еще 4 недели; медленность их прихода вовсе еще не признак новой беременности.

Возвращение в Париж *абсолютно вредно* для твоего здоровья. Должно пользоваться горным воздухом и отдыхать до самого пе-

реселения в Милан. Это физическое укрепление есть лучшее приготовление к твоему дебюту (о котором Г<ольштейн>, на основании женевского успеха, говорит уже с уважением... «О, люди, жалкий род, достойный слез и смеха, жрецы минутного, поклонники успеха!...»[3]).

Должно хорошо питаться, заменяя пищу, при отсутствии аппетита, молоком. Обычный режим твой должен быть по меньшей мере 3 литра молока. Количество, меньшее 2-х литров, не оказывает никакого действия. И есть должна ты свинину. Свинины нет в Gryon — не отговорка. Купи окорок в Вех, и он станет тебе надолго... Купи окорок в Вех!.. Купи окорок в Вех!!.....

Возлюбленная, я принимаю за тебя решение, так как тебе трудно думать и решать. В *Париж* ты *не* едешь. Я *приезжаю к тебе* с булонской семейкой. В половине Сентября мы переедем в Милан.

Я надеюсь, что ты не будешь протестовать против потери уроков у Гейрот. Действительно ли они так необходимы? И разве не заменимы они уроками в Милане? И — raison suprême[4] — не дороже ли твое здоровье этих уроков? —

Как и где мы устроимся, предоставляю решить тебе, основываясь на признанном тобою принципе отделения девочки от большой семьи. Можно ли поселить ее в Gryon отдельно, приставив к nounou[5] Шарлотту, вместо Дуни, и отдав Дуню большой семье — ради [внешней] apparences[6] и без потери существенного, так как девушки будут одинаково следить за содержанием Пантерки? Или мы возьмем Пантерку с собой?.. Если она будет в Gryon, не ищи для нас местечка, мы сами вдвоем отыщем себе уголок.

Распорядись относительно парижских вещей. Я думаю мебель продать не всю, а твою колоссальную <?> кровать, напр<имер>, отправить потом, малою скоростью, в Милан. Куда бы девать покамест другие вещи?

Приезд наш должно подготовить, по-моему, к Августу или концу Июля.

Вот тебе весь проект. Если лень думать, предоставь все устроить мне. Если не лень, пришли твои соображения и инструкции...

Милая девочка, не думай, что я хочу решать все за тебя. Я все сделаю, как ты хочешь и велишь, но думаю избавить тебя от

беспокойств и колебаний, говоря, что имею une idée arrêtée[7] относительно нашего образа действий[8].

Адрес *наш* мы с тобой никому не скажем; не нужно, чтобы и брат твой знал обо мне и девочке. —

Г<ольштейн> очень, очень был мил. После завтрака он, я и Дуня поехали вместе на пароходе до Лувра, так как Дуню пришлось свести к дентисту, который ей пломбирует два или три зуба; я просил его о conditions favorables[9], потому что Дуня как gouvernante[10] у детей знакомой семьи сама зарабатывает хлеб.

Пантерку Г<ольштейн> очень похвалил. Даже ее белизной не остался вовсе недоволен, говоря, что на то она и блондинка. И кормилицей очень был доволен, и образцовым содержанием ребенка. А меня встретил замечанием: «Можно ли было создать существо, до такой степени похожее на себя», и инсинуировал, будто Пантерке недостает только пенсне, бороды и сюртука, чтобы, при известном увеличении пропорции, вполне удовлетворительно заменять мою особу. На что я возразил, что хотел бы видеть в *Лидии* повторение Лидии и что ее материнские глаза, рот и улыбка вполне удовлетворяют это мое желание. В самом деле, вчера я вдруг имел sursaut[11] удивления и радости, увидя, что маленькая Пантерка сделала мне улыбку и прищурила глазки совсем, совсем, как ты! У меня даже сердце прыгнуло от впечатления тебя.

Затем, дорогая возлюбленная, до свидания, потому что места нет и потому что теперь я с ума сошел на мысли о свидании! О, как хочу тебя опять видеть, целовать, ласкать, ласкать тебя до безумия! Я был очень счастлив сегодня письмом Сережи, даже Гольштейну похвастал его дружбой, которой очень горд. Сегодня, жаль, негде и некогда писать ему. Целую его и благодарю. Целую также Тика[12] за нежную страсть к тебе, и Верушка <так!> за интерес к французским романам.

*Весь твой В.*

Анне Николаевне прошу прочесть вслух вот что: «Дорогая Анна Николаевна, помните свое слово и держите Лидию в ежовых рукавицах; велите ей есть свинину и пить три литра, не послушайтесь ее, не уступите ей, заставьте ее лечиться и молчать. Будьте здоровы и не поминайте лихом». Милая девочка, лекар-

ство[13], вчера мною посланное по ж<елезной> д<ороге> (так как на почте не брали) *не пей* и не доставай из Вех! п<отому> ч<то> запоздание не ненормально, и чтобы не повредить себе, Г<ольштейн> ничего не велел делать для ускорения регул.

Не могу не обратить твоего внимания на одно весьма... весьма... неожиданное место твоего письма, а именно: «Я, лично, не сомневаюсь (подразум<евается>: в своей беременности), *тем более что* (sic!) у здешнего учителя (!) 11 человек (подразум<евается>: детей), а ему нет 40 лет. *Кстати* (??!), у меня *поклонник*» и т.д.[14] Все, что можно заключить из приведенного текста, основываясь на его букве и оставаясь в пределах логики, но не допуская слишком далеких и смелых предположений, это — что твоя беременность и плодородие молодого грионского учителя находятся в [прямой связи] таинственной, но непосредственной связи...

Очень счастлив, что часы не пропали... Почему ты не любишь печатных букв? Угадал ли я девиз?

Целую мои часы, *часы моего счастия*... Поручил бы тебе поцеловать, да ты не можешь...

В.

Nounou сегодня попросила денег, которые понадобились ее родным, и я отдал за 3 месяца (по 45 фр<анков>) — 135 франков.

Консьержка все говорит, что никто больше тебя не спрашивал. *Попросила плату* до октября.

Наклеен конверт с парижским штемпелем — 17 июля 1896.

[1] От *фр.* «volume» — том.

[2] Возобновления месячных после родов (*фр.*).

[3] Из стихотворения А.С. Пушкина «Полководец» (1835).

[4] Наивысший резон (*фр.*).

[5] Няне, кормилице (*фр.*).

[6] Видимости (*фр.*).

[7] Сложившееся мнение (*фр.*).

[8] В этом месте Ивановым поставлен знак окончания.

[9] Льготных условиях (*фр.*).

[10] Гувернантка (*фр.*)

[11] Прилив, приступ (*фр.*).

[12] Домашнее имя К. Шварсалона.

[13] См. пп. 185, 186.

[14] См. п. 185.

## 189. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*5/17 июля 1896. Париж*

*17 Июля, утром*

Другая комбинация, Лидия! В случае, если ты не можешь вовсе отказаться от уроков Гейрот перед дебютом, нечего делать, придется тебе приехать в Париж, но только на *Сентябрь*. Я приезжаю к тебе в этом случае *немедленно* и (так как моя комната уплачена за 2 недели после 4-го) должен *немедленно* принять меры к отъезду, почему тебе лучше телеграфировать ответ. А наша Пантерка останется до нашего возвращения (к Сентябрю) на старом месте. Я буду ждать тебя в Lausanne или Bex, откуда мы вместе найдем себе убежище. Если только ты будешь тосковать по Пантерине и скучать разлукою с семьей, о чем ты заранее должна подумать, то вся комбинация никуда не годится. Преимущества ее суть: 1) спасение для тебя будто бы столь нужных уроков, 2) экономия (квартира и мебель в Булони взяты до Октября, Пантерку в Gryon или с нами вместе устраивать нужно снова, платить за путешествие кормилицы и Дуни). Невыгоды: 1) утомление парижской поездки, 2) одиночество Дуни до Сентября. Кроме того должно принять в расчет срок отлучения от груди: в этом пункте я ничего не смыслю. Если ребенку нужна кормилица 8 месяцев, как ты говорила, то nounou[1] придется взять в Октябре в Милан, и тогда потеря денег за ее путешествие в Швейцарию до некоторой степени окупается. Если же можно отлучить бедную Пантерку уже в Сентябре, то nounou можно в Милан не брать. — В Милан я уже в этом случае не поеду, а отправлюсь из Парижа в Берлин, где мне невредно будет сосредоточиться. В половине Окт<ября> я все равно должен быть там.

Мой совет — отказаться от парижских уроков! А с этим вместе и комбинация оставления Пантерки в Париже, неудобная уже по нравственным причинам, именно по возможному влиянию на душевное состояние твое и, быть может, отчасти Дуни, падает.

Я же очень счастлив, что могу сослаться на докторское предписание в оправдание того, что не выдерживаю голодное томление разлуки.

Дорогая Лидия, сегодня я в поэтическом настроении, потому что мне все грезится роза, — алая, раскрывшаяся роза под твоей юпкой <так!>... Твой В.

Сообщаю тебе на всякий случай, что у меня всего 1100 франков. — Написала ли ты в Лицей? и в школу Веры? Молчать об отъезде детей неприлично. Адреса давать не нужно. В.

Фрагмент — История и поэзия. С. 205.
[1] Кормилицу (*фр.*).

## 190. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*6/18 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*18 Июля*

Радость, хотела писать длинное письмо, но две причины мешают: 1) полная неизвестность ближайшего будущего и 2) то, что сегодня день прохладный и мы решили с утра, закусив, идти в Villars. Les Plans не очень-то понравилось: замкнуто в горах, как в ущелье. Я тогда еле домой добрела. Так устала. Сегодня напитаю <?> силы. Я думаю, что я поправляюсь, и ты не беспокойся за меня. Вот уже *4* ночи, что я сплю по *13* часов подряд и встаю свежая и с ощущением здоровия в теле, не испытанным годами. Мысль увидеть тебя утишает тоску. Приезд Пантерки можно решить окончательно только когда решится вопрос беременности. Если это *задержка*, как писал мне Г<ольштей>н, и Милан не ухнул, то все-таки желательно было бы привезти ее сюда куда-нибудь и *при начале учебн<ых> зан<ятий> в России* соединить с семьею. Если на горе будет холодно (Пант<ерка> избалована жарою), то можно их поселить в Вех, как <1 нрзб>, как осеннее пребывание. Но ты, мой милый, должен приехать ***ради себя***, на Август и Сентябрь. Я проведу оба месяца здесь. Лучше уезжай 1-го Окт<ября> в Берлин, но эти месяцы проведи здесь для здоровья и сил. В разлуке мы оба теряем здоровье, и я хотела <?> только новых твоих обещаний приехать. Если я не еду в Милан, то дорого вести <так!> сюда девочку, т.к. все вернемся в Париж. Напишу завтра или вечером.

Твоя до дна

Лидия.

Открытка. Штемпели: Gryon. 18.VII.96 — Paris. 19 juil. 96.

## 191. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*6/18 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

Дорогой друг, я пишу истерзанная, еле живая: сегодня с утра ушла в горы искать нам помещение и вернулась в 11 ч. ночи, плача от боли. Могу ответить на письмо завтрашней почтой и телегр<амму> отправить завтра. Относительно уроков Гейр<от> я ничего не решу пока, но Сентябрь хотела бы прожить хоть до половины здесь. Относительно тебя нахожу разумным ехать как можно скорее, и в Берлин проехать прямо отсюда. Относительно девочку <так!> боюсь, что поселение ее с нами вызовет массу неудобств с мамкой и хлопот мне и удержит нас от поселения внизу. А жить в три семьи *очень* дорого, т.к. помещение дорого, не менее 50, 60 в месяц. И в Грионе нельзя ей жить, т.к пришлось бы сказать детям и всем, что она чужая. Есть два проэкта: 1) привезти ее сюда, прямо в семью*, когда Шв<арсалон> будет занят в институте, т.е. в конце Августа, и отлучать ее здесь на чудном молоке и воздухе до Октября включительно, т.к. детей желала бы оставить как можно долее хоть в Вех; 2) оставить ее вовсе в Париже и при мне ее отлучить в начале Окт<ября>. Но в Мил<ан> я поеду одна впереди и недели через 2, 3 выпишу их, чтобы и язык и воздух остался им на весь Октябрь и долее <?>. Я бы стояла за 1-й план, или же взять прямо к себе и посвятить в тайну *одного* Сергея, без Веры. А Дуне и мамке как бы от себя нанять мою теперешнюю комнату, вполне отдельную. Это третий план. Думаю, что отлучение лучше здесь. Спроси Г<ольштей>на или реши сам. О квартире напишу завтра утром. Старайся приехать скорее. Твоя Л.

Открытка. Штемпели: Gryon. 19.VII.96 — Paris. 20 juil. 96.

## 192. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*7/19 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*19 Июля*

Дорогая моя Слава, всю ночь не спала от вновь нахлынувших забот и, кажется, могу представить на твое размышление и решение несколько важных соображений. До твоего вчерашнего пись-

* Последние три слова вписаны сверху карандашом.

ма я, точно убаюканная тишиною, спала и прозябала, не думая о всех наших мучительных проблемах. Милый друг, скажу прежде о старшей семье: очень подумываю не брать ее в Милан с осени и вот почему: 1) я была с детьми теперь, настроила их учение и вижу, что они могли бы работать далее одни, 2) они учатся так поразительно хорошо и плодотворно, причем шестилетняя глупышка оказала такие выдающиеся способности, что на частных, очень хороших уроках учителя идет *наравне* с Сережей, даже в арифметике, где делают умножение на многозначные, и *вполне сознательно*. Учит древнюю историю и грамматику шутя, правописание почти не хуже его, а слов знает больше. Я думаю, что для них обоих было бы несказанно обидно отправить их в Италию, на новый язык и новые затруднения, и опять показалось мне очень желательным оставить их на зиму в Женеве, где, весьма вероятно, будет и мать. Если так, то я осенью вместо скучного пребывания у отца приехала бы несколькими днями раньше, устроила бы квартиру, потом выписала бы их с Анютой и Шарлоттой и устроила бы. Они могли бы прожить там зиму, и легко было бы найти им репетитора, если не будет бабушки.

Теперь младшая семья: Пантерку и Дуню я взяла бы в Милан, где они осчастливили бы мое одиночество, где я растила бы дочурку и жила бы своим гнездышком. Если я возьму девочку в Милан, то мне не к чему, пожалуй, путать старших откровениями, и тогда я согласна потерпеть сливать семьи до весны. Теперь скажу относительно наилучшего, по-моему, устройства Пантерки в ближайшем будущем, устройства, в сильной степени вытекающего из будущего. Сначала о благе девочке <так!> без денежных соображений: ей будет 4 месяца 28 Августа. 4 месяца — хороший срок для кормления чисто грудью (спроси Г<ольштей>на, чтобы подтвердить мое мнение), в Сентябре *в принципе* можно без вреда отлучить ребенка, но для безвредного отлучения важны след<ующие> условия: хороший воздух, свежесть температуры (в жару опасно), прекрасное коровье молоко. Эти условия достижимы лучше всего в горах. (Очень прошу поговорить с Г<ольштейно>м от моего имени об этом, т.е. можно ли безопасно отлучить девочку в Сент<ябре> в Париже. Впрочем, против этого еще одиночество и беспомощность Дуни, если Г<ольштей>ны не возьмутся ей покровительствовать). Но мысль оставить девочку для отлучения в Париже пугает и мучает меня, и здесь начинает-

ся денежный вопрос. Это была бы 1) *наивысшая экономия*. 2) *Наименьшая экономия* было бы тотчас привести <так!> девочку со свитой и поселить их со мной и тобой или отдельно. Здесь скажу то, что имею против их поселения с нами. Устройство мамки и хлопоты с девочкой (мамка при мне как при хозяйке будет страшно требовательна) пугают меня (о старших я *совсем* не забочусь и веду прозябательный образ жизни), кроме того, здесь поселиться негде, как искать повыше в пустых chalets, где можем жить лишь мы с тобою без удобств и сообщений. 3) *средняя экономия* и благоразумие повелевает так: Оставить девочку на месте оплаченном и насиженном до конца Августа, затем выписать ее сюда и поселить (вероятно) с нами, и в течение Сентября отлучить ее с *Анютиной* помощью, отдав Дуню, не столь опытную, старшим. Кормилице, *конечно*, ничего об отлучении до места не говорить, купить ей (ты должен купить) машинку для откачивания молока, чтобы она могла сохранить свое молоко при отлучении. Затем дать ей богатый подарок и отослать в конце Сентября в Париж. Девочку же пристроить где-нибудь до тех пор, пока я не возьму ее в Милан. Выгоды этого плана след<ующие>: 1) девочке хорошо в Булоне <так!> на груди, и мамке спокойнее и лучше не менять режима, 2) Август *ужасно дорогой* месяц в горах, и придется платить уйму за две кровати и комнату, тогда как в Сентябре можно будет за грош иметь на выбор квартиры, а теперь ***все**** занято: во всем Грион нет ни *единой* конуры для сдачи. 3) для мамки пища здесь будет вдвое дороже, чем в Булони, т.к. здесь свежее мясо *почти* нельзя иметь, и всякая сухая провизия дорога, а вина и пива нигде даже не видно в продаже. 4) дорога мамке стоит 58 фр. туда и обратно, Дуне же по дороге в Милан немного лишнего, зато отлучать здесь идеально, и можно смелее и скорее, чем в Париже. Раз же девочка будет отлучена, чудное молоко и чистый воздух не только заменят, но перещеголяют грудной режим в Булоне <так!>. 5) прожить еще 1 месяц с небольшим одной Дуня может свободно, а затем ей поможет Гревс или Г<ольштей>н переехать ради меня. Если ты согласишься на этот план, как мне кажется, соединяющий: разум, экономию и благо девочки, то ты должен осторожно сообщить мамке, что она в конце Августа должна переехать в Швейцарию, чтобы там докормить ребенка около меня. Нака-

* Подчеркнуто трижды.

зать ей полное повиновение Дуне и указать ей Г<ольштей>на в качестве доктора и нашего друга, как на авторитет, заменяющий тебя. И Дуня должна обращаться к нему в случае нужды. Машинку для откачивания молока дай Дуне *тайно* от мамки.

Относительно меня я скажу, что не могу теперь решить об уроках, да это и не важно: в конце Сентября только двинусь я отсюда, разве уж очень заметно окрепну раньше. Тогда не важно, в Милан или Париж на *3* недели съездить. В Милане я *никого* не знаю, а он полон скотами: я напишу сама Гейрот, прося ее рекомендации (быть может), но не думаю, т.к. в качестве ее ученицы я найду покровительство в Миланском разбойничьем притоне. Она положительно имеет там связи: я читала письма дебютантки — ее ученицы.

Пока же я мечтаю вот о какой жизни: забраться повыше (о, как лучше еще там воздух! я испытала вчера), жить вдвоем с тобою, наслаждаясь более животно, чем интеллектуально, твоею близостью, твоею стихийною любовью, твоею защитою, словом — *быть с тобою*, и больше ничего, чувствовать тебя, и больше ничего. Ты бы учился, я бы валялась, где-нибудь на костерке стряпала бы под елкой ужин и обед, а ночевали бы в пустом горном chalet, ни заботы, ни громкого звука, ни ссоры.

Тебе же, мой дорогой, хочется в Милан? Но ты попадешь туда позже, мой Ангел? после Берлина? Тебе же не будет скучно со мною? Дорогой мальчик, теперь скажу о помещениях. В Грионе полно, в Les Bains душно, в Villars и полно и дорого: вот три места близь Грион, от которо<го> отселяться вне сообщения пешеходного я ***нравственно не могу***. Вообще здесь на одну, две ночи, на неделю, даже на две ужасно трудно устроиться даже в пансионе, где горды и прогоняют прочь без церемонии. Есть возможность добыть выше, наприм<ер>, 1500 m. пустой горный chalet, где весною был скот. В таком chalet бывает одна комнатка и балкончик. Но вокруг, ни в доме — никого. Говорят, что бояться разбоя здесь абсурд. Провизию я сумею доставать, а также и почту: воздух — бальзам, и свобода полная. До конца Августа не вижу более здорового и дешевого существования. Но если ты приедешь, чтобы самому искать, то знай, что мы будем в день тратить по 10—12 фр. по пансионам, а иного ничего нет. Еще поищу завтра. Скажи в принципе, согласен ли на *неудобства* горного одиночества.

Теперь о квартире в Париже: надо послать тихою скоростью: детские 2 кровати, мою и хорошие стулья, куда? в Женеву? Ужас-

но не хочется обременять тебя хлопотами, и поэтому лучше поеду в Париж к 1-му Окт<ября>, не обойтись без помощи Гейрот. Я позову emballeur[1] и спрошу его, что он возьмет за упаковку в солому и отправку вещей. Остальное продам старьевщику на rue Annonciation в конкуренции с старьевщиком с rue de Passy. Но важное дело. 1) заплатить за квартиру — пусть снесет деньги Дуня лучше, чем ты, 202 фр. и 5 на чай, и пусть спросит, до какого числа Окт<ября> квартира за нами. Пусть Дуня уложит все вещи, *причем все мои вещи и ее вещи отдельно*, кроме *моих бумаг* и *моих опер*. Рояль пусть *скорее* возьмут до 21-го Июля, адр<ес> Rue de la Pompe *Angelo*, недалеко от cours Sauvrezis <?>. 2) узнай, мое золото, ради Бога, у своей швейцарихи адрес Mme Louis Nugues: напиши ей от моего имени, *тотчас*, что ее комод свободен, что квартира только до Октября, пусть она хлопочет его продавать, и не возьмет ли она на комиссию продать всю рухлядь. Кроме того, пусть она возьмет нам корзинку большую нашу. — Не забудь свою корзину у нас внизу. — Пусть Дуня спросит Г<ольштей>нов, как лучше перевести <так!> им их мебель: 2 кровати, стол, умыв<альник>, шкапик сломанный... Их concierge их привез, не увезет ли он их, или наш возьмется.

А в конце концев <так!> не лучше ли оставить Дуню и девочку в Булони и на Сентябрь: я буду иметь лишнюю причину ехать в Париж к середине или концу Сентября, в начале Дуня может понемногу отлучать. Окончательно отлучим к началу Окт<ября> и вместе отправимся в Милан с Дуней и Пант<еркой>. По крайней мере, и у меня будет пристанище: буду жить в Булони. Подумай, посоветуйся с Г<ольштейн>ом (узнай о часе у Гревса) *и решай сам*, и как можно скорее. Жду тебя, считая дни и часы, и очень, очень мучаюсь неизвестностью и нетерпением. Целую тебя, возлюбленный, о, как жду тебя. Решай скорее. Не забудь, что я дала 150 фр. вперед Гейрот и взяла всего 2 урока! Дорогой мальчик, когда мы будем вместе, будь терпелив <?>, решай. Посоветуйся с двумя для остановке <так!> на 1-м или 3-м плане — с Г<ольштейно>м и с Дуней. Возьмется ли она остаться до середины или конца Сент<ября> одна, и отлучать одна ребенка, и справляться с сердитой мамкой, которая, бедняга, будет в большом горе отлучать так рано. Я, конечно, с ужасом думаю об этом плане, ввиду 1) худших условий для дев<очки> 2) тяжести для Дуни. Но ведь если мы привезем девочку сюда, то с конца Сентября на месяц времени будет вот что: 1) ты в Берлине, 2) я в

Париже, 3) старшая семья в Женеве, 4) младшая семья в? — — О, как все это невыносимо сложно.

Надо сказать, что экономия первого плана при Дунином согласии начать отлучение была бы франков в 150—200. Анюта говорит, что молоко им приносят дивное, не знаю, как теперь. Пойми, что *если Г<ольштей>н одобрит* отлучение в *Булоне* и в *Сентябре*, то я нахожу разумным так сделать, но, конечно, я очень огорчена, безумно, это тем более, что конец Сент<ября> и начало Окт<ября> уже могут быть очень холодными здесь, где им жить. А мне ехать в чужой Мил<ан> учиться — право, боязно <?>.

Тоска, дорогой, вновь меня одолела. Реши, мой добрый, мой хороший, моя жизнь.

Сама вчера рвала на высоте, там было 1800 m.

Посоветуйся с Г<ольштейно>м. О, какие мы несчастные, какая смертельная тоска. О, как я боюсь за девочку и за Дуню оставить их, но поговори и с Дуней, быть может, это разумнее всего. Боже, Боже, какая тоска.

Твоя Лидия, которая тебя обожает.

Жду, жду, жду.

Конверт со штемпелями: Gryon. 19.VII.96 — Paris. 20 juil. 96.
[1] Упаковщика (*фр.*).

## 193. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*7/19 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

Aspetti lettera decidere. Lydia

Телеграмма с парижским штемпелем: 19 juil. 96.
Перевод:
Жди письмо <чтобы> решить. Лидия

## 194. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*7/19 июля 1896. Париж*

*Воскр. 19 Июля, 1 ч. дня.*

Возлюбленная девочка, только что собираюсь писать, как приносят твою картолину от 18-го, очень милую и умненькую (не сердись за «умненькую», Пантерка!), но уже устарелую, ибо на-

писанную до получения моих двух писем с результатами Гольштейнова посещения. Утром же сегодня получил я твою депешу, посланную уже по прочтении этих двух моих писем, но ничего не говорящую, хотя и образцово вежливую: «aspetti lettera (per?) decidere»[1]. Что, однако, я и без того бы сделал. Итак, моя Vossignoria — sta aspettando[2] и предоставляет слово твоей. —

Милая возлюбленная, и я также — только и вздохнул, приняв решение приехать к тебе (как ни ворчи ты там, человеконенавистнический Гревс!). А раньше и жизнь мне была не в жизнь, и учебные мои студии захромали. —

Милая радость, я был вчера в консульстве и услышал то, что́ ожидал, т.е. отказ. Чиновник (qui nous épiait[3]) уверен, впрочем, что банк примет доверенность в ее настоящем виде. В противном случае, они, зная теперь твою руку (!), готовы вновь засвидетельствовать новую доверенность и в твое отсутствие, но эта любезность будет стоить новые 8 франков. Возможно также написать тебе на полях настоящей бумаги, что приписку-де после даты доверенности сделала я собственноручно, и эту твою отговорку консульство может подтвердить своим «Сему верить», — но и это будет стоить 8 франков. Помимо же сказанного, ничего они сделать не могут; но, как сказано, чиновник полагает, что банк удовлетворится и настоящей доверенностью. — Вчера Гревс сообщил мне, что Ростовцев спрашивал его, правда ли, что я разошелся с женой, как говорит *профессор Кондаков*[4] (и следовательно tutti quanti[5]). Гревс отвечал, что, вероятно, заключают об этом из нашей жизни врозь с женой и что сам он ничего не знает. Р<остовцев> ответил: «Ну, да ведь вы не скажете». — Вчера я по условию обедал с Рост<овцевым> и был у него: он показывал свои материалы. — Ответ твой Иващенко написан превосходно, но *немыслимо* посылать его: он не только резок, он *оскорбителен*, и притом неосторожен. Лидия, обожаю тебя и живу только мыслью о свидании. Твой В.

Какие милые Яковлевы! Меня очень порадовало их поздравление с нашей девочкой. — Дорогая, не пей посланного зелья[6]! Пиши о своем здоровье.

Фрагмент — История и поэзия. С. 357, 377. Конверт со штемпелями: Paris. 19 juil. 96 — Gryon. 20. VII.96.

[1] Жди письмо (чтобы?) решить (*ит.*). См. п. 193.

[2] Величество пребывает в ожидании (*ит.*).

[3] Который за нами следил (*фр.*).

[4] Никодим Павлович Кондаков (1844—1925), выдающийся историк искусства, археолог.

[5] Все (*ит.*).

[6] Речь идет о лекарстве, упоминаемом в пп. 185, 186, 188.

## 195. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*8/20 июля 1896. Париж*

*Понедельник, утром.*

Вчера писал еще, взамен написанного в Субботу, но прежнее пусть остается как было написано[1]. Итак, реши прежде всего, дорогая возлюбленная, приедешь ли ты в Париж. Цель твоего приезда единственная: уроки у Гейрот[2]. Необходимое условие: такое состояние здоровья, при котором ты чувствовала бы себя совершенно окрепшей и сильной. Увы, я перестал надеяться на осуществимость этого условия. Пока должно во всяком случае думать не о дебюте, а о здоровьи как о высшем для тебя благе и высшей обязанности. По твоему письму можно предположить, что я настаиваю на твоем возвращении сюда: понимаешь ли ты, что я *едва* готов *разделить* его при условии твоего полного поправления? Кто, как не я, требовал от тебя возможно дольшего пребывания в Швейцарии? Видишь ли, мы оба не знаем, как пойдет дело лечения. Могла ли ты предвидеть, что так затоскуешь, когда искала только полного уединения, даже уединения от меня? И можно ли было предвидеть, что весть о предполагаемом приезде Ш<варсалона> так тебя поразит? — что́, впрочем, только симптом твоего страшного нервного и общеорганического бессилия. И можно ли было предвидеть, что семья вскоре окажется с тобой, вопреки всем нашим планам? Очевидно, что при всех этих изменениях, и при отчаянном твоем состоянии в настоящее время, и при том ужасе, в который повергает меня самая мысль о возвращении в Париж, — нечего и думать о нашем соединении *здесь* в средине Августа, как мы рассчитывали раньше... Если же ты решишь не возвращаться в Париж, [то надо] а остаться подольше в Швейцарии для здоровья, то придется продать твой парижский скарб и приехать с девочкой... но куда? Повторяю, что жить нужно только так и там, как и где ты можешь чувствовать себя вполне спокойной. Я же предложил бы не смешивать пока семьи и оставить старших детей в Gryon, а нам поселиться в другом мес-

те, которое бы 1) было достаточно высоко, 2) имело бы воздух, пропитанный запахом *сосны* (чего нет в неудачном твоем Грионе — неудачном, как все, что рекомендуют Гольштейны, как Конкарно[3] — и что должно быть в Швейцарии и полезно и для тебя, и для меня), 3) имело бы не очень неудобное сообщение с Gryon. Причем мыслимо было бы даже поселение Пантерки в Gryon, но отдельно, с nounou[4] и Шарлоттой [для того, чтобы нам] и без связи с детьми, но, конечно, при полной возможности постоянного присмотра за ней со стороны девушек. У вас там, вероятно, нет консьержей и меньше сплетен, чем в Passy, и девочка спокойно может жить *без связи и сношений* с семьей, в другой части деревни. Хотя за эту комбинацию не стою, а указываю на нее, чтобы представить тебе все возможные комбинации и представ<ить> <?> возможность, что мы вдвоем могли бы забраться выше и выискать местечко получше. Во всяком случае, должно, чтобы было высоко и был сосновый лес. — Вот, дорогая, что я пишу под впечатлением твоего последнего (субботнего) письма и перечитанного письма с цветами.—

Вчера я был на почте и говорил с начальником бюро, который показал мне твою новую картолину. Он сказал, что почта пересылает *все* твои письма и что соблюдает полную discrétion[5] по отношению к сообщаемым ею адресам.

В субботу в библиотеке я беседовал с своим конкурентом Ростовцевым[6]. Его теории не совпадают с моими. Диссертацию он напишет еще не скоро, но уже теперь посылает в печать статью с неизданными до сих под надписями, данными ему Борманом[7] и очень важными для меня, так что я очень этому рад. Он предложил мне зайти к нему сегодня, чтобы посмотреть надписи и еще поговорить об общей нашей теме; вместе собирались мы и пообедать. О книге Книпа[8] он также имеет очень невысокое мнение.

Милая радость, целую тебя.

Твой В.

Относительно часов ничего не понимаю. Что ты сделала? Поручила кондуктору отослать их?... Что значит «похлопочи»[9]?...

Дорогая Лидия, напиши мне все искренне и подробно. Письма твои вообще неясны, и я должен многое угадывать в твоем настроении. Почему ты пишешь так редко?

Посылаю тебе лекарство, переданное мне Дуней[10], но я боюсь, что его употреблять не нужно и что оно может вызвать

усиленное кровоизлияние. К чему форсирующее средство? Будь осторожна.

Фрагмент — История и поэзия. С. 356 (с неверной датой: 1/13 июля). В архивной раскладке к письму приложен конверт со штемпелями: Paris. 13 Juil. 96 — Gryon. 14.VII.96, однако 13 июля письмо никак не могло быть послано, судя по его содержанию (обсуждения лекарства, приказ послать которое Иванов не мог получить ранее 16 июля).

[1] П. 194.

[2] О Л. Торриги-Гейрот см. п. 57, прим. 6.

[3] Concarneau, город в Бретани.

[4] Няней, кормилицей (*фр.*).

[5] Соблюдение тайны (*фр.*).

[6] О возможности конкуренции с М.И. Ростовцевым Иванов писал в п. 178.

[7] Ойген Борман (1842—1917), историк, директор Археолого-эпиграфического семинария при Венском университете. Имеется в виду статья Ростовцева: Eine neue Inschrift aus Halikarnass // Arhäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn. Wien, 1896. Bd. 19. S. 127—141. Подробнее см.: История и поэзия. С. 356—357.

[8] Имеется в виду книга: *Kniep F.* Societas publicanorum. Jena, 1896. Bd. 1. Подробнее об этой книге и ее значении для современного состояния науки см.: История и поэзия. С. 357.

[9] См. п. 180.

[10] См. пп. 185, 186, 188, 190, 195.

## 196. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *8/20 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

Hai ragione provero pazientarmi

Телеграмма с пометой: Paris <de> Gryon 20 7. Перевод самой Зиновьевой-Аннибал см. в конце, п. 198.

Перевод:

Ты прав, постараюсь успокоиться (*ит., искаж.*).

## 197. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *8/20 июля 1896. Париж*

zinovieff
gryon
Non capisco risposta assurda voglio venire solo

Телеграмма с пометой: Consigné le 20/7 1896 à 10 heures — min. du s<oir>; Reçu le 21 a 7 heures 40 min. du m<atin> <Передана 20/7 в 10 часов вечера; Получена 21 в 7 часов 40 мин. утра.>

Перевод:
зиновьева
грион
Не понимаю абсурдный ответ хочу приехать один (*ит.*).

## 198. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*9/21 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

*Вторник*

Едва дождалась первого рассвета, чтобы писать тебе, милый друг. Меня и страстно тянет писать, и отвращение какое-то. Что писать? Неужели начинать сначала, неужели разъяснять то, чего ты не можешь и не хочешь понимать. Я поправляюсь, мне лучше, по-твоему, поэтому твое *великодушие* остыло и я могу на несколько времени исчезнуть с твоего горизонта. Слава Богу, что хоть в твоем воображении мне лучше, хотя я этого не ощущаю! Знаю одно, что из всего моего пребывания здесь я имела 4 дня покоя, когда усиленные приемы брома навели на меня тупость, и в этом настроении я глупо поддалась твоим баюканиям, твоего <так!> эротическому напеванию, которое тебе приятно щекотало нервы, а мне давало иллюзию, иллюзию, иллюзию, которыми одними я способна жить.

Ты был так необыкновенно заботлив и добр, даже всякую практ<ическую> галиматью на себя брал, даже от дум хотел меня избавлять и дал мне жизнь обещанием решительным и восторженным приехать ко мне чуть ли не тотчас. Что случилось, не знаю, между любовными восторгами твоими и вчерашнею разумною телеграммой с rallegramenti[1] по поводу моего выздоровления. Почему после всех иллюзий и надежд, обещаний приехать в пространных письмах, почему понадобился проклятый телеграф, чтобы выразить радость моего выздоровления и уговоры удлинить разлуку и сократить свидание до 4-х недель, сократив заодно на месяц и мое пребывание в Швейцарии. Почему так <1 нрзб> выразить в телеграмме свое желание помучить меня разлукою с семьею здесь для 4-х недель свидания с тобою, чтобы, пройдя затем через разлуку с тобою, соединиться со второю семьею, живя

врозь со старшими и т.д. Видишь ли, может, это все так и надо, это очень разумно, но я в первый раз в жизни протянула судьбе руку, как нищий, прося *себе*, самой *себе*, этому ничтожному, бессильному, никому не годному существу: немного воздуха, немного покоя и немного любви в придаток. Но дура, дура, разве это возможно. На <?> мое «надо» вечный «нет» разразился надо мною: мои предчувствия сбылись, гроза разразилась, и удар пришел от тебя. Конечно, только ты и можешь бить меня так, что огненные слезы из глаз вышибать. Ты волен в моем счастии и несчастии, в жизни и смерти, в радости и в муках, на которые более нет сил. Я получила телеграмму, возвратившись с нового похода за жилищем для меня и тебя. Я пришла к себе и горько рыдала, но потом я еще последним усилием овладела собой и еще заговорил проклятый покойник разум. Все это так разумно: я «поправляюсь» здесь, ты «учишься усердно» там, старшие около меня пока на 4, 5 недель, девочка где-то в Булоне <так!> — ей отлично, всем отлично всюду — чего же больше. Я легла спать, отослав разумную телеграмму после <?> бешеных, вырывавшихся из-под пера. Но чем я виновата, что ночью ужасные кошмары давили, пока я не проснулась в 2 ½ часа и не стала рыдать, и стонать, и плакать до рассвета. Что мне делать с собой. О, ради Бога, не приезжай, не будь великодушен. Будь искрен и ты, как искренна я: скажи мне ясно, что я стою поперек твоей дороги, что ты не можешь готовиться к экзамену здесь, ведь я знаю, что отлагать экзамен ***невозможно****, это был бы удар одинаково нам обоим, тебе надо покой, ты встретишься со мною не в добрый час: разыграв перед собою и тобой Carmen, я оказалась бессильной, ненужной сентиментальной тряпкой, единственная мольба которой: дайте мне перед смертью, никогда так страстно не желанной и призываемой, дайте хоть одно краткое мгновение прожить не в разлуке, соедините вокруг меня всех, кто составляет мою плоть и кровь: моего мужа, моих детей, мою девочку... Но я уже не молю этого, к чему? Мысль о том, что это сделалось лишь по моей мольбе, а не свободно по твердому пониманию и чуянию, что без этого я пропадаю, что это важнее всего, если я нужна, если я не лишний балласт, — эта мысль отравила бы мне твою жертву. Дура, я страстно мечтала, прожив с тобою Август одним, с конца его до конца Сентября

* Подчеркнуто 4 раза.

соединить девочку с семьею и прожить под одним кровом всем вместе. Ты этого не понял, ты читал все глупые рассуждения разума, который давно уже говорит загробным, неживым голосом, ты не понял, что я умираю, умираю, умираю. Так пойми теперь и позволь мне перед смертью <?> приехать в Париж, не мучая себя еще месяцем или 7-ю <?> неделями изгнания. Я оторвусь с болью от детей и прилеплюсь к тебе, посмотрю на девочку и отправлюсь на покой. Более жить для того, что «надо» и что «разумно», я не могу. Прощай, прости, ради Бога, ради нескольких радостных минут через меня, прости то, что я ворвалась в твою жизнь, чтобы мешать тебе, мучать тебя, тревожить тебя. Прощай.

Лидия.

Меня не могло сломить ни разочарование, ни холод одиночества, сломила любовь, сестра разлуки и смерти.

— Не успела отослать письмо, как получила твою телеграмму. Я писала «hai ragione, proverò pazientarmi»; «ты прав, постараюсь быть терпеливой». Чего тут непонятного?[2]

Прости мне, я была совсем безумна ночью, теперь я спокойнее утром, но посылаю письмо, чтобы ты понял, как я себя чувствую. Что делать? ты прав. Очевидно, умнее всего поступить по твоему рецепту, и я почти прошу тебя не ехать: я в ужасе от мысли, что тебе будет хуже учиться, если же нет, то приезжай и реши, нельзя ли осенью пожить всем вместе. Прости меня, я сама больше ничего не знаю. Л.

Я могла бы прожить 3, 4 недели здесь без тебя, если бы не имела в виду разлуку надолго и скоро, и потом опять, и опять.

Причем не знаю, не беременна ли я, голоса совсем *нет*.

Совсем с ума сошла от проэктов <неск. слов нрзб> разлуки, разлуки, разлуки.

Дорогой Вячеслав, приписываю второе письмо, я тебя страстно люблю, ты не должен сердиться за мои вечные вспышки, ты знаешь сам, что когда так любишь, всё страшно за свою любовь. Что мне делать, сбилась я с толку и ничего не понимаю?

Не решай опрометчиво. Я скажу тебе, как мне теперь выяснилось: мне то кажется, что не хватит сил ехать в Милан одной с девочкой, до того мне ужасна мысль о будущем, что ничего не хочется, кроме как прижаться к тебе тотчас и держаться, пока не оттолкнет судьба, а потом минутами я смелее, и тогда у меня есть

силы думать о будущем. Мне кажется, что в Милан очень запаздывать невыгодно, т.к. сделки усиленные идут с Сентября. Значит, если бросить мечту весь Сентябрь провести всем вместе, то надо мне уехать в Женеву в середине Августа, чтобы найти детям квартиру и устроить ее. На это пойдет неделя. Затем ехать в Париж. В таком случае, очевидно, Пантерке должно остаться в Булони. А ты? Ты, конечно? тоже должен остаться, *ради занятий*. Но, конечно, моя мечта была бы иная, чтобы ты приехал тотчас на месяц, а потом по состоянию моему или выписали бы Пантерку или вернулись бы в Париж. Но это ужасно неразумно ввиду занятий и расходов. Хотя есть и важная сторона, помимо нашего свидания — твое здоровье, которое бесконечно тревожит меня. Но, милый, если ты положительно боишься за занятия и для здоровия не считаешь это нужным, то прости мне мои стоны и поступай разумно, только я тогда постараюсь лежать и питаться здесь как можно спокойнее, но только до 10—12 Августа maximum, а потом в Женеву, а потом в Париж, чтобы быть там к 20 Авг<уста> и провести вместе весь Сентябрь. Я ничего, ничего не знаю и не могу решать, могу только плакать и плакать, оттого что хочу быть со всеми. Долг мой быть с этими детьми, так к<ак> они *очень* во мне нуждаются, и покидать их каждый раз мне острый нож. Счастие мое быть с тобою и радость быть с девочкой, и каждый раз, как я соединяюсь с одним, я грешу против другого и надрываю сердце. Эти дети льнут ко мне с нежным обожанием. Что мне делать. Но я буду терпелива.

Тебя обожающая

Лидия.

Сохранилось 2 конверта с одинаковыми штемпелями: Gryon. 21.VII.96 — Paris. 22 juil. 96. Возможно, что последние 2 абзаца данного письма представляют собою отдельное письмо.

[1] Поздравлениями (*ит.*).

[2] Речь идет о пп. 196—197.

## 199. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *9/21 июля 1896. Париж*

*Вторник, 9-го.*

Дорогая Лидия! Вчера я заходил к Анджело, чтобы распорядиться относительно пианино. Он говорит, что, если ты вер-

нешься в Сентябре, он согласен оставить пианино за полцены и даже (как он намекнул) даром на квартире на Август. Я обещал ему написать тебе и принести твой ответ. Итак, если ты приедешь для уроков в Париж и будешь нуждаться в пианино в Сентябре, то можно поставить ему условие — или взять инструмент тотчас или оставить его даром на Август, на что он заранее, очевидно, согласен.

Твой.

Открытка со штемпелями: Paris. 21 juil. 96 — Gryon. 22. VII. 96.

## 200. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*10/22 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

Дорогой Славушка, надеюсь, что ты не сердишься на меня, Если бы еще я сразу знала, что ты не приедешь, а то ты уже почти был со мною, и вдруг нет. Вероятно, это тоска просто от разлуки. Никогда так не тосковала, а теперь всё время. Спешу страшно: уже гремит почта.

Прошу в магазине книг спросить книжку по ист<ории> древней для детей *анекдотически*, напр<имер> Amé Fleury[1] и т.п., не сухой перечень фактов, и несколько дешевых contes[2] Вере (если найдешь), и *вели послать* из магазина.

Твоя Лидия.

Открытка. Штемпели: Gryon. 22.VII.96 — Paris. 23 juil. 96.

[1] Имеется в виду книга: Lamé Fleury, L'histoire grecque racontée aux petits enfants (Paris, 1829), многократно переиздававшаяся. *Lamé Fleury* — настоящее имя автора Jules Raymond (1797—1878).

[2] Сказок (*фр.*).

## 201. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*10/22 июля 1896. Грион-сюр-Бекс*

Orologio patisce troppo permetti portarlo Parigi

Телеграмма с парижским штемпелем: 22 juil. 96.

Перевод:
Часы слишком страдают позволь привезти их <в> Париж (*ит.*).

## 202. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*Июль 1896. Грион-сюр-Бекс*

Мой дорогой Славушка, подумай, мой возлюбленный, не худо ли тебе ехать сюда для занятий. Я постараюсь потерпеть, но что мне делать, если я страшно тоскую по тебе. Очень прошу тебя решить, чтобы не повредить себе, и потом предупреждаю, что не отпущу в Берлин отсюда, а верну в Париж. Да, дорогой. Или ты забыл меня. О, если бы твое сердце болело, как мое, то ты не решил бы не ехать сюда. Я уже нашла комнату в Villars: она очень мала, но чистенькая, рядом кухонька чистенькая, и вот весь дом, и мы с тобой одни в нем, т.к. хозяйка, бедняжка, поденщица. Не будь важный, т.к. комнатки малы, но часто мы одни, и перед нами поле и горы. Детей перевела в chalet за ¼ <?> часа, но в другой деревне: здесь была такая вонь, от отхожих мест, что мы задыхались. Можно не встречать их, так как прогулка их совсем иная, в другую сторону. Ты должен ночевать в Aigle и с вечера занять место в mal<l>eposte[1], а утром выедешь и будешь в 9 часов в Villars, где я тебя встречу. Если случайно Дуня в квартире, то привези мою шелковую юбку черную и два старых <1 нрзб>. Бери как можно меньше вещей, но две пары сапог и щетку для платья и старый синий пиджак и старые серые штаны <?>. Целую целую. Твоя твоя.

Открытка. Штемпель 2?.VII.96. Gryon

[1] Мальпост, почтовая карета (*фр.*).

## 203. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*12/24 июля 1896. Париж*

*24 Июля.*

Дорогая Лидия! Сегодня у меня праздник: день рождения Саши, — и мне хочется поделиться с тобой этим праздничным впечатлением... Пишу эти строки, только что вернувшись из Булони, где любовался на нашу девочку, сладко спавшую под своим кисейным пологом. Как она теперь выразительно смотрит большими, *твоими* глазами, и восхитительно улыбается, и укает от радости, и подымается всем крепким тельцем! Я еще зав-

тра перед отъездом побываю у ней. Когда опять ее увижу — Бог весть. Как хорошо там, в уютной, ярко освещенной солнцем комнате, где я хожу взад и вперед от большой постели, на которой величественно покоится Пантерка, к твоему портрету, стоящему на комоде, как почитаемый божок, — и от портрета к постели, и там и здесь вглядываюсь в глубь *твоих* глаз, здесь — прозрачных и светлых, как голубой и чистый ручеек истока, там — бездонных и манящих, как омут горного озера... Вчера я говорил с Гольштейном. Он считает совершенно излишним везти девочку на месяц в Швейцарию для отнятия от груди. Молоко и даже воздух достаточно хороши в Булони, а в Сентябре здесь уже не жарко. С другой стороны, в Сентябре, после 4 месяц<ев> кормления грудью, вполне возможно без вреда отлучить ее. Если ты возьмешь ее в Милан и там увидишь, что она страдает поносом, то всегда можно опять дать ей (новую) кормилицу. Но он уверен, что до этого дело не дойдет. Девочка вполне здорова и содержится, можно сказать, идеально. О тебе наказывал мне Г<ольштейн> заботиться. Есть должна ты непременно, есть... и спать... и быть духом спокойной. До сих пор все время для твоего лечения пропало; должно вознаградить <?> потерянное теперь[1].

Писать ничего не хочется. Писать тяжело, когда в глазах только твой образ, в ушах — твой голос; письмо как будто отдаляет свидание. Во всяком случае, если скорее узнаешь, что́ сказал Гольштейн, будешь спокойнее. Он всегда к услугам девочки, по первому зову... Когда же и где я обниму тебя? Отчего ты упорно молчишь о том, куда ты выедешь и куда возьмешь меня? Я назначил отъезд, как писал, на завтра (субботу), 10 ч<асов> вечера, и должен быть в Лозанне в 4 ч<аса> пополудни в воскресенье. Когда буду в Вех, не знаю, но воспользуюсь ближайшим поездом с 3-м классом. Заботит меня бремя книг, которое я фатально осужден влачить за собой. Ими полна корзина бывшая Алымовой, и ими же маленькая корзиночка уже прежде служившая мне для той же цели. Можно ли снести этот груз в chalet, избираемый тобой для нашей горной идиллии? Ведь к нему ведут, вероятно, только горные тропинки? — Как бы то ни было, я должен безусловно много работать, а работать без разных книг нельзя. А счастлив был бы я явиться к тебе лишь с двумя — тремя поэтами в легком че-

модане да с стопой бумаги для собственного хозяйства наших соединенных Муз!

Сегодня rendez-vous с Гревсом у Щукина! Потом мы обедаем вместе и идем — «гулять». Можешь вообразить, как мы будем с Гревсом «гулять»! Все это произошло вследствие выраженного им желания провести со мной вечер вместе.

До свидания, возлюбленная! Хотел бы написать Сереже, да не по сердцу лживо умалчивать о том, что еду я к тебе; потому предпочитаю пока молчать. Целую его и младших. Молодец Вера! Я опять (особенно при рассматривании твоего девического портрета) начинаю подозревать, что она похожа на тебя в достаточной степени, чтобы заслужить мое обожание.

Книжки постараюсь добыть.

Твой В.

[1] Ср. также письмо В.А. Гольштейна к Зиновьевой-Аннибал от 26 июля 1896 с такими же точно советами (РГБ. Ф. 109. Карт. 16. Ед. хр. 42. Л. 1—2).

## 204. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*25 сентября / 7 (?) октября 1896. Женева*

Кунечка, пишу тебе в 4 часа ночи и ничего не вижу от слез. Или ты меня не любишь, что не знаешь и посылаешь на эту муку, на это безумие. *Я не могу больше жить*, это совершенно ясно, я могу только *быть около тебя*, и страшно думать, сколько еще лет впереди, и старость, и ты вдруг полюбишь другую, потому что таков закон живущих людей, и это не худо, только я больше не могу. Укрой меня от всего мира около себя, это неправда, я знаю, что ты не разлюбишь меня, только боюсь почему-то, что это закон людей, а я не могу жить без тебя и дня. Укрой в тишине от всех людей, я больше никогда не буду ругаться, потому что *только тобою жива*, и только тобою жива душа, без тебя тотчас безумие заглядывает с насмешкой в мое окошко. Здесь собака целую ночь цепью ворочает, а сама не лает, цепь тяжелая, бренчит страшно под окном. Старик[1] мне не рад, о детях и о тебе *ни слова*, и в ответ на мои рассказы — *полное молчание*. Верно, брат научил. Он жил недолго, и оба обманывали меня и не написали о состоявшейся подписи записки в консистории[2] и между собою даже мало

говорили о моем деле. Старик вчера не благословил меня и не отвечал на мои поцелуи, а когда я сказала: «Всё-то я волную тебя!», — он сказал: «Ах, да, да!» Куда же нам с тобою деваться от людей. Все настоящие люди сами беззащитны, а это не люди, а так, плесень. Бог знает откуда. Он, впрочем, внимателен, но холоден. Уж одно, что на встречу не приехал и не послал лошади, я ждала ½ часа и, поругавшись с «берлинскими» женевцами, едва достала коляску. Ехала и всё шептала на всему <так!> по дороге, которая очень красива: «Ненавистная, ненавистная!», уж проклят мне слишком этот город, как въеду, так и обезумею. Теперь только жду минуты, когда вернуться к тебе, ты меня возьмешь к себе, и я спасусь. Я даже по жел<езной> дороге не могу ездить без тебя: всё люди гадкие, такие гадкие, куда хуже, чем для Анны Карениной, просто одна плесень. Какие лица, какие тела понастроили душишки их, просто отчаянье берет. Я всё рыдаю. Ты меня укроешь. Я так счастлива была с тобою. Зачем ты меня отпустил. Разве не знаешь меня. Как я поеду в Россию? я не могу. Милый наш домик, наша комнатка. День и ночь я тихо лежу возле или близко около тебя. Так тихо лежать в защите всегда, чтобы ты был моею жизнью и силою! Не могу больше писать. Голова болит. Буду стараться спать. Знаю, что завтра *не* пошлю это письмо, хочу, чтобы ты писал и учился.

Твоя Лила

Вложен конверт с адресом, написанным рукой Зиновьевой-Аннибал: Monsieur de Oneguine. Poste restante. Genève. Шт. 7.X.96. Написано карандашом.

Также сохранился конверт, адресованный: Monsieur Venceslas Ivanov. Poste restante. Berne. Штемпели: Genève 8.X.96 — Bern 8.X.96.

[1] Д.В. Зиновьев.

[2] Один из этапов дела о разводе.

## 205. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*25 сентября / 7 октября 1896. Женева*

*7 Окт.*

Дорогой друг, пишу со случаем. Не тревожься обо мне. Спала богатырски. Утром в 9 часов разбудил меня приход доктора, которого отец вызвал с утра, не сказав мне ничего. Доктор прописал каких-то новых горьких капель, кот<орые> надо принимать

по системе мышьяка для аппетиту и восстановления сил. Он, кажется, очень знающий — алопат <так!>. Отец сидел на моей постеле и все охал обо мне доктору. Вчера он был так растерян, и грустен, и убит, когда я сказала, что дети в Париже, что видно было, как он строил планы зимы со мною. Он ужасно мрачен. Я не выдержала, и когда он заговорил о разводе, повторила, что желаю выйти замуж. Он сказал только: «Смотри, никому не говори» Я ему сказала про тебя и про нашу любовь в течение более 2-х лет, не упоминая о связи. Он говорит: «Если бы ты жила здесь, он мог бы приехать ко мне, я бы скрывал вас, вы бы виделись у меня и у тебя». Он отнесся со всею теплотою и деликатностью. Его любовь ко мне поистине изумительна, и мое сердце разрывается. Я сказала: «Я тебе сказала об этом, чтобы ты не думал, что я могу променивать тебя на простых друзей, и мне дороже всего жених мой и ты».

Если ты можешь устроиться хорошо и прожить в Берне недели 2, я была бы счастлива душевно пробыть здесь подольше. От брата ничего. Дорогой, целую тебя, ужасно спешу, чтобы письмо ушло *с утра*.

Где ты, мое сокровище? Меня судьба накажет, если я буду черствая с этим стариком. Всеми мыслями, чувствами, всем существом с тобою и твоя.

Л.

Твое испуганно бледное лицо мучает меня. Будь спокоен, учись. Я твоя бесконечно.

На сложенном двойном листе, на чистой стороне написано: Вяч. Ив.

## 206. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*26 сентября / 8 (?) октября 1896. Женева*

Дорогой, прилагаю письмо матери[1]. Решила бы совсем поступить так: старшую семью перевести <так!> как можно скорее сюда, наняв квартиру для них и матери и для отца. Лидию взять в Берлин и самой жить с тобою, навещая детей раз еще до лета. Это идеально для моего дела с Ш<варсалоном>. Думаю, что ты будешь совершенно доволен. Пиши тотчас прямо ответ по-итал<ьянски>, а через Париж пиши по-русски. Я страшно скучаю по

тебе. Думаю приехать в Берн *до приезда матери*, т.е. через несколько дней, через неделю, до приезда детей. А потом придется встречать мать и приехать к тебе лишь в Декабре.

Войди вполне в дело и скажи мнение <?>. Голова к вечеру сильно болит, не могу писать. Днем было лучше. Поправляюсь. Работай и не тоскуй. Будь добр и сообрази хорошенько. Мой старик с ума сходит от радости.

Вся, вся твоя

Л.

Я смотрела на закат на Алона <?>, а ты? я думала о тебе о, как я тоскую, просто не знаю, как только терпеть.

Дорогой, дорогой, как я тебя обожаю, это просто ужасно, я не человек, а руина без тебя. Целую, целую. Муня, Мунь. Есть письмо тебе через Париж, где я забыла от усталости поставить Venceslas, просто Mr. Ivanov.

[1] Приводим существенную для комментария часть приложенного письма С.А. Зиновьевой:

*Велькота 18/<30> Сент<ября>*

<...> Итак, вот мой план. В последних днях Октября я с Еммой думаю ехать к тебе прямо в Париж, а там я с тобою и мы увидим, что дальше... время покажет. Буду с своей девочкой. Ты ведь думаешь до Января пробыть там. Можешь ли мне найти поближе к тебе 2 комнатки в chambres ли garnies, в отеле ли — не слишком высоко, по возможности, где бы я с Еммой могла поселиться с платою поденной или понедельной, имела бы возможность получать, когда захочу, пищу? Может быть, и в том же доме, где ты живешь, папе же ты нашла там квартиру? Одним словом, ты сама посмотри, как мне устроиться можно будет, *но не без* печей. Отвечай. <...>

Емма, Эмма Васильевна — компаньонка С.А. Зиновьевой; chambres garnies — меблированные комнаты.

## 207. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*27 сентября / 9 октября 1896. Берн*

*li 9. Ott<obre> alle 10*

Eccomi, cara, in compagnia degli orsi bernesi, sotto l'ala protettrice di una grande cigogna d'argento (albergo zum Storchen), in faccia dell'antiqua fontana della strada antiqua Spitalgasse. Con tal compassione mi guardava codesta savia bestia, favorevole alle coppie felici, condolente cogli amorosi abbandonati quando errano attristati soli per le strade medioevali di questa città straordinaria che preferirei quasi e

non volli più cercare niente di meglio contentissimo del prezzo modesto <degli> affitti di lire tre e mezza per giorno.

Ieri pure contemplavo l'Alpenglühen dalle kleine Schanze ed apprezzai degnamente la bellezza originale della città che l'anno passato aveva fatta su me una impressione piuttosto spiacevole forse perchè troppo piena era ancora la mia anima delle immagini care del paese «che il mar circonda e le Alpi»; qui invece si pensa all'Holbein, si pensa alla scena «am Tore». Altroieri vidi l'esposizione di Ginevra, non molto interessante però, degna tuttavia di essere visitata, soprattutto per gettare un colpo d'occhio sul villaggio svizzero, molto curioso e pittoresco. Mi piacque pure molto il gran quadro «Charles le Téméraire». Nella serata vidi il Mont Blanc in luce rosea ed ero molto rassicurato dalla letterina tua. Finito avevo pure l'affare del consolato. Ieri non c'era una lettera alla posta qui; ciò che mi sembra un buon segno. Aspetto dunque una lettera da te piuttosto domani. Sono però impazientissimo ed inquieto di nuovo per la tua salute. Forse stai soffrendo... cosa sai dell'arrivo di tuo fratello? Sono divenuto timidissimo per te. Penso a te continuamente

Tuo ora e sempre.

Nell ufficio di posta

Certamente il tuo progetto è buono. Ma come invitare la madre a Ginevra, se cerca queste? Domandagli se vuole venire; scrivi che hai progettato una migrazione a Ginevra che vuoi prima parlare con lei, che niente è ancora deciso, che sei pronta di riceverla a Parigi, se lei lo preferisce. Lascia ancora la famiglia a Parigi, non c'è premura. Importante sarebbe di sapere quando il fratello viene. Io debbo esser a Berlino dopo, il giorno 20. Spero pensai vederti presto.

No, non è buono il tuo progetto perchè la madre non può nè debbe esser sacrificata a tal punto da esser costretta di restare da Ginevra tutto l'inverno. È impossibile. Costerebbe troppa emozione, troppi dolori forse, alla vecchia signora anche se consentisse. Aspetta semplicemente la lettera del fratello; se arriverà presto aspettalo a Ginevra; dopo parti subito a Parigi per ricevere lì la madre. Se non arriverà presto fratello tuo, parti senza aspettarlo. Se l'aspetterai, vieni subito qui, perchè rivedrai il quale dopo ancora. Se no, vieni qui prima del partire a Parigi. Questa è la mia ultima parola. Tua sempre

Перевод:

*9 октября, 10 часов утра <1896>*

Вот я, дорогая, и в компании бернских медведей[1], под защитным крылом большого серебряного страуса (гостиница zum Storchen[2]), напротив старинного фонтана

старинной улицы Spitalgasse. С таким сочувствием смотрел на меня этот мудрый зверь, взирающий благосклонно на счастливые пары и с состраданием — на покинутых любовников, одиноко бродящих в печали по средневековым улицам этого необычайного города, который я предпочел бы настолько, что не хотел бы искать ничего лучшего, будучи вполне доволен скромной ценой в три с половиной франка в день за комнату.

Вчера я также смотрел на Alpenglühen[3] из kleine Schanze[4] и по достоинству оценил подлинную красоту города, который в прошлом году произвел на меня довольно неблагоприятное впечатление, быть может, потому, что тогда душа была еще слишком полна дорогими образами страны, «объемлемой морем и Альпами»[5]; здесь же думается скорее о Гольбейне[6], о сцене «Am Tor»[7]. Позавчера я посетил выставку в Женеве, не очень интересную, но тем не менее достойную поездки, прежде всего из-за возможности бросить взгляд на швейцарскую деревню, любопытную и живописную[8] Мне очень понравилась большая картина «Charles le Téméraire»[9]. В этот вечер я увидел Монблан в розовом цвете и был успокоен твоим письмецом. А также завершил дело в консульстве. Вчера не было письма на местном почтамте, и это, как мне кажется, добрый знак. Так что завтра буду ждать письма от тебя. Я снова довольно огорчен и обеспокоен твоим здоровьем. Неужели ты страдаешь... что ты знаешь о приезде брата? Я очень волнуюсь за тебя. Думаю о тебе постоянно. Твой ога e sempre.

На почтамте

Твой план безусловно хорош. Но как ты можешь приглашать маму в Женеву если она ищет таких? Спроси ее, хочет ли она приехать; напиши, что ты собиралась поехать в Женеву и что ты хочешь сперва поговорить с ней, что ничего пока не решено, и что ты готова принять ее в Париже, если она так захочет. Оставь пока семью в Париже, спешки нет. Было бы важно знать, когда приедет брат. Потом, 20-ого числа, мне надо быть в Берлине. Надеюсь — подумал я — увидаться с тобой скоро.

Нет, твой план нехорош, ибо нельзя заставлять маму жертвовать собой до такой степени, чтобы ей оставаться в Женеве всю зиму. Это невозможно. Слишком много потребуется от пожилой дамы эмоций, слишком много боли, даже если бы она согласилась. Просто дождись письма от брата; если он скоро приедет, подожди его в Женеве; потом сразу уезжай в Париж, чтобы принять там маму. Если брат скоро не приедет, уезжай, не дожидаясь его. Если хочешь, приезжай сюда сразу, потому что ты его увидишь опять потом. Если нет, приезжай до того, как поедешь в Париж. Это мое последнее слово. Твой всегда.

[1] Медведь — наиболее существенная часть городского герба Берна.

[2] У страуса (*нем.*).

[3] Буквально: сияние Альп (*нем.*). Особый оптический эффект, при котором во время заката солнца в горной местности в противоположной стороне неба, на востоке, появляется горизонтальная красная полоса.

[4] Часть старой городской стены в Берне, знаменитая тем, что оттуда прекрасный вид на Альпы.

[5] Известное описание Италии у Петрарки «il bel paese / Ch'Appennin parte e 'l mar circonda e l'Alpe», т.е. «красивая страна, которую разделяют Апеннины и объемлют море и Альпы», *Canzoniere*, CXLVI.

[6] Имеется в виду картина Ганса Гольбейна, изображающая Христа, снятого с креста, увиденная Достоевским в музее города Базеля и играющая ключевую роль в романе «Идиот».

[7] «У ворот» (*нем.*). Скорее всего, отсылка к сцене «Vor dem Tor» («Перед воротами») в первой части «Фауста». Действие происходит на улице, где Фауст встречается с простыми сельчанами (правда, не в Швейцарии, а в Германии).

[8] С 1 мая до 15 октября 1896 г. в Женеве проводилась огромная национальная выставка. Частью выставки явилась «швейцарская деревня», т.е. ансамбль зданий, представляющих характерную архитектуру традиционной деревни.

[9] «Карл Смелый» (*фр.*). Имеется в виду картина швейцарского художника Эжена Бюрнана (Eugène Burnand) «Бегство Карла Смелого» («La Fuite de Charles le Téméraire»). Об этой картине см.: *Kaenel Philippe*. Eugène Burnand (1850–1921): Peintre naturaliste. Lausanne, 2004. S. 88, 91.

## 208. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*26—27 сентября / 8—9 октября 1896. Женева*

*8 Окт.*

Муня-мунь, золото, ди́тя, дитеныш, что ты делаешь? я, конечно, тоскую, сегодня тосковала совсем злостно, просто не знаю, как сладить с собою. Старик такой мрак на душу нагоняет. С одной стороны, жалок и добр. Заботы его можно сравнить разве с твоими: ухаживает, как нежно влюбленный, деликатный жених, стонет, и тоскует, и мрачен. С другой стороны, не понимаю его: вчера схватился за план привести <так!> сюда детей и с утра поехал к Жуковским[1] спрашивать о квартирах. Сегодня же разговорился об обидах своих со стороны семьи и вдруг повернул назад: с матерью жить близко — ему неприятно, детям вредно менять школу и лучше оставить их в Париже. Решил так и точно повеселел.... Вот и понимай, вот и распинайся за стариков!

Муня́-мунь, я теперь ничего впереди не знаю. Оставляю старику два, три дня на размышления, затем под каким-нибудь предлогом поеду в Берн дня через 4, 5, и пробуду с тобою, пока ты можешь! потом вернусь еще на несколько дней к нему, а оттуда в Париж. Но приезд матери оттянет свидание в Берлине! За то думаю остаться per bene[2] в Берлине, куда не придется приезжать ранее Декабря. Возьмем девочку с собою, я ее отлучу и привезу к тебе на всё время.

Дорогой, напиши *максимум* срока, до которого ты можешь оставаться *в Берне*.

Если бы ты знал, как я люблю тебя, как тоскую по тебе — мое здоровье лучше. Невралгия еще есть, но слабеет постоянно, а

силы прибывают. Не сердись на бестолковость или недомыслие в письмах: мои мыслительные центры еще сильно атрофированы пытками невралгии и слабости. Завтра едем к Жуковским искать квартиру уже для *одного* отца, и я пишу письмо поздно вечером, чтобы опустить самой. Целую, иду спать, бедное ди́тя, как ты спишь без меня? Как было хорошо день и ночь не разлучаться. Я даже ненавидела, когда ты ходил на галерею, откуда видна горная долинка. А теперь? Нет, любовь это оружие обоюдоострое. О, как она сладка, и как горька разлука, а любовь и разлука — родные сестры. Милый, я сильна лишь для любви и для смерти, но не для жизни и разлуки.

*9 Окт.*

Золото, не поехали, мечтаю снести письмо, выманив отца за ворота. Мне сегодня действительно *гораздо* лучше. Будь совсем покойна, капля! учись, ди́тя, учись, глупый дурак. Думаю, что, пробыв еще дней 6, отбуду повинность, потом приеду к тебе, на сколько ты можешь пробыть в Берне: но сколько ты можешь? Потом придется лишь в Декабре свидеться! Я думаю, лучше остаться дней 6 и уехать насовсем, а если ты не можешь дольше 22 или 23-го, то придется уехать раньше и вернуться, что очень трудно. Целую, как люблю.

Вся твоя Лидия.

Конверт со штемпелями: Genève. 9.X.96 — Bern. 10.X.96.

[1] Семья Жуковских, о которой нередки упоминания далее, нам известна очень плохо. В нее входила Аделаида Жуковская (урожд. Зиновьева; 29 февраля 1840, Уфа — ?), жена покойного к данному времени Николая Ивановича Жуковского (1833 или 1834 — 11 мая 1895, Женева), довольно известного революционера, соратника М.А. Бакунина по издававшемуся в Женеве журналу «Народное дело» (1868—1870), выпускавшего вместе с З.К. Ралли, А.Л. Эльсницем, В.А. Гольштейном, Н.А. Морозовым и Н.А. Саблиным журнал «Работник» (1875—1876), а также преподавателя музыки, их сыновья Александр (16 августа 1866 —?) и Степан (Этьен; 21 сентября 1869 — ?), которые оба были инженерами, и жена первого из них Барб, год рождения которой в одном и том же документе назван и как 1867-й и как 1873-й. С.Н. Жуковский неоднократно упоминается в письмах Зиновьевой-Аннибал 1901—1902 гг. Адрес семейства указывается: rue de Carouge, 116. Существовали ли родственные связи между ними и известным впоследствии издателем Д.Е. Жуковским, дружившим в петербургские годы с Ивановыми (как предположено в «Переписке с Гольштейн», с. 342), нам выяснить не удалось.

[2] Видимо, Л.Д. употребила итальянскую кальку с французского выражения «pour le bien» — на благо; однако в итальянском языке «per bene» значит «в совершенстве».

## 209. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*28 сентября / 10 октября 1896. Берн*

*10 Ott<obre>, alle 9 ant*

Felice m'ha fatto la tua nuova lettera, perchè vedo la salute tua ristabilirsi, il cuor tuo esser mio e posso sperare rivederti in pochi giorni... Quando però arriverà il fratello? Forse hai già delle notizie da lui, forse l'aspetti immediatamente...addio allora alla mia speranza di esser teco domani, dopodomani... Ma favorevole sarebbe per gli affari nostri il suo arrivo adesso: potresti comunicare meco personalmente ciò che avrebbe detto... Imprudentissima, perchè hai contate tante cose al padre? Ma non posso rimproverartene molto, poiché so come deliziose sono le confidenze amorose... Senti, mio sole, avevo ragione io ieri negando che possa realizzarsi il tuo progetto senza grandi sagrifizi per i parenti tuoi (perchè pensavo anche a tuo padre): non è mica facile alla vecchia gente di cambiare lo *status quo*; più volentieri lo mantengono tal quale. Non puoi nè devi decidere alcuna cosa te sola, senza la madre. Aspettiamo dunque — non v'è nient'altro da fare... Io sto bene, mi sono stabilito nel nido del mio uccello assai comodamente, ma il tempo stringe, la partenza è imminente per Berlino, temo l'avvenire, temo una separazione lunga. L'urgenza m'intimidisce, non studio bene. Ma esser tranquilla. Tutto si farà per bene. Oggi sono coraggioso assai e laborioso, perchè felice. Basta però, la mattinata si perde scrivendo, e tu sai stessa come t'adoro, e se hai dimenticato come, vieni affinché te lo rammenti.

Tuo ora e sempre.

Partire devo dopo il giorno 20 — forse il 21 o 22.

Перевод:

*10 октября, 9 часов утра*

Твое письмо меня обрадовало, потому что я вижу, что твое здоровье поправилось, что твое сердце принадлежит мне и что я могу надеяться, что увидимся через несколько дней... но когда приедет брат? Может быть, у тебя уже есть известия от него, может быть, ты ждешь его сейчас... тогда прощай моя надежда быть с тобой завтра, послезавтра... но его приезд в этот момент был бы выгоден для наших дел, ты смогла бы сообщить мне лично то, что он сказал... О, неосторожная, зачем ты столько всего рассказала отцу? Но не могу сильно упрекать тебя, ведь знаю, как сладки любовные тайны. Слушай, мое солнце, я был прав вчера, когда написал, что твой проект не сможет осуществиться без больших жертв со стороны твоих родителей (ибо я думал и об отце): старым людям отнюдь не просто менять status quo; они предпочитают оставить все как есть. Ты не можешь и не должна ничего решать сама, без матери. Так что подождем, делать нечего... У меня все хорошо, я удобно разместился в моем птичьем гнезде, но время летит, и мой отъезд в Берлин неминуем, боюсь

будущего, боюсь долгой разлуки. Срочность меня пугает, и я нехорошо учусь. Но будь спокойна. Все образуется. Сегодня я мужествен и трудолюбив, потому что счастлив. Но хватит, все утро теряется в письме, и ты сама знаешь, как я тебя обожаю, а если забыла, приезжай же, и я напомню тебе.

Твой ога e sempre

Мне надо уехать после 20-ого, может быть, 21-ого или 22-ого.

## 210. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*29 сентября / 11 октября 1896. Женева*

Дорогой друг, пишу два слова у Жуковск<их>[1], чтобы только успокоить тебя: я здорова, письмо получено *с трудом* от вещего глаза. Не тревожься. Думаю дня через 3 ехать, буду телеграфировать тебе. Скажи, что ожидаешь жену, и поищи там комнату. Настроение очень тоскливое. Невралгия *прошла*. До свидания.

Твоя Лид.

11 Окт. 96.

Конверт со штемпелями: Genève. 11.X.96 — Bern. 12.X.96.

[1] См. п. 208, прим. 1.

## 211. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*29 или 30 сентября / 11 или 12 октября 1896. Женева*

*11 или 12 Окт.*

Мунь-мунь, приеду в Четверг, в тот же час, что и ты. Отец не может вечером провожать меня. Я поеду до станции в Среду вечером, потом переночую в отеле и в Четв<ерг> выеду в 8 утра. Посылаю это поразительное послание, правда смех — адрес? В письме я чувствую всю истинно женскую нежность к «дите нашей», которую знаю в Анюте.

Скоро я увижу «дитю».

До свидания, все скажу лично.

Твоя Лидия.

Конверт со штемпелями: Genève. 12.X.96 — Bern. 13.X.96. Двойной лист сложен пополам и на стороне, оставшейся внешней, написано: Дорогая Уня, спешу, два слова:

## 212. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*Октябрь н. ст. 1896 (?). Женева*

*Б.д.*

Дорогой, успокойся, мне не дурно. Невралгия не сильна. Сейчас ложусь. Мой бедный, добрый старик не спал ни одной ночи от волнения, собирался посылать* (на всякий случай зачеркнула фам<илию>) родных за мною разыскивать. Он очень несчастен и, конечно, моя душа страдает. Думаю, что мне будет недурно голове. Учись, будь покоен, ничего не бойся. Ога e sempre, мое счастие, моя радость, моя жизнь. Дорогой, не бойся за меня. Не могу писать, устала.

Твоя.

## 213. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*5/17 декабря 1896. Париж*

*17 Дек.96.*

Дорогой Муня, теперь ты едешь и едешь, и погода такая грустная, и ты, Муня, грустный. Я тоже, Муня, Мунь, грустная, и голова тяжела, и глаза запухли от слез. Спала грустно. Утром прибирала свои вещи, но не нашла большой бухгалтерской книги, верно, ты увез, ужасно досадно. Милый дитеныш, давай трудиться и пробивать путь мужественно. Я завтра примусь за роман, а ты пойдешь к декану. Ты будешь умник и попросишь назначить экзамен как можно ранее, чтобы скорей вернуться в наше красное гнездышко, которое я берегу для тебя; я нагрею и оближу его, и тебе будет здесь хорошо. Давай мечтать о будущем бодро и бесповоротно, идя вперед по пути к нему. Золото, я люблю тебя и всецело твоя ога e sempre.

Девчурка не кашляет и скоро будет совсем здорова. Будет кушать манную кашку. Все берегут меня, и я всех берегу. Дуня стала развеселая, потому что Ал. Вас. посоветовала ей ехать в Россию самой искать места. Нам с Анютой тепло здесь втроем с Лидией. Теперь Лидия рычит, Анюта стирает, я пишу, прибрав

* Одно слово густо зачеркнуто.

кабинет, а серое небо под цвет настроению терпеливо и упорно льет немного тоскливый серый свет сквозь наше милое окно. Дорогой, целую тебя очень нежно, всею страстью и всею любовью.

Жду завтра телеграммы.

Вся твоя

Лидия.

Всё здесь говорит о тебе: о том, что ты был, о том, что ты будешь, и это греет чуть-чуть розовым теплом мою меланхолию. Здесь лучше, чем в чужой швейцарской избе.

Конверт с адресом фрау Левенгейм (как и все следующие, вплоть до п. 268). Штемпели: Paris. 17 dec. 96 — Berlin. 18.12.96.

## 214. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*6/18 декабря 1896. Париж*

*18 Дек. 96 г.*

Дорогой друг, дитеныш Мунья Мунь, прошел второй день: девочка спала плохо, т.к. у нее насморк и она плохо дышит (кашля нет). Анюта глаз не сомкнула, и я спала мало и проспала до 12. Потом немного прибиралась, сшила занавески на комнатки во дворе, потом пошла к матери и незаметно прошел день. За ужином вела ученую беседу с Сергеем, потом читали о Иоанне III до его сна. Теперь сижу в столовой в ожидании Шарлотты, ушедшей к сестре в гости. Дуня кормит Лидию манной кашкой, а Анюта легла усталая. Сережа ворочается и пристает, мучимый учеными scrupules[1], а младшие после усиленных драк заснули как убитые. Мамашенька простудилась и попросила меня прийти завтра читать ей роман. Я рада, потому что чтение введет меня вновь в него. Хочу завтра не проспать и списать всю Чертозу[2]. Все утро буду переживать сладкие часы работы вдвоем с моим ди́тей в неприглядной комнате в Arveye<s>[3], где было так бесконечно хорошо и счастливо.

Отец написал грустное письмо и, кажется, окончательно отказывается от надежды приехать.

Милый мальчик, я живу в атмосфере теплой любви к тебе. Распространяют ее Сергей и Анюта. В каждом слове последней слышится затаенная ласка и доверчивое расположение, а Сергей

вчера без числа раз всем повторял, что он садится на место Вячеслава, потому что он его так любит, je l'aime tant[4], теперь после него он старший мущина. Козленок просил денег, чтобы ехать одному к Татану, и спрашивал меня всё, скоро ли он вернется.

Милый, я боюсь, что тебе было плохо, я ничего не могла думать, когда отправляла тебя, совсем пришибло меня. Я нехорошо собрала тебя, даже забыла ночную рубашку, малую <?>, и 2 платка, которые чинила.

Дорогое ди́тя, мои мысли с тобою всегда, все окружающая, вся жизнь вне тебя как прозрачная дымка, и сквозь <так!> нее всегда сквозит твой образ.

Пиши мало, но часто. Не бойся писать открытые письма, никто не станет читать. Что сказал декан? когда получишь назначение для экзамена? видал ли Гиршфельда? Что этическая подруга?

Целую много раз, мой ангел. Люблю и обожаю. Сейчас иду в твою постель. Над нею витает дух твой, и во сне я ближе к тебе и понимаю ощущения любовника Гермии над спящею возлюбленной[5].

Твоя всецело

Лидия.

Конверт со штемпелями: Paris. 19 dec. 96 — Berlin. 21.12.96.

[1] Сомнениями (*фр.*).

[2] Глава из романа «Пламенники».

[3] Небольшая деревня в Швейцарии в километре от не раз упоминавшегося Villars.

[4] Я его так люблю (*фр.*).

[5] Ироническая отсылка к «Сну в летнюю ночь» У. Шекспира (акт II, сц. 2), где Лизандр говорит над спящей Гермией, в которую только что был влюблен: «А! Гермии не видела она! / Спи, Гермия! Ты мне уж не нужна. / Да, так в нас вызывает отвращенье / Излишек в лакомстве иль пресыщенье» (пер. Т. Щепкиной-Куперник; за подсказку благодарим Е.А. Тахо-Годи).

## 215. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*6/18 декабря 1896. Берлин*

*Берлин, 18 Дек. 96.*

Дорогая возлюбленная!

Вот мы опять разлучены... Недаром твой поэт сказал, что земля — «остров желаний, надежд и разлуки»[1]: наша жизнь проходит

в желаньи, надеждах и разлуке... Как ты себя чувствуешь? В глубине души, я бы немножко не желал, чтобы тебе было совсем хорошо! Мне было так хорошо от твоих слез пред моим отъездом!.. Но ты «не подумай», что я «худо» тебя люблю... — не «альтруистически»... Я «*так*» с тобою, *так* весь, *так* постоянно! Я с тобой в нашей уютной комнатке. Хорошо ли тебе спится в ней? А мне разлука кажется легче оттого, что я знаю, что ты спишь в моей комнате, вблизи от моей девочки. Милая Лидия, ты получила телеграмму Orasempre[2]? Ты почувствовала из нее, как я тебя люблю?.. Вот я опять в Берлине, в атмосфере деятельности, трезвости, некоторого мозгового напряжения и бодрящего зимнего холода. Время занято и расчетливо эксплуатируется. Все это прекрасно; жаль только, что от границы меня тошнило, эстетически тошнило от Германцев и Германии! Жаль еще, что я презренно обокраден. С посланной из Парижа малою скоростью корзины был снят дорогой замок, крышка прикреплена проволокой (в таком виде корзина была открыта в [на глазах] присутствии Frau L<öwenheim> на таможне) — и из содержимого похищены новые жилет и брюки, тогда как фрак, сюртук и старое пальто великодушно оставлены в корзине... Путешествие было довольно утомительно. В Ахене пришлось спешно перебираться с одного вокзала на другой, что было неприятною неожиданностию и испугом — легко было пропустить нужный поезд. Все однако обошлось благополучно. В Берлин приехали мы по расписанию: в половине девятого. Приходилось суетиться: устроивать <так!> багаж, деньги менять, помогать какой-то Француженке, соседке Эллы[3], не говорящей ни по-немецки, ни по-русски и едущей экономично в Варшаву. Успел однако заехать к Левенгейм, взять ключ и заблаговременно вернуться на вокзал Friedrichstrasse, где Элла ужинала в дамской sale d'attente[4]. В 11 ч<асов> вечера она уехала: я взял ей билет прямого сообщения до Петербурга *в 3-м* классе (такие билеты теперь существуют) и усадил ее в дамское купе. До границы вагоны 3-го класса очень комфортабельны и не уступают почти, например, французскому 2-му классу. Спутница моя благодарила меня, правда, за хлопоты и заботы, но кажется, осталась разочарованной в моей [занимательности] интересности. Я был решительно слишком предупредителен в отыскании повсюду дамских купе и в предоставлении моей молодой опекаемой права скучать в обществе существ, себе подобных. Она жаловалась

мне — я должен в этом признаться, как это ни обидно, — жаловалась на скуку ее путешествия! Бедная, хорошенькая чухоночка!.. Она гарантировала себя от скуки на остальную часть пути, купив на берлинском вокзале какой-то «modernsten»[5] роман, в черной обложке, с надписью золотыми буквами: «das Antlitz (или что-то в этом роде) — Christi»[6]. Несмотря на мои сомнения, она уверяла, что это должно быть крайне интересно. В романе, впрочем, о Христе, кажется, нет ни слова. Изображаются нравы современные... Столь же превратное представление, как о моей интересности (ибо я претендую на таковую quand même, — j'invoque l'autorité de M-me de H<olstein>![7]), вынесла моя златокудрая, пламеннооkая[8] Эстонка (не смешивать с Латышами!) о моей фамилии, которая должна переносить ее фантазию на родину Рудого Пан<ь>ка и Тараса Бульбы[9], хотя я и сказал раз, что не Петербуржец, а Москвич: истинного имени своего спутника она так и не узнала, равно и nom de baptême[10]. Спросить, верно, побоялась. Спросила раз только: «Позвольте спросить, вы надолго едете в Берлин». Я утверждал утвердительно; я большей частью живу-де в Берлине. — И так далее. —

Дорогая! Спешу, спешу — опоздал. Отправляюсь в Opernhaus — Beethoven-Abend[11], 7-ая Симфония. Буду слушать с тобой, Муз моих вещунья и подруга, вдохновенных спутница Мэнад[12]. У декана сегодня, в пятницу, не было Sprechstunde[13]. Пойду завтра. Сегодня утром рассказал Fr<au> Dr. L<öwenheim> наш роман. Она показывала большое сочувствие.

Целую, как люблю.

Поцелуй детей. Поклонись девушкам.

Засвидетельствуй мое почтение Софье Александровне и расскажи об Элле.

Твой В.

Фрагменты — История и поэзия. С. 357. В начале письма помета: № 1. Конверт с адресом: Madame Zinovieff 68, rue St Didier, Paris. Штемпели: Berlin. 19.12.96 — Paris. 21 dec. 96.

[1] Из стихотворения Иванова «Красная осень» (I, 547).

[2] Эта телеграмма не сохранилась.

[3] О ком идет речь, мы не знаем.

[4] Зале ожидания (*фр.*).

[5] Современнейший (*нем.*).

[6] «Лик <...> Христа» (*нем.*).

[7] Тоже, — ссылаюсь на авторитет М-м де Г<ольштейн>! (*фр.*)

[8] Видимо, эквиритмическая параллель к знаменитой строке из стихотворения Н.А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862): «Русокудрая, голубоокая».

[9] Т.е. на Украину, родину героев Гоголя.

[10] Имени (*фр.*).

[11] Оперу — вечер Бетховена (*нем.*). В упоминаемом концерте участвовали два светила музыкального мира того времени — дирижер Феликс Вайнгартнер и солист Ферруччио Бузони. В программе были только произведения Бетховена — концерт № 5 для фортепиано, Седьмая симфония, увертюра к опере «Фиделио» и увертюра «Леонора» №2 (см. объявление — Berliner Tageblatt 1896. 18 Dezember и рецензию: Berliner Tageblatt 1896. 22 Dezember).

[12] Цитата из стихотворения Иванова «Голоса» (I, 570).

[13] Приемных часов (*нем.*).

## 216. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *7/19 декабря 1896. Берлин*

*Суббота, 19-го Дек. 96.*

Милая девочка! Получил наконец от тебя маленькую, нежную весть[1], бедная, дорогая девочка, тихие, грустно воркующие строки, при чтении которых невольно думаешь: какая она тихая и тихо, женственно любящая! Le style, c'est l'homme, говорят; очевидно, le style n'est pas la femme...[2] Итак, ты «грустно спишь» без меня, моя Пантера-притворщица, декадентка, пишущая мне для упражнения в своем исковерканном стиле fin de siècle![3] Ты «грустная», и «серое небо терпеливо и упорно льет немного тоскливый серый свет сквозь милое окно», и [присутствие] то, что говорит вокруг обо мне, «греет чуть-чуть розовым теплом твою меланхолию»... А в соседней комнате между тем «рычит Лидия»... Какой лиризм!.. Но оставя шутки в сторону, я уже начинаю задыхаться без тебя, как без воздуха... Милая девочка! Твое письмецо лежало сегодня утром, в ожидании меня, — на столе в столовой, и Fr<au> L<öwenheim> могла штудировать твой почерк и воображать, какое пламя скрыто в тонкой оболочке маленького конверта. Недаром же она так сочувственно восклицала вчера, dass du «dich grämst»[4], вероятно, в разлуке со мной!.. Мы с женой были не пара, распространялась она, «sie hat eine ganz andere Richtung»[5], и это говорил уже ее покойный муж; от желания избежать разрыва, ничего не вышло бы, кроме лжи. «Aber was haben Sie durchgemacht!»[6]. В моей передаче, краткой впрочем и совершенно правдивой, истории нас всех показались мне самому каким-то романом: подумай только — наша любовь, трагическая внутренняя

борьба, отказ Д<арьи> М<ихайловны> своему обожателю, преследования твоего мужа, наше полуизгнание... Моя этическая подруга была видимо импрессионирована нашей романтической историей... Столько о нимфе — Калипсо[7]. С деканом сегодня виделся. Он возвратил мне мое письмо и certificat[8] Гольштейна со словами: «Beides war überflüssig»[9]. Первое заседание факультета будет 14 Января, второе 28-го или 21-го. Я не решился экзаменоваться в первое заседание, и потому экзамен должен состояться во второй половине Января (21-го или 28-го). [Так как декан не знает точно, когда будет 28-го числа второе заседание, то] Для окончательного определения дня, декан просил зайти опять в начале Января, когда будет установлено [ему известно] расписание заседаний. Из университета я поехал к Гиршфельду, но не имел должного élan[10] для того, чтобы вынести из этого свидания многое. Г<иршфельд> участливо расспрашивал меня [о том], как жилось мне в Париже, о смерти матери, о том, буду ли я габилитироваться[11] в России с помощью печатаемой работы, хочу ли я быть приват-доцентом в Москве, быть может, в Дерпте... Я отвечал на это отрицательно, но не отрицал намерения эксплуатировать диссертацию в России и едва намекнул на намерение долее прожить за границей. Потом как-нибудь спрошу о возможности габилитироваться за границей. Мюнцер, мой знакомый, допущен приват-доцентом в Базельский университет на основании еще не напечатанной и не законченной работы о Плинии[12]. Г<иршфельд> советовал раньше экзамена позаботиться об издателе и сделал некоторые указания. Он думает, что издатель будет недоволен, если я заставлю его ждать продолжения, и мы почти условились, что лучше издать манускрипт в его теперешнем объеме, а продолжение выпустить под отдельным заглавием «quaestiones alterae», т.е. «дальнейшие исследования». Вполне дарового издателя едва ли удастся найти; придется, б<ыть> м<ожет>, заплатить за 300 обязательных экземпляров диссертации и т.д. Посылал меня к Моммзену попросить прочесть написанный им подробный реферат о моей работе и оказать ему необходимую честь предложением экзаменовать меня. Вообще Г<иршфельд> был очень мил, просил заходить к нему советоваться, предложил мне пользоваться, если будет нужно, его библиотекой. Смеялся над моей медленностью. В начале Января будет праздноваться десятилетний юбилей нашего Института für Altertumskunde[13]. —

Милая девочка! Вчера я слушал чудесный Es dur concert и 7 симфонию Бетховена... Было мне очень хорошо, и я слушал музыку, как обещал, с тобой... Почти не попал в залу, п<отому> ч<то> все билеты были уже распроданы. Тогда полицейский, Schutzmann, предложил мне «подарить» имеющийся у него случайно билет, и я должен был уговаривать его взять 1 марку, которую стоит билет.

Целую тебя упоительно.—

Твой В.

Из прилагаемого счета за Эллу, который ты передашь С<офье> А<лександровне>[14], видно, что из 250 фр<анков>, выданных ею, осталось у меня *103* fr<ancs> Как регулировать покрытие этого долга, ты решишь.

Весь твой В.

Поцелуй Сережу и Веру.

Пользуйся временем — работай над романом. Про тебя этическая подруга, почему-то сама догадываясь, спросила, занимаешься ли ты литературой. Видишь, какая она проницательная.

Свою коммерческую книгу ты найдешь на маленьком столе в нашей комнате. Видишь, я помню твое, а ты моего не помнишь: спиртовую лампочку не дала мне!

Фрагмент — История и поэзия. С. 357—358. Помета: «*Письмо № 2*». На письмо наклеена лицевая сторона конверта. Берлинский штемпель — 25.12.96.

[1] Ответ на п. 213, которое далее цитируется.

[2] Стиль — это мужчина... стиль это не женщина (*фр.*). Игра слов, относящаяся к известному французскому высказыванию, принадлежащему графу Жоржу Луи Леклерку де Бюффон (1707—1788), «Le style c'est l'homme même» («Стиль — это сам человек»).

[3] Буквально: конца века, зд.: декадентском (*фр.*).

[4] Что ты горюешь (*нем.*).

[5] Здесь: Это совершенно иной тип (*нем.*).

[6] Здесь: Но как Вы страдали! (*нем.*)

[7] См. п. 115, прим. 3.

[8] Справку, свидетельство (*фр.*).

[9] Оба были лишние (*нем.*). Эти слова и целый эпизод лежат в основе юмористических стихов Иванова, опубликованных в: Переписка с Гольштейн. С. 374.

[10] Порыва, стремления (*фр.*).

[11] От *нем.* «habilitieren» — получать право преподавания.

[12] О Ф. Мюнцере и его научной карьере см. п. 146, прим. 19; История и поэзия. С. 49—50, 358.

[13] <Изучения> Античности (*нем.*).

[14] Мать Зиновьевой-Аннибал.

## 217. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*8/20 декабря 1896. Париж*

*20 Дек. 96 г.*

Дорогой друг, спасибо за письмо. Только ты мало писал о своем разговоре, а всё глупости о своей Эстлянке <так!>[1]. Пишу два слова: со вчерашнего дня я принялась за роман. Переписываю первую главу и вырабатываю многое в ней сызнова. Работа спорится: настроение самое рабочее, только девчурка спать не дает, и я очень устала. Она была больна, хотя кашляла мало, но плакала и капризничала по ночам. Сегодня ей гораздо лучше. Она моя радость, я в ней ласкаю тебя, и я счастлива в твоей комнате рядом с твоей девочкой. Дети ее обожают. Она, точно котенок, ласкается ко всем и всё улыбается. У нее очень тепло и красиво с тех пор, как перевесили белые кружева на стекло вместо crème. Очень много время <так!> отнимает мать, которая простужена и к которой сию минуту иду с детьми. Целую тебя нежно, моя радость, мое счастье. Давай работать и любить издали, увы, по идеалу Фьезоле. Целую рубчик и окрестности. Тебе принадлежу. Твоя Л.

Открытка. Штемпель: Paris. 20 dec. 96. Берлинского штемпеля нет.
[1] Речь идет о п. 215.

## 218. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*8/20 декабря 1896. Берлин*

*Воскр. вечером, 20 Дек.*

Гадкая девочка, отчего ты больше не пишешь? Одно только письмецо на двух страничках на три дня моего пребывания здесь. А я уже скучаю... Быть может, впрочем, ты сочла ненужным прибавить на конверте: «b<ei> Fr. Löwenheim»? Я еще не записан, консьерж меня не знает, почтальоны здесь, правда, очень внимательны и памятливы, но, пожалуй, после одного письма еще не заметили моего имени. — Милая Лидюша, сегодня я опять попал к Гиршфельду, потому что забыл вчера у него в передней зонтик, и горничная после тщетных поисков в разных местах доложила ему обо мне, и он вышел ко мне, говоря, что забыл мне вчера что-то сказать; но не мог все же припомнить. Я дал ему свой адрес. Он опять посылал меня к Моммзену и делал советы, как с ним

говорить об экзамене. Я на этот раз сказал ему о своем намерении остаться, хотя бы на первое время, за границей. [Он не совсем еще понял меня и] «В Париже?» — спросил он. Я ответил, что не связан определенным местом. Тогда он посоветовал мне — так как мне нужно изучать греческую литературу для русского экзамена — остаться в Берлине: [сюда на] здесь, с летнего семестра, будет читать знаменитый эллинист, Wilamowitz[1]. Я принял это к сведению. Потом я спросил опять его мнения об удобстве напечатания моей работы в объеме теперешнего манускрипта: он считает это вполне возможным, потому что она довольно закончена по содержанию, но мое намерение (которое вчера лишь утвердилось у меня) — прибавить *краткий очерк* того, что должно было бы составить продолжение книги, краткий — для того, чтобы не затягивать издания — нашло полное его одобрение, это он считает гораздо более целесообразным, чем откладывание продолжения книги в виде отдельного исследования на неопределенное время. Я опять указал ему на свое желание отделаться поскорее от настоящей темы и перейти к другим научным задачам. Как на одну из таковых я указал далее на проект истории всаднического сословия в Риме. — «Ach, nein, nein!»[2] — воскликнул он (как и следовало ожидать) — что, впрочем, очень мало потрясло меня. «После того как Моммзен только что дал исследование об этом в своем Staatsrecht[3]?!... Это потом, потом!» — Вероятно, он опять будет предлагать мне что-нибудь очень специальное и тесное. Nous verrons[4]. — Разговор этим в сущности ограничился. — Прибавлю, что вчера он высказывал мнение (на основании отзыва покойного Мендельсона из Дерпта и своего впечатления от книги об Августинах), что Крашенинников «scheint ein gescheiter Mensch zu sein»[5]. — Столько о Гиршфельде. Frau Dr. со мной больше об интимных делах не заговаривает; зато мы втроем ведем горячие споры за обедом и ужином о всевозможных интересных материях, причем большинство моих мнений кажутся и матери, и сыну[6] парадоксами. Милая девочка, я всегда рад с ними поболтать, чтобы избавиться от чувства (которое овладевает мной теперь в одиночестве), что у меня не хватает чего-то во мне, что у моей души и у моего тела ампутирована какая-то часть, без которой я живу, но живу наполовину. Милая возлюбленная, мне очень горько и грустно встречать здесь приближающиеся праздники, которые заявляют себя лесами елок на улицах. Горько и грустно быть без тебя и без нашей семьи, и тем более горько и грустно, что я понапрасну, в сущности, наложил на себя это наказание.

Конечно, полезно, даже необходимо было приехать теперь для предварительных совещаний; но все же понапрасну разлучен я буду с тобой все долгое время в ожидании экзамена. Впрочем, нечего жалеть о том, что, с одной стороны, непоправимо, с другой может принести мне огромную пользу, если я интенсивно воспользуюсь этим суровым средством против моего влюбленного шалопайства и буду работать... Je veux être sage, très sage[7] — но все же [у] мне худо...

Вчера вечером я написал три сонета Гольштейну, а сегодня прибавил четвертый: таким образом, долг мой перед ним (я разумею его справедливое требование обращенного к нему послания) с лихвой покрыт. Прилагаю листочек[8]. Если ты найдешь, что все в порядке (только при этом условии), пошли ему, *снабдив предварительно, если хочешь, пометкой: «разрешено цензурой»*. — Понравятся ли тебе стихи? И какие больше?

Затем, моя обожаемая девочка, я целую твои ножки и левое колено и, с мыслью о том, что ты, вероятно, ложишься теперь спать, милая Пантерка, на мой широкий диван, принимаюсь за книжку... Пахнешь ли ты вервеной?

Что делает девочка? И как ест манную кашку?

Целую тебя нежно, моя, моя дорогая!

В.

У меня на столе лежит «Весна» Боттичелли. —

---

Сейчас, найдя случайно старые письма, открыл дату нашей прогулки в Колизей: понедельник, 16-го Июля 94 г. — 17-го мы ездили в Тиволи; 18-го ты уехала в Швейцарию. 15-го ты была в Анцио. Какое совпадение с датой переселения в Булонь. В ночь на 16-ое Июля 95 г. мы, в Булони, окончательно сошлись.

Фрагменты — История и поэзия. С. 44, 358—359, 371. Помета: «*№ 3*». Конверт со штемпелями: Berlin. 21.12.96 — Paris. 22 dec. 96.

[1] Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф (1848—1931), крупнейший немецкий филолог-классик, в то время — профессор университета в Геттингене, со следующего года, действительно, стал профессором Берлинского университета. См.: *Лаппо-Данилевский Константин.* Вяч. Иванов о наследии Ульриха фон Виламовица-Мёллендорфа // Античность и русская культура Серебряного века. М., 2008. С. 77—84.

[2] Ах, нет, нет! (*нем.*)

[3] Государственном праве (*нем.*). См. п. 137, прим. 12.

[4] Посмотрим (*фр.*).

[5] Кажется умным человеком (*нем.*). Речь идет о диссертации Крашенинникова «Августалы и сакральное магистерство: Исследование в области римского муниципального права и древностей» (СПб., 1895), которую Иванов передал Гиршфельду

(см.: История и поэзия. С. 44). Трудно сказать, как смог Гиршфельд составить «впечатление» о диссертации Крашенинникова. Русского языка он, конечно, не знал. Нам известен только один немецкий отзыв о диссертации Крашенинникова, появившийся в еженедельном журнале «Literarisches Centralblatt für Deutschland», 1896, № 31 (1 августа 1896), стлб. 1118—1119. Рецензент, очень высоко оценивший работу, подписался лишь буквами «li». Это явно не инициалы, а какой-то нам неизвестный шифр. Не подлежит сомнению, что такой специалист, как Гиршфельд, прекрасно знал, кто за ним скрывался. Возможно, что это был именно Людвиг (м.б. [UDWjG?) Мендельсон. О «li» можно сказать только, что он опубликовал очень положительную рецензию и на первую диссертацию Крашенинникова в том же журнале в 1892 г. Добавим еще, что такое высокое мнение о трудах Крашенинникова разделялось далеко не всеми. Ф.Ф. Зелинский очень сомневался в достоинстве второй диссертации. Об этом писал М.И. Ростовцев в письме к С.А. Жебелеву: «Только что прочел рецензию Зелинск<ого> и думаю, что всякий, читавший книгу Краш<енинникова>, подпишется под нею обеими руками. Мне эта книга испортила ряд вечеров и упреки мои автору те же, что у Зел<инского>» (*Анфертьева А.Н.* М.Н. Крашенинников: к портрету ученого и человека // Рукописное наследие русских византинистов в архивах Санкт-Петербурга. СПб., 1999. С. 383. Точная дата письма публикатором не указана). Нам неизвестно, был ли отзыв Мендельсона опубликован или находился в частном письме.

Ludwig August Mendelssohn (1852—1896, умер 3 сентября 1896 г., т.е. за несколько месяцев до описанной встречи). В 1897 г. вышло посмертно с помощью Крашенинникова его издание письма Аристея к Филократу, которое он много лет готовил к печати: Aristeae quae fertur ad Philocratem epistulae initium. Apparatu critico et commentario instructum edidit Ludovicus Mendelssohn. Conlegae venerandi opus postumum typis describendum curavit M. Krascheninnikov. Dorpati (Dorpat) Mattiesenianis 1897. Об отношениях Мендельсона и Крашенинникова известно мало. Они недолго пересекались в Дерпте, куда Крашенинников прибыл в 1895 г. От русификации университета Мендельсон очень страдал; он, урожденный немец, мало-помалу терял своих слушателей. (По-видимому, он недостаточно знал русский язык, чтобы вести курсы на нем. Мог ли он читать русские работы по специальности, мы не знаем.) Разочарование в университетских делах считается одной из причин его самоубийства в 1896 г. И тем не менее надо полагать, что он сдружился с Крашенинниковым, ибо последний издал посмертно незавершенный труд «почтенного коллеги».

[6] Leopold Löwenheim (1878—1957) — впоследствии всемирно известный математик.

[7] Я хочу быть благоразумным, очень благоразумным (*фр.*).

[8] Никакого «листочка» в данной единице хранения нет. Упомянутые сонеты опубликованы в приложении к: Переписка с Гольштейн. С. 373—376.

## 219. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *10/22 декабря 1896. Берлин*

*Вторник, 22 Дек.*

Дорогая Лидия, спасибо за другое письмо и картолину; твои строки делают меня очень счастливым. Coraggio, coraggio![1] Будем,

malgré nous[2], осуществлять фиезольский идеал[3]. Вчера я был у Моммзена, но пришел к старику, видно, не в добрый час. Он принял меня церемонно, в салоне, с таким видом, точно образ мой никогда ранее не отражался на его сетчатой оболочке. — «Im vorigen Jahr haben Sie die Güte gehabt, die Rezension über meine Arbeit zu übernehmen; mir wäre es sehr wichtig, vor der Drucklegung der Arbeit diese Rezension einzusehen». (Говорю, как научил меня Гиршфельд.) — «Ja, ich habe Ihre Arbeit durchgesehen... aber ich erinnere mich an dieselbe nicht mehr». — «Sie behandelte die Frage über die Publicanen». — «Ja, das weiss ich, über die Publicanen... aber sie ist mir nicht mehr erinnerlich. Auch ist mein Referat wohl nicht eingehend genug und kann Ihnen kaum von Nutzen sein». — «Im Gegenteil, Prof. Hirschfeld sagt mir, Sie haben sich ziemlich ausführlich über meine Arbeit ausgesprochen». — «Wollen Sie denn dieselbe umarbeiten?» — «Ich glaube, ich würde dazu jedenfalls nicht Zeit genug finden; aber ich möchte mir doch vor der Drucklegung Rechenschaft ablegen über das Verhältnis Ihrer Ansichten zu den meinigen»[4]. — В заключение Моммзен просит меня зайти еще раз, после того как он снова просмотрит работу, и — уже в передней — поручает мне просить декана от его имени о доставлении ему снова моей диссертации вместе с его рецензией, и назначает мне опять быть у него 2-го или 3-го Января. — Иду тотчас к Гиршфельду, который живет неподалеку, — третий день подряд, — и рассказываю ему, wie mein Besuch bei M<ommsen> abgelaufen ist[5]. Услышав мою повесть о слабости памяти знаменитого человека, — он хохочет. «И все же вам необходимо будет при новом свидании сказать ему: «wünschen Sie mich zu prüfen oder soll ich mich an Prof. Hirschfeld wenden?.. Es geht nicht anders: er war Ihr Hauptreferent»[6]. — Далее он говорил об экзамене: ich mache mir zu viel Gedanken[7], я пройду во всяком случае, он уверен в моем знании Staatsrecht'a, Моммзен также будет иметь gutes Vorurteil[8] на основании своего отзыва о работе и т.д. — Хорошо это, что я тебе так подробно сообщаю все свои предварительные и ни к чему не ведущие sollicitations[9]? Я пишу тебе теперь как жене, а ты ведь не всегда хочешь быть женой, ты — возлюбленная девочка, и мне бы *так*, *так* хотелось бы целовать тебя и иметь — хоть на одну ночку в неделю! *Так* мне теперь худо одному без тебя... Как Лидюша, бедная девочка? Где только она простужается? Очень радует меня то, что ты пишешь о настроении семьи. Дай бог, чтобы установилась в нашем home[10]

прочная и глубокая внутренняя гармония. — Отчего ты не пишешь о впечатлении, произведенном на мать романом. Сообщай мне коротко, что́ вновь придумала, и, если можешь, работай! Кажется, ты права относительно сумасшествия Опалина; и это можно сделать grossartig[11]. Пиши мне всегда, хорошо ли тебе физически. Приветствуй от меня всех наших. Прижимаю тебя к сердцу. Поласкай за меня Пантерку-котенка.

Твой В.

Мне очень приятно всегда писать на конверте наш парижский адрес; приятно знать, что я здесь в гостях, что у меня есть дом и что в этом доме ты. —

Фрагмент о посещении Моммзена — История и поэзия. С. 359.

Помета *«№ 4»*. Конверт со штемпелями: Berlin. 22.12.96 — Paris. 23 dec. 96.

[1] Будем смелы (*ит.*).

[2] Несмотря на себя самих (*фр.*).

[3] То есть упорный труд в разлуке друг с другом. См. п. 246.

[4] «В прошлом году Вы были так добры, что взялись за рецензию на мою работу. Мне очень важно было бы посмотреть рецензию до того, как она будет напечатана». — <...> «Да, я просмотрел Вашу работу... но я ее уже не помню». — «Она касалась обществ публиканов». — «Да, я знаю, об обществах публиканов... но припомнить ее не могу. К тому же, моя рецензия, безусловно, недостаточно подробна и не может быть Вам полезной». — «Наоборот. Профессор Гиршфельд говорит мне, что Вы довольно детально высказывались о моей работе». — «А Вы хотите ее перерабатывать?» — «Думаю, что для этого мало времени, но я бы хотел до сдачи ее в печать дать себе отчет в том, как соотносятся Ваши взгляды с моими» (*нем.*).

[5] Как прошла моя встреча с М<оммзеном> (*нем.*).

[6] Угодно ли Вам экзаменовать меня, или мне надлежит обратиться к проф. Гиршфельду? ... Нельзя по-другому, он же был Вашим главным рецензентом (*нем.*).

[7] Я слишком беспокоюсь (*нем.*).

[8] Положительное предварительное мнение (*нем.*).

[9] Ходатайства (*фр.*).

[10] Доме (*англ.*).

[11] Замечательно (*нем.*). Речь идет о герое романа «Пламенники».

## 220. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *12/24 декабря 1896. Париж*

*24 Dec. 96*

Дорогой Муненок, наверное, ты и скучаешь, и сердишься на меня за мое молчание, и представь себе, возлюбленный, что я не виновата. Вот два дня совсем шальные. Вчера я хотела писать тебе, но весь день провозилась с печкою для матери. Старуха со-

всем больна — простужена, и в ее комнате отчаянный мороз. Пришлось мне отыскивать саламандру[1] и, что хуже, устанавливать ее: она дымила. Едва поспела к обеду к Гольштейну. А дома ночи ужасно плохи, и я на ногах качаюсь. Здесь в нашей комнате Пантерка не давала спать, и я à regret[2] решилась на одну ночь уйти на ту квартиру. Но там постигла меня горькая участь. У Тики страшнейший судорожный кашель, и уже 3 ночи, как я опасаюсь, что он умрет синкопом. Вчера Гольштейн хлопотал с обоими младшими. Лидюшу рвет иногда, потому что она чуть-чуть кашляет. Гольштейн нянчил ее с такою любовью, что мне горяче хотелось обнять его нежно и поцеловать. Он держал ее на руках: она сама потянулась к нему от Анюты, он плясал с ней и говорил совсем особенным мягким низким голосом. Какой он прелестный, добрый человек. Меня он глубоко тронул. Он нашел девчурку здоровенькой, присутствовал при еде и не решился ничего ей давать против остатка легкого бронхита. Лидюшка обворожительна. Бедное ди́тя, сколько ты теряешь, не видя ее рожицы. Она вся растворяется в улыбке и часто на подушечке машет головкой, точно «нет» говорит, подымает кверху ручки и перебирает быстро пальчиками, или лежа пляшет животиком, который подымает кверху колесом. Звуки ее горлышко издает необыкновенно, неподражаемо мягко, точно воркует нежный голубок. Словом, она с каждым днем прелестнее и прелестнее.

Бедному Тики дают и опиум и хину в огромных дозах. Этот жалкий и терпеливый ребенок поистине страдалец. Он даже ест хину горькую без особенного протеста. Старшие здоровы. Вера написала тебе очень хорошо письмо, и вдруг Сережа нечаянно его облил чернилами! Она плакала и должна его переписывать. Сережа готовит тебе нежное послание на 3-х языках и картину «Встреча Вячеслава и Сережи». Сегодня он приглашен Гольштейном на весь день и даже с предложением ночевать! Гольштейн в нашем монастыре был как сыр в масле: очень счастлив, очень весел, мил и прост. Стихи твои[3] ему очень понравились, он говорил несколько раз, что подавлен ими. Хочет отвечать в стихах[4], но боится, потому что очень трудный и большой труд ты ему задал. Стихи твои прелестны и ужасно остроумны. Я в них влюбилась. Я спала с ними и с твоим письмом и утром проснулась оттого, что мне стало очень, очень хорошо. Странно, правда? Письмо было на простыне со мною. Затем признаюсь в одном деле. Не брани,

мальчик. Третьего дня читала первую главу[5] матери: она ***ничего*** не поняла, т.е. *ничего*, даже ни одной картины не поняла, и в «мечтах» увидела лишь пейзаж. Я была даже импрессионирована и подумала, быть может, понимаем лишь мы с тобою, так как мы *знаем*, а другие *никто ничего* не поймет. *И я прочитала две первых главы* Гольштейну. Не брани. Non c'è nessun pericolo[6]. Он понял *кое-что*, но мало, и главным образом qu'il y a quelque chose[7], что он повторял много раз. Он сказал еще: «Дурно ли, хорошо ли или очень хорошо выйдет вещь, — она Ваша личная, оригинальная до такой степени, что никто не найдет ничего заимствованного. Стиль романа органически связан между собою, очень необыкновенен, странен, но настолько необходим сам в себе, что я не могу сказать, как хотелось бы при чтении всякого иного произведения: вот так бы лучше или этак». Он был видимо очень сильно удивлен и импрессионирован — — моим... развитием! Он назвал это философским романом. Эти две главы не могли выдать ни единой мысли, но беда в том, что мне страстно хочется исполнить его просьбу и читать далее. Напиши, обдумав зрело. Мне страстно, страстно хочется, и с одной стороны мне это было бы ужасно полезно. *Позволь!*

Он говорил, что мои герои заряжены электричеством в высшей степени и читателя ждет ежеминутно разряжение атмосферы, полной электричеством. Он говорил еще, что литература мой путь, а не сцена, где я могу быть лишь второ- и третьестепенной величиной. Прости, Муня, что я читала. Я без тебя не смела читать более 2-х глав. Первую я всю переписала и закончила, кажется, удачно. Принимаюсь за вторую. Работать можно, и даже очень можно. Я работаю довольно много, а когда буду спать, то успею еще больше. О, la grande nouvelle[8]! Лидия сегодня *по совету* Гольштейна получит желток. Покупают ей яичко прямо из-под курочки. Ангел, мальчик, пиши про всё, всё. Спасибо за прелестные письма. Меня ***очень**** огорчил Моммзен. Утешь меня.

*Значит, Гирш<ельд> экзаменует?* Видишь, напрасно ты так много учился! сам экзаменатор вперед пропускает тебя. Учись, мальчик, сиди в своих научных парах, это полезно. Давай выбиваться, мальчик, давай брать славу и положение приступом. Avanti, avanti, sempre avanti. Evvivo Fiesole![9]

---

* Подчеркнуто трижды.

Только, мальчик, ради Бога, ради всего, что дорого, ради возможности жить, ради счастия, не изменяй мне. Работай и не страдай, мальчик. Будь chaste[10]! Сохрани нашу любовь незапятнанною: твердою, как алмаз, глубокую <так!>, как сафир, и божественно страстною, как пламень, скрытый на дне третьего отверстия моего кольца.

Мальчик, я твоя, люблю тебя, тебе принадлежу, тобою существую.

Лидия.

[1] Название керосиновой печки.
[2] Скрепя сердце (*фр.*).
[3] См. п. 218.
[4] Стихотворный ответ В.А. Гольштейна нам неизвестен.
[5] Речь идет о романе «Пламенники».
[6] Опасности нет (*ит.*).
[7] Что там есть нечто (*фр.*).
[8] Великая новость (*фр.*).
[9] Вперед, вперед, всегда вперед! Да здравствует Фьезоле! (*ит.*) — Имеется в виду данное в этом городе (и не сдержанное) обещание друг другу плодотворно работать в разлуке.
[10] Целомудрен (*фр.*).

## 221. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*12—13/24—25 декабря 1896. Берлин*

*24 Дек., вечером, 9 часов*

Ах, как скучно! Отчего же ты — уже два дня — не пишешь? Знаю, что в эти дни на почте необыкновенный наплыв писем и посылок; быть может, чрез это письмо твое запоздало: но мне от того не легче...

Warum ich wieder zum Papier mich wende?
Das musst du, Liebste, so bestimmt nicht fragen:
Denn eigentlich hab' ich dir nichts zu sagen...
Doch kommt's zuletzt in deine lieben Hände*[1].

Вот, написал тебе несколько строк, и легче стало: обращаюсь к своим книжкам. Прощай!

* Из Гёте (с переменой одного слова). (*Прим. Иванова.*)

*25 Дек. утром.*

Отчего я окончательно забыт тобою?

... Ах, скажи мне скорей,
Отчего ты забыла меня?[2]

Утешаюсь мыслью, что письмо твое запоздало. Рождественный наплыв писем и посылок здесь так огромен, что почта нанимает на это время массу частных лиц и экипажей, занимает целые здания — как, напр<имер>, в этом году галерею здания Выставки[3]. При этом [совершенно] бывает всегда констатируемо огромное число пропаж вещей и потерянных писем. К Löw<enheim> не дошел на этот раз ящик, посланный из Дрездена ее племянником. Быть может, и твое письмо или твои письма пропали.

Третьего дня я был у декана и передал ему поручение Моммзена. Моя работа с его рецензией [буду<т>], вероятно, уже отосланы ему.

Что у вас делается на праздниках? Будут ли дети иметь елку и когда?

Пишешь ли ты? Разумею, роман...

О, как невыразимо тоскливо быть оторванным, как я, от своей милой и не иметь даже ни строчки от нее, особенно когда все кругом справляют «vergnügte Feiertage»[4]. К счастию, у L<öwenheim> [посл<е>] со смерти ее мужа не бывает елки. Она с сыном уходили вчера к ее родителям, которые устраивали у себя Weihnachtsbaum[5] для родичей. Вчера из моего окна видно было, как во всех этажах противоположной стороны улицы теплились рождественские свечи. До меня доносились флегматические и елейные звуки «Stille Nacht, heilige Nacht»[6]: какие-то соседки пели этот и другие благочестивые гимны хором, плохими голосами особенного тембра женских немецких голосов, и часто детонировали. Это переносило меня (неприятно) in meine Lehrjahre[7]. «In meiner Zelle»[8] — в моей просторной, уютной и теплой комнате, где смотрят на меня со стен Декарт и Дарвин, Сивиллы Рафаэля и Микель-Анджело, — «brannt wieder freundlich die Lampe», как у Фауста, — aber «in meinem Busen» war es nicht «helle»...[9]

Soviel von meinen hiesigen Weihnachtseindrücken![10]

Кажется, я решительно и навсегда потерял вкус к немецкой среде...

Вчера я написал Д<арье> М<ихайловне> — Где она теперь, впрочем, не знаю. Послал поэтому свое письмо заказным. Я сделал в нем наконец те касающиеся наших отношений и семьи сообщения, о которых говорил: [о том, что] о девочке, о твоей второй беременности от меня, о том, что мы устроились наконец [почти] вместе, хотя и в двух разных квартирах, и что принуждены оставаться за границей. Но главное содержание письма заключалось в соображениях по поводу отказа К<рашенинников>у[11]. — Доверяться Дмитревским, конечно, можно свободно; а [более] внести менее принужденности и сдержанности в переписку мне бы очень хотелось, потому что неизвестность о том, что она переживает, меня мучит невыносимо. Я так хочу и столько раз обещал быть ей другом, что не могу не доверяться ей; если она не захочет отвечать на доверие доверием, тем хуже для моего душевного спокойствия, но вина в том будет лежать не на мне. — Целую тебя, милая радость! Весь твой

В.

Небольшие фрагменты — История и поэзия. С. 151, 359.

Помета: № 5.

[1] Первая строфа из стихотворения Гёте «Влюбленная <пишет> еще раз» («Die Liebende abermals») из цикла «Сонеты». В переводе Н. Григорьевой:

Зачем пишу тебе записку эту?
Мне, право, милый, и самой неясно.
Не задавай вопросов мне напрасно,
Лишь прикоснись к почтовому пакету.

Стихотворение написано от лица женщины, и Иванов меняет род одного слова, чтобы повествование шло от лица мужчины.

[2] Неточная цитата из романса П.И. Чайковского «Отчего» на слова Г. Гейне (в переводе Л.А. Мея).

[3] В Берлине в 1896 г. состоялась так называемая Gewerbe-Ausstellung (выставка), огромное предприятие, куда съезжались со всего мира. Хотя Иванов на нее не попал, он подробно знал об этом из писем Э. Лёвенгейм.

[4] Счастливые праздники (*нем.*).

[5] Елку (*нем.*).

[6] «Тихая ночь, святая ночь» (*нем.*). Название и начало немецкой рождественской песни.

[7] В мои студенческие годы (*нем.*).

[8] В моей келье (*нем.*).

[9] «Опять горела приветливо лампа» <...> но «в моей груди» не было «светло» (*нем.*). Иванов меняет некоторые слова и таким образом переосмысливает известное изречение Фауста (См.: Фауст, ч. I, строки 1194—1196).

[10] Вот мои здешние рождественские впечатления! (*нем.*)

[1] Упомянутое письмо нам известно по недатированному черновику. Приводим его текст:

«Милая, дорогая Даша! Если я тебе не пишу, это оттого особенно, что писать тебе не могу равнодушно, но не могу и высказываться вполне. Как высказать, возможно ли высказать, чем ты осталась или чем стала для меня? Объяснить ли, и нужно объяснять, как непрестанно я думаю о тебе и до какой степени страдаю. Оставим это. Почему ты отказала К<рашенинникову>? Я долго мучился мыслью, что повлиял на твое решение резкостью своих суждений нападением на <?> брак по расчету. Но я ведь определенно оговаривался: *если* этот брак заключается *только* из страха материальной нужды. И никогда не казалось мне в душе, что ты действительно хочешь выйти замуж по расчету. Я думал: конечно, ее страх бедности примешивается к действительности, подогревая <?> ее решение соединиться с К<рашенинниковым>, но эти настоящие мотивы суть доверие и симпатия к нему, потребность в друге и объекте, на котором бы сосредоточивалась ее женская нежность, наконец, потребность семьи и полной жизни. Если истинные мотивы этого брака были таковы, думал я, то ничего другого я ей не желаю. Но твои неточные, конечно, слова о необходимости для тебя брака вследствие грозящей нужды <?> навели меня на мысль, что, б<ыть> м<ожет>, мысль иметь мужем К<рашенинникова> тебя отталкивает, и вот я писал тебе, чтобы ты остереглась выйти замуж ***только по расчету***... Впрочем, все, что я говорю, конечно, излишне ибо ты, несомненно, отказала не из-за моих же столь <1 нрзб> представлений, а в силу иных мотивов.

Как бы то ни было, скажу откровенно, что твои слова об отказе меня как будто резнули по сердцу. Я все же надеялся на возможность для т<ебя> счастия в новой семье, и — что же? Осуществление этой надежды на восстановление твоей семьи отдаляется на неопределен<ное> время. Дорогая Даша, скажи мне, отчего ты отказала... И действительно ли это решение окончательное... Я же думаю, что если К<рашенинников> серьезно любит, он не может удовлетвориться*, если ты хотела возвратить ему свободу, ты поступила гордо и <1 нрзб> и благородно, но он должен необходимо — если действительно любит — вернуться и настаивать. Или ты действительно поняла, что не можешь быть с ним счастливой, не можешь полюбить его как мужа и в этом смысле дала ему окончательный ответ? Тогда, конечно, ему не осталось более надежды.

Милая Даша, в Париже у меня девочка 7 месяцев, родившаяся по странному совпадению в самый день смерти моей матери, через несколько часов по получении мною телеграммы Анны Тимофеевны. А на Женевском озере Л<идия> [выкинула] [родила преждевременно] ребенка, который был бы моим сыном. Из Берна я вернулся в Париж, где мы впервые устроились вместе — в двух смежных квартирах. Мы принуждены жить за границей, как ты видишь <?> вследствие необходимости держать нашу связь в абсолютной тайне от всех, кроме ближайших родных и друзей. [Удастся] ли вынудить процессом развод, еще неизвестно (РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 8. Л. 56—57 об).

---

* Хоть <?> в силу твоего заявления, что ты предпочитаешь остаться свободной или что есть кроме прямого вопроса о чувстве какое-нибудь другое препятствие. (*Прим. Иванова.*)

## 222. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*14/26 декабря 1896. Париж*

*26 Дек. 96 г.*

Дорогой Муненок, целую тебя нежно. Письма от тебя не было еще, кроме детского. Дети были им очень счастливы. Солдаты еще не пришли, зато пришла бабушка, которая легла на твой диван, хотя без удовольствия: чует ее антивакхальное сердце, что это ложе охотно посещается Дионисом. Так как она очень кисла, то я ее уложила на подушки дремать, а сама села писать моему дорогому, возлюбленному мальчику. Вчера что делал ты, золотое дитя? Мы не праздновали, но вышло вроде праздника, потому что пришлось, на весь день привели сюда старуху, и я сделала вкусный дневной обед, и дети кричали по идее Сережи: «Vive les vaches»[1] при виде большого блюда crème fouettée[2] и marrons[3] тертых. Потом мы все время играли с ними в жмурки и другие игры, в разгаре которых около 6-ти вечера пришел Гольштейн взглянуть на бедного Козлика, с которым я провела бессонную ночь. Ребенка теперь засыпают хинином в огромных дозах.

Узнав, что к обеду холодная свинина с майонезом, он остался в нашем монастыре. Я угостила его дюжиною устриц. Он был очень мил и ласков со всеми: нашел меня очень усталою и велел à tout prix[4] отдыхать, но что фатально для меня, это то, что он Анюту нашел в худшем состоянии, чем меня, и велел ей спать непременно спокойно, иначе «повторится прошлогоднее»[5]. О дети! дети!..

Писать дальше роман я не хочу без тебя, только буду отделывать его.

Дорогой мальчик, уже через 2 недели мы будем на 3, 4 дня вместе! Но когда вернешься ты в Париж? увы, боюсь, что не скоро. Меня мучает эта мысль, напиши хоть приблизительно, как тебе кажется.

Спешу отослать письмо. Лидюшка совсем здорова, веселая и задорная.

Я наслаждалась сегодня на твоем диване, слушая воркования нашего засыпающего голубка и дорогой голос Анюты, и мне спалось лучше.

Целую тебя, мой ангел, не знаю, что бы сказать тебе ласкового, чтобы ты почувствовал всю силу, всю страсть и глубину моей любви безграничной, бесконечной.

До свидания, радость, свет, счастье мое.
Твоя вся Лидия.

Конверт со штемпелями: Paris. 26<?>. oct.96 — Berlin, 28.12.96.

[1] «Да здравствуют коровы!» (*фр.*)

[2] Взбитых сливок (*фр.*).

[3] Каштанов (*фр.*).

[4] Во что бы то ни стало (*фр.*).

[5] У А.Н. Шустовой в 1895 г. было сильное нервное расстройство. Ср. в более позднем (26 января 1898) письме В.А. Гольштейна к Зиновьевой-Аннибал:

Дорогой друг, Лидия Дмитриевна.

Здоровье Анюты хорошо. Никакой болезни у нее нет. Она просто человек нервный, и эта нервность скорей достоинство, чем недостаток. Поживает она у нас тихо и спокойно; спит весьма недурно.

Вы желаете знать мое мнение о Ваших намерениях по части Анюты. Скажу Вам с полной искренностью и с полным убеждением (и таково также мнение А.В.), что я их не только нахожу неосновательными, но прямо осуждаю. Анюта редко хороший человек, Вы с ней много и долго прожили и пережили, причем она доказала и свою горячую преданность Вам, и свою способность быть полезной, необходимой, незаменимой. Расставаясь с ней, хотя бы на время, порывая интимную нить, связывающую Вас с ней, Вы не только поступили бы безнравно, но Вы лишили бы себя опоры, которая — кто знает? — может понадобиться. За такой поступок неосторожный и несправедливый, чтоб не сказать более, Вас может наказать судьба: il y a un justice immanente!

С Анютой трудно ужиться! С каким же человеком, имеющим душевную физиономию и горячее сердце, не трудно порой ужиться? (РГБ. Ф. 109. Карт. 16. Ед. хр. 42. Л. 3 и об).

## 223. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*14/28 декабря 1896. Париж*

Дорогой ди́тя, получила вчера твое рождественское письмо, такое грустное и жалкое. Мальчик, будь умник, не тоскуй, а учись. Давай parvenir[1], что же это, закопать таланты в землю, нет, надо продуцировать, иначе ты совершаешь преступление. Всё, всё наружи: что есть в печи, на стол мечи. Проникнись энергией и упорством и бодростью, мой мальчик. О, если бы во дне было 48 часов. Я проклинаю жизнь лишь за одно: за ее краткость. Милый ангел, ты скучал на рождество, я же не имела чувства праздника, ведь ты забыл, что мы решили устроить елку и праздновать русское рождество: я так и настроилась. Дорогой ребенок, наша девчура умнеет с каждым часом, ты представь себе, что она знает свою кастрюлю и злится, если долго

варится каша. Глаза у нее сознательные. Желток она отлично переваривает. Я купила ей разных мук (farines[2]) у Potin[3], чтобы разнообразить еду. Ест она очень правильно и впору. Спит чудно. Костин кашель полегчал. Меня изводит мать: все в ней рвет меня на части: и сердце сжимается от жалости, и вместе с тем эстетически гадко смотреть на ее грубую бестактность и полное отсутствие материнского чувства ко мне. Отец не приедет, так как боится «вреда для здоровья», хотя и желал бы «быть мне всем полезным, пока он жив».

Лицемеры и эгоисты! Мое время летит ужасно: благодаря слабости не могу работать по вечерам, а день крошится: дети, хозяйство, мать..... Дорогое существо, я сплю всё у тебя, и мне хорошо. Как горько думать о тебе: тебе хуже куда, потому что ты один и ничто вокруг не говорит обо мне. А здесь девочка сама и, кроме того, всё, всё полно тобою здесь. Какая прелестная рабочая лампа у нас! я купила в Printemps[4]: изящная бронзовая с каменной колонкой, светлая, абажур золотисто-желтой бумаги вроде пергамента. Когда ты приедешь? Хочу в России пробыть как можно меньше, быть может, 8 дней, затем к тебе. А когда ты сюда? и как рисуется тебе будущая зима?

Я очень довольна тем, что ты написал Д<арье> М<ихайловне>. Дорогой ангел. Я посылаю тебе еще денег на днях, а из этих отошли в Россию Саше. Впрочем, ты не знаешь адреса. Напиши, как быть. Я приеду к тебе 30-го Дек<абря> ст<арого> ст<иля>, пробуду 2, 3 дня. Привести <так!> мне тогда остальное?

На новый год н<ового> стиля я и Анюта приглашены к Г<ольштейн>ам с таким рвением и мольбами и bonne grâce[5], в числе всего 4-х посторонних лиц, что не могли отказать.

Козле <так!> написал уморительное письмо: пошлю в следующий раз.

Целую тебя бесконечно нежно. Обожаю тебя, живу и дышу тобою. Радость, хочу взглянуть на тебя. Милая радость, скоро обойму тебя.

Твоя, твоя Лидия.

Целую радость свою, целую губки и всё до рубчика. Люблю бездонно. Решила послать 500 фр.

Конверт со штемпелями: Paris. 28 dec. 06 — Berlin, 30.12.96.

[1] Достигать (*фр.*).

[2] Имеется в виду детское сухое питание.

[3] Félix Potin (1820—1871) открыл свой первый продовольственный магазин в Париже в 1844 г. Успех был столь огромен, что создалась целая сеть магазинов, существующих до сих пор.

[4] Printemps — французский магазин, тоже существующий до сих пор.

[5] Доброжелательностью (*фр.*).

## 224. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*17/29 декабря 1896. Берлин*

*29 Дек. 96 (утром).*

Лидия возлюбленная! Вчера вечером, выставляя дату под оконченным сонетом, с которым, вместо меня (увы!), ты встретишь новый год и который ты не должна считать за выполнение давно задуманной темы «Музыка», но за произведение совсем новое, только что задуманное и тотчас исполненное, — я вспомнил, что Пантерке нашей как раз исполнилось восемь месяцев, возраст уже значительный, хотя все еще меньший по продолжительности, нежели ее предсуществование, — чего нельзя с тою же степенью достоверности утверждать, например, о нашем возрасте. Вспомнила ли ты об этом, дорогая девочка, или Анна Николаевна[1], и поласкала ли ты за себя и за меня бедного котеночка, такого прелестного в твоих описаниях? —

Милая возлюбленная, как ты себя чувствуешь? Я, вместе с Гольштейном, требую от тебя отдыха и сна — «à tout prix»[2]. Как Анна Николаевна, и какие меры ты могла принять для нее? Это бессовестно со стороны Bébé[3], капризничать ночью, и должно его приучить к дисциплине и субординации. — Вчера я рассказывал L<öwenheim> о твоем деле [и о твоей юношеской] и, в связи с этим о причинах твоего брака, и упомянул, что ты, отправляясь в Петербург для процесса, проедешь через Берлин: лицо ее загорелось радостью любопытства и она воскликнула: «Ах, как бы я хотела познакомиться!» — Когда кончатся мои здешние мытарства? хочешь ты знать. Я ведь не знаю этого сам; но если диссертацию не удастся напечатать и защитить в Феврале, то защита оттянется до Апреля. Во всяком случае, больше чем диссертацию (т.е. 5 глав) напечатать в Феврале едва ли удастся. Что же касается проектируемого заключительного эскиза, то написание его не возьмет, я надеюсь, много времени, и я успею, вероятно, его кончить в то время, как будет печататься уже готовый теперь текст.

Итак, едва ли можно рассчитывать на возврат в Париж раньше Апреля. Однако ты останешься же со мной значительное время после поездки в Петербург?.. Впрочем, не будем жить вперед: я имею суеверный страх предположений и определенных планов, — страх и вместе горький опыт неосуществленности тех из них, которые нам кажутся особенно привлекательными. Благодарю судьбу за счастье, которое имел в жизни; но оно приходило помимо ожиданий и часто вопреки им... В последнее время, милая радость, не работается мне. Мозг мой испытывает прямо страдания от пассивного усвоения навязываемой ему научной пищи. Мысли и образы не дают мне покоя и не хотят уступать места чужим и чуждым представлениям и понятиям. Читать для меня стало невыносимо трудно. О, если бы спал с моих плеч этот нелепый, детский, мелочный, нервы раздражающий экзамен! Это маленькое, маленькое препятствие моему благополучию, [малень] ничтожный камешек в моей обуви, который делает мне, однако, невыносимым существование! Как это комично, я знаю сам, потому что сознаю себя бесконечно выше требуемого экзаменом научного уровня; но и трагично вместе, потому что я никак не могу, опускаясь до него, сгуститься так, чтобы его наполнить, как жидкое тело: мой дух не в силах изменить своей эфирной, т.е. газообразной, природе. Эти трагикомические ламентации, впрочем, о Муз моих вещунья и подруга[4], суть только требуемые Аристотелем «Entladungen der Leidenschaft»[5] и в этом смысле, вместе с только что совершенной прогулкой в Тиргартен[6], — приготовление к добросовестному «Ochsen»[7] в тиши остального дня, который, именно вследствие «Entladung»[8], обещает мне быть более или менее успешным. —

Моя прелесть, радость, отблеск и подобие Афродиты Книдской, гори смело! Пиши роман, который сделает тебя славной! Почему ты хочешь ждать меня, чтобы вместе работать? Конечно, полезно и важно закончить первые главы; mais, puisqu'il faut tâtonner pour avancer[9], — было бы полезно скиццировать[10] и продолжение. Все зависит от настроения, но Муза не любит быть не принятой, когда она велит доложить о своем визите, и Греки учили хватать Добрый час за чуб, или, выражаясь по-твоему, за клок, который для блага человечества и рос нарочно надо лбом дружественного демона. —

Итак, Радость, мы не будем чокаться стаканами «за нашу любовь» (что́ обнимает для нас все, всего великого Пана, поскольз-

ку он отразился в зеркале нашей [общей] единой души), — в полночь, на пороге нового года, который так загадочно глядит на нас, что становится жутко и [так сказать] фатально на душе, как было нам с тобой в Колизее. Пусть же озаряют нам правый путь добрые Силы, ибо будущность темна. Пусть благословят они нашу любовь. Обнимаю тебя, как люблю. С новым годом, милая радость!

В.

*Полет.*

Из чуткой тьмы пещер, расторгнув медь оков,
Стремится Музыка, обвита бурной тучей;
Ей вслед — погони вихрь, гул бездн, и звон подков,
И светоч пламенный, как метеор летучий...

Ты, Муза вещая! Мчит по громам созвучий
Крылатый конь тебя. По грядам облаков,
Чрез ночь немых Судеб и звездный сон Веков,
Твой факел кажет путь и сеет след горючий...

Простри же руку мне! Дай мне покинуть брег
Ничтожества, сует, страстей, самообманов!
Дай разделить Певцу надвременный твой бег!..

То Промефеев вопль — иль брань воздушных станов?..
Где я? Вкруг — туч пожар, — мрак бездн, — и крыльев снег, —
И мышцы гордые напрягших мощь Титанов...

28 Дек<абря>[11]

Фрагмент — История и поэзия. С. 360.

Помета: № 7.

[1] А.Н. Шустова, Анюта.

[2] Любой ценой (*фр.*).

[3] Младенца (*фр.*).

[4] Из стихотворения Иванова «Голоса» (I, 570).

[5] «Освобождения от страстей» (*нем.*). Имеется в виду катарсис, ключевое понятие поэтики Аристотеля.

[6] Район Берлина около зоопарка (Tiergarten).

[7] Зубрежке (*нем.*).

[8] «Освобождения» (*нем.*).

[9] Но, так как нужно двигаться ощупью, чтобы продвигаться вперед (*фр.*).

[10] От *ит.* «schizzare» — зарисовывать.
[11] См.: I, 699.

## 225. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*17/29 декабря 1896. Париж*

*29 Дек.*

Не успею, возлюбленный, написать иного письма: весь день провела за деловыми письмами и с детьми и т.д.... ужасно: я несчастна оттого, что время уходит, вечером я падаю в постель: надо отдохнуть от всего мучения, заданного матерью со дня ее приезда. Дорогой, я сплю хорошо уже две ночи. Косте гораздо лучше, Лидия пойдет гулять завтра, у ручек маленькие браслетики, умна как плутовка, всё еще сидит на собственной квартире. Спасибо, мальчик, за твое письмо. Дети были в восторге, а я счастлива тобою. Мальчик, ты даешь мне утешение, что мой роман хорош. Г<ольштей>н очень им импрессионирован, он стал иначе ко мне относиться. Он совсем в нас влюблен и хотел еще вчера прийти к обеду, да, верно, проспал. Завтра будут оба. У меня очень красивая прическа. Мальчик, целую тебя нежно, люблю тебя, радость моя. Получил ли вчера пятьсот. Обнимаю тебя еще и еще, мое сокровище. Как-то ты работаешь? Целую, обожаю, живу тобою и твоей девочкой. Она теперь сидит в подушках и ясно говорит: а, мама, а, мама. Целую, будь хороший, и верный, и умный. Твоя девочка вся, вся.

Лидия.

Открытка. Штемпели: Paris. 29 dec. 96 — Berlin . 31.12.96. Помимо того, в данной единице хранения находятся две поздравительные открытки без текста. Непонятно, относятся ли они к этому году или нет, а также вообще, новогодние они или связаны с другим праздником.

## 226. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*18/30 (?) декабря 1896. Париж*

*29 Дек. 96 г.*

Дорогой дружок, мой Муня, мой возлюбленный, дорогой, только что получила твое письмо со стихами. Мне кажется, что они хороши. Я не говорю о звуке и гулком впечатлении бездон-

ности и ощущении горящего, пламенного ужаса и величия. Что-то в этом роде путанное испытываю я. Но кроме того, чуется громада мысли и чувства и, кажется (для меня, по крайней мере, — да), схвачена пламенная, звенящая над бездною безвременная, беспредметная *идея* музыки. Прочитала несколько раз, и величественные, прекрасные и пугающие смертного образы витают над душою, стесняют в тоскливом порыве грудь. Я знаю, что я с тобою, и в тебе слита силою выше нашей, силою стихийной, силою предрешающей судьбы. Что ощущаешь, воспринимаешь и рождаешь ты, то было и есть во мне и, как и всегда, не кажется мне новым, и тем более страшно и сладко проникает душу и делает меня счастливой. Мальчик, ты не должен придавать значения «новому стилю» в нынешнем году. Мы должны быть нынче «безвременными», свободными от условности. Ведь я спешу к тебе к «старому русскому стилю». Давай встречать в Берлине вдвоем наш год, свободно, отдельно от всех. Милый, Пантерка лежала только что и сосала одну за другою обе ноженки, вся свернувшись в клубок и смеясь, а теперь ест кашу «crème de tapioca» и после каждой ложки рычает <так!> свирепо, но вот кончилась последняя bouchée, и Пантерку подымают и сажают «nunu» над ведром с углями у печки, у нашей малой саламандры, но Пантерка мяучит и не поддается цивилизации; хотя обе ножки блещат <так!> пятками в воздухе, и она этим пользуется, чтобы пососать..... Прости за реализм. Мои идиллии так далеки от твоих «чутко темных пещер»[1]*.

Анюта принесла Пантерку и поставила ее лапку на письмо, а я срисовала нашим карандашом, купленным в Лувре вместе.

Дорогой, грустно стало очень у меня на душе, когда прочитала твое разъяснение о диссертации. Неужели так поздно! О горе, горе! ведь у меня четверо детей здесь! как могу я надолго покидать их? Я думала выехать 10 Янв<аря> н<ового> ст<иля>, Берлин — 11—15 Янв<аря>, Петерб<ург> — 16—26. Берлин — 28 Янв<аря> — 11 Февр<аля> Женева?! (мать ревет и гонит туда) 12—15, и Париж 16 Февр<аля> Итого 37 дней отсутствия! Но разлуки останется после 11 Февр<аля> еще 2 месяца и более. О горе! Зачем, зачем разлука? Не буду говорить, пытаюсь не думать, но всё мое спокойствие, вся энергия всё ясное настроение померкло. О Fie-

* Рисунок детской ступни.

sole! я отвергаю его. И это всё ради детей! Долг, долг, ярмо, которого не свергнешь! А Сергей горько огорчил меня. Он уже второй раз со мною нагл и непокорен. Впервые, но страшно мне стало за наше будущее с ним.

Милый, напиши ответ Пикуле, на картинке. Он тебя так любит, я затеряла его письмо и пишу, как помню. Он увидал твое письмо сегодня и взвизгнул: «Наверное, Татади мне пишет». Целую тебя, мой луч, моя радость, целую твои любимые губы, лице, всего тебя, возлюбленного страстно, без удержу, как люблю, как принадлежу тебе.

Анюта поздравляет с нов<ым> годом.

Лидия.

[1] Из стихотворения Иванова «Полет» (см. п. 224).

## 227. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*19/31 декабря 1896. Париж*

Муня, возлюбленный, я твоя ога e sempre. Будь моим, не забывай меня. Я твоя вакханка, подруга, твой <1 нрзб.> Люблю. Лидия.

Записано кровью. На том же листе — п. 228, из которого следует, что данное было написано накануне.

# *ПЕРЕПИСКА*
# *1 8 9 7*

## 228. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*20 декабря 1896 / 1 января 1897. Париж*

*1 Янв. 97 г.*

Дорогой мальчик, я сглупила и написала тебе вчера, вспомнив времена «Lydia von Zinovieff» кровью, которая сочилась из раненого пальца[1]. Уничтожь эту бумажонку, я посылаю ее для шутки, потому что весело. Бедный мальчик, у тебя такая больная девочка, т.е. старшая девочка. Вчера я с Анютой была у Г<ольшт>ейн>ов на Нов<ый> год, вернулись в 3 часа, и я совсем больна, даже лежу в постели. Сил нет. Могу жить лишь при условии полнейшей тишины и беззаботности.

Характерно то, что самое сладостное воспоминание физического и нравственного благоденствия у меня связано с 8 днями, проведенными в постеле в Берне. В постеле и около нее, за романом, с возможностию при желании пройтись в Bois[2] на ½ часочка. Управлять внутренним хозяйством, но не иметь путешествий, магазинов, матерей, процессов, отцев, визитов, праздников, общества. Мир, полное отсутствие суеты, но не ссоры, хлопоты и разлуку. Если я не могу иметь первых и не иметь вторых, то моя будущность черна.

Если же удалось бы первое, я была бы сильна, молода, красива и... блаженна. Нельзя ли в Берлине на ближайшие 3 дня устроиться вместе. Как думаешь, можно ли и удобно ли у L<öwenheim>[3]. Если я остановлюсь одна в гостинице, то изведусь окончательно. Мы не будем спать, как в Риме. Бедный Муня, как скучно, что я больна, но я так легко, так легко могла бы поправиться, я показала это в Берне. Лидюша такой ангел. Она весела, здоро-

ва, спит отлично, понимает так многое. Сережа очень стал стараться. Сегодня я дала ему солдаты, и он опять очень мил и счастлив вполне. Тик озабочен филологическим вопросом: кто выдумал говорить *пол-куска*. Целую возлюбленного. Жду письма, чтобы закрыть свою мазульку <?>. *Получил ли 1 Янв. письма детей.*

получил ли 500 фр.

Штемпели: Paris. 2 janv. 97 — Berlin. 3.I.97 (и повторный штемпель: 4.I.97).

[1] См. п. 227. Данное письмо написано на том же листе и является своеобразным продолжением, хотя и написанным на следующий день.

[2] Лес (*фр.*). В Берне Иванов и Зиновьева-Аннибал были вместе во второй половине октября 1896 г. См. п. 204—212.

[3] О судьбе этого плана см. п. 230.

## 229. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*20 декабря 1896 / 1 января 1897. Берлин*

*1 Янв. 97, утром.*

Лидия, возлюбленная! «Prosit Neujahr»[1], дорогая девочка! Была ли ты вчера с А.Н. у Гольштейнов? Кого видела и какие впечатления вынесла?[2] Я имею привычку дожидаться торжественной новогодней полуночи и не изменил традиции и вчера. Один, с научными книжками, как два года назад в Риме, встречал я новый год; только твой дорогой портрет не лежал предо мной, как вчера, два года назад в Риме. L<öwenheim> с сыном были в этот вечер у своих родителей. Я позволил себе, впрочем, и легкую lecture[3]: прочел «Нору»[4] и был восхищен тонкостью и проницательностью обрисовки характера. Вообще в Ибсене мы имеем гениального современника, и должно хорошо знать все, что́ он написал. Я купил также стихи Платена (Graf v<on> Platen[5] — не прочти по [невежественности] т.е. невежливости: Платон), с которым давно собирался познакомиться ближе, вследствие виртуозности их формы, и просматривал их. Душа их — сладострастие ритмов, наиболее редких и изысканных. Платен обратил мое внимание на некоторые архаичные ритмы, которые я хочу эксплуатировать. Затем пэдерастия, пэдерастия (за которую Платену доставалось много, между прочим, от его неприятеля — Гейне[6])... Эту тему я, с своей стороны, эксплуатировать не буду; но здесь пэдерастия апофеозирована, блещет всеми красками и звучит всеми музыкальными тонами. (Я же предпочитаю свою девочку.)

Вообще, Платен тебе, пожалуй, был бы не по вкусу; слишком много для тебя восточных мотивов и форм, персидской неги, роз и мускуса, — меня же эти струны его поэзии пленяют наиболее: как он ни любит Италию и античное, он более поэт Востока... Как мне хотелось бы на Восток! Платен же девять лет своей краткой жизни не хотел покидать Италию и Востока не видел[7]. — Все, что я пишу, девочка, не актуально, не правда ли? Я начинаю новый год грехом против актуальности! — А между тем этот год не должен быть контемплативным[8]; я должен быть активен — и актуален. Почему думаю совершить сейчас маленькую актуальную бесполезность: помня всякие прежние Neujahrswünsche[9] и прочие любезности Гиршфельда, занести ему карточку. Спасибо за присылку денег, милая девочка; еще погоди пока присылать. Жаль, что, не зная адреса, не могу — т.е. не считаю удобным — послать их немедленно. Впрочем, через несколько дней пошлю все-таки по старому адресу, если не будет письма[10]. Ужели моя посылка Сереже, довольно дорогая, — пропала[11]? Я был бы в отчаянии. Она должна была дойти в два дня... Как я радуюсь, в твоих письмах, на нашу девочку! И как сержусь на тебя за то, что ты все «треплешься» и выматываешь силы, и притом так бесполезно и досадно. Не могу понять, что́ тебе нужно возиться с твоей матерью и о чем сокрушаться и нервничать по поводу ее. Будь же благоразумней немного и береги себя для меня и нас всех. — Сегодня ты не написала мне, гадкая, гадкая! Вчера прислала какую-то картолинку[12]... Милая, милая, я *так* люблю тебя, *так* твой: скоро мы должны увидеться, не правда ли? Я посоветуюсь с L<öwenheim>, где бы тебя на эти дни устроить хорошо. Здесь остановиться я [бы] не считаю удобным...

До свидания, моя радость! Целую тебя, как люблю. — Поклонись сердечно А.Н. и Авд. С.[13].

Твой В.

Радуюсь заочно на нашу рабочую лампу[14].

В начале письма помета: № 8. Фрагменты — История и поэзия. С. 360.

[1] С Новым годом (*нем.*).

[2] Описание визита см. в п. 231.

[3] Чтение (*фр.*).

[4] Драма Г. Ибсена (1879).

[5] Имеется в виду немецкий поэт граф Август фон Платен-Халлермюнде (1796—1835), мастер поэтической и особенно классицистической формы, подражавший античным образцам и темам. Интерес к поэзии Платена оживился у Иванова в 1906 г. в связи с деятельностью «гафизитов».

[6] Г. Гейне подробно и весьма неодобрительно пишет о Платене и его творчестве в десятой и одиннадцатой главах прозаического очерка «Луккские воды» (1829), нападая, впрочем, не только на гомоэротические мотивы его поэзии, но и на формальные особенности стихотворений.

[7] Платен жил в Италии с середины 1820-х годов.

[8] От *лат.* contemplativus (или от *фр.* contemplatif) — созерцательный.

[9] Новогодние пожелания (*нем.*).

[10] Иванов говорит о посылке денег первой жене и дочери от этого брака.

[11] Иванов посылал старшему пасынку оловянных солдатиков (см. пп. 228, 232).

[12] Имеется в виду п. 225.

[13] Речь идет о «девушках» Зиновьевой-Аннибал Анюте и Дуне, находившихся в это время с нею.

[14] См. п. 223.

## 230. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*21 декабря 1896 / 2 января 1897. Берлин*

*2 Янв. 97.*

Дорогая Лидия! Я говорил сегодня с этической подругой о том, где бы тебе поселиться на эти несколько дней. Она указала мне на небольшой отель вблизи — впрочем, ей непосредственно неизвестный, — упомянула, что есть еще несколько пансионов, — но предложила, для того, чтобы нам обоим было удобнее и чтобы тебе не иметь дела с полицейскими [заявлениями] прописками, остановиться у нее: она приготовит тебе постель, а своей прислуге скажет, что ты — Frau Ivanov[1], — вот и все. Заявлять полиции о своем приезде тебе здесь совсем не нужно. «Но вы не хотите посвящать Лео[2]...» — говорит она; я отвечаю: «Напротив, я имею к нему полное доверие и предоставляю только *вашему* усмотрению скрывать от него это или нет». — Я сказал в заключение, что нужно будет подумать об этом плане, и повергаю его на твое рассмотрение: решай, как хочешь, — и прибавь также, хочешь ли ты, чтобы твою постель поставили в моей или в другой комнате. — Я боюсь и верить, что мы через 9 дней, хоть на самый короткий срок, будем опять вместе. Но не опасно ли тебе выезжать так рано? Разве пожертвовать встречей нового года и отложить твой отъезд на конец русской рождественской вакации? Вдруг — приедет Ш<варсалон>? — Подумай... — И, если пожертвовать новым годом, не заехать ли тебе *раньше* в Женеву дня на 3 — 4, чтобы, с одной стороны, избавить С<офью> А<лександровну> и, быть может, также отца от долгой ажитации и нетерпеливого ожидания, чем решится вопрос о свидании и их взаимных отношениях, и

сделать положение более определенным, — а, с другой стороны, чтобы нам с тобой быть свободнее и спокойнее во время твоей вторичной остановки здесь, так как С. А. будет, очевидно, изводить нас обоих своими приставаниями и просьбами скорейшего отъезда в Женеву. Правда, положение не может quand même[3] стать более определенным, и задача успокоить твоих родителей — задача безнадежная по самой своей сущности, да и решения, к которым ты бы пришла теперь в Женеве, сто раз переменились бы в голове твоего отца до твоего возвращения в Париж: потому я, сообщая на всякий случай свои соображения, нисколько не настаиваю на этом плане.

Милая девочка, чем так огорчил тебя Сережа? И, видимо, огорчил очень глубоко. Это короткое сообщение поразило и омрачило меня и не дает мне душевного покоя. Прошу тебя написать про это подробней[4].

Милая, бедная Пантерка! Ее уже приучают к культуре и приличиям... Как она прогрессирует!.. Как мило мне видеть ее ножку, потому что я обожаю ее ножки[5]! Бедная Пантерка, я так и слышу ее rugissements[6]. — Поцелуй ее ножки.

И Козлика поцелуй за его потешное письмо. Я читал детское письмо раньше твоего (— — so!!) (еще мой душевный покой не был отравлен сообщением о Сереже) и очень смеялся; но безуспешно размышлял над фразой: «Татат Иваныч, напишите, кто придумал *пол кушка* (?)»... Пришли комментарий[7].

Спасибо большое и большой поцелуй Вере за новое письмецо, где «нари*ш*ована Лидюша, такая *ш*мешная»...

Как раз сегодня утром я говорил L<öwenheim>, что у нас в семье такая внутренняя гармония и что дети меня любят: и вот новость о Сереже...

Была ли ты под новый год у Г<ольштей>нов? Кстати, необдуманная, ты совсем забыла о Зарудной[8]?! Но ведь твой образ действий ей оскорбителен, глупая девочка! Пригласи же ее скорей и будь любезна. —

Вчера я передал горничной у Гиршфельда свою карточку, но она как-то тотчас доставила ее по назначению и вернулась, прося войти, когда я уже спускался по лестнице. Г<иршфельд> был по обыкновению очень мил; посоветовал мне между прочим идти к Моммзену только в понедельник и, по вопросу об экзамене, просто сказать ему: «Wie soll ich dem Dekan sagen, ob Sie oder Prof. H<irschfeld> mich prüfen werden?»[9]. —

Отсутствие письма от тебя и религиозные гимны неугомонных соседок[10] чувствительно портили вчера мое настроение. Вчера пришло — пересланное тобой — письмецо от Саши и несколько строк от Д<арьи> М<ихайловны> с сообщением, что они остаются до теплого времени в Москве и что Саша много рисует и, кажется, имеет больше всего (!) способностей к рисованию. Приложены срисованные ей цветочки, в которых я имел неудовольствие не заметить ничего особенного[11].

— Вечером, за ужином, длинные споры о Норе: я ее защищал, а L<öwenheim> обвиняла — зачем она покинула детей[12].

Очень радует меня впечатление, тобой вынесенное от моих стихов[13]. Целую тебя, мое сердце! Благодарю за привет А. Н. и кланяюсь сердечно.

Весь твой В.

Как ты устроишься, при поездке, с Дуней[14]?

В начале письма помета: № 9. В левом верхнем углу карандашом Иванов записал адрес Зиновьевой-Аннибал: «В Париж 68 rue St Didier». Фрагмент — История и поэзия. С. 360.

[1] Госпожа Иванова (*нем.*).

[2] Сын г-жи Левенхайм (см. п. 218, прим. 7).

[3] Все-таки (*фр.*).

[4] См. пп. 226 и 233.

[5] См. п. 226.

[6] Рычания (*фр.*).

[7] Речь идет о сохранившемся письме К.К. Шварсалона Иванову:

23 Дек. 01 г.

Дорогой Татаде, чалую тебя. Шпашибо за твое пошлание, што ты меня пошылаешь к тебе. Шпашибо еще за это и вот и всё. Чалую тебя еще. Татат Иваныч, напишите кто придумал пол кушка. Напишите мне пишьмо. Чалую еще. У Веры есть бумажка, где нарисована Людюша, такая шмешная. Она не умеет говорить.

Пишала онаместо меня Вы (РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 26. Л. 2. Дата проставлена рукой Л.Д. Зиновьевой-Аннибал и явно ошибочна в части года).

См. также п. 228.

[8] Возможно, Екатерина Сергеевна Зарудная, в замуж. Кавос (1861—1917), художница, сестра М.С. Гревс, или их мать Зоя Александровна Зарудная.

[9] Что мне сказать декану, Вы экзаменуете меня или профессор Г<иршфельд>? (*нем.*)

[10] См. п. 221.

[11] Письмо и приложенные к нему рисунки нами не обнаружены.

[12] Имеется в виду героиня пьесы Г. Ибсена. См. выше, п. 229. Вопрос о матери, покидающей детей, был близок сердцу г. Löwenheim. После смерти мужа она долгое время жила с сыном. Даже когда он окончил университет и получил первую работу, она переехала, чтобы жить вместе с ним.

[13] Речь идет о стихотворении «Полет», приложенном к п. 224. Его оценка Зиновьевой-Аннибал — в п. 226.

[14] Действительно, Зиновьева-Аннибал уехала в Россию вместе с этой девушкой.

## 231. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*22 декабря 1896 / 3 января 1897. Париж*

*3 Янв.*

Дорогая Мунька-Мунь, пишу тебе два словечка, чтобы не пропустить без ответа твое письмо от 1 Янв<аря>[1]. Разве ты не получил детского письма с адресом, написанным Сережею, они так старались, чтобы оно поспело к утру 1 Янв<аря>, а мое и Костино должно было поспеть к вечеру. Получил ли письмо Д<арьи> М<ихайловны> через Берн[2]. Милый ангел, ты хочешь знать о встрече нов<ого> года, а мне уже не хочется рассказывать много в надежде на близкую встречу нашу. Было мило, просто. Пили vino caldo[3]. Ал<ександра> В<асильевна> чокнулась со мной за тебя. В<ладимир> Ав<густович> всё острил насчет Берлина, просит считать его в поэтическом долгу перед тобою[4]. Наташа[5] была очень мила: пила за Лидию и за тебя. В.А. объявил за ужином, что я необыкновенно интересна наружностью, и в другой раз еще, что я якобы горжусь своею стройною, тонкою шеей (была в голубой шелк<овой> блузке). А.В. подарила мне ½ дюж<ины> салфеточек и маленькую скатерть, все вышитые прелестными цветами орнаментальными и несколько мистическими, вроде панно, виденных на champ de Mars[6], главное — *вышитых лично*. Весь ужин она почти глаз с меня не сводила. Она, кажется, непостижимо почему, но глубоко и нежно любит меня и штуки против тебя, пожалуй, выкидывала из ревности, вроде тебя в Concarneau. Я разнесла в их гостиной Редона (видела знам<енитый>: Lumière, антихудожеств<енное> уродство[7]), охарактеризовала его интелектуальным <так!> человеком, прекрасным рисовальщиком, но не художником, и говорила о творчестве вещи, которые даже записала дома tant bien que mal[8]. Конечно, никто ничего не понял. Идея была вроде того, что у художника dans la sous-âme[9] есть хаос и глубина, которую не ведает он сам (это божество, и в этом смысле есть два мира: реальный и худож<ественный>, и оба существуют, и оба есть попытки осуществиться <1 нрзб>). Из нее он творит, сам исцеляясь и научаясь от своего творения, и лишь то художественно, что оттуда (того, что это Божество, я *не* говорила). Я говорила при мол<одом> художнике, но он спрашивал глупости и показал, что или дурак или истинный художник, ибо не будет ведать, что творит.

Лидия — ангел, это единственный эпитет, достойный этого ребенка. Спит дивно, проснется ночью, проворкует нежно и поти-

хонько <так!> заснет, не евши и без жалобы. Днем только и делает, что воркует и смеется. Мать моя «старая звинья» по-прежнему. Я принимаю от нее сулфонал, ибо я дура и она меня раздражает эстетически и мелочно. Ты понимаешь, я должна выносить ежедневно ее общество, а это значит выносить фальшивый аккордишко, повторяемый над душою в течение часов..... болят нервы, и я совсем больна. Мальчик, я спала лучше. Г<ольштейн> велел принимать сулфонал[10]. Я буду молодцом. Отдохну с тобою по возвращении из России. На елке будут Г<ольштей>ны, и пришлось ради них позвать Семенова[11] и Зарудную. Девушки и дети будут рядиться: Шарл<отта> в твой костюм, Ан<юта> парнем, Дуня — девицей, и будет отлично плясать. Анюта знает массу прибаутков. Думаю, что всем будет весело. Я хочу повеселить своих. Я сделала 3 главы[12]: одна другой лучше, читала сегодня матери, англич<анке>[13], Дуне и Анюте. Первые спали всё время, а вторые в восторге. Как хороша глава в остерии и в кабинете. Я хотела плакать. Смешно, но я влюбилась. Ангел, прощай. Целую ангела, радость. Твоя.

Не знаю, как еще сказать, до чего люблю. Вчера ночью плакала долго, потому что сделала *открытие*, что изнываю от тоски и совсем больна. Но будь молодцем. Я твоя Лидия.

Костя велел мне написать Татаву <?>, на место его.

Конверт со штемпелями: Paris. 4 janv. 97 — Berlin. 5.I.97.

[1] П. 229.

[2] Видимо, то же письмо, о котором идет речь в п. 230, нами не обнаруженное.

[3] Горячее вино (*ит.*).

[4] См. п. 218.

[5] Наталья Владимировна Гольштейн (1880—1953), дочь А.В. и В.А. Гольштейнов, с 1900 — жена Ю.Ф. Семенова (см. о нем ниже, прим. 10).

[6] Марсовом поле (*фр.*). — Площадь в Париже.

[7] Картина О. Редона (1893) «Свет». Художник был близким знакомым (и соседом) семейства Гольштейн, они пропагандировали его творчество. См. также далее в письмах, особенно 1903 года.

[8] Кое-как (*фр.*).

[9] В подсознании (*фр.*).

[10] Сильное снотворное; в настоящее время рассматривается как наркотическое вещество.

[11] Юлий Федорович Семенов (1873—1947), вскоре ставший мужем Н.В. Гольштейн, впоследствии русский журналист в Париже, редактор газеты «Возрождение» (1927—1940). Наиболее подробное изложение его биографии см.: Российская эмиграция во Франции в 1940-е. 1 часть. Полицейский отчет 1948 года «La colonie russe de Paris» («Русская колония в Париже») / Публ. Д. Гузевича и Е. Макаренковой; вступ. ст. и прим. Д. Гузевича при участии И. Гузевич // Диаспора: Новые материалы. [Т.] VIII. Париж; СПб., 2007. С. 584—585.

[12] Имеется в виду роман «Пламенники».
[13] Компаньонка С.А. Зиновьевой Эмма Васильевна Филиппс.

## 232. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*23 декабря 1896 / 4 января 1897. Берлин*

*4 Янв. 97*

Милая, милая девочка! Как же это так, что ты такая слабенькая и больная? Меня это так беспокоит! Когда же ты будешь покрепче?. И еще беспокоит меня мысль, что Сережа очень, повидимому, огорчил тебя. Прошу подробно рассказать мне, в чем дело и каков он вообще[1]. Я стал так верить в его любовь к тебе и в благородство и глубину его натуры. Я, конечно, не придаю никакого значения детским выходкам, как бы дурны они ни были, — как *действиям*; но я боюсь *симптомов*. — Милая девочка, твои строчки, написанные кровью в воспоминании о «Lydia von Zinovieff»[2], — machen mir ausserordentlich viel Spass[3]; для меня такое наслаждение видеть капельки твоей крови, да еще стекающиеся в «ога e sempre» и другие хорошие словечки! — Und ich küsse die Zeilen inbrünstig...[4] Только не раскрывай себе артерии для того, чтобы начертать мне тем же способом дальнейшие излияния своего нехорошего, — недостаточно (как мне кажется по некоторым признакам) целомудренного сердечка... Und, höre mal, bist du denn jetzt — wirklich ethisch genug?![5] Помни, в каком доме ты хочешь [остановиться] найти приют через неделю!.. Чтó, если ты, только что вырвавшись из берлоги Редонщиков, Фриссонщиков и Пэдерастов[6], — покажешься здесь не kritisch и даже не ethisch[7]? Чтó скажут о тебе и обо мне Fr. Dr. L<öwenheim> и Herr Studiosus Leo L<öwenheim>, и с ними die sämtlichen «Ethiker» beiden Geschlechts?![8] Ибо, хотя этическая Калипсо и придает себе вид погребальной урны — не путайся, я разумею: по отношению по вверенным ей тайнам, которые, по ее увериям, «begraben»[9] в ней, — однако я не допускаю, чтобы женщина вообще имела достаточное основание сравнивать себя по замкнутости с этим абсолютно лишенным отверстий сосудом (не скандализуйся!), и меньше всего могу допустить подобное по отношению к этическим женщинам. Дело в том, что, по объяснению моей этической подруги, члены их общины (ибо она скорее Gemeinde, чем Verein[10]) стараются воспитательным образом воздействовать друг на друга, что

обусловливает стремление их быть друг с другом по возможности откровенными, облегчать душу признаниями, — скажем, своего рода исповедью. Например, Frau X. жалуется своим сестрам по Тайному Советнику Ферстеру[11] на свой внутренний разлад с мужем, который, хотя и посещает «die Ethische»[12] ради поддержания солидарности с женой, однако, — увы! — остается верующим Израэлитом и столь же усердно посещает синагогу, в сопровождении, впрочем, своей жены, Израэлитки свободомыслящей, но в свою очередь ищущей поддержать солидарность с мужем; выслушав жалобы, сестры во Ферстере начинают вздыхать и сочувствовать, а более стремительные ставят вопрос ребром и указывают на пример Норы, которая не задумалась покинуть мужа-филистера[13]. Одним словом, в «Обществе» существует so eine Art ethische Beichte[14] и, в связи с этим, так сказать, eine Art ethisches Geklatsch[15] — понимать, конечно, im hochethischen Sinne[16] и не смешивать mit dem gemeinen Weiberklatsch[17]. Сообщая тебе все это к сведению, милая и возлюбленная, но часто опрометчивая* девочка, напоминаю, в какой мере ты должна чувствовать себя kritisch и особенно ethisch, если ты хочешь воспользоваться гостеприимством этого научно-этического дома.

Был у Моммзена, но старик ушел до 5 часов вечера в библиотеку. Придется идти в другой раз.

Посылаю ключик от твоего саквояжа.

Я вижу по глазам родственников L<öwenheim>, что она им рассказывала мои тайны — но они, конечно, не подают вида, что знают, — и в конце концов, б<ыть> м<ожет>, я слишком подозрителен**.

Письмо помечено: № 10. Небольшой фрагмент — История и поэзия. С. 360.

[1] См. пп. 226, 230 и 233.

[2] См. пп. 227—228.

[3] Приносят мне необычайно большое удовольствие (*нем.*).

[4] И я страстно целую эти строки (*нем.*).

* Далее следует густо зачеркнутая строка текста.

** Милая Лидюша, прости дурачества и скажи, часто ли ты сидишь на кресле Лоренца Медичи[18], и устроили ли вы окончательно занавески, и как выглядит салончик. — Итак, солдаты получены![19] Милая радость, весь твой, обожаю и горю нетерпением свидания. Целую, целую

В. — *Прим. Иванова.*

[5] И послушай, ты теперь на самом деле достаточно этична?! (*нем.*)

[6] Шутливое обозначение семейства Гольштейн: они дружили с О. Редоном и были его поклонниками; слово Фриссонщики образовано от фр. frisson — дрожь, содрогание.

[7] Критичной <...> этичной (*нем.*). Намек на интересы г. Лёвенгейм.

[8] Г-жа доктор Л<ёвенгейм> и г. студент Лео Л<ёвенгейм> <...> все «этики» обоих полов (*нем.*).

[9] Похоронены (*нем.*).

[10] Община <...> общество (*нем.*).

[11] Вероятнее всего, речь идет о Вильгельме Ферстере (Wilhelm Julius Foerster, 1832—1921), астрономе и главе берлинского Общества этической культуры.

[12] От *нем.* «Gesellschaft für ethische Kultur» — Общество этической культуры.

[13] Имеется в виду героиня одноименной пьесы Г. Ибсена (см. пп. 229—230).

[14] Что-то вроде этической исповеди (*нем.*).

[15] Что-то вроде этической болтовни (*нем.*).

[16] В высокоэтическом смысле (*нем.*).

[17] Пошлыми бабьими сплетнями (*нем.*).

[18] Лоренцо Медичи (Великолепный, 1449—1492), правитель Флоренции с 1469 г., покровитель искусств.

[19] См. пп. 228—229.

## 233. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*24 декабря 1896 / 5 января 1897. Париж*

*5 Я / 24 Дек.*

Дорогой друг, я в суете праздничной. Пекли куличи (привезу тебе и твоей хозяйке целый кулич), кажется, они удачны. Уже покупали угощения, вчера весь день провела в Bon Marché[1], а сегодня платила 230 фр. Получила вчера твое письмо, мой мальчик, и была такая радостная благодаря приглашению твоей хозяйки[2]. Ты не знаешь, до чего тревожила меня мысль о необходимости останавливаться в гостинице или в меблирован<ных> комнатах. Это было ужасно. Конечно, надо постель вместе. Я постараюсь обворожить Frau L<öwenheim>. Мальчик, только что получила письмо твое с письмецом Тике[3]. Надо было видеть его восторг. Он уже столько дней ждет письма и, кажется, в своей махонькой душенке горяче привязан к тебе, даже во сне тебя видит. Милый мальчик, Сережа ровнешенько ничего не сделал, только он сказал мне, когда я за какую-то шалость отказалась целовать его вечером в постеле до завтра: «А завтра я, может быть, не захочу». А в другой раз он не тотчас повиновался, когда я его изгнала из своего соседства за столом. Этого он прежде не делал, и эти мелочи поразили меня. Но я была вообще очень нервна. Теперь я сплю

и пью бром, и мне лучше. Дорогой, я не могу писать много: ужасно устала: даже буквы не выходят. Ужасно, сколько я переживаю каждый день: я живу всем и всеми, я вся горю, я испиваю каждую каплю жизни и устаю до полного расслабления. Я страстно радуюсь свиданию, но вместе с тем мысль о разлуке с детьми огорчает сильно. Сегодня мыла <?> и обнимала Лидюшку и бедного Тика. Первая до того мила, она вся — улыбка, нежная, любовная, тихая улыбка. Второй такая страшная загадка с сердечком обидчивым и привязчивым. Старшие будут очень, очень нуждаться во мне: бабушка ***ничего*** не может, кроме худого — сухая, прюдная[4] и несчастная старуха. Милый ангел, иду спать. Завтра — le grand jour[5]. Надо отдохнуть, чтобы быть интересной. Ангел мальчик, целую тебя бесконечно. Обожаю тебя. Каждое письмо дает счастие, но сегодня ты слишком долго говорил о болтливости этич<еских> дам. Напиши хоть полслова детям. Они при каждом письме прыгают от радости и ожидания. Целую и обнимаю, люблю. Твоя.

Я написала Саше[6] 20-ого ст. ст. и жду ответа: спрашивала, есть ли свидетели и можно ли начинать процесс. Стоит ли мне ех<ать>.

Конверт со штемпелями: Paris. 6 janv. 97 — Berlin. 7.1.97.

[1] Система парижских универсальных магазинов, существующая до сих пор.

[2] Имеется в виду п. 230.

[3] Такое письмо, обращенное к К.К. Шварсалону (Тика, как и Козля, — его домашнее прозвище), неизвестно. Письмо к Л.Д. — п. 232.

[4] От *фр.* prude — притворно добродетельная.

[5] Большой день (*фр.*).

[6] Брату, А.Д. Зиновьеву.

## 234. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*25 декабря 1896 / 6 января 1897. Берлин*

*6 Янв. 97.*

Слушай, моя девочка, что́ я расскажу тебе о своих делах и проделках Моммзена, и приготовься быть разочарованной.

Жду вчера в гостиной. На лестнице сверху, из кабинета, слышен крадущийся шорох и шелест. Мне знакомо это шуршанье. Le chétif grand savant s'approche[1]. Маленький, тщедушный, в сером шлафроке, он горбится, словно под тяжестью белых кудрей, лежащих по плечам, и жмется, как будто ему свежо. Через очки, из-

под темных бровей, холодно и неприветливо смотрят острые темные глаза. Складки выразительно бороздят бритое старческое, худое лицо и придают скептическую горечь плотно сжатым губам, на которых мгновениями змеится ироническая улыбка. Несколько старчески потухшее выражение трезвой и вдумчивой сосредоточенности ежеминутно нарушается как бы легкими конвульсиями внутренней жизни, выражающимися в маленьких, нервных жестах, игре мускулов лица, вспышках живых глаз... Он передает мне свою визитную карточку, на которой написано: «Ich habe nichts dagegen einzuwenden, dass H<er>rn Ivanov mein Gutachten an H<er>rn Dekan mitgeteilt wird»[2]. «Акты», т.е. мою работу, и свою рецензию, он уже отослал декану. Я выражаю свою благодарность... Сидя затем на кресле против меня и слегка улыбаясь, он произносит: «Ich bin mit Ihrer Arbeit unzufrieden. An der Konstruction ist vieles auszusetzen. In einigen Jahren werden Sie es machen können. Aber eben — wir hören auf, und Sie fangen an...»[3] — Что касается результата, т.е. что работа принята, это ведь уже мне известно. — Я бы желал [потом] слышать от него дополнительные объяснения к его рецензии, если это будет необходимо; он не думает, чтобы это было необходимо, притом его память слаба, он уже не помнит хорошо моей работы, прочитанной год тому назад. — Как должен я сказать декану относительно экзамена? — О выборе экзаменатора ведь условливаются между собою декан и экзаменующийся, но он со своей стороны согласен экзаменовать меня, моего заявления теперь — для него достаточно, я не имею нужды еще беспокоиться и приходить к нему, чтобы условиться об этом. — Прощание. —

Импрессионированный столь [краткою] резкой формулировкой [его] протеста против моих научных ересей, я иду к Гиршфельду, чтобы заявить ему свое удивление его крайнему оптимизму [со стороны последнего] в оценке впечатления, произведенного на Моммзена моей многострадальною работой. Но Гиршфельд в университете.

Сегодня утром являюсь к Гиршфельду, рассказываю ему свой визит. Он уверяет, что рецензия была «recht günstig»[4] и что [это только «zugespitzt»] M<оммзен> хотел только — «zugespitzt»[5] — выразить свое несогласие с моими теориями, которые ведь и его, Гиршфельда, не убедили, за отсутствием [оконч] «eines positiven Beweises»[6]; на что́ я замечаю, что еще не потерял надежду убедить его, если он захочет потом внимательнее прочесть диссертацию. Далее, я указываю на то, что ввиду столь решительного неодоб-

рения, с одной стороны, и «слабости памяти» Моммзена, с другой, благодаря которой впечатление моей работы, если оно было сколько-нибудь благоприятно, изгладилось, — я не думаю, чтобы он явился на мой экзамен «mit dem [günstigen] guten Vorurteil»[7], о котором говорил Гиршфельд; и вместе спрашиваю, считает ли он вопрос об экзаменаторе решенным. Г<иршфельд> восклицает, что, конечно, теперь он и не решился бы экзаменовать меня, раз Моммзен выразил свою готовность, и пр., но, по-видимому, несколько импрессионирован и озабочен случившимся. Я в свою очередь признаюсь ему, что отчасти декуражирован и хочу экзаменоваться недели на две позднее. Г<иршфельд> отвечает, что не хочет торопить меня. Затем начинает рекомендовать для приобретения и показывать разные книжки, по которым удобнее всего в короткое время возобновить в памяти все существенное. В заключение я прошу извинить меня, если не явлюсь на праздник Института: теперь мне не до того, я занят, и являться туда «in meinem unfertigen Zustande»[8] мне не хочется. «Am Ende verstehe ich, dass Sie nicht kommen wollen»[9], — заключает Гиршфельд.

Я еду в университет, присутствую на защите одной диссертации (о Шопенгауэре)[10], чтобы говорить потом с деканом, узнаю от него, что заседания факультета состоятся как 21, так и 28 Января, сообщаю ему о своем намерении экзаменоваться [лучше] позднее, около половины Февраля, на что он вполне согласен, — предъявляю карточку Моммзена и читаю «Gutachten»[11]... Но прежде замечу для твоего успокоения, что, оттягивая еще «Termin»[12], как это решительно необходимо ввиду возможности всяких неожиданностей со стороны Моммзена, я едва ли сколько-нибудь замедляю дело, так как если бы даже успел защитить диссертацию в Феврале (что теперь будет уже немыслимо), печатание остальной работы задержало бы меня до начала другого семестра (половина Апреля); теперь же только защита переносится на Апрель.

«Gutachten», насколько я мог запомнить (п<отому> ч<то> списать его было нельзя, и самое разрешение прочесть его возбуждает изумление педелей[13]), гласит так:

«Die Arbeit des H<er>n I<vanov> geht in vieler Hinsicht über das Maß hinaus, welches wir gewöhnt sind bei Promotionen zu verlangen. (Er beantragt dann die Zulassung der Dissertation...) Sie zeigt eine... Beherrschung (или что-то подобное) des reichen Materials (приблизительно) von Schrifstellern und Inschriften in umfassender Weise, eine sorgfältige Benutzung (не то слово) der philologischen Literatur,

eigenes Denken und endlich eine Fähigkeit, den spröden Stoff in einer correkten, wenn auch nicht immer bequemen und oft verkünstelten lateinischen Rede darzulegen. Wenn ich dieses Lob ausspreche, so... (смысл: so muß ich andererseits auch sagen) dass der Verfasser seine Kräfte überschätzt hat und den sehr großen (или außerordentlichen или т.п.) Schwierigkeiten der gewählten Aufgabe * vielfach nicht gerecht geworden ist»[14]. Переход к отдельным возражениям против 4 первых глав, очень коротким и из которых ни одно не [было] осталось мною непредвиденным, непродуманным и не устраненным в моей работе, так что ни одно и не убедило меня. Возражения показывают, что M<оммзен> не изучил мою работу достаточно глубоко, не понял меня, одним словом, до конца и что — прибавлю я, как это ни кажется смелым, — [что] старики не имеют достаточной духовной подвижности, чтобы, сойдя с привычной почвы, стать на точку зрения молодых; устное прибавление — «wir hören auf, und Sie fangen an»[15] — кажется мне неизлишним. Я решительно убежден в справедливости своей теории и считаю невозможным занять другую точку зрения чрез несколько [дней] лет. Впрочем, меня это мало затрогивает за живое. «Gutachten» кончается так: «Ich empfehle nicht nur, wie gesagt, die Arbeit der H<er>rn Ivanov zuzulassen, sondern auch sie als diligenter et subtiliter factam zu bezeichnen, in diesem Sinne, daß der Positiv mehr bedeutet als der landübliche Superlativ»[16]. — Следует пометка Гиршфельда: «Einverstanden. H<irschfeld>»[17]. — Какое впечатление произведет на тебя эта рецензия? Напиши. Diligenter — значит «тщательно»; Subtiliter — скорее всего соответствует «тонко», — когда говорится, напр<имер>, о тонком анализе и т.п. Эти слова будут значиться в дипломе.

Милая девочка, все письмо занято рассказом. Спасибо за твое[18], много меня порадовавшее. Как хорошо ты пишешь про Пантерку! С нетерпением и страхом жду ответа на предложение [опоздать] переждать новый год в Париже и пр. — Милая девочка, только бы увидеться хоть на немножко дней — поскорее. Когда будет у вас елка, не знаю. Сегодня — в день Рождества? Целую бесконечно!

Твой В.

* Это косвенное неодобрение выбора темы объясняется совершенно преувеличенным представлением Моммзена о ее важности и трудности; действительно, до сих пор все многочисленные попытки разрешения этой проблемы никого, кажется, не удовлетворили. (*Прим. Иванова.*)

Фраза «bist du dann wirklich ethisch»[19] привела с собой такую кучу рифм, очень потешных, что я ради них позволил себе написать для смеха прилагаемую литанию[20].

До свидания, обожаемая девочка. Твой В.

В большей части (хотя и не полностью) — История и поэзия. С. 361—362. Письмо помечено: № 11.

[1] Тщедушный великий ученый приближается (*фр.*).

[2] Я не возражаю, чтобы г<осподи>ну Иванову была показана моя рецензия для г<осподи>на декана (*нем.*).

[3] Я недоволен Вашей работой. В композиции есть много недочетов. Через несколько лет Вы сможете это сделать. И все же: мы заканчиваем, а Вы начинаете (*нем.*).

[4] Здесь: весьма положительна (*нем.*).

[5] «В заостренной форме» (*нем.*).

[6] Положительного доказательства (*нем.*).

[7] С добрым предрасположением (*нем.*).

[8] В моем неподготовленном состоянии (*нем.*).

[9] В конце концов я понимаю, что Вы не хотите приходить (*нем.*).

[10] 6 января 1897 г. в Берлинском университете зашишалась диссертация Макса Иосефа, затем (как было положено в это время) напечатанная: Max Joseph, Der Primat des Willens bei Schopenhauer. Eine kritische Untersuchung der psychologischen Grundanschauung Schopenhauers (Berlin, 1897). См. Jahresverzeichnis der an der Deutschen Universitäten erschienen Schriften, XII (15. August 1896 bis 14 August 1897. Berlin, 1897).

[11] Рецензия (*нем.*).

[12] Срок (*нем.*).

[13] От *нем.* «Pedell» — школьный сторож, швейцар, служащий учебного заведения.

[14] «Работа г<осподи>на И<ванова> во многих отношениях превосходит тот уровень, который у нас обычно требуется при промоции. (Он ходатайствует о приеме диссертации...) Она показывает владение (или что-то подобное) богатым материалом (приблизительно) авторов и надписей всеобъемлющим образом, тщательное использование (не то слово) филологической литературы, самостоятельное мышление и, наконец, способность изложить негибкий материал на правильной, если и не всегда легкой, а часто и вычурной латыни. Высказывая такую похвалу... (смысл: надо с другой стороны сказать), что автор переоценил свои силы и во многом не справился с очень большими (или чрезвычайными или т.п.) трудностями им поставленной задачи» (*нем.*).

[15] Мы заканчиваем, а Вы начинаете (*нем.*).

[16] Я советую не только, как было сказано, работу господина Иванова принять, но и отметить ее как diligenter et subtiliter factam <сделанную прилежно и тонко (*лат.*) > в том смысле, что позитивная степень имеет больше значения, чем обычная у нас превосходная степень (*нем.*).

[17] «Согласен. Г<иршфельд>» (*нем.*).

[18] П. 231 (п. 233 он еще не получил).

[19] «Ты на самом деле этичен / этична» (*нем.*).

[20] Иванов имеет в виду написанное им по-немецки юмористическое стихотворение «Mahnung zur erbaulichen Gewissensprüfung: Eine kritisch-ethische Busslitanei (gewidmet der deutschen Gemeinschaft für ethische Kultur)» («Призыв к назидательному испытанию совести: Критическая литания покаяния (посвящено немецкому Обществу этической культуры)»). См.: РГБ. Ф. 109. Карт. 1. Ед. хр. 50.

## 235. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*27 декабря 1896 / 8 января 1897. Париж*

*8 Янв. 97 г.*

Милый мальчик, сегодня обыскали весь дом и не нашли мой паспорт. Это очень испугало меня. Одна надежда, что он попал к тебе между твоими книгами, т.к. я его после поездки в банк положила в шкаф еще в нашей нижней комнате, а вы с Анютой все перетащили наверх, и она помнит, что вы паспорт клали в корзину, чтобы переносить вместе с книгами. Если его у тебя не окажется, то ужасно боюсь, что придется задержаться здесь, чтобы выхлопатывать новый из России. Ужасно, куда он задевался. Еще есть надежда на то, что он в Boulogne вами забыт: только что получила письмо от мамы с намеком, что я что-то забыла; завтра Дуня поедет туда с утра. Мальчик, получила только что и твое письмо[1]. Оно сильно меня импрессионировало. Сначала я очень испугалась, а потом пришла в тупик, остановилась в нем и по сю пору в тупике стою. Не понимаю, как М<оммзен> мог так сухо и нехорошо говорить после такого лестного отзыва письменного, лестного для ученого, как только желать можно. Объясни мне последнюю фразу: «...sondern auch sie als diligenter et subtiliter factam zu berechnen, in diesem Sinne dass der *Positiv?* mehr bedeutet als der *landüblicher Superlatif*»?[2]

Я же ничего не знаю о манере и usus[3] похвал этих Gutachtung[4], но мне кажется, что М<оммзен> выразился ужасно лестно.

Что касается откладывания экзамена, это каждый раз ударяет меня по сердцу с трех сторон: 1) Указывает мне в прошлом на потерянное помимо моей воли, но через меня время и 2) рисует впереди продолжение подготовительного периода твоей *жизни*, 3) отдаляет и отдаляет, что ни говори, срок нашего соединения в одну семью. Но обо всем этом скоро столкуемся лично. Жить в разлуке долгими месяцами слишком бессмысленно. Надо примирить интересы семьи с твоими и жить там всем, где удобно тебе..

О стихах скажу, что они остроумны и смешны, но не очень мне понятны[5]. Разберу лучше с тобою. Если не задержит неожиданность с паспортом, то буду в Берлине на Friedrichstrasse в 8 ½ (как ты) во Вторник 12-ого Янв<аря>. Целую тебя очень нежно. Анюта хотя устала, но ушла с Шарлоттой в Cluny[6] смотреть господа в кальсонах <?>. Шарлотке мы давно обещались, и нельзя было не исполнить. С Дуней после обильных слез опять большой

мир, и лад, и веселье. Мать <1 нрзб.>. Сплю ежедневно до 12 от 10-ти и поправилась уже. Готовит Аня matinée[7] голубое, такое, что твоя подруга с ума сойдет от восторга.

Пантерка сейчас будет лакать кашу, а пока жмурит глаза, высовывает длинный красный язык и болтает головой с боку на бок. Смех и радость смотреть. Прощай, Ангел.

Дуня несет письмо. Уже 10 ч. вечера.

Твоя девочка.

Ведь ты получил мою телеграмму: «Вышли паспорт»[8]?

Конверт с парижским штемпелем — 9 janv. 97. Берлинский штемпель чтению не поддается.

[1] П. 234.

[2] Перевод см.: п. 234, прим. 15.

[3] Обычае (*лат.*).

[4] Рецензий (*нем.*). Зиновьева-Аннибал пишет явно незнакомое ей слово с ошибкой.

[5] Речь идет о стихах, упоминаемых в п. 234 (ср. в нем прим. 19).

[6] Музей средневекового искусства в Париже.

[7] Матине, женская утренняя одежда (*фр.*).

[8] Такая телеграмма нам неизвестна.

## 236. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*28 декабря 1896 / 9 января 1897. Берлин*

*9 Янв. 97*

Дорогая Лидия! Я очень озабочен твоей телеграммой. Потеря паспорта делает нам решительно ein Strich durch die Rechnung[1]: ведь ты без него не можешь выехать?.. Я надеюсь все же, что ты найдешь его дома; но с собой я его взять не мог, потому что видел хорошо все бумаги, которые брал, — и что я действительно не взял его, показывает произведенный мною вчера тщательный осмотр бумаг и книг, не приведший, как я телеграфировал[2], ни к какому результату. —

Далее, имею сообщить тебе, что здесь стоит *страшный холод*, — воображаю, что́ в России: поэтому *настойчиво требую*, чтобы ты оделась на дорогу как только возможно теплее и закуталась всем, что́ только найдешь дома. Полезно было бы купить что-нибудь теплое на дорогу; твоя плюшевая кофта совершенно недостаточна даже для Берлина. Все окна у нас замерзли; к тому же ветер. Я надеюсь, что *Анна Николаевна посмотрит за тобой*, что-

бы ты не выезжала одевшись Бог знает как, — со свойственным тебе в этом отношении легкомыслием. —

Затем, привези с собой свой роман, спиртовую лампочку, Schuré[3] и ноты для пения: потому что я надеюсь, что ты еще не совсем потеряла голос и можешь спеть мне что-нибудь — Рубинштейна и Чайковского, «Бедного коня» и Lord'a Gregory[4] (очень хотелось бы слышать его), — и еще что́ знаешь и хочешь, и что́ хорошо. Здесь есть пианино, и мы заставим Лео[5] разучить аккомпанемент. —

Как прошел «le grand jour»[6]? —

Письма твои злят меня отражением нравственной и физической сутолоки и трепания, составляющих, увы, самую суть твоей бестолковой и негармонической натуры. Из-за какого беса ты, до изнеможения, до бессонницы, до рыданий, до сумасшествия, вертишься, как неугомонный волчок, за собственным хвостом, я понять не могу. И к тому еще нравственная возня с твоей столь же, как и ты, хотя и на другой манер, неуравновешенной матерью, к которой пора бы привыкнуть относиться как следует, — т.е. с терпеливой лаской и — равнодушной невозмутимостью. Да, впрочем, тебя не исправишь: к тому еще предстоящая разлука с детьми, наверно, сбила тебя теперь совсем с толку. Из твоих строк я так и вижу тебя étourdie... effarée...[7] и злюсь, злюсь, злюсь...

Прости за воркотню, Пантерка, возлюбленная. Прости! Целую тебя нежно. Только я очень встревожен в свою очередь твоей депешей и страхом потерять свидание с тобой через два дня... Поцелуй детей, милая девочка! — Только что купил рубли: посылаю Саше 120 и долг А<нне> Т<имофеевне> — 20[8]. Д<арья> М<ихайловна> пишет, что была больна. Причины отказа она все же не объясняет. «Особенного мотива не было. Просто разошлись, как это часто бывает в России. Все подробности я теперь не припомню, но только разговор об этом кончен навсегда»[9].

Ужасно тяжело...

В.

Целую, как люблю, свою радость.

В.

Узнай в точности и извести, когда будешь здесь и на каком вокзале.

Привези также листки «Неизбежного Зла»[10]. В своих книгах я нахожу только половину [тетрад<ки>] брошюры.

Письмо помечено: № 12.

[1] Сведéние на нет расчетов (*нем.*).

[2] Телеграмма отсутствует в доступных нам источниках.

[3] Речь идет о книге: Edouard Schuré. Histoire du drame musical (впервые издана в 1875, переиздана в 1895 г.). Эдуар Шюре (Edouard Schuré, 1841—1929) — французский философ, известный оккультист и музыковед.

[4] «Бедный конь в поле пал...» — начало арии Вани из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» (ранее упоминалась под названием «Ночью»); под названием «Lord Gregory» известна ирландская народная баллада и песня Роберта Бернса, а также шотландская песня, положенная на музыку дважды: в 1876 г. Max Bruch'ом (в немецком переводе), в 1837/1838-м — Johanna Kinkel (на английском).

[5] Сын г-жи Левенхайм.

[6] Большой день (*фр.*). См. п. 233.

[7] Легкомысленной... испуганной... (*фр.*).

[8] Сохранился черновик письма Иванова к А.Т. Дмитревской от 28 декабря 1896 / 9 января 1897 г.:

Глубокоуважаемая

Анна Тимофеевна!

Поздравляю Вас с новым годом и благодарю за Ваше доброе поздравление. Дай Бог, чтобы новый год был вам всем счастлив и радостен. Как здоровье Ваше? Что было с Дашей, и поправилась ли она: напишите, пожалуйста. Как поживает и здоров ли Леля? С глубокой благодарностью возвращаю Вам долг в 20 рублей, которые Вы послали в монастырь. Остальные 120 рублей посылаю за Сашу Вам и Даше. Простите, пожалуйста, что адресую денежное письмо на Ваше имя: делаю это потому, что не знаю, выходит ли уже Даша вообще и особенно, может ли она делать такие отдаленные экскурсии на главпочтамт.

Просил бы Вас горячо и задушевно, многоуваж<аемая> А.Т., не отказать мне в сообщении о Даше: каковое ее здоровье, мысли и настроения; забота о ней не дает мне покоя; если я не могу ничего сделать, что то для меня потребность необ<ходимая> знать, что с ней. Как мучительна эта болезнь и эта <1 нрзб>, вы не можете себе представить.

Я надеюсь все же, что Вы поймете меня. Мне также бесконечно важно знать, что побудило ее к ее решению бросить Кр<ашенинника>ва. Напишите мне, что вы найдете возможным сообщить, как и то, что вы думаете.

Ваш В.И.

Удалось ли Вам воспользоваться моей <1 нрзб> доверенностью? <Фраза нрзб>. Желаю Вам доброго здоровья и всего лучшего.

Уваж<ающий Вас> В.И.

(РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 29. Л. 4 и об)

[9] Речь идет о расставании Д.М. Ивановой с М.Н. Крашенинниковым. Такое письмо нами не разыскано.

[10] Рассказ Зиновьевой-Аннибал (Северный вестник. 1889. № 8; подп.: Л.Ш.). Существует также отдельное издание (М., 1894).

## 237. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *29 декабря 1896 / 10 января 1897. Париж*

Дорогой Вячеслав, искали, обыскивали по 100 раз все тряпки и углы — ничего. В Булони ничего. Я была у Корфа[1]: он завт-

ра поедет сам к самому послу просить того об особом паспорте мне и Дуне, но, увы, он говорит: надежды мало на согласие посла. Остается тогда лишь один путь: писать прошение градоначальнику и ждать присылки паспорта: заде<р>жка до 2-х недель!! Если ты очень мучаешься, телеграфируй: я выеду quand même[2] в Берлин, хотя это не разумно, 1) потому что паспорт получится в *посольстве здесь*, 2) пребывание двухнедельное теперь у тебя укоротило бы пребывание *после России*. А последнее важнее, т.к. это перед долгою разлукою. Грустно ужасно не встречать новый год. Не знаю, выдержу ли и я не приеду ли, даже без твоего совета. Мне ужасно, ужасно тяжело. Я плачу и не могу спать. Твоя Лидия.

Открытка. Штемпели: Paris. 10 janv. 97 — Berlin. 11.1.97.

[1] О ком идет речь, установить не удалось.

[2] Все-таки (*фр.*).

## 238. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*29 декабря 1896 / 10 января 1897. Париж*

disperata dovere ritardare partenza giovedi mancanza documente batta per te sola sempre

Телеграмма. Берлинский штемпель — 10.1.97.

Перевод:

В отчаянии надо отменить отъезд четверг документы пропали пусть бьются <часы> для тебя всегда одна

## 239. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*30 декабря 1896 / 11 января 1897. Париж*

*30 Дек. 96 г.*

Дорогой, ненаглядный, любимый, что мне делать, чтобы сладить со своею грустью за себя и за тебя? Вчера я была у Корфа. Приняла меня его жена и была очень мила, мы говорили много о голосах (она поет) и о мужах, вообще и в частности (мы обе о них слыхали). Потом пришел ее муж, тотчас узнал меня и сказал, что я нисколько не изменилась, только пополнела с лица. Они оба были очень добры ко мне. Он сегодня утром ездил к послу[1], а днем они вдвоем с женой приехали ко мне с визитом, но с грустным

известием, что посол не решился дать паспорт без всяких справок, но согласился послать официальную телеграмму министру иностр<анных> дел[2], а тот узнает у градоначальника о моих бумагах, и затем по телеграфу придет в посольство разрешение выдать мне паспорт (вероятно!). Но это затянется до Среды или Четверга!! Я спросила его, не могу ли дождаться бумаги в Берлине, где у меня друзья, к которым я обещала заехать, но он просил меня ни в каком случае не отлучаться. Я же сегодня утром решила было ехать quand même[3], если бы пришлось выписывать посредством прошения. Но теперь оказывается это невозможным. О горе, горе. Милый, мы не встретим вместе новый год! Ничто в мире не могло бы удержать меня, если бы это было ближе, но расстояние ужасное. Приехать и вернуться к сроку немыслимо. Мой дорогой, ты получишь это письмо накануне нового года. Знай, что мы вместе. Прижми к груди мои часы, они для тебя, для тебя бьются, и навсегда. Я с тобою, моя радость, мое счастье, моя душа, мое дитя золотое, святое, собственное. Моя ласка, взгляд мой любовный, сладкое ди́тя, дитеныш мой. Любовь, радость, мой родимый мальчик, я люблю тебя, я с тобою. Пусть не существует для нас расстояния. Я с тобою буду в этот вечер, когда мы будем ждать новый год, который даст нам старую любовь и новую славу, если благословится наш труд. Моя радость, ты знаешь мое сердце, как я желала бы слить его с твоим, слиться вся в жарком объятии с тобою и так встретить новый год. Знаешь, мальчик, давай отложим свой год до встречи, встретим его тем не менее и trotz allem[4] вместе. Теперь, завтра я буду ждать 12 часов и запру свое сердце, закрою вход в свое существо, и когда мы будем вместе, у нас вместе прозвучит вновь 12 часов, когда мы будем лежать в объятии тесном, блиском <так!>, бесконечно любовном. Не горюй, будем горды и будем свободны, полны сил, энергии, силы и смелости нашей безграничной любви.

Целую тебя, радость, целую, счастие, любовь моя, улыбка, смех, источник моего существования. Я твоя всецело. Пройдут быстро эти дни, и я увижу, как поступить, могу ли я тотчас приехать. Думаю, что да, тогда я буду с тобою в Пятницу. Радость, спокойной ночи, надейся на будущее, скажи себе, что этот год должен быть годом великих усилий, труда, творчества и зари славы, и во всем, вокруг всего, душою всего — любовь великая, всепроникающая, освещающая, согревающая жизнь, удваивающая,

делающая из двух более, чем две соединенные личности. Целую, обнимаю, вся отдаюсь тебе.

Твоя Лидия

Конверт со штемпелями: Paris. 11 janv. 97 — Berlin. 12.1.97.

[1] Послом в Париже в то время был барон Артур Павлович Моренгейм (1824—1907).

[2] В 1897 г. министром иностранных дел России был Михаил Николаевич Муравьев (1845—1900).

[3] Все-таки (*фр.*).

[4] Несмотря ни на что, вопреки всему (*нем.*).

## 240. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*30 декабря 1896 / 11 января 1897. Париж*

*30 Дек. 96 г. / 11 Янв. 97 г.*

Дорогой Муненок, дорогой мальчик, вот настал час предполагаемого отъезда, а я сижу и пишу письмо. Милый, это злая судьба разлучила нас, но пусть любовь наша и ее радость и свет выше судьбы, мой дорогой. В день, когда наша родина празднует новый год пусть предет <так!> к тебе мой привет, полный любви и надежды. Милый, любимый, будь радостен и счастлив, будь полон надежды и энергии, неси голову высоко и верь в себя и в свою звезду. Дорогой, не грусти о прошлом, не хорони мертвого, живи для живого, играй игру жизни с верою и неустанною verve <?>[1]. Мой хороший, мой друг, я с тобою и теперь и навсегда, твоя подруга, и помощница, и поддержка. Твоя, твоя всецело. Хороший, я надеюсь на удачный ответ от посла, и тогда я буду с тобою в пятницу вечером, но если мне не удастся получить паспорта здесь, то придется писать прошение и ждать две недели еще. Корф согласен переслать паспорт в Берлин, когда он придет из Петербурга, но на *какое имя*? Как могу я получить его, если я не буду прописываться, да и как прописываться без паспорта. Можно ли послать его на имя, напр<имер>, Frau Löwenheim, объяснив Корфу, что у друзей я не прописываюсь и потому получить заказную посылку не могу. Напиши. Или лучше отложить приезд до получения паспорта. Тогда легче будет перенести последующую бесконечную разлуку. Не перевезти ли в Июне всю семью на лето в окрестности Берлина, а на зиму в Берлин. Мальчик, мы обо всем столкуемся, напиши только свое мнение о моем приезде. Сегод-

ня я ездила в Bon Marché[2] и очень устала. Покупала вещи детям и подарки в Россию. Сплю недурно, т.к. принимаю сульфональ <так!> и начинаю снова хорошеть и свежеть. Очень рада буду петь, и с завтрашнего дня начну петь экзерсисы.

Посылаю картинки от детей. Сережа был в большом огорчении, что я не поехала к тебе на нов<ый> год: он всё жалеет тебя и лучше хотел уступить меня тебе — одинокому. Это было очень мило с его стороны. Он сам давно уже принес картинку, купленную им одним по своей идее, он очень доволен надписью. Оля за ним воспламенилась и стала выбирать во всех лавках. Они опять оба заняты: она на cours Fénélon[3], и поэтому огорчены, что не успели написать.

Целую мальчика: я больше не верчусь за своим хвостом, и с матерью у нас мир, потому что я недавно вечером неожиданно распалилась и высказала все griefs[4] детства, юности, замужества, отношений к отцу и ее отношения к моей семье. Обе много плакали, и с тех пор очень хорошо всё пошло, и сегодня блаженствовали в Bon marché, и завтра даже в церковь идем.....

Пантерка очень здорова, хотя слегка простудилась на днях. Она желтовато-розоватая, крепкая и полная, а весела, как пташка. Мы с Анютой ею не налюбуемся.

Прощай, мальчик, спокойной ночи, ангел, возлюбленный, целую тебя. Твоя всецело девочка.

Люблю горяче, бесконечно.

Лидия.

Конверт с неразборчивым парижским штемпелем; берлинский штемпель — 13.1.97.

[1] Воодушевлением (*фр.*).

[2] См. п. 233, прим. 1.

[3] По-видимому, речь идет о курсах в Lycée Fénelon, самой старой школе для девушек в Париже, основанной в 1883 г.

[4] Печали, огорчения (*фр.*).

## 241. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*30 декабря 1896 / 11 января 1897. Берлин*

*11 Янв. 97*

Милая радость, как ты огорчаешь меня! Я был совершенно несчастен после твоей вчерашней телеграммы об отсрочке отъез-

да, и несчастным чувствую себя и сегодня. Депеша пришла лишь поздно вечером, когда я уже потерял надежду иметь ее, после долгих ожиданий и волнений, и вообразил даже, что ты не в Париже, а в Женеве — да и мало ли что еще мерещилось мне и меня волновало.... Как тягостно и неуютно бывает на душе, когда какая-нибудь презренная, мелочная случайность разрушает давно лелеемые предположения и надежды! Легкомысленная девчонка, гадкая! Ужели ты вправду потеряла свой «вид»[1]? Нехорошее, беспаспортное, безвидное существо, что же ты предприняла, хлопотала ли в консульстве? И паспорт твой, наверно, лежит в хаосе, охраняемом нашими Пенатами[2]. Посмотри в *моих вещах*. Мне кажется, что уже на настоящей квартире ты раз спохватилась за паспортом и нашла его в нашем кабинете. Смотрела ли ты в ящиках наших столов?.. Когда-то увижу тебя? Уже не верю больше, что скоро. Je suis résigné[3]: резигнация для меня знак, что мне очень худо...

Слушай, еще что скажу тебе, возлюбленная девочка! У тебя на этой неделе должны быть регулы. Прошу тебя *непременно* обождать дома, пока пройдут месячные: я очень за тебя боюсь. Риск большой так ехать. И простудиться можешь, и вызвать потери крови. — Поэтому patientons[4] еще несколько дней. Для твоего здоровья мне так же приятно иметь лишения, как бы тяжелы они ни были, как мучительно резигнироваться из-за случайных презренных причин. —

О себе сказать не могу ничего, кроме того, что мне очень худо. Твоя молчаливость в последние дни не способствует облегчению моего душевного гнета. —

Встречать новый год буду, конечно, с одной светлою мыслью — о твоей любви, с одним светлым стремлением — к тебе...

Целую тебя, как люблю. Поцелуй деток, поклонись девушкам и поздравь всех от меня с новым годом, чтобы он был счастлив для нас всех.

Твой В.

Даша пишет, что была больна, но что теперь доктор уже перестал приходить. — Это меня тревожило.

Помета: *№ 13.*

[1] То есть «вид на жительство», полученный Зиновьевой-Аннибал на право существования отдельно от мужа.

[2] Римские боги домашнего очага.
[3] Я покорен (*фр.*).
[4] Потерпим (*фр.*).

## 242. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*30 декабря 1896 / 12 января 1897. Париж*

Passamo nostro <1 нрзб> beato come io te baccio como t'amo

Телеграмма
Перевод:
Мы провели наш блаженный <1 нрзб> целую как люблю

## 243. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*31 декабря 1896 / 12 января 1897. Берлин*

ORA SEMPRE INSIEME

Телеграмма. Парижский штемпель — 12 janv. 97.
*Перевод:* Ora sempre вместе (*ит.*).

## 244. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*1/13 января 1897. Париж*

Наши чувства и жалости встретились: мой возлюбленный, я давно задумала послать тебе депешу, но т.к. рассчитала, что получишь мое письмо в вечер 31-го Дек<абря>, то хотела послать депешу позднее, чтобы она пробудила тебя утром и ты ощутил бы тепло, как от моего прихода неожиданного, как от жара моего объятия. Твою депешу ношу на груди[1]. Уже 11 час<ов>; я пришла на place Passy, т.к. отсюда я посылала тебе раньше письма и депеши, и здесь всё говорит о тебе и мучительно и сладко. Хочется гулять до полуночи, чтобы быть только с тобою под открытым небом. Я глубоко счастлива, хотя в разлуке, и мне почудился возврат во Флоренцию после Рима. Быть может, буду с тобою в Пятницу вечером. Пишу на почте. Твоя, твоя Лидия. Люблю бездонно, безбрежно, бесконечно.

Открытка. Штемпели: Paris. 13 janv. 97 — Berlin. 14.1.97.
[1] Речь идет о телеграммах 242 и 243.

## 245. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*1/13 января 1897. Берлин*

*13/1 Янв. 97*

Дорогая, возлюбленная Лидия, божественная девочка, спасибо за все твои ласки, они сделали меня очень счастливым и изгнали из души едкую горечь разлуки в тот день, который мы заранее назначили для радости свидания и возобновленных объяснений нашей неугасающей, неугасимой любви. Я встречал новый год с твоим письмом, твоим портретом, твоими часами, твоим L, сплетшимся с моим V, и твоим «ora e sempre» на крышке часов, — со всеми этими обожаемыми фетишами моей веры и, что́ все оживляло, с невидимым присутствием самого божества, торжественно обещанным мне ниспосланными им знаками благоволения. Правда, Лидия, я чувствовал себя так «insieme»[1] с тобой вчера вечером, что мне казалось, будто мы вместе слушаем Бетховена и вместе сидим после концерта в ресторане, куда я и зашел, так сказать, в твою честь и где, все чтобы увеличить иллюзию твоей близости, перечитывал украдкой твое нежное письмо*. Спасибо, спасибо, девочка, за то, что ты меня жалеешь! В концерт я ходил вчера, чтобы опять услышать 5-ую симфонию, после которой и ушел[2]. Вчера я слышал ее в третий раз, и она стала мне прозрачна. Не все, по-моему, правильно объяснено у Schuré, и особенно 2-ая часть[3]. Много общего в этой симфонии с 9-ой симфонией по замыслу, и то же разрешение — в идее ликующего, осчастливленного человеческого множества; но, как в 9-ой, так и в 5-ой симфонии последняя часть менее всего мне нравится. И зачем так коротки две первые части?.. В половине 11-го я был уже дома, у тебя было еще всего половина 10-го, — а сегодня утром меня разбудила твоя дышащая любовью депеша[4], напомнившая мне другую депешу, [так же почти] состоявшую почти из тех же слов... А потом пришло еще письмо от тебя и карточки от детей: таким образом вы достигли цели, и я не чувствую себя одиноким[5]. Но

* Перед концертом я телеграфировал тебе «ora e sempre insieme», чтобы быть в этот вечер так близко к тебе, как только можно в далекой разлуке. (*Прим. Иванова.*)

есть беспокойство и боязнь, которые меня тревожат. Вчера, ввиду того что мое денежное письмо придет только еще через несколько дней[6], — я телеграфировал в Москву: «Souhaits, comment va Dacha?»[7] — и, несмотря на оплаченный ответ, до сих пор не получаю требуемого извещения о ее здоровьи. Судя по ее последнему письму, она была серьозно больна, хотя она и не сообщает, что с ней было, кроме того, что она простудилась. Эта простуда находится в связи с ее частыми поездками на уроки к Красным Воротам, что́ очень далеко[8]. — Милая девочка, что ты поедешь к Корфу, что в Петербург пошлют телеграфический запрос, — обо всем этом я догадался раньше твоих сообщений. Жду с нетерпением завтрашнего дня, так как надеюсь иметь от тебя телеграмму завтра с решением. Паспорт, если придется его выхлопатывать, конечно, можно прислать на имя Frau Dr. L<öwenheim>; но когда пришлют его?.. и отважиться сюда без паспорта на долгое время — все же рискован<н>о, хотя L<öwenheim> и говорила мне раньше, что ты и на возвратном пути можешь прожить, сколько времени хочешь, без прописки, если, конечно, полиция как-нибудь стороной не узнает о твоем присутствии, что невероятно. Все это так, но кто поручится, что домохозяин, живущий тут же, как он ни любезен вообще и ко мне в частности, не потребует прописки паспорта? Это также мало вероятно, но риск всяких возможностей и случайностей есть. Притом, хорошо ли подчеркивать Корфу свою связь с Берлином. Отправляться к «друзьям» в Берлин на две недели, оставляя семью одну, не вполне прилично. Видишь, сколько суровых «contra» я насчитал. Но у нас есть одно «pro», которое перевешивает все возможные «contra» в мире: «затем, что сердцу нет законов»[9]... Из чего не следует, что я советую бросить и в этом случае наше всеперевешивающее «pro» на чашку весов. Я думаю, что об этом должно подумать... и сговориться, — и ласкаю себя надеждою, что бумагу, заменяющую паспорт, выдадут тебе немедленно.

Целую тебя, радость, как люблю.

Весь твой В.

Темно — словно солнечное затмение! Я пишу в 11 час<ов> утра, моя комната светлая, с двумя большими окнами, — и я пишу при свече!!.. О, жалкий, богами отверженный Север, когда я покину тебя? А ты еще собираешься переселиться ко мне сюда с семьей, надолго... Нет, дорогая, так долго мои дела не затянутся;

а жить здесь ради здешней филологии — слишком большая жертва. — Что касается пения, забыл я еще упомянуть «Carmen»[10]. Я бы хотел ее слышать, да и здесь эту оперу очень ценят; только наш юный математический гений[11] не сладит с аккомпанементом без Ueben<gen>[12], на которое у него нет времени. Все же захвати «Carmen», если возможно. Целую мою Лидию.

В.

*Сними с конверта для Сережи неизвестные ему немецкие марки.*

Помета на письме: *№ 14.* Фрагмент — История и поэзия. С. 363.

[1] «Вместе» (*ит.*). См. п. 243.

[2] Объявления в берлинских газетах (Berliner Tageblatt и Berliner Bursen-Zeitung) за 12 января 1897 позволяют уточнить, что в этот день оркестром Берлинской филармонии дирижировал Франц Манштедт и что в программе были, кроме Пятой симфонии Бетховена, произведения Сметаны, Чайковского, Венявского, Берлиоза, Листа.

[3] E.Schuré дает длинную интерпретацию Пятой симфонии Бетховена в «Histoire du drame musical» (Paris, 1895), p. 203—208 (ср. п. 236). На с. 204—205 вторая часть симфонии толкуется как «возвышенное утешение» («sublime consolation»).

[4] П. 242.

[5] Речь идет о п. 240. Письма от детей неизвестны (неопознаны).

[6] Речь идет о денежном отправлении, о котором Иванов писал в п. 236.

[7] Поздравляю, как Даша? (*фр.*)

[8] В той же единице хранения, что и данное письмо, сохранилась телеграмма из Москвы, являющаяся ответом на процитированную Ивановым: «souhaits sante bien Ivanovi Dmitrevsky» (Поздравляю здорова Иванова Дмитревская — *фр.*).

[9] Переиначенная строка из поэтической импровизации «Египетских ночей» (1835) А.С. Пушкина, взятая, в свою очередь, из неоконченной поэмы «Езерский» (1832—1833):

Затем, что ветру, и орлу
И сердцу девы нет закона.

[10] Опера Ж. Бизе.

[11] Имеется в виду Л. Лёвенгейм.

[12] Упражнений (*нем.*).

## 246. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *2/14 января 1897. Париж*

*14 Янв. 97.*

Дорогой возлюбленный мальчик. Всё еще ничего нет! Надо терпеть. Увы, презренные мелочи бывают и более фатальны, чем в нашем случае: вспомни знаменитый роман «Мелочи жизни»[1]!

ведь там из-за лукового салата два предназначенных судьбою друг для друга любовника навеки разошлись!

Надо очень опасаться, моя ди́тя, что вмешательство любезного барона только повредит делу, ибо если постигнет неудача его хлопоты через посла, то je ne serai pas plus loin[2], и придется сызнова начинать всё, т.е. писать прошение, которое могло быть написанным 6 дней тому назад. Раз мы не встретили вместе год, то эта отсрочка хотя мучительна, но имеет свою светлую сторону, а именно, она сокращает последующую разлуку после Февраля, которая уже теперь стоит передо мною черным ужасом. Милый, надо иначе организовать жизнь, чтобы не тратить золотые дни нашей молодости, но.... когда мы вместе, ты не учишься! оттого не учишься, что влюблен. Чтобы учиться, ты должен уезжать, а уезжая часто, мы всё больше и больше льнем друг к другу в периоды совместной жизни.. C'est une cercle vicieux[3], наш фиезольский идеал. Помнишь электрическую конку там наверху. Помнишь поворот дороги, где я спела тебе так многозначительно: «Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю»[4]. Я показывала тебе рукою холмы вокруг нас, покрытые виноградниками, садами и белыми виллами (помнишь, как мы позже, уже весною, бродили в таком саду в S. Domenico, под Fiesole и пили воду и contadino[5]), я говорила тогда: «Работать врозь, в разных углах, далеко-далеко друг от друга, а отдыхать здесь, среди красоты, на юге...»

Ну, работай, возлюбленный, не тоскуй и жди дня, который соединит нас и чарами нашей любви вызовет холмы виноградные из берлинских кровель и белые виллы из его серых, однообразных громад. Наш Дионис преобразит Берлин в Италию и зиму в живую весну.

Затем, возлюбленный, прощай. Бегу на почту. Я *никогда* не пропускала более 1 дня между письмами, и даже редко что не писала ежедневно. Догадайся, кто из детей какую картинку послал. Целую, обожаю, бегу, чтобы не опоздать.

Целую еще. Очень отдохнула.

Твоя вся, горящая любовью

Лидия

Конверт со штемпелями: Paris. 14 janv. 97 — Berlin. 15.I.97.

[1] Согласно «Указателю заглавий произведений художественной литературы» (Т. 4. М., 1990) под этим названием появились роман А.Я. Панаевой и очерки М. Салтыкова-Щедрина. Однако ни там, ни там подобного эпизода нет.

[2] Я недалеко уйду (*фр.*).

[3] Это порочный круг (*фр.*).

[4] Из романса «Средь шумного бала, случайно...» П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.

[5] Имеется в виду vino contadino, «крестьянское вино», крепкое и дешевое.

## 247. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*2/14 января 1897. Париж*

Nulla pazientati povero amico speriamo orasempre

Телеграмма из Парижа в Берлин — 14 января 1897.
Перевод:
Ничего потерпи бедный друг будем надеяться orasempre

## 248. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*3/15 января 1897. Париж*

*15 Янв. 96*

Милый, все еще ничего. Я была так настроена сдержанно-разумно, и сегодня вдруг всё разумие исчезло, тоска одолела. Завтра пойду к Корфу и узнаю, есть ли еще надежда. Если нет, значит, придется, *просрочив лишнюю неделю*, подавать прошение и ждать милости фон Валя[1]. Это ужасно, и тоска давит тяжело. Но надо крепиться. Надо нести разлуку, и надо терпеть отсрочку развода, и надо покоряться храбро. Примусь писать завтра. Мальчик, будь умник, терпи и ты, мой дорогой. Спасибо за твое письмо. Неужели ты не получил моего описания елки и ряженых? Я уверена, что письма теряются. Я принялась петь экзерсисы. Голос скрипит и трещит. Девчурка чудно поправляется и такая веселая. Будем еще надеяться. Завтра напишу. Ласкаю и целую тебя. Я нарочно написала римскую телеграмму, а понял ли ты шутку с вчерашней телеграммой: я повторила слова, обидевшие тебя напрасно, из Gryon[2].

Целую еще, и давай надеяться и не грустить: ведь и не пропала еще надежда.

Лидия.

Открытка (с явной ошибкой в годе). Штемпели: Paris. 16 janv. 97 — Berlin. 17.I.97 (повторный штемпель: 18.I.97).

[1] Виктор Вильгельмович фон Валь (1840—1915), петербургский градоначальник в 1892—1895 гг. Зиновьева-Аннибал явно не знала, что с декабря 1895 г. градоначальником стал Николай Васильевич Клейгельс (1850—1916).

[2] Первая телеграмма несколько напоминает по тексту п. 36. Вторая — п. 196, телеграмму из Гриона. По-видимому, Иванов тогда не понял, что это значит, и на что-то обиделся. Л.Д. повторяет непонятное слово, в этот раз в несколько иной форме («pazientati»), которого также не существует в нормативном итальянском языке.

## 249. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*4/16 января 1897. Берлин*

*16 Янв. 97.*

Любезная Лидия!

Рад открыть в тебе столь обильный запас юмора. Самая правильная точка зрения на житейские «мелочи» — юмористическая.

Характеристично для любви — не сердца, а воображения, — что страдание причиняет не действительная разлука, уже давно наступившая, а страх разлуки, возможной в каком-то неопределенном будущем.

Пошли мне, если можешь, денег.

Не пишу больше, потому что от писем тошно.

Обнимаю тебя, любезная Лидия!

В.

«Souvenir d'amitié»[1], думаю, прислан другом — Сережей.

*См. на обороте.*

*

Перечитал еще раз твое письмо, достолюбимая Лидия! Все оно (с его недописанными впопыхах «обожаю — бегу» и т.п.) — «че-пуха», женская «че-пуха»!.. И нравится мне в нем одна, всего одна буква... Догадайся, какая?.. — Тщательно, с грациозно-почтительными нажимами пера вырисованная на 4-ой страничке, кверху ногами, буква У... Эта уединенная буква У почти дает мне впечатление твоего присутствия. Я вижу тебя, в твоей прилежной позе склонившуюся над почтовой бумагой; ты старательно выводишь в заголовке «уважаемый» или «уважаемая», — но уже после первой буквы голос детей, или Анюты, или, что еще вероятнее, вдруг подымающийся в твоей сумбурной голове вихрь собственных мыслей и тревог срывает тебя со стула и стремит в туманное пространство... Все эти представления и, так сказать, улыбки сердца (!) вызвала твоя старательными нажимами украшенная

буква У, единственная хорошая буква твоего пустозвонного письма, единственная хорошая, но назначавшаяся, увы, все же не мне: ибо я не предполагаю, что ты хотела начать письмо ко мне словами «уважаемый возлюбленный».

Заочно прижимаю тебя к сердцу, достообожаемая Лидия!

В.[2]

Помета: № 15.

[1] Дружеский сувенир (*фр.*).

[2] Приводим также текст, приложенный Ивановым к какому-то из писем этих дней. Точно определить его место нам не представляется возможным.

*Renseignements sur l'itinéraire* <Дорожная инструкция>

Я ехал во 2 кл<ассе> до Ахена, в Ахене (около 7 ч<асов> утра) перешел на другой вокзал (Marschirtor) и там взял билет 3 кл<асса> до Берлина (via Hannover — Lehrte — Stendal). В 8 ч<асов> 28 м. веч<ера> я был на вокз<але> Friedrichstrasse. Пересадка и ожидание (около часа) в Дюссельдорфе (ок<оло> 11 ч<асов> утра). — Этот способ неудобен, [благодаря] вследствие необходимости переходить на другой вокзал в Ахене и пересадки в Дюссельдорфе. Поэтому ты, выезжая из Парижа с тем же поездом (9 часов 25 м.), или бери прямой бил<ет> 2 кл<асса> *до Берлина*, куда прибудешь в 5 ч<асов> 59 пополудни на Potsdamer Bahnhof (кажется, что 2-ой кл<асс> после Кельна в этом Express'e есть), или, по крайней мере, *до Кёльна*, куда приедешь в 7 ч<асов> 50 утра и откуда можешь продолжать путешествие в 3 кл<ассе>, выехав в 9 ч<асов> 10 утра по той же линии Hannover — Lehrte — Stendal; приедешь в Берлин на Friedrichstrasse в 8 ч<асов> 28 веч<ера>. Кажется, что выезд из Парижа в 9 ч<асов> 25 м. — самый удобный. —

## 250. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*4/16 января 1897. Париж*

arrivo lunedi sera

Телеграмма с берлинским штемпелем: 16.1.97.
Перевод:
Приеду в понедельник вечером (*ит.*).

## 251. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*4/16 января 1897. Берлин*

FELICE ASPETTERO FRIEDRICHSTRASSE

Телеграмма с парижским штемпелем — 16 января.
Перевод:
СЧАСТЛИВ БУДУ ЖДАТЬ <НА ВОКЗАЛЕ> ФРИДРИХШТРАССЕ (*ит.*).

## 252. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*14/26 января 1897. Кенигсберг*

sto coraggiosa, orasempre teco spero presto essere tua

Телеграмма. Берлинский штемпель — 26.1.97.
Перевод:
Буду мужественной, orasempre с тобой надеюсь скоро быть твоей

## 253. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*15/27 января 1897. Берлин*

*27/15 Янв., Среда веч.*

Дорогая Лидия! Пишу тебе в тот момент, когда ты, по моему расчету, только что приехала в Петербург; волнуюсь и ожидаю телеграммы... Что с тобой, что будет, и как все кончится?.. Сижу опять один в своей, теперь уже *нашей* комнате; могу заниматься, но мысль настороже и ежеминутно следует за тобой... Вчера я имел из Парижа веселую весть: первый зубок прорезался наконец у Пантерки, о чем радостно сообщает мне Анюта[1]. Теперь Лидюше, наверное, уже привили оспу, и она хворает. Сережа опять написал прелестное любовное послание: он и не заметил, что похворал, — впрочем, ты и без меня про все это знаешь...[2] Милая девочка, как я волнуюсь! Мое существо разделено пополам, и я боюсь и ажитируюсь[3] одной половиной с тобой, другою с собой самим. Когда ты получишь это письмо, вероятно, уже произойдет разговор с братом и адвокатом; догадаешься ли ты сообщить мне телеграммой о результате первого разговора?.. Нет, при данных условиях писать слишком бессмысленно! Что могу я сказать, следя за тобой мысленно минута за минутой, когда эти строки придут к тебе через три дня? Три дня — смешно подумать, — когда каждая минута теперь событие! И, кроме того, [я не могу] мне нечего выражать в своих письмах, кроме лихорадки ожидания и волнения...

Жду депеши...

Сегодня этическая подруга говорила мне о симпатии, которую ты ей внушила: «ich habe eine solche Sympathie für sie gewonnen! es ist in ihr etwas Sympatisches und etwas Ideales»...[4]

Жду депеши —

Твой В.

*Для Л.*

Конверт с адресом: «Ее Высокоблагородию Софии Ильиничне Алымовой (*для Л. Д.*). Знаменская 17, кв. 17. *Петербург. St. Petersburg*, Russland». Штемпели: Berlin. 29.I.97 — С.Петербург. 19.I.97.

[1] Письма А.Н. Шустовой к Иванову — РГБ. Ф. 109. Карт. 39. Ед. хр. 35. Здесь имеется в виду письмо от 24 января (без обозначения года).

[2] Речь идет об известиях, посылаемых непосредственно А.Н. Шустовой в письмах к Зиновьевой-Аннибал, — РГБ. Ф. 109. Карт. 39. Ед. хр. 36.

[3] От *фр.* «s'agiter» — волноваться.

[4] Я испытываю к ней такую симпатию! В ней есть что-то симпатичное и что-то идеальное... (*нем.*)

## 254. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*16/28 января 1897. Берлин*

*28/16 Янв<аря>, вечером*[1]

Милая Лидия! Что же это? Я ждал сегодня телеграммы о свидании с братом. Что значит молчание? Свидание не состоялось? Результат неудовлетворителен? неопределенен?.. Сижу и строю предположение за предположением, и не нахожу покою. Забота сменяет заботу, опасение — опасение... Благодарю за вчерашнюю депешу: без нее я бы чувствовал себя погибшим человеком. Также за депешу из Кенигсберга: но это только ласка и luxe[2]... Извещай меня о делах в моменты решительные. Страшно подумать, как мы далеко друг от друга. А почта — просто бесполезна на таком расстоянии. Все же пиши, и притом, как я просил, *ежедневно*, подробно. —

У Calvary[3] мне недавно сказали, что их шеф уезжает на днях на 6 недель из Берлина и что я теперь должен поговорить с ним об издании своей книги. Поэтому я был сегодня у него, чтобы узнать принципиально, возьмет ли он и на каких условиях издать книгу. Он выразил, во-первых, сожаление, что исследование написано не по-немецки, потому что тогда сбыт его был бы больше; юристы и экономисты не читают по латыни. Затем, желает получить с меня за все 300 марок «à fond perdu»[4], причем поставляет нужное мне число экземпляров диссертации [даром] бесплатно. Можно и по-другому условиться: я [издаю] печатаю у него

книгу на свой счет (он говорит, что это обойдется в 450—500 марок) и получаю половину цены с каждого проданного экземпляра. Во всяком случае будет куплено, глав<ным> обр<азом> библиотеками, экземпляров 120 или больше. Впрочем, это только нормы соглашения. Он желает [рассмотреть] получить на рассмотрение мою работу, и если редактор их издания («Berliner Studien für klassische Philologie und Archäologie»[5]), Prof. Seyffert[6], вынесет очень благоприятное мнение о работе, то цена 300 марок может быть понижена. Узнав это, я простился. —

Представь себе далее, возлюбленная девочка, что я был перед ужином у Радиных[7]. Побуждением к этому визиту послужила встреча этической подруги с означенной четой, которая тотчас осведомилась обо мне, чем поставила этическую подругу в затруднение; но она как-то вывернулась и не сказала, что я уже здесь. После чего она уговаривала меня побывать у них, [ссылаясь] и была озабочена тем, что не знает, что́ говорить им обо мне. — Вот я и побывал у них сегодня и видел не только их обоих, но и мать Радиной, приехавшую на месяц. — Я просил Р<адиных> не говорить знакомым, что я в Берлине, я-де слишком занят перед экзаменом. С этическою подругой я говорил и много говорил о своем нежелании стеснять ее; но она совсем не хочет со мной расставаться и предупреждает только, что попросит, быть может, [впоследствии] потом, вследствие хлопот [предсто<ящего>] переезда на другую квартиру, меня, или [меня и тебя] нас, обедать некоторое время в ресторане. Они сами будут обедать вне дома во время от 10 до 15 Марта приблизительно, в каковые дни должен состояться переезд. К переезду она уже начала понемногу готовиться, и скоро будет приходить к ней ежедневно на два часа работница, чтобы помогать постепенно укладывать обильное хозяйство. Она так надеется на радость («Freude») быть с тобой («Zusammensein») и показывать тебе свои кулинарные таинства!.. Ей также очень хотелось бы познакомить с тобой своих музыкальных родственников; относительно чего я сказал, что решение должно быть предоставлено тебе. —

Прости, божественная девочка, за неинтересную болтовню. С буржуями жить — по-буржуйски выть. Слушай, что́ я накажу тебе: кланяйся от меня Гревсам и осведомься у И<вана> М<ихайловича>, сколько экземпляров [русской] *магистерской* диссертации требуется представить в России: это мне нужно будет принять

в расчет при издании. Затем наказываю тебе — не забудь — купить мне в Петербурге 1) твой «Мир Возможного»[8], 2) русских угощений и 3) водки. — Затем, еще раз напоминаю о необходимости заявить потерю паспорта и [вписать детей и Анюту в] справиться о том, как легитимировать существование детей и Анюты. Советую, наконец, еще раз, — посетить униженную и оскорбленную М-me Иващенко[9]. Кстати, из полученного русского календаря узнаю, что «Анатолий Павлович Иващенков» — товарищ министра финансов: надеюсь, что этот сановник не есть законная половина оскорбленной, столь скептически относящаяся к женщинам. — Из того же календаря почерпаю утешительное для тебя как писательницы-реалистки сведение, что Валерия значится в русских святцах. — Желал бы знать, в чем-то ты теперь гуляешь, Пантера, по стогнам северной Пальмиры, о тезка царицы Пальмиры полуденной *, и думаешь ли о том, что твое здоровье не тебе принадлежит... Милая, милая девочка, я так тебя обожаю, что мне очень, очень худо теперь вдали от тебя!.. И если тебе кажется, что письмо это приглуповато (что́ подозреваю смутно и я сам), — то причина этому та, что мое солнце удалилось от планеты моего мозга (выражаясь слогом Шекспира, который сказал бы то же самое на моем месте, если бы имел, как я, счастие быть твоим «глупым дураком»)... И если Гревс, или Г<аген>-Т<орн>, или Нечаев[10] ослепляют тебя теперь ракетами своего остроумия, то не приписывай этого им, а только себе. Ибо таково поистине твое свойство, что на всем вокруг тебя бегают от тебя яркие, веселые зайчики. Ах, я чувствую, что мой образ бледнеет в твоей душе... Девочка, девочка! Почему ты выбрала «борцов»? Чтобы показать, что и ты боролась — и поборола?.. Я ревную, девочка! Пошли мне зайчик, чтобы мне посветлеть... Целую тебя печально.. В день твоего отъезда был в отчаянии от твоей жестокости и написал тебе упреки, которые затем разорвал. Писал об окаменении каком-то сердечном, которое находит на тебя временами и из которого ты словно постепенно пробуждаешься под действием [сильного слова] горячих слов или при виде отчаяния, тобой причиненного. Оно страшно, это окаменение, и оно — факт... Лидия, Лидия, Лидия!!!

Весь твой, В.

* Зенобия или Зиновия[11]. (*Прим. Иванова.*)

Фрагмент — История и поэзия. С. 363. Помета: № 2; под данным обозначением имеется приписка Иванова, отделенная от него чертой и объясняющая смысл нумерации: «Обращай внимание на №, чтобы видеть, все ли письма дошли».

[1] Над датой письма сделана приписка: «Поздравляю с 9 месяцами Лидюши!!»

[2] Роскошь (*фр.*). Телеграмма из Кенигсберга — п. 252.

[3] S.Calvary & C° — крупное берлинское издательство научной литературы, существовавшее по крайней мере с середины XIX в.

[4] Безвозвратно (*фр.*). Обычно употребляется во множественном числе.

[5] «Берлинские исследования по классической филологии и археологии» (*нем.*).

[6] Речь идет об Оскаре Сейфферте (Oskar Seyffert, 1841—1906), редакторе названной выше серии.

[7] Нам известен доктор Евгений Петрович Радин (Eugen Radin, 1872 — ? ), учившийся медицине (психологии) в Берлине. Написал диссертацию об истерии у слабоумных («Die Hysterie bei den Schwachsinnigen» Berlin, 1900), по-русски издавал многочисленные книги, посвященные проблемам педиатрии, гигиены, физической культуры, педологии. Среди прочего отметим книги «Проблема пола в современной литературе и больные нервы» (СПб., 1910; посвящена творчеству М.П. Арцыбашева, Г. д'Аннунцио, О. Вейнингера, А.П. Каменского, С. Пшибышевского) и «Футуризм и безумие: Параллели творчества и аналогии нового языка кубо-футуристов» (СПб., 1914).

[8] Произведение под таким названием нам разыскать не удалось.

[9] См. пп. 164, 176, 183, 194..

[10] О В.Э. Гаген-Торне см. п. 178, прим. 7. О Нечаеве нам не удалось добыть сведений.

[11] Иванов имеет в виду Зенобию, королеву воинов в Пальмире в III в.

## 255. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *16/28 января 1897. Петербург*

*16 Янв.*

Дорогой Мунь, спешу и вечно помню одно, чтобы не терять минуту лишнюю и отдаляющую от тебя. Меня встретила Соня[1], так ласково и радостно, что согрела меня. Дома она осыпает ласками и заботами. Мне так тепло у нее. У брата сегодня застала приготовления к рауту, его почти единогласно, 120 пр<отив> 40 выбрали в губ<ернские> предвод<ители>[2]. Он странно исхудал и имеет вид нервный и измученный, кот<орый> ударил меня по сердцу. Пойду завтра утром говорить. Весь après midi[3] провела у Яковл<евых>, кот<орые> нашли меня неузнаваемо похорошевшею. Они такие истинные друзья. Я бодра, живу тобою, счастлива бесконечно. Целую как люблю. Думаю без труда устроить дело с домом у маленького нотариуса с тремя свидетелями.

До свидания, будь моим, скоро будем вместе. Л.

Соня <1 нрзб> вместе с поклоном и приветом посылает разрешение писать букву *Ш*[6].

Открытка. Петербургский штемпель — 17.I.97, берлинский отсутствует.
[1] С.И. Алымова.
[2] То есть в предводители дворянства Петербургской губернии.
[3] Послеполуденное время (*фр.*).
[4] Речь идет о разрешении писать отчество как «Ильинишна», а не «Ильинична».

## 256. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*17/29 января 1897. Берлин*

*29 Янв. вечером.*

Treu sein sollst du mir am Tage
Und mich lieben in den Nächten!
(Heine)[1]

Спасибо, дорогая и божественная девочка, за телеграмму[2]. Я заждался ее. Итак, ты только сегодня виделась с братом? На это указывает твое вчерашнее молчание... И Валентин[3] был «piuttosto [favor<evolo>(?)] benevolo»[4]? Да здравствует (piuttosto!) Валентин! Жаль только, что А<лександр> Д<митриевич>[5] большой дипломат и дипломатическое «piuttosto» растяжимо. Я так и ожидал, что он обратится с тобой мягко, но каковы его настоящие чувства, и какое положение займет он относительно нас? Из депеши вижу все-таки, что он тебя не прогнал и не отказался тебе помогать. Буду надеяться на лучшее и — ждать подробных реляций... Ах, дорогая, какое облегчение приносит телеграф! «Wie herrlich weit hat man es heutzutage gebracht»![6] Слава олимпийским богам за то, что мы не их подданные — современники Перикла![7] Во времена Канта восемь дней ехали из Берлина в Кенигсберг, и письмо туда стоило 80 пфеннигов, а телеграфа не было вовсе. Какое блаженство, что я не Кант!.. «А просто филистер», — быть может, прибавляешь ты. Но что же мне делать, как не филистерствовать, подобно Гётевским филистерам, рассуждающим за кружкой [пива] и трубкой о войне с Турками, если я принужден сидеть смирно в натопленной горнице и ожидать бюллетеней с театра военных действий, в то время как моя Амазонка неукротимая, моя воинственная Зиновия [-Менада] сражается где-то далеко с враждебной нечистью. Шиллер пел:

Der Mann muss hinaus
Ins feindliche Leben[8], и пр.

Как иронически меняются времена!.. Но, о ужас, что́ я делаю? Пустословлю уже на 3-ей странице, — когда умная девочка не терпит пустословия и напишет мне наверное: «Жаль, что ты слишком долго говорил о Канте и о Турках»... Она любит только, чтобы я писал ей о своей титанической любви и уверял ее в ней наивозможно красноречивее и в наиболее изысканных и разнообразных оборотах... А я? Что я делаю?.. Теперь я испуган, смущен, сбит с толку... Je ne fais plus que balbutier...[9] Я не решусь отнести сейчас это письмо... Я боюсь посылать его так... До завтра, Лидия, — Лилия, — Taube, — Sonne, — Wonne...[10]

И все же, милая радость, я должен указать тебе на твою опрометчивость и признаться, что как ты ни умна, — ты все же сумасшедшая. — Твоя телеграмма запоздала вследствие такой формулировки адреса: «Ivanov Rathenowerstr<asse>. Berlin». Ты решительно преувеличиваешь мою известность, думая, что № дома для меня уже «überwundener Standpunkt»[11]. —

Помета: № 3.

[1] Концовка стихотворения Г. Гейне «Morgens send ich dir die Veilchen...» («Утром шлю тебе фиалки...» — «Новые стихотворения», цикл «Новая весна»). В переводе В. Коломийцова: «Оставайся днем мне верной / И люби порой ночною».

[2] Телеграмма Л.Д. из Петербурга нам неизвестна.

[3] Имеется в виду персонаж «Фауста» Гёте.

[4] «Скорее благосклонен» (*ит.*).

[5] Брат Зиновьевой-Аннибал А.Д. Зиновьев.

[6] «Как чудесно все устроено ныне»! (*нем.*)

[7] Перикл правил Афинами с 460 до 429 г. до н.э.

[8] «Человек должен вступить во враждебную жизнь» (*нем.*). Цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Песнь о колоколе» («Das Lied von der Glocke», 1799). В переводе И. Миримского: «Муж выйдет в простор / Житейского поля».

[9] Я только и делаю что запинаюсь (*фр.*).

[10] Голубка, — солнце, — блаженство (*нем.*).

[11] «Устаревшая позиция» (*нем.*), здесь: «излишнее».

## 257. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*18/30 января 1897. Берлин*

*30 Янв., после обеда.*

Радость-Лидия! Письма от тебя все нет как нет. Не больна ли ты была на следующий день по приезде, почему и не поехала к

брату? Лидия, дорогая, здорова ли ты? Исполнила ли ты мой наказ и добыла ли себе теплое платье. Будь, ради бога, осторожна и не простудись. Ты, наверное, все кашляешь, и горло болит. Сегодня с утра мне не дает покоя забота о твоем здоровьи. — Получил открытое письмо Шарлотты — премилое, главное, прерадостное. У ЛИДЮШИ УЖЕ ДВА ЗУБА! Какова Пантерка! Ей привили оспу — она не плакала. И старшие дети все были vaccinés[1] и находятся в добром здоровьи и расположении духа. А «Babouchеka»[2] с воскресенья до четверга ночевала с Miss P.[3] у детей. Поблагодари ее хорошенько! Под всеми этими сообщениями и приветствиями подписано: «Votre amie Charles»[4].

Возлюбленная девочка! Эти два дня сижу дома и занимаюсь. Господствующее настроение — напряженно-ожидательное и склонное к боязливости... Ах, как тяжела разлука на таком расстоянии, в такое время! Левенгеймы злят меня в беседах уродливостью своей односторонности. Обожаю тебя, как ты не можешь себе и представить. Целую тебя, прижимаю тебя к себе в мыслях. Вижу тебя хорошенькой, пленительной. Но, увы, не могу сказать: «Sono teco»[5]. Лечу к тебе, хочу вызвать иллюзию твоей близости, [хочу к] гадаю всечасно, где ты и как ты... но все напрасно, не знаю, где ты и что́ с тобой, не могу следовать за тобой и только больнее ощущаю разлуку и даль расстояния. Ты в чужом мне мире, в чужой мне жизни, и к моей Sehnsucht[6] примешивается что-то вроде ревности... Когда ты вернешься?

Пиши!

Твой Вячеслав.

[1] Привиты (*фр.*).

[2] Мать Зиновьевой-Аннибал, С.А. Зиновьева.

[3] Компаньонка С.А. Зиновьевой miss Philipps. В России ее звали Эммой Васильевной.

[4] «Ваша подруга Шарль» (*фр.*).

[5] Я с тобой (*ит.*).

[6] Тоске (*нем.*).

## 258. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*18/30 января 1897. Петербург*

spediscimi certificato[1] hydia <sic!> sto bene todoro

Телеграмма. Берлинский штемпель — 30.1.97.

Перевод:

Пошли мне сертификат Лидии у меня все в порядке обожаю тебя (*ит.*, с ошибками). Верное написание см. в пп. 261—262.

[1] По всей вероятности, имеется в виду свидетельство о рождении.

## 259. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*19/31 января 1897. Берлин*

*31 Янв.*

Посылаю тебе, божественная девочка, вытребованный тобой Certificat[1] Пантерки; ты хорошо сделаешь, если приведешь его, путем подклейки, в более солидный вид. Дождался наконец твоих милых, любимых каракуль. Как странно действует на душу телеграмма! Она похожа на дуновение бесплотного духа, на шелест незримого мгновенного присутствия, на звук эоловой арфы, тронутой пролетевшею бестелесною тенью. (Как я поэтичен!). Откуда-то, из безвидного пространства, из неисследной дали, какая-то таинственная сила приносит привет, слово, — отвлеченный, одухотворенный отзвук бьющегося где-то далеко милого сердца, последнюю, легкую зыбь волнующейся где-то далеко милой воли, милой силы, милой жизни. Электричество, мистическая сила, становится слугой мистической силы любви и мгновенно отражает [светом то] слабым трепетом ее трепет, на пространстве, кажущемся недоступным для грубой материи. Телеграмма — пророческая, неземная птица: вдруг раздается над тобой плеск ее крыльев и пенье, и ее уже нет, и не веришь, что она пропела правду. Глядишь на черные печатные буквы и не знаешь, откуда они, и не веришь чувствам, вопреки увериям ума, что это слова милой. Но разум пересиливает сомнение, успокоение и счастие овладевают душой, а где-то в глубине души шевелится сиротливое страдание разлуки: и покинутым, одиноким, бесконечно-далеким [и чуждым] чувствуешь себя при этом спиритическом, чуждом всякого материального посредника сношении, будто живешь в другом мире, чем милая, будто милая — русалка в глубине озера, подающая знаки движением водяных лилий, а ты — покинутый изгнанник земли. Зато лилии своим колыханьем показывают мне, что милая русалка — в этот, этот самый переживаемый и потому золотой и благословенный момент — ды-

шит и живет, и для тебя колеблется и колеблет цветы, а собственноручные русалочьи каракули всплывают на поверхность воды только через три дня и потому имеют лишь интерес археологический, интерес «древностей Витербо»[2]...

Милая возлюбленная, извини за такую длинную и бесполезную болтовню, которой я сам очень стыжусь. Этическая [супруга] тьфу, тьфу, тьфу! — подруга *, — этическая подруга, говорю я, послала меня сегодня в концерт (дневной, интересный, посвященный Шуберту), так как приглашена с Мышкой к Тайному Советнику Фриделю — dinieren[3]. Но я в концерт не пошел, не желая терять времени (ибо хорошо работаю), а обедать должен был в ресторане, где выпил два стакана пива. Придя домой, тотчас стал писать и — неужели от двух стаканов? — дописался до такой чепухи и до такого — тьфу! — навождения...

Дорогая девочка, итак я очень счастлив, получив возлюбленные каракули — первое письмецо от тебя. Радуюсь успеху твоего брата[4] — имею слабость симпатизировать честолюбцам, когда они не слишком мелочны, — и тебя поздравляю: быть может, его чин к твоему делу на пользу послужит. Also — auch ein Ibsen'scher Held[5]? Исхудал, нервен и измучен — из честолюбия? Да здравствует, одним словом, Валентин! Очень тронут орфографическою гуманностью Софьи Ильинишны[6]: кланяюсь и благодарю. Что́ хочешь ты там делать у своего «маленького нотариуса» с тремя какими-то подозрительными свидетелями? Вероятно, какое-нибудь нечистое дело, боящееся света и больших нотариусов? Серьезно, сообщила бы ты мне сначала свой план! Фиктивная продажа дома Лидии — немыслима, вследствие огласки. Дарственная запись — или как это там зовется на жаргоне Берлиозовых чертей[7]? — бесполезна, не имеет значения, подлежит спорам. Хочешь ли ты изменить завещание? Мы с тобой что-то много говорили о неудобствах каждого их этих путей и, кажется, ни к чему не пришли. Отчего ты не пишешь подробно о своих намерениях?

Милая, милая Лидия! Я целую тебя нежно, нежно. Депеши делают меня таким счастливым. Вчерашнее «sto bene»[8] успокоило меня. Я занимаюсь с удовольствием. Мне блаженно знать, что ты думаешь обо мне, счастлива моей любовью. Будь здорова, девочка, и удачлива! Ἀγαθῇ Τύχῃ[9].

В.

* Ей-богу, само собой написалось такое навождение!.. Тьфу!.. (*Прим. Иванова.*)

Фрагмент — История и поэзия. С. 364. Помета: *№ 4.*

[1] См. п. 258, прим. 1.

[2] Витербо — город в Италии, известный хорошо сохранившимися памятниками архитектуры Средневековья.

[3] Обедать (*нем.*). Тайный советник Фридель — скорее всего, Geheimrat Ernst August Friedel (1837—1918), политический и культурный деятель, основатель краеведческого музея в Берлине (Märkisches Museum).

[4] Имеется в виду избрание А.Д. Зиновьева губернским предводителем дворянства — см. п. 252.

[5] Итак, еще один герой Ибсена (*нем.*).

[6] Имеется в виду разрешение писать в ее отчестве букву «ш», а не «ч» (см. п. 255).

[7] Имеется в виду симфоническая поэма Г. Берлиоза «Осуждение Фауста» (1846).

[8] «У меня все в порядке» (*ит.*). См. п. 258.

[9] В добрый час (*древнегреч./новогреч.*).

## 260. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*19/31 января 1897. Петербург*

*19 Янв. 97 г.*

Мунь, что сказать тебе? получила твое письмо, и стало хорошо на душе. Милый, прежде всего скажу тебе: я счастлива тобою, и в жизни боюсь только две вещи: потерю тебя и потерю детей, которых вырастила и полюбила. На борьбу за эти две вещи у меня хватит сил, но на борьбу со всеми мелкими преградами — нет. В крупном я полна энергии и гордого сознания высшей силы воли, но, право, сегодня я очень искусилась мыслью бросить всё: адвоката, брата, развод и Россию, и уйти к тебе и к детям, а там пусть осмелятся оторвать от меня тебя или их. Сегодня говорила с братом и услышала от него, что если бы он знал, то не взял бы председательство, т.к. я «взяла их фамилию» и... ясно следует — позорю ее. Кроме того, слыхала, что он теперь никуда *не может* обратиться из высшего син<одального> начальства и что лишь только наши отношения с тобою узнаются, то к<омиссия> пр<ошений> моментально отнимет детей в пользу отца. В этом он не сомневается. Еще сделано было замечание насчет того, что Як<овлев> много денег забирал, а на мой счет — что я всегда была склонна к истерии и поэтому всю жизнь поступала ненормально. Каких бы то ни было вопросов о том, кто ты, об имени твоем, о нашем ребенке не было совершенно. После этой беседы пришел адвокат, кот<орого> не посвятили в тайну. Он объяснил мне, что бракоразв<одное> дело

идет так: 1) консисторский суд, где попы требуют известных тебе свидетелей, судят по букве, очень строго, т<ак> что адв<окат> прямо предупреждает, что консист<ория> провалит дело. 2) утверждается приговор высшим синод<альным> начальством, и оно сплошь и рядом переменяет приговор, судя по тому, на чьей стороне «рука». Он сказал: Ваш брат поговорит с митроп<олитом>[1], с Сабл<ером>[2] и т.д., и на это единственная надежда, т.к. кроме tableau de moeurs[3] г. Ш<варсалона> мы ничего представить положительного не можем. Надежды на исполнение обещания Син<ода> адвокат имеет мало, ибо только что был случай, где несмотря на «сильные влияния» к<омиссия> пр<ошений> отказала выдать подобный документ, а Синод отказался просить ее о выдаче. Ergo[4] успех весь в покровительстве брата. Но брат сказал: «Никуда и ни к кому я теперь не поеду». Ergo — развод c'est une blague[5], и лучше всего не «трепаться».

Суббота утром. Весь этот разговор происходил вчера. Сегодня я к брату *не* пойду. А завтра, когда он очухается, пойду и скажу так: «Милый брат, благодарю за хлопоты и любовь, извини за неприятности и выслушай мое решение: развода начинать не к чему, ибо без великих мира сего мне не обойтись для его успеха. Я решила уехать завтра же из России. Относительно "фамилии" скажу, что я не с меньшею честью ношу ее, чем ты, но, к сожалению, я ненавижу ее, т.к. она, кроме горя, ничего мне не приносила и поэтому дешев подарок, который я делаю тебе, обещая как можно скорей скинуть ее и принять ту, которую люблю и уважаю и на какую имею больше всего прав. Затем я поселяюсь со своею семьею там, где нам удобно в Европе, и наивысшее мое желание, чтобы ни я, ни вы (фамилия которых так велика и прекрасна) не тревожили бы более друг друга никогда. Издали мы можем любить друг друга, вблизи только мучать. Детей же никто у меня не добудет, это уже дело мое. — ». Посмотрю, что скажет он в ответ на подобную речь. Я думаю, что он изменит свое решение, т.к. ему оно самому невыгодно.

От брата, у которого видалась и с адвокатом, поехала я разыскивать адр<ес> Тулин<ова>[6], который, кажется, преспокойно в Петерб<урге>, но сыщик никого не нашел. Я ехала и чувствовала полнейшую свою неспособность что бы то ни было предпринять, кроме высказанного выше решения. Я более не могу биться, как прежде: всё отказывается, и душа, и тело. Дома, несмотря

даже на ласки и поддержку Сони, чувствовала себя так плохо, что решила тотчас послать за Г<аген->Т<орном>. Он приехал, и мы провели сначала вдвоем, а потом втроем весь вечер до 12 ½ ч<асов>. Я ему сказала всё о нас. Сначала он казался сильно пораженным, но вскоре мне, как и бывало, удалось увлечь его в свое настроение и заставить ощущить <так!> жизнь, как того желала я, и у него вырвалась фраза: «Я знаю, что Вы умнее меня и разумнее меня относитесь к жизни. Да, человек живет *один* раз, к чему забывать свою жизнь и не брать лучшего, чего она дает.... но я не могу иначе жить, и я могу лишь понимать других, сам же даже взвинтить себя на жизнь не могу...» Он много говорил о себе, о своей службе, и в каждом слове его по-прежнему светилась его прекрасная душа, вместе с сильным ясным умом. Он Дон Кихот, по его же словам, совершенно бессмысленный Дон Кихот. Если бы я сумела постичь его очень глубоко, какой красивый тип из категории Борских[7], и я, как Елена, весь вечер вчера была счастлива эстетическим наслаждением и согрета теплом старой, не слабеющей дружбы. Как мечтала я о том, чтобы ты сам его видел, тогда ты понял бы, как мало его понимаешь и как он лучше и красивее, чем ты думаешь. Он очень постарел.

Воскр<есенье>. Вчера была больна весь день головокружением и никуда не попала, только вечером съездила с Соней к Як<овлевым>, у которых читала роман, пела и произвела впечатление éblouissant[8] на этих добрых и верующих в меня людей. Для них всё во мне хорошо и красиво, и я мечтала бы, чтобы ты видел ту любовь и ласки, которыми они окружали меня. Радостно мне было слышать от Сони восторженные слова: «Теперь я глубоко верю в твой талант». Роман произвел сильное впечатление, т.е. *2 главы* всего. Теперь утро. Я сижу и жду Тулинова, которого выписала по адреса <так!>, добытому вчера. Вчера был у меня раут: Кать, Даш, Насть, Акулин, Васей, Шур и т.п. Некоторые доставили радость, другие нет. Мальчик, прости, что до сих пор ограничивалась телеграммами, не хотела писать, пока все так невесело и неясно. Прости, что написала benevole[9]. В конце концов брат был довольно ласков, так что, уйдя от него, у меня не было того резкого впечатления, какое образовалось к вечеру. Теперь жду свидания с ним, чтобы закончить письмо. Завтра вечером буду у адвоката, чтобы выслушать крокъ[10] жалобы и поговорить с ним еще.

*Вечер.* Была у брата, сказала почти буквально, как писала тебе, и еще с невесткой поругалась за то, что та стала мне что-то толковать о нравств<енном> долге перед детьми, я покричала слегка на нее и они оба утихли. Брат, конечно, тотчас испугался и стал толковать о том, что он всюду поедет и будет хлопотать, и единственное, что огорчает его, это страх за неудачу развода. Холод у нас мертвенный, но дело будет делаться. Надеюсь скоро вырваться: это узнаю у адвоката. Завтра добуду паспорт и деньги и узнаю о завещании у нотариуса.

Спасибо, Мунь, за письмо хорошее, доброе. Ты, наверное, сердишься за мое молчание, но мне было как-то невыносимо писать. Ах, как я ненавижу писать, и притом кружится голова. Целую бесконечно нежно. Кланяйся докторше. Я тебя люблю, обожаю, только живу мыслью о нашей комнате, куда рвусь, рвусь так, что писать вдвойне тошно. Скоро, скоро... твоя, твоя.

Лид.

Соня была тронута письмом и ответит. Ангел, золото, мое собственное, прощай.

Конверт со штемпелями: С.Петербург. 20 янв. 1897 — Berlin.3.2.97.

[1] Митрополитом Петербургским и Ладожским в 1897 г. был Палладий (в мире Павел Иванович Раев, 1827—1898).

[2] Владимир Карлович Саблер (1847—1929) — в 1881—1905 гг. товарищ обер-прокурора Священного синода.

[3] Картина нравов (*фр.*).

[4] Следовательно (*лат.*).

[5] Это шутка (*фр.*).

[6] Об этом лице (см. ниже в пп. 264—265 о его предполагаемой роли свидетеля в деле о разводе Зиновьевой-Аннибал) у нас сведений нет.

[7] Герой одноименной романтической стихотворной повести А.И. Подолинского (1829). Упоминаемая далее Елена — его возлюбленная.

[8] Ослепительное (*фр.*).

[9] Благосклонен (*ит.*).

[10] От *фр.* croquis — набросок.

## 261. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *20 января / 1 февраля 1897. Петербург*

sto benissimo valentino liberra <так!> margherita tadoro orasempre

Телеграмма. Берлинский штемпель — 1.2.97.
Перевод и его толкования см. в п. 262.

## 262. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*20 января / 1 февраля 1897. Берлин*

*1 Февр<аля>*

Дорогая, получил только что, за обедом, депешу: «Sto benissimo, Valentino liberra Margherita, t'adoro, orasempre»[1], — и очень взволнован и обрадован ею; так что берусь скорее за перо, чтобы беседой с девочкой восстановить душевное равновесие. Во-первых, телеграмма очень загадочна, и я не знаю, так ли ее понял: хочу сейчас же написать, как я ее понял, и потребовать разъяснения. Во-вторых, девочку нужно обнять, хотя бы мысленно, если получена хорошая весть. В-третьих, девочкино письмо, второе, ожидалось мною сегодня утром, но не пришло, так что я опасаюсь, не пропало ли оно, и хочу *предостеречь* против излишнего прецизирования[2] в переписке. Все это побуждает меня писать. Прежде же всего — как понимать телеграмму? Сначала я прочел «libera» («освобождает») и два «r» поставил на счет телеграфиста, который пишет между прочим «orasem*phre*»! Смысл мне показался странным. Потом я напал на мысль, что ты хочешь сказать «liberera» («освободит»), и при этом толковании остаюсь. Итак, сегодня утром А.Д. дал тебе обещания хлопотать за тебя и высказал уверенность в успехе своих хлопот. Верно?.. A la bonne heure![3] Желаю наиполного и наискорейшего успеха великодушному Валентину. Я думаю, что его влияние теперь очень значительно и, что́ было возможно и нимало не затруднительно для графа Таманцева[4], должно быть еще легче теперь для него... A la bonne heure! —

До свидания, божественная девочка, целую тебя и возвращаюсь к истории Луция Элия Вера[5]. *В.*

Небольшой фрагмент — История и поэзия. С. 364. Помета: № 5.

[1] «У меня все прекрасно, Валентин освободит Маргариту, обожаю тебя, orasempre» (*ит.*). Под Маргаритой и Валентином, героями трагедии Гёте «Фауст», следует понимать Л.Д. и ее брата. См. п. 261.

[2] От *фр.* «préciser» — уточнять, точно указывать.

[3] В добрый час! (*фр.*)

[4] Главный герой романа П.Д. Боборыкина «Ходок» (1895).

[5] Отец императора Рима (161—169) Луция Аврелия Вера. Был усыновлен императором Адрианом, но вскоре (138) скончался.

## 263. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*21 января / 2 февраля 1897. Петербург*

*2/2/97*

trovato due testimoni divorso <sic!> sicuro presto

Телеграмма. Берлинский штемпель — 2.2.97.
Перевод:
Нашла двух свидетелей развод несомненно быстро (*ит. искаж.*).

## 264. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*22 января / 3 февраля 1897. Берлин*

*3 Февр. 97*

Я под впечатлением твоего письма, дорогая возлюбленная[1]! Я очень огорчен им. Я не хочу, чтобы мою девочку смели оскорблять. Валентин оправдал свое прозвание своею отменною грубостью. Я не забуду ему этого. Но зачем ты телеграфируешь неправду, глупая дурочка? Для того, чтобы я перестал верить твоим торжествующим и победоносным телеграммам? И так ты уже почти достигла этого. «Валентин освободит» — я перевожу: «Валентин похлопочет». «Divorzio sicuro presto»[2] — я перевожу: «можно попытать счастие и начать на всякий случай процесс». И тому подобное. Три тяжести лежат на твоей чашке весов: 1) твои два вдруг упавшие откуда-то с неба «свидетеля» (или ты извещаешь меня о свидетелях для нотариуса?), 2) надежда на помощь К<омиссии> Пр<ошений> и 3) надежда на успех Валентинова ходатайства. Но второй пункт отпадает, если прав адвокат в своем пессимизме, а первый... Кто такие эти два твои свидетеля? Мужик? Едва ли. И, конечно, неизбежный Тулинов, который как своими показаниями, так и «всем своим явлением» может лишь служить иллюстрацией и добавлением к «tableau de moeurs»[3], о котором говорил адвокат, — но не более того, ибо он не знает ничего положительного. Итак, первая инстанция процесса все же остается безнадежной или почти безнадежной, и можно ждать спасения только от Валентиновой храбрости, что́ не внушает мне особенной уверенности в успехе дела. «Столько» о твоей чашке весов. А что́ окажется на противоположной?.....

Милая девочка, без сомнения, писать все эти рассуждения излишне, и так как я раздражен сообщениями твоего письма, то писать мне вообще не хочется. Пишу же quand même[4] (хотя и решил было сегодня не писать) главным образом потому, что хочется просто поговорить с тобой, и обласкать тебя, и сказать тебе, как я страдаю за тебя и с тобой от всех этих «неотразимых обид, наносимых жаркому сердцу холодным светом»[5]. Потому что все эти Валентины и Валентинши ужас и отвращение внушают в живом человеке своею бездушною пошлостью, прикрытою мантией лицемерной морали и показной чести! Поэтому верь мне, что я не менее тебя ценю в Гаген-Торне способность — стряхнув с себя некоторым усилием воли привычного филистера — взглянуть иной раз на жизнь и свободно, и человечно... Ты даже красиво описала эту [твое] трансфигурацию:

> Du hebest dich zu höheren Sphären:
> Da er dich ahnet, folgt er nach[6].

Ведь — das Ewig-Weibliche zieht uns hinan[7]. Ты красиво описала это, потому что была сама исполнена эстетического Эроса, созерцая la transfiguration[8], и тебе казалось, что по твоей душе своей легкой поступью прошла сама Красота[9]... или, как это у тебя сказано, о ты, в писательский талант которой теперь и Софья Ильинишна[10] уверовала... или (лучше сказать в духе твоих метафор) вложила свой скептический палец... Милая девочка, не сердись за немного шутливый тон. Не Мефистофель внушает мне эту иронию, а бог любви, ревнивый Эрот. Ибо, имей я Мефистофеля к своим услугам, я бы немедленно расправился с Валентином, [по заслугам] как он того заслуживает... И имей я на посылках Мефистофеля, я... кто знает, не подставил ли бы я ножку некоторым «красивым типам из категории Борских»[11], непреклонным и убежденным, как rochers de bronze[12], но имеющим [способность] слабость оплакивать свою [непреклонность] убежденность и раскаиваться в своей [убежденности] непреклонности в часы вечерних tête-à-tête с хорошенькими женщинами, которые знают секрет заставлять «ощутить жизнь, как того желают они[13]»....

Не бойся, не падай духом, не печалься, милая радость, и знай, что я весь твой. В.

Orasempre.

Я прилежно работаю.

Зачем ты меня заставляешь платить почтовые штрафы? Что Дуня? Где она? — Если увидишь — поклонись.

Помета: № 6. Год к дате приписан карандашом.

[1] Речь идет о п. 260.

[2] «Развод несомненно быстро» (*ит.*). См. пп. 261, 263.

[3] «Картине нравов» (*фр.*).

[4] Все-таки (*фр.*).

[5] Из рукописного продолжения стихотворения «Воспоминание» (1828) Пушкина. См. п. 177, прим. 1.

[6] Иванов слегка меняет известное изречение Mater gloriosa из второй части «Фауста» Гёте (строки 12094—12095). В пер. Б.Л. Пастернака: «Направься в высший круг. Объятый / Догадкой, двинется он вслед» (*нем.*).

[7] Гёте, «Фауст», часть вторая, строки 12110—12111, т.е. последние слова всего произведения. В пер. Б.Л. Пастернака: «Вечная женственность тянет нас к ней» (*нем.*).

[8] Преображение (*фр.*).

[9] См. у Ф. Ницше: «"Das Gute ist leicht, alles Göttliche läuft auf zarten Füssen»: erster Satz meiner Aesthetik» (Der Fall Wagner // Nietzsche Friedrich. Werke in 3 Banden. München, [1963]. Bd. 2. S. 905), т.е.: «"Хорошее легко, все божественное ходит нежными стопами" — первое положение моей эстетики» (*Ницше Фридрих.* Соч.: В 2 т. М., 1990. С. 529 / Пер. Н. Полилова). В сокращенном и слегка измененном виде эта цитата служит эпиграфом к стихотворению Иванова «Гиппа» (I, 692).

[10] Алымова.

[11] См. п. 260, прим. 7.

[12] Бронзовые утесы (*фр.*).

[13] Слово «они» написано по старой орфографии с «ять» на конце, т.е. относится к лицам женского пола.

## 265. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*22 января / 3 февраля 1897. Петербург*

*Утро. Среда.*

Дорогое ди́тя, Мунья, божественный ребенок, дурачек и ангел, мое дело в шляпе. Только что был Тул<инов> и окончательно дал слово за себя и за своего товарища быть мне свидетелями.

Теперь нет, по словам адвоката, ни малейшего сомнения в успехе! Вероятно, выеду в пятницу днем. Тул<инов> честный малый, и теперь развод ускорится. Сегодня с тремя свидетелями: Яков<лев>, Неч<аев> и Сонин брат-офицер — могила!! буду составлять новое завещание, и Лидия сделается домовладелицей.

Я ужасно устала от друзей, суеты и России. Вчера окунулась вполне, были Туганы и Неч<аев> и посвятили меня en plein[1] в

взбаламученное болото. И уважение внушает их энергия и добродетель, и жалостливое презрение их односторонность колоссальная. В литературе и поэзии — нуль, кажется, только Mlle Г<уревич>, издательнице одного толстого журнала[2], один господин плюнул в лице, и Туг<ан-Барановский> находит, что это нехорошо, а книгу Мережк<овской> освистали за ее стихи, где говорилось, что она чувствует свое величие, любит себя, как Бога, и любовь ее спасет, что он ей близок так странно, но она одинока и идут они на Восток[3].

Мальчик, устала: каждый день несет с собою столько напряжения душе и телу. Спасибо за твои славные, глупые и прелестные письма, мой дионисический товарищ. Здесь меня фетйруют[4] и глубоко любят, с друзьями тепло, но, увы, я рвусь непрестанно от них к единственному другу. Мальчик, до свидания. Не стоит писать.

Твоя девочка.

Иду к брату на свидание с адвокатом. Целую, обожаю, бегу.

Мунь, не успела отправить письмо и узнала у брата ужасную новость от адвоката, что мне необходимо ехать прямо в Париж и там сидеть, пока не пригласит поп «мириться», ты помнишь, как тебя. Кроме того, адвокат говорил, что надо «жить со всею мудростью и осторожностью», чтобы Ш<варсалон> не мог подать контр-жалобу. Затем брат говорил каким-то злорадным тоном вроде следующего: «Ты слышала, что адвокат говорил, помни, что ничего не должно быть подозрительного на квартире или т.п.»

— Четверг, утром. — Совсем захворала от горя вчера и приходится отложить отъезд: кружится голова так, что никуда не могу. — Только что был адвокат у меня лично и сказал, что можно подписать все бумаги в Берлине, а что поп будет мирить не раньше Апреля. Я думаю, что жить у эт<ической> подруги без прописки вполне безопасно. Муня моя, мы спасены!

Муня моя, мы будем вместе уже в Воскресение[5] вечером около 7 и затем на столько времени, на сколько отпустят дети. Голова гудит от слабости, но счастие заливает сердце. Твоя девочка.

Конверт со штемпелями: С.Петербург. 23.1.97 — Berlin. 8.2.97.

[1] Полностью (*фр.*). Туган — видимо, Михаил Иванович Туган-Барановский (1865—1919), политэконом, «легальный марксист».

[2] Речь идет о Любови Яковлевне Гуревич (1866—1940), литературном и театральном критике, издательнице журнала «Северный Вестник».

[3] Имеется в виду книга З.Н. Гиппиус «Новые люди» (СПб., 1896) и конкретно вошедшее в нее стихотворение «Небеса унылы и низки...» (впервые — Северный вестник. 1895. № 3; впоследствии получило название «Посвящение»). О критической реакции на книгу см.: Летопись литературных событий в России конца XIX — начала XX в. (1891 — октябрь 1917). М., 2002. Вып. 1. 1891—1900. С. 216—217.

[4] От *фр.* fête — праздник.

[5] Ближайшее к данному дню воскресенье приходилось на 26 января / 7 февраля.

## 266. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*23 января / 4 февраля 1897. Петербург*

legata Lydia casa arrivo domenica sera

Телеграмма. Берлинский штемпель — 4.2.97.
Перевод:
Лидия связана дома приеду воскресенье вечером

## 267. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*25 января / 6 февраля 1897. Петербург*

arrivero lunedi sera

Телеграмма. Берлинский штемпель — 6.2.97.
Перевод:
Приеду понедельник вечером

## 268. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*27 января / 8 февраля 1897. Кенигсберг*

Arriviamo sette mezzo Olga stanca Dove dormira?

Телеграмма. Берлинский штемпель — 8.2.97.
Перевод:
Приедем шесть тридцать Ольга устала где будет спать?

## 269. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*27 мая / 8 июня 1897. Париж*

*Март 1897*

Две прелестные дамы с высоты птичьего полета мчат мысли к тебе.

Мне так странно быть высоко без тебя, заглажу грустное впечатление сегодня вечером, буду «высоко» с тобою.

Открытка с изображением Эйфелевой башни. Карандашом. Отправлено по адресу: Paris. 68, rue St Didier. Штемпель 7 juin 97 (повторный — 8 juin).

## 270. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*2 /14 июля 1897. Аннемасс*

*Вторник*

Милый, ненаглядный мальчик.

Ехали хорошо до Бельгард[1] — границы. Не доезжая ее, я просмотрела книжку indicateur[2] и нашла путь в Cluses[3] непосредственно из Bellegarde. Ты поступай так: бери билеты до Bellegarde, сдавай багаж до Belleg<arde> (если возможно) и во всяком случае сделай так: приедешь в Bellegarde в 4 ч. 56 м. утра, а поезд в Cluses идет из Belleg<arde>. В 5 ч. 16 м. ты пойдешь к employé[4] и попросишь тотчас выгрузить из Парижского поезда багаж по *квитанции* твоей, сам пойдешь в отделение enrégistrement[5], и тебе перепишут *по старой квитанции новую* на Cluses. Затем пересядешь в поезд на Cluses; он идет до Annemasse 6 ч. 24 м., пересадка: пьешь кофе. В 7 ч. 19 м. Отходит до La Roche — 7.55, и далее в 8.10 из La Roche и в 8.56 в Cluses. В 9 ч. 15м. из Cluses в Choutée! и в 12 или в 1 ч. ты уже дома!

Затем все хорошо. Полна любви и жду не дождусь тебя. Завтра же разведаю и телеграфирую. Просила тебя зайти самому к Гольштейнам, но, пожалуй, пошлю это письмо на имя Шарлотты. Зайди только за телеграммой, а то две телеграммы auffallend[6]. Целую тебя как люблю, т.е. всем телом и всею душою. Спешу. Воздух дивный. Хорошо! *Приезжай скорей.*

Лидия твоя ненаглядная

*Если я забыла* спиртовую лампочку *мою* для завивки — привезите. Уложите хорошо *часы*, а если трудно — не нужно.

Обедаем на террасе в Annemasse, горы вокруг, очень, очень хорошо, пишу за обедом.

В архиве данное письмо находится среди писем 1906 года, однако к этому году относиться никак не может. Наша датировка основана на следующих рассуждениях: письмо написано накануне 14 июля, национального праздника Франции (см. п. 184; факельное шествие проходило именно накануне), супруги раздельно едут из Парижа (маршрут через Бельгард, минуя Женеву, указывает именно на это), что исключает 1895 (в это время Иванов и Зиновьева-Аннибал вместе были в Париже), 1896 (Иванов находился в Париже, а Зиновьева-Аннибал в Грионе), 1898 (Иванов в Петербурге, Зиновьева-Аннибал в Киеве), 1900 (оба находятся в России), 1901 (Ивановы в Греции) годы. В 1899 г., скорее всего, Ивановы находились в России (последнее нам известное письмо датировано 3 июля по н.ст.). Насколько мы знаем, летом 1902 г. они в Париже не были. В 1904 г. они вернулись из России в Женеву (через Вену) 10 июля, что также практически исключает возможность такой поездки. Таким образом, возможны 1897 и 1903 гг. Наиболее вероятным выглядит в этой ситуации 1897 г., когда 14 июля приходилось на среду, Л.В. Иванова была «девчуркой» года с небольшим, и по письмам 1896 г. мы знаем, что ее няню звали Шарлоттой.

[1] Город в Швейцарии.

[2] Указатель (*фр.*).

[3] Главный город департамента Верхняя Савойя (Франция).

[4] Служащему (*фр.*).

[5] Зарегистрированного <багажа> (*фр.*).

[6] Заметно, бросаются в глаза (*нем.*).

## 271. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*2—3 /14—15 июля 1897. Клюз*

*Вторник вечером*

Дорогой Слава, пишу из Hôtel National в Cluses, где дешево и мило, где для души сладко, потому что в величественной раме вечных гор по улицам французского городка с музыкой шла процессия факелов, и радостно было мне за славную Францию, и сердце расширялось от величия и сладости великих Слов: Свобода, Равенство и Братство[1]. Словом, хорошо здесь. А по дороге сердце ныло от тоски по тебе. Очень люблю тебя, очень, очень и очень обожаю и тоскую физически без тебя, точно без воздуха или света. Скорее, скорее приезжай.

Бери 3-й класс от Бельгард. Гораздо удобнее и дешевле не ехать в Женеву: ни таможни, ни извощиков, и в 12 или в 1 ч. в chalet! Мальчик, купи на базаре av. Victor Hugo кажется, № 100, ¼ моего acide Par.. и сними с кружки в твоем плакаре[2] на дне (в ней, я забыла, воды налито немного) *наконечник стеклянный*,

только его, остальное у меня все есть, а это я забыла, и здесь искала тщетно, но acide добуду в Женеве, когда поеду к отцу, поэтому мне больше чем довольно недели на 2, 3 ¼ Litre.

Кажется, твой поезд идет directement[3] от *Annemasse do Cluses*. Целую тебя и девчурку. Поклон Шарлоте.

Вся твоя

Лидия.

Дети наверху. Пусть Шарлота не забудет, уезжая, отдать consierge[4] ключ от столовой и при этом сказать: Mme a fermé les trois autres pieces, et cette clef elle laisse a vous[5]. Также и ключ от моего appartement[6].

*Утро*. Не спала почти ночь: мысли летали во всем теле, как ураган. Утро чудное, прозрачное, и воздух живительный. Тоска по тебе глупо грызет, гадкий, нехороший.

Сестра твоей Звезды.

Письмо написано карандашом.

[1] Речь идет о праздновании 14 июля — годовщины взятия Бастилии.

[2] Стенном шкафу (*фр.*).

[3] Прямо (*фр.*).

[4] Консьержу (*фр.*).

[5] Госпожа закрыла три другие комнаты, а этот ключ она оставляет вам (*фр.*).

[6] Квартиры (*фр.*).

## 272. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*15/27 августа 1897. Женева*

Sono ben venuta rosa saluta

Телеграмма из Женевы в Шамони. Штемпель — 27 aout 97.
Перевод:
Приехала хорошо. Привет розе (или: роза передает привет)

## 273. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*Конец августа или начало сентября н. ст. 1897. Женева*

Худо мне ужасно, Мань-Мунь. Отец болен тоскою, как бывало давно в России еще, периодически. А я понемногу приближаюсь к отчаянию, несмотря на все старания и усилия. Выдержать

здесь долее двух дней невозможно. Буду терпеть из-за всех сил <так!> до четверга. Он стонет и стонет ежеминутно, а меня всю переворачивает. Не могу... не гожусь.... Еще полдня, и день, и две ночи, и я спасена. Дом мой милый, дорогой, семья моя милая, дорогая. Рвусь в наш прекрасный шале, где мир и радость... Здесь умираю. Дрянь я <1 нрзб>, но отец меня более не любит, он только стонет, и я ничего не могу ему помочь. Нет ему спасения. Что же ты не пишешь? Я забыла сказать, что адрес вполне известен Луизе давно, так что нечего опасаться тебе писать.

Ну обнимаю и целую в тоске и Sehnsucht[1].

Твоя Лидия

Кончаю письмо у доктора. Жду бесконечно очереди, а папа меня ждет в карете. Плохо старику, он болен.

Приеду в Четверг в 3 ½ дня в Montées.

Милый Муня, я сижу здесь два часа, а папа в карете, но писать не могу, тяжко мне, нехорошо.

Порядок следования данного письма и п. 269 по содержанию определить невозможно. Датируются по связи между собою, содержанию и сохранившемуся конверту, адресованному в Hôtel des Montées par Chamonix, со штемпелями: Genève. 31.VIII.97 — Chamonix. 1 sept. 97. Ближайший четверг приходился на 2 сентября.

Начиная от фразы «Кончаю письмо у доктора» написано карандашом.

[1] Тоске (*нем.*).

## 274. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*Конец августа или начало сентября н. ст. 1897. Женева*

Мань Мунь..... спи!*

Ах нет, тебя нет, и я одна. Скажу два слова: здесь всё та же тоска, вздохи, стенания, и та же ласка, вместе с тем та же недоговоренность, руготня, хитрость — словом, то, что томит жалостью и чем-то похожим на отвращение к tutti quanti, ибо все лгут мне, все мне чужды и все презирают меня.... Была сегодня в церкви, видела Mr Spassó.... т.е. устроителя festival russe[1]. Он уговаривает лечить горло, толкует о гранулециях <?>, серных водах и о том, что у него то же случилось, и он вылечился (горло мое плохо), а так как вдобавок представляется петь в Октябре 1) на его концерте в Лозанне, 2) устроить самой концерт с каким-то бари-

* Точки Зиновьевой-Аннибал.

тоном Реймертом (художником тоже[2]), которого Spassó... приведет мне (точки означают входский), 3) петь в соборе Stradella[3] или иное... то видишь, что умно сделаю, если завтра поеду к специалисту по горловым болезням. Я воскресла надеждами. Toriggi пригодится: повторю с ней романсы, если буду петь.

Она здесь, но я теперь к ней не пойду. Какая дрянь. Целую, дитя, тебя, ночь, устала, не сплю почти, плоховато. Время плетется. Верно, в четверг буду с тобою. Целую деток и дорогую Аню и Олю.

Твоя бесконечно любящая, тобою лишь живущая

Лидия.

О датировке см. преамбулу к примечаниям п. 270.

[1] Господина Спасó... русского праздника (*фр.*). О П.И. Спасовходском и festival russe см. п. 157, прим. 4 и 5.

[2] Собрать сведений об упоминаемом Реймерте нам не удалось.

[3] Алессандро Страделла (1644—1682) — итальянский композитор эпохи барокко.

Париж. Люксембургский сад. Фонтан Медичи

Полина Виардо в разные годы жизни

Булонский лес. Дети на прогулке

Париж. Площадь Пасси

Париж. Трокадеро

Лондон. Английский парламент

Виды Лондона. Почтовая открытка

Лондон. Трафальгарская площадь

Лондон. Площадь Пикадилли

Берлин. Унтер ден Линден

Берлин. Музей Пергамон

Берлин. Университет

Т. Моммзен и дом, где он родился. Почтовая открытка

Т. Моммзен. 1890-е гг.

О. Гиршфельд. 1900-е гг.

Дж. Л. Пэтон

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Петербург. Таврическая улица, дом 25.
«Башня» Вячеслава Иванова

Петербург. Вид Невского проспекта

Петербург. Николаевский вокзал

Петербург. Невский проспект

Сергиевская пустынь

Павловск. Вокзал

10 Сент.

Ещё могу я сказать тебе, моя тоска, моё сокровище, моя грусть, моя страшно любимая, моя Вечная, душа моей души, возбудившая во мне столько сомнений и мне не оставившая ни на одно, между тобой и моей совестью, между твоим взором и твоей покорностью, и моей судьбой и Провидением, которое послало тебя судить меня, несравненно виноватее тебя, и при такой безмерно виновной — тебя, что разрушила мир твоей души и, будучи сама, не спавшей оставить тебя, а одни страдания! О, моя возлюбленная, — явившаяся мне как ветер пустыни и внезапно обвившая меня, чем более я узнаю тебя, — просто, что я, почти пробыв с тобой, боюсь и тебя, как нравственную порчу, мною переживаемую! Николай равнин

Начало письма 17

# *ПЕРЕПИСКА*
# *1 8 9 8*

## 275. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*13/25 (?) апреля 1898. Турин*

Пишу из Турина в час дня. Только что поела макароны и запила чашкой черного кофе. Очень устала. Кофе помог. Доеду как-нибудь, ведь во II-м лучше третьего. Зато уж душа от II-го страдает. Такую мерзость развозят вместо людей. 1) трех немцев: первый гаденький, маленький, нагленький, с мягкой шляпой набекрень, с *огромными* ушами и руками, перетянутый <?> брелоками и кричащий ежеминутно: «Es ist mir Wurst»[1] или «die Hunde (про кондуктора) коммен нихт мер»[2], или «wir werden schangieren* müssen für Milano»[3]; второй, с лицем пилы, с горестным <?> носом, безбородый и волосы ежом: спал всю дорогу, вытянув ноги, так что дамы лезли, как через забор, 3-й точно из дерева накрашен и лакирован и гаденькая, <1 нрзб> песочная бородка, и ушки растут: неумно** и мертво <?>. Потом везли парижанку, которая жрала: окороки цыпленка, сыр, потрошки <?> и апельсин и запивала чудным вином, на всех фыркала <1 нрзб> надменной, вульгарной старой буржуйки, за ней все ухаживал и ел с нею итальянец, красавчик, в духе Тулинова, и все итальянцы были у ног Франции: очень уж нагла она. Словом, сквернось II класса. Под конец вошли мужики, и франц<ужен>ка за их спиной фыркала своему кавалеру, тогда полегчало. Напишу из Модены. Всех целую, все думаю о вас. Darling Coonn, I am yours for ever. Quite near you, my saint <?> <1 нрзб>[4].

---

* Вписано сверху как перевод: changer[7].

** Возможно, должно читаться: шумно.

Проехала Ломбардию: ширь зеленая, вода, аллеи <1 нрзб> ветел и... <так!>, поля. Хорошо, точно в Павии. <3 нрзб>.

Coonn, I adore you, be happy and cheerful, be kind to stupid Lidia <?>. Do not grieve, dearest Coonn, I am very courageous, I am sure to be soon with you. Stupid boy, if your tooth aches, ask for the кокаин <?> Olga has. Love me as I you and be quiet and write «Врата»[5]. I am so happy to have my роман, точно я не одна, точно не между уродливыми <1 нрзб>, и со своими «людьми» и with you, my мусагет[6].

Открытка. Адрес: Al Gentilissimo Signore Venceslas Ivanov. Arenzano (Ligure). Italia. По тому же адресу отправлены все письма Зиновьевой-Аннибал вплоть до п. 288. Штемпель: Genova 26.4.98. Туринский штемпель не сохранился.

[1] Мне все равно (*нем.*).

[2] Собаки... больше не придут (*нем.*; вторая часть транслитерирована кириллицей).

[3] Нам надо будет пересесть для Милана (*искаж. нем.*). Зиновьева-Аннибал превращает французский глагол changer (приводя его как перевод над строкой) в несуществующий немецкий schangieren, тогда как должно было быть umsteigen.

[4] Дорогой Кунн, я твоя навсегда. Совсем рядом с тобой, мой святой <?> <1 нрзб> (*англ.*).

[5] Поэма, вошедшая в сборник «Кормчие звезды» (I, 662—667).

[6] Кунн, я обожаю тебя, будь счастлив и радостен, будь добр к глупой Лидии <?>, не печалься, дражайший Кунн, я очень мужественна, я уверена, что скоро буду с тобой. Глупый мальчик, если у тебя болят зубы, попроси кокаину <?>, который есть у Оли. Люби меня, как я тебя, и будь спокоен, и пиши «Врата». Я так рада, что у меня есть мой роман, точно я не одна, точно не между уродливыми <1 нрзб>, и со своими «людьми» и с тобой, мой мусагет (*англ. искаж., рус.*).

[7] Здесь: пересесть (*фр.*).

## 276. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*14/26 (?) апреля 1898. Шамбери*

Как видишь из телеграммы, я осталась ночевать в Шамбери. С 3-х часов начала болеть голова, потом совсем заболела, стало гудеть в ушах и дальше ехать было невыносимо. Решилась выйти здесь. Нашла недорогой и порядочный отелик, отправила папе депешу, что буду в Женеве завтра утром в 11 часов, и сейчас лягу. Не хочу есть или пить, только спать. В 6 ½ разбудят. Стала очень слаба. Если придется ехать в Вену, то в несколько этапов, а в Россию не смогу. Но там увижу, дух еще бодр. Будь ты спокоен. Всем

поцелуй передай. Обо всех любовно думаю. Я весь день не читала, мыслей было много <?>, но увы, не о «деле», всё «артистические». Dearest boy, beloved boy, be good, write «Врата» and son<n>et of the sea. Love me Coonn. I adore you[1].

Смешно говорить по-французски. А все-таки близка мне Франция и мила <1 нрзб>.

I am well and thousand kisses *everyw<h>ere* <?> for you[2].

Открытка. Штемпель: 27<?> Avril 98, gare de Chamberi, Savoie.

[1] Самый дорогой мальчик, любимый мальчик, будь хороший, пиши «Врата» и сонет о море. Люби меня, Кунн. Я обожаю тебя (*англ.*).

[2] Я чувствую себя хорошо, и тысячу поцелуев *повсюду* <?> для тебя (*англ.*).

## 277. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *15/27 апреля 1898. Женева*

*27 Апр.*

Дорогой друг, приехала в Женеву более или менее живая, ничего себе. Папу застала на ногах, как всегда, усталого, но очень ласкового. Брат был *целую неделю* на страстной и уехал в вторник на пасхальной, с тремя сыновьями. Ничего о Сипягине[1] не говорил; но обещал папе хлопотать вообще. Послала телеграмму в Вену[2]. Тороплюсь, потому что пишу при папе в столовой, и он беспокоится. Целую всех. Я здорова и, главное, энергична. Будь бодр, работай *спокойно* <подчеркнуто дважды>.

Твоя Л.

Целую новорожденную[3], очень, очень и всех поздравляю, будьте веселые, пусть Оля накупит гостинцев *пятерым* детям[4].

Конверт со штемпелями: Genève. 27.IV.98 — Arenzano. 28.4.98.

[1] Дмитрий Сергеевич Сипягин (1853—1902) в это время был главным управляющим Канцелярии по принятию прошений на высочайшее имя. Впоследствии — министр внутренних дел, убит террористом, эсером С.В. Балмашевым.

[2] Телеграмма была послана адвокату Зиновьевой-Аннибал В.Е. Головину (см. об обстоятельствах переписки далее).

[3] То есть Лидию, которой должно было исполниться 2 года.

[4] Имеются в виду четверо детей и сам Иванов.

## 278. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*15/27 апреля 1898. Аренцано*

*27 Апреля*

Радуйся, Лая, Лая, Лая,!..[1] —

Сегодня утром свадебная крестьянская процессия проходила мимо villino[2], и невеста, очень недурная лицом и почти еще девочка, в фате с флер'доранжем и шелковом платье, одна, потупясь, важно и медленно поднималась шаг за шагом по нашей скалистой тропинке; толпа родных и жених, вероятно, между ними следовали за ней. Вместе с кортежем поднимался и человек, несший от тебя первую весточку — депешу из Chambéry[3], почему с нашей стороны встречали новобрачных некоторое смятение и крики: «Телеграмма, телеграмма!» При такой обстановке была получена эта первая весть от тебя, что́ я считаю добрым предзнаменованием. Теперь же передо мной уже и две твои картолины[4], несколько омрачившие меня известием о твоей большой слабости и утомляемости. С нетерпением величайшим и волнением жду первых известий о «деле». Вчерашний день, день твоего отъезда, показался мне, да и всем, чрезмерно длинным. Уроки, начатые после 8 часов, кончились в первом часу пополудни <?>. Я чувствовал себя, после волнений <?>, плохой ночи и при сильнейшем насморке и лихорадочном недомогании, очень худо, лег спать после завтрака и все грезил что-то об Иуде Искариотском, почему, встав после 4 часов, имел все неотвязные мысли о предателях и предательстве и даже непоколебимо убедился на некоторое время, словно вдруг прозрел <?>, что «сбивчивость» и «неубедительность» показаний о похождениях в Выборге условлена чрез посредство Копа[5] и оплачена. Только «артистические» мысли и рассеяли немного мое смятение. В лоне семьи дули мирные Зефиры и танцевали Грации. На твое место за столом торжественно посажена Анютой — Вера. Ночь провели в обществе вертящегося во сне кубарем и делающего руками жесты по воздуху — Fiber'a[6]. Ночь проводил я дурную, лихорадочную, смятенную и боязливую; неумолкающий соловей делал мою ажитацию еще более напряженной и мучительной. Было как-то зловеще и душно. Сегодня урок опять начался рано, и потому времени осталось много. Вчера дети дразнили меня и изображали, как на колокольне звонят: биби-кун, биби-

кун! Утром Анюта возвестила, что один птенец открыл глаза. А после завтрака я испытал тревогу: жар оказался у завтрашней новорожденной[7] больше 39 градусов (0,3). Как-то придется встретить день ее рождения? Вот тебе известия на первый раз, хорошее и дурное, без утайки. Худо без тебя. Но если ты будешь мне грозить скорым возвращением и нежеланием agir[8] как следует, то сделаешь мои беспокойства совсем невыносимыми. Меня только и успокаивает несколько мысль, что [ты уже в Женеве] первый шаг к действительной энергической и решительной борьбе сделан твоим отъездом, что ты уже действуешь. Каждый день теперь дорог, и все мне [кажется, мерещится] чудятся какие-то dessous[9], которые ты должна раскрыть и вывести на чистую воду. Дорогая радость, обнимаю тебя, как люблю, благодарю за ласку в письме, умоляю крепиться и мужаться. Поздравляю с нашей девочкой. Поклонись от меня сердечно Дмитрию Васильевичу[10].

Весь твой, всегда, Вячеслав.

Анюта объясняет жар Лили состоянием желудка; кашля и других симптомов нет. Она довольно веселенькая. —

Поклоны от всех. —

Только не нужно мизантропии.

Сережа и вообще дети тебя целуют крепко. С<ережа> спрашивает, «живы ли Монтейские голуби».

С удовольствием констатирую юмор в письме из Турина и усиленно рекомендую его для жизни и искусства.

Конверт с адресом: Monsieur de Zinovieff (pour M-me L.Z.). Aïre, près Genève. Svizzeria. По тому же адресу отправлены и все прочие письма Иванова, вплоть до п. 289. Штемпели: Arenzano. 27.4.98 — Genève. 29.IV.98.

[1] Вероятно, сокращение от «любимая».

[2] Маленькой виллы (*ит.*).

[3] Телеграмма неизвестна, однако упоминается в п. 276.

[4] Пп. 275—276.

[5] Лицо, нам неизвестное (возможно даже, что фамилия читается как «Кон»). Судя по всему, должен был свидетельствовать в деле Зиновьевой-Аннибал о разводе в ее пользу.

[6] Вероятно, от *нем.* Fieber — жар, высокая температура, лихорадка.

[7] Исполнялось 2 года Л.В. Ивановой.

[8] Действовать, поступать (*фр.*).

[9] Подоплеки (*фр.*).

[10] Д.В. Зиновьеву, отцу.

## 279. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*16/28 апреля 1898. Аренцано*

*28 Апр., Четверг*

Дорогая Лидия,

Как досадно, что ты разъехалась с братом[1]! Жду с нетерпением известий о Головине[2]. Устроив с ним свидание (добиться этого должно непременно), — следует тебе во всяком случае отправиться в Петербург и действовать на месте лично[3]: кстати, и брат твой теперь там. Должно все же просить его *тотчас*, я думаю, о ходатайстве у Сипягина. Но до отъезда в Россию нужно во что́ бы то ни стало увидеться с адвокатом. Если бы только он оказался еще в Вене! —

Бедная Лиля, как ты устала... Что делать, моя бедняжка, крепись; нужен теперь на некоторое время подъем душевных сил, они подымут и физические силы. Ты думаешь, мне не жаль тебя за страдания, которых стоит тебе это напряжение?.. Я с тобою каждую минуту; но мне хуже, хуже, чем тебе — хуже эта вынужденная недвижность и бездеятельное, ожидательное напряжение. —

У нас все благополучно. Лиле лучше. Она веселая, и жар спал. Это все у нее от желудка. Получишь ли ты мое вчерашнее письмо в день ее рождения? После завтрака справляли с ними праздник шоколадом с бисквитами. Заочно обнимаю тебя за нее. —

Ты убеждаешь меня спокойно работать; но покамест твои пожелания, как я и предвидел, не исполняемы... Ожидание трудно мне давалось всегда, руки невольно опускаются, мысль не работает; постараюсь привыкнуть и победить себя. Даже наверное привыкну и буду спокойнее духом, когда буду знать, что ты уже *действуешь*, — т.е. что ты в Вене и в Петербурге. Все боюсь, как бы ты не приехала, ничего не сделав, из-за какой-нибудь случайности, из-за невозможности поймать Головина. Даже и в последнем случае, поезжай, поезжай непременно в Россию: и не думай вернуться ни с чем! —

Прости за надоедливые и однотонные увещания. Ничего другого не идет мне в голову. —

Только что книги пришли из Флоренции. Я даже смутился. Для библиотеки, хотя и маленькой, нужна оседлость. А мы....? —

Сережа с Верой уверили Козленка, что ты с тетей Соней полетишь в шаре воздушном в Африку: он крайне озабочен и серьез-

но боится за тебя, о чем и пишет письмо... Спрашивал утром, не видно ли будет уже сегодня, как ты пролетишь над Генуей. —

Целую тебя, как люблю. Твой В.

Анюта просила добыть недостающую часть машинки для котлет. Ее нумер — № 5. На ней значится: *Entreprise* — tinned meat-chopper. MFG Cô Philadelphia U.S.A — Patent 30 Jan<uary> 83, 12 Aug<ust> 84, 13 Apr<il> 86. —

Конверт со штемпелями: Arenzano. 28.4.98 — Genève. 29.IV.98.

[1] Имеется в виду известие, сообщенное в п. 277.

[2] Владимир Евгеньевич Головин (1847 — не ранее 1918) — присяжный поверенный, ведший в это время дело Зиновьевой-Аннибал.

[3] О целях предполагавшейся тогда (но осуществившейся лишь позже, в конце мая ст. ст.) поездки в Петербург Иванов писал А.В. Гольштейн 3/15 июля: «Поездка Л.Д. в Петербург была попыткой двинуть дело личным участием и принесла, мне кажется, в этом отношении некоторую пользу. Дело не решено еще и в первой инстанции благодаря искусному затягиванию его Ш-н; но присутствие Л.Д. в Петербурге было полезно, между прочим, уже тем, что дало возможность, путем представления обстоятельных медицинских и, специально, психиатрических свидетельств, немедленно ответить на новую проделку Ш-а — на ходатайство его о расторжении брака в *его* пользу <...> по причине душевной болезни жены...» (Переписка с Гольштейн. С. 343).

## 280. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*16/28 апреля 1898. Женева*

*28*

Милый, дорогой.

Телеграмма отослана вчера[1], теперь 5 часов уже вечера и ответа нет. Пишу заказное письмо, прося депешей сообщить адрес. Я здорова, но слаба и нервна. Папа не ласков, и мне тяжело. Не дождусь уехать, потому что лишь стесняю его, а не радую. Целую бесконечно, люблю бесконечно, не живу, а томлюсь. Без тебя я мертва. Работай спокойно, это было бы огромным утешением. Папа страшно стонет рядом, суетится и торопит. Тяжко, но я хочу быть «человеком», а не тряпкой. Целую Анюту крепко. Как она спит, как нога, весела ли? как Оля, какова ее спина? Детей целую. Ангел, святой Кун.

Твоя до идиотсва <так!> и негодности лишь твоя и с тобою

Лидия.

Ночью ревела и тебе писала, но не пошлю, потому что я тряпка была.

Конверт со штемпелями: Genève. 28.IV.98 — Arenzano. 29.4.98.

[1] Имеется в виду телеграмма, посланная В.Е. Головину в Вену (см. п. 277).

## 281. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*17/29 апреля 1898. Аренцано*

*29 Апр.*

Совсем бы не нужно было сегодня писать, милая Лиля, да и не знаю, застанет ли уже тебя это письмецо в Женеве, но так мне жаль, так жаль тебя, так рвусь к тебе мыслью, чтобы быть с тобой и оградить тебя от духа страха, уныния и отчаяния[1], что просто невольно берусь за перо, хоть и боюсь даже, что неудобно писать к тебе так часто. Что же нам делать, если нет ответа из Вены? Быть может, нужно было адресовать не на имя отеля, а на имя Головина, чтобы ему переслали. Кто их знает, быть может, они не смеют сообщить адреса своих клиентов без разрешения на то последних. Нужно было бы одновременно послать письмецо или депешу на имя самого виновника переполоха. Увидеться с ним *необходимо*, повторяю еще и еще. Телеграфируй брату в крайнем случае или [Головину] Яковлеву, чтобы узнать его адрес через Петербург. И потом — в Россию нужно тебе спешить, непременно в Россию! С братом нужно видеться лично, ради Сипягина[2], и с самим Сипягиным; и к Гревсу нужно обратиться, если есть еще время для его показаний; и к Зарудной[3]. Одним словом, только на месте, в Петербурге, ты увидишь, к кому еще тебе придется заехать и у кого хлопотать. Личное впечатление на людей много значит. Тебя представляют себе только как «неврастеничную» барыню, резидирующую[4] в Париже...

Ради Бога, не теряй мужества и не опускай руки. Обо мне не беспокойся; я уже чувствую большой аппетит к труду, и мысль уже работает с жаром. Читаю полученные греческие книги. И к разлуке, и к неопределенности этой поры, и к невольному чувству постоянного страха и заботы за тебя и за дело — к Дамоклову мечу, одним словом, постоянно ощущаемому над головой, — отношусь уже с резигнацией[5]. Сердце вечно сжато, и его стараешься не чувствовать.

Берегись, Лиля, не простудись — всегда думай, что я с тобой, и стыдись делать без меня, что́ ты при мне бы не сделала. — Поклонись многоуважаемому Дмитрию Васильевичу.

Твой В.

Милая Лиля, и я от себя прибавлю с Козленком: «как бы тебя не съели дикие!....»

Фрагмент — История и поэзия. С. 381. Конверт со штемпелями: Arenzano. 29.4.98 — Genève. I.V.98.

[1] Ср.: слова из молитвы Ефрема Сирина, положенной в основу стихотворения А.С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...»: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности и уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми». У Иванова подобного рода отсылка — возможно, что и бессознательная, — встречается и в других письмах.

[2] См. п. 277, прим. 1.

[3] По предположению комментаторов (История и поэзия. С. 381), имеется в виду мать М.С. Гревс Зоя Александровна Зарудная, жена тайного советника, сенатора Сергея Ивановича Зарудного (1821—1887).

[4] От *фр.* résider, проживать.

[5] От *фр.* résignation, смирение.

## 282. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*17/29 или 18/30 апреля 1898. Женева*

Пишу два слова, чтобы сказать, что получила твое дорогое письмо[1], Вячеслав, и оно тотчас ободрило меня, больше — оживило, потому что я всегда очень страдаю и падаю духом ночью, и сегодня не спала почти, а письмо получила утром. Если у нас в комнате душно, пусть Сережа лучше спит в столовой? как ты думаешь. Ему очень вредна духота. Хотя мне будет очень грустно, что он не на моей постели. Адвокат канул в воду. Послала заказное письмо с faire suivre[2], если через дня три не будет ответа, значит — не отыскать его. Что делать? Ехать ли прямо в Россию? Отец страшно отговаривает, уверяет, что Саша сделает *всё*, что может, и т.д. Я же смущаюсь отсутствием там адвоката. Значит, придется действовать там без него. Что думаешь? Маленькими этапами надеюсь добраться... я слаба ужасно, хотя здорова видом <?>.

Жду известий о Лидии с нетерпением. Как-то справили вчера день? Я была у Жуковских[3], тосковала по дому невыносимо

<?>. Берегись простуды свято. Спасибо. Завтра утром напишу. Всем нежный, самый ласковый поклон. Orasempre Coonn. Л.

Открытка. Штемпель: Genève. 30.IV.98. Штемпеля Аренцано нет.
[1] Имеется в виду п. 278 или 279.
[2] Просьбой переслать адресату (*фр.*).
[3] Предположения о семье Жуковских см.: п. 208, прим. 1.

## 283. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*18/30 апреля 1898. Женева*

*30 Апр. 98 г.*

Дорогой Кун, имею два твоих письма[1], перечитываю их три раза в день: утром, днем после завтрака, когда папа идет поспать, и вечером на сон. С тех пор, как имею их, мне стало значительно легче. А то я совсем было обезумела. Сегодня ночью даже спала почти хорошо. Головин всё молчит, и неизвестно, где он. Думаю, что если еще через 3 дня, т.е. до Вторника, не будет известий, не считать ли это дело проигранным, и тогда как же? ехать в Россию?? Попаду туда на третью весну, и это единственное, что подымает еще мои падающие силы, ибо, Кун, знай, что я глубоко индеферентна <так!> к «делу», и если решусь на русскую поездку, то исключительно для «искусства». Я совершенная дрянь стала и к жизни не пригодна. Где-нибудь с тобою в тихом уголке писать и чувствовать —— вот и всё, и только для этого нужны мне деньги и свобода. Ну хорошо, уж так и быть, поеду за свободой! но ты, Кун, «пиши и чувствуй» хорошенько без меня, будь кай, Куня, будь кай.

Славинька, не скучай. Я очень надеюсь, что когда я выеду из Женевы, мне будет легче. Здесь мне невыносимо мучительно. Всё чуждо и всё мучает. Едем сейчас к Жук<овским>, и я опущу письмо, но и они чужды совершенно. Да и все чужды, и в Россию бы я не *смогла решиться* ехать, если бы не один родной огонек там теплился как награда за му́ку в их конце, на юге. Копорье! вот мое пугало, боюсь, что там я затоскую свыше сил. Там в сговоре молчать о Саше. Мать не пишет давно нарочно. Всё это подло. Саша был и в Венеции, катался всюду. Видно, что его мои дела мало трогают. Но не бойся: ссориться не буду, но и ласкам и любезностям его цену знаю. Злые, бессердечные, дрянные людишки! На-

смешка на человека! несчастные уроды, не понимающие красоты и счастия, недостойные его! Куня, если будет днем очень жарко, ты устрой, бесконечно обожаемая тварь, чтобы дети учились по иному порядку, т.е. чтобы в жаркие часы они сидели дома за уроками, а для каковской беготни пользовались свежестью. Быть может, ты уроки им разобьешь? словом, ты сам увидишь. Поцелуй их всех, дорогих, я всегда с ними, и девушкам, моим милым друзьям, мой горячий привет. С вами всегда. Моя Куунна или Кгунна (с придыханием), ты мой свет, моя жизнь, самый сокровенный источник ее, без него, я знаю теперь без сомнения, я умру тотчас, как подкошенная. Кун, любовь моя, до свидания, будь спокоен, трудись. Я буду умница. Я буду смелая. Куна, пиши, счастие, пиши, любовь моя, будь кай, радость, свет, жизнь моя. Твоя девочка. Твоя Лила.

Жду Тикушино[2] письмо! Целую его, дурачка.

Конверт со штемпелями: Genève. 30.IV.98 — Arenzano. 1.5.98.

[1] Имеются в виду п. 278 и 279.

[2] Тик, Тика — прозвище К.К. Шварсалона.

## 284. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*18/30 апреля 1898. Женева*

*30 вечером*

Куня, Вы не желаете меня принимать в свои объятия и все-таки придется, ибо, во-первых, к чему я поеду в Вену, раз адвокат сам говорит, что ему со мною нечего делать? во-вторых, уехать туда или в Россию от отца невозможно, ибо он не пустит! Я писала адвокату, что могу и желаю приехать, прошу его сказать мне, считает ли он полезным, как считал прежде неоднократно, личные переговоры. Он ответил этою депешею[1]. Мы с тобою воспламенились геркулесовскою жаждою деятельности, между тем, гидра оказывается простым ужем[2]. Напишу брату, и в случае его совета приехать, могу столь же удобно выехать из Генуи, как и отсюда. Теперь же ехать к адвокату не вижу смысла, раз он специально на мое предложение ехать к нему и запрос в конце письма, находит ли он эту поездку полезной, отвечает *pas d'urgence*[3], т.е. не важно, и déjà vu votre frère[4], т.е. брат сделает *всё*, что нужно. Куда же мне ехать?

Если уж найдешь необходимым, то лучше обождать возвращение <так!> в Россию адвоката. Словом, Кун, должны принять меня, выеду во Вторник или в Среду, если напишете, тотчас получу. Нет, ясно одно, что в Вену ехать *не* нужно, а в Россию *если* ехать, то позднее, потому что, очевидно, брат успокоил вполне Головина и дело стоит недурно. Не вздумай телеграфировать, лучше я дождусь письма, но, ради Бога, не принуждай меня ехать. От отца это почти невозможно, потому что слишком его волнует. Он боится за меня и ни за что не хочет, весь начинает потрясаться <?> и вопить, когда говорит об этом. Если найдем, вместе обсудивши, нужным, я выеду из Arenzano. Оно и почти не дальше.

Твоя Лидия.

Куня, целую, как обожаю.

[1] Телеграмма неизвестна, отчасти (а, возможно, и полностью) текст ее воспроизведен ниже.

[2] Имеется в виду миф о двенадцати подвигах Геракла/Геркулеса, одним из которых было убийство Лернейской гидры.

[3] Не к спеху (*фр.*).

[4] Уже видел вашего брата (*фр.*).

## 285. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*19 апреля / 1 мая 1898. Аренцано*

*1 Мая.*

Милая Лиля, сколько мучений пришлось испытать из-за того, что ты вчера оставила меня без письма! Все мы избегались на почту после каждого поезда!.. Но я соблазнял себя надеждою, что твое молчание указывает на твой отъезд из Женевы. И вот письмо твое, только что прочтенное, приносит в этом отношении обидное разочарование. Что же ты сидишь, ничего не предпринимая? Отчего не телеграфировала в Петерб<ург>, чтобы там справились об адресе Головина? Впрочем, если ты не сделала этого до сих пор, я не советую теперь прибегать к этому способу, который неизбежно надолго затянет дело. Очевидно, что ты должна немедленно ехать в Петербург, ведь и Головин туда должен подоспеть уже вскоре. Личное присутствие твое в Петербурге, при настоящем критическом положении дела, мне представляется безусловно необходимым и притом безотлагательным. Должно быть на месте и действовать, действовать до самого момента ре-

шения дела — и даже, быть может, после того. Я не хочу обещать ни тебе, ни себе, что твое пребывание в Петербурге будет делом нескольких дней: я считаю неизбежным дождаться окончания дела в консистории, оно же последует, по мнению Головина, в начале русского Июня. И я думаю, что эта жертва с твоей стороны принесет свои плоды. В России, думается мне, очень влияет на ход дела личное, неформальное вмешательство, не только в форме протекции, но и чрез непосредственное нравственное воздействие. Поверь мне, что очень будет важно для дела, какое впечатление произведет на всех твоя личность. Притом у нас любят, чтобы нуждающийся в силе «ходатайствовал» перед ней, и обнаруженный Канцелярией П<рошений> «нейтралитет» говорит сам за себя. Кстати, дело с этой Канцелярией — дело, по-видимому, очень тонкое. Припомни, что Ш<варсалон> настойчиво и вызывающе требовал, чтобы ваш dossier из Канц<елярии> был представлен в консисторский суд. Удивляюсь, как мы не догадались тотчас же, что, по крайней мере, торжественное заявление нейтралитета со стороны Канцелярии уже тогда было ему обеспечено. Очевидно, что о последовавшем теперь ответе К<анцеляри>и ему было заранее известно. Чрез кого он имеет сношения с этим двуликим, как Янус, и загадочным учреждением, неизвестно. С вероятностью можно предполагать здесь участие Ома[1]. Итак, твоя задача — перекрестить враждебное влияние 1) самым фактом ходатайства, 2) впечатлением твоей личности и нравственной правоты твоего дела, 3) эксплуатированием связей с Сипягиным и Корфом. Впрочем, не тебя учить, как действовать в Канцелярии! Вот твоя первая задача, и она очень важна! Далее, ты побываешь у всех, к кому брат и адвокат найдут возможным послать тебя, и будешь красноречива и энергична. Далее, ты увидишься с Зарудной; но если брат найдет это вредным, ввиду возможной конкуренции влияний (Саблера и Победоносцева), то ты оставишь пока З<арудную> в покое <?> если же на Саблера мало можно полагаться, то тем более драгоценна помощь Зарудной. Далее, ты попросишь Гревса помочь тебе, если адвокат найдет возможным привлечь и его. Вот покамест то, что́ я могу обозреть вперед; но несомненно, что на месте ты найдешь сама пути, быть может, вовсе непредвиденные. Итак, не сомневайся, что ехать стоит и нужно, будь умница, будь прежнею Эринией Шв<арсалон>а — прежде не нужно было учить тебя ни энергии, ни изобретатель-

ности. Доброй воли тебе нужно только на дорогу, и больше ничего. Поезжай же тотчас, сопровождаемая моей любовью и благословением! Поезжай, Лиля лилейнораменная, лепетоустная....[2]

Телеграфируй все важное. Телеграфируй о выезде в Россию.

У нас все благополучно. Девы с удивленным видом выслушали сегодня о твоем намерении ехать в Петербург. Они не берут на себя труд о чем бы то ни было думать и заботиться. А впрочем все очень милы. Грации все танцуют. А дети с ума сошли на каких-то каковских процессиях с унылым протяжным пением, крестами и хоругвями; на головах красные шапки, тростниковые палки украшены букетами цветов, развеваются пестрые знамена. Совершенно сумасшедшие! Окрестные ребятишки очень этим интересуются.

Я же — я вишу на твоей почте, и мною играют над бездной ночные ветры забот и страхов... Но ты видишь, что я шучу над своими ночными angoisses[3]. Что *худо* мне, скрывать не стану. Вдобавок и болен я до сих пор какой-то простудой, насморк ужасный, жар к вечеру, весь разбит, голова болит. Стал принимать хинин.

Будем безвольны, и будем надеяться. Можно надеяться в безволии, но только на главное и существенное. А главное и существенное для нашей жизни, чтобы мы были сохранены друг другу. Правда, Лиля!

Счастливого пути!.. И как буду бояться за тебя! Пиши же, без манкировки, и, главное, телеграфируй в моменты отъезда, прибытия, в важные моменты действий и всегда, когда подскажет любовь и забота обо мне. А вчера ты меня измучила. Вчера я не писал, думая, что ты уже не в Женеве.

Еще раз обнимаю и желаю счастья и удачи!

Поезжай «за свободой» и привози вместе с свободой — красоту! В.

Птенцы стали большие, все оделись (напоминает Анюта, чтобы я написал). Я люблю их смотреть.

Девушки кланяются очень; дети очень целуют. *Береги здоровье*. Будь радостна.

Фрагмент — История и поэзия. С. 381—382.

[1] О ком идет речь, нам неизвестно. Возможно, это Федор Федорович Оом, служивший в Канцелярии Министерства внутренних дел, потом в Обществе распространения Священного Писания в России.

[2] Лилейнораменная — постоянный эпитет Геры в «Илиаде» (пер. Н.И. Гнедича). Второй эпитет явно образован по сходной модели, но является неологизмом Иванова.

[3] Тревогами, заботами (*фр.*).

## 286. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*19 апреля / 1 мая 1898. Женева*

Мног<оуважаемый> Вл<адимир> Ев<геньевич>!

Очень благодарна за полученную вчера Вашу телеграмму. Я поняла из нее, что Вы не считаете в данную минуту важными личные переговоры со мною, а также что брат взялся сделать всё необходимое для моего дела в Петербурге. Тем не менее я очень прошу Вас быть столь добрым и не отказаться ответить мне без замедления хотя бы двумя словами на следующий запрос: Дело в том, что и всем мое здоровье <так!> несколько улучшилось, и я чувствую себя в более энергич<ном> настроении. Я и рассудила так: теперь дело мое приближается к концу и, быть может, именно теперь важно напречь <так!> все силы, чтобы конец был мне благоприятен, поэтому важно было бы лично побывать в Петерб<урге> и в совете с Вами и братом предпринять лично какие-либо шаги. Я думала, напр<имер>, что было бы недурно сделать самой визит Сипягину, от которого так многое зависит. Кроме того, у меня есть одна знакомая дама, состоящая в самых дружеских отношениях с Победоносцевым[1]. Было ли бы полезным добиться у нее замолвления слова за меня у него?

Еще, быть может, могло бы пригодиться свидетельство И.М. Гревса, который мог бы сказать столько же, сколько Яковлев?

Мне лично, при моей слабости, конечно, удобнее и приятнее было бы не трогаться с места, но если Вы найдете мое присутствие в Петерб<урге> теперь, по Вашему возвращению туда, полезным, то *я могу вполне* предпринять эту поездку, и от Вас прошу доброго совета, которому и последую. Напишите мне прямо, есть ли *существенная польза* в моем присутствии и в каких-либо моих предприятиях на почве моего дела в Петербурге. Часто личная инициатива самого заинтересованного лица в важном деле имеет неоценимое значение?

Или же Вы находите дело теперь настолько «у конца», что больше ничего к нему прибавлять нельзя?

Горяче буду Вам благодарна, если Вы черкнете тотчас одно хотя бы решительное словечко, чтобы мне знать, на что решаться.

Л.З.

1 Мая.

Вот, дорогой мой Куня, письмецо, посланное мною Головину только что и в страшном спехе, как всегда у папы и тайно от него. Отправила его в церковь, а сама побегу опустить письмо тебе. Видишь, я хорошо всё спросила Головина, и можно будет решать не сломя голову. Подождем. В сущности, телеграмма Гол<овина> с его rien d'urgent[2] очень успокоительное <так!>, и дело стоит хорошо, очевидно. Дальнейшие шаги — для очистки совести, так сказать. Не могу писать, кружится голова. Последние ночи спала хорошо. Привыкаю понемногу, но страшно: ты ведь знаешь, что я боюсь ночных «отчаяний» и безумий! Но буду молодцом.

Целую бесконечно.

Пиши *через день*, аккуратно.

Твоя Лила.

Прелесть моя, ангел мой, целую, обожаю. Жду ответа Головин<а>, т.е. Четверга или Пятницы.

Тику милого целую, напишу ему *завтра*. О, когда дикие меня захотят съесть, я им посыплю хвост солью, они очень боятся соли и убегут.

Конверт со штемпелями: Genève. 1.V.98 — Arenzano. 2.5.98.

[1] Вероятно, имеется в виду ранее упоминавшаяся Зарудная (см. пп. 281, 285).

[2] Ничего спешного. См. п. 284 (в синонимической форме pas d'urgence).

## 287. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*20 апреля / 2 мая 1898. Генуя*

*2 Мая.*

Пишу наскоро письмецо из Генуи, куда собрался только сегодня, задерживаемый до сих пор недомоганием, о милая, милая Лиля. Худо мне главным образом просто потому, что я ежеминутно чувствую разлуку и ежеминутно побеждаю это сосущее чув-

ство. К счастию, сегодня утром я неожиданно имел картолину от тебя[1]. Очевидно, что в отеле не решились сообщить адреса Г<оловина>, чтобы не подвергать своего клиента [возможным], быть может, враждебным преследованиям неизвестной дамы, или из подобных почтенных соображений. Но если бы они не знали адреса, или и самого Головина, то наверно бы известили тебя, уже ввиду настойчивости твоих розысков. Итак, должно предположить, что Г<оловин> был своевременно извещен отелем о твоей телеграмме и письме и — или письмо отеля и потом твое не попали до сих пор в его руки, или он отмалчивается, не желая нарушать far niente[2] своей вакации и не надеясь, что разговор с тобой будет ему теперь полезен. Впрочем, мало вероятности в том, чтобы он не интересовался свиданием с тобой. Во всяком случае, если не имеешь до сих пор известий, поезжай тотчас же, не теряя более времени, *которое **так** дорого*. Вчерашнее длинное письмо мое[3] развивает мой взгляд на необходимость поездки в Россию, и мне остается теперь только повторить свои увещания не отступать перед этим трудом и подвигом. Кто знает, быть может, от Сипягина все и будет зависеть, а брат твой не любит очевидно просить его, да и письменно ему ничего не присоветуешь и не объяснишь, если он раз не захотел понять этого сам. Одним словом, довольно увещаний и доказательств, нужно тотчас ехать. — Да притом подумай, как много завлекательного в поездке в Россию для тебя теперь, когда ты приступила к русским sensations[4] в романе. Не говоря уже о твоем «огоньке». — Милая девочка, как мне больно, невыразимо больно видеть из твоих писем, что ты обижена человеческим лицемерием и фарисейством. Ради Бога, побольше философской высоты во взгляде на Menschliches, Allzumenschliches!..[5] Лидюша, представь себе, все искала тебя, но на вопросы, где ты, упорно отвечала, с видом полной уверенности, — «бай-байка» и вскоре затем, всякий раз, (вероятно чувствуя, что не можешь же ты все бай-бай делать)... — «пысь-пысь». В этих двух занятиях и проходит твое существование, по ее мнению.

Итак, ты увидишь третью весну?

Целую тебя на дорогу, радостная Лиля, и будь здорова, счастлива и удачлива. Твой В.

PS

Самое главное забыл написать. Возьми самый быстрый и прямой поезд до Берлина, в Берлине отдохни, а оттуда до Петер-

б<урга> уже есть отличные прямые и скорые поезда. Если проведешь в Берлине день, поезжай к Gerhard'у или Leyden'у[6] и вели себя осмотреть хорошо, и спроси причину слабости, и только ли это анемия или что-нибудь худое, и режим. В Петерб<урге> я не знаю, есть ли теперь хорошие знатоки. Послушайся меня! Узнаешь часы и адрес в Adressbuch[7] отеля. Это ведь первые знаменитости и вместе очень доступны. Называются «Herr Geheimrat»[8].

Bonne chance[9].

В.

Штемпель: Genève. 3.V.98; штемпель Аренцано неразборчив.

[1] Имеется в виду п. 282.

[2] Ничегонеделанье, бездельничанье (*ит.*).

[3] П. 285.

[4] Впечатлениям (*фр.*).

[5] Человеческое, слишком человеческое (*нем.*). Название книги Ф. Ницше.

[6] Carl Gerhardt (1833—1902), Ernst Viktor von Leyden (1832—1910), врачи, известные специалисты по внутренней медицине.

[7] Адресной книге (*нем.*).

[8] «Господин тайный советник» (*нем.*).

[9] Удачи (*фр.*).

## 288. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*21 апреля / 3 мая 1898. Женева*

*3 Апр.**

*Получила письмо из Генуи*[1]

Дорогая Куна, жду письма твоего в ответ на депешу Головина[2]. Скажу тебе, как сумею, свои мысли: мне здесь невыносимо тоскливо, я изныла по тебе, тоскую и думаю о тебе постоянно, но порою, и именно к середине дня, т.е. часам к 3-м, тоска достигает такой степени страдания, что, кажется, больше нельзя терпеть, и всё мне представляется, что ты умрешь и что я тогда буду всегда в такой тоске, а так как это невыносимо, то делается мечта о смерти, о самоубийстве и отчаяние своей болящей слабости.... потом отходит к вечеру и остается глухая боль, и всё время, всегда, постоянно я считаю часы, дни, минуты и что-то всё рассчитываю. А здоровье расстраивается с каждым днем такой муки, и

* Зачеркнуто и карандашом вписано: Мая.

ничего не могу поделать, хотя вполне сознаю и стыжусь этой слабости, негодности, но страдаю — и всё. Теперь о России думаю так: с одной стороны, не могу понять еще, буду ли так же там тосковать, как здесь, знаю, что в Копорье буду, и знаю, что придется заплатить приличную дань этому постылому месту, и вперед боюсь. Что касается Петербурга, надеюсь, что заботы отвлекут от муки столь сильной. Затем путь к югу через Россию и Киев.. вот что манит странно и сильно. У отца на календаре Киевский новый собор[3] едва видно нарисован, а в «Ниве» и богородица Васнецова...[4] всё плохо или, вернее, совсем не видно, но все зажигает меня. И вот что тянет: Глебушка[5], т.е. кажется, что для русской части важно бы всё увидеть и ощутить там... быть может, даст много, но..... но, быть может, — ничего, потому что вдруг буду тосковать, как, например, теперь пишу, а тоскую при мысле <так!> о том, что долго буду ездить одна, и там именно в России одна! Всё может провалиться из-за тоски. Вот что я хотела сказать: значит, Васнецов <?> или, яснее<е>, Глебушка — *единственное, что тянет меня в Россию, но и это единственно<е> может кончиться крахом*. Другое же все ужасом наполняет. Не говорю, конечно, о Соне — это особое дело, — и без нее не решилась бы даже на юг, но до нее-то сколько мук, сколько непосильного бремени. И не лучше ли нам с тобою проехать через Грецию морем туда попозже.. но, конечно, мне надо Глебушку сейчас, роман непременно долже<н> двигаться теперь шаг за шагом и парал<л>ельно, и вопрос стоит так: или с Россией теперь, или без России по одним мечтам, но всячески за дело, и Глебушка — выступай, как знаешь, — одним Достоевским и угадкой... о моем «деле» не говорю, т.к. не имею еще ответа Головина и твоего. Но мне кажется, что мне там нечего делать или почти нечего, и что мы горячимся, так как Саша видел Гол<овина> в Вене и всё обещал сделать, и сделает, конечно. Гол<овин>, очевидно, совершенно спокоен. Кроме того, если бы пришлось ехать, совершенно не знаю, как возможно от отца ехать. Он так, бедняга, успокоился, он, очевидно, глубоко горевал из-за моей поездки в Россию, и оттого, вероятно, был оч<ень> ласков, теперь он совсем доволен, и первое слово произведет у него взрыв воплей и искреннего отчаяния, беда с ним! ведь жестоко и преступно его так волновать, и я совершенно не в силах.... Скажи Тику: всё устаю и не могу писать, завтра постараюсь: устаю оттого, что приходится целый

день с тетей Соней надувать шар через соломенку <так!>. Детям напишу. Скажи им, что голуби здоровы, голубка на яйцах сидит. Их очень любит дочь Луизы и им очень хорошо, бедняжкам. Как радостно, что их тогда спасли, дорогих птичек. Смотри чаще на птенчиков, я об них часто думаю. Дрянная Лидюшка, как нехорошо про меня говорит[6], но это почти что правда про исключительные занятия мои. Куня, я думаю ехать к тебе. Я очень, очень изныла, надо голову на плечо, на обожаемое плечо, голова устала, я устала. Куня, я слабенькая. Ты знаешь, я еще думаю и страдаю: худо, если *так* тоскует или тосковала Д<арья> М<ихайловна>. О, так и я не могу... если бы надо отказаться от тебя, одно спасение — смерть. Твоя, Куня, девочка.

Лила.

Мать пишет: целую крепко Вас, деток, девушек, о Сашиной поездке пишет как *ни в чем не бывало*, точно я, *конечно*, знала (хитрость).

Пришлю ее письмо в другой раз: в этот решаюсь послать письмо через них и боюсь тяжести, пусть думают, что пишу столько <?>.

Куня, твоя. Целую.

Конверт со штемпелями: Genève. 3.V.98 — Arenzano. 4.5.98.

[1] Речь идет о п. 287.

[2] Об этой телеграмме см. п. 291. Ответа на сообщение о ней Иванов явно не успел написать.

[3] Имеется в виду Владимирский собор в Киеве (освящен в 1896).

[4] Речь идет о росписи В.М. Васнецова во Владимирском соборе. Отметим, что здесь (и далее в данном же письме) фамилия написана как «Вознецев».

[5] Герой романа «Пламенники», прототипом которого, судя по дальнейшим письмам (см., напр., п. 304), был М.В. Нестеров (потому возможно, что «Васнецов» — бессознательная описка).

[6] См. п. 287.

## 289. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*22 апреля / 4 мая 1898. Аренцано*

*4 Мая.*

Итак, милая Лиля, решение относительно поездки в Россию положено тобой в руки Головина. Жду этого решения с мучитель-

ным нетерпением. В случае, если ехать он отсоветует и ты решишь вернуться домой, не забудь — опять напоминаю — побывать у хорошего доктора в Женеве. Дай тщательно выслушать грудь и осмотреть горло. Спроси о режиме против анемии, а также — и это очень важно — спроси, где тебе полезнее провести лето: быть может, он тебе присоветует поездку в горы. Спроси о голосе. Если будешь вскоре проезжать обратно через Альпы, не вздумаешь ли ты (даже в том случае, если доктор не прямо предпишет горы) остановиться, напр<имер>, в Турине, чтобы оттуда проехать через Аосту в Courmayeur[1] и поискать из этого пункта летнее жилище. Конечно, если доктор найдет горный воздух для тебя особенно полезным, необходимо будет переселиться в горы; если же нет, то не принимай высказанной идеи за совет, потому что остаться на лето в Аренцано (которое, особенно [после Генуи] по возвращении из Генуи и при теперешнем весеннем цветении и благоухании кажется мне земным райком) — и экономнее, и спокойнее. Опасаюсь только, как бы не сдали внаймы palazzino[2], потому что нередко заходят смотреть его. Следовало бы уже регулировать вопрос о летнем жилище. Все это, однако, дела второстепенные сравнительно с главным ожиданием и главной заботой. Если Г<оловин> напишет, что *не может* решить вперед о пользе поездки в Россию, — ***поезжай*** во всяком случае. Что-то сказал твоему брату Сипягин, если правда, что он обещал немедленно просить его? Удивляюсь, как ты ему не писала. Не спросить ли бы об этом депешей? Курьезно изъясняется Тулинов о своем и Копа показании. Как же видел сам-то он что-нибудь, если «в комнате было темно», так что Коп ничего разглядеть не мог?... Ненадежны твои свидетели! Затем, дорогая Лиля, *не* кланяйся, пожалуйста, от меня многоуважаемому Дмитрию Васильевичу. А также не мучайся и не тоскуй. О решении извести меня лучше, если можешь, телеграммой. Пересылаю тебе письмо Софьи И<льинишны>[3]. Анюта просит тебя купить для Лидюши клеенку, Оля — Геркулеса[4] (excusez du peu![5]) — очевидно, для себя; я напоминаю об абсенте и другом снадобье. Творческого жара лишен абсолютно; интересуюсь больше всего греческими книжками. Если поедешь, требую телеграмм с дороги. Делая здесь покупки, может быть, найдешь арифметику для низших классов, но с хорошей теорией, по-французски: привези нам с Сережей. Купи кстати Huysmans'a, Barret-Browning[6] и проч. Относительно решения о поездке в Петерб<ург> пожалуй-

ста не соображай с чувствительностью и т.п., а только с рассудком, достойно представленным Головиным и мною. Целую тебя как люблю. Твой В.

Тик уже еще написал письмо, но слишком тяжелое — сомнения о хвостах у диких[7].

[1] Курорт в Италии.
[2] Особняк (*ит.*).
[3] Алымовой.
[4] Сорт обработанной овсяной крупы.
[5] Не взыщите! (*фр.*)
[6] Жорис-Карл Гюисманс (1848—1907) — французский писатель. Елизабет Бэррет-Браунинг (Elizabeth Barrett Browning; 1806—1861); — английская поэтесса.
[7] Имеется в виду приписка к п. 286. Письмо обнаружить (или отождествить) среди сохраненных в архиве писем К.К. Шварсалона не удалось.

## 290. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*22 апреля / 4 мая 1898. Женева*

*Вячеславу Ивановичу*

Кунечка, ты себе и представить не можешь, до чего бессмысленно я тоскую. Совершенно свыше описания. Я отсчитываю часы минутами, о днях боюсь думать, впереди еще вечность тоски. Минуты проходят, как часы, а дни как недели. С утра радуешься проснуться попозже, чтобы день скрался на полчасика, и всё время сердце сжатое ноет и ежесекундно всё существо tressaillit[1] от стонов отца и от его страшных, темных окриков «что...о...о...о?» Тоска без меры, свыше сил, невероятная... я очень дурная, очень дурная... ведь есть люди, которые всю жизнь живут в такой тоске, а я не могу дня прожить без надежды скоро вырваться... Кун, я ходила в ванну, потом ужинала и получила твое письмо[2]. Дурень ты глупый, ты пишешь мне: будь радостна. Я не могу без тебя. Быть может, вне Женевы мне будет легче, но здесь умираю. Отец сначала был очень неласков, не целовал меня даже, и всё сердился, на каждое слово. Я даже расплакалась и сказала ему, что он мне не рад. После того он изменился. Он, надо сказать, заботится обо мне физически трогательно много, но что тяжко во всех его заботах — это полная нравственная индеферентность <так!>, вернее, индеферентность

ко всему моему душевному существу. Я должна спать хорошо, каждое утро ходить в кабинет[3] правильно, ступать по сухой тропинки <так!> и иметь довольно денег. Дальше уже ничего не интересно. А о тебе уже теперь ни гугу, о Лидюше также, настолько, что спросил: «Кто это — Лидюша?» — и сказал на мой ответ: «Ну да, ну да...», заминая; также и на поклон твой, который передала всего раз: «Ну да, ну да, иди, душенька, иди, не споткнись!..» Вместе с тем непременно хочет мне ежегодно лишние 3 тысячи давать для «справедливости, потому что у меня четверо детей и нет мужа, а прежде был муж и должен был (с намеком!) зарабатывать! к чему же Саша получает столько денег! а если у них там, в Нарве, процентов не хватит, пусть от матери отнимут выдачи, не к чему ей уйму такую, у нее свои есть 200 тысяч!..» Я ужасно устала, Куня, пиши мне про птенчиков и детей: каждое слово перечитываю сто раз. Но, увы, то, что жду с болью, того нет: твоей работы, твоего жара к греческим книгам и т.д.??. Куня, работай, гадкий. Жду ответа Головина, верно, придет не ранее пятницы, а может позже. Отсюда очень тяжко будет выбраться в Россию, отец будет в отчаянии. Он, быть может, так не хотел меня отпускать, что от этого был неласковый и тоскливый, потому что после депеши Головина весь воспрянул и письмо Головину я послала тайно. Смешные дети с процессией[4]! Поцелуй их, и девушкам поклон. Я хлопочу Анюте лекарство: в двух местах достаю рецепты, чтобы заказать здесь: у Жуковской, и написала два слова Гольштейну очень строго и прибавив благодарность Ал<ександре> В<асильевне> за желание прислать детям перевод, о котором я уже ранее спрашивала у нее. Куня, радость, прощай. Думаю, скоро свидимся, работай, гадкое дитя.

Твоя Лиля.

Может быть, снимусь.

*Я ни одного дня не манкировала*, только сегодняшнее письмо пойди <так!> завтра утром.

Датируется на основании конверта со штемпелями: Genève. 4.V.98 — Arenzano. 5.5.98.

[1] Содрогалось (*фр.*).

[2] Речь идет о п. 285.

[3] То есть в туалет.

[4] Зиновьева-Аннибал имеет в виду процессию, описанную в п. 285.

## 291. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*23 апреля / 5 мая 1898. Женева*

*Четверг*

Не имею еще твоего ответа на мое письмо, которое ты должен был получить уже в Понедельник, в которых <так!> заключалась телеграмма Головина и копия моего второго письма к нему[1]. Без того моя жизнь — это постоянное страдание, ноящее <так!>, невыносимое, а без твоих писем я бьюсь совсем бессильная. Сегодня послала Саше тайно депешу: considères-tu mon voyage Russie avant sentence, ma visite Sip., démarches Pobed. utiles[2]? Смотря по ответу поступлю. Я уже писала ему о возможности и желании моем приехать, но ответа не имею. В Субботу выеду туда или к тебе. Ничего больше не зовет в Россию, душа моя слишком слаба в одиночестве. На это письмо ответь на всякий случай 2-мя словами, на риск. Поклон всем. Твоя. Снялась у чудного фотографа — артиста.

Открытка. Штемпель: Genève. 5.V.98. Штемпеля Аренцано нет.

[1] П. 286.

[2] Считаешь ли ты мое путешествие в Россию до решения, мой визит к Сип<ягину>, заявления у Побед<оносцева> полезными? (*фр.*)

## 292. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*24 апреля / 6 мая 1898. Женева*

Пятница утром. Никто не пишет, не телеграфирует. Я больше сил не имею. Еду сегодня к доктору, очень рекомендованному Жук<овскими> как ученого и добросовестного <так!>. Заеду узнать отход поезда и уезжаю завтра к тебе. Сегодня уже почти всю ночь не спала. Кроме ворчания, нетерпения, стонов и переспросов я ничего не вижу. Не только любовности, даже внимания больше нет ко мне. Я так страдаю, что не могу описать, до одурения, до крика боли. Черт с проклятыми братьями, отцами, мужьями и адвокатами. Прокляты они мне все, ненавистные, кровопийцы, бессердечные, гнусные комедиантишки. Ничтожная <?> зловредная плесень. Откуда я родилась от этих людей, не понимаю, не мои они родители, проклятые. Я больше не могу. К тебе

еду за спасением, я умираю в пытке выше сил. Там, дома, увидим, как быть. Я с тобою расставаться не могу, я теперь уже не прежняя, нет сил, и одна лишь сила великая — любовь. Жди меня.

Когда ты получишь это письмо, я уже буду в пути, грудь дохнет хоть свободно, поэтому не терзания <так!> у меня. Но как я доживу до завтра? Всё во мне напряжено, так что слезы и проклятия рвутся наружу, и это настроение не минуты, а всех этих проклятых 10-ти дней. Твоя Лидия.

Открытка. Штемпель: Genève. 6.V.98. Штемпеля Аренцано нет.

## 293. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*25 апреля / 7 мая 1898. Женева*

*Суббота.*

Выеду завтра вечером, буду дома в Понед<ельник>, вероятно, в 3 часа. Хорошо бы тебе выехать в 11.40 в Пельи[1], где и придется ждать, вероятно, поезда-омнибуса, останавливающегося в Arenzano около 2-х часов, т.к. мне сказали, что в Геную я приеду в 12 дня, в Понедельник, следовательно, в Sampierdarena[2] раньше и, кажется, есть курьерский, с которым могу доехать до Пельи, но останавливается ли он в Пельи — спроси на станции и приезжай в Пельи на встречу, успеем осмотреть парк[3]! Получила от брата и Гол<овина> советы не ехать теперь в Россию, последний говорит, что когда дело будет в Синоде, хорошо бы мне приехать. Не знаю, получишь ли это письмо завтра. На почту опоздала... обещали снести отсюда, но, пожалуй, обманут. Старик вдруг весь разнежился по-прежнему и не отпустил меня сегодня. Он и нездоров стал, и такой бедняжка, не решилась ехать, хотя всё решено. Как только он стал добрым, и мне стало легче, и умное терпение явилось. Я всё хорошо сделала. Буду спокойна.

Тик дорогой, спасибо, добрый мальчик. Мама шутила, конечно, — нет хвостов у диких; еду к тебе и везу гостинца.

Биби-кун.
Биби-кун.
Биби-кун.
Ура!
ура
ура

Скоро
Дома!!

Открытка. Штемпель: Genève. 7.V.98. Штемпеля Аренцано нет.
[1] Пельи (Pegli) — морской курорт и зимняя климатическая станция близ Генуи.
[2] Название одной из железнодорожных станций в Генуе.
[3] Парк на вилле Паллавичини в Пельи считается одним из лучших в Европе.

## 294. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*24 мая / 5 июня 1898. Петербург*

Будь радостен, Куна,
Радуйся, Слава.
Светлый мой мальчик.
Еду, и душа с тобою неразлучно живет.
Пиши и трудись и надейся и верь.
Твоя, твоя
Лидия.

Конверт с адресом: Его высокоблагородию Вячеславу Ивановичу Иванову. Каравайная 28. Здесь. По этому же адресу (иногда с уточнением номера квартиры и комнаты, а также указанием города: Петербург) отправлены и все остальные письма Зиновьевой-Аннибал 1898 года. Штемпель: С. Петербург. 24.V.98.

## 295. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*Конец мая — июнь ст. ст. 1898. Копорье (?)*

*Понедельник*

Дорогой Кунка,
Непременно не поленись написать детям и отослать им письма завтра, *во вторник **утром***. Будь пай, Кун, напиши, гадкий мальчик. Пиши рокоборца[1], пай, и меня люби и помни. До скорого свиданья Кна <так!> моя, ди́тя-солнце, Глазок-дитя.
Твоя Лила.

Мама пай, но осталась без чаю, потому что *до меня не пила*! Девушкам напишу на красивых картинках, и детям пошлю по картинке.

Кажется вероятным, что письмо было написано 25 мая ст. ст. Если мы примем п. 289 за прощальное перед отъездом Зиновьевой-Аннибал к родственникам в Копорье (а данное письмо очень похоже на первое при приезде туда), то ближайший понедельник приходился именно на 25 мая.

[1] «Рокоборец» — цикл из трех стихотворений в книге «Кормчие звезды» (1, 543—546).

## 296. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*Конец мая — июнь ст. ст. 1898. Петербург или Копорье*

Дорогой мой Кун! Ради Бога, отошли письма *сегодня же вечером*. Целую нежно. Непременно отошли хотя карточки! Но я от тебя не писала на них, рассчитывая на письмо твое. Напиши, милый друг.

Целую своего Куну дитю. Письмо вчерашнее <?> нашла у себя.

Твоя Лила.

## 297. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*14/26 июня 1898. Петербург*

*Sunday.*

Came in time for the train 11 o'ocklock <sic!>. Feeling myself very well physically, but very lonely without Coonn. Tell him I am orasempre more than ever before. I will try to write from K<oporie>.

Открытка карандашом. Адрес: Караванная 28, кв. 39, ком. 20. Штемпель: 14.VI.98.

Перевод: Прибыла вовремя для 11-часового поезда. Чувствую себя очень хорошо физически, но очень одинокой без Куна. Скажи ему, что я orasempre больше чем когда-либо прежде. Постараюсь написать из К<опорья> (*англ. искаж.*).

## 298. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*22 июня / 4 июля (?) 1898. Петербург*

*Понедельник.*

Дорогой Кун, обдумала ясно впервые свое положение на покатой площади к полной потери <так!> физических и душевных сил и получила решимость действовать твердо и ровно к наи-

скорейшему спасению себя. Мне следует уехать из Петерб<урга> как можно скорее, поэтому сегодня с утра начинаю хлопоты, чтобы успеть побольше сделать: и Гаген-Т<орн>, и паспорт, и Тулиновы, и Синод, — справлю всё и к 5-ти часам буду у тебя с тем, чтобы вечером выехать в Финляндию до Среды и в Среду вечером в Киев. Там по дороге отдохну.

Мне сегодня очень дурно, потому что я почти не спала. Целую тебя.

Твоя Л.З.

Как следует из дальнейших писем, Зиновьева-Аннибал выехала в Киев 26 июня, в пятницу, и тогда ближайший к этому дню понедельник — 22 июня.

## 299. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*26 июня / 8 июля 1898. Петербург*

I think to have forgotten my pass in your room. I gave it you to read, and have not received it back. *Do not be frightened, I shall go to Соня* and *not* want it send it to Kief at her name.

I have telegraphed in all case to the cabinet. <1 нрзб>

With Соня no danger.

O r a s e m p r e

Be quiet and write. Tell Coon orasempre.

Открытка карандашом. Штемпель: С. Петербург. 26.VI.98.

Перевод: Я думаю, что забыла паспорт в твоей комнате. Я дала его тебе прочитать и не получила назад. *Не пугайся, я поеду к Соне* и *не* хочу, чтобы его послали в Киев на ее имя. На всякий случай я телеграфировала в кабинет. <1 нрзб>. С Соней вне опасности. O r a s e m p r e. Будь спокоен и пиши. Скажи Куну orasempre (*англ. искаж., рус., ит.*).

## 300. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*26 июня / 8 июля 1898. Двинск*

Здравствуй пиши я бодра паспорт со мною напиши
Орасемпре

Телеграмма с пометой: 26.6.1898. Двинск — ныне Даугавпилс, Латвия.

## 301. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*27 июня / 9 июля (?) 1898. Минск*

I am near Minsk in a very very serious and good mood for Kief, and reading Boublik[1]. I have the frisson of what I will see and feel there. I think that Соня will not find me the first day. Perhaps I will stop at the Лавра[2], and Sunday directly go to the early church office. Dearest, I have slept long, but be so earnestly cheerful as I am. Found my passport after an alarm. Tell Coonn all he knows and kiss him as I love him. Orasempre.

Открытка. Дата минского штемпеля неразборчива, петербургский — 28.VI.98.

Перевод: Я около Минска в очень-очень серьезном и хорошем расположении духа для Киева, и читаю Бублик. Я дрожу от того, что увижу и почувствую там. Я думаю, что Соня не найдет меня в первый день. Может быть, я остановлюсь в Лавре и в Воскресенье прямо пойду на раннюю обедню. Дорогой, я долго спала, но будь так откровенно весел, как я. После тревоги нашла паспорт. Скажи Куну все, что он знает, и поцелуй его, как я его люблю. Orasempre (*англ., фр., рус., ит.*).

[1] *Бублик В.Д.* Путеводитель по Киеву и его окрестностям, с адресным отделом, планом и фототипическими видами г. Киева. Первое издание — 1888, четвертое — 1897.

[2] Киево-Печерская лавра.

## 302. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*27 июня / 9 июля 1898. Гомель*

Сальве[1] с Днепровья Орасемпре.

Телеграмма. Помета: Гомель. 27.6.1898.

[1] Привет (*лат.*).

## 303. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*27—28 июня / 9—10 июля 1898. На пароходе*

*Сож. 9 ½ ч. утра. 27 Июня, Суббота.*

Кунечка, еду по Сожу, через 5 часов буду на Днепре. Берега низкие, луга сменяются лесами, до горизонта уходящими вдаль, вода то желто-бурая, то синеет, у воды песок обрывисто спускается, сильно напоминая Глебушкин «Восход»[1]. Селений почти не видно, и в общем широкая, далекая Русь, просторная.

На душе вот как: хорошо и глубоко, и где-то тоскливо. Совсем было струхнула, когда попала на пароход, как уселась на широкой палубе и увидала извилистую реку (она вся постоянно поворачивается), так и затосковала острою тоскою по тебе и даже побоялась, что всё пропало. Но нет, эта тоска растворилась в широкой, не навязывающей своей красоты природе и как нельзя больше подходит к тому настроению, которое буду передавать пером Глебова. Только бы в Киеве не затосковать pour de bon[2]. Соня вряд ли встретит меня. Я рада буду дню или даже двум одиночества, пойду по приезде тотчас к обедне в Лавру.

Приеду часов в 8, 9 утра вместо 3 ¼ ночи, т.к. воды мало и идем тихо.

Соне телеграфировала в Золотоноши <так!> и писала туда же. Но где она, не знаю. Вероятно очень, что еще в Киеве. Попытаюсь справиться в адресн<ом> столе. Сама думаю о Лаврской гостинице, но она бесплатна, боюсь, и тогда неприлично останавливаться? Есть платные комнаты в Михайловском монастыре. Есть в Киеве много старых (греческих мастеров при Ярославе) мозаик и фресок (визант<ийских> ангелов и Богоматерей и пр.). Думаю, что польза неизмерима от этого пути. Сладостно мне видеть русскую реку и ехать часами, днями по ней мимо русского леса и родных лугов. Бедный Славинька на Караванной[3]! Ох как тоскливо, что ты не со мною, моя радость, моя сила и жизнь.

Ехала так: От Петербурга села немка против меня: всю ночь провела буквально сидя. Днем ехала в тесноте и жаре. В 12 ночи приехала в Гомель (дважды с пути тебе телеграфировала[4]). Там дремала на стульях в дамской комнате до 6-ти утра, потом поехала на пристань! Сегодня буду спать еще 3-ю ночь не раздеваясь, но на удобном диване в каюте.

Какой здесь крепкий и живительный воздух. Я ведь здоровее вдвое, чем в Петербурге! Это просто чудо! Но чудо в том, что я сильна своим вдохновением к моему глубоко из души вычерпываемому роману. Пожелай ему успеха, моя Мунь, а я тебе, мой красавец любимый. Пиши, вот мой завет с Днепра.

Целую, как люблю.

Твоя Лила.

Запах сильный до головокружения сменяется, пахнет то какими-то молодыми листами, то какой-то медовой травой.

*Час дня 27 Июня*

Всё сижу на палубе и продолжаю теперь письмо, чтобы сказать тебе, что я совсем переродилась после «дел» в Петербурге! Никогда еще так богато не думалось о романе, не жилось им. В первой части придумала новую главу, совершенно необходимую до «Certosa»[5]: характеристика Валерии, ее игры (на планете другой), Опалина и начала сильного сближения (встреча на piazzale[6]) и ***закат***! * нормальный на piazzale. Затем задумано вот что: эту поездку в Киев эксплуатировать постыдно. Глебов, окончив картину, «Ангелов благовествующих», в мощном восторге без границ везет ее в Киев (не названо будет Киева), он и Валерия едут на пароходе, безграничность лесов и горизонтов с извивами бесконечной широко текущей живой рекой с сильным запахом вольной земли — всё это, хотя бы одно, как противоположность мертвому прямому каналу среди мертвого леса и кипарисов. Voila un vrai trouvaille[7]! Кроме того масса отдельных замечаний и психологии. Записано в спутнике на былых страничках...

Узнала я также, что в Киев мы приедем «в счастливом случае к 12 или 2-м дня»!!! Вот тебе и обедня! Но ужасно не то, поездка — одно наслаждение... ужасно то, что боюсь опоздать в *музей*, открытый лишь от 2—4 лишь по *воскресеньям*! а там все сокровища визант<ийской> и древне русской живописи.

---

Здесь ведь сторона древних лесов. Их еще много: дубы, клены, ясени, сосны, березы — до горизонта, но есть и огромные пространства вырубленные, и капитан говорил, что Днепр из году в год ***пропадает***! —

Ходила вниз пообедать... 3 часа. Стояли с 2-х до 3-х на мели и только встречный пароход выручил. Погода портится. — Славинька, я только что выехала на *Днепр*! До Сожа он узок, после слияния внезапно открывается ширина. Если бы ты знал, что я чувствую теперь, в сердце <?>, то не умел бы устоять против искушения ехать со мною. Боюсь, что ты нехорошо сделал! По Днепру плывут огромные плоты из бревен срубленных: их сплавляют мужики по течению и живут в избушке посереди плота и поют протяжно и уныло. Стоим у городка Лоев при слиянии. Две церкви с высокими на столбиках луковками. Такая будет Глебушки и Валерии — часовня.

---

* Подчеркнуто трижды.

Днепр имеет один берег уже здесь довольно крутой. Днепр, Днепр, я и не думала никогда, что меня так взволнует до глубины это слово. Слышишь: Днепр.

Кун, с берегов доносится благовест.

*28 Июня 10 ½ утра.*

Приехала в Киев... на почте. Уже за 20 верст он синел, как видение, на сером небе, временами тучи прорывались над ним и купола горели. Ничего подобного не испытывала...

Вчера вечером была буря и страшная гроза, так что пароход пристал к берегу...

Сони нет, и не знаю, где искать. Еду сейчас в Михайловский монастырь в городе самом. Лавра далека.

Конверт со штемпелями: Киев. 28.VI.98 — С. Петербург. 30.VI.98. Большая часть письма написана карандашом, чернилами — только часть, написанная 28 июня.

[1] Речь идет о персонаже романа «Пламенники», художнике.

[2] Окончательно (*фр.*).

[3] Иванов в это время жил в Петербурге в меблированных комнатах на Караванной ул.

[4] Пп. 300 и 302.

[5] Чертоза — монастырь в Италии, близ Павии, а также название главы в романе «Пламенники».

[6] Маленькая площадь (*ит.*).

[7] Вот настоящая находка! (*фр.*)

## 304. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*28—29 июня / 10—11 июля 1898. Киев*

*6 ½ час. вечера. 28 Июня.*

Кунечка, получил ли мои Днепровские летоп<иси> <?>?[1] Не удалось послать заказным, боюсь за них, чтобы ты без них не скучал. Киев — это сказка! это сон! это красота и поэзия! Киев — это счастие для русской души, дорогое прошлое, залог и вера будущего! Словом, несмотря на тоску, которая, проклятая, в клещи сжала глупое сердце (и тысячу раз я думала, как глупо, что ты не здесь), несмотря на нее, злую, мне кажется, что я в царстве чуда.

Теперь сижу отдыхаю после дня беготни: искала жилище, искала Соню, отправляла письма, перевозила пожитки и тосковала отчаянно. Но теперь утешилась острота тоски <так!>, потому что грех тосковать после того, что я видела. Была в музее

древностей, правда, вынесла мало, а красоты — прямо никакой. Потом пообедала и пошла в Владимирский собор. Прежде всего скажу: он снаружи прелестен, прекрасен даже, также и внутри: это *bijou*[2], хотя два недостатка: не всюду совершен и мал, мал, мал. Последнее лишает его величия, оставляя, впрочем, красоту и поэзию. Я *такой* русский стиль *чувствую* наравне с греческим, и моя святейшая мечта была бы поставить Глебушку на вполне дополнение к Елене, как и ее — ему. Эти византийско-русски-*романские* окна и арки, и светлость, и радостность, и гармония, и чудесные 7 золотых куполов — благолепие храма!

Внутри линии арок великолепны и ясно-округлы, хотя первое впечатление — *почти* теснота! Отделка прекрасна, мистика ее поразила меня с неиспытанною силою. Нет уголка, нет дуги, нет промежутка между картинами, не исписанными <так!> по золоту странными, мистическими и прекрасными цветами и листьями, или же странными кругами и полукругами, сплетшимися фантастично. Картины Васнецова, кажется, *сильны* и новы, и жизненны, и красивы. Я еще недостаточно вгляделась в них! Но мой Нестеров, мой дорогой Глебушка! Его Крещение Христа! его маслины на переднем плане; тонкая, вся перегнулась на высоком стволе над группою <?> в тихой воде, вдали много старых <?> кипарисов на серо-голубом в горы уходящем пейзаже, и эти кипарисы до грусти нежны и тонки, словом, идиллия кроткой грусти. И фигуры мне нравятся, слишком они из сердца вышли, чтобы к сердцу не идти!

У меня мысль: после *свободы* моей поселиться на год или более в Киеве, как хорошо тебе и детям. Мне опять стал противен Петербург.

От Сони получила депешу, она зовет меня в Золот<оношу>. Я телегр<афировала> ей, что могу быть лишь на сутки. Зову ее сюда.

В Лавру попаду на обедню позднюю Петра и Павла!

Словом, пойду и если <?> пойду. Теперь пью чай в комнатке в монастырский садик <так!>, тишина и вечерний звон: «Из дома вон», но я не уйду. Лягу спать рано — голова болит, а завтра встану к ранней обедне, к 6-ти часам, а затем в Лавру. О, если бы ты был! Кун, Кун, где ты, здоров ли, что делаешь. ***Вечно*** ты со мною. Целую тебя, золотой, единое счастье, без тебя одна грусть ничтожных <?> деревьев на моей душе! Твоя Лила.

*29 утро 6 ½ часов.*

Кна <так!>, приписываю сегодня два слова в ожидании самовара. Жестки монастырские матрасы, но спала я на них отлично и видела во сне, что ты влюбился в какую-то барышню. Сегодня погода всё ветрянная <так!> и холодная. Что здесь еще поражает, это *толпы* богомольцев, каждая в своих местных костюмах. Они удивительно красивы... А дома здесь замечательны: все почти из серо-желтых мелких кирпичиков в русском стиле с украшениями, как на русских полотенцах. *Очень красиво.* Есть замки древне русского стиля, и они мне нравятся. Словом, город *единственный* и веру подающий в Россию. — *Не забудь снять со старого* чемодана ручку для ремней и ремни. Целую тебя, мое золотое счастье. Вечно, неустанно, вольно и невольно с тобою, и ты со мною. Что ты делаешь, пишешь ли? Боюсь ставить себе этот вопрос. Вдруг не <пишешь?>*.

Карандашом. Конверт со штемпелями: Киев. 29.VI.98 — С. Петербург. I.VII.98.

[1] Имеется в виду п. 303.

[2] Сокровище (*фр.*).

## 305. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*29 июня / 11 июля 1898. Киев*

Доехала вчера Орасемпре

Телеграмма с пометой: 29/VI 1898.

## 306. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*1/13 июля 1898. Киев*

*В священном граде. Среда.*

Кна <!> драгоценная, всё по порядку: отослала тебе письмо третьего дня утром в Понед<ельник>[1]. Затем отправилась в Лавру. Там встретилась с одною простою Киевлянкою — бедненькой портнишкой, очень богомольной, и с ней вместе ходили всюду в тот день. У обедни стояла 3 часа, на душе было хорошо, но ноги и спина заставляли меня воображать себя мучинецей <так!> древней. К концу обедни мы подошли к образу чудотв<орному> Бо-

* Уголок листа утрачен.

гоматери, и можешь себе представить — сама не ожидая, прикладываясь, я начинаю судорожно рыдать, и едва сдержалась. Потом ходила в пещеры, но они произвели на меня меньшее впечатление, быть может, в особенности вследствие полного отсутствия эстетики и еще благодаря уродливо-комического эпизода <так!> с монахом.....

Потом мы ели постный обед, очень вкусный, на скамеечке в саду, и пили чай. Потом ходили по Лаврским садам и пешком вернулись Царским парком в Киев, где тотчас отправились во Владимир <так!> и там отстояли вечерню, после которой я вторично смотрела картины. Васнецов — сильный, новый, животворный художник и, безусловно, высший из тех, кого я знаю у нас. Нестеров же — это иное, глядя на его Богородицу, я не могу не плакать от умиления и также и радости. Милый, дорогой, святой художник, близкий душе моей... Собор испорчен внутри Сведомским и Каторбинским[2] и скверными арками и теснотою. Он — махонькая базилика. Я его разглядела ближе и плачу над крушением великой мечты. В ночь на Вторник я ходила в 3 часа к началу заутрени в Собор. Тесно <?> и хорошо было среди богомольцев и <в> старом соборе. Рассвело, когда вернулась. *Устала ужасно*, но так счастлива Киевом. А вид на Днепр и ширину без границ! Приехала дорогая Сонечка, не могу писать более. Очень счастлива ее видеть, идем сейчас в Владимир, где была и вчера долгие часы. Отложу отъезд на день. Буду в Москве в Понедельник в 9 часов. Приезжай туда к 12-ти. Буду ждать с самоваром в «Петергофе»[3]!

Соня просит сказать, что она страшно жалеет, что тебя здесь нет, и очень кланяется. Она советует назвать сонет: «Любовь»[4], я очень это одобряю. Это идеал любви, Славинька, и она наша.

Соня *очень просит* тебя прислать ей сонет «Два треп<етных> крыла»[5]. Будь добр, спиши и пошли скорее в Золотоношу С.И. Алым<овой>.

Куня, целую, как люблю.

Твоя Лила.

Карандашом. Конверт со штемпелями: Киев. 1.VII.98 — С. Петербург. 3.VII.98.

[1] П. 304.

[2] Павел Александрович Сведомский (1849—1904) — художник; во Владимирском соборе расписывал боковые приделы сюжетами из последних дней жизни Христа. Подробнее о нем см.: *Моретти Марина*. Сведомские: взгляд из Италии; *Петраков В.В., Чернышова А.С.* Художники Сведомские в Италии и России // Русские в Италии: Культурное наследие эмиграции. М., 2006. С. 448—461. Каторбинский —

Вильгельм Александрович Котарбиньский (1849—1921), также принимал участие в росписи собора.

[3] Меблированные комнаты в Москве (Моховая, дом общества застрахованного капитала и доходов).

[4] Речь идет о знаменитом сонете, вошедшем в «Кормчие звезды» и действительно названном «Любовь» («Мы — два грозой зажженные ствола...») (I, 610—611). 13 марта 1903 г. С.И. Алымова писала Ивановым: «Конечно, есть у Вас и для нас смертных стихотворения, милые, легкие и понятные; с удовольствием встретила там и своих прежних знакомцев, особенно свою крестницу» (Цит. по: *Богомолов Н.А.* Русские символисты глазами постороннего // Toronto Slavic Quaterly. 2007. № 22 // www.utoronto.ca/tsq/22/zamyatnina22.shtml).

[5] Второе полустишие восьмой строки названного в предыдущем примечании сонета «Любовь» (I, 611).

## 307. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*4/16 июля 1898. Киев*

Приеду Маскву <так!> понедельник утром

Телеграмма. Помета: 4/VII 1898. См. в письме Иванова к А.В. Гольштейн от 3/15 июля: «В настоящее время Л.Д. находится, вот уже с неделю, в Киеве, где набирается русских впечатлений; я же ожидаю ее извещения, чтобы выехать в Москву, где мы встретимся и откуда вскоре стронемся домой» (Переписка с Гольштейн. С. 343).

# *ПЕРЕПИСКА*
# *1 8 9 9*

## 308. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*4/16 июня 1899. Петербург*

*Балт<ийский> вокз<ал>. 4 Июня.*

Конечно, опоздала, золотой Кун, но это ничего, только жаль, что не осталась с тобою. Будь умник и будь спокоен. Я буду очень осторожна. Я напишу *из Копорья*, ты получишь вечером завтра, телеграмма не дошла бы скорее. Будь мужествен и спокоен, потому что я верю, что мы сделали хорошо, и Агафоанжело[1] — добрый знак. Теперь дело только в экономии, а суть в руках. Скоро, скоро, скоро — Варшавский вокзал[2]. Мальчик, будь пай. Αγαθή τήχη[3]. Orasempre.

Закрытка с адресом: Его высокоблагородию Вячеславу Ивановичу Иванову. Меблированная комната 27 Пименова. *Пушкинская*, 1. Здесь. (По тому же адресу отправлены и последующие письма вплоть до п. 317.) Штемпель: С. Петербург. 4.VI.99. Написано карандашом.

[1] Ангел-хранитель (*греч.*). О ком идет речь, мы не знаем.

[2] Имеется в виду отъезд за границу.

[3] Удачи! (букв.: доброй удачи, *др.-греч.*).

## 309. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*5/17 июня 1899. Копорье*

Доехала отлично, о том докладывает незнакомец, барабаня самым здоровым образом во все стороны. Маму не вижу сегодня. Лиза и Эм<ма> Вас<ильевна> говорят, что она слаба, очень мало сознательна, словом, всё в том же тяжелом состоянии. Завтра

увижу. Думаю о тебе всё время. Будь спокоен. Лиза очень ласкова. Я верю, что мы хорошо поступили в нашем решении. Будь бодр и будем верить. Orasempre, мой Кун. Съездил бы в Сергиево, там богомольцы на Троицу. По Балт<ийской> ж<елезной> д<ороге>[1].

Закрытка. Штемпели: Копорье С. Пбской г. 5.VI.1899 — С. Петербург. 5.VI.99.

[1] Станция в 18 км от Петербурга, в 2 км от нее находится Троицко-Сергиева пустынь (мужской монастырь).

## 310. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*7/19 июня 1899. Копорье*

*7 Июня.*

Кун, еще не пришла почта и не знаю, есть ли письмо. О себе лично: здорова физически, но, конечно, нервы плохи, сон тоже и сердце тоскует. Мама физически *не хуже*, чем в Петербурге, и точно улучшаются <так!>, но ум ее, кажется, покачнулся окончательно. Она находится в состоянии более или менее мрачном, более или менее слезливом, более или менее озлобленном, но всегда одинаково живет в одном глубоком, тяжком заблуждении, одержима одинаково и безысходно одной идеей, — а именно, что кто-то задерживает ее в чужом месте, где все ее обманывают, все злы, где она одинока, и несчастна, и заключена. Она постоянно порывается «ехать в Копорье» и всех спрашивает: «Когда же мы поедем?» В этом смысле она заговаривается постоянно, и если не говорит об этом, то молчит, мрачная и убитая.

Словом, она вполне сумасшедшая. Вернется ли разум или нет? Что всего ужаснее, это то, что все мрачные стороны ее существа выступили и овладели душою: недоверие, самозаключенность и злобное бессилие воли мучают ее теперь, когда бороться светлому делу <?> в ней уже не под силу. Мне она в первое утро обрадовалась до слез, горяче <так!> поцеловала и, хотя ничего не спрашивала о деле, но точно всё то первое утро сознавала меня и ласкала, с тех же пор почти на меня не смотрит, хотя обо мне в мое отсутствие спрашивает.

Здесь нашла Отт и Языкову очень милыми и ко мне расположенными. А прежнего друга своего узнала вполне неизменным и любящим: старушку Пабст[1]. Сегодня вечером, по ее просьбе, прочитаю ей отрывочки из романа. Думаю письмо Глебово и гору.

Кун, пришла почта, писем нет. Мне скучно: пиши. Могу уехать, когда ты выхлопочешь бумаги, потому что, в сущности, не нужна здесь надолго.

Твоя Л.

Orasempre, Кун. Не могу написать ничего, что чувствую. Сам знаешь.

Как раз сегодня вечером мама ласкает меня и льнет ко мне: «Скажи мне, какая у меня болезнь: Лиза мне сказала, что я сумасшедшая! Я не сумасшедшая, хотя все думают так!» К горю, она возненавидела бедную Лизу. Она говорит, точно Нитче: «Какая я глупая, какая я глупая: ничего не понимаю»[2].

Конверт со штемпелями: Копорье С. Пбской г. 8.VI.1899.

[1] О «старушке Пабст» см. п. 65, прим. 4. О ком идет речь во втором случае, точно установить не удалось. По справочнику «Весь Петербург» числится Надежда Васильевна Отт, вдова действительного тайного советника (Литейный, 31), но та ли это дама, о которой идет речь, нам неизвестно.

[2] Речь явно идет о последних годах жизни Ф. Ницше, омраченных душевной болезнью. В точности таких слов в его биографиях нам отыскать не удалось.

## 311. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*10/22 июня 1899. Петербург*

*10. Guignò. Giovedм.*

Scrivo poche parole. Poche ne basteranno per dirti ciò che sai e per informarti di quello che non sai. Vorrei consolarti; non lo posso con parole. Son teco sempre in pensiero ed in afflizione. Gli affari sono in istato abbastanza deplorevole. Non conto [i dettagli] tutte le démarches che avevo fatte; neppure i dettagli: tutto dirò dopo. Stamattina solamente ho fatto il patto con H<alper>t dandogli 200 r. anticipatamente; [debbo ancora 225] darò 225 r. ancora — tutto ciò per regolare il passaporto. 425 in tutto! Puoi immaginarti che [mi sono deciso di accettare queste condizioni soltanto sotto la pressione dell'estrema necessità] si tratta dell'estrema necessità. Domani debbo partire per Сестрорецк da dove scriverò subito. Sono costretto di villeggiare per forza. Garantisce H<alpert> che l'affare non durerà più di otto giorni al massimo, non compreso il tempo necessario per prender<e> il passaporto per l'estero. Speriamo [però] che liberi saremo [forse] in otto giorni. Al nostro A<лексей> Ром<анович> ho dato in prestito 150 r. Non c'è male, non è vero? Adesso una consolazione. [ieri] Ho visitato ieri il nostro

Αγαθάγγελος[1]: mi [ha mostrato] mostró il dispaccio seguente da Lipsia: «Die sollen kommen. Ich erwarte. Akakios.» —

L'ora è venuta ieri per rompere col B<естник> Евр<опы>. «Non ne faremo uso», mi disse con molto freddore Ст<асюлеви>ч rendendomi il manoscritto. [Ст<асюлеви>ч mi ha dichiarato con molto freddore: «Di questo noi non approffitteremo», rendendomi il manoscritto il quale] Questo portava l'indicazione delle mie condizioni («non cambiar nulla [nel testo]»), una nota di un redattore che mi pare пр<инять> [(«accettare»)], cancellata energicamente un'altra nota в e [al margine] certi segni dell'indignazione dello Ст<асюлеви>ч, [come «!»] come contro «привитая» — «?!», contro «праздник воплощений» — «?», contro «вергни» e «вспрядают» «!»[2]. Essendo assai ignorante non ha evidentemente potuto di perdonarmi né le mie innovazioni né le mie condizioni. [Tutto ciò vuol dire che i miei versi furono accettati dalla redazione e letti dopo da St<асюлевич> personalmente, il quale (irritato forse col mio «non cambiare») essendo abbastanza ignorante certamente non può perdonarmi le mie libertà ed innovazioni e soprattutto non capisce nulla in codeste cose. Ho] Avevo incaricato Greaves di informarsi sopra la possibilità di far stampare sul Журн<ал> Мин<истерства> Нар<одного> Просв<свещения> l'Ode del Pindaro. Ернштедт [gli disse che] acconsentisse *en principe*[3] [e pregò di mandargli per posta la mia traduzione oppure di venire piuttosto <a> parlare con lui personalmente] mi fece pregare di spedirgli la mia traduzione per posta oppure di venir <a> parlargliene personalmente[4].

Sergio scrisse una volta: tutto sta bene. М<ария> М<ихайловна>[5] ti scrive poche parole da Verona, la città tua; sulla cartolina si vede l'immagine del tuo palazzo prediletto. —

A rivederci, cara, non affliggerti [troppo] per la mamma, amami, prendi tutte le precauzioni per la salute. — Orasempre.

Конверт с адресом: Ее высокородию Лидии Дмитриевне Зиновьевой. *Копорье* (через *Петергоф*) Петербургской губернии. Далее все письма Иванова до п. 313 включительно адресованы по этому же адресу. Штемпели: С.Петербург. 10 июн. 1899. — Петергоф С.Петерб. г. 11. VI.1899 — Копорье С. Пбург. г. 11.VI.1899. Подробнее о событиях этого времени см. «Diarium» в Интермедии 2. Подробности, проясняемые там, здесь не комментируются.

Перевод:

*10 июня. Четверг*

Пишу всего несколько слов. Их хватит, чтобы сказать тебе все, что ты знаешь, и сообщить то, чего не знаешь. Хотел бы утешить тебя, но не могу словами. Я всегда с тобой в тревоге и в печали. Дела в довольно скверном состоянии. Не рассказываю [подробностей] всех шагов, мною предпринятых, не рассказываю и подробностей:

скажу все потом. Только сегодня утром договорился с Г<алперт>т<ом>, дал ему 200 р<ублей> заранее [я должен еще 225], дам еще 225 — все, чтобы устроить паспорт. Всего 425! Ты можешь представить себе, что [я решил принять такие условия только под давлением крайней необходимости] речь идет о крайней необходимости. Завтра я должен уехать в Сестрорецк, откуда сразу напишу. Я поневоле вынужден отдыхать. Г<алперт> гарантирует, что дело не продолжится дольше восьми дней, не включая времени, нужного, чтобы устроить [выправить] заграничный паспорт. Будем надеяться, что будем [может быть] свободны через восемь дней. Нашему А<лексею> Ром<ановичу> я дал 150 р<ублей> взаймы. Неплохо, не правда ли? Теперь одно утешение. [вчера] Я навещал вчера нашего Ἀγαθάγγελος[1]: он показал мне телеграмму из Лейпцига: «Die sollen kommen. Ich erwarte. Akakios». —

Вчера пришел час порвать с «В<естником> Евр<опы>». «Мы не можем воспользоваться этим» сказал мне с большой холодностью Ст<асюлеви>ч, отдавая рукопись. [Ст<асюлевич> объявил мне с большой холодностью, отдавая рукопись: «Этим мы не воспользуемся»] Она носила знаки моих условий («ничего не менять [в тексте]»), заметку редактора, которая, как мне казалось, была пр<инять> [«принять»], другую заметку «в», стертую энергично, и [на полях] некоторые знаки возмущения Ст<асюлеви>ча, [как «!»] как напротив «привитая» — «?!», напротив «праздник воплощений» — «?», напротив «вергни» и «вспрядают» «!»[2] Будучи довольно несведущим, он, по-видимому, не мог простить мне ни моих нововведений, ни моих условий. [Все это значит, что мои стихи были приняты редакцией и потом прочитаны лично Ст<асюлевичем>, который (может быть, раздраженный моим «ничего не менять») и будучи довольно несведущим, явно не смог простить мне моих вольностей и нововведений и прежде всего ничего не понимает в таких вещах.] Я уполномочил Гревса узнать о возможности напечатать Оду Пиндара в Журн<але> Мин<истерства> Нар<одного> Просв<свещения>. Ернштедт [сказал ему] согласился en principe[3] и [просил отправить ему мой перевод почтой или лучше зайти к нему для личного разговора] попросил, чтобы я послал ему свой перевод по почте или чтобы я зашел к нему для личного разговора[4].

Сергей написал один раз; все идет хорошо. М<ария> М<ихайловна>[5] написала тебе несколько слов из Вероны, твоего города; на открытке видна картина твоего любимого дворца. —

До свидания, дорогая, не [слишком] беспокойся о маме, люби меня, принимай все меры предосторожности для здоровья. — Orasempre.

[1] См. п. 308, прим. 1.

[2] Речь идет о стихотворении «Творчество» (I, 536—537), где три выражения из перечисленных фигурируют в первой строфе («привитая», «праздник воплощений» и «вергни»). Возможно, что и четвертое слово («вспрядают») находилось тогда в ранней версии этого стихотворения.

[3] В принципе (*фр.*).

[4] В письме от 14/26 июня из Копорья Зиновьева-Аннибал извещала М.М. Замятнину: «Очень любезны были к нему в журнале <Министерства> Нар<одного> Просв<ещения>. В Июле поместят его перевод оды Пиндара» (РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 6. Л. 12 об.). Виктор Карлович Ернштедт (1854—1902), филолог-классик, профессор греческой словесности Петербургского университета, академик. Заведовал отделом классической филологии в ЖМНП, где был действительно помещен перевод Иванова I Пифийской оды Пиндара (1899, август. Отд. III. С. 49—56). Об отношениях Иванова с Ернштедтом см.: История и поэзия. С. 254. Ср. также п. 314.

[5] М.М. Замятнина. О содержании ее письма подробнее см. в «Diarium».

## 312. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*10/22 июня 1899. Копорье*

*Сегодня*

Куна, это очень дурно! почему ты не пишешь? За что ты мучаешь меня тоскою. Я *очень* затосковала. Если есть письмо от детей или Мар<ии> Мих<айловны> — пришли. Мне здесь даже стыдно, что ты не пишешь. Все, конечно, удивляются. Ты напиши хоть слово, и как стоят дела. Мама то тосклива, то немножко смеется со мною, но ясность сознания не возвращается. Нужна я ей или нет, того я не знаю.

С одной стороны, нужна, потому что с остальными она не ладит.

Ну, дорогой друг, я молчу, потому что слишком тоскливо. Имею в руках «Вестник»[1]. *Ты <?> купи.* Кун, тоскливо, устала.

Твоя Диля.

Конверт со штемпелями: Копорье С. Пбург. г. 10.VI.1899. — С. Петербург. 10.VI.99.

[1] Имеется в виду журнал «Вестник Европы». В цитированном выше письме от 14/26 июня Зиновьева-Аннибал писала: «В Июне "В<естника> Евр<опы>" помещены 4 сонета, но один испорчен Стасюл<евич>ем» (РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 6. Л. 12 об.). Речь идет о публикации: *В.И.* Четыре сонета [«На миг», «Воспоминание», «Полет», «Сны»] // Вестник Европы. 1899. № 6. С. 771—773.

## 313. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*12/24 июня 1899. Петербург*

*12 Guigno (In trattoria, a Pietroburgo)*

Il mio indirizzo è dunque Dila: Сестрорецк, Офицерская улица, дом Степановых. Ma non scrivermi a Сестрорецк, se non in caso di molta* urgenza. Perchè l'урядник Янсон, incaricato di proteggermi ed inquilino della stessa casa, mi pare una specie di spia, che cerca ad insinuarsi in tutte le circostanze che mi <ri>guardano. Ieri ho dovuto prender il té colla famiglia di lui, conterò dopo delle cose curiosissime. Abito una stanzina dal padrone-di-casa, non c'è posto in questa stan-

* Слова «se non in caso di» подчеркнуты красным карандашом, а слово «molta» им же дважды.

zina — abbiamo improvvisato una tendina, la quale mi separa dalla sala di questa famiglia piuttosto simpatica. Mi sento come io sono nel Purgatorio. Головин[1] mi scrive che aveva parlato lui stesso con quel prete; la risposta fu favorevole, ma le condizioni non sono ancora precisate, perchè il prete deve esser d'accordo coi colleghi suoi. In un caso però ha preso 500. Forse scriverò a G<olovin> che abbiamo inventato una altra combinazione che preferiremo se quelle di lui non avesse dei vantaggi considerevoli. M.M.[2] scrive da Genova (!), Pisa e Firenze. Non è prudente di spedirti la lettera di là. Ho molto desiderio di esser con te; perciò sono sempre tristissimo. Non desperarti però. Sii prudente per la tua salute. Orasempre.

На полях карандашом: Vengo quasi ogni giorno на Пушкинской per le lettere.

Ancora una lettera da M.M. Questa resterà lì deve essere già a Napoli*.

Закрытка. Штемпели: С. Петербург. 12 июн. 1899 — Петергоф (и Копорье). 13.VI.1899.

Перевод:

*12 июня (в трактире, в Петербурге)*

Итак, Дила, мой адрес —Сестрорецк, Офицерская улица, дом Степановых. Но не пиши мне в Сестрорецк, кроме как в случае большой спешности. Потому что урядник Янсон, который поручился покровительствовать мне и живет в том же доме, кажется мне кем-то вроде шпиона, старающегося вникнуть во все обстоятельства, меня касающиеся. Вчера я должен был пить чай с его семьей, потом расскажу любопытнейшие вещи. Я живу в маленькой комнате с хозяином дома, <и> в этой маленькой комнате нет места— мы соорудили ширму, отделяющую меня от гостиной этой довольно приятной семьи. Чувствую себя как в чистилище. Головин[1] пишет мне, что он лично поговорил с священником; ответ был положительный, но условия еще не уточнены, ибо священник должен договориться с причтом. Во всяком случае, он взял 500. Может быть, я напишу Г<оловину>, что мы придумали другую комбинацию, которую предпочтем, если его <комбинация> не будет иметь значительных преимуществ. М.М.[2] пишет из Генуи (!), Пизы и Флоренции. Неблагоразумно посылать тебе письмо оттуда. Очень хочу быть с тобой, поэтому мне все время бесконечно грустно. Но не отчаивайся. Будь благоразумна ради своего здоровья.

<На полях>: Я прихожу почти каждый день на Пушкинскую за письмами. Еще письмо от М.М. Она останется там и должна быть уже в Неаполе.

[1] О В.Е. Головине см. п. 279, прим. 2.

[2] М.М. Замятнина.

* Вся фраза написана синим карандашом, последнее слово подчеркнуто красным.

## 314. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*12/24 июня 1899. Петербург*

*12 Giugno*

Ancora una seconda cartolina oggi, Dila, per dirti che sono stato da Ернштеат (академик, редактор классич<еского> отд<еления> Ж<урнала> Мин<истерства> Нар<одного> Просв<ещения>). Mi ha ricevuto con molta gentilezza e mi ha detto che mette alla mia disposizione per l'Ode del Pindaro il № di Luglio; che non è per le imitazioni dei metri antichi en principe, ma che ciò nonostante non vuole far controllo della mia traduzione, sapendo che io so ciò che faccio e che firmando il mio nome sotto i versi io ne prendo la responsabilità letteraria su me stesso. Ma è necessario ch'io termini l'ode fino al Sabato prossimo per poter stamparla nel Luglio; altrimenti bisognerebbe aspettare parecchi mesi, tutto essendo occupato da altri articoli. Le sue prime parole furono che mi conosce, ciò che aveva detto già prima a Greaves; diceva a Greaves che ha sentito parlare di me quando era ancora a Roma, e che io sono un «neoellenista», un «nietzscheano»! Батюшков, gli disse questo, io indovino. Si può à la rigueur fare stampare il frammento già tradotto solo, ma non è comodo. Spero poter finire il resto fino al Sabato. Ringraziai per la fiducia che mostra a me già principiante ecc. Disse: se siete un *principiante*, siete «кончающий начинающий». Г<алпер>т spera che Martedì o Mercoledì il passaporto per la Russia sarà pronto. Вяч. Orasempre

Закрытка. Штемпели: С. Петербург. 12 июн. 1899 — Петергоф (и Копорье). 13.VI.1899.

Перевод:

*12 июня*

Еще одна открытка сегодня, Дила, чтобы сказать тебе, что я был у Ернштедта (академик, редактор классич<еского> отд<еления> Ж<урнала> Мин<истерства> Нар<одного> Просв<ещения>). Он принял меня с большой теплотой и сказал мне, что отдает для пиндаровой оды в мое распоряжение июльский №; что он в принципе против подражаний античным размерам, но тем не менее не хочет проверять мой перевод, зная, что я знаю, что делаю, и что своей подписью я беру на себя литературную ответственность. Но мне надо закончить оду до следующей субботы, чтобы напечатать ее в июле, а то придется ждать несколько месяцев, так как журнал занят другими статьями. Его первые слова были, что он меня знает, что он уже слыхал обо мне от Гревса; Гревсу он сказал, что слыхал обо мне еще в Риме, что я являюсь «неоэллинистом» и «ницшеанцем»! Догадываюсь, что это Батюшков[1] ему так сказал. Можно à la rigueur[2] напечатать только уже переведенный фрагмент, но это неудобно. Надеюсь, что закончу до субботы. Я поблагодарил его за доверие ко мне, начи-

нающему и т.д. Он сказал: «Если вы начинающий, то кончающий начинающий». Г<алпер>т надеется, что русский паспорт будет готов во вторник или в среду.

Вяч. Orasempre

[1] О Ф.Д. Батюшкове подробнее см. п. 496, прим. 9.

[2] При необходимости (*фр.*).

## 315. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*14/26 июня 1899. Копорье*

*Monday*

Dear Coon, one word to say: I am ready to go to town *as soon* as we can part for Lipsia. Write me immediately when you shall be ready. I have a good occasion on Friday. Here all is immens<e>ly sad, and there is no relief possible. In fact I am perfectly unneccessary <sic!>. Thanks for the two cartoline <sic!>[1]. The letters you post *in the evening in Petersb<urg>* arrive here on *the next day* in the afternoon.

Try to give Ольг<а> Алекс<андровна>[2] her blue copy-book with her novel. It is in the new basket.

I am afraid if I wrote to the Пушк<инская>[3] this letter should be too late.

Dil.

I am very happy about Pindar. The old miss Pabst said she had not read one poetry so *poetical* about Pouchkine as yours.

Конверт с адресом: Сестрорецк, Офицерская ул., дача Степанова. Штемпели: Копорье. 14.VI.1899 — Сестрорецк С.Пбург. г. 16.VI.1899.

Перевод:

Понедельник. Дорогой Кун, одно слово. Я готова ехать в город, *как только* мы сможем отправиться в Лейпциг. Напиши мне немедленно, когда будешь готов. Для меня удобный случай в пятницу. Здесь все бесконечно печально, и нет возможного облегчения. На самом деле я в высшей степени не необходима. Спасибо за две открытки. Письма, которые ты посылаешь *вечером в Петерб<урге>*, прибывают сюда *на следующий день* после обеда.

Постарайся отдать Ольг<е> Алекс<андровне> ее синюю тетрадь с ее романом. Она в новой корзине.

Я боюсь, что если напишу на Пушкинскую, это письмо опоздает.

Дил.

Я очень счастлива относительно Пиндара. Старая мисс Пабст сказала, что она не читала ни одного стихотворения столь *поэтичного* о Пушкине, как твое (*англ.*).

[1] Л.Д. использует вместо английского слова postcards итальянское (cartoline).

[2] О.А. Беляевская.

[3] Адрес меблированных комнат, где жил Иванов.

## 316. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*15/27 июня 1899. Петербург*

*Martedi, a mezzogiorno.*

Cara Dila,

Venuto oggi all'albergo fui sorpreso ed inquietato per la mancanza di lettere da tua parte. Forse non sai ancora dove bisogna scrivere. Ho trovato una lettera da Napoli (nulla di nuovo, e tutto sta bene, Aniuta scrive molto gentilmente) ed una altra da Firenze — molto impressionante[1]. L'avvocato mi ha dato oggi l'appuntamento per domani per configurarmi il passaporto il quale era per domani preparato. Deve esser iscritto a Сестр<орецк>, dove bisogna prender<e> poi un permesso per il viaggio all'estero. Dunque fino al<la> fine di questa settimana sarò probabilmente occupato da questi affari (compreso quello per il passaporto per l'estero). Scrivimi quando puoi arrivare a Pietroburgo. Scrivi all'albergo oppure a Сестрорецк. Офицерская ул., д. Степановых [forse] avev<o> esagerato un poco lo spionaggio del mio prottettore. Ma meglio sarà scrivere a Pietroburgo. Era ubriaco quella sera *rien dire* l'урядник <1 нрзб>. I padroni di casa sono molto simpatici. Le due ultime giornate a Сестр<орецк> erano felicissime. Дудик — è un incanto. Sono ora contento della villeggiatura forzata. Ho lavorato bene e quasi già terminato l'Ode intera. Ho bisogno soltanto di qualche libro. Greaves verrà a procurarmene uno. Forse andrò alla Biblioteca. Ieri sera ero inquietissimo per te. E oggi nessuna notizia! Scrivimi, telegrafa! Ho tanti pensieri a proposito della tua salute. Tutte le carezze. Orasempre.

Son tanto annoiato da questa separazione. Conterei i giorni, se fossi sicuro che tutto sarà finito come lo speriamo. Speriamo però. Quando ti vedrò?

Закрытка. Штемпели: С.Петербург. 15 июн. 1899 — Колорье (и Петергоф). 16.VI.1899.

Перевод:

*Вторник, в полдень.*

Дорогая Дила,

Придя сегодня в гостиницу, я удивился и обеспокоился отсутствием твоих писем. Возможно, ты еще не знаешь, куда нужно писать. Я нашел письмо из Неаполя (ничего нового, все хорошо, Анюта пишет очень мило) и еще одно из Флоренции — очень впечатляющее[1]. Сегодня адвокат назначил мне встречу на завтра, чтобы оформить мой паспорт, который будет готов к завтрашнему дню. Надо зарегистрировать

его в Сестрорецке, где потом надо получить разрешение на заграничную поездку. Итак, я до конца недели буду, вероятно, занят этими делами (включая заграничный паспорт). Напиши мне, когда ты сможешь приехать в Петербург. Пиши в гостиницу или в Сестрорецк. Офицерская ул., д. Степановых: [может быть] я преувеличил немного о шпионстве моего покровителя. Но будет лучше, если ты будешь писать в Петербург. Он был пьян в этот вечер, *не говоря уже* об уряднике <1 нрзб>. Хозяева очень симпатичны. Последние два дня в Сестр<орецке> были чрезвычайно счастливые. Дудик — прелесть. Теперь я доволен вынужденным отдыхом. Я занимался хорошо и почти уже закончил всю оду. Мне нужны только некоторые книги. Гревс должен одну мне достать. Может быть, пойду в библиотеку. Вчера вечером я очень беспокоился о тебе. И сегодня никаких известий! Напиши мне, телеграфируй! Я так тревожусь о твоем здоровье.

Обнимаю <досл. — Все ласки>. Orasempre.

Мне так досаждает эта разлука. Я бы считал дни, если бы был уверен, что все закончится, как мы на то надеемся. Однако, надеемся. Когда увижу тебя?

[1] См. в письме Л.Д. к Замятниной от 16/28 июня: «Дорогая Марусинька, гадкий В. не решается сюда пересылать писем ваших. Пишет, что из Фроленции <!> получил письмо: "molto impressionante"» (РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 6. Л. 8 об.).

## 317. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *16/29 июня 1899. Копорье*

*16 Июня*

Куна, только что получила картолину от Вторника[1]. Думаю ехать в Воскресенье. Буду поздно вечером в Петерб<урге>. Напиши мне письмо на Кабинетскую, опусти его в Воскресенье *утром* в Сестрорецке или *вечером* в Петербурге, и назначь, где свидеться. Если почему-либо это письмо не дойдет до меня, я буду сидеть дома и ждать тебя, ты когда увидишь, что на месте назначения меня *не будет*, то и приходи за мной. Я с утра буду гореть нетерпением и тосковать в пустом доме.

Ну, что писать? Всеми *твоими* делами только и живу. Пиндар делает меня радостной, остальное тоже. Здесь мрак и горе, потому что болеют не тела, а души.

Пью бром и *не* сплю. Но дитька здорова и, значит, не тревожься.

Диль orasempre.

Конверт со штемпелями: Копорье. 17.VI.1899; С. Петербург. 17.VI.1899; Сестрорецк. 18.VI.1899.

[1] П. 316.

## 318. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*16/29 июня 1899. Сестрорецк*

*16 Giugno, Сестр.*

Ho mandato oggi un dispaccio a Александре Матвеевне[1], perchè ero troppo desolato ed inquietissimo senza notizie tue da lungo tempo. Ora sono felicissimo avendo una letterina da te. Tu dovrai dire tutte le mie scuse alla gentilissima Александра Матвеевна; non so se tu l'hai prevenuta che saremo forse costretti di far uso della sua mediazione; altrimenti avrà trovata la libertà che presi un po' impertinente: temo che questo non sia così infatti. Ma trovai assai più prudente per ragioni importantissime di agire così, anzi sotto il rischio di parere poco garbato. Scrivo mercoledì sera a casa; vorrei accelerare questa lettera, ma sicome partirò probabilmente domattina per la città, la spedirò piuttosto lì: qui tutto mi pare sospetto. Veramente, il commercio con codesta benedetta gente potentemente contribuisce allo sviluppo della mania di persecuzione... Ricevetti però oggi stesso il mio passaporto... giallo! Sì, di color giallo, come questo conviene ai «ратники ополчения». «Divorz<i>ato» — niente di più. All right mi pare. Il mio урядник mi visitò un quarto d'ora fa e presi il nuovo passaporto, per far iscriverlo e per far preparare un certificato necessario per la partenza all'estero — tutto questo, come mi promette farà alle 10 di mattina domani. Dunque lì tutto va bene, senza ostacoli possibili avrò forse il passaporto per l'estero al Venerdì [Sabato]: ma non è certo questo, tu puoi dunque approffitare forse di qualche giorno di più per essere con la mamma. Se vuoi però, vieni pure subito — avendo, come tu dici, «a good occasion on Friday»[2]. Ma troppo tardi arriverà questa lettera affinché tu potessi partire dopodomani. Desidererei aver [il] tempo domani prima delle 2 (l'ora di Симанович <?>) per fare dal notaio una copia e una traduzione tedesca del passaporto che tengo ora.

Conterò adesso le mie aventures dopo la colazione di ieri quando scrissi la cartolina. Lavoravo alla Biblioteca. Incontrai lì Радлов[3]: mi disse che gli hanno detto che Вл<адимир> Сер<геевич> era appena arrivato, e che aveva l'intenzione di andare ieri stesso da lui. Partii pure io all' Hôtel d'Angleterre[4] e v<i>di Соловьев. Радлов era già da lui. Abbiamo parlato poco, pareva stanco, si vestiva per uscire. Diceva che aveva scritto a mio proposito, ma non si sapeva nulla delle chiese greche. S'informò della tua salute. Mi diede l'appuntamento per oggi. Poi visitai Ернштедт, per dirgli che avevo quasi terminato la traduzione e che essa sarà pronta pel Sabato. Era semplicissimo ed amabilissimo. Mi diede una

biblioteca intera sopra il Pindaro — un pesantissimo pacco di libri. Cercavo qualche libro invano dapertutto; ora ho tutto ciò che mi abbisogna, e anzi più. Ha detto che non riuscisse a trovar un momento per leggere il principio della mia traduzione. «Tanto meglio», risposi, «il tutto farà una impressione migliore». M'interrogò sopra la mia dissertazione ecc. Disse che parecchie persone gli hanno parlato di me, sopratutto Крашенинников. Poi poche parole al pranzo da Иван Мих<айлович> e Mlle Добиаш[5]: vengo ora spesso da lui — o meglio da loro — all'ora di pranzo, la quale è da Гревс l'ora di ricevimento. — Oggi incominciai les aventures in città colla visita da Soloviev — abbastanza lunghetta. Domandai un consiglio a proposito della pubblicazione del libro; contai la rottura col «Вестник Евр<опы>». Mi disse: non c'è ragione per lui di rompere col «В<естник Европы>»*. Ma è vero che non val la pena di rivolgersi al Stas<iulevic> ora, se si mostrò così. Ieri ancora mi diceva che Ст<асюлевич> фантазер, che cambiò il titolo di una poesia di Сол<овьева> secondo il suo gusto e — contrariamente al senso di questa poesia. Oggi disse che Ст<асюлевич> gli rifiutò (dopo aver prima acettato con gran gioia) di far stampare un «dialogo sopra la guerra e la pace»[6] da lui: ora è divenuto prudentissimo dopo il 2oe предостережение e dopo che lo czar gli espresse e fece esprimere par téléphone la sua contentezza col «Вестник», del quale sarebbe lui, lo czar, un lettore fedele. Avendo contemplato il mio manoscritto proscritto, dice: «St<асюлевич> non farebbe stampare questo, neppure se fosse scritto da me; lui non ammette il simbolismo». Dissi io che forse era stato offeso anche [dalla mia] colla condizione <scritta? presa?> da me di «non cambiar nulla», la quale è indicata da Слонимский sul manoscritto: «ma certamente» esclamò Сол<овьев>, «certamente prese collera per questo». Ha letto «Творчество» — disse, «molto bene», anche «Красота» «molto, molto bene». Mi permette di mostrar tutto questo a Гайдебуров[8]: «"Книжки недели" è una rivista molto simpatica». Ringraziai certamente, dissi che ho molta voglia di veder stampata la poesia «Творчество». Diedi anche «Thalassia»[8]. Сол<овьев> dice che secondo lui non ci sono che queste due possibilità per la poesia attuale: o imitare il Пушкин, come lo fa Голенищев-Кутузов[9], oppure il simbolismo. In questo genere ci sarebbero delle belle cose da Случевский. Lodai io Бальмонт: avev<o> letto di questi

* Приписка карандашом: Vous ne devez pas en tirer des conséquences — parlerò dopo a Ст<асюлевич> — avrà dimenticato tutto — e voi non avete una ragione per non dimenticarlo da vostra parte.

giorni il suo nuovo libro «Тишина»[10] e compianto molto la mia ingiustizia per lui fin'ora. È un libro di versi di gran talento; le poesie sono bellissime e vera poesia. Солов<ьев> è della medesima opinione. Gli dissi che trovo molto più pratico di far stampare e vendere il mio libro al Новое Время[11]. Сол<овьев> dice: «è vero». E incominciò a pensare come potrebbe aiutarmi in questo senso. «Ho trovato un mezzo», esclamò dopo. «Ho una conoscenza, un certo Сигма, che scrive presso les feuilletons al "Новое Вр<емя>"[12]. Он меня лягнул недавно[13], но это ничего. Вас с ним сближает то, что он также классик[14]. Я к нему первым теперь не пойду, но пошлю своего Платона*, и Вам дам к нему карточку». «Meglio sarà di far questo quando sarò di ritorno, alla veglia della pubblicazione», dissi ciò. Diceva qualche impressione del viaggio. «Vidi dieci città che mi erano nuove — Milano Venezia Ginevra ecc.» Ha fatto un giro aux bords du Rhin. Soprattutto fu impressionato dalle cattedrale di Mainz, dove fu per combinazione lasciato solo con porte chiuse per qualche tempo. Ma non scrisse niente in versi. Domandò dove sei tu ecc. Siamo usciti insieme ed abbiamo anche preso posto insieme in vettura per andare alla redazione ma io non ci andai peró, rimettendo la regolazione dall'affare col гонорар и оттиски ad un altro giorno. — Mi affrettai al mio albergo на Пушкинской: una lettera da Napoli[15] — sola! Tristissimo partii per il ristorante dove avev<o> l'appuntamento con Гал<пертом>[16]. Con quest'ultimo siamo andati da <Симонович?>]. Presi il passaporto, pagai la barbara contribuzione; in un altro ristorante abbiamo bevuto una bottiglia di vino con formaggi, come ciò conviene (secondo lui!) per festeggiare il gran fatto (pagai certamente io). Poi lavorai o piuttosto passai il tempo fino all'ora della posta alla Biblioteca, donde andai di nuovo al mio albergo (dopo le 7), per trovare lì una lunghissima, interessantissima in<n>amoratissima ed amichevolissima lettera di M.M.[17] ed un bigliettino da Olga. Tormentato molto nell'anima mia da pensieri atri tornai sotto il simpatico tetto dei miei padroni di casa ed ebbi la grandissima gioia di veder sul mio tavolino quel raggio di speranza ed amore che mi disse: «dear Coon, one word to say...»[18] Orasempre.

*Giovedì.* Il passaporto per l'estero sarà pronto domani. Oggi ho fatto fare una copia e una traduzione tedesca del passaporto. Puoi venire venerdì. Appena arrivata в Кабинетскую, telegrafami a *Sestroretzk* e

* Это не лакей Соловьева, а первый том его «Творений Платона»[20]. (*Прим. Иванова.*)

forse anche на *Пушк<инскую>*. Incontrai *oggi* Соловьев, mi invitò a colazione, passai quattro ore da lui, mi leggeva il suo dialogo stampato già al «Книжки <Недели>» e dopo riscritto. Abbiamo bevuto del Moselwein alla *tua salute* — fece lui questo toast. Io criticavo l'«Оправдание Добра»[19]: lui consentiva! Ci siamo abbracciati tre volte prima di separarci.

Orasempre

Credo che questa lettera non arriverà più tardi che un dispaccio — faresti bene partendo domani perchè hai una occasione, senza aspettare per la mia risposta che non poteva esser accelerata. ***Prendi tutte le precauzioni*** nel viaggio! Non dimenticare la prima cosa e la mia preoccupazione per questa cosa! ***Sii prudente.***

Конверт со штемпелями: С. Петербург. 17 (второй штемпель — 18) июн. 1899 — Копорье (и Петергоф). 19.VI.1899.

Перевод:

Сегодня я послал телеграмму Александре Матвеевне[1], потому что был глубоко огорчен и встревожен, так долго не имея от тебя известий. Теперь, получив твое письмецо, я очень счастлив. Ты должна высказать все мои извинения любезнейшей Александре Матвеевне; не знаю, предвидела ли ты, что мы будем вынуждены воспользоваться ее посредничеством; в противном случае она могла бы счесть мою вольность несколько дерзкой: боюсь, что так и случилось. Но по очень важным для меня причинам я нашел, что будет достаточно благоразумно так поступить, даже рискуя показаться невежливыми. Пишу дома вечером в среду; я бы хотел ускорить это письмо, но поскольку я, вероятно, уеду завтра утром в город, я лучше отошлю его там; здесь все мне кажется подозрительным. В самом деле, общение с такими блаженными людьми сильно способствует развитию мании преследования... Однако, я получил сегодня мой паспорт... желтый. Да, желтого цвета, как полагается «ратникам ополчения». «Разведен» — больше ничего. All right <нормально — англ.>, мне кажется. Мой урядник навестил меня четверть часа назад и взял новый паспорт, чтобы зарегистрировать его и подготовить удостоверение для заграничной поездки — все это, как он обещал, он сделает завтра в 10 часов утра. Так что все здесь идет хорошо, без возможных препятствий, может быть, у меня будет заграничный паспорт в [субботу] пятницу: но может и не быть, так что ты, возможно, сможешь воспользоваться еще несколькими днями, чтобы побыть с мамой. Однако, если хочешь, приезжай сюда сейчас же — имея, как ты говоришь, «a good occasion on Friday» <«хороший случай в пятницу» — англ.>[2]. Но это письмо придет слишком поздно, чтобы ты смогла уехать послезавтра. Хочу успеть завтра до двух (в час Симановича <?>) снять у нотариуса копию и немецкий перевод паспорта, который у меня сейчас.

Теперь я расскажу о моих aventures <приключениях — *фр.*> вчера после завтрака, после того как я написал открытку. Занимался в библиотеке. Встретил там Радлова[3], который сказал мне, что узнал, что Вл<адимир> Сер<геевич> только что приехал в этот день (вчера), и что он намеревался поехать к нему. И я поехал в Hôtel d'Angleterre[4] и увидел Соловьева. Радлов уже был у него. Мы говорили немного, он казался уставшим, одевался, чтобы уехать. Он сказал, что написал насчет меня, но что о греческих церквях ничего не известно. Осведомился о твоем здоровье. Назначил мне встречу на сегодня. Потом я навестил Ернштедта, чтобы сказать ему, что я

почти завершил перевод и что он будет готов в субботу. Он держался очень просто и любезно. Дал мне целую библиотеку о Пиндаре — тяжелейшую кучу книг. Некоторые из них я <до этого> тщетно повсюду искал; теперь у меня есть все, что нужно, и даже больше. Он сказал, что ему не удалось найти время, чтобы прочитать начало перевода. «Тем лучше», сказал я, «целое произведет лучшее впечатление». Он спросил меня о диссертации и т.д. Сказал, что несколько человек говорили обо мне, прежде всего Крашенинников. Потом — несколько слов на обеде у Ивана Мих<айловича> и Mlle Добиаш[5]: прихожу часто к нему — или лучше, к ним — в час обеда, который у Гревса и есть приемный час.

Сегодня я начал свои aventures <приключения — *фр.*> в городе с визита к Соловьеву, довольно долгого. Попросил совета насчет публикации книги; рассказал о расколе с Вестником Евр<опы>*. Он сказал, что, по его мнению, было неправильно порвать с В<естником Европы>. Но правда, что не стоит вновь обращаться к Стас<юлевичу> теперь, если он так себя показал. Вчера он еще мне говорил, что Ст<асюлевич> фантазер, что он изменил название стихотворения Сол<овьева> по своему вкусу и против смысла данного стихотворения. Сегодня он сказал, что Ст<асюлевич> отказался напечатать его «диалог о войне и мире»[6] (после того, как он сначала принял его с большой радостью): теперь он стал предельно осторожным после 2-ого предостережения и после того, как царь выразил и велел передать par téléphone <по телефону — *фр.*> свое довольство «Вестником <Европы>», которого он, царь, лояльный читатель. Подумав о моей отвергнутой рукописи, он сказал: «Ст<асюлевич> не напечатал бы этого, даже если бы оно было написано мною; он символизма терпеть не может». Я сказал, что может быть он был обижен моими условиями («не менять ничего»), как было отмечено Слонимским на рукописи. «Но конечно, — воскликнул Соловьев, — конечно, он на это рассердился». Он прочитал «Творчество» — он сказал, «очень хорошо», также «Красота», «очень, очень, хорошо». Он разрешает мне показать все это Гайдебурову[7]: «"Книжки Недели" — очень симпатичный журнал». Разумеется, я поблагодарил его и сказал, что очень хочу увидеть в печати «Творчество». Дал ему и «Thalassia»[8]. Сол<овьев> говорит, что, по его мнению, есть только две возможности для современной поэзии: либо подражать Пушкину, как это делает Голенищев-Кутузов[9], либо символизм. В этом ключе есть хорошие вещи у Случевского. Я хвалил Бальмонта: читал в эти дни его новую книгу «Тишина»[10] и сетовал на свою несправедливость к нему до сих пор. Это книга стихов большого таланта; стихи красивейшие и настоящая поэзия. Соловьев того же мнения.

Я сказал ему, что считаю гораздо практичнее напечатать и продать мою книгу в «Новом Времени»[11]. Сол<овьев> сказал: «Правда». И начал думать, как он сможет помочь мне в этом смысле. «Я нашел средство, — воскликнул он потом. — У меня есть знакомый, некий Сигма, который пишет les feuilletons <фельетоны, статьи — *фр.*> в "Новом Вр<емени>"»[12]. Он меня лягнул недавно[13], но это ничего. Вас с ним сближает то, что он также классик[14]. Я к нему первым теперь не пойду, но пошлю своего Платона**, и Вам дам к нему карточку». «Будет лучше сделать это, когда я вернусь накануне публикации», вот что я сказал. Он рассказывал мне некоторые впечатления от поездки. «Я видел десять новых для меня городов,— Милан, Венецию,

---

* Над этим предложением есть довольно загадочная приписка карандашом на французском и итальянском языках: Вы не должны делать <из этого> выводов — <об этом> поговорю потом со Ст<асюлевичем>. Он все забудет — и с вашей стороны у вас нет основания этого не забыть.

** Это не лакей Соловьева, а первый том его «Творений Платона»[20]. (*Прим. Иванова.*)

Женеву и т.д.» Он совершил поездку aux bords du Rhin <по Рейну — *фр.*>. Больше всего поразил его собор в Майнце, где <Соловьев> был по ошибке оставлен при закрытых дверях на некоторое время. Но он не писал ничего в стихах. Он спросил, где ты и т.д. Мы вышли вместе и вместе же сели в карету, чтобы поехать в редакцию, однако я не поехал туда, отложив урегулирование своих дел относительно гонорара и оттисков до другого дня. — Я спешил в свою гостиницу на Пушкинской: одно письмо из Неаполя[15] — и только! Опечаленный, я пошел в ресторан, где у меня была встреча с Гал<пертом>[16]. С ним мы пошли к Симоновичу <?>. Я взял паспорт, заплатил варварскую дань; в другом ресторане мы выпили бутылку вина с сыром, <т.е> отметили как полагается (по его мнению!) великое дело (разумеется, платил я). Потом я занимался, или, скорее, проводил время в библиотеке до часа почты, откуда пошел к себе в гостиницу (после 7), чтобы найти там чрезвычайно длинное, интересное, влюбленное и дружеское письмо от М.М.[17] и письмецо от Ольги. Измученный в душе моей мрачными мыслями, я вернулся под приятную кровлю моих хозяев и имел величайшую радость увидеть на моем столике тот луч надежды и любви, что мне сказал: «dear Coon, one word to say...» <Дорогой Кун, одно слово. — *англ.*>[18]. Orasempre.

*Четверг.*

Заграничный паспорт будет готов завтра. Сегодня я сделал копию и немецкий перевод. Ты сможешь приехать в пятницу. Как только приедешь на Кабинетскую, телеграфируй мне в *Сестрорецк* и, может быть, еще на *Пушкинскую*. *Сегодня* я встретился с Соловьевым. Он пригласил меня на завтрак, мы были четыре часа у него, он читал мне свой диалог, уже напечатанный в «Книжках <Недели>» и затем переработанный. Мы выпили мозельского вина за *твое здоровье* — он предложил этот toast <тост — *англ.*>. Я критиковал «Оправдание Добра»[19]: он согласился! Прощаясь, мы три раза обнялись .

Orasempre

Думаю, что это письмо дойдет не позже телеграммы — ты поступишь правильно, если уедешь завтра, пользуясь удобным случаем, а не дожидаясь моего ответа, который нельзя ускорить. *Прими все меры предосторожности* в поездке. Не забудь самого важного и моей заботы о нем. Будь *осторожной*.

[1] Александра Матвеевна Розанова — судя по всему, соседка по Копорью, приятельница Л.Д. Ее письма к Л.Д. см.: РГБ. Ф. 109. Карт. 33. Ед. хр. 77.

[2] См. п. 315.

[3] Эрнест Львович Радлов (1854—1928) — философ, друг Вл.Соловьева.

[4] Английская гостиница (Вознесенский пр., 10).

[5] Ольга Антоновна Добиаш (в замуж. Рождественская; 1874—1939), ученица И.М. Гревса по Высшим женским курсам, впоследствии известная медиевистка, чл.-корр. АН СССР.

[6] Имеются в виду «Три разговора...» (впервые — Книжки недели. 1899. Октябрь—ноябрь; 1900. Январь). О планах на их устройство в «Вестнике Европы» см.: *Соловьев Вл.* Письма / Под ред. Э.Л. Радлова. Пб., 1923. Т. IV. С. 76—80.

[7] Василий Павлович Гайдебуров (1866 — после 1940), журналист, писатель, издатель далее упоминаемого журнала «Книжки Недели» (с 1894).

[8] Раздел книги «Кормчие звезды».

[9] Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов (1848—1913), поэт, современника-

ми и исследователями устойчиво характеризовавшийся как эпигон «золотого века» русской поэзии.

[10] Книга вышла почти год назад — в августе 1898 г.

[11] После длительных сомнений (о чем см. переписку 1900 года) книга действительно была отпечатана в типографии «Нового времени».

[12] Псевдоним Сергея Николаевича Сыромятникова (1864—1933). В 1897 г. был редактором русского отдела международного журнала «Cosmopolis». Соловьев рецензировал его сборник «Оттуда» (Вестник Европы. 1895. № 8; перепеч.: *Соловьев В.С.* Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1903. Т. 7. С. 173—176). Письма Соловьева к Сыромятникову см.: Письма Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. Э.Л. Радлова. Т. II. СПб., 1909. С. 208—220 (еще два письма — в публикации Е.А. Тахо-Годи, названной в следующем примечании).

[13] Имеется в виду следующее высказывание Сыромятникова: «Один наш талантливый философ попытался разгадать загадку Пушкина и, вырвав нашего поэта из его рода, <...> обвинил его в унижении своего гения, в потере внутреннего самообладания и дошел до дикого выпада, что Пушкин убит не пулей Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна» (Сигма. Неделя о Пушкине // Новое время. 1899. 30 мая (11 июня). О взаимоотношениях Сыромятникова и Вл. Соловьева подробнее см.: «Если будете перепечатывать письма Вл. Сер. Соловьева...» (Вл. Соловьев, С.Н. Сыромятников, Э.Л. Радлов, Ю.Н. Данзас и др.) // Тахо-Годи Елена. Великие и безвестные: Очерки по русской литературе и культуре XIX—XX вв. СПб., 2008. С. 143—195; Межуев Борис. Забытый спор: О некоторых возможных источниках «Скифов» Блока // www.pravaya.ru/book/23/742.

[14] По имеющимся у нас сведениям, Сыромятников, помимо своей основной студенческой специальности (юрист), занимался еще древнескандинавской культурой, позднее приобрел известность как ориенталист.

[15] Судя по всему, М.М. Замятнина еще не приехала тогда в Неаполь к детям Ивановых, так что письмо должно быть от кого-то из находившихся с ними «девушек» (скорее всего, от Ольги Никитиной).

[16] Возможно (хотя и менее вероятно), должно читаться «Гол<овиным>».

[17] Замятниной.

[18] Имеется в виду п. 315.

[19] Главный труд Соловьева в области нравственной философии. Печатался в журналах начиная с 1894 г., отдельным изданием вышел в 1897 г.

[20] Имеется в виду кн.: Творения Платона / Пер. с греч. Владимира Соловьева. М., 1899. Т. 1.

## 319. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *20 июня / 3 июля 1899. Петербург*

*Domenica il 20. <1899> alla trattoria.*

Sono sotto l'impressione della lettera entusiasmata annunziante l'arrivo di Marussia! Una gioia indescrivibile. Tutti contentissimi l'uno dell'altro, e dei regali. Soprattutto, io credo, Sergio. Inquieto sono per te: come riuscirà il viaggio? L'impazienza e l'agitazione non mi permetteranno di mancare domani il treno delle 8.22 che arriva verso le 9.30:

sarò dunque al giardino della chiesa Vladimirscaia alle 10.30 precise, o un po'prima. Se non mi trovo a questa ora al giardino, verrò un'ora dopo, alle 11.30 precise, da Filipov al tearoom. Ma spero fermamente che sarò al giardino indicato all'ora indicata. Mi farò svegliare a casa; voglio guadagnar tempo. Come passeremo la giornata non avendo un pied-à-terre, non lo so. Impazientissimo sono di vederti. Oggi soltanto ho rimesso il manoscritto alla casa di Jernstedt chi m'aspettava ieri invano, perché tutta la giornata d'ieri stavo lavorando, avendo da cambiar molte cose all'ultimo momento[1]. Ho veduto oggi per un momento Вл<адимира> Серг<еевича> chi aveva fatto un piccolo incendio nella camera sua un giorno fa, filosofo come è. Ha lasciato i miei versi da Гайдебуров e saprà la risposta domani sera[2].

Fa un felice viaggio! Dove sei ora? Non ho più notizie.

Facilmente si potrà rifiutare a far<e> rispedire questa lettera prima dal tuo arrivo. Non posso dunque salutarti con essa all'arrivo. Bisogna ch'io aspetti di spedirla fin alla sera.

Orasempre

Конверт с адресом: Ее Высокоролию Лидии Дмитриевне Зиновьевой. Кабинетская, 8. *СПб.* Штемпель: С. Петербург. 21.VI.1899.

Перевод:

*Воскресенье 20-ого в кафе*

Я нахожусь под впечатлением восторженного письма, объявляющего приезд Маруси. Радость неописуемая. Все очень довольны друг другом и подарками. Прежде всего, мне кажется, Сергей. Я беспокоюсь о тебе: как пройдет поездка? Нетерпеливость и взволнованность не позволят мне завтра пропустить поезд 8:22, пребывающий в 9:30: итак, я буду в саду Владимирской церкви ровно в 10:30 или чуть раньше. Если меня не будет в саду в это время, я приду ровно через час, в 11:30, в tearoom <чайную — *англ.*> Филипова. Но я твердо надеюсь, что буду в саду в назначенный час. Меня разбудят дома; хочу сэкономить время. Как мы проведем день без комнаты, не знаю. Мне очень не терпится тебя увидеть. Только сегодня отвез я рукопись Ернштедту, напрасно ждавшему меня вчера, ибо я весь день работал, в последний момент внося много изменений[1]. Сегодня я одну минутку видел Вл<адимира> Серг<еевича>; он сделал небольшой пожар в своей комнате за день до этого, философ как есть. Он оставил мои стихи у Гайдебурова и узнает его ответ завтра вечером[2].

Счастливого пути. Где ты сейчас? У меня больше нет новостей.

Можно было бы без труда не отсылать это письмо до твоего приезда. Но при приезде приветствовать тебя с ним нельзя. Придется подождать с его отсылкой до вечера.

Orasempre

[1] См. письмо В.К. Ернштедта к Иванову:

*СПб. 2 Июля 1899*

Многоуважаемый

Вячеслав Иванович,

К сожалению, вышло так, как я опасался, что выйдет: в июльскую книжку попала только одна страница Вашего praemonitium. Это, конечно, неприятно; но по

крайней мере вся ода появится в одной (августовской) книжке. Кроме того, можно утешать себя еще вот чем: в типографии обещали мне приготовить отдельные оттиски раньше августа, еще в июле месяце, с тем, чтобы Ваши отдельные оттиски в продажу не поступили раньше 1-го августа. Иначе цензура может придраться к помете: «Извлечено из Ж. М. Н. Пр.».

Итак, первый блин вышел немного комом. С остальными пойдет дело складнее.

Ваш покорный слуга

В. Ернштедт.

P.S. Типография не только *обещала* приготовить поскорее отдельные оттиски: сейчас я получил уже корректуру. Нумерация, разумеется, самостоятельная. Поправки Ваши внесены, а сообщенная в письме будет внесена (ударения в III эподе). Заглавие было (в оттисках) такое: Первая Пифийская Ода / Пиндара. / Вячеслава Иванова. Я позволю себе вставить перед именем Вашим: Перевод размером подлинника. Тогда как бы к заглавию будут примыкать первые слова предисловия. Да и в этом ведь вся соль. Не правда ли? (РГБ. Ф. 109. Карт. 18. Ед. хр. 41. Л. 1 и об.).

[2] В «Книжках недели» стихов Иванова в 1899—1900 гг. не появлялось.

# *ИНТЕРМЕДИЯ (II)*
# *Петербург*
# *1899—1900*

## В.И. Иванов — детям

*Le 25 Avril / 7 Mai 1899*

Chers enfants! Je ne vous ferai pas de reproches. Vous saviez vous mêmes que votre lettre m'attristerait[1]. Il s'agit à present de prouver par le consciencieux efforts que vous avez bien sincèrement regretté vos égarements et votre paresse. Vos promesses me font espérer que vous ne voudrez pas tromper encore une fois la confiance que je vous montre de nouveaux. C'est avec impatience que j'attends vos comptes-rendus sur vos travaux et votre conduite. Soyez donc sages et suivez exactement les instructions que je vous ai donnés. N'oubliez pas que notre separation force de notre famille nous cause par elle même assez d'inquiétude et de soucis à votre égard, — et imaginez-vous combien cette inquiétude est augmentée par des nouvelles affligeantes sur vos querelles, votre indolence et votre manqué de discipline! Je vous embrasse tous deux, mes chéris! Embrassez de ma part les petits et votre camarade, saluez chaleureusement A.H. et O.Ф.[2] Portez-vous bien tous. — Votre ami qui vous aime de tout son coeur. Venceslas.

*Васюне*

«Где возиться мне с тобой» — безличное предложение, сказуемое «возиться». Остальное понятно.

РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 46. Л. 1—2.

Перевод:

*25 апреля / 7 мая 1899*

Дорогие дети! Я не упрекаю вас. Вы сами знаете, что ваше письмо опечалило меня[1]. Сейчас речь идет о том, чтобы сознательными усилиями доказать, что вы ис-

кренне сожалеете о своих заблуждениях и лени. Ваши обещания позволяют мне надеяться, что вы не хотели бы еще раз обмануть доверие, которое я вам снова оказываю. Я с нетерпением жду ваших отчетов о трудах и поведении. Будьте умниками и следуйте тем наставлениям, которые я вам давал. Не забывайте, что наше насильственное разлучение с семьей само по себе причиняет нам довольно беспокойства и хлопот по вашему поводу, — и представьте себе, насколько это беспокойство увеличивается прискорбными новостями о ваших ссорах, небрежности и дурном поведении! Я вас обоих целую, мои дорогие! Поцелуйте от меня младших и вашего товарища, горячо приветствуйте А.Н. и О.Ф.[2] Будьте здоровы. — Ваш друг, который вас любит всем сердцем. Вячеслав.

[1] О каком именно письме идет речь, мы не знаем.

[2] А.Н. Шустова и О.Ф. Никитина.

## Diarium

*4 Июня, Пятница.* — У Раевского[1]. Разочарование: москов<ский> знакомый — оказывается тот же Superuomo, semper idem[2]. К нему: нет его. В Синод: Ал<ексей> Ром<анович>[3] обещает заехать к другу. У Гревса: очаровательная двухчасовая causerie[4]. Дома — письмо Лили[5] и письмо от меня Головину: приняли-де решение обойтись без помощи Галперта[6], разве для регулирования бумаг; почему предупреждение и покорнейшая просьба не упоминать в разговоре с ним (по поводу рекомендации) о том, с чьею личностию связаны мои хлопоты. Визит Алексея Романовича: друг оказался повышенным по чину в область сыскной полиции и не был найден нигде дома; сомнения А<лексея> Р<омановича> — не страшно ли обращаться к такому сыскному деятелю... Ночная продолжительная беседа эпически-мемуарного характера — до 2-го часа ночи. Утомление и недолгий <?> сон.

*5 Июня, Субб<ота>* — Письмо к Марье Михайловне (опущено до 11 ч.). Визит к Superuomo: нет его. Изнеможение и недомогание дома. Вторичный поход за Superuomo. Встреча на Б. Морской с Ал<ексеем> Роман<овичем>, идущим от куаффёра: сыскной деятель не обретен и окончательно скрылся на даче; другой друг тоже сегодня в бегах. Встреча с Слонимским[7] — вопрос о Соловьеве — он в Базеле[8]. Superuomo только что уехал: das Göttliche kommt — und geht auf leichten Füssen[9]. Намерение навестить Superuomo в обеденный час на его квартире. Поездка на пароходе на острова — au petit Bonheur[10]. На Неве красиво и прохладнее. Зеленые берега. Приехав, с пристани — на обрат-

ную конку. У Superuomo. Das Göttliche kommt... Любовное свидание: смотрю на него с эросом, воспетым у Платона. Он находит, что я не так себя вел у старичишки[11]. Приветлив <?> и прекрасен, как день, как бог. Свободным и энергическим жестом окунает перо в чернильницу. Рекомендация к письмоводителю старикашки. Домой. Письмо семьи. Ничего нового. Сережа ждет Марьи Мих<айловны> «с нетерпением». Анюта ездила в Неаполь покупать простыни и другое хозяйственное в ожидании — не то гостьи, не то «ревизора из Петербурга с секретным поручением»[12]. Ожидание письма Лили. В 10 ч<асов> вечера таинственное свидание с письмоводителем. Все испорчено старикашкой, рассказывавшим о своей стойкости и пр. во всеуслышание. Вот каналья! Дружественный отказ и добрые советы. Указан адрес Симоновича — он же сих ведает...[13] Симонович! Симонович! как много в этом звуке!..[14] Ведь это был мой Виргилий, когда я посещал круги петерб<ургского> Inferno[15], адрес которых, к твоему удивлению, мне остался абсолютно неизвестным... Кроме того, целый план действий — предпочтительно в Москве. Прописаться, подать заявление об утере свидетельства, получить удостоверение, взять из университета дупликат, получить с ним временное свидет<ельство> (без означения сем<ейного> полож<ения>), на основании врем<енного> свидет<ельства> получить загранич<ный> паспорт (представив заграничную депешу, вызывающую за границу по какому-нибудь делу немедленно), по возвращении обменить врем<енное> св<идетельство> на паспорт<ную> книжку с пометой о браке из заграничн<ого> паспорта. И при всем этом не перерасходовать ничего, кроме как на <1 нрзб> марки. Но при всем этом также рекомендуется и апломб с энергией, ибо, по-видимому, скачка не без препятствий (почему она и не по мне); наставник же мой утверждает, что успех «почти... даже прямо верен»... Расставшись, формулирую в уме следующие возражения: 1) прописаться с моим документом вообще трудно (как говор<ит> и письмовод<итель>), даже невозможно в Петерб<урге>, для меня же вдвойне трудно, не объясняя моего пребывания за границей и, след<овательно>, в случае дела об утере документа не наводя на след сданного заграничного паспорта. 2) врем<енного> свид<етельства> могут и не дать, а выдавая, допросить о семейном положении. 3) загранич<ного> паспорта по временному свид<етельству> могут не

дать. 4) — и это особенно важно! — по возвращении никто не согласится выдать паспорт<ную> книжку с пометой о браке на основ<ании> врем<енного> свид<етельства> без всякого упоминания о семейном положении; должно будет начаться дознание, иначе можно было бы т<аким> о<бразом> совершить и двоеженство! Эти соображения уверяют меня в непригодности развитого моим доброжелателем плана, для меня — по крайней мере: где мне одному бравировать столько опасностей <так!> и лавировать между стольких подводных камней!.. Думаю зайти завтра к Симоновичу. Ехать в Молосковицы[16] хотел было, но Ал<ексей> Ром<анович> резонно замечает, что в Троицын день священник может уехать куда-нибудь на праздник или сам свой праздник праздновать в бессознательном состоянии. О пилигримстве в Сергиев монастырь[17] куда мне теперь думать! Ultima ratio[18] Галперт; как бы только не изменил! — Наташа выходит замуж за Семенова[19]. — Superuomo печатает в своей типографии и книги почти <?> «какие угодно»!

*6 Июня, Троицын день.* Мысли мои направляются на Пиндара[20]. Решаюсь навестить Сымоновича <так!>. Длинное путешествие на улицу Глинки. Не застаю его дома — думаю, к счастию. Как-то там все подозрительно поглядывают — пожалуй, еще напортил бы дело своей дипломатией. А он — все равно сообщник Галперта. Картолина от Гревса — что они не обедают дома и приглашение к обеду или после обеда — по желанию — переносится на понедельник[21]. Они = И.М., студент-математик, у него проживающий, и сестра математика[22]. С ними я познакомился в прошлый раз и имел впечатление симпатичное. Вечером поездка на В<асильевский> О<стров> к Ал<ексею> Ром<ановичу>, чтобы знать решение. Открывает его маленький черноглазый сынишка, такой славный. А<лексея> Р<омановича> нет дома; в Синоде. Захожу в Синод: он уже вышел и хотел вернуться в 11 ч<асов>. Снова еду из дома в 12-м часу в Синод; опять его нет, не пришел. Только что пришел пешком, усталый, домой, во 2-м часу, ко мне входит А<лексей> Р<оманович>, узнавший о моих визитах в Синоде. Говорит, что писал мне, каковое письмо я не получил, и весь день ездил, ища денег занять у кого-нибудь: истратил и до 3 рублей в кармане. Его знакомый отказался по моему делу помочь. Я предлагаю денег, если дело идет не об очень большой сумме. Говорит, что хотел достать хоть у сестры

рублей 200. Упрекаю, что не обратился тотчас ко мне, п<отому> ч<то> мы ему много должны — за его потерянное время и многие издержки. Говорю, что 150—200 р. у меня найдется сейчас же. Он деликатничает, говорит, что брать у меня ему неблаговидно и что деньги мне самому нужны. Я заявляю, что 150 р<ублей> могу дать, «так сказать, с легкостью», а 200 р<ублей> также могу, хотя это произведет уже некоторое неравновесие в моем бюджете. Он берет 150 руб<лей>, благодарит. Спрашивает о сроке отдачи и пр. Я несколько раз повторяю, что считаю себя его должником и что мы потом должны сосчитаться непременно, чтобы мне не оставаться у него в долгу. Он уходит, когда стало совсем светло. — О плане, предложенном письмоводителем, говорит то же, что́ и я думал.

*Понед. 7 Июня,* Духов день. Просыпаюсь к 11 ч., спешу к Г<алперту> он одобряет загранич<ный> план, говорит — так экономнее и во всяком случае не хуже. С бумагами как быть, сам не знает: должен переговорить с лицом знающим. Увидится с ним только завтра в 2 ч<аса>; да я и бумаги мои, как нарочно, забыл дома, а Г<алперту> ждать было нельзя. Об условиях и пр. ничего не говорит, отлагая это до разговора с знакомым (Сымоновичем?). Спрашиваю, не говорил ли обо мне Головин? Нет. Передаю карточку, прошу устроить по возможности дешевле. «За кого вы меня считаете, Г. Иванов? Вы все торгуетесь, а на свои деньги я не могу же вам все делать. Вот вы мне карточку Г. даете: отчего он вам все не устраивает? Хотите, я познакомлю вас самого с моим знакомым? Платите ему сами, сколько нужно» и пр.

Итак, я условливаюсь принести бумаги завтра утром. — Обед у Гревса в обществе Mlle Добиаш, чешки, — брат ее уехал. Письмецо открытое от Марьи Мих<айловны> с картиной Веронского домика твоего и с следующим текстом: «Верона не может не послать вам, голубушка Лидия, своего привета. Спасибо, дорогая моя, за все то наслаждение, кот<орому> я и конца не предвижу, судя по началу. Маруся».

*Вторник, 8 июня.* [Утром у Галперта. Его знаком<ый> хочет 400 р<ублей> — меньше не согласен <?>; себе он берет 150 р<ублей> — итого 550 р<ублей>. Подавлен. Хочу уходить. Прошу опять переговорить с знакомым.]

Утром у Галперта. Рассматривал бумаги, обещал устроить паспорт<ную> книжку. Об условиях поговорит с знакомым. Я должен

отменить загород <?> и пожить у знакомых. Еду к Гревсу. Его нет. Докладываю дело mlle Добиаш. Условливаемся, в случае отказа принять меня Гревс меня известит, иначе я приеду с вещами. Захожу в магазин «Нов<ого> Вр<емени>» купить новые стихи Бальмонта «Тишина», «Автографы Пушкина» и соч<инения> Пушкина[23]. Неудача с покупкой. Последняя. Обед. Визит к Галперту. Знакомый хочет 400 р<ублей>. Он 150. Всех 550. Уступает 50 р<ублей>. Прошу еще повидаться с знакомым: обещаю 400 р<ублей>. Гревс без меня заходил. Исполнить мою просьбу ему неудобно. Говорил с Ернштедтом[24].

*Среда 9 Июня*. У Агафоангела: телеграмма из Лейпцига: «Die sollen kommen, ich erwarte. Akakios»[25]. Галперт: его нет, свидание в ресторане. В редакции «В<естника> Евр<опы>». Возвращение манускрипта[26]. У Гревса: нет дома. В ресторане: Галперт не приходит. В магазине «Нов<ого> Вр<емени>»: обмен соч<инений> Пушкина. Остальное время — дома.

*Четв<ерг> 10 Июня*. Пакт с Галп<ертом>.

Прагматика этого текста (РГБ. Ф. 109. Карт. 1. Ед. хр. 17) не вполне ясна. С одной стороны, он представляет собою краткий дневник («Diarium» по латыни и значит «дневник»), рассказывающий о семи днях пребывания Иванова в Петербурге в июне 1899 г., когда он был озабочен тем, чтобы получить новый паспорт взамен утерянного (вполне возможно, что утерянного фиктивно), в котором не было бы обозначено запрещение нового брака, которому он подвергся в результате развода с Д.М. Ивановой. Однако появляющиеся в нем обращения позволяют подозревать, что он задумывался как письмо или по крайней мере часть письма к Л.Д.

[1] О ком идет речь, нам неизвестно.

[2] Сверхчеловек, все тот же (*ит., лат.*). Скрытый этим именем человек нам неизвестен.

[3] В 1899 г. в Синоде служил столоначальником второго отделения Хозяйственного управления статский советник Алексей Романович Казицын (Васильевский Остров, 8 линия, д. 55), который, по всей видимости, и является помощником Иванова в деле о паспорте.

[4] Болтовня (*фр.*).

[5] П. 308.

[6] О В.Е. Головине см. п. 279, прим. 2. Николай Александрович Галперт — поверенный по бракоразводным делам (Фурштадтская, 44).

[7] Леонид Зиновьевич (Людвиг Зенович) Слонимский (1850—1918), публицист, постоянный сотрудник «Вестника Европы».

[8] Весной 1899 г. В.С. Соловьев был в Канне, Женеве, Лозанне и Базеле (где пробыл всего 36 часов). См.: *Соловьев Вл.* Письма. Пб., 1923. Т. IV. С. 80.

[9] Об этой цитате из Ницше см. п. 264, прим. 9.

[10] К маленькому Счастью (*фр.*).

[11] О ком идет речь, мы не знаем.

[12] См. Н.В. Гоголь. Ревизор. Действ. 1, явл. 1. У Гоголя — «с секретным предписаньем».

[13] Николай Евстафьевич Симонович в 1899 г. служил в Санкт-Петербургском Сиротском суде, жил по адресу: Вознесенский пр., 38. Чем объясняется разница в адресе, мы не знаем: то ли Иванов перепутал (улица Глинки находится неподалеку от Вознесенского пр.), то ли Симонович сменил квартиру.

[14] Отсылка к строкам из «Евгения Онегина»: «Москва! Как много в этом звуке...» (гл. седьмая, XXXVI).

[15] Ада (*ит.*). Отсылка к первой части «Божественной комедии» Данте.

[16] Станция в Петербургской губ. между Гатчиной и Ивангородом.

[17] См. п. 309.

[18] Крайнее средство (*лат.*).

[19] Речь идет о свадьбе Н.В. Гольштейн (1880—1953), дочери А.В. и В.А. Гольштейнов, с Ю.Ф. Семеновым (о нем см. п. 231, прим. 10).

[20] См. п. 311, прим. 4.

[21] См. запись следующего дня и п. 318.

[22] Речь идет об Александре Антоновиче Добиаше (1875—1932), выпускнике физико-математического факультета Петербургского университета; в 1899 г. работал лаборантом в Электротехническом институте, впоследствии профессор Военно-медицинской академии. Его сестра — О.А. Добиаш-Рождественская (см. п. 318, прим. 5).

[23] Речь идет о книгах: Бальмонт К. Тишина. М., 1898 (ср. в п. 318 рассказ об обсуждении этой книги с В.С. Соловьевым); Автографы рукописей А.С. Пушкина: Письмо к А.И. Тургеневу (1823 год); Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» (1825 год); Отрывок из «Путешествия в Арзрум» (1829 год). СПб., 1899. В юбилейном Пушкинском году изданий его сочинений было предпринято много, однако, вероятно, следует предположить, что Иванов купил удобное при скитальческом образе жизни издание: Сочинения А.С. Пушкина. Полное собрание в одном томе / Со статьей А. Скабичевского «Александр Сергеевич Пушкин» (биографический очерк), портретом автора, гравированным В. Матэ, и 160 иллюстрациями / 5-е изд. СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1899. На это указывает ссылка Иванова на одно из составительских решений этого издания (см. п. 401). Менее вероятно, что Иванов купил первый том академического Полного собрания сочинений под редакцией Л.Н. Майкова (СПб., 1899).

[24] См. п. 311.

[25] Они должны приехать. Я жду <их>. Акакиос (*нем.*). Телеграмма явно пришла от священника, который должен был обвенчать Иванова и Л.Д. 14/26 июня Зиновьева-Аннибал, еще полная надежд, писала отцу: «Кажется, могу теперь вполне надеяться, что в Лейпциге мое дело семейное вполне окончится, и после того поеду к тебе» (РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. Хр. 3. Л. 47) — и в тот же день М.М. Замятниной: «Получили приглашение в Лейпциг от греч<еского> священника. Хлопоты В<ячеслава> еще с бумагами. К концу недели уладится» (РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 6. Л. 12 об.). Однако ситуация благополучно не смогла разрешиться. В недатированном письме к М.М. Замятниной Зиновьева-Аннибал писала: «Пишу Вам лежа в постели, хотя еще день. В<ячеслав> ушел толковать с греком. Я же совсем расслабла. Кажется, и здесь ничего толком не выходит: немцы требуют месяца жизни здесь и заключения гражд<анского> брака, грек предлагает венчать в Цюрихе в гостинице. Вяч<еслав> мечется как раненый и не хочет. К тому же

ему грек несимпатичен, не внушает доверия и он имеет предчувствия, и т.д., и т.д. Словом, придется двигаться на Париж и там искать счастия» (Там же. Л. 10 об.). См. также п. 311.

[26] См. п. 311.

## В.И. Иванов — М.М. Замятниной

*Венеция, 17.VII <1899>*

Дорогой друг,
Марья Михайловна!

Сослужите нам великую службу (ибо нас преследуют неудачи и здесь, как Энея с его Пенатами[1], а благодаря притеснительному формализму консула* мы должны бежать ни с чем и отсюда, понапрасну разгласив здесь свое опасное дело), сослужите еще дружескую службу — тотчас же повидайтесь с греческим архимандритом в Неаполе и спросите его, не согласился ли бы он повенчать нас на основании документов, список которых прилагаю; причем имен говорить ему сразу, быть может, не следует, поскольку Вы найдете удобным такое умолчание, но также не следует, думается нам, скрывать и факта существующего для меня запрещения, *в моих бумагах умолчанного*, так как свадьба может расстроиться неожиданно в последнюю минуту, если неаполитанский консул, подобно здешнему, вдруг потребует и заставит архимандрита потребовать от меня бумаги о дозволении вступать в новый брак. О результате Ваших переговоров известите меня, конечно, депешей по адресу: Venceslao Ivanov, Hôtel Belvedere, Veneta Marina, Venezia.

Дорогой друг, Вы представляете себе, как нам живется худо, несмотря на красоту, здесь нас окружающую. Простите, что до сих пор не писал Вам как бы хотел — дорогому и милому другу о всем, что́ дорого и мило... «Но не тем в то время сердце полно было»[2]. Впрочем, неверно это. Ваши письма всегда были нам праздником и «с собою уводили в очарованную даль»[3]. Но самому беседовать с душою и по душе не позволяла суетная и бессменно суетливая жизнь.

Ваши скитальцы.

---

* Сначала, по беглом просмотре бумаг, нашедшего все в порядке, а потом потребовавшего бумаги о разрешении венчаться.

Кроме того, важно знать, требуется ли Итальянцами одновременное заключение *гражданского* брака (как Немцами в Германии), сколько времени и каких формальностей это потребовало бы — и вообще, возможно ли венчаться в Неаполе немедленно.

У архимандрита могут возникнуть сомнения, почему мы не венчались в Венеции, если наши бумаги засвидетельствованы в переводе венецианским консулом; это может испугать его. Чтобы предупредить такие сомнения, можно сказать, что консул нам знаком и засвидетельствовал бумаги при проезде из России, — в Неаполе же мы хотим венчаться потому, что близ него живут наши родные, или даже прямо — что живут дети невесты от первого брака и что праздновать свадьбу мы хотим в своей семье. Нужно вам знать, что венецианская церковь очень уважаемая, древняя и строгая, почему подпись венец<ианского> консула имеет особенный авторитет, а факт невенчания в венец<ианской> церкви может предубеждать *против* нас; почему должно хорошо мотивировать наше желание венчаться не здесь, а в Неаполе.

По написании этого письма мы обратились к консулу с просьбою засвидетельствовать французский перевод наших бумаг — и он согласился. Итак, обращаться к неаполит<анскому> консулу за этим не представляется нужды. Это изменяет условия переговоров с архимандритом. Если он пожелает рассмотреть сами бумаги (в их подлиннике и франц<узском> переводе) и заявит, что не нуждается в услугах русского консула для определения их достаточности, то откровенность относительно воспрещения, на мне тяготеющего, может только повредить делу. Если же архимандрит скажет, что без консула обойтись не может при определении нашей правоспособности к заключению брака, — то лучше сказать ему раньше, в чем заключается фатальное затруднение, и обратив особенно его внимание на *умолчание* о запрете в моих бумагах (нет только особенного *разрешения*, как в бумагах невесты), так что противоречия с бумагою о заключении нового брака в моих документах не будет — ни теперь, ни потом.

Одним словом, Вы сумеете еще лучше и умнее нас провести эти переговоры, дорогой друг наш! Ждем депеши Вашей, но *од-*

*новременно*, для бóльшей верности, черкните и *письмецо*, адресуя его *poste restante* на мое имя, сюда.

Вам бесконечно преданный

Вяч. Ив.

Все, чтó пишете о впечатлении от деток, нас глубоко радует.

РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед.хр. 31. Л. 3—5 об.

[1] Эней бежал из разрушенной Трои, взяв с собой изображения домашних богов — Пенатов, и все время странствования имел их при себе.

[2] Из поэмы А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1821—1823).

[3] Неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Рифма, звучная подруга...» (1828). В оригинале: «И [от] мира уводила / В очарованную даль».

# *ИНТЕРМЕДИЯ (III)*
## *Англия 1899—1900*

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — Д.В. Иванову

*11/23 авг<уста 1899. Неаполь>*

Дорогой Папочка,

Посылаю тебе несколько писем с горячей просьбой переслать их. Прочитай мое письмо к маме, я в нем представляю ей все выгоды нашего плана переселиться на зиму в Лондон. Там частная жизнь свято охраняется законом, и Шварсалон будет совершенно бессилен нам вредить или добывать себе детей. Кроме того, очень выгодно детям выучиться английскому языку, и вообще школы английские лучше, чем где-либо в другой стране. В Лондоне есть и прекрасные библиотеки для научной работы. Словом, я надеюсь, дорогой папа, что, обсудив всё, и ты придешь к согласию со мною. Напиши мне свое мнение, очень прошу тебя об этом. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 3. Л. 30 и об. Опубликовано: Кружков. С. 350—351. Все письма и фрагменты писем, вошедшие в названную публикацию Г.М. Кружкова, сверены с оригиналами и довольно многочисленные неточности исправлены без оговорок. Отметим, что в его работе есть еще некоторые фрагменты, дополняющие нашу «интермедию».

## Из дневника С.К. Шварсалона

Le jeudi 27 Juillet, nous nous sommes co<u>chés à 8 heures. A minuit je me suis reveillé. A 1 heure à peu près j'entendis comme un cocher descendait notre. Sachant que Maman devait arriver à peu près

à cette heure je me suis jetté à la fênetre. Le cocher portait Maman et Venceslas. Je ne peux pas dire comme j'étais content. Après avoir bien parlé avec Maman et Venceslas, je me suis recouché et je me suis reveillé à 8 heures.

## De Naples a Londres

Le bateau à vapeur, un grand vaisseau allemande qui venait de la Chine et qui s'appellait Bayern partait de Naples à cinq heures du matin le 16 Août pour Bremen en passant par Southampton[1]. Nous avons cinq billets, pour Maman, Venceslas, Maroussia, Véra et moi. Nous nous sommes embarqués le soir de la vielle du départ avec Agnouta et Kostia, qui étaient venus nous accompagner et visiter le vaisseau, qui jaugeait cinq milles tonnes. La même nuit ils nous quittèrent et retournèront à Resina[2]. Cela me faisait beacoup de la peine à me séparer d'Agnouta, d'Olga, de Kostia, de Lydia et de Vassiunia et surtout de <1 нрзб>, que j'aimais et que j'aime tellement et que je ne devais plus revoir. A cinq heures et demi on leva l'ancre. Le brouillard ne s'était pas encore dissipé.

РГБ. Ф. 109. Карт. 48. Ед. хр. 11. Л. 5 об. — 6, 8 об. — 9. Напомним, что в это время С.К. было 12 лет и французский язык (на котором он вел дневник) не был для него родным, чем и объясняются некоторые странности.

Перевод:

В четверг 27 июля мы легли спать в 8 часов. В полночь я проснулся. Около часу я услышал, как извозчик остановился около нас. Зная, что Мама должна приехать около этого времени, я бросился к окну. Извозчик привез Маму и Вячеслава. Не могу сказать, как я был доволен. Хорошо поговорив с Мамой и Вячеславом, я снова лег спать и проснулся в 8 часов.

Из Неаполя в Лондон

Пароход, большое немецкое судно, пришедшее из Китая, под названием «Бавария», отправлялось из Неаполя в пять часов утра 16 августа в Бремен с заходом в Саутгемптон. У нас было пять билетов для Мамы, Вячеслава, Маруси, Веры и меня. Мы сели на пароход вечером накануне отплытия с Анютой и Костей, которые пришли нас сопроводить и посетить судно, которое было водоизмещением в пять тысяч тонн. В ту же самую ночь они нас покинули и вернулись в Резину. Мне причинило много боли расставание с Анютой, Ольгой, Костей, Лидией и Васюней и особенно с <1 нрзб>, которого я любил, которого так люблю и которого уже больше не увижу. В пять часов с половиной подняли якорь. Туман еще не рассеялся.

[1] Запись С.К. подтверждается письмом Зиновьевой-Аннибал к А.В. Гольштейн от 27 января 1899 / 1 января 1900 г., где упоминается «пароход "Bayern", везший нас в Southhampton» («Обнимаю вас и матерински благословляю...» С. 168).

[2] Вилла около Неаполя, где жили дети Ивановых с М.М. Замятниной, а некоторое время и родители.

## В.И. Иванов — Д.В. Зиновьеву

*Лондон, 11 Сент<ября> / 30 Авг<уста> 1899*

Глубокоуважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич!

Спешу сообщать Вам радостную весть: вчера, в Воскресенье, 29 Августа, в 4 часа пополудни, у нас родилась благополучно дочь, которую мы думаем назвать Еленой. Роды были недолгие и, благодаря уходу хорошего и сердечного доктора, который употребил хлороформ, — нетрудные. Лидия, очень истомленная, боялась продолжительности и трудности родов; но, слава Богу, пока все обошлось и идет счастливо и хорошо, и доктор доволен состоянием здоровья Лидии. При ней находится ученая сиделка, и семья, у которой мы нашли комнаты и пансион, относится к нам очень заботливо. С нами двое старших детей и наш друг, Марья Михайловна Замятнина, окружающая Лидию самой родственною лаской и попечением и взявшая на себя с любовью все заботы о детях. Дети усиленно занимаются английским языком с учительницею-англичанкой и играют в сквэре против нашего дома с английскими товарищами. Мы устроились очень удобно и в хорошей, центральной и вместе очень тихой и приятной местности. Я надеюсь, что Вы получили письмо наше, написанное на пароходе во время переезда в Англию[1]? Когда Лидия, Бог даст, поправится, мы выпишем из Неаполя и остальную часть семьи. Лидия, конечно, сама писать не может; она посылает Вам свой привет и нежную ласку, и мы оба просим принять наше поздравление с Вашей новорожденной внучкой. Любящий и почитающий Вас сердечно

Вячеслав Иванов.

Адрес наш:
Ivanov
15, Torrington Square
London W.C.
Londres.

РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 6. Л. 1—2 об.

[1] Данное письмо нам неизвестно.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — Д.В. Зиновьеву

*15 Torrington Square, London*
*24 Сент<ября> / 6 Окт<ября> <18>99 г.*

Дорогой Папочка,

Собиралась я поздравить тебя ко дню твоего Ангела, да день за днем проходили у меня в такой слабости, что не могла взяться за письмо: не хотелось тревожить тебя плохими вестями. Теперь могу сказать, что всё налаживается: я стала несколько сильнее, хотя ходить мне еще не позволено. Дочка моя тоже очень слаба, и горе наше с ней то, что у меня от слабости пропало молоко. Приходится девочку воспитывать на рожке, и долго она не переносила свою пищу. Теперь, слава Богу, и это горе исправляется: девочка стала, кажется, привыкать. Уход за мной и за дочерью здесь великолепный. Старшие дети сделали много успехов в английском языке и на днях поступают в школу. Младших с Анютою ожидаю тоже на днях из Неаполя морем.

Вячеслав здесь работает очень много в чудесной лондонской библиотеке British Museum, где ему много дела по его науке. В этой библиотеке между русскими книгами есть несколько его собственных работ, напечатанных в Петербурге за последний год в трех журналах[1]. Ему здесь работать лучше, чем где-либо, и я надеюсь, что если в семье все будет благополучно, он успеет много сделать.

Мы устроились очень хорошо и для меня, потому что не имеем своего хозяйства, а живем «по-английски», т.е. в пансионе у очень милых и любезных людей. Хотя эта жизнь несколько дорога, но для моего отдыха она необходима, не правда ли, папочка?
<...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 3. Л. 34—35 об. Написано карандашом. Не полностью: Кружков. С. 352.

[1] Судя по всему, имеются в виду публикации: Тризна Диониса // Cosmopolis. 1898. № 12. С. 93—94; Дни недели // Вестник Европы. 1898. № 9. С. 124—124; Четыре сонета // Вестник Европы. 1899. № 6. С. 771—773; Первая пифийская ода Пиндара // ЖМНП. 1899. Август. Отд. III. С. 49—56.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*3 Ноября <18>99*

Дорогой друг, пишу на почте прежде всего, чтобы известить о перемене адреса: ***Mr*** Ivanov, 27 Endsleigh Gardens, Gordon Square,

NW. Так как оказались хозяева на Топ. Sq<ua>re подлецами, очень боимся за корреспонденцию, направленную по старому адресу. Извести дорогой гугенот[1], посылала ли ты туда. Спасибо за все твои письма, Марусенька. Много мы без тебя пережили тошноты и омерзения. Теперь надеемся на лучшее в новых Appartments <так!>. Хозяйка стряпает по моему заказу.

Закрытка. РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 6. Л. 17.

[1] С чем связано такое прозвище М.М. Замятниной, несколько раз в ранний период встречающееся в письмах, трудно сказать.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*11 ноября <18>99 г.*

К вечеру ты знаешь, как отчаянно я устаю. А днем с 8-ми утра я как в котле киплю: всё работа работу погоняет, и оглянуться и одуматься и в себя прийти нет времени. Девушки могут лишь одеть, умыть детей и попеленать Елену, но присмотреть за строем их жизни не могут, и за строем общей жизни семьи также не могут, и я всё налаживаю и накачиваю на новый, ладный путь со всею заботою и старанием. Но уходят и все силы, и все чувства, и все мысли. Кстати еще и язык этот ужасный! приходится за каждой булавкой самой ходить и всякую мелочь самой объяснять. Надо обмундировать Анюту и Олю и водить их изо дня в день в лавки. А после завтрака устаю: чуть отдохну у Еленушки — и дети уже из школы пришли: надо уроки с ними делать. Прибавился еще Козля-ученик. Где-то впереди мерещится огонек надежды, тем и живу. Ведь вот была бы счастливая женщина, вполне счастливая и даже блаженная не по заслугам, если бы не одно горе: этот роман — cette obsession que me maîtrise, qui est plus forte que moi, et je succombe![1] <...> Теперь день так складывается, или* раньше: вот квартира: Во втором этаже** большая комната в два окна на большой сквер. Спят там: Вера с Олей, Анюта, Лиля, Елена. Дневуют Анюта, Оля, Елена и Лиля. Внизу совсем: комната в 2 окна во двор: вид на длинный проулок, весь застроенный поверх рва в уровень с землею крышами английских <?> подвальных

* Возможно, должно читаться: если.

** Сохранена смысловая несвязность предложения и пунктуационная странность.

этажей. Странная, серая, длинная аллея. Спят Козля с Сережей. У них стол, кресло, буфет, комод и шкаф. Обе очень хорошо меблированные и уютные комнаты. Третья внизу, на сквэр[2] в два окна. У стены задней наша кровать, загороженная ширмами и темно-красной портьерой. Впереди у окна письменный стол отличный, над ним и в простенке полки с книгами очень красиво. У другого окна пьанино собственный, мною нанятой. Затем хороший диван. На стенах порядочные картины хозяйские и повешены наши: у стола голова Книдской Венеры, на камине Давид и Thanatos Праксителя, над пьанино и около него: Madonna del gran Duca и Perugino, большая Венера Книдская и Madonna Васнецова. Посереди комнаты большой стол, где накрываются наши гераз[3]. Уже в 8 ½ всегда breakfast[4], и Вяч<еслав> поневоле встал и на месте. Вот ловко-то! В 1 ¼ *обед*, в 6 наш ужин с детьми. В 8 ¼ ужин Вячеслава и чай. За breakfast'ом *огромное* блюдо «porrage»[5], т.е. овсяной каши, составляет блаженство всей семьи, за исключением *одной* Анюты. Обеды и ужины отличные, и всем весело. Дисциплина поддерживается строго, и весь дух обедов очень приятный. Вяч<еслав> — carving gentleman[6]. Вообще семья мне доставляет много радости, и я была бы очень счастлива, если бы... и опять та же сказка! о эти Елены и Дмитрии![7]

О, Марусинька, как я напугалась с моей милой малюткой Еленушкой! Она имела в сутки около 20 припадков судорожных! Мой дорогой доктор был два раза, и сегодня мы только утешились, потому что скоро 24 часа, как не было ни одного приступа ужасной болезни и детко <так!> наше веселенькое. Она хохочет теперь, глядя на свои кулачки, так что захлебывается смехом. Пишу тебе утром около 11-ти часов в Субботу. Дети не в школе. Сережа впрочем только что вернулся с урока рисованья и сбегал на телеграф снести доктору телеграмму: «Since yesterday afternoon no more convulsions»[8].

Лидии я подарила огромную куклу, купленную в лавке на день рождения Вериной Елены, и она и Вера играют наверху в своем кукольном углу. Сережа пошел одевать мальо́ для игры в football со школой в парке за городом. Козля сидит у меня под боком и усердно вяжет себе синий шарф под моим руководством. Вяч<еслав> в библиот<еке> отдыхает от переполоха с Еленушкой. Быть может, и я на днях вырвусь с ним. Анюта недели через 2, 3 едет в Россию; она в душе очень стремится. О Васюнином пасп<орте> написала ей самой и в случае нужды направлю ее отца к тебе. Мы живем в двух шагах от Torr<ington> Sq<ua>re за Gordon

Sq<ua>re следующий Sq<ua>re наш. Детям ближе, Вяч<еслав>у чуть дальше. Но Regent Park близко зато, и часто младшие туда ходят. Кажется, В<ячеслав> тебе сам пишет, поэтому я прекращаю пока. Целую тебя, дорогой друг, очень горячо.

Твоя сестра Лидия.

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 6. Л. 18—19 об. Частично — Кружков. С. 354—356.

[1] Это наваждение, подчиняющее меня себе, которое сильнее меня, и я изнемогаю (*фр.*). Речь идет о романе «Пламенники».

[2] От *англ.* «square», площадь. Далее встречается и английское написание слова.

[3] Трапезы (*фр.*).

[4] Завтрак (*англ.*).

[5] Правильно это слово пишется: porridge.

[6] Джентльмен, режущий мясо (*англ.*), т.е. хозяин дома.

[7] Герои романа «Пламенники».

[8] Со второй половины вчерашнего дня судорог больше нет (*англ.*).

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*<21 ноября 1899>*

Дорогая Марусинька, представь себе, пишу из Reading Room![1] Примкнула к увы! многочисленной секте *I.D.*![2] Сегодня на улице туннель, полный дыма, a read<ing> room — точно вагон в туннеле. «Одно отчаянье!» Мне настали лучшие времена, потому что я уже 3-й день попадаю на всё утро сюда, и 4 книжки лежат, терпеливо закрытые, передо мной! я же пишу и пишу свою «тяготу». <...>

Закрытка. РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 6. Л. 21. Датируется по почтовому штемпелю. Начато чернилами, но уже в первом слове Л.Д. переходит на химический карандаш.

[1] Читальный зал (*англ.*). Имеется в виду читальный зал Британского Музея, где Иванов систематически занимался. Его читательский билет — РГБ. Ф. 109. Карт. 50. Ед. хр. 10.

[2] О чем идет речь, определить не удалось.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал и В.И. Иванов — М.М. Замятниной

*<16—18/28—30 ноября 1899>*

Дорогая Марусенька,

жалко мне тебя, жалко писать это письмо: моя Еленушка умерла вчера в Понед<ельник> 27/15 ноября* в 11 часов утра, от начала

* От «в Понедельник» вписано рукой Иванова сверху.

воспаления в легких, произведшего удар сердца. Она страдала одну ночь, и с 5 ½ утра началась агония до 11. Умерла ненаглядная, обожаемая, одним вздохом и одним сильным биеньем сердечка своего добренького и ласкового.

---

30/18 ноября. Отчаянные хлопоты, мучительнее которых себе представить трудно, задержали письмо это на два дня. Вернулись часа 2 тому назад с похорон. Добыли почти чудом могилку на очень красивом кладбище в окрестности Cristal <так!> Palace[1]. Могилка у самого алтаря греческой часовенки. Глубина ее такова, что сверху еще пять гробов могут поместиться. Здесь так хоронят, чтобы родные могли вместе ложиться.

Лежала наша детка 3-ое суток в постельке своей, против нее стоял образ (Дунин подарок Вере) и лампадка, которую мы с тобой купили в Петербурге, и букетик белых цветов: ландыши и большие астры. На грудке лежал образок, в ручке точеной своей она держала серебряный Анютин крестик. За подушкой стоял еще образок Спасителя. А у ножек в постельке Евангелие, раскрытое на 10 главе от Марка (о детях), и иногда на 6 главе Иоанна 35—40 стих. Деткино личико стало совсем святым: и мудрым, и непорочным. Дивный лоб высокий, сильный и широкий, точно светлые и тихие глазки закрыты как для дремы, и носик детский глупенький, чуть приподнятая губка верхняя, добрая. Она не изменилась нисколько, и более дивного лица я не знаю, она красива, и глядеть на нее было счастье. Детка моя ушла от нас, и все остались как обезумевшие. Она была крошка, но такая добрая: уже вечно просила ласки и сама терлась головкой, ворковала тихо и улыбалась как-то раздумчиво. Светлая детка. Она до последнего вздоха глядела беспомощно и добро нам в глаза и страдала ужасно, тихий ангел. Вячеслав, бедный мой, совсем убит, моя жизнь навек иная, и моя Елена навек со мной, потому что так любить нельзя. Когда мы ехали в большой карете и везли с собой гробик, а туман был черный и густой, так что фонари горели днем прямым <?> огнем, и тьма стояла как ночью. Это было хорошо, потому что это Лондон, которому она принадлежит. Бедная Марусинька. Твоя Лидия.

Она была отпета прекрасно в русской церкви, и священник проводил ее на кладбище. Он очень добрый человек. Все дети уже больше недели больны, все четверо в постели, хотя в церковь я их взяла. У них жар, и мы ужасно за них боимся.

<Приписка Иванова>: Дорогая Маруся, мы не знали до сих пор, какую ценность для нас и какую над нами силу может приобрести маленький младенец. [Его трагедия <?>] Событие это — что-то особенное и чрезвычайное. Чувствуем руку, нас ведущую, — куда? Любя и плача, учимся верить — и надеяться... Вы будете плакать также; в общении горя мы найдем новое единение дружбы. Нет с нами больше Еленушки; в милой могилке своей лежит младенец Воскресения. Ваш друг В.

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 6. Л. 23—24 об. Частично — Кружков. С. 356.

[1] Правильно: Crystal Palace, Стеклянный Дворец (*англ.*). «Так называлось огромное сооружение из стали и стекла, построенное для Первой Всемирной выставки 1851 г. в Гайд-Парке и перенесенное в 1852 в южный пригород Лондона. В 1930-х годах уничтожен пожаром». (*Прим. Г.М. Кружкова.*)

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал и В.И. Иванов — Д.В. Зиновьеву

*27, Endsleigh Gardens. Gordon Sq-re.*
*N.W. London*
*29/17 Ноября 99*

Дорогой мой Папочка,

Очень горько говорить мне тебе тяжелую мою потерю. Моя маленькая, ненаглядная Елена скончалась на 11-й неделе своей жизни от разрыва сердца. Она была здоровенькая и счастливая девочка, и теперь наша семья в глубокой тоске, я же не знаю, что сказать о себе. Я любила это маленькое существо дороже жизни. Надо покоряться воле Вышней, и я покоряюсь. Не тоскуй и ты за меня, а помолись, мой дорогой отец.

У нее началось воспаление в легких, и сердечко дорогое не выдержало удушия. Хороним завтра. Русский священник здесь добрый человек. Он сослужит в церкви обедню и проводит детку на кладбище. <...>

<Приписка рукой Иванова>

Глубокоуважаемый
Дмитрий Васильевич,

Извещаем Вас о нашем глубоком горе. Знаем, что и Вы будете скорбеть с нами вместе, и больно нам огорчить Вас. Завтра хороним нашу Еленушку. Могилка будет в красивом месте

кладбища, у самой греческой часовни и вблизи многих православных могил. Помолитесь с нами.

Сердечно любящий и почитающий Вас

Вячеслав Иванов

Последнее время было очень тяжело. Все дети более или менее опасно переболели; теперь поправляются.

РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 3. Л. 36—37. Частично — Кружков. С. 356—357.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*25/13 Дек<абря> <18>99.*

Здесь все мои болеют. Целую неделю всё вокруг меня лежало, а я одна на ногах ходила и за всеми наверху и внизу поспевала. Здесь злая influenza. Вячеслав болен, и только встанет из постели, как его озноб опять в нее загонит. <...> С одной стороны, здесь плохо жить, потому что дети вянут, как южные цветы в холодную северную осень. Вячеслав рвется на юг, но нас еще не пускают некоторые дела с Лидией. Мне лично всё равно. Больно кажется видеть звезды и море: я эту боль видела во сне. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 6. Л. 28—29.

## В.И. Иванов — М.М. Замятниной

*26/14 Дек<абря> <18>99.*

Дорогой друг, телеграмма должна была успокоить вас — и потому не должна была отличаться точностию; но в следующие за отсылкой ее дни было бы уже просто бессовестно извещать вас, что все «здоровы», когда именно все оказались больны и только одна Лидия, хотя также больная, осталась на ногах — больничною сиделкой. Вот уже неделя, как мое существование отравлено жаром, кашлем, головною болью и прочими прелестями инфлуэнцы. Отравлено и разломано. При этом мысль поглощена заботами и тревогами; а основная глубокая нота настроения — ощущение густой фатальной тени, окутавшей наш путь. Oh, cette ville macabre![1] Вчера, для Christmas-day[2] мы имели немного солнышка — событие исключительно редкое, ибо большею частию мы

сидим целый день с огнем. Угрюмее всего проходит воскресный день. Неумолкаемый перезвон надрывает душу, подчиняя мучительным воспоминаниям. Вокруг ни одного явления жизни, на котором отдохнул бы душою. Кроме нескольких личностей, показывающих английский характер в большой красоте: к нам принадлежит, напр<имер>, Сережин head-master, Mr. Paton[3], с которым мы сблизились. Милая Маруся! Если бы хоть немного солнца и южного моря! Подумайте, ведь скоро-скоро начнется там (o, dahin, dahin![4]) мое любимейшее время, когда море особенно нежно светлеет и легкие лилейные облака собираются над горизонтом, клубясь и так и отражаясь в светлых водах, — первое предчувствие южной весны! О, я глубоко несчастлив! Лидия, повторяю, переживает тяжкий кризис: куда мы придем? <...>

Обнимаю вас. Ваш В.

РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 31. Л. 13 и об. Частично — Кружков. С. 358.

[1] О, этот мрачный город! (*фр.*)

[2] Рождества (*англ.*).

[3] Директор школы мистер Пэтон (*англ.*). John Lewis Alexander Paton, известный английский педагог, филолог-классик. С.К. Шварсалон учился у него в лондонской University College School; в 1903 г. он ее покинул и стал директором в Manchester Grammar School, где проработал до 1924 г. Подробнее о нем см.: *Barnard H.C.* A Great Headmaster: John Lewis Paton (1863—1946) // British Journal of Educational Studies. 1962. Vol. 11. № 1. P. 5—15.

[4] Туда, туда! (*нем.*) Отсылка к «Песне Миньоны» Гёте.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*25 Дек<абря> <18>99 г.*

Дети были все опасны и спаслись, но потом Сережа получил вторичную influenz'у, от которой едва встал. Вячеслав же, собственно, и не вставал, и письмо тебе писал совсем больной, а на другой день слег и лежит еще: у него дурной катарр легких, понемногу переходящий из острого состояния в хроническое, что грозит, быть может, и зловещим. Доктор гонит со дня на день из Лондона на море и прибавляет, что я тоже плоха и должна бежать этого города. Едем на днях: куда — еще не знаем; куда-нибудь на Средиземное море, где удобнее детям учиться, потому что Вячеслав слаб, чтобы учить. <...>

Также почему ничего не пишешь о литературе: Есть ли сборник Тана[1]? Если есть, то пришли. Все это так живо интересует В<ячеслава>. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 6. Л. 30—31. Вероятно, датировано по старому стилю.

[1] Тан (Владимир Германович Богораз; 1865—1936), известный этнограф и писатель. Об интересе Иванова к нему см. ниже, в письме Иванова к Замятниной от 31 декабря ст. ст. 1899, из которого ясно, что Ивановы знали его только по отдельным стихотворениям. Сборник «Стихотворения» (СПб., 1900), судя по всему, появился лишь весной.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — Д.В. Зиновьеву

*4 Янв<аря> 1900*

Наш праздник будет очень грустный, потому что нам плохо приходится здесь, в Лондоне. Как ушла Еленушка от нас, так стало всё плохо. Сороковой день приходится на Рождество, и мы поедем в церковь, а оттуда на кладбище.

Дети всё это время хворали, также и девушки. Теперь они поправились — захворал Вячеслав, и очень плохо: инфлюэнция напала на легкие и произвела катарр легких. Доктор гонит со дня на день его к морю на юг, но он не может еще двинуться, потому что скоро уже три недели, как лежит в жару. Ужасно страшно за него. Он очень изменился и ослаб. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 3. Л. 38 об. — 39.

## В.И. Иванов — М.М. Замятниной

*Лондон, 26 Дек<абря 1899> / 7 Янв<аря> 1900.*

Дорогой друг! <...> Как будете встречать новый год, или новое столетие? Поздравляю вас с ним, дорогой друг, и желаю — счастья! Или, выражаясь жаргоном русских альтруистов, «личного счастия». Наивная и правдивая альфа и омега искреннейших человеческих желаний (почему и достойнейший объект искреннего пожелания!). Счастье — frisson[1] мгновения, конечно, — мгновения, которое мы согласились бы даже задержать на следующее мгновение, — мгновенный луч на зеленом мху, на морской волне, мимолетное облачко, озаренное закатом, которое так мило нам, что щемит сердце, — все мгновенное, легкое, родное, неизвестное, но все в золотом просторе долгого торжествующего дня...

Дорогая Маруся! Вы видите, что меня преследуют солнечные видения, и вы можете себе представить мою радость, когда — первый инцидент нового столетия для меня — немец-доктор,

посетивший наконец мою лихорадочную постель, начавшую докучать мне после двухнедельного покоя, определив Katarrh der Lungenspitzen[2] и окончившийся общий Lungenkatarrh[3], объявил, что лечит от этой напасти всех своих пациентов переменою воздуха и пребыванием на морском берегу; после чего я считаю себя нравственно оправданным в моих грешных и языческих алканиях... Welcome, welcome, you dark blue waves![4] Вот, следовательно, солнечная надежда, которая мне улыбается: .... Увидеть... как —

*Она* глядит в просветы пиний,
*Она* сияет меж олив....[5]

*27 Дек. / 8 Янв.*

Сегодня <1 нрзб> на солнце, и, ровно после 3 недель заточения, я вышел в первый раз на чистый воздух. Расправить бы теперь крылья — и лететь; но

Ach! Zu des Geistes Flügeln wird so leicht
Kein körperlicher Flügel sich gesellen...[6]

И есть множество забот, здесь удерживающих — в центре их маленькая Лидия.

Дорогая Маруся, вы бы разузнали, что такое это странствование Ш<варсалона> по Италии в неурочное время. Отпуск «по болезни», вызванный «нравственным потрясением» и т.п.? Было бы важно знать это и вообще следить за ним. Пишите больше о себе. Ваша внутренняя жизнь, несмотря на хвастливые заверения ваши, что вы показываете друзьям все тайники ее, — решительно ускользает от меня. <...> О нашем внутреннем мире вы имеете гораздо более ясное представление. Писал и повторяю, что нас объяла сень смертная: увы! это все, что́ могу сказать про нас и в «новом году» в ответ на ваши пожелания животворного духа.

*Вы* живите, дорогой друг! Ваш В.

РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 31. Л. 14—16 об.

[1] Дрожь (*фр.*).

[2] Катар верхушек легких (*нем.*).

[3] Катар легких (*нем.*).

[4] Шумите, шумите, синие волны! (*англ.*) Цитата из первой песни «Чайлд-Гарольда» Дж. Байрона.

[5] Первые две строчки стихотворения Иванова «Богини» (I, 587). В оригинальном тексте выделений слова «она» нет.

[6] «Ах! К крыльям души так легко не присоединится телесное крыло» (*нем.*). Цитата из монолога Фауста («Фауст» Гёте, сцена «У ворот»). В пер. Б.Л. Пастернака:

Я реял бы над водной гладью,
Жаль, нет лишь крыльев за спиной.

## В.И. Иванов и Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Последний день русского XIX столетия.*
*утром.*

Дорогая Марусенька! <...> Только что вы порадовали нас новым сюрпризом — новой посылкой, свидетельствующей о трогательном внимании вашем. Календарь как раз ответил на наши размышления о времени предстоящей русской пасхи. А русские «типы» — целый хорошенький альбом, и жалко его рознить. Книгу Батюшкова видеть мне, конечно, крайне интересно[1]. Я уже кое-что рассмотрел в ней, но... бледно, бледно все, что я видел. И язык притом, к большому удивлению моему, просто малограмотен: un mauvais[2] <1 нрзб> для нового «критика». Мало удачи нам, русским, с «критиками». Два стихотворения Тана[3] (поэт нашего «марксизма», не так ли?) очень меня заинтересовали; но одно из них — глупый перепев из Ницше (misérable blasphème[4]) — не заслуживает внимания. Говоря языком музыкальных критиков, Тан имеет хороший большой голос, но без всякой школы. У него есть лирический подъем и широкий захват легких. Но он однозвучен и однодумен. Странно, что он <1 нрзб> направление, которому пора быть принципиально отжившим. Старое — все старо, и под лаком ницшеанства. Заповедь Верлэна:

Prends l'éloquence, et tords-lui son cou[5] —

ему неизвестна и непонятна. Его язык не вполне корректен и на уровне господствующего жаргона. Прежде же всего он юношески, почти отрочески незрел, но и тем бóльшие «подает надежды». Милая Маруся, я все еще в Лондоне! <...>

<Приписка Л.Д.> Крепко целую и благодарю и желаю наилучшего.

РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 31. Л. 15 и об.

[1] Имеется в виду книга: Батюшков Ф.Д. Критические очерки и заметки. СПб., 1900. Т. 1.

[2] Дурной (*фр.*).

[3] О В.Г. Тане-Богоразе см. выше, в письме Зиновьевой-Аннибал к Замятниной от 25 декабря 1899 г.

[4] Жалкое богохульство (*фр.*).

[5] Цитата из стихотворения П. Верлена «Искусство поэзии». В переводе В.Я. Брюсова: «Риторике сломай ты шею!»

## В.И. Иванов и Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Лондон*
*19/7 Янв. <1900>. 11 ч. веч.*

Дорогая Маруся! Мы с Лидией только что вернулись из Брайтона <...> Попали мы в Брайтон, дорогой друг, потому, что, устраивая себе возможность целительного освобождения от здешней «сени смертной»[1], налегшей на нас обоих, мы остановились на плане двухмесячной экскурсии вдвоем к морю и помещения детей, при ближайшем соседстве Анюты (Она, быть может, поедет в Россию) в одну из тех хороших английских школ, которые существуют в более или менее отдаленных окрестностях Лондона, среди полей и рощ и, можно сказать, отсутствуют в самом Лондоне. Я говорю о плане нашем, пока он только план, в общих чертах, он же и видоизменяется сообразно с тем, что́ мы находим, — но вы можете себе представить, что подобные розыски, в связи с сочинением всякого рода практических комбинаций для разумного совмещения интересов всех членов семьи, должны были оказываться довольно сложными. Вот эти-то розыски, милая Марусенька, и завели нас в восхитительнейший парк одной роскошнейшей и бессовестнейшей по дороговизне и развиваемым новейшими педагогическими принципами претензиям воспитанников школы недалеко от Брайтона, а там уже морской ветерок притянул нас сначала на великолепную, бесконечно длинную набережную Брайтона, которую опеняет снизу и неуловимо одувает сверху иодистой бурей само здоровье из крепких легких седого старика-Океана, а потом в дорогую пу́стыньку Rotting dean (за несколько миль от города), где мы провели восхитительные часы, то едва не сдуваемые в море безжалостным, но безвредным холодным ветром с отвесных обрывов белых каменных стен, которыми *Альбион* падает с юга в воды Ламанша, то защищенные и чуть пригретые скалами на каменистом plage перед

приливающими или отливающими пенистыми валами мутно-седой пучины. Ух, по размерам этого периода, дорогой друг, суди́те о том, как расширилась моя грудь и сколько воздуха стал я вбирать в свои легкие в эти два дня, проведенные в обществе Лидии да береговых чаек. Итак, the dark-blue waves[2] все в области снов, а морем я уже коротко, но живительно дохнул и, сверх того, видел настоящие кипарисы, произрастающие в зеленом Sussex'e, чего нельзя было бы предположить, видя совершенно лишенные деревьев травянистые холмы, которыми эта область окаймлена вдоль седого и туманно-хмурого моря. Все это набросано на сон грядущий в постели. Good night[3], дорогой и верный друг. Ваш Вяч.

Поезд из Brighton'a мчится, как стрела, и достигает в 1 час (!) Лондона, где мы вдруг почувствовали себя (физически) в довольно теплой, сырой и душной могиле.

Англии не изменяйте; она хороша — — — поэтична она уже тем, что она — остров. Худо, что не учитесь по-английски.

РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 32. Л. 1—2 об. Кружков. С. 359—360.

[1] Из стихотворения Иванова «Покорность» (с перестановкой слов). См.: I, 522—523.

[2] См. прим. 4 к письму Иванова к Замятниной от 26 Дек<абря 1899> / 7 Янв<аря> 1900.

[3] Доброй ночи (*англ.*).

## В.И. Иванов и Л.Д. Зиновьева-Аннибал — В.К. Шварсалон

*8 февраля <1900>*

Дорогая Верушка,

Вот мы приехали на место и только теперь можем дать наш адрес: Mr. V. Ivanov, Trenowan, Tintagel (Cornwall). Здесь очень хорошо и красиво. Дорогая девочка, как ты поживаешь? С нетерпением ждем письмеца от вас. Поцелуй крепко Костю. Будьте веселы и пишите. Целую тебя горячо. Любящий вас В.

<Приписка ЛД> Дорогая Верочка, ты учись, гуляй и не скучай, а радуйся деревне и друзьям. Время пройдет скоро, и я надеюсь, что праздники мы проживем вместе и счастливо.

Мама.

Сережа приедет, надеюсь, в субботу.

РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 40. Л. 3. Закрытка карандашом, приписка Л.Д. — чернилами.

## В.И. Иванов и Л.Д. Зиновьева-Аннибал — В.К. и К.К. Шварсалонам

*Miss Vera Ivanov. Craigmore College. Wargrave on Thames. Berks.*
*Tintagel, Febr. 28. 1900*

Милые и любимые мои
Верушка и Козлик!

Только что получил ваше дорогое письмецо. Им вы сильно меня обрадовали. Как это вы не забыли, милые, о моем празднике? Благодарю вас за то очень горячо и заочно много целую. Мне кажется, будто вы сами пришли меня поцеловать из-за луга. У нас перед окнами тоже луга, как и у вас. Право, вы удивили меня тем, что так мило помнили о моем дне рождения. Нам с мамой здесь хорошо. Мы работаем, а сейчас идем к морю. Мама сегодня подарила мне соты меда; жаль, что вас нет здесь его попробовать. Милая Верушка, что ты теперь учишь? Молодец Козлик, что пишет порусски <так!> бойко, хотя и с ошибками. У тебя, Верушка, тоже ошибок довольно, но ты пишешь хорошо. Очень приятно мне было увидеть ваш конвертик и твой почерк на адресе. Посылаю цветочки— кро́косы, которые посажены около нашего дома. Целую вас еще горячо. Многолюбящий вас друг
Вячеслав.

Целую своих драгоценных деток. Вчера написала письмо и не успела отослать: вы его получите сегодня. Мы хорошо проводим праздник, дружно и весело, а ваше письмо дало нам большую радость.

Мама.

РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед.хр. 47. Л. 1—2.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*3 Марта 1900.*

Еще в Лондоне мы имели дело нам близкое, о котором я не сообщала тебе. Когда мы ходили записывать в мэрию имя умершей Елены, то слышали сообщение о найденном на лесеньке в Keppel Street ребенке в эту ночь и ее возраста — мальчика. Я имела ощущение, которое сообщила В<ячеславу>, о том, что, быть мо-

жет, нам судьба получить и воспитать этого ребенка, чтобы он лег в ее корзиночку, где до сих пор остался ее следик на подушке и матрасике. Мы после того делали всё, что в силах были сделать, для получения ребенка из Work-house[1], куда его снесли. И в день, когда В<ячеслав> свалился в страшной influenz'e, он бегал со мной весь день упрашивать опекунов. Но промучив наше жаркое желание в течение недель шести, опекуны прислали на прошение наше отрицательный ответ, потому что не имели юридич<еского> права отдать ребенка, и маленький George Keppel остался в рабочем доме, а следик Елены не занят, и с корзиночкой и всеми ее вещами уложен в сундук в Лондоне. Затем хлопотали с крестинами Лидии, но все еще ничего не выходит, и такое затруднение, что *никакого* исхода нет, по-видимому. <...> Это всё, и устройство остальных детей с бесконечными поездками по школам в окрестностях Лондона задержало В<ячеслава> на *месяц* дольше докторского строгого приказа в Лондоне. Дай Бог, чтобы это навсегда фатально не отразилось на нем. Он как будто много поправился здесь, но не вполне хорош, и за эту болезнь никогда не поручишься. Он здесь писал первое время очень хорошо и работал плодотворно. Теперь занялся книгами. Я никогда еще не имела такой долгой, тихой и свободной жизни для моей работы и пользуюсь ею по мере сил. Что составляет основу моей души, тому ты не сочувствуешь, и то исчерпывается двумя именами: Эдипа и Ниобеи. Климат здесь не очень хороший, и потому мы не всегда можем гулять часами. Но пытаемся побороть все препятствия, и уходим часто с утра с хлебом и работой *в твоем мешке*, называемом «Маруся», и остаемся до низкого солнца где-нибудь близь волн. Следим за приливом и отливом и находим в этом неустающую и заманчивую прелесть. Тишина и дикость местности выше всех ожиданий.

РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 32. Л. 38 об—39 об.

[1] Работный дом (*англ.*).

## В.И. Иванов и Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Trenowan Tintagel, 19/6 III. 00.*

Дорогой друг Маруся, извините мое молчание, которого я сам очень стыжусь, потому что оно просто неблагодарно! Спасибо вам

прежде всего за прекрасный портрет, спасибо сердечное! Ваше длинное письмо, написанное под вдохновением счастливой разговорчивости, и этот портрет создали нам иллюзию Вашей близости, хотя и скоротечной; а шуба и шапка на портрете и звездная морозная ночь в письме (не примите этой похвалы изобразительности языка за упрек в сердечной холодности и непроницаемости), и отголоски русской сумятицы в письме и присланных газетах приятно локализировали иллюзию... Спасибо вам за все добрые и недобрые вести о возлюбленном отечестве (к первым причисляю, напр<имер>, известие об обессмертении девяти соотечественников[1], ко вторым — о возвещенном Вл-м С-чем светопреставлении[2]); спасибо за поучительное поздравление с Ангелом, которое, придя на другой день моих отпразднованных именин, неожиданно сделало меня именинником вторично.

Не писал долго, потому что не о чем писать из Cornwall'я, тихой и трезвой страны жующих траву овец и Библию методистов. Здесь нетихи и нетрезвы только титанический Океан, шумящий по ночам, да титанический Опалин[3], бушующий днями среди мирных овец и еще более мирных moules[4], обнаженных отливом, на страницах творимой «Агавы»[5]. Что же до моей Музы, то она очень гармонирует с методистскою пасторалью. Судите сами (чтобы не говорить мне более о бисеронеметании[6]):

Овцы бродят подо мною,
Щиплют зимний злак стремнин.
С Атлантической волною
Из обрывистых глубин

Веет солью. Твердь яснеет
Робкой лаской меж камней.
Даль туманная синеет.
Чайка искрится по ней...

Горько, Мать-Земля, и сладко
Мне на грудь твою прилечь;
Сладко Время, как загадка
Разделения и встреч.

С тихим солнцем и могилой
Жизнь сладка, как этот склон, —

Сон неведения милый
И предчувствий первых сон...[7]

Вот вам первое «вдохновение», меня здесь посетившее. Ex ove principium — с овцы начало! Жаль, пропадает мой каламбур, потому что вы плохо учились по латыни. Говорят «ex Iove principium» — «с Юпитера начало». Как-то вы по-английски учитесь? (А немецкие книжки, наверно, не одолели — стыдно!) Теперь же я весь в греческих трагиках. Пока до свидания! Ваш сердечно В.И.

<Приписка ЛД> Дорогая Маруся, крепко целую. Спасибо за письмо. Мне не очень нравятся твои фотографии. Я, пожалуй, и не узнала бы тебя. Впрочем, я ненавижу все фотографии дорогих лиц и никогда не гляжу на них. Спешу на почту. Ливень. Холод. В. чудесно работает. Я тоже много. Твой верный друг

Лидия.

РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед.хр. 32. Л. 3—4 об. Фрагменты — Кружков. С. 360—361. К письмам также приложены стихотворения: «В благосумрачном рассвете...» с датой 20/8 февраля 1900; «Снежный саван пал на обрывы скал...» с датой 19/7 февраля 1900; «Предтеча резвая прилива...» с датой «(Февр.)»; «Воля! Хищницею нищей...» с той же датой; «Закат над Искией» («Как замок медный, где Даная...») с датой 12 февр<аля>.

[1] О чем идет речь, нам обнаружить не удалось.

[2] Имеется в виду публичное чтение В.С. Соловьевым «Трех разговоров...», состоявшееся в Петербурге.

[3] Герой романа «Пламенники».

[4] Мидий (*фр.*).

[5] Глава (или, возможно, раннее название) романа «Пламенники».

[6] Шуточное производное от изречения: «Не мечите бисера перед свиньями».

[7] В «Кормчих звездах» стихотворение получило название «Прилив» (I, 596). Единственное разночтение (кроме незначительных пунктуационных) — в последней строке: «И предчувствий первый сон!»

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*10 Апреля 1900.*

Пишу тебе в нашей светло-голубой просторной столовой-гостиной-кабинете. С двух сторон сидят Вера и Козля, напротив Вячеслав. Вере я диктую «Пир Петра Великого»[1], с Костей Вяч<еслав> читает «Сказку о Рыб<аке> и Рыбке»[2]. Солнце сияет, луг зеленеет по склону, гиацинты пышно цветут под окном, доносится прибой, блеят <так!> овцы, кричат скрежетом чайки, серебром поют жаворонки, Лиля и Оля ушли к морю. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 3. Л. 40 об. — 41.

[1] Стихотворение Пушкина (1835). В современных изданиях — «Пир Петра Первого».

[2] Сказка Пушкина (1833).

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — Д.В. Зиновьеву

*12 апреля 00*
*Mrs. L. Ivanov. Tintagel. Trenowan. Cornwall. Angleterre*

Теперь мы их взяли сюда к себе на праздники, чтобы вместе провести их. Младшие трое уже приехали. Сережа приедет один сегодня, так как его школа всего дольше не кончается. Они очень поправились в своей школе в деревне: розовые, веселые, живые. <...> Сережа удивительно способен. Он опять был переведен выше посереди учебного года и попал в класс, где все мальчики гораздо старше его. И все-таки он почти во всем первый ученик. Директор им не нахвалится и просто влюблен в него.

РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 3. Л. 42 об. — 43 об. Кружков. С. 363.

## В.И. Иванов — М.М. Замятниной

*Tintagel, 25/12 Апр. 1900.*

Христос воскресе, дорогой друг! —

Я очень, очень счастлив, сердечный друг Маруся, вашим подарком. Благодарю вас. Гравюра, мне кажется, превосходно передает стиль Васнецова[1]. Она очень артистична. А сами богатыри — просто загляденье. Типы коренные. Хаотические кривизны почв русских с той поры выпрямились, а они все те же. Ведь и Петр от них: вот его могутность и пламенение духовное, а вот и безудержный, дикий славянский огонь его, бес славянский. Опять залоги, уверяющие... ах, только ли залогами жить нам? Но — терпение! Терпение и упование... Что вы, дорогой друг, присылкой вашего дорогого подарка попали в самый нерв настроения, вы увидите [это] из стихотворного приложения к этому письму — из сочиненного мною в марте месяце «духовного стиха»[2]. Идеей его я ревниво дорожу, и потому позволю себе безусловно запретить вам его сообщение как чужим, так и друзьям, кроме наших двух

сестер Беляевских (и тем по секрету). Само собой разумеется, что впечатлением, которое «Стих» может произвести, интересуюсь чрезвычайно. — *

Дорогой трудничек-Марусенька, как и благодарить вас за труд ваш великий и терпение, уж и не знаю. С душевным смущением вижу сегодня на последней страничке вашего неоконченного (!) еще эксцерпта[3] цифру 72... Быть может, вы успели даже подучиться чуточку по-немецки на этой работе. Зато вы сообщаете мне вещи драгоценные. Жаль только, что Pauly взял столько труда; не поняли вы меня: не хотел я Pauly при Röscher'е[4].

Видите ли, этот ваш труд я должен был бы сделать сам, но мог только гораздо позднее, когда усядусь в Лондоне, например, а между тем дело было неотложное. Поясню вам, что дело идет о большом художественном труде, уже начатом; но не только подвигать его вперед, но и (что́ еще важнее) установить его план и даже решить, *возможен* ли он и верна ли его основная идея, нельзя было, не имея под рукой известного филологического материала. И без того пришлось все почти предугадывать и предчувствовать, и принимать как бы данным a priori; вот почему говорю, что сообщаемое вами мне драгоценно: теперь знаю, что план я начертал правильно, и правильно начал, мой поэтический и филологический такт оправдан, ведение дела дальше возможно, и помимо всего того, я обогащен превосходным материалом, которым буду пользоваться на каждом шагу. «Ниобея», конечно, не предназначается для сборника, а для отдельного издания; но помните, что все это — *секрет*[5].

Говорили ли вы Ернштедту[6], что Roscher понадобился для исполнения моего поручения? и какого? Ах, Маруся, друг сердечный, vous me comblez...[7] Благодеяния ваши неисчислимы. Жду вести от Котлубовского <?> и, вероятно, буду писать Ернштедту... А вдруг знаменитые «оттиски»-то пропали[8]? — Знаете, перечитывая старые письма ваши, я нашел совсем незамеченную мною своевременно (вследствие ее обособленности) заключительную страничку, где вы говорите о впечатлении, вынесенном от чтения моего Пиндара: вы ничего не поняли из-за мифологии и пиндарической сжатости и несвязности, и, что́ еще печальнее уже для меня (не для Пиндара), ничего не разобрали в приписываемой

* Если известны Вам аналогические легенды, сообщите! (Прим. Иванова.)

мною моему собственному творению музыке ритмов и проч. Плачь, Муза, плачь![9] Я думаю все-таки, Маруся, что не язык наш неспособен к «бóльшей ритмической свободе», и не перевод мой окончательно дурен, а просто русское ухо сделалось невпечатлительным благодаря отъединению наших поэтических форм от форм народной поэзии: и здесь — оторванность от почвы народной!

Мы уезжаем отсюда вскоре; но до получения новых вестей об адресе прошу и умоляю вас, пишите сюда без всякого страха пропажи или задержки письма. Письма перешлют немедленно и добросовестно, и бóльшая задержка в сношениях будет, если вы будете ждать от нас предварительных сообщений временного адреса и т.д.

Спасибо за газеты — вы знаете все, что мне интересно. Не воображайте только, что я партизан или поклонник г. Розанова[10]. Не раз мне приходилось раскаиваться в предварительных éloges[11].

Обнимаю вас горячо.

Ваш В.

РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед.хр. 32. Л. 16—18 об. Не полностью — Кружков. С. 364—365.

[1] Речь идет о гравюре с картины В.М. Васнецова «Богатыри». На долгие годы она стала спутником семьи Ивановых.

[2] В раздел «Райская мать» книги «Кормчие звезды» вошли два стихотворения в форме традиционного духовного стиха: «Под древом кипарисным» и «Стих о святой горе» (несколько напоминающая их «Зарница» нарушает канон). Второе было написано в августе 1900 г. (см. п. 340). Третье, по сообщению О.А. Шор, датируется концом 1900 г. (это же утверждение с ее слов повторено Р.Е. Помирчим в комментариях к кн.: *Иванов Вячеслав.* Стихотворения. Поэмы. Трагедия. СПб., 1995. Кн. 2. С. 274). Однако в том же п. 340 Иванов спрашивал Зиновьеву-Аннибал: «...не кажется ли тебе, что прилично посвятить "Стих о святой Горе" "памяти Вл. Соловьева"?», т.е. этот «стих» мог быть написан и ранее. Видимо, именно он и имеется здесь в виду.

[3] От *нем.* Exzerpt — выписка, извлечение.

[4] 28/15 марта 1900 г. Иванов просил Замятнину: «Дорогой друг Маруся! Позвольте обеспокоить Вас одним книжным порученьицем. § 1. Если у вас в библиотеке есть Röscher's Mythologisches Lexicon, то может случиться, что получен и 39-й выпуск его (продолжение буквы N); последний выпуск, который я видел, кончается NIKE и вышел в 1898 году. Боюсь, впрочем, что этими материями никто на ваших псевдо-филологических курсах не интересуется. Все же если бы словарь, паче чаяния, оказался, — будьте столь сердечно— и товарищески-добры и выпишите мне оттуда статью NIOBE (если длинна, пропустите отдел "Niobe in der Kunst"). В Публичную библиотеку не прошу обращаться, потому что не знаю даже наверно, есть ли 39. Lieferung. В университетской библ. Röcher's Lexicon должен быть, и то, о чем прошу, очень для меня важно. § 2. Во всяком случае, перепишите мне, пожалуйста, ста-

тью *Niobe* из Pauli's Real-Encyklopädie des classisches Altertums. Это старая, но хорошая энциклопедия (новое переиздание еще далеко не достигло N, каковую букву Вы спросите в читальном зале Публ. Библ., если на ваших анти-филологических курсах Pauli нет). § 3. Поручение тонкое и эзотерическое. Если в статьях о Ниобее найдется что-нибудь об отношении мифа Ниобеи к *Дионису*, то не сможете ли Вы выискать и выписать мне те места древних авторов (в подлинном тексте), на которые делается ссылка. Напр., Hyg. Fab. = Hygini fabulae и т.п. — возьмите их и отыщите данное место: дело будет идти лишь о нескольких строках. — *Скорым*, немедленным исполнением этого поручения, необходимого для текущей работы, очень тронете и обяжете» (Карт. 9. Ед. хр. 32. Л. 5—6).

14/1 апреля он писал ей же: «Благодарю вас чрезвычайно — *тронули* вы меня воистину — но зачем, зачем вы такая неисправимо упрямая, почему возложили на себя труд, который я просил не начинать, — зачем сделали столь объемистую выписку из Pauly, когда Röscher нашелся: ведь я просил вас специально о выписке из Roscher. Положим, и сделанное уже вами мне очень пригодится. Но собственно ценна для меня, повторяю, статья из Röscher's Lexikon, которую и жду нетерпеливо. Пожалуйста, обратите внимание (вам же и для немецкого языка полезно обратить внимание на содержание переписываемого) на пункт об отношении мифа о Ниобее к *Дионису-Вакху*, если есть что об этом важном для меня чрезвычайно вопросе. И тогда выпишите, повторяю, подлинный текст, на который ссылаются. Спасибо особенное за труд писать по-гречески; первая цитата вышла в вашей транскрипции чем-то вроде туманного пятна, отчасти разрешающегося в созвездие при помощи сильных телескопов, но вторая цитата очень корректна. Так что я имею даже большое искушение попросить вас взять "August Nauck, Fragmenta Tragicorum Graecorum" и выписать сохранившиеся фрагменты из трагедии "Ниобея" (Niobe, Νιόβη) *Эсхила* (Aeschylus) и таковой же *Софокла* (Sophocles). Но уж лучше оставьте это в покое, я ведь буду же сам в Лондоне предположительно в скором времени, хотя и после Женевы, по-видимому» (Там же. Л. 12 об. — 14; Частично — Кружков. С. 363).

[5] О впервые здесь упоминаемой трагедии Иванова «Ниобея» см.: Неоконченная трагедия Вячеслава Иванова «Ниобея» / Публ. Ю.К. Герасимова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 год. Л., 1984. С. 178—203 (в этой работе утверждается, что первые упоминания о трагедии находятся в переписке с Брюсовым конца 1903 года).

[6] О Викторе Карловиче Ернштедте (1854—1902) см. п. 311, прим. 4. Возможно, вторая фамилия, плохо нами разобранная, должна читаться как «Кулаковский», и тогда это известный историк-антиковед, профессор Киевского университета Святого Владимира Юлиан Андреевич Кулаковский (1855—1919).

[7] Вы слишком ко мне добры (*фр.*).

[8] Судя по всему, речь идет об отдельных оттисках: Пиндар. Первая пифийская ода Пиндара / Пер. размером подлинника Вячеслава Иванова. СПб., 1899. — 11 с. (оттиск из: ЖМНП. 1899, август).

[9] Заключительный стих стихотворения Пушкина «Андрей Шенье» (1825).

[10] Василий Васильевич Розанов (1856—1919), судя по всему, здесь имеется в виду как постоянный сотрудник газеты «Новое время».

[11] Похвалы (*фр.*).

---

* «Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie». (*Прим. Иванова.*) Иванов пишет немецкое слово Lexikon то через k, то через c.

## В.И. Иванов и Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Willesden, 17/4 Мая 1900.*

Дорогой наш друг, писать вам вовсе неохота, — так как — должно надеяться, что скоро, скоро увидимся!!.. Решились мы ехать вместе, не потому только, что одно крыло не летит без другого, (как, наверно, вы уже про себя лукаво умозаключаете); но, в самом деле, вовсе по другим, и более серьезным причинам! Отлучиться от детей вдвоем недели на две все равно было необходимо из-за Женевы и вопроса о Лидии[1], как вы знаете. Продолжить же путешествие до Петербурга оказалось неизбежным вследствие настойчивого желания матери Лидии видеть нас непременно вместе и благословить, о чем она два раза торжественно говорила Анюте и даже сама написала нам собственноручно. Принимая в соображение ее состояние, мы уже смотрим на это ее желание прямо как на категорический императив. Кажется, что воспользуюсь этим пребыванием в России, чтобы начать печатание сборника[2]. В России, почти несомненно, предстоят хлопоты о Лидии. Отрада и утешение наше, что вас увидим. Ведь увидим? Не уедете вы еще из Петербурга через две недели? Здесь много, много хлопотали — подыскивали меблированный домик в чудесных здешних окрестностях — оттого и остановились вне города, в местности, которую нужно было обыскать и обследовать. Нашли кое-что очень заманчивое, но теперь это оказывалось ненужным. Заметьте, что предполагаем отлучиться только недель на 6—7 и возвратиться в Лондон вместе; потом же — что́ Бог даст[3]. Устраиваться должны будем на зиму, и притом, как порядочные люди, оседлые хотя на год. О, как надоели нам цыганские ночлеги «в шатрах изодранных»![4] Но где поселиться? Хотелось бы близ Лондона. Спросимся у Гольштейна, позволит ли. Здешний наш доктор советует убираться из Лондона подальше. Представьте себе: выслушав нас по возвращении из Корнуоля, он нашел у обоих катарральное состояние легких (помимо эмфиземы легких у Лидии) и объявил, что оба мы «genau in demselben Zustande»[5] (немец он, наш доктор). Жаль, что в сонете только 14 строк полагается: прибавить разве к тому моему сонету, на старинный манер, «хвост» (coda), в котором заявить, что мы не только два ока, два крыла и пр., но и два легких одного легочного катара[6]. Детей мы устроили: «Крэгморцев» в Craigmore (школа)[7], Сережу в интеллигентную и дружественную с нашим приятелем — Сережиным

директором — семью[8], состоящую из 1) вдовы скульптора и писателя, 2) дочери-скрипачки и 3) молодого учителя Сережиной школы. Лидию же с Олей в семье Meikleham, где они уже обжились. Как ни велико доверие ко всем этим друзьям и покровителям, все же оставлять детей страшно, и необходимо будет спешить назад. К вам же, дорогой друг, просьба: подыскать для нас меблированную комнатку в ваших краях. Л<идия> останется недолго в Петербурге, поедет в Копорье; я же съезжу туда дня на два всего. Буду посещать, конечно, Публичную библиотеку... Боюсь еще верить радости свидания с вами. — Простите, что пишу так поздно, но, получил ваши два письма и оттиски только третьего дня от Оли, оставшейся с Лидией в Корнуоле, пока мы здесь мыкались и маялись. Не знаю, как и благодарить вас за великие дружеские услуги! Выписку из Röscher'a (колоссальную, но и драгоценную) *всю* получил. Относительно Кибелы и Сивиллы — это недоразумение: совершенно разные вещи. Спасибо большое, что порылись в Nauk'e: фрагментами займусь я сам. «Adespota» значит «без господина», «без хозяина», т.е. не знают, какому автору приписать сохранившиеся фрагменты. Размер «Мглы» — англо-германский, преимущественно употребляемый в английской поэзии, в русской же является нововведением[9]. От нас еще получите вести, и перед приездом, конечно, телеграмму. Адресовать же письма и пр. пока лучше всего на имя Оли:

Miss Olga Nikitine
37, Upper Park Road
Hampstead
London NW *.

Она очень благодарна за свои словарики. Очень тронуты мы даром Балабановой[10], но еще больше — вашим искусством заражать (как говорит Толстой[11]) других симпатией к вашим друзьям. Читаем «Resurrection» — «Воскресение» Толстого — по-английски, и очень рады, что по-английски, потому что видим вещь неизуродованною цензором[12]. Толстой же и рассчитывал во многом, очевидно, на заграничных читателей. Книгу (с русскими иллюстрациями Пастернака[13]) ссудил нам поклонник Толстого Мг. Paton, директор Сережина училища. Но до свидания и до личной беседы!

В.

* От слова «адресовать» карандашом взято в ломаные скобки и тем же карандашом зачеркнуто.

<Письмо Зиновьевой-Аннибал> Дорогая Марусенька, Вячеслав все написал тебе. О себе скажу только, что я страшно устала, до одурения. А тебя попрошу выбрать легких, интересных, как ты умеешь, и недорогих книжечек для Костеньки, бедного школьника, чтобы ему читать во время приготовлений уроков, когда его дела кончены: сказочки или иные *легкие* рассказы: и письмом ему *как можешь скорее* по адресу ему пошли: Mr. Constantine Ivanov. Craigmore College. Wargrave on Thames. Berks<hire>. Англия. Только как можешь скорее. А насчет комнаты нам, думаю, удобнее будет вместе с В<ячеславом> остановиться, потому 1) что я ненавижу приходить романтично к В<ячеславу> на свидания перед всеми швейцарами и калалаями <так!>. 2) ты уедешь в начале Июня, и я буду без приюта. Мне придется остаться в Петербурге, правда, очень недолгое время, только чтобы с В<ячеславом> наладить дела с Лидией и, надеюсь, начала печатания его книги, затем я стремлюсь в Копорье. Думаем, если бы можно комнату, то одну или две маленькие, чтобы было вроде bed-sitting room[14] или спаленка и чистая комнатка. Это идеал. Затем гляди, что найдешь. Хорошо бы на Острову[15] — к тебе близко. Письма *не* пиши на имя Ольги, а пиши нам так: *Genève, Poste Restante**.

РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 32. Л. 19—23 об. Частично — Кружков. С. 368—369.

[1] Речь идет о крещении дочери Лидии, что становилось возможно после состоявшегося летом 1899 г. венчания.

[2] Имеются в виду «Кормчие звезды». Первая из известных дат поступления сборника в типографию — 4 августа 1900 (*Иванов Вячеслав.* Стихотворения. Поэмы. Трагедия. Кн. 2. С. 268).

[3] Эти планы реализованы не были.

[4] Из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы».

[5] Точно в таком же состоянии (*нем.*).

[6] Иванов иронически переосмысляет текст знаменитого сонета «Любовь» (I, 610—611). Кода — в сонете несколько дополнительных строк, рифмующихся на те же окончания, что и рифмы терцетов.

[7] В этом колледже учились Вера и Костя.

[8] Речь идет о семье Tupper, в которой Сергей действительно жил в 1900—1902 гг. Некоторые подробности о ней см. ниже в текстах писем.

[9] Речь идет о стихотворении (I, 597), приложенном к письмам Иванова к Замятниной (см. выше).

[10] Екатерина Вячеславовна Балабанова (Балобанова, 1847—1927) — историк литературы, переводчица, детская писательница, мемуаристка. Работала библиотекарем Высших женских (Бестужевских) курсов, откуда, видимо, ее и знала Замятнина. О каком именно даре идет речь, мы не знаем.

* Первоначально: Monsieur de Zinovieff, Aïre, Genève. Suisse. Швейцария. (Для передачи Л.Д.)

[11] Видимо, отсылка к трактату Л.Н. Толстого «Что такое искусство?», где «заражение» понимается как главная функция искусства.

[12] Роман Л.Н. Толстого «Воскресение» был подвергнут обширной цензурной правке, которая не очень последовательно и полно была снята в пяти русских заграничных (Лондонских) изданиях, выпущенных В.Г. Чертковым. С них же делались, по всей вероятности, и английские переводы. Не исключено, что Иванов читал какой-либо из следующих: Resurrection: A Novel by Leo Tolstoy... transl. By Louise Maud, with illustrations by Pasternak. N.Y.: Grosset a Dunlap, 1899; *Tolstoy L.* Resurrection: A Novel. With 33 ill by L.O. Pasternak; transl. by Louise Maude. London: F.R. Henderson, 1900. О тексте романа и цензурных вмешательствах в него см., напр.: *Гудзий Н.К.* Текстологические пояснения; *Григорьев А.Л.* Роман «Воскресение» за рубежом // Толстой Л.Н. Воскресение / Изд. подготовили Н.К. Гудзий и Е.А. Маймин. М., 1964. С. 546—573 («Литературные памятники»). О русских бесцензурных заграничных и ранних английских изданиях см.: *Рогачевская Е.* Эмигрантские издания в фондах Британской библиотеки // Библиография. 2006. № 1. С. 151—158.

[13] При первой публикации в журнале «Нива» и в некоторых отдельных изданиях были помещены иллюстрации к роману «Воскресение» Леонида Осиповича Пастернака (1862—1945).

[14] Жилая комната (*англ.*), т.е. спальня и гостиная вместе.

[15] Имеется в виду Васильевский остров. Как следует из текста писем, Иванов действительно поселился там.

# *ПЕРЕПИСКА*
# *1900*

## 320. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*12/25 июня 1900. Копорье*

*Копорье. 12 Июня*

Дорогой Славенька <так!>, посылаю тебе детские письма и прошу их внимательно прочитать и 1) понять, как таинственно избег Сережа благодаря детски неразумному поступку гибели или ужасу. Он ведь по нетерпению взял поезд 12.20, чтобы глупо ждать в Maidenhead, тогда как следующий поезд (с которым я ехала к Вере в последний раз) прямой, без пересадки до Iwyford[1], и он же и крушился вдребезги! Тоска и глубоко трагическая покорность* (Лигос <?>) охватили мою душу, ибо погибли другие, неведомые, и что и к чему есть жизнь человеческая, на муку зажегшаяся и потухающая нежданно[2]. 2) Заметь письмо Козла: слог необыкновенно мужественный! и очевидно письмо написано с намерением *получить ответ*!! обо мне ни слова!!

Маме очень плохо: мрачна, непримиренна и очень путанна в понятиях. Сердце мое сжато в камушек и болит.

Думаю, что мое предположение оправдывается относительно моего состояния, и хотя боюсь и дрожу, но и глубоко и тихо радуюсь. Неужели я увижу в той постельке, на том следике маленькое дитя живое[3]. — Дорогой, дни здесь идут, как при тебе, сам знаешь. Ты купи конвертов больших первым делом и непремен-

---

* Далее следует зачеркнутое письменное L, зачеркнутое печатное L, зачеркнутое печатное русское Л.

но пересылай мне *тотчас* детские письма, когда, конечно, выходишь.

Если при тебе принесут плэд в Среду или Четверг, то дай подводчику полтину на чай. Когда встаешь, то *тотчас* звони и вели ставить самовар и покупать булку, но всего лучше с вечера заказывать булку. Как-то ты работаешь? Есть ли силы? Я вечно думаю о тебе. Жду с нетерпением ответа от Миклэм[4], и как получу его и также деньгу, то и вышлю их.

Крепко тебя целую, мой любимый. Марусю поцелуй за меня.

Твоя Лидия.

Постарайся понять письмо Tupper[5]. Мне *не* нравится оно. И дико думать, что если она в Суб<оту> уже знала о несчастии, она не бросилась в школу с утра в Понед<ельник>, а спокойно ждала его возвращения after noon[6]! Также, почему она отпускала его в Wargrave, не узнав адреса!! И тон какой-то niais[7].

[1] Название этой деревушки в графстве Гемпшир правильно пишется Ivyford.

[2] В субботу 16 июня в 13:30 недалеко от Лондона случилась авария, когда один поезд на большой скорости столкнулся с другим, остановившимся на вокзале. Погибло 5 человек, ранены были 70. См.: Serious Railway Accident At Slough // The Times of London. 1900. June 18. № 36171. P. 13. Письмо от С.К. Шварсалона с описанием этой железнодорожной катастрофы среди его писем к Иванову не сохранилось. 9 июня М.М. Замятнина писала Зиновьевой-Аннибал, поставив эпиграфом переиначенные строки Н.М. Минского: «Есть два пути: добра и зла, Нет двух путей добра» (в оригинале: «Нет двух путей добра и зла, Есть два пути добра»): «Сегодня получила и отослала тебе ведомость Сережи с англ<ийским> письмом. Вечером позже получила у вас на кв<артире> посылаемые теперь письма. Вот, счастливо избыл Сережа опасности. Такой ужасный случай! Жутко сделалось как-то от неисповедимости путей, и как-то невольно благодаришь судьбу, что Сережа избег гибели, хотя и знаешь, что другие пострадали, и вспоминаешь "Альму", и чувствуешь, что всего человечества не объять в чувстве иначе к<а>к через бесчувственность. Вчера, проводив вас, я побродила до следующего парохода по парку, а затем, вернувшись с 1 ч<асовы>м пароходом, отправилась немедленно в Сестрорецк» (РГБ. Ф. 109. Карт. 19. Ед. хр. 49. Л. 2 и об.).

[3] Речь идет о беременности Зиновьевой-Аннибал и о том, что новый ребенок займет место в сохраненной колыбельке умершей дочери.

[4] См. «Интермедия (III)», письмо Ивановых к Замятниной от 4/17 мая 1900: «Детей мы устроили: <...> Лидию же с Олей в семье Meikleham, где они уже обжились».

[5] Имеется в виду письмо А. Таппер от 18 июня 1900 (РГБ. Ф. 109. Карт. 35. Ед. хр. 19. Л. 2—4), сообщавшей, что в железнодорожной катастрофе, которой избежал Сережа, 5 человек погибло и более ста получили ранения.

[6] После обеда (*англ.*).

[7] Глупый (*фр.*).

## 321. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*13/26 июня 1900. Петербург*

*Вторник утром*

Как ты поживаешь, милая Лиля? и отчего все не пишешь мне? Вчера Маруся показывала твою записку к ней (от субботы), и ты говоришь там о тоскливом чувстве. Что же это такое? И отчего от тебя нет письмеца?

Получил только что письмецо от Веры, его прилагаю. Адрес написан рукой Сережи.

Вчера утром пришли Анюта и Маруся. С Марусей я ездил в типографию. Обещали сегодня доставить точную смету. У меня следующие сомнения, и жаль, что тебя нет для совета: 1) не мелок ли тот шрифт: быть может, многим не по глазам? 2) не заказать ли только 750 экземпляров вместо 1000? Если увижу Соловьева, спрошу его мнение о последнем. Как ты думаешь об этих двух пунктах?[1]

Марусе тот томик Никольского[2], который мы взяли в образец для издания, не очень понравился; а белая обложка с красным заголовком совсем не понравилась; я же нахожу, что это all right[3] и соответствует стилю издания. Только, может быть, шрифт мелок.

Вчера она узнала для меня, что Дягилева[4] можно застать сегодня в 5 ч<асов>. Придется идти, — иначе он не в городе — хотя и хотелось бы раньше увидеться с Бенуа[5].

Вчера приобрел новый сборник Бальмонта: «Горящие Здания»[6]... Вот обращение:

> О мой брат! Поэт и царь, — сжегший Рим!
> Мы сжигаем, как и ты, — и горим![7]

Это о Нероне. А вот, по-видимому, о России, из стихотворения [«Родина»] «Равнина»:

> Невоплощенные зачатья, —
> О трижды скорбная страна,
> Твое название — проклятье,
> Ты навсегда осуждена[8].

Жаль, что Бальмонт не познакомился в Париже с Ал<ександрой> Вас<ильевн>ой: она могла бы дать ему чудесный эпиграф, который как раз подходил бы к его «Горящим Зданиям»:

«Полить бы петролем[9].... и поджечь бы».

Таланта в книге очень много, и таланта созревшего: говорю, впрочем, только о форме и стихе. Стих не колет, но блещет, как стальные клинки, не жжет, но взвивается подобием языков пламени.

Заголовок «Кормчие Звезды» Соловьевым одобрен.

У меня в настоящую минуту Анна Николаевна. Ты ее уже здесь не увидишь. Она едет в Понед<ельник> 19-го. Получила даровой билет. Говорю ей, что́ посмотреть в Москве. По-сестрински обо мне заботится. Принесла мне бифстек в чашечке, а завтра обещается прислать телятину. В Устье до Августа не соберется. Поклонись от меня сердечно Авд<отье> Семеновне[10].

Маруся меня поит мясным соком и кефиром. Прошу тебя освободить меня от мясного сока. Это шарлатанское изобретение стоит 28 к<опеек> за маленький стаканчик, и, конечно, простая blague[11].

Пока до свидания, Лиля. Будь бодрой и умной девочкой, и знай, что тебя любят. Поклонись Софии Ал<ександровне>. — Две фотографии отданы в указанную Марусей фотографию (где она снималась в шубке) на пробу. Завтра будут готовы — в увеличенном виде. М<аруся> приходила в экстатический восторг от твоих рожиц. Знаешь, почему мы нашли друг друга: «Еще Шекспир подметил, что психопаты влюбляются в психопаток — Гамлет и Офелия, Макбет и лэди Макбет. Шарко утверждает, что невропаты влюбляются в невропаток. Я неоднократно убеждался, что Шарко прав. Поэтому нет ничего удивительного, что вырождающаяся X влюбилась в вырождающегося Y, сына чудака»*.

Прилетела Маруся, сопровождаем<ая> 5000 курьерами[12] с кефиром и пр. Твой В.

Анна Ник<олаевна> говорит, что Катя[13] ее ждет, будет о нас спрашивать. Как ей быть? Хочешь ли ты, чтобы Катя знала, что ты здесь?

Отсутствие письма от тебя очень меня беспокоит. Не пропало ли оно на почте?

Целую как люблю.

---

* Чиж, Вопр<осы> Филос<офии> и Псих<ологии>. 1899, Дек<абрь>, стр. 724[14]. (*Прим. Иванова.*)

Для понимания ситуации, в которой было написано это письмо, существенна цитата из письма Зиновьевой-Аннибал к отцу, Д.В. Зиновьеву, от 26 июня ст. ст. из Копорья: «Я здесь живу одна. Вячеслав пробыл 1 ½ дня и должен был вернуться по своему делу в Петербург. Он теперь печатает свою книгу и пишет дальше сам, так что ужасно занят» (РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 3. Л. 44 об.).

[1] Здесь Иванов обсуждает подробности издания «Кормчих звезд», которые готовился отдать в печать как раз в это время. См.: История и поэзия. С. 231—232 (а также в письмах далее). Тираж в итоге составил 1000 экземпляров.

[2] Речь идет о книге: Сборник стихотворений Б.В. Никольского. СПб., 1899.

[3] Хорошо (*англ.*).

[4] Сергей Павлович Дягилев (1872—1929) — здесь, видимо, фигурирует как один из организаторов деятельности общества «Мир искусства» и издатель одноименного журнала.

[5] Александр Николаевич Бенуа (1870—1960) — художник, художественный критик, позднее мемуарист. Один из виднейших деятелей «Мира искусства».

[6] Книга вышла в мае 1900 г. в издании автора (Москва).

[7] Последние две строки стихотворения «Я люблю далекий след — от весла».

[8] Последняя строфа стихотворения «Равнина». Отметим комментарий В.Ф. Маркова к этому стихотворению: «Какую страну имеет в виду Б<альмонт>? Россию?» (*Markov Vladimir.* Kommentar zu den Dichtungen von K.D. Bal'mont 1890—1909. Köln; Wien, 1988. S. 121).

[9] От *фр.* pétrole — нефть, керосин.

[10] Судя по всему, имеется в виду та «девушка» Зиновьевой-Аннибал, которая обычно именуется Дуней.

[11] Насмешка (*фр.*). Накануне, 12 июня Замятнина писала Зиновьевой-Аннибал: «Сейчас только что ушел Вячеслав, бранить будешь, что так поздно, но он пришел лишь около 8 ч<асов> веч<ера> (спал перед этим), а кроме того уже с полчаса проговорил в пальто, возмущаясь на Бальмонта и комп<анию> (Вяч<еслав> купил нов<ый> сборн<ик> Бальмонта) и сердясь на меня за мое (на вид) равнодушное отношение к судьбам России. До 10 ½ ч. занимались немецким и пили чай с приложением вчерашней ухи+мясного сока и кефира. Не правда ли, три часа проведены достаточно нагроможденно? Немецким языком начали заниматься уже вчера, но вчера были умники и разошлись в 8 ч. вечера — я поехала кататься с Иолш<иными> в лодке, Вячеслав был тоже зван М.П. Иолш<иной>, но я не очень уговаривала, а он, конечно, предпочел беседу с книгами, чему я была очень рада, т.к. волновалась бы, что простудится <...> мы с Анютой постараемся ему все наладить; мясной сок он согласился пить — я сегодня на пробу ему купила и теперь заказала — сейчас написала в лабораторию гигиеническую письмо, чтобы присылали ему. Завтра Вячеслав идет около 5 ч. к Дягилеву, я сегодня справлялась, когда его можно застать» (РГБ. Ф. 109. Карт. 19. Ед. хр. 49. Л. 3—4).

[12] Видимо, восходит к реплике Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя: «И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» (Действие третье, явление VII).

[13] О ком идет речь, неизвестно.

[14] В указанной статье известного психиатра В.Ф. Чижа «Тургенев как психопатолог» Иванов несколько меняет конец, придавая ему иное значение. В оригинале: «...вырождающаяся Милич влюбилась в вырождающегося Аратова, дочь пьяницы влюбилась в сына чудака».

## 322. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*14/27 июня 1900. Петербург*

*Среда утром.*

Вчера пополудни, отправляясь к Дягилеву, я был радостно удивлен и взволнован прилагаемой картолиной[1]. Не могу дать себе ясного отчета в значении и характере выдержанных Сережей «трудных» экзаменов — Scholarship Exam, — несмотря и на печатные программы их, которые пересылаю заказною бандеролью[2] (именно, не знаю, как они применяются к ученикам разных классов, ведь греческого, напр<имер>, он еще не начинал и по разным предметам находится в разных классах, и что́ значит 4-й из 6 — вероятно, на всю школу), тем не менее вижу, что это настоящий триумф да притом и реальное благо для родителей — полцены за школу! Славный мальчик, заработал — гиней 9 или 10 в год... Жаль брать его из школы, где он так хорошо пустил ростки! — Дягилев (человек воспитанный) мог только указать мне на фирму «Знание» и на московско-декадент<скую> фирму «Скорпион» Мамонтова <?>. Я и был вчера в «Знании» — отнеслись внимательно, но сомнение в успехе, кажется, преобладает и решительный ответ может быть дан только осенью, когда выяснится «настроение публики». А «Жизнь» — журнал, связанный с «Знанием», взялся бы печатать и переводы и рисунки. Вчера я написал отчет обо всем этом Ал<ександре> Вас<ильевне>[3] и думаю, что пока мои полномочия закончены — к Бенуа ехать после Дягилева едва ли стоит, да Гольштейны с ними и сами знакомы.

Вчера получил вечером наконец твое письмо[4]: был и сладко и грустно взволнован им и очень тебя любил. А ты будь умненькой, славной! Письмо Mrs Tupper прочел[5], поскольку оно вообще чтимо, и не вижу оправдания ее пассивности — почему не пошла она к Ольге узнать адрес и как отпускала вообще, не зная адреса? — но это равнодушие и душевная притупленность во всем, что не касается нас лично, слишком в порядке вещей и Mrs Tupper — видишь ли? — просто мало развита, мало образованна и интеллигентна, а для многих эта культура необходима. А впрочем, не философствую — о людях — в жизни умны и любимы только эмпирики — да и Грибоедов говорил: «Пофилософствуй, ум вскружится»[6]. А впрочем верь в Кормчие Звезды общей и личной судьбы. Я чувствую себя вполне хорошо.

Твой В.

Не потеряй печатные программы!

Твой В.

Не нужно ни упрекать ее словесно, ни сердиться на нее, тем более что как письмо, так и картолина показывают, что Сережу они «полюбили», что он им мил — как мил может быть чужой. Ты напиши благодарность ей и не забудь поблагодарить от нас обоих Warnstall'я[7] за его поздравление. Перешли мне поздравительное письмо к Сереже, я ему тоже напишу на твоем письме поздравление и проч. Целую нежно, а в твои уверения о твоем состоянии еще не уверовал. Твой всецело В.

Фрагмент: *Котрелев Н.В.* Переводная литература в деятельности издательства «Скорпион» // Социально-культурные функции книгоиздательской деятельности. М., 1975. С. 75.

[1] Иванов пересылает отнюдь не открытку («картолину»), а письмо на двойном листе (см. текст в конце примечаний).

[2] Этих программ нам обнаружить не удалось.

[3] Имеется в виду письмо к А.В. Гольштейн от 13 июля 1900 г. Текст письма см.: Переписка с Гольштейн. С. 345—346. Приведем наиболее существенные пункты этого письма: «Пантелеева я уже не застал в Петербурге <...> С Вл. С. Соловьевым я говорил о всех планах, но он, при всем желании, ни в чем не мог помочь мне. <...> С "Миром Искусства" он порвал. <...> Е.С. Кавос, с которой я познакомился чрез Гревсов, дала мне рекомендацию к Дягилеву и Бенуа. Так как последний на даче и адрес его мне не удалось узнать в точности (кажется, в Мартышкине), то я пошел к Дягилеву и услышал от него: 1) что "Мир Искусства" не берется за издания, нуждаясь в деньгах для собственного существования, 2) что "Знание" могло бы, по его предположению, издать книгу, 3) что есть некоторые шансы на успех в "Книгоиздательстве Скорпион", московском декадентствующем предприятии, зависящем от Мамонтовых, почему Дягилев и предложил мне написать в Москву Михаилу Анатольевичу Мамонтову <...> В "Знание" <...> я заходил и беседовал с управляющим Вс. Дм. Протопоповым. Этот не дал прямо отрицательного ответа, обдумывал <...> во всяком случае, он думает, что как переводы, так и рисунки, долженствующие составить сборник, будут охотно приняты в журнал "Жизнь", имеющий к "Знанию" ближайшее отношение». В этом письме (как и в комментируемом) речь идет о плане издания переводов французских поэтов, выполненных в основном А.В. Гольштейн, с иллюстрациями французских же художников (подробнее см.: *Котрелев Н.В.* Назв. соч. С. 72—81). Там же напечатано письмо Иванова к М.А. Мамонтову (расстрелян большевиками в 1919 или 1920 г.); ответное письмо см.: Переписка с Гольштейн. С. 352—353. План осуществлен не был.

Издательское товарищество «Знание» (1898—1913) — книгоиздательство «реалистического» направления, ведущим сотрудником которого и во многом определяющей фигурой являлся М. Горький; как были связаны издательство «Скорпион» и «Типография А.И. Мамонтова», дела которой вел М.А. Мамонтов, нам доподлинно неизвестно; журнал «Жизнь» издавался в 1897—1901 гг. (в 1902 был вынужден печататься в Лондоне и Женеве).

[4] П. 320.

[5] Речь идет о письме А. Таппер к Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, упоминаемом в п. 320.

[6] «Пофилософствуй — ум вскружится» — слова Фамусова (Грибоедов, «Горе от ума», действие II, явление 1).

[7] Лицо, нам неизвестное.

Начиная со слов «Mrs Tupper — видишь ли», Иванов пишет сначала между строк, а затем на полях письма от О.Ф. Никитиной. Текст ее письма приводим здесь полностью:

*Суббота 23 Июня.*
*1900*
*Hampstead.*

Дорогие мои Лидия Дмитриевна и Вячеслав Иванович, поздравляю я вас с Сережей, я вчера вечером была у него: он выдержал самый трудный экзамен — из шести он четвертый, и его имя теперь будет иметь честь записанным в книгу на двадцать лет, и кроме того, за него теперь в школу будете платить половину; я очень рада за вас и за него. Дай Бог и вперед также хорошо и счастливо. Лидия здорова и весела, только эти две недели она совсем почти не училась. Барбара готовилась к экзамену, и она сказала мне, что ей очень неловко перед вами, так как она говорила, что будет заниматься с Лидией, и обещала после экзамена Лидию взять на целую неделю, сегодня у ней экзамен. Погода переменчивая, но не очень-то тепло. Я просто в отчаянии, отчего вы ничего не пишете мне? Или вы не получили мое письмо? Или я провинилась в чем? Или разгневала вас? Чем, скажите мне и не мучьте меня, я гневлю и мучаю других, но и успокаиваю. Сжальтесь надо мной, уменьшите мои страданья, с меня довольно и теперь, что я имею, или хотите, чтобы я еще больше их имела. Будьте добры и добродушны ко мне, успокойте меня, напишите мне все, о чем я вас просила в прошедших письмах.

Лидия Цалует вас крепко, я тоже, а Вячеславу Ивановичу крепко жму руку. Поцалуйте Анюту, поклон Марии Михайловне.

Остаюсь Горячолюбящая
вас Ольга.

## 323. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*14/27 июня 1900. Копорье*

*14 Июня.*

Славинька, как ты там работаешь? Как силы? Здесь вопрос о лете для меня всё усложняется[1]. Живу и вижу ясно, что, отрываясь от матери и уезжая в Англию на лето, я совершаю какое-то насилье над голосом любви во мне. Притом я нужна ей не только, так сказать, «сентиментально», но и очень практически. Всё здесь «медь звенящая»[2], и, больше того, совершается ежечасное насилие над волей бессильной женщины, насилия педантические, часто бессмысленные, часто эгоистические и которые приводят несчастную в такое отчаяние и ужас, что мне, свидетельнице всего, приходится рыдать до полного бессилия. Если бы ты пожил,

то увидел бы это всё и ужаснулся. Только постоянное мое присутствие могло бы помочь матери провести в тишине и мире <так!>. Я уже угадала любовью ее желания и понемногу перестроила, сообразуясь с ними, ее день. И когда она, как теперь, в эту минуту, лежит рядом со мною под деревом, вдвоем, в очень тихом уголке рощи, то лице ее постоянно поворачивается ко мне с тихой улыбкой. Вот вчерашняя сцена: после чаю в 4 часа я с Еленой свезла ее в цветник, где она, улыбаясь, ездила от клумбы к клумбе. Пришла Лиза со своею матерью. (Мать ее считает, что у Соф<ьи> Алекс<андровны> только остался один желудок и что она *ничего* не понимает.)

Лиза говорит: «Поедим <так!> на "большой круг"». Мама: «Я не хочу. Я умоляю, чтобы меня *не* везли на большой круг. Там я слишком мучаюсь. Я слишком боюсь. Не хочу никого стеснять. Идите все туда. Умоляю, только меня не берите туда!» — и складывает руки моляще и плачет. Лиза: «Ну что же это, мамаша. Там ничего нет страшного. Надо ехать. Будь разумна!» Слезы и мольбы. Лиза мне: «Я должна мирить все интересы: я сама должна гулять, Елена также, и если мамаше раз позволить не ехать туда, тогда кончено на всё лето!» Мама: «Я умоляю всех. Идите гулять без меня. Меня же свезите по другим дорожкам. J'ai trop souffert. Terriblement souffert là-bas[3]. Ради Бога, умоляю, не везите по тому кругу» (горькие слезы). Лизина мать à part[4]: «Вы не говорите ей ничего. Она всё равно не понимает, куда ее везут. Везите просто, куда хотите». Я: «Мамочка, тебя не повезут, куда ты не хочешь. Будь спокойна!» Кортеж движется. На лице больной ужас. Она стонет, и слезы текут по щекам. Везут раньше к садовнику, потом поворачивают к «большому кругу» под предлогом заехать в огород. Она утихает. Заезжаем в огород и вновь оказываемся на пути большого круга. Лиза идет дальше под предлогом цветущих ив. Еще мама спокойна, уповая на мое обещание. Везут от ив дальше и дальше, и когда подъезжают к елям, начинается стон и плач. Спешим дальше к дому заканчивать большой круг. И уже на балконе, когда Лиза ушла, а маме дает <так!> * обедать Елена и я, вдруг она подымает руки и судорожно как-то страшно и быстро передвигая пальцами и сделав страшные огромные глаза, стала отчаянно говорить: «Вы... Вы... вы все обманули меня.. обману-

* Исправлено из: дают.

ли.. я умоляла.. вы обманули...» — и плач, и рыдания, и вся трясется, как в припадке, бьется.... «Вы не любите меня.. я умоляла, а вы обманули...», потом стала просить меня: «Ты не говори Лизе.. она старается, как умеет.. она устала, я знаю, только она *не понимает*, и не надо ей говорить... я знаю, что я всем надоела и всем тяжело от меня...» и т.д.

Обедать не могла, и молила, чтобы не заставляли: «Пожалейте меня, не принуждайте...» Я ушла и плакала, сердце разрывалось. А со мною она так спокойна, и так легко сделать ей ощущение, что ее воля не насилуется, и так бессмысленно было насилие везти по той дорожке, где она страшится. Она страшится оттого, что еще при тебе Саша повез ее со мною показать мне новую им устроенную дорожку. С двух сторон дорожки маленькие обрывы, и она всё время в то утро судорожно хваталась за ручки кресла и заливалась, плакала и молила не ехать там, но он не обращал никакого внимания, говоря спокойно: «Это вздор, мамаша, здесь не опасно». Она: «Я терпеть не могу эту дорожку». Он очень строго: «Ничего не значит. Скоро ты очень полюбишь!»

Милый друг, я теперь думаю так: если бы ты только был здоров и силен, чтобы без вреда выдержать здесь до середины Сентября здешнего или до начала, то не махнуть ли детей морем в Петерб<ург> и снять им дачку в ***соснах*** на Лахте или в Сестрорецке. Там Маруся жила бы с ними и учила бы. Тебе было бы приютно, и Петерб<ург> под рукой, а я между вами и Копорьем, куда на недельку привезла бы старших. Но это может решить лишь состояние твоего здоровия, и если твои силы плохи, и ночью у тебя слабость, и в ушах всё гудит, то лучше не делать этого, а уехать. Но знаешь ли, что ехать *мне* надо скоро. Чтобы быть за 8 дней до вакаций, т.е. 23/9 Июля в Лондон <так!>, надо выехать 17/3 из Петерб<урга>, а сегодня 28/14 Июня, значит, кладя неделю на Петерб<ург>, я должна покидать Копорье 10/26. Значит, ты должен приехать сюда 7/23 Июня. Мама сегодня спрашивала меня: «Когда твой муж обещал приехать сюда?» — Теперь она говорит: «Сегодня я дала себе слово никуда не ехать, чтобы себя и других не мучать, и я боюсь — меня опять *заставят* ехать куда..» Славенька <так!>, я получила твою записочку[5] и сегодня жду письма. Получил ли ты вчера все письма мои? Целую.. Остальное всё знаешь.

Твоя Лидия.

Конверт с адресом: Его Высокоблагородию Вячеславу Ивановичу Иванову. Николаевская Набережная, 13, кв. 4. Штемпели: Копорье С.Пбург. г. 14.VI.1900 — С. Петербург. 15.VI.1900.

[1] Ситуацию этого лета Зиновьева-Аннибал ретроспективно описала отцу, Д.В. Зиновьеву, в письме от 7 августа (очевидно, старого стиля). См. п. 346, прим. 1.

[2] 1-е Кор., 13: 1.

[3] Я слишком страдала. Страшно страдала там (*фр.*).

[4] В сторону (*фр.*).

[5] Такая «записочка» нам неизвестна.

## 324. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*15—16/28—29 июня 1900. Петербург*

*Четверг, поздно.*

Милая радость, я получил твое письмо[1], где ты пишешь о С<офье> А<лександровне> и о своем желании остаться с ней все лето, — и очень тосковал и страдал за нее, да и за тебя, и намерению твоему, конечно, сочувствовал сердцем, хотя и сомневался в осуществимости его из-за вреда, который принесет твоему здоровью — физическому и душевному — такой подвиг любви. Что же до моего здоровья, я думаю, что смело можно остаться здесь (особенно за городом) на все лето; по крайней мере, все эти дни я чувствую себя превосходно при своем гигиеническом режиме. Но как поступить с Л<идией>? Tu la farai battezzare e la prenderai con te qui? Come nasconderemo il legame, trattandosi delle difficoltà interminabili col passaporto etc.? I bambini nostri sapranno ogni cosa... A proposito, non scrivermi senza precauzione contro certe indiscrezioni postali: pare che questa tua lettera era stata aperta[2].

Сегодня утром я получил радость: твою увеличенную рожицу с карточки, где ты совсем маленькая с сестрой. Какая ты милая, какое выражение упрямо-мыслительное, какие одутлость и складочка на шее — и сказать невозможно. Выразительность значительно выиграла от увеличения, но фотография бледна и некрасива. Ты такая *душка* (что за лоб!) — и я очень счастлив.

По мере чтения книги Гримма[3] убеждаюсь в неудобстве для меня открывать ученую полемику, беря на себя неблагодарную роль адвоката Моммзена[4]. Здесь something is wrong[5]. Подсудимый защитится сильнее, чем его адвокат. Если не встретятся какие-нибудь специальные соображения, имеющие известную новизну, рецензию писать не буду[6]. Глупо же только полемизировать ука-

занием на логические ошибки или непоследовательности. Впрочем, буду читать дальше.

Ты пишешь, что я должен приехать через неделю. Se è necessario, tu me lo dirai dopo definitivamente[7]. Сметы мне не прислали еще, напиши мне советы о печатании.

Твой Orasempre V[8].

Смету сегодня пришлют: Маруся телефонировала. (Утро пятницы) ВИ[9].

[1] П. 323.

[2] «Ты окрестишь ее и отвезешь ее сюда? Как мы будем скрывать наш брак — имею в виду нескончаемые трудности с паспортом и т.д.? Наши дети все знают... Впрочем, не пиши без предосторожностей против некоторой почтовой бесцеремонности. Кажется, это твое письмо вскрывали» (*ит.*).

[3] Речь идет о книге историка, ректора Петербургского университета в 1911—1918 гг. Эрвина Давидовича Гримма (1870—1940): Исследования по истории развития римской императорской власти. СПб., 1900. Т. I. Римская императорская власть от Августа до Нерона. Отождествить издание удалось, поскольку в архиве Иванова сохранилась записная книжка с выписками (отчасти переходящими в конспект с набросками возражений) со с. V—VII, 4 и 6 этой книги (РГБ. Ф. 109. Карт. 1. Ед. хр. 18. Л. 1—5 об.).

[4] Уже в краткой вводной главе к книге Э.Д. Гримм писал: «По мнению автора, невозможно включать в рамки одной системы не только все конституционное развитие Рима, но и конституционное развитие римской империи за первые три века ее существования. Ясно, что это взгляд должен привести автора к столкновению со взглядами Моммзена. <...> Оспаривая взгляды Моммзена, автор всегда сознает, что как раз в данном труде он именно ему обязан больше, чем какому бы то ни было другому ученому. Но едва ли его можно упрекнуть в том, что он постарался оттенить свою точку зрения по возможности определенно, подчеркивая ввиду этого те недостатки, которые он, как ему кажется, нашел в господствующей теории» (Указ. соч. С. VI—VII). И далее полемика со взглядами Моммзена ведется весьма активно.

[5] Что-то не так (*англ.*).

[6] Такая рецензия, сколько мы знаем, написана не была.

[7] Если нужно, ты мне потом скажешь об этом определенно (*ит.*).

[8] К этому месту М.М. Замятнина сделала приписку карандашом: «И я тоже к резолюции прикладыв<аю> руку и говорю: так да будет. Маруся».

[9] Приписка сделана карандашом.

## 325. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*16/28 июня (?) 1900. Копорье*

*Пятница*

Дорогой Славуня; два слова: замучилась писать длинное письмо Tupper и Сереже. Завтра Пэтону и надо Meikleham: оче-

видно, мое из Петерб<урга> не получено. Благодарю за ласки. Здесь всё по-старому. ***Пиши о здоровии***: это всё решает. О Лидии написала вчера длинно, подробно и настойчиво Алекс<андре> Вас<ильевне>[1], умоляя *скорее* узнать у консула, даст ли он ей документ на въезд, 2) свободен ли будет выезд 3) если да, то как скорее и лучше добыть его ввиду выезда морем из Лондона. Всё это ответить на Петербургскую нашу комнату, и в случае удачи, *ты* пошлешь куда следует Лидин документ. Всё это, конечно, если здоровие позволит, а разум одобрит общий приезд детей. И не лучше ли прямо во флигель в Копорье? А ты-то здесь-то в городе? Как думаешь?

Но не волнуйся: поступлю, как хочешь ты, в тебя верю, и ты дороже всего в мире для меня. Уже начинает тошнить нередко и сверлить в груди... Дни тянутся у кресла мамы, но доставляю радость и мужество есть. Работай. Да будет твой труд благословен. Шрифт, по-моему, хорош[2]. В Европе не беспокоятся о глазках читателей. Но как думаешь лучше — так делай.

Устала, затошнило.

Твоя счастливая девочка

Лидия.

Письмо Сережи ***не задержите****.

[1] Такое письмо не опубликовано и в архиве Гольштейн не сохранилось.

[2] См. п. 321.

## 326. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*18 июня / 1 июля 1900. Копорье*

*Воскресен<ье>*

Дорогой Кун, два слова. Эти дни приехала Дуня, я разрываюсь между нею и матерью. Как быть с детьми, пусть то решит ответ Гольштейнов. Мать, очевидно, в душе очень желает и обижена, хотя говорит лишь случайно и посторонним. Она хитра, как хитрый ребенок, и зла, как злой ребенок. Но времени, *если мне ехать* в Англию, всего *30 дней* и 6 на Лондон, 6 на путь** <на> Петерб. и, значит, здесь 11 или 12.*** считай!! Пиши, что ты де-

* Подчеркнуто 4 раза.

** Оторван уголок письма и цифра утрачена.

*** Оторван уголок письма. Видимо, было написано нечто вроде: «Вот и».

лаешь? что пишешь? ***ради Бога****, *начинай печатать* скорее. Где Маруся[1], не развлекает ли тебя? *Серьезно ли ты настроен?* Ради Бога, пользуйся временем. Меня томит бездействие <1 нрзб> здесь.

Письма надо опускать до 4 ½ часов или же в *особый* ящик. Маруся его знает. Всегда с тобою.

Л.

Не поняла, что значит «чьи проделки» и что стерто. Даже и думать как-то не время. Еду сегодня к Баронам[2] петь.

Целую нежно.

Твоя Лидия.

Пиши, что ты *пишешь*.

Закрытка. Штемпели: Копорье 18 и 19.VI.1900 — С. Петербург. 19.VI.1900.

[1] Здесь и далее Маруся — М.М. Замятнина.

[2] О ком идет речь, неизвестно.

## 327. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*18 июня / 1 июля 1900. Петербург*

*Воскресенье.*

Дорогая радость! Вчера была у меня Маруся, потом — когда она уезжала в Сестрорецк — я получил смету из типографии, потом пошел ко всенощной в Киевское подворье (на набережной), потом получил твое письмецо[1], меня очень взволновавшее твоею уверенностью в твоем состоянии, после чего я впал в дионисическое упоение. Все, что ты делаешь, ты делаешь как кормчая звезда моей жизни, и все, что с нами делается, делается Кормчими Звездами. И так да будет. Маруся вчера говорила об этическом углублении, которое является следствием нашего на нее духовного влияния, и что источник этого углубления, нами обоими проводимого, — ты. И здесь много правды. Смета (официально закрепленная в дубликате — т.е. меня не обязывающая, а их обязывающая не превысить положенное) составлена на сумму всего в 480 р<ублей> 60 к. за 1000 экз<емпляров> на 20 листах по образцу книжки Никольского, и так как ты стоишь за тот нам понравившийся шрифт, то возможно, что я — посмотрев еще раз

* Подчеркнуто трижды.

шрифт, не излишне ли он мелок, как настойчиво утверждает упрямая Маруська, — дам им задаток и рукопись. Письмо Сереже напишу сегодня, теперь же спешу к обедне к Исаакию и прилагаю две только что полученные «дырки»[2]. Как ты думаешь успокоить этого rustre[3] — Ralph'а? Как ему послать денег, — и не помню, сколько[4]. Жду твоих приказаний — и указаний. Должно ли ехать в Копорье? Когда — в четверг или субботу (в пятницу не хочу)? Что сказать хозяйке о комнате на следующий месяц? О перевозе детей прямо в Коп<орье> нечего и думать — а Л<идия>?! Да Маруся все устроит насчет жилища. О бумагах Л<идии> я думал, что ты узнаешь и устроишь лично и что для этого собираешься гл<авным> обр<азом> ехать сама — иначе детей можно просто выписать. Но трудно это из-за Л<идии>. Я ведь могу съездить.

Целую пока, пиши

Твой В.

Вчера получил Сережин report[5], кот<орый> не пересылаю из-за его веса. Paton пишет: first rate little scholar, he well deserves the title he <has> gained. I am sorry he cannot keep his playfulness out of the drawing class. It has made it impossible to give him a C. (??)[6].

Вчера я получил твои фотографии с Бобиком. Хоть не очень ясно, но, по-моему, удовлетворительно. И увеличение производит великолепный эффект. Просто загляденье, как мило.

[1] П. 325.

[2] На домашнем языке Ивановых этого времени — письма.

[3] Грубияна (*фр.*).

[4] Обстоятельства дела, о котором идет речь, нам неизвестны.

[5] Отчет (*англ.*).

[6] Первоклассный маленький ученый, он и вправду заслужил полученное им звание. Мне жаль, что он не может сдержать свою шаловливость в рисовальном классе. Это сделало невозможным поставить ему С. (??) (*англ. искаж.*).

## 328. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*19 июня / 2 июля 1900. Копорье*

*2 июля.*

Дорогая Славенька, опять всего три слова. Замучилась письмами — 3 дырки по 4 стр. в спехе, всё из-за долга Ralph. Я уже на

прошлой неделе из Нарвы просила выслать £ 30 Mrs Tupper и я всем распорядилась. Сегодня лишь торопила и извинялась. Писала брулльен <так!>[1] Paton'у и начала Meikleham!!! Я радовалась жарко твоему письму. Отчего ты часто так видишь Марусю: она тебя отвлекает и ты тратишь часы. Я одобряю Сув<оринскую> смету[2] и молю сразу начать. Шрифт — абсурд, т.е. сомнение о подслеповатых компатриотах. *Где ты обедаешь? Как кефир?* Сок пей, непременно, если ты хорошо его переносишь. Гимнастику. С приездом в Копорье ты не суетись. Жду ответа Гольштейнов и написала им еще, торопя, прося в случае ясного разрешения вопроса *мне* телеграфировать oui или non[3]. Лиза говорит, что Лидию надо обязательно везти сюда и вполне хорошо относится к этому: «Ты же не станешь от нее отрекаться!!» — говорит. Словом, жди, будь невозмутим, пиши!

Вчера были у Баронов. Пела. Голос прекрасен. «Ich grolle nicht»[4] и Gluck <?> и Чайковский. Тошнит. Прощай сейчас <?>, мальчик, на сегодня.

Твоя.

Закрытка. Штемпели: Копорье. 19 (и 20).VI.1899 — С. Петербург. 20.VI.1899.

[1] От *фр.* brouillon, черновик. Обычно транслитерируется как «брульон».

[2] См. п. 327.

[3] Да... нет (*фр.*).

[4] Романс Р. Шумана на стихи Г. Гейне.

## 329. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*20 июня / 3 июля 1900. Петербург*

*Вторник.*

Дорогая радость. Вот тебе письмо серьезное и обдуманное, характера делового. Прошу, взвесь ты его как следует. Много [есть] может быть исходных точек для выработки решений в жизни. Все их нельзя совместить: они приводят к различным решениям, и, желая удовлетворить всему, мы запутываемся в безысходные противоречия. Поэтому должно выбирать одну [главную цель] исходную точку — а именно первый и важнейший интерес. После этих труизмов (вдобавок еще худо выраженных) обращаюсь к нашим делам.

Детям, я считаю, побывать теперь в России только хорошо, радостно, полезно, ободрительно, освежительно. С<офью>

А<лександровну> хорошо (не необходимо вовсе) иметь тебе подле себя подольше. Geklatsch'ем[1] и проч. можно до известной степени пренебречь. Но единственной исходной точкой для рассуждений о том, как нам быть, должна быть забота о — *тебе*. И здесь не может уже быть никаких оговорок и возражений. Это — категорич<еский> императив: ввиду того, что ты сообщаешь о своем состоянии. И мне довольно напомнить тебе обращенные тобою к себе самой самоупреки (правда, несправедливые) за то, что ты не берегла во время беременности Еленушку достаточно, — чтобы ты поняла меня и согласилась, до какой степени все остальное должно быть прямо устранено из соображения. Оставаться же тебе в Копорье вредно. Вредно тебе напряжение нервов, вредна вечная забота и мука о матери, вредно отсутствие покоя и сосредоточения, вредны хлопоты с перетаскиванием детей, вредна бравировка и пр. и пр. и пр. Вместо того нужна тебе тихая вакация с детьми в хорошем климате. Прибавь еще, что ездить за детьми в Англию и возвращаться сюда — немыслимо. Итак лучше последовать результатам нашей беседы с Ал<ександром> Дм<итриевичем> — что лучше детей на этот год не привозить. Будем благодарить Бога, что он привел свидеться с С<офьей> А<лександровной>, и не будем требовать от судьбы излишнего. Все придет со временем. Теперь же будем тверды и будем делать свой долг. А долг — быть тебе спокойной и щадить себя всячески. В Грецию мы не поедем: невозможно при твоем состоян<ии>. Поселимся у моря в Англии — в Брайтоне или на Уайте. Сережа — в Лондоне. Дети осталь<ные> если не с нами, то недалеко от нас, в пансионе. (Я уже подумывал о Бидливи.) Вот тебе мое, кажется, зрелое мнение. Я думаю, что замедлю сам немного в России для сборника. Если и ты хочешь замедлить немного, не послать ли Марусю к детям? — да пожалуй что это *напрасно*. Я пишу. Кончил еще в воскресен<ье> «Неведомому Богу»[2].

Целую, целую. Спешу. Поздравь с праздником Козлика (в пятницу). Олин праздник в субб<оту>[3].

Твой В.

Жду скорей отповеди.

Целую как люблю любимую девочку.

Конверт с адресом: Ее Высокоблагородию Лидии Дмитриевне Ивановой. Почт. ст. *Копорье С.Петербург. губ.* Сверху (почерком Зиновьевой-Аннибал) надписан еще один адрес: 90 Seander Road Brixton SW. London. Штемпели: С. Петербург. 21 июн. 1900 — Копорье. 21.VI.1900.

[1] Болтовней, сплетней (*нем.*).

[2] Стихотворение это см. в приложении к п. 331.

[3] Имеется в виду дни рождения К.К. Шварсалона (23 июня) и О.Ф. Никитиной (24 июня).

## 330. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*21 июня / 4 июля 1900. Копорье*

*Июля 4.*

Дорогой Славунь, только что получила твое письмо, и Митя[1] свезет на велосипеде ответ. Прежде всего о деле: я много думала и ясно поняла всё, касающегося <так!> моего решения взять сюда детей, и за его правильность ручаюсь. Тому доказательство моя недавно вновь после тяжкого перерыва смуты наступившая близость и дружба с Еленушкой. Здесь я пережила многое, душа еще углубилась, и я преодолела еще одну ступень по пути мудрости: возмущение на страдание близкого, дорогого существа. Из всей глубины, из всей муки родилась легкость, примиренная легкость, и вечером в тихую душу гармоническую слетает моя девочка, и она хранит новое, любимое дитя во мне. Я имею лишь сомнение о тебе, но, кажется, удача твоего труда доказывает, что твое <здоровье?> * лучше, чем я в страхе предполагала. Затем я решила поступить так: положить решение в руки судьбы. Если Лидия может попасть в Россию, то везти всех (не лучше ли морем?) с Олей прямо сюда. Ты же можешь и здесь и там. Если же будет холодно, ты можешь пораньше выехать в Швейцарию (?). Я очень переменилась, и чувствую в себе спокойную силу, и ты не думай, что я на надрыве. Но подожди еще спокойно.. уверься <?>..

— Здесь эти дни гостила Дуня с очаровательной, доброй, умной, здоровенненькой девченкой. Вчера вечером за нею приехал муж. Он некрасив, но лице и голос говорят о хорошем сердце и тихом нраве. Радостная и благословенная семья. Сегодня они втроем засели в лежку <так!> и со своим «Шариком» и «Мальчиком» укатили на гнедой старой, но сытой лошадке. Их здесь очень ласкали и мамочка, и Лиза, и мальчики. С Лизой я очень дружна. С того дня она никогда не стала навязывать чего-либо маме. Мальчики ведь прелестные! Вот Митя с ума сходит в мечтах увидеть Сережу! Дети же наши были бы так счастливы, что я

* Слово в оригинале пропущено.

сама была бы радостна. Отчего не присылаешь «*Нев<едомого> Бога*»[2]. *Что Сонет <?> и «Врата»*[3]. *Что Пр<о>мет<ей>*[4]? Маруська сошла с ума. Жаль! Пишу ей сегодня. Ну, до свидания. Бедная Олюшка! Целую тебя, мое солнышко.

Остаюсь твоя

Л.

Козлу я написала вчера[5].

Конверт со штемпелем: Колорье. 22.VI.1900. Петербургский штемпель сохранился лишь частично, дата не читается.

[1] По всей видимости, племянник Л.Д — сын А.Д. Зиновьева. Письмо, полученное Л.Д., — вероятно, п. 327.

[2] См. п. 329 и 331.

[3] О каком сонете идет речь, догадаться вряд ли возможно. На всякий случай укажем, что в письме 20 августа — 2 сентября 1900 Иванов послал А.В. Гольштейн сонет «"Cena" Леонардо да Винчи» (Обнимаю Вас... С. 170—171; Переписка с Гольштейн. С. 350), который потом был включен в «Кормчие звезды» под заглавием «"Вечеря" Леонардо». «Врата» — терцины, составившие особый раздел в «Кормчих звездах».

[4] Трагедия Иванова, законченная много позже.

[5] Имеется в виду поздравление с днем рождения.

## 331. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*22 июня / 5 июля 1900. Петербург*

*Четверг 22 Июня / 5 Июля.*

Милая деточка! Вот письмо Сереже. Я и ему много не писал, и Крэгморцам[1], к празднику Кости и Оле записочку через Сережу. Подарочки им нужно запасти. От Александры Васильевны вчера получил длинное и очень дружественное благодарственное письмо за мои хлопоты (результаты которых она не считает отрицательными) — ответ еще на мое письмо только[2]. Приложен рецепт тебе от Вл<адимира> Авг<устовича>. О тебе: «Лидию крепко целую». Просит, если возможно, передать Софье Ал<ексан>дровне ее «глубокое почтение и пожелания скорого выздоровления». «Скажите Л<идии>, что Аделаида Андреевна *совершенно* поправилась от воспаления легких и бодра по-старому. Это прямо чудо. Поклон Эмме Васильевне». «Наташа чувствует себя недурно. Вл. Авг. шлет вам и Лидии сердечный привет». Юлий Ф. ушел из кустарного отдела! Потрясение бюджета, но вместе радость «патриархальной коммуны»[3]. —

Дорогая радость, только сегодня, думаю, получишь мое письмо[4] с увещанием понять, что твое состояние теперь *императивно* предписывает тебе поставить *свое* здоровье, спокойствие и благосостояние центром общих интересов и всей нашей жизни, а потому отказаться от плана лелеять твою бедную детку-маму все лето, потому что это не может быть достигнуто без всякой убыли здоровья и сил физических и нравственных; кроме того, тебе и, в положительном смысле, необходимо воспользоваться летом для пребывания в хорошем климате. Этим разрешается большое затруднение относительно привоза *всех* детей в Россию и, в частности, в Копорье. Ибо ободрение Елиз<аветы> Ник<олаевны> показывает только добрую волю и расположение твоих родных. Жду твоих решений ввиду новой постановки вопроса, данной мною в прошлом письме, — и тогда поспешу, если нужно, в Копорье и потом отправлю тебя за границу — так предполагаю. — Я упоминал, что окончил и совсем переделал «Неведомому Богу». А эта вещь придется <?> уже на 3-м печатном листе. Что я не спешил с типографией, желая выиграть немного времени, чтобы потом не задерживать их на первых же шагах, — при состоянии моей рукописи только естественно. Прибавь, что «die immer werdenden»[5] «Океаниды»[6] еще подверглись радикальной переработке с отсечением головы этому стихотворению или нароста на голове (ввиду 2 первых строф). А это уже 2-ой лист. Вот оправдание, почему я немножко затягивал. Во всяком случае, я не колеблюсь больше в выборе шрифта и типографии. О Марусе неправда, что она мне мешает. Я за последнюю неделю склонен к défaillance[7] и глубокому унынию — и боюсь ее уездов на несколько дней в Сестрорецк; она хорошо, благотворно действует на меня и дает только плюс к маленьким (увы!) итогам моей работы...

Волнуюсь ожиданием известий от тебя, томлюсь разлукой и отсутствием твоей поддержки нравственной, помощи в работе, незнанием и тревогой о тебе, невозможностью объясниться о нужнейшем. Все, что́ пишу, — чувствую, что пишу напрасно. Собирался даже прямо приехать...

Очень взволнован событиями в Китае[8]*.

Целую нежно. Твой В.

---

* В Пекине один мой товарищ по гимназии Колесов — вероятно, теперь зарезан. <2 слова густо зачеркнуты>. *(Прим. Иванова.)*

Поклон письменный от Юлии Алекс<андровны>[9]. Также от Анюты. Она была в последний раз в воскресенье. Теперь в Москве. Очень просила выписать ее раньше 1 Августа, если она понадобится для детей. Еще поздравляю и целую тебя со днем Козлика!

В.

Не знаю, как стал бы без тебя печатать? Ни в одном варианте не уверен без твоего суждения, не говоря уже о новом.

*Неведомому Богу.*

Ὦ τὸν Ἄδωνιν![10]

Я видел, в ночи звездноокой, с колоннами вечными храм;
И бога искал, одинокий, — и бога не видел я там.
Но змеи стожалые жили под пеплом живым алтаря;
И звезды заочно служили, над кровлей отверстой горя!

И пал на помосте святыни, и сон я внезапный вкусил...
И недра отзвучной пустыни прилив мириад огласил...
И гулы растущие хоров, как звон отдавали столпы;
Из зарева мрачных притворов со стоном врывались толпы.

Звучали сопели и лиры, и систр, и тимпан, и кимвал;
Сияли, колеблясь, кумиры над бурею кликов и хвал.
И с узным бряцанием пленных сливался вещателей зык;
И дико речей исступленных был разен с языком язык.

И смолкли, как в яром прибое пучина стихает на миг;
И слышны в мятежном покое рев жертв с громыханьем вериг...
Да факелов дышут пожары, да угли сверкают очей,
Волхвов темноликих тиары, жен злато, булат палачей...

Медь взвыла, взыграли кимвалы, стоустый проносится клич, —
И в вихре радения Галлы* взвивают язвительный бич...
Мертвеют, недвижны, факиры... Шатается, грянулся вол, —
И пьет из-под черной секиры живую струю Тавробол...

На скользкие рухнули плиты рабы, издыхая в крови...
Умильные девы Милитты скликают на милость любви...

---

* Жрецы Великой Матери-Кибелы. (*Прим. Иванова.*)

«Эван!» вопиет и «Эвоэ!» — в личине скача — Эгипан;
«Эван!» в упоительном вое бьют систр и безумный тимпан.

И сердце исторгнув живое, возносит богам каннибал...
И громче, в неистовом вое, бьет систр и бряцает кимвал...
Как облако, душный и хмарный, от крови сгущается смрад...
Вот матери в пламень алтарный ввергают возлюбленных чад!

И, словно плитою могильной, ложатся, подавлены, ниц...
Взвивается пламень бессильный над смутой мерцающих лиц...
Одна ты в зарях неопальных — младенцы у персей легли —
Из персей, из древле-страдальных, льешь сок изобильной
Земли, —

Родимая! заповедная купина в алканьях огня!
Таинница Духа земная! — и ты осенила меня...
Стремила ты к небу родному объятья и гаснущий взор:
К далекому небу ночному объятья тоски я простер —

Тоски мироносные крыла, — и видел, тобою прозрев:
Тень горняя долу парила, объятья Земле простерев...
О сладко-текучие муки! Мне в ноги вонзайтесь, лучи!
Пронзайте отверстые руки! Терзайте, святые мечи!

Ты грудь из таинственной груди рази, огневая струя!
О, люди! о, братья! о, люди!.. О, в ребра удар копия!..
Продлитесь, блаженные боли! Алейте, живые ручьи!..
Один ли я в черной юдоли?.. «Я здесь»... Элои?! Элои?!

О Смерть! вот глубинные зевы, вот кладязи плена твои!
Там — дикие, чуждые ревы!.. Один я, один... Элои?!
«Я здесь»... Там — победные песни? Так Ад победитель?.. Не ты?!..
«"Воскресни! Адонис, воскресни!"....»
И спала завеса мечты.

Сиял мне в ночи звездоокой колоннами вечными храм,
Я бога искал, одинокий, — и бога не видел я там.
Лишь тени беззвучно кружили вкруг чар огневых алтаря,
Да звезды заочно служили, над кровлей отверстой горя[11].

Конверт с адресом: Ее Высокоблагородию Лидии Дмитриевне Ивановой. Почт. ст. *Копорье С. Петербург. губ.* Штемпели: С. Петербург. 23 июн. 1900 — Копорье. 24.VI.1900.

[1] Имеются в виду дети Л.Д. Костя и Вера. Иванов называет их так по имени английской школы (Craigmore), где они в то время учились. Об устройстве детей Иванов сообщает в письме от 17/4 мая 1900 М.М. Замятниной так: «Детей мы устроили: "Крэгморцев" в Craigmore (школа), Сережу в интеллигентную и дружественную с нашим приятелем — Сережиным директором — семью, состоящую из 1) вдовы скульптора и писателя, 2) дочери-скрипачки и 3) молодого учителя Сережиной школы. Лидию же с Олей в семье Meikleham, где они уже обжились. Как ни велико доверие ко всем этим друзьям и покровителям, все же оставлять детей страшно, и необходимо будет спешить назад» [См.: Интермедия (III)].

[2] Речь идет о письме от 1 июля (н. ст.) 1900. См.: Переписка с Гольштейн. С. 346—348. Далее Иванов точно цитирует его.

[3] Кустарный отдел — видимо, часть русской экспозиции на Всемирной парижской выставке. В точности об обстоятельствах этих событий мы не знаем.

[4] П. 329.

[5] <Находящиеся> всегда в становлении (*нем.*).

[6] Стихотворение «Океаниды» в окончательном варианте входит в первый раздел «Кормчих звезд» — «Порыв и грани» (I, 526—527).

[7] Упадку (*фр.*).

[8] Речь идет о событиях (т.н. «боксерском восстании») в Китае: 1 июня (ст. ст.) 1900 г. ихэтуанями была сожжена русская православная миссия в Бэйгуане. С 10 июня начались массовые убийства китайцев-христиан в Пекине.

[9] Ю.А. Беляевская.

[10] О, Адонис (*греч.*). Пословный перевод: звательная частица «О», артикль и имя «Адонис» в винительном падеже. В окончательном варианте стихотворения, опубликованном в сборнике «Кормчие звезды», эпиграф отсутствует.

[11] Стихотворение без эпиграфа и с некоторыми разночтениями вошло в «Кормчие звезды» (I, 540—542). Под текстом стихотворения имеются две карандашные приписки: «Целую девочку, Бог с тобой! За письмо благодарю, за грустно-радостное: на тебя полагаюсь во всем. Твой В.»; «М<аруся> говорит, что ее письмо к тебе пропало, написанное накануне злого, с адресом Сестрорецким (Приморская ул. дача Николая Матвеева)».

## 332. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *24 июня / 7 июля 1900. Копорье*

*24 Июня 1900*

Если успеешь в Понедельник, Славенька, то по дороге на вокзал заезжай на Морскую к *Юргенсону*[1] и купи по списку эти ноты или еще иные, если вспомнишь, и *Бетховена* романс Clärchen[2]. Здесь умоляют петь, жаждут пения и *хорошей* музыки....

Саша советует ехать поездом с Балт<ийского> вокзала в *12.40* на ***Новый*** Петергоф. Он говорит, что в эти часы легче всего най-

ти лошадей. Я советую прямо с вокзала нанять легкового извощика до Порушек, потому что *Новый* Петерг<оф> *ближе* к Порушкам, чем *Старый* Петерг<оф> (где пристань и где *почтовая станция*). Значит, надо или из Нового Петерг<офа> нанимать извощик<а> в Старый Петерг<оф> на *почт<овую> станцию* и со *станции* делать лишние две, три версты, или прямо того же извощика в Порушки.

Скоро... скоро...

Лидия.

Написано на бумаге с гербом.

[1] Имеется в виду нотный магазин фирмы Иосифа Ивановича Юргенсона (1829—1910) по адресу: Б. Морская, 9.

[2] Песня Клархен из «Эгмонта» Бетховена (ор. 84).

## 333. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*24 июня / 7 июля 1900. Копорье*

*Суббота*

Милый Славенька.

27-ого мамино рождение. Около этого срока должен быть ответ от Гольштейнов: если дети *не* приедут, мне надо уезжать 30-го или 1-го Июля в Петерб<ург> и затем дальше прямо к базару. Если дети приедут, то я тоже могу приехать на недельку к тебе, т.к. здесь будет гостить тетя Надя, и я отдохну с тобою и Марусенькой.

В том и в другом случае ты можешь приехать сюда, чтобы навестить маму, тебя ждущую и говорящую часто о твоем обещании приехать. Конечно, и к ее празднику. И так как это совпадает с твоим желанием, приезжай. Но купи у Робинсона (кажется, так), это большая шекол<адная> фабрика на углу Набережной и 5-й или 3-й линии (увидишь)[1], по 1 ф<унту> шеколаду-миньон, т.е. смешанного со сливками, мягкого, и по 1 фунту *тянушек* для мамы и для Auntie[2]. Также возьми третий фунт шеколаду миньон для Лизы.

Второе дело: дай точные и строгие распоряжении *швейцару* об *немедленной* пересылке писем сюда на оба наши имена <так!> и дай ему *хороший* на чай.

Если ты не соберешься 26-ого, выезжай пораньше 27-ого. Лучше в Петергофе брать извощика *на почту* и оттуда нанимать

почтовым на Порошки: это скорее.

Ничего не пишу. Орла <?>[3] еще не читала. Спешу: боюсь. Маша горбатая, и Матрена, долговский друг, и мама брошена мною. Бегу. Целую.

Твоя Лидия.

Скоро... скоро...

Конверт со штемпелями: Копорье. 25.VI.1900 — С. Петербург 15.VI.1900.

[1] Имеется в виду магазин шоколадной фирмы «Блигкен и Робинсон» (угол 5-й линии Васильевского острова и Университетской наб.).

[2] Тетеньки (*англ.*).

[3] Возможно, имеется в виду новелла Г. де Мопассана «Орля» (1887).

## 334. Иванов — Зиновьевой-Аннибал

*25 июня / 8 июля 1900. Петербург*

*Воскресенье*

Лучше ли списаться или самому ехать завтра, как вы «советуете»? Кажется, что предпочту последнее *. В этом случае, конечно, будет от меня телеграмма. Пишу на всякий случай, а также чтобы дело яснее формулировалось, и чтобы ты могла [во всяком случае] размыслить до моего приезда. Раз твой план пал с отказом А<ександры> В<асильевны>[1], то остается или 1) отказаться от приезда детей сюда, или 2) мне поехать за ними, или, наконец 3) прибегнуть к помощи Маруси: если она получит в Париже или Лондоне нужный документ, то привезет L. (и в награду увидит выставку)[2] — О<ля> с Комп<анией> может отправиться самостоятельно, — если же не получит, то проживет до моего или нашего приезда с L. где-нибудь в хорошем месте, а О<ля> с Комп<анией> приедет во всяком случае. M. sarà anche incaricata di farla battezare; forse il prete è a Ginevra adesso[3]. А без расхода на проезд и возвращение одного человека все равно не обойдешься, разве только отказавшись от приезда детей. Favorevole sarebbe che L. facesse il viaggio separatemente dagli altri bambini; preferirei anche che non venisse a Копорье; e questo sarebbe possible se andasse Marussia[4].

* А пожалуй что и нет, п<отому> ч<то> дело стоит ясно, как материал для твоего решения, и лучше подождать здесь, чтобы сообразно с последним действовать так или иначе. После телегр<аммы> напиши подробное и толковое письмо с мотивами. — Я не отвечал на твою депешу депешей, п<отому> ч<то> не знал, еду или нет в Понедельник. (*Прим. Иванова.*)

Вот и решай, и если утром не будет от меня телеграммы, что приеду сам, — телеграфируй по получении этого письма, избираешь ли ты 1-ый план (отказ от приезда детей), 2-ой (чтобы я ехал) или 3-ий (Маруся). Других возможностей, кажется, нет. — М<аруся> завтра хотела приехать из Сестрорецка. —

Я в тоске и угнетении духа от страшных событий в Китае[5]. —

Советуешь ли ждать разговора А. В. с Пантелеевым[6]? Не разумно ли это — особенно ввиду неоконченности рукописи? Изящность издания на собственный счет будет заменена — красотою издателя! — Целую нежно мою радость.

Твой В.

Напиши.

На письма, особенно Верушки, много радуюсь — медовая детка, как и язык ее... Но не хочу видеть ее «tub»[7] без тебя!

Конверт с тем же адресом, что и к п. 326. Штемпели: С. Петербург. 25 июн. 1900 — Копорье. 26.VI.1900.

[1] К письму приложена копия (рукой Иванова) письма А.В. Гольштейн к Зиновьевой-Аннибал, которую приводим:

*Копия.*

3 Июля. Дорогая Л. Просьбы Вашей исполнить не могу и пробовать не хочу, п<отому> ч<то> считаю, что это опасная игра для Вас. Основное правило всякого поведения в этом направлении — не наводить никаких *справок*, а прямо *требовать* известных вещей. Требовать же может один человек власть имеющий (В<ячеслав>) и тот, кто должен *везти*. По-моему, надо, чтобы В<ячеслав> приехал и чтобы поговорили и устроили, ибо О<ля>, которая *могла бы* (по-моему) это сделать, это сделать не сумеет. Рассказывать же разные разности, о которых Вы пишете, не намерена, особенно ввиду того обстоятельства, о котором писала Вам весною, когда у меня была Анюта. Не стоит огород городить, чтобы одним махом все уничтожить. Будь у меня в том месте личные друзья, я бы это сделала, но так идти и болтать не считаю возможным. Это пишу от себя, но посоветуюсь с кем-нибудь из Французов. Вы понимаете, что если бы это было так просто, то всякий мог бы беззащитное существо обидеть. Естественные покровители есть, и помимо их формально выраженной воли, притом выраженной осязательно, мне кажется, сделать ничего нельзя. Повторяю, справлюсь у Французов. Надеюсь, что Вы меня понимаете.

Очень была бы рада видеть В. И., если бы он вздумал приехать еще раз посмотреть на выставку, если же он не приедет и если он еще продолжает желать издать свой сборник у Пантелеева, то пусть напишет обстоятельно, что я должна предлагать Пант<елееву>, я уже забыла его условия, п<отому> ч<то> о них было говорено вскользь.

Очень радуюсь Вашим вестям о Соф<ье> Ал<ександровне> и надеюсь, что здоровье ее поправится окончательно. Сегодня Ука выдержал вторую половину своего бакалаврского экзамена. C'est fini, среднее образование. Какое счастье! Правда? У нас все благополучно. Крепко Вас, моя милая, целую, и милую Вашу мамашу также. Ваша А. Г. (по оригиналу фрагмент этого письма опубликован: «Обнимаю вас...» С. 169—

170). *Ука* — сын А.В. и В.А. Гольштейнов (ок. 1884 — ок. 1971), юрист. *C'est fini* — окончено (*фр.*).

[2] Как следует из сохранившихся писем Замятниной к Ивановым, был принят именно этот вариант: 7/20 июля она писала Иванову в Киев из Вержболова по дороге за границу; 13/25 июля — ему же о своих впечатлениях от парижской Всемирной выставки, а 20—21 июля / 2—3 августа — о возвращении вместе с детьми морским путем (РГБ. Ф. 109. Карт. 19. Ед. хр. 16). Приведем фрагмент из ее письма к Зиновьевой-Аннибал от 11/24 июля, говорящий о том, какие усилия предпринимала она для организации крещения маленькой Лидии: «Ничего не вышло у греческ<ого> свящ<енника> в Париже. Наотрез отказался. Говорит: раз, где есть русская церковь, там нельзя крестить в греческой русскому вообще, непременно будет неприятность, т.к. русский священн<ик> узнает, а не узнать не может, и рассердится, что путается в чужое дело. Сначала предположил, что могут окрестить в Марсели или Лейпциге, т.к. это единствен<ные> города, в кот<орых> нет русских церквей; но затем заявил, что и там навряд ли запишут от известного отца и неизвестной матери, что и греческая церковь требует имя матери или уже записывает к<а>к "enfant trouvé", т.е. неизвестных родителей. Иначе будто и метрическое может счесться недействительным. Это он, конечно, уж совсем городит. Бумаг я ему, конечно, не показывала и имени отца не называла. Только свою карточку должна была ему послать, т.к. иначе не могла добиться аудиенции <...> Так уж досадно, что ничего не вышло. Верно в Лондоне-то уж, конечно, не удастся. Указывал священник обраться <так!> в греко-униатскую церковь, уверяя, что обряды там те же и что будет почти что то же, что и православная, а что они может <так!> и окрестить» (РГБ. Ф. 109. Карт. 19. Ед. хр. 49. Л. 10 и об.).

[3] М<аруся> также будет уполномочена крестить ее; возможно, священник сейчас в Женеве (*ит.*).

[4] Было бы выгодно, если бы Л. поехала отдельно от других детей; я бы предпочел также, чтобы она не приезжала в Копорье; и это возможно, если Маруся приедет (*ит.*).

[5] См. п. 331, прим. 8.

[6] Лонгин Федорович Пантелеев (1840—1919) — издатель и общественный деятель, мемуарист. История заочных отношений Иванова с ним восстанавливается по переписке Ивановых и М.М. Замятниной с Гольштейн. 13 июня Иванов написал ей: «Пантелеева я уже не застал в Петербурге: он уехал на лето в Вологду. Вступать в переписку с ним я не решился: если я лично мог быть "вашим письмом", то мое письмо было бы плохой заменой Вашего» (Переписка с Гольштейн. С. 345). 1 июля Гольштейн написала ему: «Пантелеева я, вероятно, увижу в течение августа в Париже и поговорю с ним» (Там же. С. 347). Эта беседа состоялась, и Гольштейн вынесла впечатление, что Пантелеев готов издавать «Кормчие звезды», о чем она сообщала М.М. Замятниной (полностью письмо — «Обнимаю вас и матерински благословляю...» С. 171; частично — Переписка с Гольштейн. С. 349) и Зиновьевой-Аннибал (см. выше, прим. 1). Однако 20 августа / 2 сентября Иванов написал ей: «Только что узнал из письма Вашего к М.М. Замятниной о Вашем разговоре с Пантелеевым, был поистине тронут Вашим вниманием и помощью и сердечно благодарю Вас! Но книга уже с месяц как печатается в типографии Суворина — простите великодушно, что не предупредил Вас своевременно, вижу ясно неправильность своего поступка! Думаю, что Пантелеев пожелал бы рассмотреть мой сборник и — не остался бы им доволен по разным причинам. Как бы то ни было — дело сделано» (Там же. С. 349; «Обнимаю вас и матерински благословляю...» С. 170).

[1] Из контекста не очень понятно, что имеется в виду: tub (англ.) — таз, корыто и т.п., а также, если глагол, — мыться. Три письма Веры к Иванову (РГБ. Ф. 109. Карт. 37. Ед. хр. 2) и 12 к Л.Д. (РГБ. Ф. 109. Карт. 37. Ед. хр. 22) из Крэгмор-колледж сохранились, но они не помогают понять смысл. Приведем одно из ее писем к Л.Д., пересланное Иванову с припиской (орфография и пунктуация сохранены):

Я хочу пойти в Hat trimming и Pencil sharpning, надо для каждого протить <?> 6 d. И тоже Костя хотел пойти на Washing.

Теперь мама я должна тебя спросить самом главном. Сколка денег ты даш нам. Я думою так мне 1 shilling для «Pencil sharpning» и «Hat trimming» и shilling чтобы покупать разные вещи а Кости 6d для «Washing» и 6d чтоба покупать что хочет.

Пожалоста *пришли* 1 куклы котороя бы была росту моей маленкой куклы в ***русском сарафани*** и 2 или три очень малеких для <2 нрзб>.

В Соеду мы поехали по реке только девочки. А в суботу так что был матч девочки и те мальчики которои не пошли на матч тоже поехали. Мы поехали в Henley. Река очень очень красива. Она полна «House boats» и многие из них очень красивы. Ну прощай дорогая мама. Сережа не приехал и я не хотела пойти с Костей гулять а осталась писать это писмо и читать.

Фотографии нету ближи Reading. Mrs. Ralph сказала что она об этом поговорит с Dr. Ralph. Целую тебя еще раз и

Остаюсь любящая тебя твоя

Вера.

Дорогой Славенька, прочитай внимательно письмо этой ангельской девочки и порадуйся и еще перечитай. Что в нем такого чарующего? Прочитай также любовно потешное послание этого дурачка. Вот смех. И если ты грустен, развеселись. Я очень надеюсь, что дело с детьми устроится. Мама сегодня, молясь, говорила: «Дай Бог мне умереть, пока ты здесь», и плакала. Ты здесь всем понравился: «добрые глаза». Лиза и Елена. «Милый и порядочный человек, и всем понравился», — слова мамы в письме к своей сестре. Целую милого и порядочного с добрыми глазами.

Лидия.

РГБ. Ф. 109. Карт. 37. Ед. хр. 22. Л. 58—59 об.

Существует также черновик письма:

Воскресенье.

Вот и сижу в нерешительности, не зная, лучше ли списаться или завтра самому ехать. Кажется, однако, что предпочту последнее *. Пишу на всякий случай, и чтобы дело формулировалось яснее, и чтобы ты обдумала до моего приезда. Раз пал план выписки детей без нашего участия, остается или отказаться от их приезда сюда, или ехать мне, чтобы выцарапать L. Как решишь, так и сделаем. Можно еще послать Марусю: если она получит в Париже документ, то посмотрит выставку и привезет Л. (может и в Лондон за ней съездить); а если не получит, то проживет с ней где-нибудь в хорошем месте, в горах, до моего или нашего приезда, а старшие дети с О<лей> приедут. M. sarà anche incaricata di farla battezare; noi daremmo idiretti come padrini; forse il prete è a Ginevra adesso[1]. Без расхода на путешествие ведь все равно не обойдешься. Вот и решай. По получении этого письма, телеграфируй мне, выбираешь ли ты 1-ый (чтобы *я* ехал за L.), 2-ой (чтобы детей *не* привозить) или 3-ий (Маруся) план действий. Еще, кажется, никаких возможностей не остается.

---

Я в тоске и унынии от событий в Китае.

---

Советуешь ли ты не начинать печатания до разговора АВ с Пантелеевым? Не

---

* В таком случае, конечно, будет от меня телеграмма. (*Прим. Иванова.*)

разумно ли это — особенно ввиду неоконченности текста? Изящно он не издаст, но красиво и, б<ыть> м<ожет>, выгодно (?) иметь издателя. — Твой В.

[1] М. будет уполномочена крестить ее. Мы ей дадим права как крестные родители. Может быть священник теперь в Женеве (*ит.*).

## 335. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*26 июня / 9 июля 1900. Копорье*

Жду завтра старайся приехать днем

Телеграмма с пометой: 26.6.1900.

Внизу чернилами приписано рукой Иванова:

Это ответ на след<ующую> телеграмму:

«Жду подробной телеграммы на вчерашнее письмо. Пожалей здоровье, силы. Нужно ли петь? Пение просто опасно <1 нрзб>*. Завтра выезжая телеграфирую. Вяч.»

## 336. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*28 июня / 11 июля 1900. Петербург*

Выехал — десять

Телеграмма с пометой: 28/VI 10 ч. 46 м.

## 337. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*28 июня / 11 июля 1900. Петергоф*

Еду

Телеграмма с пометой: 28/VI 10 ч. 57 м.

## 338. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*Конец июля — начало августа (?) 1900, Копорье*

*Пятница*

Дорогой Вячеслав,

Вчера писать было невозможно: здесь еще невестка Лизы с сыном и решительно невозможно было посылать

* Порван лист.

кого-либо на почту. Милый мальчик, здесь тебя все ждали, и Лиза отнеслась очень внимательно к потере бумаг и несколько раз спрашивала, когда же ты приедешь. Вообще впечатление такое, что не обиделись на тебя *только потому*, что есть действительная причина твоему отсутствию — это одно, а другое вот какое: здесь Лиза устроила нам очаровательное гнездышко, где нам будет очень недурно, и тихо, и самостоятельно. Утром все заняты своим делом, и ты можешь до завтрака не появляться, в сущности, даже до чаю. Воздух небесной чистоты. На детей смотреть истинная радость: они счастливы, и вся их ватага дает ощущение жизни и надежды. Вообще мой завет таков: 1) если пропавшие документы не потребуют твоего пребывания около Петербурга и 2) если твоя работа не требует абсолютно библиотеки и 3) если ты того желаешь — приезжай, как только удобно тебе, в Копорье. Но, впрочем, если ты окажешься в «настроении», и ехать тебе не захочется — то не нудь себя. — Дети — в восторге: день сегодня проходит в одной смене наслаждения за другой. Сережа, конечно, «пришел, увидел, победил». Всем очень нравится, всех уже увлек крикетом, премило преподавал его: спокойно, с большим достоинством, то одобряя, то ободряя. Вера то с большими, то с возится с <так!> малышами. Козлик начал было уже вчера шалить и драться кулаками, но тотчас был мною запуган, и сегодня старается, и весь день строит чарующие гримасы. Кажется, все ими довольны, и они всеми. Я дышу полными легкими. Закат невиданной красоты по оттенкам неба и туч. Служит мне проворно и ласково Настя. Сегодня имела кофе в постели, и когда встала — то еще второй раз. Аппетит у меня огромный. Дети поддерживают настроение. Но работать, конечно, не смогу. Тошнит меньше — верно, от воздуха. Мама была страшно рада: она ласкова и сияет. Когда я сказала, что ты очень крепко целуешь ей руки, она сделала жарко-умильное лицо и просила тебя также крепко поцеловать. Теперь до свидания. Будь умник и помни прежде всего: что я затоскую смертельно, если ты не будешь на воздухе.

Каждою мыслью с тобою.

Твоя Лидия.

## 339. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*1/14 августа 1900. Копорье*

*1 Сент. 1900*[1]

Дорогой друг,

Не получила еще *ни одного* письма от тебя и, конечно, очень тревожусь. Маруся написала[2], что еще в Воскр<есенье> ты был в городе и что у тебя болели зубы. Это ужасно грустно. Только что прочитала о том, что Владимир Сергеевич покинул нас в этой жизни[3]. Где он? Где этот человек, которому я только что глядела радостно и любяще в глаза? Еще тише, еще покорнее моя душа. Не надо резкой тоски перед этою новою тайной, хотя я плачу и не могу иначе. Вижу его живым, добрым передо мною...

Здесь всё по-старому. Мальчики *очень* счастливы. Вера не вполне, потому что ей скучно целыми часами играть в крикет, и она приходит ко мне, нежится, тихо толкует вдумчиво обо всем. Сегодня сидела с какой-то работой около Насти на галлереи <так!> во флигеле и разговаривала с горбуньей Машей. Она, как всегда, одинока и ближе всего со мною. Очень спешу. С трудом нахожу время для письма, потому что силы плохи, сам знаешь. Очень тяжела уж жизнь и очень тело тяготит. Сладко умиратъ в молодости, думаю.

Будь мужествен и «иди». Спасибо другу хорошему. Тебя целую и ее.

Лидия.

Конверт с адресом: Ее высокоблагородию Марии Михайловне Замятниной. Приморская ул. Дача Матвеева. Сестрорецк. Штемпели: Копорье. 2.VIII.1900 — Петергоф. 2.VIII.1900 — Сестрорецк. 3.VIII.1900.

[1] Явная описка автора письма.

[2] См. письмо Замятниной из Сестрорецка от 30 Июня: «Вчера весь день искала Вячеславу комнату и только к вечеру нашла и послала ему телеграмму, чтобы он переезжал непременно сегодня, но вместо него получила от него лишь телеграмму, что у него болят зубы и что он приедет завтра. <...> Не знаю, к<а>к ему понравится комната, в местности она хорошей, во втором этаже, в улице среди сосен. Если будет удобна, так по крайней мере в приезды из Копорья может жить в ней, а не в Петербурге. Кругом все сосновый лес и море недалеко сравнительно» (РГБ. Ф. 109. Карт. 19. Ед. хр. 49. Л. 12 и об.).

[3] Автор специальной документированной работы утверждал: «Соловьев скончался 31 июля 1900, в 9 часов утра. Однако только через день, 2 августа, в московской газете "Новости Дня" (№ 6177. С. 2—3), наиболее оперативно подававшей ин-

формацию о городской жизни, появляется сообщение о смерти философа...» (*Межуев Борис.* К проблеме поздней «Эстетики» В.С. Соловьева: Опыт чтения газетных некрологов // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 1998 год. М., 1998; в примечании есть также отсылка к хронике газеты «Курьер» от 1 августа). На самом деле о смерти Соловьева петербуржцам сообщила газета «Новое время» ([Б.п.] Памяти В.С. Соловьева // Новое время. 1900. 1 (14) августа). Нет сомнений, что Зиновьева-Аннибал узнала о смерти философа именно из этого сообщения.

## 340. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*2—3 / 15—16 августа 1900. Сестрорецк*

*Сестрорецк, 2 Авг. Среда.*

Дорогая радость! В первый раз пишу тебе, но знал, что ты не беспокоишься, п<отому> ч<то> пишет Маруся[1], и знал о тебе доброе. Я только с сегодняшнего дня здесь. Простудился и в воскресенье, особенно ночью на понедельник, был болен: зубы болели, голова, жар был, лихорадило очень. Худо было до крайности. В понедельник хлопотал, но к вечеру опять был нездоров. Зубы и теперь не прошли еще. Хотел ехать во вторник, но увидел в газетах то, что со страхом искал каждый день, после известия, что улучшения в здоровьи Вл<адимира> С<оловьева> нет[2]; — и вчерашний день был мне днем скорби[3]. А ты узнала, вероятно, о смерти его вчера к вечеру[4]. Я поплелся в библиотеку, чтобы где-нибудь быть, и случайно встретил там Радлова[5], которого хотел видеть столько раз и не мог; и вчера утром я хотел не ехать еще в Сестрорецк, чтобы увидеться с ним и спросить, нет ли у него вестей. Но он и не имел их. Он был огорчен и говорил, как много значит эта потеря для русской *жизни*. Он видел пред вестью о болезни о нем сон, что его выносят в корчах из экипажа и он умирает; и в тот же день в газетах появилась первая весть о его болезни[6]. Я дал ему свой адрес, прося известить, если будет что-нибудь предпринято почитателями; он просил известить об окончательном адресе из-за границы[7]. Вернувшись поздно домой, я захотел иметь какое-нибудь слово от Вл. С. и потому взял подаренную им книжку его стихов. И я прочел:

«Ярче светлого сна, *на яву*,
Вся долина в сияньи лежит.
Никого, никого я с собой не зову»[8].

Было 9 часов, ровно сутки после его смерти. — Мы все неиз-

меримо много потеряли этою смертью; но он, м<ожет> б<ыть>, приобрел*. «Желанное сбудется скоро»[9], — говорил он, и оно сбылось наконец. Он, «еще невольник суетному миру»[10], постоянно говорил о смерти с предчувствием и светлым нетерпеливым порывом. Такая чистота, возвышенность и праведность души мирит со смертью. Она — уже только венец, осияние, законченность, запечатление... Вера является, что [ему] *там* («на яву») хорошо, светло... Завтра мы с Марусей думаем съездить в Петербург на панихиду, назначенную во Владимирской церкви, в 1 ч<ас> дня[11]. Завтра его в Москве хоронят[12]. —

Я был встречен здесь М<арусей> и — случайно — Беляевскими. Вечером был у них. Настя — прелестная малютка[13]. М<аруся> подыскала мне чудеснейшую светелку, очень удобную, отдельную, хорошо обставленную, из *двух* разгороженных комнаток. Кругом все сосны и сосны, и песок зыбучий, и совсем близко за лесом море шумит.

Дай Бог, чтобы тебе было хорошо. Поцелуй деток. Поклонись и приветствуй сердечно. Паспорт уже заготовляется. Я думаю (*в эту минуту*!): мне будет полезно прожить здесь несколько времени для работы. Нужно, чтобы библиот<ека> была на случай под рукой и также некоторое уединение сердца, так сказать, и уединение рабочей комнаты. Корректур еще нет. Хотели послать сегодня — уже сюда — и говорят, что набрали *все*. Прошу о безотлагательном отчете о прилагаемых новых стихах: первое для «Райской Матери»[14], второе для «Lethaea»[15].

*Под древом кипарисным.*

Как под деревом под кипарисным
Алые цветики расцветали.
«Не прети же ты, мати, мне младу
Алые цветики собирати,
Красные веночки соплетати,
Древо кипарисно украшати».
«“Ты нарви, нарви матери, чадо,
Набери мне семь цветиков алых,
Положи мне на самое сердце!

* Хотя слава его и возросла бы до огромности, п<отому> ч<то> он оторван был от наполовину только пройденной борозды. (*Прим. Иванова.*)

Не семь цветиков алых на сердце —
Семь точатся капель алой крови
Из груди, седмижды прободенной"»[16].

? <знак Иванова> Вариант: Под тем ли под древом [под] кипарисным[17].

В стих<отворении> «Пробуждение» придется напечатать:

Гнет ветр неудержимый
? *Мачты* упорные,
И, мерная, в небе высоком,
От созвездья ходит
До созвездья *щогла**[18].

*Снасти* не гнутся (веревки). «Щогла» — как раз верхушка мачты, флагшток. Слово хорошее, старин<ное>.

Верь тому, что сердце скажет:
Нет залогов от небес.
*Жуковский (по Шиллеру)*
Wenn er dich ahnet, folgt er nach.
*Faust II*[19]

По бледным пажитям забвения —
Откуда, странники? куда?..
[Святые] Родные вейте дуновения!
[Блистай] [Светлей] Блистай, невставшая звезда!

Пасомы Целями родимыми,
К ним с трепетом влечемся мы —
И, как под солнцами незримыми,
Навстречу им цветем из тьмы.

Беззвучно-плещущими Летами
Бог разградил свои миры;
Но сердца вещими приметами
Хранимы вечные дары.

* Возле строк этого пятистишия на полях поставлен Ивановым вопросительный знак.

Кто знал тебя, о челн отчаянья, —
Тому пророчила любовь:
«Я вновь твоя на бреге чаянья, —
Тобой угаданная вновь!»[20]

Писал эти стихи с вечера и утром пред известием о смерти Вл<адимира> С<оловьева>. — Не решаюсь печатать *старых* своих стихов. Что ни делай с ними, они отделяются по стилю и вредят единству. Целую мою девочку и деточку и <1 нрзб>.

Спасибо Верушке дорогой.

Важный вопрос: не кажется ли тебе, что прилично посвятить «Стих о святой Горе» «памяти Вл. Соловьева»?[21]

Утром Четверг: к вам тянет уже очень, но не думаю, чтобы там с работой хорошо наладилось, как ни уютно, п<отому> ч<то> общество перестраивает каждую минуту душу на другой лад.

«Многобожие» — *окончить* оказалось невозможным! Да и если оно остановилось тогда, это тоже, м<ожет> б<ыть>, знак, что оно уже окончено. Мне кажется, что оно окончено. Но поставил в конце точку. И заглавие переменил: «*Земля*». О многобожии там и нет, а только <?> о Земле. И последний стих будет такой: «Древний прозябнул тирс любви....»[22] Обо всем сообщаемом ожидается резолюция. Целую детку любимую В.

На полях письма дважды Иванов написал свой сестрорецкий адрес: «Большая Канонерская ул. дом Мансурова (№ 22)».

[1] См. п. 339, прим. 2.

[2] Насколько нам удалось установить, первое известие о болезни Соловьева из петербургских газет напечатали «Биржевые ведомости»: «Прибывший на днях в Москву из Петербурга известный философ и публицист Вл. С. Соловьев при поездке к профессору московского университета С.Н. Трубецкому, живущему в 15 верстах от Москвы, сильно захворал. В квартиру кн. С.Н. Трубецкого Вл. С. Соловьев был перенесен на руках. Сознавая всю опасность своего положения, больной потребовал к себе священника, который исповедал и причастил его св. Таин» (1900. 24 июля). Следующее хроникальное сообщение этой газеты появилось на следующий день. Иванов, вероятно, имеет в виду хронику газеты от 29 августа: «Здоровье В.С. Соловьева, как сообщают московские газеты, без изменений». Помимо некролога в «Новом времени», о котором см. п. 339, прим. 3, Иванов также мог прочитать только что появившиеся заметки: *Б.Б.* Вечная память! Вечная слава! // Биржевые ведомости. 1900. 2 (15) августа; *И.* † Владимира С. Соловьева // Там же.

[3] См. п. 339, прим. 3.

[4] См. п. 339.

[5] См. п. 318, прим. 3.

[6] См. выше, прим. 2.

[7] О таком предприятии нам ничего не известно.

[8] Из стихотворения Вл. Соловьева «Лунная ночь в Шотландии» (1893), написанного на смерть гр. Ф.Л. Соллогуба.

[9] Иванов цитирует неточно: «...нежданное сбудется скоро» — последние слова стихотворения «Сон наяву» (1895).

[10] Из поэмы Вл. Соловьева «Три свидания» (1898).

[11] См. в хронике: «По желанию членов Литературного общества, 3-го августа во Владимирском соборе была отслужена панихида по В.С. Соловьеву, погребение которого в Москве происходило в этот день. Молящихся было не очень много. Присутствовали: П.П. Гнедич, П.И. Вейнберг, А.А. Луговой, С.А. Венгеров, И.И. Ясинский, директор публичной библиотеки ген.-лейт. Шильдер, Д.Л. Михаловский, А.Ф. Кони и несколько дам-писательниц» (Новое время. 1900. 4 (17) августа). Описание панихиды см. также: *Фидлер Ф.Ф.* Из мира литераторов: Характеры и осуждения. М., 2008. С. 309. Из «дам-писательниц» Фидлером названы О.Н. Чюмина и Ю.М. Загуляева.

[12] О дате похорон Иванов мог узнать из хроники газеты «Биржевые ведомости» за этот день.

[13] По всей видимости, дочь О.А. Беляевской, рано скончавшаяся.

[14] Раздел книги «Кормчие звезды», куда стихотворение и вошло.

[15] В окончательной редакции «Кормчих звезд» раздел озаглавлен «Цветы сумерек».

[16] См.: I, 555, с единственным разночтением (см. следующее примечание) и с выделением слов «ты», «мать», «чадо» и производных от них прописными буквами в начале.

[17] В окончательный текст вошел именно этот вариант.

[18] Этот вариант соответствует окончательной редакции стихотворения.

[19] «Когда он тебя почует, он пойдет за тобой» (*нем.*). Цитата из второй части «Фауста» (строка 12 095). В пер. Б.Л. Пастернака: «Объятый / Догадкой, двинется он вслед».

[20] Под заглавием «Вечные дары», без второго эпиграфа и с разночтениями в первой строфе вошло в раздел «Цветы сумерек» «Кормчих звезд».

[21] Стихотворение памяти Соловьева посвящено не было, однако было снабжено эпиграфом: «Трудна работа Господня. *Слова Вл. Соловьева на смертном одре*» (1, 420). 21 августа 1901 Зиновьева-Аннибал просила М.М. Замятнину прислать номер журнала «Вестник Европы» (1900, № 9) со статьей С.Н. Трубецкого «Смерть В.С. Соловьева», где приводятся эти слова.

[22] Стихотворение (действительно названное «Земля»), очевидно, было решительно переделано. Приведенному Ивановым стиху соответствует ст. 4 окончательной редакции: «Древней любви расцветший тирс!» (I, 550—551).

## 341. Зиновьева-Аннибал — Иванову
### *4/17 августа 1900. Копорье*

*4 Авг. 1900.*

Дорогой Слава, где же твои письма? Вот 9 дней, и ни одного. Hier je suis emballée[1], и вся сдавленная тревога вырвалась. Я сегод-

ня совсем больна. К чему же эти мучения. Успокоилась после твоей депеши и жду разъяснений в письме. Здесь ты был бы очень полезен, т.к. дети по утрам должны бы иметь русск<ие> уроки. С французскими *нельзя* устроиться, и утром дети без дела, т.к. с Субботы Митя начнет свои уроки. Здесь тихо и хорошо на квартире, да и время идет. Уже 23 или 25 надо уезжать. Костю надо показать хирургу.

Мамочка вот что говорит: Целует тебя и зовет тебя отдохнуть сюда и хочет еще тебя повидать хорошенько. — Вот ее собств<енные> слова.

Закрытка с адресом: Его Высокородию Вячеславу Ивановичу Иванову. Большая Каноперская у<лица> 22, Мансурова. Сестрорецк. Штемпели: Копорье. 5.VIII.1900 — С. Петербург. 5.VIII.1900 — Сестрорецк. 6.VIII.1900

[1] Вчера я погорячилась (*фр.*).

## 342. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*4/17 августа 1900. Сестрорецк*

*Пятница, на почте, 1 ч. дня.*

Дорогая радость! Еще получена твоя телеграмма[1] (через Ю<лию> А<лександровну>[2]), но ты теперь уже имеешь мою: all right[3]. Вчерашняя твоя была получена по закрытии телеграфа, когда мы с Мар<усей> вернулись вместе из Петерб<урга>, где были на панихиде по Вл<адимиру> С<оловьеву>, и потом я был в библиотеке и получил новый паспорт, хорошо составленный (только ты, к твоей, вероятно, радости, названа Л. Д., урожд. З<иновьева>, без упоминания Шв<арсалона>, что́, пожалуй, невыгодно ввиду детей? Но, впрочем, я имею удостоверение губернатора о консульской надписи в Неаполе...). Я очень боюсь, что ты беспокоилась. Прости, пожалуйста, что не писал долго из нежелания тревожить тебя известием, что я еще в городе и притом нездоров. Я теперь здоров, и мне очень удобно и уютно в чудесной светелке (большой, одно окно на улицу, другое на рощицу двора. Кругом все лес, все сосны. Воздух чудесный). Поцелуй крепко Верушку дорогую и сумасшедших крикетистов. Корректур все еще нет. Ответь на вчерашнее письмо подробно[4].

Детка, хорошее ты прислала вчера письмецо[5], и хорошо сказала о Солов<ьеве>. Он был страшно одинок и непонят. Постоянно он передо мной. Жаль его, больно, тоскливо.

Твой В.

А как мы-то теперь одиноки! Пустыня...

[1] Телеграмма неизвестна.
[2] Беляевскую.
[3] Все в порядке (*англ.*).
[4] П. 340.
[5] П. 339.

## 343. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*4 или 5 / 17 или 18 августа 1900. Копорье*

Только что получила наконец желанное письмо[1].

Прежде всего стихи:

«Вечные дары»[2] мне очень нравятся. Только не знаю, не тяжело ли говорится эта строчка: «Пасо*мы* целя*ми* роди*мыми*». Мне радостно это стихотворение.

Вариант: «Под тем ли под древом» мне нравится — таинственнее. — Зато *щогла* мне не нравится. Мало кто знает техн<и-ческое> слово, и ясного картинного представления нет. Как я любила «от созвездия ходит до созвездия мачта». Так и видела ее. Нельзя ли сказать «*Рвет ветр*», хотя это не то, конечно. Нельзя ли «гнут снасти», «мнет снасти», ой как жалко *мачты*!» ———— ———

Хорошо ли «Древний *прозябнув* <так!> тирс любви»? Неприятный квипроко́[3].

Хороши стихи о Божьей *Матери*. Посвяти «Стих о Святой горе» *непременно* Владимиру Сергеевичу. Относительно жизни в Сестрор<ецке> делай как найдешь лучше, мой деточка, но помни, что времени до 23—25 Авг<уста> — мало. Завтра Верино рождение. Чудесная она девочка. Все они хороши, впрочем, и очень пришлись ко двору. Прелестен Саша[4] по доброте и желанию и умению вникнуть с истинною любовью во *все маленькие* желания и радости детей. Он сегодня уехал. В Среду днем или вечером, *может быть*, будет в городе. *Если ты* там случишься, — зайди к

нему. Марусю целую нежно. Люблю твою светелку. Будь «Бодр и мужествен»[5], мой воин <?>.

Твоя Лидия.

[1] П. 340.

[2] Речь идет о стихотворении «По бледным пажитям забвения...», присланном в упомянутом выше письме.

[3] От *фр.* (восходящего, в свою очередь, к латинскому) quiproquo — *зд.* недоразумение. Имеется в виду, что старославянское слово «прозябнул» читателем может быть воспринято в современном смысле — «замерз» (на данном недоразумении основана басня Козьмы Пруткова «Помещик и садовник»).

[4] А.Д. Зиновьев.

[5] Вероятно, отсылка к известным словам А.В. Суворова: «Всякой при всяком случае будет бодр, смел, мужествен и на себя надежен» (Полковое учреждение, гл. VI).

## 344. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*5/18 августа 1900. Сестрорецк*

*Сестрорецк, Чудесная Светелка.*
*Суббота, 5 Авг., 5-ый ч. попол<удни>.*

Дорогая Лиля! Сегодня не нужно было бы писать — 3-ий день подряд — да уж напишу для праздника завтрашнего прекрасного. Скажу прежде всего, что нежно тебя люблю, и все думаю, хорошо ли тебе, не тошнит ли очень. Как хорошо, что ты более самостоятельно устроена и имеешь к услугам Настю! Присутствие же детей с тобой меня почему-то успокаивает за тебя и радует за них постоянно. Хорошо, что они приехали. А из Англии давно не имею никакого отголоска — пишет ли тебе Оля; и как они там, бедняжки? Я очень люблю Лилю (не о тебе говорится, хотя твоя толстенькая уродливая рожица душкой такой стоит здесь на этажерке и на меня косится бочком) — маленькую Лилю я очень люблю с ее светлыми и пытливыми и скрыто-глубокими глазками. Вот что: написать бы тебе Ал<ексан>дре Васильевне поласковее, нужно бы было это безотлагательно. Писала ли ты Mrs Tupper о Willerden'ских вещах[1]? Корректур все нет да нет. Два раза заходил лично и вчера еще написал. Боюсь, что неглижировать они будут, и Бог знает когда напечатают. Ну, да впрочем я и сам не готов... Прилагаю только что оконченное стихотворение для «Lethaea»; попробую озаглавить для понятности «Себя Забывшие»[2]? хорошо ли? — Кажется, вышло растянуто. Ну, да ты на-

пишешь. Здесь хорошо, но гуляю мало, неохота; дома сидеть поваднее. Сейчас (в 5 ч. попол<удни>) придет Маруся — пойдем в лес — читать по-немецки. Приласкай от меня ненаглядную Верушку (о которой скучаю — entre nous[3]) и мальчиков. Жаль все же, что она будет, по-видимому, юродивая, как ты или еще пуще тебя, п<отому> ч<то> кротче, — худо ей будет[4].

Стихов посылать еще нельзя: оказалось, что не отстоялись. Всему М<аруся> виной!

[1] Уиллерден — район Лондона.

[2] См.: I, 561—562. При письме стихотворение не сохранилось (см. далее).

[3] Между нами (*фр.*).

[4] Письмо продолжено рукой М.М. Замятниной:

*Авг. 1900.*

Моя голубонька, отчего ты не здесь? Мне здесь очень худо живется от гадкого, несносного характера известного у.... Прямо ума своего скудного не приложу, к<а>к угодить и не злить на каждом шагу. То ли дело когда ты вместе, ты какая-то «катали<ти>ческая сила», действуешь уже самим своим присутствием.

Ну, однако, надо еще раньше просить простить, что такая была нехорошая относительно тебя и не пиша на случай тебе — причинила тебе такую тревогу. Но могла ли я ожидать, что.... не напишет ничего. Знай, что в случае чего уж всегда тотчас напишу. В. сидит все дни за приготовлением сборника и приходит в ужас от моего непонимания, если случится что прочесть мне, а я от этого в отчаяние, хорошо, что море близко, а то совсем худо было бы. Целую мою радость безмерную, хорошую, крепко. Маруся.

На листах, написанных Замятниной, Иванов сделал приписку:

И вот плата за мое гостеприимство: в письме — гнусная пасквиль и инсинуация. Напиши М<арусе>, чтобы она вела себя прилично, не насильствовала, не надоедала, не приставала, не дразнила бы.

## 345. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
### *6/19 августа 1900. Сестрорецк*

*6 Авг. 1 ч. попол<удни>.*
*Чудесная Светелка.*

Дорогая радость! Я только что вернулся от обедни — было так празднично и солнечно (праздник Преображения[1] прекрасен) — вернулся с бутылкой кахетинского винца белого — и наконец нашел твое письмецо радостное[2], первое по моему адресу, и кор-

ректуры в виде больших простынь, на которых плотно-плотно напечатаны мои строчки и твои (из «Пламенников»), так что они мне кажутся новыми. Прибавили они и пробный листок заглавия, кот<орый> [вероятно, перешлю] пересылаю тебе. Шрифт имени и красной строки «Кормчие Звезды» я бы заменил другим, совершенно соответствующим остальному — да нет у них, боюсь, подходящего такой величины, и не уместится широкий шрифт... Возврати, рассмотрев и установив свое мнение. — Спасибо сердечное за тонкие замечания. Но что делать с «шоглой»? Нельзя же ведь: «рвет ветр... снасти упорные»; я уже так думал, да нехорошо это. А «шогла» превосходна и по смыслу, и как слово, но непонятно, юродива...

Я думал приехать числа приблизит<ельно> 16-го, 17-го или 18-го... Если нужно, ускорю; только нужно ли? Уроков все равно было бы немного. А здесь — уединение сердца, как я выразился; библиотека под рукой. Не хочется мне очень-то спешить... Жаль, я не знаю семейных дат и пропустил Верушки нашей праздник[3]. Сегодня утром написал стихи, кот<орые> не назвать ли «Вечная Память», или иначе[4]? Вообще думай о заглавиях. Хорошо ли: «По бледным пажитям забвения» — как заглавие[5]?

Спешу. Целую как люблю. — Люблю как [живу] дышу. Почта идет в 2 ч<аса>

Вяч.

*Вечная Память.*

Над смертью вечно торжествует,
В ком память вечная живет.
Любовь зовет, любовь предчует;
Кто не забыл, — не отдаёт.

Скиталец, в даль над зримой далью
Взор ясновидящий вперя,
Идет, утешенный печалью...
За ним — заря, пред ним — заря...

Кольцо и посох — две святыни —
Несет он верною рукой.
Лелеет пальма средь пустыни
Ночлега легкого покой...

Пальма — древнехристианский символ, часто изображ<аемый> в катакомбах, и, кажется, символ бессмертия.

---

Как думаешь: не написать ли Трубецкому? — упомянуть о телеграмме, благодаря, и упредить о моих рукописях (он разбирает бумаги Вл<адимира> С<оловьева>).

Не успел даже хорошо рассмотреть заглавный листок.

Не показывай заглавный листок всем и каждому, как от тебя можно ожидать.

[Ди́тя обожаемо<е>.]

Надеюсь, письмо не пропадет.

[1] Празднуемое в этот день Преображение Господне.

[2] П. 343.

[3] О нем Зиновьева-Аннибал напоминала Иванову в п. 343.

[4] Стихотворение и действительно было названо «Вечная память». Вошло в раздел «Цветы сумерек» книги «Кормчие звезды», без разночтений (I, 568).

[5] См. п. 340, прим. 20.

## 346. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*7/20 августа 1900. Копорье*

*7 Авг. 1900*

Дорогой Славуня, у меня новостей нет, разве что вчера за завтраком Сережа и Вера взмолились идти на пруд большой в овраге купаться. Там большая глубина, поэтому возбудились разговоры... в конце концов образовалась торжественная процессия: Лиза, ее мать, бонны, все мальчики... всё это вместе с Настей и простынями и импровизованными костюма<ми> и детьми и мною отправилось к пруду и там была испробована смелость Сережи. На всех глазах ему пришлось с разбегу броситься с плота в холодную 13°-ную глубину и поплыть. Он вполне оправдал мои хвастовства о плаванье, нырял и шнырял посереди пруда без конца и заслужил похвалы взрослых и восхищение мальчиков. В остальном все игры по-прежнему. В данную минуту Сережа и Митя делают русскую диктовку с Соф<ьей> Семен<овной>, младшие оба сидят в моей спальне (я лежу), и я им диктую. Все постоянно

спрашивают о твоем приезде. Сегодня 7 Авг<уста>. Уезжаем 24-го — 17 дней осталось всего здесь. Имей это в виду. Имей в виду также, что я повезу их в Лондон, там с ними поживу несколько времени, пока *всё* наладится. Потом возьму Олю с Лилей и поеду в Ниццу и по дороге в Женеву, где рассчитываю встретить тебя. Значит, ты *после* Копорья будешь иметь время жить в Сестрорецке и пользоваться библиотекой[1]. Рассчитай и *не прозевай* пожить с детьми: это глубокая радость. Ты получил мое письмо[2] с разбором глупым твоих стихов. Целую нежно Марусю. Светлое ди́тя, до свидания.

Лидия.

Конверт со штемпелями: Копорье. 7.VIII.1900 — С. Петербург. 8.VIII.1900 — Сестрорецк. 9.VIII.1900 (адрес тот же, что и в п. 336).

[1] В тот же день Зиновьева-Аннибал писала отцу о своих планах:

*7-ое Авг. 1900*

Дорогой Папочка.

Вот что я расскажу тебе про себя. Как я приехала в Копорье, так и стала очень хворать, и оказалось, что я вновь ожидаю ребенка. Я после смерти моей любезной дочки очень обрадовалась новому дитяти, но здоровье мое после всех бед моей жизни стало очень плохо. И я так страдаю беременностью, что иной раз плачу от муки. Привязались к прочим болезням еще удушия и слабость такая, что лежу каждый день до завтрака в постели. Так и вышло, что ехать мне назад в Англию невозможно стало, и мы решили просить одну нашу знакомую, бывшую в то время в Париже, заехать в Лондон за детьми и их привезти на летнюю вакацию в Копорье. Таким образом, я осталась спокойно на месте, и дети теперь здесь. Вячеслав же не может здесь жить: он как раз начал печатание книги и должен всё это время сидеть в городе, чтобы иметь под рукой библиотеку. Это ему очень вредно при его малокровии, и меня очень заботит, да ничего не поделаешь. Дети здесь очень наслаждаются обществом братьев. Но вакация так коротка, что скоро уже будет пора их увозить.

(РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 3. Л. 48—49 об.).

Перед выездом из Копорья, 23 августа Иванов просил М.М. Замятнину:

Дорогой друг!

Извещаем вас, что выезжаем отсюда в Субботу, 26-го, утром на Молосковицы, будем в Петербурге после 4-х пополудни и едем прямо в Сестрорецк *всей семьей*; почему просим вас, по дружбе и доброте вашей, принять и поселить нас там соответствующей мерой, а именно: занять для нас, кроме чудесной светелки, еще помещение, кот<орое> окажется свободным у г-жи Вульф, на несколько дней. Ехать за границу намереваемся в Четверг 31-го, если позволит дело с паспортами. Причина такого образа действий — невозможность прописаться и получить свидетельство здесь в короткое время и невозможность прописать детей в Петерб<урге> или Сестрор<ецке> в их отсутствие; а также желание провести несколько дней с милыми друзьями и в идиллической простоте до отъезда из России.

Будем в Сестрор<ецке>, следов<ательно>, вероятно, в Субботу в 7 (едва ли в 6) час. вечера, приготовьте угощение или закажите что-нибудь, если сами не будете в Сестрор. в это время. Целуем.

В.

РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 32. Л. 25—26 об.; очень схожие просьбы повторены на следующий день с существенным примечанием: «Останемся до Четверг<а> 31-го вечера или Субботы 2-го Сент<ября>» [Там же. Л. 27].

Однако этим планам не суждено было осуществиться, о чем узнаем из письма Иванова к А.В. Гольштейн от 10/23 сентября 1900 из Сестрорецка: «Благополучно ли добрались до Вас Ольга с Лидией — не знаем. Известно только, что они давно уже выехали из Лондона. <...> Лидия имела 7/20 Сент. выкидыш, что сопровождалось операцией. Пока состояние ее после операции вполне благоприятно. Во всяком случае, однако, это приковывает нас — сравнительно надолго — к месту нашего временного пребывания. В настоящее время Лидия находится в Сестрорецкой земской больнице, где чистота и уход совершенно удовлетворительны. Дело в том, что случился выкидыш во время ее прогулки, как раз подле больницы и довольно далеко от нашей примитивной дачи, где она не могла бы найти удобств, представленных больницей» (Переписка с Гольштейн. С. 350—351).

[2] П. 343.

## 347. Зиновьева-Аннибал — Иванову
*11/24 августа 1900. Копорье*

*11 Авг. 1900.*

Дорогой Славенька,

Два слова, почта уходит: Наташа Гольштейн родила сероглазого мальчика Алексея. Алекс<андра> Вас<ильевна> написала мне письмецо вчера. Ради Бога, *тотчас* пошли ей поздравления[1]. Всё хорошо здесь. Только я валяюсь с удушьем <?>. Ну ничего, снесу... Дети целуют. Вера с восторж<енным> лицем сообщала, что видела во сне, что ты приехал. Я идьотично одевала <?>.

Твоя Лидия.

Закрытка (по тому же адресу, что и пп. 346, 341). Штемпели: Копорье. 11 (и 12).VIII.1900 — С. Петербург. 12 авг. 1900 — Сестрорецк. 13.VIII.1900.

[1] Письмо Гольштейн с извещением об этом событии см.: РГБ. Ф. 109. Карт. 16. Ед. хр. 38. Л. 1). 20 августа / 2 сентября Иванов писал Гольштейн: «...сначала записка Лидии, потом (в тот же день) ее неожиданный приезд с Костей ко мне в Сестрорецк, где я сидел под городом ради хлопот и работ в городе <...> известила меня о рождении Вашего внука, что заставило меня испытать за Вас всех живейшую радость <...> Но эти ощущения живейшего сорадования остались по необходимости невысказанными все эти дни, пока мы без устали кружились с Лидией и пока, прошлою ночью, не попали наконец в прочное Копорье...» (Переписка с Гольштейн. С. 348—349; «Обнимаю вас и матерински благословляю...» С. 170).

## 348. Иванов — Зиновьевой-Аннибал
*11/24 августа 1900. Сестрорецк*

*Пятница утро.*

Вчерашнее твое письмо[1] очень опечалило и смутило меня, милая радость. Я уже собирался вскоре ехать к вам. Теперь же не знаю, что́ делать. Если вы не заедете в Петербург, должно выхлопотать паспорты заграничные теперь же. Я хотел непременно побывать с тобой в Петербурге у хорошего доктора. С одной стороны, от его отзыва будет зависеть решение о зимней нашей резиденции. Если он не воспротивится, то лучше всего ведь нам поселиться всем вместе близ Лондона. С другой стороны, не знаю я, кого спросить за границей о твоем здоровьи, а его состояние не объясняется одною беременностью и требует энергической заботы. Таким образом я как бы указываю тебе на необходимость приехать в Петербург. Но я не меньше тебя боюсь за утомление, которое тебе причинит эта остановка, — и не знаю просто, что делать. Конечно, в Петерб<урге> можно было бы ограничиться тебе визитом к доктору и визитом к Яковлевым, если они там, и остаться всего два дня. Но не знаю, не повредит ли тебе это. Что касается Кости, то приятно было бы узнать мнение русского хорошего врача — не очень-то я доверяю Бритиш-мэнам[2]; но начинать его лечение здесь, конечно, невозможно, если даже это окажется нужным, так как дело это долгое. Подумаю еще — и, быть может, надумаю ехать в понедельник (— тогда извещу депешей ) — может быть, нет. Да впрочем спешить пожалуй не очень теперь нужно приездом, т.к. во всяком случае выгадывается несколько дней, а здесь уже работа наладилась. Но если тебе лично хочется быть со мной и без меня худо, то вызови немедленно. Работать и там буду, наверно.

Я очень занят все эти дни, все время за письменным столом — за корректурами и приготовлением манускрипта, везде требуются неожиданные перемены, везде непредвиденные недосмотры. Я уже читал и отослал в корректуре всю «Райскую Мать»[3]. Настроение — почти ипохондрическое; Маруся прямо спасительный аппарат в пучине меланхолии[4]. За тебя боюсь и мучусь до боли. Работаю хорошо, но тоска томит. Целую тебя и детей

Твой В.[5]

Насчет «мачты» хочу тебя успокоить[6]. Разве решусь уничтожить ее без разрешения? Будет:

Гнет ветр неудержимый
Реи могутные.

Хорошо? «Могутный» — эпитет «плеч». Реи — что плечи. Хотел даже:

Гнет реи буйный ветр
Могутно-раменные —

Да тяжело это.
Мачта с реями — символичны (крест).
Твой В.

Масса вариантов ждет твоей резолюции.

Обложку напрасно одобряешь: устрою лучше — увидишь сама.

Спасибо за новое письмецо дорогое[7]. Все-таки Сережа *свинит*. Верушку целую[8].

Конверт со штемпелями: Сестрорецк. 11.VIII.1900 — С. Петербург. 11.VIII. 1900 — Копорье. 12.VIII.1900.

[1] Имеется в виду п. 346.

[2] От *англ.* British*man* — англичанин.

[3] Третий раздел в книге «Кормчие звезды», куда вошло из числа обсуждавшихся ранее стихотворение «Под Древом Кипарисным».

[4] Приведем фрагмент из письма М.М. Замятниной от 9 августа 1900 (первоначально написанный ею адрес: Сестрорецк, Приморская, 40, зачеркнут Ивановым и вместо него написано: «Ложь! Сестрор<ецк>, Чудесная Светелка»): «Вчера очень приятно провели у него вечер в его светелке с сестрами Беляевскими, он прочел все стихотворения первого отдела "Порыв и грани" с должными комментариями, а затем много говорил хорошего о Ничше-Вагнеровской драме <?>, что, надо надеяться, не в очень отдаленном будущем будет и должно непременно быть преподнесено русской публике на поучение в виде статей прозаических <...>

А сборник его будет, я все больше это чувствую, большим вкладом. Как было приятно видеть твой эпиграф напечатанным, радость в этом мне была большая <...>

Вяч<еслав> в грустно-торжествен<ном> настроении, весь еще <подчеркнуто Ивановым 4 раза карандашом и сверху поставлено: NB> с Соловьев<ым>» (РГБ. Ф. 109. Карт. 19. Ед. хр. 49. Л. 15 и об.).

[5] На том же листе, где заканчивается письмо Иванова, его продолжила М.М. Замятнина:

Я думаю, что лучше всего, право, приехать тебе, голубонька моя бедная, за два дня до отъезда в Петерб<ург>, все-таки, а не только до Гатчины ехать. Ведь, может быть, ты на эти два дня могла бы и Настю с собой взять, чтобы облегчать возню с детьми, хотя, конечно, и я бы их от тебя отстранила на это время. Право же, за два дня уж такой сильной муки не придется тебе терпеть, а между тем сделалось бы много дела и ты бы показалась доктору, и Костю показали бы. Я все заранее узнаю относительно докторов доподлинно и доточно <так!>; тогда к<а>к раз уж можно будет поехать к хорошим, т.к. конец Августа будет. Право, подумай над двумя днями, не пугайся их так, иначе никак не устроить. Уж я, конечно, не говорю, к<а>к эгоистично хочу этого, а то я тебя только и увижу, что по жел<езной> дор<оге>, когда поеду провожать на неск<олько> станций. Надеюсь, к<а>к Вяч<еслав> приедет, ты приободришься и уже не будешь страшиться. И детей-то тогда я еще повидала бы, мне так их хочется видеть непосредственно после их свидания с Россией. На днях буду писать Вере. Целую. Маруся.

После этого письма продолжено письмо Иванова.

[6] Далее обсуждаются строки из стихотворения «Пробуждение» (см. п. 335 и 338).

[7] Письмо неизвестно.

[8] Кажется существенным привести фрагменты письма Ю.А. Беляевской к Зиновьевой-Аннибал, фиксирующие некоторые события предшествующих дней:

*Сестрорецк 9 авг. 1900 г.*

Вчера мы были у него <Иванова> вечером, и он читал нам некоторые новые пьесы, но гвоздем был отдел «Порыв и грани». Блеск «Кормчих звезд» будет, конечно, оценен, но, может, не скоро, и не скоро потому, что порыв их творца слишком высок для толпы, порабощенной гранями. После чтения мы говорили о Нитче и многобожии, к<а>к понимаете его Вы с Вячеславом, и я, увы! принадлежу к толпе! Я не могу вместить этой религии, мне чересчур довольно одного Христа, Его-то не вмещает душа. <...>

*10 авг.*

Разговор с Вяч. Ив. всколыхнул меня, нарушил душевное равновесие, и успокоилась я только на том, что «овому пять талантов, а овому только 2», и больше меры с человека не спросится.

Надо ли говорить о том, к<а>к горячо мы с Ольгой желаем, ч<то>б<ы> наши предположения о значительности Вашего совместного таланта (я не могу отделять Вас от Вяч. Ив. даже в его работах) оправдались. Я думаю, что если он сделает все, что на его долю отмерено, это будет немаловажным событием в истории мысли. <...>

(РГБ. Ф. 109. Карт. 13. Ед. Хр. 4. Л. 4—5 об).

## 349. Зиновьева-Аннибал — Иванову

*26 октября / 8 ноября 1900. Петербург*

Η Διος ημέρα.

Ηδυς εταιρε!

Ελαύνω αυριον εσπέρας ωραν ογδοαν. Περιβάλλω, στέργω τον χάρειν, φιλον ποιητήν.

Λιδιασπερχόμενη.

Открытка с видами Петербурга (Исаакиевский собор, Биржа, Эрмитаж), адресованная в Сестрорецк. Петербургский штемпель — 26 окт. 1900.

Перевод с греческого (написано с ошибками):

День Зевса.

Милый спутник!

Приеду завтра в восьмом часу вечера. Обнимаю, люблю нежного, любимого поэта.

Любимая тобой Лидия.

По наблюдениям носителей языка, написано на ученическом, скованном языке. Видимо, это след занятий Зиновьевой-Аннибал греческим.

# *ИНТЕРМЕДИЯ (IV)*
## *Афины и Палестина*
## *1901*

## Зиновьева-Аннибал — Замятниной
## Конец февраля / Начало марта 1901. Женева

*Вечер. Среда*

Добровольская[1] нашла у Веры сильное малокровие и запретила безусловно учение в течение 14 дней, потом полегоньку. Тогда мы вместе решили, что наулучшее <так!> было бы Веру свезти в горы на недельку (т.к. 3 дня уж прошло) и так. образом соединить все интересы и ее подкрепить энергичнее. Едем в Гринденвальд[2] <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 3 и об.

[1] См. п. 398, прим. 2.

[2] Швейцарский горный курорт (на высоте более 1000 м).

## Зиновьева-Аннибал — Замятниной
## 27 февраля / 12 марта 1901. Рим

<...> Мы остановились не только в той же гостинице, но в той же комнате, что и 6 лет тому назад. Мы были бесконечно счастливы, но вчера Вяч. на концерте Палестрины[1] (где мы стояли) сломился и громко разрыдался, потом весь вечер рыдал дома, отказываясь от Греции, настаивая на том, чтобы ехать домой, желая лишь отречения в жизни. Он боится за *здоровье Веры* и из-за нее не имеет покоя. Пришлось отложить ночной выезд: он был совсем болен. Едем завтра утром прямо в Бриндизи, не заезжая в Пестум[2]. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 5. Открытка со штемпелями: Roma 12.III.01 — Genève 13.III.01.

[1] Джованни-Пьерлуиджи да Палестрина (1514—1594), итальянский композитор, автор преимущественно церковной музыки.

[2] Бриндизи — город и порт в Апулии, из которого начинается кратчайший морской путь в Грецию. Пестум — небольшой город вблизи Салерно, знаменитый развалинами греческих храмов.

## Зиновьева-Аннибал — Замятниной
## 28 февраля / 13 марта 1901. В поезде Рим—Бриндизи

*13 Марта 1901*

Дорогая Маруся, только теперь, по дороге в Бриндизи, могу написать хоть два связные слова. Рим занимал и душу и тело до такого утомления, что становилось абсолютно невозможно не то что *сесть* за письмо, но *связать* логично две мысли <...>

В Риме мы нашли старую нашу гостиницу и даже комнату. Остались дольше, потому что я чувствовала такую глубокую усталость <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 6, 9.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной
## 10/23 марта 1901. Афины

*Адрес:*
*51, Rue de l'Académie Athènes*
*Афины. 23/10 Марта 1901*

<...> Наняли прекрасную комнату в греческой семье, на большую красивую улицу с двориком, со многими высокими (выше дома) кипарисами. С видом на синие горы и рядом с красивою романо-византийской церковью, тоже окруженной чудесными кипарисами. В комнате три окна, и она очень высока, чиста, как и весь дом, хотя всё просто и недорого. Утром *всегда* встаем в 7 ½ или 8. Пока одна, я варю чай. Пьем. Вячеслав идет в Нем<ецкий> Археол<огический> Институт[1] (рядом) до 12. Я, убравшись, спешу к роману, и если есть письмо, то оно отнимает целый день моего труда. Полна новыми и сильными замыслами — только бы исполнить. Здесь можно все самое глубокое до глубины понять и

всю высоту духа почуять. Завтрак иногда готовлю дома, иногда, как вчера и как сегодня, заходим наскоро в ресторан и потом торопимся в Акрополь.

Вчера сидели с книгою об Акрополе и Театре Диониса[2] и читали ее, прижавшись (от солнца) к стене с барельефами, граничащей сцену <так!> театра Диониса, на древних плитах. Вид из театра удивительный. Налево — строгий сине-серый каменный Гимет (длинная гора), прямо море широко расстилается за зеленой полоской Афин <1 нрзб>, направо тают мысы без конца, один дальше другого, и между ними еще и еще раз блистает узкой полосой море. Позади, после рядов мраморных сидений, расширившихся <?> полукругом вверх по холму с дикой, сухой травой — встает пурпуровая скала Акрополя, закрепленная кверху высокими серыми стенами древней кладки, и через них глядит Парфенон, впечатление которого ты так верно угадала: Гармоничная красота встает из его колонн, и посереди их строя зияет широкая рана, и архитравы разрушены, и тишина смерти. Словом, высшая трагедия смерти великого. С Акрополя вид ширится во весь круг горизонта. Являются многие горы синие гармоничные вдали, темные и сильные вблизи. Высится Парнас с его двумя вершинами[3].

Пришел В<ячеслав> и прервал.

Были весь день на Акрополе. Вот второй раз, что и твой портфёль был там с нами, и Вячеслав так ужасно счастлив и постоянно восхищается, несмотря на довольно беспощадную тяжесть (потому что он наполнен книгами из Института). <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 14 об. — 16. Отметим, что первая сохранившаяся открытка из Афин датирована 4 марта 1901 г., т.е. 17 марта по н. ст.

[1] О деятельности Германского археологического института (и, в частности, его Афинского отделения) см.: *Wickert L.* Beiträge zur Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts vom 1879 bis 1929. Mainz, 1979. О занятиях Иванова в нем см. в его письмах конца 1901 и 1902 г.

[2] Возможно, речь идет о книге: *Dörpfeld W., Reisch E.* Das griechische Theater: Beiträge zur Geschichte des Dionysos-Theaters in Athen und anderer griechischer Theater. Athen, 1896. Книга находилась в поле зрения Иванова (см.: История и поэзия. С. 243).

[3] Ср. описание ранней жизни в Афинах в письме Л.Д. к И.М. Гревсу от 23 августа / 5 сентября 1901: «С начала нашего пребывания мы все ходили на Акрополь и изучали его часами, не пропуская притом почти ни одного заката солнечного за далекий Парнас. Бродили по музеям и по Афинам. Вячеслав посещал библиотеку по утрам, но больше всего лишь в поисках за разъяснениями для того, что мы имели перед глазами. На giri Dörpfeld'a мы не попали, потому что они были уже давно заняты!» (История и поэзия. С. 233). Об археологических экскурсиях, проводившихся В. Дёрпфельдом, см. в письмах далее.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*13/26 III 1901*

<...> Сегодня впервые не удалось пройти к Акрополю. Хотели вернуться рано писать письма, да и ветер местами <?> очень неприятный. Были в близком музее, где собраны великолепные сокровища. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 17.

## В.И. Иванов — М.М. Замятниной

*Афины, 51, ὁδὸς Ἀκαδημίας*
*26/13 марта 1901*

Дорогой друг, поздравляю вас, обнимаю заочно, желаю много доброго, много хорошего и радостного с новым, начинающимся годом жизни, но прежде всего желаю вам — *найти себя самое*, — следовательно, не блуждать более в поисках за настоящим делом и настоящею целью (это во-первых), а во-вторых найти *себя* как дело и цель, не *в других*, но в *себе* найти их. Это самопознание и самообретение будут заключаться практически и непосредственно в постижении той истины, что бегство из Петербурга было для вас бегством от себя самой и от *своего* дела и попыткой найти *в других* то, что человек должен находить в себе самом*. Итак, думаю, что Вам должно молиться и приносить жертвы Deo Reduci, богу возвращающему. Да и наверно Вам в эту минуту хотелось бы вновь оказаться в Петербурге и не быть вдали от всего, что так знаменательно, так неожиданно там совершается. Осведомлены ли Вы как-нибудь? Ведь дела творятся небывалые. Убит несчастный Боголепов, отлучен от церкви Толстой, беспорядки (судя по здешним газетам) принимают грозный и страшный для России характер[1]. Рабочие в союзе со студентами. Вторжение в собор, безобразное иконоборство...[2] Вы сделали ἀγαθόν καί καλόν καί μεγαλοπρεπές ἔργον — доброе и прекрасное и великолепное дело, доставив вашим друзьям возможность увидеть и пережить прекраснейшее в их жизни. Теперь «ныне отпущаеши»... и вас

* Полторы строки густо зачеркнуты.

ждет ***ваше дело***. Клянусь вам, я гораздо более гражданин, чем вы думаете. И если я считаю, что *мне* лично лучше быть вдали для моего дела, я не думаю, что нравственно позволительно бросать общественное дело и то влияние, которое имеем самою принадлежностью нашею к общественному организму, самым присутствием нашим и нашим молчаливым мнением и свидетельством — для эпикурейской нирваны за рубежом. Censeo Petropolini esse redeundum. Думаю, что в Петербург должно возвратиться. Катон[3].

Благодарю Вас за письмо, милый сердцу друг, и огорчен чрезвычайно, что разочаровываю вас (обманываю ожидания ваши) этим письмом. δαιμόνιον (злой демон) хотел, чтобы сегодня был вторник (день, у греков считающийся несчастным), да еще 13-ое число по здешнему (русскому) стилю. Нет мне сегодня удачи и нет возможности рассказать, как бывает блаженно мгновениями в Афинах, особенно когда возвращаемся после заката солнца с Акрополя и медлим перед Заппионом (откуда рисуется и силуэт Акрополя, и великолепные коринфские колонны Олимпиэйона с пальмами и кипарисами на сказочной дали гор и заливов, — а в небе просвечивают первые звезды и молодой месяц смотрит из синевы), — и душа словно полна и как-то прозрачно пьяна густым и сладким вином, незаметно ее упоившим в течение быстро промелькнувшего дня... Но я знал, когда брался за перо, что не выйдет ничего утешного и что нет сегодня корысти <?> для меня и не будет для друга. Потому простите горячо благодарного Вам

В.

РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 33. Л. 1—2 об.

[1] Николай Павлович Боголепов (1846—1901), специалист в области римского права (т.е. отчасти старший коллега Иванова), профессор и ректор (1883—1887 и 1891—1895) Московского университета, alma mater Иванова, с 1898 — министр народного просвещения. Убит эсером Карповичем 14 февраля 1901 г. Л.Н. Толстой был отлучен от церкви в конце февраля этого же года. 4 марта состоялась знаменитая студенческая демонстрация в Петербурге у Казанского собора, разогнанная полицией.

[2] После разгона демонстрации часть ее участников укрылась в соборе.

[3] Ироническая подпись связана с тем, что Иванов пародировал известное изречение: «Censeo Carthaginem esse delendam», т.е. «Я утверждаю, что Карфаген должен быть разрушен», — слова Марка Порция Катона Старшего, цензора 184 г. до н.э., при любом выступлении в сенате добавлявшего эти слова к своей речи.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

<...> У нас всё то же: Акрополь с утра и до заката, и там читаем его описания из книг нем<ецкого археологического> институт<ута>, взятых с собой в твоей сумке. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 19 и об. Письмо без даты, афинский штемпель неразборчив. Замятнина получила его 4 апреля, т.е. 22 марта по ст. стилю; поскольку письма между Афинами и Женевой шли 5—7 дней, то написано оно 15—17 (28—30) марта.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

Дорогая Марусенька, это письмо очень удивит тебя и всех вас <сверху вписано: *прошу прочитать Оле и детям тотчас*>: нежданно-счастливый случай дал нам возможность невероятного счастия: на корабле, отсылаемом «Кук'ом» с партией греч<еских> пилигримов мы едем на Страстную и день Светлого Воскресенья в Иерусалим. Вся поездка берет 2 недели[1], так что если ты *тотчас* опустишь *откр<ытое>* или короткое закр<ытое> письмо, то, быть может, дойдет. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 22. Открытка. Афинский штемпель 20<?> марта, женевский — 6 апреля.

[1] Ср. в вышецитированном письме Л.Д. к Гревсу: «...потрясло нас до основания нежданное событие. К Пасхе устроилась организованная поездка для греческих паломников в Иерусалим и мы примкнули к ней» (История и поэзия. С. 233).

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Александрия. 24 марта.*

Дорогая Маруся, два слова с парохода Dakahlich <?>. Утром мы приехали в Александрию. Взяли экипаж, путеводимый арабом, кот<орый> с нами беседовал с одинаковой легкостью по-русски, английски, французски и все время детски весело хохотал, говоря нам «ты» и называя «другом». Александрия производит впечатление невиданного сна: раскрывается Новый мир и ширит душу безгранично, скажу — страшно. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 24. Датировано по старому стилю (по новому — 6 апреля).

## В.И. Иванов — М.М. Замятниной

*Св. Город, 6 Апр.*

Дорогой друг, мы невыносимо стосковались, не имея так долго писем от вас и из Лондона. Но и в будущем все — неизвестно, и нельзя рассчитать никаких сроков. Карантин против чумы, наложенный на суда, идущие из Александрии, прервал и перепутал все рейсы. Никто не знает, когда пройдет какой пароход. Мы не пишем потому, что напрягаемся, как никогда, б<ыть> м<ожет>, еще не напрягались à la longue[1]; и не имеем буквально ни минуты свободной. Вероятно, поедем завтра на лошадях верхом в Назарет и оттуда через Haifa в Яффу, не возвращаясь в Иерусалим, — путешествие обещает быть крайне трудным и утомительным[2]. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 25. Датировано по старому стилю (по новому — 19 апреля).

[1] С течением времени (*фр.*).

[2] О путешествии в Назарет и Хайфу см. цитированное письмо Зиновьевой-Аннибал Гревсу.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*4 Мая.*

*Гора Кармил.*

Дорогая Марусенька, давно теперь ты не получала вестей. Это оттого, что мы бродили по дебрям вне всякой цивилизации и к тому прибавился карантин от Александрийской чумы: вследствие него прекратилось пароходство в небольших портах, а существующее еще перепуталось и замедлилось. Но и были бы случаи почтовые, вряд ли мы нашли бы силы и время для писем. Таких странствий еще мы не совершали никогда. Напряжение тела и души достигло такой степени, что не испытавший вряд ли может себе представить. Со дня приезда в Иерусалим и до Понедельника прошлого, т.е. 3 недели, мы почти не спали и не имели мгновенья, чтобы остановиться. В течение 7 дней мы ездили верхом и по 40, 30 и 45 верст в сутки по отчаянным часто дорогам с горы на гору. У Вячеслава была ужасная лошадь, и она два раза упала под ним прямо как подкошенная. Однаж-

ды спортила <так!> ему колена, а во второй раз ударила его головой со всей силы об острые камни, т<ак> что кровь лилась из виска и вздулась страшная опухоль. Это случилось за много верст от всякого города, в пустыне, в палящую жару. Пришлось облить голову водой и ехать дальше, переменившись лошадьми с проводником, арабом, ни слова не говорящим на ином языке, кроме «хорошо». Тяжелые я пережила часы страха, ужаса. Благодаря Богу, когда через двое суток добрались до Назарета, доктор сказал, что рана не затронула мозг и все сошло благополучно. И вот, несмотря на страх, боль и утомление, вряд ли и даже наверное не было высшего счастия в нашей жизни, чем эти три недели в Палестине. Мы посетили дорогой сюда колодезь Якова, где беседовал Христос с Самаритянкой, были в Назарете, где Он рос в прекрасном городке на склоне гор, проезжали по долине Эгдралонской, где стоит гора Фавор высоким куполом, где тучные поля одевают красную бархатистую почву и голубые горы мягко граничут <?> ее от моря, и на всем многоверстном протяжении вся она исхожена Его ногами, как и весь наш путь от Иерусалима... Ездили по священным местам Генизаретск<ого> озера и от Тивериады в Капернаум на лодке и даже бурю испытали внезапную. Проехали близ горы Нагорной проповеди и горы Свержения, где враги хотели сбросить Его. Теперь в ожидании парохода несколько дней провели на горе Кармиле в Сирии, горе пророка Илии, где все полно силы <?> и бесконечной красоты, красная плодородная земля и белые скалы, и море несказанной синевы и могучие хребты гор <?> <...>

Пробрались в Яффу: сейчас едем дальше. Не устоим не проехать на 6, 7 дней в Каир: тогда Восток будет полнее в душе[1]. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 26—27об. Почтовый штемпель: Jaffa 7/5 01.

[1] См. в уже не раз цитированном письме: «...мы оказались помимо воли, но к счастию своему на прекрасной неописуемо и великой горе Кармиле <...> Там после многих ночевок <...> дождались корабля и еще дальше путь не без приключений, потому что пришлось высаживаться в Яффе, где нет пристани, при такой буре, что две других лодки с арабами опрокинулись <...> Заехали из Порт-Саида в Каир, где провели, к сожалению, 3 дня только, и не могли больше, оттого что есть мера, когда переполняется душа и дальнейшее восприятие слишком мучительно. Влезали на Хеопсову пирамиду <...> и с высоты глядели на две пустыни странные и прекрасные с розово-фиолетовыми песками и на узкую полосу зелено-синего Египта и желтую ленту Нила между ними» (История и поэзия. С. 233).

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Афины (не верю). 21 Мая 1901.*

Дорогая Марусенька, вчера в 5 час. вечера приехал наш пароход в «синюю гавань Пирея», как ты ее назвала. Сели в коляску и по мирно прекрасной долине Афинской (мир, прерываемый глубоко трагическим холмом Акрополя) прикатили в свою «палатку», т.е. комнатку, уже до отъезда приговоренную нами в немец<кой> семье. До сего часу еще не верится счастию возвращения, и обоим нам со странною ясностью чудится, что мы уходили из жизни эти последние 6, 7 нежданных и страшных недель, и теперь вновь будем жить, словно воскресаем из какого-то непонятного состояния de l'au-delà[1]. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 28 и об.

[1] Потусторонней жизни (*фр.*).

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Афины. 14/27 Мая 1901.*

<...> Мы здесь совсем очумели, т.е. я, впрочем, оба. Мой романный мусор валяется на столе возле моего дивана. На диване я провожу день за днем. С 9-ти до 12-ти и после завтрака снова до 7-ми. Потом обедать, потом спать, как ключ ко дну. Подумай, вчера насильно пошла на Акрополь, а сегодня уговорила-таки Вячеслава пройти одному с чисто археологическим интересом, т.е. так я ему приказала. Но так как он еще ушел и я должна через ¼ часа выйти ему навстречу, чтобы потом обедать (теперь 6 ¾), то не знаю еще, *как* он гулял. Вот вижу золотистый Ликабет над окном и потому думаю, что он теперь смотрит закат солнца или с Нике, или из Эректэона. Или же уже спустился и с соседнего холма Мусэо́на, или Пникса, или Ареопага глядит, как ползет золото и красная медь вверх по Одеону, по пурпуровым утесам Акрополя, по мрамору Пропилей, Никэ, Парфенона и Эректэона, и тухнет, и все синеет меловою бледностью... Вчера только ввиду Акрополя я вполне ощутительно поверила, что я в Афинах. <...> Я очень боюсь за лихорадку. Она далеко не оставляет В<ячеслава> в покое, и я боюсь. То же было и в Палестине. <...> Будем ждать письмо, через часок

придет (найдем после обеда в нашей славной греческой траттории с садиком, где обедаем, сидя под молодыми серебристыми тополями с замшевым широким листом).

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 32—33. К этому описанию следует прибавить цитату из все того же письма Зиновьевой-Аннибал к Гревсу: «Вернувшись в Афины, мы уже сиднем сидели дома, и Вячеслав в библиотеке, где он горячо принялся за материялы для своих новых, определившихся научных замыслов» (История и поэзия. С. 233).

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*20 Июня 1901*

<...> Я хотела сегодня уже выехать, чтобы приехать сюрпризом, но сердце упало бросить отшельника несколькими днями раньше, и есть еще дела: надо его всего привести в порядок и тысячи мелочей купить.... Ему ужасно тяжело.. до слез. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 1 и об.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*9/22 Июня 1901*

<...> Милая, какой я ужас пережила в тот вечер, когда писала тебе прошлое письмо: ведь Вяч<еслав> был страшно болен: весь в высоком жару, подозрительно кашлял и т.д. Только к вечеру в Среду пришел доктор, и еще не знаю наверное, не тиф ли, но уже кашель прошел, и теперь оказывается, что это не то инфлюэнция, не то обостренное что-то в желудке, хотя никаких кишечных расстройств нет. Он уже два дня без жару, но слаб совершенно и лежит. Кормлю его исключительно бульоном и молоком, и только сегодня пополам в два приема одно яичко сварила ему, две чайн<ые> ложечки манной каши с леденцом на спирт<овой> лампочке. Он очень кроток и терпелив. Впрочем, он все время в Греции и в Палестине совсем другой, чем был, и мы никогда, можно сказать, не ссоримся. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 3 об — 4об.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Вторник <25 июня?> веч. 1901*

<...> Милая, по поводу святости зачатия (твои размышления о весенних завязях и дыхании Земли) мы оба говорили с Вяч<еславом> — свята природа, ибо не знает вины. Поскольку он — природа, должна бы быть святою завязь и в человеке, но, увы, человек *грешен*, и во всем мироздании он один не свят, и мы, люди, не свято зачинаем, но к святости возгораемся, правда и зовем преображением.

Вот тоже грустное известие: Шв<арсалон> <женился> на молоденькой девушке. Увы, не свято зачатие от этой грязи. Ведь прежде всего он грязен.

О нас что писать: всё то же. Никуда еще не собрались, и даже на Акрополе не были дней 10. Были только в Колонне, а то дома. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 5 об — 6.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*17 Июля*

Дорогая Марусенька, только что узнала, что Вячеслав, наконец, решился сообщить тебе о своем решении. Все эти последние недели оно тяготит на нас, и всё еще мы боялись говорить о нем как об окончательном. Мне очень жаль тебя, дорогая, и очень тяжело приносить своим приездом домой, так сказать, горькое разочарование. Но если ты глубже вдумаешься в дело, то удивишься, почему сама давно не нападала на эту мысль. Вот годы, и, собственно, с тех пор, как мы соединились с В., что он благодаря особым тяжелым обстоятельствам нашей семьи принужден был жертвовать интересами своей науки, работая с детьми и ютясь по глухим уголкам Италии. В короткий срок Лондонской жизни он жадно бросился на работу, но смерть и болезнь в семье и его собственная всё прервали. Женева решительно не годится для серьезной *ученой* работы. Здесь воскрес в нем ученый, на которого, бывало, глядели с ожиданием Моммзен, и Гиршфельд, и Крумбахер, и Виноградов, и Гревс, и еще, и еще многие. Он весь

ушел в свою тэму, и здесь, в Афинах, *впервые* наука примирилась и вступила в союз любовный с поэзией. И здесь климат дает ему небывалые рабочие силы, и тишина, и одиночество — сосредоточенность всего существа. Словом, сердце болит, но ясность выгод Афин и указания самой Судьбы на это решение так велики, что колебаний почти не было с самого зарождения у меня этой мысли. Была — лишь слабость: ухало наше сердце, как при морской болезни. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 16 и об. Письмо начато 16 (нового стиля; по старому — 3) июля, но печатаемая нами часть отдельно датирована.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

Дорогие Маруся, Вера и Костя,

Как мне больно огорчать вас письмом вместо приезда, вы сами поймете. Но что делать человеку против воли судьбы? Вячеслав хотя чувствует себя не слишком дурно, но горит сильно уже 4-й день. Ждала до понедельника <?> утром своим решением, но сегодня с утра 39°. Никаких дурных признаков нет иных. Думаю, что это повторение influenza, но как покинуть больного на чужих людей. Сегодня придет доктор, хотя, конечно, ничего не сделает. Надо время и осторожность.

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 17 и об. Письмо не датировано, афинский штемпель на конверте неразборчив, женевский (и помета Замятниной о получении) — 31.VII.01. Следовательно, примерно его можно датировать 13/26 июля 1901. В письме имеется приписка Иванова к К.К. Шварсалону.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*29 Июля. Вторник.*

Дорогие дети и Маруся.

<...> Не надо слишком тревожиться за Вячеслава, но всё-таки должна сообщить, что у него тиф. Эта болезнь, как Маруся вам объяснит, не очень опасная теперь, когда умеют ее хорошо лечить, но надо очень много внимания и заботы. Притом у Вячеслава очень высокая температура (всё около 40, то пониже, то повыше),

и я его оборачиваю по несколько раз в день в простыню, намоченную ледяной водой. Он до сегодняшнего дня был бодр, только сегодня замаялся порядочно, оттого что нервы от жара возбуждены, и он почти не спит. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 19 и об. Датировано, видимо, по новому стилю (по старому — 16 июля).

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

Дорогие.

Еще всё ничего не движется. Температура то пониже, то повыше *по утрам* (в общем всё-таки на малость ниже). Зато днем вырывается вихрем из-под действия порошков lactohhenini <?>[1] (резко понижающие) и взрывается на 40—40,2. Сна почти нет. Ночь хуже дня, день страшит хуже ночи. Одно: никаких сомнений, и тиф сильный, злостный, протекает в очень чистом виде. Надо видеть, до чего он добр, и терпелив, и кроток! Совсем слабый, так что с боку на бок не может повернуться, лежит и дышит, как бы версту бежавши в гору, и мечется весь, а всё ищет меня глазами и никогда ничего кроме любовного слова не имеет, и едва полегчает и освежится мысль, сейчас весь озабочен, чтобы я спала, и хорошо ли мне на моей гнусной постели (полной клопов и без подушки), чего он, конечно, не знает. <...> Никогда не переживала таких дней. Словно не живу, и ни сна, ни пищи не надо. Как ночь, так на него находит страх. Поспит не больше получасу и зовет меня испуганно, но всегда ласково: «Приди, сядь ко мне.. что случилось, объясни мне, что случилось!» Вот я объясняю: «Ты заснул, я потушила свечу, тоже спала, теперь ты проснулся, скоро рассвет.. будет хорошо, теперь дреми...» И так долго, пока затихнет, и опять сначала. Словом, оба мы вне жизни. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 22—23. Письмо не датировано, но пришло в Женеву (по штемпелю и помете Замятниной) 14 августа, т.е. отправлено около 27 июля / 8 августа.

[1] Вероятно, речь идет о каком-то лекарстве на основе хинина (quinini), название которого Л.Д. пишет со слуха с ошибкой.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Преображение Господне*

В эту болезнь, дорогие, я увидала впервые до последней глубины его душу и узнала, что недостатки его, когда-либо проявлявшиеся в его жизни, как облака, проплывают над вечной синевой небес, прекрасной, безмятежной, чистой. Кроме того, я поняла по отношению к себе, что он меня ввел в жизни высокого идеала, т.е. горения и стремления к идеала <так!>, он указал мне путь Веры, он создал мое лучшее я, через него Бог призвал меня служить Ему по мере слабых моих сил. И узнав всё это, я ждала ежеминутно какой-либо роковой поворот ужасной болезни, уносящей здесь столько жертв. Столько муки я *никогда* еще не принимала от Бога, но на то Его святая воля. <...> два дня: Четверг, Пятница и Суббота *утро* были со слабой температурой (писала), но с Субботы она снова вскочила, и вчера много часов стояла на 40,4! и это несмотря на частые ледяные омовения! Оказалось, что воспалилась вена левой ноги, начиная с бедра. Пока боль латентная, слабая, дай Христос, чтобы не усилилась. Боль была бы жестокой мукой этому истощенному организму. Сегодня *28-й* день сильн<ого> жару, и доктор говорит: «Еще недельку!» <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 35—36. День Преображения Господня празднуется 6/19 августа.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Афины. 21 Авг. 1901*

<...> Вячеслав вчера сказал мне: «Она увидит, как ее будут любить». И после твоего письма он впервые сказал: «Да, я теперь верю, что она найдет больше счастия здесь, чем в прежней своей жизни, да и изменилось так всё в прежней жизни». Наконец Вяч<еслав> успокоился за тебя и только заботится о том, чтобы ты почувствовала всю любовь нашу к тебе. Кстати, сегодня еще ночью он внезапно (мы только что попили чай с молоком и вновь улеглись) сказал: «Напиши Марусе, чтобы теперь-то там непременно она оклеила свою комнату темными обоями. Выписала свои картины. Повесила бы все имеющиеся и устроила бы ком-

нату как на курсах, чтобы мы могли, как тогда, в России, к ней приходить в ее комнату». <...>

Сегодня 43-й день![1] Но головой он хорош, и доктор рекомендовал легкое чтение понемногу, и что я читаю? *Сборник пришел в корректурах весь напечатанный* с предисловием.....[2] Я скрыла от него, пока он был в сильн<ом> жару, но когда он стал третьего дня тревожиться о судьбе корректур, то призналась, что они здесь, и он *так* расцвел, *так* был счастлив. Вчера они весь день лежали рядом с ним. Он едва проглядывал их, вернее, *по*глядывал на них, щупал их и был глубоко счастлив. За хорошее, очень спокойное поведение я обещаю ему к вечеру почитать стихи, и он заслужил, и вчера с восторгом я читала ему несколько из его высоких, духовных и глубоко художественных стихотворений, и сама почувствовала, что имела бы глубокое утешение на самое ужасное страдание в них... <...> Его сборник и прекрасен и спасителен для многих душ. Это я знаю. Все окончено в нем задуманное им, и еще больше. Он был невероятно продуктивен именно до болезни... Он просит тебя прислать тотчас ему от дедушки *Вест<ник> Евр<опы> № 9* за 1900 г., где статья Трубецк<ого> о Соловьеве[3]. Также написать, кому знаешь и как только можно будет, прошение: купить и выслать сюда самое полное и вместе самое дешевое (лучше всего Никольского издание)* издание *Фета*[4]. Также прислать тотчас «*Vita Nova*» Dante: она в одном из томов, кажется, в 1-м «*Opere minori*» Dante. Кажется, таких томов *3*, и они должны были прийти с книгами от Шон'а. Если не найдешь, есть маленькая желто-красная книжечка немецкого Reclam издания: Neues Leben. Dante[5].

Среда утро. Ночь была хороша. Утром 37,1. Голова свежа. Он очень разумен и умеет *не* утомляться. Он просит выслать *1* экземпляр корректур, *оба* экземпляра (если послано два) примечаний (и рукопись их) и заглавный лист. Тебе он велит сохранить для чтения *1* экземпляр корректур и все гранки <неск сл. нрзб>, чтобы ты могла на свободе почитать стихи. Но его огорчают опечатки, порою искажающие смысл и звук. На стр. 147-й, напр., пропущен целый стих: читай после: «надежд среброликих», — «*Элизий бледных*». Или в пьесе <?> Laeta 2-й чит.: «Виргилиева лавра»[6]. Ну, разберешься как знаешь. <...>

---

* Фраза в скобках вписана сверху.

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 39—40, 42—45. Датировано по новому стилю (по старому — 8 августа). Извещение о прибытии номера «Вестника Европы» и сочинений Фета содержится в открытке от 22 сентября 1901 г. (РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 16).

[1] Ср. в письме Л.Д. к И.М. Гревсу от 23 августа / 5 сентября 1901: «Вячеслав лежит в страшном южном тифе уже 45 дней и еще не вне опасности далеко и не вне лихорадка; прошел же и меня провел через столь многие ужасы этой неведомо<й> мне доселе по силе и злобности болезни...» (История и поэзия. С. 232).

[2] См. в том же письме: «Кроме того, он с огромной продуктивностью работал над сборником, доканчивал замышленное <...> и написал много нового и перебрал весь порядок сборника, выпустив много старого, так что книга стала новою. Она теперь совсем закончена и лежит у нас вся в корректурах» (История и поэзия. С. 233—234).

[3] Имеется в виду статья С.Н. Трубецкого «Смерть В.С. Соловьева» (Вестник Европы. 1900. № 9). Вероятнее всего, журнал понадобился для проверки текста эпиграфа к «Стиху о Святой Горе»: «Трудна работа Господня. *Слова Вл. Соловьева на смертном одре*» (I, 420).

[4] Вероятно, имеется в виду Полное собрание стихотворений в трех томах (СПб., 1901; как помечено на каталожной карточке РНБ, вышло в 1900 году) под редакцией и с предисловием Бориса Владимировича Никольского (1870—1919), поэта, юриста, черносотенного общественного деятеля.

[5] Издание «Opere minori di Dante Alighieri» в трех томах многократно выходило во Флоренции с середины XIX века. Седьмое издание — Firenze: Barbera, 1893—1899. Reclam Verlag — крупнейшая немецкая фирма, издающая дешевые книги. В электронных каталогах отыскать издание «Новой жизни» нам не удалось.

[6] Первый пример относится к стихотворению «Зеркало Эроса» (I, 592). «Свежий Вергилиев лавр» — второе полустишие шестого стиха стихотворения «Laeta», II (I, 638).

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

Дорогая Марусенька, пишу на почте, хотя и дома писала, но забыла письмецо. Вчера опять был страшный день, поднялась температура и другие были признаки, меня повергшие в ужас. Но тревога оказалась фальшивою. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 1. Открытка с афинским штемпелем 1 (по новому стилю 14) сентября 1901.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Пятница день*

<...> Дорогая Маруся, я принуждена была обегать Афинские книжные лавки и купить «Vita Nuova» Dante, о которой день и

ночь вздыхал Вячеслав, страшась за судьбу своего сонета, где требовалась проверка трех слов, взятых на память из этой книги[1]. Ни корректуры, ни «Vita Nuova» не пришли с прошлою почтою. Так поступать <...> я не считала тебя способной. <...>

О болезни что сказать? всё то же. Доктор в утешение сказал, что бывает «замедляющийся тиф», кот<орый> длится и *100* дней. Сегодня *60-й* день, и температура была в 2 часа дня *38*! <...>

Затем вот поручения Вячеслава: 1) через кого ты выписала «Вест<ник> Евр<опы>» и кому его прищлют, нам или тебе? От его прихода зависит вторая и окончательн<ая> отправка корректур, т.е. *выход книги*, которых мы ожидаем на днях из типографии. 2) мы очень просим прислать Розанова и Мережковского, кот<орых> ты давно выписала, 3) просит устроиться насчет «Нов<ого> Врем<ени>»[2]. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 6 и об, 8 и об. Афинский штемпель 5 сентября 1901 (по новому стилю – 18 сентября).

[1] Имеется в виду стихотворение «Il Gigante», где ст. 1—2 читаются: «Средь стогн прославленных, где Беатриче Данте, / Увидев: "Incipit", воскликнул: "Vita Nova"...» (I, 615).

[2] Номера газеты «Новое время» Замятнина получала от матери из Петербурга и потом пересылала в Афины (см. также ниже, в письме от 30 ноября).

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Афины, 29-ого Сент. 1901*

<...> Вчера был 4-й день, что он вставал. Но после обеда, т.е. часа в 3, он лег опять, в ожидании доктора, потому что нас тревожил неприятный вид распухшей ноги, вернее, отекшей до потери всякой формы у ступни. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 17 и об.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*5/18 Окт. 1901*

<...> в ту же субботу надо было мне идти к консулу русскому, чтобы спрашивать у него совета, а вернее — разъяснений, как нам быть.

Давнишние приставания и неприятные притеснения наших хозяев разрешились наконец колоссальным взрывом. Они сначала потребовали восстановления одного матраса и одеяла и плату за чистку остальных вещей и дезинфекцию комнату <так!>, потом потребовали возобновление всех вещей и окраски комнаты и ватерклозета и, наконец, кроме этого всего, вознаграждение за *4 месяца* за комнаты, якобы не сданные из-за болезни нашей, и всего около 1500 драхм. <...> Когда мы заявили, что на некоторую уплату согласны, о размере которой можно потолковать, но подобный счет платить не станем, то они прислали нам повестку в суд по гражданским делам!! Итак, когда выберемся, неизвестно, ибо неизвестно, не окажемся ли в тюрьме! Вот-то хорошо будет для нашей литературы: писать будет удобно и спокойно! Завтра иду к консулу за ответом, который он обещал дать, поговорив с адвокатом. Думаю, что всё требование идиотская, бесправная, немецкая наглость. Но какая гадостная проза, как надоедно. Вячеслав говорит, что фамилия наших хозяев Kloebe есть множественное число от русского Клоп. Der Klop — die Kloebe[1]. Он гуляет немного и вообще посильнее, ест хорошо, часто раз в день ходит в ресторан наш милый, где у нас большой друг лакей. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 20 об. — 21 об.

[1] О судьбе этого иска см. в письмах далее.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*17/30.X.1901*

<...> Вячеслав теперь как-то слабее телом и устал мыслью, чем был непосредственно после болезни. Он ничего не делает, ни одной строчки не читает, мало даже говорит, только моим романом интересуется живо и помогает мне много. Он целых 2 недели или даже больше мучился зубными невралгиями: очень тяжело было. <...> Живем мы так: обыкновенно утром уходим гулять на За́пион: прекрасное возвышенное место на краю Афин, откуда вид на море, Акрополь и все горы. Там бродим по садам со скамеечки на скамеечку и беседуем. К 12 идем завтракать, после чего возвращаемся домой, и я пишу роман, так что ничего не успеваю другого, с жадностью, а он или бродит по комнате (часто с силь-

ною зубною болью), или лежит молча, или слушает и советует мне. Время от времени кормлю его, а к 7 ½ часам готовлю ужин. В 9 ч. уже ложимся и раньше 10-ти тушим свет. Сутяжные дела так: хозяева на переговоры не идут; т.к. дело в суд назначено через несколько недель, то мы пойдем к консулу и попросим его принять от нас некоторый залог (деньги из Рима уже выписаны сюда) и устроим, чтобы нас выпустили без затруднения.

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 26 и об.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

По поводу знаменитой кляузы в суде: писал Вячеслав тончайший разбор ее на 6 страницах на изысканнейшем немецком языке, и сын хозяйки (очень почтенный немец) отвечал подробным ученым трактатом о бациллах с английскими цитатами. Ни с места две недели! Пошли бабы да поругались хорошенько сначала, с хорошею бранью я предложила 150 др. вместо 1500! Потом объявила, что уедем, ничего не заплатив, и сегодня уже старушенка просит всего *300* др<ахм>*, но и то не получит[1]. Но беда в том, что Вяч<еслав> очень скверный: слаб, вял непонятно. Едва бродит, никакого усилия воли и мысли не переносит <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 35. Афинский штемпель 26 октября.

[1] 19 ноября / 2 декабря 1901 Иванов писал И.М. Гревсу: «К слабости и невралгиям присоединились неприятности из-за хищных инстинктов наших квартирных хозяев, требовавших от нас судебным порядком за будто бы причиненные им моей болезнью убытки 1400 драхм, но — после разных перипетий — прекративших иск по получении 200 драхм» (История и поэзия. С. 236).

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*Четверг вечер*

Вот второй вечер, что мы проводим в новом жилище. Наш домик расположен на самом высоком месте в Афинах, и он занимает один самый высший кусочек земли во всем городе. Он уже не имеет адреса «на улице», а «над улицей». Итак, мы живем «Au-

* Написано неотчетливо и, возможно, читается как *800*.

dessus de la rue Deinokrate», но так как такой адрес не совсем приличен для людей, разве для птицы или летучей мыши, то лучше писать на имя нашего домохозяина. Кстати, это имя «Ангел»! Вячеслав написал адрес, но фамилию хозяина не совсем верно: Monsieur Angelo Gónimos. Он будет приносить нам письма. Он оптик, он куафер, он по смыслу фамилии плодоносный, рождающий (γοῆμος или γονιός*), значит, можно иметь зрения, быть в красе бороды и волос и приносить богатую жатву под его кровом, где и уют, и хлеб насущный имеем. Домик лепится на склоне Ликабетта. *Над* ним гора вздымается безумным утесом, где наверху белеет церковь Св. Георгия, старая и прекрасная святыня, маленькая и священная в «лепоте» икон. Рядом с ним начинается сосновый лес — <2 нрзб> по красно-бурым кручам, поросшим кактусами и агавами. *Под* ним расстилается город, Акрополь, Омалтéон <?> со своими янтарными, величественными колоннами, Мусеион — храм <?> Диониса и муз, Ареопаг со страшной расщелиной Евменид.

Море синее, и хрустальные берега с их горами, и гордый Саламин <?> и Эгина роскошная, и мысы, и еще острова, всё в хрустальной синеве и аттические горы вокруг: прямо почти напротив домика прекрасный долгий Гимет, всегда пурпуровый на закате; в лиловом тумане днем <?>, как небо звездной ночи, и Пентеликон <?> дальше налево и . . . . . не описать, не перечислить. Серьезная, строгая и гармоничная красота Аттики охватывает нас отсюда во всякое любое мгновение нашей жизни, и льется солнечное тепло, и воздух живит с моря, и с гор, и от сосен. Комнатка невелика, келлейка <так!>: белые стены, изящно расписанный очень невысокий потолок, несколько прекрасных видов повешены. Ковры покрывают весь пол, постель, три стола и маленький диванчик, все скромно, но чисто, тепло, уютно. Тишина, тикают большие часы над дверью, висит большой крест из цветов над постелью, несутся далекие звуки снизу, замирая мягко. На бюро разложены дорогие его сердцу книги... До института археол<огического> 20 мин. ходьбы[1]. <...>

К завтраку сошла в ресторан, где встретилась с В<ячеславом>, позавтракали и всё рассчитывали, который пароход придет вовремя до Сережиного приезда домой <...> Пришли на гору, захватили книги и вышли в пиннету <так!>. Сидим под пиннией-

* Слова в скобках приписаны рукой Иванова.

<так!>: В<ячеслав> читает миф о Дионисе, я имею книгу Loti[2], (очевидно!) пишу тебе. Сверху только что доносились тягучие звуки греческой службы, слышны: ки́риэ Элле́йсон! и θеос![3] Теперь кончилось Богослужение, и видим: тянутся на утес Ликавитта <так!> русские матросики. Здесь стоит 7 кораблей наших. На Акрополе долго беседовали с ними. Есть Амур, Енисей, Варяг, Николай и т.д. В нашей комнате наш милый хозяин вешает занавески, совсем копия занавесей красных нашей гостиной. <...> Хозяйка простая, славная. Ожидает дитя на днях. С нею живо научилась бы по-гречески. И то болтаю постоянно — и в 2, 3 недели надеюсь получить толчек вперед. До сих пор почти не было случая. <...> Вход к нам: через порог и дверь во дворик узенький: налево сейчас круглый колодез <так!>, где я по вечерам черпаю колесом ведро свежей горной воды. Затем стенка с цветами и 3 ступеньки на терраску повыше, здесь направо дверь прямо в нашу комнату. В ней окна небольшие и стены толстенные — совсем монастырская келлия <так!>. Дальше новая стена с южными цветами и зеленью и опять 3 ступеньки и еще стена и ступеньки и оттуда с 4-й терраски лесенька в задний поперечный домик (потому что вдоль террасок и налево и направо двери как в помпейских домах в каждую комнату или кухоньку отдельно). Так как занялась анекдотами, то заодно о Лионàрди, нашем ресторанном лакее. Он считает себя пророком погоды и всегда предсказывает, но не всегда удачно. С виду он толстый и тяжелый и вместе ловкий, как молодой медведь, обладает и его грацией, и когда ходит — доски трясутся, красив и весел, с карими добродушными славными глазами и совсем детским смехом и шутками. Но описать не могу достаточно хорошо, потому что он неописуем, такой ангел.... Он на днях говорит мне, когда у В<ячеслава> не хватило денег расплатиться: «Ты плати по утрам, а он по вечерам пусть платит!» Ему 23 года и его всегда хочется сначала хлопнуть зараз по обеим щекам толстым, потом расцеловать. Другой лакей Гревс, т.е. мы его так называем, très distingué, но дионисичного склада души (в отличие от кисло-слезливого прототипа своего), особенно когда дело идет о дифирамбах греческим гли́кисмам (пирожным), которые действительно хороши. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 43—46 об. Четверг — видимо, 6/19 ноября (о перемене адреса Иванов известил Замятнину открыткой от 1/14 ноября).

[1] Сам Иванов описывал И.М. Гревсу свое жилище в письме от 19 ноября / 2 декабря: «Мы переселились на южный склон Ликабета; улицы уже нет, и выше нас нет

домов, а только пинии да скалы, на которых белеется монастырь св. Георгия. Мы озираем долину Илисса и Гимет, город с Акрополем, Фалерон, Эгину и берег Пелопоннеса. Couleur locale <местный колорит — *фр.*)> — жизни — в полной мере; дешевизна; чистый воздух, расстояние от Герм.<анского> Института и центра Афин — минут 20 ходьбы. Но у нас, на горе, нет ни фонарей, ни регулярных почтальонов...» (История и поэзия. С. 236). Об описанном здесь пейзаже см.: *Котрелев Н.В.* Вячеслав Иванов. «Аттика и Галилея» (из материалов комментария на корпус лирики) // Scripta Gregoriana: Сборник в честь семидесятилетия академика Г.М. Бонгард-Левина. М., 2003. С. 397—409.

[2] Пьер Лоти (Луи Мари Жюльен Вио; 1850—1923), французский писатель, автор многочисленных популярных романов.

[3] «Господи, помилуй!», «Бог» (*греч.*). Эти греческие слова удержались и в русском церковном чине.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*10/3 ноя.*

<...> У нас здесь ужасные события: греки с ума сошли из-за перевода на новогреч<еский> язык Евангелия, предпринятый <так!> по инициативе королевы. И устроили трагикомическую революцию с славянофобскими криками, и кончилось тем, что убили 8 чел<овек>! и ранили еще многих[1]. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 48об.

[1] См.: «После войны с турками, в 1897 греч. королева Ольга основала общество для духовного просвещения и предложила митр. Прокопию начать работу над переводом Писания на новогреч. язык. Дело было поручено журналисту Александру Паллису, жившему в Лондоне. В 1901 афинская газета "Акрополис" начала печатание перевода Паллиса. Однако церк. и университетские круги встретили его крайне враждебно, видя в нем профанацию священного текста. Константинопольский патриарх Иоаким поддержал противников Паллиса. Проблема перевода приняла характер затяжного кризиса, в к-ром немалую роль сыграли национально-политич. страсти, и в конце концов Паллис вынужден был напечатать свой труд в Лондоне (1902). Только полвека спустя было издано два новогреч. перевода (Афины, 1955), причем один из них является билингвой, содержащей новогреч. пер. и "Текстус рецептус"» (www.krotov.info/library/bible/comm3/perevody.html).

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*30 ноября. Суб. утро.*

<...> Вячеслав как раз уходил в библиотеку, чтобы узнать о лекции Dörpfeld'a на Акрополе о Пропилеях. Эта первая лекция должна была состояться сегодня в 2 часа. Но после теплого, лет-

него дождя в течение вчерашнего дня сегодня встретил нас Гимет запорошенный снегом, и из-за его стены пришли холодные тучи, посыпающие и нас льдистым дождем. Верно не будет лекции. Но Вяч<еслав> спешит вниз, чтобы застать, кого надо, чтобы спросить <...>

Да, Марусинька, много есть за и много против оставления Вяч<еслава> здесь. Но прежде всего надо сказать себе, что уезжать теперь из Греции, когда начинается ее археологическая жизнь в ученых лекциях и поездках, было бы просто насмешкой над этим, столь, внешним образом, неудачным путешествием. Домой ему хочется, конечно, до глубокой тоски, разлука со мною страшит его и делает его чрезмерно нервным, но что же делать, такова жизнь, таков долг, ею налагаемый, поскольку мы по доброй совести сумели различить его. Теперь я смотрю за ним, чтобы он не переутомлялся. <...>Вот что, кстати. Устройся, ради Бога, как можешь скорее с пересылкой от мамы «Нов<ого> Вр<емени>» и пересылай его Вячеславу раз или два в неделю. <...> Лекция была: Вяч<еслав> вернулся на гору сказать это. Спешно позавтракал <...> и побежал на Акрополь: Бешеный холод, сев<ерный> ветер. Но часа два слушали в гурьбе археологов разных наций, и только о нижней части Пропилей[1]. Вяч<есла>ву, конечно, незаменимы Афины. Вся атмосфера полна науки. Пришел домой уже в темноту. <...>

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 50 и об., 52 об. – 53 об. В письме есть стихотворные приписки Иванова:

Спасибо за «дорогой привет»;
Но не спасибо за дорогой уют!
Вас отличает *неверность* и *измена*.
Когда б Вы были Антигона — не Исмена!*

Из-за ***Юлаши*** *
Милы Вам «хризантемы»
Что Вам желанья наши?..
Но не будем больше касаться этой темы!

К словам Зиновьевой-Аннибал приписаны (в квадратных скобках карандашом) слова Иванова:

Только еще одно: {глядите вещам на дно} будь ***тверда*** и ***цельна*** с Олей [— глыбой льда, и сильна волей] и ее новой девушкой тоже | чтобы на Вас была меньше похожа].

[1] Парадный проход из портиков и колоннад, ведущий на Акрополь.

* Строка записана карандашом.

## В.И. Иванов и Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

*День был без числа. Пятница.*

<...> О нас что? Вяч<еслав> еще пухнет, т.е. его нога отекает, и под глазами утром мешки, но сильнее в общем и plein de zèle[1], который об меня est coupé court[2]. Однако уже на 2-х лекциях был: по Акрополю и по чтению надписей, и завтра опять в Акрополь. Для науки он оживает, но мучается всякими сомнениями еще. Трудно ему после тяжкого перерыва в науку вступать и такую огромную задачу оглядывать. Да и сил еще душевных мало: настроение не вполне здоровое. Через 9 дней еду. <...>

Дорогой друг, brava, brava![3] Какой нас с вами пожар охватил научный![4] Травленые мы волки! Старые боевые кони! Услышали трубу и ринулись в бой! Вы на лекции — и я на лекции! Вы на «упражнения» — и я на «упражнения» (камни читать в Музее). Bravi оба! Решительно, старость наилучшее время, как говорит Цицерон, много учившийся в старости. Катон старший начал учиться по-гречески — кажется, 80 лет от роду. Через 35 лет мы с вами вместе примемся за Санскрит[5]. Сегодня вечером подсчитывал итоги прожитых лет и нашел, что научно бездействую 5 лет с половиной, за вычетом недель (плодотворных) в милом нашем Reading Room. Поэтому научный возраст мой определяется формулой n — 5 ½ (где n — число лет жизни). Утешаюсь, как видите. Потому что имею ощущение, будто проснулся и не знаю, сколько времени и отчего же столько спал. Обнимаю. В. Ученые дураки. Обнимаю. Л.

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 58 и об. Зиновьева-Аннибал выехала в Женеву 2 декабря ст. ст., и если верны слова о том, что она выезжает через 9 дней, то письмо написано 23 ноября / 5 декабря. Первый абзац написан рукой Зиновьевой-Аннибал, а второй — рукой Иванова (за исключением последних слов прощания Л.Д.).

[1] Полон рвения (*фр.*).

[2] Оборвался (*фр.*).

[3] Отлично! отлично! (*ит.*)

[4] Имеется в виду, что одновременно с началом систематических занятий Иванова начала слушать лекции в Женевском университете М.М. Замятнина (подробнее см. в ее письме от 16/3, 4/17, 6/19 декабря, где она рассказывает о лекциях профессора Bouviez и знаменитого критика Brunetière).

[5] Санскрит Иванов начал изучать осенью 1902 года, т.е. менее чем через год.

## Л.Д. Зиновьева-Аннибал — М.М. Замятниной

А вот еще мой совет, Маруся: не бить Костю, если можешь это выдержать: ему *10-й* год! Ты раньше не стала бы бить, но думаешь, что следуешь за Вячеславом. Но угнаться за Вячеславом нельзя, он вечно иной, хотя всегда *искрен* и *весь* поэтому действует всегда на людей цельно. Но сегодня он иной, чем вчера, и завтра — чем сегодня, и частно <так!> в данном случае я уверена за него, что он никогда пальцем не тронет двух младших...

РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 59 об. Письмо не датировано и конверт не сохранился.

# *Содержание*

*Майкл Вахтель.* Дионис или Протей? *О ранней переписке Вяч. Иванова с Л.Д. Зиновьевой-Аннибал* ..... 5
*Н.А. Богомолов.* ...И другие действующие лица ..... 22
О тексте данного издания ..... 60
Сокращения ..... 64

**ИНТРОДУКЦИЯ**

Анцио и Рим 1894 ..... 65

**ПЕРЕПИСКА 1894**

1. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *14/28 июля 1894. Женева* ..... 73
2. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *31 августа / 12 сентября 1894. Пезаро* ..... 76
3. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *2/14 сентября 1894. Флоренция* ..... 80
4. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *5/17 сентября 1894. Пезаро* ..... 85
5. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *7/19 сентября 1894. Флоренция* ..... 86
6. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *7/19 сентября 1894. Пезаро* ..... 87
7. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *8/20 сентября 1894. Флоренция* ..... 88
8. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *9/21 сентября 1894. Пезаро* ..... 88
9. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *14/26 сентября 1894. Пезаро* ..... 89
10. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *15/27 сентября 1894. Флоренция* ..... 89

**ИНТЕРМЕДИЯ (I)**

Флоренция 1894 ..... 91

**ПЕРЕПИСКА 1895**

11. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *4/16 января 1895. Рим* ..... 117
12. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *18 января 1895. Флоренция* ..... 118

13. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *6/18 января 1895. Рим* ..... 119
14. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *6/28 января 1895. Рим* ..... 119
15. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *22 января / 3 февраля 1895. Рим* ..... 122
16. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *26 января / 7 февраля 1895. Рим* ..... 123
17. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *29—30 января / 10—11 февраля 1895. Рим* ..... 123
18. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *1—2 / 13—14 февраля 1895. Рим* ..... 126
19. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *4/16 февраля 1895. Рим* ..... 128
20. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *5/17 февраля 1895. Рим* ..... 129
21. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *9/21 февраля 1895. Рим* ..... 133
22. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *10/22 февраля 1895. Флоренция* ..... 136
23. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *11/23 февраля 1895. Рим* ..... 138
24. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *13/25 февраля 1895. Рим* ..... 140
25. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *15/27 февраля 1895. Флоренция* ..... 142
26. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *15—17 февраля / 27 февраля—1 марта 1895. Флоренция* ..... 144
27. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *18 февраля / 2 марта 1895. Рим* ..... 147
28. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *16, 19 февраля /28 февраля, 3 марта 1895. Рим* ..... 149
29. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *18—19 февраля / 2- 3 марта 1895. Флоренция* ..... 150
30. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *21 февраля / 5 марта 1895. Флоренция* .. 152
31. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *22 февраля / 6 марта 1895. Рим* ..... 153
32. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *25 февраля / 9 марта 1895. Рим* ..... 154
33. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *28 февраля / 11 марта 1895. Рим* ..... 154
34. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *28 февраля / 11 марта 1895. Флоренция* ..... 155
35. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *3/15 марта 1895. Флоренция* ..... 155
36. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *4/16 марта 1895. Флоренция* ..... 157
37. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *4/16 марта 1895. Рим* ..... 157
38. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *4—5/16—17 марта 1895. Флоренция* ..... 159
39. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *5/17 марта 1895. Рим* ..... 161
40. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *5/17 марта 1895. Рим* ..... 163
41. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *7/19 марта 1895. Рим* ..... 164
42. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *8/20 марта 1895. Флоренция* ..... 168
43. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *9/21 марта 1895. Флоренция* ..... 169
44. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *10/22 марта 1895. Рим* ..... 171
45. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *11—12 / 23—24 марта 1895. Рим* ..... 173
46. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *12/24 марта 1895. Флоренция* ..... 173
47. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *13/25 марта 1895. Флоренция* ..... 176
48. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *13/25 марта 1895. Рим* ..... 177

49. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *14/26 марта 1895. Флоренция* ..... 179
50. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *15/27 марта 1895. Рим* ..... 181
51. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *17/29 марта 1895. Флоренция* ..... 182
52. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *17/29 марта 1895. Флоренция* ..... 183
53. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *18/30 марта 1895. Флоренция* ..... 185
54. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *18/30 марта 1895. Рим* ..... 186
55. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *18/30 марта 1895. Рим* ..... 188
56. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *19/31 марта 1895. Рим* ..... 189
57. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *19/31 марта 1895. Флоренция* ..... 190
58. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *21 марта / 2 апреля 1895. Рим* ..... 193
59. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *22 марта / 3 апреля 1895. Флоренция* .... 194
60. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *24 апреля / 6 мая 1895. Флоренция* ..... 195
61. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *25 апреля / 7 мая 1895. Флоренция* ..... 198
62. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *26 апреля / 8 мая 1895. Флоренция* ..... 198
63. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *27 апреля / 9 мая 1895. Флоренция* ..... 200
64. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *27 апреля / 9 мая. Берлин* ..... 200
65. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *29 апреля / 11 мая 1895. Флоренция* ..... 205
66. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *30 апреля / 12 мая 1895. Флоренция* ..... 207
67. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *1/13 мая 1895. Флоренция* ..... 208
68. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *2—3 / 14—15 мая 1895. Берлин* ..... 210
69. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *4/16 мая 1895. Берлин* ..... 214
70. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *5/17 мая 1895. Флоренция* ..... 216
71. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *6/18 мая 1895. Варшава* ..... 218
72. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *6—7 / 18—19 мая 1895. Флоренция* ..... 219
73. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *12/24 мая 1895. Люцерн* ..... 221
74. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *13/25 мая 1895. Париж* ..... 223
75. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *16/28 мая 1895. Париж* ..... 223
76. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *17/29 мая 1895. Москва* ..... 226
77. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *19/31 мая 1895. Париж* ..... 226
78. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *21 мая / 2 июня 1895. Париж* ..... 227
79. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *23 мая / 4 июня 1895. Париж* ..... 229
80. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *24 мая / 5 июня 1895. Париж* ..... 231
81. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *26 мая / 7 июня 1895. Москва* ..... 231
82. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *31 мая / 12 июня 1895. Париж* ..... 231
83. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *1/13 июня 1895. Берлин* ..... 234
84. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *2/14 июня 1895. Париж* ..... 236
85. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *3/15 июня 1895. Париж* ..... 236
86. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *3/15 июня 1895. Париж* ..... 236
87. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *<Ночь со 2 на 3 / с 14 на 15 июня 1895. Париж>* ..... 239
88. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *4/16 июня 1895. Париж* ..... 243

89. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *<4—5 / 16—17 июня 1895. Париж>* ..... 245
90. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *6/18 июня 1895. Париж* ..... 248
91. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *5/17 июня 1895. Берлин* ..... 250
92. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *6/18 июня 1895. Берлин* ..... 253
93. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *8/20 июня 1895. Париж* ..... 254
94. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *10/22 июня 1895. Берлин* ..... 255
95. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *11/23 июня 1895. Париж* ..... 256
96. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *12/24 июня 1895. Париж* ..... 261
97. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *5/27 июня 1895. Берлин* ..... 262
98. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *19 июня / 1 июля 1895. Париж* ..... 263
99. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *21 июня / 3 июля 1895. Берлин* ..... 264
100. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *21 июня / 3 июля 1895. Париж* ..... 264
101. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *21 июня / 3 июля 1895. Париж* ..... 269
102. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *22 (?) июня / 4 (?) июля 1895. Париж* .. 271
103. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *23 июня / 5 июля 1895. Берлин* ..... 273
104. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *24 июня / 6 июля 1895. Берлин* ..... 278
105. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *24 или 25 июня / 6 или 7 июля 1895. Берлин* ..... 279
106. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *25 июня / 7 июля 1895. Париж* ..... 279
107. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *25 июня / 7 июля 1895. Париж* ..... 280
108. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *25 июня / 7 июля 1895. Париж* ..... 285
109. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *26 июня / 8 июля 1895. Париж* ..... 288
110. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *26 июня / 8 июля 1895. Париж* ..... 289
111. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *<Начало 10-х чисел июля н.ст. (?) 1895. Париж>* ..... 289
112. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *<Июль—сентябрь 1895 (?). Париж>* .... 291
113. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *28 сентября / 10 октября 1895. Женева* ..... 292
114. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *8 сентября / 10 октября 1895. Париж* ..... 293
115. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *30 сентября / 12 октября 1895. Берлин* ..... 294
116. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *2/14 октября 1895. Женева* ..... 295
117. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *2—3 / 14—15 октября 1895. Петербург* ..... 296
118. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *4/16 октября 1895. Женева* ..... 298
119. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *5/17 октября 1895. Петербург* ..... 299
120. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *6/18 октября 1895. Петербург* ..... 301
121. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *6/18 октября 1895. Женева* ..... 301
122. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *8/20 октября 1895. Париж* ..... 304
123. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *9/21 октября 1895. Петербург* ..... 306

124. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *11/23 октября 1895. Париж* ..... 311
125. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *11/23 октября 1895. Петербург* ..... 311
126. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *14/26 октября 1895. Париж* ..... 312
127. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *15/27 октября 1895. Париж* ..... 315
128. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *16—17 / 28—29 октября 1895. Париж* ..... 317
129. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *18/30 октября 1895. Париж* ..... 319
130. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *20 октября / 1 ноября 1895. Петербург* ..... 321
131. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *20 октября / 1 ноября 1895. Петербург* ..... 323
132. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *21 октября / 2 ноября 1895. Петербург* ..... 327
133. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *22 октября / 3 ноября 1895. Париж* ..... 332
134. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *23 октября / 4 ноября 1895. Париж* ..... 332
135. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *23 октября / 4 ноября 1895. Москва* ..... 337
136. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *25 октября / 6 ноября 1895. Смоленск* ..... 339
137. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *28—29 октября / 9—10 ноября 1895. Берлин* ..... 340
138. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *28 октября / 9 ноября 1895. Париж* ..... 345
139. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *29 октября / 10 ноября 1895. Париж* ..... 348
140. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *31 октября / 12 ноября 1895. Берлин* ..... 351
141. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *1/13 ноября 1895. Париж* ..... 352
142. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *2/14 ноября 1895. Париж* ..... 354
143. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *4/16 ноября 1895. Берлин* ..... 355
144. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *6/18 ноября 1895. Париж* ..... 360
145. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *7/19 ноября 1895. Париж* ..... 362
146. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *8/20 ноября 1895. Берлин* ..... 363
147. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *9/21 ноября 1895. Берлин* ..... 367
148. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *12—13 / 24—25 ноября 1895. Париж* ..... 369
149. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *13/25 ноября 1895. Париж* ..... 372
150. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *14/26 ноября 1895. Париж* ..... 373
151. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *14/26 ноября 1895. Берлин* ..... 374
152. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *15/27 ноября 1895. Берлин* ..... 375
153. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *17/29 ноября 1895. Берлин* ..... 377

## ПЕРЕПИСКА 1896

154. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *23 декабря 1895 / 4 января 1896. Женева* ..... 381
155. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *Апрель 1896. Париж* ..... 382

156. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *12/24 мая 1896. Макон* ..... 383
157. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *5/27 мая 1896. Женева* ..... 383
158. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *15/27 мая 1896. Женева* ..... 386
159. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *18/30 июня 1896. Дижон* ..... 387
160. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *9 июля/1 июля (?) 1896. Лозанна* ..... 388
161. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *20 июня / 2 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 388
162. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *21 июня / 3 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 390
163. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *21 июня / 3 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 391
164. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *21 июня / 3 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 395
165. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *21 июня / 3 июля 1896. Париж* ..... 396
166. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *22 июня / 4 июля 1896. Париж* ..... 398
167. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *22 июня / 4 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 402
168. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *23 июня / 5 июля 1896. Париж* ..... 405
169. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *23 июня / 5 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 405
170. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *23 июня / 5 июля 1896. Париж* ..... 405
171. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *24 июня / 6 июля. Грион-сюр-Бекс* ..... 406
172. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *24 июня / 6 июля. Грион-сюр-Бекс* ..... 406
173. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *24 июня / 6 июля. Амбюлан* ..... 408
174. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *25—26 июня / 7—8 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 409
175. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *25 июня / 7 июля 1896. Париж* ..... 411
176. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *25 июня / 7 июля 1896. Париж* ..... 411
177. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *26 или 27 июня / 8 или 9 июля 1896 (?). Париж* ..... 414
178. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *28 июня / 10 июля 1896. Париж* ..... 415
179. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *28 июня / 10 июля 1896. Париж* ..... 419
180. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *28 июня / 10 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 421
181. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *29 июня / 11 июля 1896. Париж* ..... 424
182. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *29 июня / 11 июля 1896. Париж* ..... 426
183. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *30 июня / 12 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 428
184. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *2/14 июля 1896. Париж* ..... 430
185. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *2/14 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 433
186. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *2—3 / 14—15 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 436

187. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *4/16 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 438
188. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *4/16 июля 1896. Париж* ..... 439
189. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *5/17 июля 1896. Париж* ..... 443
190. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *6/18 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 444
191. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *6/18 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 445
192. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *7/19 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 445
193. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *7/19 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 450
194. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *7/19 июля 1896. Париж* ..... 450
195. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *8/20 июля 1896. Париж* ..... 452
196. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *8/20 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 454
197. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *8/20 июля 1896. Париж* ..... 454
198. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *9/21 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 455
199. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *9/21 июля 1896. Париж* ..... 458
200. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *10/22 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 459
201. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *10/22 июля 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 459
202. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *Июль 1896. Грион-сюр-Бекс* ..... 460
203. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *12/24 июля 1896. Париж* ..... 460
204. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *25 сентября / 7 (?) октября 1896. Женева* ..... 462
205. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *25 сентября / 7 октября 1896. Женева* ..... 463
206. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *26 сентября / 8 (?) октября 1896. Женева* ..... 464
207. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *7 сентября / 9 октября 1896. Берн* ..... 465
208. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *26—27 сентября / 8—9 октября 1896. Женева* ..... 468
209. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *28 сентября / 10 октября 1896. Берн* .. 470
210. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *29 сентября / 11 октября 1896. Женева* ..... 471
211. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *29 или 30 сентября / 11 или 12 октября 1896. Женева* ..... 471
212. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *Октябрь н. ст. 1896 (?). Женева* ..... 472
213. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *5/17 декабря 1896. Париж* ..... 472
214. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *6/18 декабря 1896. Париж* ..... 473
215. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *6/18 декабря 1896. Берлин* ..... 474
216. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *7/19 декабря 1896. Берлин* ..... 477
217. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *8/20 декабря 1896. Париж* ..... 480
218. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *8/20 декабря 1896. Берлин* ..... 480
219. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *10/22 декабря 1896. Берлин* ..... 483
220. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *12/24 декабря 1896. Париж* ..... 485
221. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *12—13 / 24—25 декабря 1896. Берлин* . 488

222. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *14/26 декабря 1896. Париж* ..... 492
223. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *14/28 декабря 1896. Париж* ..... 493
224. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *17/29 декабря 1896. Берлин* ..... 495
225. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *17/29 декабря 1896. Париж* ..... 498
226. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *18/30 (?) декабря 1896. Париж* ..... 498
227. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *19/31 декабря 1896. Париж* ..... 500

## ПЕРЕПИСКА 1897

228. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *20 декабря 1896 / 1 января 1897. Париж* ..... 503
229. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *20 декабря 1896 / 1 января 1897. Берлин* ..... 504
230. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *21 декабря 1896 / 2 января 1897. Берлин* ..... 506
231. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *22 декабря 1896 / 3 января 1897. Париж* ..... 509
232. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *23 декабря 1896 / 4 января 1897. Берлин* ..... 511
233. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *24 декабря 1896 / 5 января 1897. Париж* ..... 513
234. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *25 декабря 1896 / 6 января 1897. Берлин* ..... 514
235. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *27 декабря 1896 / 8 января 1897. Париж* ..... 519
236. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *28 декабря 1896 / 9 января 1897. Берлин* ..... 520
237. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *29 декабря 1896 / 10 января 1897. Париж* ..... 522
238. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *29 декабря 1896 / 10 января 1897. Париж* ..... 523
239. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *30 декабря 1896 / 11 января 1897. Париж* ..... 523
240. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *30 декабря 1896 / 11 января 1897. Париж* ..... 525
241. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *30 декабря 1896 / 11 января 1897. Берлин* ..... 526
242. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *30 декабря 1896 / 12 января 1897. Париж* ..... 528
243. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *31 декабря 1896 / 12 января 1897. Берлин* ..... 528
244. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *1/13 января 1897. Париж* ..... 528

245. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *1/13 января 1897. Берлин* ..... 529
246. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *2/14 января 1897. Париж* ..... 531
247. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *2/14 января 1897. Париж* ..... 533
248. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *3/15 января 1897. Париж* ..... 533
249. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *4/16 января 1897. Берлин* ..... 534
250. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *4/16 января 1897. Париж* ..... 535
251. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *4/16 января 1897. Берлин* ..... 535
252. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *14/26 января 1897. Кенигсберг* ..... 536
253. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *15/27 января 1897. Берлин* ..... 536
254. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *16/28 января 1897. Берлин* ..... 537
255. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *16/28 января 1897. Петербург* ..... 540
256. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *17/29 января 1897. Берлин* ..... 541
257. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *18/30 января 1897. Берлин* ..... 542
258. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *18/30 января 1897. Петербург* ..... 543
259. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *19/31 января 1897. Берлин* ..... 544
260. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *19/31 января 1897. Петербург* ..... 546
261. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *20 января / 1 февраля 1897. Петербург* ..... 549
262. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *20 января / 1 февраля 1897. Берлин* ..... 550
263. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *21 января / 2 февраля 1897. Петербург* ..... 551
264. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *22 января / 3 февраля 1897. Берлин* ..... 551
265. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *22 января / 3 февраля 1897. Петербург* ..... 553
266. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *23 января / 4 февраля 1897. Петербург* ..... 555
267. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *25 января / 6 февраля 1897. Петербург* ..... 555
268. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *27 января / 8 февраля 1897. Кенигсберг* ..... 555
269. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *27 мая / 8 июня 1897. Париж* ..... 556
270. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *2/14 июля 1897. Аннемасс* ..... 556
271. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *2—3 /14—15 июля 1897. Клюз* ..... 557
272. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *15/27 августа 1897. Женева* ..... 558
273. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *Конец августа или начало сентября н. ст. 1897. Женева* ..... 558
274. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *Конец августа или начало сентября н. ст. 1897. Женева* ..... 559

## ПЕРЕПИСКА 1898

275. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *13/25 (?) апреля 1898. Турин* ..... 563
276. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *14/26 (?) апреля 1898. Шамбери* ..... 564

277. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *15/27 апреля 1898. Женева* ..... 565
278. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *15/27 апреля 1898. Аренцано* ..... 566
279. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *16/28 апреля 1898. Аренцано* ..... 568
280. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *16/28 апреля 1898. Женева* ..... 569
281. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *17/29 апреля 1898. Аренцано* ..... 570
282. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *17/29 или 18/30 апреля 1898. Женева* ... 571
283. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *18/30 апреля 1898. Женева* ..... 572
284. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *18/30 апреля 1898. Женева* ..... 573
285. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *19 апреля / 1 мая 1898. Аренцано* ..... 574
286. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *19 апреля / 1 мая 1898. Женева* ..... 577
287. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *20 апреля / 2 мая 1898. Генуя* ..... 578
288. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *21 апреля / 3 мая 1898. Женева* ..... 580
289. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *22 апреля / 4 мая 1898. Аренцано* ..... 582
290. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *22 апреля / 4 мая 1898. Женева* ..... 584
291. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *23 апреля / 5 мая 1898. Женева* ..... 586
292. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *24 апреля / 6 мая 1898. Женева* ..... 586
293. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *25 апреля / 7 мая 1898. Женева* ..... 587
294. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *24 мая / 5 июня 1898. Петербург* ..... 588
295. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *Конец мая — июнь ст. ст. 1898. Копорье (?)* ..... 588
296. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *Конец мая — июнь ст. ст. 1898. Петербург или Копорье* ..... 589
297. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *14/26 июня 1898. Петербург* ..... 589
298. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *22 июня / 4 июля (?) 1898. Петербург* .. 589
299. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *26 июня / 8 июля 1898. Петербург* ..... 590
300. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *26 июня / 8 июля 1898. Двинск* ..... 590
301. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *27 июня / 9 июля (?) 1898. Минск* ..... 591
302. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *27 июня / 9 июля 1898. Гомель* ..... 591
303. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *27—28 июня / 9—10 июля 1898. На пароходе* ..... 591
304. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *28—29 июня / 10—11 июля 1898. Киев* ..... 594
305. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *29 июня / 11 июля 1898. Киев* ..... 596
306. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *1/13 июля 1898. Киев* ..... 596
307. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *4/16 июля 1898. Киев* ..... 598

## ПЕРЕПИСКА 1899

308. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *4/16 июня 1899. Петербург* ..... 601
309. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *5/17 июня 1899. Копорье* ..... 601
310. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *7/19 июня 1899. Копорье* ..... 602
311. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *10/22 июня 1899. Петербург* ..... 603

312. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *10/22 июня 1899. Копорье* ..... 606
313. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *12/24 июня 1899. Петербург* ..... 606
314. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *12/24 июня 1899. Петербург* ..... 608
315. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *14/26 июня 1899. Копорье* ..... 609
316. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *15/27 июня 1899. Петербург* ..... 610
317. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *16/29 июня 1899. Копорье* ..... 611
318. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *16/29 июня 1899. Сестрорецк* ..... 612
319. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *20 июня / 3 июля 1899. Петербург* ..... 618

**ИНТЕРМЕДИЯ (II)**

Петербург 1899—1900 ..... 621

**ИНТЕРМЕДИЯ (III)**

Англия 1899—1900 ..... 633

**ПЕРЕПИСКА 1900**

320. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *12/25 июня 1900. Копорье* ..... 665
321. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *13/26 июня 1900. Петербург* ..... 667
322. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *14/27 июня 1900. Петербург* ..... 670
323. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *14/27 июня 1900. Копорье* ..... 672
324. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *15—16 / 28—29 июня 1900. Петербург* ..... 675
325. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *16/28 июня (?) 1900. Копорье* ..... 676
326. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *18 июня / 1 июля 1900. Копорье* ..... 677
327. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *18 июня / 1 июля 1900. Петербург* ..... 678
328. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *19 июня / 2 июля 1900. Копорье* ..... 679
329. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *20 июня / 3 июля 1900. Петербург* ..... 680
330. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *21 июня / 4 июля 1900. Копорье* ..... 682
331. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *22 июня / 5 июля 1900. Петербург* ..... 683
332. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *24 июня / 7 июля 1900. Копорье* ..... 687
333. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *24 июня / 7 июля 1900. Копорье* ..... 688
334. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *25 июня / 8 июля 1900. Петербург* ..... 689
335. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *26 июня / 9 июля 1900. Копорье* ..... 693
336. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *28 июня / 11 июля 1900. Петербург* ..... 693
337. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *28 июня / 11 июля 1900. Петергоф* ..... 693
338. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *Конец июля — начало августа (?) 1900. Копорье* ..... 693
339. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *1/14 августа 1900. Копорье* ..... 695
340. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *2—3 / 15—16 августа 1900. Сестрорецк* ..... 696
341. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *4/17 августа 1900. Копорье* ..... 700

342. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *4/17 августа 1900. Сестрорецк* ..... 701
343. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *4 или 5 / 17 или 18 августа 1900. Копорье* ..... 702
344. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *5/18 августа 1900. Сестрорецк* ..... 703
345. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *6/19 августа 1900. Сестрорецк* ..... 704
346. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *7/20 августа 1900. Копорье* ..... 706
347. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *11/24 августа 1900. Копорье* ..... 708
348. Иванов — Зиновьевой-Аннибал. *11/24 августа 1900. Сестрорецк* ..... 709
349. Зиновьева-Аннибал — Иванову. *26 октября / 8 ноября 1900. Петербург* ..... 711

**ИНТЕРМЕДИЯ (IV)**

Афины и Палестина 1901 ..... 713

*Вячеслав Иванов — Лидия Зиновьева-Аннибал*

# ПЕРЕПИСКА
# 1894—1903
# Том 1

Дизайнер
*Е. Поликашин*

Редактор
*Н. Богомолов*

Корректор
*Э. Корчагина*

Компьютерная верстка
*С. Пчелинцев*

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Адрес издательства:
129626, Москва,
абонентский ящик 55
Тел.: (495) 976-47-88
факс: (495) 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlobooks.ru

Формат 60×90/16
Бумага офсетная № 1
Усл. печ. л. 47. Тираж 2000. Заказ № 2550
Отпечатано в ОАО «Типография "Новости"»
105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

Л. Зиновьева-Аннибал.
Около 1880-х гг.

Рим. Площадь Барберини. 1900-е гг.

Переписка Вячеслава Иванова (1866–1949) с Лидией Зиновьевой-Аннибал (1866–1907) – один из важнейших памятников истории русской культуры рубежа XIX и XX веков. В настоящее издание включена переписка 1894–1904 годов. В ней широко документированы ученые занятия Иванова, его становление как поэта, работа над первой книгой стихов «Кормчие звезды», лекции в Парижской вольной школе общественных наук, сделавшие его знаменитым. Письма рисуют широкую картину европейской жизни 1890-х и начала 1900-х годов (супруги жили не только в России, но и в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Греции), а также историю любви, разворачивающуюся на глазах читателя.

Книга – плод работы интернационального коллектива (Майкл Вахтель – профессор Принстонского университета, США; Д.О. Солодкая – аспирант этого университета, Н.А. Богомолов – профессор МГУ им. М.В. Ломоносова; существенную помощь в работе оказали ученые из США, Италии, Франции, Швейцарии), она сводит воедино материалы, хранящиеся в Москве, Петербурге и Риме. Переписка впервые издается в полном объеме.

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ISBN 978-5-86793-733-1

Вячеслав Иванов
Переписка
Лидия Зиновьева-Аннибал
1